АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИК Е. В. ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ

I

Евг. Тарле

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИК
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ
В
ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

1957

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

АКАДЕМИК
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ
I

1957

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
А. С. Ерусалимский (главный редактор),
Н. М. Дружинин, А. З. Манфред, М. И. Михайлов,
М. В. Нечкина, Б. Ф. Поршнев, Ф. В. Потемкин,
В. М. Хвостов, О. Д. Форш

РЕДАКТОР ПЕРВОГО ТОМА
Б. Ф. Поршнев

СОСТАВИТЕЛИ:
А. В. Паевская и А. Г. Чернов

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ТАРЛЕ
(1875—1955 гг).

В славной плеяде деятелей русской исторической науки как дореволюционного, так и советского периода ее развития одной из наиболее крупных, интересных и сложных фигур несомненно является выдающийся ученый — академик Евгений Викторович Тарле. Неутомимый исследователь, яркий публицист и оратор, замечательный университетский лектор и педагог, Е. В. Тарле уже в начале своего творческого пути снискал себе большую популярность среди передовой русской интеллигенции, преимущественно среди студенческой молодежи, выступавшей против царского самодержавия. После Великой Октябрьской социалистической революции, в особенности в те годы, когда над нашей страной нависла угроза фашистской агрессии и далее — в период Великой Отечественной войны Советского Союза и в послевоенный период — его новые труды, проникнутые духом высокого патриотизма, читались и перечитывались в самых широких кругах всего советского народа.

Пытливый ум нашего народа требует такой литературы по вопросам истории, которая отвечала бы его возросшим духовным запросам, научным интересам и культурным вкусам, раскрывала бы величие его исторического прошлого, обогащала бы его сознание многообразным и животворным опытом истории других народов, больших и малых, близких и далеких, давала бы историческое объяснение актуальным вопросам современной жизни. Сила и значение многих произведений Е. В. Тарле, относящихся и к более раннему и более позднему периоду, и состоит в том, что они до сих пор продолжают и по содержанию, и по форме отвечать духовным запросам советского народа. Не удивительно, что ряд работ Е. В. Тарле не только переиздан на русском языке, но и переведен почти на все языки наро-

дов Советского Союза. Большой интерес, который вызывало каждое выступление Е. В. Тарле, печатное или устное, порождался не только литературными и, можно даже сказать, художественными достоинствами его книг и статей, не только своеобразным ораторским обаянием, которым он умел покорять своих слушателей в любой аудитории, не только тонким, порой добродушным, а в отношении врагов всегда убийственным юмором, который являлся неотъемлемой частью его ума. Этот интерес порождался прежде всего тем, что столь свойственно советскому народу: уважением к труду большому, упорному труду ученого, помноженному на его самобытный и неугасающий талант. Каждое произведение Е. В. Тарле, будь то широкое историческое полотно или небольшой публицистический памфлет, не только концентрировало в себе его огромные знания, накопленные на протяжении десятков лет разносторонних научных изысканий, не только было свидетельством его поразительной эрудиции и памяти, но и результатом вновь и вновь вложенного труда: он всегда искал и находил новую важную и актуальную тему, всегда искал и находил новый материал, подлежащий анализу и обобщению, всегда умел обогатить мысль читателя или слушателя сообщением интересной детали или важным выводом — и все это в свободной и отлично выполненной литературной форме.

Е. В. Тарле был одним из самых популярных и самых плодовитых советских историков, и теперь, когда мы приступили к собиранию и систематизации его литературного наследия, мы видим, как велик был его труд, выполненный на протяжении 60 лет творческой жизни. Этот труд, воплощенный в ряде крупных исследований, в многочисленных статьях и рецензиях, количественно исчисляется, вероятно, более чем в тысяче названий общим объемом в несколько сот печатных листов.

Наука движется вперед, и время является самым сильным испытанием ее достижений. Не все, написанное Е. В. Тарле, выдержало это испытание, и многое из того, что создано автором на протяжении его большой жизни, разумеется, было бы им самим теперь пересмотрено с позиций более последовательной методологии с привлечением нового исторического и документального материала. Однако остается фактом, что бóльшая часть его исследований, основанных на огромном, ранее не известном материале, а также его многие публицистические и критические статьи и рецензии на исторические, международно-политические и литературные темы сохранили свою научную или историографическую ценность до настоящего времени. Предлагаемые вниманию читателя сочинения Е. В. Тарле в двенадцати томах — далеко не исчерпывающий итог его большой, плодотворной и богатой жизни как ученого и публициста.

* * *

Евгений Викторович Тарле родился 8 ноября 1875 г. в Киеве в семье служащего. Переехав вместе с родителями в Херсон, он поступил в местную гимназию. Еще будучи учеником старших классов, он поражал своих учителей и сверстников исключительной памятью, большой начитанностью и познаниями в области истории и русской литературы. Предметом его юношеского увлечения был в то время Карлейль, кумир английской аристократии и буржуазии, воспевавший «героическую личность» как созидателя истории. Трудно сказать, что именно привлекало к нему симпатии херсонского юноши,— вероятно, литературные качества и занимательность исторического изложения. К счастью, молодой Тарле вскоре освободился от своего увлечения Карлейлем. Этому способствовало то, что, окончив в 1892 г. гимназию, он в возрасте 17 лет поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, где сразу отдался серьезным и глубоким занятиям в области истории средних веков под руководством выдающегося ученого профессора И. В. Лучицкого.

Являясь наряду с Н. И. Кареевым и М. М. Ковалевским одним из наиболее крупных представителей «русской исторической школы», И. В. Лучицкий глубоко и плодотворно разрабатывал историю аграрных отношений во Франции накануне и в период буржуазной революции XVIII в., основываясь при этом на огромном новом документальном материале провинциальных архивов Франции. Благотворное влияние замечательного киевского ученого на молодого Тарле трудно переоценить. Уже в те годы, постоянно углубляя свои знания, расширяя свой исторический кругозор и научные интересы, Е. В. Тарле приобрел навыки первооткрывателя архивных источников, высокую технику их обработки и исследований, мастерство в изложении своих выводов и взглядов. Влияние И. В. Лучицкого первоначально не могло не сказаться и на формировании этих выводов и взглядов, на общем направлении научных интересов Е. В. Тарле. Если первая статья Е. В. Тарле «Бегины и бегарды» [1], появившаяся в начале 1896 г., представляла собой лишь реферат исследования английского историка Робинсона по истории религиозных союзов XIII в., то следующая статья, «Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II» [2], уже являлась самостоятельным научным исследованием. Едва ли, однако,

---

[1] Бегины и бегарды (реф. кн. A. M. Robinson. The end of the middle ages. Essays and question in history. London, 1889).— «Новое слово», 1896, № 4, стр. 31—50.

[2] Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II.— «Русская мысль», 1896, № 7, стр. 18—36; № 8, стр. 1—17.

можно сомневаться в том, что обнаружившийся интерес в этой работе начинающего двадцатилетнего ученого к истории крестьянства на Западе был пробужден И. В. Лучицким; его влияние заметно также в освещении некоторых важных вопросов, например в оценке общего состояния Франции накануне буржуазной революции XVIII в. Взгляды И. В. Лучицкого, как мы увидим, сказывались и на более поздних работах Е. В. Тарле. Высоко оценив кандидатское сочинение Е. В. Тарле на тему «Пьетро Помпонацци и скептическое движение в Италии в начале XVI века», представленное при окончании университета в 1896 г., И. В. Лучицкий оставил своего ученика при университете для подготовки к ученому званию. Через два года, в 1898 г., Е. В. Тарле впервые выехал за границу для научной работы в архивах, и с тех пор, продолжая свои изыскания в различных направлениях, он ежегодно совершал поездки в страны Западной Европы, пока вспыхнувшая в 1914 г. мировая империалистическая война не лишила его этой возможности.

С первых же шагов своей самостоятельной научной деятельности Е. В. Тарле обнаружил большую разносторонность научных интересов. В больших журнальных статьях и критических обзорах, в кратких рецензиях и энциклопедических заметках он касался самых различных тем по истории стран Западной Европы: дело Бабефа [3], Чарльз Парнель [4], иезуиты [5], немецкий гуманизм [6], Леонардо да Винчи [7], умственная жизнь европейского общества в новое время [8], история города Афин в средние века [9], общественное движение в Европе XIX в. [10], ницшеанство и его отношение к политическим и социальным теориям европейско-

---

[3] Дело Бабефа. Очерк из истории Франции. — «Мир божий», 1898, № 4, стр. 73—99; № 5, стр. 1—24.

[4] Чарльз Парнель. (Страница из истории Англии и Ирландии).— «Мир божий», 1899, № 1, стр. 1—26; № 2, стр. 58—89; № 3, стр. 82—110.

[5] Рец.: Ж. Губер. Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в сфере общественной жизни, политики и религии.— «Начало», 1899, янв.— февр., стр. 240—242.

[6] Рец.: Л. Гейгер. Немецкий гуманизм.— «Начало», 1899, апрель, стр. 159—161.

[7] Рец.: Г. Сеайль. Леонардо да Винчи как художник и ученый (1452—1519). Отчет психологической биографии.— «Начало», 1899, янв.— февр., стр. 233—239.

[8] Умственная жизнь европейского общества в новое время. Введение в историю европейской мысли XV—XIX вв.— «Жизнь», 1900, № 8, стр. 60—79; № 10, стр. 90—113.

[9] Рец.:Ф. Грегоровиус. История города Афин в средние века. От эпохи Юстиниана до турецкого завоевания.— «Мир божий», 1900, № 4, стр. 103—105.

[10] Рец.: Th. Ziegler. Die geistigen und sozialen Strömungen des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin, 1899. — «Начало», 1899, май, стр. 134—135; Характеристика общественных движений в Европе XIX века.— «Вестник Европы», 1901, № 2, стр. 702—730; № 3, стр. 167—198.

го общества [11] — таковы на выборку взятые темы его занятий того периода.

Некоторые из его работ, например «История Италии в средние века» [12] и «История Италии в новое время» [13], не являлись результатом большого самостоятельного исследования: несмотря на интересную форму изложения и ряд ценных замечаний, имеющихся в них, эти книги являлись скорее живо, но не очень глубоко написанными очерками, составленными на основе доступной в то время общеисторической литературы.

Гораздо большее значение для формирования Е. В. Тарле как историка имела его работа «Чарльз Парнель» [14]. Она характерна во многих отношениях. Во-первых, уже в этой ранней работе Е. В. Тарле показал, что ему совершенно чуждо узкое крохоборчество в науке. Занимаясь специальными вопросами, и, как мы увидим, занимаясь ими глубоко и конкретно, Е. В. Тарле уже тогда начал подходить к ним с более широких позиций, вырабатывая определенный взгляд на исторический процесс развития человеческого общества. Изучая в то время историю средних веков, он, побуждаемый к тому общественными интересами, одновременно стал заниматься изучением нового и новейшего времени, обращаясь к вопросам, которые ему представлялись наиболее важными и актуальными. С тех пор это стало, можно сказать, правилом его творческой жизни. Он всегда обращался к темам, которые должны были иметь, по его мнению, общественное звучание. В данном случае ему представлялось весьма поучительным осветить судьбы аграрного движения в Ирландии, его успехи и неудачи, осветить национально-освободительную борьбу ирландского народа против Англии. Во-вторых, в работе «Чарльз Парнель» Е. В. Тарле показал себя подлинным мастером исторического портрета. Впоследствии, совершенствуя это мастерство, он написал биографии Гамбетты, Каннинга, Наполеона I, Талейрана, Витте и наряду с ними создал целую галерею ярких зарисовок — Лассаля и Бисмарка, Бабефа и Гарибальди, Ришелье и Марата, Карла XII и Петра I, Пушкина и Лермонтова, Герцена и Шевченко, Ушакова и Нахимова, Николая I и Пальмерстона, Вильгельма II и Пуанкаре и многих других.

В своем подходе к созданию этих биографий, портретов и зарисовок Е. В. Тарле ничего общего не имеет ни с Карлейлем,

---

[11] Ницшеанство и его отношение к политическим и социальным теориям европейского общества.— «Вестник Европы», 1901, № 8, стр. 704—750.

[12] История Италии в средние века. СПб., 1901 («История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время»).

[13] История Италии в новое время. СПб., 1901 (там же).

[14] Чарльз Парнель. (Страница из истории Англии и Ирландии).— «Мир божий», 1899, № 1, стр. 1—26; № 2, стр. 58—89; № 3, стр. 82—110.

отрывавшим «героев» от «толпы», ни с современными авторами психологизированных биографий или биографических романов типа Андре Моруа. Уже работая над биографией Чарльза Парнеля, молодой Е. В. Тарле (ему тогда исполнилось 23 года) понял, что эта биография может представлять научный и общественный интерес только при том условии, если автору удастся решить главную задачу — показать, «какие силы создали благоприятную почву для деятельности Парнеля и дали этой деятельности смысл и цель» [15]. Е. В. Тарле считал, что этими силами являлись «глубокое и хроническое расстройство Ирландии в экономическом отношении, расовый антагонизм и необыкновенная яркость социальных контрастов в этой стране» [16], и в своей работе он стремился доказать, что как бы ни были значительны «усилия разума и порывы чувства» [17] политического деятеля, они потерпят крах, «если только реальные общественные силы не могут доставить им достаточной поддержки» [18]. Таким образом, приступив на пороге XX в. к созданию серии исторических портретов, он справедливо рассматривал эти биографии как очерки и характеристики из истории европейского общественного движения в XIX в.

Было бы, однако, неправильно предполагать, что, разрабатывая биографии западноевропейских буржуазных государственных и политических деятелей, Е. В. Тарле упускал из виду массовое движение рабочего класса и крестьянства. Но его оценки крупнейших исторических событий как бы раздваивались. С одной стороны, он явно проявлял большой интерес к формам и методам парламентской борьбы буржуазно-либеральной оппозиции в странах Западной Европы, пытался в каждом конкретном случае проанализировать цели этой борьбы, с удовлетворением отмечая ее успехи и с горечью — ее неудачи. В этом, по-видимому, сказывались его политические настроения того периода. С другой стороны, как ученый он понимал решающую роль массовых движений в поступательном ходе исторического процесса. В этом, по-видимому, сказывались его формировавшиеся в тот период методологические взгляды. Но эти взгляды также были еще довольно неустойчивы и в некоторых случаях даже противоречивы.

В статье «К вопросу о границах исторического предвидения» [19] Е. В. Тарле пытался доказать, что общая историческая концепция основоположника научного коммунизма К. Маркса якобы претерпевала ряд глубоких изменений не только в своих отдельных положениях, но и в своей принципиальной основе,

---

[15–16] Наст. том, стр. 39.

[17–18] Там же, стр. 40.

[19] К вопросу о границах исторического предвидения.— «Русское богатство», 1902, № 5, стр. 41—56.

что идея неизбежности революционного преобразования общества под влиянием объективно сложившейся исторической действительности якобы должна была уступить дорогу идее мирной эволюции. Но и эту идею, как считал в то время Е. В. Тарле, не следует признавать всеобъемлющей и всеобщей в тех «границах исторического предвидения» [20], которые могут быть установлены наукой об обществе. В конце концов, подводя общий итог своих рассуждений на эту тему, Е. В. Тарле пришел к выводу, исполненному, казалось бы, безотрадным скептицизмом: он считал, что до тех пор, пока не будут выработаны «новые точки зрения и отправные пункты при постановке прогнозов» [21] и пока соответственно не будут добыты новые, доказательные материалы в области статистики, социальной психологии и т. д., «до тех пор каждый добросовестный социолог признает почти полное свое бессилие, подавляющую ограниченность пределов предвидения, сводящую почти к нулю практическое значение социальных предсказаний» [22]. Но в это время в России уже начинался подъем массового движения, революционный марксизм как теория научного социализма стал широко распространяться в передовых кругах рабочего класса и интеллигенции, многие уже жили в атмосфере предчувствия приближающейся революционной грозы. В этих условиях статьи Е. В. Тарле, проникнутые духом эволюционизма и скептицизма, свидетельствовали лишь о том, что ее автор подпал под влияние П. В. Струве, перенесшего реформистские идеи Бернштейна на почву российской действительности.

Но в то же время Е. В. Тарле как историк обнаружил и более глубокое, и более правильное понимание марксизма как науки: в условиях, когда марксистская литература была нелегальной, он нашел способ приблизиться к мысли о том, что изучение закономерностей исторического развития имеет большое практическое значение в борьбе прогрессивных сил за победу новых форм общественной и политической жизни. В одной из забытых ныне статей «Чем объясняется современный интерес к экономической истории» [23] Е. В. Тарле еще ставит под сомнение значение и ценность исторического материализма как философской системы, но уже полным голосом утверждает, что марксизм «как метод... дал и продолжает давать весьма плодотворные результаты» [24]. И далее, признавая, что именно марксизм выдвинул вопрос о первенствующем значении исследования экономических закономерностей развития человече-

[20] Там же, стр. 55.

[21–22] Там же, стр. 56.

[23] Чем объясняется современный интерес к экономической истории.— «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 17, стб. 739—743.

[24] Наст. том, стр. 300.

ского общества, Е. В. Тарле писал: «Очень любопытное в сущности в истории мысли явление: одна из старейших сокровищниц человеческого знания — история — до последних десятилетий была лишена или почти лишена гнетуще необходимого вклада; она не давала понятия о том, как жили, чем питались, в чем друг от друга зависели сотни и сотни миллионов, которые в течение (исторических) тысячелетий, собственно, и «делали» историю» [25]. Разумеется, Е. В. Тарле тут имел в виду старую буржуазную историографию. «Теперь,— заключал он,— этот бьющий в глаза пробел начал заполняться...» [26] Нужно добавить, что впоследствии сам Е. В. Тарле приложил немало труда, чтобы своими исследованиями экономической истории нового времени по ряду вопросов заполнить этот пробел. Но нужно отметить еще два важных обстоятельства. Во-первых, уже тогда Е. В. Тарле приблизился к мысли, что именно народные массы — «сотни и сотни миллионов»,— собственно, и «делали» историю, т. е. являлись ее настоящими творцами. Во-вторых, он понял общественно-политическое значение исследований в области истории, в особенности экономической истории. От ученых «ждут света,— писал он,— который озарил бы не только темные, глухие дебри прошлого, но хоть отчасти бросил бы отблеск и на еще более темное будущее. В этой области,— заключал он,— люди знания и люди практической деятельности особенно солидарны» [27].

Таким образом, от скептицизма, как мы видим, в этой статье не осталось и следа. Наоборот, молодой Е. В. Тарле проникнут здесь живой верой в творческую силу масс как созидателей истории, проникнут пониманием общественно-политического значения исторической науки. Понимание того, что «общественные науки, по самой природе своей, тесно связаны с общественной жизнью и практически и теоретически» [28], привело его к размышлению о связи общественных дисциплин, в частности исторической науки, с деятельностью публициста, «желающего прийти к твердым и обоснованным выводам относительно хаотической массы явлений текущей действительности» [29]. Еще в 1902 г. Е. В. Тарле выступил со статьей «Из истории обществоведения в России», в которой стремился доказать необходимость этой теснейшей связи. «Публицист, широко глядящий вперед, и прежде всего искренно, а не на бумаге только волнующийся противоречиями и несообразностями жизни, всегда склонен,— писал он,— на помощь себе привлечь социологию» [30] (он

[25–26] Наст. том, стр. 303.
[27] Там же, стр. 304.
[28] Из истории обществоведения в России.— В кн. Литературное дело. Сборник. СПб., 1902, стр. 34.
[29] Там же.
[30] Там же, стр. 35.

имел в виду совокупность общественных наук). Он считал, даже, что в некоторых случаях публицистика выступает не в качестве пассивного ученика общественных наук, а в качестве активной силы, помогающей этим наукам и во всяком случае идущей «рука об руку с ними». И далее с молодым задором он издевался над теми, кто, считая себя жрецами науки, отрицает связь с ней публицистики: «Иное «ученое» ничтожество,— писал он,— с важностью заявит, что публицист не способен оказать науке услуги уже потому, что он «публицист» (самое это слово тут приобретает сугубо презрительный смысл); будет упомянуто о «коренной разнице» между «природой» публициста и «природой» ученого и т. д.» [31]. Приведя в качестве примера имена крупных ученых, которые были и учеными, и публицистами (Моммзена, Вирхова, Ламанского, Кавелина и др.), он отмечает, что «никакой «двойственности» в их природе констатировать нельзя, никакого ущерба науке от этих публицистических занятий не произошло... Но так уж,— писал он далее,— повелось на свете: Моммзен публицистикой не брезгует, а какое-нибудь ничтожество, всю свою жизнь излагающее Моммзена с кафедры своими словами, топорщится от пренебрежения при одном упоминании о «публицисте»» [32]. В заключение Е. В. Тарле утверждал, что «между наукой и публицистикой существует не случайная, но глубокая и органическая связь при всем видимом различии в поле наблюдения и методах работы», и призывал к тесному содружеству между публицистами и тружениками обществоведения, «одинаково дорогого и нужного и им, и ему» [33].

Следует отметить, что на протяжении всей своей деятельности Е. В. Тарле следовал этому призыву: многие его научные работы написаны в духе лучших традиций русской публицистики. Е. В. Тарле был, в частности, отличным знатоком Герцена, и, что характерно для его литературных вкусов, так же безмерно его любил, как и М. Ю. Лермонтова.

Не приходится сомневаться в том, что на формирование идейных взглядов того периода и на публицистичность многих работ Е. В. Тарле немалое влияние оказало его участие в начавшемся тогда революционном движении. Трудно сказать, состоял ли Е. В. Тарле в революционной организации. По свидетельству его сестры М. В. Тарновской, он был в то время связан с социал-демократическими кружками. Однажды он был арестован царскими властями; не имея, однако, против него серьезных улик, они были вынуждены его освободить, хотя и продолжали считать «неблагонадежным». Не став на позиции последовательного, революционного марксизма, Е. В. Тарле тем

[31] Там же, стр. 35.
[32–33] Там же, стр. 36.

не менее испытывал влияние марксизма и тех поднимающихся общественных сил, которые явились носителями социалистических идей. Все это пробудило у него интерес к истории социалистических идей, начиная с их наиболее ранней, утопической стадии развития.

Работая в Британском музее в Лондоне, а также в университетских библиотеках Киева и Варшавы, Е. В. Тарле обратился к изучению «Утопии» Томаса Мора, поставив перед собой задачу «хоть немного посодействовать более твердой постановке этого трудного вопроса об отношениях между исторической практикой и теорией...» [34]. Он стремился далее показать, что идея «Утопии», в осуществимость которой сам Томас Мор никогда не верил, имела глубокие корни в экономической жизни Англии той эпохи. Изучение этих реальных исторических связей между экономическими условиями развития общества и социалистической идеей, даже утопического характера, он рассматривал как серьезную задачу актуального значения: «При свете изучения эпохи и деятельности Томаса Мора,— писал он,— историки и обществоведы могут добыть некоторые методологические нити, которые хоть отчасти в состоянии будут помочь трудному делу анализа причин изменений в сложных общественных учениях прошлого и настоящего» [35]. Таковы были мотивы, побудившие Е. В. Тарле написать труд «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени». Этот труд, представленный в качестве магистерской диссертации, вначале вызвал серьезные нарекания в университетской среде.

Критика бросила автору ряд упреков по линии использования им источников. Диссертация все же была защищена (в 1901 г.) в Киевском университете. Опубликованная в виде отдельной книги, она вызывала живой общественный интерес. Л. Н. Толстой в письме к Е. В. Тарле дал ей высокую оценку.

Через два года, в 1903 г., Е. В. Тарле стал приват-доцентом С.-Петербургского университета, в стенах которого, с некоторыми перерывами, он проработал почти до конца своих дней. Здесь в полной мере раскрылся его ораторский талант. Его лекционные курсы, являвшиеся результатом большой самостоятельной исследовательской работы, яркие по форме, своеобразные по манере изложения, неизменно привлекали огромную аудиторию студенческой молодежи всех факультетов. Читая лекции в свободной манере, как бы ведя беседу с аудиторией, Е. В. Тарле поражал слушателей своей эрудицией и памятью; он легко и просто называл новые и новые факты, цитировал тексты документов в их порой неожиданных сочетаниях и противопоставле-

[34–35] Наст. том, стр. 123.

ниях. Никогда не прибегая к каким-либо внешним ораторским эффектам, он умел захватывать слушателей живым, волнующим рассказом, будившим их мысль и раскрывавшим широкие и неизведанные исторические горизонты. Его речь, вовсе не гладкая, но всегда образная и точная, изобиловала деталями, которые в совокупности создавали общую картину, наглядную и убедительную. Так, слушатели подготовлялись к обобщениям и выводам, которые, казалось им, рождались в их голове сами собой.

В период первой русской революции 1905—1907 гг. Е. В. Тарле читал курсы, особенно созвучные настроениям студенчества,— курсы по истории французской буржуазной революции XVIII в. и по истории чартистского движения в Англии. 18 октября 1905 г. вместе со студенческой молодежью он участвовал в демонстрации и оказался среди жертв в результате нападения царских войск: получив удар саблей по голове, облитый кровью, он был отвезен в больницу. В Петербурге разнесся тогда слух, что Е. В. Тарле убит, и в одной из газет появился даже некролог, к счастью, весьма и весьма преждевременный. Поправившись после ранения, Е. В. Тарле снова приступил к чтению лекций, носивших явно пропагандистский характер, и в то же время стал печатать ряд ярких публицистических работ на исторические темы. Его очерки «Падение абсолютизма в Западной Европе» [36] и его статьи о декларации прав человека и гражданина [37], об отделении церкви от государства во Франции [38], о роли студенчества в революционном движении Европы в 1848 г. [39] и другие — все это являлось боевыми выступлениями передового представителя русской университетской науки, все это имело определенную целенаправленность в борьбе против царского самодержавия.

То был период, когда российский рабочий класс, проявив высокую сознательность и пролетарскую организованность, своими героическими выступлениями показал миру, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Нельзя утверждать, что Е. В. Тарле тогда понимал всемирно-историческую роль российского пролетариата, и тем более что он разделял последовательно-революционные взгляды его

[36] Падение абсолютизма в Западной Европе. Исторические очерки, ч. I. СПб.— М. [1906]; Падение абсолютизма. (Социологический очерк).— «Мир божий», 1905, № 12, стр. 1—26; Падение абсолютизма.— «Мир божий», 1906, № 3, стр. 203—245; № 5, стр. 67—93; № 6, стр. 99—137.

[37] О Декларации прав человека и гражданина. (По поводу издания проф. Блюма с предисловием Компэрэ).— «Образование», 1905, № 4, стр. 309—319.

[38] Отделение церкви от государства во Франции. (Очерк из истории церкви во Франции).— «Вестник и библиотека самообразования», 1905, № 39, стб. 1227—1234; № 40, стб. 1255—1260.

[39] Роль студенчества в революционном движении в Европе в 1848 году. СПб., 1906.

авангарда — партии. Но он был первым представителем русской университетской науки, который в период народной революции 1905—1907 гг. задумался над исторической ролью рабочего класса и понял, как важно исследовать историю этого революционного класса, начиная с первых шагов его формирования. И с этого времени Е. В. Тарле надолго посвятил себя изучению истории и предыстории пролетариата; в особенности его заинтересовал вопрос о положении и роли рабочего класса Франции в период буржуазной революции XVIII в. Он отправляется во Францию, работает там во многих архивах, извлекает новые документы и уже в 1907 г. публикует исследование «Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции (1789—1799 гг.)» [40]. Через два года (в 1909 г.) он публикует первую часть нового, еще более крупного исследования «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» [41], исследования, которое в 1911 г. завершается изданием второй части [42]. В том же году он блестяще защищает это двухтомное исследование как диссертацию и получает звание доктора исторических наук.

Уже первая из этих работ привлекла к себе внимание как в России, так и за рубежом. Это объяснялось прежде всего новизной темы и направлением исследования. Правда, вопрос о национальных мануфактурах во Франции, в частности в период буржуазной революции XVIII в., уже был разработан в исторической литературе (например, исследования Henry Havard'a и M. Vachon'a, Lacordaire, Garnier), однако вопрос о положении рабочих в национальных мануфактурах в лучшем случае освещался лишь косвенно, с точки зрения технической. Заслуга Е. В. Тарле в данном случае состояла в том, что он, тщательно изучив огромный, никем не использованный архивный материал, впервые в исторической литературе разработал этот вопрос в целом. Заполнив таким образом известный пробел, он выполнил важную задачу, носившую, однако, частный характер. Тем большее научное и принципиальное значение имела его вторая работа «Рабочий класс во Франции в эпоху революции».

Значение этой работы заключалось в том, что в отличие от своих предшественников — И. В. Лучицкого, Н. И. Кареева и М. М. Ковалевского, этих блестящих представителей «русской исторической школы», разрабатывавшей преимущественно историю аграрных отношений и крестьянства во Франции накануне и в период буржуазной революции XVIII в.,— Е. В. Тарле в центре своего исследования поставил изучение истории

[40] Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции (1789—1799 гг.). СПб., изд. «Общественная польза», 1907.

[41] Рабочий класс во Франции в эпоху революции. Исторические очерки, ч. I (1789—1791). СПб., 1909.

[42] Рабочий класс во Франции в эпоху революции, ч. II. СПб., 1911.

нового класса, предпролетариата и пролетариата. Было бы неверно утверждать, что этим самым он отошел от традиций «русской исторической школы». Наоборот, будучи учеником И. В. Лучицкого, о котором он всегда сохранял благодарную память [43], он самым тесным образом примыкал к ней; свидетельством тому является его постоянный интерес к проблемам экономической истории социальных движений во Франции в эпоху буржуазной революции XVIII в., а также усвоенная им высокая техника исследования и обработки новых исторических документов, которые он умел искать и находить в недрах французских архивов, парижских и провинциальных. Но Е. В. Тарле пошел дальше своих предшественников. Последние усматривали свою наиболее актуальную задачу в исследовании истории аграрных отношений. Только некоторые из них (М. М. Ковалевский) частично касались и вопросов, связанных с историей французского рабочего класса в период буржуазной революции XVIII в. И в западноевропейской историографии (исследования Левассера, Жореса и др.) эти вопросы находили частичное или косвенное освещение. Заслуга Е. В. Тарле заключалась в том, что он впервые в исторической науке на основе тщательного изучения огромных пластов вновь открытых им архивных источников создал большую специальную монографию о положении рабочего класса во Франции в ту историческую эпоху, когда буржуазия была еще способна совершить свою великую революцию. Таким образом, выйдя за рамки проблематики «русской исторической школы», Е. В. Тарле тем самым внес свой крупный вклад в развитие этой школы. Еще более важное значение имело то, что в отличие от своих предшественников Е. В. Тарле писал эту работу, испытывая влияние методологии марксизма. Однако в ряде общих и конкретных вопросов он явно находился также под влиянием «русской исторической школы», следуя которой, он, например, преувеличивал роль мелкого производства во Франции накануне революции. С точки зрения современного уровня исторических знаний и марксистско-ленинской методологии в труде Е. В. Тарле «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» имеются и другие спорные или устаревшие положения. Тем не менее этот труд, являвшийся первым большим и серьезным монографическим исследованием на эту тему, до сих пор сохраняет свое не только историографическое, но и научное значение.

Едва закончив этот труд, Е. В. Тарле приступил к изучению истории Франции и Европы в период господства Наполеона I.

---

[43] См., напр.: И. В. Лучицкий как университетский преподаватель.— «Научно-исторический журнал», 1914, № 4, стр. 5—9; И. В. Лучицкий. К пятидесятилетию его научно-литературной деятельности. 1863—1913.— «Голос минувшего», 1914, № 1, стр. 42—61.

Приближалась столетняя годовщина Отечественной войны русского народа против Наполеона, и Е. В Тарле, всегда чуткий к общественным интересам читателей, отозвался на юбилей 1812 г. рядом исторических статей («Возвращение Наполеона» [44] в многотомном сборнике «Отечественная война и русское общество», «Экономические отношения Франции и России при Наполеоне I» [45] и др.). Но главные его усилия были направлены в это время на монографическую разработку экономической истории Европы в эпоху наполеоновского владычества. Проявляя необычайную энергию, он интенсивно работает в Национальном архиве в Париже, в архивах департаментов Устья Роны и Нижней Сены и Роны, в архиве Лионской торговой палаты, в лондонском «Record office», в Гаагском государственном архиве, в Государственном архиве в Гамбурге, в рукописном отделе Гаагской королевской библиотеки, в Гамбургской коммерческой библиотеке, в Национальной библиотеке в Париже, в Британском музее и в королевской библиотеке в Берлине. На основании огромного добытого им материала Е. В. Тарле опубликовал в 1913 г. новый большой труд «Континентальная блокада» [46], в котором дал глубокий и всесторонний анализ состояния промышленности и внешней торговли Франции в период, когда Наполеон стремился подорвать экономическую мощь Англии и тем самым утвердить гегемонию французской буржуазии на европейском континенте. При этом Е. В. Тарле показал, каковы были экономические причины, определившие крах наполеоновской системы континентальной блокады. И эта фундаментальная работа, единственная в своем роде в мировой историографии вопроса, привлекла к себе внимание как в России, так и за рубежом.

В 1913 г., выступив на международном конгрессе историков в Лондоне с докладом на тему «Экономические последствия континентальной блокады», Е. В. Тарле как бы подвел итог своим только что завершенным исследованиям в этой области, и тотчас же начал готовить новые работы по смежным темам. Накануне первой мировой войны он успел опубликовать в Германии небольшое исследование о германско-французских хозяйственных отношениях во времена Наполеона [47] и уже во время

[44] Возвращение Наполеона.— В кн. Отечественная война и русское общество, т. 6. М., 1912, стр. 94—106.

[45] Экономические отношения Франции и России при Наполеоне I.— «Журнал Министерства народного просвещения», нов. сер., 1912, ч. 42, № 11, стр. 54—93.

[46] Континентальная блокада. I. Исследование по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона.

[47] Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen zur napoleonischen Zeit.—«Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkwirtschaft im Deutschen Reiche».— München — Leipzig, 1914, Ihg. 38, H. 2, S. 143—202.

войны (в 1916 г.) завершил этот цикл исследований новой монографией «Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I» [48]. В совокупности эти труды следует расценивать как крупный вклад русской науки в мировую историографию вопроса. Но этим их значение не ограничивается: время показало, что эти исследования Е. В. Тарле по экономической истории Франции и Европы в период наполеоновского владычества оказались фундаментом, опираясь на который он мог создать и ряд блестящих работ по политической, дипломатической и военной истории того периода.

Следует отметить еще одну важную черту в деятельности Е. В. Тарле: углубляясь в монографическую разработку какого-нибудь большого исторического вопроса, он никогда не прерывал своей педагогической деятельности: с 1913 г., оставаясь приват-доцентом С.-Петербургского университета, он стал профессором университета в Юрьеве (ныне Тарту), пока в 1917 г. не был избран профессором Петроградского университета. При этом он находил время, чтобы выступать в печати с работами на самые разнообразные темы: «Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной?» [49], «Политические движения в Испании и Италии в 1820—1823 гг.» [50], «Статьи Добролюбова об итальянских делах» [51], «Восстание Нидерландов против испанского владычества (1567—1584)» [52], о романе Э. Золя «Ругон-Маккары» [53] — таковы некоторые из многочисленных тем, которыми он занимался накануне войны 1914 г.

Но вот началась первая мировая война, и в творческой жизни Е. В. Тарле выявляются новые черты и новые интересы. Завершая свой ранее начатый большой труд по экономической истории Европы в период континентальной блокады, Е. В. Тарле одновременно все больше начинает интересоваться вопросами истории международных отношений и внешней политики европейских держав. В самом начале войны он выступает со статьей

---

[48] Экономическая жизнь королевства Италии в царствование Наполеона I. Юрьев, 1916 [Континентальная блокада. II].

[49] Была ли екатерининская Россия экономически отсталой страной? — «Современный мир», 1910, № 5, стр. 3—29.

[50] Политические движения в Испании и Италии в 1820—1823 гг.— В кн. Книга для чтения по истории нового времени, т. 4, ч. I. История Западной Европы. М., 1913, стр. 128—176.

[51] Статьи Добролюбова об итальянских делах.— В кн. Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч. Под ред. Е. В. Аничкова, т. 8. Публицистика, ч. 3—4. СПб., [1913], стр. 159—171.

[52] Восстание Нидерландов против испанского владычества (1567—1584).— В кн. Книга для чтения по истории нового времени, т. 1. М., [1910], стр. 300—330.

[53] По поводу романа Зола. (Вступительный очерк).— В кн. Э. Зола. Собр. соч. Под ред. и со вступительными статьями Е. В. Аничкова и Ф. Д. Батюшкова. Ругон-Маккары, т. 18. Разгром, ч. 1—2. СПб., 1914, стр. V—XV.

«К истории русско-германских отношений в новейшее время» [54], печатает острую рецензию на книгу реакционного немецкого публициста Шимана [55], близкого к руководящим кругам «Пангерманского союза», затем печатает статьи по истории военных блоков «перед великим столкновением» [56], по вопросу о роли эльзас-лотарингского вопроса в возникновении войны 1914 г. [57] и др. В 1917 г., после Февральской революции в России, он на основе обнаруженной переписки Вильгельма II с Николаем II (1904—1906 гг.) пишет статьи по дипломатической истории русско-германских отношений в период русской революции 1905 г. [58]. Во всем этом проявляется прежде всего его публицистический темперамент. По самому характеру своему Е. В. Тарле просто не мог не отозваться на событие такой огромной исторической важности, каким явилась всемирная война 1914—1918 гг., поглотившая миллионы человеческих жизней.

Нужно, однако, констатировать, что как историк и публицист Е. В. Тарле в то время еще не понял ни подлинного характера войны, ни тех исторических путей, которые могли привести к ее прекращению и к предотвращению новой войны. Он не понимал еще тогда, что война, вспыхнувшая в 1914 г., носила империалистический характер со стороны обоих воюющих лагерей как австро-германского блока, так и англо-франко-русской Антанты, и что имелся только один путь — революционный путь борьбы против империалистической войны и ее поджигателей. Избежав крайнего шовинизма и аннексионизма, Е. В. Тарле разделял настроение буржуазно-либеральной интеллигенции и стоял на позициях оборончества. Его статьи того времени были проникнуты не антиимпериалистическим, а односторонне-антигерманским духом. Они отнюдь не свидетельствовали о том, что автор был подготовлен к правильному восприятию и глубокому пониманию величайшего события, вырвавшего Россию из пучины кровопролитнейшей войны, освободившего ее от оков империализма и открывшего новую эпоху во всемирной истории человечества.

[54] К истории русско-германских отношений в новейшее время.— «Русская мысль», 1914, № 11, стр. 83—93.

[55] Рец.: Th. Schiman n. Deutschland und die grosse Politik. Anno, 1913. Berlin, 1914.— «Голос минувшего», 1914, № 12, стр. 281—284.

[56] Перед великим столкновением. (К истории образования борющихся союзов).— В кн. Книга о войне. Пг., 1915, стр. 3—16; Франко-русский союз.— В кн. Россия и ее союзники в борьбе за цивилизацию, т. I. М., 1916, стр. 73—105.

[57] Эльзас-лотарингский вопрос накануне великой европейской войны.— В кн. Вопросы мировой войны. Сборник статей. Под ред. М. И. Туган-Барановского. Пг., 1915, стр. 118—134.

[58] Императоры Вильгельм II и Николай II в 1904—1907 гг. Неизданная переписка. Вступительные статьи.— «Былое», 1917, стр. 3—20.

* * *

Когда грянула Великая Октябрьская социалистическая революция, в России среди деятелей университетской науки было немного людей, которые подобно К. Тимирязеву, замечательному естествоиспытателю и мыслителю, сразу, решительно и сознательно встали бы на сторону победившего пролетариата и трудящегося крестьянства. Е. В. Тарле не был в их числе. Не являясь сторонником революционного марксизма, не знакомый с ленинизмом, он первое время находился в состоянии некоторого смятения, а его творчество как бы вступило в полосу кризиса. Замечательный и всегда деятельный исследователь, блестящий публицист, он в течение нескольких лет после революции не мог найти ни одной крупной темы, достойной разработки, а в течение 1920 г.— единственный случай в его биографии — он вообще ничего не публикует, если не считать текста лекции на тему «Национальный архив в Париже» [59].

В 1921 г. Е. В. Тарле избирается членом-корреспондентом Академии наук СССР, и последующие несколько лет продолжают быть для него годами большой внутренней работы, колебаний и исканий, когда он то пытается понять смысл и величие событий, происходящих в России, сопоставляя их с событиями буржуазной революции XVIII в. во Франции, то публикует исторические статьи и подборки документов, столь тенденциозные, что, нет сомнения, он и сам впоследствии никогда не счел бы возможным их переиздать. В те годы Е. В. Тарле никак не предполагал, что именно тогда, когда он, преодолев внутренние смятения и сомнения, окончательно встанет в ряды деятелей новой, социалистической культуры, именно тогда в его жизни начнется большая, самая счастливая полоса: его творчество, обогащенное новым идейно-политическим содержанием и отданное служению народу, расцветет с новой силой, приобретет новый смысл и получит признание самых широких кругов советского народа.

Внутренний кризис преодолевался медленно, но все же преодолевался. Теперь, обозревая труды Е. В. Тарле первых послереволюционных лет, можно почти наглядно проследить, каковы были те проблемы, на разработке которых совершился новый взлет его творчества в советский период. Находясь под свежим впечатлением мировой империалистической войны 1914—1918 гг., стремясь осмыслить ее результаты, возмущенный Версальским империалистическим миром, в системе которого, как он понимал, уже была заложена и тлела опасность новой импе-

[59] Национальный архив в Париже.— В кн. История архивного дела классической древности, в Западной Европе и на мусульманском Востоке. Пг., 1920, стр. 153—202.

риалистической войны, он обратился к изучению самых актуальных, самых жгучих проблем международной жизни.

В 1922 г. он публикует небольшую работу «Три катастрофы» [60], в которой проводит интересное сопоставление Версальского мира с Тильзитским и Вестфальским. Тут сказался историк и публицист одновременно. Вслед за этим появляются его несколько статей по дипломатической истории нового времени [61]. В кратком популярном очерке он стремится дать широкому читателю общее представление об исторических судьбах Европы на протяжении столетия — от Венского конгресса до Версальского мира [62]. Он откликается на самые последние события в международной жизни Европы, стремится дать историческую оценку событиям, связанным с политикой французского империализма, направленной к расчленению Германии путем захвата Рура, событиям, происшедшим в Германии в связи с рурским кризисом, и многим другим. Одновременно он интенсивно занимается изучением новых документов, извлекаемых из советских архивов, по истории международных отношений в период первой мировой войны и ее подготовки. Работая в «Библиотеке великой войны», в Венсенском замке (близ Парижа), где была собрана огромная литература источников по истории первой мировой войны и послевоенного периода, он задумал написать очерки (в нескольких частях) по истории Европы на протяжении от 70-х годов XIX в. до последнего времени (т. е. 1928 г.) и отдельную монографию по истории рабочего движения во время мировой войны 1914—1918 гг. Полностью осуществить эту задачу ему не довелось, но и то, что было сделано, являлось большим вкладом в советскую историческую науку: его труд «Европа в эпоху империализма 1871—1919 гг.» является обобщением огромного фактического материала о первой мировой империалистической войне, ее исторических корнях и зловещих итогах [63].

В этой книге имеется ряд спорных и даже неверных положений, одни из которых связаны с тем, что автор не до конца продумал, понял и усвоил ленинскую теорию империализма, а другие — с тем, что автору еще не были известны многие архивные

[60] Три катастрофы. Вестфальский мир. Тильзитский мир. Версальский мир.— «Анналы», 1922, № 2, стр. 59—94.

[61] Из мемуаров Гельфериха.— «Былое», 1922, № 18, стр. 159—163; Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г.— «Былое», 1922, № 19, стр. 161—176; Русско-германские отношения и отставка Бисмарка.— В кн. 1882—XL—1922. Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Пг., 1922, стр. 419—424; Англия и Турция. Исторические корни и развитие конфликта.— «Анналы», 1923, № 3, стр. 21—71

[62] Европа от Венского конгресса до Версальского мира. 1814—1919 Пг., 1924.

[63] Европа в эпоху империализма. 1871—1919. М.—Л., 1927.

документы и публикации. Нельзя, однако, забывать, что книга Е. В. Тарле была первой и до сих пор остается единственной в советской историографии книгой, в которой дается яркое, живое и последовательное повествование о событиях, представляющих и в наше время большой актуальный интерес: народы должны знать, говоря словами В. И. Ленина, ту тайну, «в которой война рождается» [64]. И хотя Е. В. Тарле не удалось в этой книге в полной степени раскрыть глубокие экономические и классовые пружины, породившие первую мировую империалистическую войну, но он сумел обнажить многие стороны империалистической дипломатии, показать те методы, которые применялись ею в ходе подготовки и развязывания войны, а также в ходе самой войны за передел мира. Книга «Европа в эпоху империализма 1871—1919 гг.» (в особенности второе дополненное издание, вышедшее в свет в 1928 г.) являлась свидетельством продолжающегося процесса глубокой идейно-политической перестройки Е. В. Тарле путем активного, творческого вторжения в разработку вопросов новой и новейшей истории, представлявших самый актуальный, животрепещущий интерес.

Важным свидетельством творческого обновления Е. В. Тарле после нескольких лет размышлений и колебаний явилось и то, что, вернувшись к своей старой теме,— истории французского пролетариата, он задумал исследовать не только его экономическое положение, но и истоки, и формы его массового революционного движения. В 1928 г. Е. В. Тарле избирается действительным членом Академии наук СССР. В том же году он публикует монографию «Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства...» [65]. Эта работа, являющаяся продолжением его работ о рабочем классе во Франции в эпоху буржуазной революции XVIII в. и соответствующих частей его книги о континентальной блокаде, охватывает период от конца Империи до восстания ткачей в Лионе — первого самостоятельного восстания рабочих во Франции.

История Лионского восстания тогда еще не была разработана советскими исследователями, и даже во французской историографии история рабочего класса во Франции в период Реставрации, Июльской революции и восстания в Лионе осталась обойденной. Е. В. Тарле явился первооткрывателем сокровищ, хранящихся во французском Национальном архиве по этому вопросу, сокровищ, о которых, как он установил, никто из писавших о французских рабочих не имел никакого представления. На основе этих новых исторических документов он воссоздал

---

[64] В. И. Ленин. Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге. Соч., изд. 4, т. 33, стр. 409.

[65] Рабочий класс во Франции в первые времена машинного производства. От конца Империи до восстания рабочих в Лионе. М.—Л., 1928. (Ин-т К. Маркса и Ф. Энгельса).

картину промышленного развития Франции в первой трети XIX в., картину страшных страданий рабочего класса, придавленного чудовищной эксплуатацией, голодом и нищетой, показал выступления рабочих против машин, начальные формы и уровень рабочего движения в провинции и в Париже, политические настроения рабочего класса и его первые организации, и наконец показал не понятое никем из современников значение революционного выступления лионского пролетариата в 1831 г. Таким образом, исследование Е. В. Тарле не только заполнило брешь в историографии вопроса, но и раскрыло принципиальную историческую важность разработанной им темы. «Не забудем,— писал он,— что французскому рабочему классу выпала на долю громадная роль во всех революционных движениях средних десятилетий XIX века; не забудем огромного значения *первого* во всемирной истории чисто рабочего революционного восстания в Лионе в 1831 г. Не зная сколько-нибудь точно и обстоятельно истории рабочего класса во Франции, нельзя ровно ничего понять ни в Лионском восстании, ни в истории социализма, как он сложился во Франции к тридцатым годам и в начале тридцатых годов (XIX в.— *А. Е.*), нельзя просто понять всей французской истории, поскольку рабочий класс столицы оказывался всегда авангардом революции» [66]. Отныне наряду с историей международных отношений и дипломатии капиталистических держав история массовых революционных выступлений пролетариата и предпролетариата становится ведущей темой научно-исследовательской и педагогической деятельности Е. В. Тарле.

Наиболее крупным достижением в этом направлении, несомненно, является небольшая, но очень насыщенная материалом монография «Жерминаль и Прериаль», посвященная последним массовым выступлениям «плебейских» предместий Парижа в эпоху французской буржуазной революции XVIII в. [67] Даже среди других работ Е. В. Тарле эта работа отличается своими высокими художественными достоинствами. Но ее главное достоинство состоит в новом подходе к характеристике, анализу и оценке массовых выступлений рабочих и плебейских масс; это свидетельствовало о том, насколько сильно и благотворно стало влияние на творческую деятельность Е. В. Тарле марксистско-ленинской методологии и идей научного коммунизма. Отмечая, что революционные массы в трагические дни Жерминаля и Прериаля не имели «чего бы то ни было похожего на *свою* рабочую партию, на *свою* политическую организацию, *своих* классовых вождей, на свою планомерную тактику» [68], Е. В. Тарле далее пи-

[66] Рабочий класс во Франции..., стр. 1.

[67] Жерминаль и Прериаль. М., 1937; Прериальское восстание 1795 года.— «Историк-марксист», 1936, № 4, стр. 53—97.

[68] Жерминаль и Прериаль. М., 1957, стр. 3.

сал: «Но в истории мирового пролетариата эти дни занимают огромное и навеки памятное место, хотя, конечно, это было вовсе не чисто пролетарское восстание: это было восстание столичной плебейской массы, в которую рабочие входили лишь как одна из составных частей. За всю историю французской революции нельзя назвать ни одного революционного выступления, которое до такой степени было бы именно выступлением (и значительным по своим размерам выступлением) неимущих против имущих» [69]. Отмечая «резко классовый характер» выступления неимущих и показав, почему это выступление было обречено на неудачу, Е. В. Тарле заключает: «В дни побед рабочий класс не должен забывать историю своих героических поражений» [70].

Так мог писать лишь ученый, окончательно понявший всемирно-историческую миссию рабочего класса, ученый, который свой собственный труд стал рассматривать как посильный вклад в великое дело, осуществляемое под руководством рабочего класса и его партии.

Научная и публицистическая деятельность Е. В. Тарле в этот период свидетельствует о том, что он жил напряженной жизнью советского народа, его буднями и радостями, его тревогами и постоянной готовностью к борьбе. Когда советская научная общественность отмечала 150-летие французской буржуазной революции XVIII в., Е. В. Тарле выступил с докладами и статьями, в которых на исторических примерах показал, какую великую спасительную роль может играть революционная энергия масс, помноженная на священную силу патриотизма [71]. Вместе с академиком В. П. Волгиным он возглавил крупное научное начинание — подготовку большого коллективного труда советских ученых «Французская буржуазная революция 1789—1794 гг.» [72]. Когда широкие массы советского народа обсуждали проект Конституции Советского Союза, Е. В. Тарле в своих статьях и докладах, проводя интересные исторические сопоставления, убедительно доказывал преимущество социалистической демократии над буржуазной демократией [73]. Когда начала надвигаться угроза со стороны немецкого фашизма, Е. В. Тарле считал своим патриотическим долгом активно содействовать разоблачению фашистской идеологии и тех исторических «концепций», которые создавались в целях апологии или прикрытия фашистской агрессии и подготовки новой войны против народов Советского Союза и других миролюбивых народов, европейских и неевро-

[69—70] Там же, стр. 3—4.

[71] Справедливая война Французской революции.— В кн. Р. Роллан. Вальми. Перев. с франц. М., 1939, стр. 3—14; Взятие Бастилии.— «Военно-исторический журнал», 1939, № 1, стр. 55—63.

[72] Французская буржуазная революция 1789—1794. М.—Л., 1941.

[73] О буржуазной демократии и новой конституции СССР.— «Историк-марксист», 1937, № 1, стр. 125—138.

пейских. С трибуны научной сессии, посвященной 120-летней годовщине со дня основания Ленинградского государственного университета, он выступил (в апреле 1939 г.) с докладом о фашистской фальсификации исторической науки в Германии [74]. Вслед за этим он выступил с большой работой «Восточное пространство» и фашистская геополитика» [75], в которой на большом материале немецко-фашистской «геополитики» разоблачил методы и цели этой лженауки, тем более вредной и опасной, что она пыталась теоретически и практически обосновать агрессивные планы германского империализма в интересах утверждения его господства в Европе и во всем мире.

Еще раньше (в 1936 г.) Е. В. Тарле опубликовал свою книгу «Наполеон» [76], согретую чувством глубокого патриотизма и любовью к русскому народу, поднявшемуся на борьбу против французского завоевателя. Эта книга, как и его другая книга «Нашествие Наполеона на Россию» [77], имела особое значение во многих отношениях. Написанные ярко, талантливо, с огромным знанием общих и конкретных исторических проблем и с великолепным ощущением всей атмосферы той эпохи, обе эти книги стали пользоваться большим и шумным успехом, как в Советском Союзе, так и за рубежом. Они во многом отличаются от того, что было создано буржуазной историографией о Наполеоне и наполеоновских войнах. Нужно было пробить толщу реакционных легенд и лакированной лжи, созданную в течение многих и многих десятилетий, чтобы, дав справедливую историческую оценку Наполеона как военного деятеля, раскрыть контрреволюционную и захватническую сущность его политики. С другой стороны, нужно было преодолеть те сухие, безжизненные, социологические схемы, которые одно время бытовали в советской исторической науке, Е. В. Тарле как историк всегда был не только чужд, но и враждебен ко всяким проявлениям «социологизма», в особенности вульгарного. Он всю жизнь работал на конкретном историческом материале, его силы казались неистощимыми, когда дело шло о розыске нового материала, он умел даже, казалось, в мертвый, покрытый архивной пылью исторический документ вдохнуть живую жизнь и пред-

---

[74] Фашистская фальсификация исторической науки в Германии.— В кн. 120 лет Ленинградского государственного университета. Научная сессия, посвященная 120-летней годовщине со дня основания университета (1819—1939), 16—20 апреля 1939 г. Тезисы докладов. Л., 1939, стр. 13—14.

[75] «Восточное пространство» и фашистская геополитика.— В кн. Против фашистской фальсификации истории. Сборник статей. М.—Л., 1939, стр. 259—279.

[76] Наполеон. М., 1936. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 4—6).

[77] Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. М., 1938.

ставить читателям результаты своих исследований как увлекательное историческое повествование.

Старый и опытный мастер исторического портрета, он и в этих книгах создал целую галерею портретов исторических деятелей — от Наполеона и Кутузова до начальника партизанского отряда крестьянина Ефима Четвертакова. Как настоящий художник он сумел в этих портретах воплотить не только присущие им личные черты. Точно так же, как в эпизодических фигурах Четвертакова или Курина нетрудно увидеть природный ум, простоту и удаль русского крестьянина, готового отдать свою жизнь, чтобы постоять за Родину, в фигуре Наполеона со всеми присущими ему личными качествами, положительными и отрицательными, можно увидеть то, что было присуще молодой, пришедшей к власти, французской буржуазии, самоуверенной, умной, охваченной страстью к обогащению, завоеванию и господству. И тем не менее в портрете главного персонажа книги о Наполеоне имеется существенный изъян: автору не удалось избежать некоторой идеализации французского императора. Этот изъян является результатом двух влияний: во-первых, сложившихся традиций буржуазной историографии и, во-вторых, той атмосферы культа личности, в которой писались эти работы. Тем не менее, несмотря на указанные недостатки, книги «Наполеон» и «Нашествие Наполеона на Россию» сыграли большую положительную роль в патриотическом воспитании широких кругов советского народа. Они напоминали и напоминают о великих уроках истории и о судьбе, которая неминуемо ожидает всех, кто одержим безрассудной идеей покорить народы России. Эти книги имели и до сих пор имеют большое политическое звучание.

Не меньшее значение имеют работы Е. В. Тарле, посвященные разоблачению буржуазной и империалистической дипломатии. Блестящие по форме, каждая из них заключает в себе острую идею, которая разит врагов. Апологеты буржуазной дипломатии немало потрудились над тем, чтобы поднять Талейрана на высокий исторический пьедестал. Воспевая дипломатические подвиги и мудрость непревзойденного ренегата, они призывают современную империалистическую дипломатию учиться у него. Культ Талейрана, созданный французской буржуазной историографией, впоследствии распространился и в американской историографии, и Е. В. Тарле показал, в чем причины этого явления: «Деятельность Талейрана,— писал он, — принадлежит не только истории, но и современности. На мировой арене действует еще дипломатия, до сих пор... признающая (и очень откровенно при случае провозглашающая) князя Талейрана достойным образчиком для подражания. И не только практическая дипломатия, но и историческая наука в Европе и

Америке не устает популяризовать этот культ» [78]. В своей книге «Талейран» [79] Е. В. Тарле развенчал этот культ и не только низверг этого отца буржуазной дипломатии с пьедестала, но и до конца обличил эту растленную историческую фигуру, показав, кого буржуазная дипломатия избрала своим героем. Тем самым он нанес удар по беспринципности и своекорыстию, которые составляют классовую суть в современной империалистической дипломатии. Е. В. Тарле отлично понимал, что времена безраздельного господства буржуазной дипломатии уже навечно отошли и что в мире все более возрастающее влияние принадлежит дипломатии нового типа, выражающей интересы социалистического общества и построенной на иной, противоположной принципиальной основе. «Советская дипломатия,— писал Е. В. Тарле,— выводящая мировую международную политику на совсем новые, светлые пути, боролась в прошлом и продолжает бороться в настоящем за устранение из практики международных отношений того принципа вечной «войны всех против всех», который лучше всего выражается лаконическим афоризмом Томаса Гоббса: «Человек человеку волк» (homo homini — lupus est). Талейран — деятель того времени, когда этот принцип еще вполне и невозбранно господствовал. Буржуазная революция 1789 г., столь много изменившая, этого принципа традиционной дипломатии ничуть не пошатнула и не могла пошатнуть. Менялись постепенно цели, по-своему «совершенствовались» методы, но принципы оставались в полной силе, потому что не менялись основы дипломатической борьбы при господстве социально-экономического строя классового общества» [80].

Как постепенно менялись эти цели в политике и дипломатии европейских держав в период домонополистического капитализма, от начала наполеоновских войн и Венского конгресса до франко-прусской войны и франкфуртского мира 1871 г., Е. В. Тарле показал в написанных им работах коллективного труда советских историков «История дипломатии» (т. I) [81]. Что касается методов буржуазной дипломатии, то Е. В. Тарле этому большому и сложному вопросу посвятил специальный раздел («История дипломатии», т. III, глава «О приемах буржуазной дипломатии»). При этом он справедливо напоминает, что «как и в военном деле, в дипломатии капиталистического мира стратегия и тактика необычайно разнообразны и индивидуаль-

---

[78] Талейран. М.—Л., 1948, стр. 4.

[79] Впервые опубликована в 1939 г. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1).

[80] Талейран. М.—Л., 1948, стр. 6.

[81] В этом томе Е. В. Тарле написал следующие главы: «Европейские дипломатические отношения при Наполеоне (1799—1814 г.)», «Венский конгресс (октябрь 1814 — июнь 1815 г.)», «От создания Священного союза до июльской революции (1815—1830 гг.)» (совместно с проф.

ны. Если не очень легко определить основные линии даже обширной, рассчитанной на более или менее длительный период дипломатической стратогемы, то подавно трудно проследить порой весьма причудливые извивы и задачи дипломатической тактики, меняющейся не только каждый день, но иногда и в течение нескольких часов» [82]. Характеризуя лишь основные приемы, Е. В. Тарле на конкретных исторических фактах и материалах убедительно показал, как буржуазная дипломатия прикрывала агрессию в одних случаях мотивами «обороны», а в других случаях якобы «бескорыстными», «идейными» мотивами. Он показал, как маска миролюбия используется в империалистических целях и как агрессивные замыслы маскируются пропагандой борьбы против «мирового коммунизма» и Советского Союза. Он показал, что, выдвигая тезис о «локализации» военных конфликтов, буржуазная дипломатия стремится облегчить агрессию, облегчая таким образом последовательный разгром намеченных жертв. Он показал далее приемы, при помощи которых империалистическая дипломатия стремится вмешиваться во внутренние дела других государств или стремится использовать борьбу двух политических лагерей в одном государстве в целях осуществления своих собственных агрессивных замыслов. И хотя работы Е. В. Тарле писались на основании опыта и материалов периода первой мировой войны и ее подготовки, а также периода, предшествующего возникновению второй мировой войны, приемы империалистической дипломатии, применяемые агрессивными державами на современном историческом этапе, только подтверждают правильность его заключений и наблюдений.

Еще до начала Великой Отечественной войны Е. В. Тарле приступил к созданию нового большого фундаментального труда «Крымская война». С этой целью он использовал наряду с огромным количеством печатных источников и литературы, изданных в нашей стране и за рубежом, неопубликованные материалы многих архивохранилищ. Такова была, как и в предшествующих крупных работах, требовательность исследователя в отношении материала. Но общее значение его двухтомной монографии [83], конечно, не ограничивается тем, что он извлек и обработал большой новый материал.

А. В. Ефимовым), «От июльской революции во Франции до революционных переворотов в Европе 1848 г. (1830—1848 гг.)», «От революции 1848 г. до начала Крымской войны (1848—1853 гг.)», «Дипломатия в годы Крымской войны и Парижский конгресс (1853—1856 гг.)», «Наполеон III и Европа. От Парижского мира до начала министерства Бисмарка в Пруссии (1856—1862 гг.)», «Дипломатия Бисмарка в годы войны с Данией и Австрией (1864—1866 гг.)», «Дипломатическая подготовка франко-прусской войны (1867—1870 гг.)».

[82] О приемах буржуазной дипломатии.— В кн. История дипломатии, т. 3. М.—Л., 1945, стр. 702.

[83] Крымская война, т. I. М.—Л., 1941, т. 2, М., 1943.

Главная тема этой монографии — дипломатическая история Крымской войны. Главная, но не единственная. Как исследователь Е. В. Тарле не мог бы осветить и оценить все дипломатические перипетии, связанные с возникновением войны, ее ходом и исходом, если бы не дал анализа экономического и финансового положения николаевской России, состояния армии, крестьянского движения, которое то здесь, то там прорывалось из-под гнетущей тяжести крепостнических порядков и тупого военно-полицейского режима царского самодержавия, настроений, сложившихся в различных общественно-политических кругах России — от реакционного славянофильства до революционной демократии, наконец общих политических целей императора всероссийского Николая I. «В том, что Николай I,— пишет Е. В. Тарле,— был непосредственным инициатором дипломатических заявлений и действий, поведших к возникновению войны с Турцией, не может быть, конечно, сомнений. Царизм начал и он же проиграл эту войну, обнаружив свою несостоятельность и в дипломатической области и в организации военной обороны государства, страдавшего от технической отсталости и от общих последствий господства дворянско-феодального крепостнического строя. Однако война была агрессивной не только со стороны царской России» [84]. И в своем исследовании Е. В. Тарле посвящает много страниц, раскрывающих агрессивные, реваншистские цели турецкого правительства, которое стремилось вернуть под свое господство северное побережье Черного моря, Кубань и Крым. Еще больше места он уделяет характеристике сложных политических целей западноевропейских держав, прежде всего Англии и Франции, а также и Австрии и Сардинии. Эти разделы представляют исключительный интерес, не меньший, чем те, которые посвящены характеристике политических целей николаевской России. В них показано, что дипломатические шаги и военные действия Англии и Франции были продиктованы вовсе не их стремлением оказать помощь Турции, а стремлением «с предельной щедростью вознаградить себя (за турецкий счет) за эту услугу и прежде всего не допустить Россию к Средиземному морю, к участию в будущем дележе добычи...» [85]. В них показаны и другие мотивы, которые, с одной стороны, выражали глубокие экономические и политические противоречия между западными державами, а с другой, побуждали их временно объединиться, чтобы «не выпускать Россию из войны» [86], затеянную российским самодержцем. Е. В. Тарле подчеркивает, что все сказанное им об агрессивных

---

[84] Крымская война. Второе исправленное и дополненное издание, т. I. М.—Л., 1950, стр. 3—4.

[85–86] Там же, стр. 4.

целях англо-франко-турецкой коалиции «ничуть, конечно, не смягчает губительной роли Николая и николаевщины в трагической истории Крымской войны» [87]. Автор подробно живописует и страшную картину эксплуатации, тупости, лихоимства, казнокрадства, всех преступлений николаевского режима. «За тяжкие перед народом преступления и политику царизма,— пишет Е. В. Тарле,— пришлось расплачиваться потоками крови самоотверженных русских героев на Малаховом Кургане, у Камчатского люнета, на Федюхиных высотах» [88]. С большим мастерством и любовью автор описывает выдающуюся деятельность Корнилова, Нахимова, Тотлебена, солдат и матросов — героев Севастопольской обороны. Е. В. Тарле сумел раскрыть всю глубину исторического трагизма гибели простых в своем героизме и нравственной силе русских людей, гибели ради осуществления чуждых им целей царского самодержавия. Однажды он сказал автору этих строк, что только Шекспир мог бы навеки запечатлеть всю трагическую бессмыслицу жертвенной гибели русских войск при Черной речке 4 августа 1855 г.

Монографическое исследование истории Крымской войны Е. В. Тарле завершил уже в годы Великой Отечественной войны, когда советский народ, сплоченный чувствами патриотизма и морально-политического единства, показал всему миру, на что способен свободный народ, защищающий свои социалистические завоевания, независимость и честь. Как и все деятели советской науки и культуры, Е. В. Тарле в эти годы был с народом. В тяжелые дни вторжения и нашествия орд гитлеровской армии он не на один день не оставлял своего разящего пера. Уже одно из своих первых публицистических выступлений этого времени, напечатанное в журнале «Большевик», он озаглавил — «Начало конца» [89], и тем самым исторически правильно оценил неизбежные результаты вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Этой великой верой в победу над врагом была проникнута вся его кипучая публицистическая и пропагандистская деятельность, которой он всецело отдался в годы войны. Он пишет статьи о Кутузове, о Нахимове, об исторических заслугах Красной армии и героических традициях русского флота, о тевтонских рыцарях и их «наследниках», о Сталинградской битве и многие, многие другие. Он совершает большую пропагандистскую поездку по городам и селам Советского Союза: в Москве, Ленинграде, на Волге, на Урале, на Кавказе — везде он выступает с лекциями, докладами на патриотические темы, по актуальным вопросам войны и международного положения Советского Союза. В 1943 г. он выступает на сборе фронтовых агитаторов с лекциями об Отечествен-

[87–88] Там же, стр. 5.
[89] Начало конца.— «Большевик», 1941, № 11—12, стр. 32—37.

ной войне 1812 г. В сентябре того же года он выступает на общем собрании Академии наук СССР с большим докладом «О преступлениях гитлеровской Германии и об их подготовке» [90]. В течение всей войны, продолжая вести большую научную, пропагандистскую и публицистическую деятельность, он работал и в качестве члена Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Но и после окончания войны и победы над гитлеровской Германией и милитаристской Японией Е. В. Тарле, несмотря на уже преклонный возраст, продолжает свою активную деятельность как ученый, публицист и педагог. Он читает курсы лекций, ведет специальные семинары и руководит аспирантами в Ленинградском университете им. А. А. Жданова, в Московском университете им. М. В. Ломоносова, в Институте международных отношений в Москве. В течение первых трех послевоенных лет он публикует новые исследования по истории внешней политики России и военно-морской истории России: «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769—1774» [91], «Роль русского военно-морского флота во внешней политике России при Петре I» [92], «Адмирал Ф. Ф. Ушаков на Средиземном море в 1789—1800 гг.» [93], «Об изучении внешнеполитических отношений России и деятельности русской дипломатии в XVIII—XX веках» [94]. Спустя несколько лет он опубликовал еще одно исследование — «Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземное море (1805—1807)» [95] и таким образом издал цикл работ по истории русского военно-морского флота в XVIII и в начале XIX вв. Эти работы, написанные, как всегда, ярко и на основе тщательного изучения неопубликованных источников, по-новому освещают важные страницы отечественной истории. Вместе с тем они во многом пересматривают ряд положений старой дворянской и буржуазной историографии, на-

---

[90] О преступлениях гитлеровской Германии и об их подготовке.— В кн. Общее собрание Академии наук СССР 25—30 сентября 1943 г. Доклады. М.—Л., 1944, стр. 183—191.

[91] Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769—1774. М.—Л., 1945.

[92] Роль русского военно-морского флота во внешней политике России при Петре I.— «Морской сборник», 1946, № 10, стр. 35—73; № 11—12, стр. 63—102.

[93] Адмирал Ф. Ф. Ушаков на Средиземном море в 1798—1800 гг.— «Морской сборник», 1945, № 11—12, стр. 89—132; 1946, № 1, стр. 70—96.

[94] Об изучении внешнеполитических отношений России и деятельности русской дипломатии в XVIII—XX веках.— В кн. Юбилейный сборник, посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции, ч. 2. М.—Л., 1947, стр. 667—676.

[95] Экспедиция адмирала Д. Н.Сенявина в Средиземное море (1805—1807). М.—Л., 1954.

пример, в оценке событий, связанных с Чесменским боем, и роли в этих событиях тех или иных исторических личностей. «В том-то и был,— пишет Е. В. Тарле,— один из вреднейших пороков русской дореволюционной историографии, что ею без тени критики часто принимались свидетельства именитых карьеристов, лгавших напропалую, и без всяких затруднений эти преуспевшие аристократы возводились в ранг «сподвижников» при рассказе о великих исторических событиях вроде Чесменского боя» [96].

Нанеся этой историографии сильный удар, по-новому поставив ряд важных исторических вопросов и правильно осветив забытые, но поучительные страницы истории русского военно-морского флота, Е. В. Тарле, однако, сам в некоторых случаях не полностью преодолел влияние этой историографии. Как справедливо отметила критика, Е. В. Тарле в этих работах не провел четкой грани между вопросом о замечательных подвигах русских моряков и вопросом о завоевательской сущности политики, дипломатии и войн царских властей, в частности Екатерины II. В целом эти работы были восприняты широкими кругами советских читателей с большим интересом.

В послевоенные годы Е. В. Тарле задумал новый большой труд — трилогию «Русский народ в борьбе с агрессорами в XVIII—XX веках». Замысел был таков: показать патриотические усилия русского народа в острые критические периоды его истории: в период шведского нашествия 1708—1709 гг., наполеоновского нашествия 1812 г. и немецко-фашистского нашествия 1941 г. В полной мере осуществить этот огромный замысел Е. В. Тарле не удалось. Он завершил лишь первую часть трилогии (она включается в настоящее собрание сочинений) и успел опубликовать из нее небольшой отрывок [97]. Он успел также расширить и дополнить новыми материалами работу «Нашествие Наполеона на Россию», которая должна была послужить основой для второй части трилогии. К последней части задуманной трилогии он так и не успел приступить. В то же время Е. В. Тарле продолжал работу и в других направлениях. В частности, посетив в 1953 г. Венгерскую Народную Республику, это была его последняя поездка за границу, он, как бы вернувшись к одной из тем своей ранней молодости, выступил с научным докладом по истории венгерского крестьянства в XV и XVI вв.

Не прекращал Е. В. Тарле и своей публицистической деятельности, продолжая освещать актуальные вопросы современной

---

[96] Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769—1774. М.—Л., 1945, стр. 43.

[97] Карл XII в 1708—1709 годах.— «Вопросы истории», 1950, № 6. Другой небольшой отрывок — После Полтавы — посмертно опубликован в журнале «Новая и новейшая история», 1957, № 1.

истории. На протяжении всех послевоенных лет — до конца своих дней — он публикует ряд статей («О Западном блоке», «По поводу речи Черчиля» и др.), в которых разоблачает агрессивные замыслы новых претендентов на мировое господство, реакционную политику руководящих кругов США и других империалистических держав, угрожающих миру атомной войной. В ряде статей Е. В. Тарле раскрывает основные принципы внешней политики Советского Союза и ту роль, которую он играет в современной истории («За мир, достойный великой победы», «Великая заслуга Советского Союза перед историей человечества», «Борьба за мир и демократию»). Свое острое оружие — перо и слово — Е. В. Тарле отдал служению делу борьбы за всеобщий мир.

Ученый, публицист и общественный деятель, Е. В. Тарле до последнего дня отдавал свои силы общему делу советского народа — борьбе за мир. Он был участником Вроцлавского конгресса деятелей культуры и активным членом Советского комитета защиты мира. Уже пораженный тяжелым недугом, находясь в больнице, Е. В. Тарле написал статью «Наша дипломатия», в которой показал, что, начиная с ленинского декрета о мире, принятого 8 ноября 1917 г., дипломатия Советского государства осуществляет новые, подлинно демократические принципы в области внешней политики и что именно поэтому «сотни миллионов людей доброй воли во всех концах нашей планеты» [98] поддерживают советскую дипломатию, «направленную на создание коллективной безопасности и укрепление сотрудничества между всеми государствами» [99]. Эта статья была напечатана посмертно. Е. В. Тарле умер 6 января 1955 г. на восьмидесятом году своей жизни.

* * *

Большой и сложный путь прошел Евгений Викторович Тарле за шестьдесят лет своей творческой жизни. Начав свой путь в конце XIX в. под влиянием «русской исторической школы» и ее народнических настроений, а затем испытав и отразив в своих работах некоторое влияние марксистской методологии, он оставался долгое время на позиции левого крыла буржуазно-либеральной историографии. Затем после Великой Октябрьской социалистической революции, в особенности в конце 20-х и в начале 30-х годов, пережив серьезную и глубокую идейно-политическую перестройку, Е. В. Тарле стал активным деятелем советской науки, культуры и общественной жизни. Дело советских историков детально, конкретно и всесторонне рассмотреть,

---

[98–99] Наша дипломатия.— «Новое время», 1955, № 3, стр. 14.

показать и оценить место Е. В. Тарле и каждой его работы в развитии русской историографии как в дореволюционный, так и в советский период, исследовать сложную эволюцию его научных, методологических и идейно-политических воззрений. Но уже теперь с полным правом можно утверждать, что труды этого выдающегося советского ученого являются крупным вкладом в мировую историографию.

Е. В. Тарле прожил большую и, можно сказать, счастливую жизнь: он познал радость огромного творческого труда, радость первооткрывателя новых исторических материалов, радость публициста, отдавшего свое перо служению советскому народу. И Советское правительство высоко оценило этот труд, наградив Е. В. Тарле тремя Сталинскими премиями и высшими орденами Советского Союза. И за рубежом научная деятельность Е. В. Тарле получила широкую известность: многие его работы переведены на иностранные языки; он был избран почетным доктором Сорбонны, университетов в Брно, Осло, Алжире и Праге, членом-корреспондентом Британской академии для поощрения исторических, философских и филологических наук, действительным членом Норвежской академии наук.

Исторические и публицистические работы Е. В. Тарле привлекают и еще долго будут привлекать к себе внимание и интерес не только специалистов-историков, но самых широких кругов читателей. Несомненно, это является одним из выражений их научной или историографической ценности. Ведь история учит, что самым трудным, но и самым верным испытанием ценности работ историка является сама история.

А. Ерусалимский

* * *

Настоящее издание рассчитано на 12 томов. Оно не является полным академическим изданием произведений Е. В. Тарле.

Распределение материала по томам и внутри томов в основном построено по хронологическому принципу.

В Сочинении будут напечатаны неизданные при жизни автора работы и неопубликованные материалы из его архива.

Тексты печатаются по прижизненным изданиям и там, где это возможно, сверены с рукописями.

Подстрочные примечания Е. В. Тарле печатаются без указания на их принадлежность автору. Редакционные примечания даются с указанием: *Ред.*

Правописание, принятое в настоящем издании, в основном соответствует современным нормам. Однако при этом сохраняются особенности в написании некоторых слов, собственных имен и географических названий.

Слова, ошибочно пропущенные автором, восстанавливаются по смыслу и приводятся в квадратных скобках.

Явные опечатки или описки в воспроизводимом источнике исправляются без оговорок.

Сокращенные слова печатаются полностью за исключением общепринятых сокращений (т. е., и т. д., и т. п.).

При воспроизведении рукописных источников после слов, чтение которых сомнительно, ставится знак вопроса в квадратных скобках: [?]. На место неразобранных слов ставится: [2 *нрзб.*], где цифра означает количество непрочитанных слов.

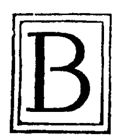
Места текста, комментируемые автором, обозначаются арабскими цифрами; комментарии даются в конце тома.

К томам II, III и некоторым другим прилагаются архивные документы, впервые обнаруженные и опубликованные Е. В. Тарле. Текст документов в настоящем издании печатается по публикации Е. В. Тарле. Подвергнуты унификации лишь нумерация документов и сокращенные названия научных учреждений, откуда извлечены документы.

В каждый том издания входит именной указатель.

В XII томе будет дана полная библиография трудов Е. В. Тарле.

ОТ РЕДАКТОРА ПЕРВОГО ТОМА



В первый том Сочинений Е. В. Тарле включены работы 1896—1907 гг. Эти ранние произведения свидетельствуют об интересе Е. В. Тарле в то время к передовым общественным движениям, идеям, деятелям разных эпох и о воздействии на него передовой научной мысли. Но кое в чем они неизбежно вызовут и неудовлетворенность советских читателей.

Ранняя работа «Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II» [1], при всей важности избранной молодым автором темы, несет на себе очевидные следы еще не преодоленных представлений об активной роли королей и пассивной роли народных масс в историческом процессе. Значительный шаг вперед представляют собой мастерские портреты политических деятелей XIX в.— Парнеля [2], Каннинга [3], однако и здесь читатель не должен рассчитывать найти законченный классовый

[1] Впервые опубликована в журнале «Русская мысль», 1896, № 7, стр. 18—36, № 8, стр. 1—17.

[2] Чарльз Парнель. (Страница из истории Англии и Ирландии). Впервые опубликовано в журнале «Мир божий», 1899, № 1, стр. 1—26; № 2, стр. 58—89; № 3, стр. 82—110. Печатается по кн. Е. В. Тарле. Очерки и характеристики из истории европейского общественного движения в XIX веке. СПб., 1903, стр. 55—141.

[3] Английская годовщина 1827—1902. (К семидесятипятилетию со дня смерти Джорджа Каннинга). Впервые опубликовано в журнале «Мир божий», 1902, № 1, стр. 198—223. Печатается по кн. Е. В. Тарле. Очерки и характеристики из истории европейского общественного движения в XIX веке. СПб., 1903, стр. 209—234.

анализ тех общественных сил, на которые они опирались. В то же время следует помнить, что автор был связан цензурными условиями и подчас принужден был прибегать к эзоповскому языку (например, «декабрьский бунт», стр. 294).

Магистерская диссертация Е. В. Тарле «Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени» [4], безусловно сохраняющая научный интерес и сейчас, при всех успехах последующего изучения бессмертной «Утопии» и ее автора, в некоторых отношениях все же устарела. Современная советская наука отнюдь не придает такого значения борьбе Мора за католическую веру, какое придавал Е. В. Тарле. В настоящем издании, к сожалению, пришлось опустить сделанный Е. В. Тарле и приложенный к изданию 1901 г. перевод с латинского «Утопии» и некоторых других текстов.

К 1903 г. относится статья «Чем объясняется современный интерес к экономической истории» [5], показывающая развитие методологических воззрений Е. В. Тарле накануне революции 1905 г. К 1904—1905 гг.— большая работа «Ирландия от восстания 1798 года до аграрной реформы нынешнего министерства» [6]. Эта работа в целом сохраняет все свое научное значение до наших дней. Следует лишь отметить преувеличение значения аграрного акта 1881 г., проведенного правительством Гладстона, и некоторую идеализацию таких деятелей, как Парнель и Фицджеральд, в ущерб оценке таких революционеров и демократов, как Митчель и Дэвитт.

Прямым откликом на революционные события 1905 г. является публикуемая далее статья Е. В. Тарле «Роль студенчества в революционном движении в Европе в 1848 г.» [7].

---

[4] Впервые опубликована отд. изд., СПб., «Мир божий», 1901, VI, 225, 127 стр.

[5] Впервые опубликована в журнале «Вестник и библиотека самообразования», 1903, № 17, стб. 739—743.

[6] Впервые опубликована в журнале «Мир божий», 1904, №№ 1—3, 5, 7—10, 12; 1905, №№ 7—9.

[7] Впервые опубликована под заглавием «Из прошлого европейских университетов» в журнале «Вестник и библиотека самообразования», 1905,

Наконец, как зрелый плод предшествовавшей идейной эволюции, совершавшейся, в частности, под воздействием революции 1905 г., следует рассматривать публикуемую в этом же томе монографию Е. В. Тарле «Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции (1789—1799)» [8].

Б. Поршнев

№ 12, стб. 356—360; № 13, стб. 397—402. Печатается по отд. изд., СПб., «Свободный труд», 1906, 28 стр.

[8] Впервые опубликовано отд. изд., СПб., «Общественная польза», 1907, 201 стр. (Зап. ист.-фил. фак. С.-Пб. ун-та, ч. 86).

Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II

Мало найдется явлений, которые были бы столь общи истории стран северо-восточной Европы, как повсеместное закрепощение, обезземеление и вообще ухудшение быта крестьян в течение XV и XVI вв. В эту эпоху в одних странах торгово-промышленная деятельность была еще только в зародыше, в других она начала приобретать то значение, когда известное экономическое явление становится заметным и сильным фактором совершенно новых общественных отношений; в одних монархическая власть была сильнее, в других слабее, но при всем разнообразии правовых, экономических и бытовых условий можно отметить как несомненный признак времени общую тенденцию дворянства к личному ведению сельскохозяйственных дел в принадлежащих ему землях и как параллельно возникающие и развивающиеся явления — обеднение крестьянской массы, превращение лиц земледельческого класса в крепостных, узурпация земель и юридических прав крестьян в пользу помещиков, словом, все те обстоятельства, которыми так богата фактическая история переходного времени XV, XVI и XVII вв.

Задачу настоящей работы составляет изложение тех условий, среди которых жило венгерское крестьянство до конца средних веков,— рассказ о перевороте, происшедшем в его жизни в начале нового времени, о состоянии крестьян в Венгрии со второй четверти XVI столетия, когда их положение может считаться вполне определившимся (по крайней мере юридически), до середины прошлого века и, наконец, очерк той части реформаторской деятельности Марии-Терезии, которая прямо касается крестьянского вопроса в Венгрии.

1

Можно, не рискуя впасть в ошибку, утверждать, что крепостного права не существовало в Венгрии в средние века и что в это время также рабство, не имеющее, впрочем, ничего общего ни по своему происхождению, ни по другим признакам с тем, что принято называть крепостным состоянием, уменьшалось и исчезало. По законодательству св. Стефана вся страна разделена была на графства (varmegye, Gespanschaft). Графством назывался округ с королевским бургом, к которому он относился [1] *. Крестьянское население графств было по законам св. Стефана лично свободно. Приписанные к бургу делились на coloni и milites (иначе Jobbagyones castri Burg-Jobbagyen). Кроме того, в графствах жили еще следующие категории населения: вольноотпущенные, королевские слуги (удворники) и рабы частных лиц. Jobbagyones castri представляли собой низшее дворянство и были обязаны перед бургом военной службой; политическое значение их состояло в том, что они были как бы постоянной армией, готовой в случае нужды поддержать королевских наместников (comites castri seu prochiani). В награду за службу они получали от короны ленные поместья, possessiones, которые были наследственны [2]. Таково было положение тех самых jobbagyones, которых в XVI уже веке мы видим крепкими земле. Что касается до удворников, то они жили по разбросанным в стране поместьям, лично принадлежавшим королю, и несли различные службы в сельском хозяйстве; в случае приезда короля в принадлежавшее ему имение одни из них должны были прислуживать в замке, другие — заботиться о съестных припасах для свиты, третьи — доставлять к королевскому столу вино и пр. Кроме этих лиц, связанных с бургом или короной некоторыми условиями, в графстве находились, как сказано, еще безусловно свободные люди, именно отпущенные на волю господином рабы. Так как после введения христианства освобождение рабов делалось в видах спасения души отпускающего, то такие вольноотпущенники назывались — от славянского корня—душениками (duschenici). По закону наследники умершего господина должны были отпустить на свободу раба, если из завещания явствует, что такова воля покойного [3]. При этом следует заметить, что законодательство св. Стефана ревниво охраняло свободу христианского населения страны; конечно, тут дело идет еще об уводе в рабство слабого сильным, а не закрепощении в позднейшем смысле слова; для стремлений закрепостить крестьян во времена короля Стефана не было еще подходящей экономической почвы, даро-

* Комментарии см. в конце книги.— *Ред.*

вые рабочие руки еще не были так нужны владельческому сословию; для нас важно лишь отметить явную тенденцию закона в охране личной свободы. Как бы ни смотреть на мотивы, руководившие Стефаном I, считать ли его верным сыном католической церкви, только о ее интересах и думавшим, или же чисто национальным государем-хозяином, нельзя не прийти к заключению, что его царствование было для Венгрии большим шагом вперед по пути культуры. Кроме приведенного закона, с этой точки зрения замечательны еще два [4], которыми положительно воспрещается под страхом штрафа и наказания лишать кого бы то ни было свободы; если же к суду будет привлечен человек, лишивший кого-либо свободы до издания настоящего декрета, то виновный штрафу не подвергается, но потерпевший должен быть выпущен на волю.

Нужно перенестись мыслью в те времена, когда не только свобода, но и жизнь человеческая не ставилась зачастую ни во что, когда правом, наиболее заслужившим название обычного, было кулачное право, чтобы понять все воспитательное значение подобных законов.

Ближайшие преемники Стефана следуют по его пути. При короле Андрее III за крестьянами закон подтверждает право по взносе подати (terragium) со всем своим имуществом переходить на земли других помещиков. Огромные пространства земли лежали в средних веках впусте; пештский ландтаг освободил от всяких податей и оброков тех земледельцев, которые селились на этих диких и необработанных местах [5]. Такое постановление узаконяло лишь то, что много лет практиковалось до того времени. Самыми льготными условиями пользовались лица, заселявшие земли короны; кроме всеобщей тогда полной личной свободы, за ними обеспечивалось обладание большим участком пахотного поля.

Особенно благоприятно было в этом смысле положение руссинского населения Венгрии. Венгерские руссины до самого конца средних веков были совершенно свободными людьми [6], не обязанными барщиной и весьма далекими от крепостного состояния. Они составляли и пополняли контингент постоянных телохранителей короля; это станет понятно, если принять во внимание, что по основным чертам своей духовной природы руссины стояли высоко, а смышленность, ловкость и хитрость были главными качествами, требовавшимися в те беспокойные времена дворцовых переворотов и придворных интриг от приближенных короля. Выбирать из них королевских лейб-гвардейцев до того вошло в обычай, что когда положение этого народа уже значительно ухудшилось, когда телохранителей-руссин не было и в помине, королевских камергеров все еще по старой памяти называли руссинами, хотя вербовались они уже

из природных венгерцев. Как jobbagyones castri, руссины получали лены за обязательную военную службу и пользовались полной личной свободой; любопытно то, что, по свидетельству Regestrum de Varad [7], указание на руссинское происхождение было достаточно для разрешения вопроса о состоянии данного лица.

Так, некоторые castrenses из Карасны объявили своих соседей людьми одного с собой положения, и дело рассматривалось комитатским судом. «Они сказали, что родом они руссины и люди свободные, и привели защитника своей свободы Чедура, родом руссина,—jobbagyonem Barnabe, который, утверждая, что они — его родственники, отстоял их свободу». Раз такое утверждение имело силу решающего дело, бесспорного довода, то ясно, что никогда не возбуждался в средние века даже вопрос о состоянии руссин: они были безусловно и de jure, и de facto свободны. Руссины состояли под личным, особым покровительством короны в случае, если находились не на земле помещика, в последнем же случае покровителем их становился уже землевладелец; так это было со многими пастухами, старавшимися устроиться на господских землях; те же пастухи, которые основались на королевских угодьях, причислены были к государственным крестьянам (Kronbauer); эти лица, так же как jobbagyones castri, обязаны защищать, когда нужно, бург и принимать участие в военных походах. За свои заслуги на войне jobbagyo мог даже быть возведен в рыцарский сан. Исследователь вопроса о происхождении и положении венгерских руссин, Bidermann, различает jobbagyones castri от не вполне свободных castrenses и, предполагая, что последние произошли из числа военнопленных, говорит, что в борьбе с венграми закарпатские руссины редко попадали в плен и поэтому ряды полусвободных castrenses пополнялись людьми нерусcинского племени. В начале венгерской истории мы видим даже, что военнопленные совершенно лишаются свободы и делаются рабами; кроме них, в рабство обращались также люди, обвиненные по приговору суда в некоторых преступлениях; так, например, этому наказанию подвергались нарушители закона, запрещавшего вывозить из государства скот без ведома пограничного смотрителя (comes confinii), и пограничные сторожа [8], уличенные в обходе приведенного постановления. Но случаи лишения свободы по судебному приговору были между руссинами крайне редки. В случае посягательства кого-либо на личную свободу руссина последний имел право жаловаться непосредственно королю, не нуждаясь для того в разрешении ближайшего начальства, и виновный должен был держать за то ответ лично перед королем [9]. Что касается до суда, то руссины, служившие при дворе, были подчинены в порядке судопроизводства особо-

му придворному судье, а жившие на землях короны и частных лиц — комитатскому наместнику (Obergespan); апелляционной инстанцией служили так называемые congregationes generales — собрания, созывавшиеся в каждом комитате королем или его уполномоченным. Эти congregationes были учреждением, из которого впоследствии развивались комитатские собрания (Landstände), занимавшие в венгерской конституции такое важное место [10]. Патримониальная юстиция играла немаловажную роль в деле закрепощения крестьян, и потому для нас интересно отметить, что в течение средних веков судебная компетенция Obergespan расширилась и что как раз в графствах, заселенных руссинами, звание это было связано с обладанием известных за́мков [11] и потому переходило от отца к сыну; таким образом, крестьяне привыкали видеть судебную власть остающейся в течение целых поколений в руках местных помещиков, и взгляд на государство как на источник всякой судебной власти утвердиться в народе не мог. По смыслу своих обязанностей Obergespan должен был защищать руссин-несолдат и вообще всех свободных людей именем короля от всяких насилий; для исполнения распоряжений Obergespan в его свите находились так называемые пристальды.

Как уже сказано, средоточием графства был бург, и все приписанные к нему без различий делились, смотря по роду отправляемых ими обязанностей, на десятки и сотни, находившиеся под началом у кастеляна [12] замка; это лицо заведовало финансовыми делами бурга и его хозяйственными нуждами. Общинное устройство не всюду было одинаково: оно различалось по тому, состояла ли данная община из переселившихся иммигрантов или же была основана свободными туземными крестьянами, избиравшими старосту [13]. Полусвободное население группировалось не по общинам, а по майорствам, во главе которых стояли майоры, назначаемые кастеляном бурга; кастеляном же утверждались майоры не прикрепленных, но все же не вполне лично свободных общин, тогда как «гости», т. е. упомянутые иммигранты, избирали сами своих представителей. Звание старосты было наследственно и потому долго держалось в одних и тех же семействах. Но уже в конце средних веков нередко, когда такая семья вымирала, помещик назначал сам старостой какого-нибудь обедневшего дворянина, который, конечно, был не представителем деревни, а скорее хозяйским приказчиком; поводом к назначению помещиком старосты мог быть также проступок со стороны бывшего Schulze, которого землевладелец и смещал с должности. Такие случаи стали учащаться уже в XIV—XV вв., когда в судьбах крестьянства Венгрии произошел переворот, лишивший его свободы и всех прежних прав.

Этот переворот случился не в одной Венгрии, а во всей Европе; шел он из общих условий, но, конечно, в каждой стране принял особый оттенок, смотря по характеру народа и условиям, в которых он застал страну. Всюду ознаменован он узурпаторскими стремлениями владельческих классов вконец прикрепить крестьян к земле и таким образом обеспечить за собой рабочие руки; всюду эти хищнические поползновения санкционируются в конце концов законодательной властью; почти повсеместно вспыхивают то мелкие возмущения, то страшные бунты, которые приводят за собой как непременное следствие виселицы, колесо, кнут и заметное ухудшение положения крестьян. Над большей частью европейского человечества навис в то время мрак, которому долго не суждено было рассеяться. Немногие благородные протестанты (как, например, профессор Dybvad [14] и его сын в Дании) дорогой ценой узнали, что в их эпоху дворяне были все, а крестьяне и другие сословия — ничто.

В Венгрии закрепостить и узаконить закрепощение крестьян было легче, чем где-либо, потому что в этой стране дворянство действительно было, по выражению Horwath, истинным «ядром нации». Люди, которые могли вынудить у монархической власти санкцию знаменитого 31 пункта Золотой буллы, легализующего вооруженное сопротивление в случае нарушения буллы королем, эти люди легко были в состоянии провести законодательным путем все меры, которые, как им казалось, были решительно необходимы для процветания высшего сословия. Экономический вопрос грозно тяготел над дворянством Европы и требовал настоятельно своего полного и немедленного разрешения. Как только жизнь поставила свою суровую дилемму, как только дворяне силой нового порядка вещей убедились, что им остается или разориться, или перестать только потреблять, участь крестьянского класса была решена и его прикрепление и совершенное лишение свободы стало лишь вопросом времени.

Всюду в Венгрии предстояла борьба; сила для этой борьбы у венгерского дворянства нашлась большая, а как она образовалась, я попытаюсь показать в последующем изложении.

2

Как высшему, так и низшему дворянству св. Стефан даровал полное право собственности и наследственной передачи тех земельных участков, которые дворяне получали в виде ленов. Земли эти могли быть конфискованы только лишь в случае государственной измены владельца [15].

Только с этого времени мы вправе до известной степени соединять понятие о магнатах (magnates proceres) с понятием

о низшем дворянстве (servientes regis, seu ordo equestris nobilium). Судьбы высшего духовенства и дворянства далеко не были тогда так слиты с судьбами низшего дворянства, как мы это видим впоследствии. До св. Стефана servientes regis не принимали никакого участия в конституционной жизни страны [16], а высшие прелаты и магнаты образовали в Венгрии полновластную олигархию [17]. Магнаты управляли страной бесконтрольно при малолетних королях в XI и XII вв.; они играли первенствующую роль на рейхстагах, принимали деятельное и властное участие в бесконечных спорах и войнах за престолонаследие. Золотая булла короля Андрея II уравняла все венгерское дворянство в правах, и с тех пор мы вправе рассматривать его как нечто цельное, как сословие, члены которого ничем не отличаются друг от друга по комплексу своих прав.

Золотая булла — венгерская Magna Charta, по мнению Pauler и Virozsil, ясно и положительно упрочивает за дворянством первенствующее положение в стране, утверждает за ним все старые привилегии и дарует новые. За ним подтверждаются все права, пожалованные св. Стефаном [18]; ежегодно в день св. Стефана servientes regis имеют право сходиться на дворянские собрания [19], созывавшиеся в этот день; имуществом своим каждый член дворянского сословия мог, за ничтожными исключениями, распорядиться в духовном завещании по усмотрению [20]; владения, данные когда-либо за службу, объявлены были полной собственностью [21]. Целым рядом других пунктов Золотая булла установляла положение дворянства как высшего сословия в государстве. На рейхстаге, при дворе, всюду дворянам принадлежит первое место, везде они являются господами положения. На заседания рейхстагов, например, они приходят в таком огромном количестве, что шум, беспорядки и всякого рода бесчинства рыцарей вызывают декрет Белы IV, воспрещающий посторонним дворянам (кроме 3 депутатов от каждого графства) являться на заседания [22]. Как характеристическую черту средневекового законодательства Венгрии нужно отметить стремление к полному уравнению высшего и низшего дворянства; кроме раньше уже приведенных законов, в этом смысле интересен декрет Людовика Великого, которым была подтверждена свобода всех дворян от налогов как правительственных, так и частных, установленных магнатами в их огромных поместьях [23]. К царствованию Людовика Великого придется еще вернуться вследствие выдающейся роли его в деле закрепощения крестьян, а пока прибавлю, что уравнение дворян Венгерского королевства шло в это время не только вглубь, но и вширь; Людовик приравнял в вольностях и привилегиях дворянство Славонии, Кроации и Далмации к дворянам собственно Венгрии; сделано это было в 1351 г. [24] В законодательстве, в

управлении, в суде дворянство стояло компактной массой; ко всему сказанному нужно еще присовокупить, что в Венгрии дворянство не было, как, например, в некоторых государствах северо-восточной Европы, чем-то пришлым, наносным, таким, чего могли и не припомнить крестьяне-аборигены местности; напротив, все те элементы, которые затем вошли в плоть и кровь дворянства как сословия, существовали еще в те времена, когда венгерская орда впервые рассыпалась по полям и пескам Паннонии. Характер венгерского народа, сильно развитое чувство собственного достоинства, отличавшее всегда каждого кровного венгерца, долгая и упорная борьба, которую пришлось им выдержать и до, и после занятия своей территории,— все эти обстоятельства способствовали выработке в Венгрии дворянского класса как важнейшей для политической жизни страны категории населения, сильной и материально — постановлениями закона, и нравственно — воззрениями окружающего общества. Дворянство было в полном смысле слова «душой и ядром нации» (слова Horwath), зерном народа венгерского в конституционном отношении, по выражению другого ученого[25]. Постоянные междоусобия, когда каждый претендент сулил всякие выгоды могущественному сословию, если оно пожелает стать под его знамена, погоня за чужими коронами, причем все блага земные обещались тем, чье содействие было существенно необходимо для осуществления завоевательных планов, вечные смуты и интриги, рождавшиеся в глубине королевского дворца и нередко бросавшие всю страну в пламя,— такого рода обстоятельства, конечно, сильно содействовали возвышению дворянства в ущерб монархической власти и на счет других сословий. Значение дворянства росло и росло, и в разрешении жгучего экономического вопроса, предложенного владельческому классу самой жизнью, нашлось содержание для применения огромной политической силы, скопившейся в его руках. Впоследствии юристы, повинуясь закону своей природы, который, по выражению Сент-Бева, повелевает им быть апологетами действительности, потратили очень много остроумия на приискание доказательств полнейшей законности, нравственной и исторической, современного им крепостного права, но едва ли ошибочно будет сказать, что переходный период XV и XVI вв. был временем всевозможных насилий, освящаемых тотчас по их учинении законодательством, насилий, где активным лицом является дворянство, а страждущим — крестьяне.

Один замечательный историк западноевропейского крестьянства (Sugenheim) ведет начало закрепощения венгерских крестьян от царствования Анжуйского дома. Действительно, король этой династии, Людовик Великий (1342—1382 гг.), в значительной степени содействовал превращению крестьян

в крепких земле, подвластных воле господина людей. Все меры, касающиеся интересующего нас предмета, обсуждались и были приняты на рейхстаге 1351 г. Этот рейхстаг был созван королем Людовиком после первых тревожных девяти лет правления, проведенных в почти беспрерывных войнах. В этих походах дворянство служило верой и правдой; долгие годы приходилось жить вдали от родины, тратить силы и деньги, и король, человек по-своему великодушный, готовился достойно возблагодарить своих servientes. Нужно было, кроме того, подумать еще и о прогрессирующем обеднении дворян, о том, что каждый новый поход расстраивает дела дворянина, заставляет его продавать или выменивать свое имение и делает на будущее время невозможным появление его в армию с достаточно сильным отрядом [26]; что, наконец, последние завоевательные прогулки в Италию сделали необходимой решительную реформу.

Таким образом, в 1351 г. потребность дать исход своему благодарному чувству находилась в сердце короля Людовика в полной гармонии с желанием сообщить бандериальной системе устойчивость и твердость. В этих видах Людовик признал необходимым ввести налог в $1/9$ часть со всех виноградных и некоторых полевых продуктов, которую крестьяне должны были выплачивать как дворянам-помещикам, так и духовным лицам, на землях которых они жили [27]. Sugenheim видит в этой мере желание оградить крестьянское население от беззаконных поборов землевладельцев установлением нормы — желание, оставшееся неисполненным и против воли короля ухудшившее положение крестьян. С таким мнением трудно согласиться; последний пункт этого закона, общее направление законодательной деятельности рейхстага и короля в 1351 г., кажется, довольно ясно показывает, что о крестьянском благе тут думалось меньше всего и что главной целью этого постановления (как и других, современных ему) было вознаградить служилое дворянское сословие за уже понесенные труды и расходы, побудить его к перенесению дальнейших материальных жертв, сопряженных с представлением значительных бандерий [28], и дать ему для этого достаточно средств. Эта мера страшно тяжело отозвалась на крестьянах и была одной из причин постоянного угнетения и закабаления их помещиками, так как хотя подобная подать практиковалась и раньше, но санкционирована не была, и преследовать за невзнос ее было труднее, нежели теперь, когда она получила силу государственного закона.

Мероприятием первостепенной важности было также ограничение права собственности дворянства над земельными угодьями; установлена была неотчуждаемость земли, и дворяне лишились возможности продавать свои имения даже для уплаты долгов. Этим подрывался в стране частный кредит, но зато

обеспечивалась до некоторой степени в будущем возможность затевать и осуществлять военные предприятия, к которым король Людовик во всю свою жизнь чувствовал великую склонность. По просьбе членов рейхстага он отменил 4-й пункт Золотой буллы, который утверждал неограниченное право собственности над землями дворян-владельцев [29], и положительно запретил отчуждать имения [30]. В случае же, если дворянское семейство вымерло, имение его нераздельно поступало в собственность короны; этот последний пункт закона [31] был направлен к тому, чтобы улучшить состояние королевской казны, опустошенной веселыми и тароватыми предшественниками Людовика. Но два закона этого года положили самое прочное основание крепостному праву Венгрии, именно: введение патримониальной юстиции и запрещение крестьянам переходить с земли без разрешения помещика на другую землю.

Патримониальная юстиция [32], как и везде, отдавала крестьянское население в безотчетное распоряжение помещика; для всевозможных превышений власти и произвольного расширения компетенции был открыт широкий простор; многие помещики, в особенности облеченные званием Obergespan, в награду за свою службу получали нередко право творить суд по серьезным уголовным делам [33] в своих имениях; быстрому и решительному захвату и расширению судебных полномочий способствовало то, что на помещиков вообще привыкли смотреть как на Obergespan и переносить на них понятие о всех правах, которыми пользовались последние. Своего человека, старосты, деревня уже не имела; сношения с высшей властью, вскоре сделавшиеся, впрочем, почти ненужными, за сосредоточением всех дел крестьянского населения в руках помещика,— сношения эти могли происходить только через того же самого помещика.

Что же касается до запрещения свободного перехода, то этим отменялось старое постановление ракоцского рейхстага (1298 г.), гласившее, что крестьянин имеет полное и неограниченное право по усмотрению покидать землю помещиков. О важности такого запрещения распространяться незачем, достаточно припомнить, что оно есть главный признак, входящий в понятие о крепостном праве.

Правда, при Сигизмунде, в 1397 г., право свободного перехода возвращено крестьянству, но через 62 года снова взято назад (в 1459 г.). XV век как в первую, так и во вторую свою половину переполнен всяческими насилиями: поминутно встречаешься с вопиющими случаями произвольного удержания крестьян членами владельческого сословия. Obergespan постоянно и повсеместно держат руку всемогущего дворянства, что особенно рельефно сказывается в их поведении относительно руссин: насилия, чинимые над руссинским крестьянством, оста-

ются совершенно безнаказанными, так что это слишком явное нарушение закона, по которому Obergespan'ы должны защищать руссин от всяких посягательств, вызывает эдикт 1471 г. (короля Матвея Корвина); в силу этого эдикта Obergespan'ам грозит отрешение от должности в случае бездействия власти.

Приводя закон 1471 г., Bidermann оттеняет то обстоятельство, что на крестьян уже смотрят решительно как на имущество помещика, что явствует из текста. Положены были также штрафы в 25 марок серебром за насильственное задержание крестьян, но, конечно, и это не помогло, уже прежде всего потому, что взыскания производить никто не отваживался: все суды были наполнены дворянами, все власти без исключения стояли на их стороне. Легальным образом добиться облегчения своей участи крестьяне не могли; они прибегали как к единственному и последнему средству — к страшному бунту, имевшему своим последствием, кроме бесчисленных казней, полное, решительное закрепощение венгерского крестьянства.

Это восстание (1514 г.) не было первым; глухое недовольство своим положением, раздражение за варварски строгое взыскание девятой части, за удержание крестьян по 5—6 дней на барщине, негодование против возмутительных проявлений произвола помещиков — эти причины не раз и до рокового 1514 г. приводили дело к вспышкам и вооруженным сопротивлениям.

Так, в 1437 г.[34] крестьяне восстали в Седмиградии и летом этого года подвергли дворянские имения опустошению. Никлас Чак, воевода седмиградский, призвав на помощь дворянству чеклеров и саксонцев, двинулся во главе соединенного войска против восставших; но людей, у которых все отнято, испугать трудно: произошла кровавая битва, крестьяне сражались с мужеством отчаяния, и исход битвы оказался нерешительным; прибегли к соглашению, по которому девятая часть должна была взиматься справедливо, по правильному расчету земли и имущества; крестьянин должен был отбывать барщину (robotten) лишь 3 раза в неделю, и закон 1298 г. должен был исполняться в точности, т. е. помещик ни под каким видом не должен препятствовать свободному переходу. Конечно, когда волнение утихло и опасность миновала, соглашение это потеряло всякую силу и значение, а право перехода, как уже было упомянуто, вскоре (1459 г.) было уничтожено. Вообще в это время полного падения королевского авторитета и бессилия городов мы вправе признать в Венгрии одну лишь реальную власть, именно власть поместного сословия, для которого все органы государства служат угодливыми и беспрекословными орудиями. Нет того нравственного или материального насилия, на которое не отважился бы помещик, и нет той обиды, которой крестьянин не должен

был бы опасаться со стороны господина. Не следует забывать, что в XV столетии весьма популярным и любимым занятием дворян был разбой [35] в точном смысле слова; можно себе представить, как мало различали крестьянскую собственность от своей люди, грабившие на больших дорогах проезжих и знавшие, что то же самое они могут делать с собственными крестьянами совсем уже без риска. Неоднократно подтверждаемое и отменяемое право перехода на другие земли было фактически совершенно утрачено благодаря главным образом патримониальному судопроизводству [36], которое делало в спорных случаях помещиков судьями в собственном деле, в редких случаях жалоб крестьяне получали формальное приказание повиноваться воле господина, да и самые-то жалобы стали делом далеко не безопасным.

Неудивительно, что на такой почве могло подготовиться страшное восстание, превзошедшее своими размерами все частичные вспышки XV столетия. То была так называемая война куруцов (Kuruzenkrieg), разразившаяся в 1514 г. Помещичье землевладение, эта почти исключительно тогда господствовавшая форма капитала, по выражению Лоренца Штейна [37], подверглась сильному нападению, но дворяне вышли из столкновения победителями и восставшие жестоко поплатились за неудачную попытку избавиться от своего невыносимого положения.

Благоприятные внешние обстоятельства, всегда необходимые (помимо, конечно, глубоко лежащих внутренних причин) для интенсивности массовых движений, представились в 1514 г. В этом году неудачно баллотировался на папский престол кардинал венгерец Томас Бакач (Thomas Bacacz). В вознаграждение за понесенную неудачу его назначили папским легатом для всех христианских стран восточной и северной Европы. Еще будучи в Риме, он получил из Венгрии известие, что султан Селим начал снова опустошительные набеги, временно было прекратившиеся. Тогда Бакач испросил у папы разрешение проповедовать крестовый поход против турок в тех краях, на которые простирались его легатские полномочия. Папа согласился, и Бакач вернулся в Венгрию уже с буллой о крестовом походе. Пока все это происходило в Риме, с султаном было заключено трехлетнее перемирие. Король Владислав очутился в очень затруднительном положении: не хотелось нарушать только что заключенное перемирие с таким противником, как султан; с другой стороны, являлся вопрос, что делать с кардиналом, который горячо настаивает на необходимости начать крестовый поход и для пропаганды употребляет все свое огромное влияние в стране? Король собрал государственный совет, где большинство дворянства сразу подало голос за предложение Бакача;

лишь очень ограниченное меньшинство поняло, какую тучу собирают их товарищи на свою голову. Предводитель этого меньшинства Стефан Телегди (Stephan Telegdy) произнес речь, которая, по счастью, сохранилась и имеет большую важность по отношению к интересующему нас вопросу как свидетельство современника. Она приведена у Фесслера, и некоторые части ее я позволю себе напомнить [38]. «Из кого будет состоять крестное ополчение? — между прочим сказал Телегди,— из бездомных бродяг, преступников, кормящихся преступлениями и бесчинствами... Не хочу я также отрицать, что крестьяне и сельские люди (Bauernvolk und Landleute) соберутся в огромном количестве под знамена креста, но, конечно, лишь те из них, кто хочет уклониться от работы, избежать наказания или же отомстить господам за их жестокое обращение. А что, если затем дворяне вследствие уклонения крестьян от должных трудов, вследствие оставления полевых работ станут жаловаться, тяготиться уменьшением или даже исчезновением доходности своих земельных поместий, потребуют назад своих ушедших людей? Что, если помещики, чтобы уже не умолчать ни об одной мере, на которую способна их корысть и жестокость, что если помещики ввергнут в узы и оковы оставшихся дома жен, детей и родственников ушедших? Если заставят их изнывать в тюрьме? Кто будет так наивен, чтобы ручаться, что при подобных обстоятельствах крестьяне позволят себя укротить, что возбужденные и вооруженные толпы не бросятся на дворян с целью спасти своих близких? Меч, наточенный против неверных, обратится на венгров, их жен, детей и оросится благородной кровью, от чего да сохранит их господь». Эта выдержка дает нам несколько любопытных указаний на тогдашние обстоятельства. Во-первых, ясно, что сельское хозяйство в помещичьих имениях держалось исключительно крестьянскими принудительными работами, без которых помещикам грозило, по словам Телегди, «уменьшение или даже исчезновение доходности земли». Во-вторых, с культурно-бытовой точки зрения интересно, что помещики еще до 1514 г., с которого обыкновенно считают начало самого мрачного периода истории венгерских крестьян, практиковали в случае надобности такие меры, как сажание подданных в оковы и тюрьмы (притом без различия пола и возраста). В-третьих, многозначительно то обстоятельство, что среди самого дворянского сословия раздавались предостерегающие голоса, шла речь об опасности вооружать для похода крестьян. Такие восстания, как бунт 1514 г., подготовляются не конспиративно; недовольство, подавленная злоба носятся в воздухе, становятся ощутительными для многих. Но для того, чтобы так ясно и верно предсказать событие, нужно, чтобы взрыв казался совершенно необходимым для всех хоть немного проницательных людей, чтобы

брожение в низшем слое стало заметно для членов других сословий. О нем, этом брожении, и его возможных результатах стали задумываться задолго до восстания, и этим только можно объяснить, что Телегди говорил о нем как о событии завтрашнего дня, решался даже предсказывать второстепенные подробности (например, в том месте речи [39], где он говорит о соединении восставших с польской и чешской чернью — Volkshaufen aus Polen und Böhmen).

Пророчество Телегди сбылось: много «благородной» и неблагородной крови было пролито в следующие месяцы в Венгрии, но во время заседания совета, долженствовавшего решить вопрос о войне с султаном, никто не обратил внимания на слова оратора, и в конце концов был объявлен крестовый поход против турок в апреле 1514 г.

Для крестьян, изнывавших под тяжким крепостным игом, воззвание к крестовому походу было равносильно неожиданному позволению сбросить с себя этот страшный гнет, и надежда на освобождение увлекла крестьян, как замечает Horwath, гораздо более, нежели обещанное отпущение грехов. Скоро в Пеште собралось около 40 тысяч человек, в Гроссвардине, Вейссенбурге, Калоцце — еще 30 тысяч крестьян, называвших себя куруцами, производя это слово от латинского crux, которое они постоянно в последнее время слышали и с которым привыкли соединять представление о походе [40]. Георг Доца (Georg Dozsa) был назначен начальником крестоносцев. Как раз ко времени горячей полевой работы крестьяне толпами стали покидать имения и уходить в лагерь Доцы. Случилось то, о чем говорил Телегди, и дворяне в точности исполнили все, на что он их считал способными. Кого помещик не успел удержать силой, того заставляли вернуться домой слухи о жестоких истязаниях, которым дома подвергается семья; кто приводился назад с дороги, платился сам варварскими наказаниями. В лагере Доцы все более и более назревало решение начать борьбу не с турками, а с домашними тиранами. Нужно к этому прибавить, что, кроме вестей о помещичьих надругательствах и насилиях, народные толпы возбуждались еще пламенными речами проповедника Лаврентия Мессароса, обличавшего дворянство во всевозможных пороках и преступлениях, в том числе и «в сопротивлении святому делу борьбы с неверными». Налицо было все для доведения до крайних пределов народной ярости; куруцам казалось, что сам бог устами Лаврентия и других духовных лиц, бывших, конечно, на стороне кардинала Бакача, повелевает им идти против своих угнетателей, освободить несчастные семьи от преследований и отомстить дворянству за все его прегрешения. Недоставало лишь в первое время предводителя, но и предводитель скоро нашелся.

Замечательной личностью был Доца; это был один из тех людей, про которых говорится, что в каком бы они сословии ни родились, все равно попадут в конце концов на виселицу. Он был ловок, умен, безумно храбр, способен на быстрые решения, на отчаянный риск. Слава о его невероятной храбрости давно уже шла в народе; теперь она приковала к нему взоры всех собравшихся под его знамена куруцов. Доца решил, что настало время освободить страну от угнетения ее дворянством и привести в исполнение некоторые личные свои замыслы, и объявил себя на стороне восстания. Началась страшная война. Народ разорял помещичьи усадьбы, избивал их самих, пощады не было никому. Дворяне сначала в нескольких стычках одержали верх над нестройными массами куруцов, но Доца с ядром армии восставших атаке пока не подвергался. Он остановился на мысли занять какой-нибудь укрепленный пункт, который бы сделался операционным базисом для восстания, и произвел с этой целью нападение на Чегедин, но безуспешно, затем двинулся к Чанаду, разбил стоявших там графа Батория и епископа и взял крепость. Отсюда он разослал по стране прокламации, в которых объявлял, что дворянство должно быть истреблено совершенно; рисовал при этом яркими красками все проявления той страшной тирании, которой ознаменовали себя помещики в своих отношениях к крестьянам; наконец, провозглашал отмену королевского достоинства [41]. После этого куруцы стали свирепствовать еще более; все дворянские имения вокруг Чанада были подвергнуты опустошению, а владельцы их перебиты. Едва спасшийся Баторий кое-как укрепил Темешвар, как туда действительно вскоре двинулись и куруцы. Осажденный Баторий просил помощи у графа Заполья; для положения тогдашних дел характеристично, что он должен был умолять Иоанна Заполья забыть семейную вражду и помочь ему, точно будто это было милостью, а не обязанностью Заполья как генерала той же армии, в которой служил и Баторий. На второй месяц осады Заполья явился на выручку; произошла битва, в которой куруцы потерпели поражение и бо́льшая часть их была перебита преследовавшими победителями во время бегства. Сам Доца был взят в плен и варварски замучен вместе с массой своих товарищей; среди страшных терзаний он не испустил ни одного стона и умер, возбудив невольное удивление своих палачей [42]. В лагере побежденных были найдены и преданы голодной смерти жены и дети куруцов; колесования, пытки, казни длились без конца. Испробовано было все, что только могла сделать человеческая изобретательность в области истязаний и пыток. Вскоре были уничтожены и мелкие, бродившие там и сям, шайки куруцов, и в конце того же страшного 1514 г. королем был созван в Офене рейхстаг. Этот рейхстаг поистине может быть назван, если упо-

требить выражение более близкого к нам времени, chambre introuvable для дворянства, далеко еще не утолившего жажды мести, несмотря на все страшные кары, постигшие восставших. Вот меры, санкционированные этим собранием; каждый крестьянин, обладающий двором, который приносит 3 дуката дохода, должен 1 дукат отдавать помещику; взнос девятой части распространяется уже на все произведения земли [43]; барщина увеличивается на один день против прежнего [44]; назначаются штрафы за убытки, понесенные дворянскими имениями во время бунта, и общая сумма штрафных денег была распределена между всеми деревнями, принимавшими хотя какое-нибудь участие в бунте. Рейхстаг был, очевидно, того мнения, что не все крестьянство повинно в страшных событиях 1514 г.; это явствует из той статьи декрета, где говорится о наказании виновных [45]; однако на деле различие это очень часто упускалось из виду исполнителями.

Впрочем, из других пунктов того же самого декрета ясно, что законодатели вели себя так, как обыкновенно ведет себя политическая партия или социальная группа на другой день после победы, если она к тому же ожесточена упорным сопротивлением. Декрет 1514 г. продиктован был страстью, и логика поэтому в нем совершенно отсутствует; мы везде видели по 13-й статье, что между крестьянами предполагаются и невинные люди, что рекомендуется оставлять последних в покое. Между тем в следующей же статье говорится [46], что за свои преступления *все* крестьяне в государстве теряют ту свободу, которую еще признавал за ними закон, и остаются у своих помещиков в вечном, наследственном рабстве.

Другие статьи также сильно ограничивают гражданские права *всего* крестьянства. Этот пример непоследовательности законодателей интересен для характеристики их настроения, от которого зависела судьба венгерского земледельческого класса в эти дни. Право свободного перехода, много раз отнимаемое, подтверждаемое и нарушаемое в предыдущем столетии, было окончательно уничтожено; земледелец стал надолго крепким земле, рабом помещика, его вещью, скотом, по выражению Горвата. Крестьяне вскоре были даже выключены из понятия о венгерской нации, несмотря на то, что как раз к этому времени на них были возложены, как увидим, новые общегосударственные тяготы.

Закрепощение было окончательно приведено в систему в знаменитом Tripartitum — уложении, составленном королевским протонотариусом Стефаном Вербеции. Это уложение было обсуждено и принято законодательным собранием и утверждено королем Владиславом. Tripartitum, говорит Бидерман, нанесло смертельный удар национальному существованию венгер-

ских руссин, а, по признанию сербских историков Бранковича и Раича, появление этого уложения имело те же последствия по отношению к венгерским сербам. Главной причиной популярности и быстрого распространения Tripartitum были некоторые характеристические его особенности. Tripartitum выделяет из населения Венгерского королевства собственно нацию, под которой понимаются *исключительно дворяне,* от остальных классов (Plebejn, как они там названы). Что касается до руссин, то знатнейшие из них вошли в состав дворянства, остальная масса разделила участь венгерских крестьян, т. е. была обращена в безгласных и бесправных крепостных людей. Пастухам же руссинским оставалось либо выселиться из страны, либо сделаться крепостными дворян, к которым уже перешла в это время лично принадлежавшая прежде королю выгонная земля, и образовать по примеру своих собратьев «крестьянские общины». Впрочем, они продолжали пользоваться одним преимуществом, которого не было у закрепощенных в это время членов оседлых скультециальных общин, именно — они удержали за собой свой особый автономный суд (конечно, по специальным делам своего сословия); эти суды — Hirtengedinge — держались довольно долго: еще в 1733 г. руссинские пастухи творили свой суд в Попраде [47]; Hirtengedinge обладали также и некоторой долей полицейской власти.

Итак, все руссинские вольности и привилегии исчезли и были позабыты, так же как и остаток свободы, которой пользовалось прежде и остальное крестьянство Венгрии. Что касается специальной роли Tripartitum в деле закрепощения крестьян, то мне кажется, что творение Вербецци сделало в истории венгерского крестьянства то же, что сделали Bauernordnungen XVI и XVII вв. в Германии, т. е. осуществило (вместе с декретом 1514 г.) и окончательно кодифицировало ту теорию, которая давно была уже властительницей дворянских дум,— теорию, по которой все Hörige и другие категории земледельческого класса должны были стать крепостными поместного сословия. Недаром Tripartitum пришелся так по вкусу всемогущему дворянству, недаром так усердно переводился и пропагандировался. Статьи [48] Tripartitum о крестьянском состоянии надолго сделались государственными законами, регулировавшими отношения между крестьянами и помещиками, если только тут уместно слово регулировать. Эти отношения получили совершенно определенный характер; крестьянин есть вещь (res) помещика и обязан перед ним безусловным повиновением и выполнением всех своих бесчисленных повинностей. В случае ослушания он подвергается самым суровым наказаниям.

«Со стонами и слезами» [49] обрабатывал крестьянин поле своего господина; возрастающая роскошь магнатов и вообще

владельческого класса страшным бременем ложилась на единственного производителя-земледельца; даже мелкие поместья исчезали, так как в те времена имущество далеко не было обеспечено от любостяжательных и всемогущих магнатов; все более и более распространявшаяся подкупность и угодливость судей и администраторов немедленно легализировали всякое правонарушение, раз оно было учинено богатым и знатным магнатом или прелатом. Ввиду этого мелкие землевладельцы старались избавиться от своих участков путем продажи и переезжали в города, иные закладывали поместья и с полученными деньгами являлись ко двору. Насколько можно судить по отрывочным сведениям, земля сильно упала в цене, а предметы первой необходимости повысились. Так, например, четверть овса стоила в 90-х годах XV в. всего 5 пфенингов серебром, а в 1526 г. уже 25 пфенингов серебром. При таком страшно быстром возрастании цен на предметы первой необходимости понятны и бесчисленные случаи насильственного удержания крестьян на земле, когда еще существовало право свободного перехода, и истинный характер постановлений 1514 г., которые были разом и уголовным наказанием, и экономическими мерами. Ясно, что не мог помещик испугаться штрафа в 25 марок серебром, положенного за незаконное удержание крестьян, потому что очутиться летом без рабочих рук для него значило не 25 марками поплатиться, а остаться на зиму без хлеба и денег; ясно и то, что закрепощение — glebae adscriptio — есть первое мероприятие, за которое ухватились законодатели офенского рейхстага, поставленные судьбой в редко благоприятное двойное положение: карателей крестьянского сословия и eo ipso устроителей благосостояния того класса, к которому сами принадлежали. А Стефан Вербецци сообщил всему делу внешний колорит непререкаемой юридической правоты и тем увенчал здание, постройка которого началась за много лет до него и которому суждено было просуществовать еще больше в будущем.

3

Итак, лишенное всех гражданских прав крестьянство, прежние свободные и полусвободные члены которого были теперь уравнены общим рабством, перестало даже считаться частью народа [50]. Права были отняты все; что же касается до обязанностей, то в эту пору на крестьянство была возложена новая тяжелая повинность, стоявшая в тесной связи с изменившейся системой ополчения. До того времени (т. е. до 1526 г.) крестьяне если поступали в ряды войска, то только как принадлежность помещика (Zugehör), обязанного пожертвовать для отечества в минуту необходимости частью своего имущества, значит, *в том*

числе и частью крестьян; но последним не вменялось в личную обязанность являться к набору в определенный срок и записываться в ряды защитников государства и самобытного существования нации, членами которой закон их не признавал. Теперь же, через 12 лет после того, как крестьяне и их потомки торжественно были осуждены на вечное рабство, ракоцский рейхстаг призвал крестьян *как сословие* к непременному отбыванию военной службы [51]. Конечно, люди эти не могли чувствовать любви к родине, бывшей для них, по выражению Горвата, мачехой, и страшное могачское поражение между многим прочим объясняется и апатией, проявленной большинством венгерской армии в трудную минуту для безжалостного к этому большинству государства. Крестьяне, подавленные непосильными тяготами, которые возлагали на них Grundherr'ы и правительство, не увидели перемены в своем положении до самого царствования Марии-Терезии. Я попытаюсь в этой главе сначала указать на те незначительные по своим следствиям события, которые имели место в этот период в истории венгерского крестьянства, а затем на некоторые проявления протеста короны против помещичьих насилий, протеста, отличавшего Габсбургов, начиная с первого же представителя их на престоле,— св. Стефана.

Из частичных вспышек, происходивших в указанную эпоху, заслуживает упоминовения одна, случившаяся в 1572 г. В самом конце этого года к императору Максимилиану явились ходоки от крестьян поместий Самчедвары и Стубицы [52], принадлежавших одному из знатнейших магнатов Славонии, Францу Таги (Franz Tahy). Они принесли императору самые горькие жалобы на насилия, которые терпят от своего господина. Максимилиан послал для более близкого расследования дела и удовлетворения обиженных крестьян веспримского епископа Стефана Фейеркови и еще несколько доверенных лиц. Уполномоченные прибыли как раз к тому времени, когда Landstände собрались в Аграме, и, вместо того, чтобы самим отправиться в имения Таги и на месте собрать требуемые сведения, императорские посланные велели вызвать в Аграм крестьян, приносивших жалобу императору. Когда те явились, им было прочитано наставление об обязанностях по отношению к помещику и в заключение приказано было от имени императора подчиняться и повиноваться помещику (Unterwerfung und gehorsam). Крестьяне после этого подали письменное заявление, в котором объясняли, что их жалобы уже давно рассмотрены императором, найдены основательными и что уполномоченным нужно только привести в исполнение приговор, а не рассматривать дела вновь по существу, что поэтому они, крестьяне, Франца Таги своим господином не признают и ни ему, ни его потомкам повиноваться не намерены, но охотно подчинятся во всем воле монарха или того, кто будет им

назначен. Но тут все дело перешло почему-то в число очередных вопросов, которые должны были рассматриваться собравшимися Landstände. Ясно, что ничего хорошего не могли ожидать крестьяне от собрания, находившегося под влиянием могущественного Таги: жалобщики были объявлены государственными изменниками и поставлены вне покровительства законов. Такое решение довело крестьян до совершенного отчаяния и толкнуло их на ряд поступков, от которых они до того были очень далеки. Самчедварцы принялись возбуждать окрестные деревни к возмущению против дворян, и через несколько недель все крестьянское население между реками Кульпой и Савой присоединилось к восстанию; соседние деревни в Крайне также приняли в нем участие. Предводителем был избран Матвей Губек, известный всем за ярого ненавистника знати. Целый месяц этот «крестьянский король» (Bauernkönig) опустошал страну с обычной в таких случаях жестокостью, но отсутствие выдержки и дисциплины погубило и на этот раз крестьянское дело: в решительный момент во время кровопролитного сражения восставшие дрогнули и побежали. Победители преследовали их и взяли в плен и замучили Губека не менее варварски, чем Георга Доцу за 58 лет перед тем. Во всем этом происшествии характерно как знамение времени поведение Landstände. Эти провинциальные земские собрания чувствовали себя в те времена достаточно сильными, чтобы при всяком удобном случае противодействовать короне в ее стремлениях хотя сколько-нибудь, хоть паллиативно, облегчить участь крестьян. В данных обстоятельствах Landstände произвольно подвели под свою компетенцию дело предпринятой лично императором правительственной ревизии, постановили по этому делу решение, очевидно, прямо противоречившее вероятным поступкам императора в будущем, и этим вызвали сильное народное волнение. Чтобы понять все значение провинциальных собраний, нужно припомнить, что в то время и позже «государственная власть вынуждена была либо ограничивать действие изданных ею же указов в пользу крестьян, либо совершенно отменять их благодаря протестам и энергическому сопротивлению одних только провинциальных земских собраний (Landstände), на которых землевладельцы играли видную роль» [53].

Если принять это в соображение, то ясно станет, что в данном случае поведение Landstände было вполне обыденным и ничего особенно неожиданного для современников представлять не могло. Дело крестьян Франца Таги — только одно из частых и ярких проявлений тогдашней силы местных собраний. Что же касается до самого бунта 1573 г., то он, подобно всем современным и аналогичным восстаниям, не был всенародной войной, а лишь борьбой части низшего сословия, а потому и он, этот

бунт, и все такие восстания были, по выражению Лоренца Штейна [54], также осуждены на бессилие, как возмущения рабов в древнем Риме.

Кроме домашних угнетателей и разорителей, крестьяне в это время сильно страдали и от хищнических набегов турок; с целью хотя как-нибудь защитить себя от страшных врагов, крестьяне образовывали даже целые союзы, называвшиеся «paraszt varmegye» [55]; но, конечно, позволительно усомниться в действительной силе этих союзов там, где нередко оказывались бессильными правильно организованные гарнизоны, обладавшие всем тогдашним вооружением. Итак, положение венгерских крестьян в конце XVI в., когда разразилась пятнадцатилетняя война с турками, можно назвать поистине отчаянным. В этом отношении судьба их не изменилась и в XVII в.; через это столетие, так же как через предыдущее, красной нитью проходит бесконечная борьба Венгрии с Портой — борьба, в течение которой крестьяне не могли себя чувствовать безопасными даже во время коротких перемирий: то, что вырабатывалось за 2 дня в неделю, предоставленные земледельцу для работы на себя, нередко уничтожалось вместе с его жилищем при каком-нибудь нечаянном набеге, всегда сопровождавшемся грабежом и поджогами.

Но, как сказано, такое бедственное состояние земледельческого класса не раз вызывало протест со стороны монархической власти; протесты эти оставались в общем гласом вопиющего в пустыне вследствие положения самих государей, сильно ограниченных во власти вольностями и привилегиями дворянства и обязанных даже в XVIII в. давать клятвенное обещание ни в чем не нарушать исконных венгерских законов. Тем не менее протест время от времени раздавался, и так как это было единственной в то время оппозицией против насилий, чинимых поместным сословием, то мы остановимся на ее проявлениях.

В начале своего царствования император Фердинанд I выразил робкое и скромное желание улучшить обращение землевладельцев с крестьянами. Дворяне, конечно, не хотели о том и слышать, и в 1542 г. Фердинанд в послании к Саросскому дворянскому собранию должен был отказаться от своих намерений [56] и ограничиться лишь приказанием, чтобы чиновники-управители лучше обходились с крестьянами на тех венгерских землях, которые принадлежали ему лично как Grundherr'у. Но этим дело не кончилось. В 1547 г. император предложил [57] рейхстагу возвратить право свободного перехода крестьянам, ссылаясь на то, что все бедствия и поражения, которые понесла в последнее время страна, посланы, по его мнению, самим богом в наказание за угнетение земледельческого сословия. Рейхстаг принял предложение императора, но исполнено оно не было,

хотя Фердинанд, внося его на обсуждение, был, очевидно, уверен в том, что закон войдет в силу тотчас по своем утверждении; такое впечатление производит тщательная разработанность этого декрета. К приведенной 26-й статье его прибавлены были еще три; одна из них [58] установляла порядок, которого должен был держаться крестьянин, желающий перейти из одного поместья в другое; он был обязан известить сначала своего будущего хозяина, а затем комитатского судью; двор и дом выселяющегося должны остаться собственностью господина. Следующие два параграфа назначили штаф в 200 флоринов в случае если кто-либо силой станет задерживать желающего выселиться, и приравнивали даже угрозы к насильственному задержанию, полагая для провинившегося в том землевладельца то же наказание, как и для нарушившего предыдущую статью, т. е. штраф в 200 флоринов. Но, как я уже заметил, эти постановления не получили никогда действительной силы и остались таким же пустым звуком, как и выраженное императором за несколько лет перед тем желание прийти на помощь своим несчастным подданным. Вообще Габсбурги всегда желали облегчить участь венгерского крестьянства, но, по мнению Бидермана, не решались произвести насильственного освобождения крестьян, потому что полагали, что дворянство в благодарность за то будет уступчивее по отношению к разным мероприятиям верховной власти, касающимся так или иначе конституции страны. Конечно, никакой благодарности дворяне никогда за это не выказали, а крестьянами завладели понемногу так, что императоры позже, в XVII в., уже не могли иметь к ним прямого касательства, и, по словам историка, «солнце королевской милости никогда уже не освещало крестьянина прямо, но только через призму дворянской скорлупы» [59]. Во второй половине XVII столетия хотел также помочь крестьянству и Леопольд, но к концу правления отступил от своего намерения, не желая вооружать против себя поместное сословие. Для того чтобы получить правильное представление об истинном положении венгерского крестьянства, Леопольд пользовался военными комиссарами (Kriegskommissäre); но даже он, император Леопольд, человек, проведший всю свою жизнь в борьбе с венгерской знатью, не решился на более действенное участие в судьбах сельского населения, чем только рассылка по Венгрии комиссаров и собирание сведений о положении крестьян. Вообще все бесконечные перипетии борьбы императорской власти с венгерскими магнатами вплоть до самого Сатмарского мира в 1711 г. не имели ровно никакого благотворного влияния на судьбу крестьянства [60]. Впрочем, у Габсбургов чувство жалости к несчастному венгерскому крестьянству нередко встречалось с неприязнью к его религии: крестьянин был угнетен, забит, жил впроголодь, но

вместе с тем он был протестант, которого надлежало всяческими мерами возвратить на путь истины; нужно заметить, что второе чувство (неприязнь к религии) обыкновенно оказывалось сильнее первого (жалости). Этим объясняется та непонятная без того верность, с которой крестьяне во время распрей императоров с магнатами всегда становились на сторону последних[61]: религиозные притеснения и преследования заставляли венгерского крестьянина защищать своего жестокого, но единственного господина. В законодательстве Леопольда мы не находим никаких следов, по которым можно было бы заключить о твердом желании настоять на своем; относительно мадьярского крестьянина им не было сделано даже того, что он нашел возможным сделать для собственного австрийского, т. е. не было вменено в обязанность помещику «не обременять барщиной крестьянина и не препятствовать ему заботиться о собственном пропитании»[62]. Итак, между весьма многими другими причинами нерешительность верховной власти по отношению к венгерскому крестьянскому вопросу нужно приписать и тому, что Sugenheim называет близоруким фанатизмом Габсбургов (Kurzsichtiger Fanatismus Habsburgs).

Карл VI может быть назван провозвестником наступления лучших времен для венгерских крестьян. Он установил фактический контроль над взиманием податей с крестьян; для определения истинной платежной способности населения по деревням были рассылаемы и те Kriegskommissäre, которыми пользовался еще Леопольд, и новые должностные лица, 10 провинциальных комиссаров, которые обязаны были следить за правильной и равномерной раскладкой податей и в особенности за тем, чтобы повинности по отношению к помещикам не смешивались с общегосударственными[63]. Хотя институт этот был введен с согласия венгерских Landstände, однако назначение комиссаров было предоставлено венскому Hofkriegsrat'у: вообще же их можно причислить ко второй группе органов королевской власти (определению, предложенному историком венгерского государственного права—Вирошелем), и к тому именно подразделению этой второй группы, под которое подходит обязанность защищать подданных именем монарха от всевозможных притеснений со стороны землевладельцев королевства[64]. Замечательно также желание Карла, чтобы в вице-графы (vice-gespan) выбирались люди «некорыстолюбивые и не бедные», а потому и независимые[65]. Но, конечно, на практике это желание осталось неисполненным: vice-gespan по-прежнему во всем оставались ставленниками своих избирателей-помещиков; что же касается до их нравственных качеств, то позволительно, разумеется, думать, что и после декрета 1723 г. личная этика vice-gespan была так же далека от идеала, как и до издания этого закона.

Нужно вполне согласиться с теми, кто держится убеждения, что эта статья осталась лишь pium desiderium (см. Bidermann. Цит. соч., стр. 101; Das blieb freilich ein frommer Wunsch). Делал император Карл и попытки урегулировать отношения крестьян к владельцам, но ввести в Венгрии Urbarium, как это он сделал относительно Славонии, не решился [66]. Попытки эти относятся: к 1715 г., когда была предпринята перепись податного населения, причем обращалось внимание и на экономическое положение массы; к 1720 г., когда был издан Patent, регулировавший взимание с крестьян податей; к 1728 г., когда Карл наконец предложил вопрос об урбарии на обсуждение венгерскому ландтагу; проект был принят очень неблагосклонно, к императору посылали даже депутатов с просьбой, чтобы он взял назад свое предложение.

Итак, когда умер император Карл VI, венгерское крестьянство находилось в таком же страшно тяжелом и подавленном положении, как и до его царствования. Ничего не было сделано, попытки пока оставались только попытками, не оказывавшими никакого влияния на жизнь, да и предъявлявшими свои права на такое влияние очень робко и неуверенно.

4

Восемнадцатый век был для Венгрии веком борьбы центральной власти с дворянством и его сепаративными стремлениями, и опыты крестьянской реформы, произведенные Марией-Терезией и в особенности Иосифом II, определяются в значительной степени желанием венского правительства возвысить престиж и увеличить политическое могущество государства в ущерб значению магнатов и дворян. Это направление правительственной мысли было общо в большей или меньшей степени всей тогдашней Европе, по крайней мере тем странам, где борьба государства с дворянством не была еще так бесповоротно и положительно закончена, как то имело место, например, во Франции. В Венгрии борьба эта, особенно обострившаяся в царствование Иосифа II, должна была выйти очень напряженной и трудной для центральной власти: редко где дворяне были так сильны и, по закону, и по обычаю, редко где они были так резко и решительно отделены всякими правами и привилегиями от остальных категорий населения.

Уже это одно сделало бы борьбу тяжелой для носителя монархической власти, даже если бы он был кровным венгерцем, управлявшим страной из коренного венгерского города; но ведь дело обстояло совсем не так: Венгрия управлялась чужеземными государями, проживавшими, несмотря на многочисленные приглашения, адресы и обещания, в Вене и оттуда присылавшими

свои распоряжения; за каждым их шагом Landstände следили ревниво и подозрительно, в каждом мероприятии стараясь видеть стремление к нарушению исконных вольностей нации (а мы уже видели, что понималось под словом «нация» со времен Стефана Вербеции). Автономия Венгрии была далеко не призрачна; клятва, которую еще и в XVIII в. приносили императоры, вступая на венгерский престол, исполнялась неукоснительно. В своих стремлениях сломать силу поместного сословия и амальгамировать Венгрию с Австрией венское правительство 80-х годов прошлого века натолкнулось на препятствия, оказавшиеся по времени неодолимыми. Но это произошло уже тогда, когда борьба обострилась; в течение же царствования Марии-Терезии она шла скрыто и не прорывалась так сильно и шумно, как впоследствии при сыне императрицы.

Реформы в Австрии не принадлежат ни к одному из двух чистых типов реформаторского движения XVIII в., которые теперь различаются в этом движении [67]: ни к тому, который характеризуется главным образом желанием расширить и усилить центральную власть, ни к тому, который отмечен стремлением применить на практике новые экономические теории. Реформа в Австрии совершалась при взаимодействии этих двух течений. Видеть прочную единую центральную власть, утвердившуюся на обломках всякого рода областных автономий, было действительно мечтой, целью и смыслом жизни такого человека, как Иосиф II; но тут с личными влечениями императора совпадали некоторые черты учения физиократов, и тем с бо́льшим жаром ухватился император за новую доктрину, в которой находил теоретическое обоснование и оправдание своих заветных дум. Восемнадцатый век вообще был веком быстрого и непосредственного приложения к делу вырабатывавшихся человеческой мыслью идей и идеалов. Насколько прочно прививались эти идеи, много ли из них и что именно действительно сейчас же вошло в жизнь и не было взято назад, сколько вынужденных и добровольных, венценосных и простых ренегатств видел этот век — другой вопрос. Но никогда, кажется, так лихорадочно быстро не переходили иные идеи в действительность, как тогда; никогда «идеология», столь гонимая и презираемая впоследствии большими и маленькими наполеонами разных стран и народов, не имела такого решительного и зачастую непосредственного влияния на направления правительственной мысли в Европе, как в это время.

Что касается интересующего нас вопроса, то нужно заметить, что хотя реформаторские попытки как Марии-Терезии, так и ее сына имели место уже во второй половине XVIII столетия, но для императрицы новые экономические теории еще не были одним из стимулов к деятельности на поприще крестьянской

реформы, в то время как Иосиф уже находился под несомненным влиянием учения школы Кене. Иначе говоря, по характеристическим своим признакам реформа Марии-Терезии принадлежит еще к первой половине XVIII в., когда государство, почуявшее свою силу, пожелало изменить отношения между крестьянами и поместными владельцами, причем эти благие желания постоянно перепутывались со стремлениями обеспечить интересы фиска и уменьшить затруднения государственной казны; реформа Марии-Терезии имела также одним из источников гуманное сердце императрицы, но о влиянии нового движения экономической науки тут, кажется, говорить еще нельзя; реформа же Иосифа II принадлежит уже ко второй половине XVIII в. не только хронологически, но и по самым существенным признакам. Деятельность Иосифа затрагивает такую массу самых разнообразных вопросов, что исследование ее результатов выходит далеко за пределы настоящей работы.

Царствование Марии-Терезии могло бы быть разделено в венгерской истории на два периода. В течение первого императрица 3 раза созывает Landstände, совещается с ними по всем важнейшим вопросам управления, и конституционная жизнь страны продолжается совершенно нормально. Кончается этот период 1764 г., после которого положение дел изменяется: Мария-Терезия вступает на путь административных реформ; Landstände, несмотря на настойчиво и часто выражаемое дворянством желание, не собираются, и венское правительство правит Венгрией как австрийской провинцией, ничем от других не отличающейся; автономия страны не играет никакой роли, и коренные начала государственного права не осуществляются. Этот второй период длится до самой смерти императрицы. В эпоху 1764—1780 гг. вся конституционная машина Венгрии оставалась в бездействии, хотя правительство и не посягало на ее целость и неприкосновенность; это время можно было бы, кажется, сравнить, разумеется mutatis mutandis, с эпохой Тюдоров в Англии, когда государственные начала оставались так же неприкосновенны и так же бесчисленны. Впрочем, недовольных в описываемое время в Венгрии было гораздо больше, нежели в Англии XVI столетия. Реформы Марии-Терезии отличались социально-экономическим характером и затрагивали имущественные интересы многочисленного и влиятельного сословия, так что без сильных, хотя бы и скрытых, протестов обойтись не могли; к несчастью для крестьян, сила этих протестов оказалась впоследствии на деле далеко не призрачной. Однако дальше известной границы смелость действий Марии-Терезии не простиралась, и, как уже сказано, de jure конституция страны осталась

без всяких перемен; когда же позднее Иосиф II попытался приступить к ломке частей старого автономного устройства страны, он на горьком опыте убедился, что правящий класс там еще слишком силен и что его политика по отношению к Венгрии есть колоссальное недоразумение. Но этому разочарованию предшествовали и первые годы царствования императора и еще раньше правление его матери, когда была приведена в исполнение крестьянская реформа в Венгрии.

Первые 24 года царствования Марии-Терезии прошли в истории крестьянского вопроса в Венгрии бесследно. Императрица не решалась на внесение проектов об улучшении быта крестьян потому, что считала себя слишком обязанной дворянству за услуги, оказанные им в первое критическое время ее правления [68]. На заседаниях первых двух рейхстагов, созванных ею, о крестьянах речи еще не было. Только в рейхстаге 1764 г. правительство предложило несколько мер для улучшения быта крестьян и для ограждения их от помещичьего произвола. Императрица, внося эти предложения, выразилась, что домогается принятия их для успокоения своей совести (damit sie ihr Gewissen beruhigen könne). Выслушав проект, Stände разошлись, сохраняя гробовое молчание, а ответ их, переданный императрице 14 сентября того же года, так на нее подействовал, что она хотела распустить рейхстаг и уехать немедленно в Вену; только советы приближенных отклонили ее от этого намерения.

Такая серьезная политическая неудача обидела Марию-Терезию очень чувствительно. «Этот рейхстаг,— писала она одному знакомому,— научил меня узнавать людей». То было последнее законодательное собрание, созванное Марией-Терезией: с 1764 г. начинается, как сказано, период реформ, совершаемых без участия конституционных властей. Императрица, не спрашивая согласия Stände, проводит меры огромной важности для Венгрии, в том числе и знаменитый урбарий, т. е. кодекс постановлений, долженствовавших облегчить участь крестьянства и определить ясно и точно границы власти помещика и обязанностей сельского населения [69]. Урбарий вводился постепенно, начиная с 1756 г. Вот его главнейшие пункты [70].

Крестьянину возвращается право покидать землю помещика и переходить на другую; перед уходом он должен, однако, предупредить помещика о своем намерении покинуть его землю и выполнить все свои повинности как по отношению к помещику, так и общегосударственные; счеты между господином и уходящим крестьянином производятся в присутствии особого чиновника; после того крестьянину выдается свидетельство, без которого он не может быть принят новым землевладельцем. Дети крестьянина вовсе не обязаны становиться также земледельцами, но вольны выбирать себе занятие по душе сообразно со

своими способностями и наклонностями; крестьянин имеет право вступать в брак без позволения господина. За свои заслуги крестьянин может даже достигнуть высших ступеней светской и духовной иерархии, так как не существует более неодолимых препятствий для приобретения им дворянского достоинства.

Первостепенной важности в деле изменения отношений между владельческим и сельским сословиями была также реформа низшей судебной инстанции [71]. Правда, патримониальная юстиция уничтожена еще не была, но сфера ее компетенции значительно сузилась. Помещик остался судьей крестьян в гражданских делах; но если только возникал имущественный спор между крестьянином и помещиком, последний судил уже не единолично (это удобство оставалось за ним веками), а совместно с особым комитатским чиновником. В случае неудовольствия крестьянин получал право апеллировать к комитатскому суду (sedes judiciaria seu sedria). Что касается до уголовных дел, то Мария-Терезия ограничила судебно-карательную власть помещика лишь правом постановлять приговоры по делам о проступках чисто полицейского характера и о нарушении крестьянами правил вводимого урбария. Вообще же в тех делах, которые могли для подсудимого окончиться наказанием, не превышающим 3 дня ареста или 24 удара розгами, помещик обязан приглашать для совместного суждения комитатского судью и присяжного [72]. Этим законом изменялся характер патримониального судопроизводства, как оно было признано венгерским законодательством со времен Людовика Великого [73]. После комитатского суда недовольный может апеллировать к королевскому совету (Statthalterey Rat) и затем к самому государю; для доклада по таким *урбариальным процессам* при королевском совете с тех пор состояло особое должностное лицо — референт. Недвижимое имущество крестьянина состоит из 1 югера земли для дома, овина и сада, и кроме того дается от 16 до 28 и даже до 36 югеров пахотной земли, смотря по качеству почвы [74] (югер мог равняться в разных местностях 1100—1300 кв. саженей [75]). Для крестьянской усадьбы земля дается в количестве, зависящем от того, к какому классу из пяти, установленных урбарием, относится данное место; критерием для классификации служило относительное плодородие почвы. Вся усадьба может быть разделена на 2, 4, 8 отдельных дворов [76]; дальнейших делений закон не признает. Согнать крестьянина с земли помещик имеет право только в том случае, если он может положительно доказать, что крестьянин не исполняет своих обязанностей по отношению к нему и к государству; но и тогда освободившийся кусок земли землевладелец обязан отдать другому крестьянину, но никак не присваивать. Как воспользовались этим законом на практике венгерские помещики — дело другое. В местностях, где есть вино-

градники (а таких в Венгрии очень много), крестьянам предоставлено право свободного добывания и продажи вина от праздника св. Михаила до дня св. Георгия [77]. Топливо и строевой лес помещик должен давать крестьянам даром при условии, конечно, что сам владеет лесными порослями; плодовых деревьев крестьянин рубить не имеет права [78]. Для количества дров, отпускаемых крестьянину, определенной нормы не установлено; это признается [79] и самыми позднейшими дополнениями к урбарию, где мы находим также любопытные данные о количестве леса, получаемого кое-где крестьянами. Так, в комитате Sopron, в поместьях князя Эстергази, каждый крестьянин получал в год 6 саженей дров, причем он обязан был сам срубить их и отвезти в деревню. Для этого назначались определенный срок и лесной участок; рубка могла происходить лишь в зимнее время. После рубки крестьянин не имел права [80] уже войти в господский лес без разрешения.

В имении Чактония в Саладском комитате каждому крестьянину (в 1769 г.) выдавалось по 4 сажени дров (на каждую полную усадьбу; ½, ¼, ⅓ усадьбы, sessionis, получали 2, 1 и ½ сажени дров). На пастбище крестьянин мог выгонять свой скот вместе с помещичьим; если раньше между деревенским обществом и помещиком раздела выгонной земли не было, то они пользовались ею сообща [81]. Весьма точно и подробно урбарий определял также размеры барщины (robbottae). Крестьянин обязан был выходить на барщину 52 раза в год, по 1 разу в неделю, с одной (а в некоторых случаях двумя) упряжкой волов, и работать от восхода до заката солнца [82]. Но так как зимой требовать исполнения этого правила нелепо, так как полевых работ нет, то закон предоставляет помещику право настаивать на удвоении барщинных дней (т. е. не одного, а двух дней в неделю) летом в случае особенно спешных работ по уборке хлеба и пр. Но общее число барщинных дней никоим образом не должно превышать 52 в год. За небрежное отношение к исполнению барщины помещик имел право подвергнуть виновного телесному наказанию [83]. Заставить крестьянина внести вместо отбывания барщины известную сумму денег помещик не мог, но по личному соглашению крестьянин имел право уплатить землевладельцу вместо каждого дня барщины 20 крейцеров (эта сумма была установлена как maximum) [84]. Три дня в году крестьянин должен по приказу помещика охотиться, причем добыча принадлежит помещику; в других случаях охота в господских лесах воспрещена крестьянам, так же как и рыбная ловля [85].

В вознаграждение за пользование хозяйским лесом крестьянин должен вырубить и доставить на господский двор 1 сажень дров. Он обязан также доставить туда по разу в год 2 кур, 2 каплунов, 20 яиц и девятую часть всего количества принадлежащих

ему овец, коз и пчелиных ульев. Если же у него менее 9 коз, овец и ульев, то он возмещает эту подать денежно: за козу платит в таком случае 3 крейцера, за овцу —4 и за улей —6 [86]; вообще же со всех продуктов сада и огорода помещик получает девятую часть. Из пеньки и льна крестьянин должен отдать девятую часть землевладельцу либо приготовить (из господского материала) 6 фунтов пряжи [87]. За право гнать спирт крестьянин уплачивает помещику 2 гульдена в год.

Кроме перечисленных обязательств, составляющих, по мысли урбария, *арендную плату* за пользование господской землей, крестьянин ничем с помещичьим двором не связан и имеет право распоряжаться собой и своим достоянием по усмотрению. Он может покупать, продавать и обменивать все, что угодно, и никаких преимуществ в этом отношении никто (в том числе и дворянин) перед ним не имеет. Таковы главнейшие пункты урбария; масса других постановлений его касается порой самых мелких подробностей сельского быта, и когда читаешь урбарий, то чувствуешь, что законодатель боялся пропустить хотя бы самую незначительную черту в повседневных отношениях крестьян и помещиков, если только она поддавалась хоть какому-нибудь урегулированию. Урбарий составлен так, как составляются контракты с людьми, заведомо способными на всяческое ложное истолкование и обход договорных пунктов. Но при подобных обстоятельствах помимо точной редакции закона для успеха дела необходимы честные исполнители, проникнутые духом того законодательного акта, осуществить который они призваны. А в этом отношении начинания Марии-Терезии были обставлены очень дурно. Комиссары венского правительства, которым было поручено вводить урбариальные постановления, оказались в большинстве случаев людьми продажными и при введении урбария руководились той, совершенно верной, мыслью, что получить денежную прибыль возможно лишь с помещиков, но никак не с крестьян, и что сообразно с этим надлежит и действовать. На порученное им дело они смотрели не как на колебание устоев царившего веками безобразного порядка вещей, а как на обыкновенное административное мероприятие, ничем от других не разнящееся; поэтому даже те из них, кто не запятнал себя продажностью, не могли отдаться выполнению своей миссии с тем беззаветным убеждением в благости ее, которое отличало в аналогичных случаях их товарищей по делу в других странах. Они были в Венгрии людьми большей частью чужими и во многом напоминали Kriegskommissäre предыдущих царствований, и ничего удивительного нет в том, что многие из них сочли удобным средством для наживы свои обширные полномочия в стране, где им нужно было лишь отслужить известное время, чтобы затем вернуться к себе, в Вену. Венгерское

дворянство нашло в них самых предупредительных исполнителей своих желаний и после некоторых попыток помешать введению реформы повело совсем другую ligne de conduite, стало обнаруживать необыкновенную уступчивость и кротость, так как ясно увидело, что реформа на деле при выполнении ее комиссарами вовсе не так страшна и разорительна, как это могло на первый взгляд показаться. При распределении земли между крестьянами комиссары поступали нередко самым вопиющим образом, благо им дана была возможность à discretion классифицировать землю по плодородию почвы. Вот образчик деятельности комиссаров на этом прибыльном для них поприще. В Теисском округе в Чанградском, Бекешском и Чанадском комитатах крестьянин получал 34—36 югеров земли, да еще 22 югера луга, итого 56—58 югеров, считая югер равным 1200 кв. саженей [88]. В других же местах, где почва была гораздо менее плодотворна и условия земледельческого труда гораздо хуже, в гористых округах, комиссары награждали крестьян 25—38 югерами, и это там, где нередко ливень уничтожал в одночасье труды целого года (как это бывает на склонах гор); повинности же по отношению к земледельцу были одинаковы для крестьян как богатого Теисского округа, так и горных комитетов. Вообще на местные условия внимание обращалось лишь тогда, когда того требовали интересы помещика. Конечно, несмотря ни на что, венгерский крестьянин стал с тех пор наследственным арендатором земли, однако с прошлым не все еще было порвано. Телесные наказания, обязанность крестьянина доставлять на барский двор всякой живности в случае бракосочетания хозяина и некоторые другие характерные черты урбария препятствуют цельности впечатления, которое выносишь из его изучения, и противоречат мысли, что урбарий явился вследствие сознания *полной* несостоятельности прежнего положения вещей и желания реформировать отношения сельского и владельческого сословий на *совершенно* новых основаниях. Далее, урбарий произвел нежелательное изменение в судьбе руссин, поселившихся на землях, принадлежавших королю; богатые магнаты, в наследственное владение которых перешли по большей части такие земли, позволяли местами своим крепостным пользоваться лесом и пастбищами [89]. Так, например, дело обстояло на землях магнатов Ракочи, Бетлена, Другета, Телеки и др. В некоторых поместьях крестьяне платили только подати за пастбище (например, около 1200 крестьянских руссинских семейств в м. Мункач и ст. Миклос); со времени же введения урбария все руссины, в том числе и те, которые почти никаких повинностей не несли, были обязаны теперь общеурбариальными податями и барщиной. Для венгерского крестьянства вообще урбарий являлся благодетельнейшим актом, невзирая ни на что, в значительной степени об-

легчившим им жизнь, но для нескольких тысяч русинских крестьян он был указом, возложившим на них много таких обязанностей, которых они раньше не знали. Оставались также кое-какие следы и скультециальных общин, но с введением урбария они окончательно исчезли.

Помимо нравственной несостоятельности комиссаров и враждебного, неискреннего отношения к реформе помещиков, была еще одна причина, препятствовавшая полному осуществлению начал, изложенных в урбарии. Бедные, забитые крестьяне, привыкшие с тупым равнодушием относиться к своей судьбе, в течение долгого ряда поколений не видевшие ничего, кроме всяких притеснений и обид, никак не хотели понять истинной цели и смысла вводимых положений и с характерным в таких случаях упорством старались видеть тут желание как-нибудь еще ухудшить их и без того невозможное положение. Чтобы помочь этой беде, Мария-Терезия в 1770 г. издала повеление о том, чтобы во всех деревнях были учреждены начальные училища. Эти школы решено было содержать на обязательные взносы *помещиков и духовных лиц*, владевших землями, *так как те и другие прежде всего воспользуются выгодами, проистекающими от просвещения народа.*

Итак, реформа была введена далеко не так, как желал бы законодатель но все же она осуществилась. Крепостное право уничтожено еще не было, но формы его значительно смягчились. Улучшилось и упрочилось имущественное положение крестьянина; право покидать одно поместье и переходить в другое давало ему возможность переменять слишком тяжелые условия жизни на более легкие. Помещик со своей стороны почувствовал тесную связь собственного благосостояния с благосостоянием и количеством своих крестьян; понял он также, что закон теперь не представляет уже такой надежной почвы для всевозможных правонарушений. Словом, в конце концов урбарий имел благодетельное значение для венгерского крестьянства. Если при всех своих достоинствах он все-таки должен рассматриваться как мера паллиативная, то нужно согласиться, что такие паллиативы всегда могут считаться прямыми, непосредственными предшественниками радикальных преобразований. Мария-Терезия по своей природе не была сторонницей решительных действий там, где можно было, на ее взгляд, обойтись без них. Что она раз признала полезным и важным, она приводила в исполнение тотчас же, как только представлялась к тому возможность, но в области мысли ей недоставало той смелости, которая отличала ее сына. Так было и в вопросе о веротерпимости, когда она высказала мысль, что не может потерпеть, чтобы каждый ее подданный выбирал себе религию «по своей фантазии» (nach seiner Phantasie); так было в крестьянском вопросе.

Императрица в принципе признавала факт существования крепостного права законным и нормальным. Она полагала, что нельзя уничтожить крепостной зависимости, «так как нет на свете государства, где бы не было различий между господином и подданным-крестьянином; освободив крестьян, можно только лишить их узды, а помещиков сделать недовольными» [90]. Она не в силах была отрицательно отнестись к факту, общему всей современной Европе, ради идеала, выработанного философами просветительной эпохи и передовой фалангой деятелей науки — физиократами. Она обладала умом практичным, легко схватывающим конкретные явления и уловляющим их причины, но в ней не было способности, которой одарен был Иосиф II, способности воспринимать чужие мысли, перерабатывать их, выбирать из них то, что покажется хорошим, доходить до последних логических выводов известной мысли и уже с силой и твердостью убежденного человека идти напролом к осуществлению своей цели.

Есть честные гуманные люди, которые побуждаются запросами совести и стремятся воздействовать известным образом на среду, в которой им привелось жить; но при всех своих реформаторских стремлениях они все время вращаются в цикле идей, которые не имеют ровно ничего опасного для существующего строя или несовместимого с его главными основами. Эти идеи уже широко распространены и только как бы ждали хорошо настроенного, благородного и к тому же, конечно, власть имеющего человека, чтобы облечься в плоть и кровь. К таким идеям принадлежала в половине прошлого века мысль о необходимости облегчить участь земледельческого класса; к таким людям относится Мария-Терезия.

1896 г.

Чарльз Парнель

Страница из истории Англии и Ирландии

поха Парнеля, столь близкая хронологически и столь отдаленная в моральном отношении, отошла в область истории. Глубокое затишье, царящее в англо-ирландских делах теперь и обещающее продолжиться еще значительное время, наступило не сразу после смерти Парнеля. Когда билль Гладстона об ирландском самоуправлении был в 1893 г. отвергнут палатой лордов, весьма многие (в том числе и сам покойный вождь либералов) думали, что возникнут серьезнейшие осложнения в парламентской и внепарламентской жизни, что на сцене явится снова парнелизм в той или иной форме. Но эти опасения не сбылись. Все глуше становились голоса гомрулеров, все тише и бесцветнее делалось аграрное движение, все спокойнее и увереннее действовало английское правительство и все небрежнее и невнимательнее стало относиться к Ирландии английское общественное мнение. Билль 1893 г. оказался последним отголоском деятельности Парнеля; как только эта попытка была отбита, на новые уже никто не отважился.

Повторятся ли опять в ирландской истории 80-е годы, мы не знаем; с уверенностью можно сказать только, что новое движение сможет черпать для себя в истории парнелизма целый ряд самых поучительных и верных сведений. И если деятельность Парнеля навсегда сохранит живейший практический интерес в глазах тех, которые явятся его продолжателями, то не менее интересен этот человек также для всех, кого занимают проблемы об исторической роли индивидуальной личности, о ее месте в общем ходе социальной эволюции. Глубокое и хроническое расстройство Ирландии в экономическом отношении, расовый антагонизм и необыкновенная яркость социальных контрастов в этой стране — вот какие силы создали благоприятную почву для деятельности Парнеля и дали этой деятельности смысл и цель. Но если мы спросим

себя, каким образом представитель интересов маленькой обнищалой провинции мог 15 лет бороться с государством, у которого более 350 миллионов подданных, то мы должны будем приписать Парнелю, и ему одному, честь исполнения этого, по-видимому неосуществимого, предприятия. Если был когда-нибудь деятель, который использовал для своих целей все средства, бывшие в его распоряжении, то таким деятелем является Парнель. Все, что только может сделать индивидуальная воля, и все, что только может придумать ум государственного человека, было им сделано и придумано. Биография Парнеля представляет общий интерес, потому что она вполне ясно показывает, на какой предельной черте необходимо останавливаются все усилия разума и порывы чувства, как бы ни были они велики и широки, если только реальные общественные силы не могут доставить им достаточной поддержки. Удивительно не то, что парнелизм остался безрезультатным, а то, что он больше десятилетия держал в напряжении всю Англию, и ключом к некоторому объяснению этой загадки всегда останется биография ирландского лидера — и она одна.

1

Отец Парнеля был англичанин и протестант; его предки выселились из Англии в Авондельский округ, в Ирландии. За свое долговременное пребывание в Ирландии Парнели близко сошлись с ирландским населением, которому были чужды и по расе, и по крови, и снискали себе искреннюю любовь аборигенов их округа. Отец Парнеля, сэр Джон, путешествуя по Соединенным Штатам, встретился там с мисс Стюарт, дочерью американского вице-адмирала, и женился на ней. От этого брака и родился в Авонделе 27 июня 1846 г. Чарльз Парнель. Детство мальчика до 6 лет протекло в доме родителей в Авонделе; когда ему исполнилось 6 лет, его отдали в школу к некоему Бартону, в Англии. Здесь он окончил свое среднее образование и поступил в университет. Каковы могли быть в эту пору его политические симпатии, сказать трудно; он был очень скрытен и ни с кем не делился своими мыслями. Впоследствии он говорил, что еще в раннем детстве стал врагом своего народа — англичан — и другом чуждых ему ирландцев по следующему поводу.

Жил в Авонделе старый дворник, с которым маленький Парнель очень подружился и который часто занимал его своими рассказами. Старик помнил еще, как в 1798 г. ирландцы, выведенные из терпения религиозными притеснениями и голодом, восстали против английского владычества; помнил он также и страшное усмирение бунта. Об одном из эпизодов

усмирения он рассказал Парнелю[1]. Какой-то инсургент был взят в плен и приговорен к засечению до смерти. Распоряжавшийся экзекуцией полковник велел бить привязанного к телеге пленника по животу, и тот погиб после страшных мук, все время умоляя сжалиться над ним и покончить разом.

Этот рассказ, по словам Парнеля, и вселил в его сердце ненависть к английскому владычеству. Поступив в Кембриджский университет 18 лет, он провел там 4 года; он не высказывался ни перед кем из товарищей, и нам неизвестно, какой духовной жизнью жил он в это время. После четырехлетнего пребывания в университете Парнель в 1869 г. оставил это заведение, не получив никакой ученой степени. В Кембридже он производил на окружающих впечатление посредственного, ординарного юноши, который интересовался не столько науками, сколько крокетом и всяким другим спортом.

В 1867 г. только произошло событие, которое оказало громадное влияние на всю его жизнь и, по мнению близких, окончательно определило общий характер его политических убеждений. Дело в том, что в 60-х годах в Ирландии поднялось фенианское движение. Начались политические убийства. Правительство при борьбе с фенианством соблюдало полную лойяльность: оно ставило посредником между собой и фениями суд присяжных и заботилось лишь о возбуждении своевременных процессов против членов фенианского общества. Несколько фениев сидело в тюрьме в Манчестере, когда в начале 1867 г. было произведено покушение со стороны их товарищей освободить заключенных; при этом покушении один из часовых был убит нападавшими. Виновные были схвачены, преданы суду[2] и после обвинительного приговора присяжных приговорены к смертной казни. Все они были повешены в Манчестере. Парнель был страшно потрясен этим делом, и сестра его говорит[3], что с тех пор в нем совершился глубокий переворот. Узнав о манчестерских происшествиях, он изменил своему обычному хладнокровию, со слезами бешенства говорил об англичанах и долго не мог успокоиться. Но потом все вскоре вошло в свою колею.

По окончании университетского курса с 1869 г. по 1874 г. Парнель жил в доставшемся ему отцовском поместье около Авонделя и вел ленивую, праздную и скучную жизнь country gentleman. Он был, по отзывам знавших его в то время лиц, типичным английским аристократом и по манерам, и по внешнему виду. Чем он занимался с беззаветной энергией, не щадя своих сил,— это спортом: он плавал, удил рыбу, охотился, катался верхом и проделывал все это в грандиозных, пугающих размерах.

С начала 70-х годов он начинает присматриваться к ирландским делам и вступает в первые сношения с людьми, представлявшими тогдашнее движение. Прежде всего он познакомился с именем Исаака Бьюта, который основал в 1870 г. «общество гомруля» и считался самым выдающимся и многообещающим человеком. Исаак Бьют был деятелем, в политической добросовестности которого никто не имел повода усомниться; что же касается до его убеждений, то он, заседая в английском парламенте, придерживался того мнения, что это государственное учреждение в свое время даст и самоуправление Ирландии и исполнит все желания ирландских патриотов, если только его не раздражать и не пугать. В эти времена, т. е. в середине 70-х годов, ирландских гомрулеров было в парламенте около 60; это число (и само по себе ничтожное) не может быть понято в том смысле, что в нижней палате было 60 человек убежденных защитников ирландского дела: более половины из них принадлежало к английским вигам, голосовавшим обыкновенно против репрессивных мер, когда они предлагались правительством в видах обуздания фенианского движения. Эти 30—35 вигов, примыкавших к ирландцам по частным вопросам, позволяли также надеяться на то, что, когда билль об ирландском самоуправлении будет, наконец, представлен в палату, они, может быть, подадут голос за него. Депутатов-ирландцев, смотревших на свое присутствие в британском парламенте только и исключительно как на средство добиться гомруля, было не больше 30 человек. При таких обстоятельствах Исаак Бьют не видел способа бороться с большинством иначе, как напоминаниями, убеждениями, просьбами, временными сделками с отдельными парламентскими котериями. Он был добрый, мягкий человек, действовавший так, как если бы им вполне владела уверенность, что англичане отказываются дать Ирландии самоуправление по какому-то роковому недоразумению, которое нужно устранить, и тогда все пойдет хорошо. Не видя почвы для борьбы в парламенте, не имея охоты предпринять слишком ожесточенную кампанию, этот человек придерживался политики au jour le jour и довольствовался тем, что при всяком удобном случае напоминал нижней палате о своей родине и ее нуждах. Следует еще прибавить, что Исаак Бьют был человек бедный, должен был весь свой век бороться с нищетой, однажды сидел даже (в разгаре предвыборной агитации, когда его присутствие было особенно необходимо) в долговой тюрьме [4].

Маленькая, слабая, серенькая кучка ирландских депутатов, ютившаяся около Исаака Бьюта, являлась представительницей движения в начале 70-х годов. Но если тут отсутствовал целый ряд условий, необходимых для процветания и усиления пар-

тийного дела, зато налицо было одно обстоятельство, имеющее большую важность и в парламентской, и в непарламентской жизни: строгая определенность положительного идеала. В 1798 г. в Ирландии произошло восстание, которое было подавлено и окончилось изданием билля 26 мая 1800 г. о так называемой «окончательной унии». Этот билль объявлял Ирландию неотделимой частью Британского королевства и предоставлял стране посылать в английский парламент 32 (избираемых) пэра в палату лордов и 100 депутатов в палату общин. Ввиду того, что из этих 100 человек всегда попадало в парламент более половины природных англичан, живущих в Ирландии, страна считала себя лишенной действительного представительства, и с самого начала XIX в. ирландская партия поставила себе целью добиться отмены (rapeal) унии и установления особого ирландского парламента, который бы ведал дела острова и лишь по некоторым, самым общим, вопросам внешней политики был связан с Англией.

Вот главный базис движения в пользу гомруля, которое проходит через все столетие. Бывали времена, когда ирландская агитация вспыхивала так ярко и внезапно, что обращала на себя внимание всего мира; так было в эпоху О'Коннеля, в 30-х и 40-х годах; так бывало обыкновенно во времена кульминации тех голодовок, которые периодически посещают Ирландию. Социальные вопросы здесь тесно переплетались с политическими; в самоуправлении, в гомруле начинали видеть панацею от всех экономических зол; вечный антагонизм кельтической и англо-саксонской рас придавал движению раздраженный, страстный характер, и вот почему борьба из-за гомруля принимала иногда такие грандиозные размеры. Классовый элемент, национальный антагонизм и вполне определенный ближайший идеал — вот те черты, которые сделали борьбу за самоуправление одной из самых кровавых страниц в истории Великобританской империи. Фении, действовавшие насильственным образом против английских лендлордов и чиновников, представляли внепарламентскую сторону движения; как было представлено движение в палате общин, мы уже сказали. Фенианство было противно Исааку Бьюту, который полагал, что оно только раздражает англичан и тормозит разрешение вопросов о гомруле путем положительного законодательства.

2

В 1874 г. должны были произойти общие выборы в парламент; Бьют находился с целями агитации в Дублине, когда к нему явился в один прекрасный день молодой Чарльз Парнель и заявил, что желает баллотироваться в качестве члена

ирландской партии и намерен поставить свою кандидатуру в округе Уиклоу. Так как Бьют имел удовольствие видеть молодого человека в первый раз в жизни, то изумлен он был чрезвычайно. Дело в том, что ведь до сих пор Парнель никому в мире ни единого слова о своих политических убеждениях не говорил, политикой совершенно не занимался и вообще до этого времени, т. е. до двадцативосьмилетнего возраста, ни к какому занятию, кроме спорта, пристрастия не обнаруживал; далее, выглядел Парнель английским лендлордом чистой воды и говорил по-английски с тем акцентом, который дается только природным британцам, а нужно сказать, что ирландские избиратели относятся к этому достоинству очень двусмысленно. Но вместе с тем Бьют знал, что и отец и дед Парнеля всегда стояли за Ирландию против ее притеснителей и что это семейство пользуется в стране большим почтением. Кроме того, Парнель был состоятелен, партия могла и не платить ему жалованья, которое получали от нее ирландские депутаты, следовательно, для партийной кассы предвиделась значительная экономия, если бы Парнель был выбран.

Итак, отказать ему в содействии партии не было причин. Исаак Бьют доложил о просьбе Парнеля «комитету гомруля», заведовавшему предвыборной агитацией. Комитет долго не знал, что ему делать с Парнелем, но все-таки решил в конце концов помочь молодому кандидату. На одном из митингов, перед самыми выборами, Парнеля отрекомендовали публике как одного из желательных членов будущей палаты и предоставили ему произнести речь. Тут произошло нечто в высокой мере неприятное и неожиданное [5]. Парнель взошел на трибуну и начал что-то говорить быстро и невразумительно, останавливался, глотал слова, бормотал их про себя и, наконец, измучив аудиторию, остановился на полуслове и умолк. Таков был ораторский дебют нового кандидата. Впечатление он произвел на слушателей самое странное: они недоумевали, как мог комитет рекомендовать им такую бездарность. Через короткое время после митинга произошли выборы, и Парнель был провален огромным большинством голосов.

Эти неприятности — скандал на митинге и неудача на выборах — не уменьшили энергии Парнеля. И то, и другое он перенес совершенно спокойно и объявил, что, как только произойдут какие-нибудь частичные, дополнительные выборы, он опять поставит свою кандидатуру. Случай представился: депутат от округа Мис весной 1875 г. умер, и надо было выбрать нового. Парнель баллотировался и в апреле 1875 г. был действительно избран. Вечером 22 апреля 1875 г. он в первый раз вошел в парламент.

Весенняя сессия 1875 г. была для ирландской партии очень интересна, так как правительство намерено было предложить билль о репрессии (coercion) против фенианцев. Этот законопроект охотнее и чаще назывался «биллем о сохранении спокойствия в Ирландии». В 1872 г. число аграрных преступлений достигло 255, в 1873 г.— 254, в 1874 г.—263 [6]. На этом основании член кабинета (Биконсфильда) сэр Михаил Гикс-Бич полагал, что следует продолжить и на будущее время исключительные законы для Ирландии и даже увеличить власть наместника. Ирландские депутаты протестовали, но слабо, без всякой системы, каждый от себя, не сговорившись с товарищами.

Через 4 дня после своего вступления в палату, 26 апреля, Парнель произнес по поводу законопроекта свою первую речь [7]. Он говорил в этот вечер замечательно хорошо, так же как в продолжение всей остальной своей карьеры; инцидент на ирландском митинге был первым и последним в его жизни. Говорил он спокойно, громко, ясно, уверенно, без малейших признаков фразерства и как-то сразу заставил себя слушать. «Я удивляюсь,— сказал он,— что по поводу нескольких происшествий в одном ирландском округе нам предлагают установить исключительные законы для всех жителей острова. Нам говорят, что наши английские лендлорды боятся за свое право собственности. Но мы всегда слышим здесь *о правах* собственности и никогда, ничего не слышим о ее *обязанностях...»* «Нам говорит г. депутат от Дерри, что даже ирландские арендаторы земли стоят за билль о репрессии. Я не думаю, чтобы ирландские арендаторы настолько погрязли в себялюбии, что согласны жертвовать интересами своей страны выгодам своего класса. Может быть, придет день, когда ирландский арендатор увидит, что я такой же искренний его друг, как, например, г. депутат от Дерри; я это прямо говорю, зная, что арендатору важно обеспечение его земли, но зная также, что корень всех ирландских смут лежит в том пренебрежении и забвении, в котором находятся принципы ирландского гомруля... [8] Нельзя смотреть па Ирландию как на географическую частицу Англии. Ирландия — не географическая частица, а нация».

После Парнеля говорили и повторяли раньше сказанные речи другие члены ирландской партии. Как и следовало ожидать, билль прошел в первом чтении с довольно значительным большинством (155 против 69) [9]; прошел он и в остальных чтениях. Приглядываясь к своим товарищам по делу (с которыми он до сих пор не встречался), Парнель мог заметить следующее. То, что Исаак Бьют называл своей партией, не вполне заслуживало такого громкого титула. В общем людей,

именовавших себя «ирландскими патриотами», было от 35 до 40; иногда к ним присоединялись английские виги, однако твердо рассчитывать на это значило бы обнаружить излишнюю доверчивость. Но, как ни мало было настоящих ирландцев, ядра партии, члены этого ядра уже успели между собой перессориться и так эффектно сумели это сделать, что в парламенте посторонние люди уверяли, будто ирландцы друг с другом совсем не разговаривают, а сносятся между собой, когда нужно, через своих врагов — англичан. Кроме того, хотя общий идеал — гомруль — был вполне ясен, но чуть ли не каждый из членов партии в начале 70-х годов имел свою особую практическую программу действий; таким образом, получалось несколько десятков программ. Если мы примем к сведению, что в ежедневной парламентской жизни каждый творец программы следовал ей, и только ей одной, то легко сможем себе представить, как внушительны должны были быть действия ирландской группы для британского парламента.

Кроме всего этого, были еще черты у большинства парламентских товарищей Парнеля, которые отдаляли его от них: Исаак Бьют и много других ирландских депутатов относились к фениям и их деятельности не только отрицательно, но и прямо враждебно. Сам Парнель с фениями близок не был, но с тех пор, как еще во времена его студенчества в Манчестере повесили нескольких фениев, он, не высказываясь до поры до времени прямо относительно их политики, стал упорным врагом всех мер, предпринимаемых против них, и вскоре после его вступления в парламент для всех стало ясно, что фенианство не в нем должно искать своего оппонента. Обусловливалось ли это зарождавшееся сочувствие фанатическим темпераментом, который таился в Парнеле, или впечатлением манчестерских происшествий [10], или соображениями теоретического свойства, или всеми этими обстоятельствами вместе — мы не знаем; достаточно сказать, что эта черточка была подмечена Бьютом и другими ирландскими депутатами — и не произвела на них особенно выгодного впечатления. Фении, со своей стороны, к деятельности таких людей, как Исаак Бьют, относились резко отрицательно, а к Парнелю с первых его шагов почувствовали доверие [11]. Когда в июне 1876 г. Гикс-Бич назвал фениев убийцами, Парнель громко протестовал и произвел тогда в первой раз сильную сенсацию.

Но ни в 1875, ни 1876 г. он не выступал серьезно на парламентской арене; он все присматривался и готовился к борьбе. Вести дело так, как его вели до сих пор ирландцы, представлялось ему бесполезным; ясно было, что никакие просьбы и обращения к парламенту относительно гомруля не приведут

ни к каким результатам. Не имея надежды упросить кабинет Биконсфильда сделать что-нибудь для Ирландии, партия не могла и пытаться низвергнуть кабинет уже вследствие своей крайней малочисленности, даже если бы она была хорошо организована. И вот у Парнеля созрел план, которому суждено было осуществиться на глазах всей Европы. Он решил тормозить и останавливать конституционную жизнь страны, пользуясь для этого всеми средствами, какие только дает закон каждому депутату, пуская в ход все пружины парламентской формалистики. Намерение было смелое; привести его в исполнение значило как раз остановиться на той грани, которая отделяет легальные приемы борьбы от революционных. Разумеется, раз ставилась задача систематически затруднять парламентскую жизнь, не могло быть и речи о том, чтобы сохранить добрые отношения с либералами; каждый либерал должен был так же яро восстать против этих замыслов, как сам премьер Биконсфильд.

Исаак Бьют сразу воспротивился плану Парнеля. Правда, обструкция применялась уже раньше несколько раз ирландской партией, но это были отдельные, спорадические случаи, имевшие целью отложить обсуждение неприятного законопроекта, и только; о том, чтобы бросить перчатку в лицо всему парламенту, без различия партий, чтобы открыто стараться дискредитировать палату и создать серьезнейшие осложнения в государственной жизни, о таком шаге ирландцы не думали. В сущности примирения между образом действий Бьюта и новой политикой Парнеля быть не могло. На вопрос: можно ли чего-нибудь ожидать от парламента, если не вызывать его гнева, Бьют отвечал: да, можно, а Парнель отвечал: нет, нельзя. Бьют ничего так не боялся, как порвать с парламентом, а Парнель сознательно на это шел. Ирландцы колебались, не зная, за кем следовать. Пока, в 1877 г., большинство стало на сторону Бьюта; из меньшинства некоторые остались нейтральными, не высказывались, и лишь несколько человек, в том числе некто Биггар, объявили себя на стороне Парнеля. Биггар, который имел полное право называть себя парнелитом до Парнеля, практиковал уже время от времени обструкцию нередко на собственный риск и страх. Теперь, когда обструкция возводилась в систему, он с радостью предложил Парнелю свои услуги и убедил еще нескольких ирландцев в правильности парнелевского метода. Летом 1877 г. началась кампания.

7 июня обсуждался билль о тюрьмах, законопроект частного характера, никого особенно не интересовавший. Парнель придирался буквально к каждому слову докладчика, делал вопросы за вопросами и добился того, что целый день был убит

на всевозможные пустяки и билль отложен. Это было обструкционистским дебютом. Сначала в парламенте выражали мнение, что опять дело идет о частичной ирландской обструкции, и только недоумевали, почему вдруг ирландцам захотелось задерживать билль, не имеющий к ним никакого касательства. Но вскоре палата увидела, что она должна считаться не с частичной, случайной обструкцией, а с принципиальной. Почти через месяц после билля о тюрьмах обсуждался проект об изменении военносудных законов. Парнель опять вмешался [12], не дал даже приступить к рассмотрению законопроекта в его целом, бесконечно затягивал прения, и палата, просидев от 4 часов пополудни 2 июля до 7 час. 15 мин. утра 3 июля, разошлась, не приступив к голосованию. Это страшно взволновало парламент. Парнель говорил своим поведением: «Или вы дадите Ирландии гомруль, или не сможете проводить за сессию и четверти тех законов, какие необходимы».

Но делать было нечего: он стоял все время на твердой почве закона. Через 3 недели с лишком после билля о военных судах на очередь стал вопрос о южноафриканских колониях Англии, об отношениях к Трансваалю, который Англия хотела присоединить к своим владениям. Напрасно лорд-канцлер старался поскорее привести дело к концу; напрасно члены парламента громко разговаривали, когда Парнель произносил свои речи; напрасно докладчик был щепетильно точен и ясен. Запросы, недоумения, придирки Парнеля и ирландцев следовали друг за другом длинной вереницей, и конца им не предвиделось. Атмосфера достигла той степени напряженности, когда со стороны даже сдержанных людей мыслимы некоторые эксцессы. Парнель говорил, повторялся нарочно, утверждая [13], что постоянный шум не дает ему толком высказаться, а время шло. Но вот члены палаты стали слушать его внимательнее: он говорил об Ирландии, сравнивал ее с Южной Африкой, о которой шла речь, и приходил к неожиданным выводам. «Мне кажется,— говорил он,— что британский парламент должен раньше привести в порядок свои дела с теми нациями, которые уже ему подчинены, а потом уже приниматься за вопросы о Южной Африке. Мне кажется, что проектируемое образование конфедерации южноафриканских земель составляет лишь часть своекорыстной британской политики. Английское правительство знать не хочет желаний других и совершенно пренебрегает интересами своих колоний. Вы просите теперь, джентльмены, чтобы мы вам помогли и дальше осуществлять эту эгоистическую политику. Нет, я пришел из Ирландии, из страны, которая наиболее полным образом испытала результаты английского вмешательства в ее дела и последствия английской тирании и жестокости, и вот почему я

нахожу совсем особое, специальное удовольствие в том, чтобы бороться с намерениями правительства относительно Южной Африки». Все это было сказано спокойно и, как уверяют слушавшие речь Парнеля, бесконечно презрительно. Канцлер казначейства в бешенстве вскочил со своего места и потребовал, чтобы эти слова были внесены в протокол. Парнель целую сессию мешал спокойно работать, задерживал дела, в лицо смеялся над палатой и кончает тем, что осмеливается оскорблять британскую нацию! Канцлер был вне себя. Он сейчас же предложил, чтобы Парнель на 3 дня был исключен из палаты [14].

Парнель, по-прежнему сохраняя ледяное спокойствие, вместо объяснений по существу нашел возможность и из этого инцидента создать предлог для обструкции. «На каком основании,— спросил он,— канцлер до того, как покончен один билль (о Южной Африке), вносит другой (о том, чтобы меня выгнать на 3 дня)? Это против правил!»

Тон его слов и его поведения был так глубоко оскорбителен, что палата, как один человек, возмутилась против него. Но что же можно было сделать? Ведь самые слова Парнеля были строго конституционны: выражать свое мнение никому не возбраняется, и члены парламента за это не ответственны. А за тон, за манеру высказывать свои мысли наказаний нет. Парнель один во всей палате был спокоен; все были измучены физически, взволнованы, а многие потрясены бессильным гневом. Но Парнель мог знать, что ни правительство, ни палата в Англии против закона не пойдут, как бы он ни был не кстати; предложение канцлера было отклонено. Тогда герой инцидента снова поднялся, повторил свои слова об английском своекорыстии, ничуть их не смягчив, и продолжал задавать свои бесчисленные вопросы и затягивать прения. Биггар и еще 5—6 ирландцев помогали ему. Чем больше проходило времени, тем как будто бодрее и свежее становился Парнель. Ночь давно наступила, а дело не подвинулось вперед ни на шаг. В 6 часов утра палата разошлась, ничего не сделав, и билль о Южной Африке отложили на неделю.

Но и через неделю, 31 июля, как только началось заседание, Парнель и Биггар опять стали задерживать обсуждение вопроса [15] придирками к каждой фразе защитников доклада. Стоит прочитать протокол заседания [16], чтобы понять, насколько неисчерпаема человеческая энергия и изобретательна человеческая голова. Окончился день 31 июля, наступила и прошла ночь, и на рассвете Парнель с таким же интересом и такой же бодростью слушал, записывал, интерпеллировал, говорил речи, как всегда. Тогда палата разделилась на 17 групп, и было решено, чтобы каждая группа по очереди слушала Парнеля, а

остальные чтобы пока спали. Мера эта была неслыханной в парламентской истории, но Парнель не потерялся: он тут же объявил Биггару, что и они с ним будут спать по очереди; бодрствующий должен говорить и вообще занимать палату. Так они и поступили. Собственно Парнель не пользовался своим правом на отдых; его железная натура выдерживала все. Когда Биггар засыпал, члены палаты бросали на пол тяжелые «синие книги», чтобы разбудить его и не дать отдохнуть [17]. С изумлением жители Лондона прочли [18] утром 1 августа в газетах, что палата еще заседает со вчерашнего дня. Наконец, после 26-часового заседания, не прерывавшегося ни на минуту, билль прошел.

3

Исаак Бьют и многие ирландцы, бывшие на его стороне, негодовали на Парнеля не хуже англичан. Англичане привыкли видеть в Бьюте человека, с которым можно вести дело о гомруле спокойно, не торопясь и без всяких понуждений с той или другой стороны [19]. В свою очередь Бьют понимал, что уж теперь на доброе отношение палаты к ирландцам нечего и рассчитывать. В Лондоне и всей Англии только и было разговоров, что о Парнеле и обструкционизме; результаты законодательного периода сводились к нулю; вопрос о гомруле стал гнетущей злобой дня. Та война, которую Парнель начал против парламента, могла привести или к его победе, или к приостановке государственной жизни, или к коренным изменениям в парламентском уставе, а на такие изменения англичане решаются весьма неохотно. Многих поддерживала еще та мысль, что Парнель одинок или почти одинок в собственном лагере. Взрыв симпатии и сочувствия к Бьюту последовал даже среди тех фракций парламента, которые полагали, что если Ирландия в чем нуждается, то исключительно в законах об усмирении.

Но недолго пришлось парламенту питать эти надежды. И Парнель, и Бьют, и ирландцы-депутаты, все понимали, что на среднем термине между политикой Бьюта и политикой Парнеля остановиться нельзя и что чем скорее будет сделан окончательный выбор, тем лучше. Но если еще между депутатами мог дебатироваться этот вопрос, то в Ирландии он уже был решен. Опять встрепенулась вся страна; опять она переживала старые воспоминания; опять воскресали о'коннелевские традиции. Та глубокая, холодная и сознательная ненависть к англичанам, которая никогда не теряет в Ирландии своей силы и всегда ищет выражения, всех сделала парнелитами, как только весть о летней обструкции долетела до острова [20].

13 августа кончилась заторможенная Парнелем сессия, и он тотчас же уехал из Лондона в Ирландию; 21-го в Дублине был устроен в честь его огромный митинг. Прием был проникнут таким энтузиазмом, что никого, разумеется, не удивило решение митинга: выразить горячее сочувствие новым людям и новой политике. В первый раз после времен О'Коннеля Ирландия снова чувствовала себя силой; и, главное, силу эту Парнель пустил в ход, не тратя ни капли ирландской крови, сохраняя ресурсы страны для иных способов действия. Но мало того, обструкция так же не дала парламенту спокойного существования, как англичане не дают его, по мнению ирландцев, их стране. Кроме злорадного сознания, что Парнель на парламенте вымещает ирландские обиды, дублинские чествователи помнили и повторяли речь Парнеля о Южной Африке и ставили в заслугу тон, которым этот человек говорил в палате общин. И в довершение торжества он был лендлорд, протестант и чистокровный англо-сакс: ирландские националисты могли всему миру сказать, что их положение возмущает не только тех, кто от него страдает, но и людей, имеющих все основания стоять на стороне господствующего класса. Исаак Бьют и его друзья сознавали, что их время прошло. Когда доктор, лечивший больного Бьюта, старался его ободрить, старик отвечал одно: «Нет, мой час пробил, скоро огонь будет потушен». Известия о парнелистских митингах доходили до него одно за другим; всюду сравнивали его политику с парнелевской, и всюду Парнель торжествовал. В несколько месяцев вся Ирландия стояла на стороне молодого депутата, и вскоре последовавшая смерть Бьюта ничего не изменила в положении дел. Парнелиты заявляли, что они ненавидят английское правительство, не уважают его, будут бороться с ним до последней степени и ничего не уступят из своих требований.

Обструкция в парламенте продолжалась своим чередом. В 1878 г. правительство лорда Биконсфильда начало делать первые шаги: был издан закон о народном образовании в Ирландии, совершенно такой, какого желал Парнель. До сих пор «политика кротости» покойного Бьюта не мешала парламенту и правительству оставаться глухими к какому бы то ни было желанию ирландцев; теперь в первый раз осязательно обнаружились результаты парнелизма, и восторг перед Парнелем стал всеобщим.

В это же время, т. е. в 1877 и 1879 гг., началось в Ирландии новое движение, в котором Парнелю также суждено было играть первую роль. Ирландию посетил голод; неурожай картофеля повлек за собой такие страшные бедствия, такую массовую смертность, что население пришло в совершенное отчаяние. Во главе ирландского управления стоял сэр Джемс Лоутер;

сэр Лоутер был положительно убежден, что никогда голода не было бы, если бы не агитаторы, волнующие страну и говорящие о голоде. Во всяком случае он держался того мнения, что беспокоить свое непосредственное начальство, лорда Биконсфильда, известиями об ирландских делах и бесполезно, и неловко, и поэтому на все запросы с непоколебимой стойкостью отвечал, что в Ирландии голода нет, а есть некоторый недочет в сборе урожая. Парнель и его друзья открыли глаза английскому обществу на то, что творится в Ирландии, и вызвали сильное движение сочувствия среди самых разнообразных социальных слоев. Голод лишний раз напомнил, что если гомруль необходим и в политическом отношении, и по своим вероятным последствиям для социальной жизни страны, то во всяком случае не мешает, пока самоуправления еще нет, попытаться провести через британский парламент некоторые меры экономического характера.

Михаил Девитт[21], молодой ирландец, участвовавший еще подростком в фенианском движении середины 60-х годов и приговоренный к каторжным работам, вернулся после семилетней каторги в Ирландию и здесь под впечатлением ужасов голода решился основать «земельную лигу», общество, которое поставило бы себе целью добиться закрепления законодательным путем за ирландскими фермерами арендуемых у лендлордов земельных участков. Это должно было бы осуществиться постепенно, путем установления сначала пожизненных земельных держаний, потом наследственных аренд и пр. Создав такую программу, Девитт обратился за поддержкой к Парнелю.

Если мы спросим себя, почему Девитт пришел именно к Парнелю, почему всякое движение, возникавшее в Ирландии с конца 70-х годов, не было уверено в своей долговечности, пока Парнель не становился на его сторону, почему сильные, энергичные и честолюбивые люди в Ирландии склонялись перед ним и делались рядовыми его армии, то общий и достаточно неопределенный ответ найдем в личном обаянии, которое, по единодушным отзывам всех деятелей этого недавнего прошлого, производил Парнель. Мы знаем из воспоминаний о нем, что многие (особенно в начале его карьеры) приходили на митинг антипарнелитами и, послушав его, становились его безусловными приверженцами; мы видим также, что 33—34 лет от роду он стал действительно «некоронованным королем» Ирландии; что в том возрасте, когда большинство политических деятелей начинает свою карьеру, он уже достиг подавляюще громадного влияния. Огромный ораторский талант, способность, переживая самые сильные и бурные чувства, глубоко скрывать их, твердость, стойкость и неустрашимость характера, организаторские способности, наконец, даже англичан удивляв-

шее хладнокровие — быстро поставили его над остальными членами ирландской партии.

Девитт рассказывает [22], что в продолжение всего времени, пока он говорил о проектируемой лиге, Парнель не перебивал его и ни о чем не расспрашивал, а казался исключительно занятым своей сигарой. Когда Девитт окончил, Парнель встал, стряхнул пепел и сказал: «Я это сделаю. Не знаю, смогу ли я поладить со всеми вашими товарищами, но все равно. Я это сделаю» [23].

Для того чтобы вести пропаганду идей земельной лиги, нужны были деньги; для того чтобы помочь голодающему населению Ирландии, также нужны были деньги, и Парнель решил отправиться в Соединенные Штаты, чтобы устроить там ряд митингов и прочесть серию публичных лекций. Еще раньше, в сентябре 1879 г., он пожелал поставить твердо на ноги новое общество и издал воззвание к Ирландии, в котором просил ирландцев всеми мерами помогать лиге. Целая масса филиальных организаций, подчиненных дублинскому комитету «земельной лиги», была открыта в провинции. 29 сентября Парнель говорил о фениях, с живым сочувствием отзывался об ирландцах, принужденных по тем или иным причинам эмигрировать из своей родины в Америку, изложил ряд мыслей о федерации в союзе всех ирландцев, где бы они ни жили, для борьбы с общим врагом — Англией. В октябре того же 1879 г. Парнель был избран председателем земельной лиги. Нужно сказать, что он несколько изменил программу Девитта, внеся туда и политический элемент. Он заявил, что лига будет бороться не только, чтобы земля принадлежала как собственность ирландскому населению, но чтобы также поскорее был дан гомруль. Характеристично, что и здесь Парнель настаивал на необходимости отбросить в сторону всякое маскирование и не оставить англичанам даже повода усомниться во враждебности к ним новой лиги. Состояние открытой войны было любимейшим термином парнелевской дипломатии. Фении, которые с самого начала, как уже было замечено, тепло относились к Парнелю, не упускали теперь случая показать свою любовь к нему и преданность к новой лиге. «Пусть всякий борется против Англии, кто как может, все ее враги — наши союзники»,— много раз повторял Парнель в 1879 г., и эти слова были слышны и через Атлантический океан, и сквозь тюремные стены. Что касается до чисто экономической стороны программы «лиги», то Парнель и здесь ставил вопрос резче и определеннее: «Средняя плата должна заключать в себе погашение стоимости земли; в тридцать лет все арендуемые земельные участки должны стать собственностью арендаторов; лендлорд не имеет права прогнать арендатора с его участка».

Правительство лорда Биконсфильда, узнав, что Парнель принимает деятельное участие в делах земельной лиги, встревожилось весьма сильно и стало зорко следить за членами нового общества. В начале декабря Девитт и еще два члена лиги (Дели и Киллен) были арестованы за революционные речи, произнесенные на митинге. Это было сильным ударом для неоперившегося общества, но чем труднее становилась борьба, тем более возрастала энергия Парнеля. Придерживаясь известного мнения о том, что деньги — нерв войны, он решил не откладывать своей поездки в Америку для сбора необходимых сумм. Уладив кое-как партийные и частные дела, 21 декабря 1879 г. он выехал из Квинстоуна [24], а 1 января 1880 г. прибыл в Санди-Гук, в Америку.

4

Ирландская эмиграция всегда являлась для Соединенных Штатов самой значительной по своим размерам. Если мы возьмем лучшую описательную энциклопедию [25], относящуюся как раз к тому году, когда Парнель поехал в Америку, и развернем ее на 778-й странице, то увидим, что, сравнительно с общей цифрой народонаселения, Ирландия всегда выбрасывала в Америку гораздо больше людей, нежели какая-либо другая страна в мире, так что, например, в начале 70-х годов земледелием и промышленностью было занято в Соединенных Штатах всего $12^1/_2$ миллионов рабочих, и из них почти миллион принадлежал к ирландской нации, а из остальных $11^1/_2$ миллионов 10 миллионов было природных граждан Соединенных Штатов и всего $1^1/_2$ миллиона лиц остальных национальностей (китайской, французской, английской, германской и пр.). Нужно заметить также, что если таким образом у Парнеля была некоторая почва в Америке в виде поддержки ирландских эмигрантов, то он мог также надеяться на сочувствие американского общества. Традиционный антагонизм между Англией и Штатами, долголетняя борьба англичан против торговли неграми в первой половине XIX в. и как раз обратное *враждебное* отношение Англии к Северным Штатам во время борьбы их с Южными в 60-х годах из-за уничтожения рабовладельчества, а потом конкуренция капиталов обеих стран — все эти причины сильно способствовали тому, что американское общественное мнение всегда демонстративно становилось на сторону ирландцев против их врагов; правда, от этого капиталистический строй не угнетал ирландских эмигрантов менее, нежели американских аборигенов, но сочувствовать Ирландии было там всегда в моде.

Фении находили в Штатах безопасное убежище и приют; когда Ирландию посещал голод, в Нью-Йорке и других круп-

ных центрах восточного побережья устраивались благотворительные базары; американская пресса обыкновенно очень сочувственно отмечала выдающиеся факты из деятельности ирландской оппозиции. О Парнеле в Америке говорили очень много, как только он начал систематическую обструкцию; знали там также о его намерении совершить агитационное tournée по Штатам и ждали этого с нетерпением как ирландцы, так и американская публика. С таким же интересом, хотя несколько иначе окрашенным, следила за путешествием Парнеля английская империалистская пресса.

Один лондонский журналист, Филипп Беджналь, в своем довольно любопытном памфлете об американских ирландцах [26] проследил шаг за шагом путешествие Парнеля и перепечатал некоторые его речи в своей книге, имевшей большой успех. 26 января (1880 г.) Парнель произнес на митинге в Кливленде слова, вызвавшие против него в Англии целую бурю. «Я видел,— сказал он,— вооруженных ирландцев, служащих в американской милиции. Мне кажется, что всякий из них должен был думать: о, если бы можно было воспользоваться этим оружием для Ирландии!» [27] Тут громовые аплодисменты прервали оратора. «Ничего,— продолжал он,— дело дойдет до этого теперь или после». 16 февраля он говорил в Питстоуне пред огромной аудиторией о положении Ирландии в последние годы. «Я вам даю слово,— сказал он собравшимся ирландцам,— что буду бороться так упорно, как вы только можете пожелать. Лендлорды и правительство продолжают свое дело изгнания фермеров и их семейств с их участков, но из крови храбрых коннемарских женщин, восставших против разорителей очага, поднимется сила, которая прочь снесет не только всю систему землевладения, но и гнусное правительство, которое ее поддерживает». 23 февраля он говорил в Цинцинати [28]. «Я уверен, что мы убьем систему лендлордов. Когда мы возвратим ирландскую землю ирландскому народу, мы получим основание, на котором построим жизнь нации. Когда мы подорвем английское хозяйничанье, этим расчистим дорогу к достижению того, чтобы Ирландия заняла свое место между другими народами. И не думайте, пожалуйста, что гомруль — *крайняя* цель, к которой мы стремимся. Никто из нас, где бы мы ни были — в Америке или Ирландии,— не будет удовлетворен, пока не порвется последняя связь, соединяющая Ирландию и Англию».

Ораторский талант Парнеля развернулся в Америке во всю ширь. Он говорил спокойно, так же как во время парламентских волнений. Но это спокойствие, полное отсутствие чего бы то ни было похожего на искусственную подогретость, искренность убеждения, чувствовавшаяся в каждом слове,— все это производило громадное действие на умы слушателей. По-видимому,

он был таким же идеальным оратором англо-саксонского типа, как Гамбетта — типа французского.

Можно сказать, что в Америку Парнель поехал известным человеком, а вернулся оттуда признанной знаменитостью. Овации следовали одна за другой: в Вашингтоне его полуофициально пригласили говорить в зале конгресса [29]; пожертвования лились рекой. За 2 месяца пребывания в Америке он собрал 350 тысяч долларов [30] для кассы «земельной лиги», не считая сумм, предназначенных в пользу голодающих. Блестящий успех и материальный, и политический (потому что сочувствие к Ирландии проявлялось в Штатах самым решительным образом) заставлял думать, что путешествие не так скоро окончится, но совершенно неожиданно Парнель получил известие, что Биконсфильд распустил палату и назначил новые выборы. Тогда он моментально бросил все и, не теряя ни одного дня, отправился в Ирландию.

Палата была распущена 8 марта 1880 г., а на другой день в газетах появилось письмо премьера к герцогу Мальборо. Вот что между прочим писал Биконсфильд лорду-наместнику Ирландии: «Опасность, которая в своих конечных результатах едва ли менее грозна, чем голод и эпидемия, поражает эту страну (Ирландию.—*Е. Т.*). Часть ее населения пытается разорвать конституционные узы, связывающие Британию с Ирландией». Говоря дальше о тех людях, которые дерзают сомневаться в желательности таких уз, премьер продолжал [31]: «Немедленное распущение парламента представит нации удобный случай избрать себе путь, который сильно повлияет так или иначе на будущее процветание Англии и окажет воздействие на ее судьбы». В конце письма премьер позволял себе выразить надежду, что новый парламент не будет недостоин английского могущества [32] и станет решительно отстаивать это могущество. Другими словами, премьер надеялся на то, что выборы придадут новый и сильный авторитет его политике. Известно, что в 1880 г. английская нация не оправдала лестного доверия лорда Биконсфильда и оставила его в меньшинстве. Достаточно взглянуть на цифры, чтобы убедиться в жестоком поражении, испытанном ториями; в распущенном парламенте находилось: 351 консерватор, 250 либералов и 51 ирландец; в парламенте, избранном в 1880 г., оказалось: 243 консерватора, 349 либералов и 60 ирландцев. Биконсфильд подал в отставку, и вождю либералов, Гладстону, было поручено сформировать кабинет.

Выборы 1880 г. показали, что влияние Парнеля возросло в необычайной степени. Он был избран в трех округах; мало того, были избраны все его кандидаты, т. е. лица, им рекомендованные избирателям. Из 60 избранных гомрулеров парнелита-

ми в точном смысле могло назваться около 30 человек (остальные еще не знали, продолжать ли политику покойного Бьюта или идти за Парнелем). Влияние Парнеля на своих приверженцев было безгранично; люди, писавшие о нем по личным воспоминаниям, говорят, что он оказывал на свою партию такое давление, которое беспримерно в парламентских летописях [33]. В частной жизни он держался далеко от них, и никто не осмеливался брать на себя инициативу сближения с ним. Парнель охотно довольствовался собственным обществом и не искал друзей; он напоминал этим Байрона, с которым вообще у него были, кажется, общие черты характера и темперамента.

Если налицо был факт сочувствия его деятельности со стороны Ирландии, если имелась партия, во всех отношениях далеко оставлявшая за собой прежнюю группу гомрулеров, если эта стойкая и дисциплинированная партия беспрекословно повиновалась своему вождю, то, по-видимому, ничего не могло помешать Парнелю сразу начать борьбу. Но он ждал. Конечно, такой глубокий и убежденный скептик не мог думать, что либеральный кабинет удовлетворит все требования ирландцев, но ему нужно было сначала показать, что не он, Парнель, виноват в новой войне, а Гладстон; для этого нужно было исполнить формальность: предъявить свои требования и поставить новое министерство в необходимость открыто высказаться. Гладстон сделал в свое время для Ирландии очень много: он уничтожил подати в пользу англиканской церкви, облегчил своим land act 1870 г. положение фермеров, неоднократно подавал свой авторитетный голос против всяких исключительных мер, проектировавшихся относительно Ирландии. Пожалуй, и теперь можно было ожидать паллиативных уступок и облегчений, но Парнелю нужно было все или ничего.

Кабинет Гладстона начал с обещаний: был обещан закон о земельных держаниях, который осуществил бы кое-какие требования земельной лиги, но дело не пошло пока дальше обещаний. Член кабинета Гаррингтон прямо заявил [34], что не в реформе дело, а в малой осведомленности парламента относительно ирландских дел, и что задача правительства по отношению к Ирландии заключается не в новых законах, а в назначении комиссии, которая разработала бы фактический материал. По мнению Парнеля, непререкаемый фактический материал заключался в десятках тысяч трупов умерших от голода ирландцев; он полагал также, что, пока комиссия будет заниматься своими исследованиями, этот фактический материал станет до того богат, что потребует для разработки и подсчета слишком много труда. Ввиду всего этого Парнель открыто высказал свое мнение и в парламенте, и в Ирландии (во время осенней поездки 1880 г.), что Гаррингтон и Гладстон — для него такие

же враги, как лорд Биконсфильд, и что на новый кабинет надеяться нечего, а нужно продолжать борьбу.

Министерство назначило наместником Ирландии Форстера, человека, несколько раз неопределенно выражавшего расположение к ирландцам. Некоторые члены ирландской партии (не парнелитской группы), сохранившие старые привычки мысли со времен Исаака Бьюта, приветствовали это назначение с восторгом [35], но Парнель посмотрел на него как на простое заигрывание с ирландцами, нужное кабинету, но бесполезное для партии и страны. Если внимательно проследить карьеру Парнеля, можно заметить, что после каждой попытки какого бы то ни было кабинета сблизиться с ним путем мелких любезностей по адресу Ирландии, он становился еще требовательнее, неуступчивее и жестче. Так было и теперь. Предстояла долгая и упорная борьба с Гладстоном, которая должна была оказаться труднее, чем обструкция времен Биконсфильда, так как Гладстон в начале 80-х годов был действительно представителем большинства английского народа, а не только официальным премьером; но, прежде чем броситься в эту борьбу, Парнелю нужно было уладить важные партийные дела в своей стране.

Среди тех социальных сил, которые действовали в Ирландии и которые боролись там с английским элементом, видное место во все времена занимало католическое духовенство. Нет нужды много распространяться о причинах того факта, что всегда католические клирики в Ирландии находились в оппозиции. Ирландские кельты приняли христианство гораздо раньше британских англов и саксов, и хотя религия была тогда еще одна, но отношения между ирландским и английским духовенством всегда оставались открыто враждебными. Насколько можно судить по отрывочным замечаниям летописцев, немаловажную роль тут играли, во-первых, расовый элемент и, во-вторых, гордость ирландской церкви своим старшинством. Когда при Генрихе II, в XII в., началось завоевание Ирландии англичанами, духовенство явилось деятельным участником национальной обороны. В XVI в. при Тюдорах и в XVII — при первых Стюартах и при республике ирландские клирики боролись уже не только за национальность, но и за католицизм, против англиканства и пуританизма. Со времени Вильгельма и Марии (т. е. с конца XVII в.) клирики не прекращали протестов против обложения католического населения податями в пользу господствующей англиканской церкви, против текст-акта, запрещавшего принимать католиков на государственную службу. Притеснение ирландской национальности для духовенства во все времена сливалось и отождествлялось с преследованием католического культа; вот почему

клирики являлись деятельнейшими пропагаторами освобождения от англичан и каждый факт борьбы с англичанами окружали ореолом религиозного подвижничества. Если ирландское духовенство так относилось к делу освобождения от Англии, то не всегда оно видело себе в этом поддержку со стороны Рима [36]. Правда, оппоненты гомрулеров говорили, что ирландцы подготовляют для себя не home-rule, а Rome-rule, но этот каламбур более ловок, чем согласен с действительностью. Папа Лев XIII отрицательно отнесся к деятельности земельной лиги, и в 1880 г. явилась опасность для парнелизма, что часть духовенства может оставить дело лиги и гомруля.

Далее, духовенство своей поддержкой много давало, но можно было опасаться, что оно многого и потребует, и этого боялась масса передовых людей Ирландии. В рядах парнелевской армии стояли и католический клир, и люди, являвшиеся убежденными антиклерикалами. Парнель полагал, что пока цель не достигнута, ссориться нелепо, и поэтому решил употребить все усилия, чтобы ирландские клирики и ирландские либр-пансеры забыли на время о своих разногласиях и помнили только о гомруле и программе земельной лиги. Итак, для того чтобы удержать за собой духовенство, взволнованное отрицательным отношением папы к лиге, и чтобы примирить разные фракции гомрулеров, Парнель и предпринял летом 1880 г. путешествие по Ирландии. К нему относились хорошо все: и католическое духовенство возносило за него горячие молитвы (несмотря на то, что он был протестант), и передовая фаланга гомрулеров верила каждому его слову, так что миссия примирения была для него легка.

Эта же поездка должна была лишний раз показать правительству, какие силы стоят за Парнелем, и уверить нерешительных людей партии, что парнелизм — единственная признанная ирландской нацией политика. Весенняя сессия окончилась решительным разрывом между Парнелем и Гладстоном. Парнель поговаривал, что обструкция очень скоро будет пущена в ход; когда эта угроза дошла до премьера, он публично заявил: «Парнель молод, а я — старик; но если эта игра затянется, не мне, а ему придется раскаяться». Как только сессия окончилась, Парнель уехал в Ирландию.

5

Внешняя сторона деятельности Парнеля невольно приводит на память краткую карьеру Лассаля. Одна черта сходства в особенности бросается в глаза: внезапный, поражающий своими размерами успех среди народных масс. То глубокое, ничем вначале не мотивированное доверие, которое в 1862 г. сразу

доставило поддержку германскому агитатору, в 1880 г. стало уделом Парнеля. Ни Граттан, ни О'Коннель, ни какой бы то ни было из предшественников Парнеля никогда не получали такого единодушного вотума доверия в самом начале своей деятельности. Устраивались Парнелю овации и в 1878 г., и в Америке весной 1880 г., но события летнего путешествия (того же 1880 г.) затмили все. Восторженные встречи следовали одна за другой; приемом этим, как говорил сам Парнель, мог бы остаться доволен и государь.

В Корке ему устроили настоящий апофеоз. Стотысячные толпы постоянно окружали его и дом, где он останавливался; они рукоплескали при его появлении, прерывали восторженными криками каждое его слово, с факелами в руках бежали за его экипажем, посылали к нему разнообразнейшие депутации с одним и тем же поручением: передать, как Ирландия любит его и верит ему. Но голова этого человека была настолько крепка, что не закружилась от атмосферы обожания и безусловного доверия. Все время он оставался совершенно спокоен, говорил твердым голосом, никогда его не повышая, обращался к бесчисленной толпе так же уверенно и просто, как к небольшой кучке приятелей. Несколько раз он говорил своим спутникам, что эти овации — слишком высокая цена за немногое, сделанное им до сих пор. При его появлении духовенство, антиклерикалы, республиканцы и другие фракции гомрулеров — все оставили свои пререкания.

Между прочим Парнель задался целью удержать на время от революционных выходок наиболее пылких своих приверженцев, и даже это ему удалось. Достаточно почитать мемуары английского агента тайной полиции Томаса Бича [37], чтобы убедиться, насколько неожиданным тогда казалось для посторонних наблюдателей обращение людей самого революционного темперамента в сдержанных конституционалистов. Фенианское движение не замирало, но Парнель и не заботился об этом: он хотел только, чтобы лица легальные, имевшие возможность со временем попасть в парламент и обещавшие быть там полезными, не очень себя компрометировали. В конце лета он прибыл в Лондон и принял участие в парламентских делах. Теперь он вошел в палату как признанный представитель интересов не того округа, который его избрал, а всей Ирландии. Кабинет должен был готовиться к особенно жестокой борьбе.

На 27 августа было назначено обсуждение министерского законопроекта о деньгах на содержание полицейской силы в Ирландии [38]. Заседание началось в 4 часа пополудни во вторник и окончилось в 1 час пополудни в среду; 21 час без перерыва Парнель и его партия не давали возможности правительству приступить к баллотировке. Дело дошло до того, что парнели-

ты, хотя их было всего 28 человек, прямо поставили Гладстону, опиравшемуся на большинство, определенные условия: полиция должна быть уменьшена и ни в каком случае полицейские чины в Ирландии не должны принимать участия в изгнании фермеров с поместий лендлордов, даже если, например, они отказываются добровольно уйти. Если это будет сделано, Парнель позволит приступить к баллотировке, si no — no [39]. Дать такие обязательства Гладстон не хотел, и часы шли за часами, Парнель не уступал, и заседание продолжалось. Парнелиты говорили о самых разнообразных вещах, читали вслух не относящиеся к делу страницы разных книг, и в конце концов заседание было отложено.

На удовлетворение требований земельной лиги теперь не было ровно никаких оснований надеяться. Парнель поехал вскоре после заседания 27 августа в Ирландию, чтобы дать новый mot d'ordre. 19 сентября он произнес в Эннисе речь, которая, по справедливому замечанию новейшего историка [40], составила эпоху в борьбе Ирландии с Англией. Он говорил о том, что все внимание ирландских фермеров должно быть теперь обращено на отвоевание себе известных прав на арендуемые участки; он подчеркивал то обстоятельство, что единственный способ достигнуть цели заключается в том, чтобы поставить лендлорда, осмелившегося прогнать своего фермера, в безвыходное положение. Пусть никто из ирландцев не арендует никогда участка, с которого лендлорд согнал фермера, и тогда поневоле землевладельцы будут осторожнее. «Если вы,— сказал он,— откажетесь платить слишком высокую арендную плату, если вы откажетесь занимать фермы, с которых другие согнаны, тогда земельный вопрос будет решен, и решен в удовлетворительном для вас смысле. Итак, от вас самих это зависит, а не от какой-нибудь комиссии или какого-нибудь правительства...» «Но что же делать вам с человеком, который все-таки займет ферму, откуда лендлорд прогнал арендатора?» Тут масса голосов прервала криками: «Убить его!» Парнель продолжал: «Я слышу многие кричат: убить! Но я вам укажу другой путь, гораздо лучший, более христианский, который даст провинившемуся возможность исправиться. Если кто займет ферму, откуда выгнан прежний арендатор, вы должны избегать его на больших дорогах, на городских улицах, в лавках, в храмах, на рынках; всюду вы должны оставлять его одного, вы должны уединить его от остального общества, как если бы он был прокаженным; вы должны показать ему отвращение, которое чувствуете к совершенной им низости» [41].

Парнелевские слова упали на благодарную почву. От изгнаний с арендных участков ирландцы страшно страдали; по признанию самого Гладстона, за 1880 год лендлорды выбросили

буквально на улицу 15 тысяч живых существ[42]. Значит, премьер расходился с агитатором не в признании самого факта, а лишь во мнениях о способе уврачевания зла: Гладстон думал, что коможет парламентская комиссия, а Парнель полагал, что действительнее будет оставление лендлордов без арендаторов. Опале и отлучению от общества должен был подвергаться вообще всякий, кто так или иначе станет на сторону лендлорда, против фермера.

Последствия речи Парнеля сказались весьма быстро. В Лау-Меске (в Ирландии) жил один англичанин — некто капитан Бойкотт, арендовавший ферму на земле лорда Ирна[43]; он же был агентом лорда по делам того в этой местности. К нему, как к сборщику арендных денег, явились однажды все фермеры лорда Ирна и предложили более низкую арендную плату, чем та, которую они платили до сих пор[44]. Бойкотт не согласился и начал против них процесс с целью выселить их. Когда пришли судебные приставы, толпа народа бросилась на них и заставила поспешно скрыться в доме Бойкотта. На следующий день Бойкотт был объявлен в опале, слуги и рабочие отошли от него: всякое общение с ним было прервано, и так как ежеминутно он мог ожидать нападения, то правительство послало войска для его охраны. Бойкотт должен был выселиться в Англию. С тех пор опала, рекомендованная Парнелем в его эннисской речи, стала называться «бойкотированием» или просто «бойкотом». Бойкотирование как средство строго легальное имело огромную силу при тогдашних обстоятельствах, и как бы ни относился Парнель к фениям, он видел, что одна из главных задач практической политики заключается в том, чтобы осуществители бойкота всегда удерживались в рамках законности и не прибегали к насилиям. Он и его товарищи не переставали увещевать ирландцев быть осторожнее[45] и помнить, что бойкотеры и фении действуют разными средствами в разных плоскостях социальной жизни и что поэтому бойкотерам совершенно лишнее брать пример с фениев.

Но все равно правительство не могло смотреть спокойно на то, что творилось в Ирландии. Агитация Парнеля, становившиеся все чаще случаи бойкота, оживление деятельности фениев — все это ставилось в причинную связь. Тревожно настроенное общественное мнение требовало от Гладстона каких-нибудь мер против Парнеля и Ирландии, и Гладстон решил, во-первых, начать судебное преследование против Парнеля и, во-вторых, внести в палату с нового (1881-го) года «билль об усмирении» Ирландии. В октябре был арестован личный секретарь Парнеля[46] за то, что он оправдывал в своей речи покушение на убийство, совершенное фениями. Через несколько дней, 2 ноября (1880 г.), было начато судебное преследование против

Парнеля, Диллона, Биггара, Сюлливана и Сикстона (все это были парламентские парнелиты) по обвинению в заговоре. Это оказалось большой оплошностью со стороны министерства, потому что такого хладнокровного и осторожного человека, как Парнель, обвинить в чем-нибудь противозаконном было крайне трудно. Его деятельность развивалась на той демаркационной линии, которая разделяет легальную борьбу от революционной, но эта линия не была им пройдена. Присяжным оставалось только отвергнуть обвинение за недоказанностью, что они и сделали 24 января 1881 г. Оправданные могли теперь со спокойным сердцем вмешаться в обсуждение билля, имевшего целью усмирение неспокойных элементов в Ирландии. В тот же день, как присяжные освободили Парнеля и его товарищей от обвинения, наместник Ирландии Форстер (тот самый, назначению которого так обрадовались в свое время умеренные члены ирландской партии) внес в парламент предложение о ряде мер, необходимых, как он думал, для успокоения волнующейся страны.

Парнелизм и фенианство были явлениями, выросшими на одной и той же политической и экономической почве, и нужно признать, что оба эти движения давали друг другу весьма значительную моральную поддержку. Никогда еще парламентские гомрулеры не были так резко радикально настроены, как во времена Парнеля, и никогда фенианское движение не проявлялось более сильно и последовательно, как именно в эти годы, в конце 70-х и в 80-х годах. Та борьба, которую затеял Парнель, была войной à outrance, должна была вестись всей ирландской нацией против английского государства и требовала от ирландцев, чтобы все они, без исключения принимали в ней участие. «Кто может, пусть идет в парламент, кто не может, пусть бойкотирует изменников и устраивает демонстрации, кто желает приложить свои силы в открытой борьбе, пусть начинает ее»,— вот какой лозунг давал Парнель Ирландии; при нем в первый раз фенианство почувствовало себя регулярной частью армии гомрулеров, и, может быть, тут кроется одна из причин оживления фениев в эпоху расцвета парнелизма. Главными же причинами нужно, конечно, считать последовательный ряд неурожаев картофеля в конце 70-х и начале 80-х годов и обострившуюся нищету и озлобленность населения. Аграрные преступления, в которых видели руку фениев, следовали в 1880 г. одно за другим и дали Форстеру, автору законопроекта об усмирении Ирландии, богатый цифровой материал.

Дело началось с того, что 6 января 1881 г. при открытии сессии лорд-канцлер прочел тронную речь королевы, в которой говорилось следующее[47]: «Милорды и джентльмены! К сожалению, я должна констатировать, что положение Ирландии

приняло тревожный характер. Число аграрных преступлений увеличилось намного сравнительно с предшествующими годами. Широкая система террора воцарилась в разных частях страны...» Речь кончалась указанием на то, что назрела потребность в новых законодательных мерах относительно Ирландии.

Тотчас вслед за прочтением тронной речи началось обсуждение ответного адреса; это обсуждение благодаря парнелитской обструкции длилось ровно две недели. Только 24 января законопроект Форстера «о защите личности и собственности в Ирландии» был внесен в палату общин [48]. Форстер заявил, что в общем аграрных преступлений (убийств лендлордов, поджогов, нападений на лендлордские дома) было в 1880 г. 2590 случаев. Мало того, что по процентному отношению к общему количеству населения Ирландии в 1880 г. аграрных преступлений случилось больше, нежели когда бы то ни было, но на самые последние месяцы — октябрь, ноябрь и декабрь 1880 г.— выпало их больше, чем во все остальные месяцы с января до октября: из 2590 в последние месяцы совершено около 1700 преступлений. Но и этого мало: в декабре аграрных преступлений больше, чем в октябре и ноябре, вместе взятых! [49] Дальше так идти не может, потому что цифры говорят, что аграрные преступления растут в ужасающей прогрессии; на этом основании он, Форстер, секретарь кабинета по ирландским делам, давно уже ищет корни зла и теперь нашел их. Аграрные преступления суть не что иное, как последствие совета, данного мистером Парнелем в его речи в Эннисе о необходимости не на жизнь, а на смерть бороться с лендлордами и наказывать отлучением от общества всякого, кто займет ферму после изгнания арендатора. Вместо законов настоящих в Ирландии царят неписанные законы (unwritten laws) земельной лиги и ее председателя Парнеля. Ввиду всего этого Форстер полагает, что следует возобновить старые порядки и снабдить лорда-наместника Ирландии правом арестовывать иностранцев, не могущих представить удовлетворительные документы о личности, и вообще всех лиц, которые будут захвачены ночью при обстоятельствах, внушающих подозрение [50]. Кроме того, нужно дать лорду-наместнику полномочия прекращать временно habeas corpus в тех местностях, где он найдет необходимым это сделать.

Парнель и его товарищи протестовали против билля. Заседание 24 января окончилось ничем, и вопрос был перенесен на 27-е число. Заседание 27-го длилось без перерыва 8, 10, 12, 15 часов, и благодаря Парнелю законопроект был так же далек от вотирования, как и 24-го числа. Наконец, встал Гладстон и в длинной речи, страшно волнуясь, бросил Парнелю в лицо обвинение в том, что он своими словами о бойкотировании в Эн-

нисе воспламенил народные страсти в Ирландии. Парнель начал его прерывать каждую минуту, говоря, что Гладстон подтасовывает его слова [51]. Тогда раздались со всех сторон крики: «К порядку, к порядку!» Спикер обратился к Парнелю со внушением, что прерывать чужую речь нельзя. Но Парнель, не обращая внимания на спикера, продолжал мешать Гладстону. А Гладстон, разгорячаясь все более и более, говорил: «Деятельность земельной лиги стоит в прямом отношении к аграрным преступлениям; в 1879 году митингов лиги было мало и преступлений случилось мало; в 1880 году митингов было много и преступлений произошло много». Тут парнелит О'Гили прервал премьера: «А сколько было в 1880 году изгнаний арендаторов? Тоже много?» По существу парнелиты не спорили с министерством. Парнель полагал, что пока Гладстон отрицательно относится к гомрулю и требованиям земельной лиги, до тех пор они с ним говорят на разных языках и столковаться не могут. Избегая общих исповеданий веры, он только продолжал мешать прохождению билля через парламент. После 22 часов раздраженных дебатов палата разошлась, отложив обсуждение законопроекта Форстера на 31 января [52].

Знаменитое в парламентских летописях заседание 31 января 1881 г. началось с того, что часть либеральной английской партии объявила себя против билля об усмирении. После прений между этими временными союзниками ирландцев и министерством опять явилась обструкция. Парнель изощрял свое остроумие в придумывании новых и новых вопросов и задержек. Он изложил весьма подробно чуть ли не всю историю Ирландии [53], говорил о совершенно посторонних вещах, затевал в шутку маленькие споры с членами своей партии, вмешивался в чужие речи и заставлял еще раз их говорить и, наконец, объявил, что теперь все парнелиты (30 человек) произнесут каждый от имени своего округа по одной речи.

Прошел вечер понедельника (31 января), ночь, вторник, еще одна ночь, и, наконец, в среду, 2 февраля, после заседания, непрерывно длившегося в продолжение 41 часа, поднялся спикер и произвел свое coup d'état [54]. Он заявил, что Парнель и его приверженцы нарочно затягивают заседание, что этим наносится оскорбление парламенту, что большинство стоит за принятие билля, и поэтому он, спикер, прекращает дебаты и предлагает приступить к баллотировке [55]. Гром рукоплесканий консерваторов и либералов встретил это заявление. Ирландцы были поражены: они никак не ожидали такого оборота дел. Предложение спикера было принято. Тогда ирландцы со сжатыми кулаками и горящими глазами [56] стали выкрикивать угрозы по адресу парламента. Явился Гладстон, бледный, как смерть, и сел на министерскую скамью. Неизвестно, на что решились

бы ирландцы, если бы не Парнель. Он счел почву для дальнейших протестов слишком невыгодной и убедил всех своих приверженцев удалиться из палаты. Как только они ушли, законопроект Форстера был единогласно принят в первом чтении.

Второе чтение было назначено на следующий день, 3 февраля в четверг. Сильное и смешанное впечатление произвело в Англии известие о заседании 31 января — 2 февраля и о том, что случилось в конце его. Не в английских нравах нарушать законы и обычаи, а поступок спикера был именно нарушением парламентских традиций. Правда, благодаря этому была сломлена обструкция Парнеля, билль, наконец, мог быть пущен на голоса, но все-таки победа весьма многим казалась купленной слишком дорогой ценой. Что касается до Ирландии, по телеграфу узнавшей о происшедшем, то здесь Парнель окончательно превратился в национального героя, а в выходке спикера видели оправдание всяких насилий со стороны фениев и доказательство, что кабинет сам толкает людей на преступления, не давая им пользоваться легальными средствами борьбы. Министерство, со своей стороны, решило не щадить врагов, и вот 3 февраля, как раз за немного времени до начала парламентского заседания, Парнель получил известие, что Михаил Девитт, инициатор земельной лиги, арестован в Ирландии за преступные речи. После обеда (3 февраля) началось заседание и билль Форстера должен был пройти через второе чтение.

Но раньше, чем приступили к законопроекту, Парнель спросил у сэра Вильяма Гаркура [57], правда ли, что Девитт арестован. Сэр Гаркур ответил, что это правда, и прибавил, что Девитт как бывший каторжник освобожден условно и теперь он нарушил условия, на которых был выпущен [58].

Вслед за тем слово было предоставлено премьеру. Гладстон только что начал речь, как вдруг встал Диллон, один из парнелитов, и принялся, со своей стороны, что-то говорить в одно время с Гладстоном. Поднялся страшный шум [59]; палата увидела, что Парнель выдумал нечто совсем новое в ответ на вчерашнее coup d'état. Спикер громко прокричал Диллону, что теперь слово принадлежит Гладстону. Но Диллон отказался сесть на место и продолжал стоять, скрестив руки и крича во весь голос: «Я имею право говорить!» Наступило полное смятение. Раздались крики: «Вон его, прогнать его!» Спикер объявил: «Мистер Диллон, я вас удаляю за неповиновение мне». Затем, согласно с законом, вопрос об удалении Диллона был поставлен на баллотировку, и большинством 395 голосов против 35 было решено предложить Диллону удалиться до конца заседания. Но Диллон при аплодисментах парнелитов заявил, что он «почтительнейше отказывается удалиться». Тогда спикер велел

приставу вывести Диллона силой [60]. Пристав подошел к Диллону, положил руку на его плечо и предложил идти с ним. Диллон отказался, и пристав должен был позвать 5 сторожей, чтобы вытащить Диллона в переднюю. Когда служители явились, Диллон, наконец, ушел.

Как только Диллон вышел, встал другой парнелит, Сюлливан (известный автор «Новой Ирландии»), и в самых резких выражениях протестовал против изгнания Диллона. Спикер оправдывался. Сюлливан нападал [61], сравнивал гладстоновский режим с режимом Империи Наполеона III [62], и довольно много времени прошло, пока, наконец, Гладстон получил возможность говорить. Но только что он произнес одну фразу, как встал Парнель и с обычной своей невозмутимостью сказал спикеру: «Я прошу поставить на баллотировку предложение не слушать дальше этого почтенного джентльмена» [63]. При этом он указал на стоявшего Гладстона. На секунду палата остолбенела, но потом раздались яростные крики: «Вон Парнеля! Вон Парнеля!» Шум и смятение продолжались очень долго. Парнель все время стоял и скучающим взором обводил палату. Как только начало воцаряться некоторое спокойствие, спикер провозгласил: «Слово принадлежит г. Гладстону». Тогда Парнель снова заявил: «Я настаиваю на том, чтобы мое предложение было пущено на голоса».

Спикер возразил, что он принужден будет удалить Парнеля, если тот не перестанет мешать Гладстону. Спикеру пришлось еще немного препираться с одним парнелитом (О'Доннохом), и, наконец, он опять-таки объявил, что слово за Гладстоном. Гладстон начал: «Я хочу после тяжелых сцен, бывших только что, продолжать свою мысль, прерванную вначале. Долг, который на мне лежит, весьма важен...» Но тут опять встала громадная фигура Парнеля, и Гладстон умолк. «Я предлагаю не слушать дальше г. первого министра». Теперь уже спикер без дальнейших околичностей предложил палате на голосование вопрос об удалении Парнеля. Громадным большинством голосов было решено удалить Парнеля до конца заседания. Парнель отказался, позвали пристава, тот взял его за плечо, и тогда Парнель ушел [64].

Тут всем стало ясно, что выдумал Парнель в ответ на прекращение спикером дебатов 2 февраля: для того чтобы выгнать из залы депутата, нужно предупреждение, голосование, подсчет голосов, да еще призыв пристава, если изгоняемый не хочет добром уйти; вся эта процедура может занять около получаса (а с прениями и больше). Если всех парнелитов 30 человек, то вот уже на 15 часов заседание оттягивается, и это, если совсем не пытаться говорить, а с произнесением речей можно занять и 20 и 25 часов. Действительно, как только после ухода

Парнеля Гладстон начал говорить, та же история повторилась последовательно со всеми парнелитами, бывшими на заседании. Все они предлагали не слушать премьера и все они были выведены [65]. Вслед за тем билль об усмирении прошел во втором чтении.

Министерство решило изменить старые парламентские порядки так, чтобы сделать обструкцию невозможной. Новых правил было выработано 17 [66]; главное нововведение заключалось в том, что спикер получил право собственной властью прервать оратора и немедленно поставить вопрос на баллотировку. Порядок удаления из палаты также значительно упрощался. При таких условиях обструкция, по крайней мере вполне откровенная, становилась весьма трудной, если не совершенно невозможной. Билль об усмирении был принят и в третьем чтении, прошел в палате лордов и 2 марта 1881 г. был подписан королевой.

Но Гладстон не был бы тем Гладстоном, которого знает история, если бы он думал, что биллем об усмирении можно в самом деле успокоить Ирландию. Он твердо решил тотчас же поднять аграрный вопрос, и 7 апреля (через месяц после того, как билль об усмирении вошел в силу) министерство внесло в палату проект об урегулировании отношений между фермерами и лендлордами [67]. Билль предлагал учредить специальные земельные суды, которые бы устанавливали справедливый размер арендной платы в том случае, если лендлорд и фермер не приходят к соглашению. Другие пункты билля ограничивали право лендлорда по усмотрению прогонять арендатора с земли и строго определяли права и обязанности обеих сторон. Фермер получал право продавать свой участок на весь арендный срок, если найдет это выгодным [68].

В общем билль превосходил самые смелые чаяния ирландской партии 70-х годов, времен Исаака Бьюта. Но Парнель сумел так повысить требования и идеалы ирландцев, что теперь, в 1881 г., законопроект Гладстона рассматривался довольно холодно. Вождь ирландской партии обрушился на земельный билль с такой силой, что привел в недоумение даже многих своих приверженцев. Но главный принцип его практической политики заключался в том, чтобы становиться требовательнее по мере уступчивости врага. Парнель желал перехода ирландской земли в руки ирландцев и не захотел решительно ни на чем другом мириться. Земельная лига требовала, чтобы в арендной плате заключалось и погашение стоимости арендуемого участка, так чтобы в 30 лет земля была выкуплена; Гладстон этого в свой билль не внес, и Парнель счел себя вправе назвать проект Гладстона «жалкой хитростью» и «половинчатым лекарством» [69]. Он требовал от ирландцев, чтобы они

воздержались от голосования, 35 человек (30 парнелитов и 5 ирландцев, до сих пор не примыкавших) последовали его совету, остальные голосовали за проект. Билль был принят и, пройдя через палату лордов беспрепятственно, стал законом. Королева подписала земельный билль 22 августа, а 27-го числа того же месяца окончилась эта сессия.

С января до августа Парнель держал в напряжении палату общин, и в то время, как члены ее готовились отдыхать, сам он тотчас же уехал для агитации в Ирландию.

6

Задача, стоявшая перед Парнелем во второй половине 1881 г., была довольно сложна. Земельный билль Гладстона произвел на фермеров и на некоторые другие слои ирландского народа впечатление самое отрадное. Парнель, глубочайшим образом не доверяя никакому английскому правительству, был склонен думать, что кабинет сделал эту уступку из страха перед парламентской обструкцией, а еще более перед аграрными преступлениями и перед деятельностью фениев. Он опасался, что если Ирландия успокоится окончательно, тогда на какое бы то ни было движение законодательства в ее пользу нечего и рассчитывать. Война и военные отношения, запугивание врага и постоянная готовность к битве — вот что нужно было ирландцам, по мнению их вождя. Но, с другой стороны, когда слишком ярые его адепты предлагали пропагандировать между фермерами ту мысль [70], что нужно воздерживаться от всяких дел с вновь учрежденными посредническими судами [71], Парнель объявил, что это было бы непрактично: пусть фермеры все-таки пользуются тем, что сделал для них Гладстон, лишь бы только они не забывали, что все это «жалкие хитрости» кабинета и что главная цель впереди. Основанная в 1881 г. по настоянию Парнеля газета «лиги» ревностно распространяла эти мысли. Разъезды его по стране начались при шумных овациях в начале сентября. 15 сентября собрался огромный митинг в Дублине; на митинге присутствовало 1700 депутатов от членов «земельной лиги», живущих в разных частях Ирландии [72]; председательствовал Парнель. Он произнес длинную речь, в которой убеждал присутствующих не верить добрым намерениям министерства и ни на минуту не допускать мысли, что ирландское население может удовлетвориться земельным биллем. Мало того, что билль не разрешает аграрного вопроса; по мнению Парнеля, правительство с умыслом не хочет его разрешить, потому что, если классовая борьба в Ирландии утихнет, тогда все жители острова, и лендлорды, и фермеры, соединенными силами будут требовать гомруля, а этого Англия и боится

больше всего. «Пока аграрный вопрос будет открыт,— сказал оратор,— он постоянно будет представлять источник недовольства и раздора между классами [73], и у меня нет ни малейшего сомнения, что английское правительство, предлагая земельный акт, который оставляет вопрос открытым, который ничего не упорядочивает, который наперед делает необходимым периодическое возобновление этого вопроса через каждые 15 лет, что английское правительство, предлагая такую меру, имело целью [74] разъединить общественные классы в Ирландии и не позволить нам воспользоваться нашими соединенными силами для приобретения утраченных прав, прав на самоуправление».

Парнель этой речью ясно показал, что стоит не на исключительно националистической точке зрения и смотри на гомруль как на дело не только природных ирландцев, но всего населения Ирландии. Продолжая свою мысль, он заявил, что пока ирландцы платят аренду лендлордам, ирландским или английским, все равно, до тех пор вопрос о гомруле будет на втором плане. Твердое экономическое положение должно таким образом стать основой и базисом для независимого политического существования. Обращаясь затем с угрозами к кабинету Гладстона, Парнель сказал [75]: «Ничего, у нас есть надежные принципы, пригодность которых мы испытали и доказали за последние два года, и эти принципы представят для нас драгоценное руководство в нашем будущем поведении. Как бы ни действовали фермеры при условиях, созданных земельным биллем, пусть они действуют единодушно, как один человек. Избегайте разрозненных действий [76], пусть ни один фермер не будет доволен, пока все не будут удовлетворены».

Митинг и эта речь произвели большое впечатление в Англии; Парнель уничтожил ту моральную победу, которую готовило себе министерство земельным биллем; оставалось только сдерживать слишком яркие проявления недовольства в Ирландии, а на смягчение самого недовольства рассчитывать было нельзя. Каждому слову Парнеля верили, как евангелию [77], и действия правительства получали среди народных масс именно ту мотивировку и то освещение, какими снабжал их агитатор. Брожение в стране заметно усилилось со времени приезда Парнеля. Наместник Ирландии Форстер, облеченный в силу билля об усмирении правом отменять, где захочет, habeas corpus и арестовывать, кого нужно, пользовался своими прерогативами вполне энергично, так что более или менее беспокойные люди попадали в свое время в тюрьму. Аресты и репрессалии со стороны Форстера и его помощника Борка быстро сменяли друг друга; но ответом на речь Парнеля они служить не могли. Парнель был действительно «некоронованным королем» Ирландии, и от-

ветить ему d'égal à égal мог только сам глава английского правительства.

Ровно через 3 недели после речи Парнеля, 7 октября (1881 г.), Гладстон произнес в Лидсе на собрании представителей либеральных ассоциаций большой спич, который был прямо направлен против ирландского агитатора и его действий [78]. «М-р Парнель хочет убедить ирландцев, что они нами обмануты [79]. Если этот закон (земельный билль — *Е. Т.*), чистый от несправедливостей, все-таки не будет исполняться, то я без колебания, джентльмены, говорю: еще не истощены все средства борьбы, которые дает нам цивилизация». Тут в общих выражениях намекалось на возможность принятия репрессивных мер против Парнеля. Аудитория много раз прерывала премьера громкими аплодисментами. Консервативная пресса часто и сильно упрекала кабинет в попустительстве ирландцам, но лидская речь сразу дала Гладстону много приверженцев среди консерваторов.

Парнель отвечал на речь первого министра через 2 дня после ее произнесения; 10 октября он прибыл в Уэксфорд. Город был декорирован самым блестящим образом [80], и торжественная многотысячная процессия встретила Парнеля со всеми знаками горячей признательности и преданности. Вечером того же дня состоялся банкет, на котором агитатор произнес одну из самых многозначительных своих речей. «Первая необходимость для процветания Ирландии заключается в том, чтобы выбросить вон из нее английское хозяйничание» [81],— сказал он. Как сделать это? Вот как: демократия, рабочие классы должны освободить Ирландию. «Если вы сумеете повиноваться неписаным законам, если вы докажете, что меньшинство не может угнетать большинство, вы тем самым обнаружите, способны ли вы к самоуправлению. Нам нужно, чтобы ирландцы получали все хорошее и справедливое вознаграждение за талант, ум и физическую силу, и мы этого не достигнем, пока не выгоним м-ра Гладстона с компанией и его башибузуков» [82].

Все это Парнель говорил в волнующейся стране, где аграрные преступления не прекращались и где все предвещало близкое оживление фенианства. Собственно, Форстер на основании билля об усмирении имел право арестовать Парнеля немедленно, однако Гладстон медлил прибегать к таким мерам против своего врага, не дав ему сначала решительного предостережения. 12 октября премьер опять говорил в Гильдголле, в Лондоне, подчеркивая и повторяя фразу о не истощенных еще средствах борьбы с Парнелем, предоставляемых цивилизацией. Но Парнель все равно уже не мог оставаться на свободе.

Теперь нам нужно оставить отчеты о политических спичах и обратиться к другого рода источнику. В октябре 1892 г. по-

явилась в Лондоне книжка под названием: «Двадцать пять лет в тайной полиции. Воспоминания сыщика». Эта книжка в 6 дней потребовала трех изданий, а за год разошлась в 16 изданиях: так силен был возбужденный ею интерес. Принадлежит она перу Томаса Бича [83], который под названием майора Лекарона служил в свое время в английской тайной полиции и заведовал там ирландским вопросом. Он успел проникнуть в некоторые фенианские кружки, был коротко знаком с главнейшими деятелями легальной и нелегальной оппозиции и оказал английскому правительству целую массу неоцененных услуг. Что он в своей книжке не лжет, явствует из того, что она не вызвала никаких сколько-нибудь существенных опровержений, хотя огромное большинство названных в ней личностей еще живы; что Томас Бич много знал и видел, это должны были признать даже те, которым знакомство и откровенность с ним не принесли особенной выгоды. Итак, эти мемуары являются необходимым подспорьем при изучении ирландского движения в 80-х годах; нас же они интересуют постольку, поскольку касаются Парнеля и его судьбы в 1881 г.

Томас Бич познакомился, как он рассказывает, с Парнелем в 1880 г., и так как Бича рекомендовали Парнелю суровым и фанатическим революционером, то агитатор был с ним откровенен вполне. Тогда-то Бич и узнал о том, что Парнель находится в связи с тайным ирландским республиканским обществом и его филиацией в Америке [84]. В 1881 г. Бич по обязанностям службы старался держаться поближе к Парнелю, и тот был настолько тронут интересом, который выказывал к его особе Томас Бич, что подарил ему даже свой портрет с собственноручной надписью: «Искренно ваш Чарльз Парнель» [85]. В 1881 г. отношения между Парнелем и разными подозрительными людьми оживились; осенняя агитация заставила его войти в деловые сношения с «революционным управлением», сидевшим в Америке, и Томасу Бичу было поручено передать этому обществу некоторые инструкции от Парнеля [86]. «А между тем правительство вовсе не было так мало осведомлено о Парнеле, как это ему (Парнелю — *Е. Т.*) казалось»,— задумчиво замечает Бич.

Таким образом, наместник Ирландии Форстер имел целый ряд сведений и документов относительно нелегальных сношений агитатора, как раз в это время произносившего запальчивые речи против министерства. 12 октября, как было сказано, происходил дублинский митинг, и Парнель еще раз обрушился на Гладстона, а на другой день, 13-го, он был арестован по приказанию Форстера. Парнель не обнаружил при аресте даже тени волнения [87], но встретил это как вещь давно ожидаемую.

Тотчас после арестования он был отвезен и заключен в Кильмангемскую тюрьму. В приказе Форстера говорилось, что Парнель арестуется за возбуждение людей к неуплате арендных денег и пр. Истинные, непосредственные причины не были преданы гласности.

Это был первый удар; второй поразил уже «земельную лигу»: 18 октября она была объявлена правительством закрытой[88]. Как справедливо говорит умный и тонкий наблюдатель всего, что тогда творилось в Великобритании[89], две нации теперь стояли друг против друга и обе были единодушны. «Ни один голос не раздался в Англии в защиту Парнеля; ни один голос не раздался в Ирландии в защиту Форстера»[90]. Вслед за тем были арестованы в несколько дней Биггар, О'Гили и другие наиболее активные члены закрытой лиги.

Но движение в Ирландии не прекращалось, хотя Парнель сидел в тюрьме. До его осеннего путешествия страна была сравнительно спокойна, но теперь движение не хотело останавливаться и внушало Форстеру самые серьезные опасения. Он сам и его помощник Борк были заняты разысканием непосредственных причин брожения и применяли билль об усмирении в самых широких размерах. Под председательством сестры Парнеля, мисс Анны Парнель, образовалась[91] «женская земельная лига», которая резко нападала на премьера и наместника. Аграрные преступления шли своим чередом. В самом Лондоне собралась 23 октября громадная толпа ирландцев с целью протестовать публично против ареста Парнеля[92]. С наступлением весны 1882 г. положение дел нисколько не улучшилось; избиения лендлордов и поджоги все увеличивались в числе. Все политические круги Лондона сходились на том[93], что билль об усмирении не послужил ни к чему, что Форстер и его секретарь Борк не могут достигнуть цели, несмотря на всю свою энергию. В это время капитан О'Ши, один из парнелитов, написал Гладстону и Чемберлену письмо, в котором говорил, что Ирландия волнуется единственно из-за бедственного положения фермеров и из-за последствий билля об усмирении. Он просил, чтобы правительство обратило внимание на его письмо. Гладстон и Чемберлен понимали, конечно, что это предложение, этот первый шаг, исходит от самого Парнеля. У них было два выхода: отвечать молчанием или предложить свои условия Парнелю. Ответить молчанием для Гладстона значило быть поставленным в необходимость продолжать железный режим в Ирландии и компрометировать этим окончательно всю либеральную партию и ее традиции, притом без всякой реальной пользы.

7

Итак, оставалось начать мирные прелиминарии, делать уступки; первый министр Великобританской империи вошел в переговоры как равный с равным с человеком, сидевшим в одиночном заключении в Кильмангемской тюрьме. Парнель мог поздравить себя с победой. То, о чем и не мечтал Исаак Бьют, всю жизнь старавшийся заслужить для Ирландии сочувствие англичан, досталось Парнелю после четырехлетней ожесточенной борьбы с ними. 10 апреля 1882 г., после полугодового заключения, Парнель был выпущен из тюрьмы на честное слово: ему нужно было присутствовать при похоронах племянника. Он виделся на свободе с очень многими своими политическими друзьями, но, исполняя условие, не говорил с ними о делах. Затем 26 апреля один из парнелитов внес в палату предложение, касавшееся облегчения участи фермеров, которые связали себя арендным договором до издания земельного билля. Гладстон с живым сочувствием отнесся к этому проекту, и проект прошел [94].

Поведение премьера во время обсуждения этого билля могло бы многое сказать и не такой чуткой публике, как английская. Поднялись толки о союзе между Парнелем и Гладстоном; консерваторы забили тревогу; наместник Ирландии Форстер, Борк и многие члены либеральной партии также не были довольны поворотом министерской политики. Парнель, видя свою победу, делал все, от него зависевшее, чтобы не оскорбить самолюбия Гладстона. Исполняя слово, он вернулся в тюрьму и оттуда написал капитану О'Ши письмо [95], в котором говорил в неопределенных по форме, но вполне ясных по внутреннему смыслу выражениях об умиротворении Ирландии как необходимом последствии благоприятных для ирландцев реформ. Затем Парнель передал Гладстону еще следующее дополнительное условие: Девитт должен быть выпущен на свободу; Шеридан, бежавший агитатор, должен получить позволение вернуться, так же как Бойтон. Форстер возражал, что ведь эти люди, собственно, и употребляли все силы, чтобы взволновать Ирландию, но Парнель оставался непоколебим. «Если они влиятельны,— говорил он,— то пусть только министерство проведет нужные реформы, и они употребят свое влияние на дело мира». Наконец, Парнель желал удаления Форстера и прекращения усмирительного режима. Премьер согласился.

2 мая (1882 г.) Парнель и с ним некоторые другие политические заключенные были выпущены из Кильмангемской тюрьмы. Они вышли оттуда победителями; министерство было покорно Парнелю; проекты гомруля, аграрных реформ казались в эти первые дни мая делом ближайших месяцев. В тот же день, как

Парнель вышел из тюрьмы, Гладстон заявил в палате общин, что Форстер выходит в отставку. Его секретарь Борк удержал свой пост; новым же наместником был назначен лорд Кавендиш. Только и было речи, что о «кильмангемском договоре» между премьером и агитатором; но на первых же порах этому договору пришлось выдержать одно из тех испытаний, после которых от самых торжественных трактатов остаются иногда одни клочки.

Если Ирландия и Англия уже прекрасно знали в общих чертах, что Парнель и Гладстон вошли в соглашение, если освобождение ирландских арестантов и отставка Форстера сами по себе были фактами в достаточной мере яркими, то назначение лорда Кавендиша, человека, известного своими симпатиями к Ирландии, прямо указывало на наступление новой эры. Кавендиш тотчас же отправился на место назначения [96] и, прибыв в Дублин 6 мая, принес утром обычную присягу должностных лиц, а после обеда поехал по направлению к Феникс-парку, где была приготовлена для него квартира. Увидев на улице Борка (секретаря Форстера), Кавендиш вышел из кареты и пошел вместе с Борком в Феникс-парк пешком. Бульвар был полон народа; когда Кавендиш и Борк проходили по главной аллее, из-за кустов выбежали вооруженные люди, бросились на сановников и начали наносить им удары кинжалами [97]. Раньше, чем кто-нибудь мог опомниться, нападавшие скрылись, а Кавендиш и Борк лежали на аллее мертвые.

Трудно передать впечатление, произведенное этим кровавым делом в Англии. Самое бурное негодование охватило и консерваторов и либералов. Приверженцы Форстера могли торжествовать: всего 4 дня прошло после его отставки, всего 3 недели миновало со времени перемены режима, и вот плоды этих изменений. «Times» и другие влиятельные органы (нет надобности напоминать, что «Times» 1882 г. был еще гораздо влиятельнее, чем теперь) указывали на отставку Форстера и примирение с Парнелем как на грубейшие ошибки премьера; консервативная пресса требовала немедленной отставки либерального кабинета. Общественное мнение было в особенности возмущено тем, что убийцы Кавендиша и Борка оставались не разысканы. Самые фантастические слухи ходили насчет участия Парнеля в преступлении 6 мая; но хотя этим слухам вряд ли верили даже лица, распускавшие их, однако для всех политических партий в Великобритании, для общественного мнения Европы, для членов английского кабинета было ясно, что осуществить теперь хоть какие-нибудь условия «кильмангемского договора» будет страшно трудно.

Что касается до настроения парнелитов, то предоставим слово человеку, близко к ним стоявшему и с ними переживав-

шему эти дни [98]: «Те, которые могут вспомнить роковое воскресенье, когда весть об убийстве пришла в Лондон, которые видели ирландского вождя и его товарищей в этот день, могут найти утешение в сознании, что никогда более они не переживали такого мрачного и тяжелого момента». Другие очевидцы говорят, что ирландцы-депутаты растерялись совершенно и не знали, что делать.

Только Парнель сохранял спокойствие и самообладание. Убийство в Феникс-парке разом уничтожило все его усилия за последние месяцы. Либеральный кабинет, если он не хотел быть уничтожен поднявшейся бурей, не мог и думать о реформах для Ирландии. Понимая это очень хорошо, Парнель тем не менее решил сделать все от него зависящее, чтобы затруднить для Гладстона отступление. 7 мая 1882 г., на другой день после происшествия в Феникс-парке, он обнародовал манифест, в котором называл убийство Кавендиша ничем не вызванным и возмутительным делом. Это заявление было подписано (кроме Парнеля) Диллоном, Девиттом и перепечатано всеми газетами Великобритании. Через день, 8 мая, Гладстон в парламенте предложил [99] закрыть заседание и этим почтить память усопших. Вслед за ним поднялся Парнель и произнес маленькую, но очень выразительную речь, в которой подчеркивал, что всякий ирландец почувствует, наверное, отвращение к делу, совершенному в Феникс-парке [100]. Затем Парнель позволял себе надеяться, что убийцы Кавендиша не заставят министерство свернуть с того нового пути, на который оно только что вступило [101].

Формальность была выполнена, но ирландский лидер был слишком опытным политиком (несмотря на свою молодость), чтобы ожидать от своих заявлений какой-нибудь реальной пользы. Кабинет пал бы в одни сутки, если бы позволил себе действовать несогласно с настроением парламента, а это настроение требовало не примирения с Ирландией, но репрессалий. Через 3 дня после отсроченного в честь убитых заседания, 11 мая, член кабинета Гаркур внес билль «о предупреждении преступлений в Ирландии» [102]. Тогда Парнель, всегда любивший определенность в отношениях, сразу стал прежним Парнелем, врагом Гладстона и Англии. Он нападал на билль Гаркура с большой силой. «С этим биллем,— сказал он,— вы провалитесь в десять раз, во сто раз хуже, чем вы провалились с биллем об усмирении. Эти проекты показывают только, что Англия не открыла еще секрета разрушения неразрешимой задачи: как одна нация должна управлять другой» [103].

Началась обструкция; 2 месяца Парнель путем запросов, речей и придирок к формальной стороне дела задерживал проведе-

ние проекта Гаркура; 2 месяца продолжалась эта изнурительная для обеих сторон кампания. Наконец, Парнель истощил все средства обструкции, возможной при тех правах, которые, как было сказано, получил спикер. Билль прошел во всех чтениях и был утвержден. В Ирландии учреждались особые суды для политических преступлений и полиции давалось неограниченное право арестовывать подозрительных лиц. Вся весенняя сессия почти всецело пропала из-за Парнеля, так что палата решила укоротить свои осенние каникулы, чтобы поздней осенью еще успеть кое-что сделать из наиболее важных и спешных дел [104]. .

Когда палата расходилась в августе 1882 г., положение дел было такое же, как в августе 1881 г.: та же пропавшая из-за обструкции сессия, те же (только в усиленной степени) усмирительные законы, та же смертельная вражда между министерством и Парнелем, и, наконец, на заднем плане та же голодающая и волнующаяся Ирландия. Ново было лишь разочарование, сознание, что самые гордые надежды готовы были осуществиться, и одного несчастного момента оказалось достаточно, чтобы они рассеялись, как дым.

Та трагедия, которая развертывалась в Ирландии в 80-х годах, оказала огромное влияние на парламентскую политику ирландской партии. Мы уже видели, какие последствия имело убийство в Феникс-парке; оно было только началом фенианского движения 80-х годов. Парнелю нужно было стать в определенную позицию относительно фениев. Являясь ирландским национальным героем, сознавая себя несомненным кумиром своей страны, он должен был отдать отчет в том, как он смотрит на фенианство. Мы знаем, что, когда он был студентом 2-го курса, его потрясло известие о манчестерских казнях; мы знаем также, что в самом начале своей политической деятельности он навлек на себя подозрение Исаака Бьюта в тайном сочувствии фениям и не особенно старался оправдаться в этом. Теперь наступило время высказаться, а он молчал. Его манифест об убийстве в Феникс-парке был англичанами так же холодно принят, как Парнелем редактирован; его устные заявления в парламенте обращали на себя внимание тем, что усиленно подчеркивали невызванность, немотивированность убийства лорда Кавендиша и оставляли в тени принципиальную сторону вопроса о фениях. Ожесточенная борьба с Гладстоном, в которую немедленно вступил Парнель, как только убедился в неосуществимости «кильмангемского договора», не могла, конечно, заставить забыть о его двусмысленном поведении в майские дни. И хотя обвинения и намеки сыпались на Парнеля со столбцов английских газет, как из рога изобилия, он продолжал молчать о фениях и фенианстве.

Замечательна та ligne de conduite, от которой Парнель не отступал до самой могилы: чем более ожесточался враг, тем активнее и яростнее становилась оппозиция ирландского лидера. Он раз навсегда отказался понимать и принимать в соображение ту круговую поруку, которая как-то невольно установилась в английском парламенте относительно ирландской партии: когда заговаривали о Феникс-парке, он предлагал разыскать убийц Кавендиша и Борка и с ними поговорить обо всем, касающемся этого дела, а тона своего не думал понижать и от требований своих не собирался отступать только потому, что и он стоит за Ирландию, и фении борются за нее. Конфузиться и извиняться за кого бы то ни было не входило в программу поведения у Парнеля. Ведя себя так в парламенте, он по приезде в Ирландию, медлил высказаться. А время стояло тяжелое: новый билль о предупреждении преступлений вошел в силу и давал уже себя чувствовать; с весны началась длинная вереница аграрных преступлений. Убийства и поджоги, нападения и выстрелы из-за угла не давали покоя. 17 августа (1882 г.), т. е. как раз когда кончалась сессия парламента, в Ирландии было убито семейство Джонс, состоявшее из 6 человек [105]. Они были убиты потому, что знали виновников несколько раньше происшедшего убийства двух судей, и фении боялись, что Джонсы их выдадут. Таким образом, одно убийство влекло за собой другое, и конца этому не предвиделось. На террор правительство отвечало казнями; убийства и виселицы и снова убийства — вот какие факты доминировали [106] в ирландской общественной жизни в те дни, когда Парнель явился в Ирландию осенью 1882 г.

Он сразу постарался перевести испуганное и мятущееся общество на свою точку зрения: легальной оппозиции не приходится отвечать за фенианство, и требования гомруля и земельных реформ нужно заявить громко и открыто, не стесняясь тем, что и фении хотят этих двух вещей. Все заботы его были направлены на то, чтобы снова создать лигу для борьбы за аграрную реформу наподобие закрытой Форстером в 1881 г. «земельной лиги» [107]. Помимо давившего Ирландию кошмара борьбы между фениями и правительством, огромному большинству ирландских фермеров приходилось испытывать произвол со стороны лендлордов. Многие лендлорды злоупотребляли обостренностью политических отношений и позволяли себе самые беззаконные выходки относительно фермеров; если же последние делали даже самую слабую попытку протеста, лендлорды, не теряя времени, требовали полицию и войска.

Поэтому когда ирландцы увидели после полугодовой разлуки дорогого им человека и когда он на митингах и сходках своим уверенным и спокойным голосом стал говорить, что незачем себя запугивать, что за фенианство только сами фении ответствен-

ны и никто больше, что, наконец, надо основать новую лигу для борьбы с лендлордами, когда опять начались разъезды его по стране, население снова ответило ему тем же взрывом энтузиазма и любви, как и в 1880 г., и опять слова «ирландский король» в саркастических кавычках стали украшать столбцы английских газет. От слов Парнель быстро приступил к делу. 17 октября в Дублине состоялось собрание [108]; на нем сначала парнелиты громили тех ирландских членов парламента, которые все время не решались принять участие в обструкции, а затем Парнель еще раз подверг самой разрушительной критике «земельный билль» Гладстона.

Решено было основать ирландскую национальную лигу, которая бы поставила своей задачей, во-первых, достижение национального самоуправления и, во-вторых, коренную реформу земельных отношений (т. е. обязательного перехода арендуемых участков в руки арендаторов), в-третьих, широкое местное самоуправление, в-четвертых, расширение избирательного права в Ирландии (пока еще приходится посылать депутатов в английскую палату) и, в-пятых, поощрение и развитие труда и промышленности в Ирландии. Нужно заметить, что раздавались в собрании также голоса в пользу национализации земли; Парнель, социально-экономические воззрения которого никогда не получили вполне определенной формулировки, склонялся к мысли сделать из Ирландии страну мелких собственников. Это мнение восторжествовало [109].

Прежде всего опять-таки нужно было собрать деньги для «национальной лиги»; когда зарождалась земельная лига, Парнель поехал собирать деньги в Америку, но теперь времена были слишком бурные, чтоб ирландский лидер мог отлучиться из своей страны. Он ограничился воззванием к американскому народу и к американским ирландцам, и деньги полились оттуда. Агитация ирландской «национальной лиги» длилась всю осень и зиму 1882/83 г. Лорд-наместник (Спенсер) и его помощник (Тревелиян), имея в руках такое страшное орудие, как билль о предупреждении преступлений, употребляли все усилия, чтобы положить конец деятельности лиги [110]. Но со времени приезда Парнеля атмосфера бодрости и надежды охватывала все шире и шире ирландское общество, и запугать его было трудно. Борьба локализовалась именно так, как хотел Парнель: происходило единоборство только между местной администрацией и фениями, а вся масса ирландского народа, имея право и возможность открыто поддерживать легальных деятелей гомруля и аграрной реформы, делала именно то дело, которое было для новой лиги прямо необходимо.

Белый и красный террор усиливались, питая и поддерживая друг друга. Особенную тревогу в правительственных кругах

возбуждало новое направление революционной мысли: фении стали чаще и чаще говорить о своем органе, издававшемся в Америке [111], что они намерены перенести борьбу в самую Англию. При таких зловещих предзнаменованиях Великобритания встретила 1883 год. В январе, наконец, полиция арестовала одного из лиц, принимавших участие в убийстве Борка и Кавендиша. Этот человек, Кери, рассказал, что фении наметили еще ряд жертв, между прочим Форстера, бывшего наместника. Не успела публика прийти в себя от этих откровений, как в Глазго был произведен фениями динамитный взрыв. Сравнительно более мелкие преступления уже не обращали на себя внимания общества. Динамитные взрывы около правительственных мест и покушения на должностных лиц усилили строгости в Англии, но фенианство не сдавалось. В парламенте с самым явным недоброжелательством продолжали относиться к парнелитам, и, как всегда в таких случаях, Парнель чувствовал себя, по-видимому, особенно хорошо и обнаруживал все признаки непоколебимой самоуверенности. 22 февраля (1883 г.) в палате общин обсуждался проект адреса в ответ на тронную речь, открывшую сессию, и Форстер счел этот случай удобным, чтобы изложить свои воззрения на состояние страны, в которой он был когда-то наместником.

Никто не может отрицать, что речь его отличалась во многих местах резко запальчивым тоном [112]; он и оправдывал свою политику, и делал колкие намеки премьеру, лишившему его места, и обвинял гомрулеров в нарушении законов. Конечно, вся инвектива Форстера вращалась вокруг личности Парнеля, оратор иронизировал над разными некоронованными королями, говорил о людях, наталкивающих ирландский народ на безумные выходки, а Парнель только и делал, что издавал в самых щекотливых пунктах речи восклицание: «Слушайте!». Наконец Форстер с документами в руках, держа перед собой номера газеты «Irish world», стал читать оттуда выдержки [113], касавшиеся динамитных покушений и других фактов фенианской деятельности. Выдержки были, действительно, так подобраны, что выходила довольно решительная апология фенианизма. Но «Irish world» был эмигрантский листок, издававшийся в Америке; доказать сочувствие к нему Парнеля являлось затруднительным; поэтому Форстер перешел к другому изданию — «Объединенная Ирландия» [114]. Парнель состоял одним из деятельных руководителей этой газеты. В «Объединенной Ирландии» аграрные преступления назывались обыкновенно «деревенскими случаями» [115], а иногда отчеты о них печатались под общим названием «настроение страны». Мало того, отношение газеты к жертвам преступлений было всегда самое суровое, а к виновникам — самое снисходительное.

Форстер прямо обратился к Парнелю с вопросом: «Читали вы эти статьи?» Парнель ответил: «Читал».— «Одобряете вы их?» — «Одобряю». Некоторые члены ирландской партии пробовали прервать этот диалог, но безуспешно. Форстер знал, что ему было нужно. «Я хочу поставить вопрос принципиально. Очень много раз было констатировано, что аграрные преступления следовали за митингами земельной лиги. Что же, почтенный джентльмен будет это отрицать, опровергать? Я снова повторяю, какое обвинение я возвожу против него; вероятно, никогда еще один член парламента не возводил более серьезного обвинения против другого: не то, чтобы сам он, г. Парнель, замышлял и упорно осуществлял насилия и убийства [116], но он или склонялся к ним, или же...» Тут Парнель прервал его, крикнув на всю залу: «Это ложь!» Последовал шум; один из парнелитов продолжал кричать: «Это ложь, ложь, ложь!», пока его не вывели вон [117].

Характеристично дальнейшее поведение Парнеля: он и не думал отвечать на речь Форстера немедленно, а ограничился только своим энергичным восклицанием, защиту же отложил до следующего заседания к общему удивлению и раздражению англичан. Они увидали в этой медлительности умышленное оскорбление обвинителя и трибунала, перед которым раздалось обвинение. На следующий день Парнель постарался сделать все, чтобы укрепить в них это предположение. «Сэр,— обратился он к спикеру [118],— я позволю себе сказать несколько слов по поводу вчерашнего инцидента. Я могу почтительнейше уверить палату общин, что делаю это вовсе не вследствие убеждения, что мои слова будут иметь хотя бы даже слабое влияние на палату или на общественное мнение Англии. Я уже привык за свою политическую жизнь заботиться только о мнении тех, кому я желаю помочь и с помощью кого я работаю для счастья и свободы Ирландии». После такого начала Парнель со свойственной ему холодной презрительной иронией, которая была тем больнее, что не казалась ничуть аффектированной, коснулся обвинений Форстера, сказал, что бывший наместник в течение всей своей карьеры умел пользоваться невежеством палаты в ирландских делах [119], и, подарив еще несколько раз своим вниманием Форстера и палату, перешел к существенной стороне вопроса. Он сказал, что не разделяет мнений фенианских обществ о пригодности тех средств, которые они пускают в ход, и что, в частности, не симпатизирует динамитным покушениям, к которым фении начали прибегать очень часто в последние месяцы (1882 г.).

Итак, Парнель, наконец, высказался; но опять-таки объяснение вышло какое-то глухое и условное, изобиловавшее оговорками и теми фразами в скобках, которые иногда меняют тон

и характер речи. Весь 1883 год прошел в ожесточенной борьбе между фениями и правительством; в январе были дни, когда в одном Дублине арестовывалось больше 20 человек — цифра с английской точки зрения весьма высокая; в феврале и марте происходил ряд фенианских процессов, из которых многие оканчивались казнями. В июле был убит Джемс Кери, оставивший партию фениев и давший правительству много указаний относительно своих бывших товарищей[120]; в конце того же года его убийца был повешен в Дублине[121]. Все эти происшествия не исключительно приковывали к себе внимание ирландского общества.

Молодая «национальная лига», основанная Парнелем в октябре 1882 г., интересовала всех, кто сочувствовал деятельности покойной «земельной лиги» и жалел о ее закрытии. Ненормальное положение дел сильно препятствовало действиям нового общества, но тем не менее легальная пропаганда была возможна. Что касается до личной популярности Парнеля, то можно сказать, что в этом году она еще увеличилась, если только еще могла увеличиться. Ни для кого не было тайной, что Парнель сильно расстроил свои денежные дела[122], и ирландское общество решило устроить так, чтобы для него не оказалось слишком роковым то самоотвержение, с которым он, идя прямо к разорению, работал в парламенте и вне его. Была устроена подписка для поднесения ему денежного подарка. Во время подписки обнаружилось, что между ирландским духовенством существует некоторый раскол: архиепископы и вообще высшие сановники католической церкви были против Парнеля, а священники — за него. Сам папа счел нужным вмешаться в ирландские дела, и по его непосредственному повелению кардинал Симеони написал послание, в котором указывалось на участие в подписке в пользу Парнеля как на дело не подходящее и не подобающее католическому клиру. Несмотря на это послание, ирландское духовенство в огромном количестве внесло свою лепту на подарок человеку, за которого оно молилось еще тогда, когда папа не удостоивал его своим вниманием.

В результате письма кардинала Симеони оказалось сильное падение папского авторитета в Ирландии, обострение национальных чувств среди духовенства и в особенности усиление любви к Парнелю и веры в него. Если мы примем это к сведению, то согласимся, что благосклонное отношение английских правительственных сфер к римской курии могло в самом деле показаться папе плохой компенсацией всех этих моральных потерь[123]. Если даже папский авторитет оказывался неравносильным авторитету Парнеля, то дальнейшие события 1883 г. показали, что уже нет вещи, на которую не мог бы отважиться ирландский агитатор в своей стране, что нет ему отказа ни в чем.

Эльстерский округ, населенный преимущественно англичанами, считался всегда противником парнелизма, и вот Парнель поставил там кандидатуру своего ревностнейшего приверженца О'Гили. Это было в глазах многих просто дерзким вызовом судьбе. «Если бы,— говорит беспристрастный и бесстрастный обозреватель «Annual register'a»,— если бы кто-нибудь хоть шесть месяцев тому назад сказал, что парнелит может стать представителем Эльстерского округа, то такой человек подвергся бы осмеянию за свою глупость» [124]. Но Парнель поехал в Эльстер, произнес там ряд речей, в которых просил выбрать О'Гили, и О'Гили прошел.

Эта победа произвела в Англии самое сильное и тревожное впечатление. Уже даже «Times», вечный враг Парнеля, не скрывал от своих читателей, что этот человек не только силен, но просто всемогущ в Ирландии. Последний месяц 1883 г. окончательно сделал его годом парнелевских триумфов. Закончилась подписка на подарок, и оказалось, что за 9 месяцев собрали не 14 тысяч фунтов, как рассчитывали, а 38 тысяч, т. е. около 380 тысяч рублей. 11 декабря собрался торжественный митинг в Дублине, и здесь деньги были вручены Парнелю.

Многие думали, что ввиду бесцветной парламентской сессии этого года он не будет слишком нападать в своей речи на правительство [125], но жестоко ошиблись. Парнель всегда жил не столько парламентской, сколько общенациональной жизнью, и для него 1883 год не был поэтому тихим и бесцветным. Он жестоко обрушился на ирландских управителей, лорда Спенсера и его помощника Тревелияна [126], назвал их бездарными индивидуумами [127] и затем, перейдя к общему положению дел, заметил, что наступающий год нужно будет посвятить введению реформы парламентских выборов в Ирландии, так чтобы Ирландия могла высылать больше депутатов, нежели до сих пор, и этим влиять на перемену министерств. «Если мы,— сказал он,— не можем управлять собой сами,— то по крайней мере сможем заставить их управляться так, как мы захотим» [128]. Наметив низвержение Гладстона как цель, желательную и осуществимую после реформы выборной системы, он закончил речь словами, вызвавшими бурю энтузиазма и восторга: «Мы имеем право быть гордыми, энергичными, полными надежд, раз мы твердо решили, что наше поколение не должно сойти со сцены, не обеспечив за потомками великого прирожденного права — национальной независимости и благосостояния».

Призыв к надежде и бодрости являлся далеко не лишним: кровавая фенианская борьба, кончавшаяся на глазах ирландского общества виселицами и ничем иным, действовала на политическую атмосферу крайне тяжело. 10 декабря повесили фения О'Доннеля; 11 декабря в Дублине, в самый день парнелевского

митинга, повесили фения Джозефа Пулля [129]. Каждый день можно было ожидать новых покушений и новых казней.

8

До 1884 г. министерство Гладстона не преследовало принципиальной политики либеральной партии; осложнения во внешних делах, вызванные борьбой в Судане и Египте и поступательным движением русских войск в Средней Азии, террор и борьба с ним в Ирландии не давали старому премьеру возможности осуществить один из главных пунктов либеральной программы: распространить избирательные права на возможно большее число английских граждан. Но близился срок, когда кабинет должен был дать отчет избирателям в том, что он сделал, приближались выборы [130]. Нужно было торопиться с проведением избирательной реформы, которую давно и настойчиво требовала либеральная партия от своего правительства. Гладстон сам по себе был человеком слишком крупного калибра, слишком твердых и определенных традиций и слишком устойчивых убеждений, чтобы довольствоваться ролью главы «делового министерства», вроде австрийского кабинета Кильмансегга, и жить изо дня в день.

Ввиду всего этого в феврале 1884 г. Гладстон внес в нижнюю палату билль о реформе. По закону 1867 г. (или, правильнее, 1867—1869 гг.) каждый подданный королевы, платящий за квартиру в городе 10 фунтов в год или арендующий земельный участок, который приносит 12 фунтов годового дохода, имеет право избирать членов нижней палаты [131]. Этот закон исключал, таким образом, из числа избирателей массу крестьян, не имеющих арендного участка с 12 фунтами дохода. Гладстон, внося свой билль, предложил, чтобы избирательные права распространялись на всех глав семейств без исключения; женщины все-таки не получали прав, даже если они стояли во главе дома [132]. Другими словами, устанавливалось нечто весьма близкое к suffrage universel. Разумеется, эти слова не были произнесены, и законопроект был приведен в связь с прежними избирательными законами [133], но никто не обманывался относительно истинного смысла министерского билля.

Консерваторы напали на проект с той горячностью, которая отличала их и в 1830, и в 1831, и в 1832, и в 1867 гг.: кажется, не было действия, которое заставило бы их с большим раздражением отзываться о своем наследственном противнике, чем именно расширение избирательного права. Реформ 1867 и 1884 гг. они никогда не прощали Гладстону, и любопытный консервативный памфлет трех звездочек [134] довольно верно передает чувства своей партии к творцу избирательной реформы, когда го-

ворит[135]: «Поистине, кто может так действовать против своей страны, тому следует быть удаленным от света и людей, так чтобы даже тень его имени навсегда погрузилась во мрак забвения». Три звездочки обрушиваются на Гладстона за проведенный им принцип «один человек — один вотум», так как по их мнению этот принцип может разрушить Британскую империю. Никакого добра, говорит памфлет, нельзя ждать от переполнения палаты уличными политиками[136].

Три звездочки при всей их суровой решительности до такой степени являются пером консервативной партии, что мы можем не останавливаться больше на характере возражений, производившихся против гладстоновской реформы. Если у законопроекта была оппозиция, то у него же была и поддержка, и притом очень сильная. Прежде всего либералы единодушно ее поддерживали; за ними шли парнелиты. Нет нужды много говорить, почему Парнель считал своим долгом стоять на стороне премьера: билль Гладстона увеличивал число английских избирателей на 1300 тысяч человек, шотландских — на 200 тысяч человек и ирландских — на 400 тысяч человек. В общем же вместо прежних 3 миллионов избирателей новый билль давал Великобритании 5 миллионов[137]. Реформа, глубоко демократизующая все государственное устройство, в особенности должна была отозваться на Ирландии: здесь впервые допускалось к избирательной урне 400 тысяч беднейших граждан. Конечно, эти новые голоса должны были могущественно содействовать росту парнелизма. Против соединенных усилий либералов и парнелитов консерваторы устоять не могли, но все, что были в состоянии сделать с целью помешать осуществлению реформы, они сделали. Имела место даже попытка исключить Ирландию из сферы воздействия нового закона, но она осталась вполне безуспешной[138].

Поражение, понесенное консерваторами, не помешало им поднять вопрос о том, когда билль должен войти в силу. Парнелиты и правительство хотели, чтобы как можно скорее, а консерваторы предлагали[139] отложить до 1887 г. и опять потерпели неудачу. Наконец, билль прошел в трех чтениях и поступил в палату лордов; здесь его отвергли, но когда по всей стране стали устраиваться митинги и печататься адресы негодования, направленные против верхней палаты, и когда Гладстон обнаружил непоколебимое желание провести свой проект во что бы то ни стало, лорды в декабре 1884 г. приняли билль. Весной 1885 г. избирательная реформа была дополнена законом о распределении мандатов[140], по которому Англия и Уэльс получили право выбирать 495 депутатов[141], Шотландия — 72 и Ирландия — 103 (по-прежнему); в общем палата должна была состоять из 670 депутатов.

Хотя, как уже было сказано, для Парнеля эта реформа была всецело нужна и выгодна, но он ограничился исключительно пассивной ее поддержкой. Он не сблизился с Гладстоном, хотя почва для этого была самая благоприятная; он держал себя по отношению к кабинету как временный и случайный союзник, на доброе отношение которого в будущем нет ни малейшего основания рассчитывать. По-видимому, со времени убийства в Феникс-парке и последовавшего затем разрыва между парнелитами и правительством Парнель покинул всякое намерение сблизиться с кабинетом Гладстона. Низвергнуть премьера собственными силами он не мог; союза с консерваторами для специальной цели низвергнуть министерство он до 1885 г. не искал. Но 1884 год с его избирательной реформой так расширил пропасть, отделявшую консерваторов от либерального кабинета и так обострил отношения партий, что немедленное удаление Гладстона от власти стало на очередь среди других пунктов практической программы ториев. Ввиду этого временная торийско-парнелистская комбинация для низвержения министерства перестала с самой весны 1885 г. считаться невозможностью. Дела кабинета к тому же приходили все более и более в затруднительное положение. Победа генерала Комарова над афганцами при Кушке страшно осложнила русско-английские отношения; восстание Араби-паши в Египте разрослось до необычайных размеров; на министерство посыпались обвинения и в парламенте [142], и вне его [143]; говорили об излишней уступчивости английской политики, о необходимости иметь более энергичных руководителей внешних дел. Большинство в палате еще было в распоряжении правительства, но общественное мнение явно охладевало к нему.

В 1885 г. истекал трехлетний срок действия билля о предупреждении преступлений в Ирландии, изданного после убийства Борка и Кавендиша; ирландскую партию очень интересовало, будет ли билль продолжен. Премьер удовлетворил этому любопытству 15 мая, когда он по поводу интерпелляции Бульвера заявил, что главные положения билля будут скоро предложены опять на рассмотрение палаты, чтобы сделать их окончательным законом [144]. Тогда Парнель стал быстро сближаться с консерваторами. Правда, для победы нужен был особенно счастливый случай, и то результаты ее могли быть сомнительны, но все устроилось так, как желал Парнель. Его партия [145] в полном составе присутствовала на заседаниях, поджидая удобного времени для предложения вотума недоверия, и случай представился: 8 июня обсуждался министерский проект о налогах на спиртные напитки. Вопрос нельзя было назвать особенно животрепещущим, и поэтому далеко не все либералы находились в палате. Прения Гладстона с оппозицией приняли неожиданно очень страстный характер, парнелиты обрушились на проект

с поразительной для такого сюжета горячностью [146], консерваторы поддержали их, и вопрос был немедленно поставлен на баллотировку. За проект высказалось 252 человека, против него — 264 (из этих 264—225 консерваторов и 39 парнелитов) [147]. Правительство осталось в меньшинстве, и Гладстон на другой же день подал прошение об отставке.

Согласно с конституционными обычаями Виктория поручила главе оппозиции маркизу Салисбюри сформировать кабинет. Все это было так неожиданно, что и в Англии, и на континенте многие думали, что Гладстон все-таки останется у власти, несмотря на случайное поражение. Либеральное большинство было налицо, так что министерство могло продержаться. Но Гладстон сразу и наотрез отказался. Может быть он действительно хотел, как предполагали некоторые влиятельные органы [148], избавиться от внутренних и внешних затруднений и свалить запутанные дела на плечи маркиза Салисбюри, может быть, ему хотелось перед близкими выборами занять место оппозиции, место в таких случаях более удобное, и обеспечить за собой в будущей палате решительное большинство, но так или иначе, а либеральный кабинет ушел.

Консерваторы и парнелиты остались лицом к лицу; до выборов нужно было подождать несколько месяцев, и эти месяцы Салисбюри мог держаться только, если он имел опору в парнелитах. И вот началась погоня правительства за благосклонностью Парнеля. Прежде всего последовало назначение наместником Ирландии графа Кернарвона; Кернарвон тотчас после приезда на место назначения объявил, что его задача заключается в примирении Ирландии с англичанами. Чтобы понять значение этих слов, нужно вспомнить, что они были сказаны через несколько месяцев после знаменитого путешествия в Ирландию принца Уэльского, когда наследник престола был много раз встречен самыми несомненными признаками вражды [149]. Ясно было, что министерство Салисбюри желает непременно выиграть расположение ирландской партии. Далее, 14 августа (1885 г.) кончался трехлетний срок билля о предупреждении преступлений, того самого билля, за возобновление которого громогласно высказался павший премьер. Салисбюри сразу заявил, что он этого закона возобновлять не будет, и действительно сдержал слово. Наконец, прошел через палату с замечательной быстротой билль, касавшийся облегчения для ирландских фермеров приобретения земли из государственного земельного фонда.

В середине августа парламент был распущен, выборы были назначены на декабрь. Выборная кампания началась тотчас же после закрытия парламента и отличалась особенной живостью и энергией всех трех партий, принимавших в ней участие. Либералы желали отнять власть у консерваторов, консерваторы —

создать прочное большинство; парнелиты надеялись пройти в таком количестве, чтобы иметь возможность держать в своих руках либералов и ториев, склоняясь то на ту, то на другую сторону[150]. Агитация всеми тремя группами велась тем более горячо, что не было решительно никакой возможности предугадать результаты голосования. Либералы имели много шансов вследствие проведенной только что демократической реформы, консерваторы — вследствие неудачной внешней политики либералов. Парнель обставил дело так, что в этот предвыборный сезон консервативная партия, знавшая, до какой степени он ненавидит либералов, все-таки вполне определенно не могла сказать, будет ли ирландский лидер ее поддерживать[151].

Загадочность положения заставила консервативный кабинет прибегнуть к переговорам с Парнелем. Наместник Ирландии лорд Кернарвон имел свидание с ним; о чем было говорено во время этого свидания, до сих пор определенно неизвестно. Впоследствии Парнель утверждал, что Кернарвон именем лорда Салисбюри обещал Ирландии особый парламент и радикальную земельную реформу, в случае если Парнель будет поддерживать консерваторов во время выборов и после них. Кернарвон отрицал это и говорил, что он определенных обещаний не давал, а так только разговаривал о гомруле. Ввиду того, что Парнель и Кернарвон имели удовольствие беседовать друг с другом tête-à-tête, спор этот вряд ли окончательно разрешим; так или иначе, все поведение кабинета по отношению к парнелитам заставляет думать, что заключение союза с ирландцами на известных условиях входило в миссию Кернарвона.

А Парнель действительно мог в это время дорого продать свой союз. Овации, которые ему устраивались во всех избирательных округах, показывали, что его кандидаты имеют полное основание надеяться на победу. За его благосклонностью гнался маркиз Салисбюри; с ним в примирительном тоне заговаривали либеральные газеты и либеральные политики. В такие моменты у самых далеких от компромисса деятелей может явиться тенденция до поры до времени не подчеркивать наиболее радикальные пункты своей программы, скорое осуществление которой можно предвидеть. Но если мы присмотримся к образу действий Парнеля осенью 1885 г., то увидим, что он ни на йоту не смягчил общего тона своего поведения. Он являлся перед своей страной в качестве победителя. Земельный билль 1880 г., билль о покупке земли фермерами 1885 г., смена Форстера, смена лорда Спенсера, назначение Кернарвона — вот были вполне осязательные плоды его деятельности. Но мало того, не в материальных приобретениях, не в политике результатов лежал центр тяжести парнелевского престижа: своей обструкцией, упорной борьбой с Гладстоном, умелым лавированием между

двух великих английских фракций он низвергнул либеральное министерство и заставил консерваторов смотреть на ирландцев как на желанных союзников, без которых немыслимо оставаться у власти. Вместо ничтожной группы, разрозненной и вялой, вместо полутора десятка джентльменов Исаака Бьюта, он сформировал небольшую, всего в 39 человек, но дисциплинированную партию, сумевшую заставить считаться с собой. Наконец, он, и он один, повысил политические и экономические идеалы страны, поднял дух ирландского народа и впервые после О'Коннеля, т. е. после промежутка в 40 лет, заставил Европу смотреть на Ирландию как на страну с национальным самосознанием, с историческим прошлым и с готовностью бороться за лучшее будущее.

Вот что мог ответить Парнель на вопрос, чем ему обязана Ирландия. Но, повторяем, вряд ли можно определенно уяснить себе, почему он так сразу стал первым человеком в Ирландии, почему народ верил ему почти так же, как св. Патрику, почему не только молодежь, но и пожилые люди приходили в неистовое возбуждение от восторга, когда он произносил всегда ровным и спокойным голосом свои речи на митингах и собраниях. Причины той власти, какую он с самого начала получил над миллионами людей, кроются в значительной мере в условиях массовой психологии, которая еще слишком темна и неизвестна. Мы можем со слов лиц, перед которыми прошла жизнь Парнеля, констатировать самый факт, и только.

Имея за собой поддержку всей страны, он никогда не соблазнялся заискиванием английских партий и, как уже было замечено, в 1885 г. также не думал пойти им навстречу, скрадывая наиболее неприятные термины своего политического символа. Реформа 1884 г. еще усиливала его могущество и уверенность в себе. Нельзя оспаривать тех государствоведов, которые говорят [152], что эта реформа сделала палату общин «народной палатой», а в народной палате народный любимец мог ожидать увидеть себя сильным человеком. И Парнель высказывался самым положительным образом в пользу полной независимости Ирландии от Англии, независимости, идущей дальше самоуправления. «Никто не имеет права,— повторял он,— сказать своей стране: вот до каких пор ты должна идти, а дальше не смей! Я никогда не пытался ставить грань (to fix the plus ultra) успехам ирландской национальности и никогда не буду пытаться это делать». Добровольного сужения идеалов он боялся больше всего. 24 августа в Дублине Парнелю дали банкет, и он произнес на нем большую речь, в которой благодарил свою партию за все, что она сделала в последние 5 лет, и обращал внимание присутствующих на то, что коренная задача ждет своего разрешения. Ирландия еще не имеет особого парламента. «Я убежден,— сказал

он,— что единственная наша великая работа в новой палате заключается в восстановлении нашего собственного национального парламента [153]. Но когда мы получим его, каковы будут его задачи? Мы требуем себе особого парламента, чтобы уничтожить несправедливые изгнания фермеров с земли, угнетение со стороны лендлордов и чтобы сделать каждого фермера собственником его участка. Вот зачем нам нужен парламент прежде всего. Мы требуем его еще и затем, чтобы поднять промышленность в нашей стране и чтобы не только земледельцы, но и ремесленники, и городские рабочие имели возможность жить и дышать. Итак, нам предстоит много дела и в английской палате общин — временно, и в будущей ирландской палате — постоянно. Я надеюсь, что у нас будет только одна палата, а палаты лордов не будет!» [154]

За этой речью следовали другие, в которых Парнель настаивал на необходимости закрыть Ирландию для ввоза английских продуктов; это он считал одним из важнейших дел, предстоящих будущему ирландскому парламенту. Этот тон вывел из себя английскую прессу, еще очень недавно старавшуюся ласково относиться к парнелизму, чтобы привлечь его благосклонное внимание, «Daily News» с горечью вопрошала, намерены ли и впредь консерваторы и либералы сносить «тиранию» Парнеля? [155] «Manchester Guardian» надеялся, что нет в Англии партии, которая не заклеймит дерзость ирландского лидера. «Standart» считал себя вынужденным заявить, что просто позор (a shame) для либералов и ториев ссориться на потеху и пользу опасного врага.

Но Парнель, невзирая на эти речи, нашел в себе решимость повторить свои слова 5 октября в Уиклоу. Здесь он к раньше высказанным мыслям прибавил очень любопытное пояснение: он сказал, что ни за что не помирится на какой-нибудь пустой уступке, если, например, Ирландии дадут парламент с ограниченными правами; ирландская палата должна иметь безусловную власть в делах острова. Она должна получить, между прочим, право облагать чужие (т. е. и английские) продукты какими угодно высокими пошлинами. Другими словами, он требовал полнейшего политического и экономического отделения Ирландии от Англии.

Часть либералов сразу восстала против Парнеля; цена союза казалась слишком высокой. Лорд Гартингтон на одном из митингов в своем избирательном округе заявил, что такой гомруль, которого желает Парнель, немыслим, и что ирландцы его не получат. Тогда Парнель в новой речи заметил: «Я думаю, что если хотят сделать для нас невозможным получение гомруля, то мы сделаем невозможными все дела» [156]. Угроза обструкцией даже при измененных парламентских правилах была не шуткой в устах этого человека и произвела большое

впечатление на либералов. Консерваторы тоже порицали революционизм Парнеля, но не так решительно, как либералы; они более страшились результатов голосования.

Чем ближе подходили выборы, тем мягче становилось отношение обеих боровшихся фракций к Парнелю: либерал Морлей [157] заявил, что он ничего не имеет против ирландского самоуправления в самых широких размерах. Либерал Чайльдерс выразил мнение, что ирландцы могут управляться как пожелают, лишь бы таможенная политика находилась в руках англичан. Но Гладстон не любил вступать в откровенные сделки под влиянием необходимости, и 17 ноября он объявил на собрании в Уэст-Кельдере [158], что Парнель — пока только Парнель и отождествлять его с Ирландией не следует; пусть Ирландия выскажется во время голосования, и тогда можно будет обсуждать такие важные вопросы, как вопрос о гомруле. Через 4 дня после заявления Гладстона, 21 ноября, Парнель издал манифест, в котором делал воззвание к Ирландии, чтобы она голосовала против либералов безусловно. Что касается до лорда Салисбюри, то он не допустил такой неосторожности, как Гладстон. 7 октября в Ньюпорте и в ноябре в других местах он, не высказываясь в пользу гомруля, так хорошо построил свою речь, что, с одной стороны, никакой сотрудник «Times» не мог найти там ничего, противоречащего империализму, а с другой,— никакой парнелит не был в состоянии обвинить маркиза во вражде к идее ирландского самоуправления.

В декабре состоялись выборы; либералов было выбрано 335 человек, консерваторов — 249 и парнелитов — 86 (вместо прежних 39). Если бы Парнель примкнул к консерваторам, тогда либералов, с одной стороны, и соединенных парнелитов и ториев, с другой, было бы поровну, по 335 человек, и правительство Салисбюри могло бы кое-как продержаться; если бы он стал на сторону Гладстона, тогда консерваторы немедленно должны были бы уйти от власти. Цель Парнеля была достигнута: он являлся господином положения.

9

С самого начала 1886 г. или, вернее, со второй половины декабря 1885 г., тотчас после выборов, разнесся слух, что Гладстон желает поставить на очередь вопрос об ирландском самоуправлении. Слух этот вызвал необыкновенное волнение. Прежде всего ему не поверили; министерство Гладстона 1880—1885 гг., говорили скептики, закрыло «земельную лигу», преследовало и сажало в тюрьму Парнеля и его товарищей, провело два усмирительных билля, вело ожесточенную борьбу с обструкцией; наконец, еще совсем недавно Гладстон по по-

воду речей Парнеля о гомруле сказал, что Парнель еще не есть Ирландия и что поэтому много внимания на его слова обращать не должно. Почему же вдруг станет мыслимой такая перемена фронта? Со своей стороны, лица, верившие этому слуху, утверждали, что Гладстон всегда склонялся к идее гомруля, что общий тон его отношений к Ирландии был бы иной, если бы не фенианство и не обструкции Парнеля. Они напоминали о земельном билле, о кильмангемском договоре с Парнелем, так внезапно уничтоженном убийствами в Феникс-парке. Думать, что Гладстон стал на сторону гомрулеров, чтобы привлечь Парнеля и при его помощи низвергнуть консервативный кабинет, предполагать в Гладстоне притворство и компромиссы для достижения власти можно было, только насилуя то представление о личности старого вождя либералов, которое сложилось у друзей и врагов его не сегодня и не вчера. В течение своей долгой жизни, с тех пор, как он покинул ториев, Гладстон никогда не произносил ни одного слова, которое шло бы в разрез с принципами чистого либерализма. Он боролся с парнелитами до той поры, пока мог думать, что все-таки они меньшинство, пока их было из 103 ирландских депутатов всего 39, и его слова, что Парнель — еще не Ирландия, что нужно узнать мнение всей Ирландии, не были только словами. Но когда в декабре 1885 г. Ирландия прислала в палату 86 парнелитов из 103 депутатов, которых имела право избрать, тогда Гладстон мог смотреть на гомруль и аграрную реформу как на желания действительно всей нации. Теперь упорствовать в своем прежнем поведении значило бы вести открытую борьбу с национальным стремлением и надеждами, т. е. идти против коренных принципов строгого либерализма. Гладстон знал, как высказались во время предвыборной агитации Гошен, Гартингтон и другие влиятельные члены его партии о гомруле; он мог ожидать раскола, ослабления своих сил, отпадения такой массы либералов, которая не могла бы компенсироваться присоединением к нему парнелитов, но страх перед окончательной изменой своим принципам и перспектива новой ожесточенной борьбы с Парнелем из-за того, что сам Гладстон не считал правым делом, перетянули чашку весов. Когда началась сессия 1886 г., в парламенте уже все знали вполне определенно, что Гладстон перешел на сторону Парнеля. В свою очередь Парнель, конечно, увидел, что от лорда Салисбюри ждать гомруля труднее, чем от Гладстона, так как консерваторы, не изменяя своим убеждениям и своей программе, не могли осуществить ирландских желаний [159]. Он примкнул к Салисбюри в 1885 г., чтобы низвергнуть Гладстона; теперь, когда в его руках было удалить Салисбюри от власти, когда он ждал от либералов и консерваторов определенных условий и когда тори, по-видимому, думали ограни-

читься посылкой к Парнелю Кернарвона и неясными намеками, а Гладстон прямо обещал внести в палату проект гомруля, Парнель колебался недолго: в первые же дни январской сессии он стал на сторону Гладстона. Эти события перевернули вверх дном все партийные комбинации; стало ясно, что Салисбюри не продержится и одного месяца и что падение его кабинета есть только вопрос времени.

Сессия открылась 12 января. После тронной речи началось обсуждение ответа на нее, и тут уже обнаружились вполне явственно главные контуры новой группировки партий. 26 января либерал Джесси Коллинс [160], поднимая ирландский вопрос, потребовал, чтобы в ответный адрес были включены слова: «Палата почтительнейше выражает сожаление, что ее величество не указала никаких мер к облегчению для землевладельцев возможности приобретать себе в аренду участки и дома на льготных основаниях и с уверенностью, что они не будут оттуда удалены» [161]. Министерство Салисбюри высказалось против включения этих слов; 18 либералов под предводительством Гартингтона примкнули к кабинету; Парнель со всеми своими силами стал на сторону оппозиции и этим решил дело. Произошло голосование. 329 голосов высказалось против министерства, 250 — за министерство. Салисбюри должен был подать в отставку и уступить место Гладстону.

События громоздились с необыкновенной быстротой: 26 января произошло голосование поправки Джесси Коллинса, и кабинет остался в меньшинстве, 1 февраля было сформировано либеральное министерство [162]; в тот же день стало известно, что статс-секретарем по ирландским делам назначается Джон Морлей [163], одно имя которого говорило о твердой решимости правительства дать Ирландии все, чего она хочет [164]. На другой день уже все в парламенте толковали о расколе среди либералов, о том, что Гартингтон и с ним весьма влиятельные виги покидают окончательно Гладстона. Действительно, именно в это время, весной 1886 г., начался и развился тот процесс разделения либеральной партии, который привел ее к современному состоянию упадка и бессилия. Гартингтон и его последователи были возмущены образом действий Гладстона, его сближением с Парнелем, ненавидевшим либералов и открыто признававшимся в этом, и особенно обещаниями, которые давались Гладстоном. Отпавшие члены гладстоновской партии стояли за нерасторжимость унии между Ирландией и Англией и потому стали называться унионистами, а так как они продолжали считать себя либералами, то официальным титулом их фракции сделалась кличка «либералов-унионистов». Зародившись в конце января 1886 г., эта фракция росла без перерыва в течение всей весны.

Через 2 месяца после сформирования кабинета Гладстон исполнил свое намерение: он заявил, что 8 апреля внесет в палату общин билль об ирландском самоуправлении. Интерес, возбужденный этим биллем, был так велик, что с рассвета назначенного дня публика стояла толпами около парламента, чтобы успеть захватить места. Палата общин была переполнена народом [165], даже привилегированные посетители брали с бою каждое место. Первый министр Великобритании, берущий на себя инициативу ирландского гомруля, казался явлением в высшей степени любопытным. Билль Гладстона поручал управление всеми специально ирландскими делами дублинскому парламенту, который должен состоять из двух палат: верхней и нижней. Верхняя представляет нечто среднее между наследственной палатой лордов и избираемым сенатом [166], а нижняя избирается на тех же основаниях, как в Англии, и состоит из 206 членов. В фискальном отношении Ирландия обязывалась вносить ежегодно в имперскую казну 3 244 000 фунтов стерлингов. Для ведения ирландских дел дублинский парламент должен был выделять из своей среды министерство, перед ним ответственное. Внешняя политика оставалась всецело в руках парламента английского.

Этот билль давал, таким образом, широкое самоуправление Ирландии и если не удовлетворил всех желаний Парнеля, если верхняя палата и ежегодный взнос 3 миллионов являлись такими нововведениями, без которых ирландцы охотно обошлись бы, то во всяком случае гомруль Гладстона был огромным приобретением, первым и резким шагом к разделению враждебных национальностей. Поэтому при первом чтении парнелиты в полном составе поддерживали премьера. Они и либералы-гладстоновцы встретили старика шумной овацией, когда он вошел; враждебность же либералов-унионистов сразу обозначилась так ярко, что консерваторы могли смело надеяться на свое близкое торжество. Второе чтение билля произошло 7 июня. Совершенно лишнее было бы передавать в подробностях речи защитников и противников билля; эти люди стояли на разных точках зрения и обсуждали вопрос и спорили, имея под собой далеко не однородную почву. Гладстоновцы утверждали, что для империи даже выгодно дать Ирландии гомруль [167]; парнелиты говорили о том, что гомруль — единственное спасение Ирландии [168]; консерваторы клялись, что кровные интересы англичан требуют сохранения унии [169]; либералы-унионисты кричали, что они не позволят, чтобы Парнель был диктатором и предписывал свою волю великобританскому парламенту [170]. Прения недолго и длились; примирения между противниками и защитниками проекта быть не могло. Когда поздно ночью вопрос был поставлен на балло-

тировку, 93 либерала-униониста с Гартингтоном во главе голосовали вместе с 250 консерваторами против министерского билля; 85 парнелитов примкнуло к гладстоновцам, которых оказалось всего 228. В общей сложности баллотировка дала такие результаты:

За билль:	Против билля:
228 либералов-гладстоновцев	250 консерваторов
85 парнелитов	93 либерала-униониста
всего 313 голосов.	всего 343 голоса.

Итак, законопроект о гомруле был отвергнут большинством 30 голосов. В прессе было высказано мнение, что премьер подает сейчас в отставку, но он решил апеллировать к стране. Через две с половиной недели после провала законопроекта Гладстон распустил парламент.

Новые выборы (которые, таким образом, последовали всего через полгода после выборов 1885 г.) резко изменили положение дел. В первый раз появилась на избирательной платформе новая партия либералов-унионистов, и сразу стали говорить о ее победе над гладстоновцами [171]. Общественное мнение Англии раскололось самым решительным образом; обычные предвыборные колкости между либералами и ториями заменились взаимными обвинениями гомрулеров и унионистов Парнелиты всюду, где могли, поддерживали гладстоновцев, т. е. делали как раз противоположное тому, что во время выборов 1885 г.

Либералы-унионисты начали предвыборную кампанию еще раньше распущения парламента. Уже 12 июня Чемберлен произнес речь в Бирмингеме, излюбленном месте его ораторских откровений [172]. В этой речи он с горечью нападал на Гладстона, обвинял его в перемене фронта, в страхе перед Парнелем, в том, что он стал пешкой в руках «ирландского короля». Гладстон отвечал ему указанием на то, что если Ирландии дать гомруль, то между ней и Англией образуется не бумажная уния, а настоящая, сердечная [173]. Гартингтон резко протестовал против этого мнения, говоря, что Гладстон вообще принимает в расчет только ирландцев, а об англичанах, живущих в Ирландии, не подумал и хочет отдать их под иго дублинского парламента [174]. Старый либерал Джон Брайт решительно примкнул к унионистам, и весьма сильное впечатление произвело его открытое письмо к Гладстону, где также подчеркивалось слишком быстрое превращение премьера из врага в друга Парнеля [175]. Что касается до ирландцев, то они относились к Гладстону, по-видимому, с искренней сердечностью. В их глазах обращение Гладстона было блестящей побе-

дой Парнеля, и они так же решительно изменили свои отношения к первому министру, как он изменил свое отношение к их вождю. Но национальные страсти были возбуждены не только в одной Ирландии, и выборы лишний раз иллюстрировали ту аксиому, что при наличности одинакового взаимного раздражения двух борющихся социальных групп побеждает та, которая сильнее количественно.

Выборы начались 1 июля, и с первых же подсчетов уже нельзя было обманываться в истинном характере их. Парнелитов было избрано 84, гладстоновцев — 191, консерваторов — 317 и либералов-унионистов — 74. Против 275 соединенных парнелитов и гладстоновцев в парламент пришла соединенная партия консерваторов и унионистов, располагавшая 391 голосом [176]. В конце июля Гладстон подал в отставку, и Салисбюри занял его место.

10

До сих пор, т. е. до середины 1886 г., тактика Парнеля состояла сначала в ожесточенной борьбе против консерваторов и либералов без различия. Всякое английское правительство было недругом, и всякая английская партия — враждебной ассоциацией. В те редкие моменты, когда ему приходилось сблизиться с вигами, как это было в эпоху «кильмангемского договора», за несколько дней до убийства в Феникс-парке, или с ториями, как имело место при низвержении Гладстона в 1885 г., Парнель делал это с какими-нибудь непосредственными практическими целями, и проекты союзов дальше таких временных комбинаций не шли. Теперь, после выборов 1886 г., дело было иное: либеральная партия Гладстона, ставя на карту свою политическую будущность, порывая все национальные английские традиции и, внося опаснейший для себя раскол в свою среду, подняла вопрос о гомруле. Этим она превращалась в партию ирландского самоуправления по преимуществу, и Парнель мог смело протянуть ей руку, тем более что она уже сожгла свои корабли и нуждалась в нем всецело, а это для подозрительного ирландского лидера являлось большой гарантией верности. Что касается до Салисбюри, то теперь уже Парнель его весьма удовлетворительно понял и пришел также к твердому заключению, что консервативная партия ни за что гомруля Ирландии не даст. Единственным рациональным поведением с точки зрения парнелизма являлась упорная оппозиция консервативному министерству, а единственным возможным и полезным союзом — союз с Гладстоном.

Итак, прежние враги стали уже не временными союзниками, но политическими друзьями; после долгих колебаний партии расслоились вполне естественно согласно с общими положения-

ми своих программ: либералы отстаивали принцип национального самоуправления, консерваторы стояли за неприкосновенность империалистских начал. С 1886 г. вплоть до 1891 г. парнелиты голосовали всегда с либералами, и не было случая, когда они отказали бы Гладстону в поддержке против кабинета. Как только началась осенняя сессия 1886 г., Парнель внес на рассмотрение парламента [177] билль об улучшении положения арендаторов в Ирландии; по этому биллю, между прочим, лица, арендовавшие не земельные участки, а только дома, должны были получить все права, предоставленные земельным арендаторам. Кроме того, всем вообще арендаторам предполагалось доставить льготный кредит из государственного казначейства для выкупа в собственность арендуемых участков. Этот проект был враждебно встречен министерством; Гикс-Бич с своей обычной ядовитостью сказал Парнелю во время прений [178]: «Мне прекрасно известно, насколько важно для правительства быть в мире и согласии с ирландской партией, но мы не вправе покупать мир ценой несправедливости (по отношению к лендлордам.— *Е. Т.*)». Законопроект Парнеля был отвергнут [179]; консерваторы и унионисты оказывались гораздо сильнее гладстоновцев и парнелитов. Намек сэра Гикс-Бича был далеко не единственной шпилькой, направленной против превращения Гладстона «из английского Савла в ирландского Павла». Либералам, оставшимся верными своему старому лидеру, приходилось выслушивать упреки в пресмыкательстве перед Парнелем, в отступничестве от своей национальности и пр. Один из выдающихся гладстоновцев, знаменитый автор «Священной Римской империи», Джемс Брайс, отвечал на эти нападения статьей [180], являющейся партийным объяснением с обществом. Он заявил прямо, что прежняя политика либералов, политика усмирительных законов была ошибкой [181], что опыт показал всю тщету сурового обращения с Ирландией, и, наконец, что выбор 86 парнелитов в первый раз открыл либералам глаза на истинные желания и нужды ирландцев, на их стремление получить гомруль [182].

После таких деклараций Парнель мог с полной справедливостью считать гладстоновцев такими же своими орудиями, как О'Келли, О'Коннора или Мак-Карти. Интересно еще и то, что в прессе Гладстона обвиняли в желании отдать Ирландию под диктатуру Парнеля, так как дублинский парламент будет пешкой в его руках. Гладстон сам печатно ответил на это [183], что действительно Парнель будет играть огромную роль в ирландской палате, и что он, Гладстон, это знает...

Лондонской прессе и министерству скоро пришлось говорить об ирландских делах не только по поводу дружбы Гладстона и Парнеля: с зимы 1886 г. и в особенности весной 1887 г. аграр-

ные преступления после временного затишья опять начали тревожить страну. Когда в феврале 1887 г. в парламенте стали обсуждаться меры, необходимые для прекращения аграрных разбоев, Парнель произнес длинную речь, в которой между прочим, говорил следующее: «Если вы создадите новый закон об усмирении, то поверьте, что этим вы возбудите Ирландию гораздо сильнее, нежели всевозможные агитаторы из Америки, начиная от Нью-Йорка и кончая Сан-Франциско. Гомруль и земельная реформа — единственные противоядия». 28 марта член кабинета Бальфур предложил палате проект билля о преступлениях. Между прочим он мотивировал необходимость этого закона тем, что правительство должно защищать с помощью специальных агентов особы 770 лендлордов [184]; каждому агенту нужно платить в год 70 фунтов (700 рублей); в общем значит правительство принуждено покупать безопасность лендлордов ценой 55 тысяч фунтов [185] в год, а это, по мнению Бальфура, дорого. Далее, воскрес бойкот, общественная опала против тех фермеров, которые занимают места прогнанных арендаторов. В 1887 г. бойкотировалось 836 человек, цифра давно уже небывалая. Парнель отвечал, что лендлорды, почувствовав опору в министерстве Салисбюри, стали развязнее прогонять своих арендаторов и противозаконно возвышать арендные цены, так что они являются зачинщиками аграрных преступлений и бойкота, а не ирландцы. Билль прошел в первом чтении, но дебаты во время второго чтения были еще более страстны [186]. «Вы намерены,— сказал Парнель, обращаясь к Салисбюри,— посылать на эшафот и в тюремные камеры людей заведомо невинных, непричастность которых к преступлениям известна и их соседям, и даже властям». В самых резких выражениях он обвинял премьера и Бальфура в желании внести террор в Ирландию. Гладстон, не обращая внимания на враждебные крики консерваторов, поддерживал Парнеля. Ему напоминали его собственные билли об усмирении, но он твердо стоял на высказанном раньше: явственно признавая ошибочной всю прежнюю свою ирландскую политику, он протестовал против желания Салисбюри продолжать ее.

Обсуждение законопроекта было отложено. Ненависть против Парнеля вспыхнула у его врагов с особенной силой; говорили, что гипноз, который положил к его ногам Ирландию, теперь распространился на Гладстона и либералов, и старый Вильям не видит, что он протягивает руку покровителям убийц. Живя среди такой атмосферы озлобления и вражды к ирландскому лидеру, английская публика прочла 18 апреля в газете «Times» следующие строки [187]: «15—5—82. Дорогой сэр, я не удивлен тем, что Ваш друг сердится на меня, но и Вы, и он должны знать, что порицать убийство было единственным

выходом для нас. Ясно, что сделать это поскорее было нашей лучшей политикой. Но Вы можете передать ему и всем другим, кого это касается, что, хотя я сожалею о смерти лорда Кавендиша, я должен признать, что Борк не стоил больше, чем его труп. Вы можете показать это письмо вашему другу и тем, кому Вы доверяете. Но не говорите никому моего адреса. Пусть он мне напишет в палату общин. Ваш Чарльз Парнель». Письмо это было помечено 15 мая 1882 г., т. е. написано через несколько дней после убийства в Феникс-парке и публичного порицания Парнелем этого факта. Письмо было напечатано в виде факсимиле, почерком Парнеля. Редакция «Times», печатая это письмо в заключение статьи о «парнелизме и преступлении», выражала полную уверенность, что оно писано действительно рукой Парнеля [188]. Впечатление, произведенное письмом от 15 мая, было потрясающим.

Положение Гладстона сделалось таким шатким и неверным, как ни разу не было за всю его долгую жизнь политического борца. Но главным образом Парнель должен был немедленно высказаться. Придя в палату общин в тот же день, как появилось письмо он завил, что редакция «Times» учинила грубый подлог. «Я готов был бы,— сказал он,— собственное тело подставить под нож, лишь бы спасти лорда Кавендиша». В зале поднялся ропот. Тогда Парнель, помолчав немного, прибавил: «И Борка тоже».

На другой день Гладстон выразил убеждение [189], что Парнель никогда не был в связи с преступниками, но Салисбюри заметил на это в речи на консервативном митинге [190], что если Парнель хочет избавиться от обвинений, то пусть притянет редакцию к суду, а иначе дело не выяснится. Почерк подписи на факсимиле «Times» действительно имеет поражающее сходство с почерком Парнеля; пишущий эти строки имел случай сравнивать несколько его подписей и пришел к заключению, что во всяком случае Парнель был несправедлив, назвав подлог грубым. Как уже было сказано, газета не выражала и сомнений, что письмо принадлежит Парнелю и адресовано убийцам Борка и Кавендиша. Парнель в печати заявил, что, вероятно, он как-нибудь расписался на пустом листке бумаги, а редакция «Times» присочинила от себя письмо. Но затем он отказался и от подписи и высказал мнение, что подпись также сфабрикована его врагами. Привлекать редакцию к суду он медлил. Вскоре после письма в «Times» билль Бальфура (об усмирении) стал законом: правила, бывшие в силе от 1882 до 1885 г., теперь восстановлялись. Но в 1887 г., несмотря на эти меры, аграрные преступления стали переходить уже в попытки открытых бунтов; в Митчельстоуне и других местах приходилось разгонять толпу военной силой. Можно себе представить,

насколько эти происшествия в связи с упорным нежеланием привлечь редакцию к суду, волновали общественное мнение[191]. Парнель в глазах менее культурных слоев общества являлся уже признанным главой революционной армии, предводителем фениев. Между тем «Times» и не думала ограничиться одним письмом; газета напечатала еще два письма, также подписанные именем Парнеля и касающиеся того же предмета — порицания убийства в Феникс-парке; в этих письмах Парнель снова объясняет и извиняет свое поведение в парламенте в мае 1882 г. После напечатания этих писем к Парнелю уже приступили с самыми серьезными требованиями и члены его партии, и либералы-гладстоновцы, чтобы он предпринял какие-нибудь решительные меры. Тогда Парнель заявил в палате общин требование, чтобы было назначено парламентское следствие по этому делу. Во время обсуждения этого предложения член кабинета Чемберлен, один из отпавших от Гладстона либералов, сильно нападал на Парнеля. Парнель ответил, что Чемберлен не прочь был раньше заискивать перед ирландцами, когда они были ему нужны, а теперь, став министром, ведет игру на два фронта: вслух нападает на ирландскую партию, а втихомолку ведет с ней сношения, обманывая Салисбюри. Речь Парнеля была покрыта аплодисментами ирландцев и гладстоновцев, и среди шума раздались крики: «Иуда Чемберлен! Иуда Чемберлен!» Кричали это ирландцы[192]. Этот поворот дела был совсем неожидан: из обвиняемого Парнель превратился в обвинителя, министерство не скрывало своего смущения, Чемберлен взволнованно оправдывался (ни на кого, впрочем, в частности не глядя), палата раздражена страшно. Парнелю в его требовании о парламентской комиссии было отказано; решили только составить комитет из членов суда Королевской скамьи, и эта комиссия должна была решить, кто прав: Парнель или редакция «Times».

Следствие началось в конце 1887 г., а суд — осенью 1888 г.; он тянулся один год и один месяц и занял 128 заседаний (начался он 22 октября 1888 г., а окончился 22 ноября 1889 г.). Судьба как будто не хотела дать Парнелю хоть немного отдохнуть: обструкция в эти годы (со времени изменения парламентских правил) была сильно затруднена, другим способом бороться против коалиции унионистов и консерваторов не было возможности, и вот, как раз когда в парламенте стоит сравнительное затишье, Парнель волнует английское общество своим процессом и теми подробностями его, которые выяснились во время суда и следствия. Нужно отдать справедливость генерал-атторнею, руководившему следствием: он делал все, что только было в его силах, чтобы доказать связь Парнеля с фениями и, eo ipso, подлинность писем. Но такого осторожного и скрытного человека, такого, по отзывам всех следивших за ним агентов,

идеального конспиратора нельзя было другого отыскать в Соединенном Королевстве; Томас Бич был единственным человеком, который мог хвалиться тем, что обманул Парнеля. Генерал-атторней приказал на казенный счет привозить в Лондон со всех концов Ирландии и Англии тех политических арестантов, которые могли бы хоть что-нибудь сказать против Парнеля. Многие ирландцы сидели в тюрьме на основании только что проведенного бальфуровского билля об усмирении; этим людям, находившимся в полной власти администрации, была обещана свобода за одно только слово против Парнеля [193]. Но ничего не помогало: доказательства не являлись.

Когда следствие коснулось, наконец, истории с письмами, генерал-атторней вызвал редактора «Times» и спросил его, от кого он получил эти письма. Редактор ответил, что он их получил от некоего Густона [194], секретаря английской патриотической лиги в Дублине и вместе с тем корреспондента «Times». Генерал-атторней вызвал Густона и спросил, кто же ему самому дал эти письма. Тогда Густон назвал некоего Ричарда Пиготта, бывшего репортера дублинской мелкой прессы. Вызвали Пиготта, и тут дело начало раскрываться. Вот что обнаружилось. Этот Пиготт жил в Кингстоуне, вблизи от Дублина; у него была семья, состоявшая из жены и четырех маленьких детей. Положение всей семьи было ужасно; Пиготт делал все, чтобы достать какую-нибудь работу, но ничего не выходило, неудачи преследовали его с замечательным постоянством. Доведенный до отчаяния, он уже начал просить милостыню у тех людей, от милосердия которых мог чего-нибудь ожидать. Он страстно любил своих детей, по отзывам всех, и жестоко страдал, видя, что они умирают от голода. Положение его и в особенности страх за жизнь детей стали известны Густону, секретарю английской патриотической лиги и сотруднику «Times». Густон явился к Пиготту и предложил ему следующее дело. (Это было в конце 1886 г., в разгар толков о совращении либералов и Гладстона в парнелизм.) Существует, сказал он, единственная возможность для Пиготта спасти своих детей от голодной смерти. Нужно *достать* письма, которые бы показывали, что Парнель находился в связи с убийцами Борка и Кавендиша. Если Пиготт берет на себя *искать и найти* такие письма, то английская патриотическая лига обязуется платить ему за каждый день во время поисков 2 фунта стерлингов (около 20 рублей), а когда письма будут найдены, тогда он получит за напечатание их разом такую сумму, которая его обеспечит до конца дней. Пиготт согласился. Затем показание Пиготта, до сих пор подтвержденное другими свидетелями, становится несколько сбивчивым. Он отправился искать письма почему-то в Лозанну, но там ничего не нашел и поехал в Париж [195]. Здесь его встретил

на улице какой-то неизвестный человек, который спросил его, не письма ли Парнеля он ищет? Получив утвердительный ответ, незнакомец сказал, что эти письма находятся в черном мешочке в одном запертом помещении в Париже. Пиготт выразил желание купить их, но незнакомец не продавал, боясь гнева фениев, сидевших в Америке. Пиготт, съездив в Америку, получил от фениев позволение купить письма, вернулся в Париж и приобрел их. Затем эти письма, уличавшие Парнеля в сношениях с заговорщиками Феникс-парка, были переданы Густону, а Густон отослал их в редакцию «Times». Пиготт виделся лично и с редактором, и тот вполне поверил подлинности документов [196]. В общем он пока получил за них от редакции около 1 тысячи фунтов (9 тысяч рублей).

Защитник Парнеля Чарльз Россель весьма саркастически допрашивал редакцию «Times», свято ли она верит словам Пиготта, и, очень искусно ведя перекрестный допрос, убедил присутствовавшую в суде публику (да и не только публику, если судить по тому, что члены Королевской скамьи смеялись вместе со всеми), что, во-первых, свидетель фантазирует, и, во-вторых, что редакция притворяется, будто верит ему. Положение Пиготта во время заседания было страшно трудно, и стенографический отчет о процессе через каждые несколько строк замечает [197], что Пиготт «обнаруживает все признаки потрясения». Этот рассказ о доставании писем был выслушан от него во время заседания суда 21 и 22 февраля (1889 г.), а 23 февраля рано утром Пиготт явился к Лабушеру, редактору газеты «Truth», поддерживавшему Парнеля, торопливо и задыхаясь потребовал, чтобы Лабушер позвал свидетелей, и, когда это было исполнено, сказал, что все его показание на суде — ложь, что он сам подделал все письма, соблазненный обещаниями Густона. Его признание было им тут же написано и подписано. Затем он поспешно вышел из редакции. Он бежал в Париж, а оттуда в Испанию, в Мадрид. Ожидая, что его соблазнители поддержат его теперь, он послал телеграмму в «Times» с просьбой о деньгах, которые газета еще осталась ему должна. Редакция «Times» тотчас же сообщила указанный в телеграмме адрес полиции. На другой день в мадридскую гостиницу явились арестовать его; Пиготт, увидя вошедших, пустил себе пулю в лоб, раньше чем могли его остановить.

После этой трагедии и прочтения на суде признаний Пиготта дело Парнеля было выиграно, и выиграно блестящим образом. Триумф был полный безусловный, такой, каких немного выпало на долю даже этого человека, привыкшего к успехам. Надо заметить, что если Парнель неохотно начал процесс, как всегда не желая без особенной нужды отрекаться от фениев, если он не любил защищаться на этой почве, то и во время

суда он ограничивался лаконическими ответами на вопросы о сношениях с тайными обществами и принципиально ничего о них не говорил. Во время процесса между прочим Парнель встретился со своим старым знакомым, агентом полиции Томасом Бичем [198]; этот деятель произвел очень сильное впечатление, рассказав [199], как Парнель в 1881 г. говорил с ним о необходимости действовать дружно с фениями. Но теперь уже редакции «Times» ничто помочь не могло. Она потерпела такое страшное поражение, после которого даже этот орган не мог сразу вполне оправиться. Кроме морального ущерба газета понесла и материальный; она должна была заплатить Парнелю 5 тысяч фунтов судебных издержек (около 50 тысяч рублей).

Враги ирландского лидера были раздавлены, очутились в самом затруднительном положении, какое только можно себе представить, а он торжествовал, и все-таки его отношения с фенианством оставались невыясненными, никаких признаний на суде он не сделал и никого ни в чем разуверить не старался. Ненависть к нему, всегда острая, теперь усиливалась чувством горечи и обиды; но до поры, до времени возможно было только делать вылазки спорадические и исподтишка. Чтобы разом все припомнить и за все с ним расплатиться, следовало подождать более благоприятного времени и более удобного случая.

11

Джордано Бруно говорит в одном из своих произведений о людях, которые в горе веселы, а в радости печальны, in tristitia hilares — in hilaritate tristes. Судя по всему, Парнель принадлежал к числу таких людей. В самые трудные минуты своей жизни он удивлял близко стоявших к нему лиц полным спокойствием, бодростью и уверенностью, а в дни триумфов не менее поражал какой-то печальной задумчивостью, непонятной сумрачностью. Впрочем, его настроение всегда должно было казаться немотивированным. Своей души он не открывал никому из тех, кто, по-видимому, имел больше всего прав на его откровенность.

Он казался всегда одинок; члены его партии, беспрекословно ему повиновавшиеся, весьма редко видели его вне палаты общин и никогда ни о чем, кроме предстоящих парламентских дел, с ним не говорили. На партийные заседания он являлся редко, адреса своего также никому не сообщал, так что, например, когда Гладстону раз понадобилось видеться с Парнелем до заседания, он никак не мог узнать, где тот живет. Что он делал вне палаты, всегда оставалось тайной, так же как тайной была вся частная, интимная жизнь этого человека. Сосредоточенное внимание, обращенное, казалось, не столько на внешний,

сколько на собственный внутренний мир, чаще всего отражалось на его лице. Никто не видел, чтобы он сильно волновался; во время парламентских бурь, в моменты ирландских встреч и оваций он оставался, за редкими исключениями, невозмутимо спокоен. И это постоянное спокойствие опять-таки никого не заставило никогда сказать, что Парнель, полубог народных масс, один из влиятельнейших парламентских деятелей, человек, в сорокалетнем возрасте снискавший всемирную известность, счастлив, что он при своем железном здоровье и обеспеченном состоянии доволен судьбой. Какая-то трагическая нотка звучала в течение всей его жизни и давала тон всему его поведению. Обстоятельства могли быть запутанными и сложными, но он никогда не казался поглощенным ими всецело; среди самых оживленных бесед и споров он иногда внезапно умолкал и угрюмо задумывался, не то о чем-то вспоминая, не то к чему-то прислушиваясь.

Чем больше время шло к концу 80-х годов, тем поведение его становилось все загадочнее и загадочнее. Нередко среди сессии он вдруг уезжал из Лондона, и никто не знал, куда он отправился и сколько времени пробудет в отсутствии; часто в разных местах он называл себя вымышленными именами. Если всегда было мало общения между Парнелем и его партией, то в это время (в 1888, 1889, 1890 гг.) оно совсем прекратилось. Его манеры и обхождение отличались обыкновенно простотой и изяществом, но тут все стали замечать не известную прежде резкость, суровость в обращении с окружающими. Некоторые приписывали эту раздражительность парламентскому затишью, невозможности бороться с министерским большинством; другие говорили, что между Парнелем и Гладстоном происходят какие-то раздоры... Ничто не могло быть ошибочнее последнего предположения: Гладстон после парнелевского процесса с редакцией «Times» не знал просто, чем выразить дружбу и расположение к своему союзнику.

Вообще в Шотландии и Англии многие старались показать сочувствие Парнелю после его торжества. Так, город Эдинбург поднес ему почетное гражданство; либеральный клуб в Лондоне с энтузиазмом встретил его резкую речь о таком щекотливом предмете, как обращение английской администрации с ирландскими политическими арестантами [200]. Нужно сказать, что посрамление «Times» после суда либералы эксплуатировали гораздо больше, чем сам Парнель; ирландцы также старались воспользоваться этой победой и недоумевали, почему их вождь не старается извлечь все выгоды из своего действительно блестящего положения после процесса. Но Парнель так искренно и глубоко презирал всю эту затеянную против него интригу, что вполне равнодушно смотрел на поражение врагов и не удостаивал их

особенным вниманием. Это еще более импонировало значительной части английского общества; а так как в политике обыкновенно, чем более везет счастие одному из союзников, тем ласковее становится к нему другой, то и либералы относились к Парнелю после его триумфа в высшей степени сердечно. На Рождество 1889 г. Гладстон пригласил его приехать погостить в Говардин. Парнель приехал, и тут оба деятеля беседовали о гомруле, о ближайших шансах поставить вопрос на очередь, о подробностях отделения Ирландии от Англии. Во время этих переговоров обнаружилось, что Гладстон в новом проекте гомруля оставляет управление ирландской полицией в руках английского министерства и что разрешение аграрного вопроса он также предоставляет имперскому парламенту. Парнель заметил на это, что при таких условиях он боится, что ирландский народ не будет поддерживать вождя либералов с той искренностью, как это было бы желательно. Впрочем, ввиду того, что в ближайшем будущем вносить билль о гомруле было бы вполне бесполезно, эти разговоры удерживались на теоретической высоте.

Погостив у Гладстона, Парнель отправился в Эдинбург, где на митинге, устроенном в его честь, ему была поднесена сумма в 3 тысячи фунтов, собранная его почитателями с целью вознаградить за судебные убытки [201]. Через несколько времени редакция газеты «Times» должна была, согласно приговору суда, заплатить Парнелю 5 тысяч фунтов, так что в общем денежные дела его находились в блестящем положении. Но его еще ожидало торжество в парламенте — речь Гладстона, предложившего официально выразить негодование по поводу клеветы «Times», жертвой которой чуть не сделался Парнель, и высказать ему сочувствие.

Дебаты по этому поводу лишний раз показали, до какой степени консерваторы и унионисты ненавидят Парнеля. Они говорили в парламенте и в обществе, что ирландский агитатор от фениев не отказался публично, хотя имел для этого прекрасный предлог, вспоминая несомненно, что, наконец, сыщик Томас Бич прямо утверждает, будто Парнель находился в связи с преступными обществами. Представителем чувств большинства явился один из консерваторов, Фультон, который, истощив все аргументы, объявил: «Нет, слишком всего этого (т. е. выигрыша процесса.— *Е. Т.*) мало, чтобы мы отдали свои симпатии м-ру Парнелю» [202]. Тогда ирландец Сикстон заметил: «Да он и не просит ваших симпатий». «Пожалуй,— возразил Фультон,— но м-р Гладстон за него просит!» Салисбюри и весь кабинет упорно стояли на том, что Парнель морально вовсе не оправдан и не хочет оправдываться в преступных связях. Либералы с Гладстоном во главе решительно и горячо настаивали на своем.

Это была замечательная сцена, показавшая наглядно, до какой степени глубоко и круто Парнель изменил партийные отношения: либералы-унионисты спорили со своими бывшими товарищами гораздо ожесточеннее, чем консерваторы; гладстоновцы защищали Парнеля еще более горячо, чем ирландцы. Большинство, конечно, составилось из унионистов и консерваторов, и предложение Гладстона выразить Парнелю сочувствие было отвергнуто. Поведение Гладстона произвело весьма сильное действие на умы и в Англии, и за границей; результаты голосования все предвидели, и они не уменьшили впечатления, оставшегося от апологии ирландского сепаратиста главой великой английской партии.

Влияние Парнеля на палату, несмотря на враждебность большинства, было огромное. Стоит прочитать рассказы мемуариста салисбюриевского парламента [203], как пустая зала разом наполнялась депутатами, когда разносился слух, что Парнель будет говорить; стоит взвесить истинное значение того факта, что личное обаяние самого Гладстона нейтрализовалось в это время престижем Парнеля, чтобы оценить моральное могущество ирландского лидера. «В Англии теперь не парламент, а парнельмент»,— повторяли шутку «Punch'а».

20 мая (1890 г.) состоялся в Лондоне митинг ирландской национальной лиги под председательством Парнеля; здесь он между прочим указал на тот факт, что в самой Англии живет около 250 тысяч ирландцев, имеющих право голоса на парламентских выборах. Нужно, сказал он, позаботиться, чтобы эти голоса не пропадали даром, чтобы эти массы не воздерживались от вотирования и голосовали единодушно. На необходимость предвыборной агитации между этими ирландцами он обращал внимание собравшихся членов лиги. Энтузиазм, с которым встретили его появление и его речь, лишний раз показал, как он теперь силен. Через неделю после этого митинга парламентские парнелиты дали ему обед по случаю дня рождения. В застольном спиче Парнель говорил о союзе с либералами, сказал, что гомруль непременно будет представлен в палату, как только Гладстон станет у власти, утверждал, что этот гомруль удовлетворит ирландскую нацию, и поздравлял свою партию с такими союзниками, как Гладстон и либералы. Присутствующие прерывали аплодисментами его слова, повторяли, что Ирландия и ирландская партия всем этим обязана никому другому, как виновнику нынешнего торжества, и очень просила его верить искренности их чувств. Неизвестно, исполнил ли эту просьбу Парнель; за обедом он был задумчив и рассеян.

Осенью 1890 г. на парламентских каникулах он побывал в Ирландии; сессия должна была открыться в конце ноября; парнелиты и либералы готовились повести правильную атаку

против министерства Салисбюри. Неожиданное обстоятельство вверх дном перевернуло все эти планы и парламентские комбинации.

12

Если бы кто-нибудь еще в начале ноября 1890 г. сказал, что в предстоящие 10 месяцев Парнеля ждут падение и смерть, то весьма многим такое пророчество показалось бы фантастическим. Только что он избавился от обвинения в связях с убийцами Кавендиша; только что его враги были раздавлены самым несомненным образом, а его друзья так высоко подняли голову, как никогда раньше. Но именно в эти дни триумфа на него обрушился удар, от которого не было спасения, и всю силу и значение которого сразу нельзя было достаточно верно оценить.

Уже сравнительно давно, с половины 80-х годов, в ирландских политических кружках и в лондонских клубах говорили об интимных отношениях, существующих между Парнелем и г-жей Кэтрин О'Ши, женой ирландского депутата [204]. С течением времени слухи эти стали довольно настойчивы. Все знали, что Парнель бывает только у м-с О'Ши и ни у кого больше; что когда его нет в Лондоне, самый удобный способ для сношений с ним — передать, что нужно, через г-жу О'Ши; все знали наконец, что Гладстон и члены его партии весьма часто ведут с Парнелем переговоры через Кэтрин О'Ши, когда он почему-либо не хочет или не может видеться с ними лично [205]. В 1886 г. или около того произошло охлаждение между капитаном О'Ши и Парнелем; охлаждение окончилось формальным разрывом, и Парнель перестал бывать у него в доме.

Но с Кэтрин О'Ши он видеться не перестал. Эти свидания были редки и недолги, происходили урывками, но тем не менее дошли до сведения капитана. Кэтрин О'Ши была, по общему отзыву, единственной женщиной, которую в своей жизни любил Парнель; она была также его единственным другом и поверенным, и он не мог заставить себя отказаться от свиданий с ней, несмотря на бесчисленные глаза и уши, следившие за каждым его шагом, ловившие каждое его слово. Две-три наивным тоном изложенные заметки проскользнули в лондонской прессе о том, что экипаж Парнеля тогда-то и тогда-то стоял около дома О'Ши; два-три дружеских намека вкрались в разговор собеседников капитана [206]; анонимные письма также не заставили себя ждать. Произошло объяснение между мужем и женой; капитан О'Ши созвал семейный совет, и там было решено, что он имеет право требовать развода.

Просьба о разводе была подана в суд, и 16 ноября 1890 г. началось разбирательство. На суде ни Кэтрин О'Ши, ни Парнель не думали защищаться; Парнель даже не прислал на суд

представителя своих интересов. Присяжные признали ответчицу виновной в нарушении супружеской верности и удовлетворили просьбу ее мужа о разводе, а председатель суда заявил, что Парнель — «человек, воспользовавшийся гостеприимством капитана О'Ши для разврата». Отчет о процессе был напечатан во всех английских газетах, и факты, обнаруженные на суде, стали достоянием читающей публики обоих полушарий.

Английская общественная мораль была возмущена, английская публика оскорбилась в своих лучших чувствах. Правда, всего только в середине 80-х годов газета «Pall-Mall» обнародовала целый ряд случаев всевозможных естественных и неестественных преступлений против нравственности, совершаемых людьми, которые носили почтеннейшие титулы и фамилии; правда, эти разоблачения никем не были опровергнуты; правда, наконец, 10—12 человек, украшавших собой лондонские аристократические салоны, были в сильном подозрении у сыскной полиции, разведывавшей в 1887, 1888 и 1889 гг., для кого совершается в столице систематический торг несовершеннолетними. Итак, английская публика могла бы, по-видимому, настолько окрепнуть нервами к 1890 г., чтобы не так ужасно потрястись зрелищем парнелевского «морального падения», тем более что названные выше факты из жизни аристократии обыкновенно никого особенно не беспокоили и весьма быстро тонули в Лете.

Но с Парнелем вышло иначе. Его громили и уничтожали всюду: и в консервативных слоях, и в либеральных, и в высшем круге, и в среднем. С жадностью читались передовицы, описывавшие все перипетии романа Кэтрин О'Ши; наперерыв рассказывались подробности о том, как Парнель подкупал прислугу, чтобы передать записку, как часами он стоял под окнами, чтобы увидеть г-жу О'Ши, как он переодевался и изменял свою наружность. Во главе суровых моралистов шла редакция газеты «Times», видевшая в этой истории верное средство повалить, наконец, своего врага и доказать таким образом, что добродетель, несмотря ни на какие встречные тернии и временные поражения, все-таки в конце концов торжествует. За единичными исключениями, английская печать всей своей компактной массой вторила «Times». Ненависть, лютая и непримиримая, долго принужденная прятаться и улыбаться и теперь увидевшая, что ее час пришел, брызгала с печатных листов, проникала и заражала атмосферу и самой своей беззаветностью покоряла окружающих. Забыли о Закаспийской железной дороге, о русской среднеазиатской политике, о Египте и Хартуме: все это отошло на задний план перед делом Парнеля.

Ирландцы-депутаты были смущены и испуганы, но первым их движением было теснее сплотиться вокруг своего вождя, как

сбивается иногда кучка солдат вокруг знамени в ожидании особенно сильной атаки. «Чарли не может быть виновен в том, что на него возводят»,— говорили они [207].

20 ноября, т. е. через 3 дня после окончания процесса супругов О'Ши, в Дублине сошлось большое собрание, на котором собравшиеся ирландские члены парламента торжественно заявили свою верность и благодарность Парнелю; там же была прочтена телеграмма от нескольких парламентских парнелитов, путешествовавших в это время в Америке; они также утверждали, что будут всегда держаться Парнеля и его политики. «Незабвенные услуги нашего лидера в прошлом и глубокое убеждение в необходимости его несравненных качеств для блага дела заставляют нас еще раз выразить свое желание, чтобы он взял на себя лидерство партии»,— писали они. Парнеля единогласно выбрали лидером на предстоящую сессию. Итак, партия пока была верна. Но Парнель знал, что огромную важность представляет при данных обстоятельствах мнение Гладстона; он бодро и уверенно относился к поднявшейся буре, с насмешками и презрением отзывался о походе против него и Кэтрин О'Ши: ему нужно было только знать, что скажет Гладстон. Одно слово этого человека заглушило бы все голоса, донеслось бы до ушей страны и могло бы создать поворот в общественном мнении.

Прошла целая неделя после процесса, а Гладстон молчал. «Times» громил его молчание с той библейской силой, до которой любят подыматься передовики этого органа в особо сенсационных случаях; «Гладстоновцы,— писала газета — могут не обращать внимания на решение суда, но они не заставят британский народ думать по-своему» [208]. Другие органы, консервативные и унионистские, не отставали: они требовали от Гладстона, чтобы он или прямо объявил, что либералы по-прежнему в союзе с Парнелем, или чтобы открыто отшатнулся от ирландского лидера [209]. Если Парнель с напряженным вниманием ждал, чтобы Гладстон высказался, то и вся Англия смотрела на Говардин и прислушивалась, не раздастся ли оттуда голос, которому она привыкла верить. И Гладстон наконец сказал свое слово.

24 ноября, через 8 дней после процесса, он написал члену либеральной партии Джону Морлею письмо [210], в котором говорил, что, по его мнению, дальнейшее лидерство Парнеля было бы в высшей степени гибельно для ирландского дела [211]. Он просил, чтобы Морлей передал это Парнелю. «Я высказываю свое решение просто и прямо, как бы мне ни хотелось смягчить чисто личную сторону этого положения». Приведенная фраза одна только (да и то глухо) говорила о коренной причине разрыва. В сущности, читатели письма не могли составить себе

ясного мнения о том, почему Гладстон не желает видеть Парнеля ирландским лидером: потому ли, что верит в его моральную испорченность, или из боязни пойти против общественного мнения? Не было человека, который умел бы яснее выражать свои мысли, чем Гладстон; запутаннейшие финансовые доклады под его пером и в его устах казались проще таблицы умножения. А здесь коротенькое письмо по несложному делу кажется темным, недописанным, сбивчивым. Не подлежало сомнению только одно: Гладстон, не оставляя ирландскую партию, не отказываясь от поддержки идеи гомруля, требует, чтобы ирландцы выбрали себе другого лидера вместо Парнеля.

Если враждебные выходки прессы и английского общественного мнения могли казаться Парнелю не более как «щипками и мелкими уколами», то рука Гладстона теперь наносила удар прямо по голове. Только эта рука и могла так сильно поразить его. Могущественный союзник покидал его и ставил пред ирландской партией дилемму: или низложить Парнеля, или отказаться от поддержки либералов.

Как только письмо Гладстона было опубликовано, ирландская партия пришла в смятение. Несмотря на все уверения, застольные тосты и клятвы, весьма многие члены партии больше уважали Парнеля, чем любили его; он держал себя со многими из них холодно, мало с ними общался, в особенности в последние годы, и слишком сурово охранял принципы партийной дисциплины. Ирландские депутаты беспрекословно повиновались ему, потому что в нем видели избранника страны и от него ожидали всевозможных чудес, немыслимых для простых смертных. Одним из таких чудес в их глазах являлся формальный союз с либералами и превращение Гладстона в гомрулера. Они полагали, что теперь уже главное сделано, что им только нужно спокойно ожидать падения Салисбюри и гомруль будет в их руках на другой день после избрания либеральной палаты и сформирования кабинета Гладстона. И вдруг, когда они уже рассчитывали отдохнуть на правах друзей будущего министра, им предлагают или пожертвовать Парнелем, или отказаться от всех своих надежд. Они очень хорошо понимали и с готовностью высказывали, что самому же Парнелю обязаны этим союзом, что когда он в первый раз явился в палату, смешно было и думать для тогдашней ирландской группы, для какого-нибудь Исаака Бьюта, о завоевании одной из двух великих партий; они сознавали вполне отчетливо, что только Парнель своей борьбой с англичанами не на жизнь, а на смерть создал такое блестящее положение дел. Но, с другой стороны, несчастная страна 7 столетий ждет своего освобождения, оно теперь уже готово стать фактом, как вдруг только оттого, что Парнель не мог подавить своей страсти, опять рушатся все на-

дежды, опять Агасферу вкладывают посох в руки и приказывают продолжать странствие. Разве Парнель не знал, говорили многие ирландские депутаты на первых же собраниях после письма Гладстона, разве Парнель не знал, чем он рискует, на что идет, вступая в связь с замужней женщиной в такой стране, как Англия? Как же у него не хватило настолько любви к обожающему его народу, чтобы подавить в себе эту страсть? Если теперь он останется лидером, Гладстон исполнит свое слово и порвет все сношения с ирландской партией, и Парнель сам разрушит дело рук своих. Его долг — уйти от лидерства.

Такие речи слышались все чаще и чаще на собраниях партии; Парнель мог видеть, что почва под ним колеблется, и он апеллировал к Ирландии. Вот что гласил его манифест к ирландскому народу: «Рассмотрите внимательно, как с вами обращаются, чего от вас требуют, раньше чем вы согласитесь выдать меня английским волкам, воющим, требуя моей гибели» [212]. Всегда в последние годы, говорил манифест, ирландская партия держалась независимо, не шла ни за кем в хвосте и никому не позволяла вмешиваться в свои дела. Теперь Гладстон осмеливается давать партии указания и повеления относительно такого вопроса, как лидерство. Если партия уступит, этим она признает свое ничтожество и сама же похоронит надежду на гомруль: англичане добры только тогда, когда видят против себя силу, а слабых и уступчивых они презирают. Далее в манифесте Парнель говорил о своем пребывании в гостях у Гладстона всего за год перед тем, во время рождественских праздников 1889 г., когда Гладстон соглашался со всеми требованиями ирландцев. Если действительно вождь либералов убежден в необходимости гомруля, если это правда, а не лицемерие, то все равно его долг поддерживать ирландскую программу, а кто будет лидером партии — неважно для такого человека чистых принципов, каким называют Гладстона.

Ирландская партия после парнелевского «манифеста» совершенно явственно раскололась на два лагеря, и большинство придерживалось того мнения, что ссориться с Гладстоном нельзя и что Парнель хоть на время должен уйти. Но Парнель сдаваться не хотел. Он как будто помолодел, как будто стал живее и сильнее при виде опасностей, отовсюду встававших вокруг него. Самые бурные прения велись на партийных заседаниях; он присутствовал на них и многократно высказывал свое мнение по дебатировавшемуся вопросу: бракоразводный процесс супругов О'Ши и его роль в этом деле нисколько не касаются лидерства ирландской партии; он считает всю поднявшуюся бурю результатом английского лицемерия и полагает, что Гладстон побоялся быть одним против всех и только потому стал на сторону его врагов. Далее, он думает, что партия унизит

себя, если согласится повиноваться Гладстону. Но все было напрасно: слишком жаль было многим ирландским депутатам расстаться с мечтой о близкой победе, слишком безопасным и легким представлялось дальнейшее парламентское плавание под флагом Гладстона. Пять дней длились эти дебаты; 6 декабря произошла баллотировка вопроса. Голоса разделились: 45 депутатов признали временное удаление Парнеля необходимым, 26 остались верными ему. Новым лидером был избран Джустин Мак-Карти.

Если покинул Гладстон, это не казалось непоправимой бедой: английский союз добыт силой, и значит его еще можно вернуть. Если изменила партия, это было тяжело, но также не могло назваться решительным несчастьем: хотя депутаты присылаются страной, однако она не может контролировать каждый их шаг и каждое мнение. Несравненно важнее всего этого было узнать, как же смотрит на него теперь сама Ирландия. Как она отнеслась к заявлениям его врагов и к его манифесту? Собирается ли также оставить его или нет? Ответ на эти вопросы получился не сразу.

В Ирландии все три известия: о процессе О'Ши, о письме Гладстона и лишении Парнеля лидерства, распространились в одно время и произвели ошеломляющее действие. Собственно, грозящий разрыв с Гладстоном не испугал ирландцев так, как испугал их депутатов: они привыкли на Англию смотреть как на вражеский стан, не разбирая оттенков, и соглашение с либералами считали дипломатической сделкой, которую их «король» может расторгнуть, когда найдет нужным. Но что их поразило, как громом, это факты, обнаруженные бракоразводным процессом. Если Парнель называл лицемерием движение, поднявшееся против него в Англии, то здесь и он должен был согласиться, что имеет дело с психологическими факторами совсем иной категории. Верующие католики Ирландии были искренно и глубоко убеждены, что он действительно совершил преступление, и преступление тяжкое. Они любили его так, как никогда не любили никого из своих прежних католических вождей, кроме разве О'Коннеля, и этим доказали, что видят в нем не протестанта, а своего национального героя. Но когда этот протестант нарушил заповедь, которую признает и его религия, они были поражены и испуганы.

Если когда-нибудь у целого народа чувство становилось в противоречие с традиционными убеждениями, то это было с ирландцами в 1890 и 1891 гг. Наблюдатели ирландской народной жизни говорят, что в первое время о процессе Кэтрин О'Ши и о поступках Парнеля, отзывались так, как о несчастье ниспосланном судьбой, и только. Для массы ирландского народа окончательно разрешить вопрос о том, как теперь должны ве-

рующие люди относиться к Парнелю, могло одно лишь духовенство. Мы уже имели случай коснуться роли духовенства в ирландской истории; эта роль была всегда велика и существенно важна. Клир черпал там свою силу не только в религиозности паствы; в худшие времена своей исторической жизни Ирландия, загнанная и угнетенная, находила всегда поддержку и сочувствие у своих священников и монахов. Ирландское духовенство не фразами доказало, что оно горой стоит за свою паству: погибая на кромвелевских виселицах, томясь в английских тюрьмах, терпя нищету и голод после каждой из бесчисленных конфискаций,— оно в продолжение многих веков заставило видеть в себе душу нации. Конечно, в известном слое ирландского клира проложило себе дорогу и ультрамонтанство, но, находя адептов больше среди высших сановников церкви, это течение никогда не торжествовало над чисто националистическим. Мы видели [213], что когда в 1883 г. собирались деньги для поднесения Парнелю, высшие духовные лица Ирландии под давлением со стороны папы высказались против участия в подписке, а низший клир действовал заодно с народом. Итак, когда теперь Ирландия обратилась к своему духовенству за разрешением трудного вопроса, поставленного жизнью, это было сделано с полным доверием и глубоким почтением. Для духовенства выбора не существовало: одобрить Парнеля оно не могло, не идя в прямой разрез со своими догматами, а архиепископ Уэльш явился выразителем мнений всего клира, когда заявил, что Парнель после своего поступка не может рассчитывать уже на поддержку духовных лиц [214]. Другой ирландский архиепископ, Крок, телеграфировал в Лондон, что он не считает мыслимым оставление лидерства в руках Парнеля.

После этих двух демонстраций уже все знали, что между Парнелем и его сильными помощниками все кончено, и навсегда. Началось медленное, но беспрерывное отпадение целых групп, целых округов от Парнеля, и весной 1891 г. только слепой мог не видеть, что престиж бывшего лидера и вполовину не тот, как прежде. Парнель смотрел событиям прямо в глаза, не обманывая себя и не утешаясь. Когда Гладстон написал свое письмо, он сказал: «Мы еще поборемся»; когда его удалили от лидерства, он повторил: «Мы еще поборемся»; когда архиепископы заявили свое мнение, он сказал окружающим: «Передайте им, что я буду бороться до последней крайности» [215].

Он поехал в Ирландию и там, в Корке и Дублине, произнес две запальчивые речи против Гладстона; в первый раз видели его в таком возбуждении. Он называл вождя либералов предателем, говорил, что теперь англичане бьют не его, а Ирландию в его лице, что они ухватились за его частное дело, как за предлог для торжества над гомрулерами. Его слушала большая

толпа, ему аплодировали, но и не такой проницательный взор заметил бы разницу между настроением народа прежде и теперь. «Меня убивают священники»,— сказал он близким людям после митингов. На собраниях и всюду, где он высказывался, он говорил: «Я признаю Мак-Карти лидером, я не буду даже добиваться лидерства, я уйду от общественных дел, но при одном условии: пусть Гладстон исполнит свои обещания, пусть он проведет гомруль. Он этого не сделает, потому что просто хочет нас обмануть».

В этом, 1891, году, особенно с лета, здоровье Парнеля стало изменять ему. Он был в постоянном волнении, которое, несмотря ни на какие усилия, не хотело прятаться и постоянно давало себя чувствовать. Это заметили и друзья, и враги [216], и первые с грустью, а вторые с радостью [217] делились своими наблюдениями. В парламенте Парнель и немногие, оставшиеся ему верными, почти не бывали; маккартисты заняли их место. Оппозиция была вообще расстроена этим разладом страшно, и всемогущество Салисбюри, начавшееся расколом между гладстоновцами и унионистами, упрочилось окончательно последствиями процесса Кэтрин О'Ши. Парнель всегда был сначала демагогом, а потом парламентским деятелем, и теперь он все усилия напрягал, чтобы вернуть расположение народа. В иных местах его продолжали встречать радушно, в других сдержанно.

Впервые ему (и с ним всей Англии) истина предстала на выборах в Килькенни. В Килькенни освободился депутатский мандат; обе группы — маккартисты и парнелиты — всеми способами старались провести каждая своего кандидата, и на выборах маккартист прошел с решительным большинством. В марте (1891 г.) произошли также частные выборы в северном Слиго, и здесь снова парнелита забаллотировали. Но, с другой стороны, в Корке и Дублине были устроены летом манифестации в честь Парнеля, и, по общему убеждению, еще добрая половина Ирландии, несмотря ни на что, стояла на его стороне.

Борьба разгоралась; 22 мая Парнель говорил в Бельфасте на митинге; он обвинял духовенство в измене ирландскому делу и заявил, что архиепископы мешаются в политику и не хотят вместе с тем стоять на политической точке зрения. Он говорил также, что духовенство не решалось раньше заявить себя против него, а сделало это потом, когда увидело, что против Парнеля вся Англия. Архиепископ Крок ответил на такие обвинения на митинге в Нью-Инне [218], что духовенство всегда было против Парнеля, как только узнало о процессе Кэтрин О'Ши, но что нужно было собрать совет ирландских епископов, чтобы обсудить дело, а некоторые из них находились в Риме. Со своей стороны, архиепископ Уэльш объявил, что вообще Парнелю

нельзя верить после того, что открылось на суде, и поэтому не мешало бы пересчитать денежные суммы, переходившие через его руки; письмо Уэльша было напечатано в «Times» [219]. Парнель на это заметил, что Уэльш желает подражать очевидно Пиготту, автору подложных писем, и выбрал даже один и тот же орган для сотрудничества. Впрочем, сам Уэльш, вероятно, решив, что увлекся, взял свои слова назад без всяких оговорок.

Полемика поглощала Парнеля всецело. Он не спал, ел урывками, переезжал бесконечное количество раз из Англии в Ирландию и действовал с несокрушимой энергией. Но чем больше он оборонялся, тем более яро нападала английская пресса и тем сильнее разгорячались ирландские оппоненты. Раз в это время он вошел неожиданно в кабинет Мак-Карти (с которым оставался во вполне мирных личных отношениях), молча поздоровался и сел в кресло; он был бледен, как мел, и страшно худ. Безмолвно посидев короткое время, он попрощался и ушел; Мак-Карти заплакал, глядя на него.

Переговоры с Диллоном и О'Бриеном, которые хотели соединить обе группы ирландской партии, не увенчались успехом. Впрочем, Парнель желал теперь только возвратить себе Ирландию, а парламентские дела отодвинулись для него на задний план. Положение партии было бедственно; маккартисты умоляли Парнеля прекратить борьбу хоть на время. Архиепископ Уэльш также говорил, что дело Ирландии погибает вследствие этого раскола. Парнель назвал слова Уэльша детской болтовней и чистейшей бессмыслицей [220]. В июле (1891 г.) Парнель женился на Кэтрин О'Ши, разведенной со своим мужем. В Англии это несколько успокоило общественное мнение, но католическое духовенство Ирландии посмотрело на женитьбу Парнеля как на «верх ужасов» [221]. Впрочем, и в Англии отзывались весьма многие очень неодобрительно и в таких выражениях, которые резко задевали честь жены Парнеля. Но он, не отвлекаясь ничем, продолжал борьбу; через несколько дней после свадьбы, 22 июля, состоялся в Дублине огромный митинг парнелитов; Парнеля встретили такими горячими овациями, которые живо напомнили недавнее и невозвратное прошлое. Он говорил о «вечной необходимой войне» с англичанами из-за гомруля, о единодушии, о скорой победе. Но через короткое время после этого торжества его постиг очень чувствительный удар — измена «Журнала Фримана». Этот влиятельный и наиболее читаемый в Ирландии орган стал на сторону его врагов: собственник журнала счел неудобным для себя защищать Парнеля, после того как нападения на него духовенства ввиду женитьбы удвоились. В Англии торжество консерваторов и либералов-унионистов было полное. Лорд Салисбюри заявил в публичной речи, что его очень радуют последствия процесса О'Ши, так как

они доказывают непоколебимую крепость великобританской нравственности. Унионисты, стоя на менее возвышенной точке зрения, радовались ослаблению оппозиции и своей победе и приглашали гладстоновцев окончательно отрешиться от «гомрулерских фантазий» и примкнуть к ним. В конце сентября Парнель говорил в Боскоммоне; он опять убеждал слушателей до конца бороться за самоуправление Ирландии, с горечью отзывался о поведении Гладстона и обещал в будущем разом повести атаку для достижения и гомруля, и аграрных законов. Этот митинг происходил 27 сентября 1891 г.; все рассматривали его как начало осенней кампании; враги готовились к нападениям, парнелиты агитировали в пользу скорейшего примирения групп, английская пресса отряжала в Ирландию на осень репортеров. Но все это оказалось излишним.

После митинга в Боскоммоне Парнель вдруг почувствовал себя нехорошо и отправился сейчас же в Брайтон, где жил на загородной даче с женой. Приехав домой, он немедленно слег в постель. Страшные ревматические боли мучили его. Следующие дни он провел в постели; послали за врачом. Тот не мог сначала разобрать, какая это болезнь, и только потом решил, что имеет дело с обостренным ревматизмом. Парнель уже через 3 дня после начала болезни понял и высказывал, что его положение опасно. Жена не отходила от него ни на шаг; терпение его при этих муках изумляло врача Джоуэрса и всех окружающих. Болезнь быстро прогрессировала; расшатанный трудами и волнениями организм оказывался замечательно пригодной для того почвой. Жена в исступлении от горя отказывалась верить врачу, но сам Парнель выражал твердое убеждение, что умрет. Спокойствие не покидало его ни на минуту. На седьмой день болезни у него начал отниматься язык. «Передайте мою любовь друзьям моим и Ирландии,— сказал он,— вот если бы в ее страданиях за ней так ухаживали, как за мной!» Больше он уже ничего не говорил, а только глядел на свою жену и силился улыбнуться. Вечером 7 октября над Брайтоном разразилась страшная буря, и при шуме ветра, врывавшемся в комнату, началась и окончилась агония. Он скончался в половине двенадцатого ночи.

Когда слух о его смерти разнесся по Ирландии, были забыты все деления на партии, все ссоры и несогласия последнего года. Маккартисты наперерыв старались еще раз оправдать свое поведение и засвидетельствовать свою печаль; духовенство говорило, что покойник был великий человек, которого соблазнили темные силы на горе его родины. Массы ирландского народа выказывали искреннее и глубокое отчаяние; в Дублине и других городах магазины и театры были закрыты в день похорон (11 октября). Двухсоттысячная толпа провожала гроб; громкие

рыдания не прекращались в течение всей длинной дороги до дублинского кладбища. Правительство боялось, что вспыхнут беспорядки, и усилило полицейские отряды. Редакция изменившего Парнелю «Журнала Фримана» охранялась одним из таких отрядов, так как опасались насилий со стороны толпы. На стенах дублинских улиц, через которые шел траурный кортеж, были расклеены афиши с надписями: «Замучен англичанами».

Ввиду того, что на последнем митинге (в Боскоммове) Парнель казался совершенно здоровым, а смерть постигла его всего через 10 дней, распространилась молва, что он покончил с собой. Ревматизмом он начал страдать незадолго до смерти, так что многие не верили разъяснениям врача. Жена его находилась в таком состоянии, что видеть ее и говорить с ней нельзя было, и это также способствовало тому, что слух долго держался. Но даже те, которые не приписывали смерть самоубийству, говорили и писали, что Парнеля загнала в могилу общая и дружная травля последнего времени. Многие (в том числе и Гладстон) полагали, что смерть Парнеля принесет известную пользу Ирландии в том отношении, что прекратит рознь среди ирландской партии, усилит этим оппозицию против Салисбюри, кабинет будет низвержен, и либералы, получив власть, скорее смогут провести гомруль. Но так в большинстве случаев говорили гомрулеры-англичане; ирландский же народ ничем не утешал себя в своем горе. «Все погибло,— сказал один оратор на народном митинге в Дублине,— коршуны, заклевавшие Парнеля, заклюют и Ирландию».

Печаль, раскаяние и безнадежное отношение к будущему царили в народе, только что пережившем одну из замечательных эпох своей истории. «Такого не было и не будет уже у нас»,— писал Мак-Карти [222] о своем покойном сопернике. Французская, немецкая и американская печать посвящала памяти Парнеля обширные статьи и характеристики. В Англии эта смерть возбудила почти такое же волнение, как в Ирландии. Пятнадцать лет Парнель тасовал парламентские партии, отодвигал на задний план важнейшие вопросы внешней и внутренней политики, заслонял все и всех собой и своими требованиями. Он застал ирландскую партию ничтожной, а сделал ее первостепенной политической силой; либералов заставил изменить свою программу и раздвоить этим свою фракцию; 15 лет Англия привыкла смотреть на государственных деятелей и на политические комбинации с точки зрения их отношений к Парнелю, и когда вдруг 8 октября страна узнала, что его уже нет, это поразило ее. Место, занимаемое в английской жизни Парнелем, было так велико и так важно, что странным казалось видеть его внезапно пустым. Часть английской прессы («Daily News», «Standard»

и т. д.) отдавала справедливость талантам мертвого врага и с гордостью напоминала, что все-таки он — англичанин, что Англия теперь, после его смерти, может причислить его к *своему* Пантеону. Другие органы, также признавая Парнеля замечательным человеком, тем не менее сожалели, что его способности нашли «столь дурное применение» и были употреблены «не на пользу Англии, а во вред ей». Редакция газеты «Times» даже перед трупом Парнеля не могла осилить своего отвращения к безнравственности и испорченности покойного; впрочем, газета полагала, что эти пороки в значительной мере объясняются моральной несостоятельностью дела, которое он отстаивал. Редакция выражала уверенность, что теперь в Англии и Ирландии все успокоится и придет в обычный порядок. Годы, минувшие после смерти Парнеля, не разбили этих надежд.

Париж, июнь 1898 г.

Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Томас Мор принадлежит к тому типу исторических деятелей, которых влияние выразилось не столько в материальной, сколько в моральной и умственной областях жизни европейских народов. Он отчасти выдвинул, отчасти широко развил такого рода общественные воззрения, которые сыграли свою особую (и не незаметную) роль в истории политических учений. Его идеалы оказались долговечными уже потому, что общественные условия, окружавшие Т. Мора и влиявшие на него, mutatis mutandis продолжали существовать и влиять на умственную жизнь Европы. Эта жизненность его взглядов характеризуется уже тем страстным тоном, каким говорят и спорят о нем в научной литературе XIX в. Ниже [1], приступая к анализу построений «Утопии», мы делаем очерк литературы предмета; пока скажем лишь, что эта литература, имея почти исключительно биографический характер, относительно «Утопии» ограничивается обыкновенно несколькими страничками пересказа, и только; обстоятельного разбора мы нигде не встретили, так же как не встретили нигде, кроме одной работы, попыток связать «Утопию» с реальной жизнью, с окружавшей Мора современностью. Там же мы указываем, почему и эта одна работа показалась нам не исчерпывающей предмет и оставляющей место труду еще многих и многих работников. Чтобы не вводить в изложение пересказ «Утопии», мы перевели на русский язык этот трактат; при положении, занимаемом «Утопией» в европейской литературе, нам показалось не лишним заполнить этот пробел в литературе русской, переводной. В царствование императрицы Екатерины был издан перевод «Утопии» («Утопия Томаса Мора, или Картина всевозможно лучшего правления»); но по справкам оказы-

вается, что нигде ни одного экземпляра этого перевода нет и что даже в Петербургской Публичной библиотеке его не имеется; не нашли мы его и в Британском музее, который старательно собирает все переводы английских авторов на иностранные языки. Перевод сделан с лучшего издания «Утопии» в настоящее время: с перепечатки editionis principis в коллекции «Lateinische Literaturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts», Herausgegeben von Max Herrmann [2].

Из рукописей, которыми мы пользовались, приложена часть манускрипта Гарпсфильда (о последних днях Томаса Мора). По типографским соображениям немыслимо было напечатать несколько поземельных ренталей, на основании которых написана часть главы II. Например, рентать имений Ормонда одна занимает 188 страниц in folio.

Для социально-экономической истории Англии «Утопия» Томаса Мора интересна как правдивая и яркая критическая характеристика; для истории европейской мысли это произведение глубоко любопытно как первый шаг в новое время, сделанный в направлении к цели, которую с тех пор ставили себе разнохарактерные и разновременные европейские фракции; наконец, для науки об обществе «Утопия» также никогда не потеряет интереса, ибо проливает некоторый свет на самую смутную, наиболее не поддающуюся научному учету область обществоведения: на отношения между реальным фактом и теорией. «Утопия» дает яркий образец того, как создавались теории, наиболее отрицавшие действительность, наиболее с ней непримиримые. Только оценив окружавшие Томаса Мора условия, степень возможности или невозможности надежды на их улучшение, степень веры Томаса Мора в осуществимость своих идеалов, мы отчасти поймем характерные стороны психологического процесса, посредством которого впечатления английской действительности XVI в. выработали «Утопию», французские впечатления времен Директории выработали «La république des égaux» Бабефа, впечатления германской действительности первой половины века выработали «Das Evangelium des armen Sünders», Вильгельма Вейтлинга. Имев уже случай касаться (в других работах) Бабефа и Вейтлинга, мы отмечали, что оба эти человека, создавая неосуществимые идеалы, положительно верили и высказывали эту веру в возможность немедленной их реализации. Томас Мор совсем не верил в осуществимость своей «Утопии» (и, как увидим, прямо и с горечью это высказывает). Потому-то его литературная деятельность так и интересна с этой точки зрения: в его построениях мы видим, до какой степени самая идея безнадежности практических улучшений и их невозможности придает иногда широту теоретическому полету мысли, освобождает ее от всех стеснений и задержек. При свете

изучения эпохи и деятельности Томаса Мора историки и обществоведы могут добыть некоторые методологические нити, которые хоть отчасти в состоянии будут помочь трудному делу анализа причин изменений в сложных общественных учениях прошлого и настоящего, изменений, с первого взгляда кажущихся иногда немотивированными и внезапными.

Если настоящей работе удастся хоть немного посодействовать более твердой постановке этого трудного вопроса об отношениях между исторической практикой и теорией, автор почтет себя вполне удовлетворенным: рассматривая значение «Утопии» для экономической истории Англии и для истории общественных учений, он не забывал и об этом третьем значении труда Томаса Мора — о значении его как благодарного объекта отвлеченно научного, теоретического анализа. Но как всякая историческая работа настоящая книга (в лучшем для нее случае) может дать лишь материал для сопоставлений и анализа обществоведа, и, повторяем, мы считали бы свой труд небесполезным, если бы он именно в качестве разработанных материалов для подобного анализа и пригодился.

Администрации Британского музея (особенно профессору Дугласу, гг. Френсису Бикли и Каунтеру), а также университетских библиотек Киева и Варшавы мы считаем приятным долгом принести здесь искреннюю благодарность за содействие во все время писания настоящей работы.

Варшава. 1901

Глава I

ТОМАС МОР ДО ВЫХОДА В СВЕТ «УТОПИИ»

1

Относительно точной даты рождения Томаса Мора высказывались самые различные суждения. Степльтон назвал 1480 год, и за ним большинство писавших о Море приняли эту дату. Другие указывали 1479 год, иные — 1482, не приводя в подтверждение своего мнения никаких особо веских аргументов. В 1868 г. спор этот был покончен: Вильяму Райту, геральдисту и историку, удалось найти в библиотеке Тринити Колледжа в Кембридже рукопись (вернее, обрывки рукописи) с точными фамильными записями, ведшимися в семье Джона Мора; из этих записей, касающихся рождения всех детей Джона, явствует, что Томас родился 7 февраля 1478 г. [3] Отец его не был ни богат, ни знатен; он занимал должность судьи в Лондоне и жил вместе со всей своей многочисленной семьей чрезвычайно скромно. По-видимому, и в ближайших поколениях предки Мора занимали судебные должности [4], так что мы вправе причислить эту семью к тому многочисленному классу магистратуры, который образовался в Англии еще с XIII—XIV вв. Источники для характеристики первых детских впечатлений Томаса Мора скудны: дело в том, что по приказу Генриха VIII все почти рукописи его после процесса были конфискованы и пропали без вести, и многое дает повод думать, что в этих исчезнувших бумагах было немало касавшегося первых лет жизни гуманиста. Теперь же мы знаем только отрывочные факты, вроде, например, того, что, будучи пяти лет от роду, он слышал, как сосед сказал его отцу: «Герцог Йоркский скоро будет королем». Биографию этого короля (Ричарда III) Томас Мор много лет спустя начал составлять и говорит в этом своем произведении [5], что слова о близком воцарении Ричарда крепко запали в его память. Когда именно Томас был отдан в

школу св. Антония, мы не знаем; известно лишь, что уже там в занятиях латинской грамматикой, считавшейся необходимым преддверием к дальнейшему образованию, Томас обнаружил замечательные способности, усидчивость и необыкновенное трудолюбие. Именно во время пребывания своего в школе св. Антония Томас был замечен впервые кардиналом Мортоном, который взял мальчика к себе в дом. Здесь, во дворце богатого вельможи, князя церкви, образованного, одаренного живым умом и познаниями, Томас провел свое отрочество до пятнадцатилетнего возраста. Для его отца, человека с весьма скромным достатком, это внимание кардинала к Томасу явилось существенной поддержкой, а для мальчика оно имело очень большое значение прежде всего в смысле влияния на умственное развитие. Нам кажется, что биографы Т. Мора (например, Hutton, Bridgett) слишком мало обращают внимания на то влияние, которое воспитатель-кардинал имел на своего питомца.

Мортон был человеком весьма незаурядным. Он получил высшее образование в Оксфордском университете и избрал духовную карьеру. В эпоху войн Алой и Белой розы Мортон, ярый приверженец ланкастерской линии, много способствовал сначала торжеству своей партии, а затем примирению ее с йоркцами. Генрих VII сделал его архиепископом Кентерберийским, а в 1486 г.— лордом-канцлером [6]. Влияние его на государственные дела было огромно, но занятия политические, которыми он был обременен, ничуть не мешали ему с живейшим любопытством относиться и к науке, и к искусству: он был одним из замечательных английских архитекторов XV столетия. В доме у него собирались лица, причастные к литературе, сочинялись иногда сообща стихи, драматические отрывки, которые у него же и ставились на сцену. Маленький Томас, которого Мортон с восторгом рекомендовал своим гостям как будущее светило [7], всегда находился среди старших. Ропер говорит, что Томас, несмотря на свой молодой возраст, часто во время разыгрывания таких драматических отрывков (обыкновенно это бывало на святках) внезапно останавливался и к тексту пьесы экспромтом прибавлял собственные измышления, так что актеров превращал в зрителей чего-то нового, им до сих пор не известного. Мортон однажды сказал по этому поводу нескольким аристократам [8]: «Это дитя покажет себя изумительным человеком всякому, кто доживет до того, чтобы видеть его взрослым». Отрочество Мора таким образом протекало в доме английского мецената, благожелательного к нему. Когда юноше пошел пятнадцатый год, кардинал отдал его в Оксфордский университет. Произошло это в 1492 г. Здесь мы должны рассмотреть характерные черты двух интеллектуальных сил, могущественно действовавших на ум и сердце Мора во время его

пребывания в университете и в первые годы по выходе оттуда: одна из них может быть обозначена как оксфордская университетская традиция, другая же была тем могущественнее, что олицетворялась в человеке яркой и сильной индивидуальности.

Мы говорим о Джоне Колете, с которым Мор встретился и близко сошелся по выходе из университета. Так как этот период в жизни его может весьма многое объяснить из тех кажущихся противоречий, которые замечаются многими в его умственном облике, то известная обстоятельность в обработке этой части биографии не может почесться лишним, тем более что обыкновенно ей посвящают 2—3 страницы. Для того чтобы выяснить характер повлиявшей на Мора университетской традиции, необходимо начать издалека.

Собственно, Оксфордский университет перестает быть исключительно школой схоластики и становится рассадником серьезных и новых философских воззрений только со времен Роджера Бэкона, т. е. с XIII столетия. Роджер Бэкон был провозвестником учения об экспериментальном методе; он прославился как глубокий естествовед в те времена, когда каждому натуралисту с известной широтой кругозора приходилось быть и пионером новых идей, так как и факты, и руководящие мысли тогдашнего естествознания находились в весьма убогом и заброшенном состоянии. Бэкон много писал по физике и сделал даже довольно любопытные шаги в области учения о свете. Но, пролагая новые пути в тех сферах мысли, которым суждено было играть роль лишь впоследствии, Бэкон бо̀льшую часть своей ученой энергии посвятил философско-теологической борьбе своего времени. Он был францисканцем и сильно полемизировал против доминиканского ордена по вопросу о реализме и номинализме: Бэкон всецело отвергал реальность понятий, и он-то укрепил это направление в Оксфорде почти на полвека. Но истинную физиономию умственной жизни университета в XIV столетии придал знаменитый Дунс Скот — самый крайний приверженец мнения о реальном бытии общих понятий. Совершенно правильно о нем было сказано, что он населяет мир созданиями метафизического воображения. Скотизм как крайняя форма средневекового «реализма» не преминул возбудить против себя в Париже крайнюю оппозицию. В самом Оксфорде в начале XIV столетия скотизм нашел врага в лице Вильяма Оккама. Оккам в полную противоположность со Скотом резко разделяет понятия от реальностей; во многих отношениях его можно причислить к средневековым предшественникам Локка в учении о концепциях, о том, как образуются общие идеи. Скотизм является характерным продуктом средневековой мысли: придать плоть и кровь мечте, игре воображения, мысли — это было всецело согласно с общим строем

умственных привычек того времени. Учение же Оккама, скептическое и отрицательное по самой своей природе, уничтожило эту философскую фантасмагорию, до тех пор под влиянием Дунса Скота пустившую корни в Оксфорде. Нам важно отметить одно: умственная жизнь университета, бившая ключом в XIV столетии, споры скотистов и последователей Оккама, живое движение философской мысли — все это не затрагивало религиозной области совершенно. И Скот, и Оккам были безукоризненными католиками, так же как их последователи. Любопытно, что знаменитейший из оксфордских профессоров Уиклеф при всем своем громадном влиянии на английскую религиозную мысль никогда в Оксфордском университете не оказывал такого воздействия на философское сознание слушателей и товарищей, как два антагониста старых времен — Скот и Оккам. Ко времени вступления в число слушателей 15-летнего Томаса Мора традиция Оксфордского университета могла быть формулирована словами: безусловное подчинение авторитету католической церкви, будирование (по чисто политическим вопросам) против притязаний пап, впрочем уже отвергнутых самой жизнью, и полная, редкая в те времена свобода философских мнений в связи со столь же редким тогда приличием полемического тона. В Оксфордском университете Мор обстоятельно ознакомился с греческим и латинским языками и с музыкой; чтение исторических книг поглощало все его досуги [9]. Для человека с литературными наклонностями изучение латинского языка было в те времена делом совершенно необходимым, и отнюдь оно не могло ограничиться только умением бегло читать латинские книги: нужно было научиться писать на нем так хорошо, как на родном языке. Томас Мор в университете выучился не только писать по-латыни, но и по-гречески, и не переводы, а самостоятельные произведения. Ему удавались иногда греческие и латинские двустишия, выражавшие какое-либо нравоучение или насмешку. Как ни малозначительны по своему внутреннему содержанию эти первые самостоятельные упражнения Томаса Мора в классических языках, мы все же приведем некоторые из них, так как это осветит до известной степени духовную жизнь автора за те 2—3 года (1492—1494), которые он провел в Оксфорде. Эти «эпиграммы» находятся в любопытном издании известного гуманиста и филолога начала XVI в., Беатуса Ренана, и называется оно так: «Epigrammata clarissimi dissertissimique viri Thomae Mori, pleraque e Graecis versa». Apud inclytam Basileam 1518. Здесь находим, например, такое изречение [10]: «Вино, бани, утехи любви ускоряют дорогу в ад». Другая эпиграмма звучит еще меланхоличнее и еще неожиданнее для 15—16-летнего студента, можно сказать, и не видевшего пока жизни за книгами и учением [11].

«Когда человек обладает высшими благами, самое большое зло ожидает его тут же; верховное благо находится вблизи от верховного зла». Интересно еще такое положение: «С первого часа нашего рождения жизнь и смерть идут равномерными шагами. Мы медленно умираем всю жизнь. Когда мы говорим, мы умираем в это же время». Эти цитаты не могли бы иметь решающего значения для характеристики наклонностей ума молодого человека, если бы с ними мы не сопоставили других фактов, весьма в этом смысле важных.

Оксфордская жизнь была для Томаса временем чрезвычайно тяжелых испытаний: самая глубокая нищета преследовала его во все время прохождения курса. Отец его, человек бедный и суровый, не только вследствие недостатка средств, а, так сказать, и из принципа держал сына впроголодь. «Томас не мог приобрести себе целой обуви, не спросив позволения у отца»,— говорит Степльтон [12]. Присылаемых ему денег не хватало на удовлетворение насущных нужд, но Томас на это не роптал, а даже находил в подобном режиме много хорошего. «Таким-то путем я был предотвращен от коснения в пороке и праздности, был избавлен от опасных и развратных наслаждений...» По-видимому, хотя вполне точных указаний у нас и нет, отец Томаса вообще был недоволен направлением занятий сына в университете: он хотел сделать его юристом (каким был сам), а между тем все заставляло его опасаться, что Томас предпочитает занятия классическими языками сухой юриспруденции. Эразм Роттердамский называет отца Мора «человеком честным и благоразумным, но почти отрекшимся от сына (pene pro abdicato) оттого, что тот не обнаруживал склонности к отцовским занятиям (patriis studiis)». Так или иначе, религия долга и борьбы с вожделениями плоти, спартански суровый взгляд на удовольствия и наслаждения — все это крепло в тяжелой школе нужды, и те меланхолические фрагменты, которые мы только что привели из студенческих тетрадей Томаса, стоят в прямой связи с общими условиями его жизни в университетские годы. В том же письме, из которого почерпнуто сведение об отце Мора, мы узнаем от Эразма, что юноша посвятил себя греческой литературе и философии. Действительно, здесь окрепла в нем никогда уже его не покидавшая и зародившаяся еще в доме кардинала Мортона любовь к классической литературе.

Англия в этом отношении, в деле гуманистических тенденций и литературных наклонностей, шла хронологически позади Италии, Германии и Франции. Чем объяснить сравнительную запоздалость развития гуманистических течений в Англии? Причин можно выделить несколько.

1. Прежде всего следует отметить особенности политической структуры, при которой жило английское общество в

XIV и XV вв., т. е. в эпоху возникновения и процветания гуманизма на континенте. Та количественно чрезвычайно незначительная кучка образованных людей, которая и в Италии, и в Германии, и во Франции, и в Брабанте до страсти, иногда до мономании, предавалась классической археологии, классической нумизматике, исследованиям в области классической литературы и философии, истории и скульптуры, науки и искусства, в Англии слишком сильно была увлечена в сторону практической политики захватывающими событиями общественной жизни, как раз тогда совершавшимися. Экономические потрясения XIV в., династические войны XV, первые, часто судорожные, шаги конституционной жизни, борьба с притязаниями римской курии — все это поглощало без остатка интеллектуальные силы страны. На континенте в это время воцарялась среди рушившегося феодализма сословная монархия с гораздо более сильным, нежели в Англии, преобладанием королевской власти, с кумулированием в руках этой власти почти всех отправлений политической жизни, с предоставлением большего досуга и большей возможности созерцательной жизни немногочисленной категории людей, не чуждых интереса к науке и литературе. Уиклеф и другие английские деятели того же морального закала и той же умственной энергии бросились в социально-политическую борьбу, кипевшую вокруг них, но, совершенно несомненно, они, за отсутствием ее, не хуже Фичино или Помпонацци сумели бы найти себе подходящее поле для своих сил в неразработанной классической сокровищнице: занимался же Уиклеф классическими писателями, несмотря на все перерывы и треволнения.

2. Это участие высших интеллектуальных сил в общенародной жизни характеризует английское образованное общество весьма важной чертой: общество это не было так оторвано от почвы насущных национальных интересов, как в других странах. Не философия, а религия, не воскрешение старых классических государственных форм, а гнетущие социально-экономические нужды королевства, не античное прошлое, а национальное настоящее — вот что интересовало и Уиклефа, и Чосера, и Ленгленда, и других менее ярких представителей английской мысли. Это направление умственных интересов обусловливалось едва ли в слабой степени и географической отдаленностью античной традиции.

3. Римское владычество в Англии оставило после себя следы, в значительнейшей мере стертые новыми вторгнувшимися в страну этнографическими элементами. Культурная романизация Галлии, не говоря уже об Италии, оставила такого рода пережитки, которые сильно облегчали для образованного общества этих стран реставрацию классической литературы

и философии, которые, так сказать, прямо наталкивали на пристальное изучение полузабытых древностей. В Германии гуманистическое движение началось несколько позже, но сравнительная близость Апеннинского полуострова уже с начала XV столетия сказывалась в германских государствах как рецепцией римского права, так и распространением сначала рукописных, потом печатных произведений классической литературы.

Лишь в конце XV в., когда треволнения войны Алой и Белой розы отошли в область прошлого, когда начался период почти абсолютистского правления Тюдоров, когда сразу оживились торговые сношения между Англией, с одной стороны, и Фландрией, Францией, Италией, с другой,— разом хлынули в Англию идеи и тенденции Ренессанса, и с университетских кафедр стали читаться восторженные и детальные интерпретации латинских и греческих авторов. Незадолго до того времени, как Томас Мор сделался студентом в Оксфорде, туда возвратились из поездки в Италию два блестящих и ученых профессора — Вильям Гросейн и Томас Линакр; они-то вместе с Вильямом Лилли внушали своим слушателям благоговение и восторг к античной литературе и философии, которыми сами занимались в Италии. В частности, Линакр ознакомил Мора с неизвращенным и полным Аристотелем. С Вильямом Лилли Мор упражнялся в особенности в греческой и латинской стилистике: они составляли или брали готовыми греческие мелкие стихотворения и эпиграммы и переводили их на латинский язык. Гросейн вводил молодого студента в мир современного итальянского гуманистического движения, рассказывал ему об Анджело Полициано, о дворе Лоренцо Великолепного. Не подлежит никакому сомнению, что именно влиянию этих трех ученых Мор был обязан весьма полным ознакомлением с главным содержанием умственной жизни итальянского Ренессанса. Но нам представляется необходимым отметить весьма любопытную и характерную черту, всегда и всеми исследователями английского гуманизма оставляемую без внимания. Вильям Лилли был до такой степени религиозен, что совершил паломничество в Иерусалим; Линакр аргументировал главнейшие религиозные тезисы данными естественных наук; Гросейн много и пристально занимался вопросом о подлинности писаний Дионисия, ученика св. Павла, и в особенности, когда впечатления итальянской поездки должны были сгладиться (через 7—8 лет), почти всецело посвятил себя богословию и истории церкви. Итак, даже эти пионеры английского гуманизма обнаруживали живейший интерес к предметам и идеям религиозного культа. Если мы заметим этот факт, для нас не явится уже такой неожиданностью та яркая фигура английской культур-

ной истории, которая не тускнеет даже рядом с Томасом Мором, фигура Джона Колета.

Джон Колет, воспитанник Оксфордского университета, в 1494 г., после нескольких лет учения в Оксфорде, отправился в Италию. Он уже ехал туда с известными интеллектуальными предрасположениями, оказавшими влияние на направление его умственной деятельности; у его отца было 22 детей, из которых в живых остался один Джон. Подобно Лютеру, он привык считать себя предназначенным свыше для служения богу. Всепожирающая любознательность, вообще столь характерная для деятелей этого первого периода английского гуманизма, заставила его устремиться в Италию.

Итальянская мысль в лице некоторых своих представителей переживала в 90-х годах XV в. весьма серьезный кризис; для итальянских гуманистов уже миновал первый подъем духа, первое упоение возрождающейся «наукой», первое гордое доверие к ее силам и успехам. «Науки цветут, умы пробуждаются, удовольствием становится жить»,— восклицал младший современник их, Ульрих фон Гуттен. Но в Италии было уже слишком много пережито. XIV век видел увлечение Аристотелем, комментариями Аверроэса, XV век пережил и переживал в момент прибытия в Италию Колета столь же всепоглощающее увлечение Платоном и неоплатонизмом. Рядом с этим религиозный скептицизм все более и более переходил из настроения в философскую мысль, но в философскую мысль лишь очень немногих, более или менее одиноких умов, вроде Помпонацци. В широкой же среде итальянского образованного общества уже обнаруживался глубокий раскол, разъединение. Одни возжигали лампады пред бюстом Платона в знак религиозного обожания; другие вместе с Пико делла Мирандола «утомились бунтом и возвратились ко Христу», как характерно выражется племянник Пико в своей биографии о Савонароле. Это утомление бесплодными философскими поисками привело Пико делла Мирандола к ногам исступленного флорентийского монаха; оно же заставило Марсилио Фичино подтверждать истинность римского католицизма ссылками на Коран, Платона и даже на пророчества сивилл [13]. Потребность в вере, в религиозной доктрине, в избавлении от умственных шатаний какой угодно ценой гнала не одного только Пико к демократической аудитории Савонаролы. Джон Колет совершенно явственно примкнул именно к этой категории гуманистов. Конечно, психологические основания для этого были у Колета совсем не те, что у его итальянских единомышленников. Свежий, бодрый молодой оксфордский ученый ни лично не переживал, ни по наследству не получал никаких глубоких сомнений в догматах религии, никакого желчного и насмешливого

критицизма, никаких стремлений к новому религиозно-философскому идеалу. Со времен Уиклефа национальной английской традицией была постоянная забота о благоустройстве церковной жизни, о выяснении истинной природы отношений, которые должны существовать между папой и национальной церковью, забота о том, чтобы руководители паствы не затемняли перед ней источник веры — священное писание. О чисто личных умственных предрасположениях Джона Колета мы уже сказали; эта биографическая подробность могла только усилить чисто религиозные интересы ученого. Как и все английское образованное общество, как Чосер, как Уиклеф, как Лидгет, Джон Колет был костью от костей, плотью от плоти демократической английской массы; стремления этой массы к очищению и возвышению религии, к водворению царства божьего и в социальной, и в религиозной жизни — все это у Колета перешло в желание проверить, соответствует или не соответствует современное положение церкви евангельским и апостольским традициям. Если он слушал Савонаролу, то по своей психике он был гораздо ближе к серой демократической массе, желавшей вместе с Савонаролой возвратить «голубиную чистоту» церкви, нежели к Пико, искавшему успокоения на лоне оставленной было им религии. Религиозные стремления народных масс и в Англии, и в Италии имели весьма много общего; вот почему Колет, никогда не отрывавшийся от национальной почвы, был ближе к тенденциям партии флорентийских церковных реформаторов, чем любой итальянский литератор, вроде Пико, утомленный философскими и логическими словопрениями [14] и только потому пришедший под сень флорентийского собора. Кровь и грязь, которыми Александр Борджиа покрывал престол св. Петра, были для Джона Колета такими же возмущавшими душу явлениями, как для Лютера или Савонаролы, именно потому, что основы веры были для этих людей слишком дороги. Но вместе с тем Колет знал и любил греческую и латинскую литературу и философию; интересы гуманистической науки были для него родными интересами, и этот-то комплекс научных и религиозных интересов и давал ту широту воззрений, то отсутствие всякой аристократической брезгливости и пренебрежения к запросам народа, тот ясный и светлый взгляд на общенациональные нужды и то спокойное, но упорное искание религиозной и всякой иной правды, которые так характерны для первых английских гуманистов, для поколения Джона Колета и Томаса Мора.

Когда Колет начал по возвращении из Италии ряд лекций о послании св. Павла к римлянам, Мор уже не мог его слушать, ибо с конца 1495 г. [15] он по желанию отца оставил Оксфордский университет и посвятил себя юриспруденции, но во вто-

рой половине 90-х годов Колет и Мор сошлись настолько, что Колет называл Мора «чуть ли не единственным гением Британии» [16]. Юридическое обучение Томаса Мора в Нью-Инне и Линкольн-Инне остается для нас совершенно неведомым; точно так же темны и первые годы его самостоятельной юридической деятельности в роли адвоката — законника высшего ранга, «барристера». Впрочем, для настоящей работы, имеющей отнюдь не биографические задачи и стремящейся лишь выяснить общественную роль английского гуманизма в начале его существования, молчание источников об адвокатской деятельности Томаса Мора не может иметь никакого серьезного значения. Гораздо важнее отметить событие в жизни Мора, имевшее место в 1498 г. и повлиявшее весьма много на его дальнейшее умственное развитие. Двадцатилетний адвокат встретился с Эразмом Роттердамским. Неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах произошла эта встреча, но она связала обоих гуманистов тесной дружбой. Эразм удивлялся тому качеству Мора, которого сам был совершенно лишен и которое вполне правильно угадал в своем молодом друге: твердости и нравственной стойкости. В 24-м своем «письме» Эразм восклицает: «Разве могла природа сотворить лучший и более благородный характер, нежели характер Томаса Мора?» В своей переписке Эразм много раз восторженно отзывается о своем молодом друге. Влияние Эразма на всех английских гуманистов прежде всего выразилось в особенном увлечении греческим языком и греческой литературой. Томас Мор начал усердно заниматься диалогами Лукиана, без сомнения, весьма сильно повлиявшими на характер литературной обработки «Утопии». Вообще пребывание Эразма в Англии внесло в английские образованные кружки известное усиление чисто гуманистических элементов, слишком отодвинувшихся на задний план перед церковно-реформаторскими тенденциями и экзегетической критикой. Но преувеличивать размеры эразмовского влияния нет никакой надобности: он завязал в Англии дружеские сношения, сделал еще более интенсивным интерес к греческой культуре, оживил сношения между английскими и континентальными гуманистами, и только. Изменить исторически слагавшееся направление английского гуманизма он не мог; оторвать его от почвы национальных религиозных и социальных интересов, сделать английский гуманизм преимущественно научно-литературным движением, сообщить ему характер умственного аристократизма — все это, конечно, было совершенно недостижимо. Мора Эразм полюбил так сильно, что даже посвятил ему один из лучших своих памфлетов — знаменитую «Похвалу глупости». Впрочем, о дружбе Эразма и Мора нам придется говорить еще не раз.

Теперь отметим, что через $1-1^1/_2$ года после первого знакомства с Эразмом Томас впервые выступил с рядом публичных чтений об Августиновом «Государстве божием» на кафедре церкви св. Лаврентия в Лондоне; влияние Эразма, быть может, заставило двадцатидвухлетнего юношу испытать свои силы не в тесном кружке интимных спорщиков, а в большой аудитории. Восторженные отзывы современной знаменитости не могли остаться без следа.

Лекции Мора имели весьма большой успех в публике [17]; но истинный характер и содержание их нам неизвестны. В своей талантливой хотя и более художественно, нежели правдиво написанной книге [18] протестанский писатель Сибом весьма утвердительно говорит о том, что Мор в своих лекциях останавливался главным образом на исторической и философской сторонах сочинения блаженного Августина, а не на религиозной стороне; при этом Сибом ссылается на Степльтона. Степльтон — компилятор Ропера, бывший знакомым с Гаррисом, жена которого служила у Роперов, и еще с двумя лицами, говорившими о своем знакомстве с Мором. Позволительно спросить: каким же образом содержание лекций 1500 г., не известное мужу Маргариты Мор — Роперу, могло быть известно мужу ее служанки и другим лицам, менее интимным с ее отцом? Ропер знал о лекциях, даже о внешнем их успехе [19], но ничего не говорит об их содержании. Мы вправе поэтому показание Степльтона оставить без особого внимания. Интересен лишь выбор произведения; будущий автор «Утопии» обнаружил этим выбором, что ум его занят такими работами отцов церкви, которые, широко смотря на дело религии, понимают под идеалом и личное, и социальное совершенствование. Как раз в это самое время, в 1499—1500 гг., Томас Мор сильно подумывал о том, чтобы сделаться духовным лицом, но его удержало сознание своих немощей, бессилия борьбы со страстями, любовь к семейной жизни.

По словам Эразма, в эти годы он много постился, молился, прямо готовился к монашеству, проводил в бдениях целые ночи. Когда кризис этот разрешился, мы не знаем; в 1504 г. Томас Мор становится не священником и не монахом, но членом парламента [20] и сразу же приобретает известность своей дерзкой по тому времени оппозицией правительству в весьма щекотливом вопросе. Генрих VII, несмотря на бесспорную свою хозяйственность, постоянно нуждался в деньгах и под разными предлогами обращался к парламенту. В 1504 г. он потребовал у парламента взыскания специальной подати (так называемые «три пятнадцатых») для приданого своей дочери и других семейных своих расходов. На самом деле подать эта, конечно, не равнялась $^3/_{15}$ состояния английских граждан и не

превосходила 38 тысяч фунтов стерлингов [21]. Томас Мор живейшим образом восстал против вотирования требуемой суммы и достиг того, что парламент сократил требование короля и разрешил подать лишь в 30 тысяч фунтов. Чисто биографические подробности этого происшествия не могут войти в настоящую работу; укажем лишь, что оппозиция Томаса Мора сопровождалась для него целым рядом неприятностей. Король засадил в тюрьму его отца, требовал взноса большого по тому времени штрафа, самому Томасу пришлось чуть ли не прятаться от происков двора. Вообще 1504 и 1505 гг. представляются нам временем, когда в Томасе Море зрели и вынашивались некоторые руководящие идеи об отношениях между правительством и частным человеком, выраженные им впоследствии в «Утопии». Тяжелый период этот несколько смягчался вновь завязавшейся теснейшей дружбой Томаса Мора и Джона Колета, ставшего деканом церкви св. Павла. Под влиянием королевских преследований мысли о монастыре и монашестве снова стали приходить в голову Томаса Мора, и весьма характерно для обобщающих способностей его ума следующее обстоятельство: в письме к Колету [22], где ясно выражается тоскливое душевное состояние Мора, он не жалуется ему на правительство, на Генриха VII, на епископа Винчестерского, который всячески старался погубить молодого оппозиционного оратора; он, игнорируя ближайшие и непосредственные беды свои, пишет своему другу целую филиппику против городов и городской жизни, против общего служения прихотям своего тела и т. д. «Всюду скрежет ненависти, всюду бормотание злобы и зависти, всюду люди служат своему чреву,— главенствует над мирской жизнью сам дьявол». В том же письме отмечаем и мнение Томаса Мора о деревне, ибо эти мнения о преимуществах меньшей скученности людей также впоследствии вошли в «Утопию»: «В деревне люди большей частью невинны или уж во всяком случае меньше запутаны в сетях порока, так что для врачевания их душ годен всякий врач. Напротив, в городе, как вследствие громадных его размеров, так и вследствие того, что пороки слишком сильно въелись в городских жителей, нужен самый опытный духовный врач». Убеждая Колета в необходимости ему жить в Лондоне на благо паствы (Колет временами удалялся в свое имение, в Степни), Мор подчеркивает, что далеко не ко всякому духовному лицу прихожане чувствуют доверие, что снискать это доверие может лишь тот, кто, подобно Колету, сам свободен от страстей и пороков. Из того же письма узнаем, что Томас Мор деятельно работает над любимыми предметами своих университетских лет, над латинской и греческой литературой. Тогда же, в 1504 и 1505 гг., в полном согласии с общим настроением своим он

заинтересовался попавшими к нему в руки произведениями Пико делла Мирандола и биографией итальянского гуманиста, написанной его племянником. У нас была уже речь о Пико делла Мирандола. Этот выдающийся по своему литературному таланту человек окончил жизнь кающимся католиком, и признания его обличают душу, действительно весьма много и с большими мучениями искавшую выхода из неверия, раньше чем нашла его в покинутых традиционных верованиях. Если Томаса Мора не осаждали никогда никакие скептические мысли, зато его угнетенное состояние в эти годы (1504—1505 и следующие годы), заставлявшее его думать о бегстве из Лондона куда-нибудь в тихое убежище, делало для него настроение Пико делла Мирандола понятным. Он перевел его биографию и его произведения на английский язык [23] и выбрал как раз те работы Пико, которые дышат неподдельным и ярким религиозным чувством. Пико был замечательным ученым, он знал восточные языки, быть может, не хуже Рейхлина и других ориенталистов последующей эпохи; он был знатоком и ценителем классических произведений и вместе с тем сочетал занятия наукой с религиозностью; это и привлекло в особенности к нему Томаса Мора. Наконец, Пико отчасти был и моралистом, он писал нравственные сентенции, частью в прозе, частью в стихах; Томас Мор перевел их на английский язык прекрасной прозой и весьма дурными стихами. Вообще, стихосложение давалось ему с весьма большим трудом, а в прозе его столько ясности, точности, округленности, как ни у одного английского писателя первой половины XVI столетия. Перевод биографии и произведений Пико Томас Мор посвятил одной монахине. По-видимому, Пико остался для него идеалом человека и гуманиста по общему направлению своего ума и своей деятельности.

В год перевода сочинений Пико Томас Мор женился.

2

Для того, чтобы мысли Томаса Мора о воспитании детей, высказанные им в «Утопии», были не вполне неожиданны, всякий, анализирующий это произведение, необходимо должен вглядеться раньше в педагогическую практику и педагогические воззрения автора «Утопии», поскольку они осуществлялись в его семье и высказывались в частных, интимных письмах.

Томас Мор был женат два раза. В первый раз он женился на некоей Джен Кольт; интересно для характеристики его, что, собственно, ему нравилась другая, младшая сестра, но он женился на старшей, чтобы она не завидовала раннему выходу замуж младшей сестры [24]. Первая жена спустя несколько лет

умерла (приблизительно в 1510—1511 гг.), оставив ему четырех маленьких детей. Через несколько месяцев Мор женился вторично на особе, которая, по его выражению, была nec bella, nec puella, но которая могла бы помочь ему в вопросе о воспитании детей. Впрочем, вопрос этот слишком близко интересовал Томаса Мора, чтобы он уступил жене руководящую педагогическую роль. В тот век жесточайших телесных наказаний, царивших и в школе, и в семье, Томас Мор сумел остаться верным своему действительно доброму сердцу. У него была выработана система воспитания, которой он держался; каковы были общие и конечные ее результаты, мы не знаем; знаем только, что, например, дочь его Маргарита сделалась на самом деле другом и утешением отца в несчастные последние годы, а при общем морализирующем и резонирующем направлении мысли Томаса Мора вполне сблизиться с ним могли только люди, о нравственной стороне которых он был высокого мнения. Ровность, спокойствие, приветливость — вот был общий тон его действий и его поведения в качестве главы дома; глубокая привязанность к детям всегда его отличала; может быть, этот темперамент и эти чувства и повлияли на выработку его педагогических воззрений, но во всяком случае по тому времени самые воззрения были совершенно новы. Систематического трактата о воспитании он не дал, но у нас есть в многочисленных латинских и английских редакциях[25] письмо, писанное им неизвестно когда именно, Вильяму Геннелю, духовному лицу, заведовавшему первоначальным образованием детей Томаса Мора. Мы не знаем, откуда и куда оно писано; ясно лишь, что Томас Мор был одинок, а Геннель с семьей в это время находился с детьми в другом месте; была ли жена Мора с ним, неясно, но она не была с семьей.

«Дорогой Геннель,— пишет Мор,— я получил ваше письмо, превосходное, как все ваши письма, и полное любезности. Из вашего письма вижу я вашу преданность моим детям... Особенно радуюсь я, замечая, что Елизавета обнаруживает послушание и самообладание в отсутствие своей матери, какие другой ребенок не обнаружил бы и в ее присутствии. Дайте ей понять, что такое поведение больше меня радует, чем всевозможные письма от кого бы то ни было. Хотя я предпочитаю всем королевским сокровищам образование, соединенное с добродетелью, но образование само по себе, не соединенное с хорошей жизнью, является не чем иным, как только пустым тщеславием и позором, в особенности это так относительно женщин. С тех пор как это новшество (a new thing) — женское образование — сделалось упреком мужскому невежеству, многие с радостью нападают на него (will gladly assail it) и взваливают на влияние литературы те недостатки, в которых

виноват самый характер образованных женщин. Эти нападающие полагают, что, доказав пороки ученых, они тем самым заставят смотреть на их невежество как на добродетель. С другой стороны, если женщина (а этого я хочу и на это надеюсь вместе с вами, учителем моих дечерей), если женщина к выдающимся своим добродетелям присоединит даже хоть умеренный запас литературных сведений, я думаю, это будет ей полезнее, чем если бы она получила богатства Креза и красоту Елены. Я говорю это не только потому, что слава следует за добродетелью, как тень за телом, но и потому, что мудрость не теряется, как богатства, и не вянет, как красота, ибо зависит только от внутреннего познания того, что справедливо, а не основано на людских толках, нелепее и неправильнее которых нет ничего!» Замечательно, что по какому бы поводу ни напал Мор на тему о пустоте и лживости людских толков и общественных суждений, он всегда стремится эту тему развить подробнее. Впрочем, здесь его воззрения на этот сюжет тесно переплетаются с педагогическими взглядами. «Несомненно,— говорит он,— хорошему человеку свойственно избегать дурной славы, но исключительно людским мнениям подчиняться достойно человека, не только лишенного гордости, но даже смешного и жалкого. Не может быть в покое душа человека, вечно колеблющегося между восторгом и отчаянием по поводу людских мнений. Между всеми благодеяниями, которым дарит человека образование, самое большое заключается в том, что изучение наук учит искать в науках пользы, а не удовлетворения своего тщеславия. Таков смысл поучений наиболее ученых людей, особенно философов, которые суть учители жизни (the guides of human life), хотя некоторые, может быть, и злоупотребляли учением (как и другими хорошими вещами), лишь бы купить себе поскорее славу и популярность (glory and popular renown)». Далее Томас Мор убедительно просит своего корреспондента наблюдать, чтобы в детях его не развивалась склонность к тщеславию и хвастовству. Эти пороки он вообще считал наиболее гибельными и препятствующими общественному преуспеванию; как увидим при разборе «Утопии», причину, по его мнению, общественных зол — частную собственность — он также склонен был объяснять тщеславием [26]. Он хочет также и выражает это в том же письме к Геннелю, чтобы дети его не приучались пленяться видом золота, чтобы не завидовали другим, чтобы не старались «увеличить искусственно свою красоту». Он желает, чтобы дети его были благочестивы по отношению к богу, милостивы ко всем, скромны и по-христиански смиренны. Весьма интересны для автора «Утопии» следующие строки письма: «Таким путем они (его дети,— *Е. Т.*) получат от бога благосло-

вение безгрешной жизни... и *без ужаса встретят смерть,* а при жизни будут обладать прочным счастьем, не гордясь пустыми похвалами людей и не чувствуя себя угнетенными от злословия». В «Утопии», как увидим, прямо говорится о безбоязненной кончине как о счастье и награде добродетельных людей.

Томас Мор — положительный сторонник равноправного обучения двух полов. И мужчина, и женщина, рассуждает он [27], отличаются умом своим от животных; поэтому оба должны образовывать одинаково свой ум. Мнение это в начале XVI в. было и для католиков всех стран, и еще в большей мере впоследствии для протестантов таким совершеннейшим парадоксом, каким только может быть суждение, диаметрально противоположное общепринятому. Нужно заметить, что, впрочем, в сочинениях католика, каким был и остался Мор, мнение это все же скорее могло встретиться, нежели у протестантов. Мариолатрия — усиленный культ Девы в XIV и XV вв. на всем пространстве католической Европы — до известной степени способствовала выработке взгляда на женщину как на существо, если не равное мужчине, то и не слишком уж низкое. Традиция обольстительницы Евы, связанная с первородным грехом, несколько побледнела перед традицией иной, где говорилось об искуплении греховного мира. Что же касается до протестантов XVI в., то для них женщина есть действительно существо низшего порядка, созданное для продолжения человеческого рода. Нельзя также сказать, что воззрения Томаса Мора были прямо навеяны сочинениями гуманистов: итальянские литературные деятели XIV в. воспевали женщину как предмет любви, рассказывали в прозе о ее чувственной жизни, занимались историей прославленных коронованных особ женского пола, но ни Петрарка в «Сонетах», ни Боккаччо в «Декамероне» и биографиях «знаменитых женщин» ни разу не высказали хоть чего-нибудь похожего на взгляд Томаса Мора. Гуманисты XV столетия пробовали модернизировать идеал римской матроны, но и то, так сказать, мимоходом, ибо вообще слишком мало этим вопросом занимались. Что касается до национальных традиций, то и здесь Томас Мор заимствовать своего воззрения на женщину не мог. Не говоря уже о жестоких англо-саксонских законах, ничуть не измененных норманским нашествием, относительно полного, рабского подчинения жены мужу, и в литературе мы не можем указать ни малейшего следа приравнения женщины по умственным качествам к мужчине. Перебирая всю английскую литературу вплоть до начала XVI в., мы остановились лишь на одном произведении, идея которого до известной степени гармонирует с мыслью Томаса Мора. Это Чосерова «Легенда о хороших женщинах»; правда, здесь речь идет не об интеллектуальном равенстве полов, но о моральной высоте женщины, причем во всех

историях «Легенды о хороших женщинах» дурные качества мужчин оттеняются благородством женщин; и хотя мужчины и в умственном отношении являются в «Легенде» Чосера ниже женщин, но это обстоятельство не настолько оттенено, чтобы можно было отсюда делать какие-нибудь выводы о соответствующих воззрениях автора. Оригинальная и самостоятельная мысль об интеллектуальном равенстве полов, проведенная впоследствии в «Утопии» (если не прямо, то косвенным образом), эта мысль зародилась в нем, как показывают приводимые данные, у семейного очага при обсуждении вопросов воспитания его дочерей.

Чувствуя необходимость поддержать особой аргументацией свою мысль о желательности давать женщинам серьезное образование, Томас Мор становится на почву противников этой парадоксальной по тому времени мысли и старается доказать, что со всевозможных точек зрения они не правы. «Если бы даже и правда была, что женский мозг дурного качества,— читаем мы дальше в этом же письме к Геннелю,— и способен, как дурная почва, приносить скорее плевелы, нежели пшеницу, то по этой причине вовсе не следует, как утверждают многие, устранять женщин от научных занятий; напротив, по-моему следует в таком случае с особенной тщательностью образовывать женский ум [28] и таким образом стараться прилежной работой и искусством исправить природный недостаток». Ссылка на св. Августина, не презиравшего женщин и побуждавшего их к учению (собственно, точнее, к изучению св. писания), и указание (впрочем, безымянное) на древних мудрецов, державшихся будто бы таких же мнений, как и Томас Мор, на женское образование, кончают эту аргументацию.

Страх был совершенно изгнан из семейного обихода Томаса Мора; нужно только прочесть письма его к дочери Маргарите, его любимице, и к другим детям, чтобы получить ясное представление об общем тоне семейных отношений. Эразм Роттердамский (в своих «Epistolae») не перестает восхвалять семейную жизнь своего Mori jucundissimi, он приравнивает его дом к мифическим блаженным островам (то же самое повторяет он и в «Colloquiorum symposium» [29]). Мнения Мора об умственном равенстве полов не были опровергнуты дальнейшей жизнью его дочерей. Маргарита Мор (впоследствии Ропер) и Елизавета славились и в Англии, и на континенте (где их репутацию утвердили восторженные отзывы Эразма) своей начитанностью в древних классиках и общими познаниями. (Маргарита даже до того увлекалась медициной, что отец раз напомнил ей о необходимости именно в молодом возрасте заниматься особенно старательно классиками). Томас Мор, создавая такой совершенно исключительный в те времена обиход и тон домашней жизни,

только предвосхищал на практике идеи, выраженные в «Утопии», где также говорится и о женском образовании, и о семейной жизни, и об отношениях между мужем и женой, детьми и родителями. Любвеобильное сердце, добрый характер, мягкий темперамент — все это составляло ту психическую почву, на которой выросли воззрения, для XVI в. совершенно исключительные, воззрения, касавшиеся интимнейших сторон человеческой жизни и приведенные более или менее в систему в «Утопии».

3

Пребывание в доме кардинала Мортона и в Оксфордском университете приобщило Томаса Мора к гуманистическому движению, как раз тогда проникавшему в Англию из Европы; дружба с Колетом, с Гросейном, Линакром, Эразмом усилила его любовь и охоту к литературным занятиям; столкновение с правительством в парламенте 1504 г. впервые обнаружило всю стойкость и все бесстрашие его характера; семейная жизнь, ее практика и теория способствовали окончательному укреплению его взглядов на брак и на воспитание; наконец, и отметить это совершенно необходимо, уже в эту эпоху, до обессмертившего его имя 1517 г., Томас Мор самым положительным образом высказывает презрение к общепринятым суждениям, если они опираются только на общепринятость и ничем иным оправданы быть не могут. «Мы привыкаем,— пишет он [30],— так дорожить чужой похвалой, что учимся искусству нравиться большинству (*которое всегда является наихудшим*) и стыдимся быть истинно хорошими вместе с меньшинством». В этих словах нет раздражения возмущенного моралиста, а есть лишь положительное констатирование того, что казалось Томасу Мору неопровержимым фактом и что он многократно повторял. К 40 годам жизни, к тому времени, как он приступил к писанию «Утопии», он имел твердое намерение не смущаться и не считаться с понятиями, убеждениями, мнениями, обычаями, как бы общераспространены они ни были.

Посвятив эту главу выяснению воззрений Томаса Мора, насколько они успели сказаться до выхода в свет «Утопии», перечислив те влияния, которые, насколько можно судить по отрывочным и неполным сведениям источников, успели лечь на его душу за первые 40 лет жизни, очертив и отметив некоторые характерные его свойства и умственные навыки, мы погрешили бы против полноты содержания этой первой главы нашей работы, если бы обошли молчанием еще одну сторону жизни Томаса Мора, еще некоторые данные, способные пролить свет на внутреннюю работу, подготовившую создание «Утопии». Как

относился Томас Мор к монархической власти вообще, к английской королевской власти в частности, чем объясняется роковая дружба его с Генрихом VIII? Начало отношений короля и гуманиста относится ко времени восшествия Генриха на престол, к 1509 г.; поэтому вопрос такой важности, как первоначальные политические воззрения автора «Утопии», неминуемо связывается с фактом первого их сближения и должен быть разобран именно в этой части работы. Сначала передадим фактические сведения о знакомстве и сближении Томаса Мора с королем.

В последнее время царствования Генриха VII, т. е. с 1504 г., когда Мор подвергся опале за оппозицию, и вплоть до 1509 г., когда Генрих VII скончался, Томас Мор жил в постоянном опасении, в вечной и известной всем друзьям его тревоге, что придут вести его в Тауэр. Генрих VII, как и все Тюдоры, за исключением Эдуарда VI, был человеком самовластным, гневным, скорым на расправу, а политические учреждения Англии того времени обеспечивали за духовной и светской знатью и за частью торгового класса и поместного дворянства ряд определенных прав, венцом которых было право вотирования бюджета, но, собственно, личной неприкосновенности вплоть до издания «Habeas corpus act» при Карле II англичане не знали. Эпизод с резкой оппозицией двадцатишестилетнего Томаса Мора правительственному проекту, как уже сказано, стоил тюрьмы и штрафа отцу Мора, по личному желанию короля. Почему самого Мора не посадили в тюрьму, мы не знаем; мнения его биографов относительно того, что будто бы Мора не тронули, зная, что нечего с него взять [31], кажутся нам совершенно неосновательными. Не стеснялся же Генрих VII бросать в тюрьму целые семьи, не затруднялись вообще Тюдоры наказывать (как и современник их Иван Грозный, как и все без исключения правители XV и XVI вв.) не только виновных, но и их родню: почему же бы он не посадил вместе с отцом и самого Томаса, тем более что Томас провинился? Просто какой-то случай спас Томаса; Ропер с обычной своей добросовестностью и не выдает за бесспорный факт свое предположение, но у позднейших биографов Мора (Кресакра Мора, новейших авторов) это предположение получило характер полной достоверности и положительности. Мор должен был с 1504 до 1509 г. жить под постоянным ожиданием ареста и даже подумывал бежать во Францию, как раз, когда враг его умер и на престол вступил Генрих VIII.

Как по мановению волшебного жезла разом все изменилось в положении Мора: опала кончилась, посыпались знаки милости. Генрих VIII обладал характером довольно сложным; его вовсе нельзя представлять себе только тривиальным, беспощадным и сластолюбивым тираном, каким его знает популярная традиция: это был человек умный, разносторонний, необыкновенно живо

схватывавший и смысл гуманистических отвлеченностей, которыми он интересовался в первые годы правления, и все тайные пружины интриг Франциска I и Карла V, вечных своих соперников; Генрих VIII был не так алчен к деньгам, как его отец: честолюбие и любовь к женщинам были преобладающими его страстями, а корысть имела, так сказать, лишь служебное значение, но не самодовлеющее, как у Генриха VII. Еще была черта у Генриха VIII: он (особенно в молодости) умел нравиться, умел привлекать, кого хотел. Его нельзя было назвать неискренним, хотя он и обманывал постоянно тех, кто с ним сближался; это был человек минуты, притом так глубоко и искренно эгоистичный, что всегда сам же, даже с известной небрежностью, объявлял верившим ему людям свою волю, нередко шедшую вразрез с тем, что он им накануне говорил. Он никогда не давал себе труда спорить, убеждать, доказывать свою правоту, а мнения свои менял весьма часто, хотя это и не порождало нерешительности: он приводил в исполнение свое решение, а потом уже, по исполнении, отменял или жалел о случившемся. Например, когда ему доложили, что Томас Мор уже обезглавлен, он рассердился на Анну Болейн, бывшую с ним, и стал ее упрекать в случившемся, хотя не она, а он сам сделал все, чтобы погубить Мора. При полной свободе от всяких моральных мотивов, от всяких побуждений, кроме требований беззаветного эгоизма, Генрих VIII все-таки разносторонностью своего умственного развития, своим интересом к гуманистической литературе, наконец своей внешней любезностью и обходительностью создал себе еще до вступления на престол репутацию ученого и добродетельного человека. В первый же день своего самостоятельного правления, 23 апреля 1509 г., король отправил в Тауэр Эмпсона и Дедли, двух лиц, игравших при Генрихе VII вплоть до его кончины роль Малюты Скуратова и Басманова. Это были типичные «опричники», хотя Англия и не знала официального учреждения опричнины: их специальностью было выискивать изменников, чтобы потом заставлять тех спасать свою жизнь взносом крупных штрафов. Низвержение временщиков могло, разумеется, только оживить симпатии к молодому государю и надежды, возлагавшиеся на него. Так или иначе, вскоре по восшествии на престол Генрих VIII получил от Томаса Мора поздравительные стихи, преисполненные самыми льстивыми выражениями и изъявлениями восторга перед его добродетелями. Этот эпизод, действительно загадочный по своему несоответствию с моральными качествами Томаса Мора, может быть объяснен и чувством облегчения при миновании опасности, и в самом деле надеждой на Генриха как на покровителя наук. Во всяком случае биографы Томаса Мора (Каутский, Бриджетт, Hutton) зачем-то особенно стараются «оправдать»

своего героя в этом происшествии и вообще в сношениях его с Генрихом VIII.

Ни в каких «оправданиях» или «обвинениях», может быть и интересных с биографической точки зрения, Томас Мор не нуждается, если признавать исторически значительными и характерными не его моральные качества, а только и исключительно его социальные воззрения. Напомним лишь, что истинная натура Генриха могла стать Томасу Мору понятной только не раньше середины второго десятилетия XVI в. Эти поздравительные стихи выдвинули Томаса Мора из того опального уединения, в котором он пребывал 5 лет. В 1509 г. мы видим его уже помощником лондонского шерифа, а в 1515 г. английские купцы посылают его во Фландрию для улажения отношений между Англией и Карлом V: эта миссия имела в гораздо большей мере коммерческий, нежели дипломатический характер. Помощник шерифа исполнял в те времена судебные функции [32]; купеческий уполномоченный должен был проникнуть во все тайны совершавшегося тогда торгового кризиса; посольство во Фландрию впервые ознакомило близко Томаса Мора с континентом. Эти 7 лет, от вступления на престол Генриха VIII до начала работы над «Утопией» (1509—1516) дали Томасу Мору много практических и разнообразных сведений. Страницы, посвященные в «Утопии» дипломатическому искусству, не взяты не из какого литературного источника, ибо нигде до Томаса Мора о нем с этой точки зрения не трактовалось, но обязаны своим происхождением прямо и непосредственно жизни, фландрским переговорам, наблюдениям над действиями уполномоченных короля Карла V и собственных товарищей Томаса Мора.

Сближение с Генрихом VIII, начавшееся поднесением поздравительных стихов, пошло особенно быстро уже после выхода в свет «Утопии», но и до тех пор правительство обнаруживало полную готовность назначать его на должности, которые по представлению торгового класса города Лондона он мог бы с пользой для дела занимать. С восторгом, доходящим до самых пламенных выражений, относясь к восшествию Генриха VIII на престол, Томас Мор тем не менее в других своих литературных произведениях (периода до «Утопии») высказывает мнения не столько династические, сколько просвещенно-абсолютистские, понимая это выражение в значении, данном ему XVIII столетием. В своих «Epigrammata», самом раннем своем литературном произведении [33], он называет доброго государя пастырем, берегущим своих овец, злого — волком, пожирающим их. «Тиран смотрит на подданных как на рабов, истинный государь — как на детей». Служебное значение главы государства подчеркивается и в написанном им «Диалоге с лукиановским

Е. В. ТАРЛЕ.

ОБЩЕСТВЕННЫЯ ВОЗЗРѢНІЯ

ТОМАСА МОРА

ВЪ СВЯЗИ СЪ ЭКОНОМИЧЕСКИМЪ СОСТОЯНІЕМЪ АНГЛИИ

ЕГО ВРЕМЕНИ.

ПРИЛОЖЕНІЯ:

I. Переводъ «Утопіи» съ латинскаго.

II. Неизданная рукопись современника о Томасѣ Морѣ.

Изданіе редакціи журнала „Міръ Божій“

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43)
1901.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ТОМАСА МОРА...»

тираноубийцей», но этот «Диалог» писан уже после 1517 г. Получил или не получил Томас Мор вполне ясное представление о Генрихе VIII к тому времени, как начал писать «Утопию», но, как увидим, слишком многое обнаруживает там уже разочарование и горечь. Можно сказать одно: отрывистые данные биографии и столь же отрывочные сведения из литературных работ Мора до 1517 г. позволяют думать, что общее оптимистическое построение просвещенно-абсолютистского характера затемнялось в его глазах воспоминаниями о Генрихе VII и беспокойством за Генриха VIII.

В 1516 г. он начал создавать «Утопию». Но всех перечисленных влияний и умственных веяний будет недостаточно для понимания и определения исторического места этого произведения, если мы не предпошлем разбору «Утопии» анализ экономического и социального состояния Англии XVI в.: это влияние было и самым сильным, и самым решающим по тем впечатлениям, которые оно откладывало в душе английского гуманиста.

Глава II

ГЛАВНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЕВСТВА В НАЧАЛЕ XVI СТОЛЕТИЯ

Когда несколько лет тому назад, еще только приготовляясь к настоящей работе, мы приступили к изучению документов, характеризующих аграрный кризис эпохи Тюдоров, то нас прежде всего остановила одна черта, делавшаяся яснее по мере дальнейшего ознакомления с источниками: ограничиться при разборе «Утопии» одной аграрной стороной экономического процесса XV—XVI вв. нельзя. Не только самый аграрный кризис не будет ясен, если изучать его, так сказать, вне всякой связи с остальными явлениями экономической жизни, но потеряются (как они, действительно, и теряются у Бриджетта, Геттона, не говоря уже о Rudhart) и останутся пустым звуком многие и важные страницы книжки Мора. И документы, касающиеся первых огораживаний, самой сущностью своей говорили о полной необходимости расследовать не столько детальные подробности описываемых в них фактов, сколько основные и исторически уследимые причины их. Поиски этих причин сильно облегчаются следующими обстоятельствами. Ненормально быстрый темп процесса, разрушившего почти окончательно общинное землевладение, переместившего экономический центр тяжести из деревни в город, указывал прежде всего на социальную слабость сопротивлявшихся и обездоленных этим процессом слоев населения. Ни жалобы, ни памфлеты, ни восстания, малые и одно большое Роберта Кэта 1549 г., ни даже некоторая готовность правительства Тюдоров прийти законодательным путем на подмогу разоряемому фермерству — ничто не могло его поддержать. Обнаружилась и юридическая беспомощность фермеров, которые действительно не были в огромном большинстве случаев в состоянии указать другого основания своему землепользованию, кроме значительных с бытовой,

но ничтожных с правовой точки зрения слов: «так было при дедах и прадедах наших» и прочее; обнаружилась и физическая немощь фермерства, которое, несмотря на все самопожертвование при восстаниях, несмотря на всю отчаянность своего настоящего и видимую безнадежность в будущем, несмотря, наконец, на насильственность и неожиданность переворота, ровно ничего не могло сделать даже для отсрочки рокового для себя конечного результата этого кризиса. Но почти столь же ярко, хотя и более замаскированно, обозначилось еще нечто, уже помимо слабости сопротивления: сила нападения, какое-то непрерывное и все более и более давящее вмешательство в жизнь земледельческого класса. Томас Мор называет видимых виновников фермерского разорения алчными душами, язвой отечества и тому подобными эпитетами [34]. В памфлете «Жалоба Родерика Мурса» они названы подлецами, кровопийцами и разбойниками [35]. «Том — незаконный сын» называет огораживателей ворами, крадущими у королевы подданных [36]; другой памфлет грозит за огораживание ответом на страшном суде; третий — жалуется на плач бедняков [37]. Но эти проявления негодующего чувства [38] не проливают почти никакого света на определение социального положения всех этих divites, helluones, pestes, грабителей, опустошителей и пр. Сравнив факты английской экономической истории XV—XVI вв. с фактами экономической истории Германии, мы увидели внешнее совпадение некоторых характерных черт: было там и огораживание земель, и жалобы крестьян, и снос крестьянских дворов (Bauérnlegen); но дальше этого сходство не шло. Такой быстроты темпа процесс не имел и даже к концу XVI в. сильно замедлился. Мало того, для Германии совершенно определима природа этого захвата мирских имуществ: захватывали помещики, владельцы земли и владельцы крепостных, чтобы увеличить площадь обрабатываемого пространства и умножить этим свои доходы. Но в Англии, во-первых, крепостного права в XVI в. почти совсем не существовало; во-вторых, огораживатели вносили не только полную революцию *в землевладение*, но и *в землепользование:* они не обрабатывали захваченную землю, а обращали ее под пастбище; в-третьих, наконец, немецкие крестьяне прямо называют своих обидчиков, а английские говорят только о «грабителях», «богачах», т. е. весьма неопределенно, и иногда называют землевладельцами, иногда купцами и т. д. Ясно, что их давила какая-то слепая, анонимная сила, даже для них, заинтересованных и обижаемых ею современников, успевшая сохранить свою анонимность; ясно, что фермерское сознание не приурочило этих пришлецов, этих обидчиков к какому-либо определенному сословию, не вдвинуло их в отчетливые классовые рамки. Силой этой мог быть капитал, и только капитал: капиталу общинные, фригольдерские и копи-

гольдерские земли нужны были для разведения овец, для торговли шерстью с континентом; капитал, и притом большой и свободный, мог так интенсивно и лихорадочно быстро привести в исполнение свои намерения; наконец, капитал, и только он один, мог остаться, так сказать, анонимным: отчасти в торговлю шерстью бросились лендлорды, а в значительной мере и городские жители — купцы, судохозяева и прочие; и притом все соображения фермеров насчет личности их обидчиков путались, когда они сегодня видели, что лендлорд сгоняет их вон с насиженных мест, а завтра являются какие-то совсем новые люди из Лондона, Ноттингема, Йорка, Норвича, Бристоля, и именно эти-то новые люди, непосредственно их, фермеров, не обиравшие, становятся арендаторами или преемниками по владению очищенной от фермеров земли. В уже цитированном памфлете «Vox populi — vox Dei» говорится [39], что купцы вполне достойны почтения, пока они не начинают снимать землю у лендлордов, чтобы потом отдать ее за возвышенную цену другим. Может быть, уже и такие комиссионеры явились, но чаще всего несомненно либо лендлорды, либо купцы и вообще горожане, взяв землю у лендлорда, сами же ее и эксплуатировали.

Но как только расследование вопроса остановилось на том, что единственной прямой и активной причиной всего кризиса был капитал, тотчас же потребовалось дать себе отчет: какой же *именно* капитал? На этот вопрос можно было ответить уже по положительным признакам. 1. Весь кризис совершался исключительно с одной ясной и твердой целью: увеличить до возможных пределов площадь пастбища для разведения овец и торговли шерстью с континентом. 2. Ближайшее рассмотрение вопроса приводит к заключению, что как раз в XV в. поставлен был вопрос, сохранят или не сохранят за собой английские купцы монополию по снабжению шерстью почти всей Европы и, в частности, Фландрии. 3. Для ускорения темпа кризиса нужен был капитал свободный, т. е. денежный, *а такой мог быть только в руках торгового класса,* потому что другая форма капитала — земля — была юридически в весьма большей мере в руках лендлордов, фактически же как у лендлордов, так и у наследственных, пожизненных и иных земельных держателей. Больше же форм капитала в Англии XV—XVI вв. не было.

Итак: 1) аграрный кризис XV—XVI вв. *вызван был единственно одной только активной, положительной причиной:* стремлением торгового капитала удержать за собой северноевропейский рынок сбыта шерсти и до известной части также рынки средне- и южноевропейские; 2) *облегчен* был этот аграрный переворот социальной слабостью того слоя населения, который от него пострадал; 3) *ускорен* был этот кризис размерами и свободой купеческого капитала, явившегося главным двигателем переворота.

Выставленные положения возлагают на нас обязанность показать: 1) что денежный купеческий капитал успел ко времени воцарения Тюдоров реализоваться в соответствующей степени; 2) что действительно английской торговле с континентом в конце XV и начале XVI в. грозила опасность потерять монополию по продаже шерсти; 3) что действительно класс мелких фермеров не только фактически оказался слабее враждебной ему силы (это обнаружено историей, а не историческими диссертациями), но что он *и не мог не оказаться слабее,* что он был одинок в борьбе, что терял он один, а вовсе не весь почти английский народ, как это склонны весьма многие думать; да и он терял далеко не весь.

Только доказав это и уяснив себе истинные свойства кризиса, мы сможем перейти к его последствиям и к картине, нарисованной Томасом Мором в критических замечаниях «Утопии».

1

Более или менее прочный базис английское купечество приобретает только в XII столетии или, самое раннее, в конце XI, после водворения относительного спокойствия в стране. Тогда возникают так называемые «купеческие гильдии», merchant gilds, которым суждено было играть весьма значительную роль в истории нарастания денежного капитала. Купеческой гильдией называлось общество купцов данного города, соединенное членскими взносами, взаимно-благотворительными обязательствами, празднованием дня святого, покровителя гильдии, и юрисдикцией по специально торговым делам и спорам членов гильдии между собой. Вероятно (но доказать этого нельзя за скудостью фактов), все купцы каждого города входили в купеческую гильдию этого города; правил приема мы не знаем. Собственно, главное назначение гильдии (как и едва ли не всякой средневековой ассоциации) заключалось в посильной охране ее членов от обид со стороны иногородних обывателей и властей во время торговых и иных путешествий. Пока торговля была исключительно внутренняя, в пределах английского королевства, до тех пор гильдии сохраняли свое сравнительно скромное значение; но как только завязались сношения с континентом, а произошло это более или менее заметно в XIII в., тотчас же обнаружилось все воспитательное значение гильдейских ассоциаций: английские купцы, не вооруженные капиталом, оказались в состоянии весьма стойко и дисциплинированно отстаивать свои интересы на материке. Впрочем, если историю купеческого капитала нужно начинать с этой ячейки, с гильдии, то его дальнейшее обусловливается уже другими в высшей мере важными обстоятельствами.

Беркли, называя в начале XVIII в. шерстяную промышленность основой английского богатства, был прав и относительно своего времени, и относительно XVII, и XVI, и XV вв., но ни в какой иной период слова его не получают значения такой абсолютной истины, как именно в эпоху младенчества английской торговли в XIII и XIV вв. В XIII в. в Англии уже добывалась шерсть в таких количествах и такого качества, что без нее не могла обойтись самая промышленная страна северной Европы — Фландрия. Шерсть покупалась фламандскими купцами, приезжавшими в Англию за ней и увозившими груз сырья к себе на родину для обработки. Дело в том, что после норманского нашествия и сопровождавших его неспокойных первых лет Вильгельма Завоевателя всякие следы существования ремесел утратились, и возрождение ремесел и ремесленных гильдий можно отнести лишь к концу XII и началу XIII в., но до середины XIV столетия нельзя еще говорить о более или менее широко развитой мануфактуре на английской почве. Продавая фламандским гостям сырье, английские купцы не переставали домогаться у правительства самой точной и строгой регуляции всех коммерческих действий приезжающих «флеммингов». Относясь так к фламандским купцам, англичане весьма дружелюбно встречали иммиграцию фландрских ремесленников, приезжавших сюда из Камбре, Брюгге, Антверпена для заработков и учивших англичан шерстяной мануфактуре. Уже в XIII столетии[40] мы встречаемся с попытками английского торгового класса путем законодательных запретов прекратить вывоз сырья во Фландрию, чтобы, во-первых, обеспечить за собой возможность снабжать всю Англию шерстяными изделиями и, во-вторых, получать больше барышей от своих путешествий на континент с грузом уже не сырья, но обработанных изделий. В XIV в. участились переселения в Англию фламандских ремесленников. Эдуард III[41] статутом 1337 г. обещал свое благоволение и покровительство этим полезным эмигрантам; ко второй половине его царствования стали уже весьма не редки и туземные английские шерстяные мануфактуры. Однако в XIV столетии кораблестроение было так мало еще развито в Англии и так незначителен был торговый капитал, что все-таки сношения Фландрии с Англией были представлены главным образом фламандской «ганзой» в Лондоне, а не английскими купцами во фландрских городах. Слабость английского денежного капитала в эти времена доказывается хотя бы тем обстоятельством, что когда Эдуарду III понадобились деньги, и сравнительно не так уж большие, он мог обратиться всего к 169 купцам. Но при том же Эдуарде получило развитие то учреждение, которое в хронологическом порядке есть второй институт, прямо касающийся организации англий-

ского торгового класса: первым были уже указанные гильдии, вторым — «степлерство», stapletrade, staple, как его называли.

Степлерство возникло собственно еще в XIII в., но на степень влиятельнейшего учреждения английской торговой жизни оно возвысилось лишь при Эдуарде III. С поверхностной точки зрения может показаться, что основной принцип степлерства тот же, что и принцип гильдий: степлевыми местами назывались такие точно определенные пункты на континенте, куда все английские купцы, торгующие известным товаром, должны были свозить этот свой товар. Эти пункты определяло само английское правительство, и во Фландрии, Франции и иных местах имелись такие центры английской торговли шерстью, английской торговли кожами и т. д.

Видимое сходство с гильдией заключалось в том, что степлеры, т. е. все английские купцы, торгующие известным товаром и приехавшие в определенный пункт, степлерский центр, подчинялись в своих спорах своей особой, степлерской юрисдикции и вообще были связаны корпоративными узами; но в сущности степлерство гораздо нужнее было правительству, нежели купцам. Действительно, правительство, назначая обязательные и исключительные рынки сбыта, хотя бы и английской шерсти, этим самым держало до известной степени в своих руках весьма важные финансовые интересы той страны, где степлевые склады были учреждены [42]. Стоило Эдуарду III пригрозить перевести степлевый склад из Брюгге в Антверпен или сделать это в крайнем случае, чтобы добиться полнейшей покорности своей воле от фландрского графа.

С конца XIV столетия степлевыми складами, снабжавшими весь северо-запад Европы английской шерстью, сделались склады в городе Кале и в Брюгге. Степлеры, по-видимому, были цветом купеческого класса по своим денежным средствам, по тесной близости с правительством, нуждавшимся в них, по своему влиянию в парламенте. Историк английской торговли XV—XVI вв., Георг Шанц, в своей книге [43], даже в Англии получившей значение основного, классического труда, допустил, как нам кажется, некоторое расширение хронологических рамок, установленных им для своей работы, когда наряду со степлерами исследует вопрос и о так называемых «отважных купцах», merchant adventurers. «Отважными купцами» в сущности назывались все те торговые люди (но *непременно* ведшие внешнюю, заморскую торговлю), которые не принадлежали к степлерам, которые на свой риск и страх пускались в далекие балтийские и средиземные воды и там заводили новые фактории и открывали новые рынки. Но институт, вернее просто категория, merchant adventurers распространилась особенно уже при Елизавете, а начала играть видную роль при Генрихе VIII, Эдуарде и Марии Кро-

вавой, и уж во всяком случае в XIV и XV вв. по своему месту в коммерческой жизни страны они не могут идти в сравнение со степлерами. Сила степлеров заключалась главным образом в том, что они снабжали шерстью те промышленные страны северной Европы, которые выплачивали им за это огромные суммы, ибо конкурентов англичане в этом роде торговли не знали ни в XIV, ни в начале XV столетия. Таблицы торговых пошлин, целиком напечатанные (и впервые найденные) тем же Шанцем, показывают [44], что в конце XV в. степлеры были главным оплотом, главной доходной статьей всей той части бюджета, которая составлялась из взимания фискальных интересов с торговли. Так, в 1485 г. королевское казначейство получило [45] всего 33 тысячи фунтов стерлингов со всей торговли, и из этой суммы 16 тысяч было уплачено *исключительно* степлерами; в 1486 г. из общей суммы в 29 тысяч степлеры уплатили 18 и т. д. В общем же за все 24 года царствования первого Тюдора подсчет дает цифру в 324 тысячи фунтов, полученных от одних только степлеров и за одну только шерсть, из всей суммы в 898 тысяч фунтов торговых пошлин; другими словами, около $^2/_5$ всех доходов с торговли Генрих VII получил *только* от лондонских степлеров, вывозивших шерсть и шерстяные изделия! Таблица № 2 [46] показывает, что из всей суммы пошлин, полученных правительством Генриха VIII за первый год правления (1509), т. е. из 26 тысяч фунтов, степлеры, торгующие шерстью, уплатили 10 тысяч; во второй год из 28 тысяч всех пошлин эти же степлеры уплатили 11 тысяч; в третий год из 21 тысячи —8; в четвертый год из 24 тысяч — 7; в пятый год из 27 тысяч — 9; в шестой год из 25 тысяч — 6; в седьмой год из 27 тысяч — 8; в восьмой год из 25 тысяч — 8; в девятый год из 21 тысячи — 6; в десятый год из 28 тысяч — 11. В общем, в первые 10 лет царствования Генриха VIII из суммы лондонских торговых пошлин в 252 тысячи почти треть была уплачена лондонскими степлерами, торговавшими шерстью. Если сопоставим эту цифру пошлин, уплаченных только за первые 10 лет правления Генриха VIII и только лондонскими степлерами (т. е. 84 тысячи фунтов), с цифрой в 396 тысяч, уплаченными всеми вывозившими шерсть степлерами за 38 лет правления Генриха VIII, то заметим до известной степени стационарность в цифрах пошлин. Но сравнение пошлин не есть еще совершенно свободный от неправильностей метод подсчета; к счастью, есть и таблицы совсем уж неопровержимой реальности и доказательности. Производя подсчет цифрам таблицы № 4 [47], мы приходим к следующим выводам. Предварительно заметим, что таблица 4 содержит точные цифры всех тюков одинаковой меры грузов шерсти (sacks), вывезенных с первого до последнего года царствования Генриха. Окажется, что торговля шерстью, измеряемая этим

вполне точным мерилом — количеством грузов, также была стационарна и даже иногда падала: в первую четверть царствования Генриха VIII в среднем ежегодно вывозилось 8 тысяч определенной меры грузов, во вторую четверть — ежегодно (в среднем) 5 тысяч, в третью четверть — $3^1/_2$ тысячи, в последнюю — опять около пяти. Итак, прироста, оживления в торговле этой важнейшей статьей не заметно. Запомним этот твердый и совершенно непоколебимый факт: особого оживления, особого экспортного ажиотажа в царствование Генриха VIII в торговле шерстью *не было*. Опираясь на таблицы, изданные Шанцем, опираясь на лично нами исследованную и изученную 21-ю и часть 22-й пачки манускриптных подсчетов вывоза шерсти [48] в последние годы Генриха VII и во все царствование Генриха VIII, мы вправе назвать совершенным мифом утверждение о развившейся якобы особенно пышным цветом английской шерстяной торговле XV и XVI вв. В дальнейшем изложении мы коснемся того, что нам нужно для целей настоящей работы, т. е. последствий этого факта, а теперь перейдем к дальнейшим его подтверждениям.

Итак, шерстяная торговля, продажа сначала сырья, потом сырья и обработанных изделий — вот что было главным нервом английской торговли с XII и XIII вв.; степлеры — вот был цвет купеческого класса, собиравший и умножавший из поколения в поколение свои капиталы. Указав на стационарность в развитии торговли шерстью за время Генриха VIII, взглянем теперь, как обстояло дело раньше, т. е. привыкли ли степлеры к подобной стационарности или нет.

В среднем при Генрихе VIII вывозилось в год 5700 с лишком грузов шерсти определенной меры, а при отце его —6700 таких же грузов. Но этого мало: за 100 лет до вступления Генриха VII на престол, при Эдуарде III, таких грузов вывозилось около 30 тысяч. Значит, мало того, что в XVI столетии торговля шерстью была стационарна (мы говорим о первой половине века), но по сравнению с блестящими временами Эдуарда III она даже пала! И однако при Эдуарде III денежный капитал английского купечества был сравнительно мал, а при Тюдорах значителен: это явствует хотя бы из того обстоятельства, что товаров из Англии в общем в год (в среднем размере) вывозилось при Генрихе VIII на сумму в 280 тысяч фунтов, а при Эдуарде III и шестой части такой суммы не стоили все вывезенные за год товары (также в среднем). Это опять-таки возможно вывести из таблицы 3 и цифр эдуардовского регистра 1354 г. [49] Неимоверно возвысилась цена товаров за эти многознаменательные полтораста лет, которые отделяют Эдуарда III от эпохи Томаса Мора; казна обогащалась, обогащались и степлеры, сумма денежного капитала росла, но росла со второй половины

XV в. в ненормально малой пропорции, а в последние десятилетия этого века и в первые годы XVI стал ощущаться уже отчасти патологический признак: уменьшение среднего вывоза шерсти. Это уменьшение было остановлено, и после полувековой с лишком стационарности шерстяная торговля при Елизавете опять обнаружила быстрый и гигантский рост. Кризис был пережит, но он был налицо, и в ту эпоху, когда Мор громил бессердечных «грабителей и опустошителей», торгующих шерстью, эти самые «грабители и опустошители» не блаженствовали; не только «алчность и ненасытность» побуждали их лихорадочно скупать земли, сгонять крестьян-фермеров, разводить овец и продавать шерсть, нет, другой, более гнетущий и сильный мотив: чувство самосохранения. *Чтобы поддержать даже эту стационарность экспорта,* уже требовались весьма большие усилия; чтобы удержать за собой старые и важнейшие рынки, чтобы не быть прогнанным с новых средиземных рынков, английский торговый капитал должен был завалить грузами шерсти Фландрию, Голландию, Францию, средиземные рынки, завалить даже без надежды на прежние гигантские барыши, потому что страшный враг — испанская шерсть — грозил изгнать с континента. И это была лишь одна сторона задачи: к концу XV в., когда последствия черной смерти совершенно изгладились, когда народонаселение весьма значительно уплотнилось, а законодательство рядом мер создало для степлерства и для мелкого купечества исключительный национальный рынок, запретив ввоз шерстяных изделий с континента, с этих пор английского сырья должно было хватать: 1) на Англию и 2) на континентальные рынки, где борьба с испанской шерстью была мыслима только при условии изобилия импорта из Англии и, главное, всегдашнего беспрерывного и готового к услугам импорта. При таких обстоятельствах английскому денежному капиталу оставалось или пойти только на удовлетворение нужд Англии, на внутреннюю шерстяную торговлю, и тогда, конечно, получился бы недостаток сбыта, ибо все-таки шерсти в эпоху Алой и Белой розы производилось больше, чем требовалось для туземного населения; или же, удовлетворяя Англию, попытаться удовлетворить и континентальные рынки. Но для этой второй надобности излишка, остававшегося от английского потребления, оказывалось мало, особенно когда с юга и в Брюгге, и в Антверпен, и в Кале, и в Италию шла испанская шерсть. Далее, можно спросить: почему же, если денежный торговый капитал был в общем насыщен или почти насыщен, он так хватался за ускользавшие от него континентальные рынки? В том-то и заключался весь этот кризис, что внутренний английский рынок удовлетворяли мелкие промышленники, мелкие ремесленники, скупавшие и продававшие шерсть малыми партиями и ограничивавшие свои операции городком, де-

ревней, околотком. Их было много и их на Англию хватало. Что же оставалось делать эпигонам степлерства, богатым, денежным фирмам, и в былое время покрывавшим Ламанш и Немецкое море своими гальонами? Что было делать судохозяевам, со времен Эдуарда III, и особенно Генриха V, ставшим особенно многочисленными? [50] Именно степлеры, привыкшие к континентальным рынкам, теснимые там испанскими промышленниками, должны были принять какие-нибудь меры к удержанию своего положения. До времен черной смерти, т. е. половины XIV столетия, даже до второй четверти XV в., англичане не знали, что такое конкуренция по продаже шерсти. Но после опустошений, произведенных черной смертью [51], в Испании начинает быстро развиваться овцеводство и шерстяная индустрия. В половине XV в. уже обнаруживаются тревожные симптомы: испанская тонкая шерсть появляется в Брабанте, во Фландрии, во Франции. Характерная небылица была взведена в те времена на непопулярного Эдуарда IV: будто он улучшил испанское руно, послав в подарок арагонскому королю лучших овец [52]. Приблизительно в 1436 г. появилась на свет любопытнейшая стихотворная книжечка «Libell of english policye» [53]. Автор ее неизвестен, но он большой патриот, и в своем стихотворном трактате он стремится показать все могущество Англии, всю зависимость от нее других наций, все богатство ее торговли и пр. По мнению автора «Libell», для своего благополучия Англия нуждается в «четырех вещах: короле, корабле, мече и власти над морем» [54]. Все эти блага достижимы и сохранимы преимущественно торговлей, а в торговле Англия может «уморить голодом фламандцев» и чуть ли не всех своих контрагентов. Таковы руководящие идеи «Libell of english policye». На стр. 160—161 этого сочинения мы встретили глубоко знаменательные в устах такого патриота Англии и английской торговли заявления: он весьма много говорит об испанской шерсти, являющейся на фландрские рынки; и хотя относится к ней горделиво, но, видимо, придает факту ее появления большое значение. «Без английской шерсти,— хвалится он,— не могут все равно существовать ни Испания, ни Фландрия». Но, и помимо того, Англия может просто запереть Ламанш [55] и «покончить» (bringe aboute) сношения между Испанией и Фландрией. Это не то совет разделаться с конкурентом, не то попытка ободрить соотечественников. Ободрительный тон совсем ясно сказывается и в восхвалении преимуществ английской шерсти, которую, по мнению автора, фламандцы имеют все основания предпочитать испанскому сырью. Тут же он дает еще указание, близость которого к истине проверить трудно вследствие отсутствия более или менее точных данных по ранней истории испанской шерстяной индустрии. Он говорит, что, правда, английские ремесленники не выучились еще как следует

обрабатывать шерсть и выделывать шерстяные изделия, но и испанцы мало в этом искусстве понимают, и, привозя сырье во Фландрию, они увозят оттуда к себе домой готовые сукна; между тем только тогда сукна бывают хороши, когда испанскую шерсть смешать с английской [56], иначе из одной только испанской хорошего товара получиться не может: настолько будто бы английская шерсть лучше испанской. Итак, захоти Англия прекратить торговлю с Фландрией — погибнут от голода и фламандцы, и испанцы.

Однако XV век не оправдал оптимистических воззрений «Libell of english policye». Испанская шерсть не только не скрылась на фламандских рынках, но появилась во Франции и в Италии. Конкуренция привела к довольно натянутым отношениям между Англией и Испанией. Дело дошло до того, что Генрих VII обложил высокой пошлиной товары, привозимые испанцами в Англию и даже вывозимые из Англии; случилось это в 1489 г. и было обставлено весьма дипломатически королем, ни за что не желавшим тогда открыто ссориться с Фердинандом Католиком. Однако спустя несколько времени Фердинанд, осыпаемый жалобами и просьбами своих подданных, успел настоять все-таки на отмене этих высоких, особенных для испанцев, пошлин. Отношения между двумя странами были так враждебны, что испанцы, например, делали все усилия к прекращению у них английской торговли, а англичане в свою очередь не стеснялись под самыми вымышленными предлогами изгонять из своих портов испанских купцов. Эта вражда была как бы прологом к той непримиримой и многолетней войне, которую Елизавета уже во второй половине XVI в. должна была выдержать против Филиппа II, бывшего не только личным, политическим и религиозным антагонистом ее, но и торговым конкурентом.

Испания мешала Англии не только конкуренцией: она закрыла перед английскими купцами такой, например, рынок, как Венецию, и закрыла на 8 лет (1508—1516) военными операциями, лишившими англичан возможности даже подступить к городу. А сколько Венеция потребляла английского сырья, явствует хотя бы из того, что обработкой шерсти там было занято не более не менее, как 30 тысяч человек. После мира между Венецией и Испанией в 1516 г. сношения с Англией республика возобновила, но восьмилетний перерыв, разумеется, не мог остаться без влияния на дела английских купцов; перерывов таких можно насчитать несколько.

И еще это не все: английское купечество со времен войны Алой и Белой розы, со времен этой внутренней междоусобицы, гораздо более вредной для торговли, чем чужие, внешние войны, не могло никак вполне утвердиться на прежних рынках. Степлеры на севере Европы, «отважные купцы» на Средиземном

море первенствовали, но уже не были одни: не забудем, что для Кастилии, Арагона, Каталонии время борьбы Йоркской и Ланкастерской династий было как раз тихим, спокойным временем, и пока англичане теряли позиции, испанцы их захватывали. С половины XV в. так все слагались обстоятельства, что и английские междоусобицы, и испанский мир, и внешние европейские войны — все шло в пользу Испании и клонилось к ущербу Англии. До коммерческой победы Испании было, конечно, весьма и весьма далеко, но мы лишь указываем, какой враг стал лицом к лицу со steплерством и с merchant adventurers в эпоху первых Тюдоров. Открытие Нового Света, прилив благородных металлов в Испанию дали этой стране по крайней мере на первые 25—30 лет огромное и реальнейшее преимущество перед остальной Европой. В деле завоевания и упрочения за собой хотя бы тех же фландрского, французского, итальянского рынков английский денежный капитал увидел себя лицом к лицу со страшным, неистощимым врагом, врагом, которого не могло остановить ни уменьшение цен, ни искусственное, умышленно убыточное для себя ведение торговли, лишь бы изгнать конкурента. Правда, на стороне степлеров и вообще английских купцов были также известные шансы борьбы: во-первых, все-таки английская шерсть была лучше испанской; во-вторых, испанский денежный капитал вовсе не устремился на систематическую травлю английской внешней торговли; в-третьих, именно открытие Америки и широкая мировая политика Карла V надолго оторвали испанцев от дальнейшего расширения торговых операций с шерстью во Фландрии и иных европейских рынках. Наконец, в-четвертых, и это прямо касается нашей работы, денежный капитал степлеров и отчасти merchant adventurers, не найдя для себя достаточно пищи во внутренней торговле, которой занимались либо самые мелкие производители-скотоводы, либо столь же мелкие торговцы, не находя уже и достаточного количества шерсти, которым можно было бы заполнить и удержать за собой свои рынки, этот со времен Эдуарда III непрерывно выраставший английский денежный капитал увидел перед собой кризис, и кризис слишком серьезный: не то, что для победы, но просто для начала борьбы нужно было прежде всего, и чего бы это ни стоило, добыть побольше шерсти всех сортов, всех цен, но поскорее и как можно более. Покровительственная промышленная политика XV в. сделала то, что к началу правления Генриха VII вся Англия одевалась шерстью своих овец, и для экспорта, как сказано, оставалось слишком мало, чтобы дать хотя бы одному степлерству достаточно пищи. Английскому крупному купечеству оставалось или примириться с близким своим падением, или добыть шерсть для экспорта. Добыть ее можно было единственным способом: расширением площади пастбищ,

разведением овец в огромных количествах. Для успеха, и главное *быстрого* успеха, нашествия капитала на землю требуются два условия: 1) чтобы капитал был наиболее удобоподвижен; у английских купцов капитал был денежный; 2) чтобы земля была от этого нашествия слабо защищена, т. е. чтобы ее настоящие собственники либо не хотели, либо юридически не могли противиться капиталу; посмотрим же, было ли налицо в Англии первых двух Тюдоров это условие.

2

Прежде всего нужно разрешить вопрос: кто был в момент нашествия капитала *юридическим* собственником английских земель, т. е. по чьему адресу непосредственно должны были последовать предложения капитала относительно скупки или аренды.

Изложение юридических обстоятельств, при которых начались скупка земель и расширение пастбищ, нужно начинать издалека, с 1235 г. В 1235 г. в Мертоне собрался баронский парламент во главе с королем Генрихом III, и здесь был утвержден так называемый мертонский статут, прямо определявший права лендлордов, хозяев мэнора. Для точности приводим подлинное место мертонского статута, легшее в основание юридических теорий о земельной собственности в XIV, XV и XVI вв.:

«Ввиду того что многие английские вельможи [57], роздавшие в виде фьефов своим рыцарям [58] и свободным держателям малые участки земли [59] в своих больших мэнорах, принесли жалобы на то, что не могут извлекать выгоды из остальных частей своих мэноров [60], как-то: рощ, пустошей и пастбищ, в то время как сами арендаторы имеют достаточное пастбище, относящееся к арендованному ими участку, ввиду этих-то жалоб вельмож предусматривается и постановляется: в случае возникновения где бы то ни было со стороны арендаторов претензий, что вельможа посягает на общинное пастбище, и в случае, если при этом перед судьями будет доказано, что жалобщики-арендаторы имеют уже в своем распоряжении площадь пастбища, достаточную для их участка, и что они имеют свободный доступ к этому своему пастбищу, тогда да удовольствуются они тем, чем владеют, а вельможи пусть пользуются *своими* землями, пустошами, рощами и пастбищами».

Таков этот мертонский статут. Редко когда юридический памятник может дать больше для уяснения социальной и экономической деятельности создавшей его эпохи, и в данном случае это тем драгоценнее, чем скуднее вообще источники о правовых аграрных отношениях того времени. Прежде всего обращаем внимание на изложение, на внешность статута.

Начинает он объяснением своего происхождения: «multi magnates Angliae questi fuerunt» жаловались на затруднения со стороны арендаторов, а кончает довольно неожиданно — указанием судьям на то, как надлежит поступать в случае принесения жалоб на магнатов *со стороны арендаторов*. Кто же был истцом в глазах мертонских законодателей? Кто кого обижал: лендлорды держателей или держатели лендлордов? Конец статута не только говорит о жалобах арендаторов на захват лендлордами общинных угодий, но он даже рекомендует судьям убедиться, имеют ли арендаторы и без общинных угодий достаточную площадь пастбища. Значит, мертонский статут, имеющий форму инструкции судебным учреждениям, писался в предположении, что судьи будут иметь дело не с процессом лендлордов против земельных держателей, но с процессом земельных держателей против лендлордов. Как же понимать первоначальные слова: magnates questi fuerunt, положенные в объяснение всего статута (*quia* etc.). Этот вопрос разрешается, как нам кажется, вполне удовлетворительно, если вспомнить сословное положение мертонских законодателей: мертонский парламент собрался спустя 19 лет после появления «Magnae Chartae»; это был парламент, состоящий исключительно из баронов, из магнатов, лендлордов, из феодальных владетелей английской территории. Именно они-то и *жаловались* в Мертоне друг другу, они-то и выслушивали неудовольствие людей своего класса на притязания свободных держателей относительно общинной земли, они-то и издали во внимание к этим жалобам инструкцию судьям о том, как решать процессы, возбуждаемые земельными держателями против лендлордов. Претензии лендлордов относительно затруднений, испытываемых со стороны земельных держателей, выражены словами: questi fuerunt, что имеет по средневековой латыни больше значение высказанного неудовольствия, сетования; а во фразе относительно претензий, которые могут иметь арендаторы против лендлордов, говорится уже об ассизах (assize), о форменной судебной тяжбе. Итак, мертонский статут изображал собой инструкцию судьям, как решать дела между свободными держателями и верховными владыками мэноров. Отсюда выводим заключение, что на всей территории мэнора уже в начале XIII в. было всего два класса: milites et libere tenentes, которые могли хоть как-нибудь помешать лендлорду захватить общинные угодия. Что же это были за классы?

Процесс феодализации Англии начался с раздачи королями последних времен англо-саксонского периода земельных подарков монастырям и аббатствам, и, как указывал уже давно, впрочем больше по счастливой интуиции, нежели опираясь на факты, Palgrave [61], светское крупное землевладение также было уже отчасти налицо еще до норманского завоевания. Во всяком

случае норманское завоевание со всей силой обязательных правил и правительственных воззрений закрепило всю территорию центральной, южной и большей части восточной Англии за несколькими тысячами сподвижников Вильгельма Завоевателя. В XII столетии в Англии застаем такую картину мэнора [62]. Мэнор делился: 1) на господскую землю (demesne, dominicium), остававшуюся в непосредственном владении хозяина поместья и обрабатываемую рабами хозяина (servi, villani puri); 2) на общинные угодья и 3) на землю, отдаваемую держателям. Держатели эти в XII и XIII вв., а до известной степени и в XIV в. делились на две категории: свободных лично и несвободных лично. Что касается до несвободных лично, то они нас здесь интересовать не могут, ибо личная несвобода, как сейчас увидим, почти бесследно исчезла из английских социальных отношений ко времени, когда началась аграрная революция XV—XVI вв. Коснемся только свободных держателей, о которых говорит мертонский статут, которые имели, судя по этому же статуту, кое-какие права на общинную землю и которые были уже поэтому юридически наиболее сильны из всех арендаторов мэнора. Рыцарями (milites, knigths), получившими фьеф (infeofati), можно считать свободных людей, поселившихся с согласия лорда на его земле, получивших определенный надел из той части мэнора, которая сдается держателям, и обязанных перед лордом взносом известного оброка, а не отбыванием барщины, эти milites, или military tenants, все более и более с течением времени смешиваются и в названии с совершенно однородными libere tenentes; очевидно, в первые времена, в медовый месяц норманского владычества, действительно, военные спутники норманских феодалов, становясь их вассалами-арендаторами, сохраняли свое характерное название, но через 3—4 столетия совершенно этот вид свободного держания слился и по названию со всем классом свободных арендаторов. Итак, libere tenentes были наилучше в юридическом смысле поставленными лицами из всех обитателей мэнора (кроме, конечно, лендлорда). Ashley говорит, что этот термин libere tenentes довольно эластичен [63]; действительно, права и обязанности этих лиц весьма сильно варьируются с течением времени и смотря по территориям, но так или иначе они наиболее, по-видимому, защищены были законом в одном из драгоценнейших прав — в праве пользоваться общинным пастбищем. Но еще Нассе отметил [64], и, конечно, его замечание ничем опровергнуто быть не может, что с термином «общинная земля» в английской истории необходимо обращаться весьма осторожно. Дело в том, что юридически никакой общинной земли, в смысле собственности всех обитателей мэнориального поселка, не существовало. Лендлорд — вот кто был верховным собственником всего мэнора, всех без исклю-

чения земель поместья. Старая англо-саксонская традиция, общинные привычки и тенденции, отсутствие интенсивного господского хозяйства, трехпольная система, при которой без постоянного и хорошего пастбища нельзя совершенно обойтись,— все это способствовало: 1) тому, что в течение XI—XV вв. общинные угодья и, в частности, пастбища фактически существовали, и 2) тому, что обычное право породило нечто вроде известной юридической почвы для вмешательства свободных держателей в распоряжения лендлорда касательно общинных угодий. На самом деле для почвы такой не было юридических оснований, но даже узко сословная инструкция судьям мертонских законодателей считает нужным хоть по форме считаться со свободными держателями и рекомендует, прежде нежели отказать им в иске, удостовериться в достаточности имеющихся у них пастбищ (т. е. остающихся после лендлордского захвата). О других категориях мэнориального населения, о несвободных держателях, статут и не упоминает; уже тогда, уже в начале XIII в., только часть (и малая часть) мэнориальных обитателей имела хоть даже призрачные права на общинные угодья, остальные и того не имели. Это полное отсутствие прав несвободных держателей на общинную землю, выводимое нами из мертонского статута, подчеркивается и иллюстрируется еще тем обстоятельством, что несвободные крестьяне, кроме всех своих повинностей, вносили еще и особую плату [65] за пользование общинными пастбищами и лесами. С XIII в., точнее с самого конца его, как libere tenentes, так и несвободные держатели начинают уплачивать кое-где свой оброк звонкой монетой, а не натурой, как раньше. Сорольд Роджерс в «Six centuries of work and wages», стр. 30, указывает, что даже во времена барщинной повинности (т. е. до XIV в.) английский серв вовсе не был в таком совершенно рабском и беззащитном положении относительно лендлорда, как его континентальные собратья; это иллюстрируется уже тем, что есть многочисленные примеры договоров, соглашений между крепостным и его господином. Если мы будем иметь это в виду, то не удивимся быстрому возрастанию личной независимости сервов с того времени, как денежные платежи заменили натуральные повинности. В XIV столетии крепостные уже называются держателями по обычаю (customary tenants), или копигольдерами. Название копигольдеров, впрочем, распространилось с конца XIV в. и на новых, пришлых арендаторов, совершенно не знавших никогда несвободного состояния и селившихся на землях, заключив с лендлордом тот или иной договор. Обыкновенно договор этот заключался на несколько лет или пожизненно и считался владением «на основании обычая и воли лорда» [66]. Уже из безразличного смешения терминов customary tenants и copyholders, из приме-

нения этих названий и к потомкам сервов, и к совсем свободным людям, мы можем измерить весь прогресс личной свободы, которым крепостные были обязаны введению денежных платежей вместо барщины и натуральных повинностей. Отчасти переменилось название свободных держателей, libere tenentes, freeholders: они стали называться (наряду с прежними обозначениями) также йоменами. Теперь уже, в XIV и XV вв., эти аристократы мэнориального трудящегося люда были связаны с лендлордом только самой незначительной денежной податью, которую они и платили не столько в качестве аренды, сколько в виде эмблемы признания старинных верховных прав владельца на землю. Сервы, позднейшие customary tenants, платили аренду более или менее значительную еще и в XV в., ибо сравнительно недавно (за 100, 120, 150 лет перед тем) избавились от барщины, заменив ее денежным взносом; копигольдеры в начале царствования Тюдоров также платили аренду, хотя и очень легкую, но все же представлявшую известную ценность; легкой же подать эта была потому, что копигольдеры, раз навсегда еще в XIV в. условившись платить лендлорду известную сумму, передавали аренду из поколения в поколение, ценность продуктов росла, а плата, уплачиваемая копигольдерами в последней четверти XV столетия, все еще оставалась в размерах, определенных иногда за 100 лет еще предками их лендлорда. Наконец, йомены (бывшие libere tenentes) платили совсем уже ничтожную денежную сумму, ибо они были всегда свободны, барщины никогда не несли, а взносы натурой заменили денежной уплатой еще в начале XIV в., многие же — и в последние десятилетия XIII в., когда покупательная сила денег была несравненно больше, чем 150—200 лет спустя. Итак, положение свободных держателей ко второй половине XV в. стало поистине превосходным: они сделались, в сущности, полными владельцами своих участков — de facto; положение бывших несвободных держателей также ярко улучшилось приобретением личной свободы; что их не угнетали лежавшие на них денежные повинности, явствует уже из того, что поместные владельцы даже пробовали уже спустя 50—75 лет после распространения денежных платежей снова заменить их старыми повинностями, но это им не удалось [67]. Податные взносы, казавшиеся низкими даже в XIV в., конечно, могли совсем не затруднять плательщиков в XV столетии. Наконец, положение копигольдеров, сравнительно недавнего происхождения арендаторов, также было по меньшей мере обеспечено и низкой тоже давно установленной арендой, и все большей и большей прибыльностью земледельческого труда. Недаром после аграрной революции (и в разгаре ее) старый порядок вещей должен был казаться многим потерянным раем. Потомок йомена, придворный проповедник

времен Эдуарда VI, говорит [68]: «Отец мой был йомен и не имел своей земли: уплачивая за свою ферму не более 2 и 3 фунтов в год, он получал столько дохода, что содержал с полдюжины рабочих. У него было пастбище для 100 овец, и мать моя доила 30 коров. Он являлся для исполнения королевской службы самолично с оружием и лошадью. Я помню, как я застегивал ему латы, когда он отправлялся на поле в Блекет. Он посылал меня в школу, иначе я не проповедовал бы теперь перед его величеством. Он выдал замуж моих сестер, дав каждой в приданое по 5 фунтов, или 20 ноблей, и воспитывал их в благочестии и страхе божием. Он оказывал гостеприимство бедным людям и подавал нищим, и все это с доходов упомянутой фермы» и т. д.

Добавим, что шерсть, обогащавшая купцов, обогащала и всех трудящихся над землей, ибо они-то и продавали эту шерсть *маленькими партиями в руки степлеров, нагружавших этими* отовсюду отдельно купленными тюками свои гальоны; те же йомены, копигольдеры, держатели по обычаю продавали шерсть мелким и крупным ремесленникам, выделывавшим ее и для экспорта, и для внутреннего сбыта. Не только продукты хлебопашества, но и это, как говорит Fitzherbert, публицист 20-х годов XVI в., и это «золотое руно», обогащавшее нацию, исходило из рук трудящегося над землей люда.

Теперь, очертив экономическое благосостояние издавна свободных и недавно освободившихся обитателей мэнора, благосостояние, покупаемое ничтожной или скромной денежной податью, снова возвратимся к вопросу: был ли под этим благосостоянием твердый юридический фундамент? Действительно ли так непоколебимо сидели на своих участках йомены, копигольдеры, держатели по обычаю? Этот вопрос заставляет опять вернуться к временам мертонского статута.

Статут, как мы видели, кроме незначительной и эластичной оговорки о необходимости удостовериться в «достаточности» пастбища, остающегося свободным держателям, дает лендлорду полнейшее право огораживать общинную землю мэнора, если он найдет это необходимым. Как уже было сказано, о наиболее многочисленной и разветвленной группе несвободных держателей не говорится ни слова. Но уже через 50 лет лендлордам показались слишком широкими термины мертонского статута, и они в 1285 г., уже при Эдуарде I, добились второго памятника аграрного законодательства того же характера: так называемого вестминстерского статута [69]. Законодатели вестминстерского парламента Эдуарда I стремятся устранить терминологическую неточность, вернее невыгодную для лендлордов широту термина libere tenentes, в мертонском статуте. «Ввиду того, что в статуте, изданном в Мертоне, было постановлено то-то и то-то (переписывается мертонский статут — *Е. Т.*), и ввиду того, что

в нем совсем не было упомянуто о различии между поселянами (inter vicinum et vicinum), многие владельцы рощ, пустошей и пастбищ до сих пор затрудняются [70] противоречиями [71] со стороны поселян, имеющих достаточно пастбищ, и так как держатели земли от другого лица (не непосредственно от лендлорда) не более прав имеют на рощи, пустоши и пастбища, нежели собственные держатели владения [72], ввиду всего этого постановляется, что мертонский статут, изданный для хозяев и их держателей, должен иметь силу по отношению к поселянам [73], так что владетель мэнора, оставив своим людям и поселянам достаточное пастбище, может пользоваться остальным». Опять-таки вестминстерский статут с той же неопределенностью говорит об оставлении *достаточных* пастбищ «своим людям», но недаром в XVI в. публицисты, враждебно относящиеся к аграрной революции, с горечью говорят о полной неопределенности слова sufficiens. Кроме этих двух статутов, можно было бы еще упомянуть о трактате Бректона, появившемся в середине 60-х годов XIII в. и изображающем нечто вроде справочной книги и собрания юридических комментариев, но проф. Виноградов [74] доказал, что хронологически текст нельзя приурочить к определенному времени, что позднейшая редакция многочисленных интерполяций несомненна. Ввиду этого мы находим, что Т. Е. Скреттон [75] (впрочем, совсем незнакомый со статьей Виноградова) слишком доверчиво и без малейшей попытки критики относится к тексту Бректона. Тем же догматическим отношением к этому тексту грешит и Нассе [76]. Но мы посмотрим на трактат Бректона не как на подлинный источник эпохи между мертонским и вестминстерским статутами, а просто как на изложение взглядов, господствовавших в юридической практике относительно обоих статутов. Главное, что мы выносим из Бректона,— это что даже libere tenentes могли претендовать на лендлорда по поводу захваченной им земли только в том случае, если они предъявляли суду определенный договор, состоявшийся между ними и лендлордом. Оба статута, впрочем, и без того отдавали общинные угодья в полную власть помещика, тем более что он пользовался с исконных времен так называемым jus faldae, т. е. правом загонять свой скот на общий выгон; уже это право, примененное без ограничений в эпоху сильного развития скотоводства, могло бы жестоко затронуть интересы арендаторов. В самом деле, ограничений juris faldae сборник Бректона, например, совсем не знает, а полное отсутствие у всех нефригольдеров, несвободных держателей каких бы то ни было прав на выгон ему хорошо известно, и он как бы подчеркивает смысл молчания о них мертонского статута: quia nemo potest communiam pasturae clamare, ut pertinentem ad liberum tenementum suum, *nisi ille qui liberum tenementum habet* [77]. Постепенный

процесс (и техническая сторона его) исчезновения крепостничества совсем не входит в рамки нашей работы [78], так же как социальные пертурбации XIV столетия, ставшие в последнее время предметом новой и разносторонней разработки [79]. Для нашей цели важно только отметить, что освобождение крестьян, каким бы сложным стечением причин оно ни объяснялось [80], в XV столетии, уже в эпоху войны Алой и Белой розы и во всяком случае в правление Генрихов, есть факт, совершившийся почти на всем протяжении королевства, и что этот факт нисколько не содействовал юридическому упрочению прав держателей на землю. М. М. Ковалевский во втором томе своего «Экономического роста Европы», Томпсон в своей «English municipal history» собрали весьма характерные факты из области деятельности вотчинных судов XV столетия, показывающие, что огораживания были в ходу в Англии еще и до Тюдоров; пишущий эти строки, натолкнутой чтением монографии Охенковского [81], подробно изучил забытого и воскрешенного Охенковским писателя XV столетия Россуса: картины, которые рисует Россус [82], кажутся иногда прямо выхваченными из эпохи «Утопии», трактатов Фицгерберта, проповедей Латимера. Ясно, что твердо обоснованные суверенные права лендлорда над всей землей мэнора уже в середине XV в. начали получать должную оценку со стороны торгового капитала, нуждавшегося во все большем и большем количестве шерсти; ясно, что и лендлорды не могли довольствоваться весьма умеренными арендными платежами, получаемыми от фригольдеров, копигольдеров и держателей по обычаю. Россус не замечает в лендлордах того «развития чувства гуманности», которое подметил и за которое одобрил их через $4^1/_2$ столетия Гоппер, автор указанной выше статьи в «Handwörterbuch der Staatswissenschaften». Напротив, он громит их, называет сынами не бога, но маммоны [83]; объясняет их поступки жадностью (cupiditate); говорит об отнимаемых у бедного люда пастбищах. Но о пастбищах говорят и протоколы вотчинных судов; о пастбищах известно и из мэнорских ренталей, и из Бректона, и из мертонского статута и вестминстерской интерпретации; все эти источники говорят нам о тех или иных правах хотя бы даже одной части поселян на мирское пастбище; наконец, обычное право всегда было за то, что к известному земельному держанию «относится», «принадлежит» возможность для держателя (common appurtenant, common appendant) выгонять свой скот на общее пастбище; не менее известно и то, что lord of the manor был вместе с тем владыкой всей почвы, lord of the soil, что так смотрел на него закон и что слишком редко поселяне могли на основании эластичного выражения мертонского статута (sufficiens pastura) требовать и добиться в суде, чтобы лендлорду было воспрепятствовано распорядиться всем выгоном. Это все известно,

повторяем, и без Россуса. Но у Россуса, и у него первого [84], мы встречаем новые и зловещие слова уже не о захвате мирских угодий, но о чем-то более существенном: «Utinam ipsi *destructores* villarum et earum mutulatores attenderent Christi salvatoris nostri exemplo...» «...omnes istae villae praerecitatae aut *destruuntur*, aut mutulantur, quod dolendum est...» Что это такое? Уже упоминается о разрушении деревень, об их гибели... Что явление это во времена Россуса (в 40—50-х годах XV в.) еще не было всеобщим, можно принять за факт, но что это явление им не выдумано, тоже сомнению не подлежит. Россус указывает прямо на местности и графства, где оно им было замечено. Да и ренталь имения Melton прямо указывает [85], что почти вся земля поместья была уже в руках немногих держателей, но кто были эти держатели, не говорится. Другой ренталь (Addition. Mss. 15761), переписанный нами в Британском музее [86], говорит, что за одно свое имение граф получает от двух арендаторов 60 шиллингов арендной платы, за другое от одного держателя — 46 шиллингов и 8 пенсов; за третье — тоже от одного лица 40 шиллингов. К сожалению, ренталь ни слова не говорит о размерах земли, но тут характерен самый факт сосредоточения трех мэноров в руках четырех держателей. Характерно и еще одно обстоятельство. М. М. Ковалевский [87], говоря о рентале графа Ормонда, высказывает гипотезу, что в общем земли у Ормонда хватило бы для устройства от 20 до 30 крестьянских хозяйств. Нам, впрочем, кажется, что вряд ли эта цифра допустима. Ведь если признать вероятным, что сделка между графом и его держателями состоялась в середине XV столетия или даже в начале (ренталь составлен в 1473 г., но о дате заключения аренды мы указания там не нашли), то оценка аренды вряд ли была бы так уж низка, если не предположить совершенной незначительности поместий графа; ведь арендные цены XV в., и чем ближе к концу, тем больше, все возвышались; но, предположив их незначительность, мы все-таки увидим новую тенденцию сдавать землю в одни руки, а не в несколько. Так как в XIII—XIV вв. мы не можем припомнить случаев сосредоточения целых поместий (хотя бы и маленьких) в руках одного-двух арендаторов, то приходим к заключению, что Ормонд просто *согнал* бывших держателей, и даже может быть не он, а его родители или дед, и согнал для приращения доходов, для удобства, наконец для новых, может быть более выгодных, условий сдачи земли. Но так или иначе, много ли было прежде на этом имении держателей или немного, они считались не единицами, их не было 4 человек в трех имениях. Граф Ормонд бывших своих арендаторов *прогнал*. Если у нас нет особенно многихренталей, дающих эти указания, то есть Россус, негодующие вопли которого весьма характерны своей искренностью и, главное, фактическими ука-

заниями на местности [88]. Значит, *разрушение деревень*, т. е. иначе снос крестьянских дворов, отдача земли в руки немногих ее эксплуататоров, имеющих средства платить столько, сколько прежде не платили целые деревенские общества,— все эти факты уже имелись налицо в середине XV в., хотя и не были еще столь распространенными. Итак, выступил на первый план уже вопрос не об общинных угодьях и правах на него свободных или несвободных держателей, но другая, *несравненно* более фатальная проблема: имеет или не имеет право лендлорд прогнать *совсем* из мэнора своих арендаторов, если это ему заблагорассудится? Юридически сознанное право суверенного владения над мэнором отвечало на этот вопрос вполне утвердительно: да, может. Обычно правовые воззрения говорили: нет, не может. Практика XV в. и особенно его конца показала, на чьей стороне была юридическая и фактическая сила. Уже в средние две четверти (1425—1475 гг.) помещики должны были чувствовать всю убыточность ведения хозяйства при помощи наемного, а не крепостного (как прежде) труда; уже в эту эпоху развитие шерстяного экспорта и покровительственная политика Эдуарда IV и его предшественников так развила текстильную промышленность, что шерсть должна была добываться в громадных размерах и для внутреннего сбыта. С одной стороны, явная убыточность ведения земледельческого хозяйства, с другой стороны, ничтожные, старые, по традиции существующие арендные платы земельных держателей, с третьей стороны, выгодные и заманчивые предложения промышленников, занятых выделкой шерсти,— все это заставляло лендлорда воспользоваться своими суверенными правами на землю. Ничем, решительно ничем английский закон не обеспечивал ни фригольдеров, ни копигольдеров, ни customary tenants от сноса их дворов, от страшного ejectione fitmae после истечения срока аренды. Но и письменные договоры у арендаторов с лендлордами были исключительно редки: люди жили с незапамятных времен на участках земли, и ежегодные ничтожные денежные взносы, по-видимому, слишком мало напоминали им, что эти участки не их, а лендлорда, что они по закону только *временные* возделыватели своей земли, и только. Но процесс сноса дворов и обезземеления арендаторов вплоть до конца войны Алой и Белой розы отчасти маскировался следующим обстоятельством: быть может, вследствие падения экспортной торговли во время войны, быть может, вследствие иных неуследимых теперь причин, но до 80-х годов XV в. более яркую роль в торговле шерстью и шерстяными изделиями играли не столько степлеры и крупное купечество, сколько именно мелкие торговцы и мелкие промышленники, занятые внутренней торговлей (мы говорим о времени приблизительно 1450—1480 гг.). Весьма вероятно, что именно к этой эпохе относится

процесс, делавший фригольдеров йоменами в позднейшем смысле слова, т. е. людьми, работающими над землей и разводящими овец с целью систематической продажи шерсти ремесленникам, выделывающим ее, и купцам. Процесс этот происходил сравнительно просто: фригольдер заарендовывал у своего лендлорда новые и новые участки, откуда сгонялись более бедные арендаторы, и обращал эти участки в пастбища. Явственно проигрывал один, беднейший слой сельского населения, и столь же явственно зато выигрывал другой, более богатый. Вот почему процесс обезземеления не выступал во всей своей наготе. Кроме фригольдеров, и посторонние мэнору лица садились на землю, но настоящий, большой денежный капитал еще не шел к земле; огораживания общинных угодий лендлордами оказывались обыкновенно достаточными для покрытия растущих потребностей сбыта, хотя вышеприведенные цитаты из Россуса указывают, что кое-где сносы крестьянских дворов также начались. Во всяком случае повсеместным это явление не было. В 1450 г. произошло в южной и восточной Англии брожение, связываемое обыкновенно с именем Джека Кэда, и хотя Шекспир влагает Кэду в уста [89] жалобу на герцога, огораживающего общинные земли, тем не менее (как правильно утверждает Скреттон) [90], реальный Джек Кэд и его сообщники ничего об этом не говорили. Ясно, что в середине века еще крестьянские умы не были повсеместно поражены новой бедой. Шекспир, как нам кажется, смешал малоизвестное восстание 1450 г. Кэда с еще менее того известным норфольским бунтом Кэта, происходившим 100 лет спустя и действительно вызванным огораживаниями и сносом дворов. Почти полная одноименность двух вождей могла ввести драматурга в заблуждение.

Но этот грозный разрушительный процесс только замедлился войной Алой и Белой розы, только замаскировался участием одного слоя населения фригольдеров в расширении пастбищ и разведении овец. Во всяком случае к тому времени, когда политические смуты стали утихать, когда степлеры и «отважные купцы» с удвоенной энергией принялись за экспорт шерсти, когда им стало необходимым бороться с испанскими конкурентами, к тому времени, т. е. к началу последней четверти XV в., уже были произведены первые пробы «опустошения» деревень, т. е. удаление арендаторов с насиженных мест.

Вот в этой стадии процесса он уже не маскировался ничем: от него страдали фригольдеры, начавшие кое-где разводить овец, от него страдали и копигольдеры и держатели по обычаю, все они должны были уступить место денежному капиталу, шедшему «обращать нивы в пастбища, храмы в овчарни, кладбища в загоны», как поется в одной балладе [91] XVI в., другими словами, устраивать из лучших пахотных земель пастбища для

разведения невиданного и неслыханного до сих пор в Англии количества овец. Денежный капитал сыграл в готовившейся аграрной революции роль главного активного двигателя, лендлордам выпала роль продавцов и отдавателей в пользование затруднявшего их товара по выгодной для них цене, а фермерскому и крестьянскому населению большей части королевства оставался удел потерпевших и экспроприированных на основании положительных законов. Полная юридическая беспомощность, совершенная невозможность найти хоть какую-нибудь законную точку опоры — вот что характеризует и в XV, и в XVI вв. изгоняемое население мэноров. Сравнительно с совершеннейшим отсутствием ограничений права лендлородов сносить крестьянские дворы, общинные угодья могли показаться еще хоть кое-как защищенными даже мертонским статутом, если бы вообще мертонский статут имел даже тень смысла для людей, изгоняемых вон из мэнора. Итак, к началу правления тюдорской династии удобоподвижный и свободный денежный капитал, шедший из города в деревню, и неоспоримые юридические владельцы земли, к которым эти предложения капитала только и могли адресоваться, были заинтересованы в обезземелении и скорейшем обезземелении всего населения мэноров, без всяких отличий: и фригольдеров-йоменов, и копигольдеров, и customary tenants, а население мэноров юридически было вполне бессильно. Теперь, раньше чем перейти к status quo, созданному во времена «Утопии», очертим скудные и безуспешные попытки помочь страдавшим от переворота.

3

Эти попытки можно при всей их малочисленности разделить на две категории: 1) исходившие от государственной власти и имевшие целью помочь изгоняемому населению мэноров законодательным путем и 2) исходившие из среды экспроприируемого фермерства и выражавшиеся в действиях характера насильственного.

Собственно, правительство Тюдоров было прямо заинтересовано в успехе экономической борьбы с монархией Фердинанда и Изабеллы и столь же прямо нуждалось в успешном поступлении торговых пошлин от степлеров, «отважных купцов» и вообще крупного купечества. Аноним, написавший «The Libell of english policye», служит верным выразителем правительственных воззрений XV и XVI вв., когда все могущество Англии связывает с торговлей и судьбой купеческого класса и предостерегающим примером ставит своим читателям Данию: «Дания в былые времена была полна благородными завоевателями, достойными воителями, но, уничтожив своих купцов, датчане впали в бед-

ность и прозябание, и так они и находятся в упадке до сегодня» [92]. Но до тех пор, продолжает аноним, пока купцы к их выгоде будут пользоваться у нас благоволением и покровительством, мы ни в чем не будем знать нужды. «Если они богаты, тогда благоденствовать будет наша страна, и лорды, и средний класс» [93]. Генрих VII до такой степени занят был поддержкой торговли и торгового флота, что в первый же год своего правления издал закон (прошедший, конечно, через парламент) о запрещении привозить в Англию некоторые товары иначе, как на английских кораблях [94]. Поддержка шерстяной индустрии и торговли — важнейшей отрасли экспорта, тесно связанной с доходами казначейства и развитием торгового флота, всегда озабочивала Тюдоров, с первого до последнего их представителей. Вместе с тем можно указать в их деятельности явственные намерения противодействовать до известной степени сосредоточению земли в руках немногих, что прямо было связано с нуждами торговли. Объясняется это отчасти тем, что правительству для успеха в политических делах нужны были не только деньги, но и люди, а надвигавшийся и уже начавшийся экономический переворот способствовал если не реальному, то видимому обезлюдению страны. Через каких-нибудь 4 года после вступления на престол Генрих VII издает постановление [95], касающееся острова Уайта. В постановлении указывается на то, что многие селения и деревни острова снесены [96], поля огорожены и всюду устроены пастбища и что вследствие этих причин население острова уменьшилось и его боевая готовность на случай войны уменьшилась; почему впредь запрещается одному и тому же лицу владеть на Уайте более нежели одной фермой. Этот закон интересен в следующем отношении. Во-первых, совершенно ясно указывается на основную причину беспокойства правительства: причина эта стратегическая в строжайшем смысле слова. Во-вторых, в высокой мере характерно, что заботы правительства начались именно с острова Уайта. Правда, это был остров, с давних пор ведший оживленную экспортную торговлю; нам пришлось найти даже упоминание о торговле Соутгемптона и Уайта со средиземными портами в те времена, когда средиземные республики имели еще мало сношений с Англией [97], но почему прежде всего все-таки правительство обратило внимание на *его* обезлюдение? Вернее всего потому именно, что Уайт — остров. Изгоняемое население из мэноров переезжало в Англию искать работы, бродяжничать и так далее, потому что на этом маленьком клочке земли делать было совсем уже нечего. Поэтому обезлюдение Уайта должно было казаться особенно рельефным и неоспоримым, а его стратегическое положение ввиду враждебного юго-западного континентального берега должно было особенно усилить тревогу правительства. Прошло после издания закона

об острове Уайте несколько месяцев, и опять парламент издает, а король утверждает новый закон, уже общий для всего королевства. Этот закон (1489 г.) [98] носит характерное название: «An act against the pulling down of towns». В нем говорится об ужасах, происходящих по причине насильственного изгнания фермеров и разрушения их коттеджей, о том, что «где прежде жило и как должно работало 200 человек, теперь живут 2 или 3 пастуха»; что вследствие этого увеличивается число праздношатающихся, хлебопашество гибнет, а оно есть «весьма важный промысел» [99]; наконец, и тут приводится мотив, который следует считать главным и необходимейшим для объяснения всей этой стороны тюдоровского законодательства: «Защита нашего королевства от неприятелей терпит от этого ущерб».

В заключение закон предписывает восстановить фермы, разрушенные за последние годы, и сохранить за каждой из них по 20 акров земли. Проходит 24 года с лишком, и в 1514 г. сын и преемник Генриха VII издает уже новый закон, трактующий все о том же [100]. Законодатель изображает весьма мрачными красками снос деревень и обращение пахотной земли в пастбища, он приказывает, чтобы все фермы, уничтоженные с первого дня заседаний действующего парламента (т. е. текущей сессии), были восстановлены в течение одного года со дня издания закона. Уже через год (в 1515 г.) этот акт получает новое подтверждение и даже грозит непокорным лендлордам отнятием половины земельного имущества до тех пор, пока они не исполнят воли законодателя. Но столь беспокоившее правительство обезлюдение деревень не прекращалось. Это зависело, во-первых, от продолжавшейся и возраставшей нужды купцов в шерсти и, во-вторых, от того, что законодатель всеми своими эдиктами все-таки не давал крестьянам в руки юридического орудия борьбы с лендлордами, к которым адресовались предложения городского торгового капитала. В самом деле: 1) мертонский статут этими эдиктами не отменялся, и лендлорды по-прежнему могли бы, если бы это им было нужно, огораживать общинную землю, не боясь никаких исков; 2) но и исков таких быть не могло, ибо лендлорды попросту сносили целые деревни и прогоняли вон фермеров, а затем, обратив всю пахотную землю в пастбища и присоединив к ней общинные угодья, сдавали ее арендатору-промышленнику, разводившему овец. Протестовать против изгнания фермеры могли сколько угодно в памфлетах, песнях и так далее, но не в судах. Средств изгнания, и средств строго законных, у лендлордов было два. Прежде всего простое и немедленное изгнание по праву lord of the soil, верховного владыки земли, если не было никаких особенных условий у лендлорда с арендаторами, а у большинства их не было, затем возвышение арендной платы (никем и никогда не воспрещаемое)

до невозможных для изгоняемого пределов: тут уж не помогали ни звание фригольдера, ни старые документы. В превосходном сборнике Ченея собрано несколько весьма характерных свидетельств современников о возвышении арендной платы. «Подумайте,— восклицает Brinkelow[101],— какое прегрешение совершается безнаказанно по всей стране вследствие непомерного возвышения арендной платы, все еще постоянно увеличивающейся!» Краули жалуется[102], что «человек, сдававший свои земли за 10 фунтов в год, обмерив их, сдает их теперь за такую высокую цену, что там, где он получал 10 фунтов, теперь получает вдвое».

«Землевладельцы,— пишет он же[103],— стараются извлечь до последнего пенни из своих владений, назначая непомерные платы и пошлины, и тот, кто не хочет или не может дать всего, что они требуют, *должен удалиться,* как бы он ни был честен, какую бы нужду ни терпел. Хотя бы он был верным, честным и смирным арендатором в течение многих лет, он должен по истечении арендного срока уплачивать почти такую же сумму денег, за которую можно было бы купить землю, или поспешно удалиться, хотя бы он, его жена и дети погибали от недостатка крова. Сколько бедствий произошло от этой тирании, худшей, чем турецкая! Сколько честных хозяев сделалось прихвостнями менее честных людей! Сколько скромных женщин погибло! Сколько сыновей, подававших надежды в науках, принуждены были заниматься ремеслами или поступать в поденщики, чтобы прокормить своих престарелых, обнищавших родителей! Какое множество строптивых детей бросились, очертя голову, во всякие пороки и наконец украсили собой виселицу! Сколько скромных и целомудренных девушек, не имея никакого приданого, вынуждены были проводить свои юные годы в неблагодарном труде или обрекать себя на нищенское супружество! Сколько распутных девушек погибло на улице в болезни и нищете! Какое всеобщее бедствие испытывает эта страна от ненасытной жадности землевладельцев!» Возвышение арендной платы не было, повторяем, запрещено ни одним из приведенных законов Генрихов VII и VIII. Мелкие арендаторы и их защитники в литературе и на церковной кафедре могут только молить лендлордов, увещевать их помнить свой христианский долг, и если грозить, то «судом страшным», но не земным: Томас Лептон заставляет лендлорда, возвышавшего арендную плату, мучиться в аду и восклицать[104]: «Вот какое царство купили мне непомерные арендные платы, которые я взыскивал! Охотно променял бы я мое теперешнее положение на самую бедную и жалкую хижину на земле. Когда эти лендлорды придут сюда, они будут горько оплакивать притеснения, которые они оказывали своим арендаторам, доводя их до нищенства». Тиндель[105] в свою очередь

напоминает лендлордам о том, что они — христиане и поэтому должны довольствоваться «арендой по старинным обычаям», не повышая платы. По той же причине они не должны огораживать общинную землю, не должны обращать всей земли в пастбища, «ибо бог назначил землю для людей, а не овец или диких ланей». Хронологически первой и по существу дела важнейшей причиной возвышения арендной платы было, конечно, нашествие денежного капитала на деревню. Аренды возвышались не столько, чтобы в самом деле извлечь больше выгоды из сидевших на земле фермеров, сколько чтобы прогнать их и снести поскорее их коттеджи. Если мы забудем об усовещевающем тоне вышеупомянутых эдиктов Генриха VII, о грозных выражениях эдиктов Генриха VIII, а начнем анализировать их суть, то сразу увидим глубокую и безнадежную нецелесообразность их, нецелесообразность, бросающуюся в глаза, и поймем, что следует удивляться не их полному и безусловному фиаско, а скорее тому, что вообще их издавали. Генрих VII предписывает не сдавать двух ферм в одни руки, но лендлорд всего только возвышает плату на своих поместьях, арендаторы уходят, лендлорд сейчас же сносит их жилища, устраивает из всего мэнора одно обширное пастбище и сдает его в качестве *одной* фермы в руки приехавшему из города промышленнику. Нарушен ли закон Генриха VII? Нет, не нарушен. Генрих VIII приказывает восстановить разрушенные фермы. Лендлорд согласен, и когда обрадованные королевским законом бывшие арендаторы стекаются к родному пепелищу, он им и объявляет, что их дома будут восстановлены и их участки опять будут им отданы, но по такой-то цене (совершенно немыслимой для хлебопашца). Арендаторы, конечно, уходят прочь, а лендлорд, формально исполнивший со своей стороны все, чтобы обнаружить повиновение закону, ферм не восстановляет, конечно, и отдает свой мэнор уже поселившемуся здесь промышленнику. Нарушен ли закон 1514—1515 гг.? Нет, не нарушен. Уже в самом конце царствования Генриха VIII Вильям Форрест[106] писал: «Необходимо обратить внимание на эти непомерные платы и сбавить их до прежних, существовавших 40 лет тому назад, тогда будут достаток и довольство, хотя бы крупные землевладельцы и не изъявили своего согласия. Лучше убавить их доходы, чем допустить тысячи людей погибать с голоду. Для этого ваше величество можете назначить разумных людей из вашего совета, которые приняли бы меры к определению количества земель и ферм и к регулированию арендной платы» и т. д. То, что предлагал сделать Форрест, носит вполне определенное название: это было бы революционным, насильственным вмешательством государства в экономическую жизнь, вмешательством, которое во всяком случае не прошло бы так бесследно, как законы обоих Генрихов. Но на

это Тюдоры не решились. Слишком им дорога была экспортная торговля, ее борьба с конкурентами, ее процветание, особенно в те времена, когда перуанское и мексиканское золото лилось ручьями в казну Карла V и Филиппа II, опаснейших врагов английского самобытно-национального существования, и когда экспортная торговля, и она одна, могла перевести в Лондон хоть часть золота, шедшего через Испанию на остальной континент. Разумеется, слишком законны сомнения, удалось ли бы остановить развивавшийся процесс обезземеления крестьян даже таким вмешательством, но мы лишь отмечаем, что на него, на эту единственно сильную и активную меру, Тюдоры не решились. Это характеризует их двойственное, нерешительное отношение к совершившемуся аграрному перевороту, отношение, обусловленное, с одной стороны, сознанием всей громадной важности кризиса, переживаемого внешней торговлей, с другой стороны, столь же живым сознанием бедствий, происходящих от успеха денежного капитала в деревне. А бедствия эти были: прежде всего обезлюдение деревни, затем бродяжничество, нищенство, рост преступлений. Вследствие этой двойственности Тюдоры продолжали издавать законы, делать распоряжения, которые будто бы направлены к искоренению зла, но на самом деле никакого результата не достигали. Например, через 2 года после издания акта 1515 г. правительство велело составить перепись всех земель, огороженных и обращенных в пастбища с 1485 г. Опись составили, но ровно ничего дальше предпринято не было. В 1534 г., когда ликвидация земельной собственности монастырей особенно ускорила процесс экспроприации фермерского населения, было издано воспрещение всякому частному человеку владеть более нежели 2400 овец, если это частное лицо есть арендатор, но собственник-лендлорд может этому воспрещению не подчиняться [107]. Разумеется, подобный закон не мог бы иметь много смысла, если бы даже и строго соблюдался, ибо лендлорд всегда мог разводить от своего имени сколько угодно овец для своего арендатора. Но даже этого неудобства закон не имел для арендаторов: он просто никогда не соблюдался.

Итак, правительственные попытки противостоять некоторым бедственным и тревожным последствиям совершавшейся аграрной революции не увенчались успехом ни в первую половину века, ни при Елизавете, когда, впрочем, экспроприация уже слишком далеко зашла вперед. «У нас есть хорошие законы,— говорил с горечью Латимер в 1549 г.,— относительно землевладельцев и огораживания ими земель, но в конце концов из этого ничего не выходит» [108]. Последняя половина фразы вполне совпадает с действительностью, но первую мы понимаем больше как иронию или придворный эвфемизм. Если признать главным

принципом всякой кодификации стремление к возможно большей целесообразности издаваемых законов, то аграрная кодификация Тюдоров стоит ниже всякой критики. Правительство хотело бороться с *последствиями* нашествия капитала на мэнор, извлекая в то же время все выгоды от этого нашествия. Задача была не только трудна, но и неисполнима. Юридическая беспомощность экспроприируемых оказалась в XVI в. такой же, какой была и в XV. Но в начале настоящей главы мы указывали, что быстрый темп аграрной революции обусловился не только удобоподвижностью и величиной денежного капитала, ринувшегося на землю, но и социальной слабостью экспроприируемых. Понятие же социальной слабости шире понятия юридической беспомощности. Мы должны теперь отметить, что, не имея возможности на основании существовавших до аграрного переворота и изданных во время него законоположений бороться с коалицией лендлордов и денежного капитала, экспроприируемые фермеры вместе с тем не могли надеяться на успешную борьбу и при помощи незаконных, насильственных мер со своей стороны.

Собственно, серьезным народным движением, прямо вызванным огораживаниями общинных полей и сносом крестьянских дворов, было только восстание Роберта Кэта в Норфольке в царствование Эдуарда VI, в 1549 г. Других движений, заслуживающих хоть какого-нибудь внимания, аграрный переворот не вызвал. Тем с большим интересом мы принялись за его изучение с целью определить хоть приблизительно его силу и размер. Прежде всего, конечно, поиски за разгадкой этой проблемы сосредоточились на том знаменитом сером и обгоревшем по краям листе кэтовского «моления», который, как говорит норфолькское предание, был передан в руки королевских предводителей гонцом Кэта тотчас же после передачи повешенным. Этот лист хранится в Британском музее [109], и в нем-то мы искали разъяснения события. Но кэтовская петиция дала слишком мало, вернее, слишком уже известное. Пришлось обратиться к систематическому чтению всех заметок, всех писем и упоминаний, хоть какое-нибудь отношение к Кэту имеющих [110]. Тогда стало выясняться следующее.

Восстание началось в Норфольке, близ города Норвича. Следует заметить, что к концу первой половины XVI столетия в Норфольке огораживания и снос дворов вовсе не были как-нибудь особенно часты, непрерывны и повсеместны, напротив, в Кенте, Суффольке, Эссексе, Нортгемптоне, Лейстере, Шропшайре земля была либо совсем уже отдана под пастбища, либо большей частью. Это факт несомненный. Далее, точная цифра бунтовщиков неустановима, но, судя по тому, как они вели кампанию, нетрудно догадаться, что их было весьма немного: они

двигались медленно, получая продовольствие от своих семейств и избегая всеми мерами встречи с королевскими войсками. Они избегали даже насилий над лендлордами, а ограничивались только ломкой изгородей и избиением овец на лугах и оленей в парках. В своем движении они приблизились к городу Норвичу, и тут Роберт Кэт расположился лагерем недалеко от города. В этом лагере, по преданию, была совершена расправа с несколькими попавшими в руки Кэта лендлордами [111], и отсюда же Кэт и отправил королю свою петицию. Петиция ничего характерного в себе не заключает. Кэт «молит» короля о запрещении лендлордам эксплуатировать общинные выгоны, чтобы земли сдавались арендаторам по той цене, которая была в ходу при Генрихе VII, а не по новой, возвышенной, чтобы лендлорды не отдавали земель в аренду новым людям из-за корысти и т. д. Любопытно, что в Норвиче решительно все было спокойно, и что более или менее резкого отклика движение Кэта не нашло даже в ближайших графствах. При первой же встрече с войсками бунтовщики рассеялись, Кэта казнили, казнили и еще нескольких; на том все и окончилось, впечатления на правительство бунт не произвел совсем. Герцог Соммерсет в письме к английскому послу в Мадриде говорит о деле Кэта как о совершенно ничтожном происшествии. На людей вроде Краули, искренно преданных делу экспроприируемых, попытка Кэта произвела впечатление вполне определенное. Через несколько месяцев после казни Кэта Краули писал стихи: «Если твой лендлорд возвышает арендную плату, плати ее спокойно и проси всемогущего бога, чтобы он отнял у лендлорда жестокость» [112]. В сущности, движение Кэта было, так сказать, только шумно поданной петицией правительству, не более. Незаконные ломания изгородей, убийство овец и прочее и попутные насилия над несколькими лицами — все это носит слишком мало революционный характер в те времена, когда по другим поводам кровавые драки с тысячами участников были не в редкость. Кэт не переставал от первого дня движения до плахи называть себя верноподданным короля, а лендлордов — нарушителями королевских велений. Знакомство с восстанием Кэта приводит к таким заключениям. Особая сила недовольства в Норфольке, фермеры которого гораздо меньше (количественно) пострадали от огораживаний [113], объясняется, быть может, условиями местными, местноисторического характера, так сказать. Мы предлагаем всякому, знакомому с единственной полной летописью — историей Норфолька, написанной Блумфильдом, сказать: существовала ли в английском королевстве, со времен норманского завоевания и кончая новейшей эпохой, местность, где бы чаще происходили всевозможные волнения и смуты по разнообразнейшим поводам? Разобраться в этом факте, вероятно, возможно, но это сов-

сем выходит из рамок нашей работы. Скажем лишь, что местные причины, местные обстоятельства, местные традиции, может быть, местный этнографический нюанс, может быть, сравнительная заброшенность этого угла, отдаленность его от государственных центров, словом, многие условия сложились так, что известное настроение у норфолькцев прорывалось обыкновенно экспансивнее, нежели то же настроение у населения других местностей королевства. Поведение «бунтовщиков», их петиция, подавление движения без всяких почти усилий со стороны власти — все это показывает, что при всей напряженности чувства недовольства выразиться оно могло только в маленькой вспышке, едва ли не заведомо обреченной на неудачу. Через 3 года (в 1552 г.) имели место совсем уже незначительные и продолжавшиеся несколько дней волнения в Бекингемпшире, которые точно так же никакого отклика не возбудили в остальной Англии. Больше никаких движений нигде не было. Теперь сопоставим с этим фактом *полного* спокойствия, при котором совершалась экспроприация фермерского населения в течение 150 лет с лишком со столь же несомненным и так же хорошо засвидетельствованным фактом действительно ужасающих страданий, перенесенных фермерами, превращаемыми из собственников в нищих бродяг; далее, сделав такое сопоставление, припомним, что при Ричарде II, во время социального возмущения Уота Тайлера, судя по всем свидетельствам, положение восставших не может по интенсивности страдания идти в сравнение с положением экспроприируемых XV—XVI вв.; припомним, что до сих пор не было единогласия в научной литературе о коренных причинах восстания Уота Тайлера, а уже это одно показывает, насколько разнообразны в умах современников события были его мотивы; припомним, что конец XIV в. не оставил и двадцатой доли тех иеремиад, которые остались от XV—XVI, и из всего этого сделаем такой вывод: страдания экспроприируемых в XV—XVI вв. были ужасны, но борьба для страдавших оказывалась совершенно немыслимой, потому что они чувствовали себя очень уж слабыми и одинокими, и это единственное объяснение политического спокойствия, царившего при Тюдорах. Единство мотива, а мотив жалоб XV—XVI вв. один, именно и служит серьезным признаком социального одиночества жалующихся. При восстании Уота Тайлера мотивы были разнообразны, потому что не один общественный класс принимал в нем участие; при восстаниях Разина, Пугачева, жакерии также единства мотивов историк никогда не установит, потому что эти движения захватывали разные слои народа, и слои многочисленные. В местных, ничтожных попытках — норфолькской и бекингемпширской — бунтовщики действовали при полной к ним безучастности большинства населения их же мест

(не говоря о всем королевстве), и единство мотива, царящее во всей *без исключения* аграрно-памфлетной литературе XV — XVI вв., сказавшееся и в петиции Роберта Кэта, еще ярче сказалось в равнодушии и даже злобе, с которыми брожение было встречено Норвичем и населением других мест. Это спокойствие всей страны оттеняется весьма сильно еще тем обстоятельством, что дело происходило уже после факта секуляризации монастырской собственности [114], факта, передавшего в руки первой сотни скупщиков 1/6 часть всей территории королевства. Распоряжением о распродаже монастырских земель Генрих VIII не только ускорил и без того быстрый процесс превращения большей части пахотной площади королевства в пастбище, но лишил уже окончательно и бесповоротно экспроприируемых всякой надежды на помощь благотворительности, которой занимались отчасти монастыри. Но недаром Краули рекомендовал мелким арендаторам в качестве единственного орудия молиться о смягчении лендлордских сердец, недаром Лептон [115] пугал лендлордов только страшным судом и ничем более скорым, недаром Тригг [116] жалуется на жестоких лендлордов, разрушителей сел и деревень, и не находит никаких слов ободрения для тех, о ком он горюет. Невозможность какой бы то ни было борьбы, совершенно очевидно, была ясна всем современникам.

Раньше чем говорить об одиночестве экспроприируемого класса и проистекающей отсюда безнадежности борьбы, упомянем еще об одном обстоятельстве, также чрезвычайно в этом смысле важном. Если обиженный общественный класс и одинок, но сам по себе многочислен, он нередко в истории бывает совершенно побежден в своих попытках помочь своему положению, но сами-то эти попытки приобретают более или менее значительный по размерам характер. Крестьяне в Венгрии 1514 г.[117] были, бесспорно, одиноки в своих стремлениях противодействовать закрепощению и были совершенно раздавлены после бунта, но самый бунт потряс всю страну. Ничтожные размеры английского брожения 1549 г., чисто местный его колорит — все это a priori уже указывает на то, что в нем не принимал участия хоть какой-нибудь, даже и одинокий, но многочисленный класс. Отсутствие других попыток, общий скорбный, но покорный судьбе (хотя и негодующий на врагов) тон памфлетной литературы способны только укрепить это априорное суждение, которое, впрочем, подтверждается и положительными сведениями: *далеко не все фригольдеры, копигольдеры и customary tenants были экспроприированы до конца XVI века.* Показания Стафорда [118] говорят, что *в половине королевства* ренты на землю остаются прежними: причина этому, действительно вероятно, заключается в существовании у некоторых счастливых арендаторов формальных договоров с лендлордами, состоявшихся еще между их

предками и предками лендлорда и содержащих условленные цены, отчасти еще и непригодность некоторых земель к тому, чтобы служить хорошим пастбищем, отчасти и известное, конечно кратковременное, истощение той части денежного капитала, которая производила более 100 лет подряд аграрную революцию. Обезземеление продолжалось энергично и в XVII, и в XVIII, и в XIX вв., но до 1600 г. весьма вероятно, что если не половина, то треть мелких арендаторов уцелела, а некоторые историки думают, что и больше трети. От этого процесс экспроприации ничего не терял в своей остроте и болезненности, но так или иначе *далеко не все сословие мелких арендаторов* от него потерпело в течение царствования Тюдоров. Экспроприация *всего* сословия была, правда, только вопросом времени, но конец XVI столетия ее еще во всей полноте не видел. Итак, обиженный класс за XV—XVI вв. был экспроприирован лишь отчасти, и уже это сделало бы совсем немыслимым общее его восстание, но мало того: он был совершенно одинок. Не имея надежды на поддержку всех лиц своего сословия, экспроприированные в эпоху Тюдоров не имели точно так же и надежды на поддержку других классов общества. Остановимся над этой стороной дела.

Классом, выигрывавшим от экспроприации, были прежде всего купцы. Относительно состава купеческого сословия в разбираемую эпоху мы нашли некоторые указания в трех памятниках, отысканных среди рукописного хлама архива Томаса Кромвеля и изданных целиком Рейнгольдом Паули в геттингенских «Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften» за 1878 г.[119] Все три найденных отрывка писаны Томасу Кромвелю, бывшему главным и наиболее влиятельным министром 1535—1540 гг. Кем они писаны, неизвестно. Паули приписывает, основываясь на сходстве почерков и слога, два из них некоему Клименту Армстронгу, человеку, судя по некоторым данным, сведущему в современной ему английской действительности. Первый трактат является, по-видимому, докладной запиской, писанной для Томаса Кромвеля, и носит название «Трактат, касающийся степлерства и естественных богатств королевства»[120]. Автор «Трактата» вспоминает старые времена «от Ричарда II... до Эдуарда IV», т. е. приблизительно до начала 60-х годов XV в. (Эдуард вступил на престол в 1461 г.). В эти хорошие времена шерсть из Англии вывозилась степлерами в Кале, говорит автор, и продавалась там за наличные деньги. Но со времен Эдуарда «шерсти, которую господь давал ежегодно Англии... стало не хватать для удовлетворения числа степлеров, все более увеличивавшегося»[121]. Степлеры начали скупать тогда шерсть «наперерыв один пред другим»[122], возвышать цены на нее и «вознаграждать» продающих ее «фермеров и их жен». Вследствие этого произошло оскудение шерсти в самой Англии,

и ремесленники, занятые шитьем платья, не в состоянии были покупать нужный им материал: все шло в Кале, где ежедневно возрастали груды шерсти, свезенной для продажи. Когда же, жалуется гипотетический Армстронг, «отважные купцы» (merchant adventurers), корпорация, прежде не особенно покровительствуемая, распространилась и стала наравне со степлерами вывозить шерсть за границу [123], то уже на них не хватило всей шерсти в королевстве, предназначенной для внешней торговли: «...all the staple wolle in the reame was not able to suffise them». И вот тогда-то распространились массами скупщики шерсти, повсеместно называемые broggers (посредниками, маклерами), покупавшие шерсть у бедных людей (owt of pore mens hands) и за звонкую монету продававшие ее в Лондоне как степлерам, так и промышленникам, выделывавшим шерстяные материи [124]. Гипотетический Армстронг напирает на то, что этот новый класс был именно посредником между фермерами и городским капиталом: callid broggers and not staplers nor clothmakers [125]. Тогда фермеры сначала перестали обрабатывать свои участки, находя более выгодным обратить их в пастбища, но затем сами лендлорды бессердечно высчитали (за что особенно громит их Армстронг), что овцеводство несравненно выгоднее хлебопашества, и «для своего собственного блага они разрушили все дома и фермы, лишили арендаторов возможности работать и заставили их блуждать, как в пустыне, прося милостыню, воруя и добывая, как кто может, пропитание» [126]. Как же оправдываются эти купцы, причина всех бед, эти, по энергичному выражению Армстронга, «злые, дьявольские звери»? [127]

Во-первых, они говорят, что если бы они не вывозили столько шерсти за границу, то все равно в Англии этот избыток остался бы без обработки (it should be lost not able to drape it). Во-вторых, они говорят, что без них, экспортирующих купцов, заграничные страны перестали бы покупать английскую шерсть: *испанская шерсть так улучшилась в качестве и возросла в количестве, что никто не нуждается в покупке английской шерсти,* т. е. никто с континента не стал бы приезжать в Англию за шерстью [128]. Приводя эти аргументы, автор с ними не соглашается. Каждый лондонский степлер, восклицает он, лишил работы 4 или 5 тысяч человек! Впрочем, он сам признает [129], что «испанская шерсть так же хороша, как и английская», ибо в последнее время англичане шерсть своих овец ухудшили (housbondid... from better to wurse), а испанцы улучшили, но все же (тут автор впадает в противоречие с самим собой, что, впрочем, для нас неважно), все же на стороне англичан великое преимущество в том, что Англия имеет для сбыта шерсти на континенте степлевые склады, а Испания, «несмотря на все усилия, волей божьей не имеет». Но испанская шерсть, приходя в Брюгге (где

у англичан есть степлевый склад), смешивается промышленниками с английской шерстью, и эта смесь дает такой превосходный товар, что английских материй уже никто не покупает, а предпочитают материи из этой смеси. Что же получается? Что английские мануфактуры будут разоряться, ибо континент в них не нуждается, «так-то степлеры разоряют простой народ» [130]. Все эти цитаты только подтверждают наше мнение, что от начала правления Тюдоров и по крайней мере до Елизаветы английская торговля и промышленность переживали трудный кризис, а не золотое время, что они вели тяжелую оборонительную войну за рынки против наступавшей Испании, что не только «ненасытность», но, повторяем, самосохранение побуждало денежный капитал броситься на землю. Но «трактат» гипотетического Армстронга дает нам еще указание на расширение численного состава лиц, кормившихся возле торговли: во-первых, в необыкновенной степени возросло число степлеров; во-вторых, выдвинулись «отважные купцы» (merchant adventurers) и чуть ли не сравнялись со степлерами с самого начала XVI в. и по количеству, и по размерам капитала; в-третьих, явились своего рода аграрные маклеры (broggers), многочисленный класс посредников между деревней и городом.

Дальнейшее рассмотрение этих «трех памятников» прольет еще свет на занимающий нас вопрос. Гипотетический Армстронг в полнейшем согласии со всей почти специальной литературой XVI в. в своей докладной записке негодует на купцов и лендлордов, но, так же как и вся названная литература, не надеется на исправление зла, причиняемого арендаторам. Он имеет другой рецепт для «пополнения казны короля» и благоденствия королевства: следует, по его мнению, изо всех сил поддерживать ремесленников всякого рода, это достижимо путем строжайшего протекционизма. «Лучше,— говорит он,— уплатить английскому мастеру за вещь 6 пенсов, нежели иностранному—4 пенса», ибо эти 6 пенсов останутся в Англии, а те 4 уйдут из страны [131]. Вообще на ремесленный класс автор смотрит с упованием, очевидно этот класс был для него классом будущего, прибежищем и обеспечением большинства трудящейся массы. Напротив, в слишком уже, по его мнению, расплодившемся количестве мелких торговцев он видит зло: «Лондон теперь в таком положении, что все в нем торговцы» [132]. Другой аноним, написавший также докладную записку Томасу Кромвелю [133], повторяет почти буквально pia desideria о необходимости всеми мерами способствовать преуспеванию ремесленного класса, в котором люди могут быть полезны трудом рук своих и себе, и государству, и путь для этого правительство должно избрать один: строжайшее проведение покровительственной системы; прежде же всего следует озаботиться о развитии

шерстяной индустрии, чтобы была возможность продавать за границей не сырье, но материи. Особенно второй аноним останавливается над вопросом о печатании книг (pryntyng); сразу переносишься в этот век распространения сотен тысяч изданий священных книг, молитвенников, религиозной и всякой иной полемики и т. д.[134]... Аноним советует правительству «не терпеть книг, напечатанных не в Англии», но не по цензурным, а по чисто, так сказать, таможенным причинам: книга есть товар, выделку которого тем более анониму хотелось бы приурочить к своему отечеству, что производство этого товара занимает много рук и способно многих прокормить. Даже третий аноним[135], чающий избавления от социальных зол путем восстановления пахотных земель, и тот больше говорит о ремесленниках[136]. Но этот третий аноним[137] высказывает еще одну мысль, весьма для нас любопытную. Жалуясь на то, что англичане стали забывать священное писание, повелевающее в поте лица своего есть хлеб свой, он с жаром восклицает: «Сын каждого бедняка, рожденный для работы, жаждет стать купцом, продающим и покупающим, никогда не помогающим своим ближним, заботящимся не об общем благе, но о своем собственном!»[138] Мер к уврачеванию зла третий аноним предлагает две. Во-первых, и это он, по-видимому, считает менее исполнимым, король и его совет должны приказать всем купцам и всем выделывающим шерстяные материи платить за шерсть не более тех цен, какие платились 124 года тому назад (т. е. в начале XV столетия); тогда лендлорды не будут иметь причин выгонять вон своих арендаторов, огораживать пастбища и уничтожать пахотные площади. Во-вторых, и это аноним особенно рекомендует, правительство должно воспретить английским купцам брать на континент в уплату за шерсть товары: этот обычай не обогащает Англию звонкой монетой и вместе с тем разоряет ремесленников, которым трудно бороться с импортируемыми статьями[139]. Но что характернее всего, это ход мысли нашего автора. Вот зачем ему, оказывается, нужно принудительное уменьшение цен на шерсть и как последствие этой меры нейтрализация алчности лендлордов: «Это уничтожит изгороди овечьих пастбищ, расширит площадь для хлебопашества, увеличит поэтому количество жизненных припасов в королевстве, так что лица, выделывающие материи, и все другие ремесленники смогут дешево устроить свое существование, что повлечет дешевизну заработной платы и удешевит английские материи и другие изделия». Эта цитата до такой степени кажется выхваченной из 40-х годов XIX столетия, из эпохи Кобдена, до такой степени раскрывает самую глубокую, фундаментальную сущность происходившего экономического процесса, наконец до такой степени весь третий аноним основательно забыт, что приведенное место

мы обязаны привести и в подлиннике [140]. А зачем нужно удешевить английские материи, третий аноним поясняет на следующей же странице: для торговли с «Low-Countries» (Нидерландами) и немцами, которые теперь жалуются на подделки шерстяных материй и предпочитают смесь английской и испанской шерсти. Итак, хотя интересы денежного капитала в XV—XVI вв. в Англии временно совпали с интересами землевладения, ибо у землевладения были юридические права на землю, нужную денежному капиталу, но уже пробивалась коренная противоположность интересов денежного торгового капитала и крупного землевладения, и пробивалась именно там, где было особенно «тонко» — в соединявшем их временном союзе: для завоевания или хотя бы удержания за собой старых рынков, для успешной борьбы с Испанией торговому капиталу нужны были не только обилие и качество шерсти и шерстяных материй, но и дешевизна их, достижимая только удешевлением предметов первой необходимости. Для нас интересно еще, что враг обезземеления арендаторов, враг производимого капиталом переворота, обличитель лендлордской жадности, друг экспроприируемых убеждает правительство (ибо именно к правительству, к королю и его совету обращается) вмешаться в экономическую революцию во имя... интересов сбыта национальных продуктов на континентальных рынках, во имя борьбы с испанской шерстью. Ясно, значит, что близко знакомый с реальной действительностью третий аноним, сетуя об ужасных последствиях нашествия торгового капитала на землю, вместе с тем не скрывает от правительства, что основная цель этого нашествия заслуживает сама по себе сочувствия, что с испанской шерстью бороться необходимо «для пользы короля и государства», но что нужно стараться избавить трудящуюся массу (labourers and workers of the common people) от бедственного положения и дороговизны жизни для польз и нужд того же капитала, того же короля и того же государства... Он даже и не замечает некоторого несоответствия между библейским негодованием, которым он поражал купцов в начале своего трактата за алчность, и прозаическим, даже не косвенным, а прямым оправданием этой алчности, между демократическими пожеланиями всех благ трудящейся массе и разъяснением для какой цели нужно предохранить ее от голодной смерти и скудной жизни. Конечно, предполагать хоть какие-нибудь замаскированные тенденции, умышленное прятание основных стремлений у анонима мы не имеем ни малейшего права: совершенно ясно, что он искренен с начала до конца. Итак, этот третий аноним раскрывает перед нами всю неизбежность, всю непреоборимость совершавшегося процесса, весь фатальный ореол, которым он был окружен в глазах современников, с какой бы ненавистью и негодованием ни относились они

к его последствиям. Статуты Генриха VII, Генриха VIII, Эдуарда VI, начинающиеся негодующим указанием на обезлюдение и кончающиеся полумерами, ничуть и ни на один момент не вредящими капиталу, памфлетная литература, взывающая к сердцу лендлордов и тут же называющая их алчными зверьми, наконец разобранный аноним, начинающий с изобличений капитала и кончающий советами правительству, как бы облегчить действия того же капитала,— все это непоследовательности одного порядка и одинаково вытекавшие из сути дела: сердце поражалось страданиями экспроприируемых, воображение пугалось видимого обезлюдения, политические расчеты требовали поддержки населенности южной, восточной и центральной Англии — все эти разнообразные мотивы заставляли и правительство, и литературу, и анонимов, писавших доклады Томасу Кромвелю, отмечать мрачные стороны, которыми изобиловала происходившая аграрная революция. Но польза, извлекаемая из нее казначейством, многочисленнейшим сословием купцов (куда, как мы отметили, «стремится», по словам анонима, «сын каждого бедняка»), интересы наконец ремесленников — все это требовало не противиться течению, не пытаться разрушить его, подсечь в корень. Вряд ли, разумеется, и мыслимы были бы такие попытки, и еще более можно сомневаться, произошли бы от них хоть какие-нибудь результаты. Когда же политические условия сложились так, что ребром был поставлен в том же XVI в. вопрос о самостоятельном существовании Англии, тогда вся невозможность оставить экономическую борьбу с Испанией стала особенно видна и ясна.

Многознаменательно то внимание и тот жар, с которыми все три анонима относятся к ремесленному труду, т. е. к той форме труда, которая была тесно связана с успехами торговли и не могла не развиваться и расширять свои действия вместе с торговлей. Суконщики всех оттенков и видов должны быть тут прежде всего приняты во внимание. Статутом 1337 г. [141] Эдуард III, превосходно понимавший всю выгоду для английского экспорта в вывозе не сырья или не только сырья, но и шерстяных изделий, на весьма льготных основаниях предлагал фландрским и вообще иностранным мастерам переселиться в Англию. Этот статут привлек немало фландрских мастеров, которые и содействовали усовершенствованию английской шерстяной индустрии, бывшей тогда еще в младенчестве. С XV столетия непрерывно возраставший туземный и континентальный спрос на сукна вызвал весьма большую дифференциацию среди ремесленников, занятых выделкой шерсти. Появляются так называемые cloth-finishers, отделывающие шерстяные материи, появляются специалисты-валяльщики, специалисты-отделыватели, наконец специалисты — продавцы су-

кон для туземного потребления. Эти ремесленники образовывали с конца XIV в. весьма влиятельные цеховые товарищества. В XV столетии в суконной индустрии (особенно в конце столетия) начинает, как известно, устаповляться система мелкого, домашнего выделывания сукна (мастером, его семьей, его учениками и подмастерьями); это сукно продавалось потом далеко не всегда непосредственно потребителям: оно шло чаще всего в руки специалистов, мелких торговцев сукном, и распространялось по стране. К сожалению, ввиду отсутствия данных мы не знаем, как попадало сукно в руки степлеров: прямо ли из дома, где оно было выделано, или пройдя еще через мелких торговцев или комиссионеров. В 1463 г. воспрещением импорта сукон из-за границы национальный рынок был обеспечен за суконщиками и мелкими торговцами. Но после войны Алой и Белой розы усилился спрос на шерстяные изделия со стороны степлеров, merchant adventurers, и вот появляется и с начала XVI в. широко распространяется новая система выделки сукон. Суконщики, затрачивая известный капитал на устройство своего предприятия, принимают заказы от купцов и отдают исполнение заказов целой массе мелких работников, работающих на дому и доставляющих выработанное предпринимателю; сырой материал предприниматель дает им от себя. Несомненно, эти предприниматели часто обирали своих наемников, что явствует, между прочим, и из «Акта о ткачах», изданного в 1555 г., уже при Марии Кровавой. Не будем приводить этого «Акта», не потому что он неважен, но потому, что он в любопытнейших местах своих находится уже в книге Ashley [142]; напомним лишь, что в этом акте говорится о скупой плате, выдаваемой предпринимателями (clothiers), о том, что предприниматели разоряют мелких самостоятельных производителей, и т. д. Акт формально воспрещает какому бы то ни было ткачу держать в доме больше двух станков, воспрещает одному и тому же лицу извлекать выгоды разом из нескольких ремесл и т. д. Это своего рода начало государственной защиты труда показывает само по себе, широкое распространение ремесл и мануфактур к концу первой половины XVI в., причем старые цехи, явственно борясь с домашней промышленностью, с предпринимателями (clothiers), уже ничего не могут поделать с этой более эластичной и продуктивной формой индустриальной деятельности. В эти-то ряды ремесленников — в случае неудачи или ординарных способностей в качестве наемников, в случае удачи в качестве предпринимателей, наконец вдали от торговых центров в качестве уцелевших самостоятельных «домашних производителей» — и шли многие и многие экспроприируемые, здесь-то и находили себе работу. Ненормально быстро разорил их капитал, но почти в то же время, хотя все-таки и не в потребных размерах, он

открыл им новое поприще заработка. Говоря о том, что в его время «сын каждого бедняка стремится стать купцом», аноним может быть только не вполне точно выразился: не только купцом, но и мелким торговцем, и мануфактуристом-предпринимателем, и мануфактуристом-ремесленником, и самостоятельным мастером мог стать «сын бедняка». Разумеется, слишком ошибочно было бы рисовать картину спасения городом деревенских изгнанников, слишком все-таки не совпадал темп экспроприации арендаторов с темпом роста потребности в рабочих руках ремесленников, и, употребляя только что слова «почти в то же время», мы имели в виду хронологию исторического процесса, а не человеческой жизни. Если Дугдель говорит нам [143], что некий Смит выгнал вон 80 арендаторов и устроил пастбище, а эти 80 человек «терпели голод и нужду», то, даже зная, что Варвикшайр, где это случилось в 1494 г., сделался с первых годов XVI в. местом стечения многих ремесленников, мы усомнимся в возможности для всех 80 экспроприированных сделаться ремесленниками. Пять, шесть, десять, двадцать лет, когда речь идет об исторических явлениях, охватываются термином «почти в то же время», но эти сроки слишком достаточны, чтобы выброшенный на улицу человек или изгнанные из мэнора семьи погибли. Мы говорим только, что при всей болезненности, при всей остроте страданий для экспроприируемых в XV—XVI вв. с каждым поколением они находили себе больше и больше шансов не умереть с голоду. Их новая жизнь была несравненно хуже прежней жизни в деревне, но давала им, хотя и далеко не всем, кусок хлеба. Недаром же их стоны стихают все больше, чем ближе конец XVI в., недаром в XVII в. они почти прекращаются: памфлетная литература по разбираемому вопросу почти не существует после первых десятилетий XVII столетия.

На стороне сохранения общественного строя и неприкосновенности экономического процесса в Англии XVI в. стояли: 1) все земельные собственники (лендлорды); 2) весь купеческий класс; 3) все ремесленники, особенно занятые шерстяными промыслами и нуждавшиеся и в возможно большем спросе на шерстяные изделия, и в возможно большем количестве сырья, причем по вопросу об аграрном кризисе между цеховыми и нецеховыми ремесленниками, между предпринимателями (clothiers) и наемниками никакого разноречия не было и быть не могло: при всем несогласии конкурирующих интересов в обилии сырья и в удержании континентальных рынков (иначе в спросе на свои изделия) *все* они были заинтересованы; 4) больше трети мелких арендаторов земли, уцелевших пока (т. е. до XVII в.); 5) все прислужники новых пастбищных мэноров; 6) посредники и комиссионеры всякого рода, кормившиеся около шерстяного

промысла (broggers и т. д.); 7) необыкновенно сильно распространившееся и возросшее количество матросов, доковых рабочих и иных лиц, служивших торговому флоту, который рос параллельно росту торговли.

Все эти общественные слои плотно группировались вокруг почти самодержавно правивших Тюдоров. Таковы были элементы, способствовавшие консолидации английского социального строя XVI в. Кто же был заинтересован в его разрушении или по крайней мере в попытках насильственной приостановки совершавшегося экономического процесса? Около двух третей (т. е. несколько более половины и несколько менее двух третей) мелких арендаторов английского королевства, причем обезземеление, не кончившееся за 150 лет, постигало их постепенно, десятилетие за десятилетием, причем, далее, экспроприируемые отчасти входили в возраставшие кадры перечисленных консервативных категорий и, естественно, прилеплялись к новым интересам; не находившие же себе работы, и их было в первой половине века, конечно, больше, чем во второй, умирали с голоду, шли на большую дорогу, становились бродягами, попадали в дома терпимости. Но их была только *часть двух третей одного сословия,* и эта часть нарастала в течение 150 лет с одного конца притоком экспроприированных и уменьшалась с другого конца, погибая от голода, от веревки и в счастливых случаях находя какое-нибудь пропитание. Вот кто — эта часть экспроприированных — и стоял против социального строя. Что они были безнадежно слабы для борьбы — это показала попытка Кэта, это показала и вся дружественная им литература, об общем характере которой мы говорили. Сказанное только иллюстрирует все основательности этого недоверия к своим силам и к возможности какой-нибудь борьбы.

В эту-то эпоху болезненного и безнадежного (для поражаемых им) экономического катаклизма и появилось произведение Томаса Мора.

Глава III

«УТОПИЯ». КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ «УТОПИИ»

1

Еще в ноябре 1515 г., находясь в Антверпене во время упомянутого нами посольства для улажения торговых дел с Фландрией, котором он принимал участие в качестве уполномоченного от лондонского купечества, Томас Мор завязал знакомство с членом антверпенской ратуши Питером Жиллем, Джайльсом, или Эгидием (так изменялась его фамилия в прихотливом прононсе и транскрипции XVI столетия, любившего латинизировать и грецизировать фамилии); к тому же времени относится и первая его работа над «Утопией». Сначала он написал вторую часть текста, описание Утопии в точном смысле; в письме к Эразму Роттердамскому от 31 октября 1516 г.[144] Мор уже говорит о благосклонном отношении Эгидия к его произведению; это показывает, что работа продолжалась почти год, начавшись в Антверпене и окончившись в Лондоне. Написав сначала вторую часть, Томас Мор остальное время (уже в Англии, вернувшись из континентального путешествия) работал над тем обширным введением, которое и составило первую часть. Только в октябре он отправил всю рукопись Петру Эгидию, сопровождая ее письмом, которое также обыкновенно, по примеру первого издания, прилагается ко всем изданиям «Утопии». Мы перевели его также, но при переводе этого письма придерживались не одного только латинского текста, как при переводе «Утопии», но и английского (1550 г.), потому что именно здесь английский полнее, характернее выражает дружеский и разговорный колорит письма. Разумеется, в тех немногих (четырех) местах, где в английском тексте есть прибавки (даже в 2—3 слова), мы придерживались исключительно латинского*. В письме

* В настоящем издании текст этих переводов и дальнейшие ссылки на них опущены. — *Ред.*

Томас Мор высказывает причину медленности своей работы: он ссылается между прочим на обилие судейских занятий, на семейные обязанности и т. д. Как бы там ни было, если Томас Мор медлил работой, то Эгидий поспешил печатанием: в самом конце 1516 г.[145] «Утопия» появилась в свет в Лувене в типографии Теодора Мартина, причем изданием заведовал Петр Эгидий [146].

Это произведение представляет для исследователя двойной интерес. Прежде всего «Утопия» есть исторический источник, иллюстрация и собрание данных для характеристики социального и экономического положения Англии в начале XVI в. Затем та же «Утопия» содержит разработанное и развитое в подробностях учение об обществе, живущем без частной собственности, причем учение это изложено в форме конкретной фикции, в форме описания выдуманной республики утопийцев. Эта вторая сторона произведения ставит Томаса Мора в ряд творцов так называемых социальных «утопий», произведений, получивших даже самое название от моровского острова, но задолго до Томаса Мора существовавших и не Томасом Мором окончившихся. В той полосе всемирной литературы, которая началась автором «Πολιτεία», Томас Мор составляет посредствующее (и если не единственное, то главное) звено, соединяющее древний мир с новейшей эпохой, эпохой только что окончившегося XIX в. Обратимся к анализу сначала тех сторон произведения Мора, которые делают его важным историческим источником.

Заметим, что мы не можем согласиться с теми, кто делит «Утопию» на две части, по числу «книг» ее, и называет первую часть критической, а вторую — положительной. Подобное деление совершенно неверно, ибо в первой части встречаются уже экскурсы в идеальные страны с образцовыми учреждениями, а во второй читаем полные яду выходки против политических и всяких иных нестроений современного автору европейского мира. Но, признавая слишком поверхностным и внешним обозначения первой книги отрицательной, а второй — положительной, мы думаем, что гораздо рациональнее будет признать существование во всем трактате двух элементов — критического и положительного, причем эти элементы входят и в первую, и во вторую часть и подлежат только искусственному выделению для более удобного анализа всего трактата. Но раньше, нежели обратиться к критическим замечаниям, рассеянным в обеих частях «Утопии», обратим внимание на факт первоначального составления второй части, а не первой: этот факт, как нам кажется, имеет не один только библиографиче-

ский интерес. Во второй части рассказано об устройстве идеального государства, развита в подробностях обширная схема переустройства современного Мору общеевропейского быта на совершенно новых основаниях; заканчивается же эта вторая часть словами, выражающими убеждение Томаса Мора в невозможности ожидать воцарения в Европе утопийских порядков[147]. Итак, на социальные невзгоды своего времени Томас Мор взглянул как на необходимое последствие общих причин, причем в окончательное уврачевание современных социальных недугов он не верит именно вследствие логической связи их со слишком прочно и глубоко укоренившимися общественными учреждениями и обычаями. Уже развив это воззрение во второй части, Томас Мор приступил к обработке первой «книги» трактата, преимущественно занятой критическими и сатирическими замечаниями по поводу явлений английской современности. Это гарантировало само по себе известную разносторонность критического взгляда и внимание к таким сторонам жизни, которые ускользали от других публицистов XVI столетия. Делая эти предварительные замечания, нельзя не упомянуть о внешней форме, в которую отлились произведения Томаса Мора. Эта форма чрезвычайно характерна для того времени: английский Ренессанс, главным и одним из первых деятелей которого был Томас Мор, хронологически совпал с эпохой великих географических открытий, и черты этого сложного, двойственного влияния ясно сказались во внешнем построении трактата. Прежде всего надлежит обратить внимание на прозрачную, откровенную мистификацию, которой дышат все страницы, посвященные выдуманному рассказчику Рафаэлю Гитлодею. Начать с того, что «Гитлодей» есть греческое слово, происходящее от ὕθλος, что обозначает «пустяки», «нелепости». «Утопия» обозначает «отсутствие места», «нигде» (отрицание οὐ и «место» τόπος); утопийская река Anyder обозначает по-гречески «безводный» (ἄνυδρος) и т. д. Все это, конечно, давно раскрыто, и на скорое раскрытие этих псевдонимов автор не мог не рассчитывать, предлагая свое произведение вниманию читающей публики в эпоху общего увлечения греческим языком. Такого рода прозрачные и умышленно откровенные мистификации были совершенно в духе северного, континентального гуманизма, под сильным влиянием которого жил Томас Мор. Не надо забывать, что за 4 года до того, как Мор принялся писать «Утопию», его друг Эразм[148] у него же в доме написал «Похвалу глупости», что Томас Мор был первым человеком, прослушавшим от Эразма чтение этого произведения, и первым, восхитившимся им. «Encomium Moriae», как известно, изобретает царицу-глупость в виде женщины, повелевающей весьма многими людьми и целыми сословиями, при-

чем она произносит хвалебные монологи по адресу своих подданных. «Encomium Moriae» появилось в свет в 1511 г. и вызвало чрезвычайно много шума во всем читающем европейском обществе, Эразм посвятил это произведение Томасу Мору. Впрочем, от того же Эразма мы имеем уже, так сказать, фактическое свидетельство, что и по своему индивидуальному характеру Томас Мор был склонен к разным безобидным мистификациям, что он был «facundus nugator»: в том же «Encomium Moriae» есть эпизод, прямо касающийся будущего собеседника Рафаэля Гитлодея. «Я знаю одного своего однофамильца,— говорит Глупость (Moria),— который подарил своей недавно обвенчанной с ним жене фальшивые брильянты, легко ее убедив не только в их подлинности, но и в неизмеримой ценности, ибо он был красноречивым шутником». Что речь идет о Томасе Море, явствует: 1) из игры слов, построенной на созвучании Morus и Moria; 2) из того, что Томас Мор как раз тогда вторично женился на второй жене своей Алисе, которая весьма любила наряжаться, по отзыву своего мужа; 3) из того места «Утопии», в котором Томас Мор говорит о пренебрежении утопийцев к драгоценным камням [149] и где он утверждает, что людям в сущности все равно обладать ли драгоценностями или думать, что ими обладаешь. Следовательно, не только литературные влияния, не только впечатление, произведенное блестящим памфлетом Эразма, но и личные наклонности ума обусловили мистифицирующий элемент «Утопии». Выразился же этот мистифицирующий элемент так, как подсказывали автору ежедневные впечатления его эпохи, лежащей между открытием Америки, случившемся в год поступления Томаса Мора в университет, и завоеванием Мексиканской империи, происшедшем 4 года спустя после выхода в свет «Утопии». Эти ежедневные впечатления от действительно полуволшебных рассказов моряков и путешественников, возвращавшихся из Нового Света, из Индии, из Китая, из Южной и Западной Африки, чрезвычайно волновали и интересовали образованные, полуобразованные и даже совсем необразованные общественные слои приморской Европы. Отчего было в 1516 г. не поверить существованию коммунизма в какой-то новой Утопии, открытой Гитлодеем, если 14 лет спустя пришлось поверить действительному существованию чего-то вроде государственного коммунизма в Перу, открытом бандой Пизарро? Новейшие исследования пошатнули, правда, взгляд на древнеперуанский строй как на строй коммунистический, но мы говорим лишь о впечатлении, произведенном на европейцев этим первым знакомством с чуждым укладом жизни. Итак, основной тон мистификации подсказывался Томасу Мору впечатлениями эпохи открытий: он вложил рассказ об Утопии фиктивному

своему знакомцу Рафаэлю Гитлодею, якобы открывшему этот блаженный остров. Любопытна еще одна весьма тонкая, но все же уловимая честность в мистифицирующих приемах Томаса Мора: его мистификация как бы рассчитана на две категории читателей, более просвещенную и менее просвещенную. С более просвещенной категорией Мор почти и не хитрит: все, знающие греческий язык, сразу не могли не понять, хотя бы уже по юмористическим псевдонимам, что Рафаэль «Бессмысленный», открывающий остров «Нигде», есть шутка, выдумка; с этой категорией его мистификация столь же умышленно откровенна, как мистификация авторов «Похвалы глупости» или «Писем темных людей», ибо нужны были поистине феноменальная наивность и отдаленность от литературы, чтобы принять «Epistolae obscurorum virorum» за чистую монету. Но что Томас Мор хотел действительно сбить с толку часть своих читателей, это явствует вполне из его письма к Петру Эгидию и из первых, вступительных страниц первой части. Здесь в дружеском и самом серьезном тоне напоминается секретарю антверпенского магистрата о встрече, которую они имели вместе с Рафаэлем Гитлодеем, приносятся извинения перед Гитлодеем на случай, если он рассердится по поводу нарушения своего авторского права, говорится о профессоре богословия, который уже собирается ехать в Утопию проповедовать слово божие, и т. д. С жаром высказывается желание навести еще у Гитлодея кое-какие справки относительно географического положения Утопии, т. е. точнейшие справки, нужные для путешествия туда желающих [150]. Тот же тон выдерживается во всех местах текста «Утопии», где только затрагивается вопрос о личности Гитлодея и его путешествиях [151]. Томас Мор говорит о Гитлодее как о спутнике знаменитого мореплавателя, описавшего новооткрытые части Нового Света и давшего Новому Свету свое имя, флорентийца Америго Веспуччи. Америго Веспуччи посетил Южную Америку в 1499 г., в 1503 г. снова отправился к бразильским берегам и вернулся в Лиссабон летом 1504 г. Вот в это-то путешествие, по словам Гитлодея, он и был в эскадре Америго, и когда Америго, возвращаясь в Лиссабон, оставил в укрепленном лагере на мысе Фрио 24 вооруженных человека, а этот факт твердо установлен в истории его путешествий, то Гитлодей, по словам Мора, также попросил позволения остаться в неведомых странах в числе этих 24 моряков [152]. Из этого-то укрепленного места Гитлодей и совершил свою экскурсию к утопийцам. Нужно заметить, что Америго был в первые десятилетия XVI в. чрезвычайно популярным мореплавателем, едва ли не популярнее Колумба, и уступал в славе разве только одному Васко да Гама, которого ценили тогда гораздо выше Колумба. Связывая с его путешествиями, с хорошо известными

подробностями его странствий, с судьбой 24 моряков, оставшихся на мысе Фрио, судьбу своего Гитлодея, переплетая общеизвестные происшествия с происшествиями фиктивными, автор «Утопии» как бы подчеркивал в глазах известного круга читателей реальность существования своего героя. Но и этим он еще не довольствуется: оказывается, что Гитлодей был знаком с кардиналом Мортоном, тем самым, у которого в доме жил Томас Мор до поступления в Оксфордский университет. Приводится беседа за столом у кардинала, реплики Мортона и т. д. Чтобы докончить характеристику этой писательской манеры автора, еще напомним рассказ об обстоятельствах, при которых Мор встретился с Гитлодеем: его путешествие на континент, цель этого путешествия были весьма многим хорошо знакомы, так же как личность Петра Эгидия и других людей, с которыми сталкивался Мор во время своего посольства. Все это дает нам право предполагать, что, делая свою мистификацию прозрачной для высшего, культурного слоя читателей, автор не прочь был сообщить как можно больше естественности своему рассказу в глазах более широкой публики и предвосхищал позднейший термин — уменьшить *утопичность*, выдуманность сообщаемых фактов. Фридрих Клейнвехтер в своей книге «Die Staatsromane» [153] высказывает мнение, ставящее втупик тем глубоким невежеством, которое в нем изобличается: он думает, что Томас Мор вывел на сцену Гитлодея, ибо сам, «будучи на высоком посту канцлера Генриха VIII», не мог от своего лица, открыто высказывать свои идеи. Прежде всего Томас Мор стал канцлером уже после выхода в свет «Утопии»; затем мысли, проводимые там, он мог высказывать совершенно свободно, ибо «Kommunistische Ideen», о которых говорит Клейнвехтер, решительно ничего запретного в те времена не представляли именно вследствие совершеннейшего отсутствия каких бы то ни было мало-мальски значительных групп, которые бы этих идей в Англии XVI в. придерживались. Генрих VIII как раз и стал особенно благоволить к Томасу Мору, после того как тот прославился «Утопией». Наконец, и это важнее всего, Томас Мор слишком уже прозрачно обнаруживает истинный характер своего отношения к излагаемому Гитлодеем, чтобы можно было обмануться на этот счет. Нет, введение Гитлодея обусловлено было решительной необходимостью: чтобы сообщить читателям не ряд императивных советов и формул (как это делает Платон в «Πολιτεία», Морелли, Фурье, Сен-Симон), но нарисовать перед ними ряд конкретных образов рекомендуемого строя, для этого Мору нужно было прибегнуть либо к приемам сказок, вывести на сцену волшебное, аллегорическое лицо, либо рассказать

о собственном путешествии в неизвестные страны, причем мистификация была бы совершенно уже не прикрыта ничем, ибо чрезвычайно легко Томаса Мора уличили бы во лжи. Оставался тот путь, к которому Мор и прибегнул.

Первая часть «Утопии» своими критическими замечаниями как бы стремится оправдать построение нового социального идеала, не имеющего совершенно ничего общего с критикуемым, а своими экскурсами в область Полилеритов и другие как бы приготовляет читателя к сложному государственному роману, рассказанному во второй части.

Что касается до критических замечаний, то они начинаются с принципиального спора между Петром Эгидием (одним из собеседников) и Гитлодеем. Эгидий удивляется познаниям путешественника и спрашивает его, почему бы ему не воспользоваться своими талантами и сведениями для службы какому-либо государю, через посредство которого Гитлодей мог бы быть полезен для целого государства. Гитлодей возражает ему (и Томасу Мору, также вмешавшемуся в разговор), что он не видит возможности служить королям, ибо короли думают лишь о военных предприятиях, но не о хорошем управлении уже приобретенного [154]. В общем из этого разговора выясняется следующее воззрение на отношения между правящими лицами и «философами», т. е. людьми, которые обладают умом и познаниями и приобрели их наукой и опытом. «Философы» и люди власти могут сойтись со слишком большим трудом по нескольким причинам. Во-первых, цели у них не вполне одинаковы. Люди власти главным образом заботятся о приращении своего могущества, «философы» считают задачей хорошего правительства мудрое и благодетельное управление. Далее, «философ» вблизи короля всегда в одиночестве, ибо в королевских советах преобладают зависть и соревнование, мешающие советникам относиться с должным вниманием и уважением к новым для них идеям философов, а также всякому нововведению, предлагаемому мыслителями; противятся люди, боящиеся «в чем бы то ни было быть умнее своих предков». Остановимся над этим воззрением. [Вопрос об] отношения[х] между людьми теоретической мысли и людьми власти ни разу [не] ставился в литературе Ренессанса до Томаса Мора и Макиавелли. Итальянские гуманисты XV столетия весьма часто рвались на службу к государям и мелким державцам Италии, но это не носило ровно никакого принципиального характера, а просто зависело от соображений личной выгоды. В литературных произведениях гуманистов XV в. можно найти восхваления того или иного политического режима, того или иного представителя власти, и только. Макиавелли первый своим трактатом «О государе»

совершенно явственно обнаружил прямое желание влиять своими советами и соображениями на политическую действительность.

В сущности вопрос, поставленный Томасом Мором, Макиавелли разрешает, так сказать, действием, фактом издания своего трактата. Разрешает ли его определенно сам Томас Мор, сказать довольно затруднительно. Припомним в особенности пессимистическую иронию Гитлодея, когда он, доказывая всю невозможность своей службы при любом дворе, переносится мысленно в заседание тайного французского совета. Все советники французского короля согласны насчет необходимости увеличить территорию королевства и только расходятся относительно способа осуществления этой цели. Все советники равным образом согласны относительно необходимости всякими правдами и неправдами наполнить королевскую сокровищницу и спорят лишь относительно того, как бы поискуснее это устроить. «И вдруг поднимается»[155] Гитлодей и заявляет, что дай бог французскому королю хорошо управлять и той территорией, которая есть, и что лучше законом ограничить размеры королевской казны. «Как ты думаешь, как будет выслушана моя речь?» — спрашивает Гитлодей Томаса Мора. «Конечно, не весьма благосклонно»,— отвечает Мор. С одной стороны, мы видим здесь прямое подчеркивание всей непримиримости между тенденциями «философов» и практических политиков, непримиримости коренной, принципиальной. С другой стороны, могут спросить, почему факту издания «Утопии» мы не придаем того же значения, как факту издания макиавеллевского «О государе». Но Макиавелли прямо обращается как бы с обширной докладной запиской ко всем людям власти, будь эта власть в руках монарха, аристократии или демократии. Понятия «Il principe» и понятия Генриха Тюдора, Франциска Валуа, Фердинанда Католика, Карла V о задачах правительства, о целях, к которым оно должно стремиться, были совершенно тождественны, но в деле понимания способов, как достичь этих целей, в деле проникновения в самую глубину природы людей как социальных существ, разумеется, между автором «Il principe» и современными ему монархами могли существовать отношения учителя и учеников. Макиавелли знал, к кому и для чего он обращается; недаром чуть ли не вплоть до вольтеровского периода его книга не сходила со стола самых выдающихся коронованных особ. Да и форма трактата Макиавелли является своего рода катехизисом практических правил для политиков и людей власти, тогда как «Утопия», принципиально и непримиримо расходясь с европейской правительственной практикой, и по форме своей не могла рассчитывать на серьезное к себе отношение со стороны какого бы то ни было

из современных правительств. Откладывая вопрос о целях издания «Утопии», пока скажем лишь одно: совершенно не веря в возможность для теоретиков, подобных Гитлодею, добиться немедленного осуществления всех своих требований и важнейших своих пожеланий, он все-таки не может согласиться вполне с безусловной бесполезностью теоретической мысли, желающей служить людям практической власти. Некоторый намек на то, какую роль людей мысли при дворе Томас Мор считает наиболее плодотворной, мы усматриваем в следующем месте диалога [156]. Томас Мор напоминает своему собеседнику предсказание Платона, что люди будут счастливы, если только философы начнут управлять или правители сделаются философами, и говорит, что весьма далеко это предсказанное Платоном счастье, если философы подобно Гитлодею не будут даже удостаивать государей своими советами. Гитлодей в ответ замечает, что философами издано уже много книг, которым люди власти могли бы следовать, если бы хотели; но они не хотят, ибо *с детства* уже «заражены» разными ложными мнениями. Если мы сопоставим с этим местом диалога общие педагогические суждения Мора о всемогуществе воспитания, то мы можем прийти к предположению, что автор «Утопии» не мог считать совершенно бесполезным делом присутствие «философов» при дворе в качестве воспитателей. Но и еще есть для «философов» возможность приносить пользу, находясь вблизи людей власти: они могут подавать советы относительно *частичных* улучшений, могут побуждать к пробам, к социальным опытам, к безопасным вполне попыткам уврачевания некоторых недугов общественного строя. Эта мысль проводится в рассказах Гитлодея о своем споре с юристом за столом у кардинала Мортона относительно смертной казни, где прямо по адресу Генриха VIII высказывается пожелание, чтобы король хоть *в виде опыта* отменил на время казнь за воровство; впрочем, этот спор выясняет и такую важную сторону воззрений Томаса Мора, как его взгляд на задачи уголовного правосудия. Юрист удивляется, что воровство в Англии процветает, несмотря на частые казни воров. Гитлодей высказывается решительно против смертной казни за воровство как против бесполезной жестокости. Аргументы его против смертной казни за воровство распадаются на три категории: 1) он приводит ряд доводов, объясняющих обилие преступлений общими социальными условиями; 2) он стремится показать несостоятельность этого вида наказания доводами юридическими в точном смысле слова и 3) он протестует против смертной казни во имя принципов христианской религии и этики. Коснемся пока последних двух категорий его аргументации. Нужно прежде всего заметить, что горячие филиппики против смерт-

ной казни имели в Англии XVI в. реальнейшие основания, самые очевидные и крепкие корни в текущей действительности. Смертная казнь полагалась за самые мелкие правонарушения, за воровство предметов, стоящих выше одного шиллинга, за рубку деревьев в чужом лесу и т. д. Вспомним, что знаменитый комментатор и глоссатор английского права Блекстон насчитывает для *своего* времени, т. е. для середины XVIII столетия, 160 различных преступлений, за которые полагалась смертная казнь [157]. Но этот счет еще не может дать о предмете надлежащего понятия, ибо Блекстон обозначал отдельными номерами целые категории преступлений; немецкий тюрьмовед Юлиус произвел более подробный и точный подсчет, и обнаружилось, что английские законы (не отмененные еще и в начале XIX в.) назначали смертную казнь за *шесть тысяч семьсот восемьдесят девять* преступлений. Смертью наказывались [158]: 1) злонамеренная порубка или уничтожение деревьев; 2) злонамеренное увечье животных; 3) всякий, кто найден будет вооруженным в лесу, или на дровосеке, или на дороге, или при воровстве дичи; 4) воровство выше одного шиллинга, если оно совершено в церкви, часовне или в лавке во время ярмарки, или наконец в частном доме, со взломом или *испугом* живущих в нем; 5) каждое мошенничество, совершенное над человеком в сонном состоянии или бодрственном, но так, что он не мог заметить; 6) воровство в лавке [на] 5 шиллингов; 7) в жилом строении на 40 и больше шиллингов; 8) воровство лошадей, скота и овец; 9) воровство писем; 10) воровство льна на мануфактурах; 11) злонамеренное банкротство; 12) разрушение машин; 13) угрозы в письме; 14) всякие подделки монеты, бумаг и т. д. и т. д. И это было уже во времена Бентама, во время и после периода просветительной литературы, все-таки имевшей влияние и за Ламаншем, так что pium desiderium Томаса Мора по частям начал исполняться лишь в XIX столетии. В 1808 г. парламент отменил смертную казнь за мошенничество, если только похищенная сумма не превышает 12 пенсов, в 1834 г. уничтожена казнь за кражу писем; в 1837 г. — за воровство в жилом помещении... Этот процесс постепенного сужения круга преступлений, поражаемых смертной казнью, вовсе не входит в нашу задачу; важно лишь отметить, как поздно (через 300 лет с лишком) положительное законодательство Англии стало двигаться по намеченному Томасом Мором пути. Такова была господствовавшая уголовная теория; практика ничуть с ней не расходилась. При Генрихе VIII по самой скромной и, конечно, неточной и уменьшенной статистике (ибо далеко не по всем казням имеются протоколы и письменные документы) за 38 лет его царствования было казнено 72 тысячи людей, т. е. ежегодно около 2 тысяч человек; при

Елизавете ежедневно совершали в среднем две казни. Других дальнейших цифр приводить не будем, ибо для нашей непосредственной цели важны лишь данные XVI в., но опять-таки, чтобы указать на медленность в осуществлении идеалов автора «Утопии», упомянем, что Миттермайер насчитал в одном только 1831 г. и для одной только Англии (без Ирландии и без Шотландии) 1601 смертный приговор.

Если таковы были теория и практика уголовного законодательства Англии (да и других стран) и в XVI в., и в позднейшее время, то протесты против смертной казни, голоса за ее ограничение стали раздаваться на континенте Европы лишь в середине XVIII в., а в Англии — с конца XVIII в. из уст Бентама и его последователей. Нам могут возразить, что в XVIII в. протест против смертной казни был шире, нежели у Томаса Мора, говорившего главным образом о казнях за воровство, а не о казнях вообще. На это заметим следующее. Начать с того, что главный и первый антагонист смертной казни на материке Европы Беккария также не стоит за полную отмену смертной казни: он, как известно, оставляет ее за политические преступления; Филанджери примыкает к нему; Вольтер говорил: «Хорошо, пусть смертная казнь будет отменена, но пусть гг. убийцы перестанут ее совершать над своими жертвами (que messieurs les assassins commencent — т. е. начнут отмену смертной казни)»; другими словами, Вольтер стоял за сохранение казни для убийц, наконец первый после Мора заговоривший о вреде смертной казни англичанин, Джереми Бентам, точно так же признает необходимыми лишь некоторые ограничения, но никак не решается высказаться за полное уничтожение казни. Нигде Бентам не выражает своих мнений по этому поводу яснее, нежели в рукописях своих, извлеченных на свет и вышедших во французском издании Дюмона сначала в 1802 г., а затем в 1840 г. На английском языке эти рукописи никогда почему-то изданы не были, хотя, на наш взгляд, представляют гораздо больше интереса, нежели многие изданные вещи Бентама [159].

Бентам приводит аргументы за и против смертной казни. За смертную казнь [160] он приводит 4 аргумента: 1) она лишает преступника возможности вредить; 2) она в случае убийства вполне аналогична (analogue) с преступлением (это, по мнению современных Бентаму юристов, качество положительное); 3) она популярна; 4) она более примерна, более внушает спасительный ужас, нежели всякое иное наказание. Недостатки смертной казни таковы: 1) она не приносит материального вознаграждения обиженной стороне, ибо обидчик, лишаясь жизни, уже не может своим трудом (в тюрьме) возместить причиненный ущерб; 2) она лишает и государство работника,

который в тюрьме мог бы принести какую-нибудь материальную пользу; 3) она неодинаково чувствительна для всех преступников, ибо одни меньше, другие больше дорожат жизнью; наконец, 4) она непоправима в случае обнаружения впоследствии судебной ошибки. Взвесив все аргументы за и против, Бентам находит, что смертную казнь все-таки следует оставить за убийство с отягчающими вину обстоятельствами [161].

Теперь, напомнив, что и эти позднейшие борцы против смертной казни не решались требовать полного ее уничтожения, возвратимся к Томасу Мору. В его мнениях о смертной казни видна некоторая сбивчивость. Юридические аргументы его говорят в точном смысле лишь о бесполезности и жестокости смертной казни за воровство. Со спором у кардинала Мортона, где говорится лишь об этом преступлении и где прямо указывается, что казнь за кражи нужно уничтожить, чтобы не превращать воров в убийц [162], с этим отмеченным уже местом сопоставим те данные, которые приводятся относительно идеальной «Утопии» во второй части трактата: смертная казнь полагается там за вторичное прелюбодеяние, за бегство преступника из неволи. Все это дает, казалось бы, право сказать, что Томас Мор не видит юридической возможности совершенно изгнать смертную казнь из уголовного обихода. Его юридические аргументы говорят в пользу отмены казни за воровство лишь то, что через 250 лет повторяет за Мором Бентам; вор должен работать в каменоломнях, как у римлян, или на других общественных работах, чтобы возместить причиненный им ущерб и чтобы принести государству материальную пользу. Эта чисто утилитарная точка зрения у Мора сказывается еще яснее, нежели у Бентама, ибо в его идеальном государстве утопийцы даже у других народов выпрашивают преступников и заставляют у себя работать в неволе [163]. Но если юридические аргументы Томаса Мора посвящены главным образом доказательству необходимости ограничить, а отнюдь не совсем уничтожить смертную казнь, то, переходя к аргументам религиозно-этическим, видим нечто гораздо более широкое, нечто гораздо более яркое и принципиально-близкое к заветам христианства. Напомним это любопытное место: «Мне кажется величайшей несправедливостью красть у человека жизнь за то, что он украл деньги, так как я полагаю, что с человеческой жизнью по ценности не могут сравниться никакие сокровища. Если же мне на это возразят, что эта казнь есть возмездие за оскорбление справедливости, за нарушение законов, то в таком случае разве не правильно говорят: summum jus summa injuria? Порицания заслуживает такая, достойная Манлия, суровость в исполнении законов, которая мечом карает малей-

шие правонарушения; такого же порицания достойны законы, одинаково карающие за все проступки, не обращая внимания, убил ли преступник человека или похитил у него монету, а ведь нет ничего общего, родственного между этими двумя преступлениями, если хоть немного справедливо смотреть на вещи». До сих пор все сказанное вполне примыкает к уже высказанной, и прямо, и косвенно, мысли о необходимости ограничить смертную казнь, не более. Но вот как он продолжает свою речь: «Бог запретил убивать кого бы то ни было, а мы так легко убиваем за отнятую денежку. Если же кто на это заметит, что право на убийство ближнего отнято у людей заповедью господней, за исключением тех случаев, когда человеческий закон объявляет, что нужно убить, то я на подобное возражение отвечу: что же мешает людям таким же образом установить между собой допустимость в известных случаях прелюбодеяния, клятвопреступления! Бог отнял у людей даже право на свою собственную жизнь, так неужели же людское соглашение убивать друг друга по известному приговору судящих должно иметь такую силу, чтобы избавлять исполнителей судебных решений от повиновения заповеди, ибо эти исполнители без всякого божьего указания убивают тех, которых приказывает убить человеческое решение. Не выйдет ли при подобных условиях, что запреты божьи имеют лишь настолько силу, поскольку дозволят это людские законы? Не выйдет ли так, что во всем люди будут указывать, до каких пор и насколько следует исполнять божьи веления?» Это уже принципиальное и полное отрицание смертной казни, которое только с 60-х годов XIX в. входит в криминалистический обиход, в научную литературу, отрицание смертной казни как таковой без различия преступлений. Томас Мор в этой тираде возвысился до точки зрения, которую даже во второй половине XIX в. оспаривали защитники смертной казни: Джон Стюарт Милль и Давид Штраус, не говоря уже о мыслителях и ученых, менее выдающихся. Если бы Томас Мор (несмотря на частое упоминание его имени по разным поводам и всегда почти понаслышке) не был так глубоко забыт, слова приведенной тирады, а вовсе не выдержки из Беккарии начинали бы собой историографию борьбы против смертной казни, ибо Беккария делает изъятия в пользу смертной казни (за политические преступления), а Томас Мор никаких изъятий в этой тираде не делает. Но, повторяем, эта тирада, принципиально и безусловно отрицающая казнь, будучи сопоставлена с раньше приведенными мнениями Мора, значительно теряет в своей характерности. В конце концов нам кажется возможным подвести такой итог криминалистическим воззрениям Мора по разбираемому вопросу: религия и христианская этика решительно не дозволяют применять смертную казнь к кому бы то ни было;

казнь за имущественные правонарушения безнравственна, вредна и опасна для честных людей, которых воры будут не только грабить, но и убивать; смертная казнь более извинима у таких идеально хорошо устроенных народов, как утопийцы, нежели в других местах, ибо если уж при идеальном строе преступник нарушит закон, значит он действительно недостоин снисхождения. Некоторая сбивчивость этих воззрений все-таки не позволяет сомневаться, что в лице Мора мы имеем дело с убежденным врагом смертной казни, не нашедшим ни у себя, ни, конечно, у окружающих его, ни в литературе, старой и современной, достаточно логических доводов, чтобы завершить и округлить свою аргументацию против казни. Но при некоторой непоследовательности мысли сила, искренность и единство его чувства в данном вопросе не подлежат никакому сомнению.

От юридических и религиозно-этических доводов против излишней суровости уголовной репрессии обратимся ко взгляду Томаса Мора на самую природу имущественных правонарушений, на их происхождение и первоначальные причины. Здесь мы имеем дело с широкими, совершенно не свойственными тому времени представлениями о преступлении как продукте социальных неустройств. Но если взятые сами по себе эти понятия о преступлении были совершенной новостью и для своего времени, и для позднейших веков, вплоть до XIX столетия, то эпоха Томаса Мора сказалась в чрезвычайном внимании, с которым он отнесся к этому вопросу, в том, что филиппика против социально-экономических бедствий вызвана именно разговором о преступниках, в том, что разговор этот начинает собой все произведение. Действительно, XVI век решительно не знал, что ему делать с преступниками и бродягами (о тех и других одинаково идет речь у Томаса Мора). Обилие этого элемента в Англии до такой степени бросалось в глаза, что могло по справедливости назваться злобой дня, могло заставить призадуматься даже таких лиц, как Генрих VIII, и даже в самые счастливые для внешней политики годы (а король внешней политикой интересовался несравненно больше, чем внутренней). Достоверно известно, что были годы в царствование Генриха VIII, когда вешали за бродяжество по 5 тысяч человек (и таких лет было в его царствование ни более, ни менее, как 14). Пятнадцать лет спустя после появления «Утопии» правительство Генриха VIII издало акт [164] следующего содержания. «Ввиду того, что по всему королевству английскому,— читаем мы в этом статуте,— бродяги и нищие с давних пор возросли в числе и ежедневно количество все растет и растет по причине лености, матери и зачинщице всех пороков; ввиду того, что вследствие увеличившегося нищенства и бродяжничества происходят и возникают (daily insurgeth and springeth) ежедневно и прежде происходили

и возникали постоянные кражи, убийства и иные ненавистные обиды и великие бесчинства к величайшему прогневлению господню, беспокойству и ущербу королевских подданных и к поразительному (marvellous) нарушению общественных интересов... ввиду того, что бродяги и нищие растут в числе и уже составляют большие шайки или общества (into great routs or companies), как это уже ясно обнаруживается; ввиду всего этого... постановляется»: чтобы нищие испрашивали под страхом жестоких наказаний милостыню лишь тогда и в том районе, если шериф, уопентек или иная власть выдаст им дозволение в известном месте просить; пойманные вне означенного района и без письменного разрешения подвергаются жестоким истязаниям; с бродягами же акт обходится еще суровее: он приказывает жестоко бичевать их и водворять в определенные места, в случае же второй поимки бичевать нещадно. Через 5 лет был издан второй закон, уже повелевающий вешать без особой процедуры всех рецедивистов нищенства и бродяжничества [165]. Около 72 тысяч бродяг и нищих было повешено при Генрихе VIII, но и эти акты и рьяное их исполнение нищенства и бродяжничества не искоренили: при Елизавете пришлось издавать новые законы и воздвигать новые и новые виселицы, хотя и в меньших количествах, нежели при ее отце. Судя по всем данным, нищие и бродяги были столь многочисленны, что нередко (особенно в первую половину века) терроризовали целые деревни, не говоря уже об одиноких хуторах. Эта армия пауперизма и поставляла главный контингент лиц, обвиненных в имущественных правонарушениях. Генрих VIII в приведенном нами акте не прав, приписывая все зло одной только лености и злонамеренности бродяг, но он совершенно прав, связывая воедино «thefts», «vagabondry» и «sturdy mendicancy». Эти три явления шли рука об руку; но где же была основная причина названных зол, бросавшаяся упорно в глаза всем, даже людям, которые объясняли их нравственными пороками бродяг и преступников? Томас Мор прямо указывает на условия своего времени, на аграрную революцию, на овец, «пожирающих людей», на лендлордов, изгоняющих своих арендаторов, на отсутствие нужных заработков [166]. Начало XVI столетия именно и было тем трагичнее для экспроприируемых, что, как уже было сказано во второй главе настоящей работы, новые точки приложения рабочих рук появились не одновременно и не в соответствующих количествах, с беспрерывными успехами экспроприации и ростом количества обезземеленных. Бродяжества, преступления, дома терпимости, нищенство — вот что в начале века давало ненадежный, скудный, опасный, но все же хоть какой-нибудь кусок хлеба выгнанным из своих дедовских мест. Поистине замечательную своим жизненным реализмом картину рисует Томас

Мор устами Гитлодея, когда говорит о положении экспроприируемых: «...они выселяются, несчастные, мужчины, женщины, мужья, жены, сироты, вдовы, родители с маленькими детьми, семьями, более многочисленными, чем богатыми, ибо земледелие требует многих рук, уходят они из знакомых и обжитых мест и не находят, куда деться. Они продают за бесценок всю свою утварь, и так уже весьма недорогую, даже если бы можно было дожидаться покупателя. Когда они в скором времени истратят при своих блужданиях то, что выручили от продажи, что им остается делать, как не красть и попадать на виселицу, по всей справедливости, очевидно, или бродить, выпрашивая милостыню, хотя при этом они будут посажены в тюрьму в качестве бродяг» и т. д. Экспроприация, по воззрениям Томаса Мора, стоит к бродяжеству, нищенству и воровству в отношениях причины и следствий. Этот взгляд тем более тут важен, что приводится по поводу спора о необходимости более суровой или менее суровой уголовной репрессии. Когда какой-нибудь Роберт Краули [167], через 40—50 лет после «Утопии», говорит о «строптивых детях» арендаторов, украсивших собой виселицу, и «распутных» дочерях, попавших в дома разврата, все благодаря разорению родителей, то он только скорбит об их участи, но все-таки не протестует против виселицы и все-таки объясняет участь несчастных также их «строптивостью» и «распутством». У нашего же автора мы совсем не видим, чтобы он отводил в данном случае роль какому-нибудь нравственному фактору, чтобы он оправдывал хоть отчасти законы против бродяг и нищих; он смотрит на аграрный кризис не как на роковой толчок, влекущий дурных людей на виселицу, но как на аркан, захвативший и старых, и малых, и хороших, и дурных, вышибивший их из привычных условий жизни и потащивший против их воли прямо в бездну. Этот-то взгляд на преступление как на продукт целого ряда общественных условий, эта ирония по поводу «очевидной справедливости» виселицы для бродяг и нищих и дополняют общую картину криминалистических воззрений Томаса Мора. Но все произведение написано так живо и вместе с тем так содержательно, что беседа Гитлодея с его знакомцами развертывает перед нами мысли Мора одну за другой, тесно и естественно связанные между собой в разговоре. Вопрос об отношениях между людьми мысли и людьми власти незаметно (посредством введения вспомянутой Гитлодеем беседы у кардинала Мортона) сменяется вопросом об уголовных карах, вопрос об уголовных карах приводит к анализу социально-экономического кризиса того времени. Как видно из соответствующих мест «Утопии», Томас Мор в своей грустной тираде о «прожорливых овцах» совершенно правильно уловил непосредственную причину переворота, но, что касается до дальнейшего углубления в

эту проблему, он остался на уровне весьма многих своих современников и вместе с тем пошел до тех окончательных пределов принимаемых предпосылок, до которых никто больше и не дошел. Дело в том, что, подобно Фицгерберту, Краули, Лентону, Тинделю, Льюеру, он также негодует на «скряг, ненасытных и жестоких» разорителей крестьян, на их несправедливости, беззакония и пр. Но, приписывая всю беду усилившейся алчности лендлордов и богатых людей, Томас Мор и тут, как и везде, обращается главным образом к рассмотрению не столько моральных погрешностей неугодных ему лиц, сколько социальных условий, позволяющих этим лицам приносить вред их ближним. Устами Гитлодея он обращается к власти с советом «постановить, чтобы те люди, которые разрушили деревни и села, или сами восстановили бы их, или предоставили бы сделать это желающим строиться и селиться». И тут еще Томас Мор не выходит из рамок тех пожеланий, которые раздавались в памфлетной литературе, которые наконец сказались в законах Генриха VII и Генриха VIII [168]. Но обратимся к самым последним страницам «Утопии» и там увидим, до какой степени Томас Мор не верит в возможность на самом деле улучшить положение дел и чем он это объясняет [169]. Будущий канцлер английского королевства полагает, что «богатые», прикрываясь именем государства, пекутся о своих выгодах, облекают свои желания в форму закона и пр. Не усматривая в аграрном перевороте никакой нужды для государства, считая первой причиной зла алчность лендлордов и «богатых» (т. е. купцов), видя наконец сравнительную пассивность правительственной политики в этом вопросе, Томас Мор с глубоким пессимизмом считает себя вправе обвинить современное ему государство в содействии интересам исключительно богачей. Это умозаключение и было крайним логическим этапом для всякого, отправлявшегося от такой посылки, как объяснение всего переворота внезапно усилившейся алчностью высших слоев общества. Впрочем, здесь пессимизм, и самый безнадежный, слышится больше всего в словах: «Omnes hasque hodie florent respublicas» etc. Мор распространяет свое обобщение на всю историю, на все страны земного шара и высказывает этот безнадежный взгляд с полным убеждением («sic me amet Deus!»). Если при свете этих заключительных страниц «Утопии» обратимся снова к разбираемому месту, то приглашение Гитлодея к кардиналу Мортону «постановить», чтобы снова строились разрушенные и снесенные села, это приглашение (впрочем, весьма коротенькое — три строчки из очень длинного разговора) не покажется нам столь искренним, горячим и верящим в благие предначертания власти, как, например, речи Латимера в 1549—1550 гг. или петиция Роберта Кэта [170], или укоры Тома Бастарда королеве Елизавете [171]. Итак,

Томас Мор не верит в возможность предотвратить совершающийся перед ним кризис и на самом деле помочь страдающим от него, не верит потому, что считает государство орудием в руках «богатых». Он делает государство и непосредственно виновным в увеличении пауперизма: напоминание о солдатах, искалеченных в междоусобных и внешних войнах, имеет целью отчасти объяснить обилие людей, могущих жить только подаянием и преступлением. Если государство пополняет кадры нищих и страдающих искалеченными солдатами, если «богатые», «скряги» и так далее пополняют те же кадры выгнанными арендаторами, то знать виновна не только в полной готовности уступать арендные права на землю «богатым» и согнять старых арендаторов, но также и в том, что она, знать, выделяет из народа способных к работе людей и делает их бесполезной дворней, челядью, а когда они состарятся и уже никуда не годны, их выгоняют вон, и они также должны воровать и бродяжничать. И здесь мы имеем дело с изображением реального факта, правда, не столь уже заметного в эпоху «Утопии», как лет за 20 до того. Лорды заводили себе неимоверно громадную дворню, нечто вроде целых батальонов телохранителей. В 1488 г. Генрих VII из чувства самосохранения принужден даже был воспретить своим приближенным обзаводиться, особенно в Лондоне и вблизи короля, слишком большой челядью [172]. Итак, государство, знать и «богатые» превращают тружеников-пахарей в бродяг, воров, нищих и тунеядцев. Таков вывод Томаса Мора. Образование этого нищего и преступного класса есть первое зло, в значительной мере зависящее от экспроприации населения. Но автор «Утопии» отмечает еще и другое явление, уже более общего, общенационального характера, которое он считает гибельным злом для Англии. Это зло заключается, по его мнению, во вздорожании съестных припасов, являющемся прямым последствием сокращения площади запашки и того, что никто уже не заботится о разведении крупного скота, а все думают лишь об овцах. Уменьшается количество добываемого хлеба и мяса, увеличивается дороговизна этих предметов, и положение всех вообще, кроме богачей, ухудшается, численность народонаселения падает. Старшие современники Мора повторяют нередко те же жалобы. «Где недавно было двенадцать тысяч жителей, там теперь четыре, где была тысяча, теперь едва триста, а во многих местах, где было много защитников отечества, никого не осталось»,— говорит один из членов комиссии, назначенной правительством для ревизии дел об огораживаниях [173]. До сих пор мы видели, что жалобы Томаса Мора имеют корни в реальной действительности. Так ли это в данном случае? *Видимая* действительность, вернее, *впечатления* действитель-

ности на самом деле могли служить подтверждением для всех опасений относительно вздорожания предметов первой необходимости и вымирания народа; но соответствовали ли эти внешние впечатления фактическому положению дел?

Не думаем. В 80-х годах XVI в., т. е. через 70 лет после выхода в свет «Утопии», был произведен подсчет всему населению королевства, готовившегося к страшному нападению испанской непобедимой армады. Подсчет этот, конечно, особой точностью похвалиться не может; это действительно rough census, как его назвал Фруд [174], но он все-таки важен, ибо до него никаких подсчетов у нас нет; он обнаружил, что в Англии живет около 5 миллионов человек. XVI век был веком войн, аграрного кризиса, религиозных смут, начавшейся эмиграции. Мыслимо ли допустить, что за 70 лет население *очень* уж возросло (например, утроилось)? Фруд, например, склонен считать его и за гораздо большие промежутки времени стационарным, но мы, не идя так далеко, скажем все-таки, что вряд ли за эти тяжелые 70 лет население Англии могло заметно возрасти. Вот и еще, уже не априорное, а до известной степени осязательное доказательство этому. В памфлете «Моление нищих» [175], вышедшем в 1531 г., говорится, что в Англии его времени есть 520 тысяч хозяйств. Он считает по 10 хозяйств на приход (parish), а приходов действительно было 52 тысячи. Хотя и делались по поводу цифры Симона Фиша замечания (и небезосновательные), что это число слишком уменьшено против действительности, ибо под словом household нередко нужно понимать не одно хозяйство, а несколько (aggregate numbers), но примем даже эту минимальную цифру. Считая на хозяйство 5 человек, получим цифру в 2 600 000 человек, и сюда еще не входит многочисленнейшая дворня, прислуга, работники, занятые во многих хозяйствах, ибо сосчитаны лишь семьи хозяев (5 человек приблизительно в семье); не вошла в этот расчет и значительнейшая часть городского населения, где на parish приходилось не 10, а гораздо больше семейств. 2 600 000 человек — это только цифра тех счастливцев, которые в тот грозный период разгара экспроприации (1531 г.) имели свой кров, это только члены *хозяйских* семей, и то далеко не всех семей. Дополнив эту цифру еще хоть 1—1½ миллионами [176], получим для всего населения цифру в 3½—4 миллиона, и даже при таких осторожных выкладках рост населения за 70 лет (1516—1588) с 3½—4 миллионов до 5 нужно признать немалым. Вспомним, что через 100 лет после непобедимой армады в Англии, по словам Грегори Кинга (писавшего в 1696 г.), было 5½ миллионов человек; по переписи, сделанной Вильгельмом III (в те же времена) у него оказалось подданных 5 миллионов 200 тысяч; к той же цифре приходят на основании приходских записей и

новейшие архивисты [177]. В среднем, значит, со времен армады за 100 лет прирост населения равен был полумиллиону или даже того меньше. Имея в виду эту цифру и еще то обстоятельство, что в XVII в. никто решительно не жаловался на оскудение населения, на вымирание народа и так далее, делаем прямой вывод: при всей неточности подсчетов XVI в. (впрочем, и XVII также) население Англии в эпоху Томаса Мора вовсе не было так незначительно, чтобы было реальное основание опасаться его вымирания; прирост же населения за XVI в. нельзя не назвать нормальным для тех времен и вряд ли даже не бо́льшим и значительно бо́льшим, нежели прирост последующего периода (т. е. с конца XVI до конца XVII в.). Эти выводы: 1) что Англия вовсе не была в эпоху Мора пустыней, где паслись овцы, а была сравнительно населенной страной, и 2) что есть известные основания констатировать даже прирост населения за период интенсивной экспроприации арендаторов, объясняют также как нельзя более удовлетворительно, почему со второй половины XVI в., и особенно с начала XVII, жалобы на обезлюдение Англии, вымирание английского народа и так далее совершенно прекращаются, хотя процесс экспроприации идет своим чередом и вовсе не ослабевает; очевидность стала кричать за себя — обезлюдение деревни стало сказываться ростом городов, сокращение площади запашки — более интенсивным земледелием, а такое испытание, как борьба с Филиппом II, обнаружило всю неосновательность чрезмерных опасений за национальное будущее. Но, повторяем, видимая действительность, первые впечатления от последствий развивавшегося кризиса, снесение прочь целых сел и деревень, насильственное перемещение десятков тысяч людей — все это слишком бросалось в глаза в первые годы XVI в., чтобы Томас Мор мог не обратить на это внимания. Что касается, в частности, грозящего будто бы государству оскудения съестных припасов и вздорожания их, то эти опасения были, по-видимому, более априорного характера; пшеница до 50-х годов XVI в. держалась, с весьма малыми колебаниями, на цене в 6 шиллингов 8 пенсов за квартер, и только в 1551—1562 гг. цена эта сильно повысилась, главным образом вследствие начавшего сказываться прилива драгоценных металлов из Испании; после 1562 г. цена ее опять упала. Воловья говядина по статуту 1512 г., подтвержденному актом 1533 г., стоила полпенни за фунт; цена эта несколько изменялась при продаже большими партиями и в зависимости от качества мяса, но Леланд в своем Itinerary повторяет (в 1570 г.), что мясо быка стоит полпенни фунт. «Хороший» гусь (т. е. образцово упитанный) стоил в течение всего почти XVI в. 4 пенса, индюк — 3 пенса, курица — 2 пенса. Фруд считает возможным утверждать, что

покупательная сила 1 пенни в эпоху Генриха VIII равна была покупательной силе 1 шиллинга в середине XIX в.[178] Это почти верно, хотя и не совсем: средняя цена мяса в Англии 50-х годов XIX в. была равна не 6 пенсам, как следовало бы по расчету Фруда, но 4—4½. Получали же ремесленники поденно по 5½ пенсов ежедневно от своего хозяина, и для целого ряда ремесел это было установлено статутом [179] Генриха VIII, за год до написания Томасом Мором «Утопии», повелевающим платить поденщикам-ремесленникам повсеместно 6 пенсов ежедневно в первую половину года и 5 пенсов ежедневно во вторую половину года (= 5½ пенсов ежедневно в год); чернорабочие должны получать у своих нанимателей 3 пенса в день. Даже этот ненавистный рабочим статут позволял им жить лучше многих рабочих на иных промыслах в той же Англии в XIX столетии, ибо покупательная сила 5½ пенсов равнялась по крайней мере покупательной силе 4½ шиллингов, если даже не 5½, как вышло бы по фрудовскому расчету, но статут не исполнялся, и старались держаться за него не рабочие, а наниматели. Чернорабочие (включая сюда и полевых работников) по статуту должны были получать ежедневно 3 пенса, но в действительности получали не 3, а 4, да еще пользовались маленьким огородом и лугом, где могли пасти свою корову.

Итак, ненормального вздорожания хлеба и мяса не произошло, общего народного голода не произошло, обезлюдения не произошло. Все это оказалось преувеличенным опасением. Во всем, что Томас Мор говорит о гибели и разорении самостоятельного мелкого фермерства, он прав; в описании ужасов, которые привелось пережить экспроприируемым (особенно в начале процесса), он также прав, но как только Томас Мор начинает утверждать, что смертная опасность висит не над одним только экспроприируемым классом, а над всей Англией как нацией и государством, он впадает в оптический и логический обман, принимая внешнее, мимолетное за постоянное, априорные соображения за доказанные факты,— partem pro toto. При этом подчеркнем, что он сам противоречит основному капитальному своему критическому выводу, уже приведенному выше: если, по его же словам, государство есть орудие в руках богатых и если вместе с тем таковы все *процветающие* испокон веков государства (hasque florent etc.), то почему же Англия его времени должна составлять исключение? Как *государство* она может не гибнуть, а процветать даже при разорении бедных. Так выходит по его же соображениям, и, главное, горькая заключительная фраза вырвалась у него под прямым и непосредственным влиянием именно современной действительности, где же последовательность, если он тому же

государству грозит гибелью только потому, что мелкая аренда гибнет, хотя бы и при ужасных страданиях? Но эта непоследовательность встречается в данном вопросе у Томаса Мора один раз. В других местах он говорит о нищете массы, об обездоленном трудящемся люде и так далее, но об опасности для государства речи уже нет: указывается лишь на неблагоустройство, на отсутствие общего довольства.

Автор «Утопии» счел нужным, как бы для того, чтобы оттенить свое мнение о необходимости бороться с социальными нестроениями путем коренной реформы, привести ходячие в его время взгляды, сообразно которым борьба должна была направиться не против основной причины общественных зол, а против их видимых последствий. Он выводит на сцену какого-то шута, который (там же, у кардинала Мортона) говорит, что нищие надоели ему в высокой степени, хотя он им никогда ничего и не дает, и поэтому наилучшим представляется куда-нибудь убрать нищих с глаз долой, например, отдать их всех на прокормление в Бенедиктинские монастыри. Следующую затем сцену мы припомним в другой связи, когда речь будет идти о религиозных воззрениях Томаса Мора, теперь же остановимся лишь на приведенном. Устами шута здесь говорит главное течение современной Томасу Мору (и погибшей в 1534—1535 гг.) общественной благотворительности: монастыри были до последних лет своего существования местами, где ютился нищий люд, иногда временно селившийся там, иногда постоянно. Но Томас Мор (устами шута), называющий в дальнейшей беседе английских монахов бродягами, не верит уже не только в целесообразность предлагаемой заведомо шутовской меры борьбы с нищенством, но и в реальность помощи, которую дают монастыри даже немногим призреваемым. Из эпиграммы Краули[180], напечатанной в сочинении W. Ashley «Introduction to English economic history and theory», мы знаем, что в последние годы своего существования монастырская благотворительность не всегда была на высоте своего призвания. Есть и еще известия, подтверждающие то же самое. Но в 1516 г. нападение на деятельность монастырей могло быть Томасом Мором вложено разве только в уста заведомо предосудительного персонажа — шута, паразита и так далее, ибо и Генрих VIII, и вся Англия были еще католическими, а на континенте только через несколько месяцев после выхода в свет «Утопии» была брошена Лютером папству первая перчатка. Вообще же в эпизоде с нищими интересно ироническое отношение к мотивам борьбы с ними: нищие надоели, они мозолят глаза, их нужно куда-нибудь удалить с глаз долой. Etenim hoc genus hominum misere cupio aliquo *e conspectu* amoliri meo,— так начинает речь свою о нищих выведенный Томасом Мором

шут. Сатира здесь ясна так же, как в том месте, где власти, вешающие воров, уподобляются учителям, предпочитающим не учить, но сечь своих учеников. Очевидно, мотивы крутых и простых мер против неприятных и неудобных элементов общества казались Томасу Мору также весьма простыми, но отнюдь не заслуживающими особого почтения. Мы сказали, что эти крутые и простые меры, напоминаемые Томасом Мором, как бы оттеняют его собственный взгляд. Действительно, именно вслед за вставкой о шуте идет образный пример бессилия и непригодности «философских» воззрений вблизи людей власти (воображаемое заседание в совете у французского короля, где Гитлодей, расходясь со всеми советниками в основных принципах, должен явно остаться одиноким и потерпеть неудачу); в свою очередь этот уже разобранный нами пример, предназначенный иллюстрировать всю невозможность для Гитлодея служить какому бы то ни было правительству, приводит собеседников к коренному вопросу всей критики социального строя XVI в., содержащейся в «Утопии»: чем же объясняются, какой общей главной причиной, и алчность «богатых», разоряющая бедных, и деятельность государства на пользу первых, и невозможность для Гитлодея дарить своими советами монархов Европы? Такой общей причиной Гитлодей считает институт частной собственности, обусловливающий, как ему кажется, все социальные беды и нестроения и имеющий в нем безусловного антагониста.

2

Как было сказано во второй главе настоящей работы, главной активной движущей силой в экономическом и социальном кризисе XV—XVI вв. в Англии был денежный, торговлей скопленный капитал, опустившийся на землю точно так же для дальнейших торговых целей. Частная собственность в эпоху Томаса Мора предстала в виде главной, послушной и могущественной силы, подчиняющейся велениям алчности своих обладателей. Пока эта воинствующая в XV—XVI вв. форма частной собственности — денежный капитал — еще находилась в состоянии роста, пока степлеры и другие купцы из поколения в поколение наживали сундуки фландрских дукатов и дублонов, до тех пор никому из лиц, заинтересованных положением низших слоев народа, не приходило в голову нападать на обладателей звонкой движимости, ибо жизнь и деятельность этих обладателей протекала наполовину за морем, и на родине они являлись только в роли желанных и исправных в платеже покупщиков шерсти и шерстяных изделий. Предметом нападений служили преимущественно сословные различия, привиле-

гии высших слоев общества, те юридическо-экономические стороны феодализма, которые особенно давили низший класс. Когда Джон Болл в XIV в. нападал и на богатство, то под этим богатством следует разуметь не столько движимую, сколько недвижимую собственность. Эпоха Мора видела денежный капитал в роли экспроприатора мелких фермеров, в роли главного, непосредственного двигателя социальной революции. Такова была одна сторона дела. Другая бросалась в глаза наблюдателю, подобному Мору, не менее ярко, если судить по его же словам. Частная собственность шла покупать землю и изгонять фермеров, но почему земля оказалась к услугам капитала, почему лендлорд мог приехать в деревню, в которой до тех пор, может быть, и не бывал, и без дальнейших замедлений огородить пастбище, которым искони пользовались десятки семей, а семьи эти прогнать вон? По праву собственности. Здесь право собственности являлось именно наиболее ярко и в форме чисто юридического института, ибо лендлорда с землей, обрабатываемой его фермерами, решительно ничего не связывало, кроме условных, старых прав на нее. Токвиль в «Ancien régime» с присущей ему тонкостью общественно-психологического анализа утверждает, что перед 1789 г. французских крестьян больше всего возмущали и выводили из терпения старые феодальные пошлины и подати, удержавшиеся от средних веков и давно потерявшие всякий смысл, и именно потому, что они потеряли всякий смысл и были только юридическим пережитком, а не вытекали никак из реальных житейских условий. Право собственности лендлордов на землю фригольдеров, копигольдеров, *customary tenants* в Англии XV—XVI вв. оставалось за лендлордами нерушимо от времен нашествия норманов и дальнейших веков; закон их суприматию над всем мэнором признавал. Но только закон об этой суприматии и помнил. Большая часть арендаторов привыкла отделываться или ничтожной, эмблематической ежегодной податью лендлорду (фригольдеры), или скромным в старые времена установленным взносом (копигольдеры, *customary tenants*). Но когда это право верховного владычества было пущено в ход и когда все оказалось бессильным против него, тогда самый институт частной собственности *как юридическое учреждение* должен был обратить на себя внимание печальника экспроприируемых, Томаса Мора. Две формы частной собственности — капитал и права на землю — соединились для общего похода, и все перед ними рухнуло; быстрота успеха, непреоборимость, грандиозность размеров переворота — все это заставило Томаса Мора вложить в уста Гитлодея признание за институтом частной собственности значения причины главных вин и нестроений. Раздражение Томаса Мора против этого института чрезвычайно велико, но он превосход-

но понимает все практическое бессилие своего негодования и всю крепость названного института. Тем тщательнее стремится он открыть теоретические, слабые, неоправдываемые, по его мнению, стороны частной собственности, и здесь, как везде в критических замечаниях «Утопии», проглядывает живая связь с окружавшими его экономическими условиями. Самая мысль о теоретическом отрицании частной собственности, отрицании, мотивированном и изложенном в целой книге, была так нова, что автор тотчас же, едва, так сказать, озаглавив дальнейшее изложение, почувствовал необходимость подкрепить свою мысль авторитетами. Он ссылается на первых христиан, на учение Платона [181] и наконец на своих утопийцев. В следующей главе мы займемся вопросом о литературных источниках «Утопии», теперь же проследим только критический элемент моровского отрицания частной собственности. Гитлодей, высказав свое суждение о частной собственности, с удвоенной энергией принимается доказывать собеседникам снова, что никакому правительству Европы он в советники и сотрудники не годится из-за этого коренного противоречия между ним и общепринятыми суждениями. Христос, говорит он, учил не скрывать его заветы, но проповедовать их во всеуслышание. На этом основании он, Гитлодей, не находит возможным скрывать свои убеждения перед кем бы то ни было, ибо его воззрение на частную собственность, говорит он, согласно с заветами Христа. Чем дальше, тем больше проскальзывает, что частная собственность ассоциируется у Томаса Мора преимущественно с представлением о деньгах. «Где частные владения, где все и всеми измеряется деньгами, там едва ли возможны счастье и справедливость» и т. д.,— говорит он [182]. Придавая частной собственности значение краеугольного камня всего общественного здания, Гитлодей одобряет Платона за его нежелание писать законы для тех народов, которые отказываются расстаться с институтом частной собственности.

«Это (т. е. уничтожение частной собственности — *Е. Т.)* есть один и единственный (una et unica) путь к общественному благу»,— говорит он. Одно из главных зол этого института, по его словам, есть неравномерное распределение денег; опять мы видим тут указание на самую текучую, удобоподвижную форму собственности. Чтобы уже исчерпать критику денежной собственности укажем во второй части на явно сатирический рассказ о том, в каком презрении у всех утопийцев золото и серебро, как эти металлы употребляются почти исключительно для выделки арестантских цепей, как они не понимают даже людей, могущих дорожить золотом и серебром [183]. Как и всегда, в эпохи сильного развития денежного обращения, в Англии XV—XVI вв. происходил казавшийся с непривычки удивитель-

ным процесс быстрого перемещения капиталов из рук в руки: в средние века и разориться, и разбогатеть было несравненно труднее. И это также косвенно отмечено в «Утопии», являющейся истинным зеркалом своего времени: стоит прочесть размышления Томаса Мора о том, что в странах с частной собственностью и денежным обращением человек есть не более, как прибавка к своим монетам (additamentum numismatum); что если человек богат, все ему льстят, а как только его монеты перейдут к другому, он сам делается приспешником нового их обладателя. Посылая современному ему государству в конце трактата упрек в пристрастном отношении к борьбе классов, в благосклонности к богатым, наконец даже в том, что государство есть простое орудие в руках владеющих классов, Томас Мор в своей критике частной собственности изображает носителей государственной власти лицами, стремящимися к захвату возможно большего количества драгоценных металлов. Сцена в воображаемом совете французского короля вполовину построена на рассуждениях советников, как бы хитрее и более замаскированно извлечь из народа денежные суммы. Мало того, что он считает собственность (в частности деньги) причиной социальных бедствий, порчей правительства, основой несправедливостей, есть еще одно место (также во второй части «Утопии»), где Томас Мор стремится раскрыть гибельные свойства денег. Он говорит в этом месте [184], что от господства в обществе денег страдают не только лишенные, но и обладатели их, которые не могут спокойно пользоваться своим богатством вследствие страха воров. Для XVI в. это утверждение пустой фразой назвать нельзя ни в каком случае. Преступления против собственности и личности в эпоху Мора были еще чаще, нежели обильные казни за эти преступления, по той простой причине, что сельской полиции фактически не существовало, а городская (уопентеки, wapentakes) больше исполняла функции судебных приставов, нежели полицейских; целая масса преступлений, иногда терроризовавших всю округу, оставалась нераскрытой. Ввиду бедствий и потрясений, вызванных аграрным кризисом, ввиду быстрого роста и интенсификации общественных противоположностей и контрастов число преступлений росло непрерывно. Хотя Лондон и приобрел себе титул города виселиц [185], хотя виселицы украшали собой обе стороны главных дорог королевства и никогда почти не пребывали вакантными, но все это ничуть не устрашало нарушителей закона. Быть может, Томас Мор и имел основание приурочить именно к филиппике против денег это предостережение богачам: как наиболее текучий, удобоподвижный вид собственности деньги, и преимущественно они одни, могли стать главной целью и приманкой для злоумышленников.

Недаром же законодательства Европы (кроме Италии) до XIV—XV вв. почти ничего не говорят о краже денежных сумм, а останавливаются гораздо больше на преступлениях другого типа, вернее, другого оттенка. Преступления против денежной собственности, конечно, гораздо исполнимее, чем против собственности всякого иного типа, и почти полное отсутствие охраны жизни и безопасности вне городов должно было особенно сказываться на положении тех лендлордов и горожан, которые, согнав фермеров, оставались среди пустырей с несколькими пастухами и слугами и могли ждать самых отчаянных поступков со стороны разоренных арендаторов, бродивших без приюта вокруг старого пепелища. Для восстания, как уже сказано, экспроприированные были слишком слабы, и все они (кроме норфолькской горсточки Роберта Кэта в 1549 г. и одного-двух примеров того же рода) сознавали свою слабость, но для насильственного нападения на одинокую усадьбу у каждой группы бродяг в 10—12 человек силы найтись могли, и слова Томаса Мора о душевных волнениях и беспокойствах обладателей богатства [186] имели значение не пустой фразы, но констатирования реальных явлений. Наконец, злом, происходящим в точном смысле от денежной собственности, Мор считает наемный труд, условия которого он рисует [187] весьма мрачными красками. Жизнь рабочих он считает худшей, нежели жизнь скота бессловесного, заработную плату — ничтожной, и отмечает с особенным негодованием, что ремесленники, несущие полезный труд (т. е. выделывающие предметы первой необходимости), зарабатывают меньше, нежели ремесленники «бесполезные» (т. е. выделывающие предметы роскоши). Томас Мор приписывает денежной собственности и тут такое значение, что он склонен делить общество не столько даже по обладанию или необладанию капиталом, сколько по зависимости именно от денежной собственности. Знатный, золотых дел мастер, ростовщик (nobilis quispiam aut aurifex, aut foenerator [188]) — это для него люди одной категории, но не заслуживающие, по его мнению, уважения вследствие своей, так сказать, близости к деньгам, своей прямой зависимости от денег; напротив, поденщики, земледельцы, словом, люди, без которых не обойдется и страна, лишенная денежного обращения, это для автора «Утопии» — другая общая категория. О коренном и существенном различии, существующем между золотых дел мастером и его заказчиками, он и не упоминает. Апологет натурального хозяйства, нарисовавший порядки утопийского государства, поборол и заставил замолчать здесь защитника трудящейся массы в ее целом. Его точка зрения на ремесленников, выделывающих предметы, нужные только для богатых, есть точка зрения моралиста по преимуществу: он громит тех же

золотых дел мастеров за их «потворство» тщеславию и дурным страстям богатых («...adulatoribus et inanium voluptatum artificibus» etc.) и не один раз, но многократно противополагает их остальным работникам, зарабатывающим хлеб также физическим трудом. Наконец, Томас Мор, совершенно ослепленный негодованием, начинает рисовать деньги в виде какой-то полумистической первопричины зла, вкравшейся в современное ему общество. По его уверению, даже и богатые не были бы столь глухи к страданиям бедняков, если бы не существовало на свете именно такой формы богатства, как деньги («...nisi beata illa pecunia!»). И богачи, думает он, чувствуют (sentiunt ista, non dubito), что и им самим, и всем людям лучше жилось бы, если бы не деньги. Как вкрались деньги в общественный обиход, он отчасти желает выяснить. «Ясно, что они изобретены, чтобы облегчить людям доступ к пище, а на самом деле заграждают доступ к ней»,— говорит он. Держится господство денег так прочно вследствие того, что тщеславие не может без них обойтись, а тщеславие есть одна из наиболее сильных и трудно искоренимых страстей [189].

Подводя итоги сказанному в настоящей главе, отметим следующее: 1) Критические и сатирические замечания Томаса Мора имеют тесную и непосредственную связь с экономической, социальной и политической современностью. 2) Внешняя форма «Утопии» обусловлена литературной манерой Ренессанса и, с другой стороны, навеяна впечатлениями от рассказов, частых в эту эпоху великих географических открытий. 2) Томас Мор, не скрывая фантастичности своей выдумки перед более или менее образованными своими читателями, делает все от него зависящее, чтобы удачнее замаскировать эту фантастичность от широких кругов читателей. 4) Основной причиной современных ему зол он считает существование частной собственности, причем подчеркивает всю невозможность заметно улучшить положение дел, пока этот институт существует. 5) Государство он считает орудием и слугой «богатых» и вместе с тем приписывает ему такие пороки, как любостяжание, погоня за чужими территориями и т. д. 6) Мыслители своими советами правителям особой пользы принести не могут, ибо если они не будут протестовать против частной собственности, никаких улучшений не добьются, а если будут протестовать, их никто не послушает. 7) Из всех форм частной собственности наиболее могущественная и вредная — деньги, не дающие счастья ни своим обладателям, ни лишенным их. 8) Яркая иллюстрация господства денег, служащих алчности и тщеславию,— это обезземеление мелких арендаторов, превращение пахотной земли в пастбища, жалкое положение наемного труда, угрожающая всему государству гибель, обилие бродяг, нищих и преступников.

9) Действующее уголовное законодательство жестоко и неразумно, оно противоречит христианским заветам и не охраняет вместе с тем общества.

Таковы сведенные воедино основные критические мысли «Утопии», рассеянные в обеих ее частях. Напомним еще, что эти замечания навеяны впечатлениями действительности, но самые впечатления могут в большей или меньшей мере уклоняться от реальной природы фактов. Так, мнение Томаса Мора о гибели, грозящей государству, понятно *как* результат *впечатления* от обезлюдения деревень и сел и совершенно ложно как сообщение реального факта; слова его о жалком положении наемного труда вполне объяснимы как результат мысленного сравнения прежнего быта изгнанных фермеров, самостоятельных хозяев, с нынешним (1516 г.) их бытом как наемников, но эти слова слишком сгущают краски, как то явствует из приведенных нами некоторых данных о заработной плате и покупательной силе денег в царствование Генриха VIII и хотя бы из того, что во времена начала капитализации крупной промышленности в XVIII в. старые времена, т. е. XVI и XVII вв., вспоминались как золотые и невозвратные годы десятками тысяч работников и ремесленников всех частей Англии; наконец, вспомним и еще некоторую непоследовательность в рассказе Гитлодея, называющего в одном месте [190] государство заговором богатых против бедных, т. е. приписывающего ему сознательность в недружелюбных действиях против бедняков, а в другом месте приглашающего главу правительства, кардинала Мортона, насильственно восстановить разрушаемый экономический строй, т. е. сделать нужное «бедным» (т. е. фермерам) и вредное для богатых (т. е. лендлордов и купцов). Эти критические замечания «Утопии» не только тесно связаны с действительностью, они дают такую яркую и живую характеристику этой действительности в ее общих чертах, как ни один другой литературный памятник эпохи. В первой главе мы отмечали и назвали характерной чертой английских высших культурных слоев их неразобщенность с общенародными социальными интересами. Часто противополагают итальянским гуманистам гуманистов северной, германской и голландской Европы и говорят, что последние были ближе к единоплеменной серой массе, нежели первые к итальянскому popolo minuto. Заметим на это, что в названном отношении гуманисты английские, и особенно главный из них — Томас Мор, еще ярче выразили свою кровную близость к национальным интересам. Если Ульрих фон Гуттен принял участие в практической жизни, то он стал на сторону своего класса, вернее, на сторону старых и невозвратных интересов своего класса, хотя и любил обращаться ко «всему немецкому народу». «Я вопию ко всему немецкому народу на

его родном языке»,— писал он в 1520 г. Это был гордый, смелый и бескорыстный человек, но, отдавая всю справедливость его блестящему литературному таланту (в чем он, бесспорно, был головой выше Томаса Мора), мы не задумываемся поставить его идеалы по обширности и выработанности ниже идеалов английского гуманиста. Ульриха фон Гуттена мы назвали по той причине, что все же он больше всех других гуманистов средней эпохи интересовался общественными явлениями своего века. Обратившись же к Эразму Роттердамскому, лучшему другу Томаса Мора и писателю, в еще большей степени превосходившему автора «Утопии» своими литературными талантами, мы сразу оценим всю пропасть, отделявшую их в деле отношения к обществу и его бедам. Здесь не место пока касаться и сравнивать поведение обоих друзей перед лицом власть имущих, не место вспоминать робкое сожаление, выраженное Эразмом по поводу стойкости Мора, когда пришло известие о его казни. Но спросим себя, как отразилось в произведениях Эразма состояние современного ему континента Европы? Из его работ мы получим яркое освещение происходившей тогда в верхних культурных слоях борьбы, увидим блестящую картину публицистических походов против папства, перенесемся во все большие и мелкие интересы тогдашнего литературного мира, тогдашней читающей публики, всего, словом, имевшего хоть какое-нибудь касательство к книгопечатанию. Но вынесем ли представление об экономическом состоянии общества, о его социальных делениях и перемещениях? А ведь и в Германии начала XVI в. и в этой области, как и в религиозной жизни, происходили чрезвычайно острые, важные события и изменения. У Эразма можно найти художественные, полные юмора страницы о его злоключениях, о его путевых несчастьях [191], о грязных гостиницах, о грубых трактирщиках, о глупых слугах, о безобразных дорогах Вестфалии и Рейнланда. Ни в каком случае нельзя отрицать исторической важности этих бытовых черточек, художественно схваченных Эразмом, но, с субъективной стороны, это лишь чисто личные, в самом узком и точном смысле, приключения и впечатления Эразма, экономический же и социальный быт тех стран, где он жил и по которым путешествовал, его не интересовал совершенно, и он ничего об этом предмете и не оставил во всем своем богатейшем литературном наследии. Томас Мор, напротив, опуская по возможности всю узко личную сторону дела, передает нам лишь те свои впечатления, которые имеют общий и отнюдь не поверхностный интерес.

В критических, сатирических и негодующих своих замечаниях по поводу общественных нестроений Томас Мор, отделяясь от современных ему континентальных гуманистов, продолжал традицию автора «Петра Пахаря», Уиклефа, Джона Россуса [192].

Но его книжка не довольствовалась критикой: она хотела дать положительный идеал. При построении этого идеала Томас Мор уже не только на континенте, но и в Англии не мог отыскать каких бы то ни было литературных образцов. Но, как мы отметили в первой главе, он был гуманистом истинным, и поэтому сокровища классической мысли были ему до самой глубины своей доступны; он был вместе с тем *английским* гуманистом и вследствие этого не чуждался церковных писателей, как то делал его итальянский современник, кардинал Бембо, в качестве гуманиста не читавший никогда св. Павла, «чтобы не портить свой латинский стиль». Среди философов классической древности и среди выдающихся отцов церкви Томас Мор нашел, вернее вспомнил, ибо он их знал с юности, двух людей, еще до него пытавшихся дать всему человечеству идеал общественной жизни. Описание утопийского государства имеет и фактическую, и логическую связь с идеями Платона и блаженного Августина. Подтверждения этой мысли и составят содержание следующей главы.

Глава IV

ГОСУДАРСТВО «УТОПИИ». ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1

Источниками всемирной литературы, оказавшими несомненное влияние на выработку положительных идеалов «Утопии» и на весь сказывающийся в этом произведении ход мысли, мы считаем: 1) книгу блаженного Августина о государстве божьем, 2) диалоги Платона «Тимей» и «Критий», 3) «Республику» Платона и 4) трактат Платона о «Законах». Двух названных авторов этих трактатов и следует считать литературными вдохновителями положительных идеалов «Утопии». Начнем с блаженного Августина, потому что влияние его не сказалось с такой очевидностью, как влияние Платона, и еще потому, что в литературе о Томасе Море Августин почти совсем проходится молчанием. Не говоря уже о Ропере, Гарпсфильде, Степльтоне и дальнейших их компиляторах (Кресакре Море и т. д.), у которых вообще литературная деятельность Томаса Мора остается в тени, но и новейшие исследователи предмета до странности мало интересовались крупнейшим произведением Мора и, в частности, его источниками. Тем не менее о Платоне хоть упоминается кое-где [193], а блаженный Августин почти совсем умалчивается. У первого биографа Томаса Мора в XIX столетии, самостоятельного и трудолюбивого биографа, Рудгарта, мы находим об «Утопии» ровно 22 страницы [194], сплошь занятые *исключительно* пересказом содержания трактата, и больше *решительно ничего* относящегося к «Утопии» нет. Внешний и действительно весьма значительный интерес биографии Томаса Мора так занимает Рудгарта, что, например, эпохе его канцлерства, дружбе с королем, ссоре с королем посвящается гораздо больше места, чем даже хотя бы пересказу важнейшего трактата. Не только и речи нет о каком-нибудь, даже и беглом, анализе, но ничего не сказано и

о Платоне, не упомянуто это имя, хотя самое сжатое изложение трактата требует такого упоминания. После Рудгарта мисс Анни Меннинг [195] посвятила особую работу домашней жизни Томаса Мора, где, разумеется, и не могло оказаться места для какого бы то ни было разбора или упоминания об «Утопии». Через 26 лет после первого издания Рудгарта Низар издал книгу под названием «Etudes sur la renaissance» [196], где особый очерк посвящен Томасу Мору. В этом очерке находим $7^1/_2$ страниц, озаглавленных «L'Utopie» [197] и сплошь занятых пересказом содержания трактата. Низар смотрит на «Утопию» как главным образом на l'aimable jeu d'esprit d'un érudit, а вовсе не как на изложение «принципов реформатора» [198]. О связи с Платоном говорится так: «L'Utopie est comme tous les livres de ce genre, comme la république de Platon... une création où il y a plus de fantaisie que d'intention critique». При таком полном и безнадежном непонимании «Утопии» немудрено, что, кроме приведенной фразы, даже и Платон больше не поминается, не говоря уже о каком бы то ни было анализе источников или содержания трактата. Самое изложение «Утопии» на этих $7^1/_2$ страницах чрезвычайно плохо. В 1867 г. вышла в свет работа Фредерика Сибома, озаглавленная «The oxford reformers» [199]. От исследователя социальных и родовых отношений можно было ожидать анализа «Утопии» как со стороны связи ее с исторической эпохой, так и со стороны связи с аналогичной литературой прежних веков. Ничего подобного в книге Сибома нет. Деятельность Томаса Мора излагается отрывками, и ей посвящено гораздо меньше места, нежели Эразму и Колету. Чрезвычайно живое изложение Сибома придает много интереса главному предмету книги — выяснению обстоятельств их личной дружбы и сношений, но, например, для «Утопии» из 528 страниц книги нашлось лишь 30 страниц [200], бóльшая часть которых занята пересказом «Утопии», а меньшая — несколькими вводными и заключительными критическими фразами. Сибом смотрит на «Утопию» как на произведение аскета, ополчающегося против эгоизма и тщеславия [201] общества, в критической части видит сатиру против некоторых явлений современности, но, кроме двух-трех беглых указаний, на наш взгляд несправедливых [202], ничего там найти нельзя. Чисто биографическая часть (оборванная Сибомом на 1519 г.) изложена и выяснена гораздо лучше. Об источниках «Утопии» совсем ничего не говорится, и ни названных нами авторов, ни иных Сибом не касается.

В 1888 г. появилась книжка Каутского под названием «Thomas More und seine Utopie» [203]. Эта книжка первая делает попытку связать «Утопию» с социальной средой, окружавшей Томаса Мора, и поэтому с методологической точки зрения стоит

на гораздо более реальной и научной почве, нежели все перечисленные биографии, но самое содержание очерка об экономическом, правовом и религиозном состоянии Англии нам кажется не вполне правильным и фактически обоснованным. Почти полное отсутствие ссылок вообще, кроме одной ссылки на Маркса, одной — на Луи Блана, одной — на Монтескье, одной — на Рота, одной — на Рабле, одной — на Людвига Гейгера, о «Ренессансе и гуманизме», двух — на Маурера и очень немногих других, полное отсутствие указаний на источники или литературу по экономической истории Англии того времени не дает возможности читателю узнать, откуда Каутский [204] почерпнул такое полное убеждение в правдивости излагаемых им взглядов. Много справедливого сказано о роли торгового капитала в экономической жизни народов Европы, но откуда Каутский взял, например, что торговые сношения между нациями «создают национальный язык»? [205] Откуда он взял, что XVI век есть век «смертельной борьбы» (Todeskampf) [206] феодализма против капитализма? Кто же были эти «борющиеся» феодалы? Не лендлорды ли, именно в XV—XVI вв. заключившие поистине «социальный договор» со степлерами и вообще с купцами-экспортерами? Точно так же не только совершенно некстати приведено, но и совершенно неверно указание на отличие пролетариата XVI в. от античного, который якобы жил на счет «рабов» и «бесправных провинциалов» [207]; безмерно преувеличено и, так сказать, «модернизировано» суждение о «пролетариате XVI века», для блага коего требовалось «прекращение всякой классовой борьбы» [208], а не замена господства одного класса другим. Тут-то мы и наталкиваемся на характерный образчик писательской манеры Каутского, сильно понижающий значение его книжки: он, зная наперед, что в «Утопии» нет классовой борьбы, стремится без всяких оснований, путем чисто «словесных» оборотов подогнать якобы существовавшие потребности XVI в. ко *всему* содержанию идеалов Томаса Мора. Конечно, ничего ценного отсюда получиться не может. Если мы говорим, что критические замечания «Утопии» имеют корни в действительности, окружавшей автора, мы можем доказать это реальными фактами, если же мы говорим, что в *положительных* идеалах Мора нужно видеть своеобразное отражение природы современного ему общественного строя, то мы должны это доказать с фактами в руках и не иначе, ибо в построении *положительных* идеалов «Утопии» принимали участие такие разнохарактерные психические силы, как и впечатления окружавшей среды, и литературные влияния тех писателей, которых читал Томас Мор, и личное его творчество. Разобраться или по крайней мере попытаться разобраться в этих элементах, чтобы по возможности

выделить роль каждого из них в построении моровской фантазии, можно и должно, но наперед «подводить» якобы реальный фундамент под все здание социального романа в его целом — это значит умышленно и предвзято закрыть глаза на все не укладывающееся в трафарет; подобный образ действий достоин «историографов» вроде Меринга, но недостоин таких, как Каутский, показавший себя хотя бы в той же самой книжке о Томасе Море внимательным биографом и человеком, способным писать блестящие личные характеристики [209]. Далее, совершенно неосновательно его утверждение, что «в общем» (im Allgemeinen) в начале нового времени церковь владела третью всей территории Европы (в виде земельных угодий). И «в общем», и «в частности» совсем никаких фактов для подтверждения этого нет. Вообще метод Каутского в этой части его работы крайне прост: он берет известный исторический факт и затем даже без попытки фактических доказательств, путем чисто словесных построений старается логически вывести необходимость этого факта. Например: несомненно, что папская власть в начале нового времени в некоторых странах Европы пала. Каутский заявляет, что папство погублено было капиталом, а капитал обязан быстрым развитием своим — крестовым походам [210]. Таких словесных построек чрезвычайно много в книжке Каутского. Еще курьезнее мнение его о гуманистах. В начале нового времени, говорит он, появились зачатки капиталистического производства, которые и вызвали абсолютную монархию и национальную идею. «Таким-то образом [211] и гуманисты стали самыми ревностными поборниками соединения нации под властью одного государя... Уже отец гуманизма Данте заявил себя монархистом» [212]. Оставим уж в стороне категорическое и совершенно произвольное утверждение, что начало абсолютизма в Европе совпадает и стоит в причинной связи с началом «капиталистического» производства (которого не было в XIV и XV вв.); оставим и столь же категорическое раскрытие происхождения «национальной идеи»; назвать Данте отцом гуманизма (der Vater des Humanismus) — решительно то же самое, что назвать, например, самого Каутского отцом милитаризма, это значит или никогда не притронуться даже к «Божественной комедии», или думать, что понятия гуманизм и католицизм тождественны: tertium non datur. Но это все уж оставим в стороне: нам важно отметить, что гуманисты, по мнению Каутского, потому стали (wurden) поборниками соединения нации под властью одного государя, что этого требовали интересы «капиталистического» производства... Положим, они не стали все поборниками того, что приписывает им Каутский; положим, «капиталистическое» производство не существовало тогда, а существовал лишь купеческий капитал; но тут еще характернее всех этих фантазий категори-

ческое связывание гуманистических (хотя бы и выдуманных в значительной мере Каутским) идей и способа производства, связывание причинной связью, без тени фактических оснований. Это-то стремление насильственно подогнать *все* содержание умственного движения, проявлений умственной жизни под наперед установленную (и в данном случае фантастическую) схему и отозвалось на анализе Каутским «Утопии» и испортило этот анализ в сильной мере, и это тем более жаль, что, повторяем, в самой основе своей, в методологическом *замысле* работа Каутского вполне научна, и есть много верного в его рассуждениях об Англии XVI в. Но и тут есть вещи, совсем выдуманные. Например, Каутский говорит, что английская реформация выросла на почве вражды к Испании, ибо испанцы были соперниками англичан, и англичане их ненавидели. Он ошибается, говоря, что англичане ненавидели испанцев за морские разбои: это была слишком малая причина; они их ненавидели главным образом как конкурентов по северным рынкам шерсти. Но не в этом теперь дело; не зная, как объяснить удачнее успех английской реформации, Каутский строит такой (выдуманный им самим) силлогизм, будто бы существовавший в душах англичан [213]: «Испанец стал наследственным врагом Англии... Папа же был игрушкой Испании (?). Быть католиком значило быть на стороне испанцев, значило служить наследственному врагу, значило изменять отечеству, то есть его торговым интересам». В результате — английская реформация... Итак, английская реформация есть продукт морских разбоев со стороны испанцев, нарушавших английские торговые интересы. Но и это не все: собственно, враждебной Англии Испания стала лишь с половины XVI в., говорит Каутский, а в эпоху самого совершения реформации (т. е. во времена Генриха VIII) «народу» не выгодна была реформация, ибо конфискацией и секуляризацией церковных имуществ ускоряла разорение арендаторов и т. д. Но Томас Мор «предвидел», что для «народа» (т. е. бедных слоев) это будет невыгодно, и боролся до смерти с реформацией [214]. Потом «народ» восстал против «протестантской камарильи» и возвел на престол Марию Кровавую; затем усилились морские разбои, и вот тогда-то «народ» утвердил на престоле Елизавету [215]... Все эти словесные элукубрации похожи прямо на карикатуру, и нам остается пожалеть о неудобстве и невозможности дословно выписать 249-ю, 250-ю и 251-ю страницы книжки Каутского вследствие их обширности. На каждый дворцовый переворот, на каждое происшествие, на каждую биографическую подробность жизни Томаса Мора у него готовы объяснения, и все это без всяких фактических подтверждений, просто по игре фантазии. Откуда, например, он узнал, что именно Мор «предвидел», когда выступал против реформации?

Нигде *ни слова* об этом нет, это выдумка Каутского, столь же курьезно пытающегося «оправдать» Томаса Мора в его католицизме, как другие биографы, священник Бриджетт и прочие, желают «защитить» его от упреков в коммунизме и вольномыслии. В результате получается искусственная подгонка фактов, ибо из цельной индивидуальности одной эпохи нельзя искусственно выделать цельную индивидуальность другой. «Объясняя» все без исключения собственными соображениями об экономических первопричинах, Каутский, естественно, и не заикнулся о литературных источниках положительных идеалов «Утопии»: для него и без того каждая мелочь фикции Томаса Мора «должна» была иметь экономические корни в Англии XVI в.

9 декабря 1886 г. папа Лев XIII канонизовал Томаса Мора блаженным (beatus, blessed), и интерес к нему со стороны католического клира сильно оживился. В 1891 г. появилась новая биография Томаса Мора [216], написанная Бриджеттом, деятелем конгрегации Христа-искупителя. Бриджетт весьма тщательно собрал весь биографический материал, перепечатал из других изданий много писем Томаса Мора, но для нашей темы он дал весьма немного. Посвятив свой труд прославлению Томаса Мора как мученика за католицизм, Бриджетт меньше всего интересуется «Утопией» и посвящает ей ровно 6 страниц (стр. 101—107) из 472, составляющих его книжку. На этих 6 страницах он доказывает, что Томас Мор был истинный католик, а не свободомыслящий. О содержании «Утопии», не относящемся прямо к этому предмету, не сказано ни слова. Вообще же, даже в биографической своей части, труд Бриджетта носит характер сборника материалов, а не исследования, ибо материалы в нем напечатаны подряд, почти без классификации. Остается упомянуть еще о двух биографиях Томаса Мора, которые, впрочем, также дают весьма мало для анализа «Утопии». Одна из них помещена в издающемся и еще не оконченном теперь * «Dictionary of national biography» [217]. В 38-м томе этого словаря напечатана биография Томаса Мора отнюдь не компилятивного характера, к ней приложена весьма тщательная библиография старых изданий Томаса Мора и т. д. Конечно, «Утопии» посвящено здесь очень мало места (3 столбца), но автор все же вскользь упоминает [218] о влиянии, которое Платон имел на Томаса Мора. Хотя это не более как беглое замечание, но мы его приводим как образчик вполне добросовестного, хотя бы и самого беглого трактования разбираемого вопроса. Наконец, последняя по времени биография принадлежит Геттону [219]; она не блещет никакими особенными достоинствами даже как жизнеописание, «Утопии» же посвящено 33 страницы (стр. 110—142), занятые на $^4/_5$ пересказом содержания. Об источниках не сказано ни одного слова.

* Опубликовано в 1901 г.— *Ред.*

Так обстоит дело с разбором «Утопии» биографиями, претендующими на известную самостоятельность; других (а их есть еще 3—4) мы не касаемся вследствие совершенно компилятивного их характера. Переходим к другой отрасли научной историографии — к изложениям социальных систем. Здесь мы ограничимся только указаниями, хоть сколько-нибудь относящимися к непосредственному предмету этой главы. Если критические замечания «Утопии» интересуют историков экономических судеб Англии (хотя и здесь мы редко что находили, кроме неизбежной одной и той же цитаты об овцах, пожирающих людей), то положительные идеалы «Утопии» дают этому произведению полное право на внимание историков общественных доктрин и государственно-правовых построений. О таких книгах, как работа Кауфмана [220], мы говорить совсем не будем, ибо на 13 страничках, занятых «Утопией», не находим ровно ничего, кроме нескольких вполне неинтересных трюизмов. Впрочем, и цель Кауфмана — не научное исследование, а «борьба» с «утопиями», что, по очевидному мнению автора, избавляет от необходимости даже ознакомиться с ними: Кауфман и начинает свою книжку только с Мора [221], но привести его в связь с предыдущим и последующим не приходит автору в голову. Прекрасная статья Дитцеля [222] занята преимущественно вопросом об отношении работы Мора к позднейшим социальным романам, но не литературными его источниками. В 1855 г. вышла в свет книга Роберта Моля, надолго ставшая настольной у государствоведов: «Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften». В первом томе этого труда находим особую главу под названием: «Die Staatsromane» [223]. В названной главе Томасу Мору посвящены 5 страниц, из которых 4 (стр. 179—182) заняты пересказом содержания, а пятая — 183-я — упоминает лишь, что фурьерист Кабе много позаимствовал из «Утопии»; больше никаких указаний литературного характера на этой странице не находим. Вообще же об «Утопии» у Роберта Моля, кроме означенных страниц, нигде не упоминается. Роберт Моль дал образчик составления таких работ общего характера о социальных романах: он говорит и о Платоне, и о Томасе Море, но ни в какую связь их не ставит, а, просто, последовательно пересказывает их произведения, с краткими послесловиями. Впрочем, Роберт Моль, несомненно, в подлиннике читал «Утопию», а, например, другой новейший историк «государственных романов», Фридрих Клейнвехтер [224], рассуждал об «Утопии», по собственному заявлению [225], на основании ее французского перевода, сделанного Гедевиллем. Нужно знать, что такое Гедевилль, чтобы оценить научную добросовестность Клейнвехтера. Гедевилль в начале XVIII столетия не перевел, но переложил «Утопию» на французский язык, присочинив от себя

чрезвычайно много. Обыкновенно латинские издания «Утопии» занимают 140—160 страниц, а у Гедевилля [226] при почти одинаковом шрифте получилось 348. Удивляться этому не следует, принимая во внимание ту изнурительную и бестактную болтовню, которой Гедевилль уснащает простое, немногословное, искреннее изложение Томаса Мора. Совсем изменяется и тон книги: вместо серьезного, например, описания сватовства утопийцев у Томаса Мора [227] Гедевилль дает какую-то весьма сомнительного тона шутку и снабжает это место своей переделки такого же достоинства иллюстрацией [228]. Положив в основание своего ознакомления с Мором книжку Гедевилля, Клейнвехтер все 7 страниц, отведенных Мору, посвящает пересказу гедевиллевской переделки (стр. 41—47) и ни одной строчки даже не говорит *по поводу* излагаемого. Единственным историком политических учений, коснувшимся «Утопии» внимательнее, следует признать Б. Н. Чичерина, который на 295—300 стр. первого тома своего известного труда [229] дает изложение содержания «Утопии», а на двух следующих страницах (стр. 301—302) делает некоторые критические замечания и высказывает мысль о невозможности учредить в человеческом обществе утопийские порядки. У Б. Н. Чичерина встречаем и слова: «Мор вдохновлялся Платоном», а также, правда беглое (в десяти строках), сравнение систем Платона и Мора. Это и не удивительно: у всякого, читавшего и изучавшего подлинники обоих авторов, такая ассоциация неминуемо должна возникнуть, и удивляться надо не тому, что Чичерину она пришла в голову, но тому, что у Роберта Моля она не явилась. Чтобы уже не возвращаться к русской литературе, упомянем о блестящей лекции о Томасе Море профессора Виппера [230], которая дает все, что только может дать лекция ученого, обладающего в одинаково значительной степени и познаниями, и даром изложения, но совершенно неуместно было бы требовать от публичной лекции историко-литературного подробного анализа трактата Томаса Мора. Из работ самого последнего времени книга профессора Георга Адлера [231] упоминает, но только упоминает, об аналогии между Платоном и Томасом Мором; приводим все сюда относящееся: 1) «...в этом отношении (хода мыслей, последовательности, оригинальности — *Е. Т.*) само собой возникает сравнение между моровской «Утопией» и платоновской «Политией». В обоих случаях дело идет о задаче установления в человеческом обществе справедливости и счастья, и в обоих случаях разрешение вопроса великолепно (grossartig) последовательностью творческой силы, с которой однажды принятые социально-этические взгляды проводятся до конца: оба произведения получили глубочайшее значение для всех позднейших государственных построений» (A d l e r, стр. 171); 2) указывается, что Платон был фи-

лософ, а Томас Мор — гуманист, вследствие чего «Платон, не смущаясь... реальными потребностями людей, возводил идеальное построение воображаемого бытия до гордой высоты сверхчеловечества», а Томас Мор в качестве гуманиста и гуманного человека (der Humanist und zugleich voll humanitären Sinnes) любил народ. «Мор человечнее, Платон сильнее»[232]. В дальнейшем изложении мы будем иметь случаи показать, правдива ли эта шумиха фраз относительно Платона, якобы творившего совсем вне связи с окружавшей его действительностью, а пока лишь заметим, что половина 171-й страницы труда Адлера, с которой и взяты цитаты, есть единственное место всей книги, говорящее о связи Платона и Мора. Этого пространства ($^1/_2$ страницы) слишком мало было бы для трактования подобного сюжета, даже если бы им занялся стилист вроде Тацита, а не Георг Адлер, весьма далекий от тацитовской многозначительной лапидарности и сжатости. Несравненно лучшее впечатление производят 5 страниц книги Людвига Штейна[233], посвященные «Утопии» (стр. 268—272), но, к сожалению, Л. Штейн совсем не говорит о литературных источниках Томаса Мора. «Здесь нас мало занимает филологический вопрос,— читаем мы у Штейна[234],— насколько Т. Мор подражал античным образцам и в особенности «Республике» Платона». Конечно, Штейн прав, если он не особенно интересуется этим вопросом в чисто филологическом отношении (как интересуется им Бегер[235], написавшая об этом особый реферат), но думать, что подобный вопрос не имеет никакого иного значения, кроме филологического, вполне ошибочно: от разработки подобных вопросов можно ожидать и освещения некоторых аналогий,— которыми по всей справедливости так дорожит экономическая историография, и выяснения кое-каких небезынтересных пунктов в эволюции литературных форм. Последнее ведь также совсем не сделано еще: Тэн в своей «Histoire de la littérature anglaise» ничего вообще не говорит о Море, а Бернгард Тен-Бринк, посвятив в своем, к несчастью прерванном смертью, труде[236] главу (497—540 стр.), говорит об «Утопии» на протяжении 8 страниц (509—517), в одной фразе упоминает имя Платона как автора, у которого Томас Мор заимствовал важные черты[237], и больше к этому не возвращается. Мы назвали две наиболее выдающиеся книги по истории английской литературы, ибо в немногих остальных вопрос точно так же совсем не разработан. Исследуя положение вопроса об источниках «Утопии» и основываясь на том, что, как видно из предыдущего, хоть и бегло, но все-таки делались указания на прикосновенность трактатов Мора и Платона, мы просмотрели 14 самых полных и новых исследований о Платоне (кончая огромным двухтомным трудом Huit[238]) и нигде не нашли ни малейших упоминаний о Томасе Море,

хотя бы для характеристики влияния Платона в потомстве. Только один раз упоминается[239] (*в пяти строчках*) Томас Мор в такой статье, где, казалось бы, ему можно было отвести больше места; принадлежит эта статья Целлеру и называется «Der platonische Staat in seiner Bedeutung für die Folgezeit»[240]. Что касается до блаженного Августина, то при всем старании мы не встретили нигде решительно указаний на связь «Государства божьего» с «Утопией», если не считать мнения, выраженного издателями латинского текста «Утопии», что связи «Утопии» с «Государством божьим» установить нельзя[241]. Очевидно, на эту связь указывалось, ибо только что приведенное мнение высказано, по-видимому, в форме возражения, но нам не удалось нигде натолкнуться на указание этой связи.

Все вышеизложенное, собственно, и внушило нам мысль, что работы, подобные настоящей, еще не могут почесться лишними; в частности же, заставило обратить внимание на литературные источники «Утопии», анализу следов которых в трактате Мора и посвящается значительная часть этой главы.

2

Сначала очертим влияние блаженного Августина на «Утопию», ибо оно несравненно меньше влияния платоновского.

Фактические доказательства знакомства Томаса Мора с «De civitate Dei» неопровержимы: как уже указывалось в первой главе, будущий автор «Утопии» читал об этом трактате Августина лекции в церкви св. Лаврентия (около 1500 г.) и имел, по словам своего зятя Ропера, большой успех[242]. При общей и постоянной религиозности Томаса Мора легко понять, насколько мог увлечь и заинтересовать его писатель, подобный блаженному Августину; а внешние впечатления Томаса Мора в эпоху написания «Утопии» были такого рода, что вдумчивый ум гуманиста мог вспомнить трактат отца церкви. Августин начал свою книгу в 413 г., через 3 года после страшного разгрома Рима Аларихом, окончил ее в 427 г., когда восходила звезда Аттилы.

В это ужасное время, казалось, рушится миропорядок, чтобы дать место чему-то совсем новому, неизведанному. Потрясающие события, сменявшие быстро одно другое, окончились взятием Рима, т. е. такой катастрофой, которая, как это достоверно известно, внушила мистический ужас не только побежденным, но и победителям. Вполне естественны были запросы, что вызвало все эти неслыханные бедствия и что может их предотвратить в будущем. Языческое общество склонно было сближать грозные нашествия варваров с появлением

и распространением христианства, и блаженный Августин в своем трактате как бы аргументирует против этого взгляда. Колоссальные события современности захватили и его, самая громадность их требовала более или менее обстоятельного разъяснения. Блаженный Августин строит теорию совместного и единовременного сосуществования на земле двух государств (civitates): одного греховного, плотеугоднического, а другого — праведного, божьего (civitas Dei). Ко второму принадлежали и принадлежат все, повинующиеся господу и заветам его, к первому — огромное большинство людей, живущих не под сенью правды. Противоположение и сравнение этих двух «государств» и составляет содержание книги Августина: все беды видимого мира происходят в «государстве» земном, греховном, а общество (или «государство») праведных людей от этих зол может пострадать плотью, но не духом, и во всяком случае в бедствиях и зле неповинно: по самой сущности своей оно стоит вдали от греха. Это сопоставление двух категорий, двух обществ людей, одинаковых по природе своей, но неодинаковых по духу, проходит красной нитью через трактаты блаженного Августина и Томаса Мора. «Две любви,— восклицает Августин,— создали два общества: любовь к себе, доходящая до забвения бога, создала земное общество (т. е. греховное — *Е. Т.*), любовь к богу до забвения себя создала общество небесное» [243]. У Томаса Мора мы находим те же указания, но в несколько измененной форме: греховному обществу Августина у него соответствуют главным образом управляющие и владеющие классы Европы (в частности Англии), небесному обществу соответствует Утопия. У Августина себялюбие играет роль высшего морального фактора, царящего в греховном обществе, у Томаса Мора — в особенности одна форма себялюбия, тщеславие [244], за ней корысть и т. д. Августиновской «любви к богу», царящей в «небесном обществе», соответствуют в «Утопии» повиновение и привязанность к идеальным законам, которые, по мнению Томаса Мора, находятся в полном согласии с заветами Христа. Мир душевный, спокойствие совести оба автора считают счастьем для человека, и оба почти одинаковыми даже словами говорят с этой общей своей точки зрения о семейных отношениях. «Человек должен,— говорит Августин [245],— радеть о своей жене, детях, слугах — о всех людях, каким только может быть полезен... и этим он будет умиротворен». У Августина «жена повинуется мужу, дети — родителям, слуги — господам», у Томаса Мора мы видим то же самое. Даже и пояснения о том, что такое надо понимать под словом «повелевают» в семейном быту, одинаковы у Августина и Томаса Мора. «Они (мужья, отцы, господа — *Е. Т.*) повелевают не алчностью ко власти, но (лежащим на них — *Е. Т.*) долгом милости (радения); не гордостью

властвования, но милосердием и заботливостью,— вот что говорит блаженный Августин [246], то же самое говорит и Томас Мор. Мир семейный у Августина играет большую роль, и Томас Мор заставляет утопийцев перед отправлением в церковь мириться со всеми домашними, причем они каются друг другу в неприязни, если таковая была, и уже с облегченной душой отправляются в храм [247]. О военном славолюбии оба автора одинакового мнения. «Чем больше человек свободен от этой нечисти, тем более приближается он к богу»,— читаем мы у блаженного Августина в пятой книге (глава XIV), где он говорит о римлянах [248]. Томас Мор весьма многозначительно отзывается о народах, которые довольствуются тем, что счастливы, и не заботятся о военной славе (gloriolae, как он презрительно ее называет). Но и Августин, и Томас Мор одинаково подчеркивают всю трудность избавиться от стремления к славе, от тщеславия.

«Хотя,— признается Августин,— трудно в этой жизни совершенно вырвать (эту страсть — *Е. Т.*) из сердца... тем не менее жажду славы должна превозмочь любовь к справедливости» [249]. Буквально теми же словами вторит Августину Томас Мор: «Хотя она (эта страсть, т. е. тщеславие — *Е. Т.*) слишком крепко укоренилась в людях, чтобы можно было легко ее вырвать» [250], тем не менее утопийцы, возлюбив справедливость, от этой страсти избавились. «Земное общество» Августина и все неутопийские общества Томаса Мора одинаково раздираются кровавыми ссорами и междоусобиями [251],— и тут глубоко значительна еще одна общая черта: в порицаемых обществах ни Августин, ни Томас Мор не находят счастливых. У них и побежденные несчастны, и победители счастья не достигают. В самом деле, как отзывается Августин о победах и поражениях земных? Он называет победы (притом всякие земные победы) смертоносными, mortiferae [252], или смертными, т. е. бесплодными, скоро преходящими (mortales). Смертоносна победа тогда, если она вскружит голову победителю [253], он превознесется, пустится в рискованные предприятия и погибнет; скоропреходяща же она всегда, ибо нельзя вечно властвовать над однажды побежденными [254]. Оставим уже в стороне буквальное повторение Томасом Мором этой мысли, когда он говорит о том, что, покорив чужую страну, царь ахорийцев принужден был с усилиями поддерживать в ней свое владычество и что его подданным, которым стало невмоготу подобное положение дел, пришлось понудить его отказаться от завоевания [255]. Спросим себя лишь, есть ли, по мнению Мора, счастливые люди в современной ему Европе? Нет, он их не находит. Мы уже приводили в предшествующей главе его суждение о богачах; он полагает, что и они счастьем не пользуются, что страх потери денег или

жизни, ослепление тщеславием не дают им насладиться богатствами[256]. «Богатые» Томаса Мора — это «победители» Августина, т. е. восторжествовавшие в греховном, дурном обществе: первые восторжествовали над разоренными «бедняками» (в Англии и Европе — Томаса Мора), вторые восторжествовали над побежденными (в «civitate terrena» Августина), но если несчастны побежденные, то не сладко и победителям. Указываемая нами черта сходства весьма знаменательна: она показывает, что Томас Мор, внимательно изучавший Августина, счел возможным бороться против окружавших его зол тем же оружием, каким африканский епископ боролся против греховного мира: он стремится показать, что зло, угнетающее бедных, проникающее, как ему кажется, весь социальный уклад, не имеет оправдания ни с какой точки зрения, даже с точки зрения людей, на пользу которых, казалось бы, зло это и существует и руками которых оно творится; точно так же и Августин доказывает, что ни с какой точки зрения греховное общество оправдания не заслуживает и ждать не может.

Мы совершенно не касаемся тех мест в трактате Августина и в «Утопии», которые затрагивают вопрос о религии, ибо оба были христиане, горячо верующие, а поэтому совпадения в мнениях тут ничего не могли бы доказать. Гораздо важнее отдельных черт сходства, подмеченных нами, одна, общего характера, уже затронутая здесь: оба трактата построены на противопоставлении идеального и греховного обществ, и в этом отношении, т. е. в смысле литературной внешности, архитектуры работы, и Августин, и Томас Мор непосредственно примыкают друг к другу: *за тысячу сто лет, отделяющие их, нет ни одного писателя, который в указанной характерной черте мог назваться звеном, соединяющим Августина и его ревностного читателя, автора «Утопии»*. Конечно, времена Августина отмечены более всеобщими, грандиозными бедствиями, нежели времена Томаса Мора, но при моральной чуткости английского гуманиста, при сильно бившейся в нем жилке общественных интересов, беды нескольких десятков тысяч мелких арендаторов, быстрый темп и безнадежность их разорения могли сообщить ходу его мыслей толчок в том же направлении, в каком получили его мысли Августина: восходя от видимых отдельных фактов к общим, первый усмотрел причину бед в существовании частной собственности, поддерживаемой людскими пороками, второй — в существовании греха и соблазна. Громадность общих причин не позволяла уму отдохнуть на проектах частичных поправок и улучшений, и Томас Мор отдохнул душой, лишь построив цельный идеал «Утопии», где нет «первопричины» бедствий; Августин нашел (и показал средним векам) успокоение и совершенство в «государстве божьем», где

нет греха и соблазна. У Томаса Мора этот ход мыслей, несомненно, обусловливался до известной степени и знакомством с трактатом блаженного Августина, следы влияния которого проявились и в общем построении книги Мора, и в указанных нами частностях. Отнюдь не преувеличивая влияния Августина, мы тем менее считали возможным умолчать о том, что отмеченная особенность литературной внешности «Утопии», встречающаяся у Августина (и только у него одного до времен Мора), совершенно отсутствует у другого писателя, произведения которого в гораздо большей мере повлияли на «Утопию» и к которому мы теперь обратимся.

3

У нас нет недостатка в доказательствах фактического знакомства Томаса Мора с философией Платона. Гуманист конца XV и начала XVI в. и не мог не быть знакомым с произведениями этого философа, который в течение всего XV в. играл в умственной жизни образованного общества Европы такую же роль, как Аверроэс и Аристотель — в XIV в., Аристотель — в X—XIII вв., Августин — в первую половину средних веков, св. Павел — в эпоху реформации. Томас Мор был одним из тех гуманистов, которые по всем навыкам своего мышления склонны были искать корней и начала всего хорошего у классических народов. Припомним то трогательное по своей наивности место «Утопии», где Томас Мор среди всяческих восхвалений утопийцев и их государства не задумывается, вопреки всякой логике и географии, вывести их происхождение от древних греков. Рассказав о той изумительной легкости и быстроте, с которыми утопийцы овладели греческим языком и начали читать привезенные Гитлодеем книги, Гитлодей заявляет, что, по его мнению, это объясняется некоторым давнишним знакомством утопийцев с греческими словами: «Я подозреваю, что этот народ ведет свое происхождение от греков» и т. д.[257] Только греческого происхождения и знакомства с греческой литературой не хватало бы счастливым утопийцам в глазах читателя XVI в., но греческое происхождение их удостоверено Гитлодеем, что же касается до литературы, то Гитлодей привез им несколько книг. В списке этих книг первое место занимает *Платон*[258]. Если, по мнению Томаса Мора, старый свет обогнал утопийцев только в одном-единственном отношении[259], именно в обладании «несравненной» греческой литературой, и если утопийцы сами так это понимают, что спешат ввести у себя книгопечатание с целью печатать греческие книги, и только нуждаются в

рукописях [260], то что же удивительного, если Томас Мор, рисуя идеальное государство, стал искать образчика его в той же греческой литературе? Прямых ссылок на Платона и именно на его произведения по социальной философии также можно в «Утопии» найти несколько.

Томас Мор приводит, обращаясь к Гитлодею, цитату из Платона относительно счастья государств, в которых либо правители — философы, либо философам поручено управление [261]. Далее, на 37-й странице «Утопии», находим уже прямое указание на то, что социальное счастье мыслимо лишь при общности имуществ, «которое изображает Платон в своей «Республике» или которое осуществляется утопийцами в их стране» [262]. На следующей странице снова приводится цитата из Платона, а немного дальше воздается хвала Платону, отказывавшемуся писать законы для тех народов, которые не хотят отменить у себя частную собственность; Гитлодей подчеркивает свое полное согласие с греческим философом [263].

Итак, фактическое знакомство с Платоном, и именно с его общественными построениями, вполне констатируется и биографией Томаса Мора и цитатами из «Утопии». Чтобы уже покончить с затронутыми тут вопросами о восторженном отношении Томаса Мора к классическим народам, прибавим еще, что римлян он ценил, по-видимому, гораздо больше как государственных практических деятелей, нежели как творцов литературы. Во вступительном (уже разобранном в третьей главе настоящей работы) диалоге, предлагая воров не казнить, но ссылать на работы, Гитлодей ссылается при этом на пример римлян, «опытнейших людей в управлении государством» [264]; напротив, философию римскую он не ставил ни во что, и Гитлодей даже не рискнул научить утопийцев латинскому языку, боясь, что «кроме поэтов и историков, тем ничего больше из римской литературы не понравится» [265]. Итак, только греческая философия и «царь» ее, Платон, могли быть достойными образцами для подражания. Теперь посмотрим, как отразилось это влияние на построении «Утопии».

Если между обстоятельствами, при которых зародилось «De Civitate Dei», и обстоятельствами, при которых была написана «Утопия», существует лишь отдаленное и условное сходство (и то исключительно в смысле влияния на психику Томаса Мора блаженного Августина), то можно сказать положительно, что социальные условия, окружавшие Платона, и социальные условия, окружавшие Томаса Мора [266], имели немало между собой общего, немало аналогий можно между ними провести без малейших натяжек. Из двух взглядов на экономическое развитие древнего мира, высказанных в последнее время, взгляд Бюхера на хозяйственную жизнь всего древнего мира как на строй

«домашнего хозяйства», этот взгляд никакими подтверждениями не был обставлен, а был, так сказать, декретирован его автором в качестве аксиомы, не требующей никаких доказательств. Напротив, мнение Мейера, что в древнем мире существовал и капитализм, и классовые очень резкие деления, и развитое товарное производство, это мнение установлено на неопровержимом и прочном базисе. Бюхер потому не привел никаких фактов в подтверждение своей догадки-«аксиомы», что таких фактов не существует вовсе. Экономист, знакомый из всеобщей истории преимущественно с историей Германии в новое время, Бюхер в 11 страничках на разные лады повторяет свое мнение, но факты отсутствуют. Для красоты и стройности схемы ему понадобилось ввести в нее и древний мир, но сам по себе этот мир его вниманием не пользуется. Разбив всемирную историю (а он ее рассматривает как единое целое) на три периода: домашнего, городского и национального хозяйств, Бюхер произвольно наметил хронологические водоразделы, и древний мир оказался вместе с первой половиной средних веков в первом делении, под которым уже красовался заблаговременно возвещенный ярлычок со словами «домашнее хозяйство». Схема вышла стройной, но словесные построения весьма часто в опытных литературных руках выходят стройными, не выигрывая от этого ничуть в реальности, в правдивости. Схема Бюхера не в состоянии объяснить, в сущности, ни одного крупного факта классической истории, а приняв мнение Эдуарда Мейера, мы поймем важные события и движения социальной жизни классических народов. Но это мнение не только объясняет античную историю, по крайней мере в главнейших ее чертах, оно в свою очередь подтверждается, обосновывается целой массой несомненных фактов экономического быта. С этими двумя теориями произошло то, что должно было произойти: фикция Бюхера остается красивым и бесплодным памятником словесной архитектуры, а воззрение Мейера наталкивает исследователей на новые и новые изыскания в указанном направлении. Оконченное в самом начале 1901 г. огромное двухтомное исследование профессора Пельмана [267] служит одним из красноречивых ответов на два вопроса: 1) существовал ли капиталистический строй в древности или не существовал и 2) объяснимы ли хоть как-нибудь с точки зрения бюхеровского взгляда те факты и идеи социального характера, которые так прекрасно и полно изложены в труде Пельмана. Пишущий эти строки не оставил без проверки ни одной почти (за вычетом 4—5) ссылки ни в указанном исследовании Пельмана [268], ни в работах Мейера («Geschichte des Altertums» и «Экономическое развитие древнего мира»), и это дает нам полное право утверждать, что ни Мейер, ни Пельман не притягивали факты насильно в угоду

своим воззрениям, что они не модернизовали греческий строй, отмечая в нем все характерные стороны капиталистического производства, а только свели воедино разбросанные в источниках прямые указания. Но специально для нашей темы эти источники дают то, на чем исследователям греческой жизни останавливаться не было никакой нужды; они дают яркую аналогию, картину экономического строя, который во многом более походит на строй Англии XV—XVI вв., нежели на хозяйственную жизнь какой бы то ни было другой страны или другой эпохи. Не в том даже дело, что в государствах Эллады в III—IV вв. до н. э. были разительные противоположности социальных положений, что денежная и промышленная спекуляция усиливала и расширяла эти социальные контрасты: в этом отношении III и IV вв. Эллады могут найти себе довольно аналогий во всемирной истории. Но *быстрота* полнейшего обнищания масс роднит эту эпоху с временами Томаса Мора. Два-три поколения видели и начало, и апогей этого процесса, и, может быть, именно быстрота его темпа вызвала такую лютую, откровенную и смертельную классовую вражду. Восстания в греческих государствах кончались в эти годы, в конце V, в IV и III вв., почти всегда беспощаднейшей резней; так было в Керкире в 427 г., в Аргосе в 370 г., во множестве других государств. «Всегда только бедняки ищут справедливости»,— говорит гениальный наблюдатель тогдашней действительности Аристотель, сильные же ничуть в ней не нуждаются» («ἀεὶ γὰρ ζητοῦσι τὸ δίκαιον, καὶ τὸ ἴσον οἱ ἥττους, οἱ δὲ κρατοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν»). Эти взывания о справедливости и яростные вспышки недовольства столь же мало помогали делу, как подобные же явления в Англии XV—XVI вв. (где только безнадежность борьбы вследствие большей консолидации государственной власти была очевиднее, и поэтому вспышки несравненно реже и меньше). Взаимная ненависть классов дошла до того, что, по словам Архидама, «врагов боялись меньше, нежели сограждан, богатые скорее готовы в море бросить свои богатства, нежели поделиться с бедняками, а бедняки ничего так не желают, как ограбить богатых». «Я хочу и мыслью, и делом вредить народу и быть ему врагом»,— так клялись члены олигархических партий [269]. Таковы были междуклассовые отношения в Элладе, когда жил и писал Платон.

Платон был поэт в душе, и это (может быть, в несколько иных выражениях) успело уже стать трюизмом,— до такой степени поэтический колорит парений его мысли бросается в глаза при чтении его произведений [270].

Он искал полноты, законченности, образности, и в метафизической, и в общественной своей философии; его мысль прилеплялась к цельным построениям, к всеобъемлющим фикциям;

в метафизике он создал «разумные идеи», делающие единообразным весь видимый мир, в общественной философии нарисовал сказочную «Атлантиду».

Хотя диалоги «Тимей» и «Критий», в которых говорится об «Атлантиде», и не столь важны для характеристики общественных воззрений Платона, как «Πολιτεία», «Νόμοι», тем не менее мы должны и их коснуться, ибо они указывают отчасти на то, что Томас Мор был действительно внимательным читателем греческого философа. Платон маскирует свою фикцию и даже так удачно, что вплоть до конца XVIII в. сбивал с толку географов и археологов, искавших Атлантиду [271] в самых разнообразных широтах. Достигает он правдоподобия тем же способом, каким стремился впоследствии к тому же Томас Мор: он называет известные имена реальных личностей (своего родственника Крития, деда этого Крития, Солона), указывает географическое положение Атлантиды и т. д. В указании географического положения он мог быть даже точнее Мора, ибо относит действие ко времени за 9 тысяч лет. В те счастливые времена афинянами руководили непосредственно сами боги, чем и объясняется их счастье (вспомним молитву утопийцев, чтобы бог сохранил им их законы, если они ему угодны, а если есть лучшие, чтобы внушил им мысль об улучшении). Климат в древних Афинах был превосходный (как и в Утопии). Охраняли ее от врагов воины, помещающиеся в особой крепости, обведенной стеной (как в Утопии — стража, так же в крепости, in castello). Своими превосходными законами древние афиняне обязаны мудрости своих первых законодателей (как государство Утопии своему основателю — Утопу). Золота и серебра жители Афин не знали (как и жители Утопии); сады и столовые были у них точно так же общие; женщины точно так же могли участвовать в войне; частной собственности древние Афины не знали. Словом, древние Афины в этих диалогах Платона выступают в виде идеально и божественно-справедливо устроенного государства. Это-то идеальное государство принуждено вести борьбу с жителями Атлантиды — острова, лежащего неподалеку от Геркулесовых столбов. Атлантида была роскошным, утопавшим в изобилии плодов земных островом [272]; Атлантида богата и сильна, Афины — мудро устроены и живут только в довольстве, но зато афиняне в нравственном отношении выше своих врагов. Чем разрешилась их борьба, мы не знаем, ибо диалог «Критий» не кончен, но мы можем вспомнить, как утопийцы уничтожили в прах богатое и сильное, но несправедливо живущее государство алаополитов [273]; быть может, подобным же эффектным доказательством силы хорошо устроенного государства и Платон хотел окончить свой диалог? Но вообще оба диалога об Атлантиде и древних Афинах больше внешней, художественной сто-

ропой, частностями (правда, характерными) близки к «Утопии». Иного характера сходство «Утопии» с другими двумя произведениями Платона: «Республикой» и «Законами».

В этих двух произведениях (хронологически предшествовавших «Тимею» и «Критию») Платон уже не рисует фиктивного идеального государства, но дает, так сказать, цельный образчик идеального, по его мнению, законодательства. Другими словами: то, что Томас Мор дает уже в виде конкретно существующего, для Платона в его «Республике» и «Законах» есть лишь desiderata. По форме «Атлантида» (с изображением Афин за 9 тысяч лет) ближе подходит к «Утопии», нежели «Республика» и «Νόμοι», но по содержанию последние два трактата дают более обстоятельное понятие о влиянии Платона на Томаса Мора.

Уже по той категоричности, с которой Платон отрицает частную собственность, можно с большой степенью вероятия заключить об особенно обостренных классовых отношениях его времени. Он не видел никакого иного выхода из ужасной взаимной ненависти общественных слоев, как уничтожение видимой причины ее. Уничтожение частной собственности и как общий принцип верховенство интересов всего государства над интересами каждой единицы, входящей в его состав,— таковы руководящие принципы «Республики». «Чтобы все государство было счастливо»,— вот цель законодательства «Республики» [274]. Такова же и цель законодательства «Утопии», и точно так же государственной власти даются в обоих трактатах большие права над личностью граждан. Но не одинаковы у Томаса Мора и у Платона самые носители власти: в «Утопии» при некоторой бесспорной путанице в идее о «старшине» города, которого иногда можно смешать с «главой» государства, все же ясна выборная система сифогрантов и других должностных лиц, ясно проведен принцип сменяемости их через известные промежутки времени, их ответственность перед управляемыми. Это люди из общества, временно и его волей над ним возвысившиеся. Томас Мор писал в эпоху торжества сильной монархической власти, твердого правительства и, смотря на сильную правительственную власть как на благо, он тем не менее не мог с особенным жаром на этом пункте настаивать: если уж в несчастной Англии существует столь нужная для общества вещь, как твердая правительственная власть, то тем более ее можно предположить в счастливой Утопии. В ином положении находился Платон: государственная власть в современной ему Элладе (не исключая и Спарты) являлась в точнейшем смысле орудием классовых целей и интересов и орудием благодаря демократизации государственного строя во многих местах Греции чрезвычайно удобоподвижным, изменчивым, шатким. Если Томас Мор

жалуется на пристрастие власти к богачам, на «заговор богатых против бедных» и так далее, он не совсем прав. Статуты Генриха VIII о рабочих, статуты Генрихов VII и VIII, Эдуарда VI, Елизаветы об огораживаниях показывают, что более общие интересы самообороны нации, довольства масс оказывали на Тюдоров, хоть в малой степени, известное действие. Горечь упреков Томаса Мора не вполне заслужена правительством Англии. Но в платоновской Греции при быстрой и хаотической смене олигархии охлократией, охлократии олигархией правительство поражало своей полной неустойчивостью и неавторитетностью. Платон видел перед собой не столько одно цельное общество, сколько конгломерат ожесточенно борющихся элементов, не столько правительство, обыкновенно носящее (как, например, в тюдоровской Англии), помимо неизбежного классового оттенка, еще и характер учреждения национальной обороны, сколько орудие более удобной расправы с внутренним врагом, орудие, переходившее почти ежегодно из рук в руки. Классовый отпечаток тем явственнее ложился на правительственную власть, чем чаще сменялись у кормила правления торжествующие классы. Платон, придавая в своей «Республике» правительству значение руководящего элемента, настаивает под очевидным влиянием этой черты современного ему общества на том, что правительственные лица должны быть совершенно выделены из состава «идеального» общества, что должен существовать отборный военный класс, который и управляет остальным обществом, не вмешивающимся в политику и не терпящим в свою очередь вмешательства своих управителей в хозяйственную жизнь. У Томаса Мора ничего подобного нет, но это обусловливается разницей в построении обоих трактатов. Платон считает необходимым предлагать меры, способные, как он думает, сохранить идеальный строй, сделать невозможными всякие покушения против него со стороны его врагов, а Томас Мор рисует утопийское государство как однажды заведенную машину, правильному ходу которой ничто не угрожает настолько, чтобы нужно было вносить для этого изменения в утопийскую конституцию. Платон ополчается против частной собственности и точно так же, как Томас Мор, особенно сурово изгоняет из идеального государства золото и серебро [275]. Замечательно, что у Платона и у Томаса Мора главным образом неясно место, относящееся к главе государства. Утопийский princeps иной раз понимается как глава города (а городов в Утопии много), другой раз как глава всей утопийской республики. У Платона говорится о выделенном из общества правящем классе, а вместе с тем о господстве философов, и он даже ставит все благо государства в зависимость от управления ее философами [276] или философствующими властителями (на это место, между прочим, прямо ссылается в уже

указанном случае Томас Мор). Таким же рационализмом дышит и «Утопия»: разница лишь та, что в «Утопии» философ-законодатель (Утоп) раз навсегда завел идеальные порядки, а в платоновской «Республике» философам поручаются поддержка и сохранение порядков, предлагаемых их собратом Платоном.

В первой главе настоящей работы мы видели, что Томас Мор держится мнения о равных правах женщины и мужчины на образование. Это суждение Томаса Мора, входящее и в «Утопию», быть может, навеяно отчасти следующими словами «Республики»: «Возможно ли требовать от какого-либо животного тех же работ (как от другого — *Е. Т.*), отказывая ему в той же пище и не давая ему той же выучки? Нет, невозможно. Следовательно, требуя от женщины (в идеальном государстве — *Е. Т.)* тех же услуг, как от мужчин, мы должны их и учить тому самому? Да. Но мужчина учится музыке и гимнастике? Да. Следовательно, и женщин нужно учить этим искусствам, а также военному искусству и вообще обходится с ними одинаково (как с мужчинами — *Е. Т.*)» [277]. Все это находим и у Томаса Мора, включительно с воинскими упражнениями для женщин, процветающими в Утопии. Целью государства Платон считает достижение идеала добродетели и справедливости (δικαιοσύνης). У Томаса Мора говорится о счастье всех граждан, которое, по его мнению, совершенно неразлучно со справедливостью. Впрочем, и у Платона (но уже не в «Πολιτεία», а в «Νόμοι») находим совершенно ту же мысль о необходимости для людей стать и добрыми, и счастливыми [278], а для государства — наилучшим и счастливейшим. Вообще в «Законах», как известно, довольно значительно отличающихся от «Республики», находим несколько черт сходства с «Утопией», которых не находим в других произведениях Платона. Так, несколько подробнее говорится об общих трапезах всех граждан, где женщины (как и у Томаса Мора) присматривают за кухней [279]. Науками автор «Законов» заставляет заниматься не только одних философов (как в «Республике»), но он отводит для занятий науками определенное время, когда дети должны получать образование[280]. О преподавании изобразительных искусств Платон совершенно ничего не говорит, умалчивает о них и Томас Мор; Платон не вводит знакомства с ними в систему образования вследствие общего неблагосклонного к ним отношения [281], Томас Мор — по причине того невнимания к запросам и значению искусств вообще, которое так ярко отличает английский гуманизм от итальянского и даже от немецко-голландского. В философском познании, в поисках и стремлении к философской истине Платон признает высшее наслаждение для человека, совершенно то же самое находим и у Томаса Мора

(«...cujus ope philosophiae dum naturae secreta scrutantur, videntur sibi non solum admirabilem inde voluptatem percipere, sed apud auctorem quoque ejus atque opificem summam mire gratiam» etc. «Utopia» [282]. Что касается до религиозных воззрений, то при всем различии сект все утопийцы веруют в разумное внемирное существо, управляющее вселенной. Совокупность «Разумных идей» Платона тем более могла навеять эти мысли «Утопии», что Томас Мор считал совершенно явственно религию утопийцев наивысшей формой верований, возможной у незнакомого с христианством народа, и точно такого мнения держался и Пико делла Мирандола, которого, как мы упоминали в первой главе, Томас Мор изучал и переводил и биографией которого он интересовался (и даже перевел ее на английский язык). Даже нетерпимость Томаса Мора к людям, не верящим в загробную жизнь, которые в его «Утопии» не допускаются к занятию общественных должностей, довольно сложного (как увидим в следующей главе) происхождения, и следы платоновского влияния сказались и здесь; нечестивцам, не верящим в существование провидения, Платон назначает суровые наказания: тюремное заключение на 5 лет, а в случаях богохульства или святотатства иного рода — смертную казнь [283]. Вообще в законах о нечестии (ἀσέβεια) Платон остался совершенно на уровне своих современников, казнивших Сократа, и мы даже не решаемся согласиться с Дарестом, историком права в древней Греции, который признает за Платоном заслугу большей определительности (сравнительно с действовавшим законодательством) [284]. У него и держаться нечестивых мнений есть преступление, и распространять их — еще большее. Повелевая должностным лицам с полным вниманием относиться к доносам на преступления такого рода, Платон ничуть не определяет, когда донос может быть оставлен без внимания. У Томаса Мора отношение к платоновским ἀσεβεῖς гораздо мягче, хотя он и сравнивает их, подобно Платону, с животными и ограничивает их в правах. Ежемесячные праздники, существующие в «Утопии», существуют и в платоновских предначертаниях.

Таковы крупные и мелкие черты сходства, которые мы считаем нужным установить между Платоном и Томасом Мором; есть еще некоторые мелочи, совпадающие у обоих авторов [285], но они показались нам случайными и малохарактерными.

Итак, если весь критический элемент «Утопии» внушен Томасу Мору непосредственными впечатлениями от реальной действительности, то ее положительные идеалы, обязанные своим *происхождением* тому же стимулу, в *построении, создании* своем носят следы литературного влияния; в более слабой степени — блаженного Августина, в гораздо более сильной степени — Пла-

тона. Аналогичные или хоть отдаленно похожие впечатления исторической действительности, падавшие на душу этих трех авторов, не могли не способствовать той готовности, с которой Томас Мор черпал в своих научно-литературных познаниях идеи и образы, и без того напрашивавшиеся в виде реакции против невеселой действительности. Эти идеи и образы помогали до известной степени облечь свои идеалы в плоть и кровь, но, вполне признавая это их значение для автора «Утопии», мы погрешили бы против несомненной истины, если бы не отвели подобающего места и личному, оригинальному его творчеству. Эта сторона вопроса связана с содержанием положительных идеалов трактата.

Глава IV (продолжение)[286]

ГОСУДАРСТВО «УТОПИИ». ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ. МЕСТО «УТОПИИ» В ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧЕНИЙ

4

Считаем необходимым предварительно заметить, что воззрение на «Утопию» как на шутку (jeu d'esprit, по выражению Nisard), как на литературную забаву гуманиста в часы досуга положительно не выдерживает самой снисходительной критики. Мы не будем уже распространяться об общем тоне произведения, о тех горячих тирадах против богатства, золота и так далее, которые он излагает от имени утопийцев, о явственном совпадении мыслей, выражаемых по поводу критики существовавшего строя, с мыслями, выражаемыми по поводу утопийского государства, о горькой, пессимистической идее заключительных страниц: все это слишком не похоже на шутку. Но, помимо общего тона, в котором ведется рассказ, положительные идеалы «Утопии» в целом логически вытекают из критики английского социального уклада XVI в., которую, конечно, никто уже за шутку не сочтет. Если же это не шутка, то Томас Мор, очевидно, строил положительную часть своей книги, как до него Платон или как после него Кампанелла, желая в живых, цельных образах и картинах воспроизвести свои основные идеи и доказать если не осуществимость их, то по крайней мере правдоподобие. В осуществимость своих идеалов во всей их полноте он не верил сам. «Сознаюсь, много есть в утопийской республике такого, что я скорее желаю, нежели надеюсь видеть в наших государствах»,— так кончает он свой трактат. С волнением и негодованием поясняет он на предпоследней странице, почему именно убежден в неисполнимости и невозможности перенесения утопийских порядков в Старый Свет: этому препятствует существование частной собственности, которое в свою очередь обусловлено первопричиной всего зла — тщеславием. Итак, Томас Мор походит на такого, например, мы-

слителя, как Фурье, некоторыми основными своими идеями, но отличается от него сознанием невозможности ожидать их торжества в современном ему обществе. Фурье, по довольно достоверному биографическому сведению, ежедневно, возвращаясь с прогулки, ожидал встретить у себя в кабинете миллионера, который пожелает дать ему средства на устройство фаланстеров; Томас Мор при создании своего произведения вполне сознавал неосуществимость его идеалов, и, однако, и Фурье, и Мор одинаково не шутили, когда писали свои трактаты.

Отсутствие частной собственности в государстве Утопии обусловливается реакцией против современных Мору социальных порядков Англии, знакомством Мора с идеями Платона и благоговейным отношением Мора к заветам первых времен христианства. О христианской общности имуществ он говорит еще в первой книге своего трактата; при описании общей трапезы в Утопии вспоминает о монастырях, и притом лучших монастырях. Несомненное христианское благочестие как-то переплетается у Томаса Мора с почти столь же несомненным рационализмом: главное, на его взгляд, преимущество Утопии над Старым Светом — общность имущества — установлено так же, как и все остальное государственное и социальное устройство, усилиями единичного разума, велениями законодателя Утопа. Законодательного творчества после Утопа совсем уже не было, а все шло и идет по раз заведенному порядку. Общий принцип, на котором держится все государство Утопия, есть принцип строгой утилитарности: польза общества, т. е. польза всех членов, составляющих его, вот что стоит в качестве основного девиза на всей утопийской конституции. Но принцип социальной утилитарности чрезвычайно труден именно вследствие главного входящего в него элемента — отношений государства *как целого* к составляющим его индивидуумам. Чьи интересы должны быть принесены в жертву в случае столкновения, интересы государства или интересы индивидуума? Социальный утилитарист Гоббс жертвует своему «Левиафану» — государству — всеми частными интересами; Макс Штирнер столь же беззаветно жертвует интересами общества как целого в пользу интересов полного развития индивидуальности. Между этими полюсами социальные утилитаристы всех оттенков приближаются то к первому мнению, то ко второму, но без разрешения в том или ином духе этой проблемы всякая социально-утилитарная система есть лишенный реального значения набор фраз. Томас Мор старательно избежал необходимости прямо высказаться по этому поводу и вместе с тем не превратил свою систему в лишенную смысла теорию; дело в том, что он изобразил строй не реального, но фиктивного общества.

•

Поясним это. Томас Мор так построил свой трактат, что столкновения между интересами государства и индивидуума у него немыслимы. Прежде всего его построение есть то, что впоследствии стало называться робинзонадой: он изображает уединенную, островную республику, отрезанную почти совсем от внешнего мира (с особенным тщанием отмечает он трудность доступа к острову, и в этой части его изложения довольно явственно, на наш взгляд, просвечивает мысль, что это географическое обстоятельство следует рассматривать как благоприятный для утопийцев каприз природы). Благодаря такому условию оборонительные войны в перспективах утопийского государства совсем отсутствуют, и об их возможности у Томаса Мора говорится чрезвычайно мало. Войны утопийцев суть, так сказать, дело роскоши: они или заступаются за союзников, или воюют во имя попранной справедливости, даже когда попрание справедливости никак не затрагивает их чувства самосохранения или каких-нибудь хоть немного значительных интересов. Принимая во внимание, что охрана национальной независимости всегда была одной из серьезнейших задач исторических правительств и что именно эта задача и ставила чаще всего лицом к лицу интересы индивидуальности и социальной группы как целого, мы можем утверждать, что Томас Мор изобразил Утопию неприступным островом не без умысла: снимая искусственным путем с плеч утопийского народа заботу о национальном самосохранении, он значительно упростил построение своей социально-утилитарной схемы. Внешнее принуждение отсутствовало, когда Утоп давал свои законы, и отсутствует, когда Гитлодей знакомится с островом. Утопийцы предоставлены самим себе, и их правительство должно заботиться лишь об одном: о сохранении законодательства, данного Утопом и обусловливающего социальный мир. Вообще авторитарный принцип почти совсем отсутствует в Утопии: правительственные чиновники и власти играют роль экономов, приказчиков и поверенных всей общины, не более. Лишь в одном пункте права индивидуума чувствительно ограничиваются правительственным вмешательством: утопийцы лишены права передвижения без согласия властей. Но этот пункт потому только бросается в глаза, что здесь слишком явственно проступает наружу автоматический, так сказать, характер всей утопийской жизни: для равномерной работы, для совершенной одинаковости труда, затрачиваемого на пользу общую, утопийцы, все без исключения, должны работать определенное количество времени ежедневно. Если же кто выбывает из этой армии работников, то его выбытие производит известную путаницу в конечных расчетах; этой беде и помогают два паллиатива: во-первых, некоторая затруднительность в путешествиях и, во-вторых, обязанность путешественника работать в мес-

тах более или менее продолжительных его остановок. Таким путем уменьшается количество потерянных рабочих дней. Обязательная работа есть, в глазах Томаса Мора, не только экономический, но и моральный принцип: утопийцы производят ведь гораздо больше, нежели им это нужно для безбедного национального существования, и все-таки обязанность беспрерывного [287] в течение всей почти жизни физического труда не допускает никаких исключений (кроме немногих случаев, точно определенных законом). Собственно, Томас Мор нарисовал не живых людей, а принцип, и, быть может, поэтому автоматичность утопийского общества так бросается в глаза. Художественной изобразительности у него не хватило, и он, например, совершенно очевидно не знает, что делать со своими утопийцами в часы их досуга: заставляет их играть на музыкальных инструментах (что, кстати, весьма любил делать в свободные часы сам Томас Мор [288]), выдумывает даже, чтобы убить их время, какую-то нравственную игру, вроде шахмат, где на доске сражаются добродетели с пороками, причем эта игра должна быть в высокой степени нравоучительна. Слабость моровской фикции именно в этом месте зависит от того, что живая индивидуальность утопийцев должна как-нибудь проявиться в часы досуга, а автор себе не представляет ее вовсе. Вполне согласно с общим характером утопийских порядков как реакции против явлений XVI в. главное место в хозяйственной жизни острова занимает земледелие («agricultura, ars una, cujus nemo est expers»). Земледелие находилось в Англии XVI в. если не в таком уже отчаянном положении, как часто тогдашние публицисты писали, то все же и не в цветущем, конечно, состоянии; на счастливом острове это должно было обстоять совсем иначе. Ремесла, впрочем, также процветают (как и все в Утопии). В противоположность Платону, стоящему за полное разделение труда и проводящему этот принцип с чисто кастической строгостью, Томас Мор изображает земледелие в виде безусловного, обязательного занятия, а уже ремесла ставит в зависимость от желаний, наклонностей, способностей.

Хозяйственный идеал Томаса Мора — не только общность земли, всех орудий производства, всех имуществ, но и общность в пользовании ими. Последнее он проводит весьма тщательно: не желая сообщать счастливому острову слишком казарменного характера, Томас Мор не делает общих трапез обязательными по закону, но говорит лишь, что утопийцы сами предпочитают все обедать вместе, ибо, во-первых, общая трапеза готовится лучше, а во-вторых, общественное мнение не одобряет обедающих у себя дома. Что касается до лучшего приготовления общей трапезы, то следует отметить вообще стремление автора показать, что жизнь на коммунистических началах обладает не только моральными, но и техническими преимуществами. Так, на-

пример, больницы и ухаживание за больными обставлены на острове превосходно, несравненно лучше, чем в тогдашней Англии и Европе; но именно в описании постановки дела ухаживания за больными принцип социальной утилитарности и является с довольно неожиданной стороны: безнадежным больным их ухаживатели предлагают не более и не менее, как покончить с собой, доказывая им с убеждением и чувством всю тщету их дальнейшего существования, и все это из-за того, что безнадежные больные в тягость и себе, и другим и пользы от них не предвидится. Все-таки в Европе даже моровских времен такого больничного правила не существовало. Вопреки многим другим коммунистическим системам, Томас Мор не разрушает семьи, и сохранение этого института при уничтожении других коренных основ современного ему общества и составляет главную оригинальную его мысль, продукт личного его теоретического творчества. Семья в Утопии так же крепка, как была семья самого Томаса Мора [289]. Равноправность мужчины и женщины в труде, в общественном положении (ибо женщины имеют право на самую почетную должность — жрецов), в получении образования — вот отличительные черты положения женщины в государстве; юридически она в некоторых случаях может даже распоряжаться личностью мужа, например заявить о своем несогласии на его намерение отправиться путешествовать. По основе своей семья Утопии построена на чисто патриархальных заветах. Мужья за провинности наказывают своих жен, родители — детей; в этом случае Мор ставит рядом отношения мужа к жене и родителей к детям. Развод мыслим, хотя и обставлен известными условиями и формальностями. Томас Мор рисует утопийскую семью семьей, где царят снисходительность и любовь; мы уже говорили об изображаемом им утопийском обычае — всем членам семьи просить друг у друга прощения перед тем, как пойти в церковь. Любопытен изображаемый Мором порядок сватовства; это очевидная реакция против обманного выдавания замуж девушек, обездоленных природой. Котошихин через 150 лет после Томаса Мора писал об этих «на девки обманов», существовавших в Московском государстве, но в конце средних веков, в XIV—XV вв., а быть может и позже, эта сватовская недобросовестность играла большую роль в домашнем быту Англии, Германии и Франции (относительно других стран нам неизвестно), насколько можно судить по обильным poèmes burlesques, занятым этим сюжетом.

5

Коммунистический хозяйственный строй, презрение к частной собственности и к драгоценным камням и металлам, общая работа, общие орудия производства, общее потребление добытых ценностей, сохранение в нерушимом виде идеала патриархаль-

ной семьи, моральная обязательность работы, последовательно проведенная система социального утилитаризма — таковы пока отмеченные нами черты общественной теории Томаса Мора. Говоря нам о преступниках, существующих в Утопии (хотя и носящих там золотые цепи), творец «Утопии» ясно обнаруживает, что воцарение полного идеала, вроде августиновского «государства божьего», он не считает совсем возможным, что зло, проистекающее, как он думает, в огромной степени от причин социально-экономических, зависит до известной степени от самой природы человеческой души и что известный minimum зла всегда будет существовать во всяком даже идеально устроенном людском обществе. Рецидивистов прелюбодеяния в Утопии карают смертью, большинство же преступлений — рабством. Кстати будет заметить, что латинское слово servitudo, обозначающее по-русски «рабство», для англичанина (не только XVI в., но и нынешнего) может значить также нечто иное: и в старом, и нынешнем английских уголовных кодексах находим термин penal servitude, соответствующий mutatis mutandis — нашим каторжным работам. Нам кажется, что слово servitudo именно в таком смысле и употребляется всюду в «Утопии» Томасом Мором. В полном согласии с этим автор, говоря о «рабах» (т. е. об арестантах), оговаривается, что утопийцы не знают рабства, существующего у других народов. Как уже было замечено в третьей главе настоящей работы, принцип социальной утилитарности проникает также и в утопийское уголовное законодательство: в Утопию свозятся зачастую и преступники других национальностей, которых утопийцы приобретают для исполнения разных работ у себя. Здесь уже мы ничего не слышим о Новом завете, воспрещающем казни. Томас Мор допускает казнь за тяжкие, по его мнению, преступления, заменяет же ее рабством в весьма тяжелой форме, соединенным с изувечением, для огромного числа нарушителей законов. Чем лучше, как он думает, законы, тем менее снисходительности заслуживают нарушающие их.

Есть и еще зло, кроме преступлений, которое хоть и не особенно чувствительно, но все-таки касается утопийцев: именно война. Повторяем, от войны на жизнь и на смерть, войны оборонительной, Томас Мор предохранил утопийцев, но они имеют всюду союзников, имеют и торговые связи (уполномоченные их ведут за общий счет экспортную торговлю за границей), бывают иногда и в чужих странах, имеют и колонии, которые по мере нарастания населения в республике выселяются в другое место и там основывают новые маленькие Утопии. Все эти обстоятельства и дают место столкновениям. Против войны утопийцы борются тем же путем, какой пускала в ход (и с большим успехом) хотя бы, например, старшая современница Томаса Мора, ученица и почитательница Макиавелли, Екатерина Медичи: они

посредством наемных убийц (ничего не щадя для подкупа) стараются отделаться от враждебного им государя или правительственных лиц, стоящих во главе враждебного народа. Этот способ получает у Томаса Мора также социально-утилитарную подкладку: подобным путем утопийцы ценой малых жертв (ибо они богаты и подкуп убийц их не разорит) избавляются от больших затруднений и неприятностей. Если все-таки война разгорается, то у них есть наготове особые наемники — племя заполетов, которые (подобно современным Мору швейцарским ландскнехтам) продают свои услуги хорошему нанимателю. Для таких-то расходов утопийцы и приберегают столь презираемое ими золото. Наконец, в виде военного резерва сами со своими женами выступают в поход и уже тогда дерутся со страшной ожесточенностью. Классические воспоминания, рассказ о поражении кимвров и тевтонов, повествование Тацита о германцах повлияли тут заметно: жены утопийцев дерутся рядом с мужьями, и родичи их находятся тут же на поле битвы. Нужно заметить, что вообще Томас Мор склонен считать утопийцев нацией, имеющей даже известные права на насилие против соседей: он, например, весьма горячо оправдывает их, когда при колонизации они силой отодвигают туземцев облюбованной ими страны. Все это нарушает логическую цельность рисуемого идеала, ибо всякий идеал, претендующий на всеобщность, должен обладать такой цельностью, а где же она, если утопийские порядки в конце концов опираются на географическую неприступность, существование заведомо испорченного и «гнусного» племени заполетов, на подкупных убийц и насильственное отнятие чужой земли у аборигенов?

Нам остается рассмотреть вопрос, который тесно связан с религиозными убеждениями Томаса Мора,— вопрос о его веротерпимости. Собственно, в настоящей работе, посвященной исключительно общественным воззрениям Томаса Мора, религиозные взгляды его могут нас интересовать именно постольку, поскольку они обусловливают его воззрение на то, что государство может и имеет право делать с людьми, исповедующими не ту религию, что большинство. Этот вопрос может быть рассмотрен с известной обстоятельностью, только если мы привлечем к исследованию как текст «Утопии», так и реальные факты из биографии Томаса Мора. Чтобы не раздроблять изложения, сначала коснемся воззрений на этот счет «Утопии», а уже в заключительной главе рассмотрим биографические факты.

В Утопии государственной религии нет вовсе. Все секты имеют полное право на существование и распространение; мало того, храмы у всех этих сект общие, и там богослужение обставлено с таким расчетом, чтобы не оскорблялись чувства и воззрения сектантов. Утопийцы весьма характерно молятся: они просят

бога просветить их истинной верой, если исповедуемая ими неистина. Лишь одна категория лиц не пользуется терпимостью: не верящие в загробную жизнь. Подобно ἀσεβεῖς Платона, они подвергаются за свои убеждения известным гонениям (хотя и в несравненно меньшей степени, нежели у Платона). Томас Мор лишает их права занимать какую бы то ни было государственную должность. Интересно, что принцип социальной утилитарности занимает и здесь первенствующую роль: нетерпимость к отрицающим загробную жизнь основывается на убеждении утопийцев, что подобные люди не имеют страха божьего, и поэтому будут бессовестно действовать на занимаемых ими должностях. За вычетом этого пункта, в Утопии царит полнейшая терпимость; но, позволяя сектантам распространять свои убеждения, утопийское государство препятствует кому бы то ни было сопровождать пропаганду словами или действиями, могущими оскорбить чужие религиозные убеждения. Весьма многозначительно Томас Мор рассказывает о новообращенном (спутниками Гитлодея) католике из утопийцев, который воспылал к новой вере такой ревностью, что даже подвергся наказанию со стороны властей за слишком враждебное и страстное отношение ко всем, иначе мыслящим. Это писалось в век страшных злодеяний, творившихся испанскими миссионерами над краснокожими в новооткрытых землях Нового Света. Вообще, судя только по «Утопии», Томас Мор рисуется глубоко религиозным, но широко терпимым человеком с точки зрения своего времени. Подобно тому, как он хотел сделать утопийцев окончательно счастливыми (в глазах своих читателей и в своих собственных), выводя их происхождение от греков, точно так же он хочет сделать их обладателями истинной религии. Но так как элементарные требования правдоподобия не позволяли изобразить утопийцев христианами еще до прибытия европейцев, то автор и рисует их религию в виде, так сказать, приготовленного фазиса к принятию истинной веры: их молитва (только что указанная), их жаркий интерес к сообщенному Гитлодеем, успех среди них христианских идей, желание поскорее встретиться с католическими священниками — все это дает читателю понять, что приезд Гитлодея сделает их в конце концов христианами. Вообще Томас Мор дает утопийцам все, в чем, по его мнению, европейцы выше них: за много веков до Гитлодея римский корабль был заброшен к их берегам, и утопийцы от римлян (практического и технического народа) узнали много полезных ремесел; забросила к ним судьба Гитлодея, и они знакомятся с христианством и греческой литературой. Но при глубокой внутренней религиозности и убеждении в истинности католической религии Томас Мор в той же «Утопии» является и типичным гуманистом и другом Эразма: его нескрываемая ирония по

адресу монаха, спорящего с шутом за столом кардинала Мортона, кажется прямо выхваченной из «Morgante Maggiore» или из «Писем темных людей»; обозначение монахов «бродягами» — указание (в той же первой части «Утопии») на то, что католическое духовенство ввиду его многочисленности является бременем, непроизводительным классом для общества,— все это ясно показывает, что этот будущий католический святой канонизован во всяком случае не за «Утопию»; но это уже выходит за пределы настоящей главы: без биографических фактов данная категория воззрения Томаса Мора освещена быть не может; в заключение же настоящей главы скажем о месте «Утопии» в истории социальной беллетристики, в истории социальных учений.

6

Место это, несомненно, важно. Конечно, нет никакой возможности объяснять взгляды «Утопии» воззрениями, например, современных ей германских коммунистов, стоявших за полную экспроприацию всех собственников; напротив, «Утопия» могла повлиять на читающую публику, хотя бы на Ульриха фон Гуттена, который в памфлете «Разбойники» говорит, что из всех разбойников рыцари менее вредны, а истинные разбойники — купцы, юристы, часть католического духовенства [290]. Вообще влияние «Утопии» на социальные учения стало ощущаться лишь с того времени, как в движениях низших слоев стали принимать участие люди из интеллектуально высшей категории общества. До Томаса Мора социального романа в современном смысле слова не существовало (если не считать неоконченной «Атлантиды» Платона); после него эта литературная форма входит более или менее в обиход. Первый социальный роман, написанный после него, принадлежит перу калабрийского доминиканца Кампанеллы, который в начале XVII столетия написал трактат об идеальном государстве, где не существует ни частной собственности, ни семьи. Работа Кампанеллы не носит совсем никаких следов критики социального строя, это есть чисто литературного происхождения измышление, навеянное чтением Платона и Томаса Мора. Многие страницы показались нам прямо списанными у Томаса Мора, например то место, где Кампанелла говорит о тяжелых и грязных работах, исполнение которых именно и вызывает у граждан идеального государства хвалу и почет. (Кстати, в этом пункте влияние Томаса Мора столь же очевидно отозвалось «на самоотверженных когортах» Фурье, исполняющих ассенизационные работы). Знаменитый соотечественник Томаса Мора и современник Кампанеллы, лорд Фрэнсис Бэкон, написал свою «Новую Атлантиду» под пря-

мым влиянием тех же Платона и Мора: у Платона он взял заглавие, у Томаса Мора — мысль о постановке наук в идеальном государстве, но Бэкон не согласен с Томасом Мором в этом пункте, впрочем в частностях: восторженное отношение Томаса Мора к исследованию тайн природы, конечно, не могло встретить антагониста в поборнике экспериментального метода. «Новая Атлантида» (подобно платоновской) осталась неоконченной. На такой социальный роман, как «Oceana» Гаррингтона [291], «Утопия», по нашему мнению, не оказала ровно никакого влияния, ибо главная идея «Утопии» — общность имуществ, производства и потребления — совершенно отсутствует у Гаррингтона, частности же интереса в данном случае не имеют. Через 21 год после «Oceana» появилось французское сочинение Vairasse [292], рабски копирующее «Утопию» и в главном, и в мелочах; только можно отметить бо́льшую горячность в изображении бессословности, царящей в идеальном государстве. У Томаса Мора также заслуги и таланты выдвигают человека на важный пост, но все-таки упоминается, правда вскользь и по посторонним поводам, о «знатнейших семьях» без дальнейших пояснений. У Верасса ничего подобного нет, но этим и ограничивается его оригинальность; читая «Историю северамбов», мы как бы читали замаскированную переделку «Утопии». Сохранена, конечно, и оригинальнейшая из всех мыслей Томаса Мора — индивидуальная семья при коммунистическом хозяйственном строе. Свифт со своими «Путешествиями Гулливера» ни в каком случае не может быть назван последователем Томаса Мора, ибо он заимствовал у автора «Утопии» лишь внешнюю форму романа, и только: у Мора горькая критика существующего строя соединена с идеальным построением, у Свифта меньше горечи, несравненно больше сатиры, злобы и остроумия, и идеальных построений нет вовсе. В XVIII в. у Томаса Мора нашлись два подражателя: Фонтенель [293] и Морелли [294]. И форма (путешествия в неведомые страны), и содержание (изображение коммунистического строя) заимствованы явственно у Томаса Мора. Впрочем, оба эти произведения имеют какой-то отличающий французских авторов в этой области правоучительный характер, не критический, как в первой части «Утопии», не сатирический, как у Свифта, а именно сентиментально-нравоучительный. Они заняты не столько учреждениями, о которых пишут, сколько нравоучительным противопоставлением нравов современных им европейцев и идеальных граждан.

В XIX в. коммунистические воззрения приобрели уже не исключительно литературный, но и насущно-политический интерес. Оживилось и внимание к произведению английского гуманиста. Можно смело сказать, что все направление комму-

низма, сохраняющее семью, исходит от Томаса Мора. При Луи Филиппе много шуму в литературных и в рабочих кругах наделала книга фурьериста Кабе, который в своем «Voyage en Icarie» изображает коммунистическую страну, где все счастливее, нежели в Европе, даже чем богатые и знатные у европейских народов. Это буквальная мысль Томаса Мора; семья у Кабе сохраняется, основной принцип — столь же эпикурейский, как у Томаса Мора,— возможно большее количество здоровых наслаждений для всех членов общества. Но Томас Мор для достижения этой цели последовательно проводит социально-утилитарные воззрения, а Кабе оставляет в стороне описание внутреннего механизма общества и довольствуется лишь изображением готового социального ландшафта. Кроме этого непосредственно поддающегося учету влияния Томаса Мора на литературу социальных романов, немало повлияла «Утопия» и вообще на сформирование и облечение в плоть и кровь проводимых ею хозяйственных воззрений, выражались ли они в трактатах Фурье или позднейших произведениях. Можно смело сказать, что в XVI в. Томаса Мора знали как английского лорда-канцлера, а в XIX в. его знают главным образом как автора «Утопии». Этому мнению нашему не противоречит и то, что папский декрет 1886 г., возводящий Томаса Мора в блаженные, ни одним звуком не упоминает об «Утопии» [295].

Теперь в заключение коснемся именно этих деяний Томаса Мора, сделавших его католическим мучеником; деяния эти интересуют нас, лишь насколько выясняют его политические воззрения: 1) на отношения между церковью и государством и 2) на веротерпимость.

Глава V

ВОЗЗРЕНИЯ ТОМАСА МОРА НА ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К ГОСУДАРСТВУ И НА ВЕРОТЕРПИМОСТЬ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЕГО ЖИЗНИ

1

Религиозные вопросы занимали Томаса Мора; о религиозности его в эпоху до написания «Утопии» мы имели случай говорить в первой главе; о явственных следах его религиозности пришлось сказать и в четвертой главе несколько слов по поводу изображения им утопийских порядков. Несомненно, однако, что в период до и во время написания «Утопии» религиозность Мора носила характер беззаветного благоговения перед социальными и догматическими заветами первоначального христианства, но никак не укладывалась в рамки доктрин папского Рима. Широкая, чисто гуманистическая терпимость его во всяком случае не подлежит никакому сомнению; что же касается до отношения церкви к государству, то у него в первую половину жизни не было случая заявить по этому поводу определенное свое суждение; в «Утопии» есть два места, отдаленно касающиеся этого вопроса и по духу своему одно другому противоречащие. В первом предаются осмеянию монахи за недостаток трудолюбия и предлагается (положим, устами шута, хотя и одобряемого [296], очевидно, автором) всех нищих разместить в монастыри. Другими словами, будто косвенно, говорится о праве правительства властно вмешиваться в монастырскую жизнь. Другое место (уже во второй части «Утопии») говорит о случаях преступлений со стороны утопийских жрецов: во уважение сана их не наказывает светская власть, как наказывает она обыкновенных преступников. Здесь проглядывает мнение о том, что духовенство должно быть совершенно изъято из юрисдикции светского правительства. Впрочем, из этих скудных и беглых указаний извлечь окончательного вывода нельзя, и мы приводим их именно для доказательства, что взгляды Томаса Мора

на этот предмет не отличались тогда большой устойчивостью. Эта-то неустойчивость и глубоко характерна не только для него, но и для всей эпохи, окончившейся круто и резко через несколько месяцев после выхода «Утопии» в свет первым громким протестом Лютера против Рима. Нельзя себе вообразить более радикальной, существенной ломки, нежели та, которую пережила римская церковь в первую половину XVI в.: в первые годы на папском престоле — папы-меценаты, папы, тратившие состояния на афинские ночи, папы — развратители малолетних, папы — политические интриганы из-за мелких личных и непотических целей, со второй четверти века — папы-аскеты, фанатики, твердые беспощадные, активные ратоборцы на пользу римской церкви. В первые годы — модное безверие, щегольство свободомыслием, диспуты о бессмертии души в стенах папского дворца, причем папа становится то на ту, то на другую сторону, художественные и литературные интересы, кардинал Бембо, не желающий (и другим не советующий) читать св. Павла, чтобы не испортить себе стилистический вкус, воззрения на веру паствы как на полезное свойство дойной коровы; со второй четверти (и даже раньше несколькими годами) — строгая дисциплина в курии и во всей церкви, яростные преследования свободомыслия, воскрешение и обновление строжайших монастырских заветов, ревностное изучение св. писания и в особенности предания, полное забвение всяких гуманистических увлечений, полная нетерпимость к несогласно мыслящим, подозрительное отношение к возможным перебежчикам из паствы. Таков был в существенных чертах перелом, произведенный в католическом мире реформацией; для борьбы с внезапным и страшным нападением нужно было все напряжение сил теократического механизма, и напряжение безотлагательное. Общая перемена настроения среди католически настроенных людей была неизбежна: даже если они, подобно Томасу Мору, во многом расходились с практикой католицизма, то теперь, после 1517 г. и последующих событий, они становились послушными орудиями римской курии и помощниками ее во всех стремлениях отразить атаку реформации. Да и сама курия, повторяем, была уже не та по своему личному составу, в меньшей степени способна была навлекать против себя обвинение в низменной корысти. Томас Мор имел полное право с язвительной иронией говорить во второй части «Утопии» о папах, которые якобы поддерживают мир и политическую правдивость своим авторитетом и которых нет в Утопии на беду ее жителей: такие папы, как Лев X [297], прибегавший в дипломатических сношениях к тривиальнейшему плутовству, или его предшественник Юлий II, заводивший ряд войн для своих личных целей, оправдывали иронию

Мора. Но папы, подобные хотя бы Клименту VII или Павлу III, уже были неуязвимы для таких нападок, ибо они личных целей не преследовали вовсе.

До 1517 и следующих годов религиозное свободомыслие имело несравненно более теоретический, нежели практический характер; после этого кризиса оно неминуемо должно было приобрести колорит боевой, нападающий. Глубоко равнодушные к религии люди апатично и безучастно отнеслись к реформации и отступились от борьбы; таков был Эразм Роттердамский, оставшийся таким же типичным гуманистом, каким был всю жизнь; неравнодушные к религиозным и религиозно-государственным вопросам деятели должны были стать либо на сторону нового движения, как это сделал Ульрих фон Гуттен, либо превратиться в верных и послушных защитников старой веры, как это и случилось с Томасом Мором. Томас Мор первой половины своей жизни, автор «Утопии», и Томас Мор в конце жизни, на кресле лорда-канцлера и в Тауэрской тюремной камере,— два не совсем одинаковых человека. Характер у Томаса Мора был твердый, не поддающийся никаким соображениям корыстолюбия, тщеславия или даже самосохранения, и немудрено, что при таком характере государственный человек эпохи Генриха VIII неминуемо должен был подвергаться большим опасностям, особенно при почти внезапном повороте правительственной мысли от Рима к реформации.

Но как Томас Мор сделался государственным человеком? Как он попал в положение, в котором не мог не погибнуть? Этот биографический вопрос не может быть здесь подвергнут детальному разбору, впрочем, он вовсе и неразрешим. Это одна из тех загадок, над которыми можно стать втупик, зная все факты из жизни Мора и все его суждения. В самом деле: человек, который в 1516 г. ядовито и с горечью доказывал (устами Гитлодея), что дружба теоретиков-философов с государями немыслима и бесполезна, в 1518 г. делается первым и неразлучным другом Генриха VIII, назначается на пост «рассматривателя петиций» (master of requests, examiner of petitions), что требовало ежедневных свиданий с королем; летом того же 1518 г. делается членом частного королевского совета; в 1521 г. возводится в звание найта и назначается помощником королевского казначея (sub-treasurer to the King); сопровождает всемогущего правителя Уольси на континент (в Брюгге и Кале, для переговоров с Францией); получает в следующие три года (1522—1525 гг.) громадные поместья в знак милости от короля; в апреле 1523 г. по внушению Уольси Мора выбирают в спикеры палаты общин, и когда Уольси низвергается королем, на его место почти непосредственно затем назначается Томас Мор. Случилось это в 1529 г.

В первый раз, по общему отзыву, сан лорда-канцлера достался в удел человеку незнатного происхождения и после такой головокружительно быстрой карьеры. Все это время, конечно, от сближения с королем в 1518 г. до назначения лордом-канцлером, интимность между Генрихом и Томасом Мором непрерывно росла. Мор чуть не ежедневно обедал у короля, гулял с королем, беседовал с ним и т. д. Бумаги и письма Генриха VIII действительно уполномочивают издателя их, Брюера, утверждать [298], что Генрих VIII смотрел на Мора как на своего фаворита. Но чем руководился сам Томас Мор при своей безусловной и полной неподкупности, своем равнодушии к благам мирским, совершенном отсутствии всякого карьеризма, засвидетельствованном его трагической кончиной? Что он по-прежнему, как и во времена написания «Утопии», считал придворную службу «философа» общественно бесполезной, явствует уже из того, что за все время его государственной службы он никогда и не пытался осуществить хотя бы самые паллиативные реформы; его служба до канцлерства и самое канцлерство были бесцветнейшими во всех отношениях эпохами административной истории Англии. Кроме нескольких анекдотов о справедливости Томаса Мора при разборе судебных дел, ничего не осталось в памяти потомства такого, что обнаружило бы хоть какое-нибудь впечатление, произведенное его управлением на современников. Это отсутствие всякой попытки хоть что-нибудь сделать, хоть как-нибудь активно вмешаться в ход событий, совершенно логично объясняется убеждением Томаса Мора в тщете всяких паллиатив при существовании частной собственности, но оно ничуть не проливает света на поставленный раньше вопрос: зачем вообще Томасу Мору понадобилась служба при дворе такого человека, как Генрих VIII, по характеру своему и наклонностям ближе всего из всех своих современников подходивший к Ивану Грозному? Ни единого слова, обличающего удовлетворенность его своим высоким положением, до нас не дошло; напротив, есть прямые указания, что служба его тяготила, и весьма сильно. «Я явился ко двору,— пишет он [299] Фишеру,— совершенно против моей воли, и король меня часто в этом шутливо упрекает, а я в роли придворного так же мешковат, как пехотинец в седле». Зять Томаса Мора, Ропер, рассказывает: «Король даже по праздничным дням после богослужения обыкновенно посылал за Мором и во время прогулки беседовал с ним об астрономии, геометрии, религии и других предметах, а иногда и о светских делах. А случалось и ночью король желал видеть его у своего изголовья, говорить с ним об изменениях и коловращениях планет и звезд. А так как он был веселого нрава, то королю и королеве (Екатерине Арагонской — *Е. Т.*) нравилось приглашать его к своему

Е. В. ТАРЛЕ

С фотографии 1901 г.

ужину после заседания совета...» «Когда Томас Мор,— продолжает Ропер,— заметил, что у него уже не остается и времени для домашней жизни, для жены и детей (общества которых он всегда желал) и что он не может даже на два дня избавиться от присутствия при дворе... то ему так не нравилось это ограничение его свободы, что он начал даже нарочно (при короле) насиловать свою природу и так мало-помалу отвыкать от своей обычной жизнерадостности, что за ним, действительно, стали посылать реже». Чтобы дополнить эти характерные показания источников, приведем еще слова, сказанные Томасом Мором своему зятю [300]: «...сын мой, Ропер, я не имею причин гордиться (милостью короля — *Е. Т.*), ибо ведь если бы ценой моей головы он мог, например, добыть себе хоть один замок во Франции, он не преминул бы это сделать». С общественной точки зрения служба Мора была бесцветна и заведомо для него бесполезна, с личной точки зрения она была ему тягостна, к королю он привязан не был, так как превосходно понимал его характер (что видно из только что приведенной фразы); да и для более простодушных людей Генрих VIII загадкой тогда уже не был. И при всем том Мор служил... Это, повторяем, остается неразрешимой странностью, но для нас интересно другое: если его практическая деятельность совершенно ничего не выясняет для дополнения характеристики большинства его общественных воззрений, то все же она коечто дает для обрисовки его взглядов на отношение церкви и государства и на веротерпимость.

2

Реформация, как мы уже сказали, с первых шагов своих, еще когда она не выходила из пределов северной Германии, произвела глубокое впечатление на Томаса Мора.

В 1520 г. Лютер, как известно, написал книгу «О вавилонском пленении, или римском папстве», в которой окончательно рвал связь с «римской блудницей» и заявлял об основании новой религии, одинаковой с первоначальным христианством. Учение о св. таинствах было там подвергнуто запальчивой критике. В следующем году Генрих VIII, король английский, имевший, особенно в первую половину царствования, расположение к перу, выпустил в свет «Защиту семи таинств» [301], не блиставшую, впрочем, никакими литературными достоинствами и содержавшую в себе грубейшие ругательства против реформатора. Лютер спустя несколько месяцев ответил памфлетом, который по совершенному неприличию тона, по отвратительности ругательств, по грубым попыткам выдать брань за юмор стоит по справедливости наравне с полемикой Кальвина против

Себастьяна Кастеллиона [302]. Даже для XVI в. тон Лютера был слишком энергичен, так же как и стиль его [303]. Вот на это-то послание Томас Мор и ответил Лютеру, в защиту католицизма и короля Генриха VIII. Прямо узнать нельзя человека, 6 лет перед тем написавшего «Утопию». Это яростный, беспощадный фанатик, измышляющий самые непечатные выражения, чтобы возможно больше втоптать в грязь Лютера. Неприличие тона в этом памфлете чисто лютеровское [304]. Он скрыл свое имя под псевдонимом Вильяма Росса (Gulielmi Rossei), быть может для придания памфлету большей авторитетности, ибо его близость ко двору не была уже ни для кого тайной. «Лаятель Лютер, лая против папы, лает тем самым против Петра и Павла» — вот основная мысль и тон всего произведения [305]. Для нас оно, конечно, любопытно лишь в качестве иллюстрации католического фанатизма, все более и более овладевавшего Томасом Мором. Но вплоть до бракоразводного процесса Генриха VIII и Екатерины Арагонской Мор не имел случая выразить свои мнения об отношениях между церковью и государством: в эти годы придворная служба, полемика с протестантами поглощали его, а дружба Генриха VIII с римской курией не ставила Мору рокового для него вопроса, кем надлежит ему остаться — верноподданным короля или членом римской паствы. Но уже приблизительно в 1529—1530 гг. выяснилось с совершенной наглядностью, до какой степени в Томасе Море исчез автор «Утопии»: в 1529 г. появился памфлет под названием «Моление нищих» [306], в котором автор, указывая на разорение бедных людей, на отсутствие всякой помощи беднякам со стороны монастырей, на праздную жизнь монахов, которых он называет ворами (thieves), говорит о монашеском сословии как о сословии бесполезном. Томас Мор (уже бывший тогда лордом-канцлером) ответил на «Моление нищих» особым памфлетом «Моление душ» [307], в котором говорит, что католические монахи полезны, ибо молятся за души, попавшие в чистилище, и поэтому нападать на них нельзя. Канцлером Томас Мор был с 1529 г., когда король после низвержения Уольси назначил его на этот вакантный пост. В качестве канцлера Томас Мор должен был иметь непрестанное дело с сектантами-еретиками. Судя по объективным данным, а не на основании одной только симпатии к нему, Томас Мор еретиков преследовал; принципы, высказанные в «Утопии», в жизни были им попраны. «Я грозен был ворам, человекоубийцам и еретикам» [308],— пишет он в заготовленной им самим эпитафии. «Я ненавидел еретиков»,— пишет он Эразму Роттердамскому в 1533 г., уже в отставке и опале. Голль [309] в своей книге, вышедшей спустя 15 лет после казни Мора, прямо говорит, что Мор жестоко преследовал всех, стоявших против супрематии Рима. Нужно заметить, что из всех английских хронографов

Голль наиболее подходит к художественному типу пушкинского Пимена, и действительно «спокойно зрит на правых и виновных», так что его показанию верить можно. Томас Мор лично производил обыск на дому у Джона Петита, ища протестантских сочинений,— и хотя никаких формальных обвинений против хозяина дома после обыска не мог возбудить, однако посадил его в тюрьму [310], где тот скоро и умер.

В 1531 г. в канцлерство Томаса Мора (ибо он был канцлером от 1529 г. до середины 1532 г.) и, следовательно, под прямым воздействием Томаса Мора, был сожжен живым за ересь Джон Тьюксбери, продавец кож, и сожжен по весьма облыжному доносу. Томас Мор называет его [311] «негодяем, вполне достойным своей участи». Чувствовал ли Томас Мор, что в его действиях есть нечто, нуждающееся в оправдании, или по иной причине, но он написал нечто вроде теоретического обоснования своей нетерпимости [312]: «Еретики первые пустили в ход страшную жестокость против добрых католиков и побудили этим самым сделать то же и хороших государей не только для сохранения веры, но также и спокойствия среди народа». Здесь мы имеем дело не с религиозной, но с государственной теорией нетерпимости. Когда блаженный Августин основывает учение о нетерпимости на тексте: compelle intrare (in ecclesiam), то основной принцип — забота о спасении души еретиков. Но когда Томас Мор придает политике католической нетерпимости характер полицейской меры, нельзя не сказать, что его доктрина оказывается несравненно менее возвышенной, чем хотя бы доктрина Торквемады, которой великий инквизитор оправдывал свои действия. О лоллардах времен Уиклефа, о лютеранах своей эпохи он говорит как о гнусных и печальных явлениях, прямо указывающих, что государство в видах самозащиты должно преследовать еретиков, иначе погибнет христианская церковь. Сообразно с этой теорией Томас Мор, канцлер английского королевства, и действовал. Выше мы привели факты, так сказать, вполне бесспорные; приведем теперь факт оспариваемый. Фокс, составитель протестантского мартиролога, живший и писавший при Елизавете в начале ее царствования, рассказывает, что некоего Джона Бенгема, юриста, Томас Мор приказал (по обвинению в ереси) высечь розгами у себя в саду, а затем пытать в тюрьме, причем лично присутствовал при пытках [313]. По существу дела здесь нет ничего невероятного, но сам Мор, говоря о случаях, когда он пускал в ход телесные наказания (в применении к еретику и к сумасшедшему), не упоминает ни словом о Бенгеме: лгать Томас Мор не лгал бы не только вследствие правдивости своей натуры, но и потому, что ничего зазорного в поступке с Бенгемом и не усматривал бы, подобно всем почти своим современникам, ибо тот же возмущающийся Томасом Мором

Фокс с восторгом говорит о протестантских деятелях, убивавших католиков.

Начиная с Эразма Роттердамского и кончая некоторыми биографами Томаса Мора в XIX в.[314], многие пытались оправдать Томаса Мора в нетерпимости; труд и излишний, и невозможный. Томас Мор, предвосхищая идеалы будущих поколений в очень многих чертах, был вместе с тем и сыном XVI в. Le mort saisit le vif — эта глубокая французская максима не должна никогда забываться, даже если имеешь дело с выдающимся новатором. Добрый, кроткий, гуманный, широкий автор «Утопии» после реформационного взрыва стал на сторону католической защиты и не возвысился над теми поступками, которыми десятки миллионов католиков и протестантов рассчитывали победить одни других, и над теми суждениями, которые пускались в ход для оправдания этих поступков. Общественное воззрение Томаса Мора на отношение государства к еретикам формулируется очень просто: государство должно их преследовать в видах самозащиты и спасения христианского единства. Это воззрение второй половины жизни Томаса Мора, скрепленное его теоретическим заявлением и канцлерскими действиями, совершенно отодвинуло на задний план старые идеи, идеи 1516 г., выраженные в «Утопии», где нет насилия над совестью, где насильники изгоняются из государства...

Теперь остается определить последнюю общественную идею Томаса Мора, которую он исповедовал так же искренно, как все остальные, начиная с хозяйственного коммунизма и кончая религиозной нетерпимостью, и за которую сложил свою голову на эшафоте.

3

Взгляд Томаса Мора на отношения церкви и государства так же точно пережил эволюцию, как и взгляд его на веротерпимость, и тоже под прямым воздействием континентальной реформации. Воспитанник Оксфордского университета, где живы были традиции Уиклефа, сказывается еще в «Утопии»: он не дает духовенству никакой политической роли, ничего, кроме морального авторитета; о папах и их вмешательстве в дипломатию говорится с язвительной и нескрываемой насмешкой. Но в годы канцлерства, когда уже зрел вопрос о бракоразводном процессе Генриха и его жены, когда папа круто разошелся с королем и была поставлена дилемма, кому должна принадлежать супрематия над церковью — папе или королю, Томас Мор решительно стал на сторону папы, и этот спор о супрематии привел к выяснению взгляда Томаса Мора на папу как на вселенскую высшую власть, которой должны слушаться светские владыки.

Бракоразводный процесс Генриха VIII затрагивал в Томасе Море и моралиста, и католика. О разводе Томас Мор и в «Утопии» держится того принципиального мнения, что он возможен лишь при полном несогласии обеих сторон продолжать супружескую жизнь или при доказанном прелюбодеянии одного из супругов, причем в первом случае дело развода все же обставлено известными условиями и затруднениями. В процессе Генриха условий этих не было и в помине; если возможно было упрекнуть кого в прелюбодеянии, то, конечно, самого короля, и только его одного; королева в этом отношении была совершенно недоступна ни для каких клевет и укоров. Согласия своего на развод она также не давала. Генриху не нравилась старая, некрасивая жена, и он с совершенным нежеланием в чем бы то ни было себе отказывать решил оставить ее и жениться на Анне Болейн. Вся Европа превосходно это понимала, и для английского канцлера не могло быть тайной то, что делалось у него на глазах. В отношениях Томаса Мора к Анне Болейн и обнаружилось, что истинным придворным, таким, какой нужен был Генриху VIII, он не стал. Еще во время своего канцлерства, в 1530 и 1531 гг., он обнаруживал явную враждебность [315] по отношению к фаворитке короля. В 1531 г. вопрос о разводе осложнился весьма сильно гневным тоном могущественного племянника несчастной королевы, императора Карла V. Генрих VIII все же решил не останавливаться ни перед чем, и если даже папа под влиянием Карла не согласится дать развод, то расторгнуть связь с Римом. Томас Мор уже в качестве лорда-канцлера, первого сановника в государстве, должен был высказаться по вопросу о разводе и сделал это так же бесстрашно, как за 25 лет перед тем, когда, будучи юным и безвестным адвокатом, напал на всемогущего Генриха VII в парламенте [316]. Изменились в Томасе Море некоторые убеждения его, но характер, равнодушие к опасностям и к смерти остались те же. Генрих VIII почему-то не сразу начал гонения, он только учредил тайный надзор за своим канцлером, так что агент императора Карла, Шапюи, не мог выбрать даже удобной минутки для вручения канцлеру письма от Карла V [317]. Весной 1532 г. Генрих уже явно стал обнаруживать стремление отделить английскую церковь от Рима, ограничить и подчинить духовную компетенцию епископов своей компетенции; Томас Мор подал в отставку, которая и была с полной готовностью принята королем. Случилось это 16 мая 1532 г. Вплоть до осени 1533 г. Томас Мор жил частным человеком в глубоком уединении и в явной опале. События шли своим чередом; Генрих VIII самовольно развелся с Екатериной и вступил в брак с Анной Болейн; в июне 1533 г. новая королева была коронована. Разрыв с Римом встретил много порицателей, но едва ли не еще больше приверженцев. Со времен Эдуарда III английское государство стремилось

освободиться из-под папской опеки и делало это при одобрении больших народных масс, особенно в южной, центральной и восточной Англии. Экономическая эксплуатация страны папой стала невозможной уже во времена Уиклефа, но тогда же не была окончена эмансипация от моральной суприматии папства. Католическая религия в ее догматах не противоречила совести большинства, но один лишь пункт ее — папская супрематия — казался излишним и часто возбуждал ропот. В деле Генриха вопрос был лишь *по-видимому* церковный: папа не давал развода не потому, что он считал это нравственно несправедливым, а короля — развратным: он делал так, имея в виду сохранение дружбы Карла V, столь нужной на континенте для военной борьбы с реформацией. Следовательно, политическим соображениям выгоды престола св. Петра римский папа подчинял все свое поведение относительно развода. В глазах весьма большой части общества здесь речь шла уже не о разводе только, не о духовной, но о политической супрематии папства, что вполне противоречило национальным традициям. И вот в этой-то дилемме Томас Мор стал всецело на сторону папства, заявляющего притязания на политическую супрематию. Осенью 1533 г. по приказанию правительства была схвачена в Кенте так называемая «святая девушка» (holy maid of Kent), пророчица и юродивая, которая предсказывала королю Генриху VIII всякие ужасы за самовольный развод и неповиновение папе. Несчастную пророчицу пытали и вынудили у нее признание, что она поддерживала сношения с некоторыми знатными людьми, в том числе с Томасом Мором [318]. Было найдено и письмо Томаса Мора к Елизавете Бертон (так называлась holy maid). Письмо было содержания невинного, но Генрих VIII сделал попытку уже теперь, в 1533 г., погубить Томаса Мора; он велел возбудить против Томаса Мора обвинение в государственной измене. Но обвинительный акт не прошел в палате лордов. Давая объяснения по этому делу новому лорду-канцлеру, Томас Мор оправдывался от всяких обвинений в измене. После личных объяснений с советом Томас Мор, вернувшись домой, написал длинное письмо лорду-канцлеру. Цитируем это письмо по его рукописи [319], не печатая самую рукопись в приложении, несмотря на весь ее интерес, только потому, что Бриджетт уже многое (и важное) напечатал из одного ее списка [320]. В этом письме Томас Мор говорит, что сам король в своей книге против Лютера настаивает на папской супрематии над всем христианством, что даже он, Мор, советовал тогда королю несколько смягчить свои выражения; что он, Мор, тем не менее теперь вполне́ убежден, что такая папская супрематия установлена самим богом, утверждена Евангелием и св. преданием, «установлена для избежания ересей и расколов», и существует уже тысячу лет как факт. Нигде

в письме Томас Мор не обозначает рельефнее и обстоятельнее, что он понимает под суприматией папы: политическое и духовное верховенство или только духовное. Но самое свойство вопроса, из-за которого он разошелся с королем, было такого рода, что указывало на убеждение Мора в полной суприматии папы над церковью и почти в такой же мере давало повод считать его защитником и светской суприматии. Впрочем, XVI век слишком отвык от громкого провозглашения доктрин Григория VII и Бонифация VIII, и поэтому о светской суприматии Томасом Мором и не говорится ясно, а просто говорится о «papal supremacy over the christendom»; под christendom понимается преимущественно или даже почти исключительно совокупность христианских народов, ибо для христианства в смысле религии, церкви есть (и было в XVI в., и употреблялось в других случаях самим Мором) слово «christianity». Мы склоняемся к мысли, что он считал законными притязания пап и на светскую суприматию, но выдать это мнение за доказанную истину не можем вследствие скудности положительных указаний.

Работа наша окончена; процесс и казнь Томаса Мора уже не вносят ничего нового в характеристику его общественных воззрений. Это чисто биографическая часть, показывающая, как силен духом был этот бывший канцлер, очутившийся после своего величия в Тауэре и на плахе; как автобиографичны были слова его в «Утопии» о неосновательности страха смерти, о том, что верующий человек конца не боится. Но есть один документ, относящийся сюда, который довольно интересен и который нигде, даже в частях своих, опубликован не был. Мы ознакомились с ним в отделе манускриптов Британского музея. Гарпсфильд писал, как он сам говорит, по личным воспоминаниям и по беседам с Ропером и близкими Мору людьми; весь рассказ его дышит глубокой жизненной правдой; он показывает, как смотрели на Томаса Мора его современники-католики и что ценили в нем даже протестанты, которых он во время канцлерства обижал. Томас Мор оставил по себе память честного и хорошего человека и, что считалось в XVI в. чуть ли не главным достоинством, ратоборца против еретиков, пожертвовавшего собой за дело веры.

30 марта 1534 г. в парламенте[321] прошел и был утвержден акт, гласивший, что все знатные (nobles), как духовные, так и светские, обязаны принести присягу в том, что они будут верны наследнику престола, который родится от Анны Болейн; отказ от присяги равнялся государственной измене. Одновременно почти король заявил, что он не признает более власти «римского епископа» над английской церковью. Отказаться от этой присяги значило бесповоротно погубить себя, но Томас Мор сделал это. Он отказался от присяги и 17 апреля уже был

в тюремной камере Тауэра, откуда 6 июля 1535 г., т. е. через год и два месяца с лишком тюремного заточения, был выведен на эшафот. Его обвиняли и судили за отказ от присяги будущему отпрыску королевы Анны, за несогласие с королем по вопросу о разводе с Екатериной Арагонской, за сопротивление церковной реформе. Томас Мор не оправдывался во всех этих обвинениях. «Я семь лет изучал историю церкви и утверждаю, что светский государь (temporal lord) не может быть главой какой бы то ни было церкви», — повторял он. Генрих VIII обнаружил в этом деле всю мелкую злобность и беспощадную мстительность своей души: он отобрал у подсудимого все имения, почти все имущество. Дочь Мора навещала отца в тюрьме; и она, и вся семья со слезами умоляли его помириться с королем, т. е. принести присягу, после чего его тотчас же выпустили бы. Томас Мор спокойно отвергал все доводы и даже отшучивался, называл дочь «Евой-соблазнительницей», говорил, что одни люди умрут сегодня, другие завтра и что нелепо так уже дорожить лишним днем жизни. Перед судьями он держался стойко и ни одного слова не сказал, чтобы спасти себя. Он шутил даже на эшафоте, в руках палача, умолявшего свою жертву простить его. Мор сказал несколько ласковых слов палачу и, кладя голову на плаху, произнес: «Постой, уберу бороду, ее незачем рубить, она не совершала никогда государственной измены» (it had never committed treason).

Таковы внешние факты, дорисовывающие Мора как человека твердого и искреннего до конца. Рукопись Гарпсфильда, характеризуя прекрасно моральную твердость Томаса Мора, для непосредственной темы нашей дает лишь сведения о семи годах [322], проведенных Томасом Мором в серьезном изучении исторического происхождения папской власти. Но если именно *это* убедило его в папской супрематии, то, несомненно, он не мог не обратить внимания на учение светской супрематии, соединенной с духовной. Теократический дух Гильдебранда и Бонифация проникал все сочинения, по которым верующий католик мог в начале XVI в. изучать этот вопрос; тот же теократический дух, учение о всеобщей и единой пастве и пастыре, проникает и книгу блаженного Августина, которую он, как мы знаем, также изучал и о которой читал лекции. Это признание Мора перед судьями в том, *как* сложились его убеждения, также отчасти подтверждает высказанную нами гипотезу, что под papal supremacy разумеется в словах Мора супрематия и над церковью, и над государством. Геройское поведение Томаса Мора перед лицом смерти дает для нашей темы лишь одно: оно показывает, что мы вправе верить в полную *искренность* всех суждений Томаса Мора, что мы можем искать и находить связь между ними и между окружавшими Томаса Мора явле-

ниями социальной среды, но что эту связь нужно всегда понимать как продукт впечатлительного и внимательного ума Томаса Мора; никогда мнения его нельзя объяснять личными интересами, считать их неискренними. И в теории, и на практике это был деятель, никого и ничего не боявшийся, даже глухой тюрьмы и смерти; поэтому и все высказываемое им есть выражение его убеждений, и только. Вот почему подробности биографии Томаса Мора сравнительно весьма мало интересны для анализа его общественных убеждений; мы не поймем идеи Томаса Мора, если закроем глаза на социально-экономическое положение Англии в начале XVI в., но мы поймем их, если даже не будем знать, что Томас Мор был английским канцлером и другом (а потом врагом) Генриха VIII. О значении «Утопии» было достаточно уже сказано выше. Добавим лишь, что в «Утопии», и только в ней одной, Томас Мор является пролагателем новых путей, творцом хозяйственного и политического идеала, главные требования которого не переставали с тех пор (и в особенности в XIX в.) переходить из поколения в поколение, от одних партий к другим, меняя оттенки, но сохраняя свой коренной смысл. В остальном — и в писаниях, и в жизни своей — Томас Мор может быть назван английским гуманистом, главным и выдающимся среди них в первую половину своей жизни, и верующим католиком в течение всей жизни. До реформации его вера носила характер мягкий, созерцательный, вдумчивый, терпимый; после взрыва реформации гуманист исчезает и перед нами католик, полагающий священный долг свой в перебранке с Лютером, в преследовании протестантов, в борьбе за супрематию папы... Припоминая надпись на могиле исторического деятеля, поддерживавшего некоторые идеи Томаса Мора спустя два века, мы можем, отделив «Утопию», сказать о воззрениях второй половины его жизни: «Вот все, что было *смертного* в деятельности Томаса Мора». «Утопия» во всяком случае оказалась по своему влиянию долговечнее.

1901 г.

Английская годовщина
1827-1902

К семидесятипятилетию
со дня смерти
Джорджа Каннинга

1

е нова уже фраза, что Европа переживает в настоящее время «исторические будни». С точки зрения обществоведа эта фраза не имеет ровно никакого значения, ибо понятие о «буднях» и «праздниках» в истории всегда должно иметь чрезвычайно условный и главное субъективный смысл. Да и кроме того, огромные массы в каждом народе остаются за вычетом весьма редких мгновений, слишком безучастными к быстрой смене впечатлений, среди которых живет более культурная и больше о себе говорящая часть нации. Кажутся ли тому или иному слою этой более культурной части народа впечатления исторической действительности праздничными или будничными, или погребальными, до всего этого народным массам нет никакого дела: у них своя жизнь, свои воззрения, свои более инертные и медленнее раскачиваемые мысли и чувства. Но фраза о «буднях» понятна, и быть может, законна в другом отношении: в одни эпохи умственно-передовые слои общества живее, более захватывающе переживают современную им историю; она предстает перед ними в резких очертаниях, ярких картинах, покоряющих фантазию образах; в другие эпохи общественным слоям историческая действительность представляется на самом деле в виде долгого серенького осеннего дня, без солнца, без грозы и без особенно развлекающих ум дурных ли, хороших ли происшествий. Только в этом узком, условном и, пожалуй, *сословном* смысле и возможно толковать о любой исторической эпохе как о буднях или небуднях. Несомненно одно: давно уже пульс исторической жизни западноевропейских народов не выбивал таких сравнительно равномерных ударов, как в конце XIX и начале XX в., и никакое

самочувствие, всегда по существу своему субъективное, не может нагляднее установить эту истину, нежели общий взгляд на события минувшего столетия, сравнение быстроты темпа исторической жизни в первые три четверти столетия с быстротой темпа за последнее двадцатипятилетие. Целый мир политической, научной и философской мысли, художественного творчества, ожесточеннейшая борьба между расами, между классами, между континентами — все это осталось за Европой в ближайшем ее прошлом. Много было передумано и сделано, много выдвинулось ярких и сильных представителей мысли и дела, чувства и расчета, обороны и нападения. XIX век был веком замечательных индивидуальностей, появившихся в количестве, удивительном даже по сравнению с предыдущим столетием, и в этом смысле действительно почти весь он был сплошным «праздником», а не буднями. «Как ярилась, как кипела, как пылала, как гремела здесь народная война в страшный день Бородина»,— говорил Жуковский, вспоминая среди засеянного поля, как там «бомбы падали дождем, и земля тряслась кругом». То, что переживал поэт своим творческим воображением, встает пред всяким знакомящимся с историческими фактами недавнего европейского прошлого — без участия фантазии, из книг, из мемуаров, из всех «человеческих документов», оставленных этим прошлым. Забытые и памятные деятели снова оживают, опять борются, делают преступления и подвиги, жертвуют своей и чужой жизнью, устраивают бойни, интригуют, мечтают, раскаиваются, убивают и крадут, молятся и богохульствуют, пытают и сентиментальничают. Крупные характеры, быстрые умы, обширные замыслы, дерзкие начинания, яркие поступки, много всего этого видела Европа в близком своем прошлом. Но человек, сошедший с мировой арены 75 лет тому назад, среди этих крупных характеров и быстрых умов занимает весьма определенное место, которое с ним разделяют в истории XIX века очень немногие: он правил одной из могущественнейших стран мира в самую сумеречную эпоху всеевропейской реакции и пользовался своей властью и силой не на пользу угнетателей, а на пользу угнетенных; в годы, когда Меттерних и его друзья с пренебрежительной насмешкой говорили о безусых университетских мальчишках, являющихся единственными противниками их мудрой и здравой политики, этот человек стал в некоторых отношениях на сторону безусых университетских мальчишек; пушечные жерла первого в мире флота по одному мановению его руки готовы были заговорить в унисон с прятавшимися и гонимыми на континенте «преступными фантазерами», по крайней мере по целому ряду весьма важных вопросов; в краткий момент своего могущества он сделал свою политику во-

многом материализацией протеста против меттерниховщины, протеста, бессильного и робкого в других местах.

За долгие годы, за всю эпоху, окончившуюся июльской революцией, политика Джорджа Каннинга была ответной пощечиной многим и на многое. Он сошел в могилу в расцвете душевных сил, находясь в апогее власти и влияния, успев осуществить далеко не все, что можно было бы ожидать впоследствии. Но моральное значение этой фигуры уже по тому не должно быть забыто, что история вовсе не избаловала Европу подобными явлениями. Его помянут, верно, теплым словом в Португалии, в Испании, а также в Южной Америке, в Греции, освобождению которых он так сильно содействовал; к России он такого прямого и непосредственного отношения не имел *, но пусть уже эти несколько слов, которые мы хотим посвятить его памяти, будут оправданы хоть тем соображением, что в годы деятельности и смерти Каннинга и Греция, и романские события оказывались не совсем чуждыми в наиболее отдаленных от них широтах: самый национальный и великий русский поэт не раз обращался мыслью к местам, где «воскресла древних греков слава», и повествовал о том, как «сказали раз царю, что, наконец, мятежный вождь Риего был удавлен...» Испанские, южноамериканские, греческие интересы являлись тогда во многих отношениях космополитическими уже потому, что объединяли передовые слои европейского общества сочувствием к борющимся за освобождение. Быть может, хоть вследствие этого не следует совершенно обойти молчанием годовщину смерти одного из замечательнейших пушкинских современников...

2

Джордж Каннинг родился в апреле 1770 г. в семье, весьма бедной (хотя и довольно известной и старинной). По смерти отца мать его добывала семье (Джордж был еще маленьким) средства к жизни службой в театре в качестве актрисы. Впрочем, судьба скоро ей улыбнулась, и Джордж попал на счет своего богатого дяди в итонскую школу, традиционное учебное заведение для наследников богатых и аристократических домов Великобритании. В этом училище процветала, конечно, розга в самых обширных размерах, но были и свои хорошие стороны: не особенно обременяли головы старым латино-греческим грамматическим хламом, входившим в программы, поощряли развивавшийся между школьниками дух товарищества, учителя и туторы были лишены всякого карьеризма и

* О его отказе выдать Н. И. Тургенева см. стр. 290.

сопутствующих этой черте качеств. В общем заботились чрезвычайно много о физическом здоровье, о выработке того, что англичане называют virility— мужественного характера, думали и о манерах будущих светских людей и членов парламента.

Каннинг по окончании курса в Итоне перешел в Оксфордский университет, где сблизился с блестящей молодежью, готовившейся выступить на политическое поприще. В кружках этой молодежи часто происходили пирушки и товарищеские собрания, на которых говорились речи, устраивалось нечто вроде словесных турниров, пародировались парламентские заседания. Все это имело вид и смысл не совсем шутки, не совсем игры: старые лорды и министры охотно преклоняли свой слух, когда им рассказывали о подрастающем поколении и выдающихся среди него ораторских талантах. И виги, и тори были заинтересованы в том, чтобы их кадры пополнялись новыми, свежими силами; главари обеих партий, имевшие в своем распоряжении довольно много мест в нижней палате (ввиду находившейся еще в полной силе системы «гнилых местечек»), были, естественно, поглощены желанием видеть на этих местах действительных себе помощников, ораторов и деятелей, а не тяжеловесных сельских дворян, которые, правда, безропотно подавали свой голос, куда приказано патроном, но от которых до смешного невозможно было ожидать мало-мальски активной поддержки. Лидер оппозиции, так же как первый министр, всегда мог заставить выбрать в палату общин в том или ином округе нужного кандидата, и гнетущий вопрос был, собственно, в людях, в новых ораторских талантах и политических умах. Оттого-то каждый новый выпуск Оксфордского или Кембриджского университетов чрезвычайно интересовал обе «великие партии». Едва Джордж Каннинг окончил университетский курс и стал готовить себя к юридической карьере, как Вильям Питт, первый министр, через общих знакомых пригласил к себе юношу и предложил ему баллотироваться в палату общин, обещая свое полное содействие при выборах. Каннинг согласился и в 1793 г. 23 лет от роду стал членом парламента.

Политическая жизнь Каннинга началась, и началась в весьма тревожное время. Террор, бушевавший во Франции, налагал свою печать на политику всех европейских стран, и внутреннюю и внешнюю. Консервативный кабинет Вильяма Питта был всемогущ внутри страны, но страшный враг стоял перед ним за Ламаншем. Революция вдвойне была ненавистна тогдашним правящим кругам Англии: во-первых, они почти в той же мере, как и континентальные правительства, боялись ее заразительности, того, что мятеж перекинется через пролив, во-вторых, Конвент и революционеры грозили им постоянной

войной, нападениями на море, высадкой в Ирландии, убийством проживающих во Франции английских купцов и т. д. Угрюмые и важные старики, промолчавшие всю свою жизнь в палате лордов, волновались каждым известием, приходившим из Парижа, так же сильно, как сельские джентльмены палаты общин. Происходило нечто, смутно напоминающее то моральное состояние, которое было названо у нас «дворянской хандрой» и при котором иные помещики, расстроенные слухами об эмансипации, а потом и ее последствиями, готовы были в каждом нагрубившем лакее видеть «пугачевского эмиссара». В конце концов «французская язва» оказалась несравненно менее прилипчивой, нежели это сразу могло показаться, но в годину террора число сторонников непримиримого врага Франции, Вильяма Питта, росло чуть не с каждым днем. Но таких людей, как Джордж Каннинг, по-видимому, отталкивали от очень немногих друзей Франции не столько демократический характер революции, не «заразительность» ее принципов, сколько страшные размеры кровопролития, свирепость Конвента, обилие и немотивированность казней. В первые годы своего пребывания в парламенте Каннинг мало выступал в качестве оратора: его дебют на ораторском поприще оказался неудачен, и это, вероятно, имело довольно обескураживающее влияние на молодого человека. Но Вильям Питт не терял из виду своего протеже; он редко ошибался в людях и не ошибся также на этот раз. С 1797 г. Каннинг принял чрезвычайно живое участие в политическом журнале «Антиякобинец», имевшем целью, как показывает самое название, бороться путем стихотворной и прозаической сатиры с идеями, одушевлявшими крайнюю фракцию французских революционеров. По мере того как росли военные успехи сначала Конвента, потом Директории, вражда к Франции принимала в правящих английских кругах особенно острый характер, и журнал, в котором сотрудничал Каннинг, быстро создал молодому писателю репутацию талантливого и остроумного памфлетиста. Почти одновременно с сотрудничеством в «Антиякобинце» Каннинг довольно неожиданно для всех был назначен Вильямом Питтом на пост товарища министра иностранных дел (помощника статс-секретаря по иностранным делам). Блестящая светская жизнь со всеми ее удовольствиями открылась перед двадцатисемилетним товарищем министра. Каннинг был салонным львом, признанным и почитаемым; он был строен, хорош собой, с прекрасными живыми глазами, в обществе отличался остроумием и той быстротой такта, которая является характерной чертой этого человека от начала до конца его карьеры. Ему подражали, его bons mots повторялись с упоением, и когда угловатые, неказистые снаружи и роскошные внутри

дворцы лондонской знати горели сотнями свечных люстр, карета Каннинга неизменно красовалась у подъезда, потому что ни один истинно фешенебельный бал без него не обходился. А нужно сказать, что в эти годы, до парламентской реформы, вся власть над страной, все влияние в парламенте принадлежали олигархии — маленькой кучке знатных семейств, сажавших кого угодно в нижнюю палату и заполнявших самолично палату лордов; иметь успех в свете значило, даже не косвенно, а в самом прямом смысле, приближаться быстрыми шагами к первым государственным постам; «важные старики, обсыпанные пудрой и нюхательным табаком», на берегах Темзы еще больше, чем в иных местах, приглядывались к молодежи, блиставшей в танцевальных залах и за ломберными столами, и намечали из ее среды себе помощников и преемников. Здесь, в Англии, это делалось более непосредственно: олигархия тут была сама властительницей, а не только обладательницей влияния, нужного для «протекции». Молодой товарищ министра уже был героем нескольких сезонов, когда начался болезненный катаклизм, временно прервавший дальнейшее развитие его карьеры. Этот катаклизм, отозвавшийся на всем государственном организме, исходил, как и следовало ожидать, из Ирландии.

Ирландцы не переставали волноваться с самого начала 90-х годов. Георг III, все заметнее и заметнее приближавшийся к окончательному помешательству, с обычным своим раздражительным упорством усиливал англиканскую реакцию на несчастном острове, вопреки намерениям и желаниям Вильяма Питта. Не потому Питт стремился успокоить Ирландию, что она хоть в малой степени возбуждала в нем сострадание, но он ясно видел то, что отказывался видеть полусумасшедший король: французы уже вошли в прямые переговоры с ирландскими патриотами, и их высадка в Ирландии грозила серьезной бедой английскому королевству. С 1797—1798 гг. в Ирландии начались кровавые волнения, только потому достаточно не поддержанные французской Директорией, что не было свободных войск; отборная армия отплыла с Бонапартом в Египет, и в Ирландию возможно было послать лишь маленький отряд. Восстание было усмирено самым варварским образом: англичане казнили без разбора всех, казавшихся им опасными людьми *. Но Питт был слишком уже раздражен против Георга III по поводу этого бунта, хотя и окончившегося «унией» Ирландии и Англии и уничтожением ирландского парламента, но столь некстати вызванного королем и его единомышленни-

* Насчет воспоминаний об этой репрессии см. наш очерк «Чарльз Парнель» вначале.

ками. К тому же Питт уже около пяти раз заставлял парламент давать королю деньги, на которые тот не имел прав, якобы для уплаты долгов, а на самом деле для безграничного и беспрерывного кутежа и разврата королевских принцев. Теперь, в 1801 г., предвиделась необходимость в шестой раз просить для короля этих денег. Были и еще причины, коренившиеся уже в делах внешней политики, почему Вильям Питт счел благоразумным на время уйти от власти. Вместе с Питтом ушел и Каннинг; за несколько месяцев до отставки он увенчал светскую карьеру свою женитьбой на одной из самых блестящих красавиц лондонской аристократии — леди Джен Скотт, принесшей ему, кроме родства с знатнейшими домами Англии, приданое в 100 тысяч фунтов стерлингов.

Воплощенное политическое ничтожество, сэр Аддингтон, сменил Питта; Каннинг стал по отношению к новому кабинету в резко враждебные отношения. Более нежели когда-либо Каннингу казалось необходимым поддерживать войну против Франции, против Наполеона, а новый кабинет склонялся к миру, и мир действительно в 1802 г. был заключен. Каннинг громил кабинет за его трусость, нерешительность, отсутствие определенных планов. С полным беспристрастием этот ненавистник Наполеона ставил в пример первого консула своим противникам, аддингтоновским министрам. «Взгляните на Францию,— вскричал он однажды в парламенте,— что сделало ее тем, чем вы ее видите? Один человек! Вы скажете мне, что она была велика, могущественна, крепка еще до бонапартовского управления, что он нашел в ней великие физические и моральные средства и что ему нужно было только ими распорядиться. Правильно, но он и распорядился ими. Сравните положение, в котором он застал Францию, с положением, из которого он ее возвысил. Я не панегирист Бонапарта, но я не могу закрыть глаза на все превосходство его талантов...» Общим выводом из всех заявлений Каннинга в это время было то, что необходимо вернуть Питта к власти, что Аддингтон в качестве противника первого французского консула до курьеза не на своем месте.

Вскоре (в 1803 г.) амьенский мир был расторгнут, и Наполеон начал деятельно готовиться к высадке на английские берега. Когда в булонском лагере стали сосредоточиваться огромные силы и боевые припасы, паника в Англии была так сильна, что без особых усилий оппозиции министерство Аддингтона пало, и Питт снова стал во главе кабинета, а Каннинг одним из деятельнейших его помощников; из всех членов министерства 1804 г., последнего министерства Вильяма Питта, никто не мог бы с таким основанием назваться правой рукой премьера, как Каннинг. Именно в это-то свое последнее пребывание у

власти Питт и оказал неоценимую услугу своей родине, сбросив путем ловких дипломатических маневров и денежных подачек все бремя войны на руки континентальных держав: пока Наполеон бил австрийцев и русских, разорял Австрию и расчленял Германию, Англия наслаждалась полной безопасностью. Но как ни был энергичен, дальнозорок и умен Вильям Питт, он не мог предвидеть такого страшного, такого полного разгрома коалиции, как тот, что произошел при Ульме и на полях Аустерлица, и неожиданность несчастья была смертельным ударом для бодрого духом, но больного физически премьера. 2 декабря 1805 г. Наполеон выиграл аустерлицкое сражение, а через 7 недель, 23 января 1806 г., Вильям Питт скончался. В кабинете Фокса и Гренвиля Каннинг участвовать не мог вследствие неприязни к вигам, вошедшим в министерство, и весь этот страшный для континентальной Европы 1806 год провел в рядах оппозиции. Наполеон уничтожил все прусские армии, занял Варшаву, произошли уже кровавые его битвы с русскими при Пултуске и Эйлау, а министерство Гренвиля (Фокс умер спустя несколько месяцев по вступлении в должность) ровно ничего не предпринимало, чтобы хоть немного компенсировать всю тяжесть этих блестящих наполеоновских успехов. Кабинет пал с внешней стороны как будто вследствие несогласия с парламентом и королем по вопросу об эмансипации католиков, а на самом деле из-за того же, из-за чего и Аддингтон принужден был в свое время уступить место Вильяму Питту: грозные проблемы внешней политики, борьба с Наполеоном требовали снова более энергичного руководителя делами, нежели Гренвиль. Весной 1807 г. герцог Портленд образовал торийский кабинет, в котором Каннинг стал министром иностранных дел, лорд Кестльри — военным министром, а первым лордом адмиралтейства — Мельгрев. Особенно крупной роли Каннинг здесь не играл, ибо Мельгрев, Кестльри и Портленд фактически заправляли всей иностранной политикой. После тильзитского мира, отдавшего почти всю Европу либо во власть, либо под прямое влияние Наполеона, кабинет Портленда решился на то отчаянное предприятие, которое даже в английской исторической литературе особой хвалы себе не снискало: под влиянием угроз всесильного на континенте Наполеона Дания не решалась примкнуть к Англии, как требовал этого английский кабинет. И вот в глубокой тайне была снаряжена морская экспедиция против Дании, и Копенгаген подвергся страшной бомбардировке, снесшей прочь несколько улиц и перебившей около двух тысяч мирных граждан. Справедливость требует заметить, что варварство и разбойничий характер этого происшествия зависели в значительной степени от общей нервной напряженности исторического момента: кон-

тинентальная система грозила вконец разорить Англию, Наполеон неимоверно усилился, все перед ним трепетало; Россия, единственная независимая великая держава, вошла в тесный оборонительный и наступательный союз с французским императором, словом, все складывалось так, что англичане могли со дня на день ожидать нового булонского лагеря, начала новых сборов Наполеона к завоеванию непокорного острова. «Кто не с нами, тот с Наполеоном»,— вот какого принципа (недалекого, впрочем, от истины) придерживался кабинет Портленда и Кестльри.

Все это, разумеется, нисколько не избавляет памяти Каннинга от некоторого пятна: из всего кабинета только он один способен был посмотреть на историю с бомбардировкой Копенгагена (без объявления войны Дании) не с одной только узко политической точки зрения, и однако ни малейшего протеста с его стороны в данном случае не было. Но Каннингу его товарищи были несимпатичные главным образом вследствие их бездарности; он жаловался в особенности на Кестльри, военного министра, и отношения между ними до того обострились, что Кестльри воспылал к нему самой яростной враждой.

Кестльри был капризным самодуром, глубоко эгоистичным и в классовом, и в узко личном смысле; он являл собой сочетание всех наиболее антипатичных черт английской олигархии в эту реакционную эпоху (ибо во всех внутренних отношениях Англии в те годы царила полная реакция, начавшаяся еще с Французской революции). Он не терпел Каннинга ненавистью мелкого злобного завистника; хотя они, казалось, были единомышленниками и даже заседали в одном кабинете, но между этими двумя людьми повторялась уже давно, с первого момента знакомства, mutatis mutandis, старая и вечно юная история (если не действительных, то пушкинских) «Моцарта и Сальери»; злобненькое и бессильное чувство зависти бездарного педанта к сильному и самобытному политическому деятелю оказалось в конце концов столь же кровожадным, как и у Сальери к гениальному виртуозу: Кестльри вызвал Каннинга на дуэль, придравшись к пустейшему случаю. Впрочем, Каннинга ему убить не удалось, а удалось только ранить. Почти одновременно с этим скандалом кабинет Портленда вышел в отставку: внутренние неурядицы и ссоры между министрами переполнили чашу терпения и в парламенте, и в общественном мнении, ибо и без того коренная задача исполнена кабинетом не была: Наполеон положил к своим ногам почти весь континент, деятельно продолжал борьбу в Испании, и ни в Испании, ни в остальной Европе ни английские войска, ни английская дипломатия ничего поделать с ним не могли. Из всех ушедших

с Портлендом министров клеймо репутации бездарности не было наложено общественным мнением разве только на одного Каннинга. Его в парламенте уважали за блестящий ораторский дар, быстрое соображение, ум, за его железный характер. Было в нем что-то гордое, широкое, бескорыстное, была какая-то черта, сразу позволявшая почти всем, имевшим с ним сношения, разглядеть, что он всегда и все говорит и делает, не высчитывая, какая произойдет от этих слов и действий польза для его кармана или для его самолюбия.

3

В конце 1810 г. (уже когда Каннинг вышел в отставку вместе со всем кабинетом Портленда) случилось то, чего с одинаковой уверенностью и с давних пор, уже 21 год, ожидали и психиатры, и политические деятели и в Англии, и Европе: король Георг III окончательно и бесповоротно сошел с ума. Сместить его оказалось делом уже потому несвоевременным, что оно было сопряжено с чрезвычайными трудностями, оно оказывалось слишком громоздким для всей конституционной машины; да и в правах парламента сделать это в данном случае далеко не все были уверены. Георг III остался при своем титуле, а регентом был назначен сын его (впоследствии Георг IV). Ни регент, развратный, буйный, почти постоянно пьяный кутила, ни новый премьер (сменивший Портленда), Персиваль, не были на высоте своего положения в эти действительно слишком уж трудные для Англии годы борьбы один на один с Наполеоном; в этом отношении после смерти Вильяма Питта все английские премьеры походили друг на друга. Кабинеты переменялись, уходил враждебный Каннингу Персиваль, приходил дружественный ему лорд Ливерпуль, но Каннинг уже более апатично стал относиться к делу оппозиции и к комбинациям, сулившим ему власть: все внимание его было устремлено па Европу, где решалась в эти годы мировая драма. Началась и прошла русская кампания, стали фактами пожар Москвы, отступление Наполеона, общая война с ним угнетенной Европы, падение Французской империи... Еще когда гибель Наполеона не была решена, и это чрезвычайно характерно, Каннинг уже начал зорко и подозрительно следить за теми «освобождающимися», которые пока еще (в 1813 г.) невзначай, урывками стали проявлять чрезвычайно своеобразное понимание «свободы», не сходившей у них с языка; «стыдом, сожалением и негодованием,— воскликнул Каннинг,— наполнил мою душу трактат, присоединяющий Норвегию к Швеции» (вопреки желаниям норвежцев). Кратковременное пребывание его в качестве посланника в Лиссабоне позволило ему

ближе ознакомиться со всеми подробностями континентальных дел и отношений. Именно тогда и начало зарождаться у Каннинга столь характерное в нем отвращение к лицемерно-ханжескому обличию, которое европейские люди власти считали нужным придавать самым недвусмысленным, жестоким и эгоистическим своим действиям.

1815 год, белый террор во Франции, Священный союз, выступление на историческую сцену Меттерниха — все это подтвердило и усилило начавшуюся и быстро нараставшую в Каннинге антипатию к людям, разделившим наполеоновское наследство. Лорд Кестльри стоял вместе с лордом Ливерпулем в эти первые годы после наполеоновской эры во главе управления Англией, и Каннинг в делах участия активного и непосредственного, за вычетом одного довольно краткого момента, не принимал. Кестльри иногда высказывал европейским кабинетам свое сдержанное и деликатное порицание по поводу слишком уже ярких и бесцеремонных подвигов общеевропейской реакционной круговой поруки, но Меттерних был вполне прав, считая, например, императора Александра I опасным для себя человеком, а министра конституционной державы — лицом вполне безвредным: Александр (до Веронского конгресса) все же иногда останавливал австрийского временщика, а Кестльри всегда в конечном счете оказывался в полном согласии с усмирителями, а не с усмиряемыми, хотя бы вполне ясно видел, что интересы английской политики (не говоря уже об интересах справедливости) повелевают внимательнее и беспристрастнее отнестись к делу. Принц-регент следовал во всем желаниям и советам Кестльри, парламент был занят уже начавшейся борьбой из-за избирательной реформы, и все правящие круги Англии казались поглощенными давно уже небывалым в королевстве явлением: уличными демонстрациями в пользу реформы и враждебными выходками народа по адресу правительственных лиц. Внешняя политика оставалась всецело в руках Кестльри, и именно потому Меттерних во всех своих планах мог смело снимать Англию со счетов, будучи твердо уверен, что английский министр всегда окажется на его стороне. А между тем Кестльри не мог не видеть, что Меттерних, пропагандируя идею вмешательства великих держав во внутренние дела «бунтующих народов», стремится к полной гегемонии Австрии в европейских делах и что в слишком многом интересы Англии требуют протеста. Но Кестльри только метался со своими нотами, обращаясь по очереди ко всем дворам и нигде ничего не достигая. Он и подавлению революции сочувствовал, и усиления Австрии и Франции боялся, но первое чувство всегда перевешивало. Джордж Каннинг во внутренней политике был противником парламентской реформы и вообще пока не уклонялся

в общем от принципов торизма, но что касается политики внешней, то он лучше и яснее других видел ошибки и бестактности Кестльри.

В 1820 г. умер помешанный король, принц-регент взошел на престол, и на Кестльри посыпались всевозможные злоключения. Ему и так трудно приходилось, ибо волнения по поводу парламентской реформы росли, Меттерних на конгрессе в Троппау и Лайбахе совсем устранил Англию от участия в европейских делах, Испания, Пьемонт, Неаполь ускользали от могущественного в былые годы английского влияния, и главное Кестльри совершенно терялся в соображениях, какой линии ему теперь держаться? Идти окончательно на буксире у Меттерниха — позорно и слишком невыгодно, оказаться хоть в чем-нибудь на стороне «революционеров» (каких, где— все равно) — это было уж для него таким ужасом, с которым никак министр не решался примириться. Мучительное состояние духа его осложнилось еще скандалом, который новому королю заблагорассудилось устроить, начав нелепый бракоразводный процесс против жены. Королеву Каролину, о которой довольно справедливо говорили, что она в своей жизни сделала лишь один ложный шаг, именно выйдя замуж за своего супруга, Георг IV обвинил в измене.

Курьезная сторона происшествия заключалась в том, что короля все знали как человека, преданного распутству и грогу, а королеву считали чистой и безупречной женщиной, и общественное мнение сразу же стало называть все обвинения облыжными. Так оно и оказалось, и лорд Брум (тогда еще не получивший пэрства), который защищал Каролину, доказал с блестящим успехом, что свидетели, выставленные Георгом против королевы, суть проходимцы и лжецы. Не только король, но и весь кабинет Кестльри и Ливерпуля понесли при этом скандале чувствительное моральное поражение. Почти тотчас после скандала с королевским процессом Кестльри убедился, что существует темная интрига, имеющая целью путем шантажа выманить у него значительную сумму денег и грозящая в противном случае какими-то весьма неприятными разоблачениями. Терзаемый всеми этими бедами, решительно не знающий, как выйти из тупого закоулка, куда его завела судьба, Кестльри к полной своей ярости получил известие о предположениях и предначертаниях Меттерниха и его товарищей по Веронскому конгрессу: готовился усмирительный поход французов в Испанию, что прямо шло вразрез с интересами Англии на Пиренейском полуострове. Он хотел лично отправиться на Веронский конгресс и воспрепятствовать меттерниховским планам, но тут вдруг его домашние стали замечать за ним странное беспокойство, боязнь тайных врагов, болезненную мнительность... 12 августа 1822 г. лорд Кестльри зарезался перочинным ножом.

4

Одно лицо, весьма близкое к Георгу IV, рассказывало Булверу-Литтону некоторые подробности о том, что последовало за самоубийством Кестльри. Нужно предварительно сказать, что лорд Ливерпуль, который должен был заменить кем-нибудь Кестльри, почел необходимым пригласить Каннинга на пост министра иностранных дел. Но королю и заикаться нельзя было о Каннинге, которого он не терпел за поведение его при процессе королевы Каролины, когда Каннинг, несмотря на свой торизм, ни единого слова не произнес в пользу короля и даже отчасти из-за этого процесса ушел из кабинета. Георг IV очень хорошо знал, какого мнения держится Каннинг о моральных качествах его величества; герой нашего очерка был человеком чрезвычайно остроумным и суждения своего обыкновенно ни перед кем не скрывал, изъяснялся же в иных обстоятельствах довольно ядовито. Король Георг, который вероятно по случаю самоубийства Кестльри, страшно его поразившего, находился в совершенно трезвом виде, к полному неудовольствию своему, должен был принять герцога Веллингтона, которого отрядил к королю лорд Ливерпуль, и выслушать от него просьбу о Каннинге. «Боже мой! — воскликнул король *,— Артур, не предлагайте же вы мне этого господина на пост секретаря по иностранным делам (министра иностранных дел — *Е. Т.*). Я сказал и уверяю вас честью джентльмена, что он никогда уже не будет моим министром. Слышите, Артур: моей честью джентльмена! Я уверен, вы согласитесь со мной: не могу же я сделать то, чего обещал не делать моею честью джентльмена».— «Извините, государь, я с вами не соглашусь: вы — не джентльмен». Король остолбенел. «Ваше величество, говорю я, — не джентльмен, но государь Англии, и вы несете обязанности по отношению к вашему народу, которые гораздо выше обязанностей по отношению к себе самому. Обязанности же эти повелевают, чтобы теперь, в это время, вы воспользовались талантами Каннинга...» «Хорошо,— сказал король, испуская долгий вздох,— если я должен, так должен...»

Еще до самоубийства лорда Кестльри Каннингу был предложен пост генерал-губернатора Индии, но теперь он от этого назначения отказался. Перед ним открывалось широкое поле деятельности, дневные и ночные труды его не пугали, мутное море дипломатических всеевропейских интриг не внушало ему такого ужаса, как его предшественнику. Глава кабинета лорд

---

* Bulwer-Lytton. Canning, the brilliant man, стр. 246—247.

Ливерпуль предоставил ему полную свободу действий, и вот Каннинг очутился лицом к лицу с враждебным ему и одушевленным меттерниховскими тенденциями европейским официальным миром. Король Георг IV, как сказано, чувствовал к Каннингу болезненную антипатию, и это также на первых порах могло затруднить действия нового министра иностранных дел: монархическая идея была более, чем когда-либо, сильна в Европе. Каннинг вступил в управление делами в момент, когда уже нельзя было остановить прямого и непосредственного результата дипломатических ошибок покойного Кестльри: французская армия, по уполномочию великих держав, вторглась в Испанию, уничтожила последние надежды на торжество испанских конституционалистов и восстановила абсолютизм королевской власти. Каннинг не мог уже остановить начатого, но он, не обинуясь, высказал французскому посланнику в Лондоне, что «крестовый поход», предпринимаемый французским правительством, «ненавистен» ему, Каннингу, и что если Фердинанд испанский будет вести себя подобно английскому королю Иакову II (изгнанному в 1688 г.), то он вполне заслужит той же участи. Эти заявления и подобные им произвели неописуемый фурор на континенте. Меттерних со свойственной ему беспокойной, инстинктивной чуткостью мгновенно, по-видимому, понял, что, кажется, его коса нашла на камень. Ближайшее будущее подтвердило блистательно справедливость этого опасения. Наклевывалась тогда, в 1823 г., во французских, испанских и австрийских правящих кругах одна идея, казавшаяся некоторое время весьма осуществимой: Южная Америка была охвачена восстанием против своей метрополии, и Испания, которая совершенно не в силах была справиться с восставшими, почти готова была уступить все права на колонии французам, а Франция уже проводила открыто мысль, что за свои заслуги по усмирению испанских беспорядков она вполне достойна некоторой награды; предприятие снискало себе также и полное одобрение Меттерниха, жаждавшего увидеть южноамериканских бунтовщиков поскорее в крепких руках французского колониального управления. И вот все рухнуло из-за Каннинга. Он решительно заявил, что в деле южноамериканских колоний признает только лишь «совершившийся факт»: освободилась известная колония, значит она есть самостоятельная республика; вмешательства же европейских держав и передачи этих территорий Франции он не допустит. Veto было серьезное и тем более внушительное, что огромный флот Англии бороздил Атлантический океан и никакой десант из Европы в Америку не был мыслим без отчаянной схватки с английскими судами. Мало того, при прямом содействии Каннинга пришли в возбуждение Северо-Американские Соединенные Штаты, и президент их Монрое ответил на

приготовления и махинации европейских дворов заявлением, что вмешательства Европы в дела свободных народов американского материка он не допустит. Европейские кабинеты были раздражены и как-то сбиты со своей благополучной доселе позиции: рисковать войной с Англией и североамериканской республикой являлось делом невозможным. Тогда Меттерних пустился на хитрость: он затеял созвать конгресс в Париже для решения вопроса о южноамериканских колониях. Под его влиянием французский король Людовик XVIII обратился с мыслью о конгрессе к выручениому им только что Фердинанду испанскому, а Фердинанд уже якобы от себя поднял дело о конгрессе официально. Однако и это не помогло: Каннинг тотчас же поспешил заявить, что ни на конгрессе никакого представителя Англии не будет, ни решений конгресса он, Каннинг, не признает. Смысл дальнейших его заявлений по этому поводу сводился по-прежнему к тому, что он признает в южноамериканском вопросе только лишь «совершившийся факт»; угодно европейским державам усмирить силой Южную Америку, пусть попробуют. Но пробовать опять-таки никто не рискнул: Каннинг явно грозил войной первой же державе, какая только вздумает отправить десант в американские воды. Меттерних пришел в самое серьезное беспокойство, но не нашел ничего остроумнее, как спустя несколько месяцев снова содействовать новому поднятию вопроса об общеевропейской конференции. На этот раз все меттерниховские спутники и товарищи заговорили уже более тревожным и отчасти грозным тоном, много говорилось об опасности покровительствовать разрушительным принципам, о заразительности революционной гангрены и т. д. Но Каннинг оставался вполне бесчувствен ко всем внутренним и внешним достоинствам официальной и официозной прозы, ко всем протестациям, «ремонстрациям» и другим видам дипломатического творчества. Он опять, и уже с нетерпением, подтвердил, что конференции не желает.

В первый раз Меттерних увидел себя в безвыходном положении: когда протестовал против его желаний русский император, он прибегал ко лжи, к подтасовкам вроде раздувания беспорядков семеновского полка в целую «революцию»; когда протестовали студенты, профессора и журналисты Тугендбунда и однородных направлений, он с совершенной легкостью подыскивал для них подходящее и приличное случаю казенное помещение; когда протестовали итальянцы, он посылал туда лишнюю дивизию. Но что было делать с Каннингом? Упорный, насмешливый, ничему не верящий, совершенно бесцеремонный англичанин грудью загородил дорогу изящному, счастливому и модному австрийскому канцлеру, столь легко скользившему до сих пор по европейской политической арене. Меттерних возненавидел

Каннинга от всей души; кажется, впрочем, что он пользовался при этом самой полной взаимностью. Европейских реакционеров особенно сбивала с толку принадлежность Каннинга к торийскому лагерю, и довольно долго, больше года, они льстили себя надеждой, что Ливерпуль и тори парламента изгонят Каннинга. Но эти надежды были напрасны: с каждым месяцем положение Каннинга становилось все крепче и устойчивее, ибо виги понемногу начали сближаться с ним, что было крайне существенно для долговечности всего кабинета. Немецкий деятель почти той же эпохи говорил: «Либерал может стать министром, но это не значит, что он будет либеральным министром». Тут происходило нечто аналогичное (причем полный моральный выигрыш всей этой параллели — в пользу Каннинга); консерватор стал министром, но к совершенному негодованию Меттерниха не консервативным министром. Впрочем, и консерватизма английского Меттерних никогда в точности не понимал. Дело с южноамериканскими колониями окончилось тем, что Каннинг поспешил послать в новообразовавшиеся республики консулов и представителей торговых интересов Англии: он их признал вполне самостоятельными странами и сообразно с этим действовал. Этот решительный удар, нанесенный престижу Священного союза и меттерниховской политики, привел в восторг не только либеральные круги континентального общества, но и парламентских вигов: они при всяком случае старались выразить полное свое сочувствие и почтение к энергичной и определенной политике министра. Со своей стороны, тори были довольны, что сразу Англия в европейском концерте приобрела прежнее значение, почти совсем утраченное в эпоху конгрессов и в правление Кестльри. В 1824 г. Каннинг имел случай заметить, как блестяще поставлен он в английском обществе; на нескольких грандиозных празднествах, где он появлялся, он становился настоящим центром, и, конечно, как всегда и со всеми водится в таких случаях, у него разом объявилось подавляющее количество друзей, обнаруживавших такую необычайную сердечность, что невольно мог явиться вопрос об их местопребывании в те годы, когда Кестльри, казалось, совсем отодвинул своего соперника на задний план, когда король говорил о Каннинге не иначе, как с пеной у рта, и когда виги обвиняли его публично в самых несдержанных выражениях. Но вообще вряд ли этот человек мог особенно заблуждаться относительно подобных новоявленных друзей; привычка ли к аристократическому обществу, многолетний ли и активный интерес к дипломатическим делам, своеобразная ли черта ума, все ли это вместе было причиной, но он огромному большинству своих светских и политических контрагентов и корреспондентов не верил ни на одну ноту, что, впрочем, слишком явно и обнаружи-

вал в своих речах и поступках. Его тоже искренним многие не считали *, но он не особенно за этим и гнался, больше надеясь на доказательность и убедительность своих слов и на целесообразность своих поступков.

Поддержка вигов была тем более важна для Каннинга, что его товарищи, тори, относились к нему довольно сдержанно, расположение же к нему оппозиции делало его участие чрезвычайно выгодным для всего кабинета и вполне развязывало ему руки в его борьбе с меттерниховским влиянием. Каннинг не разделял воззрений приверженцев парламентской реформы, но виги ему это прощали больше, чем кому-либо. Характерное для стран с низким уровнем политического развития поедание единомышленников единомышленниками в Англии встречается вообще несравненно реже, нежели противоположное явление: сближение между политическими противниками в тех случаях, если это представляется рациональным для совершения желательного обеим сторонам дела. Тут Каннинг и виги сблизились на общей почве борбы с меттерниховщиной, и 1825 год, когда Каннинг сообщил официально всем представителям европейских держав, что он признает новые республики Южной Америки, сблизил еще более оппозицию с министром иностранных дел. Промышленные классы были чрезвычайно довольны, помимо всего, торговыми договорами, которые Каннинг заключал с этими новыми республиками: густо заселенный потребительный рынок открывался для английской промышленности и торговли. В 1825 г. Меттерних увидел уже вполне ясно, что с Южной Америкой дело покончено, и облегчал лишь свою душу особенно частыми подчеркиваниями, что уже никто не будет столь безумен, чтобы давать «якобинским принципам» торжество в самой Европе. Но и здесь его ждали обиды и разочарования; прологом к ним послужили разнесшиеся по всему миру слова Каннинга на одном частном, но многолюдном собрании, что вся Европа должна пользоваться свободой, какой наслаждается Англия. Подобные заявления в устах человека, уже показавшего, что он умеет не только говорить, но и действовать, привели в страшнейшее беспокойство Меттерниха и не понравились даже ториям типа герцога Веллингтона. А действия Каннинга продолжались. Сын короля португальского дон Педро, регент португальской колонии Бразилии, был провозглашен бразильским императором по воле восставшего бразильского населения. Он от этого титула не отказался с согласия отца своего. Когда

* «Man who listened to Canning thought him only a consummate actor» и etc. («Dictionary of national biography», vol. VIII, стр. 43).— Действительно, есть доказательства, что слушавшие Каннинга считали его искусным актером — не более.

же в 1826 г. король португальский умер, его престол перешел к новому бразильскому императору, который, не имея возможности удержать обе короны, отказался от португальской в пользу своей дочери донны Марии и при этом октроировал Португалии конституцию (сочтя себя в законном праве перед отказом от короны сделать это). Еще до смерти португальского короля Каннинг поспешил признать самостоятельность Бразильской империи, тотчас после выражений негодования со стороны Меттерниха, французского правительства, испанского короля и т. д. Признав новую империю, Каннинг сейчас же заключил с ней торговый трактат. Но тут уже дипломаты Франции и Священного союза попытались ответить на энергию энергией: под их влиянием испанское правительство вступило в прямые отношения с португальскими реакционерами, ни за что не желавшими примиряться ни с отделением Бразилии, ни с либеральной конституцией. К концу 1826 г. целая армия португальских реакционных эмигрантов, вооруженная и экипированная на испанской территории и, по-видимому, за испанский счет, двинулась к Лиссабону. Португальское правительство и либеральная партия были в чрезвычайно критическом положении: все зависело от Каннинга и его решимости, потому что, кроме Англии, никто помочь не был в состоянии. И Каннинг не колебался. Просьба португальского правительства о помощи против нашествия реакционеров с испанской границы пришла 3 декабря (1826 г.), а 12 декабря английские войска уже отплывали к Лиссабону. При первых же известиях об английской вооруженной помощи всякая опасность для португальского правительства рассеялась, реакционная армия растаяла сама собой, испанский двор утих, а Меттерних, уже не обинуясь, стал называть Каннинга карбонарием и якобинцем. За каких-нибудь 4 года (1822—1826) Меттерних увидел престиж Священного союза совсем расшатанным. При опекунских и семейственных (весьма безвкусных и лакейских) параллелях, которые были тогда в большой моде у меттерниховских рептилий, поведение Каннинга являлось действительно вопиющим скандалом и беспорядком: «дети» (особенно непокорные) с полным вниманием и любопытством следили за ссорой «родителей». Меттерниху и его системе на глазах народов всей Европы наносились удары не со стороны бунтовщиков, атеистов, заговорщиков, «вредных и длинноволосых мечтателей» и так далее, а со стороны законнейшей и, мало того, консервативной власти. Это уже было обидой нестерпимой, особенно жгучей потому, что упомянутые удары оставались неотмщенными. Шатался и престиж непререкаемости, и престиж силы; но самая горькая чаша ждала Меттерниха впереди.

5

Еще за год до самоубийства лорда Кестльри, в 1821 г., началось вооруженное восстание греков против турецкого владычества. Меттерних в первое время не придавал этому событию особой важности, не потому чтобы считал восточные дела не стоящими внимания, но вследствие характерной в нем узости кругозора: он видел, что на его стороне Кестльри, что греки, по-видимому, слабее турок, и не тревожился. Собственно, его беспокоил только русский император. Нужно сказать, что Александр I превосходно понимал Меттерниха, что в его глазах австрийский канцлер был уличенным предателем еще с эпохи Венского конгресса, когда все его закулисные интриги против Александра выступили наружу вследствие одного «неудобного случая», как выражаются о таких делах благообразные дипломаты-мемуаристы. Со времени «неудобного случая» и ссоры между этими двумя лицами они не любили друг друга и пользовались взаимным недоверием. Александр был шире и умнее, Меттерних — пронырливее и неутомимее, оба, по-видимому, знали слабые стороны друг друга, но Александр вследствие большей впечатлительности и нерешительности больше поддавался сторонним воздействиям. Огромным плюсом в руках Меттерниха еще была определенность и простота его маленького и узенького морального и политического катехизиса: князь твердо помнил от тех дней далекой юности, когда только еще начинал учиться перехватыванию и дешифрированию чужих писем, вплоть до того страшного мартовского вечера 1848 г., когда он бежал переодетый из Вены, что кресты, гульдены и власть он получит и удержит, только лишь служа реакции, усиливая ее, давя слабых ее врагов, и что если он не особенно расторопно будет это делать, так тотчас же перестанет считаться незаменимым и кресты, гульдены и власть уйдут от него. Но Александра он никогда ясно не понимал, хотя, повторяем, прекрасно умел пользоваться его слабыми сторонами; ему все царствование этого государя казалось не «настоящей» историей, а чем-то вроде романа (он в таком духе и выразился, получив известие о смерти Александра в Таганроге). Что зверства турок Александру не понравятся, это он мог знать и раньше фактов, обнаруживших отношение императора к греческому вопросу. Александр казался Меттерниху опасным потому, что мог, во-первых, помочь грекам по сочувствию к их страданиям, религии и так далее, а во-вторых, мог этой своей помощью грекам разрушить Турецкую империю или по крайней мере захватить часть Балканского полуострова. На счастье Меттерниха, Троппау-Лайбахский конгресс дал ему возможность лично говорить с императором и влиять на него; Александр высказался против греков на том основании, что

султан есть законный правитель, а греки — бунтовщики и заговорщики. Но ближайшее будущее показало, что Меттерниху успокаиваться на этом было рано. Дело в том, что вовсе не так уже прочно, как казалось, убедил он Александра в легитимности султана и революционизме греков; конечно, это было наиболее благовидной почвой для разговоров о восстании, но центр тяжести в данном случае лежал в вопросе о целости Турецкой империи и об усилении или неусилении (на ее счет) России. Лорд Кестльри (доживавший тогда последние месяцы своей жизни) всецело встал на сторону Меттерниха, потому что Англия опасалась захвата Константинополя русскими войсками. Все это вместе слишком связывало руки Александру I, и греки оставались совершенно одиноки.

Греческие боевые песенки с искренним увлечением, хотя и в жестоко перевранном виде, распевались всей молодой Европой, филэллинизм все шире и шире распространялся во Франции, в Германии, в Англии, а в России охватывал не только передовые круги военной и аристократической молодежи, но и влиятельнейших сановников, помнивших дни Екатерины и явно желавших возвратить Россию на путь традиционной ее восточной политики; борьбу с турками за православных греков они считали и государственно полезным, и благочестивым делом. После возвращения Александра в Петербург русские дипломатические действия стали принимать довольно неприязненный характер по отношению к Турции; во Франции филэллинисты громко требовали также вмешательства в турецкие дела; университетская молодежь Германии пользовалась всяким удобным и неудобным случаем, чтобы выразить свое сочувствие грекам, и вот в этот-то чрезвычайно хлопотливый момент Меттерних и получил известие, что лорд Кестльри зарезался.

Мы уже говорили о том, какое тяжелое беспокойство внушили Меттерниху первые же шаги Каннинга в испанских и южноамериканских делах, как это беспокойство росло и оправдывалось с каждым месяцем все более и более, какое бессилие обнаружили защитники Священного союза при обороне его принципов от нового и страшного врага. Греко-турецкая борьба продолжалась, но в глазах официальной Европы она несколько заслонилась перипетиями столкновения воли Каннинга с волей Меттерниха и дипломатическими победами английского министра. Когда в 1823 г. Каннинг распорядился, чтобы греческим инсургентам английские власти не мешали укрываться и снаряжаться на принадлежавших Англии островах близ Балканского полуострова, это, по-видимому, даже не произвело на Меттерниха слишком сильного впечатления и не вызвало с его стороны официальных протестов; быть может, он слишком убеж-

ден был в том, что все равно Каннинг из боязни за английские интересы не допустит нарушения целости Турции и что его благосклонность к инсургентам объясняется желанием нанести лишний укол австрийской дипломатии. Но наступил 1824 год, и дело пошло для Меттерниха все злокачественнее: Каннинг получил (как и прочие европейские министры иностранных дел) протестационную ноту греческого революционного правительственного комитета, в которой говорилось, что инсургенты ни за что не согласятся на предположение Александра I устроить из территории, объятой мятежом, три области, которые бы управлялись князьями, стоящими к султану в вассальных отношениях. Это предположение явилось в Петербурге в качестве, так сказать, равнодействующей между филэллинистическими влияниями, с одной стороны, и меттерниховскими влияниями — с другой. Ни предположение это, ни протест инсургентов особого впечатления не произвели, потому что ни тому, ни другому акту практической важности не придавали, но каково же было негодование Меттерниха, когда он узнал, что Каннинг тотчас же очень вежливо и обстоятельно ответил бунтовщикам официальной нотой со всеми формальностями, точь-в-точь как если бы писал ему, поддержке порядка, столпу общественных основ, «ангелу-хранителю Европы» и обладателю всех существовавших тогда орденов, князю Клементию Меттерниху! Самая нота Каннинга, впрочем, ничего определенного грекам не обещала, но факт ее посылки инсуррекционному комитету показывал, что Англия признает и впредь будет признавать полную законность греческого правительства. Греки и друзья их предавались самым беззаветным ликованиям, несмотря на то, что до окончательного торжества было еще не близко. Трудные дневные и ночные переходы, трупы женщин и детей на дорогах и в канавах, ожесточенные и внезапные сшибки со свирепыми башибузуками, маленькие рационы хлеба, скудость боевых припасов, физическая работа до изнеможения, ежедневные потери родных и близких, страдания от ран, полное отсутствие медицинской помощи, угрозы Меттерниха, насмешки и клевета его рептилий — вот что приходилось слишком перечувствовать и вождям, и рядовым греческой инсуррекции с начала восстания. Могущественной моральной поддержкой для них был уже филэллинизм в европейском обществе, но желание Каннинга вступить с ними в прямые сношения влило бодрость и веру в душу наиболее скептических сынов и друзей Греции. В первый раз великая держава, да еще самая сильная в восточных водах, явно становилась на их сторону. Что касается до России, то Александр I перед самой смертью пожелал не отдавать греческого дела в одни английские руки, а Каннинг, со своей стороны, обнадежил Россию, что стоит всецело за вооруженное вмешательство

обеих держав в пользу греков. Но на конференции, созванной по этому поводу в Петербурге, Австрия против вмешательства протестовала, Александр I не особенно сильно настаивал, и когда он скончался, вопрос о вмешательстве все еще висел в воздухе.

Восшествие императора Николая на престол, подавление декабрьского бунта, первые шаги нового правительства — все это сначала обнадежило было австрийского канцлера касательно греческого восстания. На первых радостях по случаю исчезновения прежнего хотя и нерешительного и уступчивого, но видевшего его насквозь противника, Меттерних склонен был приветствовать свою звезду, начавшую как будто несколько меркнуть. Но самый опасный враг оставался; Каннинг по-прежнему всей своей политикой ставил пред Россией дилемму: либо вмешаться в греко-турецкую войну вместе с Англией, либо пассивно смотреть, как английский десант захватит Морею и острова. Император Николай в первые же дни своего правления известил иностранные дворы, что он считает действия греков незаконными, а их самих — бунтовщиками и людьми предосудительными (упоминалось о варварстве инсургентов). И все-таки железная воля Каннинга не снимала с очереди упомянутую трудную дилемму. Нужно было решиться. Сначала казалось, что Меттерниху в этом деле везет: у Каннинга потребовали выдачи пребывавшего в Англии замешанного в декабрьском бунте Николая Ивановича Тургенева, а Каннинг отказал наотрез в исполнении требования. Но это не повлияло на русское правительство. В начале апреля 1826 г. император Николай I подписал с Англией тайное соглашение о вмешательстве обеих держав в восточные дела в пользу греческих инсургентов...

6

Мы подошли к тому моменту жизни Каннинга, который является кульминацией и концом его политической жизни, к 1827 г. Чтобы события этого года были вполне понятны, необходимо бросить взгляд на общее положение кабинета, в котором Каннинг занимал пост министра иностранных дел. В этом кабинете существовали две тенденции, два оттенка: более консервативные элементы группировались вокруг герцога Веллингтона, более либеральные — вокруг Каннинга, глава же кабинета — лорд Ливерпуль — был постоянным посредником и примирителем между своими товарищами. Боевым вопросом, разделявшим обе фракции кабинета, являлся вопрос об эмансипации католиков; Каннинг и его единомышленники стояли за эмансипацию, остальные члены кабинета — против. Король Георг IV разделял воззрения последних, хотя в общем с Каннингом он уже при-

мирился: блестящие результаты внешней политики министра иностранных дел сильно расположили короля к нему. Что касается парламента, то хотя по вопросу об эмансипации Каннинг большинства в палате лордов не имел, но палата общин в 1825—1826 гг. склонялась в пользу эмансипации. Повторим еще, что последовательно либеральная политика Каннинга во внешних делах также не совсем нравилась Веллингтону и другим старым ториям. Когда министр иностранных дел слишком открыто заявлял, что все народы должны поставить себе идеалом «разумную свободу» и так далее, старые тори хмурились и находили подобные заявления несколько излишними. Но все шероховатости в отношениях смягчал лорд Ливерпуль, человек удивительно тактичного ума и светских привычек, изучивший и Каннинга, и Веллингтона в совершенстве, знавший их наизусть, так поставивший себя между двумя фракциями своего кабинета, что обе они умеряли взаимное раздражение из уважения и любви к премьеру. Такт и ум лорда Ливерпуля ясно сказались по следующему поводу. В 1826 г., как было уже сказано, состоялось тайное соглашение между Каннингом и русским правительством по вопросу о вмешательстве в пользу греков; но так как в дипломатии, больше чем где-либо, нет ничего тайного, что не стало бы в конце концов явным, то князь Меттерних вскоре получил весьма обстоятельные сведения о петербургской конвенции. Тут с австрийским канцлером, невзирая на всю его благовоспитанность, приключилось нечто вроде длящегося припадка бешенства. Ненавистный Каннинг, уже так страшно повредивший заветам Священного союза в деле американских колоний, и на европейском Востоке поворачивает события куда ему желательно! Меттерних был узок и шаблонен, и его гнев поэтому вылился сначала в привычные формы доносительных инсинуаций: он громко стал обвинять Каннинга в заведомом революционизме, а императора Николая — чуть ли не в сообщничестве и пособничестве; он говорил, что русский император попал в сети английского якобинца, он не хотел ни за что успокоиться. Но что же можно было тут поделать при помощи этих обвинений и указаний? Целесообразность и успешность доноса прежде всего зависят от наличности власти, которой доносчик нашептывает свои откровения; а где же была власть, которая могла бы покарать Каннинга и Николая? Меттерниховская пресса писала, положим, что земные порядки, на страже коих бодрствует австрийский канцлер, охраняются сверх сего и самими небесами, но, несмотря на все свое благочестие, Меттерних в конце концов прибегнул в этих трудных обстоятельствах не к помощи провидения, а к интриге против Каннинга. Он задумал смелый план: нанести удар Каннингу с той единственной стороны, с какой тот был, по-видимому, открыт для нападений. Что старые каби-

нетские и парламентские тори недовольны министром иностранных дел, это он знал давно и, подобно всем ограниченным эгоистам, преувеличивал размеры желательного факта; и вот австрийское лондонское посольство начало реять вокруг Георга IV, лорда Ливерпуля, герцога Веллингтона и зондировать почву. Но Меттерних и исполнители его велений слишком торопились, чересчур обнаженно выставляли свои нехитрые и ближайшие цели, а главное, очень уж усердно принялись за дело. «Гения терпеливости» им не хватало, и они нарушали слишком часто глубокий, несмотря на видимую простоту, завет Талейрана: «Pas trop de zèle, messieurs, pas trop de zèle!» Бисмарк, Кавур, Горчаков умели держать себя в руках, не спешить и казаться в глазах дипломатического мира небрежными и незаинтересованными, даже тогда, когда самые грандиозные их предприятия висели на волоске и когда они, конечно, с сердцебиением распечатывали каждую телеграмму, а Меттерних очень уж избалован был своими безмятежными успехами, и теперь, когда началась тяжелая и безуспешная борьба с Каннингом, он и его помощники повели себя слишком нервно, порывисто и раздраженно. Предприятие их провалилось, впрочем, еще и потому, что слишком сильна была позиция Каннинга: тори (даже не любившие его) гордились своим министром, а виги открыто выразили ему сочувствие, да если бы и готовился лорд Ливерпуль удалить Каннинга из кабинета, то иностранное вмешательство могло только заставить его удержаться от этого шага. Лорд Ливерпуль сделал тщетными все подходы австрийской дипломатии, начавшиеся незадолго до его смерти: в марте 1827 г. английского премьера не стало.

Кончина лорда Ливерпуля поставила на первый план вопрос о новом премьере. Естественно, выдвинулись две кандидатуры: герцога Веллингтона и Джорджа Каннинга, и Каннинг поставил на карту свое положение, чтобы только не допустить своего антагониста к премьерству. Он ясно видел, что при Веллингтоне ему уже не пользоваться той свободой действий, какой он пользовался при лорде Ливерпуле, а ему при условиях, в которые он поставил восточный вопрос, потребовалась именно вся возможная полнота власти. Георг IV обратился сначала к Веллингтону, но Каннинг положительно заявил, что служить в таком случае он не будет. Уход Каннинга беспокоил короля; эта перспектива сулила ему хлопоты и путаницу в дипломатических делах, да и оппозиция в парламенте устами Брума заявляла откровенно, что если из торийского кабинета уйдет Каннинг, то она сочтет долгом своим уже по-новому бороться с министерством. Но отдавать власть первого министра в руки Каннинга король тоже не хотел. С 28 марта (1827 г.) до 10 апреля Георг IV предпринял несколько попыток уломать Каннинга, упросить его остаться на своем

посту даже при герцоге Веллингтоне. Но из этих попыток ничего не вышло. Несколько раз Каннинг и Веллингтон за эти дни должны были по воле короля встретиться, но Каннинг, сохраняя полную любезность и словоохотливость, не дал вытянуть из себя ни одного слова, ни одного намека, позволяющего надеяться, что он уступит. Тогда король послал Пиля к Каннингу. Пиль после нескольких боковых подходов, оставшихся безрезультатными, вдруг заявил уже напрямик, что только назначение Веллингтона уладит все затруднения и что такова воля его величества. На это Каннинг со столь же прямым и непринужденным видом ответил, что он преклоняется перед волей монарха и уйдет, как только назначение Веллингтона состоится. Эта беседа происходила 9 апреля, а 10-го Георг IV назначил первым министром Каннинга.

Тотчас же Веллингтон, лорд Мельвиль и другие крайние тори вышли в отставку; и сами они, и Меттерних думали сначала, что этот демонстративный уход провалит новое министерство. Но Каннинг не растерялся, а тотчас же отдал несколько министерских постов вигам, так что его кабинет оказался состоящим из нескольких умеренных ториев и нескольких вигов. Этот состав обеспечил новому правительству прочное положение в парламенте, а оппозиция крайних ториев опасности никакой не представляла.

Свободомыслящие круги Европы ликовали; в их бедной, тусклой тогдашней жизни большой отрадой было видеть усиление и торжество человека, следы рук которого ярко горели на физиономии их общего угнетателя. Престиж Англии, выгодные торговые договоры с Южной Америкой, денежные займы греческого правительства у английских банкиров — все это, конечно, играло свою очень большую роль в действиях Каннинга, но английский министр являлся в глазах сочувствующих ему современников чуть не посланником богини свободы. Тогда еще любили мифологические метафоры и умели увлекаться.

Нужно сказать, что враги Каннинга весьма ожесточенно нападали на него по каждому поводу в парламенте и вне парламента; чем больше сближался он с вигами, тем больше крайние консервативные круги ториев отшатывались от него и тем язвительнее критиковали все его действия. Но первый министр, как будто что-то предчувствуя, торопился изо всех сил закончить свое историческое дело. При огромном его самолюбии нападки на его личность и политику мучили и раздражали давно уже больного премьера; напряженные труды и треволнения последних лет потрясли его организм; в 1826—1827 гг. бывали случаи, когда больной, желтый, изможденный Каннинг являлся в парламент прямо с постели, невзирая на запрещение врачей. Все это еще больше отражалось на его здоровье. Интриги Меттерни-

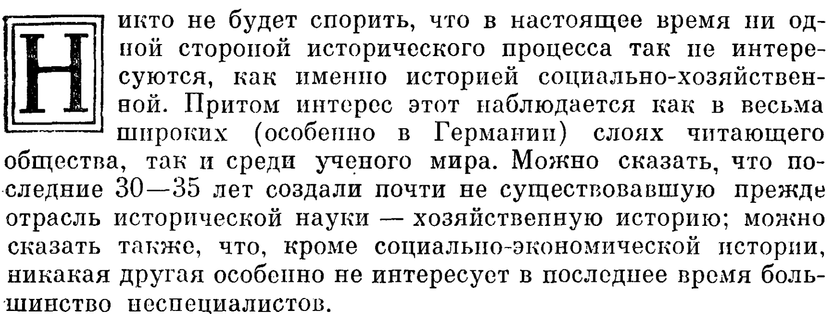
ха, затеянные было в Лондоне, прекратились почти совсем к лету 1827 г. и с усиленным жаром возобновились на материке: нужно было создать из всех держав Европы внушительную оппозицию против англо-русского вмешательства в восточный вопрос. Дело сначала пошло на лад (еще в 1826 г. это определилось): Пруссия всецело примкнула к Меттерниху. Но на Франции все оборвалось: Каннинг искусно воспользовался тем, что греческое дело было необыкновенно популярно во Франции, что даже консервативные круги по религиозным побуждениям сострадали грекам, и заставил французское правительство примкнуть к Англии и России. Совершилось то, чего никак не ожидали даже приготовленные к самому худшему друзья Меттерниха: 6 июля (1827 г.) Франция, Россия и Англия подписали общую конвенцию о вмешательстве в греко-турецкие дела. Священный союз был разбит, и принципы его подкопаны в самом основании. Передовые круги всей Европы рукоплескали новой блестящей победе Каннинга, в звезду которого они теперь твердо верили; слова министра о «разумной свободе» ввиду поражающих практических результатов его деятельности получали на континенте самое распространительное толкование. Меттерних с аффектацией ужаса и с искренностью ненависти спрашивал устами своих наперсников и рептилий, чем же это потрясение основ окончится? Когда же правое дело отмстит за себя? «Правое дело» воспрянуло скорее, нежели он мог ожидать.

6 июля был подписан трактат Англии, России и Франции о вмешательстве в турецкие дела, а уже через неделю Каннинг заболел. С каждым днем появлялись самые злокачественные симптомы общей слабости организма. К концу июля он переехал на дачу, в имение герцога Девонширского; обстановка для лечения была превосходная, и явилась надежда на спасение. Но вскоре больной слег в постель окончательно и уже не покидал ее. Родные, друзья, знакомые стекались к одру болезни; вся Англия с тревогой ловила всякий слух о перипетиях болезни, Ирландия со страхом ожидала, выживет или не выживет защитник эмансипации католиков, Южная Америка, Пиренейский полуостров, Греция с самым жгучим нетерпением ожидали вестей с дачи герцога Девонширского. О болезни Каннинга писалось во всех дипломатических канцеляриях, за ней следили все дворы, о ней, вероятно, также шептались и передавались известия при свиданиях политических арестантов с их родственниками и в Неаполе, и в Вене, и в Берлине, и в Мадриде, о ней же осведомлялся с полным участием князь Меттерних... С первых чисел августа течение болезни обострилось, и вскоре пациент впал в бессознательное состояние; 8 августа Каннинга не стало.

«У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает»; эти слова еще не были тогда написаны, но их смысл слишком живо (и тотчас же) сознали и почувствовали и счастливые, и несчастные. Чересчур быстро промелькнули и окончились эти 5 лет, которые для одних навсегда остались отмечены светлым воспоминанием на фоне придавленности и приниженности, для других — обидным кошмаром среди беспечальной жизни и беспрерывного торжества; слишком внезапно был вырван этот человек из центра европейской политической жизни и спрятан в угрюмую гробницу Вестминстерского аббатства. Его современники остались ему благодарны за то, что он сделал, и с тревогой думали о том, чего ему не суждено было докончить.

1902 г.

Чем объясняется современный интерес к экономической истории



1

Никто не будет спорить, что в настоящее время ни одной стороной исторического процесса так не интересуются, как именно историей социально-хозяйственной. Притом интерес этот наблюдается как в весьма широких (особенно в Германии) слоях читающего общества, так и среди ученого мира. Можно сказать, что последние 30—35 лет создали почти не существовавшую прежде отрасль исторической науки — хозяйственную историю; можно сказать также, что, кроме социально-экономической истории, никакая другая особенно не интересует в последнее время большинство неспециалистов.

Постараемся вкратце отметить главнейшие причины этого явления современной умственной жизни. Как увидим, запросы текущей действительности и запросы научного знания соединились на этот раз и действовали в одну сторону, чтобы дать один яркий и многозначительный результат.

Новый общественный слой, выступивший на Западе в середине XIX в. на арену исторической жизни, принес с собой то новое, что почти отсутствовало в программах прежних партий, боровшихся в Западной Европе за власть: он выдвинул на первый план вопрос об экономической стороне общественной жизни. Громадная масса общественных проблем, в первые десятилетия XIX в., занимавших лишь немногие умы, впоследствии получила первостепенную важность в глазах людей самых разнообразных партий. Возникла целая школа, которая сделала решительную попытку дать научно-историческое и философское обоснование как критике существующего строя, так и выяснению будущего. История для всего построения новой системы имела огромное, поистине колоссальное значение. Для нее история сделалась любимым арсеналом и самым убедительным собеседником.

XVIII век, век энциклопедистов, не отводил исторической науке особенно почетного места: история казалась ему преимущественно собранием несправедливостей, нелепостей, повествованием о фанатизме и феодальном гнете. В первой половине XIX в. романтики в литературе, историческая школа в науке права, ряд замечательных историков, начавшийся Раумером, продолжавшийся Нибуром и Гизо, сильно способствовали тому, что историческая наука стала занимать в общественном сознании подобающее ей место. Но только в середине XIX в. история приобрела себе усердных адептов из среды политических и экономических новаторов. Уже не только чистый разум, не только чувство, но и знание, и прежде всего историческое знание, стало считаться необходимым для построения нового общественного идеала и даже для полного проникновения новыми экономическими доктринами. И принадлежность последователей новой школы к числу теоретиков нового общественного класса обусловила то, что они заинтересовались именно экономической, а не какой-либо иной стороной исторического процесса. Начало капиталистического хозяйства заняло их внимание и дало им материал для оригинальных обобщений и поучительнейших выводов. В качестве противников западной буржуазии они поставили одной из целей своей научной деятельности определить, как в течение веков креп и рос на Западе современный строй, как создавалась благоприятная для него экономическая почва. Этим философская точка зрения была дана: исторический материализм, объясняющий исторический процесс развитием производительных сил, предлагающий в коренных кризисах социальной жизни видеть борьбу классовых интересов, стал все более и более овладевать умами сторонников новой школы. С конца 70-х годов, а особенно в 80—90-х годах Энгельс, Каутский, Блос и другие исследователи дали ряд трудов, касающихся самых разнообразных исторических эпох и написанных с только что указанной историко-материалистической точки зрения. Все более и более ширившаяся в Западной Европе масса сторонников марксистских взглядов с жадностью читала (и читает) эти труды, действительно заключающие в себе много интересного. Как философская система исторический материализм далеко не всегда может быть (при состоянии нынешних исторических знаний) проведен со всей последовательностью и доказательностью, но как метод он дал и продолжает давать весьма плодотворные результаты: читающее общество привыкло интересоваться той бесконечно важной стороной исторической жизни, которая еще очень недавно не только в учебниках, но и в обширных монографиях часто излагалась бегло, поверхностно, случайно, наряду с описанием мод, костюмов, курьезных обычаев эпохи и так далее; ученые же, даже не разделяющие материалистического воз-

зрения, приучились отчасти под влиянием этого течения * с особым вниманием относиться к пренебрегавшейся ими до тех пор хозяйственной истории. Можно сказать, что по мере роста успехов общественных идей новой школы росла также популярность их историко-философского мировоззрения, возрастал и интерес к произведениям экономической историографии. Мало того, кризис, переживаемый экономическим материализмом с конца 90-х годов, отразившийся и на признаваемой прежде всей школой историко-материалистической точке зрения, не уменьшил сколько-нибудь заметно интереса к экономической истории: по-прежнему в ней, а не в истории идейной культуры и не в истории чисто политической, ищут некоторой помощи те, которые хотят разобраться в трудном и крайне запутанном настоящем и хоть немного приподнять завесу будущего.

Таким образом, в широких слоях читающего общества интерес к экономической истории стоит в прямой связи с новыми общественными стремлениями, выдвинутыми современной жизнью. Доктрины, в той или другой степени касающиеся устроения экономического будущего трудящихся классов, в частности и всего общества вообще, вызвали и поддерживают неослабный интерес к экономическому прошлому. Не в первый раз тут наблюдается тесная связь между современностью и историографическими интересами: в эпоху Возрождения, в век крушения теократических взглядов, началось расследование всех исторических «папских обманов» — лжеисидоровых декреталий, «дара Константина» и т. д. Гуманист и эпикуреец Лоренцо Валла (1407—1457) и ему подобные люди оказались деятельными историками-изобличителями. Настал XVI век, эпоха реформации, и началась энергичная разработка истории первых веков христианства, явилась целая литература об апостоле Павле, заслоненном в течение средних веков личностью апостола Петра, явилась затем (уже не столько в лютеранских, сколько в кальвинистских и особенно пуританских странах) так называемая библиолатрия в узком смысле слова, т. е. преимущественное преклонение именно перед ветхим заветом и библейской историей. Наступил XVIII век, и, несмотря на почти полное тогдашнее пренебрежение к исторической науке вообще, передовая читающая публика в несколько месяцев расхватала первые издания Гиббона, историка «Падения Римской империи», отнесшегося весьма отрицательно ко многому такому, к чему католицизм относится с полным благоговением: эпоха энциклопедистов благоприятствовала нападениям на римскую церковь, и не только в ее настоящем, но и в прошлом. Наступила

---

* О главной причине интереса ученого мира к экономической истории см. ниже.

революция, и жирондисты (а за ними и их политические противники) до утомительности шаблонно принялись в своих речах, даже в своих жестах копировать античных республиканцев. Настало время политической реакции, умственного утомления,—романтизм воскресил средние века, и, как было уже сказано, оживился интерес к истории вообще, почти отсутствовавший в XVIII столетии: он проявился и в литературе, и в науке. Но если и в прежние времена можно проследить всегдашнюю связь между злобой дня и преимущественным интересом к той или иной стороне истории, то нынешнее явление представляет собой нечто новое: нынешнее внимание к экономической истории распространено необыкновенно широко в таких кругах общества, которых раньше совсем не касались научные интересы. Это явление стоит, конечно, в прямой связи с общей демократизацией и знаний, и умственной культуры. Гиббона читал свободомыслящий маркиз, читал его буржуа, воспитавшийся в духе просветительной философии; Огюстена Тьерри, писавшего о буржуазии, ее борьбе и победе, читали с упоением люди, мечтавшие при Июльской монархии об упрочении и историческом оправдании этой победы; «Историей Гогенштауфенов» Раумера и тому подобными произведениями зачитывался бурш, грезивший объединением, былым и будущим величием Германии, а книги Каутского, Блоса, Энгельса расходятся в Германии уже среди многомиллионной массы.

В этом отношении экономической истории повезло больше, нежели везло истории религиозной, культурной, политической.

2

Почти одновременно с успехами экономической истории в широких кругах читающего общества началось соответственное движение среди людей науки. Отчасти это движение можно связать с запросами читателей, но отчасти несомненно оно имело свое самостоятельное происхождение. Дело в том, что с 50—60-х годов, главным образом под непосредственным влиянием Огюста Конта, в ученом мире, занимающемся социальными науками, усилилось стремление сделать историю не только собранием фактических материалов, изложенных в повествовательной форме, но и приблизить ее к состоянию настоящей науки, вывести ряд законов, правильность которых была бы незыблемо оправдана и установлена всеми известными нам историческими фактами. И вот тут-то оказалось, что почти отсутствует в науке разработка хозяйственного прошлого людей, а без знания этого прошлого, без ясного представления, как в ту или иную эпоху люди удовлетворяли насущнейшие свои нужды, историк всегда был, есть и будет совершенно бессилен. Когда стало ясно, что

одностороннее увлечение сначала дипломатико-военной, потом общеполитической и культурной историей оказалось для науки чрезвычайно вредным, сам собой представился единственный выход: обратиться к деятельной разработке тех почти вовсе не использованных материалов, которые могут дать понятие об экономической истории людских обществ. Вот почему явившийся в 60-х годах огромный труд Роджерса по истории земледелия и цен в Англии вызвал сразу всеобщее к себе внимание и нашел подражателей. Во Франции, в Германии, позже других в Италии, Испании и России началось извлечение на свет божий цифровых документов, протоколов о старинных арендных сделках, данных о регламентации торговли и промышленности, о ценах, о землевладении и всех его своеобразнейших формах и т. д. Маурер исследовал историю сельской общины как ячейки всего социального строя в глубоком прошлом, Инама-Штернегг, Кнапп и его ученики — в Германии, Флак, Фюстель де Куланж, д'Авекель — во Франции, Генри Мэн, Роджерс, Сибом — в Англии и так далее, и так далее вступили в трудную и почти девственную область разработки социальной и хозяйственной истории человечества. Это движение все ширится и растет, приобретает себе все более и более сторонников, так что можно без преувеличения сказать, что социально-экономическая история разрабатывается в настоящее время за границей и начинает разрабатываться у нас несравненно усерднее, нежели любая другая сторона исторической жизни. Даже люди, совсем не разделяющие или разделяющие с большими оговорками историко-материалистическую точку зрения, соглашаются, что без столь недавно заброшенной хозяйственной истории шагу нельзя сделать вперед в понимании исторического процесса. Они считают знание хозяйственной истории если не единственным, то во всяком случае совершенно незаменимым и необходимым условием для каких то бы ни было историко-философских выводов и обобщений. Очень любопытное в сущности в истории мысли явление: одна из старейших сокровищниц человеческого знания — история — до последних десятилетий была лишена или почти лишена гнетуще необходимого вклада; она не давала понятия о том, как жили, чем питались, в чем друг от друга зависели сотни и сотни миллионов, которые в течение (исторических) тысячелетий, собственно, и «делали» историю. Теперь этот бьющий в глаза пробел начал заполняться; остается сделать, конечно, во много десятков раз больше, нежели уже сделано в этой области, но во всяком случае фундамент начал закладываться...

Таковы вкратце главнейшие причины как общественного, так и научного интереса к экономической стороне истории. И читающее общество неспециалистов, и ученые специалисты пришли к социально-экономической истории с запросами и за

разъяснениями. Может быть, интересы к ней тех и других не вполне одинаковы по психологическому своему происхождению, но нельзя не отметить, что ученые, занятые хозяйственной историей, работают в весьма благоприятной атмосфере; от них ждут света, который озарил бы не только темные, глухие дебри прошлого, но хоть отчасти бросил бы отблеск и на еще более темное будущее. В этой области люди знания и люди практической деятельности особенно солидарны.

1903 г.

Ирландия от восстания 1798 года до аграрной реформы нынешнего министерства

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Истекший 1903 год навсегда останется памятным в истории Ирландии. Кабинет Бальфура приступил к такого рода аграрной реформе, которая, по мнению ирландских деятелей, способна серьезно удовлетворить часть требований, предъявлявшихся ирландским народом английскому правительству за все долгое и невольное историческое сожительство двух наций. Надолго ли успокоит Ирландию эта уступка, покажет будущее, но некоторые материалы к тем или иным предположениям в этой области может дать и непосредственное прошлое обеих стран. Наше общество всегда с известным интересом относилось к перипетиям англо-ирландской борьбы, и в особенно острые ее моменты это далеко не безучастное отношение отражалось на столбцах газет 60, 70, 80-х годов, пестревших телеграммами, корреспонденциями, перепечатками известий об Ирландии и из Ирландии. Отчасти подобный факт объясняется и той тесной враждебной связью, которая искони существует между великобританской и русской дипломатиями. Внутренние затруднения каждой из обеих империй представляют всегда жизненно серьезный интерес для противницы, которая сообразно с размерами и важностью этих затруднений может обдумать и предпринять со своей стороны те или иные политические шаги. Но, несомненно, нужно констатировать и иной источник интереса к упорной борьбе, целые столетия с интервалами свирепствующей между этими двумя соседними островами. Дело в том, что редкая страница человеческой истории заставляет так часто вспоминать слова нашего великого писателя: «Нет ничего неправдоподобнее действительности». Маленькое голодающее, замученное племя, нищее, отупевшее от нужды и труда, целые столетия боролось и борется с одной из величайших и могущественнейших держав в мире, у которой больше земли и подданных, чем было у Римской империи в эпоху ее высшего процветания, которая, кроме того, сильна и огромными богатствами,

и наукой, и всеми благами тысячелетней пышнейшей культуры. Боролось не на жизнь, а на смерть, выставляло новых и новых замечательных представителей своей идеи, подвергалось периодически страшнейшим карам, теряло последние крохи и лучших своих детей и все-таки после тяжелого забытья, которое враги, а иногда и друзья принимали за смерть, вдруг поднималось снова, доказывало воочию, что оно не убито, а только избито, и снова писало кровью и освещало пожарами свой вечный неправдоподобно дерзкий исторический вопрос: «Чья возьмет?» Ирландская история иногда кажется как будто не частью действительности, а отрывком из романтического произведения, написанного так, как теперь уже, в наш век реализма, не пишут: с чрезмерным нагромождением трупов, убийств, маловероятных событий, фантастически смелых идей и еще более смелых действий, с сухопутными и морскими приключениями, с удивительной свалкой героев, злодеев, предателей и т. д. и т. д. Но когда знакомишься с обстоятельными и несомненными идущими от разных партий сведениями, когда убеждаешься, что и партийные и беспартийные, и официальные и неофициальные рассказы расходятся чаще всего только в освещении событий, не оспаривая их истинности, тогда, и только тогда, начинаешь понимать всю огромную важность изучения прошлого этой страны для историка, для социолога и для всякого человека, интересующегося анализом движущих пружин исторического процесса. И эта романтическая история, эта кажущаяся неестественной, но на самом деле происходившая многовековая трагедия оказалась вдобавок самой реальной «политикой результатов», не хуже деятельности Людовика XI, Ивана Калиты или Бисмарка, стоящих на другом полюсе от всякой исторической романтики, энтузиазма и пыла! Из трех своих главных требований одного (полной религиозно-правовой эмансипации) ирландцы добились в течение XIX столетия; при серьезном удовлетворении второго (аграрной реформы) мы, современники уиндгемовского билля, теперь присутствуем; наконец, третье требование (полная автономия) менее нежели когда-либо снимается с ирландской программы: оно остается в наследие будущему. Это соединение столь слабых материальных сил с грандиозными замыслами, с серьезнейшими политическими действиями и с достижением больших реальных результатов — едва ли не единственное в своем роде во всемирной истории, по крайней мере в истории национальной борьбы. Для того философа, который ищет в человеке и человечестве «великих возможностей», ирландская история есть чтение поучительное.

В предлагаемых очерках мы постараемся на основании ограниченного (хронологически) материала, событий последних ста с небольшим лет, отметить те черты, которые являются ха-

рактерными и для всей предыдущей ирландской истории и которыми отчасти объясняются и интенсивность борьбы, и серьезность достигнутых политических завоеваний. Исходной точкой новейшей ирландской истории является не французская революция, как для большинства западноевропейских стран, но восстание 1798 г. с его прелюдиями и последствиями, т. е. событие, на которое французская революция повлияла лишь косвенно.

С него мы и начнем.

Глава

ВОССТАНИЕ 1798 ГОДА, ЕГО ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ[1]

1

С начала 90-х годов XVIII столетия для всякого осведомленного и беспристрастного наблюдателя было ясно, что в Ирландии надвигается кризис и что этот кризис может принять серьезные размеры.

Но так как в XVIII столетии ряд английских поколений не видел ни одного большого ирландского восстания, то этим беспристрастным наблюдателям верили в Англии весьма неохотно и долго полагали, что они страдают излишним пессимизмом. Что в Ирландии давно неспокойно,— это знали и слышали все, кто вообще хоть немного интересовался этой страной, но англичане в течение ряда столетий уже к этому привыкли и не совсем ясно представляли себе, что может быть иначе. Речь всегда (а особенно с середины XVII столетия) шла только о размерах брожения, и вот в эти-то предсказываемые (например, Фоксом и Уэстморлендом) серьезные размеры будущего движения долго не верили. Дело в том, что некомпетентным людям (к каковым принадлежали, кроме Вильяма Питта, и тогдашние английские министры, имевшие весьма смутное понятие об Ирландии) всякое большое восстание в этой стране казалось после 1782 г. маловероятной неблагодарностью: у ирландцев свой парламент в Дублине, из-за чего же возможна мало-мальски сильная революция, если они — не окончательные изменники его величеству королю Георгу III? Так ставился вопрос в английских правящих кругах. Лучшая критика тогдашнего ирландского парламентаризма, какую только мы можем дать читателям, заключается в самой общей характеристике тогдашнего положения дел в Ирландии, с одной стороны, и простом изложении имевших там силу парламентских порядков, с другой стороны.

Из $4^1/_2$ миллионов (с небольшим) ирландского населения в конце XVIII в. больше $3^1/_4$ миллионов было ирландцев-католиков, около 500 тысяч ирландцев-пресвитериан и около $^3/_4$ миллиона англичан (англиканской религии). Положение массы основного ирландского населения в экономическом отношении было ужасно. Больше $^7/_8$ (по цифре О'Коннора даже $^9/_{10}$) всей земли принадлежало сравнительно небольшой горсти англичан, а остальная ничтожная часть распределялась между несколькими богатыми ирландцами — пресвитерианами и католиками. Английские землевладельцы были не только пришлым элементом, но даже в значительной части очень недавно пришедшим в Ирландию: после низвержения Якова II Стюарта в 1688 г., после усмирения яковитского восстания в Ирландии в 1689 г., имевшего целью поддержать короля-католика, новое английское правительство (Вильгельма III и Марии) конфисковало массу земель (около миллиона акров) и роздало их членам английской знати, которые до той поры не имели к Ирландии никакого отношения. Это обстоятельство окончательно сделало англичан, и до того богатейших землевладельцев Ирландии, господами почти всей почвы, пригодной для земледелия или скотоводства; оно же в необычайной степени усилило так называемый абсентеизм (отсутствие в стране землевладельцев) — зло, страшно отяготившее и без того нелегкое положение большинства народа. Дело в том, что лендлорды весьма часто не приезжали в Ирландию иначе, как на месяц-другой для охоты и дачного времяпрепровождения: в этой совсем чужой и не интересной для очень многих из них стране им жить было и скучно, и незачем. Колоссальные земли свои они сдавали арендаторам на разные сроки и на неодинаковых условиях. Например, те, что получили в 1689 г. конфискованные у католиков земли, весьма скоро сбыли их за хорошую цену в вечную аренду; другие отдавали в пожизненную аренду или на 41 год, или на иные сроки. Но и этот первый арендатор (т. е. снимавший землю у лендлорда) тоже далеко не всегда заключал эту сделку, чтобы жить лично в арендованном поместье, вести хозяйство, разводить скот; аренда являлась для него весьма часто простой коммерческой аферой, вроде того, как в городах существуют профессиональная скупка и перепродажа домов: он в свою очередь сдавал арендованную землю, разбив ее на крупные участки. Эти вторые арендаторы, или посредники, иногда оставляли себе часть арендованной земли, а остальную часть, разделив на мелкие участки, сдавали уже нищему крестьянскому населению; иногда же сдавали все, не оставляя себе ничего для хозяйства, если находили это более выгодным. Итак, фермер, обрабатывавший землю, должен был выработать прибыль и для второго, и для первого арендаторов, и для лендлорда. Арендная плата была

неодинакова для различных мест и колебалась сообразно с большей или меньшей доходностью земли. В общем она не была выше арендной платы, бывшей в употреблении в Англии, но земля являлась несравненно менее доходной: никто не принимал никаких мер к улучшению почвы, к введению более высокой сельскохозяйственной культуры. Посредники, которые знали, что все равно недостатка в фермерах у них не будет, ибо нужно же трем миллионам безземельных людей чем-нибудь питаться, и лендлорды, которым эти посредники аккуратно платили деньги, совершенно не были заинтересованы в поддержании рационального сельского хозяйства, а фермеры, бившиеся как рыба о лед, чтобы не умереть с голоду на своем участке, эксплуатировали землю примитивно, хищнически, зная к тому же, что договорное право крайне запутано, что хотя они и числятся в качестве долгосрочных арендаторов, но каждый день может оказаться, что второй посредник не вправе был вовсе с ними заключать такой договор или что в договоре между вторым и первым посредником что-то неладно, или что лендлорд вознамерился и имеет право нарушить договор с первым посредником, а это разрушает все, так сказать, нисходящие договоры. Конечно, могли быть и бывали в таких случаях судбища, но ирландскому фермеру не по карману было вынести издержки английского судопроизводства; к тому же договорное право, необыкновенно осложненное существованием этих первичных, вторичных и третичных арендаторов, имело прямую тенденцию к охране прав и преимуществ верховной собственности на землю. Вот почему далеко не все фермеры даже по заключении долгосрочных арендных сделок могли чувствовать себя обеспеченными, и с извинительной алчностью голодных людей, сознающих, что их могут сейчас отогнать от пищи, они хищнически торопились выбрать из истощенной земли все, что только возможно. Да и средств, и знаний, необходимых для сельскохозяйственных усовершенствований, у них не было. Еще пресвитериане, жившие большей частью на севере, сидели несколько крепче на своих участках благодаря ряду более благоприятных местных исторических условий, приведших к более упрощенной арендной системе и к менее развитому абсентеизму, но и им в большинстве случаев приходилось тяжело. И у них доходность земли была самая низкая, а земля истощалась. Да и чем вознаградилась бы затрата денег на улучшение сельского хозяйства, если бы лендлорды или посредники и не прочь были предпринять нечто подобное? Куда сбывать продукты? Во всей Ирландии было два города со средним (по тогдашнему масштабу) населением и десяток с лишним маленьких глухих городков, население которых не могло ни в каком случае считаться достаточным потребителем для земельной площади в сотни квадратных кило-

метров. Торговля и промышленность были слабы и хотя периодами прогрессировали (например, в последнее двадцатилетие XVIII в.), но очень туго, и реагировать на доходность земли в смысле повышения арендной платы еще не могли. Если за свое будущее не мог ручаться даже фермер, аккуратно платящий аренду, то в случае неисправности он уже совсем попадал во власть лендлорда или посредника и мог быть тотчас согнан со своего участка. А бывали годы, когда такой неисправности столь же трудно было избежать, как, например, не повалиться от сильного землетрясения. В течение всего XVIII и первых десятилетий XIX в. в Ирландии часто свирепствовали эпизоотии, в один день иногда лишавшие фермера возможности работать на поле; земля, истощенная вконец, годами давала скуднейший урожай даже и при удачно сложившихся климатических условиях, а потом являлись град, дождь некстати, засуха и т. д.; наконец, государственные повинности взыскивались с той же беспощадностью, как и арендная плата, и вырывали изо рта крестьянской семьи последний кусок. Особенно ненавистная «десятина», подать, взыскивавшаяся вопреки всякой логике и справедливости с католического населения в пользу государственной англиканской церкви и ее священнослужителей, выводила из терпения самых забитых и далеких от политики людей. Об этом налоге и методах взыскания его еще будет у нас речь впереди, ибо они сыграли в ирландской истории весьма видную роль. Вопиющая нелепость и несправедливость налога с голодного католического населения для содержания живущих в неге и холе нескольких сот англиканских пасторов и их начальства, нужных только ничтожной части обитателей острова, бросались в глаза даже и очень пристрастным англичанам. Тем не менее десятина процветала и деятельно поддерживалась английскими властями; мы увидим, к чему привело и чем окончилось ее существование.

Из католического ирландского населения лишь небольшая горсточка образовывала ничтожный количественно средний класс; к нему принадлежали немногие более или менее обеспеченные фермеры, владельцы ремесленных мастерских в городах, мануфактурных заведений, хозяева рыбных ловель, врачи и аптекари, частные ходатаи по делам; государственная служба в местных учреждениях для католиков была закрыта от высших до низших ее ступеней, что тяжело отзывалось на материальном положении этого немногочисленного и скудного среднего сословия. Католическое духовенство, близкое, за исключением епископов, к крестьянам по образу жизни, жило немногим лучше, нежели его паства. Полмиллиона ирландских пресвитериан страдало от нужды, хотя обыкновенно и не в таких размерах, как католики, от десятины, которая и с них взыскивалась в пользу

англиканского духовенства, столь же им чужого, как и католикам, от грубости и произвола властей. Богатый же круг англичан составлял замкнутую, гордую своим привилегированным положением касту, которая не смешивалась с аборигенами не только потому, что те ее ненавидели, но и потому, что она сама их презирала и вместе с тем боялась. Презирала за нищету, за унизительное их положение, боялась из-за протестующего духа, который, казалось, совсем не к лицу был этим жалким нищим и, однако, спокон веков давал себя чувствовать самым недвусмысленным образом. В 80-х годах XVIII в., впрочем, это чувство боязни заметно ослабело у англичан: лендлордам, пасторам, чиновникам и офицерам, представлявшим в Ирландии если не весь английский элемент, то самую заметную его категорию, начало казаться, будто ирландцы удовлетворены дублинским парламентом по крайней мере настолько, чтобы не мечтать о восстании с оружием в руках. Это был один из тех утешительных самообманов, которым так легко поддаться при сильном (и вполне естественном) желании к материальному своему комфорту прибавить еще и душевный. Господствующая раса в большинстве и решила, что она приобрела наконец право на покой и чувство безопасности, что она заплатила за эти блага хорошую цену. Что же это была за цена?

2

В начале 1780-х годов Англия попала в чрезвычайно тяжелое положение вследствие неудач и поражений на американском материке. Что политика относительно американских колоний вообще и война с ними в частности были фатальной ошибкой, это в указанную эпоху мог не сознавать разве только один король, упрямство которого среди качеств его ума и сердца успешно конкурировало с безнадежной ограниченностью. Но поправлять сделанные оплошности было уже поздно; Франция примкнула к американцам и угрожала высадкой в Ирландии; Америка была утрачена безвозвратно, и представлялось необходимым подумать уже о собственной безопасности. Тогда (с 1778 г.) в Ирландии стали образовываться волонтерские дружины, правда, исключительно из протестантов, но при полном сочувствии со стороны католического населения. Дело в том, что эти дружины сразу обнаружили весьма сильный местный патриотизм, и метрополия с беспокойством сообразила, что ирландские волонтеры как будто не против одних только французов снаряжаются. Сначала волонтеров было 40, потом 75, наконец 125 тысяч человек. Словом, это был один из редких моментов, когда Ирландия оказалась едва ли не сильнее Англии,

и подобное соотношение сил благодаря Флуду, Граттану и другим ирландским деятелям 70—80-х годов XVIII столетия было очень быстро учтено. Георг III, видя, что волонтеры имеют за собой всю страну, что они прекрасно вооружены, что нет ни малейшей возможности силой их успокоить вследствие пребывания почти всей английской армии в Америке, почел благовременным даровать милостью божией полное самоуправление Ирландии. Дублинский парламент, чисто фиктивное учреждение, не имевшее ни малейшего смысла и значения, был преобразован в духе автономии. Это произошло в 1782 г. при кликах ликования, торжествах, когда вотировалась национальная благодарность и патриоту Граттану, и волонтерам, и королю, и всем, кто имел хоть отдаленное отношение к вновь октроированной ирландской конституции. Эта конституция и была той политической декорацией, на фоне которой разыгралось восстание 1798 г. Весьма скоро новый парламент перестал возбуждать в ирландцах иные чувства, кроме сначала затаенного, а потом открыто прорывавшегося неудовольствия, и это раздражение явилось одной из серьезных причин той кровавой междоусобицы, описание которой составляет тему этой главы. Чем же парламент 1782 г. был плох для своей страны? Для оценки всякого парламентского строя существуют два главных критерия, ее обусловливают ответы на два основных вопроса: во-первых, насколько велика фактическая власть парламента и, во-вторых насколько при данной системе пополнения парламентского собрания обеспечивается полное и верное представительство существующих в стране политических тенденций и общественных настроений и интересов. Есть и ряд других, второстепенных критериев, но мы будем иметь в виду только эти два, делая беглый очерк ирландских парламентских порядков после 1782 г. Что касается до влияния на исполнительную власть, то оно почти вовсе ускользало от ведения ирландского парламента: ирландское министерство, ведавшее текущие дела страны, всецело зависело от лорда-наместника (он же и командир расположенных в Ирландии военных сил), а лорд-наместник назначался главой английского кабинета. Вследствие такого положения вещей выходило следующее курьезное обстоятельство: ирландские министры сменялись и вновь назначались в зависимости от партийных соотношений, царивших не *в ирландском*, а *в английском* парламенте, ибо от английского парламента зависело английское министерство и, следовательно, все «производные» административные величины, т. е. также лорд-наместник Ирландии. Итак, на текущие дела Ирландии английское правительство всегда могло иметь и имело при господстве конституции 1782 г. самое активное влияние. Что же касается до чисто законодательных вопросов, то в теории ирландский

парламент был абсолютно независим от английского и вся связь обеих стран в вопросах законодательства сводилась к тому, что прошедший через нижнюю и верхнюю палаты законопроект нуждался еще в подписи великобританского короля. Конечно, в делах внешней политики Ирландия должна была беспрекословно следовать в английском фарватере, но весьма скоро обнаружилось, что и теоретическая ее самостоятельность во внутренних вопросах также есть не более, как невинная и безобидная фикция. Тут мы естественно переходим ко второму основному вопросу, решение которого необходимо для должной оценки данной конституции: как же пополнялся ирландский парламент? Состоял он (по примеру английского) из двух палат: верхней и нижней. Члены ирландской палаты лордов назначались королем, и сан их был пожизненным и наследственным; конечно, это были исключительно люди, принадлежавшие к господствующей нации и церкви. Что же касается до нижней палаты, то ни один католик не имел права ни выбирать в нее, ни быть избираемым, т. е. из 4½ миллионов (приблизительно) людей, населявших Ирландию, около 3½ миллионов были совершенно отстранены от какого бы то ни было участия в управлении. Но и из оставшейся небольшой части населения в нижнюю палату попадало *всегда* только то большинство, которое не могло быть враждебным Англии. В самом деле, ничего даже приблизительно похожего на правильные и независимые выборы не было и в помине. Всего членов было 300, из них 200 с лишком являлись от маленьких местечек, т. е. просто назначались по единоличному усмотрению владельцев этих местечек; остальные 100 в большинстве случаев также не представляли собой избранников даже той ничтожной англиканской или пресвитерианской горсточки, которая по закону имела право голоса: всемогущее влияние лендлорда и тут слишком часто оказывало свое огромное действие. Все это вошло в обиход до такой степени, что, по сведениям как ирландским, так и английским, существовала даже специальная такса за право от имени известного местечка назначить кого угодно членом парламента (или самому быть выбранным), а также за приобретение этого права навсегда. Первое стоило обыкновенно около 2 тысяч фунтов стерлингов, а второе — от 8 до 19 тысяч. Итак, кто мог попасть в нижнюю палату? Почти исключительно сторонники английского преобладания, представлявшие даже не всю ничтожную полноправную горсточку населения, а только особенно угодную английским министрам категорию этой горсточки.

При подобных порядках избрания и прежде всего при безусловном устранении от выборов всего католического населения, т. е. подавляющего большинства ирландской нации, толковать

о дублинском парламенте как о представительстве Ирландии можно было бы разве только в виде иронии. Радикально настроенные пресвитериане и кое-кто из англичан-протестантов с самого начала этой системы, с 1782, 1783, 1784 гг., не переставали указывать на все подобные уродливости и ненормальности; волонтерские общества (приобретшие явно политический характер) требовали в резолюциях на своих собраниях коренной парламентской реформы, но все эти домогательства оставались гласом вопиющего в пустыне, так же как аналогичное движение среди католиков. Вообще 80-е годы XVIII в. были временем, когда прогрессивные элементы среди пресвитериан (ирландского и шотландского происхождения) и англичан (господствующей церкви) понемногу стали теснее, нежели прежде, сходиться с католиками. Вдали уж выдвигался политический идеал ближайшего восстания: независимая Ирландия и свободные ирландские обитатели без различия нации и вероисповедания. Ирландским парламентом никто удовлетворен не был, кроме консервативной части англичан, населявших Ирландию, и это раздражение все росло, по мере того как выяснялось, что сам парламент со своей стороны весьма собой доволен: в 1783 г. он самым решительным образом отверг весьма умеренный проект реформы, предложенной ему.

Этим самым дублинское собрание ясно говорило, что оно хочет остаться фикцией и игрушкой в руках метрополии и довольствоваться той автономией Ирландии, которая была изображена на бумаге и в самом деле с первого взгляда могла обмануть всякого неопытного читателя бумажной конституции. Голодающему населению негде было высказаться и некому было жаловаться; все застарелые обиды и неправды самым мирным образом процветали под покровом порядков, созданных, чтобы поддерживать сильного против слабого; никакой самостоятельной, выгодной Ирландии и не выгодной Англии, экономической политики этот дублинский парламент не преследовал и не мог преследовать, и торгово-промышленный класс (всех трех исповеданий без различия) горько, но тщетно жаловался на то, что англичане пользуются Ирландией как рынком сбыта, а сами всячески препятствуют ирландской конкуренции у себя и в колониях. Католики хотели эмансипации, превращения их из париев, лишенных всех прав, в граждан; пресвитериане и часть английского низшего и среднего круга хотели более рациональной экономической политики, все они жаждали коренных аграрных реформ и понимали, что ни аграрные, ни правовые, никакие иные изменения, в которых прямо не заинтересованы английское правительство и лендлорды, немыслимы при наличности конституции 1782 г.

3

Периодически посещающий нацию голод, по мнению покойного Вирхова, есть явное доказательство ненормальности ее общественных условий. Ирландская история дает много фактов в подтверждение этих слов; еще неоднократно мы будем иметь случай отметить, как голод, якобы неожиданно обрушиваясь на Ирландию, с неумолимой настоятельностью заставлял сегодня вопить о том зле, о котором вчера говорили, а позавчера шептали. Так случилось и в описываемое время. В 1784 г. неурожай свирепствовал в Ирландии со всеми своими страшными последствиями, и снова началось было призатихшее аграрное движение, которое с давних пор было грозой лендлордов; стали наконец носиться слухи о том, что снова появились «белые парни».

«Белые парни» впервые появились, по одним источникам, в 1761 г., по другим — несколько ранее. Дело в том, что отчаянное положение ирландского крестьянства немало осложнялось существованием в стране колоссальных пастбищ. Площадь запашки была невелика, ибо лендлорды и снимавшие у них землю посредники часто весьма неохотно отдавали землю в аренду мелким фермерам: это было и несколько хлопотливо, и чревато кое-какими беспокойствами и неприятностями. Более удобным представлялось сдать все угодья под пастбища каким-нибудь двум-трем зажиточным людям либо самим заняться разведением скота; к тому же земли, отданные под пастбища, вследствие вопиюще несправедливого закона были совершенно изъяты от налога на содержание протестантского духовенства (десятины), а пахотные места все подвергались этому обложению. Тут закон как бы говорил каждой своей строчкой, что богатых людей он желает окончательно избавить от самых легких для них уплат, а бедным не намерен давать пощады, что содержать англиканское духовенство обязаны не англикане-лендлорды, а нищие католики. Кроме того, ограниченность площади запашки страшно удорожала хлеб и заставляла большинство ирландского народа питаться картофелем. Наконец, с середины XVIII в. англиканское духовенство, не довольствуясь жесточайшими мерами при взыскании десятины, стало чаще и чаще отдавать эту десятину на откуп, вроде того как Золотая Орда отдавала русскую дань на откуп бесерменским купцам. Откупщики же, конечно, взыскивали с населения не только ту сумму, которую они вносили духовенству, но и известное вознаграждение себе за хлопоты и беспокойства; положение фермеров становилось при этом еще более отчаянным. Конфисковался их скот, отбирались орудия, уносились кухонные принадлежности, и, если еще оставалась недоимка, нередко фермер засаживался в долговую тюрьму. Жаловаться, как мы уже сказали, было некому и после

дарования Ирландии «автономии» в 1782 г., а до того и подавно. Любопытно, что эксплуататоры ирландского фермера иногда (например в 40—50-х годах XVIII в.) совсем как бы теряли голову от упоения своей силой, от сознания строжайшей законности своих действий, от уверенности в беспомощности своих грязных, оборванных и безграмотных жертв.

И вот всегда в такие-то безмятежные дни начинались неприятнейшие инциденты, мгновенно портившие весь ансамбль социальной картины, выдержанной, казалось, в самом определенном стиле. То здесь, то там, сегодня в Лимерике, завтра в Килькенни, послезавтра в третьем конце Ирландии вдруг находили труп управляющего, или посредника, или самого лендлорда, приехавшего на охотничий сезон; по неизвестной причине в разных местах начинались одновременные пожары; разными лицами получались угрожающие письма, и угрозы приводились в исполнение; угонялись огромные стада, и на землях, где они паслись, находили только трупы пастухов.

С 1761 г. эти происшествия приписывались большей частью «белым парням».

«Белыми парнями» они называли себя потому, что носили кое-где, пока это считалось безопасным, белые значки на шляпах и белые рубахи. Они собирались по нескольку сот человек и, не нападая открыто, днем, чинили ночью суд и расправу над особенно ненавидимыми в округе людьми. Сначала, в 60-х годах, они, впрочем, весьма редко прибегали к убийству, довольствуясь порчей и сожжением имущества, угоном скота, телесными наказаниями и изуродованиями. Но в 80—90-х годах XVIII в. участились и убийства. Представители этого движения (принимавшие кое-где, например в пресвитерианских округах, и другие названия) карали не только непосредственных притеснителей крестьянства, но и своих же, крестьян, соглашавшихся, вопреки их прокламациям, платить десятину или наниматься в батраки за цену ниже установленного в прокламациях минимума и т. д. «Белых парней» очень боялись все, и этот террор оказывал весьма сильное и длительное действие на все аграрные отношения этой местности, где возникали названные тайные группы (вербовавшиеся большей частью из крестьянской молодежи).

Иногда, в моменты обостренного движения, «белые парни» вовсе и не скрывались, а бродили человек по 300, по 500 от деревни к деревне, зная, что при разбросанности английских гарнизонов не так-то скоро их изловят и не так-то легко решатся на них напасть. Конечно, фермерское население всячески их поддерживало, давало им пропитание, исправно платило особый налог для их прокормления, правильно собиравшийся. Весьма любопытна эволюция, происшедшая в 60—80—90-х годах с отно-

шениями «белых парней» к английскому правительству. Сначала, в 60-х годах, это движение не заключало в себе ровно ничего враждебного собственно правительству: это был протест доведенных до отчаяния и голодных людей против своих эксплуататоров, против лендлордов, посредников, управляющих и сборщиков десятины. Но англичанам невыгодно было изобразить начавшееся движение в истинном его свете; дело в том, что в подражание «белым парням» католических округов возникло вполне аналогичное явление в округах, где фермеры были пресвитерианами и даже англиканцами. Так, в Эльстере, ирландской провинции, населенной преимущественно английским, а не ирландским элементом, образовалось сообщество «дубовых парней», которые поступали совершенно по программе своих католических собратьев. Интерес господствующей (лендлордской) партии и английского правительства, не желавшего приступить к реформам, требовал поскорее разъединить это движение, замаскировать истинную его чисто экономическую подкладку и придать ему совсем иную окраску. Лендлорды и чиновники стали открыто говорить о сношениях, будто бы существующих между «белыми парнями» и Францией, о плане отделить Ирландию от Англии и предать ее Франции, о желании вырезать всех некатоликов. Ничего подобного и приблизительно не было в намерениях и желаниях «белых парней», но распускаемые английским правительством слухи поселяли панику в довольно широких кругах общества и наперед оправдывали любую степень административной энергии в борьбе с бунтовщиками. После первого появления в начале 60-х годов «белых парней», в 1765 г., был издан закон, по которому участники движения подвергались смертной казни, а в случае их ненахождения взыскивалась огромная контрибуция со всех жителей той местности, где совершено аграрное преступление. После 1765 г. «белые парни» стали исчезать, конечно, не вследствие этого закона, потому что и до его издания пойманным приходилось очень круто и чаще всего их убивали, а с другой стороны, и после нового закона ловились лишь очень немногие, но, вопервых, прошло несколько средних и даже хороших урожаев, во-вторых, напуганные сборщики десятины, лендлорды и посредники некоторое время избегали особенно жестоких вымогательств и изгнаний с участков, да и страшное напряжение, в котором приходилось жить «белым парням», не позволяло этой форме аграрной борьбы стать непрерывно длящейся. Местами и моментами это движение вспыхивало и в 70-х годах, но агитация, поднятая Флудом и Гратганом в пользу административной независимости, поддержанная с 1778 г. волонтерскими дружинами и увенчавшаяся в 1782 г. относительным успехом, на время прекратила аграрные волнения и отвлекла внимание и чув-

ство ирландцев в сторону политической реформы. Подъем духа и удовлетворение, вызванные было не оцененной по достоинству конституцией 1782 г., исчезли весьма быстро; волонтерские дружины уже к 1784 г. утратили прежнее значение вследствие наступившего среди них разлада в тенденциях и настроении: одни продолжали и после неудачи 1783 г. стоять за решительную парламентскую реформу, другие утомились и охладели к этой идее. Католическое население увидело ясно, что все его материальные беды и моральные унижения остаются в полной силе и что совершенно по-прежнему нет ни малейшей возможности законным путем помочь горю: по уже охарактеризованному нами составу дублинского парламента можно было с уверенностью ожидать, что господствующий порядок вещей сохранится во всей неприкосновенности, пока это будет зависеть от парламентского законодательства. Голод 1784 г. обострил чувства озлобления и отчаяния среди части крестьянского населения, и опять, как сказано, появились на сцену «белые парни». Начались аграрные разбои, кое-где поджоги, ломанье и порча плетней и изгородей, угон и уродование скота, ночные нападения на объездчиков, управляющих и сторожей. Все еще это движение, как и в первые пароксизмы (в 1761—1765 гг.), не принимало явно политического характера, но министерство Вильяма Питта, управлявшее судьбами Англии и Ирландии, сочло благоразумным отнестись к нему с большой серьезностью. Дело в том, что у Вильяма Питта, подобно многим талантливым государственным людям Англии до и после него, была способность до минимума доводить возможность каких-либо готовящихся серьезных противоправительственных волнений. Оставляя совершенно в стороне моральную оценку действий и побуждений Вильяма Питта, необходимо признать, что он действительно владел политическим даром делать уступки, сохраняя свое достоинство; разъединять врагов, не показывая вида, что такова его главная цель; делать своими марионетками людей, прикидываясь ими побежденным; злодействовать чужими руками, сохраняя собственные в полной чистоплотности; наконец, никогда не смешивать капризов своего темперамента с требованиями поддерживаемого государственного принципа. Словом, у него были достаточные умственные способности, чтобы поступать так, как хотели, но не умели поступать многие другие. Питт владел в большей мере той государственной хитростью, которая так хорошо характеризована в «Измаил-Бее»: «Народ ребенок он не хочет дать, не покушайся вырвать,— но украдь!». В области политики, где показался (и кажется) совсем ко двору отзыв о чужой неудаче: «это хуже, чем преступление, это ошибка!» осуждать вообще и слова, и дела подобного образца с моральной точки зрения — занятие довольно праздное, все равно как

с пылом настаивать, например, на том, что негры гораздо чернее скандинавов. Дело с нравственностью тут обстоит слишком просто и удобопонятно. Мы должны, следовательно, минуя вопрос о сочувствии или несочувствии Питта ирландским страданиям, спросить себя: во-первых, чего ему хотелось достигнуть в ирландской политике, во-вторых, какие средства он пустил в ход для достижения этих целей и, в-третьих, почему его предначертания на этот раз не удались. Конечно, ему прежде всего желательно было достигнуть полного успокоения волнующегося острова, ибо и управление государственными делами без этого успокоения отягчалось, и во внешней политике ирландское брожение довольно чувствительно и далеко не в пользу Англии ложилось на чашку дипломатических весов. В 1784—1785 гг. опять появились «белые парни»; одновременно с этим началось манифестационное движение среди городского населения в Дублине. Ирландские мануфактуры и другие промышленные заведения давно уже требовали запретительного таможенного тарифа для иностранных, в том числе и английских, продуктов; их представители (довольно влиятельные также в дублинском парламенте) давно жаловались, что английская промышленность их угнетает, что конкуренция с ней им не под силу. Они стали даже (до известной степени демонстративно) сокращать производство и рассчитывать рабочих, говоря рассчитываемым, что вся беда в нежелании английского правительства наложить требуемые пошлины на ввоз в Ирландию английских провенансов. Начались рабочие волнения на улицах Дублина все на той же почве требований новых пошлин. Вильям Питт тотчас же понял, что подобные причины могут весьма легко создать опасное сближение между недовольными элементами разных религий и даже разных классов, тогда как вероисповедная рознь и классовый антагонизм являлись едва ли не главными двумя поддержками английского владычества. Он боялся одновременно происходивших аграрного и городского движений и весьма хотел с которым-нибудь из них поскорее кончить. В Дублине толпы народа ходили по улицам, иногда окружали и подвергали насмешкам, толчкам и побоям нелюбимых чиновников и членов парламента и всевозможным издевательствам лиц, известных своей оппозицией желанным запретительным пошлинам, и всячески показывали, что они вполне солидарны в этом вопросе с владельцами промышленных предприятий. Вильям Питт предложил законопроект, который почти уравнивал все торговые права Англии и Ирландии к несомненной выгоде ирландцев. Но и в Ирландии, и в Англии этот проект встретил сильную оппозицию, и когда он в ирландском парламенте провалился, то пришлось его взять назад. Этот проект не налагал запретительных пошлин на английские товары.

оттого он и не совсем понравился ирландским купцам и промышленникам. Но провалился он в дублинском парламенте потому же, почему не понравился и в Англии: в обоих этих местах ирландские интересы стояли вообще на втором плане. Тем не менее, пока шла возня с проектом, острый период кризиса миновал, все вошло в свою колею, и когда проект провалился, Питт уже мало этим был заинтересован. С городами на время приутихло, и можно было, уже не отвлекаясь, продолжать борьбу против «белых парней». С ними в сделки нельзя было и пытаться вступать,— это значило бы пошатнуть весь тогдашний ирландский социальный строй, покоившийся на лендлордском всемогуществе и привилегиях англиканского духовенства. Из-за одной только отмены подати десятины восстало бы, как один человек, огромное большинство дублинского и, что было гораздо опаснее для министра, *английского* парламента. В одни сутки кабинет был бы провален самым бесповоротным образом. Питт махнул рукой на это осиное гнездо лендлордских притеснений и фермерской нищеты и предоставил лорду-наместнику вешать «белых парней» и посылать военные экзекуции.

Католическое духовенство на этот раз высказалось решительно против аграрных беспорядков, что также было чрезвычайно на руку Вильяму Питту. Епископ Трой почел своим долгом даже обратиться к пастве с пастырским посланием [2], в котором обращал внимание «белых парней» на грозящие им за их поведение вечные муки в ином мире; лорд-наместник горячо благодарил епископа за его вмешательство. Любопытно, что хотя ничего существенного для торговли и промышленности в конце концов сделано не было, ибо, как сказано, Питту помешали, тем не менее опять на несколько лет относительное спокойствие воцарилось в стране; отчасти тут давал себя знать и вошедший тогда в силу покровительствовавший хлебопашеству закон Фостера, быстро расширивший площадь запашки, вследствие чего открывалась возможность прокормления большего количества фермерских семейств, нежели при преобладании пастбищного землепользования. Но, конечно, ни одна из страшных социальных язв излечена не была. Вымогательства десятины приводили в отчаяние фермеров, которые и без этого налога в пользу чужого духовенства не сводили концов с концами и чуть не ежемесячно могли ждать изгнания с арендуемого участка. А когда прогонят, тогда либо кончай с собой, либо кормись подаянием, ожидая лучшего оборота судьбы, либо отправляйся на большую дорогу, либо довольствуйся мелкими похищениями. Впрочем, тогда за кражу даже небольших ценностей (от 5 шиллингов) полагалась смертная казнь через повешение, а потому для этого преступления требовалась едва ли не такая же отвага, как для грабежа и убийства.

Что же делал дублинский парламент за все это время в течение 80-х и начала 90-х годов XVIII столетия? Ничего. Граттан и Флуд произносили горячие речи, иногда ссорились между собой, иногда действовали заодно, их сочлены по парламенту слушали их не без удовольствия (ораторский дар обоих очень ценился не только в Ирландии, но и в Англии), и ничего полезного для страны все-таки не вотировалось. Люди вроде Граттана и Флуда были одиноки, не имели нужной поддержки в стенах палаты, а поддержка вне палаты принимала формы, отпугивавшие их. Кроме того, эта поддержка, в виде ли внезапных появлений «белых парней» или возникновения уличных беспорядков, была слаба, неорганизованна, малосознательна.

Только далеко смотревших вперед государственных людей, как Вильяма Питта, могло беспокоить это неулаженное положение дел, неуравновешенное состояние общественно-государственного механизма в Ирландии. Но чрезвычайные осложнения во внешней политике, вторая русско-турецкая война (1787—1791), с падением Очакова и усилением русского влияния, финансовая ликвидация последствий войны против американских колоний, наконец, вспыхнувшая французская революция властно отвлекали внимание Англии от соседнего острова. Сравнительное затишье, воцарившееся там со второй половины 1780-х годов, также благоприятствовало этому забвению ирландских бед и нужд. Не забудем, что Ирландия была тогда почти всецело крестьянской, земледельческой, не городской страной, а при социальном строе, основанном на чисто аграрных отношениях, симптомы начинающегося болезненного кризиса всегда медленнее и труднее познаются, нежели при строе городском, индустриальном. С другой стороны, давнишняя привычка к тому, что в Ирландии, так сказать, полагается никогда не быть полному покою, заставляла совершенно равнодушно относиться к проявлявшимся все же изредка признакам глухого раздражения. Наконец, успокаивающую роль играл и ирландский парламент, находивший (голосами большинства членов), что все обстоит благополучно, и что мало-мальски серьезные реформы излишни.

Так обстояло дело до начала 1790-х годов, когда на историческую авансцену в Ирландии выдвинулись люди, объединившие разрозненные оппозиционные силы, вдохнувшие силу и уверенность в души даже самых отчаявшихся, снова поставившие перед своей родиной огромные цели и снова показавшие Англии воочию, какие смертельные, непримиримые, сознательные и самоотверженные враги живут в ближайшем от нее соседстве. Для того чтобы понять, как возникла организация «Объединенных ирландцев», необходимо очертить личность Вольфа Тона и лорда Фицджеральда, а также характер той

общественной среды, где они начали свою деятельность, а чтобы оценить все препятствия, с которыми им пришлось на первых же порах бороться, нужно предварительно упомянуть об одном явлении, широко развившемся именно в момент выступления этих людей на их трудную работу.

4

У английского правительства и до, и во время, и после Вильяма Питта было принято за своего рода политическую аксиому, не требующую доказательств, следующее правило: по мере сил и возможности следует стараться натравливать друг на друга в разных сочетаниях все элементы, населяющие Ирландию, так чтобы католики, англиканцы и пресвитериане *постоянно враждовали между собой и чтобы численно слабейшие,* т. е. англиканцы и пресвитериане, вечно нуждались для охраны своей жизни, своих прав и привилегий в организованных военных силах, находящихся в распоряжении у правительства. Расчету этому нельзя отказать в продуманности. Английское министерство всегда, а особенно в 1780—1790 гг., сознавало, что ничего нельзя себе представить для английского владычества опаснее, нежели союз и дружба между всеми ирландскими гражданами без различия вероисповеданий. Что такой союз вполне возможен, что в смысле лояльности вообще ручаться можно разве только за лендлордов, и то не за всех, что даже и не из союза всех жителей Ирландии, а просто из дружелюбных соседских отношений между ними для английского владычества может вдруг возникнуть грозная опасность, это в Лондоне испытали в 1778—1782 гг., в те ужасные годы, когда в Новом Свете американцы били английские войска, а в Европе французы грозили высадкой, и ирландские протестанты, сформировавшись в волонтерские дружины, заставили дать Ирландии «автономную» конституцию. Продолжься все эти печальные для Англии условия, пришлось бы, пожалуй, дать ирландцам и настоящую автономию, а не ту призрачную, которой впопыхах и в первый момент они обрадовались и удовлетворились. Но Граттан, Флуд и даже вожди волонтеров не владели великим политическим искусством и умением требовать до конца, тем искусством, которого так много оказалось через 100 лет при несравненно более тяжелых условиях, например, у Парнеля; когда же руководители ирландцев год, другой спустя захотели поправить ошибку, было уже поздно, соотношение сил успело круто измениться.

Но англичане не забывали урока: они знали, что за протестантами-волонтерами тогда стояло все католическое население, которое готово было в роковую минуту поддержать их всеми

средствами и способами, и что именно это сделало волонтеров столь страшными. По мере того, как к концу 1780-х годов росло общее недовольство подкупленным парламентским большинством, которое, собственно, было даже и не выбрано, а просто назначено английским правительством и его прямыми сторонниками из лендлордов, кабинет Вильяма Питта все с бо́льшим сочувствием смотрел на новое движение, возникшее в северных окраинах Ирландии. Для того чтобы достигнуть успокоения страны путем умиротворительной политики, у Вильяма Питта не было достаточно сил, как оказалось из неудачного опыта с законопроектом о торговле; но, чтобы или прямым наущением, или попустительством не дать потухнуть всегда тлевшему в Ирландии расовому и вероисповедному антагонизму, на это средств в руках Вильяма Питта было многое множество. Даже можно было умыть руки и почти предоставить всему идти своим чередом, довольствуясь легкими и незаметными толчками. Что же это было за движение, столь кстати для англичан развившееся во второй половине 1780-х годов?

Началось все с совершенных пустяков еще в начале 1780-х годов. Подралось в местности Эрмоге (на севере) двое крестьян из двух соседних деревень по какому-то личному поводу; оба принадлежали к пресвитерианскому вероисповеданию. Зритель драки, крестьянин-католик, принял в ней живое участие и, избив одну из сторон, снискал себе ненависть не только потерпевшего, но и всей его деревни. В свою очередь он получил поддержку своей деревни, состоявшей большей частью из католиков; вражда ширилась и распространялась весьма быстро между крестьянским населением севера.

Она не замедлила получить вероисповедную окраску, так как одна из сторон являлась в виде сплоченной массы пресвитериан, другая — в виде такой же ассоциации католиков. То замирая, то возгораясь, эта борьба вспыхнула к концу 1780-х годов ярким пламенем; на этот раз дело не обошлось без соучастия английского правительства. Нужно заметить, что по одному из многочисленных законов, делавших католиков париями гражданского общества, никто из лиц этой религии не имел права обладать оружием. Пресвитериане в пылу вражды, пользуясь подобным законом, повадились (обыкновенно на рассвете) производить облавы и обыски в квартирах католиков, ища и отбирая оружие. С наглостью насильников, чувствовавших за собой открытую поддержку лендлордов и молчаливую — английского правительства, эти добровольцы вламывались в глухой час зари рассвета в лачуги фермеров-католиков, поднимали всю изморенную дневным трудом семью, обыскивали все углы, творили всевозможные издевательства над жертвами, оскорбляли женщин и в случае неудачного обыска уходили, а

найдя оружие, волокли хозяина к властям или избивали его сами до потери сознания. Их стали называть «предрассветными парнями» — по времени, когда они являлись на обыски. Конечно, жалобы на них властям были совершенно бесполезны, и выяснилась решительная необходимость самообороны. Католики стали объединяться в союз «защитников» (дефендеров) с целью на насилия отвечать организованным отпором. Тогда как-то так, якобы само собой, произошло, что к «предрассветным парням» примкнули волонтерские дружины (как уже сказано, состоявшие исключительно из пресвитериан и протестантов), и эти сыгравшие некогда (в 1778—1782 гг.) оппозиционную роль. люди стали послушным оружием лендлордов и правительства под влиянием ловко разогретого в них посторонним усердием вероисповедно-расового фанатизма.

Все шло превосходно: крестьяне разных религий дрались между собой, волонтеры занимались обысками, дублинский парламент был послушен и тих. Но на этот раз Вильям Питт рассчитал без хозяина, что и с такими даже умами в истории беспрестанно случается.

Он не принял в расчет, что не все католики и не все пресвитериане принадлежат к крестьянскому сословию; он знал, что средний класс в Ирландии малочислен и материально слаб, и поэтому почел его совершенной «quantité négligeable». Вот здесь-то и коренилась ошибка Вильяма Питта. Образованная горсточка ирландцев без различия вероисповеданий превосходно видела, кто остается в главном выигрыше от драк дефендеров с «предрассветными парнями» и волонтерами, и, не выработав пока вполне определенной программы действий, твердо решила всеми силами отвлечь темные слои населения от полезной для англичан междоусобицы и направить их на настоящего, общего врага. Политическая проницательность, чудовищная энергия, дерзость, предприимчивость, презрение к своей и чужой жизни отличали вождей этой горсточки. Они своими моральными силами восполняли численную скудость; их уже невозможно было обмануть, как были обмануты их отцы в 1782 г.; их нельзя было и натравить друг на друга, как крестьян; наконец, им трудно было воспрепятствовать силой в подготовительных действиях, ибо, как справедливо ни бранили конституцию 1782 г., а все-таки она мешала лорду-наместнику разить неприятеля по вдохновению. Они захотели открыть глаза ирландскому населению и открыли; они признали нужным организовать и сплотить всех бессознательных и сознательных врагов Англии и сплотили; когда это было сделано, они сочли своевременным зажечь восстание и зажгли; оказавшись слабее, они должны были погибнуть и погибли. В их жизни было много страшного для них и окружающих, потому что вся эта жизнь

являлась строго логичным проведением одной и той же идеи, а те страницы всемирной истории, на которых выводы начертаны непосредственно вслед за посылками, обыкновенно бывают обильно забрызганы кровью.

Трупы, кровь и пожары, убийства, пытки и виселицы, гниющая вода в колодцах от накиданных тел и развалины — вот что явилось видимым, материальным последствием всех усилий Вольфа Тона, лорда Фицджеральда и их друзей. И однако 100 лет спустя, в 1889 г., Гладстон по поводу Вольфа Тона писал: «Один из наиболее достойных сожаления фактов ирландской истории заключается в том, что к концу прошлого (XVIII — *Е. Т.*) столетия бунтовщики Ирландии были во многих случаях истинным цветом ее детей (the very flower of her children)». Как же объяснить этот отзыв в устах англичанина, многократного министра, старого политика и врага революций? Расскажем, что делали и сделали эти люди, чтобы читатель мог прийти к самостоятельному заключению: соглашаться ли ему с Гладстоном или нет.

5

Теобальд-Вольф Тон родился в 1763 г. в семье одного дублинского хозяина каретной мастерской, протестанта. С молодых лет в нем проявлялась одна удивительная черта: он любил мечтать до такой степени, что окружающая действительность совершенно его переставала интересовать, т. е. не то, чтобы это только временами так бывало, нет, его мечты жили в нем постоянно, они были одарены развитием, отличались сложностью, захватывали его всецело и надолго. Герцог Аргайль (ненавидящий Вольфа Тона) совершенно справедливо, например, удивляется такому обстоятельству: почему Тон до 27 лет совершенно не обращал внимания на Ирландию и ирландские дела, а потом вдруг разом отдался им душой и телом? Все детство, отрочество, первая молодость прошли в обстановке, где можно было слышать и о «белых парнях» с их аграрными нападениями, и о борьбе католиков-дефендеров с «предрассветными парнями», и о других явлениях такого характера; городские беспорядки в Дублине из-за вопроса о торговых пошлинах развились на его глазах; парламент 1782 г. возник тоже, когда он уже не был ребенком.

И все это как-то проходило мимо, ничуть его не затрагивая, потому что ему было некогда: сначала он мечтал стать солдатом и отправиться в неизвестные места к таинственным враждебным народам; потом он мечтал основать колонию на одном из заброшенных островов Тихого океана и оттуда предпринимать отважные экспедиции против неприятелей — каких? он сам хорошенько не знал и называл впоследствии Испанию; затем

явились новые планы — службы в Индии и борьбы с туземными державцами в глубине этой страны, тогда покрытой колоссальными непроходимыми тропическими лесами, лугами и озерами. Может быть, вследствие принадлежности своей к протестантской семье он в детстве и первой юности относился к английскому правительству не то вполне нейтрально, не то даже дружелюбно; по крайней мере его мечты вовсе не исключали поступления на английскую военную службу, основания колонии с помощью Вильяма Питта (о чем он даже подавал проект английскому министру) и тому подобных комбинаций.

И непременно в этих мечтаниях есть враги и война с ними, борьба и движение. Жизненная карьера Вольфа Тона сложилась следующим образом: он учился сначала в колледже Троицы, потом в Дублинском университете, специализовался на изучении права, которое терпеть не мог и называл безнравственным в принципах и в приложениях; в адвокаты он готовился по желанию и просьбам отца и курс окончил хорошо только вследствие замечательных способностей.

Двадцати двух лет от роду он полюбил одну молодую девушку, и так как были препятствия со стороны ее родных, он увез ее и обвенчался, а затем поселил ее в семье своего отца, сам же отправился в Лондон устраивать дальнейшее будущее. В Лондоне он провел 2 года (1787—1788 гг.) один, делясь скудным куском хлеба со своим братом и как будто готовясь к адвокатской практике, а на самом деле почти вовсе не заглядывая в судебные учреждения и упорно работая над разными полуфантастичными проектами, из которых ничего реального не выходило. В самом конце 1788 г. последовало примирение с ним семейства его жены, и он вернулся в Дублин, где с 1789 г. начал заниматься практикой. Замечательным свойством обладал Вольф Тон: у него хорошо выходило даже такое дело, за которое он принимался с отвращением. Природные силы ума и удивительные способности выручали. И занятие адвокатурой, страшно его тяготившее, тоже пошло у него так, что он стал зарабатывать довольно много. Но уже спустя год практика стала ему совсем невмоготу, и он ее совершенно оставил. Средства к существованию были теперь, после примирения с тестем, совершенно достаточны для его семьи; он отдался всецело политике, которая его до того времени совсем не интересовала. Почему так случилось, чем обусловилось это совершенно внезапное направление мысли Вольфа Тона, мы не можем сказать в полной точности. Начавшейся французской революцией и ее впечатлениями можно (как увидим) объяснить дальнейшие движения ирландской политической мысли вообще и конечные идеалы Вольфа Тона в частности; уже с 1790 г. влияние революции несомненно и сильно; тем не менее оно сказалось на

Вольфе Тоне не сразу. Весной 1790 г. он опубликовал памфлет, в котором резко критиковал систему управления лорда-наместника Букингема, в январе того года подавшего в отставку. Его точка зрения в этом памфлете резко оппозиционная, но еще вполне лояльная относительно английского владычества. (При свободе печати, уже тогда существовавшей в Ирландии, мыслима была бы в прессе иная точка зрения.) Парламентские виги сочли его в первое время своим и сблизились с ним. Однако очень скоро уже обнаружилось, что им не по дороге: Вольф Тон напечатал новый памфлет, в котором весьма явственно сводил дело к необходимости полной независимости от Англии. Повод к подобным заключениям был на этот раз самый щекотливый для Англии, ибо касался внешней политики. Произошло столкновение между английскими и испанскими судами, сопровождавшееся оскорблением британского флага, и в Лондоне заговорили о войне с Испанией. Так как кредиты для войны должны были вотироваться по закону и в английском, и в ирландском парламентах, то Вольф Тон, предупреждая события, написал брошюру, посвященную рассмотрению вопроса: обязана ли Ирландия непременно принимать активное участие во внешних столкновениях Англии с другими державами? По его мнению, раз Англия начинает ссоры и вообще ведет сношения с иностранными землями без всякого участия Ирландии, то столкновения Англии с ними к Ирландии никакого отношения иметь не могут. В ссоре Испании с англичанами Ирландия, говорит Вольф Тон, столь же мало принимала участия, «как если бы спор возник между японским императором и корейским королем», расплачиваться же за английские предприятия ирландцам нет никакой нужды. Виги, изображавшие в дублинском парламенте оппозицию, совершенно не вняли советам Вольфа Тона и наравне с правительственным большинством вотировали кредит в 200 тысяч фунтов. Отношения между ними и Вольфом Тоном после этого сильно охладели. Все еще он не становился на революционную дорогу; он ждал, но в ожидании все повышал и повышал свои требования, все расширял свои политические идеалы. На парламентскую же оппозицию он весьма быстро усваивал тот взгляд, окончательная формулировка которого несколько позже вылилась у него в признании, что он «давно уже презирает так называемую оппозицию гораздо искреннее, нежели обыкновенных проституток», ибо проститутки не столь лицемерны. В это же время стала у него складываться та ненависть к Англии, которая, по его собственным словам, настолько глубоко укоренилась в его натуре, что стала «скорее инстинктом, нежели принципом».

Все яснее и яснее вырисовывается перед ним главная цель всей остальной его жизни: полнейшее отделение Ирландии от

Англии в виде совершенно самостоятельного государства. И сообразно с этим все напряженнее ищет его мысль средств и методов первоначальных, подготовительных действий, необходимых для начала борьбы. Люди, одаренные сильно развитым воображением и быстро схватывающими все на лету способностями, часто страдают отсутствием усидчивости, уменья сосредоточиться. У Вольфа Тона эти недостатки были, но поглотившая его мысль дала ему и сосредоточенность, и усидчивость. При тех обстоятельствах, какие тогда его окружали, Вольф Тон сдержал свою природную порывистость и долго осматривал и зондировал почву, пока не приступил к решительному делу. Нужно отметить необыкновенную жизнерадостность, сказывающуюся в любопытном дневнике, который остался после Вольфа Тона. Этот человек был в беспрерывной работе с 1791 г. до рокового ареста, подвергался страшнейшим опасностям, встречал досадные и тяжелые препятствия, и за все эти 7 лет юмор и хорошее расположение духа, с интервалами конечно, не покидали его. Очень уж он был уверен в торжестве своего дела, а Паскаль недаром сказал: «Il y a plaisir d'être dans un vaisseau battu de l'orage, lorsqu'on est assuré qu'il ne périra point». Подлинные бури еще не настали в 1791 г., но Вольф Тон уже начал снаряжать то судно, где ему и лорду Фицджеральду суждено было стать рулевыми и обоим погибнуть. Он быстро понял, что не только с драками «предрассветных парней» и католиков-дефендеров, но и с другими, менее острыми проявлениями расовой и вероисповедной вражды в Ирландии необходимо покончить как можно скорее. Пока английское правительство имело повод и возможность прикидываться кроткой и огорченной всеобщей матерью, которая к прискорбию своему никак не может унять дерущихся детей; пока пресвитерианам и англиканцам внушалось, что католики собираются устроить Варфоломеевскую ночь, а католикам — что «предрассветные парни» и волонтеры кое-как удерживаются только метрополией от самых худших неистовств, до тех пор ни одного серьезного шага против Англии предпринять нельзя было. Вольф Тон выдвинул точку зрения, которая, как ему казалось, способна была привести к намеченной первоначальной цели: успокоить ирландскую междоусобицу. В его концепции все население Ирландии, без различия расы и религии, должно было смотреть на свой остров как на неотъемлемое общее достояние, и, следовательно, первой, самой насущной задачей должно стать объединение ирландцев. Тогда правительство останется со своими чиновниками, немногочисленными гарнизонами и лендлордами; остальные же обитатели Ирландии обратятся в одну враждебную массу. Блестящий и свежий пример североамериканских колоний сильно подбодрял Вольфа Тона. Там тоже были рели-

гиозные раздоры, тоже далеко не сразу объединились разнородные элементы населения, тоже вооруженный протест сначала казался дерзостью и сумасшествием, и однако инсургенты добились решительно всего, чего хотели. Вольф Тон между многим прочим был одарен также одним свойством, полезным для всех людей вообще, а для политического деятеля прямо бесценным: при всей своей пылкой фантазии, при сильных страстях и увлечении идеей он никогда не терял умственного хладнокровия, рассчитывая шансы удачи и неудачи, никогда не лишался способности переноситься мысленно на место врага, обсуждать дела с вражеской точки зрения так же обстоятельно, как свои собственные. Он был поэтом в главных целях и суровым прозаиком в обдумывании средств борьбы, и только оттого этот нервный, высокий, худощавый, небрежно одетый человек со своим бледным добродушным лицом и проницательными глазами оказался столь страшным для англичан противником. Вольф Тон, например, уже в 1792 г., как явствует из его дневника, на дне души своей хранил и питал мысль, что с чего ни начинай и чем ни продолжай в деле насильственного расторжения связи между Англией и Ирландией, а без помощи Франции в конце концов не обойдешься. Но поставить эту мысль во главе угла всех своих соображений в 1791—1792 гг., когда речь шла еще об устранении междоусобных раздоров в Ирландии, было с точки зрения Вольфа Тона такой нелепостью, за которую английское правительство могло бы только его сердечно поблагодарить. Французское нашествие, которое спустя 5—6 лет было принято инсургентами самым дружественным образом, в начале 1790 г. еще являлось пугалом не только для протестантов, но и для части католиков. Еще не назрело время для начала восстания, для военной борьбы, в пылу которой все оценивается исключительно со стратегической точки зрения, еще только начиналась та медленная общественная раскачка, которая длилась, все усиливаясь, 5 лет, пока не привела к открытому бунту. Но Вольф Тон, приглядываясь к окружавшей его политической атмосфере, быстро заметил, каким цементом легче всего связать ирландцев: принципы гражданской и политической свободы и равноправности, выдвинутые французской революцией, и послужили связью, объединившей средний класс ирландского населения. В эти первые свои годы, до террора, французская революция завладевала умами среднего класса во всех странах с необыкновенной быстротой. Энтузиазм к великому движению распространился в Ирландии сначала по тем округам, которые были населены преимущественно пресвитерианами и англиканцами, особенно в Эльстере.

Подобное явление весьма понятно: освободительные и антицерковные идеи революции принимались протестантским сред-

ним классом всецело; положение протестантов среднего слоя, несмотря на кажущуюся их полноправность, было весьма незавидно, ибо ни в парламент без желания и влияния лендлордов они фактически попасть не могли, ни иным путем влиять на государственные и даже местные дела также не имели возможности; что же касается до антикатолических тенденций революции, то к католицизму в лучшем случае они были совершенно равнодушны. Несколько иначе обстояло дело в католических округах: там «парии желали стать гражданами», люди, лишенные всех политических и некоторых гражданских прав, стремились выйти из своего унизительного положения и уравнительные революционные принципы быстро приобретали там по меньшей мере таких же горячих адептов, как среди tiers-état протестантского, но не так однородно было отношение к революционному антиклерикализму. Ведь католическое духовенство в своей массе стояло в рядах ирландской оппозиции; несмотря на красноречие епископа Троя, они, подобно своей пастве, благожелательно относились к «белым парням» и открыто поддерживали дефендеров в их обороне от пресвитерианских «предрассветных парней»; во Франции революция уничтожала церковную десятину, в Ирландии тоже была десятина, но какая? — взимавшаяся с католиков в пользу *англиканской,* а не католической церкви! Все это, разумеется, несколько мешало образованным католикам, даже и не верующим, легко усваивать революционное отрицательное отношение к католической церкви, да оно в конце концов почти вовсе не вошло в идейный обиход этого замечательного ирландского поколения 1790-х годов. Так или иначе, но протестантский Эльстер первый почувствовал на себе «французскую заразу», как выражались тогда охранительные круги тогдашней Англии и континента. В июле 1791 г., во вторую годовщину взятия Бастилии, волонтерские дружины устроили в Бельфасте огромную дружественную Франции манифестацию; была предложена и принята резолюция с требованием уравнения прав католиков и протестантов. Вице-король Ирландии граф Уэстморленд с прискорбием увидел, что, несмотря на стычки кое-каких волонтерских дружин с дефендерами, несмотря также на все старания отожествить волонтеров с «предрассветными парнями», эта чисто протестантская ассоциация питает к католикам дружественные чувства... «Союз их (т. е. католиков и пресвитериан — *Е. Т.)* был бы действительно ужасен. Этот союз еще не заключен, и я верю и надеюсь, что он никогда не состоится»,— писал в одном частном письме[3] вице-король вскоре после бельфастской манифестации.

Вольфу Тону суждено было разбить эту веру и надежду. Он тотчас же решил воспользоваться проявившимся в Бельфасте

активным настроением и поспешил туда. В сентябре того же года (1791) он издал новый памфлет, в котором осыпал упреками и насмешками царившую ирландскую конституцию, ставил категорическое требование полнейшей эмансипации католиков и прежде всего права для них выбирать и быть выбираемыми в парламент. Он прямо говорил о лукавой политике английского правительства, которое пугает протестантов католиками и католиков протестантами для собственной выгоды, и доказывал, что все эти искусственно поддерживаемые страхи неосновательны. Десять тысяч экземпляров этого памфлета были быстро расхватаны, прочитывались и обсуждались (конституция, хоть и дурная, хоть и вполне справедливо критикуемая в памфлете, тем не менее позволяла говорить о себе вслух вполне откровенно). Когда почва казалась достаточно подготовленной, Вольф Тон в октябре (1791 г.) предложил некоторым единомышленникам в Бельфасте основать особое общество для пропаганды объединения; такая ассоциация была основана и названа обществом «Объединенных ирландцев». Насколько зависит от человеческой воли приблизить историческое событие, настолько это сообщество приблизило взрыв 1798 г. К его деятельности мы теперь и обратимся.

6

Не только вследствие внушений сознательной политической мысли, но и по инстинкту, похожему на инстинкт голодного человека, рвущегося к пище, Вольф Тон рвался к организации, к скорейшему ее образованию, ибо он смотрел на это как на такой шаг, без которого вперед идти совсем невозможно. Ему удалось использовать все нараставшее оппозиционное настроение среди городской молодежи, и 18 октября 1791 г. в Бельфасте уже произошло первое заседание общества «Объединенных ирландцев», образованного Вольфом Тоном. Первый состав этого сначала легального общества был из 36 человек, из которых на заседании присутствовало 20. На этом заседании была принята следующая резолюция. Главная, существеннейшая мера, необходимая для процветания и свободы Ирландии, заключается в равном представительстве всего ирландского народа в парламенте; для достижения этой цели и основывается настоящее общество. Так как английское преобладание слишком сильно, то для отпора ему единственным конституционным средством будет полная радикальная реформа парламентского представительства на принципе совершенного уравнения прав всех вероисповеданий. Содействовать этой цели всеми зависящими от них средствами и обязались друг перед другом члены нового общества. Не теряя времени на подробную выработку непосредственной практической программы, Вольф

Тон отправился в Дублин, чтобы здесь основать отделение нового общества: для революции столица не менее важна была, чем для правительства. Здесь он встретил деятельных помощников в лице Непира Тэнди и Самуэля Нильсона, сына диссидентского священника. Оба эти лица еще до выступления на арену борьбы Вольфа Тона мечтали о проведении в жизнь основной его идеи: объединения людей всех вероисповеданий, существующих на ирландском острове, против английского правительства и против пресмыкающегося перед ним дублинского парламента. Эта идея так громко подсказывалась провокаторской деятельностью администрации, ее попустительством и снисхождением ко всяким безобразиям «предрассветных парней» и других волонтеров добровольного протестантского сыска, что средний класс ирландского населения самой логикой жизни был приведен к мысли раскрыть глаза своему народу и объединить его против общего врага. Характерно, что первыми адептами, инициаторами и организаторами «Объединенных ирландцев» были именно представители буржуазной, диссидентской и вообще протестантской молодежи: им особенно стыдно и больно было за своих соотчичей, столь наивно поддавшихся правительственному науськиванию на католиков, а кроме того, они особенно сильно увлеклись французской революцией как вследствие более высокого общего культурного своего уровня, так и потому, что революционное гонение католицизма во Франции совершенно никаких струн в их душе болезненно не затрагивало. В начале ноября (9-го числа) 1791 г. в Дублине появилась первая прокламация местного отделения общества «Объединенных ирландцев» [4]. Этот документ начинается чрезвычайно характерно: «В нынешнюю великую эру реформы, когда несправедливые правительства падают во всех частях Европы, когда религиозное преследование вынуждено отказаться от своей тирании над совестью, когда права людей утверждены в теории, а теория эта осуществляется на практике, когда древнее происхождение уже не может более защитить нелепые и притеснительные формы против здравого смысла и общих интересов человеческого рода, когда признано, что всякая правительственная власть проистекает от народа и обязательна лишь постольку, поскольку она защищает его права и споспешествует его благосостоянию, мы, ирландцы, считаем нашим долгом выступить вперед и выяснить то, от чего мы ощущаем тяжкий для себя вред, а также то, в чем, по нашему убеждению, действительное против него средство. Мы не имеем национального правительства. Нами управляют англичане и прислужники англичан, цель которых есть интерес другой стороны, орудие которых — подкуп, сила которых коренится в слабости Ирландии, и эти-то люди пользуются полнотой власти и хозяйского

влияния в стране как средствами к соблазну и подчинению честности и духа ее представителей в законодательстве. Такой внешней силе, проявляющей однообразное действие в направлении, слишком часто противоположном истинным и очевидным нашим интересам, может быть оказано действительное сопротивление только при помощи единства, решительности и поднятия духа в народе — при помощи качеств, которые в состоянии проявиться вполне легально, конституционно и действительно посредством этой великой меры, существенной для блага и свободы Ирландии,— равного представительства всего народа в парламенте». Далее прокламация развивала основную мысль о необходимости коренной реформы дублинского парламента на основе полнейшего уравнения всех вероисповеданий в политических правах, и для достижения этой цели рекомендовалось следующее: «Мы приглашаем и самым серьезным образом увещеваем наших земляков вообще последовать нашему примеру и образовывать подобные общества во всех частях королевства для распространения конституционных знаний, изгнания ханжества в религии и политике и для достижения равного распределения человеческих прав среди ирландцев всех сект и наименований». В конце прокламации был прибавлен текст клятвы, приносившейся каждым новым членом общества; клятва обязывала каждого члена, *насколько от него зависит*, содействовать братским чувствам, сознанию одинаковости интересов ирландцев всех религий, «без чего всякая парламентская реформа должна выйти партийной, а не национальной», должна оказаться *несостоятельной и вызвать разочарование*.

Анализируя содержание этой прокламации и знакомясь с первыми шагами общества, мы приходим к следующему заключению. Инициаторы находились под несомненным и сильным воздействием Декларации прав и вообще французских революционных идей и событий; они решили все свое внимание устремить на противодействие административным провокациям вероисповедной и национальной розни; они хотели полной автономии Ирландии; и наконец они боялись испугать своим радикализмом нацию. Это явствует из сопоставления таких двух фактов: в прокламации они, распространяясь о непосредственной цели своей деятельности, ровно ничего не говорят о средствах к получению желательной парламентской реформы, отделываясь неопределенными приглашениями всех и каждого способствовать усилению братских чувств единения и солидарности, а между тем общество действовало (особенно с 1794 г.) путем чисто революционной агитации вполне сепаратистского характера, и вопрос о парламентской реформе вскоре отошел куда-то совсем в сторону. Мы имеем для подтверждения этого мнения еще и положительное свидетельство никого другого,

как самого Вольфа Тона, который по поводу этой (и ей подобных) прокламации писал своему другу Росселю:

«В предыдущем содержится мое действительное и искреннее мнение о состоянии этой страны (Ирландии — *Е. Т.*), насколько при настоящих обстоятельствах может быть рекомендовано его (мнение — *Е. Т.*) обнародовать. Конечно, они (посылаемые Росселю прокламации — *Е. Т.*) немного уклоняются от истины, но ведь сама истина иногда должна снизойти до сделок. Мое неизменное мнение состоит в том, что гибель ирландского благополучия заключается в английском влиянии: я уверен, что это влияние всегда будет широко, пока длится связь между обеими странами; тем не менее, так как я знаю, что это суждение для настоящего времени слишком смело, хотя через весьма короткий срок оно может установиться повсеместно, я не внес его в резолюции, я только предложил выдвинуть реформу парламента в качестве оплота против этого зла, которое, как это может видеть на всяком примере каждый честный человек, желающий открыть свои глаза, подавляет интересы Ирландии. Я не сказал ни единого слова, которое обнаруживало бы желание отделения, хотя вам и друзьям вашим я высказываю как самое решительное мое мнение, что такое событие было бы возрождением для этой страны».

Положение Вольфа Тона было одним из самых трудных, в какие только история ставит людей: это было положение революционера-педагога, революционера, видящего себя в необходимости с воспитательными целями говорить вполголоса, иметь задние мысли в переговорах не только с чужим, но и со своим лагерем. Для всякого, изучавшего хоть сколько-нибудь обстоятельно жизнь и дела этого человека, даже просто для читавшего один только дневник его и его процесс, совершенно ясно, что Вольф Тон зарезал бы и жену, и детей, и себя, не поколебавшись ни одного мгновения, если бы знал, что это обстоятельство как-нибудь выгонит из Ирландии англичан. Эта ненависть переливалась за борт, душила его и обусловливала все его поступки.

При подобных условиях Вольф Тон не в состоянии был, повидимому, и применять к своим действиям иной критики, кроме, так сказать, чисто стратегической: вот почему все декламации насчет иезуитизма его действий, расточаемые некоторыми английскими историками, обличая благородство души своих авторов, являются в то же время довольно бесполезным занятием, если в виде главной задачи ставить себе выяснение общественных условий Ирландии накануне взрыва. Для нас тут важно установить, *почему* Тон не говорил всего, о чем он думал, в 1791, 1792, 1793 гг.? Не говорил потому, что боялся внести сразу же разброд в только еще предположенное, еще не начи-

навшееся дело объединения общенациональной оппозиции. Мало того: на обнародованную программу при всей ее умеренности он смотрел как на «пробный камень» для легальной вигистской оппозиции, с давних пор существовавшей в дублинском парламенте и тоже стоявшей за парламентскую реформу. «Они — не искренние друзья народного дела,— писал Тон в том же письме к Росселю о клубе вигов,— они боятся народа так же сильно, как боится его замок (т. е. лорд-наместник — *Е. Т.*)». Тон не верил им, презирал их и думал, что если они не примкнут к его программе, то значит в душе они очень довольны своими протестантскими привилегиями и о католиках соболезнуют лишь на словах. «Примените пробный камень [5]; если они выдержат испытание, хорошо, если не выдержат, то они лживы и притворяются, и чем скорее они будут разоблачены, тем лучше». Тон действовал по зрело обдуманному политическому методу: искренно желающих того же, что и он, не распугивать резкими словами и формулировками, слишком решительными для еще не вполне назревшего революционного чувства, но вместе с тем без всякого замедления выяснить этим самым колеблющимся и не решающимся людям, что лучше им продолжать колебаться и не решаться, нежели попасть в руки таких деятелей, которые в душе желают свести к ничтожеству все планы политического переустройства и которые намерены отыграться соболезнующими словами и легкой фрондой от ненужного им решения грозной исторической задачи. Эти-то сознательные противники и казались Вольфу Тону тем опаснее, что они являлись уже вполне сформированной группой, имевшей влияние и располагавшей громкими именами. Нужно заметить, что Тон был неправ относительно некоторых отдельных лиц этой группы, но совершенно справедлив в оценке большинства. Напрасно только Тон боялся, что громкие имена парламентариев составляют серьезную опасность для нового общества, к которому они не примкнут: он тогда, в конце 1791 г. и начале 1792 г., еще мало знал свое поколение, тех людей, каких судьба послала ему в помощники. Например, один Самуэль Нильсон, сопутствовавший Тону с первых же его шагов, сам по себе стоил целого отряда агитаторов. Он неутомимо разъезжал по северным и центральным округам Ирландии, где война между католиками-дефендерами и пресвитерианами («предрассветными парнями») кипела по всей линии, и не переставал увещевать дерущихся, указывая им на более, по его мнению, целесообразное употребление сил. Кое-где Нильсону и Вольфу Тону удавалось действительно умиротворить эти междоусобицы, что и вызвало неодобрительное внимание таких, казалось бы, патентованных охранителей всеобщего спокойствия, как вице-король, его губернаторы и знатные лорды. Так, в августе 1792 г. лорд Дауншайр,

воспользовавшись тем случаем, что Тон и Нильсон явились к нему с прямым указанием на безобразия «предрассветных парней» и на благосклонное к ним отношение властей, горько упрекал обоих своих посетителей, говоря, что во всем виноваты католики, которые сами заводят смуту, а потом обижаются, когда патриотические граждане их колотят; что наконец у католиков уже есть целая вооруженная армия (законопреступным образом составившаяся). Вольф Тон не был создан для успокоения начальственных тревог; он подтвердил, что действительно вооружение у католиков имеется, ибо нужно же им защищаться, когда на них нападают, но что если бы правительство на самом деле хотело их защищать от насилий «предрассветных парней», то порядок мгновенно воцарился бы.

Тон с Нильсоном, конечно, и к лорду Дауншайру ходили исключительно с агитационными целями: понимали же они, что английское правительство, уже почуявшее следы действий новой организации, уже заметившее ускорение темпа революционизирования страны, не может не обратиться с удвоенным жаром к своему *действительно* серьезному, *действительно* капитальному средству: к средству натравливания пресвитериан на католиков с целью помешать их объединению на почве борьбы против Англии. Но им было важно разоблачить лорда Дауншайра и ему подобных так, чтобы самые слепые увидели, в чем тут дело. Это им и удалось и всегда удавалось, ибо нужно же было Дауншайру оправдать как-нибудь явное попустительство английских властей творимым безобразиям, и ввиду полной невозможности логически склеить тут хоть какое-нибудь извинение он либо говорил смешные неправдоподобности (что было для его собеседников очень хорошо), либо проговаривался (что было еще лучше). Счастливые времена отсутствия организованного противодействия политике натравливанья, времена отсутствия систематического ее разоблачения — проходили. Сознательные, угадывающие и не устающие враги вставали перед Вильямом Питтом.

7

Нильсон был всегда склонен к литературным занятиям и прежде всех пришел к заключению, что пока идеи общества «Объединенных ирландцев» не имеют для своего распространения специального органа, до той поры дело пропаганды не может считаться прочно поставленным. Идея встретила полную поддержку со стороны «общества» вообще и Вольфа Тона в частности. Новая газета («Северная звезда»[6]) стала выходить в Бельфасте с 4 января 1792 г. под редакцией Нильсона и сделалась руководящим агитационным органом. Целью газеты, как

указывалось в ее программных статьях, была проповедь необходимости коренной парламентской реформы на основе общего избирательного права и объединения ирландцев всех религий, а по мысли Вольфа Тона новый орган должен был сделаться главным распространителем известий о том, что делалось в эти годы во Франции, ибо, несмотря на отсутствие предупредительной цензуры как в Англии, так и в Ирландии, о быстро следовавших друг за другом событиях французской революции, подданные Георга III узнавали очень мало, очень поздно, очень плохо и в очень одностороннем освещении: нечто посильнее всякой цензуры было тому причиной. Французская революция с 1792 г. стала решительно непопулярна не только в аристократических кругах Англии, которые ненавидели и боялись ее с самого взятия Бастилии, но и в среде буржуазной, и общественное мнение Англии, подогреваемое к тому же национальным чувством ввиду призрака близкой и грозной войны с Францией, самым демонстративным образом обнаруживало свою вражду к французским делам и тенденциям. Ирландцы же заимствовали обыкновенно свои политические сведения из английских источников и хотя склонны были всякую английскую точку зрения принципиально отрицать именно в силу того, что она английская, но это мало помогало делу правильного и всестороннего ознакомления с революцией и ее принципами. Для Вольфа Тона уже тогда важно было «воздвигнуть Ирландию как независимую от Англии республику», а для воспитания страны в республиканских чувствах весьма существенным казалось знакомство с Францией, именно тогда превращавшейся в республиканскую страну.

К великой радости Вольфа Тона передовое ирландское общество с сочувствием встретило и поддержало пропаганду, и в этом смысле «Объединенным ирландцам» оказали большие услуги сыновья одного банкира из Корка — братья Генри и Джон Чирсы. Они много путешествовали по Франции и успели познакомиться с выдающимися революционными деятелями, например с Роланом и Бриссо. Они вернулись в Ирландию как раз в то время, когда террор во Франции еще только начинался. Они видели самое светлое время революции, период грандиозных мечтаний о космополитическом братстве, о полнейшем возрождении общества, о всеобщей освободительной войне «народов против деспотов». Вернувшись в Ирландию, они примкнули к «Объединенным ирландцам» и усилили франкофильское течение в обществе. Братья Чирсы принесли обществу, в которое вошли, свое необыденное по тем временам образование (библиотека их была из лучших в стране), знакомства и связи, свою твердую волю и желание быть полезными. Враги сразу обратили на них свое полное внимание. В 1793 г. лорд-канцлер заявил

в палате лордов, что братья Чирсы суть члены французского якобинского клуба и в качестве якобинских эмиссаров они состоят на жаловании и имеют миссию поддерживать брожение в Ирландии. Генри Чирс с негодованием опроверг это утверждение, а брат его собирался даже вызвать лорда-канцлера на дуэль: подобное обвинение не только затрагивало честь их, но оно в эту эпоху, т. е. в первую половину 1790-х годов, могло также скомпрометировать «Объединенных ирландцев» в тех ирландских общественных кругах, которые именно и предстояло еще завоевывать, которые колебались, боялись, не решались и гнали от себя мысль о союзе с Францией, мысль, фатально неустранимым призраком, с году на год все яснее и яснее выраставшую перед Ирландией.

Трудные и хлопотливые были эти годы (1792—1795) для Вольфа Тона. Пропаганда шла весьма деятельно, но все-таки не могла так скоро, как это желалось «Объединенным ирландцам», привести к окончательному результату. Редакция «Северной звезды» с Нильсоном во главе продолжала свое дело, несмотря на скудость средств и правительственные преследования, проявляя при всех злоключениях и препятствиях ту холодную энергию и упорство, которые так характерны для этого поколения. Временами Вольфу Тону действительно могло, по-видимому, казаться, что вся игра ведется как-то в пустую, что несложные, до азбучности удобопонятные принципы «Объединенных ирландцев» изо дня в день толкуются устно и печатно где-то в молчаливо-безответном пространстве. Подобный период присущ всякой без исключения пропаганде, подобно тому как штиль присущ океанам. В данном случае и штилевой период был сравнительно непродолжителен, и перенести его сумели очень стойко. С самого начала своей политической деятельности Вольф Тон не переставал держаться мнения, что Ирландия для своего освобождения от Англии самым серьезным образом нуждается во французской помощи. Когда в начале 1793 г. вспыхнула наконец война между Англией и Францией, Вольф Тон с обычной трезвостью взгляда решил, что его делу может важную услугу оказать не фразеология французская о братстве всех наций (столь пленившая братьев Чирсов), а то несомненное стратегическое соображение, что Ирландия, перейдя на сторону французов, сделается для них удобным местом высадки, серьезной союзницей и грозной базой для дальнейшей наступательной войны против Англии. Продолжая вместе с тем сознавать, что говорить об этом вслух еще рано, Вольф Тон решил действовать так, как действовал бы всякий министр иностранных дел, исподволь начинающий разработку известного дипломатического плана, но вовсе не считающий необходимым оповещать об этом urbi et orbi.

В начале 1794 г. начались сношения между французской республикой и Вольфом Тоном через посредство некого Джексона. Французам важно было узнать в точности о состоянии умов в Ирландии, а Вольфу Тону — о том, насколько желательная для него высадка входит в военные французские планы. Но Вильям Питт не только говорил вдохновенно, мыслил вдохновенно, поступал вдохновенно, он и шпионил тоже вдохновенно; направляя всю разведочную энергию обыкновенно не на тот пункт, который уже объят пламенем открытой борьбы и где по логике вещей сыск уступает место вооруженной силе, а туда, где даже еще без определенных симптомов, путем чисто априорных заключений можно предположить возникающую опасность, Вильям Питт уже давно не переставал переводить глаза с Парижа на Дублин и обратно. Вместе с тем он превосходно понимал, где именно ему следует либо употреблять интеллигентных шпионов, либо совсем никого, т. е. при каких обстоятельствах от обыденных сыщиков можно ожидать одного только вреда и огорчений. Приехав по делу своей тайной франко-ирландской миссии в Лондон, Джексон отправился к одному юристу Кокэйну, горячо ему рекомендованному, и поделился с ним своими планами. Кокэйн тотчас же передал обо всем Вильяму Питту, который, воздержавшись от немедленного заарестования Джексона, дал Кокэйну дальнейшее поручение: поехать за Джексоном в Ирландию, чтобы проследить, с кем тот будет видеться и войдет в сношения. Ничего не подозревавший Джексон в сопровождении своего молодого спутника отправился в Ирландию. Здесь, за обедом у общего друга Леонарда Мак-Нелли он виделся с Вольфом Тоном, который и написал для передачи французскому правительству мемуар о положении Ирландии; был в сношениях с Джексоном также Гамильтон Роуэн, один из видных пропагандистов, хотя сношения эти и не носили непосредственного характера. Кокэйн исправно и регулярно доносил обо всем Вильяму Питту, и в апреле (1794 г.) Джексон был арестован в Дублине. Роуэну удалось бежать из ньюгэтской тюрьмы, где он сидел; суд над Джексоном, над которым повисло обвинение в государственной измене, был отложен, а относительно Вольфа Тона до поры до времени никаких мер не было принято вследствие отсутствия вполне ясных улик, ибо была захвачена копия, а не рукопись мемуара. Тем не менее он оставался под сильным подозрением и мог ожидать более года ареста со дня на день. В это время он проявлял усиленную агитаторскую деятельность, как бы боясь, что не успеет сделать до ареста того, что нужно. Правительство со своей стороны решило покончить с «Объединенными ирландцами», и 4 мая 1794 г. полиция напала в Дублине на собрание общества, разогнала участников, захватила все бумаги, и затем начались

аресты. Это обстоятельство в связи с делом Джексона сильно смутило умеренную часть общества «Объединенных ирландцев». До сих пор они, во-первых, смотрели на себя как на ассоциацию, вполне легальную, а на Вольфа Тона как на человека, который, подобно братьям Чирсам, с негодованием мог бы опровергнуть всякое обвинение в сношениях с французским правительством.

Теперь дело круто изменилось. Началось отпадение более нерешительных элементов от общества, и перед Тоном встал вопрос, тем с большей настоятельностью требовавший от него разрешения, что он висел над агитатором с самого начала его деятельности, и который заключался вот в чем: будет ли ирландское общественное мнение на стороне решительной проповеди союза с Францией? Тон знал, что всякая отсрочка прямой и открытой постановки этой проблемы для него выгодна, ибо дает возможность усилить пропаганду в тех кругах, которые еще к подобной мысли не привыкли; и он, пока мог, скрывал свою программу. Но теперь, в 1794—1795 гг., обнаружилось ясно, что еще кто-то вполне разгадал его программу и спешит скомпрометировать *ею* «Объединенных ирландцев». Этот кто-то был Вильям Питт, который, не довольствуясь разгромом митинга 4 мая, арестом и преследованиями «Объединенных ирландцев» и всяческим раздуванием дела Джексона, одновременно, как оказалось, озаботился принять и другие меры для укрепления раскола среди своих врагов: вдруг разнеслись слухи, что правительство намерено сделать ряд уступок в пользу католиков и уравнять их в правах с протестантами. Вольф Тон сознавал всю тонкость этого шахматного хода Вильяма Питта; вот что писал ирландский агитатор о главной массе населения, о католиках, к которым он сам, протестант и республиканец, не принадлежал ни по религии, ни по убеждениям: «Если бы их не раздражала тирания каждый час и в каждом действии в течение всей их жизни, если бы они были свободно допущены к равному пользованию ирландской конституцией, они бы сделались по истинному духу их религии самыми мирными, послушными, преданными порядку и благонамеренными подданными (британской — *Е. Т.*) империи. Их гордое и старое дворянство и их духовенство склонялись даже скорее к феодальным, рыцарским и несколько торийским принципам, чем к демократии. Но общие страдания теперь соединили их в общей ненависти к правительству, в желании его ниспровержения». Вождь ирландских парламентских вигов Граттан, всеми силами желавший предотвратить восстание и, вопреки мнению о нем Вольфа Тона, действительно стремившийся к эмансипации католиков, посетил 15 октября 1794 г. Вильяма Питта и услышал из уст его обещание не противиться мерам, направленным

в пользу католиков. Мало того: ирландским вице-королем был назначен граф Фицвильям, которого Питт отпустил из Лондона с прямым разрешением способствовать уравнению католиков в правах с протестантами. Фицвильям, убежденный сторонник эмансипации, только потому и поехал в Ирландию в качестве вице-короля, что из разговоров с Питтом он вывел вполне определенное заключение о желательности для Питта полной эмансипации католиков. «Иначе я бы никогда не взял на себя управления»,— писал впоследствии Фицвильям графу Карлейлю [7].

Когда разнеслись по Ирландии слухи о разговоре Граттана с Питтом, и когда был назначен новый вице-король, Вольф Тон не мог не видеть, что теперь уже его покинут не одни только нерешительные люди из общества «Объединенных ирландцев», но миллионы католиков, ради которых он вел всю игру и без которых он был бессилен. План всеобщего восстания с целью превращения Ирландии в совершенно самостоятельную республику получал со стороны Питта весьма серьезный удар. Общее ликование встретило нового вице-короля, и все страшно трудно дававшееся дело систематической революционной агитации разом увидело себя висящим как-то в воздухе, без почвы, без голоса. Это было хуже полицейского набега 4 мая 1794 г., хуже обысков и арестов, хуже всех пока бывших репрессалий, хуже потому, что лишало «Объединенных ирландцев» главных кадров их будущей армии, превращало их из представителей общенациональных чаяний и стремлений в кучку никому не интересных франкофильствующих теоретиков-республиканцев. Но Вольф Тон еще сохранял спокойствие; он многое умел, в том числе умел и ждать. И судьбе угодно было на этот раз сократить его ожидания и устроить одну из тех волшебно быстрых перемен декорации, когда историческая сцена в один миг становится совершенно неузнаваема и для зрителей, и для актеров.

8

8 февраля 1795 г. вице-королю Фицвильяму написано было из министерства письмо, в котором этого сановника уведомляли, что дело эмансипации католиков нужно совсем отложить для пользы государства. Почти тотчас же Фицвильям подал в отставку, и Ирландия узнала о непонятнейшей неожиданной перемене курса, установившегося с конца 1794 г. и с начала 1795 г. Конечно, смотря на службу не только с точки зрения формуляра и жалованья, Фицвильям и не мог оставаться в должности вице-короля после подобного неслыханно крупного кризиса, но он возмущен был главным образом еще и поведением Питта, который незадолго до того так положительно выс-

казывался в пользу католиков и который прекрасно знал, что подразнить ирландцев надеждой и обещаниями и затем вдруг без всяких предисловий и приготовлений объявить о крушении их надежд и о лживости собственных обещаний равносильно прямой провокации восстания. Когда вице-король уехал из Дублина, его провожал как бы траурный кортеж: вместе с ним удалялись все чаяния мирного разрешения вопроса, владевшие большинством населения, и улицы столицы покрылись траурными флагами.

Что со стороны Вильяма Питта было *с самого начала*, с посылки либерального вице-короля, определенное желание *нарочно* возбудить надежды ирландцев, чтобы потом их внезапно обмануть и вызвать бунт, это доказать неопровержимо было бы трудно (хотя некоторые ирландские историки решительно на том настаивают). Но что, отзывая вице-короля, Питт уже знал, на что он идет, в этом тоже сомнения быть не может. Он впоследствии утверждал, что не хотел восстания, и даже сердился на тех, кого обвинял в давнишнем обострении англо-ирландских отношений. Быть может, разгадка лежит в том, что Вильям Питт не желал *такого* восстания, *такой* грозной вспышки, с высадкой французов, с тысячами трупов, с пожарами чуть не во всей стране. Отзывая вице-короля, он рассчитывал вызвать брожение, подавить его без труда и исполнить то, о чем всегда мечтал, т. е. уничтожить дублинский самостоятельный парламент, хотя и протестантский, хотя и англофильский, но все же бывший в его глазах помехой и могший стать когда-нибудь ячейкой формального отделения Ирландии от Англии. Но Питту пришлось испытать все неудобства, неизбежно вытекающие из всякой сложной и имеющей дело с массами политической провокации. Она была на этот раз хорошо обдумана и поэтому достигла своего конечного результата, но не в человеческих силах предвидеть будущее во всей его конкретности, и поэтому цену за полученный результат пришлось уплатить несколько выше той, какая предполагалась. Вот в каком смысле Питт действительно был прав, говоря впоследствии, что он не желал восстания 1798 г.

Дело в том, что опять враждебная ему сознательная сила вышла и встала на его пути. Эта сила упорно мешала благим для Англии междоусобиям между католиками и пресвитерианами; она же делала небезопасным всякий опыт эмансипации католиков, ибо грозила воспользоваться будущим католическим (т. е., значит, национальным) дублинским парламентом как орудием для достижения сепаративных целей; наконец, косвенно вынудив Питта после краткого колебания (разговора с Граттаном, назначения Фицвильяма) уже прямо выступить на путь провокации мятежа, она же властно вмешалась в дело и страшно его осложнила.

Вольф Тон к великой радости увидел, что никакой эмансипации католиков от английского правительства никто теперь ожидать уже не может. Разом и круто все повернулось лицом к революционерам и спиной к правительству, но это так было сначала больше в мысли, нежели в настроении: говорили, писали, жаловались, что правительство само гонит Ирландию на поле битвы, и все-таки смотрели на Питта, все-таки еще чего-то ждали, не спешили переменить позицию. На почве этого сложного общественного настроения и возникла идея (тотчас же после увольнения вице-короля, в феврале 1795 г.) послать в Лондон депутацию с целью представить английскому правительству всю невозможность предотвратить мятеж при подобных условиях и выразить протест против удаления Фицвильяма. В конце концов решено было только просить о возвращении Фицвильяма от имени «Католического комитета», вполне лояльной организации, которая в эти годы несравненно сдержаннее, чем «Объединенные ирландцы», но все-таки весьма настойчиво требовала эмансипации католиков. Вольф Тон имел прямые сношения с этим комитетом. Одна из опаснейших (для Англии) черт его характера заключалась в умении быть связью, живым мостом между умеренной оппозицией и революционерами, если только он мог ожидать от тех или иных представителей умеренной оппозиции каких-либо демонстративных проявлений их чувств. Комитет предложил ему (протестантская религия его не послужила препятствием) ехать в числе других своих делегатов в Лондон, и Вольф Тон согласился, явно имея в виду интересы своего дела, т. е. желая, чтобы его товарищи по поездке воочию увидели, насколько смешно ожидать чего-нибудь от Вильяма Питта. Вот что писал об этом много лет спустя человек не сочувствующий его взглядам: «Хотя он (Вольф Тон — *Е. Т.*) был акредитованным секретарем или агентом римского католического комитета и отправлялся в качестве таковего в Лондон вместе с другими делегатами, Кигом и Мак-Кормиком, я нашел, что он решительно, с отвращением и страхом не хочет и боится, чтобы католические лидеры не имели каких-либо сношений с Питтом и друзьями Питта, и что он лишь настолько стоит за эмансипацию, насколько это совпадает с его идеями о реформе на основании французских принципов».

Тот же автор пишет, что, по его убеждению, Тон был бы очень недоволен в сущности, если бы правительство на самом деле эмансипировало католиков, ибо «он видел, что это замедлило бы или сделало бы безуспешной большую реформу, которую он имел в виду», т. е. отделение Ирландии и превращение ее в демократическую республику.

В Бельфасте, в доме Самуэля Нильсона, издателя «Северной звезды», у автора этого любопытного мемуара[8] был разговор с

Вольфом Тоном, причем автор высказал мысль, что ирландцы могли бы освободиться без какой бы то ни было помощи со стороны Франции. «Если вы действуете, на основании подобного принципа,— возразил Вольф Тон,— то вы можете долго и с достаточным успехом продолжать заниматься своими канатными заводами и парусной мануфактурой, ибо без вторжения (французов — *Е. Т.*) *никогда* в Ирландии не будет *действительной* борьбы». При подобных убеждениях Вольф Тон мог только торжествовать, когда из петиции по поводу отставки Фицвильяма ровно ничего не вышло: Питт являлся в его глазах в данном случае товарищем и союзником в трудном деле — революционизировании мирно настроенных граждан.

Новый вице-король, лорд Кэмден, прибыл 31 марта 1795 г. При его встрече в Дублине произошли серьезные уличные беспорядки, во встречавших вице-короля сановников бросали камнями, дома начальствующих лиц подверглись нападениям, были вызваны войска, произошли стычки, и 2 человека из толпы были убиты. Надвигалась уже та эпоха приближения революции, когда каждый год чудовищно не похож на своего предшественника, когда каждый месяц несет с собой такие впечатления, каких прежде не было за 10 лет, наконец когда выступает самая характерная (ибо самая *объективная)* черта революционного периода: господство неожиданностей. Например, этой враждебной новому вице-королю демонстрации никто не подготовлял, никто не обдумывал ее хода и не настраивал ее участников, а она возникла сама собой. Согласно немецкой пословице, «кто сеет ветер, пожинает бурю». Ветер был посеян в Ирландии всеми условиями ее социально-политического быта, а приблизили бурю «Объединенные ирландцы» и английское правительство. Еще буря не наступала, но когда «сами собой» начинали случаться события неожиданно даже для их участников, это стихийное явление, очевидно для всех, было уже не за горами и неслось на Ирландию.

Тотчас после прибытия Кэмдена начались репрессалии, и стало несомненно, что реакция будет свирепствовать с давно неслыханной силой. 1795 год был во многих отношениях поворотным пунктом в ирландской истории. Усилия революционеров в этом году раздвоились: Вольф Тон уехал из Ирландии и обратился всецело к осуществлению своего плана привлечения французских войск, а «Объединенные ирландцы» остались в Ирландии, продолжая пропаганду и постепенно переходя к устройству общеирландского заговора. Но Тон уехал бы не так рано, если бы не был принужден это сделать. При лорде Фицвильяме и вообще при более или менее нормальных условиях власти его не могли бы тронуть, хотя он и был замешан в деле Джексона. Прямых улик не было, а показаний предателя

Кокэйна было мало. Теперь, при реакционном вице-короле, пребывание в Ирландии все-таки начинало казаться небезопасным. Окончательно это выяснилось после процесса Джексона. Суд над Джексоном, арестованным за год с лишком, наконец начался 23 апреля 1795 г. Уже давно ясно было, что все погибло, что Кокэйн — предатель, что правительству все до мелочей известно, что спасения нет. Одним из его защитников был Леонард Мак-Нелли, выдающийся юрист, литератор и член-учредитель общества «Объединенных ирландцев». В течение следствия «Объединенные ирландцы» составили серьезную и удачную комбинацию для спасения Джексона путем бегства, но Джексон отверг этот план по неизвестным причинам. Историк, наиболее обстоятельным образом остановившийся на джексоновском эпизоде и сопровождающих его обстоятельствах, о которых у нас будет сейчас идти речь, говорит, что Джексон утомился от жизни, и поэтому бегство его не манило. Процесс длился несколько дней, и когда 30 апреля его привели в суд, его лицо и тело судорожно подергивались и бледен он был, как мертвец, но взгляд выражал по-прежнему непреклонную решительность. В самом начале заседания он упал в конвульсиях на пол и почти тотчас же скончался: утром перед отправлением на суд жена по его желанию успела незаметно передать ему мышьяк.

Незадолго до процесса, когда его друг и защитник Леонард Мак-Нелли сидел у него в камере, Джексон написал несколько писем к людям, которые могли бы позаботиться о судьбе его семьи, а также составил завещание. На завещании он прибавил: «Подписано и запечатано в присутствии моего самого дорогого друга, чье сердце и принципы должны рекомендовать его как достойного гражданина, Леонарда Мак-Нелли». Джексон не знал (и не узнал до самой смерти, вскоре последовавшей), что в его камере сидит английский шпион, который все вручаемые ему бумаги перешлет Вильяму Питту.

Леонард Мак-Нелли, продавшийся английскому правительству, был для ирландских революционеров вне всякого сравнения опаснее, нежели даже Кокэйн, не говоря уже о шпионском плебсе, о тех фигурах, без толку засматривавших в окна и слонявшихся по Дублину и Бельфасту, которые больше, так сказать, совершали моцион по улицам и под предлогом пользы службы пьянствовали на казенный счет в посещаемых кабаках, нежели споспешествовали начальственным предначертаниям. Леонард Мак-Нелли имел не случайные связи с «Объединенными ирландцами», как какой-нибудь Кокэйн; его все знали, и он всех знал, и с первых же заседаний общества он на них присутствовал. Его многие не любили уже давно, а некоторые чувствовали непобедимое отвращение, но так как не было никаких явно подозрительных фактов, то это не отражалось на

его положении в обществе. Предателем он стал далеко не сразу; во время джексоновского дела, увидев себя скомпрометированным показаниями Кокэйна и других агентов, а также кое-какими иными уликами, Леонард Мак-Нелли и решил предложить свои услуги правительству. Вице-король Кэмден, пересылая бумаги покойного Джексона Вильяму Питту в Лондон, писал, что получил эти бумаги от Мак-Нелли, который всецело в руках правительства. Вице-король добавлял, что теперь Мак-Нелли мог бы поехать во Францию следить там за вдовой Джексона, которой французское правительство может помочь, ибо Джексон в своем завещании и последних письмах выразил надежду, что Франция поможет его семье. Так вот вице-королю и казалось, что хорошо бы, если б Мак-Нелли проследил в Париже, какие именно будут сношения между вдовой и французским правительством.

Но министерство менее верило в человечество, нежели вице-король, и поставило Кэмдену на вид следующее: боясь за себя, Мак-Нелли стал шпионом; а вдруг, будучи командирован во Францию, он там почувствует себя в безопасности и поведет себя злокачественно, т. е. перестанет шпионить и опять примется за революционные происки? Может ли его сиятельство ручаться, что это не произойдет? Его сиятельство ответил, что не может. Мак-Нелли остался в Ирландии, ему назначен был оклад в 300 фунтов стерлингов в год, и здесь он приступил к исполнению своих новых обязанностей. Он ужасен был тем, что никому и в голову не приходило, что он шпион. Он так долго был юрисконсультом «Объединенных ирландцев», говорил так революционно, казался столь преданным делу, что даже чисто личные антипатии, имевшиеся относительно него, не спешили проявляться. И он продолжал вращаться в самых тесных революционных кружках и в самых важных салонах легальной оппозиции, и к изумлению всех постоянно оказывалось, что глаза Вильяма Питта видят сквозь стены, а уши слышат самый тихий шопот. И как раз из Ирландии уехал человек, у которого был инстинкт, чтобы заподозрить предателя, неутомимая тонкость ума и хитрость, чтобы открыть его, и железная энергия, чтобы обезвредить.

В своем отчете, написанном для французского правительства и найденном при аресте Джексона, Вольф Тон изображал Ирландию весьма близкой к восстанию и, следовательно, вполне расположенной принять французский десант самым дружественным образом. После процесса Джексона правительство, не имея возможности доказать вполне ясно, что этот (переписанный кем-то) отчет принадлежит именно Вольфу Тону, дало тем не менее понять, что оно будет его преследовать. Все-таки (благодаря отчасти вмешательству многочисленных и влиятельных

друзей Тона) ему позволили выехать из страны, куда пожелает, но выехать во что бы то ни стало. В Дублине он виделся с Томасом-Эддисом Эмметом, на которого (совершенно, как увидим, справедливо) возлагал весьма большие надежды и который достойно заменил его в эти годы на родине. Оттуда он с женой, сестрой и тремя детьми поехал в Бельфаст, где все они сели на отходившее в Филадельфию судно. Перед самым отъездом он прощался с Нильсоном, Мак-Крэкеном, Росселем и Симсом, своими товарищами. Расстававшиеся торжественно поклялись никогда не прекращать борьбы, пока не низвергнут английского владычества, никогда не оставлять начатого дела, никогда не полагать оружия до достижения Ирландией полной самостоятельности. Когда судно, увозившее Вольфа Тона, пропало вдали Атлантического океана, едва ли бельфастские власти, на обязанности которых было донести вице-королю о совершившемся отъезде, могли предполагать, что этот человек еще вернется на родину, приводя с собой иностранную армию.

9

Реакция, с которой в 1795 и в следующие годы пришлось считаться ирландским революционерам, была не только правительственной, проявлялась не только в официальных вещаниях и публичных заседаниях и олицетворялась не только чиновниками. Вся английская история приучила граждан к широчайшей самодеятельности, а жившие в Ирландии англичане-епископалисты, окруженные всегда враждебным населением, и подавно привыкли смотреть на самопомощь как на дело первой необходимости. Подобно правительству, они деятельно стравливали ирландцев-пресвитериан с ирландцами-католиками, принимали живейшее участие в драках между ними, всегда, конечно, в рядах «предрассветных парней» против католиков-дефендеров, защищавшихся от добровольческих домашних обысков и других насилий. Общество «Объединенных ирландцев» в лице Нильсона, Тилинга и иных своих членов, деятельно вмешавшись в эту борьбу, как уже сказано, упорно добивалось примирения враждующих сторон. Тогда англичане пришли в живейшую тревогу, которая особенно усилилась со времени следствия по процессу Джексона: французское нашествие, всеобщее восстание, убийства и изгнания стали грозным и близким призраком перед юридически господствовавшей, но численно слабой в Ирландии расой. Под влиянием систематической революционной пропаганды, а, быть может, еще более под влиянием внезапно обманутых надежд католики с весны 1795 г., после отозвания вице-короля Фицвильяма, перешли в наступление гораздо решительнее, нежели прежде. Целый ряд нападений на

протестантские дома и поместья был ознаменован грабежом и убийствами; целый ряд арестов сопровождался самыми суровыми приговорами, а иногда и расправой без всякого суда. Среди английского общества в Ирландии все более и более укреплялась мысль действовать подобно врагам, т. е. как Вольф Тон и его товарищи: отправиться самим на пропаганду в пресвитерианские округи и там действовать словом и убеждением. Было разослано много деятельных агентов с целью проповеди религиозной вражды между ирландцами обоих вероисповеданий, и так как эти агенты всюду встречали полное сочувствие чиновников вице-короля Кэмдена, то кое-что в желаемом направлении им сделать удалось. В сентябре ряд стычек в графстве Эрмоге окончился кровавым столкновением при Дайемонде, где несколько десятков человек было убито, а еще больше ранено. Победа осталась на стороне протестантов. Конечно, никакого стратегического или политического непосредственного значения подобные победы или поражения не играют в междоусобной гверилье, но дайемондское происшествие сильно подбодрило англичан и заставило их, не теряя времени, собрать первое заседание давно уже предположенного нового общества. 21 сентября 1795 г. вечером после дайемондской битвы произошло первое собрание «оранжистов».

Они назвали себя оранжистами в честь и в память Вильгельма III Оранского, короля Англии, призванного на престол после низвержения в 1688 г. Якова II. Вильгельм III усмирил в Ирландии восстание, при нем огромные земли были там конфискованы и отданы в руки англичан, при нем отчасти утверждены, отчасти вновь созданы стеснительные для католиков законы. Его имя всегда вспоминалось ирландскими англичанами с почтением и благодарностью как устроителя и завершителя их экономического и политического преобладания в завоеванной стране. Но, прикрывшись именем Вильгельма III, оранжисты обнаружили не только логичность, а еще и большой такт. Дело в том, что опрометчив и неосторожен тот насильник, который откровенно и гласно ведет свою родословную от другого насильника, ничем, кроме ударной силы, не отличившегося, и только очень уже простодушные люди в истории хвалясь говорили, подобно сумароковскому «самозванцу», о себе как о злодеях, а о своих собственных делах как о преступлениях, и то говорили бессознательно. С деятелями, за которыми была прожитая их предками многовековая политическая культура, ничего подобного случиться не могло. Они знали, что Вильгельм III был не только усмирителем Ирландии, но и олицетворением победы над Яковом II, над деспотизмом; что с его воцарения началась уже не прерывавшаяся эпоха строго конституционной жизни; что виги его считали живым палладиумом

английских вольностей. Когда Ирландия вздумала на свою беду встать для защиты Якова II, потому что он был католиком и воцарение протестантского короля Вильгельма грозило ирландским интересам, против восставших были все англичане, не только обычные враги Ирландии, но и люди с самыми светлыми, освободительными взглядами. Усмирить ирландцев в 1688—1689 гг. значило лишить изгнанного тирана Якова II последней надежды на английский престол. Вильгельм III это и сделал.

Оранжисты совершенно верно могли рассчитать, что благодаря стечению таких совсем исключительных обстоятельств Вильгельм остался в ореоле победителя деспотизма и слуг деспотизма и что популярнее того усмирения никакое иное быть не может. А им нужна была моральная поддержка метрополии, не только материальная, им важно было изобразить себя стоящими на аванпосте и страже английской свободы и самостоятельности, не только борющимися за свои привилегии и интересы. Тогда, в XVII в., говорили оранжисты, врагов Англии поддерживал деспот Людовик XIV, помогавший Якову и ирландцам; теперь ирландских бунтовщиков хочет поддерживать французская Директория, т. е. тот же вековечный иноземный неприятель. Следовательно, необходимо воскресить традиции Вильгельма III и дружно, сообща бороться против бунтовщиков-католиков. Все это искусственное приплетание имени Вильгельма было шито белыми нитками, но оранжисты заботились о впечатлении и его бесспорно произвели. Это были уже не «предрассветные парни», не буянящая пресвитерианская деревенская молодежь. Представители среднего, а спустя некоторое время и высшего класса английского населения Ирландии примкнули к оранжистам, и новое общество сделалось главной воинствующей организацией, прямо направленной против католических домогательств и против всех стремлений «Объединенных ирландцев». «Предрассветные парни» были армией, а оранжисты — главным штабом и офицерами, предводителями и вдохновителями, заступниками и адвокатами перед властями и на суде в тех случаях, когда ужасы, производившиеся «предрассветными парнями», выходили решительно из ряду вон. Впрочем, с этих пор самое название «предрассветных парней» понемногу исчезает и заменяется термином «оранжисты». Страшное время наступило для католиков. Шайки оранжистов иногда во время ночных нападений отрезывали им уши, выкалывали глаза, рубили пальцы, иногда убивали совсем, не стесняясь количеством. Например (около года спустя после образования нового общества), в одну ночь без всякой причины были зарезаны католики-арендаторы графа Черльмонта, причем число их определялось в 18 душ. Подобных событий за

1795—1798 гг. можно насчитать довольно много. В первые же недели после образования оранжистов пожары католических домов стали совершенно обычным явлением, так же как насильственный вывод целых семей из жилищ, часто совершенно нагими для большего издевательства, и изгнание их с арендуемых участков, причем лендлорд денег не возвращал, а власти в ответ на исступленные жалобы измученных и голодных жертв говорили, что они очень жалеют, но ничего поделать не могут. Нападения были ужасны тем, что решительно ничем не вызывались, и их мог ожидать буквально всякий крестьянин-католик каждый день; нападавшие были умело организованы и вооружены, а власти делали только деликатные упреки руководителям оранжистов за нарушение тишины и спокойствия. Изредка только отдавали под суд очень уже явно уличенных убийц; так, в июле нескольких оранжистов судили и двух повесили, а остальных оправдали, несмотря на тягчайшие улики и гнусные преступления, в которых они обвинялись.

Это была какая-то истребительная война, ведшаяся с холодной жестокостью. Англиканское духовенство при этом случае убедительнейше доказывало от Писания, что оранжисты надлежащим образом истолковывают учение Христа, многочисленные голоса в обеих палатах дублинского парламента горько упрекали католиков в том, что они сами вынуждают оранжистов к такому с собой обращению, а потом еще преувеличивают свои беды и жалуются. И в литературе тоже много и горько упрекали католиков в нежелании понять наконец, что если оранжисты их режут, то во всяком случае делают это из самых похвальных чувств. «Оранжисты почти всецело состоят из членов господствующей (установленной, англиканской — *Е. Т.*) церкви, они привязаны к установленному правительству этого королевства, к связи между этим королевством (Ирландией — *Е. Т.*) и Англией... и все, что они недавно сделали, проистекало из этих привязанностей» [9],— писал один из этих литературных апологетов всех оранжистских неистовств. Конечно, если бы оставалась еще хоть тень возможности, что революции в Ирландии не будет, то и эта тень при подобных условиях весьма скоро исчезла бы.

Во всех концах Ирландии с удивительной быстротой вырастали католические дружины дефендеров, имевшие специальной целью отражать набеги оранжистов, и с небывалой силой вновь начались упорные и повсеместные сшибки этих двух враждебных элементов. Теперь уже совершенно открыто интеллигентные руководители становились во главе обоих лагерей; карты были совсем раскрыты, и обе фракции знали, что дело у них пойдет уже не только о католиках, но и об отделении Ирландии. Мысль, которую должен был всего

3—4 года перед тем так глубоко таить про себя Вольф Тон, теперь стала на очереди дня.

«Объединенные ирландцы» еще 10 мая 1795 г., т. е. за 10 дней до отплытия Вольфа Тона в Америку, закончили некоторые изменения в программе организации общества. Что касается программы, то в виде конечных целей были выставлены полное отделение Ирландии и введение в этой стране республиканского образа правления, и прежняя схема — требование парламентской реформы на почве уравнения прав всех религий и национальностей — была оставлена сначала вождями, а потом и большинством членов. Относительно организации, также в соответствии с изменившимися условиями, были приняты особые меры. Усилена была конспирация ввиду того, что при лорде Кэмдене не только увеличился штат сыщиков, но и оранжисты с величайшей охотой брали на себя соглядатайство, которому предавались вовсе не по-дилетантски. Каждый отдельный кружок «Объединенных ирландцев» должен был состоять из 12 человек; делегаты от этих кружков, расположенных в известной местности, составляли низшие комитеты данной местности; уполномоченные от низших комитетов составляли комитет данного округа; делегаты окружных комитетов составляли собрание графства, из делегатов собраний графств составлялись провинциальные директории, а уполномоченные, выбранные провинциальными директориями, собирались в Дублине в количестве 5 человек, и это собрание, называвшееся главной директорией, ведало и распоряжалось всеми делами пропаганды и подготовления открытого бунта. Имена этих 5 человек были известны лишь очень немногим лицам в организации, а приказы их передавались по нисходящим степеням — от высших комитетов к низшим.

Несмотря на сыск, на неразоблаченных шпионов (вроде Мак-Нелли), на многочисленность членов общества, эти меры все-таки сильно помогали деятельности «Объединенных ирландцев», и вице-король никак не мог обнаружить сильно им подозревавшейся связи между «Объединенными ирландцами» и дефендерами. Когда с осени 1795 г. нападения и насилия оранжистов и слившихся с ними (de facto) «предрассветных парней» усилились, отпор, данный дефендерами, систематический и самый решительный, показывал ясно, что они тоже не одни, что у них тоже есть наставники и руководители.

В 1796 г. оба лагеря уже начали открытую войну, с непрерывными столкновениями, внезапными нападениями, убийствами и поджогами. Дефендеры тоже иногда позволяли себе самые свирепые издевательства над своими жертвами и самые дикие насилия, например, над пленниками. В смысле человечности обе стороны друг друга стоили. И чем больше свирепела

эта борьба, тем более в глазах «Объединенных ирландцев» и дефендеров становились серьезнее слова Вольфа Тона, что борьбы *действительной,* т. е. имеющей окончиться какими-нибудь положительными результатами, без французской помощи не будет. Не потому, конечно, что миллионы ирландцев бессильны перед полумиллионом англичан, а потому, что метрополия будет высылать на остров одну армию за другой, и с этими армиями инсургенты не справятся. Когда Питт отозвал вице-короля Фицвильяма, когда правительство явно покровительствовало оранжистам и закрывало глаза на все их безобразия, можно было выставить две гипотезы о мотивах английских действий: во-первых, не делает ли так правительство по необдуманности, не зная, что такая политика грозит мятежом; во-вторых, не есть ли это ряд обдуманных всесторонне политических ходов, именно чтобы вызвать мятеж? Первая гипотеза, некоторое время нравившаяся парламентской оппозиции, отпадала сама собой: не таков был Вильям Питт, один из замечательнейших политиков всей английской истории, чтобы поставлять материал для анекдотов на тему о непонимании и недальновидности; это был настоящий государственный ум, а не узенький, чиновничий, думавший только о сегодняшнем дне. Значит, оставалось второе предположение: думая сначала избегнуть грозившего восстания уступками, он вовремя для себя увидел, что эти уступки окончатся либо отделением Ирландии, либо все-таки восстанием, и решил рассечь гордиев узел: вызвать поскорее это восстание и, подавив его, окончательно скрепить владычество Англии над Ирландией. Оставался лишь один пункт, не вполне выясненный для «Объединенных ирландцев»: принял ли в расчет Вильям Питт французское нашествие? Можно было предположить, что принял и все-таки уверен в победе. Но тут уже подобное предположение не могло испугать и не пугало ирландских революционеров: война между двумя могущественнейшими державами Западной Европы могла окончиться победой одной из сторон, шансы в точности высчитать было весьма затруднительно. Близился решительный час, когда все зависело от того или иного решения французского правительства. Вольф Тон из-за границы ободрял оставшихся надеждами и примером собственной изумительной деятельности. В эту-то эпоху и выступил на помощь ему из революционных рядов другой герой ирландского восстания — лорд Фицджеральд.

10

Лорд Эдуард Фицджеральд, вместе с Эмметом и О'Коннором заменивший Вольфа Тона во время его отсутствия в Ирландии и очень скоро после вступления своего в активную ре-

волюционную деятельность предназначенный «Объединенными ирландцами» на пост главнокомандующего в ожидаемом восстании, родился в 1763 г. Он принадлежал к одной из самых аристократических семей Великобритании, его отец и старший брат носили титул герцогов Лейнстерских. Лорд Эдуард воспитывался во Франции, где и оставался до 1779 г. Шестнадцати лет он вернулся в Англию и, согласно традициям своего круга, поступил на военную службу. Вскоре его отправили в Америку, где кипела борьба между англичанами и восставшими колонистами. Совершенно из ряду вон выходящая храбрость юноши обратила на него внимание товарищей и главнокомандующего и дала ему весьма высокое (для его лет) положение в армии. Впрочем, вместе с войной окончилась и его военная карьера. Вернувшись в Ирландию, он вскоре сделался членом дублинского парламента (нижней палаты, по выбору от местечка Эти). Потянулись скучные годы, прямо убивавшие молодого человека, полного сил и энергии, которая еще никуда не была определенно направлена, но решительно не могла идти на выслушивание парламентской болтовни. Что дублинский парламент фактически совсем бессилен и является марионеткой Вильяма Питта (хотя Питту все-таки не нравилось существование этого учреждения), лорд Фицджеральд нимало не сомневался, как и все умные политики той эпохи, а так как он был человеком не слов, но действий, натурой активной по преимуществу, то ему иногда становилось прямо невмоготу сидеть все с одними и теми же людьми и слушать одно и то же. Он даже выражал мысль, что если бы не горячо любимая мать, то он уехал бы вон из Ирландии и принял бы участие в русско-турецкой войне, все равно, на стороне ли турок, или русских. Светская жизнь его интересовала очень мало, ничего он по душе себе не находил. Но история не дала ему стать «лишним человеком». Со второй половины 1780-х годов началось усиление брожения в Ирландии; лорд Фицджеральд присмотрелся к этому явлению и нашел, что не против турок и не против русских призван он сражаться. Но эта мысль созрела в нем далеко не сразу. Он много путешествовал в конце 1780-х годов по континенту и по Америке. Его бесконечно прельщали североамериканские политические порядки,— это, впрочем, было характерной и распространенной чертой европейской молодежи накануне французской революции. Вильям Питт уже что-то учуял не совсем благонадежное в молодом человеке, когда тот вернулся из путешествия, и, несмотря на знатную и сильную родню, решил ходу ему не давать. Демократические тенденции лорда Фицджеральда все усиливались. Его потянуло в Париж, где разыгрывалась революция, приковывая к себе все больше и больше тревожное и радостное,

злобное и восторженное внимание всех политических лагерей европейского общества. В 1792 г. он женился на удивительной тогдашней красавице, которую звали Памелой и считали дочерью г-жи Жанлис и герцога Орлеанского. Памела была женщиной замечательной. Это поколение, подобно почти всякому революционному поколению, выдвинуло тип женщины-революционерки, не только старавшейся делать свою работу наравне с мужчинами, но и умевшей весьма часто поддержать в нужный момент бодрость духа товарищей. Мы ошиблись бы, причислив лэди Фицджеральд без оговорок к этому типу. Она была гораздо менее полезна и гораздо более сложна. Это был тонкий ум, из тех, по-видимому, умов, которые нуждаются очень часто в знаниях, но никогда не в средствах и способностях к осмыслению познаваемого. Она охотно и легко предавалась тем или иным идейным интересам; эстетическое начало было в ней сильно, а прирожденные эстетики иногда ненавидят гнет с примесью какой-то гадливости, т. е. ненавистью, которая если не сильнее, то прочнее всякой иной. Вот почему, быть может, она так скоро увлеклась планами и идеями своего мужа.

Лорд Эдуард Фицджеральд, окончательно превратившийся в ирландского революционера в 1792—1796 гг., с 1796 г. стал весьма видной величиной среди «Объединенных ирландцев» и объявил себя безусловным сторонником французского нашествия. Французские связи его жены далеко не всегда были ему полезны. Революционное правительство косо посматривало на лэди Памелу, в жилах которой текла королевская кровь; самому лорду Фицджеральду многими приписывалось желание стать королем независимой Ирландии. На деле ни муж, ни жена ничем не обнаружили ни аристократических тенденций, ни честолюбивых наклонностей. Вокруг на лорда Фицджеральда после первых же его действий по организации военных сил общества «Объединенных ирландцев» стали смотреть как на революционную величину первого ранга. Военная опытность помогала, природные способности еще больше. Он так же фанатично предался делу ирландской революции, как и Вольф Тон, но у него было больше чисто юношеского огня и меньше дипломатической сдержанности. Он был и лицом, и душой необыкновенно молод. И не только за организаторские способности его любили и ценили: его в несколько месяцев узнал весь народ, он стал, по выражению одного своего биографа, народным *идолом,* а для этого нужно нечто большее, чем только взвешиваемые умом заслуги или во всяком случае нужно нечто сверх заслуг. Его личность влекла к себе, и все воспоминания о нем близко его знавших сбиваются на дифирамб. Со своим живым, впечатлительным, увлекающимся характером, неглубоким, но быстро схватывающим умом он был более национален, нежели,

например, Вольф Тон, и народная душа это уловила. Главный исполнительный комитет к общему восторгу назначил его генералиссимусом инсургентов в будущем восстании, и уже к весне 1798 г. лорд Фицджеральд не то что улучшил, а создал военную организацию, до сих пор существовавшую больше на бумаге, если понимать под организацией нечто планомерное, связывавшее отдельные, готовые к бою, кружки. И он, и жена его вносят какую-то поэтическую ноту в мрачные страницы ирландской истории конца XVIII в., но лэди Фицджеральд все-таки была чужой, случайной участницей событий, а ее муж ставил на карту свою жизнь и ни о чем, кроме успеха восстания, не думал.

И муж, и жена страстно любили Францию и французов и с надеждой ждали помощи. В 1796 г. всецело торжествовала мысль Вольфа Тона: не начинать ничего, пока не высадятся французы. Отсутствие Вольфа Тона в Ирландии не пропадало для страны даром.

11

Прибыв в Филадельфию, Вольф Тон почти тотчас же вступил в непосредственные сношения с Адэ, представителем Франции в Филадельфии. Он подал Адэ докладную записку о состоянии Ирландии и о существенных интересах, которые могли бы быть извлечены французским правительством из высадки в Ирландии. Он утверждал, что ирландцы всех вероисповеданий уже объединены ненавистью против англичан и что «руки их протянуты к Франции, прося о помощи».

Этот мемуар был во французском переводе представлен французской Директории и до поры до времени был положен под сукно. У Директории на руках находилась такая масса дел огромной важности, что проекты Вольфа Тона никак не могли сразу же занять внимание директоров. Но ирландцы скоро о себе напомнили. Весной 1796 г. лорд Фицджеральд ввиду переполнения Парижа шпионами Вильяма Питта отправился не в столицу Франции к ее центральному правительству, а в Гамбург, где и имел ряд свиданий с французским посланником Рейнаром. Повторяя уверения Вольфа Тона о полной подготовленности Ирландии к восстанию в случае своевременной помощи со стороны французов, Фицджеральд добавлял, что можно рассчитывать на 10 тысяч уже готовых и вооруженных людей и на 150 тысяч вооружающихся, и таких, на участие которых в восстании можно вполне рассчитывать. При этом добавлялось, что совершенно произвольные, часто вполне бессмысленные аресты, которые позволяет себе делать английское правительство, обозлили до последней степени самых мирных людей

всех классов общества и что французская армия будет встречена всеми как избавительница. Директория с тем бо́льшим вниманием отнеслась к сообщению своего гамбургского представителя, что в Париж прибыл в эту же весну 1796 г. (вернее, еще зимой, в феврале) Вольф Тон, покинувший Америку, чтобы иметь возможность лично беседовать с французскими правителями. Фанатик очутился лицом к лицу с дипломатами, неискренними, холодными, осторожными и расчетливыми. И он быстро понял, как и что ему нужно говорить им, ибо сила чувства, постоянно и исключительно управлявшего всеми его действиями, не мешала ему зрело обсуждать каждое слово. Зная, что им и без его убеждения известна весьма хорошо польза для Франции прямого нападения на Англию в ее же собственных европейских владениях, он старался изо всех сил убедить французских генералов, мнение которых для Директории имело решающее значение, что исполнение этого проекта не представит никаких особых затруднений. Ему удалось убедить их, что в английском флоте есть много ирландцев, которые в критическую минуту могут оставить английский флаг; что силы англичан разбросаны (и не могут не быть разбросаны) по враждебной им стране, где сообщения чрезвычайно плохи; что вполне мыслимо нападение даже на берега самой Англии, не только Ирландии.

Французского языка Вольф Тон не знал и ни единого знакомого в Париже не имел, и однако успел быстро добраться до самого Карно, до Гоша, до людей, серьезно поставленных в официальном мире. Он понравился в конце концов всем, с кем он в Париже встречался, и ему дали военный чин во французской армии. Он убеждал французских генералов, что необходимо ввезти в Ирландию возможно больше оружия и всяких военных припасов для вооружения «Объединенных ирландцев» и всех инсургентов вообще. По его мнению, для успеха предприятия необходимо было высадить 20 тысяч человек, а минимальная цифра десанта должна была бы быть, по его словам, 5 тысяч. По его подсчету, в Ирландии жило $4^1/_2$ миллиона человек, а из них только 450 тысяч англиканского исповедания (по его статистике, 3 150 000 ирландцев-католиков и 900 тысяч ирландцев-протестантов-диссентеров, т. е. главным образом пресвитериан; статистика эта, впрочем, точностью отнюдь не отличалась, хотя в общих чертах давала приблизительное представление о положении вещей). Тотчас после высадки, говорил Тон, возгорится и удастся общее восстание, а затем земли и собственность англичан все будут конфискованы, французы гарантируют Ирландии ее независимость, и в стране соберется конвент представителей ирландской нации. Затем Ирландия будет провозглашена независимой республикой.

Карно и Гош весьма благосклонно отнеслись к плану Вольфа Тона, но Директории все же хотелось, чтобы в Ирландии вспыхнуло восстание еще до появления французских войск. Однако и Тон, и (независимо от него) лорд Фицджеральд со своим товарищем О'Коннором — все отвергли самым решительным образом предложение Директории. Впрочем, в Париже на этом не особенно настаивали. Время было горячее, только что была завоевана Северная Италия, перед французами бежали одна за другой старые европейские армии, и очень многое стало казаться легким и возможным. Гош взял на себя начальство над десантным отрядом, и самый отряд (около 15 тысяч человек) был достаточно велик, но Вольфа Тона приводил в отчаяние французский флот. Он видел, что могучая на континенте нация на море будет непременно побита англичанами, и единственной его надеждой было избегнуть как-нибудь встречи с английским флотом. Солдаты были посажены на 43 судна различных наименований и размеров и 15 декабря 1796 г. отплыли из Бреста на северо-запад. Вольф Тон был с ними.

Несчастья начались почти тотчас по отплытии. Один корабль затонул, другие отбились от экспедиции и никак не могли найти дорогу. Что было хуже всего, это то обстоятельство, что уже через 2 дня после отплытия от экспедиции отнесло корабль, на котором находился главнокомандующий, генерал Гош. Силясь нагнать своих, корабль встретился с английским фрегатом, который преследовал его несколько часов подряд.

Затем жестокий шторм унес его еще дальше, и в конце концов Гош вернулся во Францию, ничего не зная об участи своей экспедиции. «Морские дела, вижу я, не из сильных наших сторон»,— с грустной иронией пишет Вольф Тон в своем дневнике. Все же остатки этого разбросанного флота (около 7 тысяч солдат на 15 судах) вошли в залив Бантри 22 декабря, спустя неделю после отплытия. На берегах все было тихо и спокойно.

Английские власти сначала страшно встревожились, но вскоре начали собирать серьезные силы, раньше нежели Груши (заменивший отсутствовавшего Гоша) решил, что ему делать. Наконец, он решился все-таки высадиться, несмотря на поистине отчаянные обстоятельства, на уменьшение почти втрое десантного отряда еще до встречи с врагом. Но несчастье продолжало преследовать экспедицию. Флот стоял в заливе, и нужно было подойти совсем к берегу, чтобы начать высадку. Поднялся страшный ураган и свирепствовал день, ночь и следующий день. Высаживаться при урагане не было ни малейшей возможности, а после него — не усматривалось никакого смысла, ибо англичане за это время успели сосредоточить зна-

чительные силы на суше, да и флот их мог налететь с моря на французские корабли и потопить их. Было решено уйти назад как можно скорее, и 1—2 января 1797 г., через 17—18 дней после отплытия, экспедиция по частям начала прибывать в брестскую гавань; в течение первых недель января вернулись и те, которых отнесло в сторону еще при первых шагах экспедиции в открытом море. Предприятие кончилось без единого выстрела.

Английские историки любят сравнивать декабрьские морские бури 1796 г. с тем ураганом, который избавил Англию в 1588 г. от непобедимой армады. Но, конечно, подобное сравнение довольно натянуто: опасность на этот раз была для Англии несравненно меньше. Тем не менее слепой случай избавил англичан от весьма серьезного осложнения ирландских дел, и они решили во что бы то ни стало потушить беспорядки раньше, нежели французы снова явятся. А что подобное может случиться, что Вольф Тон, несмотря на крах вызванной им с огромными усилиями экспедиции, снова с прежней неукротимой энергией хлопочет перед французским правительством о повторении предприятия, об этом в течение всего 1797 г. шпионы Вильяма Питта, находившиеся в Париже, не переставали доносить по начальству. Еще в 1796 г. администрация при полнейшем одобрении и соучастии дублинского парламента провела «Акт об инсуррекции», согласно которому смертная казнь грозила всем, произнесшим «беззаконные присяги», т. е., другими словами, всем «Объединенным ирландцам». Обыски у католиков, приводившие к открытию огнестрельного или холодного оружия, кончались самыми варварскими репрессиями; оранжисты уже официально провозглашались опорой трона и верными сынами отечества. Революционеры видели, что правительство изо всех сил хочет вызвать их на бой немедленно, пока они не готовы. Лорд Фицджеральд и его товарищи всеми зависевшими от них средствами сдерживали своих соратников, чтобы не разрушить общей программы действий, чтобы подождать, чем кончатся новые усилия и старания Вольфа Тона в Париже. Но сдерживать ирландцев становилось все труднее и труднее.

В сущности, восстание было во многих местностях в ходу уже в 1796 г., а репрессии тоже достигли такой степени и таких размеров, что, казалось, в ближайшем будущем могли в худшем случае остаться лишь в прежнем виде, но никак не усилиться, ибо усилиться было невозможно. Но в 1797 г., после первой попытки французской высадки, обнаружилось, что в этой области прогресс всегда возможен. Вот что говорил 22 ноября 1797 г. в британской палате лордов один из очень немногих там более или менее беспристрастных людей: «Милорды! Я видел в Ирландии самую нелепую и самую отвратительную

тиранию, под какой когда-либо стонала нация. Нет в Ирландии, милорды, ни одного человека, которого нельзя было бы выхватить из его дома в любой час дня и ночи, подвергнуть строжайшему заточению, лишить всякого сообщения с людьми, ведущими его дела; с которым нельзя было бы обращаться самым жестоким и оскорбительным образом, причем он вовсе не знал бы даже, в каком преступлении он обвиняется и из какого источника вышло донесение против него. Ваши сиятельства до сих пор чувствовали отвращение к инквизиции. Но в чем же это страшное установление отличается от системы, проводимой в Ирландии? Правда, люди не растягивались на пыточной раме в Ирландии, потому что под руками не оказалось этого страшного снаряда. Но я знаю примеры, когда люди в Ирландии ставились на острые столбики, пока не лишались чувств; когда они приходили в сознание, их снова ставили, пока они вторично не лишались чувств; когда они вторично приходили в сознание, их в третий раз ставили на столбики, пока они в третий раз не падали в обморок; и все это, чтобы исторгнуть от пытаемых страдальцев признание либо в их собственной виновности, либо в виновности их ближних. Но я могу пойти еще дальше: людей подвергали полуповешению (полузадушению) и потом возвращали к жизни, чтобы страхом повторения этого наказания заставить их признаться в преступлениях, в которых их обвиняли». Все это было чистейшей правдой, и оратор далеко не перечислил того, что вытворялось либо властями, либо отрядами оранжистов, когда им удавалось поймать лиц, могущих, по их мнению, знать важные тайны инсургентов. Впрочем, пытки и квалифицированные казни постигали и рядовых участников восстания. Инсургенты тоже в 1797 г. намечали тех лиц из чиновников, офицеров и частных лиц — оранжистов, которые казались им вреднее других, и убивали их. Эти убийства иногда происходили из засады, иногда же отряд инсургентов являлся в поместье и требовал выдачи искомого лица под угрозой истребления всех остальных, и если выдача не происходила тотчас же, нападавшие приводили в исполнение свою угрозу. Борьба свирепела. Еще не вся Ирландия была ею охвачена, но уже английские военные власти чувствовали себя в весьма затруднительном состоянии, ибо им приходилось слишком широко разбрасывать имевшиеся в их распоряжении силы. С 1796 г. необыкновенно участились убийства сыщиков, а также свидетелей, дававших показания в политических процессах в пользу обвинения, судей, известных своей суровостью, администраторов, проявлявших наибольшую активность. Террористическая тенденция проявлялась все чаще и решительнее, но «Объединенные ирландцы» оставались к ней не причастны; подобно всякой организации, ведущей широкую революционную пропаганду с ко-

нечной целью всеобщего национального восстания, они опасались вводить террор в свою программу уже потому, что это de facto изменило бы все методы их действий. Действовало еще и то, что главные члены общества считали террористическую борьбу не выдерживающей критики с точки зрения нравственности. Но были среди этой ассоциации и другие голоса (особенно между самыми низшими в иерархическом смысле кружками). Они утверждали, что при образе действий, какого стало придерживаться английское правительство, им не остается ничего другого, как отвечать на систематические насилия систематическими насилиями, на убийства отдельных лиц убийствами отдельных лиц, на виселицу — ножом. В феврале 1797 г. произошли аресты чуть ли не во всех главных городах Ирландии, а затем полицейские ночные набеги уже не прекращались.

Была разгромлена и прекратилась вскоре после этого газета Самуэля Нильсона «Северная звезда», и завелось несколько новых, регулярно и нерегулярно выходивших органов, из которых некоторые (например, «Press») приняли явно террористическую окраску. С конца 1796 и начала 1797 г. управление всеми делами организации «Объединенных ирландцев» перешло в руки Томаса-Эддиса Эммета, юриста, известного своими обширными познаниями, ораторским талантом и, что в данном случае было гораздо существеннее, организаторскими способностями; кроме него, большое значение в обществе получили Артур О'Коннор, Тилинг, Мак-Невин. Гражданская организация общества с этих пор (с зимы 1796/97 г.) тесно сплетается с новой, теперь впервые выработанной, чисто военной, основанной на превращении годных к военной службе членов общества (конечно, по их желанию) в солдат с выборными офицерами во главе и с исполнительным верховным комитетом в качестве главного штаба.

В начале 1798 г. всех членов общества «Объединенных ирландцев» было около 500 тысяч, а из них готовых к начатию военных действий насчитывалось лордом Фицджеральдом 279 896 человек. И замечательное дело: террористическая тенденция, несмотря на резко отрицательное к ней отношение таких вождей, как Томас Эммет и его товарищи, самым явственным образом все шире и неудержимее просачивалась в организацию, и целая масса маленьких низших комитетов, решительно во всем послушная главным предводителям, только в этом за ними не следовала. Но время наступило столь горячее, что как-то совсем это обстоятельство не вызывало раскола в обществе. Сегодня происходило сражение с войсками, завтра засекали пленных инсургентов, послезавтра офицера, распорядившегося насчет экзекуции, находили с проломленной головой, а там шли опять сражения, новые казни и новые убийства.

С лета 1797 г. появился (конечно, тайно печатаемый и распространяемый) специально террористический орган «Union Star» в Дублине. Томас Эммет резко отвернулся от этого издания, но ожесточение против Англии так быстро нарастало, что даже из главных вождей, хранивших до сих пор нерушимо программу целей и действий своей партии, некоторые, по-видимому, стали относиться к террору уже гораздо сочувственнее. По крайней мере шпион Мак-Нелли (о котором у нас уже была речь) уведомил к концу 1797 г. вице-короля лорда Кэмдена, что О'Коннор, Фицджеральд и Мак-Невин защищают систему отдельных убийств, а остальные настроены умеренно. Систематически истреблялись, как уже было сказано, шпионы и свидетели, показывавшие на суде против подсудимых. В Уэстмисе летом 1797 г. на одного из таких свидетелей, Мак-Мэнэса [10], напало несколько человек с оружием в руках; он бросился бежать и пробежал, преследуемый по пятам, полмили, причем в него не переставали стрелять. Уже раненный, он вбежал в ближайшую хижину, где началась отчаянная схватка, во время которой раненому Мак-Мэнэсу удалось выбежать из хижины. Он подхватил мимо шедшую девушку, думая этим защититься от выстрелов, но нападавшие прострелили руку девушки, убили наконец Мак-Мэнэса и растерзали труп на мелкие кусочки. Англичане отвечали на такие нападения сжиганием домов, где приблизительно, по их расчету, могли укрыться убийцы, а иногда целых деревень, откуда они могли получить помощь. Широчайшим образом практиковалось с 1797 г. засекание до смерти, причем ни власти, ни исполнители не подвергались никакой ответственности за то, что «исправительное» наказание, предпринятое ими, превращалось (будто бы случайно) в квалифицированную смертную казнь. Идея подобного случайного превращения была впоследствии перенесена в Россию Аракчеевым и Клейнмихелем (см., например, Н. С. Лескова «Захудалый род», рассказ о гробах, заготовленных еще до экзекуции), но для европейских владений Англии подобные действия даже в конце XVIII в. уже становились редкостью. Особенной свирепостью отличались солдаты нетуземного происхождения, привезенные специально для усмирения из Англии. Солдатские постои кончались весьма часто в первые же дни расквартирования убийствами хозяев, изнасилованием их жен и дочерей, разграблением имущества, а иногда с целью скрыть все эти злодейства — поджогами домов (хотя, впрочем, военное начальство являло собой в этом смысле образец кротости и снисходительности). Английские власти метались, не зная, с чего им начать, как предупредить взрыв всеобщего восстания, подготовляемого в стране, ибо они этого взрыва боялись гораздо более еще, нежели на самом деле с их точки зрения было бы нужно.

Вильям Питт относился к делу более хладнокровно, нежели вице-король, но и он не мог быть спокоен ввиду несомненных стремлений Вольфа Тона вызвать вторичную французскую завоевательную экспедицию.

Серьезная уже в 1796 г. и усилившаяся в 1797 г. революционная борьба, формирование инсургентских отрядов, убийства террористического характера, все это рассматривалось «Объединенными ирландцами» только как прелюдия к всеобщему восстанию, и это их воззрение через Мак-Нелли и других сыщиков было известно вице-королю. Французы обещали прислать подмогу весной 1798 г., и эта весна сделалась в глазах обеих борющихся сторон тем грозным, критическим поворотом, которому предстояло окончательно решить судьбу восстания. Вице-король понимал, что в такое время арестовать главных вождей «Объединенных ирландцев» является делом первой необходимости. Но Мак-Нелли помочь тут не мог сколько-нибудь серьезно, он называл некоторые имена, но бездоказательно вследствие конспиративных мер, принятых для охраны исполнительного комитета и провинциальных директорий. Помог другой, Томас Рейнольдс, которого можно по справедливости назвать одним из самых страшных доносчиков, какие только когда-либо занимались этой специальностью. Он был братом жены Вольфа Тона и находился в числе близких людей к вождям восстания вообще и к лорду Фицджеральду в частности. Хотя и были слухи, что он не чист на руку, но в общем к нему в организации относились наилучшим образом и даже выбрали в члены одного из важнейших комитетов второго порядка (лейнстерской провинциальной директории). Он-то и явился с предложением своих услуг вице-королю. Он заявил, что ему показали список 80 лиц, которые прежде всего будут умерщвлены восставшими, и вот он из сожаления к намеченным жертвам решил предать своих товарищей и расстроить их план. А также он просит ассигновать ему 500 фунтов стерлингов в виде подъемных денег на выезд из Ирландии, ибо если он тут останется, то его, разумеется, убьют. Кроме того, он желает, чтобы о его доносительстве не говорилось, чтобы его не преследовали за прежние грехи и чтобы, кроме того, его не заставляли быть и дальше доносчиком на «Объединенных ирландцев». Услуги были приняты с восторгом. Правда, у майора Сирра, заведовавшего политическим сыском, был под рукой так называемый «батальон свидетелей» для показания на суде (под присягой) всего того, в истинности чего убедит их предварительно непосредственное их начальство; были и специально приспособленные деятели для рекогносцировок и разведок. Но тут являлся в одном лице и будущий важный свидетель на суде, и непосредственно нужный предатель, без которого никак нельзя было найти места, где укрылись заговорщи-

ки. 12 марта 1798 г. у Оливера Бонда в Дублине собралось (считая с хозяином) 15 человек, принадлежавших к числу серьезнейших руководителей «Объединенных ирландцев»; между ними заседал и Томас Рейнольдс. Полиция нагрянула, когда все уже были в сборе, и арестовала присутствовавших. Спустя 4 месяца некоторые из них вследствие показаний Рейнольдса были повешены (Мак-Кэн, Вильям Борн), другие подверглись более или менее продолжительному заключению. До самого процесса, когда свидетельские показания Рейнольдса уже окончательно выяснили, кто именно погубил собравшихся у Бонда, полиция еще могла широко пользоваться услугами этого человека. Дело в том, что хотя подозрения сразу пали на продолжавшего пользоваться свободой Рейнольдса, но он успел отчасти их рассеять. Вскоре после ареста 14-ти, поздно ночью Рейнольдс натолкнулся на Самуэла Нильсона, редактора закрытой «Северной звезды» и друга Вольфа Тона (см. о нем раздел 7 этих очерков). Нильсон потребовал от Рейнольдса, чтобы тот шел за ним. Улица была совершенно пуста, а Нильсон отличался гигантским телосложением и был вооружен. Рейнольдс пошел за ним. Когда они зашли в совершенно глухой закоулок, Нильсон приставил пистолет к груди Рейнольдса и сказал: «Что должен я сделать негодяю, который вкрался бы в мое доверие с целью предать меня?» На это Рейнольдс холодно, твердо и вполне спокойно ответил: «Вы должны были бы прострелить ему сердце». Тогда пораженный Нильсон смутился, опустил оружие и ушел прочь. Вот эта-то история на беду «Объединенных ирландцев» и поселила в их умах сомнение в виновности Рейнольдса, и он мог еще некоторое время действовать, спасенный самообладанием от верной гибели.

На другой день после ареста у Бонда, 13 марта 1798 г., продолжались деятельнейшим образом новые и новые обыски и аресты, и масса лиц по указаниям Рейнольдса была арестована и в этот и в следующие дни. Но главный, лорд Фицджеральд, не отыскивался. Лорд Фицджеральд продолжал неутомимо работать над окончанием военных приготовлений. Как военный организатор он был незаменим. У него не было таких огромных дарований государственного человека, какие были у Вольфа Тона; он не мог из общественного настроения создать политическую мысль, из политической мысли — политическую организацию, из ничего создать правильно поставленную пропаганду, от пропаганды толкнуть общество в революцию. Но производить непрерывные тайные наборы будущих революционных солдат, доставать деньги, покупать и распределять оружие, вдохновлять всех и вся вокруг себя своей твердой уверенностью в победе — все это взял на свои молодые плечи лорд Фицджеральд. После Вольфа Тона он может назваться

по всей справедливости главным подготовителем восстания. Отношение к нему «Объединенных ирландцев», в особенности же тех, которые готовились принять непосредственное военное участие в затеваемом предприятии, напоминает отношение солдат Густава-Адольфа к своему вождю. Всего несколько месяцев действовал лорд Фицджеральд на революционном поприще, но «Объединенные ирландцы» могли быть спокойны относительно чисто военной стороны предприятия: все, что при данных обстоятельствах можно было сделать, было сделано. Но нужно было озаботиться и о невоенных делах. После ареста у Бонда последовали столь же важные аресты — Томаса Эммета и других руководителей предприятия. Необходима была немедленно замена, ибо исполнительный комитет опустел.

12

Братьям Джону и Генри Чирсам выпало на долю заменить арестованных членов организации. Джон Чирс взял на себя руководящую роль в осиротевшем обществе и взял в такое время, когда уже планы «Объединенных ирландцев» были совсем разрушены и вместо восстания, которое своевременно должно было начаться, в стране некстати и с огромной тратой драгоценных сил вспыхивали то там, то сям отдельные мелкие стычки. Аресты и казни нескончаемой вереницей следовали друг за другом. При отстутствии в обществе «Объединенных ирландцев» революционного террора как системы борьбы необыкновенно характерным является для нового главы организации то письмо, которое он написал к лорду Клэру, одному из столпов судебно-административного механизма, служившего Вильяму Питту для усмирения Ирландии. Джон Чирс отдал это письмо для напечатания в газете «Press»; оно было уже напечатано, когда, несомненно по доносу одного из многочисленных шпионов (может быть, Мак-Нелли), газета попала в руки правительства, и этот именно уже готовый к выходу последний (68-й) номер ее целиком был захвачен полицией. Оно слишком длинно, чтобы привести его здесь целиком. Удовольствуемся несколькими выдержками. «Милорд,— писал между прочим Джон Чирс,— система истязания и усмирения, которая за последнее время обездолила эту страну, общим голосом приписывается плодотворному гению вашего сиятельства; и уже, конечно, она во всех случаях получала вашу помощь и поддержку». Характеризуя затем первоначальный фазис развития движения, строго легального и конституционного, Джон Чирс переходит к времени, когда «Объединенные ирландцы» стали подвергаться преследованию. Почему? «Потому, что они были опасны. Допустим, милорд, в самом деле они были опасны, но

не для ирландского народа. Они были опасны, милорд, для испорченности администрации; они были опасны для конституционных злоупотреблений; они были опасны для власти, для притеснений, для казнокрадства министров его величества; и поэтому-то министры его величества решили уничтожить их (общество — *Е. Т.*). Но установившиеся убеждения разума нельзя было сокрушить преследованиями деспотического парламента, за которым стояла бессмысленная свирепость обманутой солдатчины [11]. Когда им было запрещено собираться публично, их обиды заставили их соединяться частным образом; и так-то, милорд, вы и другие hirelings м-ра Питта были первыми основателями того учреждения, которое под (тем же — *Е. Т.*) именем «Объединенных ирландцев» растоптало под ногами закон и гуманность. Это вы сами, милорд, впервые организовали систему, которая с тех пор смеялась над всем вашим искусством в розыске и раскапываниях. Это вы, милорд, истинный виновник всех преступлений и эксцессов, которые с тех пор были совершены; если бы только души мертвых могли смущать этот свет, тысячи привидений умерщвленных людей осаждали бы подушку вашего сиятельства и шептали бы проклятья над вашей головой, но ведь проклятья никогда не убивают, и поэтому вы их презираете».

Почести и деньги — вот, по словам Джона Чирса, единственная награда лорда Клэра за все его темные и страшные дела. «И даже, милорд, эти вознаграждения, боюсь я, вовсе не столь вечны, как вы можете вообразить; и небо в доказательство своей справедливости, кажется, решило сделать вас орудием вашей собственной погибели. Милорд, древние держались суеверного мнения, что в известных обстоятельствах люди какой-то тайной властью неодолимо влекутся к своему уничтожению; или, употребляя слово, непосредственно происшедшее от этого суеверия, что они обречены. Таково, милорд, по-видимому, ваше положение в настоящее время; кажется, вы закрываете глаза на состояние этой страны, вы не способны извлечь какую-нибудь пользу из примера иной страны. Рука фатума чудится над вами, а вы еще так нелепо уверены и так безумно веселы, как насекомое, которое кружится вокруг факела, или как птица, которая не может противостоять очарованию глаз змеи, вытянувшейся, чтобы поглотить ее. Я знаю, милорд, вы гордитесь воображаемой безопасностью своего положения. Но не хвастайте более этим обстоятельством, не обманывайтесь дольше: я говорю вам, что вы в опасности».

Письмо Чирса, из которого выше приведены только небольшие выдержки, прямо грозило лорду Клэру убийством. Полиция знала уже в марте и апреле (1798 г.) и о местопребывании, и о деятельности Чирсов, но их временно не трогали, неустан-

но следя за ними и пользуясь ими, как удочкой, для уловления и выслеживания новых, еще пока не известных заговорщиков.

На 23 мая было назначено наконец всеобщее восстание; генералиссимусом всех имеющих восстать был давно уже назначен Фицджеральд; и он, и братья Чирсы, и Самуэль Нильсон заканчивали приготовления к этому окончательному взрыву.

Совершенно случайно правительство в точности узнало о близости кризиса. Капитан Армстронг, один из исконных столпов ирландского шпионства, с давних пор изучавший страну с нужной ему точки зрения, успел вкрасться в доверие к братьям Чирсам и аккуратно после каждого свидания с Чирсами отправлялся на свидание к кому-либо из начальствующих лиц с обстоятельными докладами. Чирсы и передали ему, что они и лорд Фицджеральд решили не ждать французов, а начать восстание немедленно, чтобы Вольф Тон явился с французским десантом, уже когда нужно будет нанести англичанам решительный удар. Первоначальное твердое намерение, без французов не начинать, было изменено, во-первых, вследствие слишком долгих приготовлений, переговоров и сборов французской Директории к вторичной экспедиции, а во-вторых, из боязни, что на мелкие, уже не сдерживаемые, спорадические вспышки на разных концах острова непроизводительно растратятся накопленные революционные силы. Это серьезнейшее открытие заставило тотчас же принять самые быстрые меры, ибо опасались, что лорд Фицджеральд, если только допустить его стать во главе общего восстания, сразу придаст всему делу характер народной войны: своими распоряжениями по инсуррекционной армии, самой своей личностью он объединял подчинившиеся ему революционные отряды. Итак, на очереди дня был арест лорда Фицджеральда, и Рейнольдс со своими товарищами по специальности проследили его.

После арестов в марте 1798 г. Фицджеральд скрывался в разных местах под разными фамилиями. Ему приходилось необыкновенно много работать над разрешением тысяч крупных и мелких вопросов и затруднений, всегда обступающих главнокомандующего в подготовительный период войны. Тучи шпионов реяли вокруг тех мест, где предполагалось его присутствие; Рейнольдс даже являлся с визитами к леди Фицджеральд и долго по душе с ней беседовал. Ночью 18 мая 1798 г.[12] лорд Фицджеральд пришел к одному из сообщников, Николаю Морфи. За голову Фицджеральда уже официально была назначена награда в тысячу фунтов стерлингов, и приходилось быть настороже. Лорд был нездоров, жаловался на холод. На другой день разнеслись слухи, что были ночью в городе обыски с целью найти вождя заговора. Пришел Самуэль Нильсон с предупреждением быть особенно осторожным. Прибежала затем женщина

с узлом из дома Мура, где в это время происходил обыск: ей удалось унести приготовленную военную форму, уже явно указывающую на участие обыскиваемых в готовящемся восстании. Морфи спрятал узел. Часов в семь вечера лорд Фицджеральд лежал на постели в своей комнате, когда Морфи позвал его пить чай. Едва успел он выйти от своего гостя, как натолкнулся на полицейского майора Свэна и солдата, стоявших перед комнатой Фицджеральда. Морфи спросил, что им угодно. Свэн, не отвечая, бросился прямо в комнату. Лорд Фицджеральд в один миг «как тигр» (по словам Морфи) вскочил с постели и, выхватив кинжал, ударил полицейского. Тот выстрелил из пистолета в своего противника, но не попал, после чего бросился из дома, приказав мимоходом солдатам, пришедшим в квартиру, арестовать Морфи. Тогда в комнату Фицджеральда ворвался другой из полицейских офицеров, Райэн, и началась рукопашная свалка. Фицджеральд изо всех сил бил кинжалом Райэна, а пока с лестницы прибывали все новые подкрепления — солдаты и полицейские. Майор Сирр, пользуясь тем, что арестуемый был всецело поглощен борьбой, выстрелил в него и тяжко ранил; серьезную рану получил Райэн от руки Фицджеральда. Тогда на Фицджеральда, быстро ослабевшего от раны, набросились солдаты, но борьба к удивлению их все еще продолжалась. Наконец, сопротивление одинокого и израненного человека окончилось. Пленник был тотчас отвезен в тюрьму и предоставлен докторам. Он мучился долго, 15 дней. Напрасно жена и родственники во все эти дни умоляли о свидании с умирающим, им было это дозволено лишь к часам агонии. 2 июня он впал в беспамятство. «Ступайте, ступайте! Проклятые, ступайте!»,— кричал он в бреду так громко, что было слышно за стеной, на улице. На рассвете следующего дня лорд Фицджеральд скончался, не приходя в сознание.

13

Почти тотчас за арестом Фицджеральда по указаниям Армстронга были арестованы братья Чирсы, причем у них были при обыске найдены бумаги самого компрометирующего свойства, между прочим цифровые данные о 8 тысячах с небольшим (8100) человек, которые должны были восстать в назначенный срок в окрестностях Дублина.

Спустя полтора месяца после ареста их судили (4 июля 1798 г.). Показания Армстронга довершили гибель подсудимых; оба они были приговорены к повешению. Мольбы родных о свидании не привели ни к чему, и братья были казнены через несколько дней после процесса. Восстание осталось без предводителей, ибо пока еще не осужденные руководители общества

«Объединенных ирландцев» сидели почти все в тюрьмах в ожидании решения своей участи. Но восстание летом 1798 г. все же вспыхнуло. Оно выразилось не в ряде обдуманных, планомерных массовых действий, а в учащении и усилении тех отдельных кровавых вспышек, внезапных сожжений лендлордских домов, нападений на войска, т. е. тех явлений, которых было немало уже и в 1796—1797 гг. Но теперь, в 1798 г., все это пошло несравненно интенсивнее, и мятеж охватил даже те местности, которых он пока не затронул. Вешания, засекания и пытки шли нескончаемой вереницей, так же как самые свирепые неистовства инсургентов над своими пленниками, что являлось прямым ответом на соответственные поступки лорда Клэра и ему подобных. Настала осень этого страшного 1798 г., мятеж разгорался, и вновь пронеслась по разоренному, истоптанному кавалерией, сожженному и облитому кровью острову радостная весть, что Вольф Тон снова ведет на помощь французов.

Давно уже Вольф Тон, до которого в точности доходили все вести об ужасах, творящихся в Ирландии, о трудности для лорда Фицджеральда, Томаса Эммета и других вождей сдерживать во имя стратегических и дипломатических целей взрыв общего восстания, должен был долгие месяцы в 1797—1798 гг. бороться в Париже с трудностями, с медлительностью французской Директории, с равнодушием чужого народа и чужой армии. На беду еще умер (15 сентября 1797 г.) Гош, всегда дружественно относившийся к Вольфу Тону, жалевший Ирландию, искренне хотевший видеть ее независимой республикой. Теперь главнокомандующим в будущей экспедиции должен был стать генерал Наполеон Бонапарт, с которым (в конце 1797 г.) Вольф Тон и вступил в сношения. Но Бонапарт абсолютно ни о чем не думал, кроме того, что беспорядки в Ирландии весьма полезны в смысле отвлечения английских сил. Предпринимать туда экспедицию ему, по-видимому, вовсе не так хотелось, как Гошу, и к судьбе несчастного острова он был вполне равнодушен. Он даже прямо спросил Директорию, чего же ей еще добиваться в Ирландии, кроме того, чтобы ирландское брожение отвлекало английские силы?

Наступила весна 1798 г., и Бонапарт со своей армией отправился, но не в Ирландию, а в Египет. Его звезда уже ярко сияла на европейском горизонте в эти времена, и хотя бы по тому, что его послали в Египет, а не в Ирландию, Вольф Тон мог убедиться, что ирландские проекты для Директории и для Бонапарта суть нечто совсем случайное и не особенно нужное [13]. Но он не уступал судьбе, лишившей его главной поддержки — Гоша. Из Эльстера, Уиклоу, Уэксфорда, из самых отдаленных и разбросанных частей ирландского острова приходили вести о вспыхнувшем восстании, и хотя общих и признанных руководителей

оно уже не имело, но ясно было, что до конца лета 1798 г. оно во всяком случае продержится. Следовательно, французская экспедиция могла рассчитывать на весьма благоприятную для начала действий почву. Некоторые места (вроде Уэксфорда) известное время всецело были в руках инсургентов, и там беспощадно истреблялись целыми сотнями все приверженцы англичан и сами англичане, не успевшие убежать. Солдаты после взятия таких мест сначала подвергали всех бунтовщиков, не убитых при штурме, самым страшным пыткам, а потом убивали или в искалеченном виде отправляли в ближайшие тюрьмы. Пожары либо инсургентских, либо английских домов не прекращались. Духовенство католическое в лице некоторых своих представителей (вроде Морфи) становилось кое-где во главе инсургентских отрядов и сражалось с самой отчаянной храбростью. Французская Директория под влиянием слухов о бурной силе вспыхнувшего восстания и убеждений Вольфа Тона наконец решилась, но уже когда восстание утихало. В начале августа (того же 1798 г.) французский флот отплыл из Э и после долгого плавания, всячески уклоняясь от встречи с английскими судами, которыми кишело море, остановился у города Киллало, в Киллальской бухте (22 августа). Брат Вольфа Тона, Мэтью Тон, Тилинг и Селливан были представителями «Объединенных ирландцев» в этом десантном отряде. Высадка совершилась благополучно, но уже очень скоро начальник экспедиции Эмбер нашел, что предприятие гораздо труднее, нежели он думал. Дело в том, что именно в этой местности восстание даже весной и летом было слабее, нежели в иных местах, теперь же, к осени, вовсе замерло. Далее Директория дала Эмберу очень мало солдат: он высадился всего с 1 тысячью человек. Наконец, английский отряд здесь был силой в 4 тысячи человек. Эмбер направился к Кэстльбэру. В момент встречи французов (у высот Кэстльбэра) оказалось всего 700 человек. Здесь 27 августа между этой горсточкой французов и превосходившим их почти втрое отрядом англичан произошла битва с совершенно неожиданным результатом: англичане не выдержали бешеной атаки французов и ударились в паническое бегство, бросая по пути оружие, оставляя врагу весь обоз, перегоняя и давя друг друга. Несмотря на блестящую победу, все-таки идти вперед со своими маленькими силами Эмбер не торопился. Англичане поспешно стягивали войска, и после нескольких новых стычек французы были окружены у Балликамука (8 сентября) и после упорного сопротивления сдались.

Страшная резня сопровождала сдачу: англичане убили около 500 ирландцев, которые находились во французских рядах. Мэтью Тон и Тилинг, захваченные там же, были преданы военно-полевому суду. Оба они после краткой формальности судоговорения были повешены. Селливану удалось выдать себя

за француза, и он спасся при размене пленных, когда Эмбер с товарищами был возвращен во Францию.

Для Вольфа Тона неудача экспедиции и казнь брата могли представляться страшным горем, но Директория отнеслась к пленению Эмбера и его отряда вполне спокойно: в ее планы входило только тревожить Англию диверсиями, и истратить для этой цели по маленьким порциям и в разные сроки несколько тысяч человек не могло в Париже казаться слишком большой расточительностью. Вот почему тотчас же после неудачи Эмбера решено было отправить новую экспедицию в Ирландию. Командиром десантного транспорта был назначен адмирал Бомпар; 9 судов с 3 тысячами человек составляли его отряд. Вольф Тон во французском мундире находился в числе офицеров отряда. Уже подходили к Лау-Суили (12 октября), когда вдруг английские линейные корабли появились на горизонте и быстро приблизились. Их было 4, а у Бомпара всего 1, ибо остальные 8 были сравнительно мелкими судами. Кроме того, в английской эскадре оказалось еще 4 (тоже более мелких) корабля. Перед самой битвой адмирал убеждал Вольфа Тона ввиду явного превосходства неприятельских сил пересесть на маленькую шхуну и спасаться, пока будет происходить битва, ибо ему, Тону, грозит бóльшая опасность, чем остальным в случае сдачи. Тон хорошо понимал, что для него плен и виселица однозначащи, но он отказался наотрез от всяких попыток спасения.

Началась упорная и жестокая морская битва, и англичане одержали решительную победу.

Корабль, на котором находился Вольф Тон, в течение 6 часов выдерживал нападение четырех неприятельских судов. Тон принимал самое живое участие в этой отчаянной морской битве, а когда наконец англичане завладели уже тонувшим кораблем и все находившиеся на нем были объявлены военнопленными, то Вольф Тон, одетый во французский мундир, был сочтен за одного из французских офицеров. Пленников привезли в Литтеркенни, и там все офицеры были приглашены на завтрак к одному из представителей военной власти, лорду Кэвену [14]. За этим завтраком был между прочим один старый товарищ Вольфа Тона по университету. Он-то и выдал Вольфа Тона, которого знал в лицо. Мнимого французского офицера тотчас же связали и отправили под сильным конвоем в дублинскую тюрьму. Тотчас же после ареста Вольф Тон написал письмо лорду Кэвену, где решительно заявлял, что он форменным образом зачислен в списки французской армии, а потому подобное обращение с военнопленным вполне непристойно. Лорд Кэвен ответил, что не признает этого и считает Вольфа Тона бунтовщиком и изменником. 10 ноября начался военный суд. Когда ввели арестанта и спросили его, признает ли он себя виновным во взводимых на него

государственных преступлениях, он ответил, что он не ищет для себя никаких прикрытий, а также не намерен причинять суду какие-либо затруднения и поэтому с полной готовностью признает правильными все обвинения. Затем после колебаний и сомнений суд разрешил подсудимому прочесть приготовленный им мемуар. Вот что между прочим прочел Вольф Тон: «Что я сделал, было сделано исключительно из принципа и полнейшей уверенности в правоте. Я не желаю пощады и надеюсь, я не составляю объекта чувства жалости. Я предвосхищаю последствие моего пленения, и я приготовлен к этому событию. Любимой целью моей жизни была независимость моей страны, и для этой цели я принес всякую жертву. Природа насадила в моем сердце при моей честной и бедной жизни любовь к свободе, а воспитание укрепило ее. Ни соблазн, ни страх не могут ее оттуда изгнать, а относительно меня не щадили ни соблазнов, ни запугиваний. Чтобы дать неоценимые, благословенные дары свободы земле, где я родился, я презрел трудности, узы и смерть. Для этого я стал изгнанником, подвергся нищете, оставил лоно семьи, жену, детей, все, что делало жизнь желательной.

После честного боя, в котором я старался соревновать храбростью с моими рыцарскими товарищами, я был принужден сдаться, и в оковах меня волокли по стране не столько к моему позору, сколько к позору того лица, кем был отдан подобный неблагородный и бесчеловечный приказ. Все, что я когда-либо писал и говорил о судьбе Ирландии, я здесь повторяю. Связь с Англией я всегда рассматривал как проклятие для благополучия и счастья Ирландии и делал все, что было в моей власти, чтобы связь эту разрушить и возвести три миллиона моих земляков в сан граждан».

— Мистер Тон,— прервал его тут председатель,— невозможно нам это слушать.

После небольших препирательств подсудимый продолжал:

«Обсудив средства моей страны и убедившись, что они слишком слабы, чтобы с ними без посторонней помощи достигнуть независимости, я искал этой помощи во Франции и без всякой интриги, но только основываясь на честности и откровенности моих принципов и на любви к свободе, которая всегда меня отличала; французская республика меня приняла, и на действительной солдатской службе я приобрел то, что было для меня бесценно и с чем я расстанусь только тогда, когда расстанусь с жизнью,— дружбу некоторых лучших людей Франции и привязанность и уважение моих храбрых товарищей по оружию. Ослабить силу или изменить сущность принципов, во имя которых я действовал, не может приговор какого бы то ни было суда; и правда этих принципов переживет эфемерные предрассудки, которые ныне царят. Этой правде я оставляю защиту своей доб-

рой славы, и я надеюсь, для потомства такая защита будет поучительна. Теперь исполнилось более четырех лет с тех пор, как преследование выгнало меня из этой страны, и едва ли мне нужно говорить, что лично меня нельзя впутать ни во что, случившееся во время моего отсутствия. В своих усилиях добиться свободы моей страны я всегда прибегал к открытой и мужественной войне. Были совершены с обеих сторон ужасы, о которых я жалею; и если благородный дух, пробуждению которого в ирландских сердцах я способствовал, выродился в систему убийств, то я полагаю, что все, кто сколько-нибудь знал меня с детства до нынешнего часа, готовы будут допустить, что никто на свете не мог бы более сердечно пожалеть о тирании обстоятельств или политики, способной так извратить естественные наклонности моих земляков. Мне еще немного осталось сказать. Успех — *все* в этой жизни, и без его покровительства добродетель становится порочной в эфемерной оценке тех, которые связывают со счастьем всякие достоинства.

В славной расе патриотов я шел по следу, проложенному Вашингтоном в Америке и Костюшко в Польше; подобно последнему, мне не удалось освободить родину, и, в противоположность тому и другому, я проиграл жизнь. Я исполнил свой долг, и я сомневаюсь, что суд исполнит свой; я только могу добавить, что человек, который думал и действовал, как я, защищен от страха смерти».

С полным спокойствием вел он себя в течение всего процесса и только заявил желание, чтобы его не повесили, а расстреляли. Он был приговорен к смертной казни, после чего отвезен в тюрьму. Ночью с 10 на 11 декабря он написал письмо Директории французской республики с просьбой помочь его жене и трем детям, которых он оставляет в беспомощном состоянии. Другое было к жене. «Дорогая любовь моя, наконец настал час, когда мы должны расстаться. Слова не могут передать тех чувств, которые я питаю к тебе и нашим детям, а потому я не буду пытаться это делать. Сожаление, все равно какое, было бы ниже твоего и моего мужества...

Я не могу окончить этого письма. Передай любовь мою Мэри (его сестре — *Е. Т.*) и прежде всего помни, что ты одна осталась у наших дорогих детей и что лучшее доказательство своей любви ко мне ты дашь, сохраняя себя для их воспитания. Да благословит вас всемогущий бог. Твой навсегда Т. Вольф Тон».

На другой день он написал жене еще записку, в которой пишет: «Дух мой так же спокоен, как во всякий иной период моей жизни».

В воскресенье ночью 11 ноября 1798 г. он ударил себя спрятанным заранее ножом в шею. Мучения от раны были

ужасны и длились более 7 дней. К нему никого из родных не пустили, а только наполнили камеру полицейскими и тюремными чинами. Уже совсем замученный болью Вольф Тон сказал врачу (намекая на слова английских властей о деле французского нашествия): «Они говорят, что я *все* знаю: но вы видите, доктор, что все же есть вещи, которых я не знаю: я нахожу, что я плохой анатом». Он острил о неудачно себе нанесенной ране. Когда врач сказал ему, чтобы он лежал тихо и не говорил, ибо иначе сейчас наступит смерть, он ответил: «Я едва могу найти слова, чтобы благодарить вас, сэр: это самая желанная новость, какую только вы могли бы мне принести. Из-за чего бы я мог желать жить теперь?» Откинувшись после этих слов на подушку, Вольф Тон скончался.

Глава II[15]

УНИЯ. ПОПЫТКА РОБЕРТА ЭММЕТА. НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О'КОННЕЛЯ И БОРЬБА ЗА ЭМАНСИПАЦИЮ КАТОЛИКОВ. БИЛЛЬ 1829 ГОДА

1

Усмирение бунта, кипевшего летом, ослабевшего осенью и почти прекратившегося зимой 1798 г., продолжалось и в 1798, и в 1799 гг. Военные суды вешали, воинские команды тоже вешали, расстреливали, засекали до смерти, оранжисты деятельнейшим образом помогали в этих трудах официальным лицам и даже превосходили их жестокостью. Был случай, когда без суда повесили одного молодого человека за то, что часть его костюма была зеленого (т. е. национального ирландского) цвета; были бесчисленные случаи сечения людей по спине, по животу, пока у них не вываливались внутренности; продолжались сожжения целых деревень оранжистскими бандами, практиковавшими, впрочем, этот способ еще до 1798 г. Habeas corpus был приостановлен, тюрьмы набиты битком, военные суды заседали беспрестанно. Лорд Фицджеральд погиб, Вольф Тон погиб, Чирсы были повешены, из других руководителей движения некоторые уже были казнены, другие сидели в тюрьме, ожидая той же участи или ссылки, третьи успели бежать в Америку или Францию, и «Объединенные ирландцы» как сильная революционная организация перестали существовать. Такова была историческая обстановка, при которой Вильям Питт решил наконец приступить к давно задуманному и зрело обдуманному предприятию: к полному уничтожению законодательной автономии Ирландии и к совершенному слиянию ее с Англией.

Мы уже заметили в предшествующей главе, что парламент, заседавший в Дублине и состоявший исключительно из протестантов, de jure обладал чрезвычайно широкими автономными правами, но de facto зависел от желаний и намерений вице-короля, назначаемого английским министерством и ответствен-

ного перед этим же министерством. С начала 1782 г. ирландский парламент время от времени делал шаги, беспокоившие и раздражавшие Вильяма Питта, и хотя в конце концов обыкновенно устраивалось так, как хотел он, а не дублинский парламент, но желание уничтожить это учреждение все нарастало у английского министра. Конечно, эти иногда находившие на дублинское собрание порывы к самостоятельности и независимости знаменовали только, во-первых, желание крупного землевладельческого и торгово-промышленного классов Ирландии добиться более рациональной (с их точки зрения) экономической политики, нежели та, которую навязывала им метрополия, а во-вторых, эти независимые тенденции (обыкновенно весьма скоротечные) указывали лишь на то, что дублинский парламент не прочь играть более серьезную и важную роль, т. е. на желание расширить свою компетенцию, весьма естественное во всяком политическом представительном собрании. Мы говорим *«только», «лишь»* потому, что это были лишь именно *желания*, которые сами по себе никак не могли серьезно пугать Вильяма Питта: он превосходно знал, что есть нечто вне всяких сравнений более сильное, чем все эти желания, вся эта фронда и все эти часто едкие оппозиционные речи; он знал, что протестантский и лендлордский дублинский парламент, представляющий господствующую горсточку среди миллионов бесправных католиков, смотрит на метрополию как на главную охранительницу всех интересов этой горсточки, и что в случае любого революционного брожения в Ирландии парламент этой страны всегда станет на сторону правительства. Но с 1793 г. в Англии стали смотреть па действие дублинского парламента уже с решительным беспокойством: в этом году парламент постановил, что все фермеры-католики, платящие арендной платы 40 шиллингов в год, имеют право выбирать депутатов (но не быть избираемыми, ибо право быть депутатом оставлялось по-прежнему только за протестантами). Сделано это было под давлением Граттана и других членов оппозиции, которые увещевали предупредить готовящиеся смуты путем своевременных уступок католическому населению, отчасти же этот акт прошел потому, что дублинскому парламенту он казался вполне безопасным для преобладания английской нации и протестантской религии: все равно ни один католик не мог пройти в парламент, а, кроме того, предполагалось, новые избиратели до такой степени всецело зависели от своих лендлордов, что даже и протестанта смогут выбрать не всякого, а такого, которого им укажет их лендлорд. Тем не менее в Англии обеспокоивались призраком сближения между протестантами и католиками в Ирландии (что, как уже было сказано, являлось всегда кошмаром для английских политиков), а также и тем, что рано или поздно католикам будет да-

но и право избираться. Когда началось сильное революционное брожение, дублинский парламент, разумеется, тотчас же стал на сторону неистовствовавших оранжистов и самых свирепых правительственных репрессалий. Но все равно Питт решил его уничтожить, воспользоваться таким благодарным случаем, как усмиренная революция, чтобы отвязаться раз навсегда от учреждения, если пока не серьезно опасного, то совершенно Англии не нужного, хлопотливого, способного в будущем воспользоваться широчайшими своими политическими правами и сделать Ирландию автономной не только па бумаге, но и в действительности. Автономная конституция 1782 г. была взята Ирландией силой, в критический для Англии момент борьбы против Соединенных Штатов, а кто же мог поручиться, что аналогичные обстоятельства не наступят при еще более серьезной борьбе против Франции? Наконец, ввиду постоянных ожиданий новых и новых французских высадок в Ирландии чувствовалась настоятельная потребность покрепче держать соседний остров в своих руках. Собственно, даже и не Вильям Питт, а король и другие министры особенно ненавидели ирландскую автономию, боялись ее и негодовали на всякое послабление относительно католиков (Питт, например, вовсе не был против расширения прав католиков в принципе); но раз уже после 1798 г. обстоятельства сложились так, что в Англии взяло верх могущественное течение в пользу законодательной унии, а в самой Ирландии были раздавлены те элементы, которые могли бы против этой унии бороться, то Питт смело взял на себя дело уничтожения ирландской конституции. Давно известно и давно сказано, что всякие конституции суть листы бумаги, которые рвутся, когда заинтересованные в них общественные слои недостаточно сильны, чтобы их защищать. Иногда это делалось совсем быстро, просто и наглядно, путем физического разрывания того листа бумаги, о котором шла речь (например, «пунктов» 1730 г. Анной Иоанновной); иногда этот процесс несколько замедлялся и усложнялся. В данном случае также у Вильяма Питта произошли некоторые (совсем, впрочем, небольшие) задержки и замедления. Отметим в самых кратких словах, как именно все это случилось.

2

Вильям Питт, как и всегда с ним бывало во всех важных вопросах, был и в данном случае силен тем, что вполне отчетливо знал свои желания и уже в этом не путался и не сбивался за все время с 1798 по 1800 г., пока наконец уния не стала совершившимся фактом. Цель свою — «le quoi» — он знал отлично, а средства — «le comment» — предоставил изыскать и определить лорду Кэстльри. Вильям Питт употреблял лорда Кэстльри

всегда, когда нужно было вести дела деликатные и щекотливые, рисковать, нарываться на неблаговоспитанных людей и вообще предпринимать разные двусмысленные личные сношения и другие изнурительные манипуляции. Питт, отпуская лорда Кэстльри в Ирландию для подготовки дела унии, дал ему широчайшие полномочия подкупать деньгами, местами, титулами всех тех влиятельных в дублинском парламенте и в стране лиц, содействие которых было нужно для удачного осуществления политического курьеза: уничтожения самостоятельного парламента его же собственным решением. Все это непременно должно было иметь видимость «добровольного» самоуничтожения: Вильям Питт так желал, и лорд Кэстльри принялся за дело. Он подкупил мигом влиятельнейшие периодические издания, хотя и не все, и затем вступил на тернистый путь подкупа отдельных политических деятелей. Он потребовал при этом полного содействия вице-короля Корнуэльса, который никак не мог сразу очутиться на высоте положения и все тосковал, что его заставляют принимать участие в деле подкупов. «Но в конце концов цель велика, и может быть тут идет дело о спасении государства»,— писал он в одном дружеском письме (21 января 1799 г.), пожаловавшись раньше: «Вы, который знаете, как я ненавижу интригу и торги, вы поймете, как мне часто трудно сдерживать свое настроение» [16].

Но лорд Кэстльри чувствовал себя вполне безмятежно и только просил все из Лондона денежных подкреплений. Подкупы членов дублинского парламента шли чрезвычайно успешно. Лорд Клэр (тот самый, к которому было направлено угрожающее письмо Чирса, повешенного вскоре после этого письма) деятельно помогал делу готовившейся унии и являлся (после Кэстльри) одним из главных орудий Вильяма Питта. Однажды, когда лорд Клэр распространялся в английском парламенте относительно ирландской неблагонамеренности, Вильям Питт слушал, слушал, а потом вдруг обратился к стоявшему рядом Уильберфорсу со словами: «Боже милостивый! Ну, слышали ли вы когда-нибудь в своей жизни такого большого мошенника, как этот?» Тем не менее Питт усердно поддерживал лорда Клэра, а лорд Клэр с жаром служил Питту, и все устраивалось между ними к общему благополучию (пока наконец уния не была проведена и лорд Клэр за ненадобностью удален от дел).

Некоторые члены дублинской верхней палаты упирались, требуя компенсации, ибо при уничтожении места, где они заседали, они теряли почет и власть. Важнейшим из них был обещан перевод в британскую палату лордов и сверх того более или менее крупные суммы; другим — только назначение британским лордом (без денежной награды); третьим (послабее и посмирнее) — только одна денежная подачка. Гораздо туже и неприят-

нее шли у лорда Кэстльри дела с нижней палатой; там приходилось считаться с большим количеством лиц, притом не имевших в большинстве случаев таких тесных личных связей с английской знатью и английским правительством, как члены палаты верхней. Составилась решительная оппозиция, которая твердо решила было отстоять автономию. Среди членов парламента и среди чиновников (особенно судейских) были люди, которые считали английское вмешательство в ирландские дела злом и на дублинское собрание смотрели как на ячейку, из которой со временем может вырасти настоящее самоуправление с участием не только протестантов, но и католиков; были и другие, которые и не мечтали об освободительных реформах, но и не желали отказываться от автономии в том виде, как она существовала, не видели смысла в таком самоотречении, не боялись запугиваний новыми католическими восстаниями. И из первых, и из вторых очень многие ни денег, ни посулов не принимали и ставили этим лорда Кэстльри в довольно затруднительное положение. Вице-король стал выгонять в отставку (по требованию Кэстльри) оппозиционно настроенных должностных лиц, но с оппозиционными депутатами так легко распорядиться нельзя было. В январе 1799 г. собрался парламент, и тут первые же голосования выяснили, что в палате лордов около 50 человек более или менее деятельных сторонников правительства, а в нижней палате голоса разделились почти поровну (107 против 105 вотировали адрес с намеком на желательность унии). В первое время сессии оппозиция еще думала о сопротивлении, но ряды ее быстро таяли, ибо, с одной стороны, в ее среде боролись две фракции: одна, стоявшая за эмансипацию католиков, и другая, решительно поддерживавшая протестантские привилегии, причем вторая все больше и больше склонялась на сторону унии с Англией; а с другой стороны, денежные переводы из Лондона на имя лорда Кэстльри не иссякали. Пока оппозиция надламливалась все сильнее и сильнее в парламенте, вице-король вздумал вызвать домашними средствами взрыв верноподданнических чувств в Ирландии, который бы показал воочию любому Фоме неверному, что ирландское население только и мечтает об уничтожении автономии и об унии. Было решено, что вице-король поедет путешествовать по стране, а чиновники обработают народный энтузиазм и задушевные встречи с восторженными адресами о желательности унии. Так и поступили. Вице-королю давалось знать, где царят чувства благонадежные, а где сомнительные; в первые он и отправлялся, а вторые исключал из маршрута. Подавались наскоро написанные (и подписанные) полицией и оранжистами адресы, устраивались восторженные клики, и вице-король отправлялся дальше изучать настроение народной души. По прибытии в Дублин в канцелярии были под-

ведены итоги, и оказалось, что народная душа желает уничтожения ирландского парламента и полного соединения с Англией. «Чувство сердечного одобрения политике унии,— заявлял вице-король после путешествия,— не ограничивается каким-либо отдельным классом. Я был очень доволен, когда заметил, что зародившееся в высших классах это чувство в значительной мере распространилось и в народной массе». Оппозиция с отчаянием говорила, что все это подстроено, что это «одно *шутовство*», что при подписях адресов *«злоупотребляли именами уже умерших людей и подделывали подписи»* благополучно здравствующих,— ничего не помогало. Официозные и закупленные газеты с самым безмятежным видом замалчивали все такие обвинения и с гордостью открывали в Ирландии давнишние залежи любви к Англии, любви, которая никак не могла до тех пор проявиться вследствие преступных происков «Объединенных ирландцев» и их друзей, а теперь вот, когда происки прекращены, это чувство и выходит из своего скрытого состояния. Много было сознательной лжи, с одной стороны, и бессильного отчаяния — с другой; католическая Ирландия была раздавлена свирепым усмирением, неистовствами солдат, административными засеканиями, военно-судными расстреливаниями; протестантская — в большинстве была либо апатична, либо прямо примыкала к некоторым оранжистам, с восторгом призывавшим унию, а в меньшинстве разделяла чувства и участь католиков. И дело Кэстльри шло прекрасно. Оппозиция пробовала организовать подачу петиций королю о сохранении автономного парламента, и, несмотря на угрозы и насилия властей, это дело пошло на лад. Тогда Питт приказал лорду Кэстльри устроить подачу контрпетиций. Шеридан заявлял впоследствии в английской палате общин: «Осадное положение, шпионы, агенты-провокаторы повсюду были выстроены в боевой порядок против врагов унии» [17]. Сходки оппозиции разгонялись войсками, их организаторы часто подвергались аресту; даже артиллерия мобилизовалась иногда, чтобы подкрепить аргументы сторонников унии против ее врагов. Несмотря на все это, гораздо больше полумиллиона подписей (по некоторым авторам, даже больше 700 тысяч) было собрано под адресами против унии (а лорду Кэстльри и вице-королю при всех ухищрениях, путешествиях, собираниях подписей не только шпионов, но и всех шпионских родственников, удалось собрать меньше 7 тысяч подписей). Но и этот факт прошел без следа и без пользы. Правительство решило покупать (по большой цене) у некоторых членов ирландского парламента места, имевшие право выбора депутатов и находившиеся в этом отношении во власти своих владельцев. Питт решил затратить на это один с четвертью миллион фунтов стерлингов, причем этот миллион с четвертью владельцам ме-

стечек был выплачен из ирландской, а не английской казны; таким образом, к особенно горькому негодованию оппозиции ирландские народные деньги пошли на этот (слабо замаскированный) подкуп ирландских же представителей, продававших независимость своей родины.

Когда в 1800 г. снова в ирландский парламент было внесено предложение, чтобы он сам себя уничтожил, все оказалось в полном порядке: и в палате общин, и в палате лордов оппозиционеров оказалось очень мало. В общем (по позднейшему утверждению О'Коннеля) было израсходовано на разнообразный подкуп ирландского парламента 3 миллиона фунтов стерлингов. В то же время Питт всеми мерами старался внушить католическому населению Ирландии, что после унии они могут надеяться на допущение со временем в английский (т. е. общеимперский) парламент; а так как самостоятельный дублинский парламент все равно их не пускал в свою среду, так что же им особенно жалеть о нем, если он сам себя решает уничтожить? Подобными внушениями Питт достигал некоторого успокоения слишком уже возмущенного общественного мнения; хотя он теперь и не боялся католиков, но его принцип был — по возможности утешать раздражение даже и слабых врагов, особенно если это ничего не стоит.

5 февраля 1800 г. началось обсуждение вопроса об унии, а 14 июня билль об унии уже прошел в третьем чтении в палате лордов. 1 июля Георг III подписал акт об унии, который стал государственным законом. Ирландия получила право посылать в британский парламент 100 депутатов в нижнюю палату и 32 — в палату лордов; $^{2}/_{25}$ общегосударственных расходов возлагались на Ирландию (в течение первых 20 лет после унии); католики, конечно, по-прежнему не имели права заседать в общеимперском парламенте. Мы коснемся далее общего значения этого акта и его деталей; теперь же перейдем к единственному революционному протесту, который вскоре после него последовал. Одинокая попытка Эммета была последним отголоском движения «Объединенных ирландцев»; она сильно содействовала укреплению той общественной атмосферы, среди которой началась деятельность О'Коннеля, той реакции, среди которой начался новый период ирландской истории.

3

Роберт Эммет родился в Дублине в 1778 г. в семье д-ра Эммета, весьма известной в Ирландии. Он получил очень хорошее образование в коллегии Троицы и с ранней юности проявлял большое умение владеть собой при самых трудных обстоятельствах. Например, однажды во время занятий химией он почувст-

вовал страшные боли, происходившие от нечаянного отравления: вследствие привычки грызть в задумчивости ногти мальчик ввел в свой организм ядовитое вещество, которым были испачканы его руки. Дело было ночью, и, несмотря на полное сознание опасности своего положения, ему не захотелось никого тревожить. Он пошел в комнату, где помещалась домашняя библиотека, отыскал том энциклопедического словаря, где было слово «яды», узнал из статьи о подходящем противоядии, принял его и при продолжавшихся тяжелых страданиях снова уселся за прерванную работу. Только на утро узнали в доме, что случилось, по измученному лицу Роберта. В коллегии Троицы, куда он поступил 15 лет, товарищи очень ценили его красноречие, проявлявшееся во время дебатов в состоявшем при коллегии «историческом обществе». На заседаниях этого общества воспитанники произносили речи и читали рефераты на разные темы, причем прочитанное подвергалось обсуждению и критике. Хотя строжайше воспрещалось при этом касаться вопросов текущей политики, но некоторые темы по существу своему давали проявляться тем или иным политическим предрасположениям учащихся. Так, например, весной 1798 г. (как раз когда восстание было в ходу и репрессия свирепела) дебатировался в историческом обществе следующий вопрос: «Существенно ли важна для благоденствия хорошего и добродетельного правительства полная свобода речи?» Во время споров, вызванных этой темой, Роберт Эммет сказал: «Если какое-либо управление было бы настолько порочно, чтобы ниспровергнуть свободу речи, то долг народа состоял бы в том, чтобы обсудить ошибки правителей, хорошо взвесить зло, которое они причинили, рассмотреть, какой правильный путь надлежит выбрать, и после того, как они это сделали бы, их обязанностью было бы вывести отсюда практические заключения». Товарищи всю жизнь потом вспоминали об Эммете как о замечательном ораторе, прямо преображавшемся, когда он начинал говорить. Его обычная сосредоточенность, неподвижность, мешковатость куда-то исчезали в самом начале речи, и самая речь казалась вдохновенной импровизацией. Характер у этого юноши был замечательно мягкий и добрый, и говорили, что он привлекал к себе своей внутренней чистотой, светившейся в глазах, сказывавшейся в каждом слове, проявлявшейся в каждом порыве. В 1798 г. его университетское учение оборвалось. Весной этого страшного года в коллегию явился лорд-канцлер и потребовал нескольких студентов к допросу под присягой относительно того, что им известно по части смуты, царящей в стране; в частности, было предъявлено требование назвать тех товарищей, которые состоят членами общества «Объединенных ирландцев». Получил подобное приглашение и Эммет. Лорду-канцлеру он ничего не ответил, но написал пись-

мо товарищам, в котором выражал негодование по поводу требования от студентов доноса и заявлял желание быть вычеркнутым из списков воспитанников коллегии. Его исключили немедленно вместе с некоторыми из студентов. Старший брат Роберта, серьезно скомпрометированный, случайно избежал виселицы и сидел в ньюгэтской тюрьме, а потом в одной шотландской крепости. Роберт виделся с ним и с другими арестантами и исполнял различные их поручения. В 1800 г. он отправился на континент, где долго путешествовал по Франции, Бельгии, Швейцарии. Со второй половины 1802 г. рассеянные по континенту члены сильно поредевших кадров «Объединенных ирландцев» уже мечтали воспользоваться ожидавшимся разрывом только что заключенного мира между Францией и Англией, чтобы по возможности снова начать восстание. Талейран имел уже тайные свидания с некоторыми из них; но могильная тишина, царившая в Ирландии, делала теперь надежду на восстание крайне шаткой, почти фантастичной. Лично Роберт Эммет долго не верил в возможность ждать от первого консула хоть какой-нибудь поддержки. Но когда с самого начала 1803 г. отношения между Бонапартом и английским правительством обострились до последней крайности и разрыв стал совершенно неизбежен, Роберт Эммет, уже поглощенный своим планом (о котором сейчас будет речь), получил две желаемые аудиенции и говорил как с самим первым консулом, так и с Талейраном, министром иностранных дел. Не понравились ему оба эти лица. Молодой энтузиаст, по-видимому, при всем недоверии к ним подходил к ним все-таки с несколько иными требованиями и ожиданиями, нежели, например, Вольф Тон, так прекрасно знавший людей вообще, а политиков в частности. Тем не менее, когда весной 1803 г. амьенский мир был окончательно нарушен и вспыхнула с новой силой нескончаемая англо-французская война, и Эммет, и очень многие в Англии и Ирландии (лорд Бентинк, лорд Гренвиль, Файнерс, директор Ост-индской компании Фольдер и многие другие) ожидали или считали вполне мыслимым вторжение французов в Ирландию и новое восстание в этой стране против английского владычества.

Трудно установимо (если требовать полной хронологической точности), когда именно Роберт Эммет стал активным революционером; к 1802 г. во всяком случае это уже совершилось. Положение его было гораздо хуже, нежели положение Вольфа Тона, лорда Фицджеральда или любого из деятелей предшествовавшей формации, подкошенной виселицами, тюрьмами и изгнаниями, ссылками и сошедшей со сцены после неудачи бунта 1798 г. Тогда и наличных сил было больше, и настроение было повышенное, и организация была крепка, а теперь, в 1803 г., ни сил, ни организации, действующей в стране, de facto не

существовало, а настроение общества и простого народа было самое подавленное. Появился неизбежный спутник и вернейший симптом слабости революционеров — бесконечный раздор между ними, началось распадение эмигрировавших и проживавших во Франции «Объединенных ирландцев» на фракции. Одни говорили, что Ирландия должна образовать самостоятельную республику, другие, что она должна присоединиться к Франции, но и те, и другие весьма сбивчиво представляли себе, как достигнуть намечаемой цели. В течение всего 1803 и отчасти 1804 г. они сильно полагались на французский десант, и только осенью 1804 г. окончательно поняли, что Наполеону и они, и вся Ирландия нужны только как «стратегическая угроза» и что никогда этой высадке на самом деле не бывать; Роберт Эммет находился под властью этих надежд еще меньше времени, нежели другие, но разрыв амьенского мира для него послужил окончательным толчком.

С октября 1802 г. он зондировал почву в Дублине и в ближайших к Дублину местностях. Он пришел к заключению (или убедил себя), что воскресить бывшее 5 лет тому назад движение возможно; что для этого стоит показать другим решительный пример и внезапно напасть на врага, застать его врасплох и первыми быстрыми и успешными ударами разогнать мираж английской непобедимости. Предприятие было очень трудное. Эммет отдал на это дело около полутора тысяч фунтов стерлингов — перешедшую к нему долю отцовского наследства; он завязал тесные сношения с несколькими десятками людей... Подобных средств и сил в наиудачнейшем случае могло бы хватить на отдельное террористическое предприятие или, например, на начало новой пропагандистской организации, но никак не на совершение внезапного государственного переворота. Правда, силы эти несколько увеличились за те немногие месяцы, которые протекли между началом приготовления и роковым 23 июля 1803 г. Эммет выработал план внезапного ночного нападения на замок наместника и на два другие пункта в Дублине, причем тотчас по овладении замком надлежало провозгласить временное ирландское правительство, которое и должно было обратиться к стране с воззванием ко всеобщему возмущению против англичан. В поддержке дублинской массы Эммет был совершенно уверен; войск тоже много в Ирландии не могло остаться ввиду того, что англичанам всякий лишний батальон был необходим для защиты метрополии, со дня на день ожидавшей французской переправы через Ла-Манш. А после удачи внезапной атаки все ирландское население встрепенется и примкнет к временному правительству. Словом, на совещаниях все выходило гладко. Ближайшими единомышленниками Эммета были Томас Россель (отставной офицер), Вильям Даудэль, Томас Уайльд

(хозяин мануфактуры), несколько лиц еще, принадлежавших по большей части к среднему сословию, к купечеству, адвокатуре, зажиточному фермерству. Затеянное дело моментами представлялось, по-видимому, самому Эммету безнадежным вполне или почти. Вот, например, какие речи, не совсем обычные в устах главы заговора, пришлось выслушать от него одному из участников предприятия — Джемсу Хопу: «Если я потерплю поражение вследствие их поведения,— жаловался он на некоторых недостаточно самоотверженных людей,— то вина не моя; однако даже и поражение мое не спасет ту систему, против которой я борюсь, но придет время, когда самые ярые ее защитники не смогут жить под бременем ее несправедливости, а до тех пор мои основания, побуждающие предпринять настоящую попытку, не будут вполне поняты, кроме немногих, которые служат (этому делу — *Е. Т.*) со мной и могут пострадать со мной». В другой раз Эммет (незадолго до 23 июля) выражал удовольствие по поводу того, что среди главарей заговора нет ни одного католика: «Мы все — протестанты, и их (католиков — *Е. Т.*) дело не будет скомпрометировано». Ясно, что мысль о неудаче посещала Эммета настойчиво, ибо дело католиков было бы выиграно в случае успеха заговора, а глава заговора радовался уже наперед тому, что его предприятие хоть вреда католикам не принесет в конце концов.

С марта 1803 г. приготовления шли усиленно. Можно было уже рассчитывать на 3 небольшие отряда, которые должны были сформироваться в назначенный срок в Дублине и окрестностях; организаторам удалось для пополнения кадров этих будущих отрядов воспользоваться главным образом остатками «Объединенных ирландцев», теми, которые мечтали и о мести за усмирение 1798 г., и о непосредственной цели предприятия — начале нового восстания.

Роберт Эммет разработал план внезапного нападения в таких деталях, которые указывают на долгий и кропотливый труд. Этот план изобилует любопытными и характерными чертами. Например, Эммет рассчитывал при нападении на замок захватить наместника и все высшее правительство и в случае необходимости отступления приказывал непременно отослать захваченных под конвоем по направлению к Уиклоу (где должна была сформироваться особая инсургентская армия по плану Эммета). Отряды должны были сообщаться и давать друг другу сигналы посредством ракет (во время и после действия). Кроме первоначальных нескольких десятков помощников Эммета, наскоро, с бору да с сосенки, собраны были около 800 человек, которые и должны были взять на себя активную роль в назначенную ночь, т. е. составить намеченные 3 отряда. Между ними было много храбрых и честных людей, но были и люди,

совершенно не подходившие к принятой на себя миссии ни по умственным, ни по моральным качествам. Оказались в решительный момент и предатели. Совершенно недоставало инициативы и находчивости у лиц, поставленных на самые ответственные места. Всего этого было бы достаточно, чтобы серьезно скомпрометировать дело, если бы даже по существу оно являлось лучше обставленным, нежели на самом деле. Менее одной тысячи заговорщиков против нескольких десятков тысяч английских войск, расположенных в Ирландии, полное отсутствие пропаганды, которая хоть немного подготовила бы население к перевороту, глубочайшая подавленность, царившая в стране после усмирения и введения унии, — таковы были условия, которые, несомненно, страшно затруднили бы Эммета даже в случае полной непосредственной удачи дублинского плана. Но логика вещей не допустила тут даже и мимолетного успеха.

4

Роберт Эммет весьма хорошо понимал, что в неожиданности и стремительности первого натиска для него заключается главное условие победы при том страшном неравенстве сил, какое существовало между ним и лордом-наместником. Он был очень хорошим организатором и конспирацию поставил на такую высоту, что английские шпионы, давно уже что-то начавшие подозревать, довольно долго никак не могли к своему прискорбию достигнуть тут требуемого пользой службы проникновения вглубь. Но перед самым делом произошло нечто такое, что лучший собиратель материалов и историк эмметовского заговора (Мадден) совершенно справедливо считает прямо невероятной неосторожностью со стороны заговорщиков: на 23 июля было назначено нападение на наместника, а они сочли благовременным 14 июля, в годовщину взятия Бастилии, устроить в Дублине противоправительственную демонстрацию. После долгого, почти ничем не прерванного пятилетнего онемения, после молчания, воцарившегося с 1799 г., впервые в довольно серьезных размерах возникли уличные манифестации, длившиеся почти весь день. Власти встрепенулись; существование организации стало для них несомненно. Эммет мог ясно видеть, что вследствие недисциплинированности и опрометчивости соучастников чуткость и подозрительность правительства сразу обострились и что шансы его дела от этой совершенно несвоевременной демонстрации сильно уменьшились. Судьба продолжала преследовать предприятие. Через два дня после демонстрации, 16 июля, в Патрик-стрите (в Дублине) произошел по несчастной случайности взрыв в том помещении, где была заготовлена заговорщиками часть боевых припасов (пороха и ружей). Мигом явился

на место происшествия майор Сирр (тот самый, который в 1798 г. смертельно ранил лорда Фицджеральда во время вооруженного сопротивления). Сирр и приведенные им полицейские арестовали раненного взрывом человека, нашли кое-какое оружие, но до главного склада, помещавшегося в очень потайном и глухом месте того же здания, полиции не удалось добраться. Тем не менее этот взрыв был властями очень принят к сведению. Роберт Эммет был теперь окончательно поставлен в необходимость выбрать одно из двух крайне опасных решений: либо произвести нападение в августе, как он предполагал раньше, надеясь на то, что в этом месяце произойдет высадка Наполеона в Англии и английские войска должны будут уйти из Ирландии для защиты метрополии; либо начать дело немедленно, теперь же, в июле. Но первая комбинация являлась ныне, после демонстрации 14 июля и взрыва 16 июля, почти невозможной; всякая отсрочка казалась Эммету опасной до последней крайности, ибо тайна переставала быть тайной, и нужно было готовиться ко всяким случайностям вроде массовых ночных арестов, массового разгрома всех состоящих у полиции на примете людей. Мысли главы заговора остановились на втором решении. Это второе решение уменьшало опасность, представляемую откладыванием дела до августа, но зато делало успех нападения еще менее правдоподобным, нежели могло казаться раньше: французской высадки в июле Англия вовсе не ждала и ослаблять свой ирландский гарнизон не имела пока оснований. Роберт Эммет в наступившие тревожные дни, когда после событий 14 и 16 июля полиция рыскала по всему городу, скрывался на конспиративной квартире в Марашальси-Лэне, где был другой склад оружия. Странная смесь самого решительного энтузиазма, веры в победу с не прекращающимся сознанием весьма возможной и близкой гибели царила в душе этого человека; вот что между прочим писано в эти дни его рукой и найдено в помещении, где он прятался, уже после 23 июля: «У меня мало времени, чтобы рассмотреть тысячи затруднений, которые еще лежат между мной и исполнением моих желаний; что эти затруднения точно так же исчезнут, на это я надеюсь горячо и, как мне верится, надеюсь разумно; но если выйдет и не так, то я благодарю бога за то, что он одарил меня пылким намерением. К осуществлению этого намерения я стремился обдуманно, и если мои надежды не имеют оснований, если раскрывается под моими ногами пропасть, отступить от которой не позволит мне долг, я все же благодарен за это пылкое намерение, которое ведет меня к краю пропасти и повергает меня туда в то время, как мои взоры еще подъяты к видениям счастья, созданным в воздухе моим воображением». Все это писалось среди глухой конспиративной квартиры, заваленной порохом и оружием, которые

были предназначены для достижения этих «видений счастья»... И пока это писалось, вице-король уже знал о готовящемся на него нападении; среди отряда Роберта Эммета были предатели. Но перспектива легкой победы над слабым и уже обнаруженным врагом, победы, после которой можно требовать у парламента чрезвычайных полномочий для репрессии, эта перспектива улыбалась вице-королю. Было решено дать Эммету действовать.

Наступило 23 июля, и среди вожаков обнаружился такой полный разброд, такая несогласованность в мнениях, что некоторые из них не только не обсуждали стратегических подробностей события, которое должно было совершиться через несколько часов, а просто потребовали, чтобы оно было отложено. Участники из Уиклоу не явились; другая партия пришла, но один из предателей, имевших в заговоре распорядительную роль, сказал им, что Эммет решил отложить дело, и они ушли. И именно предатели убеждали в то же время самым пылким образом Эммета в невозможности откладывать нападение. Несколько сот человек стояло за городом, ожидая условленной ракеты, и ничего не дождались. Трудно было распознать, где в этот роковой день кончалось предательство и где начиналась растерянность вожаков, которые, кроме Эммета, все потеряли голову. К вечеру отдельные кучки рядовых заговорщиков, чуть не весь день проведя в ожидании приказов в кофейнях и ресторанах, обращали на себя внимание прохожих, тем более что некоторые из них напились и говорили и пели многое, ясно намекавшее посторонним на готовящееся событие.

Слишком быстрый набор партизанов, причем была забота не о качестве, а о количестве набираемых, давал себя чувствовать. Наступил вечер, и Роберт Эммет увидел, что для начатия намеченных действий у него не 800 человек налицо, а ровно одна десятая — 80, на которых хоть как-нибудь можно положиться; вследствие хаоса противоречивых распоряжений, а отчасти также вследствие уловок сознательного предательства иногородние отряды не пришли, из дублинского же многие оказались слишком явно ненадежными. К 9 часам вечера Роберт Эммет уже видел, что дело погибает, ибо даже вожаки, главные помощники его, рассеялись по разным местам, кроме одного (Стэффорда). Тогда Роберт Эммет все-таки решает выйти на улицу и напасть на замок, вопреки очевиднейшей невозможности что-нибудь сделать, лишь бы умереть в бою, а не быть взятым голыми руками. Он вышел с несколькими десятками из конспиративной квартиры, и они пошли к замку, причем по пути к ним присоединялись отдельные группы из заговорщиков, бывших на улице. К довершению беды многие оказались совершенно пьяны, и их надо было умолять не слишком растягивать шествие, чтобы не погиб-

нуть поодиночке. Улицы в этот вечерний час были почти пусты; полиция решила дать заговорщикам возможно более свободы действий, быть может чтобы с пущей непререкаемостью установить обвинение их в вооруженном восстании. На Томас-стрите толпа остановила карету некоего Лича, которого мигом вытащили и ударили пикой, но не убили окончательно, ибо их внимание было отвлечено другой катившейся навстречу каретой. Останавливаться и убивать проезжающих англичан было при данных условиях совершенной бессмыслицей, но часть толпы уже не слушала ни отчаянных убеждений, ни просьб, ни угроз. Недобитого Лича бросили на земле и окружили новую карету. Когда распахнули дверцы, из кареты высунулся человек, который крикнул: «Это я, Кильварден, главный судья королевской скамьи!» Тогда к карете бросился из толпы (некто Шаннон) и с криком: «Вас-то мне и нужно!» ударил лорда Кильвардена пикой в грудь. Затем раненого вытащили из кареты, и на него посыпался град ударов. В карете сидела в ожидании той же участи дочь лорда Кильвардена; но Роберту Эммету удалось вывести ее, пробраться с ней сквозь разъяренную толпу, окружавшую тело Кильвардена, и втолкнуть ее в двери ближайшего дома, где она уже очутилась в безопасности. Племянник лорда Кильвардена, Вольф, тоже сидевший в карете, был вытащен, брошен на землю и пронзен пиками. Дочь лорда Кильвардена из своего убежища бросилась бегом в замок вице-короля и, ворвавшись туда, с рыданиями рассказала о случившемся. Пока это происходило, Роберт Эммет подбежал от того дома, куда он отвел мисс Кильварден, к толпе, чтобы как-нибудь спасти еще дышавшего лорда. Но толпа, обезумевшая от ярости, внезапной и разожженной видом крови, уже ничего и никого не слушала. Вдруг впереди грянули выстрелы: войско напало на беспорядочно столпившуюся около разбитой кареты массу. Ни о каком сопротивлении не могло быть и речи: паника охватила инсургентов, и, оставляя убитых и раненых, они бросились бежать врассыпную. Лорда Кильвардена снесли на ближайший полицейский пост, где спустя несколько минут он и умер. Преследование продолжалось безостановочно, причем солдаты избивали до полусмерти арестуемых; только один раз наткнулись они на попытку сопротивления, окончившуюся убийством нескольких беглецов.

Роберт Эммет и некоторые его помощники успели было спастись. С помощью Анны Дьюлин, молодой женщины, знавшей о заговоре, Эммету удалось избегнуть опасности в первые сутки после происшествий 23 июля. Спустя еще день, меняя свое местопребывание, он укрылся в другом доме, а первый дом был указан майору Сирру тотчас же одним из многочисленных предателей, до конца не разгаданных Эмметом. Нагрянула полиция,

перерыла все, но Эммета не нашла. Захватили Анну Дьюлин и в тюрьме стали пытать: кололи штыками так, что кровь бежала по всему телу, давили шею веревкой и наконец объявили, что повесят немедленно, если она не скажет, где укрылся человек, которого ищут. Она ответила: «Вы можете меня убить, негодяи, но ни одного слова о нем вы от меня не добудете». Тогда ее вздернули, но так, что она чуть-чуть касалась пальцами ног земли: это было так называемое полуповешение (halfhanging) — пытка, часто пускавшаяся в ход во время и после восстания 1798 г. Подержав арестантку несколько мгновений в таком положении, ее бросили на пол в бесчувственном состоянии. После нескольких новых расспросов, столь же безрезультатных, ее заключили в одиночную камеру.

Тюрьмы переполнились арестованными. Хватали целыми сотнями по малейшему подозрению, назначили денежные награды за поимку скрывшихся участников заговора, спешно стягивали войска к Дублину, хотя это было совершенно бесполезно: город все время оставался безучастен и нем. как 23 июля, так, разумеется, и после.

Роберт Эммет, скрываясь в первые дни в Дублине, бежал из города в горы, где находился отряд инсургентов из Уиклоу, не пришедший вовремя и не принимавший участия в деле 23 июля. Здесь его снабдили средствами для дальнейшего бегства, но вдруг он предпринял поразившее всех решение: ему захотелось вернуться в Дублин, чтобы увидеть в последний раз Сарру Курран, дочь известного ирландского юриста Джона Куррана, которую он давно уже любил. Террор в Дублине был в разгаре, и эти июльские и августовские дни 1803 г. живо напоминали усмирение 1798—1799 гг., хотя тут английские власти имели дело не с восстанием народа, а с одинокой, в один час потушенной попыткой внезапного государственного переворота. Спустя 6 дней после происшествий 23 июля английский парламент провел в обеих палатах в трех чтениях (в один и тот же день) два билля: один — о приостановке действия habeas corpus в Ирландии, другой — о предоставлении вице-королю права применять закон военного времени к тем лицам, какие обличаются в государственной измене. Аресты шли непрерывно, всюду были вывешены объявления от администрации с перечислением лиц, за поимку которых была назначена награда. В тюрьмах истязания арестантов стали ежедневным явлением. Всюду были расставлены патрули, окликавшие прохожих и хватавшие подозрительных. 25 августа полиция наконец явилась в дом г-жи Пальмерс, где скрывался Эммет, и арестовала его.

Эммет был предан суду и ввиду подавляющих улик предан смертной казни.

5

Ничем уже не прерываемая в течение долгих двух десятилетий общественная и правительственная реакция воцарилась в Ирландии. Период этой беспросветной реакции в Ирландии продолжался более полутора десятка лет. Погибшее и раздавленное поколение 90-х годов не оставило после себя непосредственных продолжателей своего дела; общество, едва оправившееся после бедствий, вызванных восстанием и усмирением, приняло уничтожение автономного парламента с совершенной апатией, и Граттан, Плэнкет, Фостер, отчаянно боровшиеся в парламенте против унии, остались неподдержанными и незамеченными, и вся их борьба имеет самое ничтожное историческое значение. Попытка Эммета при всей ее незначительности сыграла роль в том отношении, что еще более усилила оторопь и смущение ирландского общества. Из всех инсуррекционных действий эмметовский эпизод был самым внезапным, неожиданным, плохо подготовленным, шедшим наиболее вразрез с настроением окружающего общества; а так как попытка 1803 г. была хронологически последним открытым возмущением, то деятели, начинавшие в эти годы свою политическую жизнь, надолго остались под тем впечатлением, что успешная инсуррекция в Ирландии абсолютно немыслима, что она всегда приобретает там уродливые формы и не только осуждена на полнейшую безрезультатность, но и приносит положительный вред, ибо насильственно и без всякой подготовки хочет толкнуть общество на такой путь, который под силу лишь очень немногим. Восстание 1798 г., долго подготовлявшееся, разразившееся над всей страной, захватило все сословия в большей или меньшей степени; попытка Эммета была мимолетной одинокой вспышкой, но значительно усугубившей безнадежное, тяжелое душевное состояние. И проходить это настроение, как увидим, стало лишь после конца наполеоновской эпохи. Таков был общий фон ирландской общественной жизни после унии.

Вильям Питт провел свое дело так быстро и успешно не только вследствие усмирения бунта; попытка Роберта Эммета не была никем поддержана не только вследствие воспоминания о недавних репрессиях и страха пред репрессиями новыми; борьба против унии в течение долгих лет после попытки Эммета тоже отсутствовала не только вследствие упомянутых причин. Было налицо серьезнейшее условие всякого английского правительственного успеха в Ирландии: рознь между католиками и протестантами именно по вопросу об унии. Часть оранжистов, т. е. главных врагов католического населения, была за унию; другая часть их высказывалась самым решительным образом

против унии, ибо после подавления мятежа они считали совершенно не нужной жертвой отрекаться от автономии в пользу метрополии, которая все равно из своих же интересов всегда поддержит их против католиков. Вильям Питт и вице-король — это было прекрасно известно всем и усиленно подчеркивалось правительственными агентами — стояли за эмансипацию католиков, которую они рассматривали как необходимое следствие унии. Католиков (тех, которые верили в эти намерения) прельщала мысль, что, быть может, в недалеком будущем им суждено войти в общебританский, лондонский парламент, тогда как уничтоженный в 1800 г. автономный дублинский парламент за все 18 лет своего существования был для них совершенно закрыт. Всем этим надеждам католиков на эмансипацию суждено было разлететься прахом: билль об эмансипации достался им лишь через 30 без малого лет после введения унии.

Король Георг III всей силой чувства, на какое только был способен, ненавидел католиков и считал их по старой английской традиции врагами не только государственной религии, но и государственного устройства; при всей тугости и несамостоятельности своего ума он отстаивал всегда всякие направленные против католиков законы с болезненным и ожесточенным упрямством. Уже одного этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы весьма серьезно затруднить эмансипацию. Но и в обеих английских палатах, особенно среди лордов, антикатолические чувства были так прочны и сильны, что Вильям Питт, ничего не имевший, с обычной своей проницательностью и глубиной, в интересах укрепления унии, против дарования всех прав католикам, увидел себя бессильным перед лицом застарелых, воспитанных историей, религиозных антипатий и предрасположений английских правящих кругов. Король заявил, что он откажется от престола скорее, нежели подпишет билль об эмансипации католиков, и Питт подал в отставку. Кроме панегиристов Питта, кажется, никто из историков (ирландских или английских, все равно) не верит, чтобы Питт ушел действительно от огорчения или обиды. Наиболее вероятно давно высказанное мнение, что он ушел, во-первых, чтобы «соблюсти декорум», необходимый в конституционной стране, чтобы не обнаружить слишком уже быстро и наглядно, что он лгал и своими устами, и устами вице-короля, когда сулил католикам после унии эмансипацию; во-вторых, его уход обусловливался и соображениями дипломатическими. В марте 1801 г., когда он подал в отставку, дело клонилось к заключению мира с Наполеоном, а главному врагу Франции, душе всех коалиций, против нее составлявшихся, было неудобно вести с французским правительством мирные переговоры. На 3 года (до конца апреля 1804 г.) власть перешла из рук Питта в руки совершеннейшего политического нуля —

Аддингтона. Когда уже и амьенский мир был нарушен, и борьба с Наполеоном вновь обострилась и стала особенно опасной, Питт вернулся к власти, причем уже он объявил себя против эмансипации католиков. Вообще не до того было Англии, когда на другом берегу Ла-Манша собиралась против нее в поход армия в булонском лагере. Когда же в начале 1806 г. Питт, силы которого давно уже были надломлены, скончался, убитый (по выражению Уильберфорса) аустерлицкой победой Наполеона над коалицией России и Австрии, никто из крупных правительственных людей не принял немедленно себе в наследство не исполненных Питтом обещаний относительно эмансипации. Потянулись долгие беспросветные годы; до самого Ватерлоо в пределах Британской империи ни о каких мало-мальски значительных реформах внутреннего строя не могло быть и речи, т. е. речи серьезной, и шансов на проведение таких реформ. Попытка Эммета была прямо направлена к насильственному расторжению унии, и общественная подавленность, при которой она произошла и которая долго после нее продолжалась, была так сильна, что не только метод, но и идеал Эммета был объявлен многими во влиятельных слоях ирландского общества утопическим. Напротив, мысль об эмансипации медленно, но неуклонно, без искусственной пропаганды, а сама собой распространялась все шире. Проникнуть в британский парламент в числе 100 депутатов, которых Ирландия по закону об унии (1800 г.) имела право посылать туда, таково было ставшее на очередь политическое стремление ирландских католиков; но парламентские права являлись лишь одной (хотя и главной при тогдашних условиях) стороной этой желанной эмансипации католиков. Напомним в нескольких словах о происхождении этого вопроса, о тех исторических условиях, которые сделали в британской державе католиков своего рода париями в глазах закона; без такого напоминания читатель не сможет вполне отчетливо понять, чем объясняется та упорная борьба традиции против всех усилий эмансипаторов, которая заполнила первую треть XIX в.

В XVII столетии, особенно при Кромвеле и последних двух Стюартах, политические партии расслоились так, что защитники парламентских вольностей в огромном большинстве случаев были и решительными сторонниками преобладания либо господствующей (англиканской) церкви, либо одного из протестантско-диссидентских толков; защитники же королевской прерогативы склонны были весьма снисходительно смотреть на католические пристрастия Карла II (а потом Якова II). Получилось такое странное с современной точки зрения, но весьма естественное с тогдашней точки зрения положение вещей, что, когда усиливалась политическая реакция, католики начинали в Англии легче дышать; усиливалась оппозиция, крепли осво-

бодительные стремления в обществе и парламенте, и законы, направленные против католиков, свирепели и дополнялись более и более стеснительными статьями. Карл II издал (в пользу католиков) декларацию об индульгенции. Этот акт вызвал всеобщее осуждение. «Самые противоположные чувства были оскорблены таким либеральным актом, совершенным таким деспотическим образом. Все враги религиозной свободы и все друзья гражданской свободы оказались на одной и той же стороне; а эти два класса составляли девятнадцать двадцатых нации» [18]. В 1673 г. оппозиция добилась своего. Не довольствуясь уже тем, что король отменил свою декларацию, парламент провел закон, совершенно исключивший католиков из всякой государственной и общественной службы. По этому закону о присяге (test-act, как он вкратце стал называться) всякий человек, желающий занять какую-либо должность, обязан подписать присягу, в которой признает королевскую супрематию в делах церкви, а также отрекается от догмата о пресуществлении. Подобная подпись делала занятие любой должности совершенно невозможным не только для католика, но и для диссидентов-протестантов; однако для последних с течением времени этот закон обходился все чаще и чаще, так что de facto главным образом католики пострадали от его издания. Кроме подписи, требовалось удостоверение священника о принятии причащения по англиканскому обряду. Тест-акт был многократно нарушаем в реакционное царствование Якова II, католика, мечтавшего об окатоличении Англии. Когда в 1688 г. Яков II, низверженный революцией, бежал, а спустя короткое время Вильгельм Оранский и его жена Мария были провозглашены королем и королевой, победа освободительных вигистских принципов была полная, так же как повсеместное подавление ненавистного вигам католицизма. Тест-акт торжественно был подтвержден относительно католиков, для протестантских же диссидентов были допущены некоторые смягчения (фиктивное «временное согласие» вступающего в должность с англиканской церковью и другие ухищрения, благодаря которым на деле тест-акт исключал из государственной жизни лишь одних католиков).

Восстание в Ирландии (в 1689 г.), когда ирландцы-католики сделали попытку восстановить низверженного Якова II, привело к страшному усмирению острова, окончательному подавлению католических элементов, особенно жестокому и долгому угнетению ирландцев и, в частности, к особенно крутому исполнению правил тест-акта относительно католиков. Мы уже видели, что и по ирландской конституции 1782 г. католики не могли ни занимать какой-либо должности, ни быть избираемыми в парламент (и только в 1793 г. получили право быть избирателями). Предубеждение против католиков было в Англии так сильно и

держалось так упорно потому, что здесь обе партии, попеременно правившие страной, подавали друг другу руку: тори некогда (в XVII в.) относились снисходительнее к католикам часто потому, что политические принципы заставляли их поступать так вследствие католических пристрастий короны, но после падения Якова II, после некоторых явно безнадежных попыток борьбы сначала с Вильгельмом III, потом (в меньшей степени) с Анной, потом (в еще меньшей) с первыми Георгами, торийская партия окончательно стала партией, всецело примкнувшей к протестантской династии, и в полном согласии с чувствами самого короля Георга III тори со второй половины XVIII в. сделались чуть ли не главным оплотом и поддержкой всяких законов, направленных к усилению господствующей церкви и к угнетению католиков. Что касается до другой партии, до вигов, то им даже незачем было и эволюцию такую проходить, чтобы в течение всего XVIII в. являться (за немногочисленными исключениями) приверженцами тест-акта. Виги всегда были врагами католиков в эпоху Стюартов, и с их точки зрения католическо-ирландское восстание 1689 г., например, заслуживало строжайшего подавления, потому что прямо направлялось против всех приобретений революции, низвергшей Якова II.

Виги ненавидели католиков сложной ненавистью, в которой, с одной стороны, было нечто, напоминающее религиозную вражду эпохи реформации, а с другой стороны, нечто, близкое по духу к ожесточению, с которым французские республиканцы 1793—1794 гг. истребляли шуанов, восставших на защиту монархии и церкви. Только очень медленно к концу XVIII в. в вигистской партии стали понемногу (сначала в виде совершенного исключения) обозначаться признаки, позволявшие надеяться, что наступит время, когда идея веротерпимости в сознании этой передовой, употребляя позднейшее выражение — *либеральной,* партии распространится и на католиков.

Если дело католиков так плохо обстояло в самой Англии, если исторические судьбы английской нации лишили католицизм всякой поддержки в метрополии, то в Ирландии юридически господствовавшее население было англиканской веры и всегда старалось привлечь на свою сторону пресвитериан. Страшная резня 1641 г., когда католики в нескольких ирландских графствах перебили массу протестантов всех наименований, аналогичные происшествия позднейшего времени, все это позволяло англиканцам привлекать на свою сторону пресвитериан, указывая им на общего врага. Здесь расовая, экономическая и политическая борьба сплеталась с вопросом о преобладании либо католицизма, либо англиканства, и все ограничительные законы, направленные против католиков, соблюдались особенно точно, особенно ревниво.

Итак, когда уния в 1800 г. прошла, когда во время реакции последующих лет мысль о ее расторжении пришлось отложить, вперед выступил сам собой вопрос об отмене тест-акта, т. е. об эмансипации католиков, которая приравняла бы их в правах к британским подданным протестантам. Напомнив, почему традиция в этом вопросе оказалась особенно упорной, перейдем теперь к тому, как она началась. Здесь прежде всего нужно коснуться первых шагов политической жизни человека, который, выступив в годы общественной реакции, много сделал (насколько это зависит от отдельного лица) для того, чтобы реакция поскорее окончилась, а когда она окончилась, сделал еще более для того, чтобы она не возвращалась. Этот человек в ирландской истории получил название «освободителя», потому что его имя навсегда осталось связанным с эмансипацией католиков.

6

Даниель О'Коннель родился в 1775 г. в семье довольно зажиточных и популярных в графстве Керри католиков. Он получил хорошее систематическое образование на родине и за границей. И семья его, и в первой молодости он сам принадлежали к той категории католиков, которые, скорбя о своем бесправии, в то же время были типичнейшими консерваторами во всех без исключения иных вопросах политики и морали. Французская революция повлияла на О'Коннелей так, как она повлияла на всех католиков одного с ними типа: они с ненавистью и раздражением отнеслись к французским событиям, и клерикально-консервативные чувства в них особенно усилились именно под влиянием известий из Франции. Молодой О'Коннель, правда, примкнул к «Объединенным ирландцам» в тот период существования этого общества, когда оно еще было вполне легально с формальной стороны, а по существу стремилось возможно больше объединить католиков с протестантами для борьбы против Англии и выдвигало требование католической эмансипации. Но уже очень скоро О'Коннель прервал сношения с этим обществом, как только яснее стал обозначаться его революционный и франкофильский характер. На восстание 1798 г., на попытку Роберта Эммета 1803 г. О'Коннель смотрел резко отрицательно, не только высказываясь против их методов и целей, но и осыпая память этих людей самыми злыми упреками и обвинениями. В этом отношении он был типичным представителем большинства ирландского общества первых десятилетий XIX в., разочарованного, уставшего и наперерыв обвинявшего революционеров в безумных затеях и гибельных способах действий. О'Коннель был человек очень энергичный и активный, прирожденный агитатор; и еще раньше, нежели выступил на первый план,

он уже успел проявить это свое отношение к революционному методу. «Из примера «Объединенных ирландцев»,— говорил он,— почерпнул я урок, что, имея в виду успешно действовать для Ирландии, решительно необходимо работать в границах закона и конституции. Я увидел, что братства, незаконно образованные, никогда не могут уцелеть, что неизменно какое-нибудь беспринципное лицо может быть уверено в получении доступа в такие общества и что оно либо вследствие обыкновенного подкупа, либо — во времена опасности — из-за собственного своего спасения может выдать своих товарищей. Да, «Объединенные ирландцы» научили меня, что всякое дело для Ирландии должно делаться открыто и явно». Он был юристом, адвокатом по профессии и считался знатоком своего дела; проницательность его и дар слова стяжали ему громкую репутацию еще до того, как он выступил на политическую арену. Политическая жизнь его стала более или менее заметной, когда, примкнув к католической ассоциации, которая поставила своей задачей легальным путем добиться отмены тест-акта и других ограничений, он вместе с другими 20 членами специального комитета работал над редакцией петиции католиков, поданной главе министерства — лорду Гренвилю в 1808 г. В петиции высказывалось желание, не трогая унии, соединившей Ирландию с Англией, добиться эмансипации католиков. Из этой петиции и ей подобных предложений (поддерживавшихся в английской палате общин старым Граттаном, протестантом-патриотом Ирландии) ничего не вышло. О'Коннель много говорил на митингах, которые собирались по поводу этих петиций, но трудно сказать, большое ли впечатление он тогда производил. Политический оратор в большей степени еще, нежели всякий иной, подвергается влиянию своей аудитории, а в эти годы ни католики-аристократы (вроде лорда Фингала), устраивавшие эти митинги, ни толпа, на них собиравшаяся, не обладали ни одушевлением, ни особой верой в осуществимость своих желаний. В 1811 г. король Георг III снова (и на этот раз уже безнадежно) впал в помешательство, и его место с титулом регента заступил сын его Георг, а в следующем (1812 г.) Каннинг, выдающийся английский государственный деятель, и до, и после того бывший министром, произнес в парламенте речь, в которой признавал справедливость католических притязаний и только протестовал против всяких просьб об отмене унии (а петиция и об этом была подана за полтора года до того). Все это были обстоятельства, которые в другое время могли бы несколько ободрить ирландских католиков. Но общественная апатия продолжалась, да и новый регент в вопросе о католиках оказался копией своего отца, а Каннинг был не у дела до самого 1822 г. С окончательным образованием реакционного кабинета лорда Кэстльри, лорда Эльдона и Сидмута на правительственную

милость нужно было совершенно оставить всякие надежды. Номинальный премьер лорд Ливерпуль, подобно товарищам своим по кабинету, решительно был против католической эмансипации, а секретарь по делам Ирландии сэр Роберт Пиль, едва выступив еще только на политическое поприще, являлся самым активным врагом каких бы то ни было уступок католикам.

Таково было положение вещей, когда пала наполеоновская империя, смертельный враг Англии попал в ее руки, долголетняя война окончилась, и ирландцам на помощь пришел неожиданный союзник: революционное брожение в самой Англии по поводу требований избирательной реформы. Но раньше чем к этому периоду обратиться, заметим, что к его началу, к 1815, 1816, 1817 гг., католическая партия Ирландии, пока еще бессильная, робкая, не имевшая и понятия о своем ближайшем будущем, уже теснилась вокруг О'Коннеля, уже определенно считала его своим вождем. Впервые он снискал себе громкую популярность не речами своими и не участием в петициях, подававшихся, как упомянуто, в английский парламент, но своим поведением в 1813 г., когда зашла речь о новом и весьма существенном ограничении прав католической церкви. Каннинг (поддержанный Граттаном) защищал предложение, клонившееся к облегчению положения римско-католической церкви и католиков вообще, но в виде желательного условия подобных мер выставил (и был тут поддержан особенно усиленно лордом Кэстльри) требование, чтобы королю было предоставлено право veto, право неутверждения тех католических епископов, рукополагаемых для Ирландии, которые по своим убеждениям покажутся королю не вполне лояльными подданными. А доклад насчет их лояльности королю должна доставлять особая комиссия после надлежащего расследования; та же комиссия должна была наблюдать за сношениями ирландских епископов с римской курией. Сначала многие католики в Ирландии (не говоря уже о протестантах вроде Граттана) склонны были согласиться с тем мнением, что подобное veto — в сущности недорогая цена за эмансипацию. Даже папа Пий VII заявил, что против такого нового права, которое парламент хочет дать английскому королю, он ничего со своей стороны не имеет. Выдающийся деятель католической партии лорд Фингал тоже был с этим согласен. Но О'Коннель выступил против права veto самым решительным образом и увлек общественное мнение. Его точка зрения была такая: во-первых, нет возможности надеяться на полную эмансипацию даже после вотирования права veto; во-вторых, такая цена слишком дорога даже для получения эмансипации. Епископы были всецело на его стороне, и даже голос папы их не разубедил. Проект Каннинга, впрочем, так и остался проектом, но агитация 1813 г. и ее результат были первой и крупной удачей

О'Коннеля. Уже обнаруживалось ясно, какого типа новый враг стоял перед английским правительством на месте погибших Вольфа Тона, Фицджеральда, Роберта Эммета: этот новый человек боролся не революционным, а легальным оружием, и его планы были гораздо скромнее, нежели их планы. Но, во-первых, он являлся удивительным агитатором, умевшим вовремя всегда приспособить к делу самого умеренного и робкого человека, знавшим в точности, сколько от кого можно требовать; во-вторых, действовать ему пришлось при исключительно благоприятных условиях, когда сама Англия временами казалась чуть не на пороге революции; в-третьих, самые цели его изменялись и расширялись по мере того, как он достигал намеченного. Это был замечательный политический тактик, и мы обратимся теперь к тому, как он воспользовался внутренней английской *смутой, начавшейся после окончания наполеоновских войн.*

7 [19]

Не следует думать, что ирландское движение воскресло одновременно с началом брожения в Англии, т. е. непосредственно после наполеоновских войн. Прошло более 5 лет, пока О'Коннелю удалось поставить пропаганду идеи эмансипации католиков на ту почву, на которой это дело оказалось вскоре столь сильным. Нужно сказать, что и сам О'Коннель переживал в эту эпоху довольно своеобразную эволюцию. В полную противоположность Вольфу Тону и другим деятелям предшествовавшей эпохи, О'Коннель начал свою деятельность человеком вполне «лояльным», и долго и упорно старался эту свою лояльность всячески поставить на вид английскому правительству, удостоверяя его в то же время, что и вообще ирландское общество уже не хочет революционного отделения от Англии, но что в Ирландии ждут эмансипации католиков и возвращения самостоятельного парламента от мудрости англичан. Эта точка зрения как нельзя более подошла к настроению запуганного и подавленного общества первых лет XIX в.; она менялась вместе с переменой этого настроения, по мере того как в Ирландии с радостью начинали убеждаться, что в лагере врага далеко не все обстоит благополучно. Порывистый, живой, раздражительный, невоздержный на язык, склонный к оптимистическим взглядам на намерения властей и быстро переходящий от надежд к гневу и от гнева к надежде, О'Коннель при всех необычайных своих талантах гораздо более подходил по характеру к среднему типу образованного ирландца, нежели герои восстания 1798 г. или Роберт Эммет. Пользуясь известным некрасовским выражением, можно сказать, что он более «учил жить», нежели «учил умирать», не шел сам и не вел других к самопожертвованию, хотя

и посвятил всю свою жизнь до последней минуты освобождению своей страны.

В 1815 г. произошло событие, показавшее, что католики считают О'Коннеля своим вождем, но вместе с тем тяжело повлиявшее на всю его душевную жизнь. Когда одна дублинская корпорация подала парламенту петицию, направленную против о'коннелевских домогательств, то О'Коннель в одной своей речи грубо выбранил эту корпорацию. Один из ее членов (д'Эстерр) счел себя оскорбленным и вызвал О'Коннеля на дуэль. Дуэль состоялась, и О'Коннель убил своего противника. Но когда после дуэли разнесся ложный слух о смерти О'Коннеля, произошла угрожающая демонстрация в Дублине, быстро сменившаяся самыми бурными проявлениями радости, фейерверками, факельными шествиями, как только истина обнаружилась. Но сам О'Коннель был так страшно подавлен невольным убийством, что не мог даже сразу оценить всего значения этого первого после долгих лет активного проявления народных чувств. Тотчас после этой дуэли сильно обострились отношения между О'Коннелем и Робертом Пилем, который был тогда главным секретарем при ирландском вице-короле. Пиль был в те годы настроен чрезвычайно нетерпимо относительно католиков; его называли даже оранжистом самой чистой воды. Узнав, что Роберт Пиль в английской палате общин с насмешкой о нем отозвался, О'Коннель на одном митинге заявил, что так как тут несомненно присутствуют шпионы, то вот он покорнейше просит этих шпионов передать мистеру Пилю следующее: он, мистер Пиль, не посмеет нигде, ни в одном месте, где он был бы обязан отчетом в своих словах, неуважительно отозваться об О'Коннеле. Шпионы столь корректно и аккуратно исполнили миссию, возложенную на них оратором, что уже на другой день к О'Коннелю явился с объяснениями один из друзей Пиля. После нескольких дней объяснений и препирательств было решено отправиться в Остенде и там стреляться. Но по пути (в Лондоне) О'Коннель был арестован, и дело расстроилось. Он вернулся в Ирландию, снова заставив весьма много о себе говорить.

Трудность положения О'Коннеля основывалась на следующем. Он являлся в эти годы (от начала унии, с 1800-х годов, по 1829 г.) представителем интересов главным образом достаточных классов ирландского народа, католических лендлордов и католической торгово-промышленной буржуазии, тех классов, которые прежде всего должны были воспользоваться отменой тест-акта и занять места в парламенте. Политический идеал — эмансипация католиков — волновал эти достаточные классы без всякого сравнения больше, нежели голодную и несчастную массу крестьян-арендаторов, которых изводили и высокая аренда, и страх изгнания с арендуемой земли, и десятина в пользу

господствующей (чуждой им) церкви. Можно без преувеличения сказать, что девять десятых ирландского народа думало не столько об эмансипации католиков, не столько о распространении на них парламентских прав, сколько о спасении от голодной смерти. Но (как это случалось в аналогичных случаях и с другими) своей энергией, организаторским талантом, искренним убеждением, что он действует на пользу всего народа, а не только маленькой его части. О'Коннель превратил в конце концов вопрос об эмансипации католиков в общенациональное дело и объединил вокруг этого дела почти весь ирландский народ. Ему удалось направить всю силу недовольства, снова начавшего проявляться в народных массах, именно в эту сторону и внушить крестьянству, что эмансипация католиков есть огромный шаг к немедленному исправлению всех бед. Было ли это так на самом деле? Нет, огромным шагом вперед в этом смысле эмансипация назваться не может, хотя, конечно, как всякая мера освободительного характера, она являлась несомненным прогрессом, несомненным и крупным завоеванием идеи социальной справедливости. Но лгал ли, хитрил ли О'Коннель с народными массами, упорно привлекая их к борьбе за эту меру, непосредственно нужную лишь зажиточным классам? *Тоже нет;* здесь только повторялось в маленьком масштабе то, что и в крупных, и в малых масштабах происходило в остальных европейских странах с конца XVIII столетия: представители имущих классов искренно и горячо отстаивали то, что они считали общечеловеческими или общенациональными правами, нисколько не задумываясь над теми экономическими условиями, которые фатально предоставят пользование этими правами исключительно достаточному меньшинству нации. И О'Коннелю, подобно деятелям Франции 1789 г., удалось собрать почти весь свой народ вокруг требования эмансипации католиков. Ему это было не легко и далось не сразу, а после 15 лет упорной агитации. Его роль в эти первые посленаполеоновские годы заключалась в политическом воспитании народа в том духе, как ему это казалось наиболее целесообразным. Он был убежденным противником революционных средств борьбы и считал, как мы уже сказали, деятелей 1798 г. и 1803 г. людьми роковыми для Ирландии. Но как он представлял себе новую тактику, которой надлежит держаться для достижения хотя бы сравнительно скромного идеала — эмансипации католиков? «Будем, мои земляки, сходиться; будем готовить наши петиции; пусть этих петиций будет много; пусть они будут проникнуты единым духом и приурочены к одной цели — к достижению эмансипации»,— читаем в одной его речи, сказанной в 1819 г. Эта исключительно законная, конституционная, строго лояльная почва была за всю жизнь О'Коннеля единственной, на которой он хотел стоять

и от которой очень многого ожидал. Петиции, митинги, в самом крайнем случае мирные демонстрации — вот были рекомендуемые им средства.

Обстоятельства сложились необычайно благоприятно для О'Конneля, и после мертвенной реакции 1800—1815 гг., после трудного и медленного национального пробуждения 1815—1820 гг., когда идея эмансипации католиков послужила средством этого пробуждения, наступило время ожесточенной схватки с временно ослабевшим неприятелем. В 1817, 1819, 1821 и следующих годах в Англии происходило бурное народное движение; буржуазия рука об руку с рабочими боролась против аристократии, промышленные города — против привилегий крупного землевладения. Консервативный кабинет лорда Ливерпуля, Эльдона и Кэстльри должен был считаться с систематическими и страшнейшими аграрными поджогами в самой Англии, с кровавыми, яростными демонстрациями на площадях Манчестера, Лондона, Бирмингема, с прямыми угрозами революционного характера. Прерывалось действие habeas corpus act'а, посылались войска, производились усмирения с убийствами и поранениями, и в Англии, и на континенте временами казалось, что великобританское государство находится на пороге революции. В первый период этой эпохи (до начала 1820-х годов) Ирландия очень медленно пробуждалась после долгого оцепенения, и о'коннелевские речи на митингах в пользу эмансипации, о'коннелевские дуэли, о'коннелевская пропаганда в прессе создали теоретическую основу движения (требование эмансипации католиков), указали вождя (О'Конneля), расшевелили общество, привлекли голодную и полуголодную массу, но ни в малейшей степени не воскресили сами по себе традиций 1798 г. Пока старик Граттан был жив, им как ирландским патриотом, в качестве протестанта имевшим возможность попасть в парламент, пользовались католики для попыток законодательным путем провести эмансипацию, но ничего не выходило.

В июне 1820 г. Граттана не стало, и надежды на парламентское проведение эмансипации (и без того очень слабые) еще более потускнели. Но, с другой стороны, тот же год принес смерть Георга III и вступление на престол Георга IV, и О'Коннель всецело подпал под власть столь бурного припадка лоялистических чувств, какой с ним ни раньше, ни позже не повторялся и который увлек в то же время почти всю влиятельную католическую аристократию и буржуазию. Дело в том, что О'Коннелю показалось (а он был человеком большой впечатлительности и сильной импульсивности), будто новый король, в противоположность отцу своему, покажет себя благосклонным к католикам. Король Георг IV был совершенно не повинен в приписанных ему чувствах. Будучи наследным принцем и ре-

гентом (во время сумасшествия отца), Георг весьма много кутил, употреблял необычайное (даже для ганноверской династии) количество спиртных напитков, производил ряд скандалов в семейной своей жизни и дружил известное время с вигами, благодаря поддержке которых парламент соглашался платить его долги в некоторую трудную для Георга эпоху. Больше ничем особенным новый король проявить себя не успел.

12 августа 1821 г. король Георг IV прибыл в Ирландию, которую уже давно намерен был почему-то навестить. Дублин был иллюминован, всюду толпы народа выкрикивали приветствия, жгли фейерверки, стреляли из пушек. О'Коннель с демонстративным усердием иллюминовал все окна своего дома. Король Георг был в восхищении, пил за здоровье дублинцев, пил за процветание Ирландии, пил за католиков, пил за протестантов и вообще за прочие вероисповедания, произносил милостивые слова, давал несколько неопределенные, но тоже милостивые обещания, и обе стороны так действовали друг на друга, что О'Коннель плакал от радости, провозглашал новую эру для Ирландии и даже основал общество «Королевско-Георгиевский клуб» с целью споспешествовать дальнейшему взаимному англо-ирландскому дружелюбию и, в частности, возделывать и впредь «чувства благодарности к его величеству королю Георгу IV — да хранит его господь! — которые ныне одушевляют каждую ирландскую грудь».

Свободомыслящие, независимые круги Англии просто диву давались, поглядывая на все, что проделывалось в Ирландии. Англия была в раздраженном, почти революционном состоянии; личные качества Георга IV там особенно отчетливо сознавались именно в эти дни, в августе 1821 г., когда умерла несчастная королева Каролина, которую неудачно пытался опозорить ее муж при помощи подкупленных лжесвидетелей; ее похороны сопровождались бурной революционной манифестацией в Лондоне, и как раз в эти дни приходили известия о неистовых восторгах О'Коннеля и ирландцев по поводу приезда Георга. Байрон заклеймил ирландские события в горьких стихах, где выражено самое глубокое презрение к действовавшим лицам. «Кричите, пейте, празднуйте, льстите!» — говорил Байрон, обращаясь к Ирландии; «О'Коннель, провозглашай его совершенства»,— бросал поэт иронический вызов агитатору.

Слои, на непосредственную пользу которых работал О'Коннель, были по социальному положению своему *естественно консервативны*, а потому и хватались так судорожно, с такой радостной надеждой за все, что сулило им возможность достигнуть желаемого (эмансипации католиков) без потрясений и смут, всегда небезопасных для собственности. Но и эти слои, и О'Коннель, и король Георг IV рассчитали, забыв ввести в свои сооб-

ражения один весьма существенный элемент. Король отбыл из Ирландии и ничего решительно не исполнил из обещанного: католики остались и ждали все с усиливавшейся горечью, ибо вся королевская милость ограничилась присылкой в качестве вице-короля добродушного лорда Уэльсли. Этого было мало. И вот тут-то забытый элемент выступил на сцену, или, точнее, привлек к себе всеобщее внимание, ибо на сцене он уже находился давно.

8

Аграрные беспорядки изредка вспыхивали уже в конце второго десятилетия XIX в., все по тем же постоянным причинам, которые мы изъяснили в первой главе настоящей работы. Высокая рента, десятина в пользу англиканской церкви, притеснения лендлордов, изгнание с арендуемых участков, неурожаи картофеля, отсутствие (абсентеизм) весьма многих землевладельцев и страшное повышение арендной платы благодаря посредникам, которым уезжавшие лендлорды сдавали землю крупными участками и которые стремились нажиться, сдавая уже от себя арендованную землю мелкими делениями,— все это невыносимо тяготило фермеров. Едва только король Георг успел отбыть из Ирландии после дружественных манифестаций, как вспыхнули аграрные смуты, сопровождаемые разбоями, в Корке, потом в Лимерике, потом в Уиклоу, опять в Корке и опять в Лимерике, а к концу 1821 г. беспорядки распространились по всему центру острова.

Оранжисты, которые по традиции продолжали существовать и после подавления бунта 1798 г., организовались в отдельные отряды, чтобы бороться против крестьянских банд, разорявших господские поместья, рубивших парки, угонявших скот, иногда убивавших особенно ненавистных им лиц. Но таких отрядов самозащиты было мало, и людей в каждом из них тоже было мало. Тогда вице-король потребовал войск; более 20 тысяч солдат рыскало по стране, охотясь за бунтовщиками. Крестьяне иногда расхаживали отрядами по тысяче, тысяче пятисот, иногда по две тысячи человек, и даже не всегда убегали от солдат, а иногда с совершенным отчаянием шли прямо под пули. Солдаты прикалывали штыками, а иногда вешали пленных; иных доволакивали до военного суда и вешали уже по приговору. Наступила зима, холодная и голодная зима 1822 г. Бунт разгорался; в Мекруне, в других местах дело дошло до настоящих сражений между крестьянами и солдатами, после чего около 50 человек было повешено и убито немедленно, а еще более — впоследствии (для вешанья бунтовщиков и предварительного совершения некоторых так называемых судебных формальностей была учреждена специальная комиссия в Корке). Вице-король, благосклон-

ный к католическим имущим классам, был особенно неумолим к крестьянам и беспощадно их усмирял. Но беспорядки не кончались. В одном месте все казалось пришибленным, в другом неожиданно начиналось все наново. В Керри, Тайперери, Лимерике участились убийства сборщиков десятины, управляющих имениями, посредников; пожары не прекращались.

5 февраля тронная речь открыла парламентскую сессию 1822 г. Король сначала поздравлял милордов и джентльменов с тем, что все обстоит благополучно во внешних отношениях, а потом с удивлением и грустью констатировал, что дух преступлений обуял Ирландию именно после столь искренних выражений симпатии и верноподданнических чувств во время последнего его путешествия. Посему он и обещал принять меры «к защите личности и собственности верных и мирных подданных» от нарушителей закона. Министерство действительно провело ряд мер, отменявших на время habeas corpus и сильно расширявших и без того огромную власть вице-короля. Оппозиция (в частности, Брум и Бэрдет) противилась этим мерам. Особенно их возмущала мысль о ночных обысках, о том, что полиция получит право врываться ночью в крестьянские дома в Ирландии и шарить по всему помещению, тревожа ночной покой и оскорбляя женщин.

Мысль об обысках раздражала их больше всего; и министры тоже как-то стыдливее оказывались в защите этого пункта, нежели при отражении других нападок оппозиции. Тем не менее желательные им меры относительно Ирландии прошли.

Между прочим во время прений маркиз Лондондерри, один из членов правительства, заявил: «Во всяком случае я могу удостоверить палату, что смуты, угнетающие Ирландию, не стоят ни в какой связи с теоретическими принципами революции, которые в настоящее время заражают мир. Не следует смешивать недовольства, порожденного страданиями, хотя бы воображаемыми, с дурными учениями, которые ведут ко всему, кроме свободы. Повторяю, что ирландское восстание не имеет никакого политического или религиозного характера. Это так справедливо, что католики, хочу особенно это отметить, ведут себя так, как они уже вели себя при подобных обстоятельствах, и сами воздерживаются от подачи своих заявлений (т. е. петиций), которые они должны были нам подать в нынешнюю сессию. Они не хотят, чтобы их дело было смешано с делом бунтовщиков. Требовать реформ или удовлетворения политических домогательств при подобном положении вещей значило бы дать награду бунту».

Эта речь подводит нас к весьма любопытному вопросу: как О'Коннель и его партия относились к аграрному бунту, происходившему вокруг них? Отчасти похвала лорда Лондондерри была

ими заслужена, они действительно еще продолжали чего-то ждать от английского правительства и не хотели, чтобы их смешали с бунтовщиками. Но все-таки от обычных, из года в год повторяемых петиций они отказались на этот раз вследствие настояний одного из сановников, управлявших Ирландией под эгидой вице-короля Уэльсли, вследствие настояний Плэнкета, считавшегося их другом. Сами они хотя и с раздражением и опасениями отнеслись к бунту, но в их партийном миросозерцании стала уже происходить некоторая перемена.

Как описать эту перемену? Как ее точно определить? Жизнь (и история как часть ее) более сложна, более гибка, более пестра и запутанна в иных своих явлениях, нежели, может быть, желательно тому, кто стремится совершенно ясно, совершенно полно эти явления описать. Человеческий язык и для прозы жизни (а не только для поэзии) иногда оказывается беден.

Например, совершенно ли согласны мы будем с исторической истиной, если скажем так: «О'Коннель решил с 1822 г. пользоваться аграрными беспорядками в Ирландии, чтобы пугать ими английское правительство и вынудить его дать эмансипацию католикам»? Нет, будем не вполне точны. Если прибавим к этому: «Он решил также воспользоваться для своей цели происходившими в это время смутами в Англии из-за требований избирательной реформы»? Также это не вполне будет отвечать действительности. Тут нельзя констатировать с самого начала определенного решения, ясного перехода к новой тактике. О'Коннель продолжал оставаться вполне лояльным и хвалиться своей лояльностью; он продолжал порицать бунтовщиков, продолжал действовать митингами, петициями, легальными ассоциациями. И в то же время, чем решительнее шло революционное движение в Англии и аграрное в Ирландии, чем яснее становился затяжной характер обоих движений, тем настоятельнее О'Коннель просил об эмансипации и тем горше порицал бунтовщиков. Значит, тут мы имеем дело с сознательным макиавелизмом, со стремлением представителя имущих классов вытащить для своих доверителей каштаны из огня руками ирландских крестьян и английских рабочих, из которых первые имеют мало общего, а вторые ровно ничего общего с требованием эмансипации католиков? Нет, и этого не было. О'Коннель искренно считал себя выразителем нужд всей ирландской нации,— и в принципиальном смысле эмансипация католиков действительно нужна была всей нации, хотя непосредственно ею нищая масса воспользоваться и не могла. Что же касается до тактики, то только с конца 1820-х годов она характеризуется сознательным пользованием революционными чувствами народа для понуждения правительства к уступкам, но и тут О'Коннель только пользовался настроением, которое нарастало помимо его влияния, и никогда

искусственно не возбуждал его; напомним также, что именно с конца 1820-х годов, после эмансипации, ближайшие цели О'Коннеля стали демократичнее, народная масса более жгуче была в их достижении заинтересована. В тактике его была непоследовательность, но вскрылась она, как увидим, лишь к концу его жизни.

В 1823 г. О'Коннель основал «Католическую ассоциацию» специально с целью добиться эмансипации, но роль этого нового общества оказалась гораздо шире: оно сблизило ирландскую аристократию и буржуазию с крестьянством, ибо принципы организации были самые демократические, и с первых же шагов своих она сделалась могущественным средством объединения ирландского народа. О'Коннель много в своей жизни увлекался и много делал ошибок, но на этот раз увлечение, с которым он принялся за это дело объединения, сослужило Ирландии большую службу. Тотчас же обнаружилось, что никогда О'Коннель не был притворщиком, не был сознательным орудием имущих классов и eo ipso противником неимущих. Положительно можно сказать, что с 1823 г. О'Коннель больше говорил в своих агитационных речах об ужасном экономическом состоянии крестьян, нежели даже о желательности изменения избирательных законов, касающихся католиков.

О'Коннель посредством ассоциации самым решительным образом возбуждал общественное мнение против тех лендлордов (все равно, католических или протестантских), которые практиковали изгнание фермеров или слишком бесчеловечно повышали арендную плату; он организовал систематическую даровую судебную защиту фермерских интересов, когда дело доходило до тяжеб между фермерами и лендлордами; наконец, он принял деятельное непосредственное (как адвокат) и косвенное участие в защите подсудимых по бесчисленным аграрным процессам, происходившим в это время. Ассоциации одной, самой по себе, было недостаточно. Необходимы были деньги. О'Коннель выдвинул проект, над которым сначала много смеялись как над полнейшей утопией, но который в конце концов всецело восторжествовал и принес обильнейшие плоды. Это была мысль о так называемом «католическом взносе». Если бы из 7 миллионов католиков, населявших в 1820-х годах Ирландию, хотя бы только небольшая часть (меньше одной четверти) захотела вносить по 1 пенни в месяц, то составилось бы 50 тысяч фунтов стерлингов в год, которые «Католическая ассоциация» употребляла бы на общие нужды. Распределение этой суммы было бы такое: 15 тысяч фунтов—на прессу и агитацию в пользу католиков, другие 15 тысяч — на «законную защиту» католиков от притеснений оранжистов и всякого иного произвола, 5 тысяч — на расходы, связанные с собранием подписей и ежегодной подачей пе-

тиций в парламент *не только* относительно эмансипации, но и по поводу всяких вообще тягостей, угнетающих Ирландию, 5 тысяч — на воспитание детей бедных католиков и остальные 10 тысяч — на ряд расходов по поддержанию духовенства, католических церквей, а также для отчисления (если что-нибудь останется) в запасный фонд.

На огромном митинге, состоявшемся вскоре после первого довольно холодного и скептического приема о'коннелевского проекта членами ассоциации, толпа, чисто демократическая по своему составу, с бурным восторгом выслушала предложение О'Коннеля, и дело «католического взноса» окончательно перешло в область действительности. Насмешки и скептицизм, впрочем, все еще продолжались, и О'Коннель предпринял специальную агитационную кампанию, чтобы поддержать свой план в разных частях Ирландии. Во многих местах католическое духовенство взяло на себя и ревностно выполняло миссию взимания этой добровольной подати по церковным приходам. О'Коннель, как талантливейший организатор, умел, оставляя за собой главное и общее руководительство делами ассоциации, вдохнуть в нее жизнь, децентрализуя ее по возможности, основывая массу мелких комитетов чуть не во всех приходах, поручая этим комитетам как сбор денег, так и вербовку новых членов и другие функции. Огромные массы крестьянства, никогда даже и не бывавшего в Дублине, примыкали к этим всюду разбросанным комитетам и привыкали чувствовать себя частью одного национального целого. О'Коннель настаивал, чтобы члены комитетов ездили по самым глухим округам, читали там вслух газеты и листки ассоциации и пропагандировали ее идеи. Эти же комитеты зорко следили за поведением лендлордов и их управляющих. и при малейшей возможности защитить судебным порядком фермера от притеснений они начинали процесс.

В 1822—1823 гг. аграрные нападения совершались бандами, принявшими старое, традиционное название «белых парней»; произошло несколько случаев убийств самих лендлордов, а также сожжения их управляющих живыми вместе с семьями и всей усадьбой. В 1824 г. это продолжалось, хотя и в уменьшенных размерах. О'Коннель все силы напрягал, чтобы аграрные нападения окончились, и делал это, вне всякого сомнения, вполне искренно. И, тоже вне всякого сомнения, основанная им ассоциация стала серьезно пугать оранжистов именно вследствие происходившей смуты.

Министерство обеспокоилось. Ассоциация была легальна и действовала легально и изо всех сил старалась, чтобы ее не смешали с «белыми парнями». Но, во-первых, верноподданнические чувства, которыми О'Коннель и католики в 1821 г. удивили Европу, успели выветриться в весьма серьезной степени,

вследствие того что царствование Георга принесло не ожидаемую эмансипацию, а усмирительные законы; О'Коннель как бы старался даже загладить свое поведение во время королевского путешествия. Во-вторых, ассоциация под прямым воздействием О'Коннеля не скрывала своих симпатий к несчастным фермерам. В-третьих, она являлась слишком большой и слишком богатой организацией, чтобы можно было равнодушно смотреть на ее существование. Были предприняты некоторые шаги. На одном митинге О'Коннель выразил мысль (в его устах действительно довольно неожиданную), что если какую-нибудь нацию слишком угнетают, то она становится способной на самые безумные поступки; что он надеется на милость бога, который не допустит Ирландию до такого состояния, но что если уже это случится, то пусть тогда дух греков, восставших против турецкого владычества, и южноамериканских колоний, освободившихся от притеснений Испании, одушевит ирландскую нацию. За эти слова О'Коннеля отдали под суд, причем особенно выраженная им надежда, что ирландцы будут иметь своего освободителя Боливара, ставилась ему на вид. Из процесса ничего не вышло, ибо репортер газеты, на отчете которого основывалось обвинение, принес присягу, что это он записал в сонном виде и ничего не помнит. Отговорка была лишена всякого смысла, но других свидетелей не объявлялось, а на шпионов сослаться было нельзя. Так большое жюри и не нашло состава преступления в речи О'Коннеля. Ряд бурных оваций сопровождал О'Коннеля после этого процесса во всех его появлениях в народе; ассоциация стала необычайно популярна и росла не по дням, а по часам. Тогда после долгих и тщетных поисков, к чему бы придраться, правительство решило прибегнуть к такой мере: закрыть ассоциацию на основании существующих законов нельзя, следовательно, нужно провести через парламент новый закон, особый акт, которым специально постановлялось бы уничтожить имеющуюся в Ирландии «Католическую ассоциацию».

3 февраля 1825 г. парламентская сессия открылась тронной речью [20], в которой выражалось искреннее сожаление короля Георга, что спокойствию Ирландии, которая, как известно, «разделяет всеобщее благополучие», мешают только разные ассоциации, разжигая вражду, угрожая обществу и т. д., и т. д., и т. д. Это было предзнаменованием чрезвычайно серьезным. Действительно, очень скоро после открытия сессии в нижнюю палату был внесен билль о закрытии «Католической ассоциации». Ассоциация решила сделать попытку отстоять свое существование и по крайней мере публично себя защитить. Было решено, что О'Коннель и Шиль поедут в Лондон, попросят позволения быть допущенными к решетке палаты и ответят на все обвинения.

О'Коннель понимал весьма хорошо, что никаких обвинений против их общества выставить нельзя, но что это вовсе и не требуется в данном случае, ибо речь идет не о суде, а о законодательном акте, не о правосудии, а о политике. И все-таки он решил отправиться в Лондон: пропагандист в нем всегда брал верх. Неохотно, но он взял на себя эту неблагодарную миссию.

В Лондоне друзья ирландского дела — член палаты Плэнкет и другие — сразу заявили ему о безнадежности предприятия. Палата отказалась даже выслушать прибывших и огромным большинством голосов согласилась на закрытие «Католической ассоциации». Зато О'Коннеля допустили и выслушали по другому поводу: комитет палаты общин, образованный с целью рассмотрения общего положения Ирландии, пригласил О'Коннеля высказаться по поводу ряда ирландских вопросов, и речь ирландского агитатора произвела весьма сильное впечатление; он говорил о массе морального и материального зла, которое претерпевают бесправные католики и которое устранить возможно только их эмансипацией. Был тогда же устроен огромный митинг, где О'Коннель произнес потрясающую речь о положении Ирландии, и его лондонские слушатели, собравшиеся на этот митинг в зал «Франк-масонской таверны», встретили и проводили его громовыми рукоплесканиями. В эту же сессию был внесен членом оппозиции сэром Фрэнсисом Бэрдетом билль, почти всецело проводивший эмансипацию католиков, и О'Коннель, хорошо знавший обстоятельства, питал сильную надежду, что эта мера пройдет. Дело в том, что время в Англии стояло очень сложное и очень любопытное, и в поведении большинства палаты не было ничего странного, когда это большинство становилось за такие противоречивые меры, как закрытие «Католической ассоциации» и за эмансипацию католиков. Английские правящие круги давно уже смотрели на эмансипацию католиков как на меньшее из нескольких зол; давно уже в правящую среду проникла (хотя далеко не всецело уже утвердилась там) мысль, что, удовлетворив Ирландию, легче будет напрячь все силы для борьбы с английскими радикалами, требующими парламентской реформы. А закрыть «Католическую ассоциацию» правительство находило все-таки нужным, чтобы не создавалось в Ирландии всегда опасное там «государство в государстве», да и ассоциация эта стала заниматься слишком острыми вопросами — аграрным, социальным, а вовсе не только религиозно-юридическим, не только вопросом об эмансипации католиков. Вот почему большинство (правда, слабое) согласилось на либеральный билль Бэрдета, и члены министерства (правда, не все) ничего против этого билля не имели. О'Коннель уже торжествовал, но 18 мая (того же 1825 г.) палата лордов во втором чтении большинством 178 голосов против 130 провалила предложение Бэр-

дета. Лорды все еще думали, что, может быть, мыслимо ни в Англии, ни в Ирландии никому ничего не уступить. В сущности, эмансипация католиков (в частности, допущение их в парламент) ничьих интересов особенно не затрагивала, и все это понимали и видели, что в конце концов лорды уступят, ибо развязать себе руки для борьбы против реформистов-радикалов, желающих уничтожения гнилых местечек, им необходимо; все видели, что не в эмансипации католиков, а именно в парламентской реформе лежит серьезная опасность для их политического и материального преобладания. И все-таки О'Коннель вследствие обычной своей впечатлительности был в крайней степени раздражения, почти в отчаянии. Оставаться дальше в Лондоне было совсем уже нечего, и он вернулся в Ирландию.

Несметные толпы встретили его на берегу и стояли по дороге к Дублину; приветственные крики не умолкали; народ выпряг лошадей и помчал экипаж. Ирландия пробудилась окончательно, и этот факт утешил О'Коннеля в только что претерпенных неудачах, как сам он высказывал. Был устроен ряд митингов, на которых О'Коннель подчеркивал необходимость обратиться с новыми, настоятельнейшими петициями в парламент относительно эмансипации. Что касается до покойной «Католической ассоциации», то акту, закрывшему ее, нужно оказывать «не почтение, но повиновение». Этим он выразил прежнюю и всегдашнюю свою мысль о необходимости для блага Ирландии оставаться на легальной почве. Тем не менее О'Коннель очень скоро показал, что самую почву эту он не намерен суживать ни в каком случае: он заявил, что следует открыть новую ассоциацию «только для общественной и частной благотворительности» и для таких целей, которые не воспрещены актом парламента. Другими словами, это обозначало de facto открытие вновь только что закрытого общества. О'Коннель ставил правительство в довольно хлопотливое положение: закрывать ничего преступного не делающие организации возможно лишь специальным актом парламента, а удобно ли по нескольку раз в год пускать в ход тяжеловесную законодательную машину для достижения этой цели? И наконец О'Коннель на другой день после каждого такого закрывающего билля будет открывать под иным наименованием новое общество. Правительство лорда Ливерпуля, как выражается Роберт Дэнлоп, смотрело на это, как феникс из пепла, возродившееся общество «с остолбенением и бессилием». Неудобства конституционного режима, к которым с такой горечью относился еще лорд Кэстльри, теперь выступили во всей своей силе. И что было худо, О'Коннель обнаруживал удивительное умение этими неудобствами пользоваться; но что было еще хуже, это то, что О'Коннель, все еще лояльный, конституционный, нереволюционный О'Коннель, уже вовсе ни

в чем не напоминал прежнего, недавнего верноподданного О'Коннеля. Конституция являлась уже для него только арсеналом, дававшим нужное оружие; король и лорды — препятствием, против которого это оружие нужно пустить в ход.

Новое общество, получившее (будто в насмешку над актом, уничтожившим прежнюю организацию) название «Новой католической ассоциации», поглощено было в 1826 г. предвыборной агитацией: католики-арендаторы, платившие 40 шиллингов, как сказано, имели право выбирать в парламент, хотя не имели права быть выбираемыми, и О'Коннель решил этим воспользоваться: до сих пор эти выборщики были обыкновенно слепым орудием в руках лендлордов, на землях которых они сидели, теперь же были пущены в ход все средства пропаганды, чтобы они избирали только тех протестантов, которые высказались за эмансипацию католиков. «Сорокашиллинговые фригольдеры», подготовленные уже агитацией последних лет, оказались на высоте положения и в целом ряде округов провалили лендлордских кандидатов и выбрали приверженцев эмансипации (мы говорим о кандидатах протестантских лендлордов: католические магнаты были на стороне О'Коннеля). Сейчас же после выборов началась расправа освирепевших лендлордов с непокорными арендаторами. Целыми массами их выгоняли вон, оставляя с семьей буквально на улице. Среди арендаторов начались уже толки об аграрном терроре как ответе на неистовства лендлордов, но О'Коннель всеми силами старался иным путем помочь беде. На митинге в Иотерфорде (в августе 1826 г.) он предложил учредить «Орден освободителей», особое общество, которое стремилось бы к примирению всех ирландских сословий, предупреждению образования тайных обществ, к прекращению всяких ссор и несогласий классового или вероисповедного характера, к учреждению для этой цели особых третейских судов и частных трибуналов и в особенности к защите «сорокашиллинговых фригольдеров» от всяких попыток мести и притеснений за подачу голосов на выборах по совести, а не по приказу; для этой цели, для поддержки притесняемых фригольдеров должен был служить особый национальный фонд, который предполагалось собрать вообще для дальнейшей борьбы за эмансипацию католиков. Орден основался и специально занялся материальной помощью изгоняемых арендаторов и устной и печатной полемикой (на митингах и в газетах) против лендлордов; любопытно, что этот орден на самом деле несколько стеснил лендлордов (правда, главным образом потому, что им казалась весьма небезопасной та своеобразная и односторонняя «популярность», которой снабжали их деятели ордена в случае слишком жестоких поступков).

В парламенте (нижней палате) насчитывалось теперь много

приверженцев эмансипации, и однако, когда Фрэнсис Бэрдет (в марте 1827 г.) внес опять предложение немедленно приступить к рассмотрению вопроса об эмансипации католиков, предложение это большинством 276 голосов против 272 провалилось. Вскоре после этого умер лорд Ливерпуль, и первым министром стал Каннинг, приверженец эмансипации. Веллингтон, лорд Эльдон, а главное Пиль, упорный враг католиков, вышли из состава правительства. Но Каннинг знал о слепом яростном сопротивлении короля и лордов проведению эмансипации, и дело это не настолько его занимало, чтобы он хотел немедленно начать неизбежную борьбу. Поэтому он дал стороной знать О'Коннелю, что, конечно, министерство хотело бы дать эмансипацию, но нужно выждать время, пока улягутся страсти и т. д. О'Коннель на это ответил, что прежде всего нужно изменить состав ирландской администрации, чтобы хоть немного прекратить «лихорадочное состояние» страны. Как мы видим, борясь против этого «лихорадочного состояния», О'Коннель пускал его в ход, как оружие, как серьезное основание для требований; эта двойственность была отличительной чертой его политики, делавшей эту политику в глазах многих весьма несимпатичной и нецелесообразной; в глазах других — несимпатичной, но целесообразной; в глазах третьих — целесообразной и с нравственной стороны вполне допустимой. Все лето прошло в Ирландии в ожидании реформ, в ожидании всяких благ от Каннинга, которого чтили все свободомыслящие элементы тогдашней Европы. Но 8 августа Каннинг скончался, ничего не успев сделать для Ирландии, и власть вскоре снова перешла к крайним тори кабинета лорда Ливерпуля, ушедшим после смерти Ливерпуля. С самого начала 1828 г. начались колоссальные и почти непрерывные митинги в Дублине и других городах Ирландии; «Новая католическая ассоциация» и «Орден освободителей» — главные орудия о'коннелевской пропаганды — употребляли все свои усилия, чтобы поддерживать страну в состоянии постоянного возбуждения; готовилась новая петиция в парламент, и внимание министерства самым недвусмысленным образом обращалось на такое положение вещей, когда ирландские стремления к эмансипации идут прямо на руку внутренней английской смуте — радикалам, требующим парламентской реформы. Положение вещей было такое, что противники реформы долго противиться эмансипации не могли, но, чтобы они уступили, нужно было напрячь все усилия сделать всякое дальнейшее их сопротивление равносильным призыву ирландского народа к революции. В 1828 г. право заседать в парламенте получили протестантские диссиденты, тоже до тех пор лишенные его согласно тест-акту 1673 г., о котором у нас шла речь в начале этой (второй) главы. О'Коннель не уставал повторять, что совершенно нелогично и бес-

смысленно после этого оставлять в силе только те ограничения, которые касаются католиков. Возбуждение в Ирландии росло: католическое духовенство разжигало до фанатизма стремления своей паствы к эмансипации и окончательно отождествляло эту будущую эмансипацию со всевозможными материальными благами, которые непременно свалятся на несчастную голодную страну, едва только эмансипация будет достигнута. Наступал тот психологический момент, когда агитатор должен был наконец указать народу: куда ступить дальше? на что он рассчитывал, доводя своих сторонников до такой пламенной решимости?

9.

Уизи Фицджеральд, один из отпрысков этой старой и разветвленной ирландской фамилии, принял от лорда Веллингтона приглашение вступить в кабинет для заведования министерством торговли. По этой причине на основании английского закона он должен был сложить с себя звание представителя от ирландского графства Клэр, в качестве которого он заседал в нижней палате. Тотчас же он, как водится, поставил там наново свою кандидатуру, и все были уверены, что эта формальность, переизбрание депутата, ставшего министром, пройдет без всяких осложнений. К общему изумлению оказалось, что есть еще один кандидат на освободившуюся вакансию, именно О'Коннель. Новость была изумительная, ибо О'Коннель как католик не имел права заседать в парламенте. Лорд Эльдон и другие крайние враги эмансипации указывали на эту выходку О'Коннеля как на решительное вступление до сих пор легально действовавшего агитатора на революционное поприще, ибо, домогаясь всю жизнь эмансипации католиков, он вдруг как бы принял свою мечту за действительность и, вопреки ненавистному для него, но существующему еще в полной силе закону, намерен стать членом парламента. Дело заключалось еще в том, что «Католическая ассоциация» (инициатива предприятия принадлежала ей) и О'Коннель убедились в необходимости начать непосредственную борьбу после того, как они обстоятельно ознакомились с настроением католических арендаторов — избирателей графства Клэр. Арендаторы решительно не желали выбрать своего прежнего депутата, принявшего пост в торийском кабинете Веллингтона, не то расположенном дать эмансипацию, не то отказывающем в ней. Они были настроены так, что воспрепятствовать им бороться значило остаться позади движения и сильно охладить нацию. Тут не О'Коннеля вели, но и не О'Коннель вел; тут возбужденное О'Коннелем движение несло и его, и друзей вперед. О'Коннель и решил согласиться на предложение «Католической ассоциации» и выставить свою канди-

датуру против Уизи Фицджеральда. Собственно, в точном смысле слова постановка кандидатуры ничего незаконного в себе не заключала; акт 1673 г. вовсе не запрещал католикам баллотироваться в члены парламента: этот акт говорил лишь о том, что выбранный должен принести такую-то и такую-то присягу (которую католик принести не может, не отрекаясь от догматов своей веры). Но, разумеется, ни для кого не было и не могло быть неясным, что О'Коннель баллотируется не затем, чтобы потом перед парламентским клерком отречься от католицизма, а для иной цели. Этой целью было поставить правительство в возможно более трудное положение, в необходимость либо дать эмансипацию, либо отказать человеку, выбранному в представители народа, в праве занять принадлежащее ему место только на основании того, что он католик. Кабинет колебался и не решался в вопросе об эмансипации, теперь же О'Коннель ставил Веллингтона в необходимость совершить грубое насилие во имя принципа, который самому Веллингтону кажется довольно несправедливым и ненужным.

Избиратели графства Клэр, узнав о решении О'Коннеля, были в совершенном восторге. Возбуждение дошло до того, что вице-король лорд Энгльси спешно требовал новых и новых военных подкреплений на всякий случай. Огромные массы уже стекались в Эннис, где должны были произойти выборы; в несколько дней было собрано столько [денег], сколько собиралось обыкновенно за год, все на избирательные расходы. О'Коннель обратился с воззванием к избирателям, в котором он говорил, что его избрание — это шаг к эмансипации, его успех — успех всей католической Ирландии, т. е. огромного большинства нации. По всем дорогам, на всех холмах графства Клэр можно было видеть членов «Католической ассоциации» и священников, произносивших агитационные речи в пользу О'Коннеля. Дело было летом (конец июня и начало июля 1828 г.), и митинги продолжались чуть не круглые сутки: менялись только ораторы и публика, но на местах, признанных удобными для митингов, всегда стояла толпа. В церквах такие митинги были особенно многочисленны и людны. «Каждый алтарь был трибуной»,— говорит друг и помощник О'Коннеля — Шиль; «Где только появлялся священник или агитатор, мгновенно собиралась чернь, даже в глухой час ночи»,— скорбно констатирует враждебный О'Коннелю «Annual register» за 1828 год [21]. Духовенство пускалось даже в обстоятельные разъяснения пастве, что вотировать за О'Коннеля значит вотировать за господа бога, а за противника О'Коннеля — все равно что за сатану. Боевым кличем было: «За бога и О'Коннеля!» Лендлорды со своей стороны устраивали митинги, на которых не переставали говорить против О'Коннеля; протесты аргументировались иногда довольно курьезно с апломбом

такой чудовищной лжи, к которой люди привыкают только от долголетней уверенности в невозможности для оппонентов тотчас же их изобличить. Двадцатипятилетняя реакция, наступившая после 1798 г. и прерванная только агитацией О'Коннеля в начале 1820-х годов, и одарила ирландских лендлордов этой привычкой. Так, на своих митингах они наивнейшим образом сетовали на О'Коннеля за то, что он нарушает своим поведением стародавние превосходнейшие отношения, патриархальные чувства, существующие между землевладельцами и их арендаторами. Агитаторы «Католической ассоциации» много над подобными заявлениями смеялись. О'Коннель в речи, сказанной перед избирателями, снова и снова указывал на боевое значение своей кандидатуры в деле уничтожения исключительных законов против католиков: «Я хочу положить этой системе конец, я прихожу сюда, чтобы покончить с ней». Выбранным оказался О'Коннель. Триумф «Католической ассоциации» и ее вождя был полный, и вся католическая Ирландия рукоплескала клэрским избирателям. На одном протестантско-аристократическом собрании сэр Доусон, родственник Роберта Пиля, сам бывший членом министерства, живописал «Католическую ассоциацию» весьма мрачными красками, все подчеркивая ее огромную власть. «Состояние Ирландии есть аномалия в истории цивилизованных наций. Правильно, что у нас есть правительство, которому оказывается наружное повиновение, которое ответственно перед парламентом и перед богом в отправлении своих функций; но столь же правильно, что огромнейшее большинство (ирландской — *Е. Т.*) нации в устройстве дел своей страны сообразуется не с законным правительством, но с неответственной, самовольно учрежденной ассоциацией. Спокойствие Ирландии зависит не от королевского правительства, но от повеления «Католической ассоциации». Духовенство (англиканское — *Е. Т.*) в своей десятине, лендлорды в своей арендной плате — все они зависят от того или иного приказа «Католической ассоциации», обращенного к ирландской нации. Такой совершенной системы в организации не достигал никто, ни один человек, не обладающий законной властью правительства». Эти слова Доусона — лучшая характеристика организаторских талантов О'Коннеля. В заключение своей речи консервативный оратор заявлял, что единственный способ успешно бороться с о'коннелевской моральной диктатурой заключается в даровании эмансипации, ибо до тех пор, к сожалению, страна будет слушать агитаторов. Подобное мнение все больше и больше проникало в самые нетерпимые, самые консервативные протестантские слои. Первый министр (Веллингтон) был того мнения, что Ирландия — накануне открытого бунта, если продолжать слишком упорствовать и не дать эмансипации. Роберт Пиль хотя и по-

ссорился со своим родственником Доусоном за то, что он в своей речи высказался слишком решительно в пользу эмансипации, тем не менее понимал своим широким государственным умом, что уступить необходимо, и только лично желал выйти из кабинета: ему казалось это необходимым ввиду прежней слишком решительной своей оппозиции всем планам эмансипации. К концу 1828 г. в Ирландии и Англии друзья и враги католиков уже понимали достаточно ясно, что министерство переживает последние колебания. Как мы уже сказали, отделаться этой в сущности совсем для правительства безобидной уступкой не могло не казаться людям веллингтоновского склада нужным и удобным стратегическим приемом: революция в Ирландии была бы не страшна при внутреннем спокойствии Англии, но именно этого спокойствия в Англии не было, а лорд Веллингтон являлся самым беззаветным врагом всех требовавших парламентской реформы английских радикалов. Вот была одна из серьезных причин, побуждавших к уступке, к устранению призрака ирландской смуты. В конце концов и Пиль, всегда бывший в трудные моменты особенно необходимым герцогу Веллингтону, решил остаться в министерстве и помочь провести билль об эмансипации католиков. Министерству пришлось выдержать сильную бурю со стороны главных сановников англиканской церкви, многих протестантских фанатиков из числа членов палаты лордов, наконец со стороны короля Георга IV. Но самые недвусмысленные известия приходили в течение всей осени 1828 г. и зимы 1829 г.; волнение после избрания О'Коннеля не уменьшалось; агитация его и его друзей усиливалась. О'Коннель и «Католическая ассоциация» старались поддерживать в стране брожение, но в то же время, пугая этим брожением министерство, не давать брожению перейти в революцию. Из, так сказать, инстинктивной эта политика теперь делалась едва ли не сознательной. Ирландия была переполнена спешно созываемыми войсками, но, во-первых, доводить дело до резни было явно несвоевременно, а во-вторых, далеко не на всех солдат можно было положиться. Повторялись слова, сказанные одним солдатом 21-го полка: «Есть два способа стрелять: можно выстрелить в человека и *поверх* человека; и если бы нам скомандовали против О'Коннеля и нашей страны, я думаю, мы бы знали это различие». На солдат ирландского происхождения надежда была действительно очень плоха.

При таких условиях наступил 1829 год и открылась парламентская сессия. В начале февраля О'Коннель произнес на собрании «Католической ассоциации» речь, убеждая в необходимости упорнейшими усилиями поддерживать агитацию, пока цель не достигнута, а затем уехал в Лондон. Министерство, решившись хоть немного умилостивить врагов эмансипации,

быстро провело билль об уничтожении «Католической ассоциации», билль, совершенно аналогичный с тем, который за 3 года уничтожил первую ассоциацию. 5 марта король подписал этот билль, и это общество перестало существовать. Но все в Ирландии знали, что это только умилостивительная жертва оранжистам, и ждали, что будет дальше.

5 марта Пиль внес от имени кабинета предложение изменить законы, касающиеся католиков[22]. Речь эта составлена удивительно искусно, принимая в соображение прошлое самого Пиля, положение кабинета и аудиторию. Центр тяжести рассуждений Пиля был тот, что для протестантизма теперь же от эмансипации католиков никакой опасности не может проистечь, а в интересах спокойствия государства решиться на эту меру необходимо. Он развернул картину всей истории Ирландии за время унии. «В 1800 г.[23] мы видим habeas corpus act приостановленным и акт о подавлении восстания в силе; в 1801 г. эти акты были продолжены. В 1802 г., кажется, они окончились. В 1803 г. вспыхнуло восстание, за которое подвергся казни Эммет: лорд Кильварден был убит дикой чернью, и оба акта парламента были возобновлены. В 1804 г. они были продолжены. В 1806 г. запад и юг Ирландии были в состоянии непокорства, которое было подавлено только суровейшими усилениями обыкновенных законов. В 1807 г. главным образом вследствие преобладавших в 1806 г. беспорядков был введен акт, названный актом о восстании. Он дал лорду-наместнику право объявлять всякий округ вне действия обыкновенного закона; он приостанавливал действие суда присяжных и объявлял преступлением, караемым ссылкой, пребывание вне своего дома от захода до восхода солнца. В 1807 г. этот акт продолжал оставаться в силе и в 1808, 1809 и до конца сессии 1810 г. В 1814 г. был возобновлен акт о восстании; он продолжался в 1815, 1816 и 1817 гг. В 1822 г. он снова был воскрешен и продолжался в течение 1823, 1824, 1825 гг. В 1825 г. прошел временный акт о закрытии «Римско-католической ассоциации». Этот акт продолжался в течение 1826, 1827 и окончился в 1828 г. Наступил 1829 год, и с ним — требование нового акта о закрытии (второй — *Е. Т.*) «Римско-католической ассоциации». Будет ли подобное положение вещей продолжаться без какого-либо решительного усилия к исцелению? Можем ли мы оставаться так, как теперь?»

Указывая на бесцельность репрессивных мер, оратор (подобно Доусону, с которым он из-за этого же мнения счел уместным демонстративно поссориться за несколько месяцев до того) видел единственное средство покончить с этим больным вопросом: даровать эмансипацию. Большинство в палате, впрочем, наперед было обеспечено в этом вопросе за министерством: масса из торийского большинства голосовала за свое министерство,

чтобы поддержать его, если даже и не все соглашались с доводами Пиля. а виги, т. е. оппозиция, на этот раз всецело поддержали предложение правительства, непосредственно отвечавшее всем вигистским принципам, как они сложились в начале XIX в., и прежде всего принципу веротерпимости. Большинством голосов после не особенно больших дебатов предложение в палате общин прошло. Гораздо более затруднений следовало ожидать от палаты лордов. Один из лордов, Уипчельси, даже грубо оскорбил Веллингтона, обвиняя его в предательстве, в желании оболгать торийскую партию, и дрался по этому поводу на дуэли с первым министром. В палате лордов билль (уже прошедший в нижней палате) был заслушан в первом чтении 31 марта, а во втором чтении по предложению Веллингтона должен был слушаться 2 апреля. Уже это предложение встретило упорное сопротивление со стороны лорда Бэксли и графа Мэмсбери, но все-таки прошло. 2 апреля Веллингтон начал [24] обсуждение билля с пересказа своими словами того, что говорил в палате общин Роберт Пиль. «Милорды! — сказал между прочим первый министр,— билль сам по себе очень прост. Он уступает католикам право занимать всякую должность в государстве, кроме немногих тех, которые связаны с управлением делами (англиканской — *Е. Т.*) церкви; и он дает им также право становиться членами парламента» [25]. Герцог Веллингтон сознавался перед их сиятельствами, что уступка, делаемая Ирландией, на этот раз очень велика; но тут же в извинение свое приводил то соображение, что по многократному его замечанию всякая урезанная уступка только давала новые силы нежелательным ирландским элементам сеять дальнейшую смуту, вот почему нужно их лишить впредь такого важного оружия, как недовольство неполной уступкой. Речи оппозиции были чрезвычайно горячи. Духовные ораторы особенно настаивали на опасности подобной реформы для «чистого светильника реформации», каковой светильник может с течением времени от этого билля потухнуть [26]. Они указывали также на то, что провидение не сможет равнодушно отнестись к умалению прерогатив англиканского вероисповедания.

Архиепископ кентерберийский обратил внимание лордов также на ущерб, который может проистечь от проектируемой реформы для спасения душ разных дикарей в самых отдаленных частях света, во всех английских колониях и вообще всюду, где действуют англиканские миссионеры [27], ибо если католики смогут быть министрами, то католик — министр колоний будет препятствовать пропаганде англиканства, а не помогать зависящим от него во многих отношениях миссионерам. И дикари будут лишены единоспасающей англиканской церковной благодати. Прения заняли весь день и продолжались весь следующий день.

Архиепископ иоркский ударил министерство в самое больное место, сказав [28], что если угрозами и страхом перед восстанием правительство доведено до необходимости дать эту уступку ирландцам, то где же ручательство, что так на этом требования и остановятся? Полицейская точка зрения, с которой главным образом защищало свой проект министерство, еще более была потрясена графом Мансфильдом [29], который напоминал о «печальной знаменитости» — Вольфе Тоне; о недоверии, с которым всегда в Ирландии встречались всякие уступки со стороны Англии; о том, что эти уступки всегда были для Ирландии сигналом для новых требований и домогательств. В 2 часа ночи заседание было прервано, и на следующий день, 4 апреля, дебаты возгорелись с новой силой. Аргументы противников и защитников министерского законопроекта вращались все вокруг тех же главных пунктов спора: опасности или безопасности эмансипации католиков для интересов господствующей церкви; о степени целесообразности этой меры с точки зрения установления тишины и спокойствия в Ирландии. Лорд Сидмут, подобно предшествующим ораторам, воспользовался слабым пунктом проекта — отсутствием принципиальной постановки вопроса и защитой билля главным образом полицейскими соображениями — и заявил, что между эмансипацией и тяжелым положением народной массы в Ирландии нет никакого отношения: «Она не есть целительная мера. Она не даст хлеба голодному, не даст образования невежественному». Но уже в этот бурный день стало совершенно ясно, что билль пройдет, и голосование, заключившее прения, дало 217 голосов за билль и 112 против. 10 апреля он прошел в третьем чтении в палате лордов (большинством 213 против 109 голосов) и спустя 3 дня был представлен к королевской подписи.

Король Георг IV беспокоился еще с лета 1828 г., когда О'Коннель был выбран в члены парламента от графства Клэр. Но он долго был уверен, что Веллингтон и особенно Пиль, всегдашний враг католиков, не допустят эмансипации. Однако, когда уже к началу 1829 г. король узнал, что министры считают делом гнетущей необходимости провести эмансипацию безотлагательно, то он впал в решительное бешенство, т. е. не то, чтобы мы употребили это слово в несколько гиперболическом смысле: было *серьезное опасение,* что он сойдет с ума. Он клялся, ругался, божился, что скорее пойдет на плаху, нежели уступит, и вообще обнаруживал полнейшее неистовство. В делах религии король был довольно беззаботен, но тут он, по-видимому, смотрел как на личную для себя обиду на изменение присяги в том смысле, чтобы она давала вход в парламент и католикам. Все это было достаточно странно. Но еще страннее было то, что когда Веллингтон явился в Виндзорский дворец с серьезным разго-

вором и прямым вопросом, будет ли его величество противиться эмансипации, если она пройдет в обеих палатах, или не будет, то король спорил довольно сдержанно, довольно мало и согласился. Очевидно, он надеялся, что билль провалят либо в нижней, либо в верхней палате. Веллингтон изучил своего государя во всех деталях и поэтому попросил его изобразить свое обещание на бумаге. Георг и это сделал и подписал тронную речь, ясно поставившую на очередь вопрос об эмансипации. Но вскоре после того герцог Кумберленд, лорд Эльдон и другие дали ему ясно понять, что министерство располагает в этом вопросе такими силами (в обеих палатах), что нужен вес королевского авторитета для предотвращения беды. «Георг Кумберленд обработал его так, что привел в состояние безумия, и он не говорит ни о чем, кроме католического вопроса, и в самых буйных выражениях»,— это мы читаем в знаменитом дневнике Чарльза Гревиля под 2 марта 1829 г.[30] Веллингтон поехал успокоить короля и вернулся обнадеженный; король дал ему самые положительные уверения, что он препятствовать делу не будет. «Но ведь невозможно на него полагаться»,— замечает Гревиль. Действительно, король готовил новую сенсацию. Задушевно расставшись с Веллингтоном, Георг послал за лордом-канцлером и объявил, что он, когда давал свое согласие, не знал всех подробностей билля, теперь же узнал и не желает. Канцлер, не зная, что делать, сейчас же помчался к Веллингтону и сообщил ему новость. Веллингтон приехал в Виндзор и объявил, что если король будет продолжать, то он сейчас же подаст в отставку. Король прикинулся (а быть может, и на самом деле чувствовал себя) растроганным и просил дать день на размышление; на другой день он заявил, что согласен.

В течение марта и в начале апреля, пока шло обсуждение билля в нижней палате и в палате лордов, Георг вел себя тихо. Правда, он не мог воздержаться от того, например, чтобы не пожаловаться горько на своих министров лорду Эльдону, говоря (совершенно лживо), будто они скрыли от него билль во всем объеме и т. д. Он даже решительно обещал Эльдону (одному из столпов протестантской реакции) ни за что не подписать ненавистный закон. Но все это были одни слова. Когда надежды короля на лордов не оправдались, когда, как мы видели, билль прошел в верхней палате во втором и третьем чтениях, король его подписал. 14 апреля 1829 г. все католики великобританской монархии были уравнены в политических правах с членами господствующей церкви. Первая из грандиозных задач, поставленных себе О'Коннелем, была решена самым удовлетворительным образом. О'Коннелю и ассоциации, основанной им, принадлежала, по мнению беспристрастного и постороннего современника (Гревиля), заслуга достижения эмансипации. Избрание

О'Коннеля в Клэре, говорит этот умный наблюдатель, «убедило Пиля и Веллингтона» в том, что это дело *должно* быть сделано. «Если бы ирландские католики не довели дело до этого положения своей агитацией и ассоциацией, то они могли бы навсегда остаться на том самом месте, где находились, и все эти тори до самой смерти вотировали бы против них» [31]. История повторит эти слова, несколько их изменив: она напомнит, что О'Коннель организовал и направил по намеченному руслу те подспудные силы, которые медленно и тяжко начинали разволновываться и выбиваться из тисков. Можно даже сказать, что он направил их по линии наименьшего сопротивления, ибо хотя и трудно было добиться эмансипации, но оставались другие требования, которые должны были встретить оппозицию не одних только упорных тори и протестантских ханжей и маниаков. И, с другой стороны, силы, которые так легко было организовать и которыми так легко было управлять вначале, не могли, совершая дальнейшую свою эволюцию, не столкнуться с основной непоследовательностью, с основным противоречием о'коннелевской тактики. Но все это пришло потом, все это омрачило последние годы жизни человека, который в 1829 г. находился на верху своей славы и морального могущества. Нам осталось еще немного, чтобы окончить историю этого года, после которого открылся новый период для О'Коннеля и для Ирландии.

Одновременно с биллем об эмансипации католиков был проведен другой билль: о лишении «сорокашиллинговых» ирландских арендаторов права избирать членов парламента. Это было уже не только умилостивительной жертвой реакционерам вроде закрытия «Католической ассоциации». Торийское министерство со времени выбора О'Коннеля в графстве Клэр было озабочено тем, чтобы уничтожить эти слишком демократические избирательные порядки, державшиеся в Ирландии с 1793 г. Но тогда (еще дублинским парламентом) это было сделано для усиления влияния самих же лендлордов, ибо не предполагалось возможным ослушание арендатора воле человека, от которого он так всецело зависел. Теперь оказывалось, что дело обстоит вовсе не столь просто и безопасно, и министерство Веллингтона весьма верно рассчитало, что никогда не будет для подобного закона более удобного момента, как именно теперь, в начале 1829 г., когда ирландцы ликуют, ожидая эмансипации, когда все их помыслы только эмансипацией и заняты. Сопутствуя биллю об эмансипации, закон, повышавший для ирландских арендаторов избирательный ценз с 40 шиллингов до 10 фунтов стерлингов в год и этим совершенно исключавший самый бедный и многочисленный слой ирландско-

го населения из числа избирателей, прошел почти совсем без оппозиции. О'Коннелю и тем, которые его выбрали летом 1828 г. в Клэре, было очень обидно, что именно ирландские бедняки, которые, подвергая себя лендлордскому мщению, устроили этот демонстративный выбор и могущественно содействовали эмансипации, что именно они не воспользуются новыми правами, не смогут посылать в парламент своих единоверцев, т. е. не воспользуются теми правами, которые теперь даются их более богатым единоверцам. О'Коннель за несколько месяцев до того говорил, что ни за какую цену нельзя продавать этого драгоценного права. Но расчет министерства оказался верен: главный, либеральный билль совсем заслонил собой этот сопровождавший его реакционный закон; и Пиль, прямо мотивируя этот второй билль тем, что нужно ослабить влияние агитаторов, особенно сказывающееся именно среди самых бедных слоев, не только наказал людей, выбравших О'Коннеля, не только подчеркнул смысл и значение этой кары, но и проделал все это, не испытав ни малейшего затруднения ни в английском парламенте, ни в ирландской стране. Ирландия ликовала, и ее ликование не было даже особенно смущено перепетиями нового дела, также показывавшего довольно ясно, что министерство, уступив врагу, ненавидит его еще больше, нежели до уступки.

О'Коннель, хотя и выбранный еще летом 1828 г., не торопился занять место в палате: он не хотел вызывать неизбежный скандал, как раз когда и без того уже министерство решило эмансипировать католиков. Но после того, как эмансипация прошла, после того, как старая присяга по закону 14 апреля 1829 г. была изменена и всякий католик мог ее принести, О'Коннелю казалось совершенно лишним продолжать воздерживаться от посещения палаты.

9 мая он обратился к палате общин с письмом, в котором говорил о своем праве занять принадлежащее ему место в палате. Но тут оказалось, что министерство и торийское большинство и на нем лично (а не только на «сорокашиллинговых» арендаторах) намерены выместить вынужденную у них уступку. 15 мая Фрэнсис Бэрдет внес предложение допустить О'Коннеля, а спустя несколько дней палата большинством 190 голосов против 116 постановила, что О'Коннель обязан принести старую (уже отмененную) присягу, ибо он был выбран *до* закона 14 апреля 1829 г., т. е. *до* изменения старой присяги. Конечно, подобное постановление было равносильно изгнанию О'Коннеля из парламента. Тем не менее лицемернейшая комедия была проделана до конца. Когда О'Коннель явился в палату, спикер сообщил ему о состоявшемся решении и заявил, что он не может тут находиться, пока не принесет старую при-

сягу. Ему дали текст этой присяги, которую, конечно, наизусть знал человек, всю свою жизнь против нее боровшийся и ее уничтоживший. О'Коннель на демонстрацию ответил демонстрацией. Он надел очки и погрузился в самое внимательное чтение текста. Наступила мертвая тишина, и все ожидали, что будет дальше. Окончив чтение, О'Коннель сказал: «Я вижу в этой присяге одно утверждение, касающееся факта, который, как я знаю, лжив. Я вижу в ней и другое утверждение, касающееся мнения, которое, как я верю, неправильно. Вследствие этого я отказываюсь принести эту присягу». С этими словами он презрительно швырнул текст присяги на стол палаты общин.

Несколько мгновений палата была как бы в остолбенении. Затем спикер сказал: «Почтенному и ученому джентльмену, отказавшемуся принести присягу, благоугодно будет удалиться за решетку». Изгнав О'Коннеля, палата объявила место члена парламента от графства Клэр вакантным и назначила новые выборы.

О'Коннель уехал в Ирландию. Несметные толпы устроили ему триумфальную встречу, и в течение следующих дней, когда он выехал в Эннис, еще бо́льшие массы стояли на улицах городов, через которые он проезжал, и сбегались к дорогам, по которым пролегал его маршрут. Дома этих городов покрывались национальными флагами, а по вечерам О'Коннеля встречали и провожали факельными шествиями. В Клэре оранжисты даже не выставили от себя кандидата, до того ясно было, что и новые «десятифунтовые» избиратели не выберут никого, кроме О'Коннеля. 30 июля он был вновь выбран.

Это были дни величайшего торжества, какие только он переживал в своей жизни. Его называли «освободителем» не только как члена основанного им ордена, о котором у нас шла уже речь, но в более общем, более широком значении этого слова: как человека, освободившего нацию от части лежавших на ней тягот, от бесправия, основывавшегося на религиозных причинах. Вся честь этого большого дела приписывалась ему, и только ему одному.

Но вот к ликующему хору стали примешиваться новые ноты. Начались (после перерыва в несколько месяцев) аграрные убийства; утверждали, что в Корке открыт заговор с целью истребления нескольких лендлордов; арендная плата поступала туго; лендлорды выгоняли неисправных плательщиков; изгнанные поджигали усадьбы; в поиски за ними посылались солдаты; крестьяне отказывались платить церковную десятину; у них конфисковали за это скот; они по ночам избивали лендлордские и церковные стада... Немного как бы приостановившееся движение вспыхнуло с новой силой. Как будто люди

только остановились посмотреть, что в Лондоне сделают с эмансипацией, и, убедившись, что ее дали, снова принялись за прерванную работу. Только что окончив борьбу за эмансипацию, О'Коннель видел себя лицом к лицу с новыми обстоятельствами, с настоятельно выдвигавшимися новыми вопросами.

Они могли назваться в глазах О'Коннеля «новыми» только в том смысле, что теперь после нескольких лет выдвинулись снова на первый план; на самом же деле они были старее тест-акта, старее антикатолической присяги, старее самых древних протестантских виселиц, поставленных в Ирландии.

Глава III[32]

СОБЫТИЯ 1830—1840-х ГОДОВ В ИРЛАНДИИ. О'КОННЕЛЬ И «МОЛОДАЯ ИРЛАНДИЯ». НАЧАЛО «ВЕЛИКОГО ГОЛОДА»

1

Начавшиеся вскоре после эмансипации католиков ирландские волнения явственно обнаружили, что акт 1829 г. не только не все, но даже и не самое главное, что представлялось необходимым для полного умиротворения страны. Упадок цен на продукты земледельческого труда, продолжавшийся несколько лет после окончания наполеоновских войн, отнюдь не препятствовал лендлордам с усиленной суровостью требовать аккуратной уплаты арендных повинностей и сгонять неисправных плательщиков, ибо население страны увеличивалось и в желающих арендовать тот или иной участок недостатка не было; арендная плата все росла и росла в массе ирландских округов; десятина в пользу англиканской церкви взималась с неукоснительностью. В 1830 г. был голод, охвативший центральные округи, и все обычные бедствия ирландского крестьянина усилились. Стали особенно часты случаи, когда арендатор уплачивал деньги посреднику[33], от себя снимавшему землю у лендлорда, а тот не уплачивал лендлорду ничего и уходил, после чего лендлорд сейчас же сгонял ни в чем неповинного крестьянина, не слушая никаких молений ни убеждений и зная твердо, что закон на его стороне. В противоположность лендлордам Англии, лендлорды Ирландии не строили ферм и не ремонтировали их, вообще ничего не делали на пользу арендатора: они только давали ему кусок земли и требовали за нее условленную плату, а уж арендатор, если ему не угодно было спать под открытым небом, должен был выстроить себе жилище (откуда его и выгоняли вон, когда он не мог уплатить арендных денег за землю). Население Ирландии в 1831 г. было равно 7 765 000 человек, т. е. оно почти удвоилось с тех пор, как в 1780-х годах страна выдвинула «белых парней», а количество земли, отдававшейся в аренду, в одних округах оставалось

прежнее, а в других сократилось вследствие расширения пастбищ, никакого прогресса агрикультурного тоже не было; невежество и темнота царили прежние. И все эти условия порождали прежние явления.

«Белые парни» появились вновь, и с начала 1830-х годов усилились в весьма серьезной степени. Они появились в разных графствах под разными кличками, хотя обыкновенно объединялись этим традиционным названием; отдельными отрядами совершали они свои дела, и, как и прежде, окрестное население укрывало и спасало их своим соучастием и своими свидетельствами; как и прежде, они вскоре навели ужас на землевладельческий класс и на англиканское духовенство. Но нечто новое появилось в их организации; они ставили пред собой вполне сознательно определенную общую цель: изменение аграрной системы в Ирландии. Английский исследователь (Льюис) говорит о них: «Ассоциацию белых парней можно рассматривать как обширный тред-юнион для покровительства ирландскому крестьянству, причем их цель — не регулировать размеры платы или количество рабочих часов, но сохранить за нынешним арендатором его землю и вообще устроить отношения между лендлордом и арендатором к выгоде последнего». В XVIII в. «белые парни» весьма много сил посвящали борьбе против десятины и ее сборщиков; теперь же эта сторона их деятельности несколько отошла на задний план, и все внимание их обратилось на лендлордов, на случаи повышения арендной платы, случаи изгнания неисправных плательщиков и семей умерших арендаторов с их участка и т. д. В эти же 1830-е годы происходили и обширные коллективные отказы от уплаты десятины, но «белые парни» в этом специальном движении не играли руководящей роли. Они считались тут лишь с репрессией, вызывавшейся этим движением. Какой именно слой крестьян поставлял преимущественно «белых парней»? Трудно вполне точно на этот вопрос ответить. Некоторые из спрошенных парламентской анкетой лиц выразили убеждение, что «белые парни» вербовались главным образом из беднейшего класса арендаторов, из изгнанных арендаторов и из батраков, наемных сельских рабочих, служивших как у землевладельцев, так и у арендаторов позажиточнее. Они обыкновенно по ночам избивали или убивали арендаторов, занявших участок, откуда лендлорд перед тем изгнал кого-либо; убивали управляющих, иногда лендлордов, жгли дома; с 1832 г. те же явления стали происходить все чаще и чаще среди бела дня. Окрестное население молчаливо и незаметно укрывало убийц, пока не прекращался первый, горячий розыск. «Обращаются ли многие к этой ассоциации за покровительством?» — спросили парламентские следователи в 1832 г. сквайра Диллона. «Да, они полагают, что у них нет

другого покровительства»,— ответил спрошенный. К «белым парням» крестьяне обращались не всегда, а, по-видимому, преимущественно в наиболее трудных обстоятельствах, именно для борьбы с лендлордами. Что касается до десятинной подати, то здесь, как сказано, чаще были случаи массовой борьбы, демонстративных массовых отказов и волнений, нежели проявления террористической тактики, хотя и проявления эти не отсутствовали. В графстве Мит в 1831 г. крестьяне, путешествуя огромными толпами, разгоняли сельских рабочих с господских земель, угоняли рабочий скот. В графстве Клэр был убит в том же году лендлорд Блуд, через месяц другой лендлорд, Сайндж, спустя короткое время в Тайперери зарезали судью, к которому ворвались, чтобы достать имевшееся в его доме оружие. Было установлено, что в этом 1831 г. вследствие неурожая картофеля в одной только западной побережной полосе Ирландии около 200 тысяч человек жестоко страдало от голода и не имело никаких средств помочь себе и своим семьям.

Голод охватил графства Мэйо, Голвей, Слиго, Клэр. Крестьяне с женами и детьми вооружались чем попало, дубинами, домашней утварью, и шли доставать оружие открытым грабежом у лендлордов и всех, кто оружие имел. Затем они, уже вооруженные, разрушали изгороди, объявляли пастбища уничтоженными и тут же начинали на этой земле работать, а иногда просто располагались бивуаком. Приходили войска и прогоняли их, часто после кровопролитной схватки. Крестьяне угоняли скот, принадлежавший священникам англиканской церкви, или, если по условиям угнать его было нельзя, то избивали на месте. Начались суды и смертные казни. Усилились нападения на военные отряды и полицейские команды, приходившие для усмирения. В июне 1831 г. в Уэксфорде население деревни Сент-Мэри отказалось платить десятину и оказало отчаянное сопротивление, когда власти решили описать имущество неплательщиков; было убито на месте 13 крестьян и 25 ранено. Отказы в уплате десятины участились в невероятной степени. В ноябре 1831 г. в Килькенни была кровопролитная схватка между войсками и крестьянами; крестьяне бежали, оставив несколько трупов на месте. Спустя несколько дней (там же) крестьяне убили начальника полицейского отряда и 12 человек его подчиненных, пришедших взыскивать десятину. Ожесточение было такое страшное, что растерзали маленького сына этого начальника, который был с отцом, и замучили тех полицейских, которые не сразу умерли, а подавали еще признаки жизни. В 1832 г. волнения продолжались. Разом в нескольких ирландских графствах стали жечь дома и убивать тех, кто не соглашался участвовать в отказах от уплаты десятины. Констебли и все чины, которые принимали участие в сборе деся-

тины, умерщвлялись руками тайных убийц или же среди бела дня отдельными крестьянскими отрядами. В Кэшеле убили камнями среди бела дня архидиакона из-за десятинной подати, на которой он настаивал. Тут же, в поле, работали люди, но никто не вмешался и никто не выдал убийц. «Кто только каким-либо путем связывал себя со сбором десятины, не мог в продолжение хотя бы одного часа быть уверенным в безопасности своего имущества или своей жизни»,— говорит современник. В Уэстмит крестьяне напали на полицию с намерением отнять у нее оружие; в Донегэле они врывались в дома лендлордов и силой заставляли их под угрозой немедленной смерти подписывать новые договоры (об уменьшении арендной платы); в Килькенни с 1832 г. восставшие уже нередко жестоко наказывали не только за уплату десятины, но и за платеж аренды. Убийства людей, осмеливавшихся занять ферму, с которой лендлорд прогнал прежнего арендатора, быстро следовали одно за другим. Судьи и прокуроры, объятые страхом перед тайными и открытыми убийствами, иногда отказывались рассматривать дела об аграрных преступлениях и откладывали их. Так, в марте 1832 г., атторней в Килькенни отложил уже назначенные к слушанью процессы об убийствах полицейских чинов, открыто заявив, что «по всей стране существует столь распространенное соглашение противиться уплате десятины и защищать всех, которые могут быть привлечены за это к ответственности, что цели правосудия не могут быть достигнуты». Присяжные заседатели разбегались и прятались, несмотря на жестокие штрафы (50 фунтов стерлингов), наказывавшие неявку в суд. Привлекавшиеся к суду часто оправдывались, несмотря на все улики, а свидетелей обвинения еще чаще находили после суда либо убитыми на улице, либо на дому. Англиканских священников убивали открыто, в их саду, на поле, на дороге среди бела дня, и виновные не находились. Официально было установлено, что за один только 1832 год ирландское движение выразилось в чудовищных цифрах. В этом году в Ирландии были совершены следующие преступления, вызванные борьбой против лендлордов и десятинной подати: 172 убийства, 465 разбоев, 568 ночных грабительских вторжений в обитаемые дома, 455 случаев избиений и порчи скота, 2095 случаев угрожающих писем и незаконных извещений, 425 незаконных собраний, 796 злонамеренных повреждений чужой собственности, 753 нападения на фермы, 280 поджогов, 3156 случаев серьезных нападений на отдельных лиц. В общем же в Ирландии преступлений этого рода (аграрных и против «десятины»), по официальной статистике, сообщенной парламенту лордом Греем, было совершено за один только 1832 год 9 тысяч, считая и случаи, сравнительно менее важные. При этом необходимо иметь в виду, что

вовсе не все аграрные преступления становились известны центральному правительству.

Положение вещей, когда в среднем *ежедневно* в стране происходит 25 преступлений аграрного характера; когда это длится годами и ничуть не обнаруживает тенденции к ослаблению; когда это творится на другой день после реформы, долженствовавшей умиротворить страну,— такое положение вещей с болезненной силой должно было приковать к себе взоры и правительства Великобритании, и имущих слоев Ирландии, и человека, считавшегося национальным вождем. Из политиков и организаторов никто это аграрное движение 30-х годов не вызывал и даже не усиливал. Оно само вышло как из-под земли и стало пред испуганными взорами своих и чужих, ирландцев и англичан, католиков и протестантов.

2

Эмансипация католиков знаменовала важный шаг вперед, ибо уравнивала в правах исповедующих самую распространенную в Ирландии религию с протестантами. Но кабинет Веллингтона не только в том отношении ошибся, что не предвидел вспыхнувшего с давно небывалой силой аграрного движения, ибо он этой уступкой вовсе не облегчил также принятой им на себя задачи — борьбы против английских реформистов, против людей, требовавших самым настойчивым образом изменения избирательной системы в прямой ущерб землевладельческой аристократии и на пользу буржуазии. На этих страницах не место, конечно, излагать бурную английскую историю конца 20-х и начала 30-х годов, завершившуюся победой реформистов и избирательным законом 1832 г. 25 июня 1830 г. умер Георг IV и на престол вступил Вильгельм IV; спустя месяц произошла июльская революция в Париже, могущественно повлиявшая на усиление реформистского течения в Англии; 15 ноября 1830 г. пал наконец кабинет Веллингтона, виги овладели властью в лице графа Грея и взяли в свои руки дело проведения реформы; 7 июня 1832 г. после долгого и отчаянного сопротивления палаты лордов билль о реформе, прошедший через все чтения в обеих палатах, был подписан королем и стал законом.

Виги торжествовали и властвовали; выборы, происшедшие в том же 1832 г. уже на основании нового избирательного закона, упрочили их могущество. С первых же месяцев после того, как они сменили Веллингтона, министры-виги обнаружили тенденцию столь же суровыми мерами подавлять ирландские беспорядки, как прежде тори. Из попытки О'Коннеля воспользоваться общей ломкой избирательного закона, чтобы вернуть ирландским «сорокашиллинговым» фригольдерам утраченные ими в 1829 г. избирательные права, из этой попыт-

ки, взывавшей к самому примитивному чувству справедливости, ничего не вышло, несмотря на то, что подобная мера была в полном согласии с либеральными основами проводившегося общего билля. Наконец, когда волнения в Ирландии по поводу лендлордских притеснений, голода и церковной десятины усилились, вигистский кабинет (в 1833 г.) провел суровый акт о подавлении волнений в Ирландии, дававший вице-королю самые широкие полномочия для борьбы против неспокойных элементов. Вице-король получил право немедленно закрывать любое общество и разгонять любое собрание, если, по его мнению, это нужно для спокойствия страны, причем участники могли быть им отданы под суд; было воскрешено старое правило о том, что никто не имеет права выходить со двора от заката до восхода солнца (если у него нет на это уважительных причин) под страхом суровой ответственности; ни один политический митинг не мог собираться, если вице-король не был о нем предупрежден за 10 дней и не дал на него своего согласия; вице-король получил полномочие учреждать, где найдет нужным, военные суды для суждения дел, касающихся общественной безопасности; полиции присваивалось право свободного входа в любую квартиру для поисков оружия: разбрасыватели мятежных воззваний должны были отдаваться под суд по весьма сурово карающей статье закона; но была сделана оговорка, что они будут освобождены от обвинения, если выдадут тех лиц, которые поручили им эти прокламации разбрасывать. Несмотря на оппозицию О'Коннеля, этот билль прошел с весьма немногими и несущественными изменениями. Аграрное движение продолжалось...

О'Коннель, добившись в 1829 г. билля об эмансипации католиков, оружия складывать не хотел. У него были новые планы, новые цели. Он стал говорить об отмене унии 1800 г., о воссоздании самостоятельного парламента. Но революционное движение, возникшее и усилившееся среди крестьянского населения, заставило его поставить на очередь для другую задачу. Он неоднократно высказывался за то, чтобы Ирландия возможно скорее успокоилась; его слова не производили никакого впечатления на те круги, от которых зависело исполнение этого желания, или, вернее, к которым он это желание адресовал. Он видел вполне ясно, что вся его популярность и весь престиж совершенно бессильны в данном случае. Он видел, что столь же бессильны, с другой стороны, солдаты и виселицы, оранжистские отряды и англиканские священники, лендлорды и чиновники, тюрьмы и усмирительные билли. Наконец, это волнение, разразившееся почти тотчас после такой большой политической реформы, как эмансипация католиков, вовсе не ставило своим лозунгом другую политическую реформу, вроде отмены унии, и

тем самым это движение как бы наперед говорило, что новая политическая реформа, если она даже и будет дана, так же мало посодействует его прекращению, как старая политическая реформа (1829 г.) мало помешала его возникновению. Отношения арендаторов и лендлордов, с одной стороны, церковная десятина, с другой стороны,— вот о чем говорилось на незаконных митингах и писалось в незаконных прокламациях. О'Коннель не совладал с этим движением, но движение приобрело О'Коннеля. Он взял на себя провести законодательным путем то, что требовалось непосредственно самым бедным и самым многочисленным слоям его сограждан. От своей мечты об отмене унии он вовсе не отказался, но могущественно развитый у него инстинкт практического политика не позволил ему уклониться от участия в главном деле, выдвинутом историческими обстоятельствами Ирландии задолго до него и не им решенном, от участия в посильном разрешении ирландского социального вопроса. Но это участие он ограничил борьбой против десятины, т. е. более легкой задачей.

Социальный вопрос Ирландии коренился в отношениях безземельных и (фактически) бесправных арендаторов, нищих и задавленных арендной платой и всякими притеснениями, к владыкам ирландской территории — лендлордам. Это было основным недугом ирландской жизни, порождавшим разнохарактерные и неисчислимые бедствия для огромного большинства населения. Другим, меньшим, добавочным так сказать, злом, тоже сосредоточившим на себе ненависть Ирландии, была в те годы десятина. Первое зло было гораздо больше и коренилось глубже, второе было меньше и носило более искусственный характер. И О'Коннель начал борьбу именно со вторым, а не с первым злом, с десятиной, а не с аграрными отношениями, с более слабым из двух врагов.

О десятине мы уже имели случай говорить в первой главе, где шла речь о социальных недугах Ирландии еще до восстания 1798 г. Остановимся теперь на происхождении и развитии этого зла.

Господствующая (англиканская) церковь из всех превратностей судьбы в XVI—XVII вв. вышла победительницей и утвердилась в привилегированном положении своем как в Англии, так и в Ирландии. Вся земля в Ирландии была обложена десятинной податью, все пользовавшиеся землей должны были вносить десятую часть добываемого в пользу англиканской церкви, к какому бы вероисповеданию сами они ни принадлежали. В 1735 г. было введено некоторое изменение в законы об уплате десятины. Лендлордам и тем богатым англиканцам и пресвитерианцам, которые снимали у них землю для устройства пастбищ, удалось добиться, чтобы пастбищная земля была ис-

ключена из обложения десятиной. К концу XVIII столетия положение вещей окончательно сложилось так: самые богатые поместья, занятые разведением скота и обладающие огромными пастбищами, принадлежат в огромном большинстве случаев людям англиканского вероисповедания, и они в пользу своей англиканской церкви ничего не платят; мелкие земельные участки, обрабатываемые полунищими арендаторами, обложены десятиной в пользу англиканской церкви, хотя эти арендаторы (тоже в огромном большинстве случаев) — католики, обложены потому, что эти мелкие участки служат, конечно, не для пастбищ, а для разведения картофеля и хлебопашества. Несправедливость подобных порядков была кричащая, неприкрытая, наглядная до наивности: так, казалось, и заявляли эти законы о том, что они созданы господствующей кастой с полнейшим и намеренным пренебрежением ко всякой логике и ко всякому здравому смыслу, исключительно на пользу касты. Католическое духовенство питалось чем бог пошлет, больше добровольными даяниями своей нищей паствы; пресвитерианское получало некоторую поддержку от государства; англиканское же не только получало доходы от государства, но неукоснительно взыскивало подать с католиков и пресвитериан, населявших Ирландию. Католические церкви обваливались, приходили в совершенно негодное состояние, потому что не было денег на ремонт; их было мало, и они были разбросаны в огромных расстояниях одна от другой; католическое духовенство голодало в массе сельских округов, а в это же время англиканская церковь, насчитывавшая горсточку последователей на всем острове, собирала регулярную дань с презираемых ею иноверцев. Пресвитериане плохо с этим мирились, но католиков, более многочисленных и более бедных, эта десятина прямо выводила из себя и всегда служила готовым предлогом к возмущению. Еще на севере (в Эльстере) пресвитериане, главным образом населявшие эти округи, успели добиться того, чтобы картофель был исключен из числа продуктов, подлежащих десятинному обложению в пользу англиканской церкви, но в центральных, западных, южных графствах, в Коннауте, Мэнстере, Лейнстере, населенных католиками, эта подать взыскивалась также и с этого непитательного, не дающего сил и здоровья продукта, который, однако, являлся главной пищей крестьян не только в голодные, но и в сравнительно урожайные годы. В середине 1830-х годов (когда кипела «война против десятины») в Ирландии было 7 943 940 жителей [34]; из них католиков насчитывалось 6 427 712 человек, англиканцев же 852 356 человек (остальные 664 тысячи с лишком принадлежали к пресвитерианам и другим протестантским исповеданиям).

Для $6^1/_2$ миллионов человек не находилось ни достаточно

церквей, ни порядочных помещений для церквей, ни возможности хоть как-нибудь обеспечить духовенство, ибо они в большинстве были бедны, а государство ничего не давало. Но эти же $6^1/_2$ миллионов обязаны были при всей своей нищете поддерживать *чужое*, ненавидящее и презирающее их духовенство. Англиканская иерархия в Ирландии состояла из 4 архиепископов, 18 епископов и около 2 тысяч священников и низшего причта. В общем на содержание их всех шло около 800 тысяч фунтов стерлингов ежегодно (почти 8 миллионов рублей). Были такие приходы англиканской церкви, где не имелось ни единого англиканца; такие, где паства состояла из одного старика, из шести человек, из двух человек. В этих приходах жили десятки тысяч католиков, которые и обязаны были содержать это чужое и не только им, но и (в приходах без единого англиканца) абсолютно никому не нужное духовенство, высшие чины которого обыкновенно довольно редко и заезжали в Ирландию, а проживали получаемые с Ирландии доходы в Лондоне и в своих английских поместьях, подобно ирландским же лендлордам-абсентеистам, с той только разницей всецело в пользу архиепископов, что от их отсутствия или присутствия ирландцам не становилось ни лучше, ни хуже, а отсутствие лендлордов всегда еще более отягощало несчастных арендаторов. Лучшие люди из англиканского духовенства сами тяготились подобным безобразным и решительно ничем не оправдываемым положением вещей. Все установление господствующей (англиканской) церкви в Ирландии протестантский архидиакон Глоуэр открыто назвал в 1835 г. «аномалией, не имеющей ничего себе подобного во всем христианском мире». Но таких, как Глоуэр, в этой среде было, конечно, весьма немного. Несравненно чаще доказывалось с наисладчайшей убедительностью, что так как земля божия, то и десятину с ее плодов и злаков надлежит платить в пользу единственно угодной господу церкви; единственно же угодная ему церковь, как общеизвестно, есть церковь англиканская. Впрочем, трудно даже и пересчитать разнообразнейшие религиозные и исторические аргументы, которыми подкреплялся закон о десятине. Усиленно действовавшее (хотя более еще кричавшее о себе) «Новое реформационное общество», образованное в 1824 г. с целью уловления прозелитов и обращения католиков на путь истинный, взяло на себя миссию всеми силами защищать десятинную подать от грозивших ей напастей. Оранжистские круги со своей стороны помогали этой ассоциации. «Даниель О'Коннель доставит нам избавление от десятины, как он уже дал нам эмансипацию»,— говорили католики прихода Грэги (лежавшего на границе графств Керлоу и Килькенни) полковнику Гервею, убеждавшему их заплатить то, что требуется по закону.

С весны 1831 г. «война против десятины» вспыхнула разом в нескольких местах и уже не прекращалась. И снова имя О'Коннеля настойчиво призывалось бунтовавшими и яростно поминалось усмирителями: первые выражали надежду на его помощь, вторые обвиняли его в происходящих волнениях. Успех, увенчавший в 1829 г. его агитацию в пользу католиков, все еще окружал его имя ореолом, как и в первые дни, когда он после проведения билля об эмансипации приехал в Ирландию. О'Коннель, с одной стороны, увещевал католиков не бунтовать, а с другой стороны, просил у вице-короля, чтобы десятину хотя бы на время перестали выжимать из нищего населения, пока парламент не решит, нужно или не нужно удержать этот налог. Но вице-король и протестантское духовенство отказали ему в этом. Борьба свирепела, и в самом конце 1831 г. произошло при Керрикшоне целое сражение, причем полицейский отряд был почти весь перебит или изранен. Тотчас же после этого известия вице-король приказал сборщикам воздерживаться от всяких действий по сбору десятины, а духовенство англиканской церкви получило спешно разосланный циркуляр от своей высшей иерархии не торопиться со сбором подати, пока парламент не решит этого вопроса принципиально. Собравшийся в декабре 1831 г. парламент начал расследование вопроса о десятине, а уже 1 июня 1832 г. появился на свет новый закон, имевший целью сохранить все преимущества и выгоды за англиканской церковью и вместе с тем слегка изменить прежние формы, прежнюю внешность дела, чтобы этим путем несколько успокоить Ирландию. Все внимание министерства и парламента было поглощено проходившей как раз в это время через последний свой фазис избирательной реформой 1832 г., и не только на протесты О'Коннеля против нового закона о десятине, но и на самый этот закон почти никто никакого внимания в Англии не обратил. В чем же состояли изменения, внесенные парламентом 1832 г. в дело сбора десятины? Эти изменения (законы 1 июня и дополнительный — 16 августа 1832 г.) совершенно ни в чем принципиально не изменили положения вещей. Эти законодательные акты могли бы служить отчасти образчиком таких мероприятий, которые преследуют две цели: ничего не дать никому и вместе с тем инсценировать это, чтобы могло с первого взгляда, впопыхах, показаться, будто что-то дано. В данном случае подобная вера в целебные свойства стилистики оказалась совершенно неосновательной. Ирландия узнала, что парламент возлагает отныне на государство обязательство выплачивать англиканскому духовенству Ирландии почти всю сумму, приносимую десятинной податью, а с плательщиков этот налог (уже не натуральный, а денежный) правительство будет взыскивать само. Другими словами, это было только из-

бавлением духовенства от хлопот и неприятностей и ни в малейшей степени не избавляло нищего католического населения от ненавистного бремени. На выборах 1832 г. из 105 депутатов, которых имела право прислать Ирландия, 85 принадлежали к партии О'Коннеля и явились в парламент с твердым желанием начать упорнейшую борьбу против десятины. Около 40 человек (из этих 85) сверх того примыкало и к другому о'коннелевскому лозунгу: к требованию отмены унии и восстановления самостоятельного парламента. Но этот другой лозунг пока еще отступал на задний план: главным врагом являлась десятина. Эти выборы были многознаменательны не только потому, что они показали силу О'Коннеля, но и по другой причине. Как писал О'Коннель лорду Дэнканнону в начале 1833 г., «вся *беднота* наших (ирландских — *Е. Т.*) графств организована», и организована вся борьба против десятины. Но зажиточные фермеры, т. е. именно те, которые обладали избирательными голосами, по убеждению О'Коннеля, не принимали участия в этой организации. Но именно они выбрали врагов десятины в парламент. Значит, выходило, что вся католическая Ирландия, кто каким способом может, выражает свою ненависть к десятине и желание ее уничтожить. Как мы видели, парламент в 1833 г. вместо удовлетворения этого требования объявил страну чуть ли не в осадном положении. Вице-король Энглси и фактически заправлявший делами главный секретарь Ирландии Стенли всецело стояли за репрессию, особенно Стенли, которого О'Коннель называл упрямым маниаком. Стенли, богатого молодого аристократа, тогда начинавшего только свою карьеру, можно было бы счесть любопытным и чаще, нежели можно было бы ожидать, встречающимся типом человека, который ненавидит нищих и голодных именно как бы потому (или за то), что они нищие и голодные. О'Коннель не совсем напрасно называл его своего рода маниаком. Он проявлял совершенно необузданную и ничем не мотивированную, как бы *личную* вражду к ирландцам, ровно ничего дурного никогда не сделавшим. Такой человек и старавшийся его несколько сдерживать, но все-таки подчинявшийся ему вице-король не стеснялись широко пользоваться исключительным законом 1833 г. для усмирения бунтующей страны.

О'Коннель продолжал играть свою все более и более раздвоявшуюся роль. С одной стороны, он «советовал» (например, в письме к Дэнканнону) прислать побольше войск против бунтующих и указывал, что «со всякой точки зрения лучше всего увеличить королевские войска». А с другой стороны, эти же бунтующие самым фактом своего существования давали ему главную точку опоры в парламентской борьбе против десятины, ибо он вечно ссылался именно на их существование как на

серьезнейшую причину, которая должна была побудить министерство к уступке. Наконец, с третьей стороны, крестьяне, боровшиеся против десятины, и низшее католическое духовенство, весьма деятельно их в этой борьбе поддерживавшее, считали О'Коннеля главным своим знаменосцем в борьбе против ненавистного англиканского побора. И в парламенте во время отчаянных и тщетных попыток задержать или изменить усмирительный билль, победоносно проходивший чрез обе палаты, О'Коннель все напирал на то, что подобные драконовские меры нужно было бы направить против «белых парней», а не против всей страны и т. д. Все это ни к чему не привело. В эти годы (1832—1837) правительство, все равно какое — вигистское или торийское,— могло себя чувствовать увереннее, нежели раньше или позже, ибо агитация по поводу реформы уже окончилась, а агитация чартистская еще не разгорелась; Англия была в эти годы сравнительно спокойна. Поэтому О'Коннель видел себя в таком положении, что он не мог даже желать падения ненавистных вигов, ибо тори, которые бы их заменили, были еще гораздо ненавистнее. Когда убрали наконец из Ирландии Стенли, О'Коннель смотрел на это как на решительную заслугу правящих кругов перед его родиной. Был сменен и Энглься (его заменил Уэльси, лучше относившийся к своему «вице-королевству»). Но все эти перемены вовсе не знаменовали наступления лучших дней для Ирландии. Полиция усердствовала попрежнему, процессы против печати возбуждались неукоснительно. В это время в Ирландии все заметнее стало обозначаться новое течение, недовольное тем, что О'Коннель не торопится внести в парламент давно уже владевшее и его мыслями, и мыслями ирландских образованных кругов предложение об отмене унии между Англией и Ирландией. Фиргэс О'Коннор, один из представителей этого ирландского течения (впоследствии принимавший живейшее участие в чартизме), был выбран в парламент и заявил, что внесет в палату общин предложение об отмене унии. Это побудило О'Коннеля против желания, с неспокойным сердцем, с редкой в нем неуверенностью предупредить возникавший раскол и самому внести желательный радикальному течению билль. Конечно, билль не мог не провалиться, т. е. провалилось даже то подготовительное предложение, предложение создать комитет для рассмотрения вопроса, на котором настаивал О'Коннель. Ирландский лидер в своей речи, к которой он долго и тщательно готовился, больше всего говорил об исторической стороне дела, о тех подкупах и насилиях, которые были пущены в ход английским правительством в 1798—1800 гг. для уничтожения самостоятельного дублинского парламента. Он указывал весьма ядовито на то обстоятельство, что ведь английский парламент за 33 года,

истекшие со времени унии, обнаруживал замечательную заботливость и попечительность относительно Ирландии, вечно назначал комитеты, комиссии, расследования и так далее о всяких, иногда самых мелких, фактах ирландской жизни. Почему же не назначить еще один комитет для расследования исторического вопроса о происхождении и способах осуществления унии 1800 г.? Он и предлагает джентльменам нижней палаты заинтересоваться этим предметом и назначить комитет. Но джентльмены не заинтересовались. Предложение О'Коннеля было отвергнуто большинством 523 голосов против 38. Не только почти все англичане, не только депутаты от Ирландии, присланные оранжистами и вообще сторонниками английского владычества в Ирландии, но и больше половины из тех 85 ирландцев, которые в других вопросах поддерживали О'Коннеля, либо не явились, либо голосовали против его предложения. О'Коннель был совершенно подготовлен к этой неудаче. Действительно, давало ли хоть что-нибудь повод надеяться на благоприятное решение вопроса при тогдашних условиях? Конечно, ничего. Расторжение унии огромному большинству парламента, так же как и министерству, как и королю Вильгельму IV, представлялось шагом самым опасным, самым революционным, самым фатальным не только для благополучия, но прямо для спокойного существования английской державы. Запугать англичан в данном случае у О'Коннеля тоже не было никаких шансов, да и народное движение, происходившее в Ирландии, направлялось не против унии, но против лендлордов и церковной десятины. Требовать радикальнейшей политической реформы, не имея за собой ровно никакой существенной поддержки, никаких серьезных средств, можно было сколько угодно, но ни о малейших надеждах осуществить это желание не могло быть и речи. О'Коннель довольно неопределенно утешал себя и своих друзей тем, что идея расторжения унии имела некоторый *«моральный»* успех в палате. Если эта попытка имела какой-нибудь смысл, то разве в том отношении, что сплотила вокруг О'Коннеля часть ирландской оппозиции, которая непременно требовала, чтобы эта попытка была совершена. После ее неудачи все внимание О'Коннеля и предводимой им оппозиции из высших и средних слоев Ирландии снова и всецело устремилось на вопрос, по-прежнему выдвигавшийся жизнью деревни, жизнью арендаторской голытьбы.

Никакие попытки английского правительства в начале 1830 годов мнимыми облегчениями успокоить плательщиков церковной десятины не удавались; все эти «реформы» были легкими изменениями внешности, но не сущности дела. Летом 1834 г. произошла некоторая перестройка вигистского кабинета. Ушел премьер граф Грей, и (14 июля) его заменил лорд Мельбурн;

произошли и другие перемены личного состава. Мельбурн тотчас же поспешил заявить, что билль о подавлении преступлений в Ирландии хотя и будет продолжен (как было намечено при Грее) на будущее время, но уже без некоторых наиболее суровых пунктов, например, относительно предоставления вице-королю права назначать военные суды и т. п. Эта мера быстро прошла через парламент, хотя подобное смягчение билля 1833 г. сильно разгневало ториев. Но относительно десятины Мельбурн только продолжил ни к чему не приводящую политику Грея, а попытка О'Коннеля (в эту же летнюю сессию) хотя и не уничтожить десятину, но действительно серьезно уменьшить эту тягость, попытка, сочувственно встреченная в нижней палате, провалилась в палате лордов. В том же 1834 г. произошло еще одно событие: в ноябре Мельбурн подал в отставку (больше всего по личному желанию Вильгельма IV), и с 9 декабря 1834 г. по 8 апреля 1835 г. власть находилась в руках торийского кабинета Роберта Пиля, после чего снова перешла к вигам. И за эти несколько месяцев тори тоже пытались уладить вопрос о десятине все на основании общего принципа всех предшествующих попыток: сохранить за англиканской церковью бóльшую часть ее доходов, перенеся все труды по части сборов подати на правительство и самих лендлордов, собственников земли, заставив их выбивать из арендаторов эту десятину под видом части арендной платы. Но палата не пропустила министерского законопроекта (как две капли воды похожего на предшествующие, благополучно ставшие законом), ибо большинство поставило себе целью непременно проваливать министерство, навязанное парламенту королем, и вернуть вигов к власти. Ирландия всеми этими мелочами вовсе не интересовалась; аграрные преступления продолжались, месяцами стихая, месяцами разгораясь с новой силой. Вернувшийся к власти в апреле 1835 г. вигистский кабинет Мельбурна долго продолжал эту политику, общую тогда и либеральным, и консервативным правящим кругам Англии: не уступать Ирландии и ее нищему населению ничего, пока необходимость уступки с точки зрения государственной безопасности не становится на очередь дня. А такие моменты случались в первой половине XIX в. только тогда, когда возникал кризис в самой Англии, когда приходилось бороться на два фронта. Тогда и являлась нужда выбирать меньшее из двух зол. Выборы 1835 г., падение Пиля, возвращение Мельбурна, для которого очень существенна была поддержка О'Коннеля при очень слабом перевесе вигов над ториями в нижней палате,— все эти обстоятельства, казалось, очень благоприятствовали скорому парламентскому разрешению вопроса, т. е. уничтожению десятины, и, однако, все-таки как-то ничего не выходило.

3

Положение вещей в 1835 г. было такое. Премьер Мельбурн, нуждавшийся в поддержке О'Коннеля и его партии в парламенте, где тори являлись не только яростной, но и многочисленной оппозицией, решил держаться примирительной политики относительно Ирландии, насколько это было бы возможно без разрешения вопроса о десятине. Ибо, несмотря на несколько законов, касавшихся англиканской церкви в Ирландии и, в частности, десятины и изданных с 1832 по 1835 г., десятина продолжала существовать, и никакого облегчения Ирландия в этом отношении не чувствовала. Но Мельбурн решил хотя администрацию в Ирландии назначить такую, которая отличалась бы по возможности наклонностями миролюбивыми и не раздражала бы вверенный край своими поступками и всем обхождением, в противоположность Стенли, который склонен был видеть как бы серьезную заслугу свою перед отечеством в том, что его в Ирландии терпеть не могут. Новым вице-королем был назначен лорд Мэльгрэв, главным секретарем при нем — лорд Морфэт, а помощником секретаря — знаменитый в ирландской истории Томас Друммонд. Фактически Друммонд в течение 5 лет (с 1835 по 1840 г.) сделался представителем государственной власти в Ирландии. Чем прославился Друммонд? В точности трудно на этот вопрос ответить; описательный ответ легче. Он прославился главным образом благодаря тому, что и до, и после него администрация, правившая Ирландией, крайне редко воздерживалась от насилий там, где так называемые «законные» (по исключительным законам) полномочия позволяли эти насилия пускать в ход. Друммонд же пускал оружие в ход в редких случаях и тогда, когда ему казалось это нужным для защиты полиции, на которую производились нападения. *До* Друммонда администрация преследовала пропаганду против унии, против англичан и так далее, но покровительствовала пропаганде оранжистов, из которых многие проповедовали искоренение католической веры, и это одновременное преследование одной революционной пропаганды и ласковое отношение к другой революционной пропаганде, которая тоже стремится к насильственным переменам, но только в угодном начальству духе, было всегда особенно ненавистно, особенно возмущало и возбуждало умы. Друммонд в этом смысле был безупречен; он, стоя за охранение порядка и спокойствия, все время являлся администратором, а не эмиссаром одной из враждующих в Ирландии партий, который пользуется государственными средствами для подавления другой партии. К сознанию бедственного материального положения перестала примешиваться острая горечь обиды от пристрастных, грубых

и вызывающих действий властей. Один из биографов Друммонда указывает как на самое лучшее доказательство успешной политики этого человека на то, что *до* него так называемый «порядок» в Ирландии поддерживался с помощью 24 тысяч солдат, *при* нем нужны были всего 15 тысяч человек, а *после* него — 20 тысяч с небольшим. Далее, число человекоубийств во время его управления уменьшилось на 13% сравнительно с «нормальным», так сказать, положением; число огнестрельных покушений — на 55%; число поджогов — на 17%; число нападений на дома — на 63%; число избиений или порчи скота — на 12%; сноса жилищ — на 65%; число незаконных собраний — на 70%. Конечно, не только Друммонду и его управлению следует приписать эти результаты, ибо именно в эпоху его управления произошло событие, которого так ждали и жаждали в Ирландии: произошло уничтожение десятины, и случилось это как раз в середине периода его управления и совсем независимо от результатов его управления; все это несколько усложняет расчеты.

О'Коннель был в мире с правительством, в хороших отношениях с Друммондом, не агитировал по поводу унии, а движение в стране все не прекращалось. Одним из условий соглашения между кабинетом и О'Коннелем было (помимо назначения лучшей администрации в Ирландии) еще и серьезно существенное излечение старого недуга — уничтожение десятины, но Мельбурн с этим делом не торопился, и не столько О'Коннель, сколько события в Ирландии и Англии сказали тут свое решающее слово. Летом 1835 г. О'Коннель обратился к народу с увещанием принять выжидающее положение, прекратить всякие враждебные действия. И тем же летом (в июле и августе) подготовленный министерством билль об изменении десятинной подати, хотя тоже паллиативный, но все-таки более существенный, нежели прежние, прошел чрез палату общин и провалился в палате лордов, большинство которой упорно стояло за все привилегии англиканской церкви. Кабинет, удовольствовавшись исполнением своих нравственных обязательств перед О'Коннелем, тотчас же оставил свой билль. С осени 1835 г. аграрные преступления вспыхнули с новой силой; *не* эти годы (1835—1838) дали вышеприведенные процентные уменьшения аграрных дел, не это первое, самое трудное время друммондовской администрации, хотя в известной степени Друммонд своим образом действий и содействовал даже в эти тяжелые годы известному уменьшению кровопролития. Но что мог сделать он со всей своей сдержанностью и гуманностью, что мог сделать О'Коннель, говоривший, что он тоже хочет всеми мерами оградить порядок, со всем своим красноречием и влиянием против чувств злобы, отчаяния, страха голодной смерти,

все более и более охватывавших страну? Друммонд обыкновенно не давал ни солдат, ни полиции для взыскания десятины и пускал силу в ход только, когда нападающей стороной являлись плательщики. В 1836 г. опять последовала попытка кабинета изменить закон о десятине, и опять лорды провалили поддерживаемый правительством билль. О'Коннель и после этого продолжал всеми мерами стремиться к прекращению аграрных смут, но по-прежнему с весьма сомнительным успехом. Консервативные слои и приверженцы англиканского преобладания в Ирландии перешли в наступление. Газета «Times» напечатала стихотворение, в котором О'Коннель осыпался градом самых неприличных ругательств, что даже произвело своего рода эффект ввиду обычной сдержанности этого органа. О'Коннель отвечал почти столь же неприличным открытым письмом по адресу издателей «Times». Яростные нападения английской руководящей прессы консервативной партии на О'Коннеля объясняются желанием совершенно дискредитировать в глазах английского общества личность и дело ирландского агитатора и воспрепятствовать кабинету Мельбурна в его дальнейших попытках исполнить главное очередное требование О'Коннеля, т. е. уничтожить десятину. О'Коннель предпринял было агитацию не только в Ирландии, но в самой Англии против палаты лордов как против учреждения, принципиально враждебного всякому прогрессу не только в ирландских делах, но и в английских. Было устроено несколько огромных митингов в Манчестере, Ньюкасле, Эдинбурге, Глазго, Ливерпуле, Бирмингеме, но так митингами это дело и окончилось. Успешно бороться с палатой лордов мог бы только сам Мельбурн, действуя в полном союзе с королем, который имел право назначить произвольное количество новых лордов; и в 1832 г. одна угроза сделать это заставила палату лордов уступить графу Грею, королю и палате общин в вопросе о парламентской реформе. Но в данном случае не только король, но и Мельбурн вовсе не сознавали необходимости прибегать к таким героическим средствам, а митингов и речей О'Коннеля лорды ни в малейшей степени не опасались. После провала билля о десятине в 1836 г. О'Коннель учредил «Генеральную ассоциацию», которая специально взяла на себя содействовать как освобождению страны от десятины, так и проведению билля о муниципальной реформе в Ирландии, чему также противились лорды. Из этой ассоциации тоже ничего не вышло, и она как-то сама собой заглохла спустя год. Грустное время наступило для О'Коннеля; его агитация явственно переставала отвечать, как отвечала прежде, чувствам политически активных слоев народа, не по основной цели своей, а по рекомендуемым методам действия, и хотя видимая популярность его не была убита, но бесплодность всех

парламентских попыток в связи со сбивчивым отношением агитатора к аграрной смуте отодвигала его понемногу на второй план. В конце 1836 г. умерла его жена, и это окончательно омрачило его личную жизнь. Но впереди был еще один луч света, один успех ирландского дела, одна удача, в последний раз порадовавшая старика: десятина в конце концов все-таки поддалась усилиям ее врагов.

20 июня 1837 г. скончался Вильгельм IV, и на престол вступила Виктория. О'Коннелю опять (как и за 17 лет до того) почему-то показалось нужным обнаружить весьма оптимистическую надежду на то, что молодая королева нечто для Ирландии сделает: «Ирландия теперь готова слиться с империей. Мы готовы к полному и вечному соглашению... Но для этой цели существенно необходимо уравнение в правах, законах и вольностях. Большего мы не желаем, меньшего не возьмем». В июле произошли общие выборы, и О'Коннель в качестве mot d'ordre для своих приверженцев дал нижеследующие слова: «Королева и ее министры!» Выборы дали Мельбурну довольно ничтожное большинство: вигов и ирландцев пришло в парламент в общей сложности на 34 человека приблизительно больше, нежели тори. Молодая королева со своей стороны абсолютно никаких — ни хороших, ни дурных — чувств к Ирландии не обнаруживала. Но в 1837 г. началось чартистское движение, в 1838 г. оно непрерывно продолжалось и развивалось. Каприз удержания десятины в Ирландии, давно уже не нужной никому, по мнению одних, кроме англиканского духовенства, а по мнению других, не нужной также и англиканскому духовенству, этот каприз консервативной партии палаты лордов должен был наконец быть оставлен. Но характерно, что даже и тут министерство не могло решиться провести свой билль в том целостном виде, как оно это задумало, а внесло проект, в сущности делавший серьезную уступку требованиям лордов. Прежний проект вигистского кабинета, поддерживаемый все время О'Коннелем и хронически проваливаемый палатой лордов, был первоначально основан на том принципе, что англиканская церковь должна получать через посредство государства не всю, а часть (до трех четвертей) той суммы, которую она получает из десятинной подати; что эта сумма уплачивается не арендаторами, а собственниками земли государству в виде особого налога на землю; что государству предоставляется, сделав такой расчет, выкупить навсегда у духовенства это принадлежащее ему право получения означенных сумм, причем каждые 70 фунтов стерлингов ежегодной ренты, уплачиваемой данному приходу, погашаются навсегда, если государство единовременно выплатит этому приходу 1600 фунтов стерлингов: со времени подобного погашения эту подать получает государ-

ство уже в непосредственное свое распоряжение и должно употреблять получаемые суммы исключительно на нужды Ирландии. Вот к чему сводился и билль, внесенный от имени кабинета лордом Росселем в палату общин, а лордом Мельбурном — в палату лордов в 1838 г. Не было тут только того пункта, из-за которого главным образом палата лордов проваливала подобные билли в предшествующие годы: прежние билли, уничтожая больше половины англиканских епископств (оставляя 10 вместо 22) и все приходы, в которых живет меньше 50 англиканцев, отдавали получавшиеся отсюда 3 миллиона фунтов стерлингов экономии в руки парламента, который волен был употребить эти деньги на общеполезные цели. Против этого-то именно пункта яростно боролись лорды, на нем-то упорно настаивали радикально настроенные члены партии вигов и ирландцы во главе с О'Коннелем, его-то защищало и министерство лорда Мельбурна в прежние годы. И именно этот пункт был оставлен министерством в 1838 г. в угоду тори. Радикалы английские резко протестовали и даже сделали попытку внести соответствующую поправку, но эта ничтожная группа оказалась одинока: не только тори, не только большинство вигов, шедшее за министерством, но и сам О'Коннель был против них... Билль прошел, старое зло, десятина, было подкошено, «победа» была одержана старым ирландским агитатором, как говорили его друзья. На самом же деле, если тут была чья-нибудь победа, то победителем были исторические обстоятельства, заставлявшие не медлить с устранением зла, которое легко устранить; сравнительная легкость задачи была очевидна: ничье классовое самосохранение не было мало-мальски серьезно затронуто этой реформой.

Так или иначе, закон 1838 г. был последним лучом в жизни О'Коннеля. Теперь нам нужно обратиться к повествованию о том, что похоронило О'Коннеля еще до физической его смерти, что вытеснило его с первого места в ирландской общественной жизни.

4

Католические аристократы-лендлорды, католические средние землевладельцы (крайне немногочисленные), католический торгово-промышленный класс, наконец католические арендаторы из зажиточных — вот какие слои непосредственно воспользовались эмансипацией 1829 г. и вновь приобретенными политическими правами. Эти же слои в 1830-х годах и выдвинули то более радикальное течение, о котором мы уже вскользь упоминали и которое заставило О'Коннеля поторопиться с внесением в парламент предложения (тотчас же проваленного).

имевшего целью подготовить расторжение унии между Англией и Ирландией. О'Коннель неохотно сделал (в первый и в последний раз в жизни) эту попытку приступить к парламентскому обсуждению вопроса; он (совершенно справедливо) опасался, что это еще слишком преждевременно. В 1838 г. разрешилась проблема о десятине; в 1840 г. после шестилетних парламентских споров и колебаний (не интересовавших, впрочем, совершенно огромную массу ирландского населения) министерство Мельбурна провело также новый акт о муниципальной реформе в Ирландии. До тех пор вопреки смыслу и духу акта об эмансипации (1829 г.) городское управление в ирландских городах продолжало оставаться в руках ничтожной (численно) протестантской горсточки, так что, как выразился О'Коннель в одной из речей своих по этому поводу, муниципальные дела, затрагивавшие интересы нескольких сот тысяч человек (т. е. населения городов), были в руках 13 тысяч протестантов, которые, основываясь на традиции и самых разнообразных злоупотреблениях и толкованиях запутанных корпоративных грамот, все еще удерживали в своих руках власть. Получалась такая аномалия, что в английском парламенте католики сидели рядом с протестантами, а в ирландских городах (кроме Туама) в составе городского управления их не было. По закону 1840 г. ценз для лиц, имеющих право выбирать членов городских управлений, назначался очень высокий, реформа распространялась не на все ирландские города, из ведения городских управлений оказывались изъяты и переходили в ведомство администрации многие существенно важные функции, но католики уравнивались в правах с протестантами.

В том же 1840 г. умер Томас Друммонд, единственный человек из английского официального мира, не только желавший преследовать примирительные цели, но и имевший достаточно такта, чтобы осуществить это намерение; летом 1841 г. министерство Мельбурна потерпело поражение в нижней палате (в конце мая), распустило парламент, назначило новые выборы, и едва парламент (в августе 1841 г.) собрался, как 360 человек против 269 вотировали отказ в доверии Мельбурну. Кабинет вигов подал в отставку, и консервативный лидер Роберт Пиль тотчас же стал во главе нового правительства.

Уже выборы 1841 г., на которых О'Коннель был забаллотирован в Дублине и, чтобы пройти в парламент, должен был искать другой округ, уже эти выборы показали, что есть в стране известное недовольство, известная оппозиция против него. Далеко не все были довольны законом о десятине 1838 г., который, по мнению этих недовольных, только формально снимал тяготу с нищего арендатора, на которого все равно лендлорд возложит в виде надбавки арендной платы часть налога,

перенесенного на лендлорда. Муниципальный закон 1840 г. хотя и был приветствуем как уничтожение протестантской монополии в делах городского управления, но он не мог сделаться особенно популярным, когда ясно стало, что только ограниченная кучка состоятельных людей допущена высоким цензом к выбору и к исполнению обязанностей городских советников; да и, кроме того, этот закон не имел ни малейшего касательства к сельскому населению (т. е. к огромному большинству нации). Но дружба О'Коннеля с вигами, стоявшими у власти, управление Томаса Друммонда, очень сильное уменьшение аграрных преступлений после нового закона о десятине — все это сильно способствовало тому, что возникавшее неудовольствие против агитатора не сказывалось сколько-нибудь значительно, ибо в общем нация верила в О'Коннеля и именно ему приписывала мягкое, гуманное и дружелюбное поведение администрации в стране, привыкшей к угнетению и произволу. События 1841 г. изменили положение вещей. Роберт Пиль и вообще консерваторы были прямо враждебны самым существенным ирландским домогательствам. В Ирландии с большим раздумьем вспоминали, что такие меры, в сущности вовсе не коренные, вовсе не затрагивающие главных вопросов государственной жизни, как закон о десятине или как закон о муниципальной реформе, проходили в парламенте через 5—6 лет после внесения первоначальных биллей, и тянулась эта возня только вследствие яростной оппозиции консерваторов в палате лордов. Теперь, с 1841 г., консерваторы стали большинством и взяли в свои руки власть. Друммонд умер, вигистский вице-король, при котором мог действовать человек, подобный Друммонду, ушел вместе со своим главой, лордом Мельбурном, а новые ирландские правители, назначенные Пилем, обещали своим поведением отнюдь не походить на предшественников. О'Коннель не скрывал от себя и своих друзей, что наступают довольно трудные времена. Но он не знал, до какой степени трудные; не предвидел, что самые болезненные удары падут на него не из Англии, но из Ирландии, не из правительственного стана, но из нового, еще не существовавшего в 1841 г. лагеря.

Было настроение, и начинала складываться особая фракция, особая тенденция политической мысли, но партия еще не существовала. Как партия, как особая, определенно обозначенная политическая единица «Молодая Ирландия» сложилась лишь ко второй половине 40-х годов. В 1841 г., когда О'Коннель демонстративно как «первый католик» был выбран на ничего не значащее место дублинского лорд-мэра; когда он после падения вигов, друзей его, снова переходил в оппозицию торийскому кабинету; когда он опять поднимал агитацию по вопросу об отмене унии и опять настаивал на единственно плодотворном, по его

мнению, строго конституционном образе действий, в ирландском обществе уже явно обозначилось новое течение, которому суждено было прийти на смену этому высокоталантливому, шумному, не любившему противоречий, привыкшему к обожанию, верящему только в себя «ирландскому диктатору».

Прежде чем перейти к рассказу об этом новом течении, необходимо пояснить, каково было положение О'Коннеля в начале 40-х годов. Он все еще пользовался огромной популярностью, несмотря на то, что теперь уже он не шел впереди *всего* ирландского общества, как во втором и третьем десятилетиях XIX в. Тридцатые годы выдвинули ряд вопросов, в которых О'Коннель не хотел разобраться. Он объявил себя решительным противником вмешательства государственной власти в отношения между рабочим и работодателем, и это в эпоху ужасающей, самой жестокой нищеты и беспомощности рабочих классов. Даже скромные профессиональные тред-юнионистские организации ему не нравились. Все это поселяло отчуждение между ним и широкими слоями если не сельского, то городского населения, и иногда (в конце 1830-х и начале 1840-х годов) ему приходилось на митингах слышать и видеть самые недвусмысленные проявления раздражения со стороны собравшейся толпы.

Особенно грустно и болезненно разразился давно назревавший в жизни О'Коннеля кризис вот по какой причине. С самого начала 40-х годов в качестве главной очередной политической задачи О'Коннель поставил пред собой и хотел поставить перед Ирландией расторжение унии и восстановление самостоятельного парламента. Установление с 1841 г. враждебного О'Коннелю консервативного правительства еще более обострило политическую атмосферу, в которой началась и развивалась агитация против унии. Ассоциация, учрежденная 15 апреля 1840 г. О'Коннелем (Repeal Association) со специальной целью агитировать против унии, явно стремилась объединить по возможности всю страну вокруг намеченного дела. Рабочим сулилась демократическая реформа парламента; арендаторам — законодательное упрочение за ними их земельных участков, уничтожение (на этот раз уже окончательное) преобразованной в налог с лендлордов церковной десятины, которая с 1838 г. потеряла, правда, свои наиболее раздражающие и угнетающие народ свойства, но тем не менее могла сказываться до известной степени на повышении арендной платы; средний и высший классы предполагалось привлечь тем простым аргументом, что фактически власть и влияние после уничтожения унии перейдут именно в их руки, и станет возможна национальная политика, считающаяся во всех отношениях (в том числе и в экономическом) с интересами не английской, а своей, ирландской жизни,—

Ирландия перестала бы быть только рынком для сбыта английских фабрикантов. Но именно разнородность элементов, которые желательно было объединить, и затрудняла логическое проведение столь разнохарактерной программы. Скудно и вяло посещались в 1840—1841 гг. агитационные собрания. Идея О'Коннеля была все та же, его постоянная: митинги, подача петиций парламенту, мирные, но внушительные своей численностью демонстрации и т. п. С 1841 г., с начала консервативного кабинета Роберта Пиля, отношение к ассоциации со стороны ирландского общества несколько изменилось: теперь уже О'Коннель говорил более резко, более оппозиционно, и это казалось интереснее, не столь монотонно, как прежние речи, развивавшие всем известные аргументы в пользу расторжения унии и сдобренные вместе с тем любезностями по адресу союзников О'Коннеля — вигов. Так или иначе, О'Коннель все еще являлся единственным рупором политических желаний и тенденций своего народа. Назревали уже другие тенденции и чувства, но только с 1842—1843 гг. они нашли выражение. Эти новые чувства и мысли и их глашатаи так болезненно-остро поразили О'Коннеля не потому, что они выступили на сцену без него и направились против него, но потому, что они как бы не только не хотели считаться с новой занятой им позицией, а *именно* ее, эту позицию агитатора против унии, сочли самой лучшей почвой для борьбы. Случилось это так.

Осенью 1841 г. Чарльз-Гэвэн Даффи, молодой человек, вращавшийся в литературных кружках Ирландии, встретился и близко сошелся с двумя молодыми дублинскими адвокатами: Джоном Диллоном и Томасом Дэвисом. Полная солидарность в политических взглядах и в настроении очень скоро после первого знакомства натолкнула их на мысль издавать сообща еженедельный журнал. Сказано — сделано. Поднявшись с той скамьи в дублинском Феникс-парке, где им пришла в голову эта мысль во время гулянья [35], три приятеля разошлись по домам и тотчас же принялись за исполнение своего намерения; деньги нашлись у Даффи, значит нужно было подыскать сотрудников и выпускать проспект нового издания. Кроме будущих сотрудников, уведомлять никого не представлялось необходимым, так что вице-король имел случай узнать о проектируемом журнале одновременно с прочими читателями, на которых рассчитывала молодая редакция. К книге Даффи, в которой говорится о первых годах деятельности его партии, приложена гравюра, изображающая трех друзей на скамье Феникс-парка, и под гравюрой подписано: «Рождение «Нации»» («Нацией» они решили назвать свой будущий журнал). Действительно, как горько ни жаловались передовые ирландцы на общественные условия, царившие на их родине, но если у человека, имевшего

хоть сколько-нибудь подходящие денежные средства, являлось желание издавать в Ирландии газету или журнал, то этот момент появления подобного желания он и мог впоследствии называть «рождением» своего издания. Никаких восприемников не требовалось. 15 октября 1842 г. появился первый номер «Нации», задолго возвещенный и с нетерпением ожидаемый. Разошелся он без остатка в первые же часы после выхода, до полудня. Колоссальный успех встретили и следующие номера, и к концу того же 1842 г. «Нация» обозначалась как новая и крупная общественная сила. Чему же она учила и куда вела своих читателей?

Дэвис, Диллон, Даффи и их друзья задались сложными целями. Они, по собственным словам их, хотели восстановить в народе самоуважение и самоуверенность в лучшем смысле этого слова, т. е. два качества, которые англичане всячески хотели уничтожить в Ирландии, по их мнению. Они определенно желали сеять недовольство против английского режима, говоря, что «низко быть довольным», когда родина страдает «под бичом несправедливых законов». По мнению членов редакции, мало было организовать общественное мнение, как это неоднократно по разным поводам делал и пытался делать О'Коннель: нужно еще его просветить, дать знания, ибо «человек ясных убеждений и точных знаний представляет собой бóльшую силу, нежели десять человек, нуждающихся в этих дарах». Журнал стремился дать своим читателям эти точные знания и ясные убеждения. По воззрению редакции, «история Ирландии изобиловала примерами благородства» и в некоторых отношениях напоминала эпическую поэму. Твердо решившись всячески содействовать поднятию национального самосознания, журнал из номера в номер знакомил читателей с лицами и фактами, прославившими Ирландию в далеком и недавнем прошлом. Была, например, эпоха, когда Ирландия наравне с Италией высылала в дикие, варварские страны Европы проповедников и апостолов христианской веры. В это глухое время раннего средневековья Ирландия стояла относительно на высшем уровне культурного развития, нежели, например, англо-саксонские государства соседнего острова. Помещая очерки из истории ирландских религиозных подвижников, журнал интересовался ими не вследствие религиозного, но вследствие патриотического чувства, чувства гордости, которое они могли возбудить. В еще большей мере освещались и иные, более близкие к XIX в. эпохи. Систематически помещались статьи и очерки о выдающихся ирландцах, прославивших себя на службе военной и гражданской в иных странах. Наконец, в прозе и в стихах прославлялись люди, пожертвовавшие своей жизнью из-за того, что они считали благом для Ирландии. Давно забытые, казалось, навсегда, наглухо затерянные имена,

имена вождей и участников былых восстаний, снова выходили на свет божий; окровавленные тени Вольфа Тона, лорда Фицджеральда, Роберта Эммета снова воскресали в памяти ирландского общества. Герои более стародавних и еще более забытых восстаний вереницей проходили перед читателями. Поэты журнала посвящали поэмы и лирические произведения выдающимся событиям ирландской истории и деятелям этих событий. Кроме истории, журнал стремился еще знакомить своих читателей с настоящим как Ирландии, так и иных стран. Одной из главных их задач было полное примирение и объединение ирландцев всех вероисповеданий, т. е. то, к чему стремились в 1790-х годах «Объединенные ирландцы». Журнал на примере современной ему Франции, управляемой протестантом Гизо, на примере католической Бельгии, в которой король был протестантом, доказывал, что различие в религии не обусловливает непременно вражды и невозможности мирного сожительства отдельных групп граждан в одном государстве: вот почему ирландцы-протестанты не должны пугаться перспективы расторжения унии с Англией и перехода власти над Ирландией в руки большинства ирландского населения, т. е. в руки католиков. Вообще на ознакомление ирландского общества с континентальной Европой и Америкой редакция обратила серьезное внимание. В данном случае журналу приходилось бороться кое с чем посильнее простого невежества. Простое невежество все-таки есть tabula rasa, которая и предоставляется в распоряжение учителя. А тут налицо были уже благоприобретенные нелепости и фальсификации, внедренные в умы народа, который был заброшен в сторону от Европы и все свои суждения о ней воспринимал через посредство официальных и официозных английских известий. Даффи, Диллон и Дэвис настаивали на том, что Ирландия, хотя она пока и несамостоятельна, должна иметь свою собственную «иностранную политику», вовсе не совпадающую с английской. Это — на том основании, что интересы Англии и Ирландии отнюдь не тождественны; например, всякий раз, когда Англия воевала против Америки или Франции, для Ирландии из английских неудач и поражений проистекала прямая выгода, ибо Англия слабела и, хоть временно, шла на некоторые уступки, делалась мягче! Поэтому если английские учебники и английские газеты даже и очень бранят какую-нибудь нацию, то из этого вовсе не следует, что эта нация очень дурна и что ирландцам нужно ее ненавидеть,— напротив. Что касается до положения Ирландии в экономическом отношении, то воззрения журнала здесь были очень определенны: нигде нет такой ужасающей нищеты, таких частых голодовок среди крестьян, такого обнищания ремес-

ленных и промышленных классов, такого угнетения всех производительных сил, как именно в Ирландии. Экономические бедствия тесно связывались с недочетами и ненормальностями, отмечавшимися в социальной структуре, в законах и обычаях: нигде (по их мнению) землевладельцу не был предоставлен такой широкий произвол в изгнаниях фермеров с участков, нигде податное бремя не было распространено более неравномерно и несправедливо, нигде не проявлялось такого полного отсутствия всяких стремлений со стороны законодательства хоть немного посодействовать развитию промышленности, улучшению земледелия, охране экономических интересов народа. И все эти социально-экономические беды сводились в свою очередь к тому, что делами ирландского народа заведуют посторонние ему люди — англичане, которым нет дела ни до чего, кроме своих собственных интересов. Фракция сгруппировавшаяся вокруг журнала «The Nation» и получившая впоследствии название «Молодой Ирландии», объявляла себя всецело за расторжение унии, но вместе с тем, в прямую противоположность О'Коннелю, категорически отказывалась от мысли о каком-либо союзе с одной из двух парламентских английских партий. Виги, говорили они, столь же мало заслуживают доверия Ирландии, как и тори, ибо и те, и другие суть англичане, которым выгодно порабощение этой страны. Своего освобождения ирландцы должны добиваться, полагаясь лишь на себя самих и позабыв все междоусобные распри, прибавляли они.

Было нечто, помимо фактического содержания, помимо развивавшихся в журнале определенных политических идей, что привлекало к себе молодое поколение, только вступавшее тогда на сцену. «Молодая Ирландия» вносила необыкновенный энтузиазм, почти экзальтацию во все, что она говорила и проповедовала! Например, О'Коннель был принципиально враждебен всяким методам действия, напоминающим Вольфа Тона и его время; он говорил, что гораздо лучше для Ирландии будет, если ее друзья останутся в живых, а не отправятся на тот свет. «Один живой друг стоит десяти мертвых»,— эту фразу и подобные ей любили повторять приверженцы старого агитатора. Что же касается до редакции нового органа, то, по признанию Даффи, его товарищи «мечтали стать мучениками». Для них традиции восстания 1798 г. были священны, а для О'Коннеля не было достаточно резких слов, чтобы достойно порицать это восстание. О'Коннель часто даже аффектировал свою полную лояльность, свое отвращение ко всякой мысли о чужеземной помощи против Англии. Новое поколение всячески подчеркивало благую для Ирландии роль исторических врагов английского государства. И став на тот

путь, на котором уже стоял О'Коннель, «Молодая Ирландия» обнаруживала явное желание пойти по этому пути более бурным аллюром, более быстро и порывисто, нежели это было желательно старому вождю. «Не откладывай на завтра то дело, которое нужно делать сегодня... будем полагаться на нас самих»,— недвусмысленно говорил поэт журнала Джон О'Хэгэн. Мысли этого стихотворения, например, возмутили не только власти, но отчасти и О'Коннеля. Ему уже то было неприятно, что впервые чуть не за всю его жизнь инициатива сознательного политического воздействия на общество исходила не от него. Он был горд, во многом деспотичен, и долговременное всеобщее обожание не преминуло оказать обычные свои плоды,— оно приучило его смотреть на себя как на «ходячий разум» ирландского народа, как на единственную и высшую моральную власть в стране. Холодность, потом отчуждение, потом разрыв — все это не могло не произойти при подобных условиях, если принять во внимание, что и «Молодая Ирландия» отнюдь не собиралась идти на уступки и покориться. Если бы дело происходило в стране без тех политических прав и гарантий, какими пользовались ирландцы в числе прочих английских подданных, то этот процесс отчуждения и разъединения, быть может, несколько замедлился бы за отсутствием непосредственной возможности открыто высказаться и сразиться. Здесь этого замедления быть не могло, хотя все-таки не в первые месяцы произошел разрыв.

Дело осложнялось тем, что «The Nation» сразу же, именно в первый год своего существования, самым несомненным образом помогла О'Коннелю в том последнем деле его жизни, которому он посвятил остававшиеся годы,— в деле агитации против унии. «Сбор в пользу ассоциации, образованной О'Коннелем для расторжения унии, не достигавший и 60 фунтов в неделю, когда появилась «Нация», достиг теперь (весной 1843 г.— *Е. Т.*) в среднем 300 фунтов стерлингов в неделю»,— пишет редактор этого журнала Даффи. «Нацию» читали нарасхват, и она пропагандировала идею расторжения унии там, куда до того никогда не проникала политическая пресса. И сам О'Коннель не торопился сердиться и ссориться. Но О'Коннеля недаром называли (как спустя 40 лет — Парнеля) некоронованным королем Ирландии: у него успел образоваться своего рода двор, где были приспешники и лакеи, сплетни и интриги, и все то мелкое, юркое, пошлое и ненужное, что фатально-неизбежно стремится присоединиться ко всякой силе. Сын О'Коннеля Джон, разделяя заблуждение, свойственное сыновьям многих замечательных людей, считал себя тоже по праву родового наследования призванным учить с политической трибуны сограждан. Он выступал на собрани-

ях часто и охотно, говорил много и несвязно, полемизировал резко и некстати. Он-то в числе прочих ближайших к О'Коннелю лиц стремился поскорее произвести разрыв. Так, он напал в публичной речи на «Нацию» за то, что ее симпатии тяготеют к Франции, стране, в истории которой есть столь кровавая страница, как революция. Один (случайный) сотрудник «Нации» тотчас же возразил оратору, что если он питает такой ужас к революциям, произведенным силой меча, то ему следовало бы также отвергнуть жертвуемые на ассоциацию, образованную его отцом, американские доллары, ибо Соединенные Штаты, как это ни предосудительно с их стороны, тоже освободились от Англии силой меча. За этим спором следовал ряд других несогласий. Главный вдохновитель нового журнала Дэвис с величайшим вниманием и решительным сочувствием смотрел на кипевшее в Англии чартистское движение, охватывавшее промышленные города и округи страны. О'Коннель, сначала (в 1838 г.) обнаруживавший симпатию к чартистам, теперь, в 40-х годах, не имел для английской демократии ничего, кроме самых резких порицаний и пренебрежения. Журнал «Нация», полагая, что в данном случае считаться с мнениями О'Коннеля не следует, настойчиво рекомендовал приверженцам расторжения унии сближаться с чартистами, с единственной группой английских граждан, не враждебной ирландскому освобождению. О'Коннель начал сердиться. Он сделал шаг, который ясно показывал, во-первых, что самообожание в нем было необыкновенно сильно, во-вторых, что интриги его ближайших сотрудников против «Нации» все усиливались и, в-третьих, что «Нация» успела занять в общественной жизни место, не позволявшее с ней ссориться слишком поспешно и необдуманно. О'Коннель дал знать редактору журнала Даффи, что замечающееся в журнале отклонение от его, О'Коннеля, мнений многие считают плодом заговора против него, О'Коннеля; что он сам пока этому не верит, но если редакция не будет особенно осторожна, то подобное подозрение может, чего доброго, распространиться! Редакция приняла к сведению, но поведения своего не изменила. Распространение журнала уже в 1843 г. констатировалось не только в городах, не только среди интеллигенции, но в довольно глухих местах, между арендаторами. Редакция не только не раздувала, со своей стороны, начавшихся недоразумений, но всячески подчеркивала, что считает О'Коннеля главой движения, человеком, оказавшим огромные услуги стране и продолжающим их оказывать.

25 февраля 1843 г. О'Коннель внес на рассмотрение дублинского городского управления (где теперь, после реформы 1840 г., сидели и католики) предложение возбудить петицию

перед парламентом о расторжении унии, т. е. об отмене акта 1800 г., и о даровании Ирландии вновь прежнего самостоятельного парламента (с сохранением, конечно, главенства царствующей династии). Дебаты длились 3 дня, и интерес к ним всего ирландского общества был огромный. Эти дебаты были лебединой песнью О'Коннеля, которому на этот раз опять, как в прежние дни, рукоплескала вся страна, в том числе и люди нового течения, приверженцы возникавшей литературно-политической партии «Молодой Ирландии». О'Коннель выяснил, что последний дублинский парламент, подкупленный Питтом и Кэстльри, не имел ни малейшего права объявлять себя уничтоженным; что, несмотря на все противодействия англичан, ирландский народ в лице 700 тысяч петиционеров тогда же ходатайствовал о сохранении автономии, но английское правительство не обратило на это никакого внимания. Он ярко очертил все бедствия, проистекшие от этого акта для ирландской промышленности, торговли, земледелия. «Позвольте мне спросить вас,— воскликнул он,— знаете ли вы хоть одну страну, подчинившуюся рабскому состоянию, которая не подверглась одновременно с этим и обнищанию; и знаете ли вы хоть одну страну, которая, возвысившись до свободы, не достигла бы в то же время процветания?» Он окончил свою речь торжественным уверением, что ирландский народ предан и останется верным королеве Виктории, но что он должен иметь и будет иметь самоуправление, безусловно необходимое для процветания нации. Между аргументами, приводившимися во время дебатов против О'Коннеля, едва ли не самым главным являлся тот, что англичане ни за что самоуправления не дадут, а потому агитация против унии среди ирландского населения может привести к революционному взрыву. Если принять во внимание почву, на которой стоял О'Коннель, этот аргумент в глазах многих казался весьма существенным. Тем не менее дублинская «корпорация» после всех прений большинством голосов решила подать парламенту петицию об отмене унии.

Эти дебаты и их финал имели, разумеется, лишь агитационное значение, зато оно было весьма велико. В огромной степени усилились сборы в пользу агитационной ассоциации; идея отмены унии быстро распространялась в народе, большинство которого, как часто случалось в Ирландии, начало думать, что найдена панацея от нищеты и голодовок, и все теснее примыкало к знамени, выставленному средним и высшим классами и их представителем, к требованию автономного парламента. В дни дебатов в дублинском городском управлении «Молодая Ирландия», как сказано, всецело стояла на стороне О'Коннеля. Но уже в эти дни кое-что недоговоренное,

невырешенное было между присутствующими, и обстоятельства сложились так, что это недосказанное стало вдруг на очередь дня, и правительство, О'Коннель и новый журнал должны были открыть друг другу свои карты. В парламенте в ответе на запрос оранжиста Родэна, как правительство намерено отнестись к происходящей в Ирландии агитации, первый министр сэр Роберт Пиль заявил, что все средства, какие только находятся в распоряжении правительственной власти, будут пущены в ход, чтобы воспрепятствовать «расчленению империи», т. е. расторжению унии. И если не хватит наличных средств, то он, сэр Роберт Пиль, попросит у парламента особых полномочий для борьбы со злом. О'Коннель, отвечая на эту угрозу, заявил на большом митинге, что он принадлежит к нации, насчитывающей 8 миллионов человек, и не боится угроз Пиля, не верит, чтобы тот «посмел» начать борьбу насильственными мерами, раз Ирландия вовсе не намерена устроить восстание. Редакция «The Nation» увидела, что наконец дело дошло до самого острого и болезненного пункта и что нужно высказаться. Мнение молодых публицистов сводилось к следующему. О'Коннель неоднократно выражался в том смысле, что ни на минуту ирландский народ не должен выходить в своих действиях за пределы законности и конституции; что «ни одно политическое улучшение не стоит и капли крови». Давая отпор Роберту Пилю, он сделал, по мнению редакции, хорошее дело, но был ли он при этом последователен? Он сказал, что Пиль «не посмеет» пустить в ход силу против людей, борющихся конституционными средствами. А если посмеет? Не превратится ли тогда гордый отпор О'Коннеля в жалкую и смешную браваду, достойную полного презрения? «Молодая Ирландия» решила приковать общественное внимание к этой болезненно острой теме. Руководитель нового течения Дэвис написал статью, в которой между прочим говорил: «Немного предусмотрительности избавляет от большой беды. Если у ирландского народа нет терпения, благоразумия и храбрости, если ирландцы не готовы претерпеть препятствия и преследования, строго повиноваться своим вождям и наконец если они будут потом колебаться при встрече со страданием, опасностью и самой смертью за свободу, то пусть они сразу бросят борьбу, для которой, значит, природа их вовсе не приспособила». Дэвис выражал уверенность, что на деле у ирландцев найдутся все качества, нужные для успеха; не советуя торопиться, он тем не менее говорил: «Бог может смягчить сердца или просветить умы английского народа, теперь превращенного в орудие аристократии, которая топчет нас и грабит обоих (т. е. и ирландский, и английский народ — *Е. Т.)*. Но если этого не

будет, то бог придаст силы нашей руке в угодный ему час. Время есть исправитель зла. Время рождает удобный случай». Другой вдохновитель журнала «Нация», Диллон, заявил со своей стороны, уже не в печати, а на митинге: «Скорее, нежели удовлетворить просьбу всей Ирландии, английские министры готовы опустошить ее поля и покрыть их телами ее перебитого народа. Что это, как не замена народного согласия... грубой силой? И что же мы сами, как не рабы, если мы подчинимся этому?»

Огромные митинги, происшедшие вскоре после угрожающей речи Пиля в разных местах Ирландии, раздраженное состояние крестьян, стекавшихся на эти митинги, и молодежи, рукоплескавшей новому журналу,— все это повлияло на О'Коннеля. По-прежнему утверждая, что нападения со стороны Ирландии не будет, он прибавлял, что защищаться ирландцы будут, если их к тому вынудят. Он шел *за* движением, но огромным своим авторитетом необыкновенно усиливал в общественном мнении те позиции, которые занимались Дэвисом, Даффи, Диллоном, их сотрудниками и уже многими их читателями. Так пока шло дело. И пока оно было так, многие слова в устах О'Коннеля, весь свой век убеждавшего в тщете неконституционного образа действий, приобретали в глазах Англии особенно зловещий смысл. На колоссальном митинге в Корке О'Коннель между прочим сказал следующее: «Представьте себе какого-нибудь ирландца без единого пенни и босого, который переехал через канал на палубе парохода, очутился в Манчестере или Сент-Джайльсе и собрал вокруг себя известное число ирландцев; и вот кто-нибудь спрашивает его: «Что нового?», а он ответил бы (вопрошателю — *Е. Т.)*: «Твой отец убит драгуном; твоя мать застрелена полисменом; твоя сестра... но я не хочу сказать, что с ней случилось». Пусть это так произойдет, и я спрошу Роберта Пиля, сколько пожаров вспыхнет на английских мануфактурах? Я не предупреждаю вас (членов митинга — *Е. Т.*), чтобы вы не боялись (угроз Пиля — *Е. Т.)*, ибо это было бы смешно: я говорю, что Англия не в состоянии ниспровергнуть вас». За этим митингом следовали другие (в Тайперери и др.), на которых собиралась колоссальная масса народа. Всюду О'Коннель убеждал не бояться и сравнивал положение вещей с тем, какое было накануне акта об эмансипации католиков.

Роберт Пиль не спешил приводить угрозу в исполнение, ибо из числа солдат, стоявших в Ирландии, около половины были ирландцы. При таком сомнительном составе провоцировать взволнованную страну в 8 миллионов жителей представлялось неудобным. Еще прискорбнее было то обстоятельство, что солдаты, находившиеся в самой Англии, очень могли

пригодиться против все еще кипевшего, все еще не сдававшегося чартизма, и трогать их с места являлось тоже небезопасным, так что ими не вполне удобно было подкрепить в случае нужды слабый ирландский гарнизон. На основании всех этих соображений министерство решило презрительно не замечать того, что происходит в Ирландии; но долго этого метода нельзя было держаться, ибо ирландские оранжисты (несмотря на номинальное закрытие их лож в 1830-х годах, в эпоху вигистского кабинета) были очень сильны своими связями и богатствами и решительно требовали, чтобы против антиунионистов были приняты меры. Тогда правительство одного за другим стало выгонять в отставку тех лиц, которые, находясь на государственной службе, позволяли себе присутствовать на о'коннелевских митингах и обедах или вообще обнаруживали свою симпатию к движению. Двадцать четыре лица в самое короткое время были удалены с должности. Раздражение росло, но и Пиль с обычным умом своим понял, в чем его сила, и, не прибегая к осуществлению угрозы подавить движение открытой силой, он решил использовать до конца все предоставленные ему по закону средства. Он знал, что они велики. После этих репрессий сборы в пользу ассоциации, заведовавшей движением против унии, дошли до 2200 фунтов стерлингов в неделю, т. е. до цифры, которой, как заметил Даффи, никогда не достигали даже недельные сборы «Католической ассоциации» перед эмансипацией католиков. Нищая страна давала последнее на борьбу против англичан, еще даже не разобравшись вполне, какая именно будет эта борьба. Примкнул ли О'Коннель к тактике «The Nation», или из его слов это еще вполне не явствует? Митинги делались все огромнее.

Роберт Пиль внес в парламент «билль об оружии», сильно ограничивавший для ирландцев возможность держать дома и пользоваться оружием и устанавливавший ряд мероприятий, которые позволяли бы контролировать действительность этого закона. Билль, внесенный в палату в мае, прошел в третьем чтении 9 августа того же (1843) года большинством 66 голосов. Оппозицию составили ирландцы, радикалы и многие либералы; консервативное большинство поддержало свое правительство. Еще в мае началось движение некоторых (немногих) полков из Англии в Ирландию; много посылать нельзя было по указанной выше причине. В течение всего лета, пока билль об оружии проходил через палату, митинги-монстры, как выразился [36] о них «Times», не переставали собираться. О'Коннель все повышал и повышал свой тон. «Испугать нас хотят? Веллингтон при Ватерлоо не был так силен, как я здесь!» — крикнул он на одном собрании, где

считали более 100 тысяч присутствующих. Редакция «The Nation» таким изъявлениям сочувствовала, но она должна была принимать в соображение, что подобные слова не мешали О'Коннелю говорить на тех же митингах, что, только оставаясь вполне мирным, движение восторжествует. Новые деятели не всегда признавали О'Коннеля последовательным, но историческая волна взмывала все выше, все выше, и люди не успевали ссориться.

11 июня (1843 г.) в Маллоу состоялся митинг, на который сошлось и съехалось по скромной оценке [37] 400 тысяч человек, а по счету тогдашних английских газет — полмиллиона. Вокруг реял эскадрон гусар и две роты пехотинцев, посланные на всякий случай по приказу Роберта Пиля. О'Коннель снова говорил об угрозах первого министра и, увлекаясь общим настроением, между прочим воскликнул: «Они могут растоптать меня, но если они так поступят, то не с живым человеком, а с моим трупом». Еще более решительно прозвучали сказанные вскоре после этого слова О'Коннеля, что в случае нападения у Ирландии не будет недостатка в друзьях: эти слова прямо относились к Соединенным Штатам и к Франции, где высказывалось открытое и довольно демонстративное сочувствие ирландскому движению. Ледрю-Роллен, например, прямо советовал британскому правительству считаться с тем, что в случае насильственного нарушения законных прав ирландцев Франция, как и в былые дни, может оказать помощь угнетенным. Конечно, в Англии хорошо знали, что Ледрю-Роллен — всего только член французской радикальной оппозиции, и что вовсе Франция не собирается ирландцам помочь, и не может, и не сможет это сделать, если бы даже захотела, и что все это одни только разговоры. Но воинственные речи в устах О'Коннеля обратили на себя всеобщее и живейшее внимание; никогда он еще так не выражался. Митинги, бурные и колоссальные, учащались, иногда они происходили дважды в течение одной недели. И вдруг над Ирландией разразился удар, с которым так легко было считаться на словах, который уже начал казаться отпарированным еще до того, как врагом была сделана попытка его нанести: Роберт Пиль исполнил свою угрозу.

5

На 8 октября 1843 г., которое приходилось в воскресенье, был назначен митинг в Клонтэрфе, в 3 милях от Дублина. На этом месте ирландцы некогда победили вторгнувшихся датчан, и митинг должен был носить особенно торжественный, национальный характер. О'Коннель намерен был произнести боль-

ную агитационную речь в защиту идеи расторжения унии; ожидалось колоссальное стечение народа. Уже за 3 недели до 8 октября все в Ирландии и Англии знали о предстоящем митинге, и говорилось о нем с особенным интересом.

7 октября утром в Дублин приехал совершенно неожиданно из Англии, где он находился по делам службы, ирландский вице-король граф Томас Грей. Тотчас же по приезде он созвал так называемый «частный совет», состоящий при особе вице-короля и не имеющий никакого значения, а после полудня в Дублине стали ходить упорные слухи, что предпринято нечто весьма серьезное. Огромная толпа встревоженного народа собралась возле правительственной типографии, ибо пронеслось известие, что печатают какое-то извещение. Чиновники убедительнейше уверяли, что эти слухи лишены основания и что вовсе ничего не печатается, но им никто не верил. Наконец, около 3 часов пополудни появился свежеотпечатанный лист, который мгновенно был расхватан публикой. В листе прочли следующее: «От лорда-наместника и совета Ирландии. Прокламация. Грей. Ввиду того, что публично было заявлено об имеющем состояться митинге в Клонтэрфе или вблизи Клонтэрфа, в воскресенье, 8 текущего октября под предлогом подачи петиции в парламент об отмене законодательной унии между Великобританией и Ирландией; ввиду того, что были напечатаны и широко распространяемы извещения и афиши, приглашающие тех лиц, которые намерены были явиться на означенный митинг верхом на лошади, соединяться и образовывать процессии и двигаться к означенному митингу в военном строе и порядке; ввиду того, что многолюдные митинги уже происходили в разных частях Ирландии под тем же предлогом и на некоторых из этих митингов выражения, носящие мятежный и зажигательный (inflammatory) характер, были обращаемы к собиравшейся публике, причем эти выражения были рассчитаны и направлены к возбуждению неудовольствия и неприязни в умах подданных ее величества и к навлечению ненависти и презрения на правительство и установленную законом конституцию страны; ввиду того, что на некоторых из этих митингов подобные мятежные и зажигательные выражения были употребляемы лицами, которые заявили свое намерение присутствовать и принять участие в вышеозначенном митинге в Клонтэрфе или вблизи Клонтэрфа; ввиду того, что означенный предположенный митинг рассчитан на возбуждение понятного и весьма основательного опасения, что мотивы и цели имеющих собраться лиц заключаются не в законном отправлении конституционных прав и привилегий, но в навлечении ненависти и презрения на правительство и установленную законом конституцию Соединенного королевства и в изменении законов

и конституции королевства посредством устрашения и демонстрации физической силы; ввиду всего этого ныне мы, лорд-наместник, по совещании с частным советом ее величества, убедившись, что означенный предположенный митинг в Клонтэрфе или вблизи Клонтэрфа может только служить целям беспокойных и мятежных лиц к нарушению общественного мира, сим строго предостерегаем и предупреждаем всех людей, кто бы они ни были, чтобы они воздержались от присутствия на означенном митинге; и сим же мы уведомлены, что если, невзирая на эту нашу прокламацию, означенный митинг состоится, то со всеми лицами, на нем присутствующими, будет поступлено сообразно с законом; и сим же мы приказываем и приглашаем всех должностных лиц и чинов, которым вверена охрана общественного спокойствия, и прочих, кого это может касаться, помогать и содействовать исполнению закона предотвращением этого митинга и успешным разогнанием и прекращением его, и раскрытием и преследованием тех, которые после этого извещения окажутся виновны в вышеуказанных отношениях. Дано в зале совета в Дублине в 7-й день октября 1843 года».

Минута первого остолбенения прошла. Наступал вечер короткого осеннего дня, и нужно было определенно узнать, что же делать? Будет митинг или не будет? Ведь, так или иначе, нужно было дать знать крестьянам соседних и несоседних, а иногда и очень далеких мест, чтобы они, ничего не знающие о правительственной прокламации, не попали впросак, чтобы для них не было неожиданностей. Но *что* дать знать? Глаза ирландской столицы обратились на одного человека, от которого зависело: прольется завтра кровь или не прольется. «Что сделает О'Коннель? Вот — вопрос вопросов»,— писал «Times» [38]. Волнение и тревога в городе усиливались с минуты на минуту. 34-й полк высадился в Ирландии утром того же дня и получил приказание тотчас же идти в Дублин; другой полк спешно садился на пароходы в Глазго, чтобы плыть в Ирландию; наличные ирландские войска с лихорадочной быстротой приводились в боевую готовность. Если бы не заявления О'Коннеля в последнее время в Маллоу и на других митингах-монстрах, если бы не гордые слова его, что Роберт Пиль «не посмеет» силой прекратить законную и мирную агитацию, если бы не фразы о мужественном сопротивлении, о собственном трупе и так далее, и правительство, и ирландское общество вполне определенно знали бы, что О'Коннель подчинится вице-королю, ибо он всегда был против каких бы то ни было способов насильственной борьбы. Но как же было понимать именно эти его совсем недавние и совсем по-иному звучавшие речи? Круто и грозно поставила история этот вопрос перед ирландским лидером, и так как это случилось 7 октября перед вечером, а митинг должен был со-

стояться 8-го около полудня, то ответ на грозный вопрос требовался немедленный. Ненастный день с проливным дождем и холодным ветром не мог разогнать толпившийся на улицах народ по домам: толпа теперь стояла уже не вокруг правительственной типографии, а около здания хлебной биржи, где, как в один миг разнеслось по Дублину, О'Коннель должен был собрать экстренное заседание комитета ассоциации, заведовавшей делом агитации по вопросу об отмене унии. Когда показался О'Коннель, толпа приветствовала его громкими криками, не умолкавшими даже, когда он скрылся за дверьми здания.

Заседание началось. Ассоциация, как и все организационные единицы, в которых когда-либо принимал участие О'Коннель, была лишь его орудием, собранием беспрекословно повинующихся подчиненных его чиновников, его приказчиков, не более. Они заведовали денежными делами, исполняли его приказания, брали на себя огромную и неизбежную черную работу, а он был единственным господином, руководителем и вершителем политических судеб ассоциации. Поэтому все зависело только от его слов, и от них одних: принципиальных дебатов тут быть не могло.

О'Коннель открыл заседание, аффектируя полное спокойствие, которое, конечно, никого не могло обмануть. Он заявил, что митинга завтра в Клонтэрфе не будет; что он очень просит всех присутствующих употребить все усилия, чтобы предотвратить собрание. Он указал на то, что английское правительство, прекрасно зная уже несколько недель о готовящемся митинге, сочло нужным воспретить его *накануне* назначенного дня, когда даже трудно успеть оповестить всех, кого нужно, об отмене собрания. «Убийцы в своем намерении!» — крикнул один из слушателей. У собрания было впечатление, что Роберт Пиль нарочно так устроил, желая вызвать назавтра сборище и учинить кровопролитное усмирение. Затем О'Коннель обратил внимание ассоциации на то, что прокламация вице-короля лишена смысла, ибо правительство также превосходно знало, что клонтэрфский митинг будет последним большим митингом в текущем году. «Если они рассчитывали на народную кровь, то они будут разочарованы»,— сказал между прочим О'Коннель. Он выразил также убеждение, что шаг правительства не уменьшит, а увеличит число приверженцев ирландской самостоятельности, число врагов унии. После О'Коннеля присутствующие отметили в своих речах то, что они назвали «нелепостью» в поведении Роберта Пиля: почему он не препятствовал все время устройству бесчисленных митингов, а тут совершенно без всякой видимой причины вдруг воспротивился? Вечером вышла прокламация, известившая ирландский народ

и английское правительство о намерениях О'Коннеля. Вот что было напечатано: «Извещение. Ввиду того, что появилась бумага за такой-то подписью (следовало перечисление членов «частного совета», подписавших прокламацию вице-короля — *Е. Т.*), бумага, представляющая собой прокламацию или имеющая целью быть прокламацией, состряпанная в очень запутанных и неточных выражениях и явно извращающая известные факты, цель каковой прокламации, по-видимому, заключается в воспрещении предположенного на завтра, 8 октября, клонтэрфского митинга, который имел собраться для петиции перед парламентом об отмене бедственной и губительной меры — законодательной унии; ввиду того далее, что эта прокламация появилась только сегодня, в субботу, 7 октября, перед вечером, так что совершенно невозможно обыкновенным официальным путем или по почте сообщить о ее существовании лицам, намеренным присутствовать в Клонтэрфе для вышеозначенной петиции, вследствие чего злонамеренные личности могут иметь удобный случай под флагом упомянутой прокламации провоцировать нарушение спокойствия или совершать насилия над людьми, намеренными мирно и законно отправиться на митинг; вследствие всего этого мы, комитет лояльной национальной ассоциации отмены унии, самым серьезным образом просим и настаиваем, чтобы все добронамеренные люди немедленно по получении этого известия отправились по домам и *не* подвергали себя опасности какого-либо столкновения или дурного с собой обращения. Далее, мы извещаем всех таких лиц, что, не соглашаясь ни в чем с неосновательными утверждениями в названной прокламации, мы считаем осторожным и разумным и прежде всего гуманным объявить, что вышеозначенный митинг отменен и не состоится. Даниель О'Коннель».

По желанию О'Коннеля, многие члены ассоциации с утра следующего дня стояли на дорогах, ведущих к Клонтэрфу, и убеждали шедших на митинг возвратиться домой, сообщая об отмене собрания. Еще с рассвета пушки дублинского гарнизона были расположены жерлами к клонтэрфской дороге; густые массы кавалерии и пехоты шли к месту митинга и располагались бивуаками у Клонтэрфа. Публика прогуливалась отдельными кучками, но едва только обнаруживалась в каком-либо пункте тенденция к образованию большой толпы, тотчас же туда направлялись солдаты и разъединяли собравшихся. На всех стенах, заборах и столбах висели прокламация вице-короля и извещение О'Коннеля; народ подходил, читал и отходил в сторону. День окончился спокойно; к вечеру все разошлись по домам.

Смущение овладело большинством ирландского общества, шедшим за О'Коннелем, раздражение — меньшинством, кото-

рое симпатизировало журналу «Нация». Но моральные последствия происшедшего выяснились не сейчас во всей полноте, ибо события слишком стремительно следовали одно за другим. Молодежь, группировавшаяся возле журнала «Нация», выражала порицание поведению О'Коннеля. Члены ассоциации и приверженцы О'Коннеля доказывали, что всякий иной способ действий, кроме выбранного их лидером, был бы безумием и преступлением. Конечно, ничего не стоило бы ответить на прокламацию вице-короля запальчивым вызовом, не отменить митинга и устроить на следующий день целое сражение. Но какой смысл это имело бы? Народ был бы перебит ружьями и пушками, а неубитые попали бы в ссылку или на виселицу; всякое движение надолго было бы парализовано, как это и прежде случалось после революционных взрывов и усмирений в Ирландии. Доводы Даффи, Дэвиса, Диллона и их друзей сводились к следующему. Они сами всегда говорили и предупреждали, что не нужно употреблять слишком сильные выражения, не влагая в них по всей совести всего того реального смысла, какой им соответствует. Зачем О'Коннель заявлял публично перед Ирландией, перед Англией, перед всем миром, что Роберт Пиль не посмеет прекратить агитацию грубой силой. Зачем он грозил сопротивлением, если мог знать наперед, что ни на какое сопротивление не пойдет сам и не поведет никого? Он понадеялся на тот прием, который так помог в конце 20-х годов, когда решался вопрос об эмансипации католиков. Тогда он тоже грозил, что при неуступчивости правительства в Ирландии можно ожидать революционной смуты, которую он пока всячески сдерживает; и правительство, т. е. этот самый Роберт Пиль, Веллингтон и их товарищи, тогда уступило. Но теперь ставка борьбы уже не та: отмены унии одними угрозами достигнуть невозможно, и это нужно было предвидеть. Между консервативным правительством 20-х годов и консервативным правительством 40-х годов, между тогдашним Робертом Пилем и нынешним Робертом Пилем лежит десятилетие, 30-е годы, эпоха вигов, эпоха дружбы О'Коннеля с либеральным кабинетом. О'Коннель привык за это время к словесной, парламентской борьбе, к сделкам с партиями и забыл, что беседовать с враждебным правительством в зале Вестминстерского дворца — это одно, а угрожать ему же чуть ли не вооруженным сопротивлением — совсем другое, и что приемы словесных запугиваний, заведомо фальшивых, имеют то неудобство, что страшно компрометируют оппозицию, к таким приемам прибегающую, и компрометируют ее надолго. Так судили люди, недовольные поведением О'Коннеля. Они предсказывали начало эры унижений, но, повторяем, события пошли настолько быстро, что раскол несколько отсрочился: едва успевали переживать новые и яркие впечатления.

В воскресенье, 8 октября, как сказано, митинг не состоялся, и все прошло тихо. В пятницу, 13 октября, появилось известие, что правительство теперь намерено уничтожить «Ассоциацию против унии», воспретить сборы в ее пользу, прекратить всякие собрания, имеющие связь с этим движением, и арестовать вожаков. На другой день (14 октября) О'Коннель, его сын Джон, секретарь ассоциации Томас Стиль, издатель умеренного «Freeman's journal» доктор Грей, редактор «Нации» Даффи и еще 7 человек были арестованы. К ним было предъявлено обвинение в «заговоре с целью возбуждения недоброжелательства среди подданных ее величества», с целью ослабления их доверия к отправлению правосудия и с целью достижения незаконными способами перемен в конституции и правительстве страны; кроме того, они обвинялись в возбуждении неудовольствия среди войск ее величества. О'Коннель был освобожден по внесении залога до суда и тотчас же обратился с воззванием к ирландскому народу, убеждая его ни в малейшей степени не нарушать порядка и спокойствия.

Чего хочет Роберт Пиль? Этот вопрос с самой нескрываемой тревогой задавало себе теперь ирландское общество. Что это явственная провокация, не сомневались даже многие из тех, для которых смысл запрещения митинга 6 дней тому назад не был вполне ясен. Но было ли так на самом деле? Роберт Пиль, конечно, никогда этого не говорил. Он вообще не охотник был говорить о политических делах вне стен парламента, а о мотивах своих поступков — даже и в стенах парламента. Товарищ его, старый герцог Веллингтон, оказался разговорчивее. «Pour la canaille il faut la mitraille»,— с восторгом повторял он фразу одного папского нунция, сказанную однажды в Лиссабоне по поводу народного возмущения. «Pour la canaille il faut la mitraille» — говорил Веллингтон, встретившись на великосветском лондонском обеде в ту памятную для Ирландии неделю, которая началась воспрещением клонтэрфского митинга, а окончилась арестом предводителей национального движения. Герцог верил в исцелительные свойства картечи и стойко поддерживал это свое убеждение относительно ирландских дел. Ирландское общество не знало тогда его фразы, которую узнало спустя много десятилетий из мемуаров, но считало поступки Пиля красноречивее всяких слов. И именно потому было придавлено и ждало, что будет дальше.

Консервативная английская пресса ликовала и многократно выражала мысль, что виги за свое долгое владычество сильно испортили ирландский народ и внушили О'Коннелю смешные и превратные суждения о собственной силе. Пресса говорила, что суровые шаги давно нужно было предпринять, но «лучше поздно, чем никогда», и Пиля можно только поздравить

с его решительным образом действий на пользу отечества, которому ирландские сепаратисты столь долго и безнаказанно грозили расчленением. С доверием взиралось при этом и на суд, которому предстоит высказаться по поводу вины О'Коннеля и его товарищей. Ирландское общество боялось, что это доверие будет оправдано и что, как обыкновенно бывало до тех пор во время политических ирландских процессов, списки присяжных заседателей будут старательно подобраны в известном духе. Митингов, конечно, не было, на улицах и площадях была тишина, в деревнях глухо, образованное общество ждало процесса, крестьяне боролись с острой зимней нуждой. В середине ноября обвиняемым вручили обвинительный акт с подробным обозначением всех их преступлений. Всех преступлений оказалось в общей сложности 43, причем 16 состояло в присутствии на митингах этого года, так называемых митингах-монстрах, 15 — в присутствии на обыкновенных митингах, 10 — в напечатании возмутительных статей, остальные — в аналогичных поступках (печатании отчетов о митингах и пр.). Обвинения эти были изумительны даже в глазах английских судебных властей в Ирландии (кроме принимавших участие в составлении акта). В присутствии на митингах следует обвинить чуть ли не все ирландское население, говорили критики, а в печатании отчетов — все газеты Соединенного королевства Великобритании и Ирландии, ибо даже консервативные органы в этом грешны.

Суд начался. 15 января 1844 г. огромная толпа запрудила улицы, ведущие от дома О'Коннеля к помещению дублинского суда. Зала судоговорения была переполнена так, что пройти было трудно. О'Коннеля и его товарищей встретили по пути изъявлениями привета и симпатии. Уже при начале разбирательства защитники обвиняемых указали на то, что списки присяжных составлены несогласно с законом, что из большого списка было вычеркнуто очень много имен и по большей части именно католиков, неизвестно на каком основании. Обвинитель в весьма продолжительной речи старался доказать, что присяжные заседатели имеют тут дело с широко разветвленным заговором, но фактов никаких в подтверждение этого мнения не приводил, а довольствовался цитатами из газет, из отчетов о речах и т. п. Защита совершенно отвергала обвинение и настаивала на полнейшей законности всех поступков и слов подсудимых. После двадцатипятидневного судоговорения все подсудимые были обвинены почти во всех взведенных на них преступлениях (относительно каждого было поставлено несколько вопросных пунктов). Подобранные присяжные исполнили свое дело так, что оправдали всецело доверие производивших подбор. Между постановлением вердикта и окончательным приговором прошло довольно продолжительное время.

Как раз в этот период собрался в Лондоне парламент, и от ирландских членов и либеральной оппозиции Роберту Пилю пришлось выслушать весьма мало лестного относительно искусственного подбора присяжных, фантастичности обвинительного акта, стремления обратить правосудие в политическое оружие. Впрочем, правительство могло ничуть не беспокоиться: большинство, которым оно располагало в парламенте, меньше всего могло бы изменить ему именно в этом вопросе, в деле подавления ирландского сепаратизма. Справедливость требует заметить, что и либералы, столь горько упрекавшие Роберта Пиля, не имели ни малейшего нравственного на то права, ибо сами поступали точь-в-точь так, как он [39], в те периоды, когда бывали у власти, а Ирландия начинала слишком сильно волноваться (управление Томаса Друммонда в 30-х годах было скорее исключением, нежели правилом).

В окончательной форме своей приговор суда гласил, что О'Коннель должен быть заключен в тюрьму на 1 год, уплатить штраф в 2 тысячи фунтов (почти 20 тысяч рублей) и представить залог в 5 тысяч фунтов в обеспечение своего «хорошего поведения» в течение ближайших 7 лет. Другие подсудимые были приговорены к 10 месяцам тюрьмы, денежному штрафу в 50 фунтов и залогу в тысячу фунтов. «Правосудие не было нам оказано»,— заявил О'Коннель по выслушании приговора. Осужденные были немедленно взяты под стражу и отправлены в тюрьму.

6

Чрезвычайно важный момент наступал в истории ирландского движения. О'Коннель на долгие месяцы если не совсем выбыл из строя (с ним можно было сообщаться без особых трудностей), но во всяком случае непосредственным, ежечасным, так сказать, влиянием на ход событий он пользоваться не мог. И это обстоятельство ускорило назревавший в ирландском движении кризис.

«Молодая Ирландия» заговорила решительнее и яснее, нежели до сих пор, и условия, созданные Робертом Пилем, сильно ей благоприятствовали. Основная тенденция тактики О'Коннеля — не отходить ни на одну линию от границ, очерченных конституцией, эта тактика недаром так долго держалась, недаром ирландский агитатор воспитал на ней целые поколения; и раньше, нежели говорить о том, как «Молодая Ирландия» стала на место О'Коннеля, мы должны отдать отчет, каков был политический багаж обоих противников в момент начала между ними борьбы, и почему эта старая, имевшая за собой традиции о'коннелевская тактика начала слабеть.

Авторитет О'Коннеля в середине 40-х годов был колоссален;

редактор «Нации», один из инициаторов движения «Молодой Ирландии», прямо говорит, что долго казалось совсем немыслимым предпринимать что бы то ни было без согласия и содействия О'Коннеля. Его исторические заслуги были огромны. В годы полной подавленности и приниженности ирландской нации, в годы торжествующего протестантского ханжества и угнетения католиков, в эпоху могущественной реакции первых лет XIX в. он первый нарушил общее молчание и начал борьбу. Он ускорил дело эмансипации католиков; далее он в 30-х годах воспользовался своим союзом с вигами, чтобы выговорить для Ирландии хорошую администрацию, никого не притесняющую, принципиально дружественную нации; тогда же, хотя и неполно, все-таки было сделано очень многое, чтобы совсем лишить вопрос о десятине его прежней остроты; городское управление в Ирландии было преобразовано, и католики вошли в его состав впервые; наконец, взявшись за дело агитации против унии, О'Коннель и сюда внес свою изумительную энергию, преданность делу, работоспособность, хотя он был уже стар, болен, измят жизнью. В Бельгии, в клерикальных кругах Франции, Западной и Южной Германии, Италии, Испании, в папской курии его почитали как поборника католической веры против ее врагов (он, заметим кстати, был очень религиозен). Много было условий, содействовавших его огромной популярности далеко за пределами Ирландии, а в самой Ирландии все (не исключая партии «Нации») были согласны, что он «призвал к политической жизни» спавшую тяжелым сном родную страну. Культ героев был всегда силен в Ирландии, и соответственно роль отдельных личностей всегда преувеличивалась общественным сознанием. И молодое, и старое поколение почитало этого человека, и возникавшая оппозиция мечтала не о борьбе с ним, а скорее о том, как бы этой борьбы избежать. Тактика О'Коннеля, которую он рекомендовал согражданам, была им усвоена в начале его деятельности, и с ней же он не расставался до кончины. Эта тактика не требовала самопожертвования, отваги, дерзости мысли или дерзости действия, и уже поэтому она не закрывала О'Коннелю входа во все слои ирландского народа и доступа ко всем сердцам и умам людей, сочувствующих Ирландии; и эта тактика, казалось, давала и результаты,— ей приписали эмансипацию католиков и ряд вышеуказанных благих дел менее крупных размеров. Мирная агитация, законные демонстрации, неустанно представляемые петиции — вот были средства, и требовалось присутствовать на митингах, агитировать среди окружающих, подписывать самим и давать подписывать другим предлагаемые петиции, собирать на дальнейшую агитацию деньги и отправлять эти регулярные сборы в указанное место. Эта тактика всех допускала до участия в

политической жизни страны, и она всем была доступна, а поэтому она и была долго популярной и устойчивой. Но, кроме нее и ее приверженцев, в Ирландии иногда глухо, а иногда явственно давали себя знать другие проявления и другие люди. Они не составляли политической партии, их поступки были стихийным, рефлективным, отчаянным протестом отчаявшихся и изголодавшихся людей, но при свете их действий тактика О'Коннеля сильно выигрывала в глазах английских властей и становилась иногда даже как бы известным палладиумом порядка и спокойствия. Начинались уступки, переговоры, сделки. Сумма шла в кредит О'Коннелю, а о точном определении слагаемых никто в Ирландии и не мог, и не хотел заботиться. Да и мыслимо ли в подобных случаях точное определение слагаемых, также еще вопрос. Так или иначе, была известная путаница, нечто недоговоренное, ибо нельзя без ущерба для последовательности действий одновременно порицать известную силу и ею же пользоваться, желать ее уничтожения и извлекать в свою пользу аргумент из самого факта ее существования. Это недоговоренное выступило наружу не в начале 1830-х годов и не перед безграмотными «белыми парнями», а спустя 10 лет — перед «Молодой Ирландией».

Конечно, не в самой непоследовательности было дело: не было никогда в истории человечества такого случая, когда мало-мальски серьезный, мало-мальски широкий раскол возник бы в известном политическом движении, при отсутствии иных условий, *только* потому, что кто-либо из членов партии усмотрел в том или ином пункте ее программы логическую непоследовательность или в ее образе действий не вполне точное соответствие между словами и поступками. Религиозные секты по этой только причине раздваивались часто, политические партии — никогда; и много, если теряли ничтожный процент членов.

Здесь, в Ирландии 1840-х годов, тоже *не* непоследовательность (на которой даже не останавливались), не неясность и недосказанность (которые были вполне очевидны) сыграли важную роль. Тактике О'Коннеля нанес сильнейший удар Роберт Пиль. О'Коннель всецело основывался на конституции,— Пиль доказал, что это неограниченное доверие неосновательно. Митинги были законны,— Пиль запретил их; речи О'Коннеля были вполне легальны,— его отдали под суд; присяжных подтасовывать не полагается,— их подтасовали; писать статьи, *не* призывающие к преступлениям, можно,— авторы статей получили казенное помещение рядом с О'Коннелем, хотя в статьях их ничего преступного не было; парламент существует для контроля над министрами и охраны конституции,— Роберта Пиля парламент одобрил, а на речи о нарушении конституции не обратил ни малейшего внимания.

Течение, получившее название «Молодой Ирландии», ввиду всего происшедшего укрепилось в своей давнишней тенденции, в воззрении на конституционные средства как на нечто не вполне достаточное. «Молодая Ирландия» еще не развила своей программы во всех хотя бы важнейших пунктах, но когда двери тюрьмы захлопнулись в 1844 г. за О'Коннелем и его товарищами, то эта еще только слагавшаяся фракция, волей судьбы призванная взять в свои руки политические дела, переходя от литературной сферы, где она до сих пор более всего высказывалась, в область практической деятельности, уже знала определенно, в какую сторону направит она свои усилия. И месяцы тюремного заключения О'Коннеля остались памятными в истории Ирландии как «начало конца», как начало общественного кризиса, так мрачно окончившегося спустя несколько лет.

Заключение О'Коннеля длилось недолго, до середины сентября, когда палата лордов, к которой апеллировали обвиненные, отменила приговор суда. Но новые тенденции, начавшие проявляться в эти месяцы заключения О'Коннеля, продолжали развиваться и на его глазах. Его освобождение сопровождалось триумфальной поездкой по улицам Дублина, огромными овациями, фейерверками и самыми бурными проявлениями во всех больших городах Ирландии. Это лишний раз заставило новое течение и его представителей усомниться в целесообразности борьбы против такого общепризнанного, общенационального авторитета, а кроме того, решение палаты лордов как бы противоречило, по крайней мере отчасти, слишком пессимистическому воззрению «Молодой Ирландии» на английскую конституцию, вернее, на ее применение английскими властями в борьбе против ирландцев. Но оба эти обстоятельства все-таки не могли предотвратить кризиса.

За время отсутствия О'Коннеля делами ассоциации (против унии) заведовал Смит О'Бриен, человек, гораздо ближе стоявший к «Молодой Ирландии», нежели к О'Коннелю, и впоследствии окончательно примкнувший к новому течению. О'Бриен категорически решил ни за что не закрывать ассоциацию, как хотел было это сделать О'Коннель вскоре после запрещения клонтэрфского митинга. Вообще его наклонности были несравненно воинственнее; при нем обозначилась уже вполне ясно решимость довольно большой группы членов ассоциации ни на один шаг не идти навстречу желаниям Роберта Пиля, а предоставить ему все неприятные функции закрытий, преследований и т. д.

С громадным интересом все ждали первой речи О'Коннеля после его освобождения; эта речь должна была дать известную программу дальнейших действий ассоциации и всего вообще движения против унии, прерванного в октябре 1843 г.

прокламацией вице-короля. Эта речь произвела самое грустное впечатление на присутствующих. Оратор говорил, что намерен возбудить в палате общин преследование против Пиля и всех судебных и административных властей, действовавших незаконно; что нужно обратиться к английскому народу с убеждением низвергнуть Роберта Пиля и предать его суду, а если английский народ не посодействует в этом предприятии, тогда он, О'Коннель, вернется в Ирландию и скажет ирландцам: «Не думайте о Джоне Булле, заботьтесь сами о собственном парламенте». Все это были ничего не значащие фразы в грозной словесной форме. О'Коннель просто рекомендовал надеяться на то, что ближайшие общие выборы пришлют в парламент больше либералов, нежели консерваторов, и тогда консервативный кабинет, как водится, должен будет уйти; возбуждение же обвинения против Роберта Пиля было, конечно, до курьеза невозможно и неосуществимо ни в ближайшем будущем, ни позже. Смит О'Бриен решительно не одобрил этой речи; он находил (как и вся «Молодая Ирландия»), что обращение к английскому народу и нецелесообразно, и недостойно ирландских деятелей. «Молодая Ирландия» всегда находила, что союз О'Коннеля (в 30-х годах) с английскими вигами, компромиссы, из-за которых он согласился тогда отложить агитацию против унии, что все это — одно из темных пятен в истории ирландского движения и что намекать снова на вигов и на соглашения с либералами не следовало бы ни в каком случае. О'Коннель тогда оставил агитацию не только вследствие компромиссов, но и потому, что в стране не было еще такого настроения, как позже, в 40-х годах; но «Молодая Ирландия» в это не входила, и ее раздражение усиливалось.

Болен и грустен был О'Коннель. Семьдесят лет, треволнения долгой жизни агитатора и трибуна, сознание неудач последнего времени и отсутствие мало-мальски утешительных перспектив, болезни и семейные неприятности — все это давило его, сказывалось на каждом шагу, тянуло его иногда прочь от общественной жизни, на отдых. И именно теперь увидел он, что снова и в усиленной степени выступают наружу уже давно, еще до запрещения клонтэрфского митинга, начавшиеся несогласия и пререкания с журналом «Нация», с молодым поколением, знаменем которого был этот орган.

За речью, возбудившей столько неудовольствия, следовало открытое послание О'Коннеля ассоциации. Тут он заявлял, что чувствует предпочтение в настоящее время не столько к простой отмене унии (simple repeal) и воскрешению самостоятельного парламента, сколько к проекту создания особого федерального совета в Ирландии, т. е. чего-то вроде «подчиненного парламента», который, как хотели этого так называемые «феде-

ралисты», главным образом заведовал бы финансовыми делами страны, а в остальном был бы связан волей общеимперского парламента. Федералисты представляли собой не имевшую никакого серьезного влияния фракцию (распространенную между наиболее нерешительными и не желавшими разрыва с Англией людьми), и некоторые из них даже изъявили готовность ограничить значение этого будущего совета не всеми финансовыми, а лишь фискальными вопросами. Вообще эта фракция в точности своих идеалов не формулировала, и ее неосновательно склонны были считать самым консервативным крылом того громадного лагеря, который собрал вокруг себя О'Коннель и среди которого шла теперь дифференциация. Люди, наиболее заинтересованные в сохранении крепкой связи с Англией, но которых все-таки не совсем удовлетворял существовавший порядок вещей, становились федералистами. В сущности, они не были по основным своим идеям приверженцами О'Коннеля, и поэтому «Молодую Ирландию» особенно поразило, что теперь сам лидер оставляет свои прежние широкие требования и идет к ним. Редактор Даффи увидел, как он говорит в своих воспоминаниях, что если принять федеральную программу, то это означает со стороны «Ассоциации против унии» ни более ни менее, как самоубийство. Интересно, что журнал «Нация» с большим почтением относился к личности вождей федеральной фракции, и *вчуже* редакция журнала интересовалась этой группой, ибо с точки зрения «Молодой Ирландии», без сомнения, лучше было быть федералистом, нежели приверженцем Роберта Пиля, и в этом отношении среди тех кругов, которые пополняли ряды федералистов, пропаганда этой фракции была все же шагом вперед. Но письмо О'Коннеля возлагало на редакцию «Нации», как полагали Даффи, Дэвис и их товарищи, обязанность бороться всеми силами против неожиданной тенденции старого лидера. Они силились не ссориться, потому что раздоры перед лицом торжествующего врага мучительны, опасны, и много следовало подумать, прежде чем на это решиться. Но тут кое-что было затронуто еще более важное, нечто такое, при потере чего вся начатая борьба утрачивала в их глазах решительно всякий смысл. «При этих обстоятельствах долг журнала казался мне ясным. Рискуя чем угодно, журнал «Нация» должен был подать сигнал опасности. Иначе не только судьбы общественного дела в настоящем, но и перспективы его в будущем могли быть скомпрометированы. Писатели «Нации» завоевали доверие своего поколения в беспримерной степени; если бы они обманули его вследствие недостатка мужества или чувства независимости, то действие этого на характер всего поколения было бы гибельно». Так смотрел Даффи на положение вещей. Мало того, что они считали принципиально долгом

своим бороться против извращения программы всего движения, предпринятой О'Коннелем. Они сочли этот случай удобным еще и для того, чтобы приучить ирландский народ действовать самостоятельно, невзирая на О'Коннеля как на непогрешимого первосвященника. «Свобода покоится не в учреждениях, но в привычках мысли и действия; и нет такого способа добыть ее, который был бы совместим с удержанием на ученическом положении народа, предназначенного к освобождению». Руководясь этими соображениями, журнал «Нация» начал борьбу.

Даффи поместил большое открытое письмо О'Коннелю в своем журнале, где доказывал, что федеральные планы не освободят Ирландию и что новый курс, принятый лидером, может вконец погубить движение против унии и стремление к полной законодательной самостоятельности. Приверженные О'Коннелю газеты отвечали; началась полемика, в которую вмешалась сначала английская, а потом даже и французская пресса. Консерваторы говорили, что О'Коннель сам понял бессмысленность своих прежних затей добыть для Ирландии самостоятельность и перешел к менее утопичным планам; либералы тоже приветствовали новый курс, намекая, что теперь не может встретиться никаких препятствий к возобновлению прежних дружеских отношений и союза между ними и ирландцами; были и другие, менее характерные отзывы. Но в самой Ирландии партия «Нации» быстро росла. Многие примыкали к мнению, что О'Коннель закапывает в землю движение и что нужно ему в этом помешать. Дэвис в «Нации» умолял О'Коннеля вернуться к прежнему, говоря вместе с тем, что Ирландия все равно не оставит дела борьбы против унии. Ряд других статей развивал ту мысль, что федерализм — не замена, а подмена требуемой полной ирландской самостоятельности. О'Коннель после некоторого колебания высказался в том смысле, что некоторые молодые люди подняли шум и крик, не вдумавшись, как следует, в смысл его слов. Он вовсе не хочет перейти к федералистам. «Я желаю им, федералистам, добра, пусть они работают так хорошо, как могут, но они — не мои дети, мне с ними делать нечего». Спор кончился таким образом победой «Молодой Ирландии». О'Коннель уступил, видя, на чью сторону склоняется общественное мнение, но этой победы он своим противникам не простил. В политической жизни обеих фракций ирландского общества накопились горючие вещества. Пришел их общий враг и бросил искру.

Роберт Пиль, всегда внимательно следивший за изменениями в общественном настроении Ирландии, решил, что одновременно или почти одновременно с репрессиями надлежит произвести диверсию в сторону умиротворения. Он был одарен тем чутьем, которое отличало лишь наиболее талантливых борцов

против алармистских движений и которое всегда помогало своим обладателям вовремя распознать, чем именно возможно примирить тех, которые желают примириться, и настал ли момент, когда нужно поторопиться дать немного, чтобы потом не быть принужденным дать больше. Он решил отвлечь от О'Коннеля наиболее миролюбивые элементы высшего и среднего католического слоев, влиятельные и по происхождению своему, и по богатству. Католическая аристократия и буржуазия с давних пор жаловались на то, что единственный в стране дублинский университет есть университет чисто протестантский; что там нет кафедры католического богословия; что университетский совет и профессорский персонал — протестанты; что, словом, этот университет существует для маленькой группы жителей Ирландии, а не для большинства. Пиль внес в парламент и провел через него закон об открытии в Корке, Голуэе и Бельфасте [40] трех учебных заведений с факультетами: юридическим, медицинским и камеральным. Закон божий совсем должен был отсутствовать в программе преподавания; по крайней мере от университета такой кафедры не полагалось ни для протестантов, ни для католиков; но если кому-нибудь угодно, он вправе на собственный счет завести соответствующего преподавателя в том или ином из новооткрываемых учебных заведений. План Роберта Пиля возбудил сочувствие в католическом обществе, хотя сильно не понравился католическому духовенству. Они называли новые заведения будущими рассадниками безбожия и требовали, чтобы правительство на собственный счет содержало католических богословов-профессоров. Но духовенству Пиль угодил тем, что (еще до этого билля об учебных заведениях) он провел через парламент закон о даровании католической семинарии в Майноте ежегодной субсидии в размере 21 тысячи фунтов стерлингов вместо 9 тысяч, которые семинария получала до тех пор (до 1845 г.); кроме того, это же духовное учебное заведение получило единовременное пособие в 30 тысяч фунтов. Все это весьма умиротворяюще подействовало на духовенство, и оно хотя и было недовольно новыми «атеистическими университетами», но не чувствовало пока особой склонности к протесту. Партия «Молодой Ирландии», со своей стороны, выражала удовольствие по поводу уступки Роберта Пиля нуждам национального ирландского просвещения. К числу вождей и руководителей «Молодой Ирландии» принадлежали и протестанты, и католики, и они вообще не особенно много внимания уделяли чисто религиозным интересам и тревогам ирландского католицизма. Их прельщало в мероприятии Роберта Пиля именно отсутствие всякого официального конфессионального элемента, полное уравнение всех вероисповеданий. Они не обманывались в оценке истинных мотивов первого

министра, который, впрочем, и сам оправдывал[41] перед палатой свою умиротворительную политику тем соображением, что при серьезном конфликте, возникшем между Америкой и Англией, великобританское правительство должно сделать все от него зависящее для успокоения страстей в Ирландии и иметь руки развязанные в случае предстоящей внешней войны. Подобная мотивировка лишний раз, казалось, подтверждала мнение «Молодой Ирландии», что внешние враги английского правительства суть eo ipso друзья ирландцев и самым своим появлением на политическом горизонте уже приносят Ирландии благо; самый же билль об учебных заведениях получил полное одобрение молодой партии. Для желающих жертвовать на содержание богословов предоставлялись все удобства, облегчение всех формальностей; для желающих заниматься чтением религиозного характера отводились особые читальные комнаты, но никаких преимуществ той или иной религии не оказывалось. Еще при обсуждении билля в парламенте О'Коннель яростно напал на него, обвинял новый закон в безбожии и т. д. Даффи в своих записках замечает, что О'Коннель в данном случае встретился с сэром Робертом Инглисом, который тоже обвинял билль в безбожии. Совпадение было действительно довольно достопримечательно, ибо Инглис пользовался заслуженной известностью старого протестантского ханжи, закоренелого врага католиков и преследователя введения принципа свободы совести в отношении между церковью и государством. Сэр Инглис был обижен, что государственная власть недостаточно заботится в своем законопроекте о процветании единоспасающего англиканства, а О'Коннель негодовал на то, что не будет иметь никакой официальной поддержки единоспасающий католицизм; и О'Коннель не хотел даже утешиться тем, что теперь хоть *приравнивают* католицизм к англиканству, тогда как в Дублинском университете католицизм всегда был принижен и обойден. «Атеистический» характер новых заведений возмущал одинаково и его, и сэра Инглиса. Роберт Пиль мог торжествовать: не только ему удалось сделать кое-что для умиротворения католического духовенства (майнотскими субсидиями) и католических аристократии и буржуазии (новыми учебными заведениями), но одновременно ему удалось этими же самыми новыми учебными заведениями рассорить О'Коннеля с «Молодой Ирландией». Началась решительная и резкая борьба между О'Коннелем и группой журнала «Нация». Религиозный и самовластный старик не мог без искреннего гнева отнестись к молодым вольнодумцам, равнодушным к религии и непокорным его собственному авторитету; и что было особенно тяжело,— общественное мнение снова склонялось не на его сторону. Даже духовенство, в лице католических епископов, на специальном собрании решило, что

при некоторых (совсем несущественных) поправках положение о новых заведениях может быть вполне одобрено верующими. Но и тогда О'Коннель не успокоился. Напротив, его раздражение как бы еще выросло, когда он увидел, что почва уходит из-под его ног. «Поздравляю сэра Роберта Пиля с успехом в этом эксперименте»! — яростно вскричал он в собрании «Ассоциации против унии» 26 мая (1845 г.). Он называл новый закон «нечестивой попыткой порчи и подкупа» и утверждал, что ни один независимый человек не возьмется читать лекции в одном из новых учебных заведений. В этом-то заседании и произошел давно готовившийся взрыв [42]. Прения становились все живее, и после речи одного молодого человека (Конвэя) член редакции «Нации» Дэвис поднялся и произнес: «Я хочу только немного слов сказать в ответ на полезную, рассудительную и умную речь моего старого школьного товарища, моего истинно католического друга, мистера Конвэя...» Тут его прервал неожиданно О'Коннель:

— Я надеюсь, что это не есть преступление, быть католиком?

— Нет, конечно, нет!

— Улыбка, с которой вы употребили это слово, могла бы привести к такому заключению,— продолжал О'Коннель.

— Нет, сэр, нет,— возразил Дэвис,— мои лучшие друзья, самые близкие мне друзья, самые истинные мои друзья — католики. Я был воспитан в смешанном учебном заведении, где я узнал, а узнав, полюбил моих католических земляков, и любовь эта не будет смущена нынешними случайными и несчастными разногласиями. Разъединение, увы, губило нашу страну целыми столетиями. Ирландцы, неужели снова оно его погубит? Будете вы брать ирландских детей с самой ранней юности и углублять различие между ними?» Дэвис в дальнейшей речи заявил, что некоторые дурные стороны в правительственном билле он видит, но к мнению католических епископов об этом законе всецело примыкает. В ответной своей речи О'Коннель вдруг перешел на личную почву. «Группа политиков,— воскликнул он,— называющих себя партией *молодой Ирландии*, желая руководить судьбами этой страны, вдруг появляется и поддерживает эту меру. Такой партии, которая называется «Молодой Ирландией», не существует. Могут быть несколько индивидуумов, которые присваивают себе это наименование. Я принадлежу к старой Ирландии. Пора уже положить конец этому заблуждению. «Молодая Ирландия» может предаваться выходкам, каким угодно. Я вовсе не завидую им в прельщающем их названии. Я буду помогать старой Ирландии; и у меня есть некоторое слабое представление, что и старая Ирландия будет мне помогать».

Изумление и смятение овладели собранием. Дэвис, не желавший никогда в интересах дела ссориться с О'Коннелем, пока это было возможно, разрыдался, как ребенок, хотя всю жизнь отличался чрезвычайной сдержанностью и спокойной энергией. Несмотря на все будто бы примирительные речи, закончившие этот памятный вечер, было вполне ясно, что миру не бывать, что так долго державшаяся перед лицом англичан как один человек ирландская национальная партия раскалывается. Дэвис плакал, потому что хорошо знал, насколько непоправимо случившееся, хотя никто, лучше его и его товарищей, не мог сознавать, до какой степени это случившееся было неизбежно.

Молодое поколение всецело стало на сторону Дэвиса: партия же О'Коннеля уже не была той его национальной армией, при помощи которой в былые дни он боролся за эмансипацию католиков. Удовлетворенные отчасти уже достигнутыми результатами — политической эмансипацией 1829 г., последними, совсем недавними уступками Роберта Пиля, достаточные католические круги в лице пожилых своих представителей не совсем понимали ярость О'Коннеля против новых учебных заведений, и прежде всего они не были совсем расположены к активной борьбе. Их поддержка чисто пассивная и довольно вялая. Религиозным индифферентистам, радикалам, мечтавшим о скорейшем соединении всех религий и слоев Ирландии в борьбе против англичан, они, люди старшего поколения, конечно, не симпатизировали; колоссальная слава О'Коннеля, его долгое и огромное влияние на политическую жизнь Ирландии — все это также давало ему важные преимущества перед молодыми противниками. Но тенденции Дэвиса быстро укреплялись среди самой активной и молодой части ирландского общества, и в этом «Молодая Ирландия» видела залог успеха. «Молодая Ирландия» не могла простить О'Коннелю еще одного, и в этом также О'Коннель имел немногих деятелей на своей стороне, даже из старых своих друзей. Дело в том, что именно в 1844—1845 гг., когда отношения между Англией и Францией, Англией и Соединенными Штатами портились более и более, когда временами газеты начинали говорить о войне, О'Коннель в своих публичных речах заявлял неоднократно, что он стоит за «безопасность трона Виктории», за то, чтобы низринуть американского орла, что лучше совсем оставить мысль о самостоятельности, нежели осуществить ее при помощи Франции. Все это серьезно охлаждало и раздражало два народа, которые больше всех других сочувствовали ирландцам. При положении, какое занимал О'Коннель, подобные заявления производили впечатление враждебной дипломатической ноты, враждебной манифестации ирландского народа против Франции и Америки. «Молодая Ирландия» видела в таком поведе-

нии О'Коннеля опасную бестактность и совершенно отказывалась понимать, для какой цели ему казалось необходимым расточать такую массу словесной лояльности, раз это покупается столь дорогой ценой — утратой симпатии двух могущественных народов. «Молодая Ирландия» открыто и ясно учила, что у ирландского народа должна быть своя собственная внешняя политика и дипломатия, по существу своему диаметрально противоположная дипломатии великобританской. Ирландские эмигранты в Америке с особенным раздражением отнеслись к таким заявлениям национального лидера. Джон О'Коннель, сын, повторяя обычный прием усердных бездарностей, подчеркивал и усиливал в собственных речах заявления своего отца и возбуждал этим особое раздражение и злобные насмешки среди тех, которые не спешили нападать на старика, помня его прежние заслуги. Джон О'Коннель, со своей стороны, сердился и мстил; началась глухая агитация против журнала Дэвиса, Даффи и Диллона. Дэвис заболел, и журналу приходилось, как и всей партии «Молодой Ирландии», выносить борьбу почти без участия самого даровитого и энергичного деятеля, ибо он почти не вставал с постели. Но журнал и его руководители не отчаивались; среди пожилых людей высшего и среднего круга, среди католического духовенства, действительно, «Нация» много потеряла от нерасположения О'Коннеля; среди молодежи городов, даже среди наиболее культурных фермеров она была любимейшим органом.

Болезнь Дэвиса вдруг приняла неожиданно крутой оборот, и 16 сентября 1845 г. он скончался. За погребальной колесницей шли огромные толпы народа; весь Дублин провожал покойника. Обнаружилась неожиданно огромная его популярность. Он больше всего выступал не на митингах, а в журнале «Нация», не в речах, а в политических статьях, и его похороны имели большое общественное значение, приняв характер манифестации в пользу нового течения. На мгновение старый и больной О'Коннель, сам стоявший на краю могилы, освободился от всяких личных чувств, от нашептываний своего сына и других лиц, настраивавших его систематически против «Молодой Ирландии». В ближайшем после смерти Дэвиса заседании «Ассоциации против унии» было прочитано письмо О'Коннеля, где говорилось об умершем: «Я торжественно объявляю, что никогда не знал я человека, который мог бы быть настолько полезен Ирландии в настоящей стадии борьбы». Но это было именно мгновением, порывом чувства; история продолжала двигаться по своему фатальному пути, начавшийся раскол углублялся.

7

Как всякая страна, живущая хронически ненормальной жизнью в хронически ненормальных условиях, Ирландия была в течение последних трех веков своей истории подвержена периодическим спазмам, потрясавшим весь национальный организм. Этим спазмам обыкновенно предшествовал, или, точнее, наступление этих спазматических явлений ускорял голод, регулярно посещавший Ирландию. Масса ирландского населения обыкновенно жила впроголодь; неурожаи тоже очень часто разоряли отдельные округи и усиливали обычную нищету. Но и общие страшнейшие голодания, о которых мы говорим, тоже стали для всех, знавших состояние Ирландии, еще со времен Кромвеля чем-то вроде комет для астрономов: они являлись *не* каждый год, но *должны* были время от времени являться.

Аграрные отношения тронуть было гораздо труднее, нежели антикатолические предрассудки или десятинную подать в пользу протестантской церкви; и Роберт Пиль пробовал хоть подступить к этому основному вопросу ирландской жизни, но так при пробах и остался. В конце 1843 г. была назначена комиссия под председательством лорда Девона для расследования экономического состояния Ирландии. В 1845 г. комиссия представила отчет, констатировавший много безотрадных фактов, но это не привело ни к какому результату. Комиссия лорда Девона обратила, например, внимание на ужасающий рост изгнаний фермеров с их участков, причем все затраты на постройки и всякие улучшения навсегда утрачивались для изгоняемого. Комиссия предложила установить, чтобы государственные чиновники регистрировали все затраты, производимые фермером, и чтобы потом, в случае изгнания фермера, лендлорд обязан был уплатить ему все сделанные затраты согласно шнуровым книгам этих государственных чиновников, если только изгнание фермера состоится в тридцатилетний срок после сделанных им улучшений на своем участке. С некоторыми изменениями подобная мера была выработана, и по поручению кабинета Стенли внес ее в парламент. В палате лордов эта скромная, чисто паллиативная мера встретила жесточайшее сопротивление. Тридцать шесть лордов, и именно те, у которых были поместья в Ирландии, подписали протест против этого билля, находя, что этим нарушается священное право собственности. Билль провалился, и все осталось по-прежнему. Отчет комиссии Девона и билль Стенли были представлены в 1845 г., и это были последние попытки консервативного кабинета как-нибудь поправить ирландские дела, т. е. не доводить население до крайностей и до нарушения спокойствия.

С 1839 по 1846 год 150 тысяч человек было выгнано вон с арендуемых ими участков, за неплатеж ренты, за иные провинности перед лендлордом или перед управляющим, или вследствие того, что лендлорду выгоднее оказалось расширить свои пастбищные угодья. Счастливцы, которых не выгоняли, жили в совершенной нищете, но голодная смерть грозила им не сейчас, и они трепетали как бы не потерять это преимущество, как бы не оказаться в числе изгнанных. По цензу 1841 г.[43] 46% всего сельского населения Ирландии жило так, что вся семья помещалась в одной комнате. Эти жилища представляли собой нечто неописуемое; удушающий смрад, грязь, теснота, едкий дым, часами наполнявший крошечное помещение, где зимой копошилась вся семья,— все это поражало даже тогдашних наблюдателей, даже то поколение, привыкшее ко многим видам на английских фабриках и в каменноугольных районах, в описываемый золотой век манчестерской доктрины. Эти хижины, по удостоверению лорда Девона, к тому же, вовсе не служили защитой от ненастья, ибо были выстроены слишком плохо; спали их обитатели на полу, ибо постель, по словам той же комиссии, была «редкой роскошью». Лорд Девон и его товарищи пришли к заключению после своей анкеты, что ирландский земледелец «плохо помещен, плохо ест, плохо одевается, плохо вознаграждается за свой труд»[44]. Комиссия заявляла в своем отчете, что на нее произвело сильное впечатление то «страдальческое терпение», с которым (ирландские — *Е. Т.*) рабочие классы обыкновенно переносят страдания большие, по нашему мнению, нежели те, какие должен выносить народ в любой другой стране Европы»[45]. Это говорили английские государственные люди, аристократы и богачи, в официальной бумаге,— и в пристрастии к ирландцам их заподозрить нельзя было ни в каком случае.

Если лендлорд выгонял арендатора, он отправлял его на тот свет столь же действительно, как если бы он застрелил этого бедняка,— так заявлено было в парламенте человеком, знающим ирландские условия; заработка не было нигде, ни в чужих деревнях, где люди боязливо держались за свой черствый кусок и не хотели лишних ртов и лишних рук, ни в городах, где ремесла, промышленность, торговля падали с году на год. Лендлорды только получали деньги в Ирландии, проживали же их почти исключительно в месте постоянного своего жительства — в Англии. Никакого денежного оборота в Ирландии не было: деньги, приносимые ирландской землей, оживляли *английскую* торговлю, а вовсе не ирландскую. Одной из причин, почему городской буржуазный класс поддерживал агитацию против унии, было также и то обстоятельство, что политическая самостоятельность сделает Дублин, а не Лондон столицей Ирландии,

и землевладельческая аристократия будет жить в Ирландии, а не в Англии, и это отчасти посодействует оживлению торгово-промышленной жизни страны. Смертность, все усиливавшаяся, была фактом, который тем больше тревожил, чем чаще к нему приходилось обращаться. Не успели сдать на хранение в архив доклад комиссии лорда Девона, как в Лондон, с конца лета 1845 г., стали стекаться неблагоприятные известия, касавшиеся урожая картофеля. Из 8 миллионов населения Ирландии 4 миллиона человек «исключительно зависело от картофеля» [46], и положение Ирландии делалось, действительно, совершенно отчаянным. Целые миллионы людей готовы были попасть в положение тех несчастных, которых лендлорд изгонял и этим предавал голодной смерти. Призрак угрожающего голода не только в Ирландии, но и в иных местах (на острове Уайте тоже предвиделся картофельный голод) принес весьма большую пользу волновавшей Англию агитации Кобдена против хлебных законов: вопли против пошлин, удорожающих хлеб в годину, когда предстоит голод и прочее, усилились на митингах лиги против хлебных законов. Но нас тут касается не то, как бедствие 1845—1846 гг. повлияло на исход борьбы капиталистической буржуазии против земледельческой аристократии, как восторжествовала «свобода хлебной торговли», как Роберт Пиль перешел в этом вопросе на сторону либералов и провел отмену хлебных законов. Все это к ирландскому голоду прямого отношения не имеет, ибо ни до, ни после отмены хлебных законов у голодающих ирландцев не было возможности купить себе хлеб: ведь и в «хорошие» свои времена они его почти не видали, а питались картофелем. Неурожай картофеля в 1845 г. был частичный, в 1846 г.— полный, во всех ирландских графствах. Такого голода, как в 1846 г., в Ирландии не было еще никогда, за всю ее историю, и хотя этот год был неурожайным также в Бельгии, в Канаде, в Венгрии, в Голландии, в Германии, в Соединенных Штатах, местами в Англии, но нигде он не был так ужасен и нигде не произвел таких опустошений [47]. «Молодая Ирландия» приписывала это тому, что нигде не было так слабо сопротивление социального организма напавшему на него бедствию, как именно в Ирландии, всегда нищей, всегда больной и грязной, ничем не обеспеченной про черный день. Умирали арендаторы на своих участках, умирали земледельческие рабочие, которые в обыкновенное время рады были поденной плате от полутора шиллингов до четырех пенсов (около 16 копеек в день) и которых ввиду неурожая никуда не брали на работу. Мы не будем останавливаться во всех деталях на тех ужасах, которые перенесла Ирландия от «великого голода» 1846 г. и от недородов, не столь свирепых и обширных, но все-

таки опустошивших страну в последующие несколько лет. Отметим существенное и начнем с цифр.

В 1846 г. к началу «великого голода» в Ирландии жило 8 288 000 человек; цифра рождений за период времени с 1847 по 1851 г. была равна 1 421 000 человек; цифра ежегодной смертности, так называемой «нормальной», непосредственно перед «великим голодом», если ее помножить на 5, дает 755 000 смертей за тот же период времени (1847—1851 гг.). Так что если бы не чрезвычайные события этого времени, то народонаселение Ирландии в 1851 г. должно было бы выразиться цифрой 8 954 000 человек, ибо перевес числа рождений над числом смертей за эти годы был бы 666 000 человек. На самом же деле население с 1846 по 1851 г. не только не увеличилось, но уменьшилось в невероятной степени: от голода умерло 1 104 000 человек (по официальным данным английского правительства, старавшегося по возможности умалить размеры бедствия), эмигрировало — в Англию 314 000 человек, в другие страны — 984 000 человек; вследствие этих обстоятельств, население Ирландии в 1851 г. было равно 6 552 000 человек [48].

Пугающие размеры бедствие приняло зимой 1845—1846 гг. Безвыходное отчаяние овладевало целыми тысячами людей, которые выходили из дома просить милостыню или убить и ограбить кого придется, и от слабости многие из них, пройдя с милю, ложились на дороге и умирали. Матери убивали детей, а потом себя, чтобы долго не мучиться; крестьяне гурьбой выходили грабить фургоны с хлебом, проезжавшие по большим дорогам. За год в Ирландии произошло 5638 аграрных преступлений, из них 139 человекоубийств, 138 покушений на убийство, 540 нападений с отягчающими обстоятельствами, 478 поджогов, 134 обстреливания жилых помещений и т. п. Это не была революция, тут не сказывалось еще влияния «Молодой Ирландии», аграрные преступления на этот раз были даже менее обставлены чисто крестьянскими организациями, нежели в прежние времена. Здесь голод, доводивший до умопомрачения, был непосредственным стихийным стимулом, гнавшим на большую дорогу и к лендлордским домам, к скотным дворам зажиточных фермеров и к жалким пригородным лавчонкам, без разбора гнавшим в то место, где предполагалось возможным промыслить себе хотя немного пищи какой угодно ценой — своей ли жизни или жизни хозяев.

Роберт Пиль доживал свою министерскую жизнь. Его партия — консерваторы — не могла ему простить отмены хлебных законов; либералы, поддерживавшие его в этом предприятии, вовсе не были расположены дарить его своей дружбой и впредь. Исполнялось предсказание, бывшее в ходу при дворе Луи-Филиппа, который внимательно следил за английскими

делами: согласно этому предсказанию, Роберт Пиль должен был непременно пасть жертвой собственного успеха, т. е. проведения отмены хлебных пошлин. И пасть ему суждено было из-за ирландских дел. Он внес в парламент билль об усмирении, один из многочисленных биллей, какие и до, и после того становились законами для Ирландии и в большей или меньшей степени усиливали власть вице-короля и ограничивали конституционную свободу граждан. На этот раз, весной 1846 г., подобный билль должен был бороться с последствиями неурожая картофеля и прекратить аграрные преступления: его внесение мотивировалось безмерно увеличившимся волнением страны. Враги кабинета из ториев, желавшие его низвергнуть из-за хлебных законов, соединились на этот раз с либералами и ирландцами, и 26 июня 1846 г. билль провалился во втором чтении. Против правительства голосовало 292 человека, за правительство — 219. Роберт Пиль вышел в отставку, и либеральный лидер лорд Россель взялся сформировать кабинет. После пятилетнего пребывания в рядах оппозиции виги вернулись к власти,— и голодающая Ирландия тяжким бременем свалилась на них: прежде всего нужно было обдумать, что с ней делать.

Но еще раньше, нежели новое правительство приступило к этому трудному делу, раньше даже, нежели можно было с уверенностью сказать, с кем или с чем оно собирается бороться: с голодом или с голодающими,— в ирландском обществе перемена министерства вызвала целую бурю, страшно усилившую раскол между О'Коннелем и «Молодой Ирландией». Дэвиса уже не было в живых, но к движению непрерывно примыкали все молодые и энергичные элементы ирландского общества. Разочарование в О'Коннеле и его тактике гигантскими шагами прогрессировало с самого того дня, как он смирился перед Робертом Пилем в истории с клонтэрфским митингом; и это чувство больше всего вербовало сторонников «Молодой Ирландии». Еще в декабре 1845 г. Роберт Пиль должен был уступить место Росселю, но тогда кабинет вигов не мог быть образован и парламентское недоразумение окончилось тем, что Пиль остался у власти; и уже тогда О'Коннель успел весьма недвусмысленно высказаться в том духе, что заставил предполагать в себе готовность опять, как в 30-х годах, заключить союз с вигами. Уже тогда раздражение против него было сильно, и утихло только потому, что все эти разговоры оказались преждевременными. Теперь, летом 1846 г., виги серьезно упрочились у власти, и вопрос о союзе с вигами выступил с особенной остротой наружу. К людям, группировавшимся вокруг журнала «Нация», примкнули новые деятели — Томас Фрэнсис, Мигир, Джон Митчель, Томас Рилли, Мак-Ги и др. Почти все они (кроме Мак Ги и немногих других) принадлежали к немногочисленному

в тогдашней Ирландии зажиточному городскому классу, к средней буржуазии; и все они были демократы по своим убеждениям и приверженцы в большей или меньшей степени радикальной тактики. Ужасы голодного года содействовали повышению общей раздражительности, нетерпения, подозрительности.

В 1846 г. «Молодая Ирландия» готова была порвать с О'Коннелем гораздо решительнее, нежели хотя бы еще при Дэвисе; и на этот раз враги старого деятеля чувствовали под собой очень твердую почву. Когда опять началось сближение между О'Коннелем и вигами, члены «Молодой Ирландии» говорили, что на этот раз подобный союз гораздо хуже, нравственно неприглядное, нежели тот, который имел место одиннадцать лет тому назад, в 1835 г. Тогда, говорили они, О'Коннель по крайней мере прямо вел дело: не видя возможности при тогдашних обстоятельствах достигнуть отмены унии, он на время оставил эту агитацию, чтобы получить от правительства меньшее, но тоже важное. Теперь же, в 1846 г., он, фактически совсем почти отказавшийся от агитации против унии, по-прежнему заключив союз с вигами, окончательно утративший веру в свое дело со времени обидного клонтэрфского происшествия, тем не менее решается кричать, что он продолжает идти прежним путем, что он будет бороться за отмену унии и т. д. «Молодой Ирландии» казалось, что эти приемы клонятся к тому, чтобы по-прежнему ему остаться единым руководителем ирландского общества, а между тем, подобный образ действий может, как они полагали, затемнить общественное сознание, затормозить надолго идею ирландской самостоятельности и развратить ирландский народ напрасным, но постоянным ожиданием подачек от английского либерального правительства. Журнал «Нация» решил всеми силами противиться тактике О'Коннеля; общественное настроение помогало ему. Смит О'Бриен, все более и более сближавшийся с «Молодой Ирландией», член парламента, выдающийся оратор, пользовавшийся в Ирландии большим почтением за прямоту характера и мужество, во время парламентской сессии должен был заседать в железнодорожном комитете палаты общин. Он категорически отказался, заявив, что и в Лондон он явился исключительно за тем, чтобы бороться против исключительных законов касательно Ирландии, а отвлекаться делами, не имеющими к Ирландии никакого отношения, он вовсе не желает, ибо теперь его присутствие необходимо родине, которой грозит голод. О'Коннель был в палате, когда обсуждался этот демонстративный поступок О'Бриена: он защищал О'Бриена, впрочем, без особенного жара. Решено было О'Бриена арестовать и заключить в отдельное помещение в самом же здании парламента. Редакция

«Нации» пожелала, чтобы «Ассоциация против унии» выразила как-нибудь свое сочувствие О'Бриену, но там заявили, что это опасно, ибо палата общин, приказавшая арестовать О'Бриена, оскорбится, и, кроме того, такое выражение сочувствия будет косвенным упреком О'Коннелю. В конце концов решено было созвать митинг и предложить послать О'Бриену выражение симпатии. Много митингов собралось в разных городах Ирландии с целью выражения симпатии О'Бриену. «Клуб 82-го года» (т. е. в память конституции 1782 г., отмененной актом об унии в 1800 г.), в котором «Молодая Ирландия» была сильна, также много содействовал этому движению. Более 150 петиций об освобождении О'Бриена были посланы в Лондон; спустя три недели его освободили. О'Коннель, видя, что огромная масса общества на стороне О'Бриена, сделал усилие отсрочить неизбежное, т. е. раскол. Он горячо и торжественно приветствовал возвратившегося в своей ассоциации; в его речи были такие слова: «Наши враги радовались. Они говорили: «О, ассоциация разделена, О'Коннель против О'Бриена, О'Бриен против О'Коннеля». Что же они сегодня скажут? Я скажу им, что я не согласился бы остаться членом ассоциации даже на один час, если бы Вильям Смит О'Бриен перестал быть моим товарищем, приятелем, моим соратником в борьбе. Я скажу им, что только одно заставило бы меня отчаяться в Ирландии,— именно если бы мы как-нибудь поступили так, чтобы побудить Вильяма Смита О'Бриена покинуть ряды, в которых он столь мужественно сражался за Ирландию». Но О'Коннель еще не рассматривал О'Бриена как принадлежащего к группе «Молодой Ирландии» — и мог еще надеяться отвлечь его от этой группы. Вскоре после того он дал понять редакции «Нации», что всякие отношения между журналом и «Ассоциацией против унии» порвутся немедленно, если редакция будет упорствовать в своих опасных заблуждениях. Для журнала это означало потерю тысячи фунтов стерлингов в год, ибо масса читателей ассоциации, выписывавших «Нацию», могли прекратить подписку по одному слову О'Коннеля; удар, таким образом, был бы и моральный, и материальный. Редакция решила не обращать внимания и продолжать свое дело. Редактора Даффи отдали под суд и судили за помещенную в «Нации» статью, в которой правительство усмотрело призыв к восстанию: в статье говорилось, что народ будет знать, как поступить с железными дорогами, если «враг» (т. е. англичане) вздумает воспользоваться ими для неприязненных действий, т. е. для передвижения войск при усмирении или тому подобных обстоятельствах. Защитник подсудимого Хольмс сказал речь, в которой горько жаловался на положение Ирландии и говорил о «тирании и обмане». Эту речь предполагалось напечатать и распространять при помощи ши-

роких агитационных средств и многочисленных агентов «Ассоциации против унии», но О'Коннель решительно этому воспротивился. Таков был новый враждебный шаг против «Молодой Ирландии». Но все это являлось мелочами сравнительно с главной, коренной причиной междоусобной вражды: сравнительно с вопросом об отношении к новому правительству, к либеральному кабинету лорда Росселя.

Митчель, Мигир, Даффи в речах и статьях спешили заявить, что союз с вигами был бы изменой Ирландии; что ирландцы, заключив его, уподобились бы илотам, а не свободным гражданам. О'Коннель, болевший все чаще, отвечал письмом в «Ассоциацию против унии», в котором говорил, что никто и не думает бросать борьбу против унии и что не нужно особенно тревожиться словами некоторых «юных ораторов». Недоразумения и обоюдные колкие выходки продолжались. О'Коннель в новом письме говорил ассоциации о выгодах для Ирландии состоявшейся смены консерваторов либералами. О'Бриен по поводу этого письма в длинной речи заявил, что виги хотя и лучше ториев, но зато «бесконечно опаснее». Они, наверно, сделают попытку испортить дело борьбы за ирландскую самостоятельность, пуская в ход разные обещания реформ, развращая людей подачками вроде казенных мест и т. д. Он, О'Бриен, первый поблагодарит либеральный кабинет, если действительно что-нибудь хорошее будет сделано для Ирландии, но пока он не хочет их благодарить наперед.

8

6 июля 1846 г. О'Коннель произнес программную речь в своей ассоциации. Даффи в своих воспоминаниях пишет, что спустя долгие годы все еще сжимается у него сердце, когда он думает об этом дне. О'Коннель перечислил одиннадцать уступок, которые он желает и надеется получить от либерального министерства, а в следующую же парламентскую сессию — после этих уступок — он примется за вопрос об отмене унии.

Значит, только на небольшой срок нужно отказаться от агитации против унии. Главные из этих одиннадцати требований были: расширение избирательного права, увеличение числа парламентских членов от Ирландии, ограничение права лендлорда изгонять арендаторов, налог в 20% с дохода всех лендлордов-абсентеистов (отсутствующих в стране) и т. п. «Молодая Ирландия» была убеждена, что О'Коннель злоупотребляет легковерием своего народа, говоря о таких абсурдах, как проведение одиннадцати биллей за одну парламентскую сессию, и хлопоча о столь короткой отсрочке. Надеяться теперь на примирение совсем нельзя было: союз с вигами косвенно был провозгла-

шен О'Коннелем и дело отмены унии окончательно проваливалось. Министерство лорда Росселя не дремало: четыре ирландских депутата получили назначения. Это казалось шагом вперед для упрочения ирландских симпатий, в глазах кабинета, и «Молодая Ирландия» решила воспользоваться парламентским обычаем переизбрания депутатов, получающих назначения, и провалить принявших должность. Особенно один округ был в этом отношении важен и представлял много шансов для подобной демонстрации, но ничего не вышло: переизбрание состоялось. «Молодая Ирландия» приписывала свой неуспех стараниям О'Коннеля. На этой почве ядовитые пререкания возникли между Мигиром и О'Коннелем, и старик воскликнул: «Два или три человека из редакции «Нации» приходят сюда создавать раздоры!» В последовавших прениях Джон О'Коннель проводил мысль, что все лица, желающие считать себя членами «Ассоциации против унии», обязаны подчиняться основному ее принципу — борьбы посредством «нравственной силы», а не «силы физической»; если же они не согласны, то пусть сейчас же выйдут из состава членов. Мигир ответил, что он признает метод борьбы «нравственной силой» и будет действовать вместе с ассоциацией на основании этого принципа до тех пор, пока не будет достигнут успех или это средство не будет объявлено недействительным. Но он вовсе не хочет связывать себя обязательством не избирать иной политики, вовсе не хочет считать иную политику безнравственной или недействительной, «ибо великие имена ее санкционировали и благородные результаты засвидетельствовали ее действительность».

Вопрос о «моральной силе» проповедуемой О'Коннелем в противоположность тактике «физической силы», стал на очередь дня. О'Коннель прочел особый доклад о моральной силе, которой, по его словам, он всегда придерживался и которую считает единственно нужной и важной для Ирландии. Во время прений по этому поводу Митчель заявил, что и он, и его друзья («Молодая Ирландия») полагают вполне возможным добиться отмены унии без пролития капли крови. Но, что теоретически, «в качестве абстрактного и универсального принципа», «ни одного национального или политического права ни единому народу никогда, ни при каких обстоятельствах не должно искать вооруженной рукой», с этим он, Митчель, не согласен, хотя и не желает об этом распространяться. Он упомянул еще о деятелях 1798 г. в Ирландии и о Вашингтоне в Америке... «Какая цель у этого человека? — вскричал О' Коннель: он выдает себя за мирного человека, и, однако, он проповедует войну; он будто бы защищает моральные и спокойные пути, и, однако, говорит с прямой тенденцией возбудить страну к анархии и насилию. Было несколько хороших людей замешано в борьбе

1798 г., но средства, которые они усвоили, ослабили Ирландию и дали Англии возможность создать унию». Пример Вашингтона, сопротивлявшегося незаконному нападению, но не начавшего борьбы, по мнению О'Коннеля, также ничего не доказывает. Митчель ответил между прочим, что он не может согласиться с тем принципом, что другие люди, которые ищут политических улучшений при помощи средств, рознящихся от наших, подлежат за это осуждению. Это было ответом на полемические приемы О'Коннеля.

О'Коннель продолжал указанием на Южную Америку, которая освободилась от Испании, но в которой за каких-нибудь несколько десятков лет произошло «триста революций» с тех пор, ибо «своего рода партия молодой Ирландии возникла там», которой «удалось создавать революцию за революцией». О'Коннель закончил требованием, чтобы те, которые стоят за физическую силу, уходили вон из ассоциации. Трагизм положения заключался вот в чем: О'Коннель, видевший в революции гибель родины, хотел разоблачить «Молодую Ирландию» как скопище замаскированных революционеров; «Молодая Ирландия», вовсе еще не думая определенно о революции, всеми силами старалась только разрушить союз с вигами, лишить в этом вопросе О'Коннеля поддержки народных масс и полагала, что старый лидер подчеркивает революционизм своих молодых противников, чтобы этим их скомпрометировать в глазах страны. И пока обе стороны на этой почве препирались, события мчали несчастную голодную страну к фатальному исходу, отметая одних, увлекая других, не подчиняясь ни ораторам, ни журналистам, ни теоретикам, ни практикам, а ломая и подчиняя их себе. Деревенское население умирало от голода; городское с растущим волнением прислушивалось к продолжавшейся яростной полемике о моральной и физической силе. События дня кричали, что речь тут идет вовсе не о теоретическом разногласии.

Смит О'Бриен высказался чрезвычайно сурово по поводу слишком грозного и гневного обращения О'Коннеля с противниками. Относительно себя он заявил, что с отвращением смотрит на применение физической силы, но что «он *не* подписался бы под доктриной, согласно которой нет для нации таких обстоятельств, когда мог бы возникнуть призыв к мечу». О'Брием еще не примкнул к «Молодой Ирландии», и это мнение его получило особенно серьезный смысл. Немного спустя этот выступавший на первый план деятель высказался также и по вопросу о дружбе с либеральным правительством: он находил эту тактику нецелесообразной, даже вредной для Ирландии, которая будет приведена к безгласию и к неподвижности взамен за пустые обещания; принятие же должностей от министерства заткнет рот ирландским депутатам. О'Бриена много-

кратно поддерживали Мигир, Митчель, О'Гормэн и другие члены «Молодой Ирландии»; тяжкая болезнь, точившая организм О'Коннеля, редко позволяла ему показываться. Его мнения поддерживало большинство ассоциации, где все чаще и претенциознее раздавался малоавторитетный голос его сына Джона О'Коннеля. После особенно резких прений однажды О'Бриен, Мигир, Митчель, Даффи и еще несколько их друзей покинули демонстративно зал заседаний ассоциации. Это была могущественная организация, насчитывавшая в своих списках до миллиона членов, и покинуть ее — значило покинуть сильнейшую агитационную машину, какая только существовала в Ирландии. Но выбора им не оставалось.

Разрыв был полный; ушедшие их друзья, их журнал, их мнения все было официально признано состоящим в опале у О'Коннеля. Духовенство громило «Нацию» и запрещало ее читать; агенты «Ассоциации против унии» деятельно агитировали против «бунтовщиков». О'Коннель объявлял их изменниками; агенты ассоциации докладывали отовсюду, что страна очень довольна уходом «Молодой Ирландии». Члены «Молодой Ирландии» иронически замечали, что голод и все вообще, что касалось страны, отошло на задний план и «Ассоциация против унии», обо всем позабыв, как бы решила посвятить все существование борьбе с ненавистными членами редакции журнала «Нация» и их друзьями. «Нацию» выбрасывали вон из читален, чернили и осмеивали ее и ее писателей. Английская пресса (не только либеральная, стоявшая за О'Коннеля, но и торийская, ненавидевшая его) обращали внимание правительства на этот журнал, до того опасный, что от него даже сам О'Коннель отказывается.

Но вот начало́ сказываться противодействие. В Корке, в Лимерике, в Дрогеде, Росберкоке отделения ассоциации отказались изгнать «Нацию» из своих читален. Городская молодежь среднего класса увлекалась новым течением и возмущалась тем, что она называла «о'коннелевским деспотизмом». Пропаганда журнала за те четыре года, что он существовал, сильно сказывалась на молодых кругах общества. Мало того, в некоторых городах члены ассоциации стали собираться на митинги и прямо выражать свое сочувствие «Молодой Ирландии». Началось непрерывное течение протестующих резолюций в бюро ассоциации. Джон О'Коннель их замалчивал, не читал на собраниях. Журнал «Нация» заявил по этому поводу, что подобное поведение безобразно, ибо и покойный лорд Кэстльри прибегал точно к таким же приемам, когда ему нужно было замолчать все протесты против унии 1800 г. Протесты усиливались и уже направлялись в редакцию «Нации». У «Молодой Ирландии», в противоположность ее врагам, не было ни

денег, ни агентов, ни организации; за нее стояло только новое настроение, быстро нараставшее среди городской молодежи, а также в значительной мере и между старшим поколением, и вытеснявшее прежние чувства по отношению к О'Коннелю. «Было великое возмущение против его авторитета, последовательно — во всех частях страны. Класс мыслящих людей единодушно оставлял его. Едва ли оставался на его стороне хоть один мирянин между теми, кто еще не перешел за его старый возраст (т. е. за семьдесят с лишним лет — *Е. Т.)*»,— читаем в записках современника этих событий. Духовенство не все, но по большей части, стояло еще за О'Коннеля: крестьяне — высказались позже... На некоторых собраниях приверженцев отмены унии принимались резолюции: просить О'Коннеля, чтобы он, для блага дела, уладил происшедшие недоразумения; другие ставили вопрос еще резче и выражали негодование по поводу нарушения принципа свободы слова в ассоциации, по поводу дерзких слов и самоуправных выходок сына О'Коннеля. В Дублине дело дошло до столкновения на улице между приверженцами О'Коннеля и сторонниками «Молодой Ирландии», которые собирались устроить в столице публичный «митинг протеста», вроде тех, которые устраивались в Бельфасте, Лимерике и других провинциальных городах. Митинг не состоялся, но был составлен документ, в котором обстоятельно и решительно критиковалось и порицалось поведение ассоциации относительно Смита О'Бриена и «Молодой Ирландии», т. е., точнее, поведение «генерального комитета» ассоциации. Этот дублинский «генеральный комитет» фактически состоял почти исключительно из людей, угодных О'Коннелю и его сыну, и «Молодая Ирландия», завоевавшая себе серьезную поддержку и широкие симпатии среди миллиона членов «Ассоциации против унии», имевшая среди этой массы людей своих друзей и сторонников, была совершенно бессильна «в генеральном комитете». Против него-то и протестовали в своем документе многие дублинские члены ассоциации, не согласные с деспотической политикой этого комитета. Бумага была покрыта массой подписей. В Корке, Клонмэле — отовсюду поднимались протестующие заявления: имя О'Коннеля выгораживалось, но беспощадные нападки сыпались на комитет ассоциации. Джон О'Коннель, пользуясь дряхлостью и болезненным состоянием отца, побуждал его к бестактнейшим заявлениям, а сам отказался даже принять дублинский протест, снабженный подписями и адресами протестующих лиц, которые все имели официальное касательство к ассоциации.

Даже из комитета постепенно стали уходить самые выдающиеся и независимые члены его. Общественное мнение высказывалось все резче и громче; ужасы голодного года распаляли

страсти; не только обращение Джона О'Коннеля с «Молодой Ирландией», но и основные принципы тактики его отца все чаще и чаще подвергались нападкам. Раздавались крики отчаяния и озлобления от голода, требовали, чтобы ассоциация со своим комитетом во главе, если ее вожди так беспощадны к малейшему противоречию, чтобы она указала ясно, как думает помочь голодающему народу. Намерена ли она воздействовать на Англию, которая одна только обладает достаточной мощью для борьбы против бедствия. Джон О'Коннель издал воззвание к народу, в котором говорил: «Во имя бога, будьте терпеливы, потерпите только некоторое время и вы скоро получите облегчение!» В другом воззвании он заявлял: «Я верю, что правительство не допустит народ до страданий, которые были бы выше человеческих сил... но если бы даже правительство не исполнило своего долга, я питаю такое доверие к ирландскому народу, к возвышенности его характера и примерной твердости, что, по моему мнению, он все-таки будет верен принципам мира и нравственности, которые его всегда характеризовали». Если народ оправдывает эту уверенность, говорилось дальше, то он, наверно, в конце концов получит национальную самостоятельность. Все это действовало не успокаивающим, а скорее распаляющим образом. Наконец, Джон О'Коннель со времени своей ожесточенной войны против «Молодой Ирландии» утратил даже тот небольшой престиж, которым он пользовался не за свои заслуги, а по «праву рождения». Что касается до «Молодой Ирландии», то она указывала как на средство борьбы против голода на запрещение вывоза хлеба из Ирландии: картофель погиб, но хлеб во многих местах уродился и лендлорды вывозили его в Англию, так как Ирландия была слишком бедным рынком для хлеба. Молодая партия и предлагала воспрещением вывоза удешевить хлеб; она предлагала именно в этом смысле оказать давление на парламент и указывала на то, что ежегодно ирландского хлеба продается в Англии на сумму от 4 до 5 миллионов фунтов стерлингов и что не беда, если в этом году лендлорды заработают меньше. Конечно, этот совет не мог быть приведен в исполнение, он имел только разве агитационное значение, напоминая о том, как был бы кстати при подобных условиях собственный парламент с правом постановлять то, что будет признано необходимым для большинства ирландской нации. О'Коннель утверждал, что сотрудники «Нации» напоминают «нечестивых философов», писавших перед французской революцией, которые нападали на всех и на все, оскорбляли все священное. В конце 1846 г. огромный митинг в защиту «Молодой Ирландии», состоявший из рабочих, ремесленников и части средней буржуазии, собрался в Дублине. На митинге были резкие протесты против того, что

пускались в ход все средства для уничтожения журнала «Нация», против того, например, что производилось сильнейшее давление на тех, кто осмеливался покупать и читать опальный орган. В ответ на эту демонстрацию епископ Броун в зале ассоциации 16 ноября произнес речь, в которой горячо предостерегал ирландцев от грозящей им со стороны «Молодой Ирландии» опасности: «Вы читали историю, джентльмены, и я надеюсь, что вы читали ее с пользой. Вы знаете, каковы были последствия во всех странах, где совершались революции или реформации, или реформы, или как вам угодно иначе их называть? Каковы были последствия? Нечестие, безнравственность и отсутствие повиновения престолу. Понадобилось бы целое столетие, чтобы после таких происшествий вернуть народ к какому-либо религиозному чувству или чувству повиновения. Как началась французская революция? Какие средства были усвоены, чтобы пустить ее в ход?.. Нужно ли нам слушать «Молодую Ирландию»? Можем ли мы хотя на одно мгновение допустить в своей среде эти принципы, которые ведут к якобинству и иному чудовищному злу?» Далее епископ говорил, что «молодые ирландцы» сеют неверие, безбожие и мечтают разъединить мирян и духовных лиц. Но вотще! Страна за ними не идет.

Сначала редакция «Нации» думала возражать на речь епископа Броуна, но потом оставила мысль о полемике. Не нужно забывать, как могущественна была всегда в Ирландии католическая церковь, чтобы понять смысл совета, данного редактору «Нации» одним старым его приятелем: «Никогда, дорогой мой, не бейтесь головой о стену, особенно о церковную стену!» В 1846 г., даже в конце его, «Молодая Ирландия» еще только шла в гору, но не достигла вершины. Высшая иерархия была на стороне О'Коннеля; из приходского духовенства несколько молодых священников в Дублине и других местах изъявляли неудовольствие по поводу нетерпимости генерального комитета ассоциации и симпатию по адресу «Молодой Ирландии», так что и в среде церковной речь епископа Броуна принята была не единодушно. Все нараставшее течение вздымалось выше и выше. После одного колоссального собрания, созванного приверженцами «Молодой Ирландии», старик О'Коннель, когда узнал обо всем, что там было, казался подавленным, не мог есть от волнения. Его пробовали утешить тем, что толпа пришла туда просто из любопытства, послушать молодых людей. «Вы ошибаетесь, друг мой,— сказал О'Коннель,— это был большой митинг, они — большая партия». Были люди, которые убеждали старого вождя помириться с «Молодой Ирландией». Сэр Кольмен однажды просил его об этом [49]. «Нет, отец! — вскричал присутствовавший при разговоре сын О'Коннеля, Джон.— Мы не

можем соединиться с этими людьми; скверные, неблагодарные интриганы они, мы их раздавим!» Больной, изможденный старик посмотрел на сына, потом на сэра Кольмана и сказал: «Вы видите, сэр Кольмен, я бессилен; вот мой лучший, любимый сын; вы слышите, что он сказал... Ничего нельзя теперь сделать...» Слабые попытки к примирению были сделаны, но ни к чему, разумеется, не привели.

Голод свирепствовал; зимняя стужа каждую ночь убивала людей, лишенных крова и топлива. Подавленный страшным зрелищем, мучимый болезнью, терзаемый ежедневным, несомненным для его ослабевшего, но все еще огромного ума падением былой силы и славы, О'Коннель приехал в Лондон в начале 1847 г., чтобы ехать оттуда дальше, на юг Европы, куда его посылали врачи.

8 февраля он в последний раз был в парламенте, где как раз шла речь о мерах к борьбе с ирландским голодом. Слабый, измученный старик, еле держась на ногах, просил всемогущее собрание подумать об Ирландии; его голос почти пропал, он говорил чуть слышно. Он сказал, что прямо испуган, видя, что палата недостаточно осведомлена об ужасающем положении Ирландии, о том, что десять тысяч детей умерли — пока — от голода и пять тысяч взрослых и что если не подать помощи, то умрет голодной смертью четверть всего населения страны. Он убеждал, что мало подписок, мало частных пожертвований, нужны мероприятия широчайших размеров, нужна государственная помощь в самом серьезном смысле слова. Своим невнятным, прерывающимся шопотом он просил представителей Великобритании сжалиться над Ирландией. «Она в ваших руках, в вашей власти. Если вы ее не спасете, она не сможет себя спасти». Он просил, чтобы помнили его искреннейшее предсказание: если парламент не поможет, то четверть ирландского народа умрет.

О'Коннелю нельзя было дольше задерживаться в Лондоне. В сопровождении сына, духовника своего Мапли и одного слуги он уехал во Францию, чтобы оттуда отправиться в Италию. В Париже католическая партия захотела выразить свое почтение человеку, имя которого навсегда осталось связанным с эмансипацией католиков.

«Нас было пятнадцать или двадцать человек, не более, все неизвестных, кроме Монталамбера, который нас вел... О'Коннель, уже умирающий, вышел подышать немного на воздух. Мы ожидали его возвращения под аркадами улицы Риволи, у дверей скромного отеля, в котором он остановился. День кончался, печальный и дождливый зимний день... Мы заметили его в карете, и мы сняли шляпы... Мы поднялись опечаленные. Несмотря на усталость, О'Коннель хотел нас принять. Мы

увидели его сидящим в кресле, укутанного одеялами, бледного и истощенного. Монталамбер обратился к нему с речью. Он отвечал несколькими словами, которые мы едва могли расслышать: «Не слабейте... Что касается меня, то я умираю... Приехать в Рим... Действуйте, мужество!..» Глубокая апатия ко всему окружающему все более овладевала О'Коннелем по мере того, как его везли дальше на юг. Путешествие было трудное, с долгими остановками, необыкновенно продолжительное. В Генуе болезнь обострилась, и 15 мая 1847 г. его не стало.

Эта жизнь оборвалась, когда Ирландия стояла перед одним из ужасных катаклизмов своей истории. Человек, труп которого лежал в номере генуэзской гостиницы, занимал огромное место в ирландской национальной жизни, и известие, что его уже нет на свете, должно было немедленно отозваться во всей стране. Многое сложное вдруг упростилось, многое далекое — страшно придвинулось. Новые люди стали на опустевшем месте.

Глава III [50]

1

Картофельные запасы никогда не устраивались, а кроме того, и в 1845 г. был частичный недород. Поэтому страшный неурожай 1846 г. окончательно довершил несчастие ирландского народа. Голодовки 1822, 1831, 1835 гг., при ужасающих своих размерах, все-таки не шли в сравнение с бедствием 1846—1847 гг. В Корке па городских улицах пройти было трудно от больных и слабых людей, которые лежали на мостовой, прося милостыни. Они тащились из деревень в города, надеясь, что в городах им скорее помогут; но если они не умирали по дороге, то умирали, дотащившись до цели своего пути. Гробов не всюду и не на всех хватало, и не было на них денег, так что путешествовавший в это время по Ирландии Тренч говорит о голых трупах, валявшихся на повозках и препровождавшихся в таком виде на кладбище. Семьи, в которых за несколько недель из десяти человек оставался в живых один, были нередки уже в конце 1846 г.; в 1847 г. (особенно зимой) смертность усилилась. Часто, когда благотворители входили в помещение фермерской семьи, соседи говорили им, что семья уже умерла вся и похоронена там-то, во дворе или за огородом. Тренч, между прочим, рассказывает, что, войдя раз в темную и крошечную фермерскую избушку, он увидел сложенных вместе четыре детских тела, похожих на скелеты, а мать, которая находилась тут же, умоляла вошедших принести ей напиться воды. Рядом, в другой избе, мать лежала в лихорадке, двое детей умирали около нее от голода, но наш путешественник не мог даже различить их как следует, ибо в помещении царил глубокий мрак. Такие картины целыми тысячами поражали самых нечувствительных людей. Англичане, посещавшие Ирландию, сами выражали удивление, почему в

наиболее страждущих местностях замечается меньше аграрных преступлений, нежели в других местах. Вот какой ответ на этот вопрос находим у уже цитированного нами очевидца ужасов голодного времени: «Это проистекает отчасти от удивительного терпения народа, отчасти же вследствие того обстоятельства, что они — и это относится ко многим — *физически опустились ниже способности к преступлению*». Когда члены разных благотворительных групп и комитетов, прибывая на места, делали перекличку тем, кому собирались помочь, то получали бесчисленные ответы: «умер», «пропал без вести», «ушел к реке и не вернулся», «найден его труп, обглоданный крысами» и т. д. и т. д. В безумии люди запирались с детьми и закладывали выход камнями, чтоб дети не убежали и умерли с ними вместе. Успев как-то отодвинуть один из таких камней, маленький мальчик в местности Крэуоге (в одном из подобных случаев) «дополз до дома соседей и рассказал им, что его отец, кажется, не обращает на детей внимания и уже два дня спит». Когда проникли в помещение, нашли мертвого отца с уже умершим другим ребенком. Рассказавший об этом факте очевидец прибавляет, что случившееся имело место перед Рождеством, в конце 1846 г., и вызвало ужас в окрестном населении. «А теперь (в 1847 г.— *Е. Т.*) мы видим подобные случаи по пятнадцати ежедневно, и никто уже об этом не думает». Уэстпорт, Голуэй, Клэддэг поражали почти голыми детьми и женщинами, валявшимися на дорогах и в придорожных канавах. Молодой Вильям Форстер, с которым мы еще встретимся как с одним из суровейших усмирителей Ирландии спустя тридцать пять лет, путешествовал в 1847 г. по этой стране, где впоследствии он многих преследовал и где его самого чуть не убили. Но тогда, в 1847 г., он еще никому не был известен, никакой роли не играл, и, быть может, поэтому (а может быть, и юношеская непосредственность действовала) в его глазах очень многое оказывалось весьма неблагополучно. «Когда мы отправились дальше, то удивлялись мы уже не тому, что народ умирал, но тому, что он еще живет; и у меня нет никакого сомнения, что во всякой иной стране смертность была бы гораздо больше, что жизнь многих была продолжена, а может быть, и спасена долгой наукой нужды, которой учился ирландский крестьянин, а также тем любвеобильным, трогательным милосердием, которое побуждает его делить свою скудную пищу с умирающим от голода соседом». Все, чем природа одарила Ирландию, пропадало в этот «проклятый год»; многие местности живут уловом рыбы, особенно сельдей. Сельдь могла кишеть в этом году вокруг голодающей Ирландии, но это ничему помочь не могло, ибо рыболовные снасти и сети были заложены еще с зимы, а деньги давно ушли на пищу, и выкупить не представлялось ни-

каких шансов. «Нам остается только лечь на пол и умереть»,— сказала Форстеру одна женщина, характеризуя этими словами положение своих 240 односельчан, и эта фраза, по отзыву Форстера, была в совершенном согласии с истиной. Неописуемые ужасы вопили к каждому человеку, который только соглашался хотя бы бегло поглядеть на Ирландию в это время. Впоследствии в официальных отчетах министерству сановник Форстер обстоятельно выяснил, почему именно для Ирландии нужны строжайшие меры и неослабный надзор; но в 1847 г. юноша Форстер, очевидно, еще не созрел для позднейших государственных соображений и вот что писал в своих заметках: «Я не хотел бы теперь обсуждать причины подобного положения вещей или пытаться порицать виновников. Но относительно одного факта не может быть вопроса: результат нашего социального строя таков, что огромному числу наших соотечественников и ближних, из крестьянства одной из богатейших наций, какие только когда-либо знал мир (т. е. английского государства — *Е. Т.*), не позволено жить. Конечно, такой общественный результат, как этот, составляет не только национальное несчастье, но и национальный грех, который громко взывает к каждому христианскому гражданину, чтобы тот сделал все от него зависящее для устранения зла. Никто из нас не имеет права пользоваться ни своим богатством, ни покоем, пока по мере своих способностей не постарался очиститься от всякого соучастия в этой страшной несправедливости, которая ляжет черным пятном на истории нашей страны и сделает ее притчей между нациями».

Только что было указано, что в некоторых местностях люди уже физически являлись неспособными ни к какому напряжению, ни к какой попытке хотя бы незаконными путями добыть себе что-нибудь. В других местах преступления свирепствовали в самых широких размерах. В 1846 г. человекоубийств было совершено 170; в 1847 г.—212. Покушений на убийство в 1846 г.— 159; в 1847 г.— 264. Разбоев на большой дороге в 1846 г.— 258; в 1847 г.— 343. Похищений и ограблений оружия (особый, являвшийся очень распространенным, вид преступлений) в 1846 г.— 611 случаев; в 1847 г.— 1053. Случаев стрельбы по жилым помещениям в 1846 г. было 167; в 1847 г.— 257. Появлений шаек в вооруженном виде в 1846 г.— 138; в 1847 г.—206. В общем в 1846 г. было 1503 преступления, а в 1847 г.— 2335. Сюда не входит число краж скота: таких краж в 1846 г. было около 3 тысяч, а в 1847 г.— 10 тысяч с небольшим (10 044). Отчаянное положение вещей с 1847 г. еще усилилось от болезней эпидемического характера: на дорогах, на деревенских улицах, по берегам рек — всюду лежали и разлагались под палящим летним зноем неубранные трупы людей,

обыкновенно голые, ибо прикрывавшие их лохмотья вовсе не были такой ничтожной ценностью, которой могли бы пренебречь прохожие. Паника охватывала страну. В парламенте было заявлено, что нет слов описать все ужасы, творящиеся в Ирландии; что там «воздух — зачумлен», «поля обращены в пустыню», «священник и нищий умирают вместе от голода», вся Ирландия «похожа на страну, опустошенную неприятелем». Лендлорды, не получая арендной платы, конечно, выгоняли вон своих голодающих арендаторов, и те умирали целыми семьями, кое-где в пропорции $^2/_3 : 1$, а кое-где и в еще большей пропорции. В четыре года (1849—1852 гг.), следовавшие за голодом, с занимаемых участков было изгнано более 58 тысяч семейств, состоявших в общем из 306 тысяч человек, хотя после 1847 г. урожаи картофеля были недурны: так сильно продолжало отзываться пережитое бедствие. Даже очень хладнокровные наблюдатели начинали думать, что ирландский народ, прямо вымрет без остатка в несколько лет, как ни мало вероятно такое событие.

Самый страшный период голодовки закончился зимой 1847 г.; к лету 1848 г. положение стало уже улучшаться до известной степени. И «Молодая Ирландия» поспешила уверить себя, что настало наконец время, когда народу надлежит воспользоваться этой насилу пришедшей передышкой и собственными руками защитить себя от возможности повторения подобных несчастий.

Впрочем, в 1848 г. легко было и себя, и других уверить в чем угодно; кто и о чем только не мечтал в этом году? И если возможно делить несбывшиеся надежды, разбитые мечты на «извинительные» и «неизвинительные», то к какой категории относится мечта спасти свою нацию от окончательного исчезновения?

2

«Молодая Ирландия» осталась после смерти О'Коннеля главной активной политической партией страны. Она образовала «конфедерацию», делами которой руководили О'Бриен, Мигир, Митчель, Даффи и другие близкие к журналу «Нация» люди. Это новое общество задалось целью взять на себя дело, неудачно и, по их мнению, трусливо веденное о'коннелевской «Ассоциацией против унии». Они ставили себе ту же цель — агитацию против унии, насчет же средств достижения этой цели выражались несколько неясно, требуя решительности, неуступчивости и прочего, но, в то же время, избегая рекомендовать определенные меры. Так шло дело, пока новый человек не внес своеобразное влияние в движение «Молодой Ирландии».

Это был сын зажиточного фермера из Куинскоунти — Джемс Лэлор. Лэлор вошел в сношения с «Молодой Ирландией» в начале 1847 г. и сразу обратил на себя внимание своею необыкновенной прямолинейностью и горячностью. Суть его взглядов заключалась в следующем. О'коннелевский способ действия был нравственно недостоен и политически нецелесообразен. Образ действий «Молодой Ирландии» — нравственно чище, ибо она не заискивает у англичан, не вступает в союз с находящимся у власти либеральным правительством, проповедует самоотвержение и прочее, но этот образ действий также нецелесообразен, ибо самая цель, поставленная себе «Молодой Ирландией», при данных условиях недостижима. Нужно стремиться прежде всего не к политической самостоятельности ирландского острова от англо-шотландского острова, а к тому, чтобы земля ирландского острова вернулась в качестве собственности к своим прежним владельцам, т. е. к ирландскому народу от нынешних владельцев, захвативших землю путем исторических конфискаций и узурпаций. Другими словами, Лэлор требовал отнятия права собственности на земли у лендлордов и передачи этого права фермерам в том или ином порядке. Это не было требованием национализации земли в точном смысле слова, и вообще Лэлор не развил никогда подробно положительной части своей программы; непосредственно он стремился к одному: к лишению лендлордов права собственности на земли.

Некоторые члены «Молодой Ирландии» считали Лэлора маньяком, который не понимает, что, возбудив на экономической почве жесточайшую борьбу классов в Ирландии, нужно абсолютно отказаться от всякой мечты о национальной независимости. Другие смотрели иначе и склонны были думать, что идея Лэлора даст движению жизненную силу, привлекая к «Молодой Ирландии» (если она эту идею усвоит) все крестьянство страны, т. е. чуть ли не девять десятых всей нации.

Касательно средств Лэлор заявлял, что исключительная почва законности выгодна англичанам, а не ирландцам, ибо законы делает парламент, большинство которого всегда английское, и не может не быть английским. Он просил поэтому «Молодую Ирландию» не делать никаких торжественных отречений от незаконных средств, ибо кто знает, что может случиться? Вместе с тем Лэлор, типичный утопист, предполагал, что лендлорды как-то могут и добром согласиться на реформу социального строя. Он с жаром указывал на то, что вот лендлорды уже сорганизовались более или менее в ирландский совет (это учреждение числилось существующим после собрания в январе 1847 г., состоявшего из 650 приблизительно земельных собст-

венников и состоятельных людей и собравшегося в Дублине с целью разработать меры помощи стране в ее ужасном положении). Так вот, предлагал Лэлор, хорошо бы сорганизоваться и другим классам общества, фермерам, городским торговцам и ремесленникам, и соединение представителей этих организаций воедино даст нечто вроде общенационального учреждения, которое и сможет приступить к нужным реформам. Он напечатал также открытые письма лендлордам в журнале «Нация», в которых советовал им всецело слиться в своих чувствах и интересах с остальной страной. Как было это понимать, если Лэлор полагал, что земля принадлежит именно «остальной стране», а не лендлордам? И почти в то же время он заявлял, что, желая преуспеть в своей первоначальной цели, в расторжении унии, «Молодая Ирландия» должна запастись военными кадрами, т. е. крестьянством всей страны — как мелкими фермерами, так и земледельческими работниками (батраками). А эти слои народа ни за что не пойдут на борьбу за одно только расторжение унии: голод лишний раз напоминает им о нуждах более гнетущих, о требованиях социально-экономических, а *не* политических, *не* государственно-правовых. Так что «достигнуть национальной независимости можно только одним путем,— связать этот вопрос с иным вопросом, достаточно сильным, чтобы прийти в движение самому и двинуть также расторжение унии подобно тому, как железнодорожный вагон соединяют с паровозом». Этим «иным достаточно сильным» вопросом в глазах Лэлора и являлся вопрос о землевладении.

Бескровные же средства, по мнению Лэлора, были для крестьян на самом деле очень кровавы, ибо всякое замедление в действиях приносило ежедневно массу голодных смертей; поэтому он требовал от «Молодой Ирландии» более определенной практической программы действий. Он говорил, что необходимо дать лозунг народу,— решительный отказ от арендной платы лендлордам. Он убеждал «Молодую Ирландию» (т. е. Даффи, Митчеля, Мигира, Рилли и др.) взять на себя пропаганду этой тактики, ввести ее в агитационную программу «конфедеративного совета», организации, находившейся под прямым влиянием и управлением партии «Молодой Ирландии». Лэлор себя самого причислял именно к тому поколению (теперь, в 1847 г., выступавшему на арену борьбы), которое воспитало свой ум и свои чувства на проповеди журнала «Нация», которое свято верило в «Молодую Ирландию» и верит в нее. «Люди дали вам свою веру и сердца, и надежды за ваши смелые слова и ваше смелое поведение. И я сам теперь надеюсь на вас и на вашу помощь вместо того, чтобы искать кругом иной помощи и иного пути. Готовы ли вы оправдать ваши собственные речи, которые вы держали в солнечные, летние дни? И оправдать нашу веру,

когда мы последовали вашему руководству?» Так писал Лэлор редактору «Нации».

«Молодая Ирландия» перед этим призывом Лэлора очутилась в серьезном затруднении. Начиная свою деятельность, она сеяла семена, которые дали неожиданно быстрые всходы. Она боролась против того, что ей казалось принижающим, сервилистическим, слишком робким в пропаганде О'Коннеля; она стремилась, во-первых, удержать в безусловной полноте и неприкосновенности идею политической самостоятельности Ирландии и воспитать в обществе чувство собственного достоинства, выдержку, готовность на жертвы. И вот вдруг обстоятельства слагаются таким образом, что О'Коннель умирает, никакой мало-мальски политически-активной группы его последователей после него не остается, полемика, которая столь удачно и с такими благородными последствиями против него велась, становится совершенно ненужной (по старому французскому афоризму — la bataille cesse—faute des combattants), наступают голодные времена, убийства и пожары, и к «Молодой Ирландии» приходят люди, готовые не то что на расторжение унии, а на перемену всего социального строя, говорящие не то что о выдержке, собственном достоинстве и прочем, а о самых крутых переворотах, заявляют «Молодой Ирландии»: «Ты говорила, что куда-то ведешь нас, советовала готовиться,— вот мы готовы; а сама ты готова ли?» Все это сделалось быстро, круто и внезапно. А что Лэлор не один — доказывали ежедневные факты. Надо было решать.

Мнение Даффи было таково. Теория Лэлора — одна фантазия. Крестьяне вовсе не способны на широкую и организованную борьбу. «Голод, страдания, рабское учение о вечном подчинении» — все это сделало их негодными к столь огромному усилию. Они почти совсем не знают, как обращаться с оружием, они деморализованы теперь надеждами на благотворительность, на общественные работы, верят они больше всего духовенству, которое не посоветует им бороться ни за что, наконец, «крестьянское восстание никогда еще не удавалось». Между тем согласиться с Лэлором значило для «Молодой Ирландии» безнадежно порвать с тем классом (буржуазией городов и средними землевладельцами), который пока больше всего помогал этой партии и со времени смерти О'Коннеля все больше переходит на ее сторону. Вследствие всего этого Даффи не хотел, чтобы их «конфедерация», их общество взяло на себя пропаганду идей Лэлора о верховном праве собственности ирландского народа на землю, об отказе от уплаты аренды и пр. Смит О'Бриен и большинство влиятельных членов партии разделяли мнение Даффи. Но Митчель, соглашаясь с неудобством для «конфедерации» брать на себя это дело, вместе с тем заявлял, что принципиально вполне

разделяет учение Лэлора. Даффи и О'Бриен увидели, тем не менее, что в такое время, как они переживали, бороться против человека, имеющего ясный (хотя бы и несостоятельный) план, можно гораздо успешнее не критикой этого плана, а предъявлением своего собственного, столь же ясного. И вот Даффи выработал программу действий: 1) парламентские депутаты ирландцы должны и имеют возможность «остановить все парламентские дела», пока не будет сделана уступка их требованиям; изгнать же их не посмеют, если вся ирландская нация активно примет участие в их судьбе; 2) самая нация должна быть организована для такой борьбы, должна обладать собственной выборной организацией, объединяющей и представляющей весь народ; 3) нужно деятельно знакомить Европу и Америку с ирландскими делами и искать их симпатии и возможной помощи. Но этот план интереса не возбудил и впечатления не произвел; он казался неясным в самом главном пункте: испугается ли — и если да, то почему — Англия даже «всей ирландской нации», которая вздумала бы поддерживать своих депутатов? При неясности этого основного пункта, новый (и впоследствии сыгравший — при Парнеле — такую большую роль) принцип парламентской обструкции прошел совсем незамеченным. Лэлор продолжал пропагандировать свою мысль; Митчель помогал ему, остальная «Молодая Ирландия» продолжала противиться переносу центра тяжести и всех упований со «среднего образованного класса» на крестьянство. «Очень трудно знать ирландское крестьянство», полагали они, и так как крестьянство действительно являлось для интеллигентного класса вполне terra incognita, так как историческая репутация всех вообще чисто крестьянских бунтов, где бы то ни было происходивших, стояла — в смысле успешности — весьма не высоко в их глазах, то они продолжали противиться новому течению. Они даже боялись крестьян. «Крестьяне забросали бы нас камнями в Корке, избили бы в Бельфасте, подожгли бы для потехи конфедеративный митинг в Килькенни. Мы приобрели интеллигентных ремесленников, которые читают и думают, приобрели молодых людей в городах вообще, но, конечно, не крестьян»,— так писал Даффи. Митчель вышел из журнала «Нация» и все теснее примыкал к Лэлору. Когда начался 1848 г., в Ирландии уже было налицо течение, более радикальное, нежели партия Даффи и О'Бриена,— течение Лэлора и Митчеля. «Всякая реформация порождает своих людей пятого царства, каждая революция своих якобинцев и коммунаров. Анабаптисты смотрели на Лютера, как на кардинала в черном одеянии; энциклопедисты смотрели на Вольтера, который еще признавал Творца, как на ханжу; жизнь Кромвеля подвергалась смертельной опасности со стороны фанатических левеллеров его партии; и якобинцы

послали Верньо на эшафот. Конфедерация не могла избегнуть общего закона»,— так характеризовал историческими примерами один из важнейших инициаторов «конфедерации» положение этого общества и всей «Молодой Ирландии» к началу 1848 г. Прямая борьба между двумя течениями сосредоточилась сначала больше всего на оспаривании О'Бриеном и Даффи мнения Митчеля, который предлагал прекратить уплату налога в пользу бедных, чтобы этим протестовать против английского правительства. Ему доказывали, что такая тактика больше всего повредит именно бедным, которые и так умирают от голода. Но это были все частности. Главное было в вопросе: мыслимо ли восстание, которого так лихорадочно добивались Лэлор и Митчель? О'Бриен, Мигир, Даффи указывали на следующее. Средний класс, аристократия, духовенство — против восстания; крестьяне не подготовлены, не вооружены, не организованы, пищи нет, дисциплины нет, военных запасов нет и не будет, денег нет. Солдат стоит в Ирландии пятьдесят тысяч человек, средств у Англии сколько угодно, она в полном мире с Европой, ничем не отвлечена мало-мальски серьезно (на чартистов Ирландия уже мало надеялась). Лэлор и Митчель могли рассчитывать на то, что возможно собрать и планомерным образом употребить энергию, сказывающуюся в бесчисленных аграрных преступлениях, если дать крестьянству такой лозунг, как утверждение ирландского народа в правах верховной собственности над землей и отказ в уплате податей. Но их оппоненты совсем не были убеждены в возможности такого «объединения энергии», и вместе с тем видели, серьезно тревожась, что дело может окончиться взрывом, совсем необдуманным, неподготовленным и наперед осужденным на неудачу. Вымирание к началу 1848 г. пошло ускоренным темпом. Еженедельные отчеты об умерших, по словам современника, напоминали бюллетени какой-нибудь жестокой войны. В деревне Балларэрде из 55 человек не осталось ни одного, в другой деревне из 143 за несколько месяцев осталось 50, в третьей из 200 умерло 54, в четвертой (Дэлисе) из 90 — умерло 60, в пятой из 260 умерло 80... Такие цифры непрерывно появлялись в газетах, оставляя впечатление, что вымрет не четверть населения, а вся нация, если будет так продолжаться. Разорение самое полное постигло торговый класс, ремесленников, духовенство (католическое): в чисто земледельческой стране такое бедствие, как неурожай, и не могло локализоваться в пределах одного только крестьянского класса. Эмиграция принимала огромные размеры. В несколько первых месяцев уже около ста тысяч человек эмигрировало в Соединенные Штаты и Канаду, часто без единого пенни за душой, из них, по официальным данным английской администрации, 6100 человек погибло во время пути, на пароходах, 4100 тотчас по прибытии,

5200 — в больницах и 1900 — в городах, где они поселились. А по неофициальным, но вполне достоверным сообщениям «эмигрантского общества в Монреале» из этих 100 000 погибло более 20 000 человек. Нечто безвыходно-страшное надвигалось на страну. Помимо голода, болезни свирепели все более, врачей не было, лекарств не было, больниц не было в нужном количестве; священники и причт ухаживали за больными, заражались и умирали десятками, и ни их, ни пациентов, умиравших вместе с ними, некому было хоронить. Правительство затеяло было общественные работы с целью помочь беде. Конечно, все бросились на эти работы, чуть ли как не на единственно верный кусок хлеба. В октябре 1846 г. таких работников было 114 000 человек, в ноябре — 285 000, в декабре — 440 000, в январе 1847 г. — 570 000, в феврале — 708 000, в марте — 734 000 человек. Расходы правительства были колоссальны, работ, подходящих для этой рабочей армии, не находилось, и администрация вдруг решила отказаться от этой мысли, т. е., поманив надеждой на избавление от голодной смерти, предоставить голодающих их участи. 20 марта 1847 г. было уволено 20% рабочих, и увольнения продолжались необыкновенно круто. Еще в марте (1847 г.), как сказано, общественными работами питалось 734 000 человек; в первую неделю апреля их было уже 525 000, в первую неделю мая — 419 000, в первую неделю июня — 101 000, а в конце июня — 28 000 человек; к концу года вся затея была ликвидирована. Была организована раздача пищи в столовых, организованных правительством, и, например, в течение только июля 1847 г. эти столовые выдавали более трех миллионов порций взрослым (3 020 712) и 755 тысяч порций малолетним. Это было действительно «величайшей попыткой», когда-либо сделанной, бороться с голодом,— как выразился сэр Бэргойн, и стоило это немного (сравнительно со средствами казначейства и с достигнутыми результатами); ни казенные, ни пожертвованные частными лицами деньги не были по пути украдены чиновниками, но пошли на то дело, для которого предназначались. И все-таки этого было мало, и благотворительность оказывалась бессильной в борьбе с бедствием. Смертность, все возрастая, являлась самым грозным из всех бедствий этого времени. Призрак смерти всей нации витал над образованными классами, ежедневная угроза личной гибели давила крестьян. Уволенные сотни тысяч рабочих с общественных работ страшились эмигрантских пароходов, казавшихся (и бывших для многих) пловучими гробами; работы не находили; милостыни не у кого было просить. Число преступлений возрастало, число казней и ссылок в Австралию повышалось параллельно. Голодное лето сменилось голодной зимой. Пришел новый год, наступил февраль.

3

Гроза разразилась неожиданно. В Ирландию пришло известие, потрясшее всю Европу: бежал Луи-Филипп, была провозглашена республика во Франции, Ледрю-Роллен и социалист Луи-Блан стали членами правительства. Вспыхнули революции в германских государствах, от Пруссии до Бадена, от Австрии до Вюртемберга, в Италии, в Венгрии. Все закружилось в таком вихре, что уже трудно было разобраться, где граница, отделяющая возможное от невозможного. В Германии этот год назвали «das tolle Jahr»; во всемирной истории чрезвычайно мало можно насчитать подобных бурь. Наступило такое полное господство внезапного, такое всеобщее и болезненно-сильное нетерпение, такое убеждение в необходимости и возможности «теперь или никогда» воспользоваться крушением всего политического порядка в Европе, что и не похожие на Ирландию страны загорались общим пожаром. «Молодая Ирландия» забыла весьма быстро все свои возражения против Лэлора и Митчеля. Все наши читатели помнят, верно, то место в сочинении Щедрина «За рубежом», где он говорит о впечатлении, произведенном на него и его сверстников известием о февральской революции, и где он вспоминает, что из Франции «воссияла» его поколению уверенность, «что золотой век не позади, а впереди». То же выражение читаем мы и у одного из вождей «Молодой Ирландии»[51]: «Молодым глазам новая республика представлялась подобно лучшей утопии, подобно *золотому веку* человеческой свободы и прогресса». Они решили, что, борясь против Лэлора и Митчеля, они, тем не менее, всегда готовы были рискнуть своей жизнью, если бы представился случай, «а тут, конечно, был чудесный случай», по их точному выражению. «Когда стоны голодающего народа стояли в ушах, известие о могущественном угнетателе, разбитом и изгнанном из его владений гневом массы, звучало как послание с неба». В «конфедерации» послышались чисто революционные речи, в журнале «Нация» стали печататься боевые призывы. «Удобный для Ирландии случай пришел, благодарение богу и Франции... если нужно, мы должны умереть скорее, нежели пропустить этот провиденциальный час, не дав ему освободить нас». Шансы удачи восстания были совершенно ничтожны, не было организации и подготовки, как они были пятьдесят лет тому назад, в эпоху Тона и Фицджеральда, не было оружия, был измученный голодом, быстро вымирающий народ, и не существовало, опять-таки в противоположность тому, как за пятьдесят лет, военного союза с Францией. Ламартин прямо заявил от имени республиканского правительства о мирной политике Франции, и ничего подобного былой вооруженной помощи со стороны фран-

цузской республики Ирландия ожидать не могла. И все-таки прежние возражения не были слышны, чувство всецело управляло теперь действиями партии; главный аргумент — бесполезное пролитие крови — стушевывался в их глазах еженедельными таблицами смертности,похожими, как было сказано, на бюллетени жестоких битв. «Хуже не будет!» — эта мысль царила весной 1848 г. в Ирландии. Ирландский парламент и своя исполнительная власть, свой флаг, своя национальная гвардия, общественная безопасность и покровительство, контроль всех должностей, народный суверенитет над ирландской землей — вот какие требования выставляла теперь «Молодая Ирландия». Последний пункт — провозглашение верховного права собственности ирландского народа над землей — был взят из программы Лэлора; тактика же теперь заключалась в требовании непосредственной борьбы против английского владычества. И в это же время всколыхнулось притихшее движение чартистов в самой Англии; в глазах уже было не надеявшихся на чартизм ирландцев это вдруг приняло размеры нового огромного, небывало счастливого шанса в борьбе против общего врага. Дублинское городское управление, «комитет граждан», наскоро образованный из членов «конфедерации» и других радикальных элементов, митинги, вдруг как из-под земли выраставшие во всех ирландских графствах, спешили посылать свои восторженные приветствия новому французскому правительству. Даже старая «Ассоциация против унии», хранившая заветы О'Коннеля, приняла ужасающий тон относительно Англии. Самый влиятельный, сдержанный человек из всей «Молодой Ирландии», к которой он только около этого времени и примкнул, Смит О'Брием все больше воспламенялся общими надеждами. Революционное отделение другого острова (Сицилии) от своей метрополии (неаполитанского королевства) представлялось «Молодой Ирландии» знаменательным для нее примером, и о Сицилии много говорилось на митингах. Было решено под влиянием О'Бриена начинать восстание не раньше уборки полей, чтобы не лишить изголодавшийся народ еще и в этом году пищи. Но Митчель был против откладываний и указывал на удачные внезапные восстания в Париже, Вене, Берлине. Ему возражали, что там народ был долго подготовляем, что там действовали тайные общества и прочее и что нужно, наконец, время для закупки оружия и военных запасов, а прежде всего для сбора денег, которых нет. Митчель был непреклонен. Он указывал, что пока в народе пробудился и еще есть революционный пыл, нужно этим пользоваться, ибо энтузиазм нельзя откладывать по произволу, до уборки полей. В память деятелей 1798 г. Митчель в 1848 г. назвал основанную им газету «Объединенный ирландец» и в этой газете требовал немедленных действий

(газета издавалась три с половиной месяца и прекратилась в конце мая 1848 г.).

Это было нечто крайне своеобразное, благодаря особым условиям великобританского государства. Митчель заявлял вице-королю из номера в номер, что он, вице-король, хорошо бы поступил, если бы убрался прочь, пока возможно. «Я не ожидаю ни справедливости, ни милости, ни благородства от вас, и если я попадусь в ваши руки, приглашаю вас не оказывать мне пощады, как и я, да поможет мне в том господь, не окажу ее вам»,— так беседовал он в газете с представителем английского правительства. Он заявлял, что нет никакого заговора, ничего тайного, но Англия должна быть готова к тому, что всеобщее возмущение уничтожит ее владычество в Ирландии. По мнению Даффи и «Молодой Ирландии», Митчель ошибался в том, что слишком уж надеялся на стихийное начало и стихийную мощь революционных движений, которые не нуждаются в подготовке, и проч. Оппоненты Митчеля полагали, что это — увлечение и что такая идея хороша «для поэзии и риторики, но неосновательна для практических целей». Вольф Тон, указывали они, работал восемь лет, пока началось восстание; сами они (т. е. «Молодая Ирландия»), еще когда жив был Дэвис, тоже рассчитывали на более или менее отдаленные времена. Теперь же они уже согласны не откладывать, но не понимают нежелания Митчеля подождать хоть несколько недель. Таковы были эти разногласия.

Вице-король Кларендон был настолько любознателен, что знал все решительно о деятельности как «Молодой Ирландии», так и Митчеля (который, впрочем, беспрестанно к нему в печати обращался). Он поместил 12 тысяч солдат в Дублине, рассыпал гарнизоны по нескольку тысяч во всех более или менее значительных городах, усилил надзор на полях и ждал.

«Молодая Ирландия», торопясь и боясь, что Митчель слишком поспешит, принялась за приготовления. 15 марта 1848 г. состоялся в Дублине огромный митинг, на котором О'Бриен заявил о том, что нужно добиваться у английского правительства немедленного дарования самоуправления Ирландии, что нужно вместе с тем теперь же молодым людям приняться за изучение военного дела и т. д. После него говорил Мигир, высказавший, между прочим, следующее: «Если мы добьемся успеха — о! подумайте о радости, о восторге, о славе этой старой ирландской нации, которая в тот же час станет снова молодой и сильной. Если мы потерпим неудачу, стране не будет хуже, нежели теперь. Голод более беспощаден, нежели штык солдата». Подобный же митинг повторился спустя четыре дня. Лорд Кларендон, вице-король Ирландии, возбудил уголовное преследование про-

тив О'Бриена, Мигира и Митчеля за их речи и статьи; впрочем, времена стояли такие, что их оставили до суда на свободе, хотя действительно, по выражению первого министра лорда Росселя, в Ирландии говорилось «нечто неслыханное». Адресы французской республике один за другим летали из Ирландии в Париж. О'Бриен во главе депутации поехал в Париж представиться французскому правительству. Принял их Ламартин. Ламартин в качестве дипломата много на своем веку лгал, но так как он, сверх того, был еще и поэт, то лгал он почти вдохновенно, перевоплощаясь во что угодно по произволу, голос его, говоривший не то, что он думал, вибрировал и дрожал точь-в-точь так, как если бы Ламартин излагал сердечные, затаеннейшие свои чувства. Временное французское правительство боролось в это время с многочисленными и серьезными внутренними затруднениями и, конечно, меньше всего могло заняться ирландцами. И Ламартин никакой помощи им не оказал, и даже не обещал, но сделал это ласково и задушевно. Депутация вернулась в Ирландию ни с чем, но вовсе не разочаровала своим неуспехом «Молодую Ирландию». Агитация продолжалась; возбуждение так росло, что сын О'Коннеля и все умеренные элементы, группировавшиеся вокруг совсем отошедшей на задний план «Ассоциации против унии», громогласно заявляли, что при некоторых условиях восстание есть только «вопрос времени и расчета», а вовсе «не преступление». Образовалась «протестантская ассоциация» с целью борьбы против унии; призрак восстания вырисовывался все явственнее. Ходили упорные слухи, что лорду Росселю близкие ему люди советуют уступить, дать самостоятельный парламент Ирландии во избежание кровопролития. Английская пресса, даже «Times», стала говорить об отмене унии совсем не в таком непреложно-отрицательном тоне, как всегда. Но болезненно-быстрый рост революционного настроения временами тревожил О'Бриена: все-таки это были митинги, статьи, крики, возбуждение, но не деньги, не оружие, не организация. Митчель выражал (и очень талантливо) бесконечную ненависть к Англии, вроде той, которую чувствовал Вольф Тон, но Даффи сознавал, что на этом сходство и кончалось: «У Тона планы революции были так же тщательно проектированы, как у инженера план моста через большую реку или подводного туннеля». А теперь, в 1848 г., было много страсти, но мало холодного рассудка, и еще меньше организации, дисциплины и средств.

Между тем грандиозная манифестация чартистов в Лондоне провалилась, не произведя никакого эффекта, и английское правительство решило действовать теперь относительно Ирландии смелее. Был проведен закон, каравший пожизненной ссылкой всякие печатные или устные призывы к оружию для произве-

дения политических перемен. О'Бриен в парламенте противился этому биллю, говорил о том, что, подавляя свободу речи, лорд Россель может сделать Ирландию республикой и прочее, но ничего не вышло. О'Бриен отправился в Ирландию и приступил к объезду городов с целью смотра и знакомства с имеющимися в наличности силами. Решено было, чтобы страна избрала «совет трехсот» и чтобы все желающие записывались в списки имеющей образоваться национальной ирландской гвардии. Вице-король запретил как избирательные действия, так и записывание в эту гвардию. Уже был конец мая, во Франции явственно обозначалось обратное течение, в Германии также буржуазия все более тяготела к правительственной власти. Эти явления еще более укрепляли английский кабинет в его решимости действовать наступательно. Как раз произошли процессы О'Бриена и Мигира, преследование против которых было начато, как сказано, еще в марте. О'Бриен был оправдан присяжными, относительно Мигира также не было достигнуто требуемого законом единогласия: общее настроение сказывалось на присяжных. Оставался третий подсудимый — Митчель, арестованный перед самым судом и сидевший в тюрьме. За ним были статьи, наиболее резко и открыто приглашавшие к вооруженной борьбе, и в его журнале давались также, например, советы обливать войска серной кислотой. «Молодая Ирландия», во многом совсем не согласная с Митчелем, решила, что нужно или устроить ему побег в случае осуждения, или как-нибудь иначе спасти его, чтобы в народе не произошло упадка духа. О'Бриен и его друзья решили запросить размножившиеся в Ирландии клубы, готовы ли они к более или менее решительным действиям. В Дублине и близ него было 30 клубов, в Корке — 11, в местах около него — 6, в Килькенни — 4, в Лимерике и Уотерфорде по одному, в городах и селах Тайпերери — 10, в Уэксфорде — 4, в Эннисе — 1, в Эльстере — 3, в Голуэе — 1, кроме того, Лэлор утверждал, что в чисто земледельческих округах все готово к восстанию, как там все всегда было готово к аграрному движению. Но оружия почти не было; даже если бы все эти клубы (а в каждом было 200—300—400—500 человек) действительно были бы хорошо вооружены, то главная масса (крестьянство) все же явно в этом отношении страдала. Ничего не удалось сделать до суда. Митчель был обвинен (23 мая 1848 г.) уже на основании нового закона о преступных призывах к оружию и приговорен к каторге. Много арестов было произведено на улицах Дублина до и в день суда; осужденного сейчас же под усиленным конвоем отправили на заготовленный заранее лордом Кларендоном военный пароход, который и должен был отвезти его в двадцатилетнюю каторгу. Жена и дети остались без всяких средств, но в их пользу было собрано около 1800 фунтов стерлингов.

Агитация не прекратилась с гибелью Митчеля. Основалась новая газета, стали выдвигаться новые люди его же направления; Лэлор действовал неутомимо. Но каждый день приносил новые и новые выгоды английскому правительству, и восстание становилось все невозможнее. В двадцатых числах июня произошло кровавое восстание и усмирение рабочих в Париже; это событие имело колоссальное влияние на все европейское общество, на Ирландию же особенно. Во-первых, вице-король уже вполне уверенно ждал столкновения, зная определенно, на чьей стороне будет победа; во-вторых, революционное настроение в Ирландии, как и везде, получило страшный удар при известии об июньских днях; в-третьих, убийство инсургентами парижского архиепископа возмутило все католическое духовенство и оттолкнуло его от какой бы то ни было симпатии к революционерам. Лорд Кларендон мигом дал сигнал имевшейся в его распоряжении прессе пропагандировать мысль, что «Молодая Ирландия» мечтает прежде всего об истреблении католических архиепископов, наподобие «своих парижских собратьев». Аресты усилились. Мигир, Мартин, Даффи и масса других видных лиц были арестованы в начале июля. Принялись за клубы, которых с конца мая по июль расплодилось чрезвычайно много, так как О'Бриен хотел сделать их ячейками будущего инсуррекционного комитета и организационными единицами восстания. Их было в июле 1848 г. около 150, и в них записалось около 50 тысяч человек. Вице-король вознамерился их закрыть, но клубы решили сопротивляться, и их представители регулярно извещали О'Бриена о количестве приобретаемого оружия. Тогда вице-король потребовал особым извещением, чтобы обладающие оружием лица предъявили таковое. Собрание представителей клубов колебалось относительно того, что ему предпринять. Одни говорили, что нужно немедленно начинать восстание, ибо после обысков и отнятия оружия это будет совсем невозможно. Другие (во главе с О'Бриеном) полагали, что оружие можно припрятать и ждать. Последнее мнение восторжествовало. Была образована директория из 5 человек, которая должна была руководить будущим восстанием. Восстание предполагалось в августе, но вышло не так. Вице-королю необходимым представлялось арестовать еще несколько сот человек, и нужно было для этого приостановить действие habeas corpus'а. Актом парламента habeas corpus в Ирландии был объявлен приостановленным 24 июля. Когда известие о том, что этот акт победоносно, без всякой задержки, прошел во втором чтении и через два дня станет законом, впервые было протелеграфировано в Ирландию, вопрос о восстании внезапно стал совершенно безотлагательным. Грозил самым несомненным образом арест О'Бриену и массе других лиц, в руках которых сосредоточивались все

нити предприятия; никто не сомневался, что едва только вице-королю будет дано знать из Лондона о приостановке habeas corpus'а, тотчас же он арестует вождей предполагаемого восстания, которых он пока не мог захватить именно вследствие отсутствия ясных улик. Мало того, эта приостановка habeas corpus'а снабжала вице-короля также возможностью без допросов, без предъявления обвинений держать арестованных под замком сколько понадобится. Диллон и другие предводители решили ни за что не отдаться без сопротивления и начать восстание. Их преследовал кошмар о'коннелевской уступки сэру Роберту Пилю за пять лет до того; им казалось, что если теперь, после всех своих изъявлений и призывов, не будет ими сделано никакой попытки, то Ирландия окончательно во всех изверится и отчается. И все-таки у них оружия в достаточном количестве не было, денег не было, предводителя не было, духовенство и среднее сословие, испуганные еще проповедью Митчеля и Лэлора и парижскими июньскими днями, были против них, и Англия была спокойна и сильна. Положение было совершенно отчаянное. Даффи это сознавал так же хорошо, как и О'Бриен, как и Диллон; и они все-таки полагали, что другого исхода нет. 23 июля (1848 г.) в Эннискорти О'Бриен объявил о начале восстания.

Решено было начать с Килькенни по чисто стратегическим соображениям. Когда О'Бриен с товарищами выехали в Килькенни, большая толпа провожала их в поле приветственными криками и песнями. По пути в деревне Грэге встретил О'Бриена один старый ветеран восстания 1798 г., обнял его и горячо желал ему успеха. В Кэллэне они были окружены огромной толпой возбужденно их приветствовавших крестьян, в Кэррике все население выбежало к ним навстречу, предлагая свою помощь. Пока это происходило, из соседних городов уже шли войска, 1200 человек с четырьмя пушками. Об успешном конечном отражении неприятеля от городка совсем невозможно было и думать. О'Бриен знал, что тотчас же к этому отряду подойдут подкрепления из близлежащих местностей. Он спросил у собравшихся, могут ли они выставить теперь же, пока войска не пришли, в один час, шестьсот вооруженных людей. Это оказалось невозможным, и О'Бриен с товарищами выехали в Кэшель. После их отъезда пришел значительный отряд под предводительством одного из деятельнейших членов «Молодой Ирландии», но им оставалось разойтись. Хаос, внезапность предприятия, неподготовленность, отсутствие выработанного плана жестоко давали себя чувствовать. Например, видный член дублинского клуба О'Доног поехал в Килькенни, а тамошние клубисты схватили его, решив, что это английский шпион, и с торжеством повезли в Дублин обличать; там только выяснилась ошибка.

В Кэшеле также были люди, готовые начать восстание, но когда это понадобилось неожиданно, чуть не в один час, большинство растерялось. В Килленоле несколько сот человек пошло за О'Бриеном; окрестные священники уговаривали крестьянство не присоединяться к бунтовщикам. О'Бриен, Диллон, Стивенс (молодой человек, до тех пор совсем неизвестный) и их товарищи учили свой отряд стрелять, заряжать ружья и т. д. Они переходили из деревни в деревню, и их отряд то увеличивался, то, после речей подходивших священников, уменьшался. Главная квартира О'Бриена была в Килленоле. Через три дня после начала дела английские драгуны приблизились к деревне. Наскоро была возведена баррикада в самом узком месте единственной доступной дороги. Командир отряда потребовал пропуска, но инсургенты отказали ему и спросили, не арестовать ли О'Бриена, он пришел. Офицер ответил, что своим честным словом удостоверяет в неимении никаких поползновений против О'Бриена и кого бы то ни было, а просто им нужно пройти через Килленоль. Тогда весь отряд по одиночке пропустили через баррикаду.

Поразило всех участников дела, что это, казалось бы, ничтожное происшествие страшно подняло дух крестьян, которые тотчас же стали стекаться к О'Бриену: переговоры и просьбы военного отряда служили как бы доказательством силы восставших. Вообще абсолютно никто из инициаторов не знал, чего можно, а чего нельзя ожидать от крестьян, и те все время изумляли их разными внезапностями и странностями. Ясно было присутствующим одно: невероятное физическое истощение деревенских жителей; двухлетняя голодовка была еще слишком свежа в памяти и напоминала о себе ежеминутно. Лагерь инсургентов представлял собой живописное и пестрое зрелище: оружие особенно было разнообразно и в общем невысокого качества; пестрели национальные одежды, зеленые флаги. Численность маленького отряда постепенно увеличивалась.

Вскоре после бескровной встречи с драгунами О'Бриен собрал совет. На этом совете было высказано мнение такого рода. Необходимо теперь же объявить навсегда свободными от уплаты аренды лендлордам тех крестьян, которые примкнут к восстанию; имения же лендлордов, которые воспротивятся восстанию, должны быть конфискованы и доходы с них пойти на военные нужды инсургентов. О'Брием провалил это мнение, ибо он всегда противился подобным мерам относительно собственности.

Некоторые думали, что это — единственное средство разом привлечь все крестьянство, что иначе ничем вся попытка не окончится. О'Бриен настоял на своем, и с этого момента всякая надежда на успех исчезла среди людей, разделявших

взгляды Лэлора. Инициаторы решили разделиться и отправиться для одновременного поднятия населения в соседние деревни.

Между тем дублинские клубы также оказались захваченными совершенно врасплох. Решено было двумстам членам клубов по частям выйти из Дублина и усилить отряд О'Бриена, а другим оставаться в столице и, когда гарнизон ее уменьшится вследствие необходимости преследовать инсургентов в стране, захватить Дублин в свои руки. О'Рилли, один из деятельнейших «молодых ирландцев», хлопотал над осуществлением этого плана вместе с юристом Барри, давно уже участвовавшим в политической жизни клубов. Все шло хорошо, но как раз накануне экспедиции из Дублина О'Рилли, к своему изумлению, был уведомлен, что у его товарища по делу, Барри, есть один недостаток: он — английский шпион. Любопытно, что об этом обстоятельстве подозревали довольно давно, но забыли предупредить О'Рилли. Произошло смятение между теми 200 лицами, которые собирались присоединиться немедленно к О'Бриену. Так как Барри все знал, то они боялись попасть в западню, и в конце концов их экспедиция не состоялась. В Лимерике дело пошло несколько удачнее для инсургентов, но сноситься с О'Бриеном становилось все труднее, вследствие непрерывных арестов и захватов посылаемых людей с известиями. Лагерь инсургентов расположился недалеко от Лимерика, ночью освещался кострами и войска к нему не приближались. Инсургенты перехватывали где могли почту, обезоруживали сопровождавших ее людей, рассылали эмиссаров по деревням с целью призыва новых сил в свой лагерь. Но вербовка шла туго, ибо крестьяне прямо отвечали, что если О'Бриен не может их прокормить и не хочет насильственного отнятия чьей бы то ни было собственности, то они не пойдут, а будут сами добывать себе пищу. Администрация между тем тревожилась весьма сильно и спешно защищала все подступы к более значительным пунктам, где можно было ожидать нападенья неприятеля. Но слабость инсургентов не могла не обнаружиться очень скоро: они никак не могли начать наступательных действий. В Баллингэри наконец произошло столкновение. Правительственный отряд встретил здесь баррикады, сооруженные инсургентами, которыми тут предводительствовал сам О'Бриен. Сначала английский отряд бежал и спрятался в большом двухэтажном доме на дороге; недисциплинированные крестьяне-инсургенты, вопреки планам О'Бриена, с криком бросились к этому строению. Их еле удалось удержать. Взять в плен укрывшихся было очень трудно без артиллерийских орудий, которых у О'Бриена совершенно не было. Решили было принудить их к сдаче посредством дыма, как это делал генерал Пелисье во время борьбы с алжирскими арабами,

прятавшимися в пещерах. Сидевшие в доме начали переговоры: О'Брием требовал у них прежде всего выдачи оружия. Во время переговоров осаждавшие неосторожно расположились около окон, и неожиданно из дома грянул залп, за ним другой. Крестьяне бросились бежать, О'Бриена его друзья всеми силами старались увести ввиду невозможности что-либо сделать; убитые и раненые почти только одни и оставались около дома. О'Бриен явно стремился попасть под пулю, но это не удалось. Присоединившись к толпе крестьян, он увидел, что священник убеждает их разойтись немедленно по домам. О'Бриен стал спорить, его никто не слушал. Пришел другой полицейский отряд и продолжал перестрелку. Вся совершенно отчаянная храбрость О'Бриена, изумившая даже англичан, была вполне бесплодна при окружавших условиях. И он, и его друзья убедились при Баллингэри, что те самые люди, которые с риском быть немедленно убитыми или впоследствии повешенными, совершали по всей стране бесчисленные аграрные нападения, тут же не хотят сражаться, не знают зачем сражаться, смотрят угрюмо, слушают рассеянно, повинуются священнику, что так делает большинство. И с отчаянием «Молодая Ирландия» говорила, что голодных людей нельзя вести в битву, что без запасов, без провианта, без обоза нельзя ничего сделать. Вечером вожди под проливным дождем бежали, преследуемые неприятелем. Мак-Мэнэс был арестован спустя несколько дней после проигранного дела, Мигир и другие попали в руки полиции также очень скоро, потому что вся страна кишела солдатами и полицейскими чинами, искавшими предводителей восстания. Спустя неделю около станции железной дороги, в поле, был узнан и арестован О'Бриен.

«Они скверные подданные, а как бунтовщики — еще хуже»,— сострил в те дни один старичок, следивший за происшествиями. Многие не могли простить О'Бриену его внезапной попытки. Они были того мнения, что в марте 1848 г. восстание удалось бы или по крайней мере имело бы больше шансов, потому что под влиянием европейских событий, оживления чартизма в Англии, довольно сочувственного отношения католического духовенства революционеры имели под собой серьезную почву, даже без особой подготовленности чисто военной, технической. Если бы, пропустив этот момент, они отложили восстание на осень и зрело подготовились, то тоже, может быть, были бы известные шансы. Но затевать дело ни весной, ни осенью, а среди лета, когда боевого настроения в народе и (после парижских июньских дней) сочувственного отношения в духовенстве *уже* нет, а подготовки *еще* нет, значило идти на верную гибель. Лица, порицавшие О'Бриена, говорили, что делать внезапные сюрпризы в таком деле совсем непозволительно и не оправды-

вается никакими соображениями. Указывали, что не было все время денег, а между тем (но уже *после* поражения при Баллингэри) из Америки прибыли десять тысяч фунтов стерлингов, отосланные в Ирландию со всей поспешностью, едва лишь пришла весть о внезапном решении О'Бриена. Клубы тоже, захваченные врасплох, не успели мобилизовать своих сил: значит, были и деньги, и люди, но внезапность дела помешала использовать то и другое. Далее, указывали и на нежелание О'Бриена привлечь крестьян обещанием перемен в аграрном строе, на равнодушие крестьян к чисто политическим вопросам, на незнание крестьянства. Критики и горечи было много. И прежде всего, основываясь на мнении, что для успешной войны нужен как энтузиазм, так и обоз, упрекали О'Бриена, что он бросился в борьбу, надеясь на людей, у которых не было в данный момент ни того, ни другого.

Начались политические процессы и осуждения. Процесс О'Бриена длился девять дней и закончился 9 октября (1848 г.). До суда все время он сидел в строжайшем заключении; судоговорение происходило в Клонмэле. Подсудимый ничего не отрицал из тех фактов, которые происходили за короткий период восстания. Его обвиняли в наиболее тяжкой форме государственной измены; член английского парламента, потомок одной из царствовавших некогда в Ирландии династий, человек, снискавший себе общее уважение среди самых различных ирландских партий, он привлекал к себе особенное внимание. Во время процесса обвинение утверждало, что именно влияние французской февральской революции могущественно содействовало тому, что О'Бриен примкнул к партии решительного переворота; защита этого пункта не оспаривала. Дело защиты на той почве, на которой велся процесс вообще, было совершенно безнадежное. О'Бриен держался все время вполне спокойно и столь же спокойно выслушал обвинительный приговор присяжных. Председатель суда лорд Блэкборн предложил ему воспользоваться обычным правом заявить, что он находит нужным в своих интересах, перед постановлением приговора о наказании. О'Бриен встал и сказал громким голосом: «Милорды, я не намерен входить в какое-либо отстаивание своего поведения, как бы мне ни хотелось воспользоваться случаем сделать это. Я вполне удовлетворен сознанием, что я исполнил свой долг по отношению к моей стране, что я сделал только то, что, по моему мнению, входило в обязанности каждого ирландца. И я теперь готов перенести последствия того, что я исполнил свой долг по отношению к родине. Приступайте теперь к вашему приговору». Тогда председатель, обращаясь к прочтению приговора, сказал, что ввиду просьбы обвинивших подсудимого присяжных заседателей суд сообщит вице-королю о ходатайстве

присяжных в пользу смягчения наказания. Вместе с тем лорд Блэкборн изъявил горестное сожаление об отсутствии всякого раскаяния у подсудимого. «О, если бы вы посмотрели на ваше преступление, как смотрит на него каждое разумное существо; если бы вы почувствовали и сознали, что оно на самом деле в основе столь же противно интересам человечества, наставлениям и духу исповедуемой нами божественной религии, насколько и враждебно положительному закону, тому закону, насилие над которым сопровождается теперь потерей вашей жизни. Те немногие слова, с которыми вы обратились к суду, не позволяют мне — говорю это с величайшей грустью — распространяться дальше об этом предмете. Теперь только остается суду произнести смертный приговор. Этот приговор состоит в том, что вы, Вильям Смит О'Бриен, будете взяты отсюда и отведены в место, откуда вы пришли, оттуда отвезены на плетенке к месту казни, и там будете повешены за шею, пока вы не умрете, затем ваша голова будет отделена от туловища, а туловище разделено на четыре части для того, чтобы с этими частями было поступлено, как сочтет за благо ее величество».

Спустя несколько дней смертный приговор постиг Мак-Манэса, О'Донога, Мигира. Впоследствии участь осужденных была смягчена, несмотря на энергичные их протесты против этого смягчения; они были сосланы в каторжные работы в Австралию. Отчаянная попытка Лэлора начать восстание уже после разгрома и ареста «Молодой Ирландии» окончилась убийством одного из полисменов и одного из инсургентов. Мрачный всюду конец 1848 г. был тяжел и в Ирландии. «Что касается служения Ирландии,— писал Лэлор Чарльзу Даффи, когда уже все было потеряно,— то от служения Ирландии, какова она есть, я отказываюсь. Гробовая крышка захлопнулась над последней надеждой нынешнего поколения».

Одни плыли в Австралию, закованные в ручные и ножные кандалы; другие сидели в тюрьмах, третьи находили и для себя место на эмигрантских пароходах, увозивших в Америку целыми десятками тысяч в течение всего 1848 г. ирландских крестьян. Страница, которую «Молодая Ирландия» вписывала в историю своей земли, была закончена.

Один из самых влиятельных органов («Edinburgh Review») не мог воздержаться от восторга перед деятельностью вице-короля, лорда Кларендона: «Вместо того, чтобы агитация сокрушила правительство, само правительство, при аплодисментах всей империи, с триумфом сокрушило агитацию».

Впечатление легкости и полноты победы было чревато последствиями, ибо соединялось с почти презрительным

отношением к побежденным. Это чувство держалось довольно долго, не даром же такой знаток Англии, как Монтескье, сказал об англичанах, что они не любят отрешаться от чувства презрения («ils ne reviennent pas du mépris» [52]). Поэтому и пробуждение Ирландии оказалось для Англии в 60-х годах таким болезненным. Но в эпоху разгрома «Молодой Ирландии» не только англичане, а и враги их, еще не представляли себе, какую новую форму борьбы выберет то поколение, которое в годы голода и восстания только выходило из детского возраста.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ[53]

1

Крушение революционных попыток 1848 г. в связи с все усиливавшейся эмиграцией, в связи с все растущей смертностью создало в Ирландии 50-х годов глубокую общественную реакцию. Апатия, владевшая страной в 50-х годах до выступления фенианства, носила гораздо более злокачественный, так сказать, характер, нежели, например, некоторая общественная реакция, наблюдавшаяся в Ирландии впоследствии, в 70-х годах, до Парнеля, или в 90-х, после смерти Парнеля. За это десятилетие (1849—1859 гг.) политический пессимизм приводил одних к полному, безнадежному равнодушию, других — к отчаянию. На почве этой общественной реакции оказалась тщетной единственная сделанная за эти печальные годы попытка опять возобновить борьбу за лучшее будущее голодающего народа. Эта попытка была сделана эпигонами разгромленной в 1848 г. «Молодой Ирландии», и отметить ее в нескольких словах следует хотя бы потому, что ее полная неудача также была одним из психологических моментов, на время отвративших ирландскую молодежь от всяких попыток конституционной, легальной борьбы и толкнувших впоследствии многих на путь фенианской деятельности.

Вот в чем эта попытка заключалась.

Даффи, Кроуфорд, Лэкэс, Мур и другие решили воспользоваться всегда существовавшими в разных частях Ирландии течениями в пользу аграрной реформы и основали в 1852 г. «Лигу юга и севера», которая имела целью добиться у парламента серьезных перемен в области арендных отношений. Конечно, ввиду упадка настроения под влиянием обидных воспо-

минаний о 1848 г., ввиду страшного опустошения страны после голода и непрерывно шедшей эмиграции эта лига надеялась главным образом на мирные средства и на парламентскую деятельность. Эпигоны «Молодой Ирландии» видели в этом не отказ от былых своих взглядов, высказанных в эпоху борьбы с О'Коннелем, а обусловливаемое временными обстоятельствами обращение к такому средству, которое отвергалось ими и прежде только в качестве *исключительного*, каким оно должно было быть по воззрениям О'Коннеля. Установление более выгодных для арендаторов условий земельного держания, бо́льшая определенность и бо́льшая длительность сроков аренды, обеспечение арендатора от произвола лендлорда, признание за арендатором прав на возмещение расходов по улучшениям в хозяйстве, произведенных им на земле лендлорда (в случае если лендлорд выселит его с занимаемого участка),— таковы были главные домогательства новообразованной лиги. Между прочим, лига агитировала в пользу учреждения в каждом округе особой ассоциации фермеров и сочувствующих им лиц, чтобы путем морального давления, угрозой общественной опалы и отлучения (слово «бойкот» еще не существовало) препятствовать кому бы то ни было селиться на участке, откуда несправедливо, был выгнан прежний арендатор. Католическое духовенство, после поражения революционеров более чем когда-либо приверженное идее повиновения английскому правительству, провалило эту лигу в простом народе, а всякие расчеты на борьбу в парламенте пришлось оставить, после того как двое из самых способных и многообещавших ирландских депутатов — Киг и Сэдлайер — оказались сознательными обманщиками, политическими авантюристами, которые по соображениям личной карьеры изменили делу борьбы за аграрную реформу и соединились с правительством и поддерживаемыми им в данном случае католическими епископами, видевшими в Даффи и его друзьях опасных демагогов. Киг и Сэдлайер внесли глубокую деморализацию в ряды парламентской ирландской партии 50-х годов и окончательно свели к нулю эту и без того слишком слабую группу. Даффи уехал вовсе из Ирландии и на долгие годы в Австралию, не возвращался более к политической деятельности на родине.

Глухая, перемежающаяся изредка крупными аграрными преступлениями борьба арендаторов против лендлордов шла, правда, и в эту мертвенную эпоху общественной усталости и реакции 50-х годов, но только к концу их Ирландию разбудило фенианское движение, которому суждено было вписать не одну кровавую страницу в историю англо-ирландских отношений.

2

В «Воспоминаниях» фения О'Лири, служащих до сих пор одним из лучших источников для первоначальной истории фенианства, мы находим целый ряд данных, которые позволяют нам восстановить процесс возникновения этого движения.

«Биографически», а быть может и не только биографически, фенианство бесспорно имеет связь с движением «Молодой Ирландии». О'Лири, Стивенс и целая масса других влиятельных фениев получили свое первоначальное политическое воспитание на литературе «молодых ирландцев» и отчасти даже принимали участие в брожении 1848 г. О себе О'Лири прямо говорит, что впервые сильное ирландское национальное чувство пробудилось в нем под влиянием чтения поэм и статей Томаса Дэвиса, главного вдохновителя всего движения «Молодой Ирландии». О'Лири было тогда (в 1846 г.) 16 лет от роду, и он сравнивает совершившийся в нем душевный переворот с религиозным обращением. Чтение журнала «Нация» и на него, как для всего тогдашнего молодого поколения, действовало не только воспламеняющим образом, важно было не только в смысле поднятия революционного духа: оно давало молодым умам массу фактов из прошлого и настоящего Ирландии и этими новыми знаниями, новым фактическим материалом укрепляло раз возникшее настроение. Агитация Митчеля, брожение 1848 г., попытка Смита О'Бриена — все это произвело весьма сильное впечатление на умы даже тех, кто по молодости лет еще не мог принять деятельного участия в событиях. Конец брожения 1848 г. и расправа с его виновниками довершили в умах подраставшего поколения то глубокое недоверие к «конституционализму», т. е. к возможности легальной продуктивной деятельности на пользу родины, которое стало для фенианства столь характерной чертой. О'Лири, О'Мэгони, Стивенс приняли даже некоторое непосредственное участие в революционной вспышке 1848 г. и связывали впоследствии «Молодую Ирландию» с первым своим боевым крещением в революционном огне. Потянулись глухие, тусклые, мертвенные 50-е годы; они прибавили еще одну черту к слагавшейся психологии будущих фениев: нерасположение к духовенству за то, что оно, в 1848 г. посодействовав крушению «Молодой Ирландии», теперь всячески благоприятствовало разным парламентским авантюристам, вроде Кига и Сэдлайера, прикрывавшимся маской ирландского патриотизма. Аграрная агитация первой половины 50-х годов, предпринятая Даффи и некоторыми другими уцелевшими деятелями «Молодой Ирландии» в целях вынудить у парламента облегчение участи арендаторов, не имела успеха и ко времени Крымской кампании

окончательно замерла. Почему О'Лири и другие прославившиеся впоследствии фении не захотели поддержать эту агитацию? Во-первых, как сами они признаются, аграрный вопрос интересовал их гораздо меньше, нежели вопрос полного национального освобождения от Англии; во-вторых, они чувствовали глубокую уверенность, что аграрный вопрос никогда до такого освобождения и не разрешится вследствие сопротивления английского парламента. Оставляя пока в стороне вторую из указанных причин, заметим относительно первой следующее. В этом равнодушии к экономической стороне ирландского вопроса и лежала всегда впоследствии роковая причина слабости фениев. Политическая партия, равнодушно относящаяся к аграрному вопросу и вместе с тем желающая действовать в нищей и почти исключительно земледельческой стране, фатально осуждена на конечную неудачу. А в данном случае это равнодушие родилось еще до появления самой партии: будущие ее руководители проявили его уже в начале 50-х годов.

В 1857 г. Джемс Стивенс, человек, принимавший (правда второстепенное) участие в восстании 1848 г., имел разговор с Джоном Диллоном и Джоном О'Лири. В этом разговоре Стивенс заявил им о своем желании основать тайное общество для подготовления в Ирландии революционного восстания против английского владычества. Диллон отнесся к проекту вполне отрицательно. О'Лири также не скрыл своих сомнений относительно возможности осуществить подобного рода намерения. Дело в том, что и сам О'Лири, и все передовое ирландское общество еще далеко не освободились от той глубокой подавленности духа, которая явилась естественным результатом крушения 1848 г. Но Стивенс, кроме железной воли, организаторских способностей и спокойной готовности отдать на борьбу с англичанами свою жизнь, обладал еще одним свойством: совершенно отказываясь считаться с общественным настроением, он полагал, что его долг — действовать так, как велит ему его собственное настроение, а он никогда не утрачивал веры в возможность успешной революции. И прямо удивительно, до какой степени ему удавалось побеждать скептицизм и нерешительность окружающих. По воспоминаниям О'Лири, он выказывал вообще много презрения к людям, отличался высокомерием, догматизмом и нетерпимостью. «Он полагал, что великий человек может сделать все, а у него и тени сомнения не было в том, что сам он — великий человек». Очень многих его натура привлекала и порабощала; с очень немногими он бывал вполне сердечен и откровенен; но и тех, и других он как бы силой заставлял верить в то, во что сам верил.

Собственно, заводя разговор о необходимости новой организации с Диллоном и О'Лири, Стивенс уже знал, что он не сов-

сем одинок: незадолго до того он получил от живших в Нью-Йорке эмигрантов Джона О'Мэгони, Микаеля Догени, Джемса Роча и Оливера Байрона прямую просьбу взять на себя инициативу устройства тайного общества. Подобно Стивенсу, они томились слишком затянувшейся общественной реакцией, и, подобно Стивенсу же, они полагали, что только он один может начать дело революционного возрождения. За этими эмигрантами было прошлое, за ними стояли многочисленные ирландцы, жившие в Америке и всегда готовые из последних крох прийти на помощь всякому патриотическому начинанию.

Стивенс согласился на их предложение, требуя только, чтобы никто не вмешивался в его мероприятия и чтобы на нужды дела ему присылалось по 100 фунтов стерлингов в месяц в продолжение первых 3 месяцев. Эмиграция согласилась на эти условия, и Стивенс приступил к делу. Первое ядро нового общества сформировалось в 1858 г. в Дублине; оно получило название «Ирландского революционного братства»; но, собственно, лишь с 1861 г. можно считать совершившимся фактом окончательную организацию этого братства. «Финами», «фенами» или «фианами» назывались в древности дружины, служившие ирландским королям; интересовавшийся древней историей ирландских кельтов Джон О'Мэгони и стал называть этим старым словом «фениями» своих товарищей по делу, т. е. лиц, вербуемых Стивенсом в новое революционное братство, и постепенно это слово вошло во всеобщий обиход. Начались деятельные разъезды Стивенса, Росса, Льюби, Мойнигена и других по стране с целью устройства «кружков» — ячеек будущего восстания. Этим кружкам старались придать военную организацию и вместе с тем соблюсти конспиративные требования. Во главе кружка стоял центр, или «A», который выбирал себе 9 непосредственно подчиненных «B»; каждый из этих «B» выбирал себе 9 «C»; каждый из 9 «C» выбирал 9 «D». Таким образом, получалась строгая иерархическая лестница, причем каждый подчиненный знал только своего непосредственного начальника, хотя, конечно, на практике это далеко не всегда соблюдалось; подчиненные обязаны были приказу непосредственного начальника безотлагательно повиноваться.

К началу 1859 г. и О'Лири вошел в деловые сношения со Стивенсом и вскоре после поездки в Америку самого Стивенса отправился туда же с поручениями. Дело в том, что многие деятели 1848 г., проживавшие в Америке, холодно относились к сношениям некоторых своих товарищей со Стивенсом и вообще к затевавшемуся предприятию. И постарели они, и бóльшую часть из них жизнь слишком измучила, и несостоятельность попытки 1848 г. стояла еще слишком живым и болезненным укором перед ними. словом, многих старых и популярных

имен не досчитывался Стивенс в американских кружках формируемой им организации. Поездки как Стивенса, так и его товарищей по делу в Америку отчасти имели целью укрепить связи между возникавшим ирландским движением и ирландским обществом в Америке, где, например, такие авторитетные люди, как Митчель, упорно сторонились от нового дела. Зато молодое поколение, и особенно в рабочем классе, живо откликнулось на призыв фениев; не надо забывать, что ирландцев в Америке было несколько сот тысяч, и для всякого движения, возникавшего в Ирландии, успех его в Америке всегда бывал существенно необходим, так что в этом отношении фении могли считать себя уже в 1859—1860 гг. удовлетворенными. Нужно сказать, впрочем, что вербуя себе сторонников в Америке, фении всячески старались, чтобы их не смешали с «риббонменами» (лохмотниками), которых очень много было среди эмигрантской бедноты.

Кто такие были эти «риббонмены»? Представители все того же несчастного арендаторского класса, который искони выставлял из своей среды борцов против лендлордского угнетения. Прежде, как мы знаем, они назывались «белыми парнями», теперь, с конца 30-х годов, а особенно в 40—50-х годах, они все чаще и чаще назывались «риббонменами». Сущность явления оставалась все та же, менялись только названия и подробности тайной организации. Но аграрный террор «риббонменов» чисто экономическими причинами непосредственно вызывался и к чисто экономическим результатам стремился; фении же не упускали случая подчеркнуть свой политически-революционный, чисто национальный, антианглийский, а не антилендлордский характер. Фении раздражались страшной трудностью распространения своих идей между «риббонменами»; совершеннейшее неумение воспользоваться целесообразно существующим классовым антагонизмом сопрягалось у фениев, как это всегда в таких случаях бывает, с тенденцией не то полемизировать с этим нежелательным для них явлениям, не то закрыть глаза на самый факт его существования. Городское рабочее население, ремесленники, мелкая и средняя буржуазия — вот те общественные слои, из которых пополнялись главным образом кадры возникающего общества. Хронический застой в промышленности и торговле, общий упадок всех производительных сил страны, полнейшее экономическое рабство, в котором томилась Ирландия под гнетом метрополии,— все это, правда, создавало сильный исторический фундамент под фенианской идеологией и придавало политическому сепаратизму в глазах многих характер незаменимой панацеи всех экономических зол. Вот что, несмотря на ахиллесову пяту фенианства — отсутствие ясной аграрной программы,— давало ему жизненную силу.

3

1860—1861 гг. были годами подготовительной пропаганды и вербовки. Стивенс, Льюби и их товарищи путешествовали под разными предлогами пешком из села в село, из города в город, всюду зондируя почву и ища приверженцев. Дело их шло быстро и успешно. Давно знакомое Ирландии революционное настроение после десятилетней реакции пробуждалось все заметнее. Пропагандисты ставили вопрос так: чтобы пытаться вывести Ирландию из ее хронически бедственного положения, существуют два метода действий — конституционный и революционный. Первым способом старался пользоваться О'Коннель, но ему почти ничего не удалось сделать для реального освобождения страны от гнета. Петиции, обращаемые к парламенту, фатально должны оставаться безуспешными, так как большинство этого парламента всегда выбирается чуждым и враждебным Ирландии народом. Мало того, конституционный образ действий, говорили фении, приводит только к разврату, к продажности, помогает таким мошенникам, как разные Сэдлайеры и Киги, хорошенько поторговавшись, продаться англичанам за сходную цену. Что же касается другого способа действий, то, правда, история показала неоднократно, в том числе и на примерах Вольфа Тона в 1798 г., Роберта Эммета в 1803 г., «Молодой Ирландии» в 1848 г., что и революционные попытки освободить Ирландию от англичан оказывались безрезультатными. Но по самому существу дела с правилами логики более согласуется мысль об освобождении от англичан открытой силой, нежели мечта о том, что англичане мирным путем будут приведены к убеждению о необходимости для Ирландии самостоятельности. А так как без самостоятельности немыслимо радикальное уврачевание ни одного из главных зол, угнетающих Ирландию, то, следовательно, революционный способ, по мнению фениев, и являлся единственным, допускаемым как нравственностью, так и здравым смыслом. Пропагандируя подобные мысли, фении, по словам О'Лири, «проповедовали уже обращенным», до того идея новой борьбы против англичан уже стала носиться в воздухе.

Первым событием, нарушившим многолетнюю тишину и оцепенелость ирландской национальной жизни, была та грандиозная демонстрация 10 ноября 1861 г., на которой фении впервые испробовали свои силы. Произошла она по следующему поводу. Среди многочисленных жертв судебной расправы с инсургентами 1848 г. был также Мак-Мэнэс, сосланный в каторжные работы, но впоследствии бежавший из ссылки и поселившийся в Америке, в Сан-Франциско. Никогда он не играл руководящей роли, но его знали как человека стойкого, непо-

колебимо преданного Ирландии и убежденного ненавистника английского владычества. Когда в августе 1861 г. он скончался, то ирландская колония, жившая в Сан-Франциско, задумала перевезти его тело в страну, которую он так любил и по которой так тосковал на чужбине; а когда эта мысль стала известна в Ирландии, то сейчас же фении решили устроить по прибытии тела демонстративные похороны. Стивенс, правда, несколько колебался сначала; в конце концов он решил, что если фении намерены устраивать демонстрацию, то они должны взять в свои руки безраздельное руководство. В этом смысле представились некоторые трудности. Ветераны «Молодой Ирландии» вступили с фениями в некоторый конфликт. Давно ли «молодые ирландцы» горько жаловались на то, что О'Коннель не понимает потребностей времени и мешает новому поколению жить и мыслить по-своему? Теперь им самим приходилось выслушивать упреки от фениев. Опять «отцы» и «дети» стояли друг против друга, опять взаимное раздражение и непонимание стеной вырастало между ними. «Молодые ирландцы» всецело были в прошлом, и для них похороны Мак-Мэнэса были грустной данью минувшему и невозвратному времени. Для фениев же Мак-Мэнэс, неукротимый ненавистник англичан, убежденный революционер до конца, являлся представителем той вековечной вражды к английскому владычеству, которая никогда не исчезала в Ирландии и в самые глухие, мрачные времена укрепляла дух целых поколений. По их мысли, вокруг гроба изгнанника надлежало устроить не только чествование его чистой памяти, но и произвести угрожающий смотр новым революционным силам. После продолжительного пути с долгими остановками в американских городах тело прибыло наконец в Дублин. Здесь ветераны «Молодой Ирландии» сделали ряд попыток отнять у фениев руководящую роль и взять в свои руки распоряжения похоронами, процессией и прежде всего заботу о надгробных речах. Борьба была очень оживленная и раздраженная; особенно обострилась она за ту неделю, которая протекала между прибытием гроба в Ирландию и погребением, но кончилась полной победой Стивенса и его приверженцев.

Наступило наконец 10 ноября. Фений Льюби, вспоминая об этом дне, говорил потом своему другу, что он встал в это утро в сильной тревоге. Дело шло о том, чтобы убедиться не только в силе или слабости фенианства; этот день должен был выяснить, насколько правы или неправы те оптимисты, которые утверждали, что общественная апатия кончилась и что Ирландия снова близка к активной борьбе за свое будущее. Действительность превзошла все ожидания, столица Ирландии увидела нечто такое, от чего она давно уже отвыкла. Несметные массы народа в траурных одеяниях, состоявшие не только из жителей Дуб-

лина, но и из приезжих, переполнили улицы, по которым двигался кортеж. Фении руководили процессией; выбранные ими товарищи, пешие и верховые, поддерживали стройный порядок процессии. Новые и новые колоссальные людские потоки приливали к процессии отовсюду. По воспоминаниям очевидца, зрелище было до того необычайно, так магнетически действовала эта неисчислимая толпа, одушевленная одним желанием, одной мечтой, что дух захватывало и хотелось плакать. Когда кортеж подошел к тому месту, где некогда был казнен Роберт Эммет, все обнажили головы. Ядро процессии состояло приблизительно из 50 тысяч человек, общее же количество людей, отовсюду сбегавшихся к кортежу, по исчислению газет увеличивало эту цифру до 200 тысяч человек. Когда добрались до кладбища, уже стемнело, и при свете факелов, озарявших несметные толпы, начались надгробные речи, говорилось о заслугах и мученической судьбе покойного, о постоянстве и твердости его революционных убеждений, о том, что, уже умирая, он все спрашивал о делах на родине: «Есть ли какая-нибудь надежда?» Присутствующим указывалось, что это грандиозное демонстративное стечение народа к могиле революционера дает твердую уверенность, что дело, которому Мак-Мэнэс отдал свою жизнь, будет решительно и твердо продолжено. Оратор-фений прямо сказал, что отношение народа к этим похоронам должно было дать ответ на вопрос: «Правда ли, что ирландский народ изменил своей истории, своему предназначению — не только желать свободы, но работать для нее, бороться за нее, страдать из-за нее», и похороны Мак-Мэнэса, по мнению оратора, ясно показали, что такой измены не было и нет.

«Мы рассуждали так: если ирландский народ не почтит этого человека, мы тогда будем смотреть на ирландцев как на погибшую расу. Если же, с другой стороны, они обнаружат чувство и мощь, которые — хотелось бы нам верить — в них живы, тогда мы с радостью обратимся к нашим братьям, уверенные в будущем нашей страны, навсегда и на всех путях связанные с делом, за которое умер Мак-Мэнэс. И вот собственными глазами мы убедились, что нынешние ирландцы так же верны родине, как и их предшественники». Речь кончалась одушевленным уверением, что нужно только полагаться на себя и бороться, и тогда день, из-за которого было пролито в прошлом столько крови, окажется недалек.

Полиция весь этот день совершенно отсутствовала, и все обошлось без столкновений. Первая фенианская демонстрация была вместе с тем первым явственным признаком пробуждения Ирландии после тринадцатилетнего оцепенения. Это сразу придало возникающему фенианству характер серьезного явления, имеющего как бы общенациональное значение.

4

Холодность и глухое недоброжелательство ветеранов «Молодой Ирландии» не особенно смущали Стивенса, тем более что и мало их было и от особенно активного выражения своих чувств они обыкновенно воздерживались. Но открыто враждебные действия против фенианства предприняло такое многочисленное и пользовавшееся огромным авторитетом сословие, как духовенство. По мере того, как еще при О'Коннеле английское правительство уравнивало в правах католиков с протестантами, лишало англиканских священников многих из их прежних материальных преимуществ, обнаруживало готовность всячески субсидировать католическое духовное образование, словом, по мере того, как англичане, отказывая в политической автономии и аграрной реформе, с тем бо́льшим жаром принялись подчеркивать свое беспристрастие и благожелательство во всех вероисповедных вопросах, католический клир в Ирландии быстро утрачивал свой былой революционизм и превращался в силу, если и не стоящую во всем и всецело на стороне Англии, то во всяком случае враждебную каким бы то ни было партиям переворота. «Divide et impera» — это очень глубокий принцип «реальной» политики; но нужна и высокая степень государственной культуры, чтобы его с успехом применять к делу. Если, например, какой-нибудь визирь грубо и нагло насильничает порознь и над крестьянством, и над духовенством, и над буржуазией, то это вовсе не значит, что он их «разъединяет»: совершенно напротив. Но так как английскую политику вели не визири, а настоящие государственные люди, то и результаты получились с их точки зрения вполне целесообразные: за сделанные ему, правда, только лишь в наше время реальные уступки ирландский католицизм перестал считаться в числе тех моральных сил, которые могли усилить революционное настроение в обществе. Враждебное к движению 1848 г., католическое духовенство оказывалось столь же враждебным и к фенианству.

Началась кампания. Фенианская организация была тайной, и на исповедях посыпались вопросы о принадлежности к греховному сообществу, причем в случае утвердительного ответа виновному отказывалось в отпущении грехов впредь до раскаяния. Архиепископ Кэллен прямо заявил раз одному лицу, которое призналось ему в принадлежности к фениям: «Вы отлучены». В своих проповедях духовенство также деятельно агитировало против нового движения. За клиром шли высшие и достаточные круги общества, которые устами своей прессы высказывали решительное неодобрение революционным начинаниям вообще и фенианству в частности. Наконец, кое-кто принялся уже и за прямые доносы.

Например, автор одного из памфлетов, направленных против фениев, давал отчет о митинге, в котором, как он проведал, выступали также фении: в списке ораторов, приводимом в этом памфлете, фамилии фениев были напечатаны курсивом.

Несмотря на все эти тернии, в 1862 г. организация могла уже считать себя упроченной и в Ирландии, и в Америке. Это был год особенно оживленной и успешной пропаганды. При строгом централизме, сосредоточивавшем всю власть в руках Стивенса, провинциальным агентам были предоставлены достаточно широкие полномочия для быстрой и успешной вербовки и образования новых кружков. Стивенс и его ближайший помощник Льюби часто разъезжали по провинции для свиданий и переговоров с главами кружков, так что в конце концов полиция стала к этим двум путешественникам присматриваться с некоторым вниманием.

Так, например, однажды в Киллорнее к Льюби рано утром пожаловали полицейские чины и предложили ему ряд самых нескромных вопросов на темы, откуда, куда, зачем и пр. Допрашиваемому фению оскорбиться и вознегодовать страшно мешало то обстоятельство, что при нем находились компрометирующие бумаги. Пришлось начать беседу, во время которой Льюби незаметно запрятал в постель лежавшие под подушкой документы. К счастью, поговорив, посетители удалились, и опасность миновала. Этот случай не мог не заставить молодую организацию постоянно быть настороже.

Кроме полиции, умеренной прессы, добровольных доносчиков и католического духовенства, у фениев был еще один враг — безденежье. Деньги притекали в организацию главным образом из Америки, и в 1861—1862 гг. приток пожертвований уменьшился. Стивенс отправил Льюби в Соединенные Штаты с целью как сбора денег, так и усиления пропаганды. Здесь между прочим Льюби посетил так называемый ирландский легион, отряд, состоявший из ирландцев, записавшихся на службу и находившихся в лагере армии северян. Следует заметить, что если некоторые руководители фенианского движения были недовольны отвлечением части ирландцев в чуждое Ирландии предприятие, в кровопролитную американскую междоусобную войну, то другие держались иного воззрения: во-первых, это давало многим тысячам ирландской молодежи военную тренировку, столь необходимую в дальнейшем будущем для инсургентов, а во-вторых, хорошее жалованье, которое союз платил состоявшим у него на службе войскам, позволяло надеяться на улучшение революционного фонда, так как в ирландском легионе было много уже аффильированных фениев, которые щедро жертвовали на свою организацию.

В американской армии образовались даже новые кружки и

при случае были возможны фенианские митинги: американского начальства это нисколько не касалось и не тревожило.

По возвращении Льюби из Америки Стивенс решил, что нужно издавать в видах пропаганды газету.

Главное руководительство новым органом Стивенс вверил О'Лири, и первый номер газеты «Ирландский народ» («Irish people») появился 28 ноября 1863 г.

Конечно, пропаганда фенианства (в эти годы выражавшегося в стремлении подготовить вооруженное восстание) велась в газете самым усиленным образом, насколько только возможно даже при полной свободе печати опубликовывать революционные призывы. Прежде всего их борьба направилась против «парламентарных методов», т. е. против о'коннелевской традиции действовать посредством парламента и чисто конституционными путями, традиции, было погребенной речами и действиями «Молодой Ирландии», но воскресшей в совершенно неприглядном виде в 50-х годах. Орган фениев обратил на себя всеобщее внимание. *Легально* он пропагандировал весьма широко основную идею фениев — отделение Ирландии от Англии; *нелегально* его редакция была одним из пунктов, где фенианские руководители встречались и совещались. Во время выборов 1865 г. фении в полном согласии со своими основными принципами пропагандировали мысль, что эти выборы Ирландию интересовать не могут, ибо все равно в парламенте английское большинство всегда возьмет верх, а какая именно партия захватит власть, тоже для ирландцев не важно, потому что, кроме вражды и лицемерия, ни одна из них по отношению к Ирландии ничего не обнаружит. Эта идея фениев, впрочем, успеха не имела.

Полиция давно уже выслеживала фенианскую пропаганду; «Times» и другие влиятельные органы давно уже обращали внимание правительства на новую партию, не маскирующую своих революционных целей.

16 сентября 1865 г. вышел последний номер «Irish people», где между прочим есть такая фраза (в статье Киккэма): «Наша единственная надежда — на революцию». Номер посвящен полемике против тех духовных лиц, которые возлагают на себя политические обязанности: «Когда священники обращают алтарь в платформу; когда провозглашается, что читать «Irish people» составляет смертный грех, и столь же смертный грех заключается в *пожелании* [54], чтобы Ирландия была свободна; когда священники на деле приглашают людей обращаться в доносчиков и открыто угрожают навести полицию на следы людей, работающих для дела, для которого отцы наши так часто проливали кровь... то мы полагаем, что наш долг сказать народу, что епископы и священники могут быть дурными политиками и еще худшими ирландцами».

Этому номеру суждено было стать последним.

В редакции и конторе «Irish people» был произведен обыск, было захвачено чрезвычайно много рукописей и всякого рода документов и арестованы те лица, которые были в момент прихода полиции, а также те, которые являлись во время или вскоре после окончания обыска. Около 12 человек попало в руки полиции, и эти аресты вызвали другие в Дублине и других городах. Стивенсу удалось бежать из тюрьмы. Он был так важен для дальнейшего движения, что товарищи употребили все усилия для устройства его бегства, и он бежал и продолжал усиленную пропаганду, стоя по-прежнему во главе организации.

Он бежал 24 ноября, за 3 дня до процесса, который, конечно, окончился бы для него (судя по приговорам остальным арестованным) пожизненной или двадцатилетней каторгой.

5

27 ноября 1865 г. под усиленной охраной войск и полиции в Дублине начался процесс фениев, обвинявшихся в составлении заговора с целью отделения Ирландии от Англии путем вооруженного восстания. Этот процесс ожидался в Англии с большим нетерпением и интересом, ибо английское общество склонно было смотреть с тревогой на эту «моральную эпидемию», как некоторые английские органы назвали фенианство. Судоговорение убедило всех, что фенианский заговор довольно широко разветвлен как в Ирландии, так и в Америке, и в Австралии среди тамошних ирландцев; процесс Льюби, кончившийся присуждением его к двадцатилетним каторжным работам, и ряд процессов других лиц, непрерывной вереницей следовавший с конца 1865 г. и продолжавшийся в 1866 г., привел английское правительство к нескольким заключениям: во-первых, что цель фениев исключительно или преимущественно политическая — образование самостоятельной ирландской республики; во-вторых, что ряды фениев пополняются, главным образом из среднего городского населения — ни аристократия, ни крестьянство почти не замешаны в движении; в-третьих, что фенианство отличается от предшествующих движений своим враждебным отношением к католическому духовенству, не говоря уже, конечно, о духовенстве англиканском, которое они считают одним из столпов чужеземного владычества; в-четвертых, что обильные денежные вспомоществования фении получают именно из Америки; наконец, в-пятых, что «святотатственные планы» фениев освобождения от Англии не представляют слишком грозной опасности ввиду равнодушия к их делу многочисленнейшего слоя населения — крестьян-арендаторов. Профессиональные шпионы и случайные предатели (например

из числа служивших при редакции «Irish people» посыльных и т. п.) продефилировали перед судьями во всех этих фенианских процессах и давали уличающие показания; фении резко подчеркивали на суде сущность и правоту своих убеждений; присяжные неуклонно выносили обвинительные приговоры, а судьи столь же неуклонно постановляли многолетние приговоры в каторжные работы. Аресты шли за арестами; своего рода доносительный спорт свирепствовал в Ирландии. Положение фениев было тем труднее, что на самом деле темному крестьянину были не понятны и казались не нужны их цели, и уже в 1866—1867 гг. многие из них начали приходить к заключению, что на общее восстание во имя сепаратизма политического рассчитывать трудно. Вместе с тем в парламенте, где из года в год ирландские члены старались обратить внимание на прогрессирующую нищету страны, на эмиграцию (ежегодно) 120 тысяч человек, на уменьшающееся народонаселение, все подобные указания не обращали на себя ни малейшего внимания. Что же касается до деятельной ловли фениев и ссылки их в каторгу на сроки от 5 до 20 лет, иногда только за участие в одном из кружков фенианского заговора, то парламент всецело одобрял эти действия. В начале 1866 г. ирландский депутат О'Доног убеждал парламент не верить вице-королевским писаниям, будто начинающееся в Ирландии смутное брожение объясняется фенианством: фенианство есть плод раздражения общества, а не наоборот. Он убеждал обратить внимание на положение страны, но из этих убеждений ничего не вышло. Другой депутат (Блэк) заявил в парламенте же, что в каторжных тюрьмах с фениями обходятся возмутительно жестоко. На это он получил с правительственной стороны ответ, что с фениями обращаются не иначе, нежели с другими арестантами. Другие ирландские депутаты осуждали цель и средства фениев, но указывали правительству на необходимость произвести хоть умеренные реформы, и прежде всего уничтожить государственный характер англиканской церкви в Ирландии, ибо это установление является оскорблением для всего народа, почти сплошь католического или в небольшой части пресвитерианского, а затем озаботиться ограничением лендлордов в праве изгонять фермеров с их участков. Все это также было оставлено парламентом без уважения. Зато 16 февраля лорд Россель заявил, что правительству необходимы еще полномочия для более успешной борьбы против фенианской агитации, и *в один день*, в субботу, 17 февраля (1866 г.), билль о приостановке действия акта habeas corpus в Ирландии прошел через обе палаты, в воскресенье, 18-го, был подписан королевой Викторией, и с понедельника уже вице-король на законнейшем основании начал хватать всех подозрительных или просто неудобных лиц, с уликами и без улик, всех полов и возра-

стов. Движение терпело сильные удары; личный его состав был ослаблен, многие бежали в Америку, многие сидели в тюрьмах, другие прятались; но все-таки фении не падали духом. Ставшее у власти (со 2 августа 1866 г.) министерство лорда Дерби деятельно продолжало искоренение фенианского заговора. Была назначена награда в 2 тысячи фунтов всякому, кто предаст Стивенса, скрывшегося главу фениев. Новые полки были посланы в Ирландию, берега охранялись дозором из военных судов, так как боялись высадки фениев из Америки. Непрерывные обыски открывали среди ремесленников, мелких торговцев и вообще среди городского населения много припрятанного оружия. Обладатели, конечно, засаживались в тюрьму, но слухи о готовящихся частичных вспышках не переставали циркулировать по Ирландии. Были арестованы склады оружия, аммуниции, патронов, револьверов, шашек и тому подобного на нескольких задержанных и обысканных пароходах, шедших из Америки. У некоторых арестованных находили большие суммы денег, происхождение которых они отказывались объяснить. Стивенс и его уцелевшие друзья проявляли огромную деятельность, но работа их становилась все труднее. Чем меньше оставалось надежды на поднятие всенародного восстания, тем острее становилось ожесточение среди некоторых фенианских кружков. Аресты непрерывно продолжались.

В сентябре (1867 г.) манчестерская полиция задержала двух лиц, говоривших с ирландским акцентом и проходивших по улице в 3 часа ночи. При аресте они пытались выхватить заряженные револьверы, но это им не удалось. Они назвали себя вымышленными именами, но полиция получила основание предполагать, что это двое из выдающихся фенианских вождей Келли и Дизи. 18 сентября Келли и Дизи после вторичного предварительного допроса судьей были посажены в арестное помещение в здании суда впредь до прибытия тюремной кареты, которая должна была приехать за ними. Уже когда эта карета подъезжала к зданию суда, полиция заметила двух подозрительных людей, следивших за происходящим на улице, и пыталась задержать их. Один полицейский бросился на одного из подозрительных, но тот выхватил кинжал и отбился, другой тоже за это время скрылся. Ввиду этого были приняты чрезвычайные предосторожности, так как возникло подозрение, что фении нападут на карету с целью отбить Дизи и Келли. Поэтому Дизи и Келли были закованы в кандалы и уже скованными посажены в карету, которая и помчалась в тюрьму. Карету сопровождало 7 полицейских, не считая кучера, а также за ней ехал экипаж еще с 4 полицейскими чиновниками. Когда карета подъезжала к железнодорожному мосту к ней бросилось 10 или 12 человек, причем у всех было по револьверу в руках. Один из

них, казавшийся предводителем, приставив револьвер к груди кучера, приказал остановить карету, и почти одновременно грянул выстрел, за которым один за другим быстро последовали новые и новые выстрелы. Нападавшие вскарабкались на карету, переранили растерявшихся полицейских, бо́льшая часть которых бежала прочь в совершенной панике, и стали вышибать ломами двери кареты. Оправившиеся полицейские, вспомоществуемые толпой, которая собралась на шум стрельбы, бросились на фениев, но были ими отброшены назад, так как фении стреляли непрерывно изо всех своих револьверов. Разбив одну внешнюю дверь, фении ворвались внутрь кареты и потребовали у сержанта Бретта, сидевшего во внутреннем коридорчике, ключей от отделений кареты. Бретт отказался, после чего был смертельно ранен. У него взяли ключи и отперли двери отделения, где сидели Дизи и Келли. Тотчас же фении вместе с освобожденными бросились бежать с места происшествия. Кое-кто из нападавших был арестован уже во время этого бегства, другие позже. Аресты шли всю ночь, и к утру следующего дня в руках полиции оказалось 23 арестованных, в том числе и вновь захваченные Дизи и Келли.

Это отчаянно-смелое нападение произвело очень сильное впечатление и в Ирландии, и в Англии. В конце концов, впрочем, лишь 5 человек из арестованных было предано суду по обвинению в убийстве, ибо в свалке и страшной сумятице (при нападении на карету) было трудно для свидетелей установить степень участия каждого из остальных. Уже через 35 дней после происшествия в Манчестере начался суд над 5 фениями — подсудимыми по самой тяжкой категории. Все пятеро были признаны виновными и приговорены к смертной казни через повешение. В своей последней речи к суду один из обвиненных, Эллен, между прочим сказал: «Милорды и джентльмены! Я умру гордо и торжествуя, для защиты республиканских принципов и свободы угнетенного и порабощенного народа... Я не боюсь наказания, к которому присужден... Я горжусь своей страной и своим местом. Милорды, я кончил». Приговор для двух осужденных был смягчен, а Эллен, Гульд и Ларкин были повешены 23 ноября (1867 г.) в Манчестере, в присутствии колоссальной толпы. Были приняты большие предосторожности, потому что фении в угрожающих письмах обещали поджечь Манчестер. Перед смертью осужденные хотели говорить к народу, но им помешали.

Фенианские круги были страшно возбуждены этой казнью В Манчестере, Корке, Дублине и других городах произошли уличные демонстрации и шествия в честь казненных. Процессия в Манчестере (около 3 тысяч человек) прошла по улицам с пением похоронного марша; полиция не вмешивалась. В Корке

в демонстрации приняло участие от 12 до 15 тысяч человек. Самая грандиозная уличная манифестация в память Эллена, Гульда и Ларкина состоялась в Дублине: по словам современных отчетов, всякий чужой человек, попав в день манифестации в Дублин, мог бы подумать, что город — в руках фениев. Все это происходило 1 декабря (1867 г.) спустя неделю после казни.

13 декабря в начале четвертого часа пополудни в окрестностях клеркенуэльской тюрьмы раздался страшный взрыв, от которого вылетели стекла в соседних домах. Обширная часть внешней стены тюрьмы взлетела на воздух. От последствий взрыва умерло четверо лиц, находившихся вблизи, около 36—40 человек получило тяжкие и более легкие поранения. Следствие установило, что взрыв произведен был фениями и входил в составленный ими план освобождения двух сидевших в тюрьме товарищей. Были сгоряча произведены аресты и без всяких оснований; хватали и тотчас отпускали арестованных. Была обещана денежная награда и полное прощение за всякие преступления всякому лицу, не участвовавшему непосредственно во взрыве, которое выдаст виновных. Но результата не получилось. В конце концов было предано суду 6 человек, причем они все отрицали свою вину, а улики против них были ничтожны. Все были оправданы присяжными заседателями, кроме одного (Баррета), который и был присужден к повешению.

Вскоре после этого события новое потрясло английские власти: близ Куинстоуна (в графстве Корк, в Ирландии) фении напали ночью на одну береговую башню, где и захватили некоторое количество оружия и боевых припасов; сделав свое дело, они удалились и не были разысканы.

Все эти проявления фенианства вносили серьезное беспокойство в настроение правящих кругов Англии. Вот, например, что сказал в начале сессии 1868 г. лорд Стенли: «Есть нечто такое, что в настоящее время, как я предполагаю, на уме у каждого человека, принимающего участие в государственных делах: я имею в виду тяжкое, опасное и, по крайней мере судя по всей видимости, дискредитирующее нас положение вещей, которое, к несчастью, продолжает существовать в Ирландии». Но консерваторы все-таки ничего не нашли более целесообразного, нежели продолжать приостановку habeas corpus и систему произвола в борьбе с фениями. И лорд Дерби, и сменивший его с 26 февраля (1868 г.) во главе того же консервативного кабинета Дизраэли одинаково не хотели обнаружить не словом, а делом, что они знают о существовании каких-либо иных мер к успокоению Ирландии, кроме чисто полицейских. Но 1868 год был все равно уже концом консервативного правления; вождь либеральной оппозиции, Гладстон, быстро шел к власти, а у

него уже была программа действий, нужных, как он думал, для органического внутреннего ослабления фенианства, для лишения его той атмосферы и тех питательных соков, без которых всякое революционное дело мертво, для лишения фенианства сочувствия средних кругов в настоящем и общенародного сочувствия в будущем.

«Мы редко имели реформы без предшествовавшего взрыва»,— с горечью сказал Мак-Карти, так глубоко изучивший природу англо-ирландских отношений. То, что не хотели сделать консерваторы, сделал Гладстон.

6

Чтобы нейтрализовать угрожающую силу фенианства, чтобы воспрепятствовать ему соединить в своих рядах большие общественные группы, чтобы предупредить возможность для фенианства стать главным выражением общенациональной борьбы, Гладстон сделал Ирландии две уступки, провел две меры, которые, собственно, вовсе не стояли у фениев в программе требований, но, не имея именно вследствие этого обстоятельства оскорбительного для правительства характера вынужденных уступок, могли вместе с тем на самом деле способствовать до известной степени общему понижению революционного духа в народе и в образованном обществе. Одна из этих мер касалась отделения англиканской церкви от государства в Ирландии, а другая являлась некоторой попыткой затруднить проявления лендлордского произвола.

Что касается первой меры, то она с давних пор диктовалась как логикой жизни, так и ясно выраженными желаниями ирландского общества.

Дело в том, что, по удачному выражению Мак-Карти, англиканская церковь в Ирландии благодаря своему характеру церкви господствующей, государственной была для ирландцев всегда своего рода шляпой Гесслера, символом угнетения. В самом деле: считать в Ирландии государственной такую церковь, с которой ничего не имеет общего никто, кроме небольшой группы населения, являлось большой странностью и несообразностью, и притом унизительной для большинства народа. Но, кроме того, англиканская церковь в Ирландии владела огромными имуществами, ее служители пользовались огромными доходами, несмотря на то, что число их прихожан сводилось в большинстве приходов к ничтожной цифре. Все это сопоставлялось с весьма скудным и плохо обеспеченным положением католического духовенства и, конечно, усиливало во все эпохи ирландской истории антибританские чувства. Маннинг справедливо писал Гладстону: «Это (т. е. государственный характер англиканст-

ва — *Е. Т.)* усложняет горечью каждый другой вопрос. Даже земельному вопросу это придает характер особого озлобления. Фатальное преобладание одной расы над другой отягчается преобладанием одной религии над другой». Правда, со времени уничтожения сбора десятины с католического населения в пользу англиканской церкви [55] исчезло то особое революционное течение, которое этим сбором возбуждалось, но все-таки Маннинг, писавший вышеприведенные слова в 1868 г., глубоко проник в самую сущность вопроса. Нужно было довершить начатое дело, уничтожить эту раздражающую ирландцев и *не нужную* английскому парламенту историческую аномалию. Гладстон начал кампанию в пользу уничтожения государственной церкви в Ирландии еще до выборов 1868 г., т. е. еще будучи в оппозиции, но твердо зная, что власть вскоре перейдет в его руки. В парламенте успешно прошли его предложения, уже явно готовившие задуманную реформу. Со стороны консерваторов были сделаны попытки воспротивиться, но все было тщетно: большинство в 330 голосов против 265 высказалось за Гладстона, и Дизраэли распустил парламент.

Консервативное правительство не желало допустить столь важной реформы без апелляции к стране. Консерваторы укоряли Гладстона в том, что он испугался фениев, что, предлагая угодные ирландцам реформы тотчас после фенианских действий, он как бы «назначает премию» за преступления и т. д. Но Гладстон знал хорошо, что он делает; раз выступив в области ирландской политики, он уже во всю остальную свою деятельность не переставал придерживаться принципа всегда, когда дело шло об Ирландии: давать ирландцам сначала то, что легче дать (например уничтожение государственного характера англиканства), затем то, что труднее (аграрные реформы на все более и более широких основаниях), и наконец, то, что дать труднее всего,— самоуправление. И все это, конечно, лишь тогда, когда дарование подобных реформ станет, по его мнению, совершенной необходимостью. По этому плану Гладстон, собственно, и действовал или старался действовать в течение всей своей политической карьеры, начиная с 1868 г.

Итак, состоялись поздней осенью того же 1868 г. общие выборы, причем платформой либералов было уничтожение государственной церкви в Ирландии. Либералы одержали полную победу, и Дизраэли, не ожидая открытия парламента, подал в отставку, а уже 1 декабря 1868 г. королева пригласила Гладстона образовать кабинет. «Моя миссия — успокоить Ирландию»,— сказал он, узнав, что генерал Грей едет к нему с письмом от Виктории. На предполагаемую реформу он смотрел, по собственному признанию, как на «условие, необходимое для успеха всякой меры, направленной к обеспечению спокойствия и

удовлетворению этой страны», т. е. Ирландии, и соответствующий билль не заставил себя долго ждать. Премьер быстро работал над последней отделкой законопроекта, и уже 1 марта (1869 г.) предложение Гладстона было внесено в палату общин. Оно сводилось к тому, что епископальная протестантская церковь в Ирландии объявлялась совершенно отделенной как от епископальной (государственной) церкви в Англии, так и от правительства Соединенного королевства. Из принадлежащих ирландской епископальной протестантской церкви 16 миллионов фунтов около половины (от 8 до 9 миллионов) предназначалось на удовлетворение и вознаграждение лиц и учреждений, материальные интересы которых затрагиваются этой реформой, а остальная сумма отходила в виде фонда на нужды благотворительности, на помощь населению в случае тех или иных неотвратимых бедствий и т. п. 24 марта билль прошел во втором чтении большинством 368 голосов против 250. Страшное возбуждение и негодование доносилось до Гладстона со стороны духовных лиц епископальной церкви в Ирландии. Не материальные убытки их страшили, а потеря того престижа, который им давало их «господствующее» положение. Многие из них называли министерство «кабинетом разбойников», другие намекали на необходимость сопротивляться вооруженной рукой... Ничего не помогло. 31 мая билль победоносно прошел в третьем чтении и затем поступил в палату лордов. Здесь борьба была труднее; лорды отчаялись в возможности совсем похоронить билль, но они решили зато насколько мыслимо увеличить материальные блага, которые должны остаться за церковью. Билль возвратился в палату общин после изменений, потребованных палатой лордов, но Гладстон, согласившись на самые небольшие денежные прибавки в пользу церкви, отверг главные требования лордов, и палата общин с ним согласилась. При новом обсуждении билля в палате лордов снова вышли затруднения; палата лордов, как и всегда при всяких прогрессивных начинаниях, играла роль тормоза. Но были пущены со стороны правительственной партии и вообще либералов угрожающие слухи, о назначении новых пэров королевой по совету Гладстона, чтобы набрать в верхней палате достаточно голосов для проведения реформы, угодной большинству народных представителей, но не угодной кучке наследственных законодателей.

Тем не менее это было даже не определенной угрозой, а именно лишь слухами; до такого мероприятия, крайнего из всех конституционных средств, не дошло. Не добившись сколько-нибудь серьезных уступок, лорды уступили, и 26 июля (1869 г.) акт об уничтожении государственного характера епископальной церкви в Ирландии был подписан королевой.

Впечатление, произведенное этим актом на католическое духовенство в Ирландии, было самым отрадным; он вызвал в этой среде чувство, близкое к энтузиазму. При том огромном влиянии, которое католическое духовенство имело в ирландском народе, Гладстон мог только радоваться непосредственным результатам своей политики, тем более, что и все более образованное городское население Ирландии также не скрывало своего удовольствия по поводу «закрывшейся раны», заставлявшей страдать национальное самолюбие. Но эта реформа была лишь первым шагом; вторым должна была стать попытка облегчить материальное положение многочисленнейшего слоя ирландской нации — крестьян-арендаторов.

Выступая на дорогу аграрного законодательства, Гладстон, стремясь к цели умиротворения Ирландии, был, собственно, пионером, ибо с самой унии 1800 г. никогда английские правители не проводили и даже не составляли законов, которые бы имели прямой своей задачей арендаторские, а не лендлордские интересы. Почти тотчас же после окончания сессии 1869 г., принесшей отделение церкви от государства в Ирландии, Гладстон с отличавшей его жаждой творческой законодательной работы принялся за подготовку билля о земельных ирландских отношениях. За предшествовавшее десятилетие (1861—1870 гг.) 47 тысяч семейств арендаторов было выгнано лендлордами вон под разными предлогами и за разные провинности (главная — неплатеж или неаккуратный платеж арендной платы). Гладстон хорошо понимал, что люди, обрекаемые на голодную смерть, несомненно в состоянии из своей среды сильно пополнить и кадры фениев, и ряды «лохмотников», «белых парней», и других аграрно-революционных организаций. «Перед нами кризис, великий кризис»,— писал он по поводу ирландского земельного билля, подготовлявшегося им осенью 1869 г. Старый премьер прямо заявлял, что фенианизм многому его научил; вот почему он и не остановился на церковной реформе, а спешил приняться за реформу земельную.

К началу 1870 г. проект был выработан Гладстоном, и он написал письмо королеве, прося ее немедленно открыть парламент, именно чтобы тотчас же заняться ирландскими делами... «Состояние Ирландии,— пишет он между прочим в этом замечательном письме,— есть (для Англии — *Е. Т.)* опасность, настолько абсолютно превосходящая всякую иную, что я называю ее единственной реальной опасностью, угрожающей благородной империи королевы». Особенной оппозиции Гладстон не нашел ни в прессе, ни в обществе, ни в парламенте: общественное мнение довольно ясно понимало необходимость что-нибудь сделать для Ирландии, тем более что и самая реформа радикализмом отнюдь не отличалась.

Сущность билля сводилась к тому, что лендлорд обязывался в случае изгнания арендатора вознаградить изгоняемого за все, что было сделано арендатором на ферме и что способствовало улучшению фермы; для осуществления этого права арендатор подает заявление в суд, который и определяет, должен ли лендлорд выдать вознаграждение в данном случае, и если должен, то в каком размере; мало того, в случае если лендлорд изгоняет арендатора, исправно платящего ренту и ничем не нарушающего условий контракта, то лендлорд обязан, кроме платы за улучшения, заплатить арендатору еще особую сумму, по известной расценке, определяемой статьями билля. Эти дела также рассматриваются и решаются судами. Кроме того, билль предусматривал обязательную помощь со стороны казны тем арендаторам, которые захотели бы выкупить землю в собственность: казна выдавала до двух третей стоимости участка, причем эта сумма с процентами выплачивалась затем арендатором (новым собственником).

Этим актом вводится новый принцип в аграрное законодательство: признание известных прав арендаторов на собственность лендлорда, именно на улучшения, сделанные ими на лендлордской земле. В Эльстере это воззрение, правда, давно уже имело силу, но акт 1870 г. освятил и распространил его на всю Ирландию. Вот почему Лекки, Морлей, Селливан и другие политические и литературные критики этого акта склонны признавать за ним революционное значение. Но непосредственное практическое значение его было, как сейчас увидим, слабо. Уже тогда Гладстону предлагали ввести в его билль правило, чтобы *суды* назначали «справедливую ренту», а не лендлорды по своему произволу, но убедить в этом парламент 1870 г. Гладстон не понадеялся. «Для этого потребовалось еще десять лет (ирландской — *Е. Т.)* агитации»,— замечает Морлей. Билль Гладстона прошел через обе палаты без особенно яростных нападений и стал законом 1 августа 1870 г., когда его подписала королева.

7

Фенианское движение после судорожных проявлений конца 60-х годов, в течение всего следующего периода (т. е. с начала 70-х годов, до начала 80-х) как бы утихло. Нельзя сказать, чтобы положение Ирландии особенно улучшилось; земельный акт 1870 г. уже сам по себе не обеспечивал арендатора от ненормально высокой ренты, которую лендлорд имел всегда возможность установить хотя бы только затем, чтобы выжить арендатора на «законном» основании (ибо выгонять без объяснения причин исправного плательщика стало после акта 1870 г. слишком убыточно ввиду установленного правила о вознаграждении

в подобных случаях). Что же касается до обязательного при *всяких* обстоятельствах вознаграждения изгоняемого арендатора за произведенные им улучшения на его участке, то ведь еще нужно было доказать перед судом, что такие улучшения сделаны арендатором, а не самим лендлордом; доказывать же это при юридической беспомощности крестьян перед неизменно расположенными в пользу лендлорда судьями являлось делом крайне затруднительным. Когда же в 1874 г. пал Гладстон и консервативный кабинет стал у власти, тогда и высшая, и низшая администрация, почти сплошь враждебная гладстоновскому акту, делала еще и от себя все зависящее, чтобы свести постановления акта к нулю и оставить фактически власть лендлорда вполне неприкосновенной.

После 1870 г. Ирландия некоторое время перестала о себе особенно тревожно напоминать, и ни Гладстон (до 1874 г.), ни консерваторы (с 1874 г.) ничего решительно уже в ее пользу за все это десятилетие не предприняли. Гладстон откровенно заявил в таком духе уже перед самой своей смертью (в 1897 г.) О'Бриену, что нечего греха таить — забыли об Ирландии в эти годы. Английские внутренние преобразования, а особенно внешняя политика ввиду событий на Балканском полуострове, начиная от восстания балканских славян и кончая Берлинским конгрессом и ее дальнейшими отголосками, поглощали все внимание английского правительства. Об Ирландии в 70-х годах забыли потому, что она была относительно спокойна. Несколько сносных урожаев (совершенно независимо от благоприятного впечатления, произведенного уступками Гладстона касательно отделения англиканской церкви от государства и аграрных отношений) много этому временному успокоению способствовали. И опять повторилась обычная картина: парламентская ирландская партия (во главе которой стал с начала 70-х годов Исаак Бьютт) убедительно настаивала на необходимости дальнейших аграрных и политических реформ, причем одним из их доводов был тот, что Ирландия уже менее волнуется и терпеливо ждет. Английское же правительство *именно потому* и не обращало на Исаака Бьютта и его товарищей никакого внимания, что в 70-х годах Ирландия не волновалась и обнаруживала полное терпение. Выходило трагическое qui pro quo, ибо из одного и того же факта обеими спорящими сторонами делались прямо противоположные выводы. Конечно, англичане не были столь откровенны и непосредственны, чтобы тогда же это заявить в оправдание своих отказов Исааку Бьютту, но от этого сущность дела нисколько не менялась.

Чего же домогались Исаак Бьютт и его товарищи — ирландские депутаты в английском парламенте? Сын протестантского священника, юрист по профессии, человек бесспорно честный,

искренно всегда болевший душой об Ирландии, Исаак Бьютт давно уже занимался изучением аграрных отношений и был известен на родине. Он прославился, выступая в нескольких замечательных процессах в качестве умелого защитника и талантливого оратора; он защищал некоторых подсудимых в процессах «Молодой Ирландии» в 1848 г.; он же защищал на суде некоторых фениев в процессах 1865 и 1867 гг. Он совершенно не надеялся на успех конечных целей фениев, хотя (в начале, а не в конце 70-х годов) с уважением относился к их самоотвержению, к высоте и твердости их моральных устоев, к духу бескорыстного протеста, одушевлявшего их. Вот что между прочим сказал Исаак Бьютт о фениях в одной публичной речи в 1873 г.: «М-р Гладстон сказал, что фенианизм научил его тому, как интенсивно раздражение в Ирландии. Меня фенианизм научил большему и лучшим вещам. Он научил меня глубине, широте, искренности той любви к отечеству, которую дурное управление измучило и довело до раздражения и которой дурное же управление, доведя людей до отчаяния, придало размеры возмущения». Но в методы фениев он не верил, воскрешения их деятельности не желал и безуспешность своих стараний никогда не пытался объяснить недостаточностью своих собственных методов. Требования Исаака Бьютта сводились к следующему: в области аграрных отношений ему представлялось необходимым, во-первых, обеспечить фактически и на более прочных основаниях арендатора от опасности изгнания с участка; во-вторых, размеры ренты должны быть определяемы не лендлордом, а судом или специальными комиссиями, причем в расчет должна приниматься стоимость земли *без* тех улучшений, которые произведены на ней арендаторами, и такую «справедливую ренту» следует определять на известный период времени; в-третьих, арендатор должен получить право, когда угодно и кому угодно продать свое право землепользования, причем все права и обязанности продавца переходят к покупателю. Эта программа «трех F» (Fixity of tenure, fair rent, free sale) развивалась с урезками или добавлениями в том или ином виде уже давно, но Бьютт представил ее в систематическом виде и популяризовал в населении. Тем не менее соответственные билли, вносимые Бьюттом и его партией в 70-х годах, неизменно проваливались: парламенту казалось не нужным торопиться с этой реформой.

Политическим идеалом Бьютта был гомруль, автономия Ирландии для всех ее внутренних дел. Но идея эта, конечно, имела еще меньше шансов осуществиться, нежели программа «трех F», и энтузиазма в эти серые годы ни в ком не пробудила. Агитация в пользу гомруля велась особенно систематически с 1873 г., а в 1874 г. были сделаны Бьюттом шаги к созданию

в парламенте из находившихся там депутатов особой «совершенно независимой ирландской партии», ибо такой партии в точном смысле парламентская группа ирландцев до сих пор не составляла. Правда, до появления Парнеля это являлось переменой только по имени, ибо на деле ирландская партия ни в чем своей совершенной независимости не выказала. Вообще прав Девитт, когда он пишет, что «Исаак Бьютт будет жить в ирландской политической истории не как парламентский деятель, но как основатель движения в пользу гомруля и приверженец земельной реформы». Действительно, после крушения попытки Даффи, Лэкэса и их товарищей в 50-х годах, идея аграрной реформы в Ирландии оставлена была несколько в тени, и, например, фении совсем почти ею не интересовались. Деятельность Исаака Бьютта оживила ее и подготовила до известной степени почву для агитации «земельной лиги» конца 70-х годов.

Со второй половины 70-х годов в Ирландии понемногу начало чувствоваться как бы снова общественное оживление. В парламенте появился Парнель, замечательный оратор, первостепенный организатор, энергичнейший и талантливый человек, какого давно уже Ирландия не присылала в палату общин. Весной 1875 г. Парнель впервые явился в палате; выступил же более или менее активно только с 1877 г. Между ним и Исааком Бьюттом сразу установились отношения холодные; и по натуре, и по воззрениям эти люди слишком между собой расходились. Нужно еще сказать, что к концу 70-х годов Бьютт и особенно его товарищи-депутаты стали к деятельности фениев относиться еще отрицательнее, чем прежде: как-то исчез или стушевался прежде бывший у них элемент положительного отношения к этим людям. Мы бы даже готовы были назвать это отношение к фенианству иногда прямо враждебным. Что касается Парнеля, то он с самого начала своей деятельности преследовал цель возможно более широкой кооперации всех оппозиционных и революционных элементов в борьбе против общего врага. Парнель и небольшая группа, отдалившаяся от Бьютта, решили начать активную борьбу с парламентом. В 1877 г. началась та парламентская обструкция Парнеля, которая положила начало новой эре ирландской борьбы. Он всячески тормозил сессию и вызвал вопли негодования и в парламенте, и в английской прессе. Он решил тормозить и впредь конституционную жизнь, пока парламент будет глух к нуждам и желаниям Ирландии. Разом все заговорили о молодом деятеле. Политика холодной вражды к Англии, политика сознательного причинения врагу возможно большего вреда сразу как бы заставила очнуться и правительство, и Англию, и Ирландию. Но, конечно, это было лишь началом; все-таки общество еще только начинало в Ирландии пробуждаться после нескольких лет апатии; все-таки еще должны

были быть пережиты неурожаи 1877—1879 гг., чтобы снова всколыхнулся и весь народ. Но «надвигающиеся события уже бросали впереди себя тень», наступавшая эпоха борьбы уже давала о себе знать, высылая вперед нужных людей, своих героев и деятелей.

Прежде всего должен был решиться вопрос о лидерстве. Новое настроение, уже слагавшееся в 1877—1878 гг., требовало и новых лиц. Парнель своими качествами, своим ораторским даром, железной волей, уменьем подчинять себе людей, холодной самоуверенностью, всей своей натурой урожденного повелителя, и прежде всего своим боевым настроением, своим смелым планом обструкции, своим уменьем импонировать народным массам, в глазах многих вполне заслужил, несмотря на молодость, занять место ирландского лидера. Борьба между приверженцами старого Исаака Бьютта и Парнеля была кратковременна: в 1878 г. эта борьба явственно решилась в пользу Парнеля. Бьютт умер в начале 1879 г. Новые люди «стали у руля» ирландского корабля. Наступала новая эпоха, начатая неурожаями, продолженная кровью и виселицами.

8

Парнель в парламенте, а Девитт в стране выступили почти одновременно, и обстоятельства необыкновенно облегчили представлявшуюся им задачу: дать новое содержание политической жизни ирландской оппозиции и вдохнуть новую энергию в национальное движение. Сепаратистский идеал фениев, не успевших в своих усилиях, не желавших вводить в свою программу никаких более или менее определенных планов аграрной реформы, тускнел все более и более, ибо народные массы не были им заинтересованы, а парламентские дела под руководством Исаака Бютта шли у ирландской партии вяло, так безнадежно, что перестали понемногу почти вовсе привлекать к себе внимание оппозиционно настроенных кругов ирландского общества. Надоели также донельзя и бесконечная полемика, и разговоры об относительных достоинствах легальной и революционной борьбы, взаимные укоры фениев и парламентариев, а между тем, как и во все эпохи в Ирландии, все сознательные и искренние люди были в большей или меньшей мере настроены оппозиционно, понимали ясно, что бороться с прогрессирующим обнищанием и хронической голодовкой страны они обязаны, что новая теоретическая и практическая программа делается совершенно неотложной потребностью. И когда в 1878 г. Парнель стал признанным лидером парламентской ирландской партии, у Девитта окончательно созрел план организовать полулегальное-полуреволюционное движение среди населения на почве тре-

бования аграрной реформы, чтобы таким путем сделать большинство ирландской нации активной силой, действующей армией, как бы всегда готовой поддержать требования парламентских представителей ирландского народа. Парнелю и Девитту (который скромно отводит тут первенствующую роль Парнелю) удалось начать подготовление той соединенной атаки на лендлордов и на английское правительство, которая сделала 1878—1891 гг. таким памятным временем новейшей ирландской истории. Гомруль им удалось соединить с самыми задушевными и сильными желаниями крестьянского сердца, и англичане сразу почувствовали, насколько «скомбинированное» нападение на всю их государственную и экономическую систему опаснее для них, нежели нападения разрозненные. Вожди поколения 80-х годов ставили и решали проблему так. В Ирландии до сих пор (т. е. до конца 70-х годов) постоянно чередовались два течения: одно — «физической силы» (physical force), т. е. революционное, другое — «моральной силы» (moral force), т. е. рассчитывавшее на мирную агитацию и конституционные средства. Революционная угроза волонтеров 1782 г. дала Ирландии самоуправление; мирная агитация 1780-х годов не привела почти ни к чему; восстания Тона и Фицджеральда (1798 г.) и Эммета (1803 г.) не привели ни к чему; мирная агитация О'Коннеля привела к эмансипации католиков, но тут он пожал плоды действий революционеров предшествовавшего и современного ему периодов; дальнейшая мирная агитация в пользу отмены уже не привела ни к чему; революционная попытка «Молодой Ирландии» не привела ни к чему; мирная борьба лиги арендаторов в 50-х годах не привела ни к чему; революционная борьба фениев в 60-х годах не привела ни к чему; конституционная деятельность Исаака Бьютта в 1870-х годах не привела ни к чему. Комбинируя цели — политическое самоуправление и коренную аграрную реформу,— необходимо (говорили новые деятели, выступившие в конце 70-х годов) скомбинировать и средства, которые в былые годы оттого и были бесплодны, что пускались в ход слишком разрозненно. Образ действий Парнеля в парламенте сильно подготовил почву для дружественной кооперации революционных и нереволюционных течений. Едва ли не впервые ирландская речь в палате общин потеряла даже отдаленные признаки какого бы то ни было сервилизма; насколько возможно вдохнуть революционный дух в парламентскую борьбу, настолько Парнель это сделал. Поэтому, когда Девитт поехал в Америку и на ряде митингов в Филадельфии, Нью-Йорке, Нью-Хейвене, Бостоне убеждал и просил революционные элементы о дружеском содействии Парнелю, когда он говорил, что от этого соединения произойдет прежде всего повышение революционного духа во *всей* политической жизни Ирландии, то аудитория его оказалась

очень расположенной ему верить. Программа, предложенная Девиттом в виде, так сказать, почвы для подобной кооперации ирландских партий, сводилась к следующим главным пунктам: 1) главная нужда Ирландии есть нужда в национальном правительстве; 2) ирландская партия в парламенте должна действовать совершенно независимо; 3) необходима агитация в стране в пользу упорядочения земельного вопроса, а также улучшения условий жизни рабочих; 4) необходимо добиваться права носить оружие. Американские фении не только сочувственно отнеслись к этим митингам, но даже приняли на себя организацию некоторых из них. На митинге в Бостоне (8 декабря 1878 г.) вышеприведенная программа Девитта была обстоятельно развита. Между прочим, было выставлено требование немедленного принятия мер к защите фермеров от произвольных изгнаний с арендуемых участков, перехода к системе мелкой крестьянской земельной собственности (посредством выкупа государством земли у лендлордов и распродажи ее мелкими участками либо отдачи в аренду *от государства* сидящим на данной земле арендаторам). Требовалась также отмена всяких стеснений права сходок, права ношения оружия, национализация первоначального народного образования и т. д. В горячей речи Девитт убеждал фениев в пользе для их же дела внесения в их программу социально-экономических требований, которые сделали бы и идею политического сепаратизма близкой и понятной голодному и темному деревенскому уму. Влиятельные фенианские вожди (Дьюой, О'Рилли) обнаружили полную готовность содействовать осуществлению программы Девитта и поддерживать также и «конституционалистов», если они покажут себя в парламенте принципиальными борцами за самостоятельность ирландской нации, и прежде всего, если они без всяких компромиссов будут бороться против каких бы то ни было попыток английских властей проводить ограничительные и «усмирительные» законы для Ирландии. Но планы Девитта встретили оппозицию в Чарльзе Киккэме, старом сподвижнике Стивенса и О'Лири, о котором мы упоминали, когда речь шла о первых годах фенианства. Киккэм яростно напал на Дьюоя и других товарищей за их мысль оказать поддержку парламентариям, от которых никогда ничего Ирландия дождаться не может, за их «беспринципное» поведение и т. д. Американские фении склонялись в пользу проектируемой кооперации, фении же ирландские разделяли пока в большинстве воззрения Киккэма. Они боялись, что фенианство окончательно распадется, если исчезнет резкая и точная демаркационная линия между их партией и парламентариями. В конце концов, после долгой полемики и переговоров, фенианская организация отклонила принятие программы Девитта, но этот «официальный», так сказать,

неуспех не обескуражил ни Парнеля, ни Девитта, ни их друзей: они были слишком уверены не только в поддержке огромных народных масс, которые остались глухи к фенианской проповеди, но и в том, что если не «официально», то фактически фении, разумеется, будут их поддерживать всеми своими средствами, ибо по существу дела всякая революционная сила должна была идти на пользу экономической и политической эмансипации ирландского народа от англичан.

Периодически оживающий в Ирландии в неурожайные годы аграрный террор сказывался совершенно независимо и от фенианства, и от планов Девитта уже с конца 1870-х годов. Были убийства некоторых особенно ненавистных лиц; в апреле 1878 г. погиб от руки убийц лорд Лейтрим, богатейший помещик, с сопровождавшими его слугами. Причиной покушения послужила месть брата одной крестьянской девушки, обесчещенной лордом Лейтримом. Дело в том, что зависимость некоторых категорий фермеров от лендлордов была до самого последнего времени поистине ужасающей: страх быть прогнанным, страх смерти от голода заставлял многие несчастные семьи приносить землевладельцу какие угодно жертвы, и обесчещение женщин не являлось в Ирландии совсем уже феноменальной редкостью. Вся округа прекрасно знала, кто убийцы и где они скрываются, но никто ничего не сказал и не раскрыл, и никто не пострадал по этому делу. В газетной полемике и в дебатах, происшедших по поводу этого случая в палате общин, лишний раз перед английским общественным мнением раскрылись язвы ирландской земельной системы; в Ирландии же убийство Лейтрима послужило причиной дальнейшего возбуждения и агитации среди крестьянских масс.

Эта агитация велась крестьянами самими, и она сильно расчистила путь Девитту и его товарищам. Девитт решил воспользоваться растущим антилендлордским настроением и по поводу одного из многочисленных случаев притеснения фермеров собрал в Айриштоуне 19 апреля 1879 г. огромный митинг, явившийся как бы отправной точкой для вскоре затем образованной «земельной лиги». На митинге поддерживались не требования Исаака Бьютта о «справедливой ренте», о закреплении арендуемых участков за фермером в той или иной степени и форме, о праве фермера продать до срока аренды пользование своим участком другому лицу и так далее, но о том, что ирландская земля так или иначе должна стать *собственностью* обрабатывающего ее народа, и что эксплуатация фермеров лендлордами должна быть не уменьшена, не ограничена, а уничтожена радикально и навсегда. Семь тысяч собравшихся на митинг разошлись с криками: «Долой лендлордизм! Земля — для народа!».

Движение все более охватывало Ирландию. Фении, несмотря на несогласие многих из самых уважаемых своих вождей со взглядами Девитта, приняли живейшее участие в организации новых и новых митингов, которые бы по образцу айриштоунского могли распространить идею необходимости немедленной борьбы всеми средствами против царящей земельной системы. К великому восторгу Девитта Парнель обнаруживал все бо́льшую и бо́льшую внимательность к движению, несмотря на то, что ему как лидеру ирландской партии в парламенте, да и во всех вообще отношениях чрезвычайно важна была поддержка католического духовенства, которое и к аграрному движению уже проявило свою враждебность. Парнель приехал, например, на устроенный Девиттом уэстпортский митинг, где собралось около 8 тысяч человек. Его сопровождала к месту сборища почетная «гвардия» из 500 верховых, и весь митинг, ввиду присутствия этого необыкновенного человека, уже тогда оказывавшего огромное влияние на всю страну, прошел особенно приподнято и торжественно. Парнель в своей речи призывал общественное мнение стать активным и карающим судьей всякого лендлорда, который выселит арендатора. «Вы не должны позволить лишить вас имущества, как это было сделано с вашими отцами в 1847 году»,— сказал он между прочим. Девитт призывал к необходимости приступить немедленно к организации специально арендаторских обществ для активной поддержки каждого из своих членов в борьбе против произвола лендлордов.

Призрак голода снова вставал над Ирландией. 1879 год в смысле урожая был еще хуже предшествовавшего, и уплата арендной суммы для многих стала совершенно немыслимой. «Не платите аренды!» — таков был популярный лозунг, раздававшийся в наиболее угрожаемых голодом местностях. Митинги Девитта и его приверженцев шли своим чередом и становились все более и более многолюдными. Наконец, 16 августа 1789 г. в Кэстльбэре собралось специально созванное Девиттом собрание для выработки организации и формулировки общих принципов «национальной земельной лиги в Мэйо», которую и решено было провозгласить на этом собрании как новое особое политическое общество с вполне определенными задачами.

На кэстльбэрском собрании Девитт напомнил цифры, приводившиеся экономистами и исследователями ирландских отношений. «Свыше шести миллионов акров ирландской земли принадлежит менее нежели тремстам лицам, из которых двенадцать человек владеют 1 297 000 акрами, в то время как пять миллионов ирландского народа не владеют ни единым акром». Девитт заявлял, что подобная система, истребляющая ирландский народ, терпима быть не может, и что арендаторы должны стать

собственниками, а лендлорды пусть получат от государства денежную компенсацию за утрату своих прав на землю.

На собрании этом было решено, что новая лига состоит из фермеров и посторонних лиц, которые согласны содействовать целям и видам этого общества. Цели же, для которых лига образуется, сводятся к следующему: 1) блюсти интересы людей, которых представительством лига служит, и, насколько это в ее силах, защищать их от несправедливостей и капризов со стороны лендлордов, которые бы для того воспользовались своими правами и привилегиями, а также со стороны всякого иного общественного класса; 2) для этой цели лига намерена прибегать ко всяким справедливым, моральным и законным средствам, для того чтобы уничтожить существующую земельную систему и заменить ее такой, которая согласовалась бы с правами и интересами ирландского народа, с традициями и чувствами всей нации; 3) всякая несправедливость, учиненная относительно любого местного фермера (лига ставила себе первоначальным полем деятельности область Мэйо), должна разоблачаться и преследоваться лигой. Назначение слишком разорительной арендной платы, изгнание арендатора и всякий иной произвол и притеснения должны предаваться стараниями лиги широчайшей огласке и встречать упорнейшее противодействие, какое только мыслимо без нарушения законов. Печатать и рассылать по стране, а также наклеивать всюду плакаты с извещениями о совершенных притеснениях, с указанием виновников, назначать публичные митинги в возможно большей близости к тем местам, где совершена несправедливость относительно фермера, и обстоятельно выяснять себе обстоятельства дела, публиковать имена не только лендлордов, распоряжающихся выселениями фермеров, но и тех их слуг и полицейских, которые явятся исполнителями их приказаний, и тех новых фермеров, которые сочтут честным занять очищенные участки земли; 4) лига будет, насколько возможно, помогать материально фермерам, пострадавшим от произвола лендлордов; 5) лига озаботится организацией отдельных местных клубов и филиальных отделений для большей быстроты и осведомленности, нужных ей в ее действиях; она озаботится также деятельной устной и печатной пропагандой для повышения уровня познаний фермеров в земельном вопросе.

Эта резолюция была принята (причем ряд влиятельных фениев активно участвовал в ее проведении), и деятельность новой лиги, приуроченной пока к области Мэйо, стала развиваться с быстротой, внушавшей инициаторам движения весьма розовые надежды.

Руководители лиги принялись за дело с бодростью, хотя и не скрывали от себя трудностей его. Темнота, невежество

и забитость фермерской массы поражали их, чем больше им приходилось с этой массой сталкиваться. «Была моральная болезнь, порожденная феодализмом и страхом»,— пишет Девитт, и эта болезнь проявлялась в виде унизительнейшего раболепства фермеров не только перед лендлордами, но перед последним лендлордским приказчиком. Экономическое рабство, вечное сознание, что голодная смерть висит над твоей семьей и не падает на нее, пока это угодно лендлорду, страх быть выгнанным с участка делали ирландца либо непримиримым революционером, либо, если на это не хватало решимости, рабом. Впрочем, обстоятельства с осени 1879 г. складывались так, что первый тип и без помощи новой лиги повсеместно становился более и более распространенным.

Страшные дожди уничтожили урожай, и под влиянием голода революционное настроение быстро росло. Клубы для защиты фермеров быстро организовывались повсеместно, и всюду велись оживленная агитация и полемика против официальных и официозных уверений, что никакого голода нет, а мутят народ «подкупленные агитаторы» (mercenary agitators). В сентябре 1879 г. Девитт и Парнель преобразовали «земельную лигу Мэйо» в «национальную земельную лигу Ирландии». По просьбе Девитта, Парнель согласился быть президентом новообразованной лиги. Любопытную мысль выражал Парнель в частых разговорах с Девиттом: ему казалось, что отдача земли в собственность фермерам *до того,* как достигнуто самоуправление, опасна, ибо мелкие собственники всегда и всюду являются классом, не склонным к политическим переменам и риску; он временами склонялся скорее к идее того или иного приобретения верховного права на землю ирландской нацией как автономной государственной общиной, а затем уже к отдаче этой земли в виде аренды от государства по участкам отдельным фермерам, конечно, на самых лучших для последних условиях. Начавшаяся борьба уже очень скоро привела к одному из непосредственных своих результатов: аресту Девитта, которому угрожала опасность снова попасть на каторгу, ибо срок его «условного отпуска» не окончился, и одновременному аресту некоторых его товарищей. Парнель немедленно организовал митинг для выражения негодования по этому поводу, и на митинг собралась масса вооруженных людей; полиция и войска были мобилизованы, но не пробовали разгонять собравшихся. Судебное разбирательство ни к чему не привело, ибо обвинение в подстрекательстве к восстанию доказано не было; самый же процесс широко популяризовал идеи новой лиги.

Вскоре после того Парнель и Диллон отправились в Америку для устройства агитационных митингов и сбора пожертвований в пользу «земельной лиги».

9

Как мы уже заметили, в программу предлагаемой работы не входит более или менее подробное повторение того, что было уже нами сказано о Парнеле на страницах «Мира божьего» в посвященном ему очерке *. Напомним лишь, что американская поездка Парнеля в 1880 г. сильно помогла одному из самых важных дел его жизни: сближению революционеров с «конституционными» деятелями на почве общей борьбы против Англии. В ряде речей, произнесенных в американских городах, через которые ему пришлось проезжать, он обращался к колоссальным толпам ирландцев и американцев, сбегавшимся послушать знаменитого деятеля, с убедительными просьбами помогать всеми мерами «земельной лиге» в ее деле. Он говорил фениям, главная квартира которых по-прежнему оставалась в Америке, что всякий ирландец, любящий родину, должен быть готов пролить за нее *свою* кровь, но толкать на заведомо безнадежное общее восстание нищее безоружное крестьянство еще нельзя. Парнеля встречали с не поддающимся описанию энтузиазмом. Американское общество, со своей стороны, не уставало приветствовать и чествовать ирландского вождя. Даже официальные лица, губернаторы штатов, посещенных им, принимали участие в торжественных встречах и приемах. Что еще знаменательнее, конгресс пожелал, чтобы Парнель говорил в его присутствии, и представители американского народа с сочувствием выслушали его блестящую речь. За 3 месяца этого путешествия Парнель сделал 16 тысяч миль, посетил 62 города, собрал для «земельной лиги» около 350 тысяч долларов [56]... Быть может, гораздо важнее было то обстоятельство, что фении, за немногими исключениями, решительно примкнули к «земельной лиге», образовали по инициативе Парнеля американскую лигу для сборов и иной помощи в пользу ирландской «земельной лиги» и вообще с этих пор стали самым деятельным элементом в затеянной Девиттом систематической борьбе против лендлордов. Известие о распущении парламента заставило Парнеля прервать свое путешествие и вернуться. Биконсфильд распустил палату, надеясь на победу во время выборов, которая подкрепила бы его положение. Вместо победы жестокое поражение постигло старого премьера, и Гладстон, одержавший полную победу, сформировал либеральный кабинет.

Осенью 1880 г. агитация «земельной лиги» продолжалась без перерыва. 19 сентября 1880 г. Парнель произнес в Эннисе свою знаменитую речь, где дал совет подвергать общественному остракизму всякого, кто либо выгонит фермера с его участка, либо

---

* См. наст. том, «Чарльз Парнель».— *Ред.*

исполнит приказ об этом, либо арендует очищенный таким способом участок. Этот совет принес плоды очень скоро, и по имени первой жертвы подобной общественной опалы такой способ стал называться «бойкотом». Одновременно участились аграрные преступления. За осень и зиму 1880 г. их было совершено 1700. В начале 1881 г. либеральный кабинет внес билль, имевший целью предоставить вице-королю обширнейшие репрессивные полномочия ввиду угрожающего положения дел. После упорнейшей обструкции Парнеля и его товарищей, после заседания, протянувшегося 41 час без перерыва, спикер беззаконно прервал дебаты и поставил вопрос на баллотировку. Вопрос прошел, после чего были повторены попытки обструкции со стороны ирландцев, но и они не могли рассчитывать на конечную победу: были вотированы новые правила парламентской процедуры, усиливавшие дискреционную власть спикера, после чего обструкция в палате общин сделалась (в былых размерах) совершенно невозможной. Что касается до репрессивного билля, направленного против Ирландии, то он прошел во всех чтениях в обеих палатах и 2 марта 1881 г. вошел в законную силу.

Почти одновременно с этим средством — запугиванием врага — Гладстон пустил в ход и другое, которое он считал более прочным и действительным. Он решил создать новый аграрный закон, который настолько заметно облегчил бы положение фермеров, чтобы они перестали поддерживать девиттовскую и парнелевскую «земельную лигу». Дело в том, что, несмотря на новый арест Девитта, происшедший 3 февраля 1881 г., деятельность лиги со дня на день становилась все решительнее. Один из лозунгов, данный лигой фермерам, заключался в том, чтобы, если лендлорд взваливает на них непосильную арендную плату, они *вовсе* не платили, пока он не согласился на уступки; если же ему угодно, пусть зовет полицию и выселяет фермера вон. А выселив, пусть считается с разнообразными видами возмездия, начиная с бойкота и кончая вечной опасностью покушений. Хотя «земельная лига» никогда к аграрному террору не призывала, но всем было ясно, что аграрный террор, проявления которого участились в годы неурожая, сильно увеличил страх лендлордов перед лигой: ведь именно «земельная лига» широко распространяла сведения о всех изгнаниях фермеров и возбуждала ненависть против виновного землевладельца. При таких условиях Гладстону показалось недостаточно много раз применявшихся и всегда недействительных мер, и он решил восполнить часть тех недочетов, которые еще оставались, по его собственному признанию, в системе ирландского землевладения и землепользования после закона 1870 г.

По проекту Гладстона фермер должен получить право свободно продавать свое арендное землепользование до истечения

срока аренды кому захочет, если только сам лендлорд не согласится на требуемых фермером условиях расторгнуть арендный договор или же если сделка полюбовно не состоится, на условиях, устанавливаемых в каждом отдельном случае судом; если же лендлорд этим своим правом не воспользуется, фермер продает аренду другому лицу, причем лендлорд имеет право требовать, чтобы из вырученных денег уходящий фермер полностью уплатил весь накопившийся за ним долг и чтобы покупатель был один, а не несколько. В некоторых случаях лендлорд, если найдет нужным, может и вовсе отвергнуть представляемого ему покупателя аренды, т. е. нового фермера, с которым ему придется иметь дело. Далее размеры ренты, которую, не впадая в нищету и вместе с тем не нарушая очевидно интересов лендлорда, может в данной местности при данных условиях платить фермер, определяет суд, куда фермер и может за этим обратиться. При этом устанавливается принцип, согласно которому рента *не* должна была определяться с *общей* стоимости участка, считая, кроме стоимости земли, еще стоимость всяких хозяйственных приспособлений и улучшений, сделанных либо самим фермером, либо его предшественниками: лендлорд, следовательно, имел право рассчитывать на доход только с принадлежащей ему земли, а не с тех хозяйственных ценностей, которые создал фермерский труд. Впрочем, на практике трудно было фермеру доказывать, что те или иные улучшения сделаны предшествовавшими фермерами, а не самим лендлордом, и это в значительной мере парализовало благодетельность провозглашенного принципа. Установленная судом «справедливая рента» должна иметь силу 15 лет, в продолжение которых лендлорд не имеет права выгнать фермера или возвысить размеры ренты; на фермере же лежит непреложная обязанность аккуратно эту ренту выплачивать, иначе лендлорд может его удалить. По прошествии 15 лет суд снова устанавливает размеры ренты на новые 15 лет. Чтобы как-нибудь ликвидировать ужасные последствия последних неурожайных лет, когда произвол лендлордов был особенно необуздан,— билль Гладстона давал судам право объявлять недействительными письменные контракты, заключенные под угрозой изгнания фермера с участка, если только фермеры обратятся в суд за назначением им «справедливой ренты»; для расплаты с долгами, накопившимися за фермером в последние 3 года, правительственная комиссия выдает ему ссуду, выплата которой может быть разложена на 15 лет. В качестве высшей инстанции, которая рассматривает жалобы лендлордов и фермеров на решения и расценки обыкновенных судов, был учрежден апелляционный суд, который и решал дела окончательно. Наконец, правительство приняло принцип, широко и совсем по-иному развитый, спустя 22 года, в законе Уиндгема: было решено,

с одной стороны, скупать при удобном случае лендлордские поместья и по дешевой цене в рассрочку продавать их участками фермерам, а с другой стороны, выдавать ссуды фермерам, желающим приобрести в собственность свой участок, на льготных условиях погашения этого долга казне.

Таковы были общие принципы земельного гладстоновского билля 1881 г. Он составляет эпоху в истории Ирландии потому, что нанес страшный удар бесконтрольному до сих пор произволу лендлордов. То, чего долго и тщетно домогался Исаак Бьютт, было в принципе почти целиком дано Ирландии. Произвольные выбрасывания вон фермерских семей были очень и очень затруднены; государство выступило третейским судьей в установлении размера арендной платы и в целой массе других вопросов, где прежде царило исключительно благоусмотрение лендлорда; было признано право фермера продавать свое землепользование. *Принципиально* ирландский «феодализм» был потрясен в самом основании, и девиттовская «земельная лига» эту сторону вопроса понимала и признавала вполне; но ни Парнель, ни Девитт, ни остальные руководители лиги не сомневались, что и суды обыкновенные, и апелляционный суд будут склонны пользоваться неопределенностью термина «справедливая рента» скорее в пользу лендлорда, нежели в пользу фермера; что фермер часто принужден будет и не доводить дела до апелляционной инстанции, ибо у него не будет средств для покрытия судебных издержек; что вследствие оппозиции (особенно сильной в палате лордов) в гладстоновский билль вошли такие будто бы мелкие, а на практике крайне важные вставки, пояснения и оговорки, что лендлорды смогут очень многое в этом неприятном для них законе свести к нулю. Все эти опасения в значительной мере и оправдались впоследствии, но пока, в 1881 г., при всем сдержанном и даже холодном отношении к этому акту, при всем стремлении не давать народу слишком уже восторгаться мероприятием Гладстона, при всем желании постоянно напоминать населению, что этот акт есть лишь вынужденная полумера, руководители лиги со справедливой гордостью подчеркивали, что гладстоновский закон вырван у англичан борьбой, агитацией, страхом перед аграрной революцией, а не кроткими и убедительными просьбами, в которых провели весь свой век Исаак Бьютт и его друзья, так и не дождавшиеся исполнения своих требований, осуществленных теперь почти целиком в акте 1881 г. Да и в глазах всего ирландского общества как бы оправдывалось замечание, сделанное одним членом парламента, что ирландцу только тогда есть толк подходить к английскому министру со своими требованиями, если у него при этом в руках голова лендлорда. Сам Гладстон спустя 12 лет сказал:

«Я должен признать, что без земельной лиги акт 1881 года не попал бы в свод законов».

Парнель и «земельная лига» с удвоенным рвением принялись за агитацию, возбуждая всюду недовольство политикой правительства. Нужно сказать, что на этот раз даже такой тонкий, проницательный и осмотрительный политик, как Гладстон, впал в ошибку, в которую часто впадали не идущие ни в какое сравнение с ним тупые полицейские умы: он полагал, что можно в эпоху сильного общественного возбуждения успокоить страну какой-нибудь половинчатой аграрной реформой, оставляя в то же время в полной силе всякие политические притеснения и отказывая населению в гарантиях личной неприкосновенности. Закон, расширявший полномочия вице-короля, был в полной силе, и «главный секретарь по делам Ирландии», назначенный на эту должность Гладстоном, Форстер, широко пользовался дискреционной властью, предоставленной ему в это тревожное время.

О Форстере мы уже говорили в той главе, где описывали впечатления английских путешественников, приезжавших в Ирландию в эпоху страшного голода 1846—1847 гг. Форстер был тогда юношей и содрогался от негодования, говоря о том состоянии, до которого доведена несчастная страна. Он писал тогда, что ни один истинный христианин в Англии не имеет нравственного права спокойно пользоваться благосостоянием, пока на соседнем острове творятся такие неописуемые ужасы... Но все это он писал 35 лет тому назад. Теперь же в качестве умудренного опытом государственного мужа он старался путем разнообразнейших репрессий подавить в Ирландии аграрную смуту и уже не думал ни о каких сентиментальностях. Судя по его характеру и наклонностям, при других условиях из него выработался бы один из тех сановных палачей, имена которых навсегда ложатся позором на породивший их народ; в Ирландии же, где конституционные гарантии были только временно подавлены, но не уничтожены, такого простора действий Форстеру дано не было; тем не менее он использовал свою власть в полном объеме. Борьба полиции, охранявшей лендлорда, с фермерами, нападавшими на них, кипела во всех частях Ирландии; процессы и тюремные заключения следовали друг за другом. «Земельная лига» крепла все более и более. Зимой 1880—1881 гг. она в среднем получала около тысячи фунтов стерлингов в неделю на свои нужды от членов и посторонних жертвователей. На эти деньги поддерживались семьи изгоняемых фермеров, велись процессы против лендлордов, организовывалась защита обвиняемых в аграрных делах, издавались агитационные листки и брошюры. Форстер и его главный помощник Борк не успевали хватать и сажать в тюрьму. Был затеян процесс и против Пар-

неля (еще до земельного билля) по обвинению в подстрекательстве к восстанию, но 26 января 1881 г. он был оправдан. В 1881 г. действия Форстера и Борка стали еще решительнее и жестче. Пользуясь расширением своей лиги, они особенно преследовали всякие попытки дискредитировать новый земельный акт Гладстона и устами своей прессы провозглашали, что каждый истинный друг ирландского народа должен смотреть на этот закон как на разрешение аграрного вопроса. Гладстон сам не скрывал от себя, что Парнель страшно вредит всем правительственным начинаниям. Вот что между прочим писал премьер Форстеру 8 сентября 1881 г.: «Уменьшить число последователей Парнеля отвлечением от него всех добронамеренных людей — вот что кажется мне ключом ирландской политики в настоящий момент». 14 сентября состоялось собрание членов лиги в Дублине. Здесь было выработано такое отношение к земельному закону: фермеры, конечно, должны пользоваться льготами, предоставляемыми им новым актом, но под постоянным и бдительным руководством «земельной лиги». А кроме того, лига продолжала считать своим первым долгом не прекращать агитации среди фермеров, постоянно напоминая им о необходимости дальнейшей борьбы. Форстер жаловался Гладстону и просил разрешения (или, быть может, вернее «благословения», ибо право-то он и сам имел) арестовать Парнеля. Но Гладстон колебался. Тогда Форстер решил прибегнуть к провокации. Зная, что Гладстон едет в Лидс произносить там большую политическую речь, Форстер писал премьеру: «Я полагаю, что вы большое добро сделаете, если будете в Лидсе укорять Парнеля за его действия и политику». Форстер много рассчитывал на ответную речь Парнеля, и обстоятельства показали, что он не ошибся, 7 октября Гладстон действительно произнес в Лидсе речь, в которой объявлял, что Парнель сеет смуту, что он сочувствует аграрным преступлениям, что он не дает спокойно существовать Ирландии и что «еще не все средства истощены, какие цивилизация дает для борьбы против подобных агитаторов и их сторонников». Ровно через 2 дня Парнель ответил на эту речь своей речью, произнесенной на многолюдном собрании в Уэксфорде. Суть ответа заключалась в том, что «ирландец, не желающий попасть в руки своего вечного вероломного и жестокого врага — англичанина,— не должен разоружаться никогда, особенно по поводу таких именно рассчитанных на «разоружение» актов, как закон 1881 года». В частности о Гладстоне, намекая на угрожающий тон его речи, Парнель выразился так: «Это хороший знак, что маскарадный странствующий рыцарь, этот претендент на титул поборника прав любой нации, кроме ирландской, принужден был сбросить с себя маску теперь и стать открыто пред нами как человек, который по собственным сво-

им заявлениям, готов внести мечь и огонь в ваши жилища, если только вы не покоритесь униженно ему и лендлордам этой страны». Речь была чисто боевая и дышала ненавистью к Гладстону и англичанам.

Вечером после этого митинга один знакомый член ирландской партии спросил Парнеля: не полагает ли он, что будет теперь арестован? Парнель ответил, что полагает. Тогда собеседник решил запастись заблаговременно инструкциями на время, пока лидер будет сидеть в тюрьме. «Желали бы вы дать нам какие-нибудь инструкции? Кто займет ваше место?» «О,— задумчиво сказал Парнель,— если я буду арестован, то мое место займет Лунный свет». «Лунный свет» — это была обычная подпись под угрожающими письмами, возвещавшими готовящееся предприятие аграрно-террористического характера. Спустя 3 дня Парнель был уже в тюрьме.

Лорд Купер, бывший совершенно ничтожным орудием (несмотря на носимое им звание вице-короля) в руках Форстера и Борка, оправдывал этот поступок правительства тем, что люди менее важные давно уже сидят в тюрьме, так зачем же Парнеля оставлять на свободе. Любопытно, что политические арестанты кильменгемской тюрьмы давно уже и с жаром спорили о том, не слишком ли мягко Парнель отнесся к земельному биллю 1881 г.? И вот в разгаре этих споров к ним привели и засадили самого Парнеля. Логика реакции привела к своему неизбежному результату: объединила все оттенки убеждений, все темпераменты, все возрасты, и ближайшее будущее показало, что безумные восторги лондонского Сити и огромного большинства английского общества по поводу «решимости» Форстера и Борка были несколько преждевременны. Правда, Гладстону устраивались восторженные овации в Лондоне при получении известия об аресте Парнеля, но в Ирландии «капитан Лунный свет» тотчас же усугубил свою кровавую работу. Лига решила пропагандировать среди арендаторов идею отказа в платеже ренты до тех пор, пока не будут отменены недавно изданные законы, увеличивающие полномочия полицейской власти. Аграрные преступления увеличились в изумительной прогрессии. Вот цифры, приводимые О'Брайеном: за 10 месяцев, предшествовавших изданию репрессивного закона, число аграрных преступлений было 2379; за 10 месяцев после издания этого закона число их было 3821. В частности, сильно увеличилось число именно тягчайших видов преступлений. В первые 3 месяца 1881 г. было 7 покушений на убийство (из них 1 успешное), в первые 3 месяца 1882 г.— 33 покушения (из них 6 успешных). Нападения и обстреливание лендлордских домов непрерывной вереницей проходили одно за другим перед раздраженными и недоумевающими Форстером и Борком и коле-

бавшимся Гладстоном. Форстер даже полицию стал подозревать в попустительстве и преступной бездеятельности и разослал циркуляр по полицейским учреждениям с изъявлением полного своего неудовольствия по поводу нераскрытия виновников аграрных преступлений. Жизнь его самого неоднократно висела на волоске, но его запугать было нельзя, как и помощника его Борка. В ответ на приглашение «земельной лиги» не платить арендных денег лендлордам впредь до отмены репрессивных законов Форстер 20 октября 1881 г. закрыл лигу, объявив ее «незаконной и преступной ассоциацией». Итак, лига не существовала, вожди ее сидели в тюрьме, белый террор свирепствовал в Ирландии. Сестра Парнеля и несколько других мужественных женщин, составивших «женскую лигу», деятельно агитировали в стране, по мере сил выполняя функции закрытой «земельной лиги». Конечно, митингов они собирать не могли, но все, что только было мыслимо для поддержания свирепевшей более и более аграрной борьбы, эти женщины делали. Форстер арестовал и засадил в тюрьму несколько активных деятельниц «женской лиги», но на место каждой арестованной, являлись десятки новых. Одновременно Форстер и Борк хватали одного за другим еще оставшихся членов закрытой «земельной лиги», которые хотя не могли назваться первостепенными деятелями (первостепенные уже все сидели в тюрьме еще до закрытия лиги), но чем-либо все-таки обратили на себя внимание администрации. 872 члена лиги были арестованы и засажены в тюрьму за эту страшную зиму 1881/82 г., а 211 человек подверглись той же участи по одному только подозрению в ночных нападениях на дома и личность лендлордов, их слуг и полиции. Один за другим эти люди исчезали за тюремными стенами, но оставшиеся ни на сутки не отрывались от дела. Они продолжали агитировать, выдавать спасенные от конфискации суммы лиги на поддержку фермеров, а также семей заключенных и с октября 1881 г. по май 1882 г. выдали в общем 70 тысяч фунтов стерлингов. В октябре 1881 г., когда лига была закрыта, в Ирландии было совершено 511 аграрных преступлений; в марте 1882 г. после всех неистовств Форстера их было совершено 531. Форстер настаивал на усугублении репрессий, но Гладстон всегда был и в «гуманных», и в «антигуманных» своих поступках прежде всего государственным человеком, и, из опыта убедившись, что аграрная революция при уже существующих репрессиях не уменьшается, а увеличивается, он решил повернуть на другой путь.

Этим другим путем мог быть только путь уступок. Но каких? Экономические уступки были сделаны земельным законом 1881 г., и однако это не воспрепятствовало полной неудаче дела умиротворения. Тогда-то он решил войти в сношения с

ирландским лидером и призвать его на помощь. Парнель со своей стороны облегчил дело. Еще 10 апреля 1882 г. правительство отпустило Парнеля на честное слово из тюрьмы в Париж, где ему нужно было навестить сестру, у которой умирал сын. В те несколько дней, пока он находился на свободе, он виделся и говорил с некоторыми членами своей партии и высказался в том смысле, что задача дня — облегчить немедленно и серьезно положение тех наиболее мелких и нуждающихся фермеров, которые даже и при льготных условиях никак не могут уплатить следуемых денег. Их 100 тысяч человек в стране, и Парнель полагал, что помочь им значит восстановить в Ирландии относительное спокойствие. Капитан О'Ши, ирландец, имевший знакомства в среде либерального кабинета, сообщил Гладстону об этих намерениях Парнеля. Тотчас же Гладстон ответил О'Ши письмом, в котором выражал свою признательность за сообщаемые сведения и в заключение заявлял, что ни личные чувства и предрассудки, ни «ложный стыд», ни иные препятствия подобного же свойства не помешают ему, Гладстону, вступить на тот путь, который мог бы повести к умиротворению Ирландии. Тотчас же вместе с тем Гладстон сообщил о начавшихся переговорах Форстеру. Но Форстер ни за что не хотел принимать участия ни в чем, что носило бы характер вынужденных уступок ирландцам со стороны правительства. Не для того он свирепствовал больше года (считая со времени издания исключительных полномочий), не для того рисковал (надо отдать ему справедливость, самым вызывающе смелым образом) своей головой, чтобы признать себя побежденным, систему свою сломленной, притязания своих врагов правильными. Он не прочь был удовлетворить требованию дальнейших аграрных облегчений, но и слышать не хотел о выпуске арестованных на свободу, прекращении репрессий и восстановлении законных гарантий личной свободы в Ирландии. Напротив, как раз в это же время приблизительно он представил Гладстону план дальнейшего усугубления произвола; он, например, просил об отмене суда присяжных для тягчайших видов политических преступлений и т. д. И вдруг приходилось от этого отказаться.

Гладстон 1 мая 1882 г. написал наместнику лорду Куперу, что так как Парнель требует расширения льгот, дарованных актом 1881 г., и нераспространения их на те категории арендаторов, которые по разным обстоятельствам не подходили под термины акта 1881 г., так как при этом Парнель и его друзья готовы отказаться от агитации против платежа арендной платы, то он, Гладстон, не видит причины, почему бы на эту сделку не пойти. 2 мая Гладстон телеграфировал вице-королю

уже приказание выпустить из тюрьмы Парнеля, О'Келли и Диллона.

Ирландия была в восторге, хотя некоторые среди членов «земельной лиги» (и никто среди фениев) не одобряли каких бы то ни было соглашений с министерством. Но большинство вполне сочувствовало тому, что совершилось. Вице-король Купер и Форстер подали немедленно в отставку.

Когда спустя 2 дня, 4 мая, Форстер в палате общин говорил раздраженную речь, в которой оправдывал свою политику, вдруг его прервали радостные возгласы и оглушительные рукоплескания с ирландских скамеек: в палату вошел Парнель, которого Форстер полгода держал в тюрьме без суда и следствия. В этом заседании и Гладстон, и Парнель в своих речах объяснили палате условия своего «кильменгемского договора»: другая политика правительства относительно Ирландии, с новыми льготами арендаторам и с уничтожением репрессий,— и Парнель «надеется», что в стране воцарится спокойствие. В этот день Форстер окончательно увидел себя покинутым: премьер говорил заодно не с ним, а с Парнелем. Судьба готовила Форстеру скорое удовлетворение.

10

Новым вице-королем вместо лорда Купера был назначен граф Спенсер, заместителем Форстера — лорд Кавендиш, а помощник секретаря Борк в отставку не вышел и остался при исполнении своих служебных обязанностей.

6 мая 1882 г. в Дублин приехал вновь назначенный лорд Кавендиш. Он был торжественно встречен лорд-мэром, ольдерменами и городскими советниками и после обычных церемоний в вице-королевском замке отправился домой. Встретившись по дороге с Борком, они вдвоем пошли в Феникс-парк, наполненный гуляющей публикой. Они шли по широкой аллее, когда, по свидетельству двух-трех лиц, видевших эту сцену, на Борка и Кавендиша вдруг бросилось несколько человек. Оба сановника упали на землю, и в тот же момент какая-то карета умчалась с места происшествия. Когда подбежали к лежавшим, оказалось, что они оба заколоты кинжалами: смерть была моментальной.

Раньше чем обратиться к последствиям этого события, поясним то, что было не известно, когда убийство совершилось, и что определилось лишь впоследствии из процессов и мемуаров (вроде воспоминаний Патрика Тайнэна).

Усмирительная политика Форстера, сопровождавшаяся бесчисленными арестами, приводила в ярость и отчаяние очень многих людей самого различного возраста и темперамента. Дело в том, что аграрные преступления, как это было до очевидности

ясно, не могли прекратиться, как бы Форстер и Борк ни выслеживали и ни хватали виновных; а между тем все пути легальной оппозиции систематически преграждались после усмирительного акта 1881 г. Аресты Диллона, Девитта, Парнеля, закрытие «земельной лиги», преследование женщин, взявших на себя агитацию,— все это обостряло политические страсти до крайности. Неопределенное сидение в тюрьме лучших людей страны без суда и следствия, даже без предъявляемого к ним определенного обвинения,— все это как бы символизировало в глазах многих «Ирландию, связанную по рукам и ногам, приготовленную к убийству». Тогда-то, в этот голодный и кровавый, «усмирительный» 1881 год, создалась в Ирландии так называемая «Национальная непобедимая организация» («The Irish National Invincible organisation»), куда тотчас же вошли некоторые члены «земельной лиги» и многие фении. Собственно, фении как еще существовавшая самостоятельно организация не слились с новым сообществом: но многие из них, не переставая называть себя фениями, примкнули к «непобедимым», почему в просторечии эти термины смешались. «Непобедимые» были чисто террористической организацией, которая заявила, что ответит насилием на все, что делается в Ирландии, «так как англичане растоптали в Ирландии свою собственную конституцию». «Исполнительный комитет» («The executive»), этой организации в самом начале своей деятельности постановил по мере возможности убивать всех главных секретарей и их помощников, начиная с Форстера и Борка, чтобы сделать эти должности «вакантными» навсегда, ибо они и составляют душу английской правительственной машины в Ирландии. Кроме того, всякий «британский сатрап, установляющий и ведущий истребительную войну в какой-либо части острова Ирландии», должен также быть «устранен с места своих опустошений». Что же касается до вице-королей (или, как они иначе называются, лордов-наместников), то их решено было не трогать ввиду того, что их роль фактически сводится к обязанностям представительства и подписыванию наиболее важных бумаг. Если же вице-король активно вмешается в дела, было решено убить и его. Эта организация, подобно фенианской, своим конечным идеалом ставила полное отделение Ирландии от Англии, но не считала возможным призыва всей нации к вооруженному восстанию, ибо ей казался немыслимым успех в открытой борьбе. Члены этой организации считались с упреками, которые им были предъявляемы многими. Вот что читаем в воспоминаниях Тэйнэна, одного из этих членов: «Люди, которые живут в среде свободных и счастливых самоуправляющихся наций, наслаждающихся миром и благополучием под флагом своей страны, могут сказать, что эта политика

«непобедимых» была поистине ужасной. Во всяком случае ничего из всего, что могла бы сделать Ирландия, не могло бы сравняться с ужасами, совершаемыми над ней ее врагом. Путем грабежа и кровопролития он прикрепил себя к ирландской почве, и кровопролитием он ее удерживает за собой».

Число членов нового сообщества было невелико, но они рекрутировались из людей закаленных; их историк называет их «армией львов». Строжайшая тайна окружала организацию, ее планы и действия. Ее многие и долго путали с аграрными сообществами, которые в эти годы снова появились на свет, отчасти под старыми прозвищами («белых парней», «лохмотников»), отчасти под новыми (ребята «капитана Лунного света»). «Непобедимые» были чисто политическими террористами и с аграрным террором ничего общего не имели, разве только то, что появились они на почве борьбы против усмирителей аграрного террора. «Организация непобедимых», говорит ее историк, должна остаться в памяти как ответ ирландской нации на закрытие «земельной лиги».

Террористы прежде всего собирались убить Форстера, но случай препятствовал им сделать это, хотя все казалось зрело обдуманным и рассчитанным. Покушение решено было повторить, и опять быстрый проезд кареты сановника спас его. Тогда террористы постановили повторить попытку в третий раз, но именно в это время состоялось соглашение Гладстона с Парнелем, и Форстер вышел в отставку и исчез с ирландского горизонта. Самый «кильменгемский договор» был встречен этой организацией не сочувственно. У них были силы и в Дублине, и в провинции, и когда Форстер окончательно от них ускользнул, то они решили согласно с первоначальными своими намерениями покончить с Борком и с новым секретарем лордом Кавендишем как с лицами, занимающими наиболее активные, боевые места в английской администрации.

Исполнительный комитет после некоторого колебания окончательно отказался от мысли отправить убийц в Англию, чтобы там покончить все-таки с уже отставленным Форстером, хотя несколько лиц выражали полную готовность сделать это, и даже большого труда стоило их удержать убеждениями, что Форстер «политически мертв», а поэтому и безвреден и т. д. Убить же оставшегося Борка и Кавендиша они желали еще и потому, что смотрели на «кильменгемский договор» как на «хитрость врага» и желали эту «хитрость» одним ударом разрушить. Вечером 5 мая террористы уже ожидали Борка в Феникс-парке, по которому он обыкновенно возвращался домой. Но пришло от исполнительного комитета известие, что завтра, 6-го, в Дублин приедет лорд Кавендиш, и все приготовления поэтому должны

быть сделаны к следующему дню, а нападение на Борка необходимо отложить. Вечером происходило совещание, на котором были выработаны детали и розданы роли всем участникам. Участники заявили, что «ни сдачи, ни бегства» не будет и что нападение должно окончиться либо их смертью, либо смертью англичанина. Еще утром в этот день участники прохаживались в Феникс-парке. Увидев проезжавший отряд гусар, один из участников заметил другому, что в случае, если завяжется открытая борьба при совершении посягательства, то эти гусары,, пожалуй, очутятся на месте происшествия. Другой ответил: «Если бы у нас были ручные гранаты, мы бы легко разбросали этих обмундированных молодцов; во всяком случае даже и при нашем вооружении мы хорошо посчитаемся с этой британской кавалерией, если такая схватка случится». Это дает понятие о настроении заговорщиков накануне событий.

На другой день, 6 мая 1882 г., участники предполагаемого нападения с послеобеденного времени уже были около Феникс-парка. Когда Кавендиш и Борк поравнялись с ними, то четверо бросились на сановников и, в один миг осыпав их градом кинжальных ударов, вскочили в приготовленную карету. К трупам уже бежали люди. В этот момент у одного из покушавшихся выпал из кармана револьвер; он вышел из кареты, успел поднять выпавший предмет, сел обратно, и карета почти мгновенно скрылась с глаз присутствовавших.

11

Непосредственные последствия этого события были чрезвычайно серьезны. Теперь ни о каких соглашениях между правительством и ирландской партией не могло быть речи, ибо в Англии царило страшнейшее раздражение не только в парламенте, но и во всех слоях общества. Парнель, получив ошеломляющее известие из Дублина, был сильно расстроен и сумрачно объявил Девитту о своем желании уйти прочь от политики, потому что кучка неизвестных людей своими неожиданными действиями путает все расчеты и делает одним ударом совершенно напрасными все жертвы и страдания, перенесенные народом. Таково было мнение Парнеля. Конечно, когда первое впечатление миновало, он уже не говорил об отречении от политической жизни. Парнель гласно осудил дело 6 мая (причем, впрочем, дал понять, что Кавендиша действительно жаль, а Борка — не особенно). Гладстон внес и провел через парламент акт о «предупреждении преступлений в Ирландии», согласно которому еще более ограничивались права жителей острова: вице-королю предоставлялось, например, хватать и

сажать в тюрьму лиц, встреченных ночью и не внушающих доверия; для таких преступлений, как государственная измена, убийство и покушение на убийство, поджог, тяжкие поранения, нападение на обитаемые строения, назначался суд без участия присяжных заседателей; вице-король мог воспретить любое собрание, если найдет это нужным для общественного спокойствия; любой орган печати мог быть конфискован по его распоряжению и т. д.

Мрачное время переживала Ирландия. В октябре 1882 г. Парнель создал новое общество — «национальную лигу» с целью бороться за гомруль, за самоуправление Ирландии, в котором он теперь видел первую по важности задачу, стоящую перед его партией. Когда ему говорили (например, ольдермэн Редмонд, путешествовавший с ним в это время), что едва ли осуществима идея ирландского самоуправления, ибо англичане особенно сильно против нее настроены, Парнель отвечал: «Они были сильно настроены против эмансипации католиков, однако они в конце концов должны были примириться. У О'Коннеля не было ничего подобного нашей силе; он был почти совсем одинок. Нам нужно лишь бороться, и мы победим. Мы не должны уступать ни одного вершка. Уступками вы ничего от англичан не получите». На вопрос: «Как вы сделаете Ирландию процветающей при гомруле?» он тогда же выразился так: «Я вам предложу другой вопрос. Как может процветать любая страна, которая не ведет своих собственных дел сама, которая не распоряжается своими собственными доходами? Полагаете ли вы, что Англия процветала бы, если бы она должна была допустить Францию заботиться о ее (английском — *Е. Т.*) кошельке?» Идея гомруля окончательно заслонила в его уме недавние мысли о немедленной реформе земельных отношений; быть может, отчасти этому способствовала смерть его сестры Фанни, страстной поборницы аграрного движения, принимавшей, как уже было сказано, деятельнейшее участие в основании «женской лиги» после закрытия «земельной» в 1881 г. [57] Между тем огромные полномочия, данные исполнительной власти после убийства лорда Кавендиша и Борка, решительно ни к каким результатам не приводили; аграрный террор все усиливался. За 1880—1881 гг. в среднем ежегодно случалось 12—13 аграрных убийств; в 1882 г. их произошло 26. Покушений в среднем за 1881 г. — 45, а за 1882 г.— 58. В общем же за 1881 г. аграрных преступлений произошло 2338, а за 1882 г.— 2635.

В Англии настаивали на продолжении репрессий и возмущались тем, что творится. Парнель относительно этого выражался так: «Англичане весьма озабочены тем, что застрелено несколько лендлордов в Ирландии... Англичане убивают и грабят по всему свету, а затем они воют, если кто-либо бу-

дет убит в Ирландии, так как тут убийство им не нужно». «Национальная лига» своими прямыми целями ставила: 1) национальное самоуправление; 2) земельную реформу; 3) расширение парламентского и муниципального избирательного права и 4) развитие и поощрение труда и промышленных интересов Ирландии. Казалось бы, что эта программа вмещает и требования закрытой девиттовской «земельной лиги», но на деле с 1882 г. деятельность Девитта происходит уже в иной плоскости, нежели деятельность Парнеля, ибо для Девитта аграрный вопрос по-прежнему остается на первом плане, а в глазах Парнеля гомруль становится впереди. Новая лига издавала газету «United Ireland», нападавшую на режим насилия, ревностно проводимый вице-королем графом Спенсером и главным секретарем (заместителем убитого Кавендиша) сэром Тревельяном. Митинги лиги разгонялись, аресты усиливались, арендаторы, не внесшие в срок аренды, изгонялись при содействии полиции, и выходило, что на практике земельный закон 1881 г. все-таки, несмотря ни на что, не спасает беднейший слой фермеров от лишения последнего куска хлеба. По свидетельству Девитта и других очевидцев происходившего, аграрный террор фатально переходил в террор политический, или, может быть, точнее, сливался с ним, ибо ожесточение вызывали не только лендлорды, но и власти, служившие их орудием и охраной. Постоянно приходили известия об убийствах предполагаемых и настоящих предателей. Некто Джон Кенни помог властям арестовать склад оружия, принадлежавший фениям, и за это он был убит. Осенью 1882 г. была вырезана целая семья Джойсов за то, что некоторые ее члены дали повредившие другим показания. Четверо лиц было схвачено после этого убийства властями, и все четверо повешены, хотя трое из них, признав себя виновными, еще у эшафота продолжали клясться, что четвертый неповинен ни в чем. Был повешен также по обвинению в убийстве Фрэнсис Гайнс. «Где Форстер арестовывал, там теперь лорд Спенсер вешает»,— такой вывод делали в ирландской прессе. Аресты при новом вице-короле шли нескончаемой вереницей. В начале 1883 г. в одну январскую ночь были произведены повальные обыски, причем сильно разгромленной оказалась организация «непобедимых». Между арестованными были Джозеф Брэди, Даниель Корлей, Джемс Кэри и др. Аресты последовали после неудавшегося покушения на судью Лоусона и нападения на одного из присяжных заседателей, вынесших обвинительный вердикт Гайнсу. Лорд Спенсер придавал очень серьезное значение аресту 15 лиц в ночь на 13 января, и действительно это событие было чревато последствиями. Спустя несколько дней арестовали еще двух лиц, в том числе Фиц-

гарриса, которого, как и многих других из арестованных 13-го, привлекли по делу об убийстве Борка и Кавендиша. Мрачная драма разыгрывалась при предварительном следствии; жена Джемса Кэри, чтобы спасти мужа, стала выдавать. Кэри, человек, которого слабость знали революционеры и который всегда ими отстранялся от ответственных положений, также стал давать компрометирующие других показания. Со странной торопливостью, болезненным усердием Кэри выкладывал решительно все, что он только знал или слышал. Страх совсем помутил его разум, и он как бы спешил поскорее утопить окончательно своих товарищей.

9 апреля 1883 г. начался процесс «непобедимых», обвиняемых в убийстве Борка и Кавендиша. Джозеф Брэди, Даниель Корлей, Келли, Кэффри, Фаган были признаны виновными и приговорены к смерти. 14 мая Брэди был повешен; на той же неделе (18-го) повесили Даниеля Корлея; спустя две недели был повешен Фаган; двадцатидвухлетний Келли просил перед смертью только, чтобы ему позволили побыть немного в той камере, откуда повели на эшафот его друга Джозефа Брэди. Его повесили при громких рыданиях толпы, окружавшей тюрьму, во дворе которой происходила казнь. Другие обвиняемые были приговорены к каторжным работам (от пожизненной до десятилетней).

В Уайтголле (в Лондоне) произошел динамитный взрыв; почти одновременно были обнаружены приготовления к огромному взрыву в Бирмингеме. Ирландские революционеры переносили явственным образом войну в пределы самой метрополии. Полиция вся была поставлена на ноги, общество объято паникой и раздражением. Были произведены многочисленные аресты, причем хватали, вопреки английским обычаям, по подозрению решительно всякого; например, полиции удалось в Дувре арестовать сэра Вильяма Гаркура, которого не выпускали, несмотря на его заявление, что его следует выпустить, ибо он — министр внутренних дел, пока в этом окончательно не удостоверились. Английское правительство просило у Франции и Соединенных Штатов выдачи спасшихся туда предполагаемых фениев и «непобедимых». Оно преувеличивало опасность; на деле террористическая организация была страшно ослаблена обрушившимися на нее ударами. Но одно дело революционеры твердо решили совершить: отомстить Джемсу Кэри за его измену. Под фамилией Поуэр Кэри с женой и детьми уехал на пароходе, шедшем в Южную Африку; он страшился мести революционеров, в случае если бы остался на родине. Но на том же пароходе вместе с ним выехал не известный ему Патрик О'Доннель. В Капштадте Кэри пересел с семьей на дру-

гой пароход, отходивший в Наталь; вместе с ним пересел и О'Доннель, который все искал случая остаться наедине с Кэри. Кэри как бы чуял висевшую над ним опасность, ибо ни с кем за время путешествия наедине ни разу не оставался. 29 июля 1883 г. О'Доннель, улучив удобную минуту, тремя револьверными выстрелами убил Кэри. Один свидетель, прибежавший на выстрелы, был поражен выражением дикого ужаса на лице умиравшего человека.

Гладстон приказал доставить убийцу немедленно в Лондон из Капштадта, где он первоначально был заключен. Его признали на суде виновным и приговорили к повешению. Так как он формально числился американским гражданином, то были сделаны попытки со стороны некоторых членов Вашингтонского конгресса побудить президента вмешаться, чтобы испросить у Гладстона смягчение приговора. Все было напрасно. О'Доннель отнесся к своей судьбе совершенно спокойно. Перед казнью он сказал священнику: «Я совершенно готов встретить свою участь. Я сделал свой долг». 10 декабря 1883 г. он был повешен в лондонской тюрьме; его родной брат стоял на улице около тюрьмы и по взвившемуся черному флагу узнал о совершившейся казни.

На другой день (также по политическому делу) в Дублине был повешен Джозеф Пуль. Аграрные преступления шли своим чередом; так был встречен Ирландией 1884 год.

Этот год принес новые динамитные покушения, продолжавшиеся и в начале 1885 г.: были сделаны или вовремя обнаружены попытки взорвать главное полицейское управление в Лондоне, 3 вокзала там же, подложены были «адские машины» под Тауэр и в здании Вестминстерского дворца; пытались взорвать и огромный Лондонский мост. Эти поступки ирландских революционеров совершенно не приводили к желаемым результатам: лорд Спенсер продолжал в Ирландии свою усмирительную политику, а другие ирландские партии — гомрулеры с Парнелем во главе и последователи аграрно-реформаторских планов Девитта в эти годы (от середины 1882 г. до начала 1885 г.) — не преследовали столь активно своих целей, как в предшествующий или последующий период. Парнель говорил, что эти динамитные покушения, предпринимаемые в интересах ирландского дела, по существу нелепы; но он ядовито смеялся над какими бы то ни было упреками английских газет по адресу покушающихся, так как эти упреки исходили из «морали», а в английскую мораль Парнель упорно во всю свою жизнь отказывался верить. Как правильно замечает О'Брайен, Парнель симпатизировал революционному духу фениев и близких к ним организаций, хотя метод динамитных взрывов в Лондоне признавал совершенно нецелесообразным.

Избирательный закон 1884 г., так решительно демократизовавший кадры избирателей, имел для Ирландии то непосредственно сказавшееся значение, что наиболее бедные слои арендаторов получили доступ к избирательной урне. По разным причинам положение кабинета Гладстона пошатнулось уже вскоре после издания нового избирательного закона, и 8 июня 1885 г., оставшись (правда, довольно случайно) в меньшинстве по вопросу о налогах на спиртные напитки, Гладстон подал в отставку, и королева назначила первым министром главу консервативной оппозиции маркиза Салисбюри.

В тот ночной час, когда объявлен был неожиданный результат подсчета голосов, с ирландских скамей палаты общин раздались ликующие возгласы и злорадные крики: «Билль об усмирении! Отмена habeas corpus! Вспомните билль об усмирении!» Ирландцы не могли в эту минуту воздержаться от ликований, смотря на павшего врага, правление которого ознаменовалось для их страны столь трагическими событиями. Немногие подозревали тогда, что этот враг будет очень скоро ирландцами же восстановлен во власти. Дело в том, что первые моменты существования кабинета Салисбюри в 1885 г. показывали явную тенденцию консервативного премьера к сближению с Парнелем и его партией. Нужно сказать, что Парнель одинаково не любил все английские партии и одинаково не доверял ни одной из них; но он всегда считал, что если и либералы, и консерваторы могут дать Ирландии гомруль только по крайней необходимости, только будучи к этому вынуждены, то консерваторам сделать это *легче*, нежели либералам, ибо консервативный кабинет испытает в этом вопросе (как и во всяком другом) меньше затруднений со стороны палаты лордов, нежели кабинет либеральный. Вот почему Парнель не отворачивался от Салисбюри, а почему Салисбюри старался сблизиться с Парнелем, это понятно само собой: он и одного дня не мог держаться без помощи ирландской партии, потому что ведь кабинет Гладстона был провален ничтожным и случайным большинством в 12 голосов (264 против 252). Когда истек срок акта о предупреждении преступлений в Ирландии, Салисбюри решил не вносить билля о его возобновлении, а новый вице-король лорд Кэрнарвон, назначенный Салисбюри, объявил, что он будет править лишь при помощи обыкновенных, а не исключительных законов.

Кроме того, билль (поддержанный правительством) об ассигновании из государственных сумм 5 миллионов фунтов для заимообразных выдач на льготных условиях денег арендаторам, которые с соглашения лендлорда пожелали бы выкупить свои

участки, прошел в парламенте. Лорд Кэрнарвон, не вполне определенно впрочем изъясняясь, дал понять, что консервативный кабинет не прочь от дарования в той или иной форме самоуправления Ирландии. Об этих переговорах Кэрнарвона с Парнелем существуют версии разные. Дело в том, что Кэрнарвон, высказываясь за гомруль, оговаривался впоследствии, что делал это в качестве частного человека. Парнель же и его политические друзья приняли эти разговоры вице-короля за нечто внушенное, имеющее отношение к мнениям самого Салисбюри: тем более эта «ошибка» могла с их стороны возникнуть, что подобные беседы, раз они происходят накануне общих парламентских выборов, могут действительно в глазах людей недоверчивых показаться вовсе не только академическими. Ибо всем было ясно, что кабинет очень нуждается в поддержке ирландцев, и, даже вполне допуская личную искренность лорда Кэрнарвона, многие потом обвиняли Салисбюри в двуличном и намеренном поддержании раз возникшего недоразумения.

Общие выборы произошли осенью 1885 г. В результате их было выбрано 335 либералов, 249 консерваторов и 86 членов ирландской партии. Другими словами, кабинет Салисбюри мог просуществовать только при деятельной поддержке Парнеля. Единственным пунктом парнелевской платформы во время выборов было требование полной законодательной независимости, требование законодательно-административного самоуправления Ирландии. Во время выборов самая решительная враждебность замечалась в отношениях между либералами и ирландцами, самые яростные манифесты выпускались Парнелем против Гладстона и его единомышленников.

Но когда выборы окончились, Гладстон и ближайший его политический единомышленник Джон Морлей (уже с декабря 1885 г.) стали время от времени делать намеки и указания, что если из 103 депутатов, которых посылает в парламент Ирландия, было выбрано 86 приверженцев гомруля, то это бесспорно означает стремление огромного большинства населения получить наконец автономные права, и что если, например, лорд Салисбюри пожелал бы внести в парламент проект гомруля, то либеральная партия этот проект поддержала бы. Но Салисбюри на это не пошел. Ближайшие события ясно показали, что он не ошибся, рассчитывая в своем сопротивлении ирландским домогательствам на поддержку не только всей консервативной, но и части либеральной партии. Разумеется, непосредственным последствием нежелания Салисбюри делать уступки в направлении гомруля было то, что 86 парнелитов, соединившись с либералами, низвергли консервативный кабинет. Случилось это, как только началась парламентская сессия 1886 г., и как только была про-

изнесена составленная Салисбюри тронная речь, не только не обещавшая гомруля, но угрожавшая новыми расширениями власти ирландского вице-короля. Для Гладстона, например, в этом заявлении не было ничего внезапного, ибо он считал все намеки и разговоры о гомруле летом 1885 г. за сознательный и зрело обдуманный обман со стороны консерваторов, желавших обеспечить себе поддержку Парнеля во время выборов. Но Парнель, несмотря ни на что, не имел особых причин жаловаться на коварство Салисбюри: ведь не только одни лживые обещания получила Ирландия от консервативного кабинета, но и вышеупомянутый акт о государственных ссудах арендаторам, желающим выкупить свои участки. А что консерваторы не сдержали своих туманных обещаний насчет гомруля, то у Парнеля был готов ответ на это; 26 января во время голосования поправки Джесси Коллинса при обсуждении адреса на речь королевы ирландские депутаты, соединившись с либералами, оставили кабинет в меньшинстве, и 1 февраля 1886 г. Гладстон снова занял пост первого министра.

Гладстон, раз уже решившись дать гомруль Ирландии, тотчас же принялся за выработку билля, и чем определеннее становилось намерение старого премьера в самом близком будущем внести этот проект, тем решительнее становились несогласия между Гладстоном и такими значительными людьми, как Чемберлен и Гартингтон, которые положительно были против ирландского самоуправления. Старик Даффи, один из былых главных деятелей «Молодой Ирландии» 40-х годов, был в это время как раз в Лондоне и сказал Барри О'Брайену по поводу слухов о несогласиях между Гладстоном и Чемберленом: «Гладстон *плюс* Чемберлен могут провести гомруль, но Гладстон *минус* Чемберлен не может; а что же будет с Гладстоном, если Чемберлен и Гартингтон соединятся против него?» Случилось хуже, ибо к Чемберлену и Гартингтону присоединились не только многие другие деятели либеральной партии, но и в общественном мнении резко обозначилась оппозиция против намерений Гладстона даже в тех кругах, которые еще недавно, во время выборов 1885 г., стояли за него. Национальные предрассудки и опасения оказывались сильнее, нежели Гладстон рассчитывал, и 1886 год стал роковой датой для его партии. Проект Гладстона состоял в том, что Ирландия отныне должна управляться королевой и особым законодательным учреждением. Это законодательное учреждение должно было состоять из двух отделений; первое, в котором должно быть 103 члена, должно было отчасти соответствовать верхней палате, а второе, в котором — 21 член,— нижней палате. Из 103 членов первого отделения 75 выбирались бы сроком на 10 лет из числа лиц, либо имеющих годовой доход не менее 200 фунтов, либо собственность

стоимостью в 4 тысячи фунтов; чтобы иметь право принимать участие в их выборе, нужно было либо владеть, либо занимать недвижимое имущество, дающее доходу не менее 25 фунтов в год. Остальные 28 членов этого первого отделения были назначенными мэрами. Второе отделение должно было состоять из 204 членов, избираемых на тех же основаниях, как избираются ирландские члены в нижнюю палату великобританского парламента, причем полномочия их длятся 5 лет. Из великобританского же (имперского) парламента ирландцы исключаются вовсе. Оба отделения вместе обсуждают все дела, но вотируют в известных случаях отдельно. Вице-королю предоставляется от имени короны накладывать свое veto на все решения собрания; под властью вице-короля оставалась на время вся полицейская сила, уже существующая в стране, но ирландская исполнительная власть, ответственная перед ирландским собранием, должна была со временем принять заведование полицией в свои руки. Эта ирландская исполнительная власть, как и проектируемое ирландское собрание, не должны были иметь дело с вопросами войны, мира, внешних отношений, войска, флота, почты, чеканки монеты, ряда законоположений, касающихся торговли, финансов и обложения. Все спорные конституционные вопросы, могущие возникнуть у нового собрания в его отношениях к другим властям, должны быть отдаваемы на рассмотрение и решение суда Королевского частного совета в Лондоне. Другие статьи билля устанавливали участие Ирландии в налоговом бремени, возлагаемом имперским парламентом на всех подданных Великобританской империи, и т. д.

Не со всем соглашались в этом билле ирландцы, но все они с Парнелем во главе решили, конечно, этот проект отстаивать. Поправки и улучшения можно было внести и позже; все сознавали, что главное — положить первую основу к законодательному отделению от Англии.

Но это же понимали столь же хорошо как консерваторы, так и те *либералы-унионисты* (т. е. приверженцы сохранения в полной силе унии 1800 г.), которые решительно воспротивились желанию Гладстона. Они находили, что этот билль несет с собой расчленение империи. Во втором чтении, 7 июня, билль Гладстона был отвергнут большинством 30 голосов: против премьера голосовали не только 250 консерваторов, но и 93 либерала, отколовшихся от премьера. Когда Гладстон после этого вотума распустил парламент и назначил новые выборы, он полагал, что страна станет на его сторону и примкнет к тому его мнению, к которому отказалось примкнуть большинство в палате общин,— к мнению, что прочное умиротворение Ирландии возможно не иначе, как при даровании ей самоуправления. И опять его ожидания были обмануты. Самая бурная агита-

ция как со стороны консерваторов, так в особенности и со стороны отколовшихся либералов против «расчленения империи» увенчалась полным успехом; выборы 1886 г. дали палате общин 317 консерваторов, 74 либерала-унониста, 84 парнелита и 191 гладстоновца. Следовательно, в случае нового внесения проекта о гомруле Гладстон мог рассчитывать всего на 275 голосов против 391. Конечно, единственным выходом тут являлась отставка, и Салисбюри опять стал премьером.

13

Новое министерство Салисбюри, пребывавшее у власти с лета 1886 г. до осени 1892 г., являлось действительно «воплощением антиирландских предрассудков», как выразился Девитт. Ни о каких отношениях между Парнелем и консервативным кабинетом, кроме самых враждебных, теперь уже не могло быть и речи. Потерпев неудачу в стремлении добиться самоуправления, Парнель сделал попытку (в сентябре 1886 г.) добиться рядом мер приостановки страшно участившихся изгнаний арендаторов, пересмотра размеров рент, установленных судами в силу акта 1881 г., ввиду угнетенного состояния сельскохозяйственной промышленности и распространения льгот этого акта (1881 г.) на ту категорию арендаторов (лизгольдеров), которые до сих пор ими не пользовались. Этот билль был отвергнут, и тогда возник вопрос о необходимости обратить серьезное внимание на агитацию в пользу земельной реформы, агитацию, отодвинутую в последние годы на задний план стремлением к гомрулю.

23 октября 1886 г. Гартингтон, Диллон, О'Брайен и другие представили выработанную ими программу действий, которая получила характерное название «плана кампании». Это была действительно мера боевая. «План кампании» предлагал ввиду решительного нежелания министерства и парламента считаться с отчаянным положением страны прибегнуть к следующему способу самопомощи: арендаторы имения должны явиться к лендлорду и просить сбавки арендной платы до определенного ими размера соответственно ухудшившемуся состоянию земледелия. Если лендлорд откажет, тогда арендаторы возвращаются домой и продолжают жить на своих участках, внося предложенную ими и отвергнутую лендлордом арендную плату в особый фонд; если со временем лендлорд уступит, тогда вся сумма внесенных денег поступает в его пользу, если же не уступит, а прибегнет для выселения к полиции и принудительным мерам, тогда этот фонд обращается на нужды борьбы против насильственных мер лендлорда и полиции. Эта полуреволюционная программа действий оправдывалась как ее авторами, так и многими при-

мкнувшими к ней лицами тем обстоятельством, что, вопреки смыслу и духу земельного акта 1881 г., размеры арендной платы назначаются непосильно большие, и что изгнания арендаторов продолжаются в самых больших размерах. С 1884 по 1886 г. около 8 тысяч арендаторов, не имевших ни малейшей возможности платить огромную аренду, были либо выгнаны, либо принуждены лишиться всех прав, которые давал им акт 1881 г. Парнель не принял участия в пропаганде «плана кампании». Он полагал, что подобная платформа отпугнет Гладстона и либералов от ирландской партии, а Гладстон, по его словам, являлся теперь «единственной надеждой для Ирландии». Но и помимо участия Парнеля аграрная агитация принимала широкие размеры. «План кампании» был пущен в ход в 84 имениях. Лендлорды в 60 случаях уступили и уменьшили ренту почти на 25%: в 24 имениях лендлорды тоже уступили, но после некоторой борьбы. Но по мере развития пропаганды «плана кампании» происходили и такие случаи, когда между лендлордами и арендаторами возгоралась ожесточенная борьба. Тогда правительство Салисбюри увидело, что оно сделало ошибку, совершенно отказавшись хоть как-нибудь улучшить положение ирландских арендаторов.

Спустя каких-нибудь 6 месяцев после возникновения «плана кампании» правительство внесло билль о пересмотре рент, размеры которых были установлены судами с 1881 по 1886 г., и о допущении к пользованию преимуществами акта 1881 г. той категории арендаторов, о которой тщетно хлопотал Парнель несколько месяцев тому назад. Но чтобы это не имело слишком определенного вида вынужденной уступки, правительство одновременно усилило репрессию в Ирландии. Снова аграрные волнения и усмирения стали приковывать к Ирландии всеобщее внимание. На одном большом митинге полиция затеяла драку с собравшимися и открыла стрельбу, причем трое оказались убитыми. В Югэле во время ареста одного священника, обвинявшегося в насильственных действиях против лендлорда по программе «плана кампании», полиция убила одного молодого человека, который принимал участие в манифестировавшей толпе. В Тайперери был убит мальчик полицейским. Произошел ряд подобных же случаев в других местах. Организаторы «плана кампании» деятельно собирали деньги и поддерживали пострадавших в борьбе; за 7 лет, когда эта борьба была особенно горяча (1887—1893 гг.), ими было роздано на поддержание как активных борцов, так и семей изгоняемых арендаторов около 230 тысяч фунтов стерлингов.

Борясь с аграрной гверильей в самой Ирландии, Салисбюри, консервативно-унионистское большинство палаты общин, консервативная пресса делали в то же время усилия каким бы то

ни было образом разрушить союз между Парнелем и Гладстоном. Объединение этих двух могущественных политических деятелей и стоящих за ними партий на такой платформе, как гомруль, являлось в их глазах угрозой целости империи. Гладстон, раз уже повернув на другой путь, признав тщету всех репрессивных мер, которые он, будучи министром, пускал в ход, деятельно агитировал в пользу гомруля. Возможно скорее разорвать сложившиеся союзные отношения между Гладстоном и Парнелем стало казаться делом решительной необходимости, и тогда-то (весной 1887 г.) редакцией газеты «Times» была сделана попытка уличить Парнеля в связи с революционерами, убившими за 5 лет до того Борка и Кавендиша. Ряд обвинительных статей под общим названием: «Парнелизм и преступление» редакция закончила (18 апреля) обнародованием подложного факсимиле письма, будто бы написанного Парнелем 15 мая 1882 г., т. е. через 9 дней после события в Феникс-парке, одному из участников этого дела. Мы не будем останавливаться здесь на том, как была назначена специальная комиссия для разбора этого дела, как в подлоге был уличен Ричард Пиготт, как Пиготт бежал из Англии и покончил с собой, как газета «Times» потерпела полное моральное фиаско, а Парнель вышел победителем. Все это интересующийся читатель найдет в указанных нами работах биографического характера [58]. Здесь же нам важно отметить не эти детали, а лишь главный результат всего предприятия газеты «Times», поддержанного усердно консервативной партией: союз Гладстона с Парнелем не только не ослабел, но окреп и даже стал как бы переходить на почву личного сближения. Но этот триумф Парнеля был уже последним перед грустным концом этого замечательного человека...

15 и 17 ноября 1890 г. в Лондоне было заслушано дело о разводе, требуемом капитаном О'Ши от своей жены, причем муж обвинял жену в незаконной многолетней тайной связи с Парнелем [59]. Широчайшая огласка, которую получило это дело, и роковые его последствия для Парнеля объясняются причинами разнообразными. Консервативно-унионистская партия, конечно, воспользовалась этим процессом, чтобы обвинить своего врага в глубочайшей нравственной испорченности и всевозможных пороках. Но если консервативно-унионистская пресса начала кампанию, то вскоре либеральная поддержала ее всецело, хотя в первые дни либералы высказывались сдержанно. Традиционное английское лицемерие торжествовало полную победу по всей линии. Гладстон некоторое время колебался, но его политические друзья настоятельно указывали ему на полную невозможность поддерживать дальнейший союз с ирландской партией, пока во главе ее стоит Парнель, ибо такого союза либеральной партии английское общественное мнение не простит.

Вот что говорил по этому поводу Гладстон спустя 7 лет: «Каково было мое положение? После вердикта по бракоразводному делу я получал письма от либералов палаты общин и либералов в стране и все говорили одно и то же: Парнель должен уйти». Когда к общему голосу присоединились также Морлей и Гаркур, Гладстон решился. Он публично (в открытом письме к Морлею) заявил, что, по его мнению, дальше лидером ирландской партии Парнель быть не может. Это было как бы сигналом для внезапного усиления и расширения травли, поднятой против Парнеля. Католическое духовенство в Ирландии повело систематическую кампанию против лидера, и в народе возникло соответственное течение. Парламентская партия Парнеля, до тех пор беспрекословно ему повиновавшаяся, раскололась на два лагеря, из которых один был за него и считал, что частная жизнь Парнеля не имеет никакого отношения к политике, а другой был против него и заявил, что союз с либералами есть насущная необходимость для ирландской партии, и уже поэтому Парнель должен уйти, дабы не препятствовать Гладстону продолжать союзные отношения с гомрулерами. Парнель со страшным напряжением сил боролся против всех враждебных ему течений. Он провел эти месяцы — последние 11 месяцев своей жизни — в вечных разъездах, в постоянной агитации, в постоянной полемике. Антипарнелиты стали одерживать верх на частичных выборах, имевших место в первой половине 1891 г.; раздор все разрастался. Непосильные труды, лихорадочная жизнь, неприятности и волнения — все это сломило Парнеля, и 7 октября (1891 г.) он скончался, совершенно неожиданно для широких масс, ибо всего за 10 дней до того произнес последнюю речь на митинге в Боскоммоне.

14

Вот что впоследствии (в 1897 г.) сказал Гладстон по поводу этого погубившего Парнеля вихря, налетевшего на него как раз в эпоху полного расцвета сил и популярности: «Ах, если бы был жив Парнель, если бы не произошло бракоразводного процесса, я торжественно изъявляю уверенность, что теперь *был бы* у Ирландии свой парламент». Гомруль лишился в лице Парнеля действительно замечательного бойца и защитника. Суровая, непреклонная, энергичная натура Парнеля, его ораторский дар, тактические способности, столь нужные политику, находящемуся в его положении,— все это делало Парнеля первостепенной величиной, идолом народных масс. «Такого не было у нас и уже не будет»,— сказал о нем хорошо его знавший Мак-Карти. Это предсказание пока сбылось. Последние годы уже не выдвинули в Ирландии никого, кто мог бы заменить Парнеля вполне. А вре-

мена наступили нелегкие. Как это ни было странно и вполне излишне, вражда между парнелитами и антипарнелитами продолжалась по старой памяти, хотя уже ни малейшего смысла не имела. Подошли общие выборы 1892 г., те самые общие выборы, на которые так надеялся покойный Парнель. Ирландия прислала 81 гомрулера, приверженцев Гладстона было выбрано в Англии и Шотландии 270, консерваторов — 268 (остальные 4 — члены рабочей партии). В общем выходило, что за гомруль стоит некоторое большинство (40 голосов), и что Гладстон имеет все конституционные основания занять пост первого министра. В первые же дни после выборов (в августе 1892 г.) Салисбюри получил вотум недоверия, и Гладстон снова, теперь уже в последний раз в своей жизни, стал во главе правительства.

Руководители движения в пользу гомруля, Джустин Мак-Карти, Секстон, Диллон, Гили, О'Брайен, Девитт, сообща старались делать то дело, которое Парнель так хорошо делал один, но у них всех вместе и у каждого отдельно (при многих и разнообразных качествах) не хватало той особенной, изумительной способности воспламенять людские массы, оставаясь холодным, чем так силен был Парнель. Ни в Ирландии, ни в Англии, ни в парламенте они не имели и тени того авторитета и значения, как покойный лидер. Дело обстояло очень неутешительно: в палате общин, правда, премьер имел большинство, хотя и слишком ничтожное для вполне уверенного образа действий при проведении такой колоссальной по своему значению меры, как гомруль; но зато члены палаты лордов ничуть и не скрывали, что они провалят билль, когда он перейдет к ним на обсуждение. Вот почему ирландская партия имела полное основание писать в своем воззвании, выпущенном весной 1893 г.: «Мы дошли до самого трудного момента в истории долгой борьбы Ирландии за ее права. Первый министр Англии, вождь правительства и партии, которая управляет Британской империей, внес билль о гомруле, который в общем является широкой, солидной и прочной программой ирландского национального самоуправления». Говоря дальше о своей вере в то, что эта мера знаменует конец долгой и кровавой борьбы, авторы указывают на «врагов Ирландии, которые еще не признают», что борьба эта окончена. Эти враги призывают на помощь палату лордов. «Мы не можем поэтому не считаться с возможностью продолжительной и отчаянной кампании, направленной к тому, чтобы погубить ирландское дело и нанести поражение благородным усилиям м-ра Гладстона». Они правильно предвидели оппозицию лордов, но что они могли поделать с этим? Грозить всенародным ирландским волнением? Организовать его? Эти угрозы не могли испугать верхнюю палату: она слишком была уверена в поддержке

больших масс английского населения и в том, что если на почве вечных аграрных смут не могло возникнуть народное восстание, то идея политическая, идея гомруля, подавно такого восстания в Ирландии не подымет.

Борьба началась. Гладстон, несмотря на свои 83 года, держал себя могучим, испытанным и непреклонным парламентским бойцом. Даже враги любовались зрелищем этой неслыханной энергии и умственной свежести. После яростной и упорной борьбы, тяжесть которой почти вся легла на Гладстона, после 82 заседаний-битв, в которых врагами было пущено решительно все в ход, что только было в их распоряжении, билль о гомруле прошел большинством 374 против 304 голосов в третьем чтении в палате общин и поступил в палату лордов. Еще до перехода его в палату лордов агитация в Англии против этого билля приняла грозные размеры. Интересно, что в это время, в 1893 г., Англия волновалась из-за гомруля едва ли не сильнее, нежели Ирландия, и громкие крики о «расчленении империи», о «предательстве по отношению к Англии» не переставали раздаваться в газетных статьях и на митингах, устраиваемых консерваторами и унионистами. Твердо решившись и без того отвергнуть билль о гомруле, палата лордов почувствовала под собой особенно твердую почву в успехе унионистской агитации и большинством 419 голосов против 41 провалила ненавистный законопроект. Гладстон не мог пустить в ход всех конституционных средств, чтобы заставить лордов уступить: для этого нужно было действительно иметь за собой и решительное сочувствие большинства английского народа, и более значительный перевес голосов в палате общин, и более энергичное желание поддержать премьера в самом кабинете, и готовность помочь ему со стороны королевы Виктории. Ничего подобного у Гладстона не было в распоряжении, а без этих условий, точнее — без возможности пригрозить лордам произвольно большим назначением короной новых членов верхней палаты, без возможности этой угрозой заставить лордов уступить, как уступили их деды в 1832 г. при обсуждении билля о реформе, Гладстон был совершенно бессилен сделать что бы то ни было против упорства «наследственных врагов» Ирландии. Мало того, когда палата лордов внесла самые нежелательные поправки в другой законопроект Гладстона (уже касавшийся английских дел), проведенный премьером в том же году через палату общин, и когда Гладстон окончательно решился апеллировать к нации и, распустив парламент, назначить общие выборы, в самом кабинете возникли по этому поводу несогласия. Эти несогласия не носили случайный характер и вскоре усилились. Товарищи Гладстона никогда не были особенными энтузиастами ирландского самоуправления, и на этой почве, или даже на почве борьбы за демократи-

ческие реформы, затевать войну против палаты лордов перед лицом нации многие из них не особенно желали. Кроме того, империализм уже поднимал голову, и в кабинете большинство министров было за усиленные морские вооружения, а Гладстон — против. В начале 1894 г. он вышел в отставку и навсегда удалился с политической авансцены; вместе с ним была удалена с авансцены и идея ирландского гомруля.

Ни Розбери, управлявший Англией в 1894—1895 гг., ни, конечно, консервативно-унионистские министерства Салисбюри и Бальфура (1895—1905 гг.) уже о гомруле не думали. Все эти лица и почти все их товарищи были, несмотря на оттенки и отличия в мнениях, империалистами в душе, а последовательный империалист за гомруль, конечно, стоять не может. Собственно, это стоит упомянуть лишь для пояснения роли Розбери в этом вопросе, ибо о враждебности консерваторов и унионистов идее гомруля нет ни малейшей надобности распространяться.

15

1891—1900 гг. были одной из тех эпох ирландской истории, когда после огромного напряжения сил, после кипучей революционной и парламентской борьбы эта маленькая, разоренная, не видящая ниоткуда помощи национальность временно как бы ослабляла свои отчаянные порывы. В эти годы Англия решительно вступила на дорогу империализма; мысль о расторжении унии с Ирландией все более и более исчезала из области тех политических идей, с которыми серьезно считаются или даже о которых серьезно говорят. Ирландские деятели старались в это безвременье поддержать национальное самосознание, ободрить упавших духом. Так, 1—3 сентября 1896 г. в Дублине собрался огромный съезд приблизительно из 2250 лиц, присланных в качестве делегатов от ирландских обществ и поселений, разбросанных по всему земному шару. Этот съезд, «конвент ирландской расы», конечно, мог иметь и имел на самом деле лишь значение большой манифестации в пользу гомруля. Устроен был этот съезд членами «Национальной федерации» — общества, основанного еще в 1891 г. с целью продолжать дело борьбы против лендлордизма и за гомруль. Это общество благодаря съезду 1896 г. впервые завоевало не достававшие ему до тех пор популярность и авторитетность. Благодаря этому же съезду ускорилось сближение и примирение между двумя фракциями, делившими ирландские политические круги со времени бракоразводного процесса супругов О'Ши. После съезда «Национальная федерация», финансы которой сильно поправились благодаря обильным взносам и пожертвованиям из Америки и Ав-

стралии, направила все усилия на помощь хронически бедствовавшим арендаторам то той, то иной посещаемой неурожаем местности. Этот же 1896 год принес весьма интересные указания на тот счет, как консервативно-унионистское правительство намерено решить ирландский вопрос. В этом году правительство провело по собственной инициативе билль, бывший, по мнению таких компетентных лиц, как, например, Девитт, еще одним шагом к упразднению системы лендлордизма. В билле предлагалось назначить комиссию, которая бы имела целью, исходя из общих принципов земельного акта 1881 г., определить «справедливую ренту» в таких размерах, которые не были бы обременительны для арендаторов. Для этого предлагалось: 1) установить размеры «справедливой ренты» с земли и усадьбы арендатора в том виде, как эта земля и усадьба существуют, т. е. принимая во внимание действительную их стоимость и доходность: 2) установить ценность улучшений, сделанных самим арендатором и, определив, на сколько эти улучшения увеличивают арендную плату, *вычесть* этот излишек из установленной по § 1 общей суммы «справедливой ренты»; то, что получится в остатке, и будет той «справедливой рентой», которую арендатор должен платить лендлорду. Кроме того, этот акт смягчал еще более условия выплаты казне денег, данных ею заимообразно арендаторам, которые желали выкупить свои участки в собственность. Словом, акт 1896 г. имел целью дополнить и развить положения земельных актов 1881, 1885 и 1891 гг. Конечно, и теперь члены комиссии, определявшей размеры ренты и стоимость улучшений, и суды, рассматривавшие споры и несогласия по этому поводу, очень склонны были ставить выгоды лендлорда всегда впереди. Но при всем том принцип вмешательства государства в арендные отношения и государственной помощи в деле выкупа земли арендаторами актом 1896 г. еще более был расширен и углублен.

Этот акт предуказал всю ирландскую политику консерваторов-унионистов, до нынешнего дня управляющих Ирландией: не давать гомруля, но в широчайших размерах приступить к решению векового вопроса о земле; не удовлетворять основного требования политического, но сделать все, не останавливаясь перед материальными жертвами со стороны государства, чтобы удовлетворить насущным экономическим нуждам ирландского населения. Вместе с тем правительство и парламент дали Ирландии в 1898 г. новый закон о местном самоуправлении, реформировавший на таких началах существовавшие в Ирландии порядки, что даже люди радикально-гомрулевского образа мыслей не могли не выразить известного удовлетворения. До 1898 г. местное управление (сбор налогов, их употребление на местные нужды, призрение бедных, дорожное дело, медицинская помощь

и т. п.) находилось в руках небольших комитетов, члены которых назначались из лендлордского класса или в более редких случаях из лиц иных классов, но непременно так или иначе связанных с лендлордами и с английской правительственной системой общностью интересов и воззрений; назначения эти делались шерифами и судьями, т. е. чинами, либо прямо зависевшими от правительства, либо все равно склонными его поддерживать. Эти назначенные комитеты и изображали собой местное управление; их тенденции и настроения были большей частью такими, какие могут быть у победителей в завоеванной и враждебной стране, а вовсе не у лиц, призванных блюсти народное хозяйство. Акт 1898 г. передавал местные дела в руки советов графств (по одному на каждое графство Ирландии), причем избирательные права предоставлялись в общем всем, кто имел право выбирать членов парламента. Была образована и более мелкая самоуправляющаяся единица (с советом сельского округа во главе, также выборным, но с более ограниченной компетенцией). Правда, акт 1898 г. оставлял решающий голос и право veto за присутственным местом, являющимся подчиненным органом вице-короля, но фактически вице-королевская власть умела и умеет избегать ненужных трений и без смысла не раздражает представителей местного самоуправления. Все эти меры министерства не смогли все же предотвратить весьма резких выражений сочувствия со стороны Ирландии несчастным бурам, когда над ними стряслось несчастье, погубившее их самостоятельность. Ирландцы обнаружили живейшее сострадание к двум маленьким республикам, так отчаянно бившимся против Англии; ирландские депутаты протестовали в палате общин, в Дублине устраивались митинги, ирландская пресса громила политику Чемберлена (при английских порядках громить Англию в Англии же не возбраняется никому — небольшая подробность, охотно забываемая в других странах друзьями буров, почему-то не удосуживающимися вспомнить о бурах собственных, т. е. иногда о всех согражданах без исключения). Но воспользоваться этой войной для восстания никто в Ирландии не подумал; и не только оттого, что 4 400 000, населяющие Ирландию, понимали невозможность борьбы, но и потому, что политика Салисбюри успела отчасти принести кое-какие результаты. По крайней мере даже с 1900 г., когда окончательно изгладились следы раздоров, начавшихся в последний год жизни Парнеля, и когда лидером ирландской партии был избран Джон Редмонд, даже с этого времени и с открытия (в том же 1900 г.) нового огромного общества — «Лиги объединенной Ирландии» — революционизм в Ирландии сколько-нибудь заметно не усилился. Названная новая лига, заменившая «Национальную федерацию», преследует те же цели, что и эта закрывшаяся в 1900 г. феде-

рация: агитация в пользу земельной реформы и гомруля — ее основная задача. Переименование было вызвано желанием отметить конец всех партийных раздоров и несогласий.

Выборы 1900 г. укрепили положение консервативно-унионистского правительства, но это не помешало ему продолжать свою политику частичного удовлетворения ирландских нужд. Главным секретарем Ирландии был назначен Джордж Уиндгем, который, правда, пользовался в первые годы своего управления (1901—1902) полномочиями, предоставленными усмирительным актом, чтобы засадить в тюрьму несколько десятков человек, но имя которого останется в ирландской истории связанным со знаменательным земельным актом 1903 г.

Многие ирландские деятели объясняют внесение Уиндгемом в палату общин в сессию 1902 г. его билля прежде всего непосредственными лендлордскими интересами: землевладельцы могли в ближайшем будущем рассчитывать на уменьшение и той «справедливой ренты», которая, не удовлетворяя арендаторов, и их самих мало удовлетворяла; при новом установлении размеров ренты (в 1911 г.— через 2 пятнадцатилетних срока после 1881 г.) можно было бы ожидать такого понижения нормы, которое казалось лендлордам прямо разорительным. С другой стороны, замечает Девитт, агитация «Лиги объединенной Ирландии» постоянно напоминала правительству о неотложности новых мер в защиту трудящегося земледельческого населения. Да и, кроме того, идея организации выкупа участков арендаторами, положенная в основу проекта Уиндгема, как нельзя более подходила к общей тенденции министерства консерваторов и унионистов: уладить возможно полнее экономические неурядицы, чтобы обессилить гомрулеров, которые, предполагалось, лишатся активной помощи от большинства населения, если оно окажется более обеспеченным землей. Билль, подвергшийся всесторонней оживленной критике компетентных представителей обеих заинтересованных сторон, прошел через парламент и стал законом.

Этот акт, который «должен превратить от четырехсот до пятисот тысяч земельных держателей в арендующих землю у государства в течение 70 лет», разрешал кредит в 112 миллионов фунтов стерлингов, причем предполагается, что этой суммы должно хватить для осуществления всей грандиозной меры — выкупа земли. За каждые 100 фунтов стерлингов, полученные арендатором из этого государственного фонда для выкупа участка, арендатор ежегодно уплачивает в казну 3 фунта и 5 шиллингов, из коих 2 фунта 15 шиллингов в качестве процентов, а 10 шиллингов — в погашение долга. Некоторые расходы по совершению самой сделки (выкупа) берет на себя казна, и лендлорд,

продающий землю арендатору, от этих очень высоких издержек совершенно освобождается. Вообще же интересы лендлордов этим актом принимаются столь близко к сердцу, что из вышеозначенной суммы (т. е. из 112 миллионов) 12 миллионов фунтов под тем или иным предлогом предназначены почти исключительно в пользу лендлордов, соглашающихся продать землю арендаторам; это, так сказать, дополнительная премия лендлордскому классу, который и так получит и всю остальную сумму (100 миллионов) за свою землю в виде выкупа. Акт 1903 г. рядом мер стремится насколько возможно более побудить лендлордов к скорейшему согласию насчет продажи участков арендаторам; это достигается тем, что такая продажа явственно обеспечивается со стороны государства такими материальными выгодами, которые перевешивают в пользу от оставления своей земельной собственности в своих руках. С другой стороны, акт 1903 г., лишая арендаторов, не желающих выкупить участки в собственность, некоторых преимуществ, которые им были предоставлены прежними законами, обнаруживал прямую тенденцию *заставить* арендаторов поскорее стать земельными собственниками, если бы у некоторых из них не хватило достаточно инициативы и энергии, чтобы самим обратиться в государственный фонд за ссудой и взять на себя необременительные обязательства перед казной. Впрочем, огромное большинство арендаторов по собственному страстному побуждению бросилось навстречу уиндгемовским начинаниям. Конечно, акт 1903 г. обладает с последовательно демократической точки зрения серьезными недостатками, на которые и указывала ирландская политическая пресса. Например, указывалось на слишком уже щедрое вознаграждение лендлордов, на слишком нежную заботливость об их выгодах при совершении выкупа, на то особенно, что ведь это великодушие государства по отношению к лендлордам окупается в конечном счете плательщиками податей; на то, что будь свой, ирландский, парламент, дело было бы сделано с меньшими расходами и т. д. Бесспорно, акт 1903 г. еще будет подлежать в будущем дополнениям и изменениям, но дело все-таки сделано: заря лучшего экономического будущего уже взошла над Ирландией.

Кончая наш очерк, сводя к немногим словам главное его содержание, вспоминая, как ирландцы добились сначала эмансипации католиков, потом уничтожения церковной десятины и отделения церкви от государства и наконец серьезных законодательных шагов в области улучшения аграрных отношений, мы можем только лишний раз вспомнить мысль Парнеля: англичане ничего не дают добром, у них все нужно вырывать борьбой.

История учит, впрочем, что англичане в данном случае вовсе не являются исключением...

Не являются они исключением и в другом отношении: они последовательно делали ирландцам те уступки, которые меньше затрагивали их собственные интересы. Сначала эмансипация католиков и ряд реформ в церковной области, мало затрагивающей кого бы то ни было, кроме духовных лиц, вплоть до лишения англиканской церкви в Ирландии государственного характ ра; затем аграрное законодательство, все больше и больше стесняющее произвольную власть лендлорда и стремящееся сделать арендатора собственником земли: здесь тоже государство не чувствовало себя вполне солидарным с ирландскими лендлордами и властно вмешалось в аграрные отношения. И наконец остается реформа, самая трудная, из-за предотвращения которой, собственно, и делались эти аграрные преобразования: дарование самоуправления... Достигнет ли Ирландия и этой желанной цели? Хватит ли у нее и для этой борьбы сил? Будут ли и за нее бороться так, как боролись для достижения предшествовавших уступок? Все это покажет будущее. Хотелось бы во всяком случае надеяться, что в начавшемся столетии Ирландии предстоит пережить меньше ужасов, чем в столетии окончившемся.

1904—1905 гг.

Роль студенчества в революционном движении в Европе в 1848 году

Исторический очерк

Студенчество на Западе всегда являлось той частью буржуазного класса, который раньше остальной буржуазии начинал борьбу против абсолютизма. Студенчество же в те эпохи, когда разыгрывалась уже решительная схватка с абсолютизмом, часто играло роль того высокополезного для революционного дела звена, которое связывало буржуазию с рабочим классом в одном общем деле; студенты, например, в Вене в 1848 г. являлись передаточным пунктом для сношений между революцией в центральных, богатых кварталах и революцией в кварталах рабочих. Когда буржуазия делу революции изменяла, студенчество последним уходило с арены борьбы, и многие члены его погибали при крушении революции рядом с оставленными рабочими.

Роль русского студенчества в дореволюционный период была еще решительнее и важнее, нежели роль западноевропейского в эпоху до 1848 г.; роль же русских студентов, как она определилась в последнее время, при всей ее серьезности все же не может назваться первенствующей, ибо у нас на арену борьбы пролетариат выступил, обладая несравненно большей сознательностью, а потому и несравненно менее нуждаясь в руководстве со стороны благожелательной учащейся молодежи, нежели это имело место в Западной Европе 1848 г.

Но часто приходится встречаться с обывательским горестным недоумением по тому поводу, что у нас студенты слишком много и отдавались, и отдаются «политике» и что этого «нигде» не бывало. Ибо хотя мысль, что одинаковые причины порождают одинаковые последствия, прочно внедрилась в сознание всякого человека, сколько-нибудь привыкшего доискиваться внутреннего смысла в проходящих перед ним явлениях, тем не менее довольно часто наблюдается весьма любопытный факт, показы-

вающий, что далеко не все умеют вовремя припоминать эту истину и прилагать ее к объяснению тех или иных поражающих их событий. «Где это видано! Только у нас это возможно! Это — нечто неслыханное, небывалое!» Кто не внимал на своем веку таким обывательским восклицаниям по поводу едва ли не каждого болезненного, ненормального политического события, по поводу едва ли не каждого проявления бурных политических страстей? Конечно, если почаще вспоминать историю и побольше думать об одинаковых последствиях, порождаемых одинаковыми причинами, тогда многое осветилось бы ярче в общественном сознании, ко многому явилось бы более спокойное отношение, и от многого тяжелого в настоящем перестали бы ожидать только зла и гибели в будущем.

В предлагаемом очерке напомним в нескольких словах о двух моментах, пережитых в истекшем веке высшими учебными заведениями Германии и Австрии.

1

Перед нами — Германия, только что освободившаяся от наполеоновского ига, только что пережившая лейпцигскую битву, самую кровавую в новой истории (после мукденского сражения). Был такой момент, когда казалось, что ближайшие годы после этого национального воскресения из мертвых будут для Германии временем правильного прогрессивного развития общественной жизни, установления правового строя на обломках феодально-полицейских порядков, едва не доведших до полной гибели и Пруссию, и меньшие державы германской нации. Объединение Германии и конституционный строй в этой будущей стране — таков был «двуединый» идеал свободомыслящих общественных кругов едва ли не во всех отдельных германских державах; немедленное введение конституции в этих отдельных державах еще до их грядущего желательного объединения — таково было непосредственное требование, предъявлявшееся этими же кругами общества к тем «тридцати шести монархам», о которых говорит Гейне в своих сатирических стихах и которые властвовали над раздробленной немецкой нацией. Эти желания не были мимолетной фантазией нескольких оторванных от почвы политических мечтателей; они отвечали все более и более назревавшим потребностям жизни. Дворянско-бюрократический строй, отдававший все население в бесконтрольное распоряжение полиции и чиновников, угнетал всякое свободное проявление жизни; сеть феодальных повинностей и не всюду вполне уничтоженных крепостных отношений держала многочисленнейшее сословие — крестьянство — в состоянии периодически возвращавшихся голодовок и никогда не прекращавшейся

приниженности, низводила крестьян на уровень париев, бесправных, темных и презираемых; торговля и ремесла были стеснены рядом мелких и крупных узаконений, никому не нужных и вместе с тем страшно мешавших правильной торгово-промышленной жизни; крупная промышленность, все возраставшая в течение первой половины XIX в., не видела перед собой ни достаточно обширного рынка сбыта ввиду таможенных преград, существовавших между отдельными немецкими государствами (до учреждения таможенного союза), ни надежд на усиление покупной способности этого рынка при страшном обнищании широких народных масс, ни какой бы то ни было возможности конкурировать с более богатыми странами, вроде Англии и Франции, в добывании себе внешних рынков сбыта, так как пока Германия не была объединена, никакого военного флота ни у одной из немецких держав не могло быть в более или менее серьезных размерах; наконец, рабочий класс был в чрезвычайно тяжелом положении: рабочий день был в общем чрезмерно велик, заработная плата ничтожна, обращение с рабочими в точности отражало феодально-полицейский дух, которым была насыщена атмосфера немецкой жизни.

Помещики, придворные, офицеры и высшие чиновники — вот кто только и являлся более или менее удовлетворенным общественным классом; да и то мы говорим тут о них только как о классе, ибо среди образованных людей, тяготившихся этим политическим строем, требовавших свободы слова и деятельности, было немало выходцев и из офицеров, и из помещиков. Таковы были общие причины, делавшие государственный строй явно непрочным, — причины, вызывавшие все более и более широкое увлечение конституционными идеями. Для всех теперь, 100 лет спустя, совершенно ясно, что никоим образом и никто этих идей подавить окончательно не мог бы, мало того, что осуществлению этих требований Германия и обязана нынешним своим процветанием. Но в 1815—1820 и следующих годах это еще ясно не было, будущее было скрыто, и правящие круги с недоумением и раздражением смотрели на недовольную интеллигенцию и самую беспокойную часть ее — студентов.

Были и внутренние, и внешние причины, сделавшие в те годы студентов носителями оппозиционной мысли, если даже и не считать того обычного обстоятельства, что молодая часть общества есть в то же время самая пылкая, искренняя, восприимчивая и чуткая часть его. Во-первых, студенты особенно увлеклись в 1813 г. подвигом спасения отечества от Наполеона, приняли особенно активное массовое участие в войне, и поэтому с особенным раздражением увидели крушение всех своих патриотических надежд на Венском конгрессе, оставившем Германию по-прежнему разъединенной и порабощенной; во-вторых,

были в 1813 г. торжественно даны обещания после войны привлечь народ к соучастию в управлении, и эти обещания, «предательски» не исполненные после победоносного окончания войны, подогревали раздражение студентов, которые заявляли, что они боролись не за «свободу государей», а за свободу народа; в-третьих, академическая жизнь была стеснена до крайности, подозрительное полицейское ухо прислушивалось к лекциям, благонамеренные чиновные профаны сортировали науку на одобрительную и неодобрительную, тупая и придирчивая цензура душила научную литературу, и все это вносило еще более горечи в настроение студентов. К числу причин внешнего порядка, выдвинувших университетскую молодежь на авансцену политической жизни в Германии второго и третьего десятилетий XIX в., следует отнести главным образом то существенно важное обстоятельство, что университет в те времена являлся единственным местом, где собирались и сообщались между собой более или менее многочисленные представители образованного класса. Университет сближал молодежь, и только благодаря университету она могла себя чувствовать сплоченной и более сильной. Взрослые граждане не могли нигде собраться на политический митинг в числе нескольких сот человек, а дети их в университете могли это сделать и делали.

И вот к изумлению и негодованию Меттерниха *, главного и верховного руководителя не только австрийской, но и общегерманской реакции, начались университетские беспорядки, сборища, речи, процессии с факелами, манифестации и т. д. Явление поражало своей новизной и неожиданностью. Меттерниховская пресса и меттерниховские последователи, впрочем, мгновенно нашли разгадку в том обстоятельстве, что возникла секта, желающая повторить в Германии ужасы французской революции, секта эта завладела незрелыми и буйными умами — и вот результаты и т. д. Следует заметить любопытную черту в отношениях реакции к студенческому движению: сначала, когда движение это больше отличалось внешне бурным характером, но на самом деле не могло внушить никаких серьезных опасений, реакционеры изо всех сил старались изобразить его в глазах мирных граждан в виде чудовищной революционной гидры, пышащей огненными искрами и желающей зажечь всегерманский пожар; а по мере того как студенческое дело осложнялось и усиливалось, по мере того как оно приобретало все более и более серьезный колорит как одно из многочисленных уже проявлений недовольства, правящие круги стали притворяться незамечающими или презирающими «мальчишек»,

* Меттерних был канцлером Австрийской империи, полновластно распоряжавшимся всеми внутренними и внешними делами Австрии с 1814 по 1848 г.

которые вместо ученья думают о политике. Отношение первого рода было налицо в 1815—1820 гг., отношение второго рода более заметно накануне и во время мартовских событий 1848 г.

Особенное внимание привлекла бурная студенческая манифестация, имевшая место в 1817 г. во время вартбургского торжества по поводу трехсотлетия лютеранской реформации. На эти празднества съехались студенты разных университетов, причем юбилею реформации была придана окраска манифестации против «стеснений духа» вообще, против реакционной политики германских правительств. Одновременно студенты пожелали чествовать и давнишнее освобождение Германии от римских пап, и недавнее освобождение от французского завоевателя, и дать волю выражению истинных своих чувств по отношению к тем, кого они считали угнетателями своей родины. После празднования и шествия с факелами, 18 октября вечером за городом был разложен костер, куда после речи соответствующего содержания полетели одна за другой книги авторов, успевших возбудить ненависть молодежи своим реакционным направлением. Вокруг раздавались по поводу выкликаемых громко имен реакционных авторов насмешливые и бранные восклицания и замечания. Сожжен был «Кодекс жандармерии», сожжена была книга ненавистного молодежи, «подкупленного русским золотом» Коцебу * и т. д. На другой день было торжественное заседание с речами о не исполненных государями конституционных обещаниях, о грядущем величии Германии, о служении свободе.

Все это было в достаточной мере невинно и ни для кого не опасно; однако для подозрительных и нервно настроенных правительственных лиц вартбургский праздник представился грозной революционной манифестацией. Меттерних пришел в сильнейшее негодование и беспокойство, так же как баварский и прусский короли. Несмотря на явно враждебное отношение властей (а быть может, именно поэтому), тон студенческого движения становился все резче и решительнее. Литературная полемика представителей либерального течения против Коцебу, осмеивавшего конституционные и национально-объединительные идеалы студенчества, не могла не возбудить еще больше страстности в студенческих кругах. Был образован общегерман-

* Коцебу, посредственный, но в свое время известный немецкий драматург, некогда сам склонный к либерализму, в годы после Венского конгресса стал одним из самых злобных и ядовитых литературных борцов против патриотических и конституционных увлечений. Особенно много нареканий вызывали его сношения с русским двором; на него склонны были многие смотреть как на русского шпиона.

ский студенческий союз, «принципы» которого были одобрены и приняты представителями 14 университетов. В этих «принципах» между прочим высказывалась хвала великому герцогу веймарскому за введение в Веймаре представительства, предъявлялось требование конституции к другим немецким правительствам, указывалось на чрезмерно высокие налоги, существующие в германских государствах, заявлялось желание видеть всех немцев совершенно равными перед лицом закона, «как это обстоит уже давно в Англии и действительно высказано во Франции в хартии Людовика XVIII». В общем эти принципы были чрезвычайно умеренно и сдержанно редактированы, но для Меттерниха и его друзей всякий нежандармский образ мыслей уже казался крамольным, и на общестуденческий союз было обращено полное полицейское внимание. Иена с ее старым и знаменитым университетом стала средоточием общегерманского студенческого движения, особенно с тех пор, как сюда переселился из Гиссена и начал читать лекции профессор Фоллен.

По мере обострения полицейских преследований Фоллен и группировавшиеся около него студенты все больше и больше стали заниматься анализом вопроса о том, позволительны ли или непозволительны в политике всякие средства для достижения намеченной цели, и тому подобными острыми проблемами. Революционно-демократическая черта движения начинала все заметнее преобладать над чисто национальными стремлениями. Учение Фоллена было учением республиканским по преимуществу; это был фанатически настроенный враг всякого деспотизма и для борьбы против последнего признавал хорошими всякие средства. Студенты Вит фон Дерринг, Карл Занд и некоторые их товарищи составляли самый близкий к Фоллену кружок, но и в массе иенского студенчества радикальные взгляды последнего все больше и больше вытесняли недавние сравнительно умеренные воззрения. Возмущалось студенчество особенно тем, что иностранцы вмешиваются в дела германского университетского быта. Валах Стурдза составил для императора Александра I мемуар, касающийся неблагонамеренности университетов в Германии, и мемуар этот возымел известное действие в официальных германских сферах. Этот Стурдза привлекал ироническое внимание и русских оппозиционно настроенных кругов своим ханжеством и верноподданностью; известно четверостишие Пушкина:

Вкруг я Стурдзы хожу,
Вкруг библического,
Я на Стурдзу гляжу
Монархического.

Книгоиздательство „Свободный Трудъ„
А. И. Жуковой и М. А. Полубояриновой.

Е. Тарле.

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСТВА ВЪ РЕВОЛЮЦІОННОМЪ ДВИЖЕНІИ ВЪ ЕВРОПѢ ВЪ 1848 Г.

Цѣна 8 коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія „Энергія", Загородный пр., 17.
1906.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ «РОЛЬ СТУДЕНЧЕСТВА В РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ В ЕВРОПЕ В 1848 г.»

Он-то и представил докладную записку, затрагивающую университетский вопрос в Германии. В мемуаре Стурдзы рекомендовались отнятие всех университетских старинных вольностей и низведение студентов на уровень строго опекаемых гимназистов. Одна копия этого тайного доклада попала в Париж и была там обнародована. Бешеная ярость охватила и без того раздраженное студенчество Германии. Студенты командировали двух из своей среды вызвать на дуэль Стурдзу, который от дуэли отказался и быстро исчез из Германии; тогда гнев обратился на Коцебу, заявившего сочувственно, что идеи Стурдзы разделяет и сам император Александр. И действительно, император Александр раздавал сам экземпляры этого произведения Стурдзы членам Аахенского конгресса.

Коцебу, о котором было известно, что он в переписке с русским правительством, получил столько угроз и неприятностей, что переселился в Мангейм из Иены. Ненависть к нему, давно уже существовавшая, разгорелась ярким пламенем. Впрочем, помимо Стурдзы, Коцебу и других отдельных лиц, боровшихся против нового духа в университетах, вся меттерниховская система явно торжествовала на всех позициях, по всей линии общественной жизни и вносила все больше и больше злобы и отчаяния.

23 марта 1819 г. в квартиру Коцебу явился молодой человек, который, пожелав увидеть хозяина дома, начал разговор с ним и, вдруг выхватив кинжал, вонзил его в горло своему собеседнику. Коцебу был убит на месте. Когда маленький сын Коцебу бросился к трупу отца, молодой человек ударил себя самого кинжалом, но был схвачен раньше, чем успел другим ударом с собой покончить. Это был Карл Занд, один из ближайших учеников Фоллена, студент Иенского университета.

Около трупа Коцебу был найден клочок бумаги, написанный Зандом, где заявлялось между прочим, что Коцебу — «губитель и изменник народа» и что нет более благородного дела, как покончить с ним! Раненый Занд был отвезен в тюрьму. На следствии он вел себя необычайно спокойно и решительно и никакой нити следователям не дал. Поступок свой он непоколебимо до последней минуты считал полезным для Германии и блага немецкого народа.

Известие о смерти Коцебу, по единодушному свидетельству историков того времени, было принято университетской молодежью с бурным восторгом; Занда восхваляли как героя; «даже зрелые мужи,— говорит Трейчке в своей известной «Германской истории»,— сравнивали убийцу с Теллем, Брутом, Сцеволой». Даже умеренные слои общества с почти благоговейными похвалами отзывались о Карле Занде. 20 мая 1820 г., после долгого следствия и долгих мучений от раны, Карл

Занд был казнен. Пример его нашел подражателей, и вскоре после него студент Ленинг произвел покушение на висбаденского сановника Ибелля, после чего покушавшийся покончил в тюрьме с собой, проглотив для этой цели несколько осколков стекла.

Правящие круги ужаснулись не только этих фактов, не только фанатизма, доведенного до жажды мученичества, но особенно того бесспорного сочувствия, которое проявлялось в широких кругах общества к Занду и Ленингу. Не один только Пушкин воспел Карла Занда в своем «Кинжале», в известной строфе, которую новейший историк декабристов П. Е. Щеголев называет «увлекательной и дразнящей».

О юный праведник, избранник роковой!
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе...

В Германии нашлись и поэты, и ораторы, совершенно недвусмысленно восторгавшиеся его поступком. Меттерних решил против этого-то все усиливавшегося общественного настроения бороться нагромождением новых и новых стеснений, запретов и кар. Он сначала преувеличивал *близость* той «всеобщей революции», первые зарницы которой ему мерещились в студенческом движении; движение среди германской молодежи, дошедшее до кульминационного пункта в 1819 г., было первым порывом, за которым последовало сравнительно менее бурное время. За это время нарастали и поднимались новые силы в обществе, и было ясно, что следующий порыв будет еще бурнее, еще неудержимее и опаснее, что в ближайший острый политический момент студенты уже будут иметь за собой не только сочувствие, но и деятельную поддержку общества.

А Меттерних тогда, в эту эпоху 1820—1830-х годов, с той же отличавшей его полицейской близорукостью уже впал в противоположное преувеличение и понял этот данный ему историей перерыв как блестящую и едва ли не окончательную свою победу над «гидрой революции». Но его постигло горькое разочарование.

2

Полицейская реакция давила Пруссию, Австрию и все германские государства в течение 20-х, 30-х и 40-х годов, и ее главный вдохновитель Меттерних, наблюдая временный упадок духа и подавленность среди прогрессивных кругов общества, самодовольно заявлял при всяком удобном случае, что гидра

революции сломана и что безусые мальчишки, учащиеся в университетах, после безобразных своих выходок в 1816—1819 гг., очевидно, удостоверились в нелепости своих предприятий и перестанут смущать мир и спокойствие добрых граждан. Между тем в Германии и Австрии назревали такие общественные условия, при которых организованный и вдохновляемый Меттернихом произвол неизбежно должен был подвергнуться смертельной опасности. И любопытно, что гроза надвинулась на систему Меттерниха именно тогда, когда он почивал на лаврах, когда былые годы студенческих волнений представлялись австрийскому канцлеру далеким воспоминанием...

К концу 40-х годов в Австрии, Пруссии и остальной Германии промышленность, развиваясь все более и более, выдвинула на сцену рабочий класс, который еще лет за 20 до того никакой политической роли не играл. Этот класс, доведенный нищетой, непосильной работой за слишком малую цену, частой безработицей и голодовками до самой последней крайности, готов был бороться из-за улучшения своей горькой участи, готов был видеть в окружавших его гнете, произволе, наглом презрении ко всем его человеческим правам такие условия, которые нужно сокрушить раньше, нежели думать о мало-мальски успешной борьбе с хозяевами. В свою очередь мелкая, средняя и даже крупная буржуазия объединялись ненавистью к постылому дворянско-полицейскому всевластью и высокомерию; буржуазия не видела для себя никакого выхода из приниженного своего положения, кроме учреждения конституционного строя. Если даже не принимать во внимание крестьянства, явственно желавшего освободиться от помещичьего гнета, то все-таки революционное настроение таких двух классов, как буржуазия и рабочие, классов, временно ставших союзниками в борьбе против неограниченной монархии, это революционное настроение, назревавшее к 1848 г., могло бы всполошить Меттерниха гораздо более, нежели былые студенческие волнения, если бы только не его полицейская близорукость, мешавшая ему разглядеть истинное положение вещей, и если бы не льстивые заверения его чиновников и пресмыкавшихся перед ним подкупленных публицистов, что все обстоит благополучно. Меттерних и служившие ему люди столько лгали окружающим, что эта беспрерывная ложь стала их второй природой, гипнотизировала их самих, и, как часто бывает при неуклонном, систематическом лганье, обман понемногу стал переходить в самообман. Так они жили изо дня в день и дожили до 1848 г.

Пришла весть о февральской революции во Франции, и в Германии и в Австрии началось лихорадочное волнение. Опять-таки самая молодая и чуткая часть общества явилась застрельщиком движения. Венское студенчество с первых же дней марта

1848 г. стало обнаруживать все признаки сильнейшего возбуждения. По отзыву всех историков мартовских событий в Вене, влияние студентов дало движению в его начальном периоде особую, идеалистическую окраску, и вместе с тем именно студенческие круги указали венскому среднему классу и рабочим на необходимость одновременно с требованием конституции домогаться также немедленной отставки Меттерниха. Они ненавидели Меттерниха со всем пылом молодой души. Не даром и он со своей стороны не переставал никогда подозрительно относиться к университетам: там зрели и вынашивались те научные и философские идеи, которые стояли в непримиримом противоречии со всей правительственной системой австрийского канцлера; там собирались массы молодых людей, которые никак не хотели поддаться разврату, лжи, лицемерию и проповеди взаимного шпионства, т. е. ничему, что составляло душу этой системы. 12 марта 1848 г. в Венском университете собралась сходка в две тысячи человек, причем была выработана петиция императору с требованием конституционных гарантий; петиция тут же была покрыта подписями присутствовавших и два профессора (Гие и Эндлихер) вечером того же дня отправились в замок и представили петицию императору Фердинанду. Император, человек болезненный, временами почти слабоумный, в дела мало вмешивавшийся, ответил на петицию неясно и неопределенно. С таким ответом профессора и явились на другой день на новую сходку. Со сходки студенты отправились к зданию, где должно было как раз начаться заседание земских чинов. Ландтаги, или провинциальные собрания земских представителей, имели в тогдашней Австрии исключительно хозяйственное значение и во всех своих действиях и постановлениях зависели от местных представителей правительственной власти. Но на этот раз местный ландтаг, собравшийся в столице в такую критическую минуту, не мог не привлечь всеобщего внимания. К зданию земских чинов устремились с утра 13 марта не только одни студенты, но и граждане зрелого возраста и разнообразных общественных положений. Торжественно маршировавшая длинная колонна студентов, подойдя к толпе, уже стоявшей у здания, внесла сразу необычайное оживление. Начались речи, прерываемые бурными возгласами собравшихся. Один студент прочел собравшимся сказанную незадолго до того речь венгерского патриота Кошута о необходимости введения конституционного режима и о полной гнилости системы Меттерниха. Тысячи голосов закричали: «Вон Меттерниха! Долой Меттерниха! Вооружайтесь, вооружайтесь! Да здравствует конституция»! и т. д. В этот момент толпа вдруг узнает о только-что состоявшемся решении земских чинов просить императора о созыве представителей всех ландтагов и об обнародовании росписи доходов

и расходов... Эти «реформы» не гармонировали с настроением, царившим в Вене, и в тот же миг, как стало известно, на чем порешили земские чины, раздались яростные вопли на улице: «К черту земские чины! Долой негодяя Меттерниха!» Толпа ворвалась в здание, откуда земские чины мигом исчезли, а затем студенты, подхватив председателя (маршала ландтага), повлекли его во дворец «передать императору о желаниях народа».

По классовому составу своему вовсе не принадлежа к рабочему классу, венские студенты 1848 г. живо чувствовали все значение в переживавшиеся грозные моменты выступления рабочих на сцену и всеми силами старались этому выступлению со своей стороны способствовать: именно студенты, рассеявшись по рабочим кварталам еще накануне первого дня революции, т. е. еще 12 марта, дали понять рабочим, как важно, чтобы они всей массой явились на другой день в центральные части города. И рабочие, последовав этому приглашению, в самой серьезной степени посодействовали своим появлением успеху дня 13 марта, и прежде всего грандиозной демонстрации перед зданием, где заседали представители земских сословий. Вот как впоследствии рассказывал о настроении студентов в этот день один из их среды *: «Когда мы толпой все еще стояли в доме сословий и отдельные лица держали пред сословиями самые революционные речи, всем нам, конечно, становилось ясно, что не одержать победы — это значит ни много, ни мало как угодить в тюрьмы Шпильберга **. Даже наименее скомпрометированным приходилось опасаться отдачи в солдаты. Итак, для нас не было выбора. Мы должны были энергично идти все вперед, вызвать всех фурий революции и таким образом нагнать на властителей страх. Если массы населения пригородов, если рабочие приступят к решительным действиям, тогда можно будет надеяться, что двор станет сговорчивее, протянет руку интеллигентным сословиям и прибегнет к их влиятельности, чтобы успокоить возмущение опасных масс. Успех зависел прежде всего от того, присоединится ли к революции буржуазия. Пока это казалось сомнительным, ораторы и агитаторы должны были воздействовать на пригороды, чтобы привести в движение массы... Вечером 12 марта вожди студентов работали с муравьиным усердием. Всякий, кто принимал хотя бы самое незначительное участие в частных совещаниях в актовом зале (университета), превосходно знал, что он подпадает действию драконовского австрийского уголовного кодекса, и знал также, что для политических

---

* См. Бах М. Австрия в первую половину XIX века. СПб., 1906, стр. 78.

** Одна из самых страшных государственных тюрем Австрии.

преступников нет помилования при правительстве, которое злоупотребляло добродушным Фердинандом, как прикрытием для себя. Следовательно, основная задача сводилась к тому, чтобы, во-первых, привлечь как можно больше соучастников и сообщников и, во-вторых, чтобы создать для себя опору в остальных классах населения и рабочего сословия. Еще после полудня и поздно вечером (12 марта — *Е. Т.*) многие студенты отправились в пригороды и промышленные предместья, чтобы вызвать возбуждение в массах, привести их в движение и обеспечить их поддержку для университетской демонстрации 13 марта. Гонцов отправили даже в соседние деревни, чтобы убедить крестьян-виноделов оказать содействие студентам. И результаты не заставили себя ждать: уже утром и в полдень (13-го — *Е. Т.*) в город проникли значительные толпы рабочих и приняли живое участие в описанных событиях».

В уличных битвах 13 марта студенты появлялись в опаснейших местах, как и в следующий день. Студенты убеждали толпу предпринять ночью (с 14 на 15 марта) штурм дворца; один из них приглашал даже сделать это немедленно, но либеральные уступки правительства заставили бросить это намерение. Еще 13-го был отставлен Меттерних и студентам официально было разрешено вооружение; 14-го (к вечеру) — отменена цензура и учреждена национальная гвардия. Студенты, как и рабочие, не успокоились. Вечером (14 марта) состоялась вооруженная сходка в университете, и студенты яростно настаивали, что пока не дано обещания конституции, до той поры ничего не дано. Уже к ночи узнали, что правительство ввело осадное положение, и студенты мгновенно бросились в рабочие кварталы предупредить пролетариат о новой битве. Появившееся на другой день обещание императора созвать законосовещательное собрание, именно — депутатов от сословий, возбудило новое волнение, и студенты торжественно сожгли на площади перед университетом это правительственное объявление. Но до резни, которую ожидали, дело не дошло; 15 марта, когда масса вооруженных студентов и народа толпились перед университетом, являвшимся одним из центров всех событий, ректор университета, выйдя на балкон, поручил одному из сопровождавших его лиц возвестить толпе радостную весть, которую именно ему прежде всех прислали из дворца: Фердинанд обещал дать конституцию. Вскоре официальный манифест подтвердил известие, продолжение кровопролития было предотвращено.

Характерны последовавшие сцены восторга, особенно бурные среди студентов. В эту ночь студентов прославляли как героев даже те, которые потом сделались вернейшими слугами реакции. Ликовала и буржуазия, ликовал пролетариат, и оба

эти класса, уже тогда (и именно в эти дни) начавшие ощущать взаимную вражду, соединились в общем чувстве симпатии к тому кругу, который с таким самоотвержением служил делу освобождения: студенты были на верху своей силы и славы. Дальнейшей трудной борьбы и безрадостного ее финала еще тогда не предвидели.

3

В последовавший революционный период студенты и рабочие играли первенствующую роль. Одной из первых уступок правительства (одновременно с отставкой Меттерниха), как сказано, было разрешение, данное студентам, беспрепятственно вооружаться (что, впрочем, студенты делали с самого начала марта без всякого разрешения). Студенты образовали так называемый «академический легион», который был прекрасно вооружен и в течение всего дальнейшего революционного периода являлся боевым авангардом. Революционная «Песнь к университету», выражавшая восторг и благодарность сограждан, в массе экземпляров распространилась по городу.

В течение всего этого исторического года студенты наиболее чутко относились ко всяким поползновениям и «пробным шарам» реакции, которая далеко не сразу осмелилась проявить вновь свою живучесть. Когда, например, 31 марта, через каких-нибудь две недели после уступок, сделанных торжествующей революции, правительство вздумало издать закон о печати, в сущности очень ограничивавший свободу печатного слова, студенты собрались в университете на грандиозную сходку; и начатая «академическим легионом» агитация так быстро охватила общество, еще не остывшее от пыла только что пережитой борьбы, что министерство вынуждено было уступить. Среди массы быстро расплодившихся политических органов очень читался специально студенческий журнал «Studenten Kurier» («Студенческий курьер»). Академический легион и избранное им из своей среды правление стояли в это время так высоко в общественном мнении, что к ним обращались часто как к суду чести для разбора частных жалоб и споров. Студенты, по единогласному показанию всех современников, являлись одним из самых ярких, самых заметных элементов охватившего Австрию движения. Хотя масса студентов принадлежала к состоятельным кругам, к высшему и буржуазному классам общества, тем не менее они сумели понять, что всякое себялюбивое отстаивание имущими сословиями своих интересов против рабочего пролетариата пойдет всецело на пользу только что повергнутой, но вовсе еще не добитой бюрократии; они сумели также найти в душе своей тот юношеский идеализм, который подсказал им, где истинные

их братья и естественные союзники в борьбе за общечеловеческие права. Рабочие же относились к «академическому легиону» как к единственной организации, которой можно и должно доверять. В 1848 г. рабочие были неорганизованны, классовое их самосознание стояло еще на очень низкой степени развития, и студенты для них являлись очень нужными и незаменимыми товарищами. Правительство понимало это чрезвычайно отчетливо и 13 мая 1848 г. сделало попытку уничтожить центральный комитет, руководивший как «академическим легионом», так и общегражданской милицией — национальной гвардией. Студенты категорически заявили, что они не подчинятся этому распоряжению, которое считают покушением реакционеров на народные права. Около трех дней продолжался кризис. Войска демонстративно прогуливались по городу, ожидая нападения. «Академический легион» собрался в университете, и депутация как от рабочих, так (на этот раз) и от национальной гвардии одна за другой явились в университет с заявлениями, что они студентов не выдадут, что они хотят вместе с «академическим легионом» победить или умереть. Когда пришла весть, что войска заняли все проходы, ведущие из рабочих предместий в центр столицы, студенты громко кричали: «Нас хотят отрезать от наших братьев! Министры — изменники и лжецы! Они достойные преемники Меттерниха»! и т. д., и т. д. Никакие стратегические предосторожности не помогли: едва «академический легион» вышел из университета на улицу, как несколько тысяч рабочих с торжествующими и приветственными кликами примкнули к студентам. «На смерть, на бой, против врага, с вами, с вами вместе»! — кричали рабочие. Огромная соединенная толпа, все увеличиваясь по дороге, двинулась к замку... Оставалось либо стрелять в вооруженную и колоссальную толпу, либо уступить. Император Фердинанд распорядился немедленно известить своих взволнованных до нежелательной степени верноподданных, что центральный комитет останется, что войска будут убраны из города, что вообще проект конституции (казавшийся широким кругам общества слишком реакционным) есть именно только проект, а настоящая конституция будет установлена рейхстагом, который имеет быть выбран всеобщей подачей голосов, и т. п. Победа восставших была полная, и этот день 15 мая закрепил братские отношения, и до того царившие между студентами и рабочими.

Но реакционная партия, действовавшая при дворе, еще не считала себя окончательно побежденной. Она удалила императора Фердинанда в Инсбрук, чтобы напугать венскую буржуазию призраком анархии, а вслед за тем консервативные и клерикальные органы заговорили в тоне горестного смирения, что, конечно, мыслимо ли монарху оставаться в городе, находящемся

в руках безумствующей молодежи, и т. д. Буржуазия уже стала заметно неодобрительно относиться к «академическому легиону», и вдруг ночью 26 мая последовал правительственный приказ, чтобы «академический легион» разоружился и разошелся.

26 мая опять состоялось собрание студентов в университете. Приходилось вновь считаться со смертельной опасностью, потому что целые полки солдат уже были размещены на площадях и маршировали по улицам, и носились упорные слухи, что уж на этот раз стрелять будут, что придворная партия реакции взяла верх и что императорский приказ не стрелять («Nit schiessen!» — как произносил Фердинанд) взят назад. Солдаты заняли также и площадь перед университетом с целью не дать рабочим подойти к студентам. Тогда «академический легион» отрядил несколько десятков студентов в фабричные районы, чтобы просить рабочих о немедленной помощи. Тысячи рабочих, узнав о том, что происходит, почти бегом бросились к университету. Прорвавшись в город, несмотря на все препятствия, рабочие с криками: «Да здравствует университет! Да здравствует «академический легион»!» устремились к университетской площади. Но еще раньше, чем они туда подошли, отдельные человеческие потоки, отклоняясь от главной массы, вливались в узкие улицы и переулки, и с лихорадочной быстротой там и сям стали подниматься баррикады. Больше полутораста баррикад мигом отдали во власть рабочих чуть ли не четверть всей территории города Вены. Крики «Да здравствует «академический легион»!» звенели в воздухе; начали появляться вооруженные толпы уже не рабочих, а лиц буржуазного круга из числа тех, которые еще сохранили революционное настроение. Правительство после колебаний, длившихся несколько часов, снова уступило: слишком явной представлялась необходимость предпринять страшнейшую резню с сомнительной надеждой на победу, слишком решительна была поддержка, которую получили студенты от рабочих, чтобы можно было растерянным министрам настоять на своем. Было заявлено, что «академический легион» не будет уничтожен. Тотчас же войска вышли из города, а студенты и рабочие, разгуливая в шумных процессиях, громко ликовали, предаваясь торжеству полной победы...

4

Таковы воспоминания, которые вынес венский народ о роли своего студенчества в эту вечно памятную весну 1848 г.

В Берлине роль студентов была гораздо менее заметна, хотя и тут их активное участие в революции 1848 г. не подлежит сомнению; уже с самого начала берлинских волнений, с первых

чисел марта, среди толп, собравшихся в Тиргартене, часто на столах для ораторов появлялись питомцы Берлинского университета, приглашавшие берлинское население примкнуть к освободительному движению, раскаты которого уже гремели над Европой. Уже с 9 марта чаще и чаще стали происходить отдельные стычки между толпой и разъезжавшими по всем улицам патрулями, и студенты, собираясь перед университетом, встречали солдат свистками и угрожающими криками. Волнение в городе разгоралось, и 16 марта студенты пошли к королевскому дворцу, где и заявили о необходимости для восстановления порядка создания вооруженной студенческой милиции; это предложение было резко отклонено даже не королем, который их и не принял, а комендантом дворца.

Берлинские студенты вносили в движение ярко выраженную национально-объединительную окраску: подобно предшествовавшему университетскому поколению 1817—1819 гг., о котором у нас была речь в начале этого очерка, студенты Германии стремились не только к конституционному режиму, но и к объединению отечества, и национальные германские знамена, имевшие в те годы значение мятежной манифестации, чаще всего проносились по улицам именно студентами. В этом отношении сыновья буржуазии явились особенно яркими выразителями стремлений и чаяний, распространенных во всем классе.

Наконец, настал страшный день 18 марта с избиением безоружной толпы на Замковой площади, и вспыхнуло тотчас же после этого вооруженное восстание. Борьба на баррикадах, на площадях, в домах шла не на жизнь, а на смерть, с ужасающим ожесточением. Студенты приняли в этот день и эту ночь (с 18 на 19 марта) самое живое, а местами даже руководящее участие в бою. Подобно венским собратьям, студенты бросились сейчас же после зверства на Замковой площади в рабочие кварталы и оттуда призывали рабочих в город на борьбу. Всю ночь баррикады отражали солдатские атаки; всю ночь строились новые и новые баррикады.

Университетские профессора явились между многими другими депутациями к королю Фридриху-Вильгельму IV с убедительнейшей просьбой прекратить кровопролитие, но король с жаром напал на них с упреками по поводу того обстоятельства, что, как его величеству докладывали, студенты очень заметны между революционерами и защитниками баррикад. Студенты действительно выдавались своим мужеством; один из них стоял на самом опасном и совершенно открытом месте баррикады с черно-красно-золотистым знаменем в руке, как бы нарочно выставляя себя мишенью для солдатских пуль. Рабочие и ремесленники не уступали в эту ночь студентам и всю-

ду спешили занять самые опасные места. Борьба разгоралась, набатные колокола звонили без устали, солдаты требовались всюду разом все в бо́льших и бо́льших количествах и вместо каждого убитого революционера появлялось трое, пятеро, десятеро...

В 7 часов утра появилась знаменитая прокламация Фридриха-Вильгельма: «К моим дорогим берлинцам». Король уступил,— революция победила.

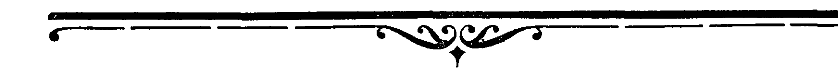
Когда спустя 3 дня после сделанных уступок прусский король проезжал между шпалер ликующего, но все еще грозного народа, он, обращаясь в речах, произнесенных во время этой прогулки к отдельным группам населения, не счел возможным забыть студентов. Когда он проезжал верхом на лошади мимо университета, его поджидала толпа студентов. Они были вооружены холодным и огнестрельным оружием и страшно возбуждены всем пережитым, но, подобно остальным берлинцам, вину кровопролития они приписывали не самому королю, которого знали за незлого человека, хотя и взбалмошного фантазера, а принцу прусскому и военной партии, всегда довольно нагло себя державшей даже во дворце короля. Напротив, Фридрих-Вильгельм IV отчасти пользовался даже популярностью в тех кругах, которые мечтали об объединении Германии, ибо романтически настроенный ум короля, как было известно, с симпатией обращался к воспоминаниям о средневековой Германской империи. Вот почему и студенты встретили короля приветствиями. Король обратился к ним тут же с речью, в которой подчеркнул свое нежелание «узурпировать» корону Германии (Фридрих-Вильгельм IV боялся принять эту корону, так сказать, из рук революции), а также выразил любовь свою к «германской свободе и единству». Особенной ясностью эта речь не отличалась, но начата была характерными для того момента словами: «Сегодняшний день есть великий, незабвенный решительный день. В вас (студентах — *Е. Т.)* сокрыто великое будущее, и когда в середине или конце своей жизни вы оглянетесь на прожитую жизнь, то все же вы вспомните об этом дне. Учащиеся производят величайшее впечатление на народ, а народ — на учащихся...»

Этим королевским признанием мы и закончим нашу заметку, имевшую целью напомнить о двух моментах из истории университетской жизни Германии и Австрии XIX в. Наступившая после 1848 г. реакция в своем торжестве отомстила, конечно, и студентам, но в окончательном счете история произнесла свое веское слово в пользу идеалов «безусых мальчишек», а не в пользу убеленных мудростью мужей, которые называли эти идеалы бреднями. В Австрии — конституция, в Германии —

конституция, германское единство осуществлено вполне. И так как появилась возможность свободно дышать, двигаться, бороться,— исчезли кровь, баррикады и набатные колокола; так как возникли «парламенты для политики»,— мирно заработали «университеты для науки». И праздновавшийся всем обществом Германии и Австрии в 1898 г. полувековой юбилей «безумного года» показал, что седые старики, бывшие тогда студентами, не смотрят на свое тогдашнее «увлечение политикой» в «ущерб науке» как на темное пятно в своем прошлом... Нет, они в эти юбилейные дни сходились вместе и вместе вспоминали то, о чем говорит наш поэт: «...золотые сердца годы, золотые грезы счастья, золотые дни свободы...»

1906 г.

Рабочие национальных мануфактур во Франции в эпоху революции (1789-1799 гг.)



ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа содержит часть результатов предпринятого автором исследования тех архивных данных, которые представляются совершенно необходимым принять во внимание для возможно более полного освещения вопроса о положении рабочего класса во Франции в эпоху первой революции. Уже по самой задаче своей печатаемый небольшой этюд является лишь экскурсом, лишь особой главой более общего и обширного труда, и по свойствам этой темы, и по характеру использованных материалов этот этюд, как нам казалось, мог бы представить и известный самостоятельный интерес.

Экономическая история французской революции только начинает разрабатываться. С этим согласны и Жорес, давший в своих томах, посвященных истории Учредительного и Законодательного собраний и Национального конвента, умелую сводку того, что уже более или менее выяснено в области экономической истории этой эпохи, и дополнивший эту сводку во многих пунктах самостоятельно произведенными исследованиями; с этим согласен и Boissonnade, автор наиболее полного библиографического обзора экономической истории революции [1]; с этим согласится всякий, кто хотя бы только начал заниматься относящимися сюда вопросами. Конечно, это сознание и заставило, например, столько выдающихся ученых современной Франции, Aulard, Brette, Sagnac, Ch. Schmidt и других, с такой готовностью откликнуться на приглашение поддержать своей помощью монументальное предприятие учрежденной в 1903 г. Commission des documents économiques de la Révolution [2], поставившей своей целью сделать возможно более доступными для исследователей документы относительно экономической

истории революции и уже успевшей опубликовать ряд в высшей степени полных и полезных сборников документов вроде некоторых предреволюционных наказов, протоколов comité du Commerce первых лет революции и т. п.

В области экономической истории революции не только еще не сделано, но пока и *не может* быть сделано то, что с таким огромным успехом после работы половины жизни удалось сделать Aulard'у в области *политической* истории этой эпохи. Нужна еще работа многих и многих исследователей, нужен длинный ряд монографий по истории общественных классов во Франции, чтобы социально-экономическая эволюция французского народа в этот памятный период могла быть обрисована во всей своей исторической реальности и полноте.

В частности, чрезвычайно мало разработана история различных категорий рабочего класса в эпоху революции. Исследователи должны стараться знакомиться с тем, как отражалась на рабочих происходившая революция, какова была повседневная жизнь мастерских и мануфактур, каковы были характерные особенности этого класса, еще смутно сознававшего всю особенность своего положения и своих интересов. История рабочего класса — одна из социологически важнейших проблем экономической истории, и хотя именно ей посвятили столько внимания основоположители этой отрасли исторической науки, какой бы эпохой они ни занимались, как бы ни были различны их взгляды и методы, называются ли они Маркс или Шмоллер, Левассер или Зомбарт, Э. Мейер или К. Бюхер, но нужны усилия еще многих и многих рядовых работников, чтобы уменьшить количество темных мест в этой области исторического знания. И положение рабочего класса во Франции при революции, конечно, постепенно разъяснится также только путем монографического использования всех материалов, которые едва только начинают обрабатываться и ждут еще многочисленных исследователей.

1

Занимаясь вопросом о положении рабочих во Франции в революционную эпоху, мы обратили внимание также на национальные (до 10 августа 1792 г. «королевские») мануфактуры. Вчитываясь в документы национальных архивов, а потом и архивов департаментов Oise и Seine-et-Oise, и архива Севрской и Гобеленовской мануфактур, мы все более и более убеждались в том, что исследователь жизни рабочего класса в эпоху революции не имеет права пройти мимо этих документов. За время революции *нет,* насколько нам пришлось пока убедиться, ни единого индустриального заведения, история которого была бы, сравнительно говоря, так хорошо документирована, как история

четырех национальных мануфактур. Мы обязаны этим главным образом двум обстоятельствам. Прежде всего рабочие национальных мануфактур имели дело всегда с двумя видами начальства: непосредственным (директором или предпринимателем) и высшим (директором des bâtiments du roi — графом d'Angiviller, интендантом de la liste civile — до 10 августа 1792 г., затем (несколько недель) — с министром des contributions publiques Клавьером, с министром внутренних дел — Роланом. Garat. Paré, комитетом и комиссией земледелия и искусств в 1794—1795 гг., затем снова с министром внутренних дел при Директории); ни одно сколько-нибудь серьезное дело не могло окончиться без постановления этого высшего начальства, которому рабочие пишут постоянно прошения, а директор или предприниматель — свои рапорты и донесения и которое присылает в форме постановлений и приказов свои окончательные и безапелляционные решения. Это сравнительное обилие переписки и делает возможным более или менее обстоятельное изучение истории этих мануфактур. Второе обстоятельство, сыгравшее благоприятную для историка роль, заключается в том, что эти документы в общем были сохранены как относящиеся к министерству внутренних дел в числе прочих официальных бумаг, тогда как документы, касающиеся частных заведений, затеривались и гибли часто почти целиком. В следующих работах, относящихся к истории рабочего класса при революции, мы будем иметь случай неоднократно указывать на скудость, отрывочность и неполноту документальных данных относительно частных промышленных предприятий при революции.

Чем более мы изучали эти неизданные документы, тем яснее становилась картина пережитого рабочими за время революции и тем необходимее представлялось нам посвятить специальную главу этой теме. Начиная изучение этих документов, мы думали, что главный интерес подобной монографии может заключаться как в том, чтобы узнать условия жизни при революции этой категории рабочих, salariés de l'état, так и в том, чтобы выяснить, как поступало государство *в качестве работодателя* за этот знаменательный период истории Франции, как менялось его отношение к рабочим при изменении политических режимов. Нам представлялось, что если удастся найти какой-нибудь ответ на эти два вопроса, то и тогда подобная работа не будет бесполезной. Но, кончая изучение документов, относящихся к национальным мануфактурам, и сопоставляя их с другими данными, уже касающимися частных промышленных заведений, мы убедились, что при всей, казалось бы, особенности, исключительности положения национальных мануфактур, содержавшихся прямо или косвенно на счет казны, рабочие этих мануфактур во многих отношениях не отличались от остальной

рабочей массы, и более обильные и полные документы по истории национальных мануфактур не раз уясняли нам и дополняли то, что казалось брошенным вскользь в скудных и редких документах, оставшихся от частных промышленных заведений.

Полное отсутствие специального исследования по истории *рабочих* национальных мануфактур в эпоху революции и заставило нас приняться за эту работу. Общие исследования, посвященные истории рабочего класса, естественно, не могли останавливаться на положении рабочих национальных мануфактур уже ввиду широты поставленной ими себе темы. Так, произведшая эпоху своим появлением работа Levasseur'а [3], необходимая настольная книга для всякого, занимающегося новейшей историей французской промышленности, рисует картину положения финансов, законодательной деятельности, касающейся торговли, промышленности и рабочего класса; ценное исследование Germain Martin'а [4] дает отчетливое изложение и анализ законов и постановлений, касавшихся рабочих ассоциаций и организаций (до 1792 г.), но обе эти работы уже по поставленной себе задаче и по намеченным рамкам не могли останавливаться сколько-нибудь подробно на том, как сказывались эти общие условия на жизни рабочих той или иной категории промышленных заведений. В еще большей степени это относится к кратким работам, вроде, например, содержательной статьи Chabot'а «La Révolution française et la question ouvrière» [5] и очень немногих других вообще существующих по этому предмету работ.

Что касается до специальной литературы по истории национальных мануфактур, то она в общем почти исключительно занята артистической, технической стороной дела, произведениями, а не рабочими. Обстоятельная общая история национальных мануфактур написана Henry Havard'ом и Marius Vachon'ом [6], которые, говоря об этих мануфактурах преимущественно с точки зрения художественной промышленности, тем не менее на страницах, относящихся к революционному периоду, приводят некоторые факты, касающиеся жизни рабочих в это время. В частности, по истории Гобеленов сверх того существует вышедшая в начале 1800 г. заметка тогдашнего директора мануфактуры Guillaumot [7], которая, впрочем, относится уже скорее к источникам, ибо для занимающей нас эпохи показания Guillaumot суть показания современника и действующего лица. Далее следует упомянуть вышедшую в 1853 г. маленькую книжку Lacordaire, тогдашнего директора этого заведения [8]. Здесь революционной эпохе посвящено несколько страниц, причем также приводятся кое-какие факты, касающиеся рабочих, хотя и эта работа, подобно остальным, занята больше всего историей произведений мануфактуры. Роскошное иллюстрированное издание нынешнего директора Гобеленов Jules Guiffrey [9] затра-

гивает революционную эпоху лишь вскользь, да и по самой теме своей посвящено почти исключительно истории данной отрасли художественной промышленности. В еще большей степени нужно это сказать о роскошном издании Maurice Fenaille [10], представляющем собой иллюстрированное историческое описание произведений мануфактуры от ее начала (изложение доведено пока до 1736 г.). О мануфактурах Savonnerie и Beauvais книга Guiffrey говорит еще меньше, а книжка Lacordaire вовсе Beauvais и не касается.

Специальная литература о заведении Beauvais очень скудна и также мало говорит о рабочих. Исторический очерк Dubos [11] отводит несколько страниц интересующей нас эпохе (стр. 20—27), но ограничивается тут перепечаткой двух декретов (17 brumaire an II и 13 prairial an III), относящихся к мануфактуре. Брошюра Daviller [12] дает только текст эдикта Людовика XIV, касающийся основания мануфактуры, а также документов 1722, 1732 и 1734 гг. Новейшая брошюра Bousson [13], имеющая целью дать общее понятие о прошлом и настоящем мануфактуры, не могла уже ввиду кратких своих размеров посвятить революционной эпохе более нескольких строк.

Что касается до общих очерков этой отрасли промышленности, то, говоря о Гобеленах, Beauvais и Savonnerie, они касаются революционного периода лишь вскользь и совершенно умалчивают о рабочих [14].

Наконец, относительно Севрской мануфактуры в революционную эпоху имеется статья знатока фарфоровой индустрии Edouard Garnier [15], основанная на документальных данных и передающая некоторые факты, относящиеся к положению рабочих. Беглый очерк Auscher'а [16] касается рабочих вскользь в силу своей краткости. Наконец, нужно упомянуть, что в брошюре J. Guiffrey «Documents inédits sur les anciennes manufactures de faïence et de porcelaine» [17] напечатан один документ, касающийся севрских рабочих в эпоху революции: их прошение в Национальное собрание, где они просят дать им права активных граждан, доказывая свой патриотизм (этот документ перепечатан из Национального архива Comité de Constitution. DIV. Cart. 60, liasse 1786; в своем месте мы его коснемся).

2

Если таким образом историческая литература о национальных мануфактурах в революционную эпоху вообще весьма скудна, то, повторяем, совершенно отсутствует работа, которая бы интересовалась специально *рабочими* этих мануфактур в указанный период. Даже те из перечисленных трудов, которые больше других дают факты, относящиеся к жизни рабочих

(Havard и Vachon, Lacordaire и Garnier), все же интересуются главным образом этими мануфактурами с художественно-технической точки зрения и, естественно, оставляют в стороне целый ряд документов, которые для их главной задачи не имеют значения.

Решившись сделать попытку охарактеризовать положение рабочих на национальных мануфактурах в эпоху революции, мы обратились к подлинным документам, касающимся этих мануфактур.

Нечего и говорить, что главным образом мы нашли эти рукописные документы в Национальном архиве, так как действительно, по верному замечанию Ch. Schmidt'a [18], «Toute affaire un peu importante aboutit administrativement à Paris». В Национальном архиве (главным образом в соответствующих картонах серий O^1 и O^2, а также отчасти в серии F^{12} и AD XI) мы нашли существенные элементы, нужные для того, чтобы составить себе представление о положении рабочих национальных мануфактур в занимающий нас период. Но некоторые документы, отсутствующие в национальных архивах и однако иной раз весьма характерные, мы нашли в архиве Севрской мануфактуры, отчасти, хотя несравненно меньше, в архиве мануфактуры Гобеленов, а также в двух департаментских архивах: Уазы (в городе Beauvais) и Сены и Уазы (в Версале).

Относительно документов, которые нам пришлось в этих архивах изучать, нужно заметить, что по своему характеру они распадаются на следующие категории:

1. Петиции рабочих к своему высшему начальству (представители которого за период 1789—1799 гг. указаны нами выше), а также к законодательным собраниям революционной эпохи, к Директории, к органам местного самоуправления. Этих петиций довольно много, тогда как прошений к своему непосредственному начальству от рабочих осталось крайне ничтожное количество. Это объясняется, повторяем, тем понятным обстоятельством, что всякое дело, сколько-нибудь серьезное, решалось только высшим начальством, которому нужно было писать, а не местной дирекцией, с которой к тому же всегда можно было поговорить устно. Эти прошения представляют собой очень важный и интересный материал, ибо писали их сами рабочие; громадное большинство прошений написано не особенно грамотно (в выдержках, приводимых нами, всегда сохранена орфография подлинника) и подписано либо рабочими in corpore, либо их уполномоченными; они живо рисуют перед нами то тяжелое материальное положение, которое переживали рабочие в эту эпоху. Но нужно оговориться: прошения эти очень часто снабжены визой директора, подтверждающего правдивость изложенного, или же рядом с ними исследователь находит со-

проводительные письма директора, а министерство внутренних дел даже прямо иногда заявляло, что петиции *без* такой директорской визы не должны даже и отправляться высшему начальству. Ясно, что если при таких условиях центральная власть все-таки могла получить (и сохранить в своих картонах) такое прошение рабочих, подача которого противоречила интересам дирекции, то это было возможно не всегда.

2. Вторая группа документов — переписка директоров мануфактур с высшим начальством, отчеты, проекты, просьбы и т. п. Эта категория документов изобилует цифрами, но к этому цифровому материалу следует относиться с осторожностью и не придавать ему преувеличенного значения; само министерство внутренних дел относилось, по-видимому, к цифровым показаниям директоров довольно скептически и иной раз высказывало это [19]. Но, кроме цифровой отчетности, в этой переписке разбросаны замечания о состоянии рабочих, приводятся иногда любопытные факты, делаются характерные предложения, и в общем эта группа документов бесспорно дает ценные указания исследователю. К этой же группе относятся ответные письма к директорам от высшего начальства.

3. Третья группа документов — это rapports, представлявшиеся комиссией земледелия и искусств комитету того же наименования; начальником 4-го отделения министерства внутренних дел — министру; докладчиком от имени того или иного комитета — Конвенту и т. д. Это обыкновенно обстоятельная деловая мотивировка предлагаемого проекта решения по тому или иному вопросу.

4. Четвертая группа — регламенты, постановления комитета общественного спасения, комитета земледелия и искусств, решения министерства внутренних дел, декреты Конвента, приказы Директории и т. п. В большинстве случаев в этих актах кристаллизуются те мысли и тенденции, которые уже становятся известны исследователю из документов второй и третьей групп.

В эти главные 4 категории укладывается большинство документов, но не все: например, переписка министерства внутренних дел с другими министерствами по делам мануфактуры, не подписанные, но вполне очевидно неофициального происхождения observations, советы, докладные записки; документы севрского революционного комитета, имеющие отношения к мануфактуре в Севре; показания рабочих перед тем или иным революционным комитетом и т. д., и т. д.

Следует заметить, что дух бюрократического централизма был весьма силен и часто совершенная мелочь восходила на решение центральной власти (об отпуске масла на фонарь, о самых ничтожных перестройках, о дозволении вдове рабочего

остаться на некоторое время в здании мануфактуры и т. п.). Нечего и говорить, что о приеме или увольнении хотя бы одного рабочего шла иной раз довольно длинная переписка, и вопрос решался непременно министерством. При таких условиях едва ли позволительно было бы предполагать возможность на национальных мануфактурах каких-либо серьезных событий, о которых в документах не сохранилось бы ни малейшего следа, и если бы, к сожалению, не было ясно, что пропали кое-какие документы, относящиеся иной раз к целым месяцам.

Таковы в общем наши документы. Именно для революционной эпохи они полнее и содержательнее, чем для периодов предшествующего и последующего, если иметь в виду нашу задачу; особенно это нужно сказать о столь драгоценной для нас первой группе документов. Уже в первые времена Консульства петиции рабочих как бы вовсе обрываются.

Посмотрим же, что рассказывают все эти документы относительно рабочих национальных мануфактур, и, познакомившись с тем, что рабочие пережили за десятилетие с 1789 по 1799 г., постараемся отметить те главные заключения, которые сами собой из изложенных фактов будут вытекать.

Кончая это предисловие, нам хотелось бы с благодарностью вспомнить всех тех хранителей архивов, с которыми нам пришлось иметь дело. Любезность и предупредительность M. Charles Schmidt'а, архивиста Национального архива в Париже, со столь выгодной стороны известного и своими историческими трудами, и глубоким знанием лабиринта, которым является Национальный архив, были для нас очень полезны. M. Georges Lechevalier-Chevignard — архивист Севрской национальной мануфактуры, M. Jules Guiffrey — директор Гобеленов, M. Roussel — архивист департамента Oise (в Beauvais) и его помощник M. Langlois, а также M. Couard, архивист департамента Seine-et-Oise (в Версале) сделали все для облегчения работы в архивах, которыми они заведуют.

Глава I

РАБОЧИЕ НА МАНУФАКТУРЕ ГОБЕЛЕНОВ

1

Как известно, мануфактура Гобеленов, получившая ряд привилегий и субсидий от короля Людовика XIV в 1667 г., успела за первые 120 лет своего существования после этого снискать себе своими изделиями (тканых шпалер) европейскую репутацию. Как и относительно мануфактуры в Бове, Севре и la Savonnerie, нужно сказать, что документы, касающиеся Гобеленов за 70—80-е годы XVIII в., не дают сколько-нибудь достаточных сведений о положении рабочих. Ясно одно: мануфактура деятельно работает, рабочие служат на ней целыми десятилетиями, многие — с детства до старости, но насколько обеспечивала рабочих эта работа, насколько они были довольны своим положением, каковы были отношения между рабочими высшей и низшей категории (т. е. делавших более или менее тонкую, ответственную и выгодную работу) [20] — обо всем этом нам не удалось найти в документах национальных архивов никаких положительных указаний. Попадаются просьбы вдов рабочих о вспомоществовании в той или иной форме, просьба рабочих о сохранении рисовальной школы для их детей, к 1788 г. относится переписка относительно одного рабочего, арестованного за вмешательство в действия полиции, и т. д. Все это случайно, отрывочно и нехарактерно. Неполны и цифры денежных выдач рабочим, так что и по ним нелегко составить себе сколько-нибудь точное представление о материальном положении рабочих перед падением старого режима. Вообще же и относительно мануфактуры в Бове, и относительно мануфактуры Гобеленов, и относительно других королевских мануфактур, нужно сказать, что при старом режиме не было ничего похожего на то правильное делопроизводство,

на ту отчетливую и обстоятельную деловую переписку, с какими мы встречаемся, начиная с Директории. Не нужно забывать, конечно, значение в данном случае бесспорного усовершенствования всего бюрократического механизма в позднейший период революции сравнительно с тем, какой существовал до 1789 г.; но, с другой стороны, обстоятельная переписка иной раз по поводу самых маловажных фактов (вроде неуплаты одним рабочим кормилице ребенка за следуемые месяцы и т. д.) дает отчасти повод предположить, что *полное* отсутствие сведений о каких бы то ни было беспорядках на мануфактуре за указанный период объясняется действительно редкостью подобных явлений, а не только возможной пропажей документов или небрежностью в делопроизводстве.

Администрация, со своей стороны, смотрела на рабочих мануфактуры Гобеленов, как на людей, не склонных к волнениям. Это сказалось в те неспокойные дни конца апреля и начала мая 1789 г., которые ознаменовались в Париже беспорядками возле дома фабриканта Ревельона. Разграбление дома Ревельона, окончившееся вмешательством войск, убийством и поранениями нескольких лиц из числа нападавших и приговорами к смертной казни и каторге для признанных наиболее виновными [21], сильно обеспокоило директора такой богатой и большой мануфактуры, как Гобелены. Этому беспокойству содействовало и анонимное угрожающее послание, полученное в эти дни директором, который и обратился к властям с просьбой принять меры к охране мануфактуры. В этом же письме он извещает (очень глухо) о жалобах рабочих относительно квартир, что указывает как будто на некоторое беспокойство не только относительно действий посторонних «подстрекателей», но и своих собственных рабочих. Но маркиз д'Агу, майор полка французских гвардейцев, полагал, что беспокоиться нечего [22]. «По правде,— пишет он,— я не боюсь, что эти рабочие (на Гобеленах — *Е. Т.*) поддадутся подобным внушениям (cèdent à des pareilles suggestions), так как большинство их — люди устроившиеся (sont gens établis), имеющие жен и детей, имеющие также маленькие милости короля, связанные с давностью (по службе — *Е. Т.*)». Он уверял, что нужно принять меры только относительно возможного нападения посторонних на мануфактуру. Но и этого не случилось, и все опасения оказались совершенно неосновательными.

Первые месяцы революции прошли для мануфактуры Гобеленов без особых последствий; только начинают то там, то сям в документах, начиная с июня 1789 г., все чаще [23] попадаться известия, что некоторые métiers уже «вакантны» и не для всех рабочих есть работа. 21 апреля 1790 г. король, королева и их

дети посетили мануфактуру Гобеленов. В речи, которую по этому поводу сказал королю президент сен-марсельского дистрикта Торильон, мы читаем [24]: «Посещая этот храм искусств, вы ободряете артистов; посещая самых нуждающихся в вашей столице (les plus indigens de votre capitale), вы этим обеспечиваете их в вспомоществованиях, которые ваша доброта не перестает им оказывать; эти вспомоществования, государь, для них очень драгоценны! Если бы они их лишились, их дети часто были бы без пищи». Королева на это ответила: «У вас много несчастных, но моменты, когда мы им помогаем, для нас очень драгоценны». Король тут же велел дать рабочим 1200 ливров. Вспомоществования заключались в том, что рабочие получали дополнительную плату еще с 1770 г. «ввиду дороговизны съестных припасов», причем размер вспомоществования был установлен такой: 20 солей (sols) в неделю на каждого рабочего и по 10 солей в неделю на каждого из детей, еще не работающих. Это вспомоществование получили рабочие всех мастерских мануфактуры [25]. Но как и для мануфактуры в Бове, 1790 год был для мануфактуры Гобеленов отмечен еще не столько кризисом, сколько прежде всего возбуждением рабочих и желанием их предпринять (по возможности мирную, как явствует из относящихся сюда документов) борьбу за свои экономические интересы. Дело началось с того, что еще в марте (1790 г.) рабочие заявили директору мануфактуры Guillaumot о своем желании получать плату не посдельно, а поденно (не à la tâche, но à la journée или à semaines fixes). Конечно, вопрос не мог решиться без главного всех мануфактур — directeur général des bâtiments du Roi — графа d'Angiviller. Донося о происшедшем, один из членов администрации Гобеленов говорит [26], что хотя эта реформа и грозит сразу некоторым увеличением расходов, но можно будет впоследствии с этим бороться, «мало-помалу уменьшая число рабочих (en venant peu à peu à diminuer le nombre des ouvriers)». Но уступить теперь, по его мнению, необходимо, «чтобы вернуть порядок и спокойствие, страшно нарушенные нынешним возбуждением» [27]. Тем не менее дело тянулось, а пока рабочие заявили, что они выработают новый регламент. Текста этого их проекта регламента мы в бумагах не нашли, как не нашли и «мемуаров», представленных, судя по словам рабочих, еще в конце 1789 г. Но сам директор Гильомо в коротенькой записочке, в которой он отмечает «совершенно мирный» характер свидания и разговоров с рабочими, рекомендует главному директору и своему непосредственному начальнику графу d'Angiviller этот проект как «очень разумный» [28]. Граф d'Angiviller, как только начались эти осложнения, написал рабочим письмо, в котором упрекал их за недостаток доверия с их стороны. Рабочие ответили на это, что такой

упрек больше всего на них подействовал [29]; напротив, доверие к графу «составляет всю их надежду и счастие» [30]. Они даже готовятся, пишут они, дать ему новое доказательство своего доверия, повергая на его воззрение результаты своих совещаний с Гильомо, и они будут по-прежнему умолять его о благосклонности, которую заслужат благодарностью и почтением. Но граф не спешил оправдать их «доверие», и рабочие осенью снова напоминают о своих желаниях. Органом рабочих в этой борьбе являются 18 депутатов, которых они ad hoc и выбрали еще 30 мая 1790 г. Депутаты эти и напоминают д'Анживилье, что пора окончательно решить дело. Дело в том, что д'Анживилье указал рабочим на трудность удовлетворения их ходатайства ввиду истощения казны. (Депутаты при этом внушительно подчеркивают, что всякая мысль об уменьшении числа рабочих путем увольнения не могла, конечно, не показаться гнусной чувствительному и прямому сердцу графа д'Анживилье.) Граф тогда оттягивал решение дела под предлогом, что пока король не назначил своего казначея, до той поры ничего сказать окончательно нельзя. Так как королевские мануфактуры оставались в ведомстве двора (Maison du Roi), то естественно, что приведенный предлог показался рабочим весьма существенным обстоятельством. Но теперь его величество уже назначил своего казначея (trésorier de la liste civile), значит ничего уже не мешает доброте графа д'Анживилье окончательно решить судьбу рабочих. Депутаты указывают при этом, что выбравшие их товарищи очень недовольны и без того их медлительностью. Правда, говорят они, это неудовольствие не высказывается еще в формах, противных порядку, но товарищи ежедневно делают новые и новые напоминания. Весьма любопытно то место этого письма, в котором рабочие указывают, что, поступая на королевскую мануфактуру, они лишались известных выгод: они лишались, между прочим, надежды открыть собственное свое заведение [31]. Рабочий-ремесленник старого режима весь сказывается в этом месте документа: его конечным хозяйственным идеалом остается надежда стать самому маленьким предпринимателем; и, отдавшись такой профессии, в которой он, по существу дела, должен был всегда оставаться в положении наемной рабочей силы, он смотрит на это как на серьезную жертву со своей стороны, полагает, что государство, к которому он на службу поступил, обязано эту жертву принять к серьезному соображению. Записка депутатов рабочих заставила очевидно поторопиться с рассмотрением дела. Вся эта история внушила очень грустные размышления анонимному автору доклада, очевидно представленного графу д'Анживилье. Автор пугается требований рабочих, но никакого положительного совета не дает, а даже заявляет, что, хотя он читал и перечитывал сообщенные

ему бумаги, касающиеся этого дела, но чем более он их читал, тем менее был в состоянии остановиться на какой-либо мысли [32]. Автор утверждает, что он уже давно ожидал наступления той «анархии», которая вот уже «15 месяцев» господствует. В проекте нового регламента, предлагаемого рабочими, он видит une révolte ouverte, открытое возмущение.

Этот любопытный для нас «регламент» в его сущности автор рассматриваемого мемуара характеризует так: рабочие, которые с внешней стороны выражают почтение, усердие и признательность, на самом деле хотят получить все средства, чтобы легально стать хозяевами в ведении дел на мануфактуре; при таком положении вещей ему самые выражения почтения, усердия и признательности кажутся насмешкой [33]. Автор возмущенно вопрошает, как примириться с мыслью, что рабочие на мануфактуре желают создать себе *«право подчиняться постоянным комитетам, особым комитетам»?*[34] Если допустить это, то как же надеяться впредь управлять заведением? недоумевает он. Вся эта «анархия», по его мнению, вызвана предшествующими директорами, подготовившими «дух инсубординации», и особенно последним директором, умершим в 1789 г., Пьером. Старый регламент был хорош, но «дух революции, быть может, уже не позволяет думать об этом регламенте, и, быть может, уже нельзя было бы на нем настаивать без опасности» [35]. Старый регламент (1783 г.) делал директора безусловным хозяином всего дела, от рабочих же требовалось лишь беспрекословное послушание. Судя по приведенным словам, проект, представленный теперь, в 1790 г., устанавливал известную самостоятельность рабочих, а главное, стремился создать между ними известную организацию: попытка, в высшей степени любопытная для рабочих крупной индустрии того времени. Но не только это кажется автору мемуара опасным: он признает «несчастье жизни рабочего» [36], жизни стесненной и скудной, но вместе с тем указывает, что «всякая плата должна иметь конец и меру» [37] и что мануфактура и без того приносит королю одни убытки. Предсказывая падение мануфактуры, автор спрашивает, каковы же будут средства к жизни рабочих, «которые почерпают силу сопротивления или, скорее, силу для своих повелений только в сострадании и снисходительности, которую им оказывают?» Автор жалеет, что эти «бедные люди» не видят пропасти, которую они роют под ногами [38]. Он так надеется на это последнее соображение, что кончает свой мемуар советом «поразить» рабочих этим аргументом [39].

По-видимому, и начальство в лице д'Анживилье, и сами рабочие считали самым острым и важным вопросом именно вопрос о плате, а не об организации «постоянных» или иных

«комитетов», о которых говорит автор мемуара. Вообще же, дело обстояло так, что, с одной стороны, действительно рабочие не могли не находиться под Дамокловым мечом закрытия мануфактуры вовсе, в случае если они будут слишком решительно и непримиримо ставить вопрос об удовлетворении своих требований (не забудем, что именно в это время Марат печатно обращал внимание на ненужность и разорительность для народного кармана содержания Гобеленов и других королевских мануфактур); а с другой стороны, и администрация, не желая тоже закрытия мануфактуры и прибегая, очевидно, к угрозе только как ultimam rationem, не считала возможным противиться требованиям рабочих, которые сам директор Guillaumot, как мы видели, называл благоразумными. Судя по документам 1791 и следующих годов, пункты требований рабочих, касавшиеся их организации, отпали, а относительно заработной платы удалось добиться, чтобы она исчислялась не посдельно, а поденно, причем, конечно, рабочие должны были быть разделены на классы сообразно с важностью работы, которую им поручают, и с их искусством. Компромисс состоялся 31 декабря 1790 г.[40] Главному начальнику королевских мануфактур, д'Анживилье, был представлен проект новых правил, который показался ему способным положить конец требованиям рабочих и который, по его мнению, являлся серединой «между крайней суровостью и слишком большой снисходительностью»[41]. В письме д'Анживилье речь идет исключитльно о заработной плате, о новом способе расплаты с рабочими и о неминуемом повышении поэтому расходов на мануфактуру. Он предлагает администрации Гобеленов всеми мерами постараться как-нибудь компенсировать это возрастание расходов, например уменьшением числа apprentifs[42] и затем постепенным ограничением числа самих рабочих. Эта нота — настойчивое желание возможно уменьшить число рабочих — уже не перестает повторяться[43], но это должно было делаться постепенно, чтобы не возбудить нового волнения среди рабочих. Рабочие на мануфактуре de la Savonnerie, которые также еще с 1790 г. домогались улучшения своего положения и дело которых откладывалось, пока не будет решено дело Гобеленов, теперь, в 1791 г., добились такой же реформы, какой добились рабочие Гобеленов: д'Анживилье согласился на это, ободренный результатами, достигнутыми на Гобеленах, где, как он полагает, воцарился порядок[44]. И действительно, о брожении среди рабочих, направленном против администрации мануфактуры, мы больше уже не слышим, если не считать просьбы одного из администраторов мануфактуры, чтобы д'Анживилье установил определенно на будущее время число apprentifs в каждой мастерской, ибо иначе рабочие осаждают администрацию с жалобами и претензиями, требуя при-

нятия своих детей в apprentifs. Но и этому брожению («fermentation») можно легко положить предел: стоит только сделать определенное постановление. «Если есть (среди рабочих — *Е. Т.*) люди наглые, то большинство состоит из рассудительных людей, которые раз закон будет создан и объявлен, станут его поддерживать»[45]. Это исключение, в полном смысле слова подтверждающее правило, показывает, каково было настроение «большинства» рабочих на Гобеленах в 1791 г.; дальше мы и о таких исключениях уже ничего не слышим. Документы говорят нам, что, невзирая на уже сильно дававшее себя чувствовать вздорожание съестных припасов, средний заработок рабочих на Гобеленах в 1791 г. еще давал им возможность бороться с нуждой. Какой же был заработок рабочих согласно новым правилам, утверждения которых они добились к концу 1790 г.? Эти правила вошли в силу с начала 1791 г., и уже тотчас был выработан тариф для расплаты с рабочими[46]. Мануфактура разделялась на три мастерские (atteliers), состоявшие в заведовании трех entrepreneurs. Рабочие каждой мастерской делились на 5 классов[47]. Рабочие первого класса получали 24 ливра в неделю, второго класса — 21 ливр в неделю, третьего класса — 18 ливров, четвертого — 15 ливров, пятого — 12 ливров в неделю. К первому классу на всей мануфактуре принадлежали (в начале 1791 г.) 12 человек, ко второму — 19 человек, к третьему — 27 человек, к четвертому — 20 человек и к пятому — 13 человек. Сверх того, каждая мастерская имела своего стоявшего вне классов premier ouvrier, который получал 32 ливра в неделю. Не нужно забывать также, что рабочие Гобеленов получали, кроме того, даровую квартиру или если не хватало помещений на мануфактуре, особые квартирные деньги. Что касается до apprentifs, то для них был установлен особый тариф: в течение первых двух лет своего apprentissage apprentif получал 2 ливра в неделю, на третий год — 3 ливра в неделю, на четвертый год — 4 ливра в неделю, на пятый год — 5 ливров и на шестой год — 6 ливров в неделю. Из общего числа бывших в 1791 г. на мануфактуре 25 apprentifs 8 получали по 2 ливра в неделю, 6 — по 3 ливра, 4— по 4 ливра и 6— по 5 ливров (кроме того, вопреки тарифу, один получал 1 ливр, причем около его имени прибавлено как бы в виде объяснения: fils de l'italien).

Рабочий день был определен в 12 часов, причем он делился на 4 части, и каждые 3 часа совершался обход каждой мастерской заведующим, отмечались отсутствующие и налагались вычеты за отсутствие. Apprentifs принимались с двенадцатилетнего возраста, причем в регламенте сделана оговорка, что жалованье apprentif'а делится между ним и тем рабочим, под руководством которого он работает[48]. После 6 лет пребывания

в качестве apprentif он зачисляется в рабочие, если он признается для этого способным, если же нет, то он продолжает оставаться в своем звании. Конечно, детям рабочих давалось обыкновенно преимущество перед enfants étrangers, и отцам даже позволялось приводить их не с двенадцати, а с девятилетнего возраста, чтобы к моменту зачисления их в apprentifs, т. е. к 12 годам, они уже кое-чему научились и имели преимущество перед посторонними. Регламент 31 декабря 1790 г. обеспечил мир во внутренних отношениях на мануфактуре Гобеленов [49]. Но заведению предстояло пережить еще очень тяжелые времена: кризис, обусловленный уменьшением сбыта и начавший сказываться еще в 1789 г., несколько как бы ослабевший в 1790 и в 1791 гг., принимает с 1792 г. уже устрашающие формы.

2

В 1791 г. еще было выработано 145 aunes carrées [50], но для 1792 г. эта цифра выставлялась уже как недостижимая, пока не вернутся «спокойствие и порядок», когда можно будет рассчитывать даже и на гораздо большее производство. Уменьшение сбыта предметов роскоши, замечавшееся с первых годов революции, приняло в 1792 г. характер острого кризиса. Война с европейской коалицией, закрывшая внешние рынки для произведений Гобеленовской мануфактуры, конечно, весьма серьезно способствовала ускорению и обострению кризиса. По той радости, с которой администрация мануфактуры узнает, что 5 рабочих попали на военную службу, по той поспешности, с которой она решает уже наперед не принять их, когда они вернутся [51], по тому удовольствию, с которым интендант de la liste civile de la Porte, заменивший d'Angiviller, узнает о покупке одним купцом для отправки в Испанию 5 штук гобеленовских тканей [52], и по другим признакам можно видеть явственно, что уже в первой половине 1792 г. положение мануфактуры было крайне затруднительным и продажа произведений ее являлась уже редким отрадным фактом. Со второй половины 1792 г. война стала все более жестоко давать себя чувствовать французской промышленности вообще, а королевским мануфактурам, фабриковавшим предметы роскоши, в особенности. В начале августа 1792 г. были пересмотрены штаты мануфактуры и сокращены некоторые расходы.

Была уничтожена должность обер-инспектора мануфактуры, должность «живописца академии», т. е. учителя живописи, состоявшего при Гобеленах, должность врача и т. п. Что касается трех заведующих мастерскими (entrepreneurs), то они с начала 1791 г. не переставали жаловаться на уменьшение своих до-

ходов: по старому регламенту и они, и рабочие получали посдельно (à la tâche), с 1 же января 1791 г., по новому регламенту, рабочие стали получать поденно, рабочий день сократился, и, кроме того, указывали предприниматели, рабочие производили в общем половину того, что вырабатывали прежде (так как не имели побудительной причины особенно гнаться за количеством сделанных вещей). Антрепренеры же по-прежнему получали от казны посдельно, что сильно отзывалось на их доходах. В начале августа 1792 г. жалованье всем трем антрепренерам вместе было установлено в 11 тысяч ливров в год (т. е. около 3666 ливров в год на каждого) [53].

Но вот наступило 10 августа 1792 г. С падением монархии liste civile должен был быть уничтожен, и беспокойство овладело рабочими, боявшимися, что мануфактура будет закрыта. Они через парижскую коммуну постарались довести до сведения министра внутренних дел Ролана о своем беспокойстве. В мемуаре, который был ими составлен [54], они указывают, что хотя теперь и нельзя смотреть на их мануфактуру как на предприятие, выгодное для государства, но что она необходима для поощрения искусства и поддержания славы нации; они напоминают, что произведения мануфактуры «в счастливые времена» содействуют привлечению многочисленных иностранцев, которые окупают затраты на нее. Дальше идут аргументы, известные нам по петициям также рабочих Beauvais; они с молодости на всю жизнь посвятили себя этому искусству, им некуда будет деться, если мануфактура закроется; они хотят в своих произведениях передавать потомству подвиги, совершенные для свободы, «вместо памятников гордости, которые они принуждены были так долго создавать». Они высчитывают, что их содержание обходится казне в месяц в 9 тысяч ливров (не считая квартирных денег, выдачу которых можно, по их словам, уничтожить, разместив всех рабочих в зданиях мануфактуры, ибо места хватит на всех). Рабочие старались в эти тревожные августовские дни отогнать от себя страшный призрак закрытия мануфактуры; это явствует из характерного документа [55], поданного министру внутренних дел, еще когда ничего не было отвечено на первую петицию. Тут 3 представителя рабочих мануфактуры, говоря от имени большинства, заявляют, что, не разделяя «пустого беспокойства», овладевшего некоторыми товарищами, они все-таки, «чтобы обнаружить полное единение, которое не перестало царить в их мастерских», также просят г. министра выяснить вопрос о мануфактуре и «подтвердить надежду рабочих на справедливость Национального собрания» и на его собственную справедливость. Со своей стороны, парижская коммуна представила в Национальное собрание уже от себя петицию о сохранении Гобеленов. Коммуна говорит о пользе «единственного заве-

дения, которому завидуют иностранцы», и о необходимости его сохранить. Так как liste civile уничтожен, то рабочие могут остаться без денег, если собрание не прикажет сделать временную выдачу и не озаботится дальнейшим устройством дела. Рабочие же эти к тому же заслуживают со стороны собрания хорошего отношения также и тем, что «хотя им платились деньги из liste civile, но они никогда не отклонялись от патриотизма (quoique payés de la liste civile, n'ont jamais dérogé au patriotisme)»: они служат в национальной гвардии, они делали патриотические приношения, 10 человек из их товарищей сражаются на границах. Мало того, коммуна указывает на опасность со стороны Екатерины II, которая может пригласить через своих эмиссаров «артистов» мануфактуры Гобеленов к себе, если эта мануфактура будет закрыта: «...вы поспешите разрушить надежду этой северной деспотки, империя которой и так уже слишком населена знаменитыми артистами нашей нации, и которая всегда стремится обогатиться насчет французов, действуя через посредство своих эмиссаров» [56].

Опасения рабочих оказались пока преждевременными. Бывшей «королевской», теперь «национальной» мануфактуре не грозило непосредственное закрытие; но вместе с тем министр внутренних дел Ролан был приверженцем самой решительной экономии во всем, что касалось промышленных заведений этой категории, и с этим пришлось сильно считаться [57]. Новый директор (преемник Guillaumot) Audran всячески стремился отвести внимание министра от штатов высших служащих и направить его на ту часть расходов, которая касалась рабочих. Он старается внушить Ролану мысль, что д'Анживилье сделал жестокую ошибку, уступив требованиям рабочих к концу 1790 г. и «слепо согласившись» на замену поседельной платы поденной и на фиксацию размеров этой платы в том виде, как предлагали рабочие [58]. Но он все-таки не признает возможным сразу принять решительные меры, вроде отнятия уже сделанных уступок, а предлагает «в несколько лет сделать то, что нельзя сделать в один год», именно, постепенно уменьшить число рабочих так, чтобы вместо сотни с небольшим осталось их от 40 до 50 человек. Далее, нужно привлечь покупателей «легкими и приятными сюжетами» Гобеленов, причем нужно их делать подешевле. Наконец, следует присоединить к мануфактуре Гобеленов мануфактуру ковров de la Savonnerie, что облегчит бюджет Гобеленов. Но в эти первые месяцы своего вторичного министерства Ролан был слишком занят, чтобы окончательно решить участь Гобеленов; он пока довольствовался только твердым проведением «режима экономии», как выражается один из пострадавших от этого режима [59]; упразднение нужных для мануфактуры должностей и другие последствия такого образа действий, ко-

нечно, неминуемо должны были сказаться на понижении ценности вырабатываемых произведений.

Среди рабочих были слухи, что министерство хочет сделать мануфактуру Гобеленов предприятием, которое бы велось частным лицом на собственный риск и страх. Каковы будут условия, на которых правительство отдаст мануфактуру этому частному лицу, рабочих, по-видимому, не интересовало, но они ставят на вид Ролану, что «под каким бы наименованием ни перейдут они (рабочие — *Е. Т.)* в чужие руки»[60], все равно искусство подвергнется серьезной опасности; и они в виде печального примера указывают на Бове (намекая на невежественность директора Камусса в художественном деле). Рабочие почти все специалисты, достигшие совершенства в своей работе, естественно, были обеспокоены и подобными слухами, и вообще всем этим «режимом экономии», грозившим превратить мануфактуру Гобеленов в обыкновенное заведение для выделки ковров и портьер.

Другая, еще более грозная и во всяком случае более непосредственная опасность, нежели все планы Ролана, хотя и вытекавшая из одного и того же источника, предстала перед рабочими к концу 1792 г.: казна систематически начала задерживать выдачу денег. Переписка министра финансов Клавьера и директора мануфактуры Одрана с Роланом и тому подобные документы ясно показывают, до какой степени мануфактура оставалась в это время без материальной поддержки и до какой степени казна не располагала для этой отрасли расходов никакими свободными суммами. Тенденция директора Одрана отнять как-нибудь у рабочих то, что было им уступлено 31 декабря 1790 г., привела к тому, что рабочие взволновались, ни за что не желая с поденной платы переходить на посдельную. Когда рабочие узнали, что их директор Одран хлопочет перед министром внутренних дел о том, чтобы поденный расчет был снова заменен посдельным, они подали Ролану петицию, в которой умоляют его не давать ходу этим предположениям. Они указывают, что посдельная плата царила при старом режиме, и на нее с трудом было возможно существовать, но что тогда ничего нельзя было поделать: «Les ouvriers alors courbé (sic) sous le joug du despotisme étoient contraints de s'y conformer»[61]. Весьма характерно и тонко подчеркивают рабочие, что когда этот старый метод расплаты оказался неудобным и бывшая администрация в 1789—1790 гг. приступила к замене его новым способом — расплатой поденной, то Гильомо и д'Анживилье совещались с рабочими по поводу этого касающегося их дела (а в начале петиции рабочие просят Ролана не решать дела, не узнав мнения рабочих). Описывая далее, какой же порядок (продолжение которого они желают) царит у них на мануфактуре

в настоящее время, рабочие сообщают очень интересную деталь: мы видели, что с начала 1791 г. все рабочие делились по получаемой ими поденной плате на 5 классов, или, точнее, на 6 классов, ибо в каждой мастерской было по одному рабочему, стоявшему вне пяти классов и получавшему 32 ливра в неделю.

Кто же делил рабочих на эти 6 категорий? Они сами: «il (ce mode de payement — *Е. Т.*) s'opère de manière que divisés et partagés par eux mêmes en six classes de talens ils se font une justice et reciproquité d'après les connaissances qu'ils ont de leurs capacités... etc.». Это серьезное завоевание сделано рабочими, повидимому, не сразу, ибо документы 1791 г. о нем еще молчат. Прося о сохранении этого положения вещей, они снова просят министра до окончательного решения дать им аудиенцию, чтобы в течение этой аудиенции они могли опровергнуть доводы директора и начальников мастерских, и опять осторожно корят республиканца-министра примером монархиста д'Анживилье: «Cette faveur d'une audience leur a déjà été accordé sous l'empire du Despotisme, les ouvriers ont bien plus de raison de l'espérer sous le Règne de la liberté et sous un ministre intègre qui sait si bien en faire sentir tout le prix». Хотя прошение написано очень почтительно, хотя даже об аудиенции рабочие просят очень условно и предлагают в случае отказа в аудиенции, чтобы министр приказал по крайней мере директору с ними поговорить, хотя, наконец, даже петиция подписана не всеми рабочими, а лишь шестью представителями, но Ролан усмотрел тут беспорядок и анархию. Удаляя с должности художника и обер-инспектора (sur-inspecteur) Белля, на которого директор Одран указывал как на одного из главных виновников регламента 31 декабря 1790 г., министр внутренних дел написал изгоняемому (Belle) чрезвычайно характерное письмо, в котором он упрекает его горько в пагубном влиянии на d'Angiviller, сделавшего рабочим эту уступку, и говорит: «Я с болью увидел, насколько вы содействовали тому, что мануфактура пришла к беспорядку и анархии, в которой она теперь находится» [62]. Жирондист-министр очень жалел о мягкости и уступчивости бывшего главного начальника-монархиста д'Анживилье. Вместе с тем правительство конца 1792 г. было очень далеко от той робости перед возможными беспорядками, которая являлась характерной для представителей исполнительной власти в 1789—1790 гг. В его распоряжениях слышны уже ноты представителя нового буржуазного строя, чувствующего полную свою силу перед притязаниями рабочих и ничуть этих притязаний не боящегося. Ролан не обратил ни малейшего внимания на петицию рабочих и, просто отменив поденный расчет, восстановил посдельную плату. При этом он обратился к рабочим со своего рода началь-

ническим увещанием, рекомендуя беспрекословное повиновение новому порядку вещей. Он пишет, что до сведения его дошло о неудовольствии рабочих по поводу нового регламента, но он напоминает, что мануфактура дает теперь казне только одни убытки и что, только сократив расходы, можно посодействовать благосклонному отношению Конвента к этому заведению. Он приглашает *немедленно* подчиниться регламенту и объявляет, что он одновременно дал директору приказание сделать поименную перекличку всем рабочим и у каждого из рабочих спросить: согласен ли он или нет подчиниться новому способу расплаты. Каждый из них, без сомнения, волен поступить по своему желанию, но отказавшийся будет вычеркнут из списков [63]. Как и на мануфактуре Бове, и в Севре и на Гобеленах, невзирая на несколько бóльшую организованность, рабочие в решительные моменты действовали не особенно дружно и решались на самостоятельные и иногда противотоварищеские шаги. Ролан в своем письме прямо говорит, что часть рабочих расположена всеми силами поддерживать администрацию и «с радостью подчиняется новому регламенту...»

Впрочем, бурный подъем революционного настроения в столице в конце 1792 и начале 1793 гг. давал рабочим, недовольным новым регламентом, надежду на скорое восстановление их нарушенных интересов: еще до отставки Ролана стало обнаруживаться влияние новых политических сил, благоприятных в этом смысле для рабочих и враждебных к администрации мануфактуры.

Ролан лишил места teinturier Decurelle и приказал ему сдать ключи от помещения, которым он заведовал на мануфактуре, директору Одрану [64]. Декюрель этому приказанию не подчинился, но отправился в «секцию» своего участка и сделал там донос на директора Одрана, обличая его в неблагонадежности (incivisme). Это было время большой силы и влиятельности городских секций; Декюрель добился от общего собрания своей секции постановления: предложить министру внутренних дел уволить директора в 48 часов и заменить его истинным патриотом (par un vrai patriote); если же Ролан этого не сделает, то секция сама возьмет на себя произвести это изменение в администрации мануфактуры. Ролан этому решению не подчинился, и Одран остался на своем месте. После отставки Ролана дело это еще не было закончено, и Декюрель на службе не числился, но и ключей не отдавал. Тогда новый министр внутренних дел Garat написал ему строжайший приказ отдать немедленно ключи, и при этом он ему напоминает, что тот должен был подчиниться власти Ролана вместо «незаконных усилий увлечь сограждан» [65]. Но это долее терпимо быть не может (un tel désordre ne peut être plus longtemps toleré), и министр категорически требует

исполнения приказания своего предшественника. На этот раз Одран восторжествовал, но раз высказанное против него подозрение в incivisme уже не было забыто. В ноябре 1793 г. он был арестован, а на его место в качестве директора был назначен якобинец Белль. Арестован был Одран по приказу революционного комитета той самой секции, которая обвиняла его еще в конце 1792 г. Но теперь, после процесса и казни жирондистов, человек, назначенный на свою должность Роланом, показался особенно подозрительным. Сам комитет, арестовавший его, мотивирует это мероприятие больше тем, что он *мог* оказывать гибельное для дела свободы влияние и что, пока он управлял фабрикой и был на свободе, рабочие затруднялись бы приводить против него обвинения [66]. Впрочем, и после ареста (и сейчас же последовавшего увольнения Одрана в отставку) комитету не удалось получить от рабочих достаточно данных для предания Одрана суду. Из показаний тех рабочих, которые явились в комитет свидетельствовать против арестованного директора, явствует лишь, что рабочие были более всего раздражены проведенной Одраном в конце 1792 г. реформой в способе расплаты за труд. Они обвиняли его, между прочим, в деспотизме и в угрозах изгнать рабочих, если они не пожелают подчиниться регламенту Ролана; из этих показаний явствует, что вышеотмеченный приказ Ролана был выполнен, ибо рабочие боялись быть выброшенными на улицу [67]. Вообще период управления Ролана оставил по себе недобрую память среди рабочих. Следует заметить, что это обусловливалось именно распоряжениями Ролана, а не якобинскими пристрастиями рабочих: в отношении политических убеждений нам по документам очень трудно судить, на чью сторону склонялись симпатии большинства. Вернее всего, что их политические убеждения особой ясностью и отчетливостью в этот период не отличались. Конечно, никаких веских указаний в этом смысле не дает и трагическая история рабочего Манжельшота, казненного в 1794 г. Он был арестован за то, что прервал речь члена Конвента замечанием, выражавшим даже не порицание, а только недоумение. Все товарищи и новый директор Белль, заменивший Одрана с 13 ноября 1793 г., были за Манжельшота и ходатайствовали о сохранении за ним жалованья, пока он сидел в тюрьме [68]. Mangelschot был казнен, несмотря на всеобщую уверенность, что его отпустят на свободу вследствие полного отсутствия вины [69]. Весь этот эпизод не дает, повторяем, никаких указаний для характеристики политических симпатий рабочих Гобеленов в 1793—1794 гг. Но если документы не рисуют их ни жирондистами, ни якобинцами, то враждебное отношение к старому, дореволюционному строю, к «времени деспотизма», как они его называют, совершенно несомненно.

3

Хотя не было ни директора, ни министра, сделавших попытку восстановить посдельную плату, хотя поденный расчет снова был введен, но положение рабочих становилось хуже и хуже. Безденежье одолевало казну, и жалованье выдавалось крайне неаккуратно. Директор в апреле 1794 г. жалуется, что рабочие получили только 18 germinal'я (т. е. значит 7 апреля) жалованье за ventôse (т. е. за месяц с 19 февраля по 20 марта) [70]. Такие жалобы становятся все чаще и чаще. Комитет общественного спасения отдал национальные мануфактуры (решением от 5 prairial'я, т. е. 24 мая 1794 г.) в заведование комиссии агрикультуры и искусства [71], причем поручил этой комиссии заботиться о сохранении и совершенствовании этих заведений. Комиссия сейчас же принялась за дело и вскоре представила комитету общественного спасения доклад, на основании которого 18 июля 1794 г. было решено немедленно назначить особое жюри для рассмотрения, какие картины достойны и какие недостойны быть воспроизведенными на Гобеленах. Исключены должны были быть все картины, «несовместимые с республиканскими идеями и нравами» [72]. Спустя месяц (20 августа 1794 г.) компетенция этого жюри была сильно расширена, и ему было предоставлено классифицировать рабочих «по степени их таланта и усидчивости в работе» на 4 категории [73]. Вместе с тем к 10 лицам, назначенным самим Конвентом, должны быть присоединены 5 выборных от рабочих, которые будут принимать участие в заседаниях жюри по вопросу о делении на категории; рабочие de la Savonnerie выберут 2 делегатов, а рабочие Гобеленов —3, причем в числе выбранных должен находиться по крайней мере один начальник мастерской. Несмотря на эту последнюю оговорку, бесспорно, присутствие среди жюри выборного элемента от рабочих является самым демократическим мероприятием, какое только было применено к рабочим национальных мануфактур за все время французской революции [74]. Жюри рассмотрело в восьми заседаниях (28 августа — 4 сентября 1794 г.) работы всех рабочих и разделило их на 4 класса, причем к первому отнесло 12 человек, ко второму — 22 человека, к третьему — 53 и к четвертому — 19 человек. Таким образом, на мануфактуре в середине 1794 г. было 106 человек [75]. Сколько же получали рабочие этих категорий? Было решено [76] определить плату рабочим первого класса по 7 ливров в день, второго — по 6 ливров, третьего — по 5 ливров и четвертого — по 4 ливра в день; apprentifs делились на 3 класса, причем в первом каждый apprentifs получал в день 2 ливра, во втором — 1 ливр 5 денье и в третьем — 1 ливр 25 сантимов. Разделение рабочих на классы должно было производиться ежегодно, причем возможны были

переводы из высших классов в низшие и наоборот. Приговоры жюри не подлежали никакому обжалованию[77]. Нельзя сказать, что плата, установленная этими распоряжениями, была низка сравнительно с гонораром, получавшимся другими служащими у государства. Например, директор мануфактуры получал 6 тысяч ливров в год, так что рабочие первого класса, жалованье которых документы исчисляют в 2555 ливров в год[78], получали, значит всего в $2^1/_2$ раза (приблизительно) меньше своего директора; рабочие третьего (самого многочисленного) разряда получали всего в $3^1/_3$ раза меньше него и т. п. Но беда была в страшном падении (в 1794 и следующих годах) ценности денег, выражавшемся во все прогрессировавшем вздорожании предметов первой необходимости. И директору с его 6 тысячами приходилось очень плохо, а рабочие прямо видели пред собой голодную смерть. В конце 1794 г. они пишут в комиссию земледелия и искусств петицию, в которой умоляют ввиду «удивительного увеличения» цен и «страшной быстроты»[79] вздорожания предметов первой необходимости, чтобы им помогли, так как они, особенно низшие классы, не могут существовать. На это прошение последовал суровый отказ. Рабочим заявляют, что их просьба даже доложена не будет комитету, потому что это неминуемо привело бы к тому, что на заведение посмотрели бы как на поглощающее непроизводительно слишком много денег у республики. Комиссия предлагает рабочим сообразить, что на одно жалованье уходит в год у правительства 229 688 ливров, тогда как на всю скульптуру, живопись и подобные искусства (pour la peinture, la sculpture et arts analogues) тратится всего 300 тысяч ливров. «C'est-à-dire peu au dessus de la somme absorbée par vos salaires»,— возмущенно заканчивает комиссия. Но вздорожание цен на пищу так быстро прогрессировало, что нечего было и думать удержаться на почве этого отказа. Ходатайство директора[80] с просьбой применить к рабочим закон об увеличении содержания лицам, находящимся на государственной службе, было отвергнуто, но все равно, признано необходимым как-нибудь прийти на помощь голодающим рабочим. Хлеб среднего качества стоил 11 и 12 су за фунт; мясо — 50 су и т. д. Рабочим было заявлено комиссией, что закон о чиновниках к ним применен быть не может[81], но относительно их был издан особый акт, согласно которому их жалованье было увеличено на одну треть «ввиду дороговизны съестных припасов»[82]. Но цены на предметы первой необходимости неудержимо подымались, и уже спустя $3^1/_2$ месяца пришлось снова подумать о спасении рабочих от голодной смерти. Директор мануфактуры (Одран, выпущенный из тюрьмы еще в 1794 г. после десятимесячного заключения и в августе 1795 г. вновь назначенный на прежнее место) доносит комиссии земледелия и искусств, что с ventôse'а, когда содер-

жание рабочих было увеличено на одну треть, все цены «бесконечно» возросли и, например, мера картофеля, стоившая тогда (т. е. значит в конце февраля) 4 ливра, теперь (в середине мая) стоит 25 ливров [83]. Комиссия в ответ на это посоветовала рабочим вооружиться терпением и с мужеством переносить нужду, которую с ними разделяют все граждане [84]. Тем не менее комиссия должна была признать, что этим советом ограничиться нет никакой возможности, если не согласиться на то, чтобы 90 рабочих мануфактуры Гобеленов и 25 рабочих мануфактуры Savonnerie [85] разбрелись в разные стороны, ища спасения от голода. В рапорте, представленном комитету земледелия и искусств, исполнительный орган этого комитета — комиссия земледелия и искусств — признает, что вздорожание цен довело рабочих до невозможности долее существовать, ибо прибавки в одну треть теперь уже недостаточно [86], и комитет решил увеличить дневной заработок рабочих Гобеленов и Savonnerie на 3 ливра (без различия классов). Вскоре затем скончался директор Одран, и 4 июля 1795 г. [87] мануфактурой стал управлять бывший директор Гильомо, уволенный еще в 1792 г. Роланом.

Гильомо пришлось с первых же шагов убедиться, что за те 3 года, когда он отсутствовал, в высшем управлении мануфактурой сделаны некоторые шаги в смысле усиления формалистики и бюрократического духа. Ввиду отчаянного своего положения рабочие подали в конце июля (1795 г.) умоляющую петицию, в которой заявляют, что, невзирая на недавнюю прибавку в 3 ливра в день, им дальше жить невозможно; что они все продали, все, что могли, заложили и т. д., но ввиду беспрерывного увеличения цен им совсем не хватает на пищу. Петиция была направлена в комиссию. И вот комиссия, знающая, что все изложенное — совершенная правда, наперед согласна дать благоприятное заключение, докладывает комитету земледелия и искусств, что необходимо приостановить движение дела, так как петиция рабочих не визирована директором: это необходимо для поддержания субординации на мануфактуре и для удостоверения правдивости просьбы [88]. Одновременно была послана бумага и директору Гильомо, где ему указывалось на то, что «добрый порядок» требует представления подобных петиций предварительно директору [89]. Заметим, что до этого периода мы ни разу не встретили среди документов, относящихся к национальным мануфактурам, подобного напоминания, хотя, действительно, большинство петиций снабжены краткими удостоверениями и подтверждениями директоров. Но и по содержанию, и по тону эти удостоверения всегда таковы, что ясно, насколько самим рабочим было выгодно посылать свои петиции с подобными «визами». Теперь комиссия земледелия и искусств

впервые высказывает взгляд о формальной необходимости директорской визы в целях поддержания субординации и контроля: это также одно из проявлений тенденции, характерной для эпохи термидорианской реакции. Конечно, требуемая формальность была выполнена, и комиссия сделала комитету земледелия и искусств доклад, предлагающий еще увеличить на 3 ливра дневной заработок рабочих. В докладе говорится, что, действительно, плата, получаемая рабочими Гобеленов, стала недостаточной, и что они получают меньше, чем рабочие на частных фабриках [90]. Комитет 27 июля 1795 г. согласился с предложенным увеличением платы. Теперь рабочие первого класса получали 15 ливров и 34 сантима, второго класса — 14 ливров, третьего — 13 ливров и 67 сантимов и четвертого — 12 ливров вместо 7, 6, 5 и 4, которые они получали к концу 1794 г. Но так как цены на пищу и одежду росли гораздо быстрее, то все эти увеличения мало помогали им. Рабочие не перестают жаловаться, что жизнь стала «в 20, в 40 и даже в 100 раз дороже», чем была еще недавно; что хлеб стоит 12—16 су за фунт, мясо 8—10 франков, пара сапог 100—120 франков, рубаха 200 франков и т. д. [91]. Комитет земледелия и искусств решил 5 сентября 1795 г. снова увеличить дневную плату рабочих всех четырех классов на 5 ливров. Все знали коренную причину зла — полное обесценение ассигнаций, делающее иллюзорным всякое новое «благодеяние» правительства относительно рабочих, но тут уже ни комиссия, ни сам оканчивавший свое существование Конвент не знали, на что решиться и как бороться с финансовым хаосом. В силу постановления комитета общественного спасения от 1 brumaire IV года (т. е. 23 октября 1795 г.) было постановлено выдавать рабочим (кроме жалованья) по ½ фунта хлеба, по ½ фунта мяса и по одной мере дров. Вскоре документы говорят уже о выдаче мяса и хлеба по числу «ртов» в семье каждого рабочего. Спустя полгода, 27 апреля 1796 г., министр внутренних дел уполномочил директоров Гобеленов и Savonnerie возмещать деньгами [92] эту выдачу съестных припасов и дров, но, конечно, администрация мануфактур не торопилась воспользоваться этим разрешением, и выдача съестных припасов натурой продолжалась еще целый год [93]. Финансовый кризис продолжался и в 1796 г., и отказываться от выдачи натурой значило вернуться к прежним испытаниям. Но беда была в том, что, кроме этой скудной пищи, все остальные потребности оставались очень плохо удовлетворяемыми. В 1796 г. совет пятисот постановил выпуск mandats — государственных билетов, которые, как известно, должны были служить (к прямому и откровенно наносимому ущербу для ассигнаций) кредитными знаками, обеспеченными национальным земельным фондом, причем всякий владелец мандатов мог явиться для получения земельного участка из

государственного фонда: оценка земли устанавливалась двумя экспертами, от департамента и от покупщика. Предполагалось, что мандаты, более непосредственно и, так сказать, наглядно обеспеченные национальными имуществами, нежели ассигнации, окажутся более твердыми в своем курсе. Один франк в мандатах равнялся 30 франкам в ассигнациях. Рабочие Гобеленов должны были воспользоваться этой предполагавшейся «твердостью» новых кредитных знаков: в силу решения Деректории от 29 жерминаля (18 апреля 1796 г.) [94] они стали получать две трети своего жалованья в мандатах и всего одну треть — в ассигнациях. Но и мандаты в несколько месяцев упали в цене так же низко, как и ассигнации, и рабочие оказались по-прежнему в страшно стесненном положении. У Директории до такой степени не было средств, что она уже принялась гобеленовскими шпалерами уплачивать государственные долги [95]; были сожжены драгоценнейшие гобеленовские произведения, чтобы получить некоторое количество золота и серебра, входившего в состав материалов.

При таких условиях, когда само правительство стремилось извлечь из мануфактуры материальную выгоду, удивительно ли, что рабочие на мануфактуре не могли надеяться на сколько-нибудь существенную помощь. Правительство видело единственное спасение для мануфактуры в том, чтобы все усилия употребить для сбыта ее произведений как можно скорее; оно отдавало себе ясный отчет в несчастном положении рабочих, но откровенно признавалось в бессилии помочь беде [96] ввиду полной неустойчивости денежной системы. Совет озаботиться распродажей произведений мануфактуры, чтобы из этих денег поскорее помочь рабочим, был ответом на вопрос, который с отчаянием незадолго до того задал директор Гильомо в особой докладной записке: «хочет или не хочет правительство поддержать эту мануфактуру?» [97]. К осени 1796 г. рабочих на Гобеленах было 88 человек, других служащих — 11 человек [98]. И эти служащие (директор, инспектор, два начальника мастерских, два художника — dessinateurs, хранитель магазина, секретарь, доктор, швейцар, заведующий уборной), и все 88 рабочих терпели нужду, но, не говоря о высших служащих, и рабочие крепко держались за свое место, потому что добыть себе работу на частных фабриках было бесконечно трудно, не говоря уже о технической подготовке только к определенной строго специальной работе: просьбы всякого рода были совершенно бесполезны; например, рабочие просили в октябре 1796 г. министра внутренних дел, чтобы им ввиду наступления холодного сезона, выдавали дрова натурой, но и в этом им было отказано и резолюцией министра было приказано ответить, что жалованья, выдаваемого им, должно хватать и что, кроме того, положение финансов не позволяет

удовлетворить эту просьбу [99]. Несмотря на это курьезное заявление, что жалованья *должно хватать* (doit suffire), министерство, повторяем снова, отлично знало и многократно признавало, что жалованья хватать никак не может.

Страшно трудная зима 1796/97 г. была пережита мануфактурой, быть может, только потому, что хоть выдача мяса и хлеба натурой еще продолжалась. Так как мясо и хлеб выдавались по числу ртов, то в отчетах мануфактуры сохранились сведения, позволяющие нам определить семейный состав рабочих. Весной (в марте 1797 г.) рабочих и служащих было 107 человек, т. е. немного более, чем осенью 1796 г., когда их было 99 человек (11 + 88). Из них 25 человек были одинокими, 24 семьи были с двумя «ртами», 21 — с тремя, 17 — с четырьмя, 10 — с пятью, 5 — с шестью и 5 — с семью «ртами» [100]. Это дает нам понятие о той острой нужде, которую испытывало большинство рабочих. Правда, в 1797 г. уже стала появляться при уплате рабочим их жалованья звонкая монета, но платили «так мало и так плохо», как жалуются рабочие, что им опять не хватало на жизнь, тем более что с весны 1797 г. окончательно прекратилась всякая выдача натурой. Теперь, в 1797 г., при появлении звонкой монеты, рабочие стали получать: первого класса — 1000 франков в год, второго класса — 880 франков, третьего класса — 800 франков и четвертого класса — 650 франков. Этого было очень мало, принимая во внимание вздорожание жизненных припасов; высшая администрация была обеспечена гораздо лучше, ибо и теперь директор продолжал получать 6 тысяч франков, инспектор получал 2250 франков, начальники мастерских — по 1800 франков [101], так что теперь подавляющее большинство рабочих (т. е. второго, третьего и четвертого класса получали в 7, $7^1/_2$ и $9^1/_2$ раз приблизительно меньше, нежели директор, и таким образом соотношение между заработком дирекции и заработком рабочих являлось несравненно менее «демократическим», чем раньше. Бедственный был это год для рабочих не только потому, что за время бумажных денег они распродали [102] все свои вещи и теперь не знали, как им быть, не только потому, что им мало платили, но и потому особенно, что им *плохо* платили [103], т. е. задерживали уплату жалованья. Это ставило их прямо в отчаянное положение, они продавали даже постельное белье, не проданное в предшествующее время. Они бросались всюду, жаловались всем, умоляли всех, но никто им не оказывал помощи. Например, в середине августа 1797 г. им не было еще уплачено за 4 предшествующие месяца [104]. Они шлют петицию за петицией с мольбой, чтобы им заплатили их жалованье. «Мы без хлеба, без одежды, без кредита... отчаянье — единственный наш удел. Мы вас просим дать нам средство существовать в другом месте, если вы не можете дать нам существовать здесь»,— пишут рабо-

чие в своей петиции министру: им должны за 135 дней, а уплатили всего за 5 дней, и положение их безвыходно. Директор вполне подтверждает все эти заявления рабочих и (в конце августа 1797 г.) категорически заявляет, что рабочие даже и одного месяца далее существовать не могут без выплаты им хотя бы по частям должной суммы [105]. Правительство отвечает признанием, что все это так, но что оно ничего не может поделать вследствие состояния финансов [106]. Уплачивали должное крайне небольшими суммами, а пока время шло, и долг правительства рабочим снова нарастал. Так, в середине ноября 1797 г. рабочие снова жалуются, что им уже за 5 месяцев не уплачено [107]. Министр внутренних дел решился тогда напомнить Директории, что она еще не уплатила мануфактурам Гобеленов, Севра и Савоннери за те поставки, которые были сделаны этими заведениями для омеблирования дворца, где помещалась Директория. Министр доложил, что рабочие — в крайней нужде, и не только им не уплачено за 5 месяцев, но и материалов, нужных для производства, им купить не на что [108]. Из этого доклада мы узнаем, что Директория не уплатила ничего за сделанные в течение двух лет (1796 и 1797 гг.) поставки, хотя эти покупки должны были, естественно, служить некоторым подспорьем для бедствующих национальных мануфактур. В 1798 г. жалобы на задержки в уплате жалованья стихают, но самое жалованье так незначительно сравнительно с ценами на предметы первой необходимости, что рабочие все-таки существовать могут лишь с очень большим трудом. Директор мануфактуры обратил внимание министерства на то, что предметы первой необходимости теперь, в 1798 г., стали наполовину дороже, нежели они были в 1791 г., а жалованье рабочим стало приблизительно на одну четверть меньше того, которое они получали в 1791 г.:

	В 1791 г. в год	В 1798 г. в год
	франков	
Рабочие I класса получали	1248	1000
» II » »	1092	880
» III » »	936	800
» IV » »	780	650

Директор предлагает повысить плату второму, третьему и четвертому классам до 940, 840 и 720 франков в год, а первому оставить без перемены [109]. Такого рода надбавка тем более представлялась необходимой, что почти одновременно прошел закон 3 nivôse'а, по которому у всякого лица, находящегося на службе

и получающего жалованье от государства, должно было удерживать по 5 сантимов с каждого франка. Рабочие и без того платили гораздо больше налогов, чем в начале революции,— почти в 6 раз [110]. Увеличив содержание второго, третьего и четвертого классов и кроме того, как он ходатайствовал, заплатив из сумм мануфактуры $^3/_4$ этого нового налога за рабочих первого класса, можно было бы хоть немного помочь всем рабочим мануфактуры. Но министр, согласившись с проектированным увеличением платы рабочим второго, третьего и четвертого классов, отказал в разрешении покрыть $^3/_4$ налога, падавшего на рабочих первого класса, из казенных сумм [111]. Судьба рабочих первого класса решилась несколько спустя, когда министр согласился и им повысить плату. Решено было прибавить им приблизительно половину разницы между тем жалованьем, которое они получали в 1791 г. и тем, которые они получали в 1798 г. В 1791 г. они получали по 1248 франков в год, в 1798 г.— тысячу франков,— разница 248 франков, половина разницы — 124 франка; так что теперь, с 1799 г., они должны были бы получать 1124 франка; на таких же основаниях было увеличено жалованье двум вне классов стоявшим premiers ouvriers, которые получали в 1791 г. по 1664 франка, а в 1798 г.— по 1250 (им было прибавлено по 207 франков). Но принадлежавших к первому классу бывало от 8 до 12 человек; громадное же большинство, обыкновенно от 60 до 75%, а иногда и более, принадлежало даже не ко второму, а к третьему и четвертому классам, и если даже избранникам первого класса жилось крайне трудно, то положение массы, невзирая на эту прибавку, оставалось очень тяжелым. Благодаря за сделанную прибавку, они жалуются в начале 1799 г. на то, что эта прибавка нисколько не может облегчить их несчастье вследствие огромных цен на предметы потребления [112], так что они даже с помощью этой прибавки не будут в состоянии «возобновить (renouveler)» обувь, белье, одежду, которые они успели продать. Они поэтому просили о выдаче им на одежду казенного сукна и тому подобных материалов, но в этом им было отказано. Между тем в 1799 г. опять повторяется то, что имело место в 1797 г. и как бы меньше давало себя чувствовать в 1798: опять казна задерживает жалованье. В июне 1799 г. рабочие в особой петиции умоляют заплатить им, так как они 4 месяца уже не получают жалованья [113]. Они пишут, что доведены до страшной нищеты, что булочники уже отказывают им в кредите и пр. Но, как и в предшествующих случаях, министерство внутренних дел обнаруживает бессилие справиться с бедой, ибо финансы этого не позволяют. В начале октября новая петиция — уже прямо к Директории. Рабочие снова умоляют заплатить им, ибо уже *седьмой* месяц им не платят. Ни пищи, ни

одежды, ни дров — ничего у них нет, и они просят обратить внимание на их положение [114].

Это последняя петиция такого рода. При Консульстве финансовое положение стало постепенно выясняться и улучшаться; уже с начала 1800-х годов исчезают в документах следы тех острых страданий, которые были перенесены рабочими при Директории. Картоны, относящиеся к временам Консульства и Империи, заключают почти исключительно одну бухгалтерскую отчетность и упоминание о заказах и исполнении заказанных работ. Нужно не упустить из виду и того, что новый режим вовсе не благоприятствовал подачам прошений со стороны рабочих [115].

Глава II

РАБОЧИЕ МАНУФАКТУРЫ DE LA SAVONNERIE

15

Материалы, относящиеся к мануфактуре de la Savonnerie, в общем только пополняют те сведения, которые дают нам документы мануфактуры Гобеленов. Французская правительственная власть с давних пор смотрела на эти два заведения как на совершенно однородные, а с начала революции едва ли не все распоряжения, издававшиеся относительно Гобеленов, немедленно распространялись и на мануфактуру de la Savonnerie. Это заведение ковровых тканей, обратившее на себя внимание еще Генриха IV, было распоряжением короля от 4 января 1608 г. помещено в галереях Лувра [116]; в 1631 г. Людовик XIII купил дом, где прежде помещалось заведение для выделки мыла, и в этот-то дом (maison de la Savonnerie) перенес названную мануфактуру. Она находилась в заведовании предпринимателя, который пользовался даровым помещением и некоторыми другими льготами. Специальностью заведения была выделка ковров и обивок «по образцу Персии и Леванта». К концу царствования Людовика XIV заведение пришло в упадок, и, чтобы предохранить его от окончательной гибели, король издал в январе 1712 г. эдикт [117], которым, по собственным словам, давал мануфактуре de la Savonnerie те же милости, какие в 1667 г. были даны Гобеленам, и вообще устраивал это заведение «à l'instar des Gobelins». Между прочим, было повелено избрать 12 домов, хозяева которых в награду за помещение рабочих мануфактуры избавлялись бы от военных постоев; за каждого apprentif предприниматель получал от казны (за его содержание и обучение в течение 6 лет) 250 ливров (не ежегодно, а на все 6 лет); рабочие избавлялись от ряда личных и денежных повинностей.

В течение XVIII в. экономическая жизнь мануфактуры de la Savonnerie шла заведенным порядком, как жизнь и других королевских мануфактур. Предприниматель платил рабочим, покупал материалы, руководил работами и продавал частным лицам и королевскому двору продукты. Субсидия от короля существовала в виде обязательства со стороны двора покупать ежегодно определенное количество выработанных тканей по установленной цене (200 ливров, а с 1720 г. 220 ливров «par chaque aulne quarée»). Сверх того, с 1770 г. ввиду дороговизны припасов рабочим из казны выплачивалось еще по 20 sols в неделю каждому и по 10 sols на каждого ребенка семьи рабочего (до четырнадцатилетнего возраста). Затем, так как фактически статья эдикта 1712 г. не осуществлялась [118], то 12 старейшим рабочим с 1755 г. выдавалось по 40 ливров квартирных денег [119]. Рабочих там никогда не было много; в XVIII в. их бывало 20—23 человека и около 5—7 apprentifs. Об их положении документы XVII—XVIII вв., до начала революции, хранят почти полное молчание. Плата исчислялась не поденно, а посдельно и к концу XVIII в. являлась решительно недостаточной ввиду возросшей дороговизны жизни. Впрочем, и на это обстоятельство бросают свет больше документы времен революции. Во всяком случае за последние годы старого режима мануфактура без дела не стояла [120], и предприниматель хвалился, что он никогда не задерживал платы и не прекращал работ.

Начавшаяся революция, как мы видели, стала отзываться более или менее решительным упадком производства на мануфактурах Гобеленов и Бове лишь со второй половины 1791 г., а особенно с 1792—1793 гг. Относительно Savonnerie нужно прибавить, что, судя по официальным данным [121], здесь производство в 1789—1790 гг. не только не сократилось, но даже усилилось; и как на других национальных (и многих частных) мануфактурах, эти первые годы революции были (в заведении Savonnerie) временем успешной борьбы рабочих за свои интересы. Требование, выдвинутое тут, было такое же, как и на Гобеленах: замена расплаты подельной расплатой поденной или понедельной. Предприниматель Duvivier в докладах главному начальству пишет, что рабочие Savonnerie, узнав о намерениях рабочих Гобеленов, тоже стали волноваться, обнаруживать неповиновение, и при объяснениях стали происходить неприятности [122]. В это время граф d'Angiviller, главный начальник всего ведомства «bâtiments du Roi», отдал мануфактуру de la Savonnerie под наблюдение и руководство директора Гобеленов Guillaumot [123]. И здесь, как и на других мануфактурах, рабочие добивались своей цели совершенно мирным путем, не переставая уверять начальство в полной своей по-

чтительности. Еще с предпринимателями (с Duvivier — в Savonnerie, с Menou, как увидим,— в Бове) в этот период происходили иногда резкости, бурные объяснения и тому подобное, но с высшим начальством, графом d'Angiviller или с директором Guillaumot, отношения оставались с внешней стороны самые корректные. «Вы всегда с рабочими, вы их отец» [124],— такие выражения попадаются нередко в документах и этого, и позднейшего периода. Они пишут директору, что всецело доверяют его заботам об их счастье, и вполне полагаются на справедливость и доброту его сердца [125], но, не скупясь на подобные формулы, довольно настойчиво выражают свои пожелания. Эти пожелания в главном сводились к следующему: поcдельная плата должна была замениться поденной; рабочий день должен длиться с равноденствия в марте до равноденствия в сентябре — от 6 часов утра до 6 часов вечера, а в остальные месяцы — от восхода солнца до заката; на обед должно даваться при этом 1½ часа от полудня до 1½ часа дня, а сверх того в те месяцы, когда начало работ назначено в 6 часов утра, должно даваться ½ часа на завтрак; работы при свечах, дурно влияющие на здоровье рабочих, отменяются вовсе. Эти пункты не возбуждали разногласий; но был один пункт, относительно которого можно констатировать среди рабочих два течения. Как фиксировать плату? Сначала полагали, что нужно назначить всем рабочим мануфактуры одну и ту же плату, ибо если делить их на классы, получающие больше или меньше, то будут происходить споры, и нарушится доброе согласие как среди рабочих, так и между ними, с одной стороны, и директором,— с другой [126]; а для того, чтобы поощрить соревнование, достаточно будет установить какие-нибудь небольшие премии [127], которые ежегодно и будут присуждаться самими рабочими их отличившимся товарищам. Единая плата предполагалась в 20 ливров в неделю. Это заявление было всеми подписано и подано d'Angiviller. Но потом взяло верх другое течение, в пользу разделения на классы: повлияло, конечно, и то обстоятельство, что с 1 января 1791 г. на Гобеленах уже вошел в силу регламент, признававший деление на категории. Для защиты своих требований рабочие Savonnerie, подобно гобеленовским, избрали уполномоченных (4 человек), которым всецело доверили ведение дела [128]. Особенно их беспокоил, конечно, коренной вопрос: согласится ли правительство заменить поcдельную плату поденной? Они настаивают, что поcдельная плата не изменялась более чем 80 лет, и теперь она совершенно не в соответствии с ценами на продукты первой необходимости, которые с тех пор вздорожали вдвое. Чтобы выработать одну aulne и получить за нее 76 ливров 16 солей, многим рабочим нужно проработать 10—12 недель, и только немногим

Записки Историко-Филологическаго Факультета
Императорскаго С.-Петербургскаго Университета.
ЧАСТЬ LXXXVI.

Е. В. Тарле.

РАБОЧІЕ НАЦІОНАЛЬНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ ВО ФРАНЦІИ ВЪ ЭПОХУ РЕВОЛЮЦІИ

(1789—1799 гг.).

По неизданнымъ документамъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія т-ва „Общественная Польза". Б. Подъяческая, 39.
1908.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ «РАБОЧИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МАНУФАКТУР ВО ФРАНЦИИ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ (1789–1799 гг.)»

удается выработать это количество скорее [129]. При таких условиях им существовать невозможно. Нужно сказать, что, несмотря на беспокойство рабочих относительно враждебных им влияний [130], правительство в этом вопросе больше тянуло дело, нежели действительно сопротивлялось, а после благоприятного для Гобеленов разрешения вопроса, конечно, такое же разрешение его и для Savonnerie стало лишь вопросом времени. Рабочие сами разработали детали реформы: они разделились по соглашению между собой на 4 класса, причем рабочие первого класса должны были получать 24 ливра в неделю, второго класса — 21 ливр, третьего — 18 ливров и четвертого — 15 ливров. К первому классу должны были принадлежать 4 человека, ко второму — 4 человека, к третьему — 8 человек и к четвертому — 4 человека [131]. 20 апреля 1791 г. d'Angiviller утвердил регламент, выработанный для мануфактуры la Savonnerie тем же Guillaumot, который выработал, как мы уже видели, регламент для Гобеленов. Оба регламента совершенно схожи [132], и хотя, вводя их, имелось в виду только сделать временный опыт, но уже до конца 1792 г. не возникало и мысли вернуть королевские мануфактуры к поденьпой плате, которую осудил и признал совершенно недостаточной сам Guillaumot в своем докладе графу d'Angiviller [133]. Регламент устанавливал деление на 4 класса (с платой по 24, 21, 18 и 15 ливров в неделю); рабочий день должен был продолжаться в мае, июне, июле и августе с 6 часов утра до 6 часов вечера, причем на завтрак давалось $1/2$ часа, а на обед $1\,1/2$ часа; в марте, апреле, сентябре и октябре рабочий день должен был продолжаться с 7 часов утра до заката солнца: в январе, феврале, ноябре и декабре — с 8 часов утра до заката солнца. В те рабочие дни, которые начинались с 7 или 8 часов утра, давался только перерыв для обеда ($1\,1/2$ часа). Далее, устанавливался строгий контроль относительно пребывания рабочих за делом. День делился на 4 части; дежурные из среды самих рабочих должны были наблюдать, все ли на своих местах, записывать опоздавших и т. д. В случае сколько-нибудь серьезного опоздания делались соответствующие вычеты. Регламент предусматривал [134] нерасположение рабочих к этой роли дежурных надзирателей за товарищами и устанавливал эту обязанность как известную повинность, которой по череди, указываемой жребием, должны были подвергаться все рабочие; впрочем, этот пункт не возбуждал впоследствии ни разу, судя по документам, никаких столкновений.

Таковы были главные черты регламента, утвержденного 20 апреля и вошедшего в силу с 1 мая 1791 г. Утверждая его, граф d'Angiviller надеялся «восстановить дисциплину» [135] на мануфактуре и путем повышения платы рабочим достигнуть

усовершенствования в работах. Конечно, первый мотив имел для текущего момента наибольшее значение в глазах сановников королевского двора.

2

Согласно новому режиму, установленному регламентом от 20 апреля, рабочие должны были получать деньги уже не от предпринимателя, а из королевской казны, из сумм liste civile. Предприниматель лишался прежних вспомоществований, и ввиду того, что 5 apprentifs он должен был содержать теперь на свой счет, а также ввиду необеспеченности сбыта его положение ухудшилось. Но первые его жалобы относятся лишь к осени 1791 г. [136], а летом 1792 г. его положение становится, по-видимому, еще хуже, хотя сам он говорит, что из казенных сумм, остающихся у него на руках после раздачи жалованья рабочим, он может делать закупки материалов [137].

После 10 августа 1792 г. судьба мануфактуры de la Savonnerie совершенно та же, что и Гобеленов. Министр финансов (le ministre des contributions publiques), в руки которого непосредственно после падения монархии и уничтожения liste civile попала (правда, на весьма краткий момент) участь национальных мануфактур, прямо признал ввиду «аналогии между двумя заведениями» необходимым придерживаться относительно них одинакового образа действия [138]. Этого же принципа держались и Ролан, в руки которого вскоре перешли национальные мануфактуры, и все правительственные лица, которые сменяли друг друга в министерстве внутренних дел после Ролана, и члены комиссии земледелия и искусств, которая при Конвенте (с 24 мая 1794 г.) заведовала мануфактурами, и комитета земледелия и искусств, который издавал касающиеся их постановления по выслушании докладов своего исполнительного органа — этой «комиссии земледелия и искусств». Рабочие боялись, что с уничтожением liste civile прекратится и выдача им жалованья, и уже 29 августа 1792 г., уверяя Ролана в своей «неизменной привязанности к священным принципам свободы и равенства» и возлагая свои надежды на его патриотизм и любовь к искусствам, они просили министра внутренних дел продолжать платить им то, что они привыкли получать ежемесячно [139]. Мануфактура уцелела в этот опасный момент, когда Ролан неуклонно стремился к строжайшей экономии и в крупных, и в мелких расходах. Был даже план уничтожения Savonnerie как самостоятельного заведения и соединения ее с Гобеленами [140], о чем старался новый директор Гобеленов Одран [141], но проект не состоялся. Любопытно, что одним из мотивов, выдвинутых официальным лицом против

соединения обеих мануфактур, было то соображение, что рабочие la Savonnerie доброго поведения, и между ними не бывает тех волнений, как между рабочими Гобеленов [142]. Тут, очевидно, сказывается воспоминание о событиях, предшествовавших созданию нового регламента, причем, действительно, рабочие Гобеленов действовали резче и решительнее, чем рабочие la Savonnerie, а также намекается на то брожение, которое вызвали среди рабочих Гобеленов слухи о предстоящем возвращении к поденьной плате по желанию Ролана.

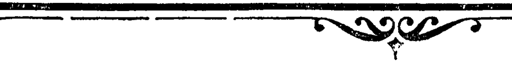
La Savonnerie сохранила самостоятельное существование, а предприниматель Duvivier стал директором ее на жалованье правительства, и мануфактура окончательно превратилась в правительственное предприятие. В 1793—1799 гг. рабочие la Savonnerie получали те же вспомоществования, что и рабочие Гобеленов, и большей частью постановления делались одновременно относительно обеих мануфактур или даже в одной и той же бумаге упоминались оба заведения [143]; и жалобы рабочих на страшное вздорожание предметов первой необходимости вследствие падения курса ассигнаций (в 1794—1797 гг.) и вследствие задержки и недостаточности платы (в 1798—1799 гг.) по существу совершенно одинаковы для рабочих обеих мануфактур. Точно так же и нововведения административного характера вроде введения жюри [144] в 1794 г., разделяющего ежегодно рабочих на классы, о чем мы уже говорили в главе, посвященной Гобеленам, применялись в равной мере и к Savonnerie.

Число рабочих в эти бедственные годы почти не менялось: 20—22 человека — такие числа встречаются чаще других [145], кроме начала 1797 г., когда их было всего 15 человек. Подобно рабочим других национальных мануфактур, рабочие la Savonnerie также получали вспомоществование натурой [146], также ассигновались единовременно суммы для помощи им [147] и т. д. До выдачи съестных припасов положение было такое, что рабочие, их жены и дети чуть не ежедневно лишались чувств от голода [148]. Но и после этой раздачи положение их было крайне печально. В самом конце 1795 г. рабочие жаловались на нужду, но министерство отказало (2 января 1796 г.), ибо ему показалось, что, получая ежедневно (в это время) minimum по 20 франков ассигнациями, они получают также по фунту хлеба и 1/2 фунта мяса, и, кроме того, пользуясь («все или почти все») помещением на мануфактуре, рабочие la Savonnerie могут обойтись и без дальнейшей помощи [149]. Рабочие ввиду полного обесценения ассигнаций были лишены возможности купить одежду и молили выдать им и на одежду натурой, но и тут получили отказ [150]. Летом они снова обращаются к министру внутренних дел, умоляя помочь им, и спрашивают,

зачем же Конвент решил сохранить их заведение, если теперь они погибают от нищеты, от невозможности жить на выдаваемые правительством рационы [151]. И на это прошение последовал отказ. Когда наконец часть заработной платы стали выдавать звонкой монетой, то и для Savonnerie, как и для других национальных мануфактур, наступила новая полоса бедствий: правительство стало месяцами задерживать выдачу платы. Уже 17 сентября 1796 г. они жалуются на свое бедственное положение, ввиду того что полтора месяца не получают ничего. «Граждане артисты, рабочие национальной мануфактуры, называемой la Savonnerie, видят себя в необходимости снова вас обеспокоить, чтобы представить вам, что они не получили ни одного су с того времени, как вы были столь добры и решили, чтобы часть их платы уплачивалась им серебром» [152],— читаем мы в поданном рабочими по этому поводу прошении. 22 ноября 1796 г. они снова жалуются, что им за 2 месяца не уплачено [153], и что они «абсолютно умирают от голоду». В 1797—1798 гг.— та же однообразная картина: «Нет хлеба, нет денег, нет кредита», 4 месяца не получали жалованья [154]; в январе 1797 г. директор Duvivier обращает внимание министра на задержку платы рабочим [155]; о страшной нужде, неполучении жалованья напоминают и рабочие, прося выдать хоть дров, на покупку которых у них нет денег [156], на что и получают отказ; 27 июля 1797 г. рабочие посылают одновременно две умоляющие петиции: Директории республики и министру внутренних дел [157]; они говорят (и директор Duvivier подтверждает их слова), что уже 4 месяца ничего не получали, истощены голодом и т. д. Зимой, 17 ноября 1797 г., они опять прибегают к Директории с новой просьбой об уплате, ибо они 5 месяцев ничего не получают, нет кредита, нет хлеба и т. д. Прекращение выдачи припасов натурой делало положение рабочих ввиду этих задержек совершенно невыносимым. Правда, хотя еще с 1 флореаля (т. е. с 20 апреля 1797 г.) должна была прекратиться раздача съестных припасов натурой, но директору Duvivier удавалось еще на несколько месяцев оттянуть исполнение ужасного для рабочих декрета, за что он и получил (15 декабря 1797 г.) суровый выговор из министерства внутренних дел за поведение, противное интересам республики [158]. Пришлось прекратить выдачу съестных припасов, и положение рабочих стало еще хуже с этого времени (т. е. с декабря 1797 г.). Жалованье продолжали задерживать. 17 февраля 1798 г. рабочие снова молят Директорию во имя гуманности уплатить им задержанную за 3 месяца плату [159], одновременно пишут о том же министру; о том же пишет и их директор в министерство [160], но скудные и частичные уплаты не мешают новым и новым дальнейшим задержкам; так, в начале октября

1798 г. министерство сознается, что рабочим не уплачено за 5 месяцев [161]; в апреле 1799 г. новая просьба уплатить, причем рабочие обращают внимание на то, что они не могут выдерживать этих опаздываний, так как не могли сделать никаких сбережений; самое крупное жалованье у них на мануфактуре — 79 франков, а иные не получают и 60-ти [162]. Конечно, о скромности размеров жалованья рабочие могли упомянуть только к слову, ибо о борьбе за увеличение его они и не мечтали, они жаждали лишь, действительно, *получать* должные им суммы. Конец Директории был и для Savonnerie, конечно, временем особенно острых бедствий: в начале июля 1799 г. они доведены были до полной крайности, так как за последние 5 месяцев ничего не получали [163]; в ноябре того же года они говорят уже о $8^{1}/_{2}$ месяцах, за которые правительство им должно, и снова и снова жалуются на безвыходное свое положение [164], на полное истощение всякого кредита, на отсутствие одежды и т. д. На их отчаянную нужду просит новое правительство обратить внимание и их директор Duvivier [165], и рабочие просят у министра аудиенции. Но и новое правительство далеко не с первых же шагов справилось с финансовыми затруднениями: еще в мае 1800 г. рабочим не было уплачено за 11 месяцев [166], а в конце июля 1800 г. правительство еще оставалось все-таки должно рабочим более чем за 9 месяцев [167].

Как и относительно рабочих других национальных мануфактур, документы относительно рабочих la Savonnerie становятся очень редкими и скудными при Консульстве. Прошения с их стороны почти вовсе прекращаются: едва ли не последние относятся к 1802 г., когда рабочие просили о прибавке платы, жалуясь, что получают меньше, нежели в 1791 г., хотя цены удвоились с тех пор [168]. Переписка же дирекции с министерством также перестает в эту эпоху давать те сведения относительно положения рабочих, какие давала для 1789—1799 гг.



Глава III

РАБОЧИЕ НА СЕВРСКОЙ ФАРФОРОВОЙ МАНУФАКТУРЕ

I

Королевская Севрская мануфактура, приобретенная Людовиком XV в 1760 г., пользовалась не только субсидией со стороны правительства, но с 1784 г. королевским постановлением эта мануфактура была ограждена от конкурентов, ибо это постановление вводило целый ряд существеннейших стеснений в производство фарфоровых изделий в Париже и местах, находящихся в 15 лье в окружности (в 1787 г. эти ограничения частного производства в пользу Севрской мануфактуры были подтверждены [169]). Репутация севрского фарфора, вытеснившего фарфор китайский и саксонский [170], стояла очень высоко и во Франции, и за границей. Как и относительно Гобеленов и Бове, чрезвычайно трудно составить определенное представление о положении рабочих в Севре до начала революции. Получало большинство 1—1½ ливра в день в среднем, меньшинство — 2 ливра, реже заработок некоторых подымался выше. В документах раз встречается глухое указание на «инсубординацию» рабочих [171], но ничего сколько-нибудь обстоятельного об этом мы не узнаем.

К началу революции на Севрскую мануфактуру отпускалось в год 300 тысяч ливров, причем рабочие получали ежемесячно 15 тысяч (в год 180 тысяч ливров), а другие издержки покрывались остальными 120 тысячами ливров в год. Но так как эти суммы добывались мануфактурой главным образом от продажи собственных продуктов, то вырученные деньги не шли в казну, а оставались в руках дирекции, которая их и тратила на нужды заведения. Выдача денег из казны производилась, когда не хватало вырученных денег от продажи сумм для покрытия бюджета. Революция, столь серьезно отразившаяся на

Гобеленах и Бове, затронула, конечно, с первых же месяцев весьма чувствительно и Севр, но все-таки, по-видимому, в несколько меньшей мере, ибо севрские изделия все же были более доступны для людей среднего состояния, чем тканые шпалеры Гобеленов и даже Бове. 1789 год был тяжел, покупки почти вовсе прекратились, и уже осенью этого года произошла задержка в уплате жалованья, сопровождавшаяся некоторым (не имевшим, впрочем, никаких последствий) проявлением раздражения среди рабочих против кассира мануфактуры, хотя он, конечно, был решительно не виноват. И хотя все-таки еще высказывались в течение 1789 г. как бы некоторые надежды на известный сбыт [172], но еще больше сказывается мечта административных кругов уменьшить до известной степени число рабочих, так чтобы на рабочих выходило не 15, а хоть 12 тысяч ливров в месяц. Уже в начале 1790 г. расходы на производство не окупались выручкой [173], богатая клиентелла прежних лет под влиянием революционных событий разъезжалась, сокращала расходы. Главный директор всего ведомства bâtiments du Roi, числившихся в Maison du Roi, граф d'Angiviller понимал, что сокращение расходов диктуется обстоятельствами, но боялся в эти годы, когда двору еще не все казалось погибшим, раздражать рабочих против короля массовым увольнением их. Он представил Людовику XVI в середине 1790 г. доклад, в котором прямо высказывается против увольнения рабочих. Он находит, что возможно было бы найти покупателя и даже на выгодных, «по-видимому» [174], условиях, но не советует продавать мануфактуру. Он считает нужным сохранить заведение, чтобы не возбуждать восстания рабочих столь близко от королевского двора и от столицы, и считает, что отчаяние может довести этих людей («от 200 до 300 рабочих») до преступления, если их лишить куска хлеба [175]. Король решил оставить мануфактуру за собой, но с тем, чтобы расходы на рабочих не превышали впредь 12 тысяч ливров, если уж нельзя еще более уменьшить эту цифру [176]. Этим думали предотвратить волнения на мануфактуре, которых тогда боялись до такой степени, что спешили всячески успокоить рабочих, когда какое-нибудь неосторожно вымолвленное слово об увольнении начинало их волновать. Положение администрации мануфактуры было тем затруднительнее в эти годы, что над ней висело некоторое подозрение в контрреволюционности, как, впрочем, и вообще над всем персоналом ведомства Maison du Roi, и в случае рабочих беспорядков можно было опасаться также всего окрестного населения. В этом отношении характерно письмо, написанное 3 марта 1790 г. инспектором мануфактуры Hettlinger главному директору графу д'Анживилье, с вопросом, как быть: предстоит празднество принесения присяги Севрской национальной гвар-

дии, и если иллюминовать мануфактуру, то выйдет непроизводительно на это 80 фунтов свечей, а если не иллюминовать, то люди, «которые уже нас не любят» [177], прибегнут к оскорблениям и даже могут перебить стекла. Но боясь всего, боясь прибегнуть к массовому и единовременному увольнению рабочих, администрация старалась не замещать вакансий, открывающихся вследствие смерти или необходимости для того или иного рабочего покинуть мануфактуру. Так, с июня 1789 г. до 15 мая 1791 г. таких незамещенных вакансий оказалось 40, т. е. за это время число рабочих уменьшилось приблизительно на $^1/_6$ часть. Перспективы относительно дальнейшего течения торговых дел в 1791 г. были еще менее утешительны, чем прежде. Покупщики становились все реже [178], дворцовое же ведомство, на которое тем тяжелее ложились расходы по содержанию мануфактуры, не в состоянии было аккуратно и в полной мере поддерживать это заведение. В дореволюционные времена ежегодно устраивалась в версальских аппартаментах выставка произведений Севрской мануфактуры, причем придворные, вельможи, посланники, чтобы угодить королю, покупали все по огромным ценам [179]. Теперь и это исчезло. Тем не менее севрским рабочим удалось в эти годы воспользоваться затруднительным положением королевского двора и вынудить у него увеличение заработной платы; о точных размерах этого увеличения мы сведений не нашли. Нужно сказать, что и относительно Севрской мануфактуры политика двора в эти годы была той же, как и относительно других мануфактур: по возможности уступать требованиям рабочих, чтобы предупредить волнения. Еще весной 1790 г. на мануфактуре было волнение [180] по поводу задержки в выдаче заработной платы, и высшее начальство советовало дирекции внушить «непокорным рабочим», что король может и совсем закрыть мануфактуру, не приносящую ему доходов. Но на это смелости у двора не хватило. Рабочие весной того же 1790 г. добились увеличения обеденного перерыва с $1^1/_2$ до 2 часов во весь тот сезон (с 15 апреля по 1 сентября), когда работы начинаются с 6 часов утра, и граф d'Angiviller прямо мотивирует эту уступку желанием убедить рабочих, что он стремится по возможности их удовлетворить [181]. Конечно, когда удавалось в ущерб рабочим и на пользу экономии провести какую-нибудь меру и при этом избегнуть волнений, граф d'Angiviller этому только радовался. Так, когда прекратили работу женщин (жен и дочерей рабочих, работавших на дому), то граф выразил свое удовольствие по поводу благополучного возвещения этой меры [182]. Как увидим в следующей главе (по поводу этого же вопроса, о работе женщин), министр эпохи владычества монтаньяров гораздо искреннее и *действительно* гуманнее относился к рабочим. Если d'Angiviller,

таким образом, боялся рабочих, то под влиянием того же мотива его преемник De la Porte (или Laporte, как его иногда называют документы), интендант de la liste civile, согласился во избежание волнений на увеличение платы [183]. Случилось это в конце 1791 г., когда, нужно прибавить, финансовые обстоятельства мануфактуры были несколько благоприятнее, нежели предшествовавшая и последовавшая эпохи [184].

2

Судя по документам, рабочие Севрской мануфактуры еще до окончательного падения монархии проявляли гораздо яснее свое сочувствие революции, нежели рабочие других королевских мануфактур. В этом отношении для нас не столько любопытен, например, тот факт, что именно севрские рабочие сделали в мае 1792 г. ошибочное донесение властям, приняв доставленную для сожжения груду экземпляров одного памфлета против Марии-Антуанетты за важные бумаги, уличающие двор в измене [185], сколько другие, более характерные признаки.

Из рабочих всех национальных мануфактур только севрские рабочие уже в 1790 г. проявляли ясно выраженное желание не оставаться вдали от политической жизни. Необычайно редким исключением из всей массы петиций, поданных рабочими национальных мануфактур в рассматриваемое нами десятилетие, является петиция, с которой севрские рабочие обратились в 1790 г. в Учредительное собрание: они просят тут не об улучшении своего материального быта, но о том, чтобы им предоставили права активных граждан — право голоса на выборах. Они доказывают, что имеют на это право, ибо уже не пользуются никакими привилегиями по части налогового обложения; они указывают на несение ими службы в местной национальной гвардии, на патриотические приношения (dons patriotiques) и полагают, что эти доказательства патриотизма сделают их активными гражданами и юридически, и фактически (et de droit et de fait). Поэтому они просят собрание отменить отрицательное решение по их делу, постановленное местным муниципалитетом [186]. Вообще за все время революции севрские рабочие проявляли больше политической активности, чем рабочие других национальных мануфактур. Из документов 1789—1792 гг. ясно, что беспорядков среди севрских рабочих боялись гораздо больше, чем среди рабочих других королевских мануфактур. После падения монархии, уже в 1792 г., и даже без особой борьбы рабочим удалось в известной мере произвести очистку мануфактуры от подозрительных (в контрреволюционном смысле) элементов. Один неизвестный автор доклада

жалуется прямо на то, что революционный кризис сильно отразился на мануфактуре [187], что прогнаны некоторые лица со своих мест, что их заменили люди, у которых есть патриотизм, но нет талантов и специальных качеств и т. д. Вообще уже при жирондистском министерстве конца 1792 г. севрские рабочие держали себя так, как рабочие большинства других заведений стали себя держать только в 1793 г. Тотчас после 10 августа 1792 г. domaines et bâtiments de la liste civile были поручены Clavière'y, министру des Contributions publiques [188], а вскоре после этого — министру внутренних дел Ролану. Устройство дел на Севрской мануфактуре Клавьер отдал в руки Haudry, которого утвердил в этой должности и Ролан, так как вскоре мануфактуры попали в ведомство внутренних дел [189]. Именно по инициативе самих рабочих произошла решительная перемена в непосредственном управлении фабрикой. «В эту эпоху,— повествует инспектор мануфактуры Hettlinger [190],— некоторые рабочие мануфактуры, люди духа неспокойного и которые желали бы вмешаться в управление, шумно созвали своих товарищей, предложили изменения и реформы, некоторые заставили других выбрать себя комиссарами». Так как инспектор мануфактуры Hettlinger был как раз в отлучке, то они обвинили его в том, что он эмигрировал, и наложили печати на все бумаги. Hettlinger тотчас же приехал, но совладать с движением, конечно, не мог: как постоянный директор мануфактуры Régnier, так и назначенный специально с миссией устроить ее дела Haudry должны были подчиниться рабочим. Рабочие потребовали удаления некоторых служащих, увеличения жалованья, и противодействовать никто не решился. Правда, Hettlinger прибавляет, что «почтенные (estimables) рабочие в молчании не одобряют» действий своих товарищей, но это не имело, конечно, никакого практического результата. Haudry легализовал участие рабочих в управлении мануфактурой: в каждой из шести мастерских должен был образоваться выборный совет из рабочих, которые во главе с начальником мастерской еженедельно давали бы дирекции сведения о положении дел, передавали бы жалобы и просьбы рабочих и содействовали бы «порядку и успеху» мануфактуры.

Haudry требовал, чтобы на рабочих смотрели как на душу мануфактуры и чтобы администрация с ними советовалась [191]. Вообще его воззрения более подходили уже ко времени господства монтаньяров, нежели к эпохе министерства Ролана, и даже еще в первые месяцы 1793 г. раздаются жалобы на «своеволие» рабочих. Директор Régnier, по-видимому, плохо мирился с новым духом, которым повеяло уже после падения Ролана. В середине 1793 г. он в видах экономии прекратил выдачу работы на дом некоторым женам и дочерям рабочих. Мы ви-

дели, что в 1790 г. граф d'Angiviller был очень доволен проведением подобной же меры, особенно тем, что она не вызвала волнений. Но теперь «якобинский» министр Garat сделал директору выговор, заявив, что обстоятельства повелевают «поддерживать не столько работу, сколько работника» [192], и приказал дать работу десяти уволенным женщинам, определив семи от 30 до 36 ливров в месяц, а трем 18—30 ливров. Лица прежней администрации, удержавшиеся на фабрике, не раз сваливают все происходящее на вожаков, «зложелательных» [193] и т. д. Это показывает, что известная организованность в действиях рабочих ясно давала себя чувствовать. «Маленькое количество рабочих этого заведения, которые соединились (qui se sont coalisés), главенствуют над другими и предлагают себя в управители мануфактуры»,— жалуется инспектор [194]. Ясно, что энергия и стремление к организации были на стороне именно рабочих революционного настроения и образа мыслей. Рабочие же Севрской мануфактуры играли серьезную роль в местном севрском революционном комитете; некоторые документы даже прямо говорят, что именно рабочие составляли там большинство [195]. Осенью 1793 г. инспектору мануфактуры Hettlinger, уже и раньше подвергавшемуся подозрениям, было отказано в выдаче certificat du civisme, что и повлекло за собой его арест. Вот как он впоследствии объяснял это [196]: «Некоторые рабочие этой национальной мануфактуры поклялись изгнать прежних управителей... Трое рабочих суть члены севрского муниципалитета, восемь других составляют две трети комитета надзора, так что мне пришлось иметь дело одновременно с судьями и (заинтересованной — *Е. Т.*) стороной».

Вместе с ним были арестованы директор Régnier и двое других служащих (Salmon и Caton).

В сущности предъявленные к ним обвинения являлись весьма шаткими. Salmon обвинялся в том, что он высказался против сожжения знамен с белыми лилиями [197]. Директор Régnier обвинялся главным образом, во-первых, в том, что 5 октября 1789 г., когда парижане шли в Версаль, он сказал: *«ah, la belle equipée, fermez vos croisée»;* во-вторых, в том, что в этом же 1789 г., когда королевские швейцарцы были в здании мануфактуры, он заявил, *что выдаст правосудию всякого, кто первый оскорбит королевских солдат* [198]. Кроме того, его обвиняли в том, что он не позволял рабочим мануфактуры читать патриотические газеты «Orateur du peuple», «Père Duchêne» и т. д. Наконец, ставилась на вид и старая история с сожжением на мануфактуре по приказанию интенданта цивильного листа De la Porte'а — двух тюков с экземплярами памфлета против Марии-Антуанетты, выпущенного госпожей Ламотт. Хотя еще тогда же, когда эта история произошла, т. е. в мае 1792 г., было

вполне установлено, что́ именно было сожжено, но теперь обвинители пытались опять повторять, что это были бумаги «австрийского комитета» [199]. Вообще же объяснялось, что Régnier арестован как подозрительный человек, не получивший certificat du civisme и осыпанный милостями двора. Даже то, что он не принимал на службу рабочих, побывавших волонтерами в армии, указывало, по мнению обвинителей, на «аристократизм» его воззрений [200], хотя, как мы видели, высшая администрация в видах экономии решительно противилась замещению раз освободившихся вакансий. Наконец, инспектор Hettlinger, швейцарец родом, оказался подозрительным главным образом оттого, что ему (без объяснения причин) не выдавали еще раньше certificat du civisme, что он был «la créature d'Angiviller» и что 29 марта 1791 г. «принуждал рабочих подписать удостоверение, что d'Angiviller — честный человек, угрожая им гневом тирана» [201].

Арестованные чины администрации мануфактуры были преданы комитету общественной безопасности Национального конвента [202].

Выслушав доклад по этому делу от комитета общественной безопасности, Национальный конвент подтвердил распоряжение комитета коммуны Севра относительно ареста этих лиц [203], а также относительно начальника отделения живописи художника мануфактуры Caton'а, которого обвиняли в роялизме и в противореволюционных поступках [204]. Арест был столь внезапен, что лицо, которое непосредственно должно было временно взять на себя текущие дела заведения, представитель народа Yves Audrein, просил на время отпустить арестованных, чтобы принять от них инвентарь [205], на что и последовало согласие властей. Арестованные пробыли в заключении несколько месяцев, и обвинений им не предъявлялось. Только после падения Робеспьера Régnier добился, чтобы ему объявили, из-за чего его держат под арестом [206]. И в главный, и в севрский комитеты общественной безопасности он тотчас же, как только узнал о причинах ареста, послал две оправдательные записки [207], в которых доказывал лживость взведенных на него обвинений. Вскоре затем всех арестованных из числа служивших на мануфактуре выпустили на свободу.

Однако Régnier уже водворен на службу не был, а Hettlinger'у и Salmon'у удалось вернуться. Но это было уже осенью 1794 г. Фактически с осени 1793 г. рабочие мануфактуры принимали живое участие в управлении заведением. Министр внутренних дел (Paré) не сразу назначил заместителей вместо арестованных. Он, правда, успокоил севрский комитет общественной безопасности, что арестованные не будут восстановлены в своих должностях как не имеющие доверия сограждан [208], но вместе

с тем объяснил, что медлит с назначением новых лиц, между прочим, именно вследствие трудности в выборе подходящих людей, ибо нужный человек должен обладать не только техническими сведениями, но также *популярностью, просвещенностью и умом, которые обеспечили бы рабочим истинно республиканское управление* и оградили бы все интересы республики [209].

3

Конвент решил сохранить национальную мануфактуру, но еще в середине 1793 г. склонен был [210] поставить ее участь в зависимость от того, будет ли она окупать себя: тенденции Ролана действовали еще некоторое, правда короткое, время после его падения [211]. Лица, желавшие сохранения мануфактуры, указывали главным образом на ее значение как «школы искусства», на соображения гуманного характера (невозможность выбросить на улицу более 200 человек) и наконец на то, что, будучи уволены, рабочие могут отправляться за границу и там «au préjudice de l'intérêt national» выдать секреты той отрасли художественной промышленности, которой они занимались. Эти воззрения вскоре и возобладали. За все десятилетие, историю которого мы исследуем, ни одно правительство не проявило такой широты во взглядах на роль национальных мануфактур и такой гуманности к рабочим, как именно якобинцы 1793—1794 гг. Министерство внутренних дел прекрасно понимало, что плохая надежда на коммерческую выгоду от заведений такого рода, как Гобелены или Севр, в ближайшем будущем; но даже если они никогда полезны для торговли не будут, все равно,— заявил министр внутренних дел в конце 1793 г.,— необходимо их сохранить для национальной славы, для доказательства превосходства Франции в искусствах над другими нациями [212]. Можно сказать, что в эти годы правительственная власть стремилась не только сохранить национальные мануфактуры, но и утвердить принцип участия рабочих в управлении заведением, причем нужно заметить, что, по-видимому, на самих рабочих этот принцип перестал оказывать прежнее притягательное влияние еще раньше, нежели правительство при термидорианской реакции, а потом при Директории успело почувствовать необходимость вступить с ним в борьбу.

Так, 10 октября 1794 г., т. е. уже в эпоху термидорианской реакции, административный совет просит у комиссии земледелия и искусств более точного определения своих собственных функций, причем отмечается, что участвовавшие там рабочие, «ad hoc выбранные» своими товарищами, «все чувствуют свою некомпетентность».

Этот документ обличает известную растерянность и неуменье или нежелание рабочих воспользоваться не только уже завоеванными правами, но даже именно неопределенностью этих прав для дальнейшего расширения своей компетенции. Еще характернее то, что с конца 1794 г. мы уже ничего не слышим об этом участии рабочих в административных делах мануфактуры, и мало того, это отстранение рабочих произошло, очевидно, вполне безболезненно и тихо,— ни малейших следов какой бы то ни было борьбы по этому поводу нам среди архивных документов найти не удалось.

Но в 1793 г. повышенное настроение среди рабочих еще держалось, хотя материальное положение было очень трудное вследствие финансового кризиса, неизбежно влекшего вздорожание предметов первой необходимости. Уже к июню 1793 г. жалованье рабочих фактически вдвое понизилось [213], и этот процесс прогрессировал весьма быстро.

Как уже было отмечено, они играли серьезную роль в местном севрском комитете. Этот комитет (Comité de sûreté général de Sèvres) осенью 1793 г., как сказано, арестовал администрацию мануфактуры, а вскоре затем присланный для устройства дел на мануфактуре член Конвента Battelier назначил инспектором одного из служивших там — химика Chanou. При этом были спрошены рабочие о талантах и «цивизме» Chanou, качества которого они всецело одобрили [214]. Chanou не оправдал хорошего мнения рабочих, ибо возбудил впоследствии неудовольствие комиссии земледелия и искусств небрежным ведением дела и запутанной отчетностью. Это, конечно, не могло еще более не осложнить финансового положения мануфактуры. Еще в 1793 г. бывали время от времени довольно крупные продажи [215], хотя, конечно, и этого не хватало, а в 1794 г. кризис еще обострился. В начале ноября 1794 г. рабочие подали петицию в комиссию земледелия и искусств, указывая на страшное вздорожание съестных припасов и невозможность для них оставаться на прежнем жалованьи [216]. 18 ноября комитет земледелия и искусств по докладу комиссии решил увеличить на одну треть жалованье рабочим против того, что они получали в 1790 г. Комиссия, в своем докладе, поддерживая просьбу рабочих, указывает, что, кроме нескольких chefs d'attelier (их было 6), получающих по 200 ливров в месяц, жалованье большинства — около 200 человек — всего 80 ливров в месяц, а некоторые получают и еще меньше, и минимальная плата доходит до 9 ливров 12 солей [217]. Уже тогда, если, с одной стороны, приказывалось уничтожать некоторые произведения, которые по своему сюжету оказывались несовместимыми с республиканскими убеждениями эпохи, зато, с другой стороны, во имя материальных интересов мануфактуры и рабочих делались попытки изъять из этого

строгого правила те произведения, которые предназначались для вывоза за границу [218]. Но, все равно, свирепствовавшая война с коалицией все более и более преграждала дорогу французскому экспорту, а финансовое положение Конвента в его последние месяцы и Директории за все ее существование было таково, что Севрской мануфактуре пришлось пережить не менее тяжелые времена, чем другим национальным мануфактурам.

4

В начале 1795 г. Шану был уволен от должности, и тогда же комитет земледелия и искусств издал (1 февраля 1795 г.) постановление, преобразовывавшее административную часть [219]. Во главе мануфактуры была поставлена коллегия из трех директоров, причем дела должны были решаться по большинству голосов,— необходимы были две подписи. Одним из директоров был назначен бывший инспектор Hettlinger, просидевший 11 месяцев в тюрьме и выпущенный после падения Робеспьера. Фактически он играл руководящую роль (с августа 1795 г. директоров было уже двое, ибо третий уволился [220], и комиссия земледелия и искусств из экономии вскоре стала избегать назначать заместителя). Уже ни словом не упоминается об участии рабочих в какой бы то ни было форме в администрации, да и вообще термидорианская реакция дает себя чувствовать хотя бы в том, что высшее начальство — комиссия земледелия и искусств и ее агенты — не находят других терминов, как «вандализм» [221], «каннибалы» [222], когда говорят о поведении и поступках рабочих и управителей мануфактуры в только что миновавший период.

Что касается рабочих, то все их помыслы направлены теперь исключительно на борьбу против опасности голодной смерти, и единственная их надежда — это жалость к ним со стороны правительства. В январе 1795 г., почти одновременно с тем, как была назначена новая дирекция, рабочие шлют прошение [223] и молят увеличить жалованье ввиду страшного вздорожания предметов первой необходимости. За то время, пишут они, которое прошло со времени последнего увеличения жалованья, предметы первой необходимости вздорожали более чем на половину своей цены. Они прямо провозглашают право рабочего на жизнь: *«...cependant il est de toute jistice que celui qui travaille subsiste»*. Они просили, чтобы им было повышено жалованье в таком размере, как лицам, состоящим на жалованье у государства (salariés par la République), но к ним это применено не было. Новая дирекция старалась оживить продажу товаров, и временами это как будто ей удавалось [224], но, конечно, сколько-нибудь заметного влияния на судьбу рабочих это не оказывало. Каждому рабочему было прибавлено по 5 ливров в день [225], но

припасы неуклонно повышались в цене, и совсем обесцененные ассигнации теряли кредит настолько, что все эти прибавки в ассигнациях ничуть не избавляли рабочих от голода. Дирекция во главе с Hettlinger'ом горячо ходатайствовала перед комиссией о скорейшей и более действительной помощи. Севрским рабочим, так же как и рабочим других национальных мануфактур, решили выдавать хлеб и мясо натурой, удерживая за это одну четверть жалованья. Отчаянная нищета рабочих, дошедшая до последних пределов, была несколько облегчена.

Едва только раздача съестных припасов позволила рабочим хоть немного отвлечься от вопроса о пище, как на сцену выступил вопрос о праздновании воскресенья. Дело в том, что по официальному республиканскому календарю праздничным днем был десятый день каждой декады (le decadi). Рабочие жаловались, что им не по силам работать 9 дней подряд без перерыва и просили введения вновь празднования воскресного дня вместо decadi. Через своих делегатов («комиссаров») они подали директорам заявление, в котором, жалуясь на долготу декады (сравнительно с прежней неделей), они стараются вместе с тем указать на то, что на основании признанного конституцией принципа свободы вероисповеданий можно требовать отдыха в воскресный день. Они заявляют вместе с тем, что *абсолютно все* рабочие «свободным голосованием» решили просить о воскресном дне [226]. Не получив от своей дирекции удовлетворения, рабочие решили оказать давление: многие перестали являться на работу по воскресеньям, а на decadi зато являлись, предлагая начать работу. Тут тоже обнаружилась черта, которую мы нашли и у рабочих других мануфактур: едва дело коснулось до борьбы за общие профессиональные интересы, едва нужно было на деле поддержать свое требование, так сейчас же оказалось, что хотя будто бы *абсолютно все* [227] просили директоров о воскресном дне, но из 225 рабочих всего 107 отсутствовали в воскресенье [228], остальные не решились поддержать свое домогательство. Дирекция, признавая свою некомпетентность, просила министерство разрешить вопрос. В сущности, и дирекция, и bureau des arts, которое должно было доложить вопрос министру, понимали, что рабочим в самом деле очень трудно. Работа была в нездоровой обстановке и атмосфере, требовала не только усидчивости и физического труда, но и неослабного внимания, а рабочий день для подобной специальной и исключительно трудной работы был непомерно долог: с 1 апреля по 1 октября рабочий день длился $10^1/_2$ часов (от $6^1/_2$ часов утра до 7 часов вечера с перерывом от 12 до 2 часов), в течение марта и октября — $8^1/_2$ часов (с $7^1/_2$ часов утра до 6 часов вечера с тем же перерывом), в течение января, февраля, ноября и декабря — $7^1/_2$ часов (от $8^1/_2$ часов утра до 6, с тем же перерывом) [229]. Конечно, было

вполне понятно, что при таких условиях отдыхать один раз за 10 дней мало. Понятно, почему рабочие присоединили еще и указание на религиозный мотив; рабочий труд был в состоянии такого глубочайшего бесправия, что рабочим казалось существенным сослаться на закон о свободе вероисповеданий,— все-таки это было ссылкой на положительное право. И bureau des arts, докладывающее в этом деле министру, отлично эту психологию рабочих понимает. «La liberté religieuse n'est peut être revendiquée que parce qu'elle est un droit posutif d'où le nouvel ordre qu'ils provoquent doit résulter comme d'une conséquence incontestable»,— читаем мы в докладе, поданном министру внутренних дел [230]. Истинный же мотив (le véritable motif) — это забота рабочих о своем здоровье.

Характернее всего следующее: рабочие, ссылаясь между прочим и на религиозные потребности некоторых из своей среды, вместе с тем, впадая в известное противоречие с этим пунктом прошения, указывали, что они не просят дать им возможность праздновать какие-либо еще церковные праздники, а только «седьмой день в неделе». Эта оговорка, конечно, должна была удостоверить чинов министерства внутренних дел в полной справедливости их предположения, что дело тут идет именно о желании рабочих оградить свое здоровье. Но тут-то и оказывается, что рабочие вполне целесообразно делали, желая хоть как-нибудь обосновать свое требование на почве положительного законодательства, которое их *как рабочих* не защищало никак, но *как гражданам* давало свободу совести; докладывающий дело чиновник, тот самый, который прекрасно понял «истинный мотив» петиции рабочих, желая дать делу благоприятный оборот, в своем *заключении* говорит *исключительно* о религиозной стороне вопроса и предлагает министру позволить севрским рабочим праздновать вместо decadi по воскресеньям во имя конституционного принципа свободы исповеданий [231]. Министр оставил дело без последствий. Но через несколько месяцев рабочие опять возбудили это дело. Между прочим, рабочие пояснили как-то, почему они до сих пор не жаловались на столь редкий отдых, как decadi, а теперь жалуются: прежде, т. е. в первые годы после введения республиканского календаря, им чаще приходилось оставлять работу,— нужно было ходить покупать провизию и ожидать у лавок поставщиков, бывали разные гражданские празднества и т. д., теперь же этого уже не было, а провизия со второй половины 1795 г. им раздавалась от казны. Это все и лишило их возможности хоть как-нибудь время от времени отрываться от работы. Конечно, весной и летом, при удлинении рабочего дня, положение должно было стать еще невыносимее. 30 апреля (1796 г.) рабочие отправили своих делегатов (комиссаров) от всех мастерских к дирекции с «общей и едино-

душной просьбой» ввести празднование воскресенья, указывая, что им трудно 9 дней работать с $6^1/_2$ часов утра до 7 часов вечера. Дирекция отказала. Тогда на другой день (соответствовавший по григорианскому календарю воскресенью) в мастерские явилось всего 20 человек из 220 рабочих, числившихся в это время [232]. Дирекция, докладывая об этом, просила решить дело, но резолюция от министерства последовала лаконичная: rien à répondre. Надолго дело было отложено. Только к концу 1797 г. при содействии самой дирекции рабочим удалось добиться разрешения, кроме празднования decadi, не ходить на работу после обеда в каждый пятый день декады (quintidi) [233].

Это единственное за всю вторую половину 90-х годов проявление некоторого стремления рабочих бороться за свои профессиональные интересы совпадает с эпохой, когда мануфактура как бы начала несколько оправляться. Между кризисом, пережитым ею в 1794—1795 гг., и тем, который ей суждено было пережить в 1798—1799 гг., время 1796 и начала 1797 гг. является *сравнительно* менее тяжелым. Официально было впоследствии признано, что в эту эпоху, «несмотря на неблагоприятные обстоятельства и абсолютный застой в торговле и особенно в торговле внешней, для которой предназначена часть произведений Севрской мануфактуры», прибыль почти покрывала расходы, не говоря уже об увеличении запаса готовых к продаже вещей [234]. Даже дирекция и министерство говорили в 1796 г. о «временах нужды» как о чем-то уже прошедшем и принимали обратно рабочих, которые в эти былые времена ушли из заведения [235]. Кроме частных покупок [236], кассу мануфактуры могла бы пополнить выручка от покупок правительства, если бы правительство сколько-нибудь аккуратно платило. Ряд документов убеждает нас, что Директория и министерство иностранных дел делали в эти и следующие годы много богатейших подарков иностранным посланникам именно в виде изделий Севрской мануфактуры; кроме того, для украшения своих дворцов Директория и иногда министры также получали оттуда же очень дорогие вещи, но хотя установлено было, что правительство должно платить национальным мануфактурам за те вещи, которые оно от них получало, на деле оно почти ничего не платило. Министр внутренних дел старался убедить своих коллег платить мануфактуре, но успеха не имел. «Это заведение,— писал он, например, министру иностранных дел,— которое в менее трудные времена не только удовлетворяет своим потребностям, но еще и приносит прибыль, находится в самой большой нужде вследствие неуплаты сумм, которые ей причитаются. Уже около четырех месяцев рабочие и служащие ничего не получали» [237] и т. д. Поэтому министр внутренних дел просил министра иностранных дел уплатить долг мануфактуре. Талейран ответил,

что нет денег, и обещал уплатить постепенно [238], но следов исполнения этого обещания нам открыть среди документов не удалось. В 1796, 1797 и следующих годах в документах [239] постоянно встречаются указания на выдачу подарков представителям иностранных правительств, а иногда и для Barras'а [240], любившего роскошь и пользовавшегося дискреционным правом Директории распоряжаться произведениями национальных мануфактур.

Официально было установлено, что *если бы не застой во внешней торговле и если бы не опаздывание правительства в уплате за требуемые от мануфактуры произведения,* то правительство могло бы даже не давать субсидии Севрской мануфактуре: она держалась бы своими средствами в это время [241]. В 1796 г. Директория для поддержки трех национальных мануфактур (Гобеленов, Savonnerie и Севрской) ассигновала 321 300 франков, причем на Гобелены, где в это время было 105 рабочих, пошло $94^1/_2$ тысячи, на Savonnerie, где было 22 рабочих,— 19 800, и на Севр, где было 230 рабочих,— 207 тысяч [242]; в распоряжении министра внутренних дел в 1797 г. числилось еще 100 тысяч франков для Севрской мануфактуры, но потрачено в этом году из них было всего 34 212 франков, ибо прибыли от продажи хватило на остальные издержки [243]. Но, несмотря на это сравнительное ослабление кризиса, положение рабочих все-таки было неприглядно. 23 февраля 1797 г. рабочие предъявили Директории прошение, в котором просили заплатить им задержанное жалованье и выражали надежду на любовь членов Директории к справедливости [244]. Спустя несколько месяцев часть рабочих просила прибавки, но министерство отказало, поручив вместе с тем в письме к администрации мануфактуры уверить петиционеров в благосклонном к ним отношении правительства и указать в то же время, что «состояние кассы мануфактуры и истощение казначейства» не позволяют удовлетворить их просьбу. Быть может, что ассигнованные Директорией еще в 1796 г. деньги, из которых на 1797 год, как сказано, числилось 100 тысяч франков, на самом деле отсутствовали, о чем свидетельствует прямая ссылка на «pénurie du trésor» [245]; но быть может, делу помешал и отрицательный отзыв администрации мануфактуры, запрошенной по этому поводу. Такой же неудачей окончилось и ходатайство рабочих об уменьшении на полчаса рабочего дня [246].

5

Каково было в эти последние годы революционного периода настроение рабочих Севрской мануфактуры? Прежде всего следует заметить, что после периода 1792—1794 гг. севрские рабочие уже не принимают сколько-нибудь заметного участия

в местных общественных делах: непосредственная, гнетущая забота о куске хлеба первенствует. Что касается общеполитических интересов, то они ничуть, по-видимому, не оживлялись уже и не проявлялись. Министр внутренних дел как-то в сентябре 1797 г. уведомил дирекцию, что до сведения правительства дошло, будто бы некоторые индивидуумы на мануфактуре проявляют «преступную индифферентность» к обычаям, напоминающим о существовании республики [247]. Дирекция с жаром отрицала это и всячески уверяла министерство в преданности существующему порядку всех служащих на мануфактуре. Едва ли, однако, дирекция могла бы привести в защиту своего мнения какой-либо сколько-нибудь характерный факт, если, конечно, не считать таковым казенную присягу в «ненависти к королевской власти и к анархии, и в верности и привязанности к республике и конституции III года» — присягу, которую на основании закона 24 nivôse V года и циркулярного распоряжения правительства должны были принести севрские рабочие, подобно всем другим служащим и получающим жалованье от казны на всем протяжении республики [248]. Тут кстати будет напомнить, что никому никогда севрские рабочие не писали таких почтительных и льстивых прошений, как именно Бонапарту в первые же месяцы после того, как он уничтожил эту самую конституцию III года [249]. Интересы профессиональные сосредоточивались, конечно, больше всего на вопросе о прибавке к жалованью вследствие ассигнационного кризиса, на вопросе о раздаче провизии натурой, наконец на стремлении, как мы видели, увеличить время отдыха. Во всех этих обстоятельствах в интересах рабочих было сохранять добрые отношения с администрацией мануфактуры, потому что без благоприятного отзыва директоров их ходатайства не имели успеха в министерстве. Даже когда, как это было с вопросом о воскресном отдыхе, рабочие прибегали к известного рода демонстрации, то и тогда это делалось, очевидно, не столько для давления на своих директоров, сколько для напоминания министерству о своей просьбе; не забудем, что дирекция мануфактуры с самого начала была за положительное разрешение вопроса и только указывала на свою некомпетентность. Отдельные конфликты, судя по документам, происходили крайне редко. За эти последние годы периода, который мы рассматриваем, нам удалось найти только одну бумагу [250], в которой дирекция просит министерство уволить одного рабочего за дерзкое поведение. «Опыт достаточно показал,— пишет дирекция,— что мастерская не может существовать без субординации, что безнаказанность делает порок смелым и что кстати данный пример удерживает в исполнении долга даже тех, которые пытались бы от него отклониться. Так как увольнение рабочего могло происхо-

дить только по приказу из министерства, то отсутствие других аналогичных документов в переписке, сохранившейся как в национальных архивах, так и в архиве Севрской мануфактуры, уже само по себе служит доказательством крайней редкости сколько-нибудь серьезных конфликтов, не говоря уже о том, что вообще министерство уведомлялось о ничтожнейших случаях в жизни мануфактуры. Но кое-какие шероховатости все же случались, и мы должны их отметить; положение было таково, что подвергало действительно жестоким испытаниям терпение рабочих.

Еще в 1797 г. при выдаче провизии натурой положение было не столь ужасно, как позже, хотя рабочие уже тогда жаловались как на задержку жалованья, так и на его недостаточность. История одной петиции 1797 г. стóит, чтобы о ней упомянуть. Летом 1797 г. частью рабочих была подана петиция в Совет пятисот с просьбой об увеличении содержания. Но дирекция поспешила предупредить министерство внутренних дел, что жалобы, выраженные рабочими, преувеличены, ибо они еще получают хлеб, мясо, денежное вспомоществование (кроме платы; рабочие об этом не говорят ничего) и иногда жены некоторых из них получают работу, и все это если не устраняет нужду, то облегчает ее [251]. Уже это письмо предрешало участь петиции рабочих, ибо без одобрения и подтверждения фактов со стороны дирекции министерство в период Директории никакого хода петициям рабочих не давало. Но не довольствуясь этим, дирекция отправила в министерство еще и другую весьма характерную бумагу, которая заключала в себе критические замечания против этой петиции со стороны рабочих отделения живописи, отказавшихся подписать ее. Мы читаем в этих замечаниях [252], что отказавшиеся считают подачу этой петиции «неполитичной» и опасной (impolitique et dangereuse) в настоящих обстоятельствах. Закон, пишут они, позволяет обращаться в Совет пятисот лишь с индивидуальными петициями, а «та петиция, которую вы представляете, начинается словами *les artistes et ouvriers etc.*, что предполагает всех артистов и рабочих, хотя не все подписали ее». Далее: в петиции просят, между прочим, не задерживать заработной платы; неловко (maladroit) тут же просить и об увеличении платы. Несогласно также с истиной, что жалованье теперь низведено до размеров всего 3/4 сравнительно с тем, которое рабочие получали в 1790 г., ибо ведь выдаются зато хлеб и мясо, и эта выдача «почти» пополняет удерживаемую 1/4 часть заработной платы. Наконец, критики делают товарищам еще один характерный упрек: их стиль, говорят критики, слишком напоминает «самые бурные дни республики», ибо в петиции встречаются выражения: «великая нация», «свободная», «истинные республиканцы» [253].

Этот упрек необычайно характерен для стремления многих рабочих не только Севрской, но и других национальных мануфактур даже в своей фразеологии возможно ближе приспособляться к существующему в данный момент официальному слогу: Директория не любила якобинских реминисценций, и вот рабочие дают соответствующее указание своим товарищам...

Но если в 1797 г. еще дирекция могла смотреть сравнительно оптимистически на положение вещей и могла возбудить раскол среди рабочих (ибо довольно ясно, что критические замечания не подписавшихся под петицией рабочих, столь предупредительно отправленные дирекцией в министерство, и составлены едва ли не по инициативе дирекции), то вскоре повторные задержки в присылке жалованья довели рабочих до самого тяжелого положения. Уже в августе 1797 г. им за 4 месяца не было уплачено, и они продавали свою одежду и говорили, что их гонят с квартир[254], а в 1798 г. положение стало еще хуже и задержки еще чувствительнее. Следует заметить, что если на Гобеленах и Savonnerie уже в 1797 г. прекратилась раздача провизии, то на Севрской мануфактуре она производилась до 11 августа 1798 г.[255]. Так как жалованье теперь, с начала 1797 г., уже выдавалось в звонкой монете[256] и так как ввиду раздачи провизии натурой из этого жалованья удерживалась $^1/_4$ часть, то рабочие сами не прочь были в конце лета просить о прекращении выдачи натурой взамен за прибавку $^1/_4$ части к получаемому ими жалованью. Их соблазняло при этом то обстоятельство, что в 1798 г. оказался хороший урожай и продукты были в изобилии[257], а также надо принять в соображение и то обстоятельство, что хлеб, даваемый им от казны, был часто очень плохого качества: даже животные его нехотя ели[258]. Во всяком случае ближайшее будущее показало, что это временное увлечение звонкой монетой было неосторожно и что рабочие были предусмотрительнее, когда еще весной 1798 г. не хотели этой замены[259]. Рабочие добились того, чего хотели, но если в период ассигнаций беда была в том, что покупательная сила этих бумажных денег была совершенно ничтожна, то в период звонкой монеты правительство целыми месяцами не платило служащим жалованья, прежде всего вследствие хронического истощения казны, но при этом нужно сказать, что правительство едва ли не ставило рабочих национальных мануфактур на самом последнем месте между всеми «salariés de l'Etat», которым вообще признавало нужным хоть постепенно выплачивать жалованье.

Страшно тяжелые времена настали для рабочих. Осенью 1798 г. жалуются они, что им 2 месяца уже не выдают жалованья, и хотя год урожайный, все равно они не могут достать нужных продуктов, кредит становится труден, одежда продана

и т. д. Со своей стороны, и дирекция уже подтверждает [260], что рабочие действительно находятся в крайнем затруднении, что нечем уплачивать им жалованье, что ждать более нет возможности. Министерство тем не менее ничего не прислало, ни в виде обычной субсидии на покрытие расходов, ни в виде уплаты за правительственные закупки. Рабочие стали приходить в отчаяние, и часть их подала в резком тоне составленную петицию, правда, не в министерство, а только своей дирекции, хотя дирекция была тут вполне бессильна. Бумага была переслана в министерство, и министр внутренних дел (François de Neufchâteau) прислал в ответ весьма строгий выговор [261]. Он писал, что эта петиция обличает в авторах «проекты, противные доброму порядку и гармонии», и указывал, что хотя правительство обходится с Севрским заведением лучше, чем с другими мануфактурами, но именно севрские рабочие всегда первые жалуются. Он пишет, что не винит всех рабочих, но лишь некоторых, подписи которых встречает под петициями уже несколько раз. Если есть недовольные, они могут уйти, но тот, кто захочет «какими бы то ни было средствами» распространять свое недовольство среди товарищей и побуждать также и их к уходу, подвергнется законной ответственности. «Каждый волен распоряжаться своим талантом и своею личностью, но всякое покушение против общественного порядка должно быть строго подавлено». Этот тон в отношении ко всякому признаку раздражения среди рабочих характерен для правительства эпохи Директории.

Кроме резкого прошения (текст которого в бумагах не сохранился), имело место в эту бедственную зиму 1798 г. еще одно проявление отчаяния рабочих. 27 ноября (1798 г.) рабочие одной из мастерских Севрской мануфактуры с бранью, криком, упреками обратились к одному из двух директоров (Salmon), требуя уплаты жалованья. Директор, который сам писал в министерство о совершенно отчаянном положении рабочих, плакал перед ними, но, конечно, ничего поделать не мог. Об этом инциденте в министерство донес посторонний мануфактуре правительственный чиновник [262], которого больше всего заинтересовала тут «слабость» директора. Эту вспышку удалось замять и оставить без последствий, и, по-видимому, сама дирекция мануфактуры желала так поступить.

6

Голод свирепствовал на мануфактуре все больше и больше, месяц шел за месяцем, а правительство почти ничего не присылало. Дирекция имела в начале 1799 г. в кассе ничтожную сумму в 1200 франков, причем эти деньги необходимы были на

самые неотложные расходы (вроде закупки материалов, непосредственно необходимых для продолжения работ), и из них-то пришлось ассигновать 600 франков в помощь рабочим [263], уже 5 месяцев не получавшим жалованья. Конечно, эта сумма была каплей в море; без присылки денег из Парижа все равно существовать нельзя было. В марте 1799 г. рабочие обратились к самой Директории Французской республики с мольбой об уплате должного им за 5 месяцев жалованья [264]. Они пишут, что нельзя изобразить их нищету. Нет одежды, кредит истощен, если Директория сейчас же не поможет, то они, рабочие, погибнут с женами и детьми. Одновременно рабочие послали петицию такого же содержания и министру внутренних дел. Но если им и присылали время от времени кое-что, то все равно задержки постоянно вновь повторялись. Спустя несколько недель (20 апреля 1799 г.) администрация мануфактуры в таких же терминах просит министра помочь несчастным рабочим: «У нас не хватает выражений, чтобы описать вам нищету, отчаяние, безутешное положение всех рабочих, бо́льшая часть которых абсолютно нуждается в средствах существования, в хлебе... сжальтесь, гражданин министр, над всеми нашими бедами и страданиями, мы вас умоляем». По словам дирекции, заведение близко к полной гибели, «и, конечно, мануфактура никогда не переживала более тяжелого кризиса» [265]. Так как и это напоминание не имело успеха, то в начале июня (1799 г.) рабочие снова обращаются к министру внутренних дел, умоляя помочь им. Они напоминают, что им уже 6 месяцев ничего не платят, они совершенно не знают, где им найти все нужное для жизни; нужда гнетет их самая крайняя, они доведены до необходимости просить милостыню [266]; они говорят, что откладывать присылку помощи нельзя, если не хотят, чтобы все погибли: на министра (François de Neufchâteau), «друга искусств и несчастных артистов», они возлагают все свои надежды,— факты, приведенные в этом прошении, официально подтверждает и bureau des arts, сделавшее соответственный доклад министру [267]. Бюро, признавая отчаянное положение рабочих, бо́льшая часть которых —семейные люди, напоминает тем не менее, что скудость фондов, предоставленных в распоряжение министра, не позволяла ему до сих пор существенно облегчить нищету рабочих. Бюро нерешительно предлагает, нельзя ли основать для более успешной продажи севрских произведений специальный магазин, хотя уже было депо в это время, которое ничего не продавало. Как бы чувствуя всю безнадежность своего предложения, бюро утешается тем, что недостаток сбыта «общий всем мануфактурам, выделывающим фарфор, и это положение вещей, вероятно, изменится только в ту эпоху, когда мир, восстановив коммерческие сношения, даст место сделкам

с заграницей». Видя, что министерство ровно ничего не сделало для них, рабочие обратились с новой петицией [268] в Совет пятисот, указывая снова и снова на ужасающее свое положение, на то, что они с семьями умирают от истощения, что уже 7 месяцев им ничего не платят; Совет пятисот предложил Директории уплатить рабочим из остатков прежде ассигнованной суммы в 100 тысяч франков. Бросаясь во все стороны, рабочие спустя месяц обращаются к Директории [269] республики, посылают к ней депутацию, прося спасти их от голода. Министру докладывали даже, что «в мастерских царит глухое брожение» [270], но и это не заставило министерство усилить энергию в поисках за деньгами и не побудило ни Директорию, ни министра исполнить предложение Совета пятисот, так и оставшееся мертвой буквой.

Вместе с тем Директория, доживавшая свои последние дни, хотела по возможности помочь рабочим не только национальных, но и частных мануфактур, особенно ввиду предстоящего наступления холодного времени года; соображения при этом были, разумеется, чисто полицейские [271]; заботились об обеспечении спокойствия. Действительно, торгово-промышленный кризис летом и осенью 1799 г. был всеобщим. Министр полиции даже склонен был приписывать появление массы безработных не только экономическим причинам, но и проискам врагов республики и, признавая ужасающее положение рабочего класса, изыскивал наиболее целесообразный способ, как распределить скудные средства, отпущенные Директорией на поддержание промышленности [272]. Общий застой в делах, прекращение торговли с заграницей, полнейший ее упадок внутри страны, затруднения в денежном обращении — таковы были признанные современниками явления, характерные для экономической жизни страны осенью 1799 г.[273]. Что касается именно национальных мануфактур, то Директория в принципе была за возможную поддержку их между прочим и потому, что они в ее глазах являлись «прибежищем для национальной промышленности в эти трудные времена, которые не позволяют ей развиваться с успехом в частных мануфактурах», и содержать их представлялось нужным даже с жертвами, ибо они «дают рабочему классу средства работы и существования» [274]. Но, признавая все это в теории, Директория была не в состоянии добыть для национальных мануфактур нужные средства, и безвыходное положение вещей продолжалось. Когда министр внутренних дел посетил Севрскую мануфактуру, рабочая делегация из представителей всех мастерских подала ему новую петицию, где говорят об утешительном для них значении его визита и во имя присущих министру внутренних дел гуманности и справедливости просят его помочь их беде [275]. Они ука-

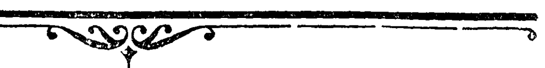
зывали при этом на «наилучшие обещания», которые им делались, и, несмотря на которые, они даже не знают, когда им уплатят и сколько они получат. Министр ровно ничего не сделал для них и на этот раз, но изъявил дирекции полное неудовольствие, усмотрев признаки какой-то будто бы существующей на мануфактуре организации среди рабочих, вследствие того что петиция была ему подана выбранной специально для этой цели делегацией. «Я должен был быть удивлен,— писал он дирекции [276],— увидев под их петицией небольшое число подписавших, которые приняли название *комиссии, выбранной мануфактурой* (подчеркнуто в подлинном тексте — *Е. Т.*) . Не может и не должно существовать в заведении, хорошо управляемом, другой власти, кроме администрации, им управляющей, и индивидуумы, которые там работают, не могут образовывать какую бы то ни было корпорацию или комиссию». Министр *прощает* нарушение этого принципа ввиду тяжелых обстоятельств, но выражает вместе с тем уверенность, что дирекция обнаружит впредь твердость в соблюдении правил; он надеется также, что севрские рабочие не впадут в *рецидив* [277] и будут впредь исключительно заниматься своей работой, а заботу о своих интересах возложат на справедливость правительства и усердие дирекции. Министр приказывает, чтобы прошения направлялись от рабочих через начальников мастерских к дирекции, а от дирекции уже к нему, министру. Кроме этого выговора, мануфактура из министерства не получила ничего.

Спустя несколько дней после этого характерного письма министра внутренних дел произошел государственный переворот 18 брюмера, и Директория перестала существовать. Рабочие послали слезное прошение первому консулу Бонапарту, прося его распорядиться об уплате им задержанного жалованья [278]; они выражали надежду, что он осушит их слезы и вернет их к жизни. Прошение осталось без последствий, как и то, которое они подали новому министру внутренних дел Люсьену Бонапарту [279]. Они напоминали министру, что им не уплачено за 11 месяцев и что они в отчаянии. Они называют новых правителей «pères de la patrie, un gouvernement régénérateur» и т. д., не скупятся на изъявления преданности новому властелину Франции, но впереди их ожидал новый и очень жестокий удар. Новое правительство решилось на то, на что не решалось ни правительство Людовика XVI, ни Директория, и чего не хотел сделать Конвент: оно усмотрело необходимость с точки зрения экономии произвести массовое увольнение рабочих Севрской мануфактуры. 29 апреля 1800 г. начальник Bureau des arts — Costaz представил министру доклад, в котором излагал намеченные реформы [280]. Он предлагал уволить 156 рабочих (из 216) и назначить нового директора;

к этому сводились главные пункты реформы, касавшиеся рабочих. Из уволенных прослужившие 20 лет на мануфактуре и достигшие шестидесятилетнего возраста должны были получать пенсию от 200 до 500 ливров в год и квартиру при заведении (если раньше ею пользовались). Министр внутренних дел согласился произвести предложенную реформу и сделал это «с сожалением», побуждаемый необходимостью, как он известил о том дирекцию [281]. Пенсией воспользовалось всего 27 человек, остальные остались без куска хлеба. Изгнанные обратились с прошением к министру внутренних дел, где они говорят, что и до сих пор ели хлеб, политый слезами, а теперь у них отбирают его. Они смотрят на себя как на осужденных на смерть и просят, чтобы им хоть заплатили за 14 месяцев жалованье, которое они все время не получали [282], и говорят, что если им не уплатят, то остается только ждать смерти. Единственным протестом с их стороны является некоторая горькая ирония по адресу министра [283]. Министр на эти просьбы отвечал только, что изыскиваются средства и что впредь «никакой петиции, никакого рода просьбы или предложения» он не примет, иначе как непосредственно через дирекцию.

Еще в июне, когда уже новый директор (Brongniart) вступил в отправление своих обязанностей, рабочим не было уплачено за старые месяцы, и понадобилось несколько лет, чтобы привести финансы мануфактуры в более или менее устойчивое положение и расплатиться с долгами.

Со времени реформы, произведенной Люсьеном Бонапартом, среди документов, относящихся к Севрской мануфактуре, исчезают бумаги, которые могли бы пролить отчетливый свет на состояние рабочих. При Консульстве и Империи вообще рабочие национальных мануфактур уже почти не пишут прошений правительству [284], как они это делали в эпоху революции: местная администрация мануфактуры, по требованию Люсьена Бонапарта, должна была стать для севрских рабочих единственным органом, через который они могли сноситься с правительством; вскоре она получила вместе с тем такие широкие права, что, пожалуй, рабочим и не могло представиться нужды обращаться к министру. Директор Brongniart через несколько месяцев после своего водворения получил право своей властью увольнять рабочих, определять размер их жалованья и организовать вообще, как найдет наилучшим, работы в мастерских [285]. Все это, конечно, не могло не способствовать сокращению и даже в конце концов полному уничтожению всяких письменных сношений между рабочими и центральной властью.



Глава IV

РАБОЧИЕ МАНУФАКТУРЫ БОВЕ

1

В августе 1664 г. Людовик XIV дал по представлению Кольбера предпринимателю Hinard'у ряд привилегий на открытие «королевской мануфактуры» тканых шпалер в городе Beauvais (в Пикардии) [286]; истинным ее основателем таким образом считался Кольбер. Предпринимателю (Hinard'у) предоставлялись при этом многие льготы и субсидии, рабочие избавлялись от большинства податей и повинностей [287], казенные здания предоставлялись безвозмездно для помещения этого заведения. Привилегия давалась предпринимателям (а в случае неуспеха отнималась) королевскими lettres patentes. Предприниматель обязан был иметь по меньшей мере 100 рабочих в первый год своей привилегии и, постепенно увеличивая это число, довести численность рабочих через 6 лет до 600 человек. Если при этом предприниматель выписывал рабочих из-за границы, то ему уплачивалось из королевской казны по 20 ливров за каждого. Кроме того, на мануфактуре должно было находиться по крайней мере 50 apprentifs, за содержание и обучение которых король платил предпринимателю по 30 ливров в год. Проработав 6 лет в качестве apprentif'a и затем 2 года в качестве compagnon'a, человек должен быть принят без всяких обычных издержек в цех maîtres-tapissiers города Бове. Иностранцы же, 8 лет проработавшие на мануфактуре, натурализовались также без всяких издержек и хлопот со своей стороны. Целый ряд и других льгот должен был облегчить предпринимателю его дело. Несмотря на это, мануфактура пережила и в XVII и в XVIII вв. трудные моменты, и требование относительно количества рабочих никогда, повидимому, и не было выполнено. С 1780 г. мануфактурой управ-

лял в качестве предпринимателя Menou, дела которого вначале шли хорошо. Он пользовался льготами, пожалованными мануфактуре со времени ее основания, а также денежной поддержкой, которая с 1737 г. производилась на счет казны под видом обязательной для королевского двора ежегодной покупки произведений мануфактуры в Бове по крайней мере на 20 тысяч ливров. Сверх того, предприниматель получал в виде субсидии 11 100 ливров в год. На предпринимателя ложились только расходы по покупке сырых материалов и расплата с рабочими: ежегодная поставка двору, субсидия и продажа частным лицам покрывали эти издержки. Революция внесла расстройство в дела предпринимателя, и он понизил расценку работы (в Бове работали поседельно). Дела его пошатнулись не только вследствие уменьшения спроса на предметы роскоши, но потому, что двор, находясь в затруднительных обстоятельствах, годами с 1787 г. задерживал уплату ежегодных субсидий. Рабочие, возмутившиеся понижением платы, приписали это одному заведующему работами мастеру, и «образовалось своего рода восстание»[288], вследствие которого мастер должен был бежать, и вернуть его уже побоялись, даже когда все успокоились. Рабочие подали петицию в Национальное собрание[289], прося разрешения вопроса, но, судя по тому, что лишь некоторые подписали его, особенно прочное единство действий среди рабочих даже и в этот момент не всегда было налицо, хотя в общем при этом столкновении (осенью 1790 г.) рабочие в Бове проявляли несомненную энергию.

Рабочие в этом прошении писали, что, «истощив все средства примирения», они прибегают теперь к собранию, надеясь, что «директор, или предприниматель» (т. е. Мену) будет принужден покинуть «опасную систему», которой он ныне придерживается. «Опасная система» заключается в том, что Мену ввел с 1786 г. на мануфактуру новых, посторонних рабочих, у которых было «peu de talens», вследствие чего не только эти новые, но и старые рабочие стали получать меньшую поседельную плату, чем прежде. После этого Мену еще понизил расценку. Они и просят обязать Мену уплачивать цену, которую он платил в 1780 г., а в одном месте петиции проводится мысль, что необходимо пойти дальше и повысить плату соразмерно с вздорожанием предметов первой необходимости. Не только платой были недовольны рабочие, но и способом измерения сделанной работы, всецело для них невыгодным. Мену удовлетворил в конце концов «часть»[290] требований рабочих; к сожалению, документы не говорят определительнее, в чем именно заключалось это удовлетворение. Познакомившись с сообщенной ему петицией рабочих, поданной ими в Национальное собрание, Мену решил отомстить тем из рабочих, которые это

прошение подписали, и вскоре они это почувствовали. Сначала было уволено трое старейших рабочих, затем еще 12 человек[291], и на очереди были новые жертвы. Рабочие стали выражать убеждение, что Мену сознательно ведет дело к закрытию мануфактуры, и «ими овладело отчаяние». Их гнев обрушился, за отсутствием самого Мену, на одного из заведующих мастерскими — «инспекторов», или мастеров[292], и угрозами и бранью они принудили его бежать. Главный из этих заведующих, Camousse, тотчас же уведомил об этих происшествиях муниципалитет города Beauvais. Сейчас же на место действия прибыли комиссары, призвали рабочих к порядку и «живо упрекали их в неправильности поведения»[293], после чего рабочие сообщили им свои жалобы и пообещали «вернуться к порядку и повиновению». Муниципалитет тотчас же велел Camousse'у приостановить исполнение строгих приказов (полученных им от Мену) и вообще вмешался в дело, полагая, что высший надзор за королевской мануфактурой, прежде принадлежавший интенданту, теперь перешел к компетенции «административных собраний», в данном случае «administrateurs du district de Beauvais». Но Мену не соглашался подчиниться этому местному собранию, вмешательство которого клонилось в пользу рабочих. Он написал им письмо, в котором заявлял, что имеет полное право расстаться с теми рабочими, с какими желает расстаться, как и рабочий имеет право уйти, когда ему угодно. Вместе с тем он указывает, что его удивляет «безнаказанность» рабочих[294], которые прогнали «единственного» инспектора, отстаивавшего предпринимательские интересы. Его удивляет также, что этот инспектор все еще не может вернуться в город. Дело еще в начале октября перешло в комитет земледелия и торговли, который в этой распре стал не на сторону рабочих, а на сторону предпринимателя. Комитет ответил[295] именно муниципалитету Beauvais, что вопрос о заработной плате не входит в их компетенцию, и что размеры ее устанавливаются только «естественными законами»; что предприниматель настолько же нуждается в рабочих, насколько рабочие — в работе, и только их взаимные интересы должны определять заработную плату; что если муниципалитеты начнут вмешиваться в этот «естественный порядок», то все фабрики закроются; что вмешательство муниципальных чинов Beauvais было неосторожно и т. д.

Рабочие весь конец года были неспокойны; очевидно, и частичная уступка, о которой неопределенно говорят наши документы, оказалась далеко не достаточной, и особенно репрессии против некоторых участников петиции препятствовали умиротворению. Продолжаются, по-видимому, и жалобы в муниципалитет. Характерно, что администрация мануфактуры отме-

чает не только самый факт беспорядков, но считает нужным обратить внимание даже на то, что рабочие сообща жалуются [296]. Рабочие требовали по-прежнему, кроме повышения заработной платы, еще возвращения некоторых уволенных товарищей, протестовали также против приема иностранных рабочих и против выделки товара низшего сорта. Мену оказался не столь уступчивым, как правительство, которое, как мы видели, должно было в эту эпоху считаться с волнениями на других королевских мануфактурах. Тут он поставил вопрос о своем отказе от привилегии и этим не мог, конечно, не встревожить рабочих, ибо время было не такое, чтобы легко можно было найти подходящего преемника: призрак остановки работ, вероятно, более всего мог действовать на рабочих. Так вопрос о повышении платы и не был разрешен в желательном для рабочих смысле. Как мы уже отчасти видели, Мену раздражался вмешательством третьих лиц в его дело с рабочими, именно мэра и муниципальных чинов города Бове, которые желали во имя скорейшего восстановления порядка склонить его к уступкам и вообще хотели играть посредническую роль. Весьма интересно заметить, что в общем сами-то представители местного самоуправления не очень были уверены в своем праве вмешиваться и разделяли принципиально в этом отношении взгляды самого предпринимателя.

В своем заступничестве за рабочих муниципалитет Beauvais никакой поддержки от других органов местного самоуправления не получил. Так, Директория департамента de l'Oise заслушала, одобрила и от своего имени в виде изложения своего мнения отправила министру внутренних дел Delessart'у любопытную бумагу, которая показывает, до какой степени взгляды комитета земледелия и торговли на отношения между рабочими и работодателем являлись тогда господствующими. Дело было уже в июле 1791 г.[297], когда на мануфактуре царил внешний порядок, но рабочие не чувствовали себя удовлетворенными и все еще жаловались. Директория находит, что жалоба относительно слишком низкой расценки плохо обоснована («mal fondée»). По этому поводу Директория вполне соглашается с мнением комитета земледелия и торговли (о котором мы только что говорили): «Относительно этого пункта (размеров платы — *Е. Т.*) нельзя следовать никакому закону, ибо нужно заметить, что m-r Menou не есть директор мануфактуры, которую поддерживает и содержит казна; правда, он получает поощрения из казны, но он не есть ее агент...». «Необходимость для предпринимателя иметь рабочих, а для рабочих иметь занятие составляет здесь весь закон» [298]. Вот почему и Директория вслед за комитетом, на суждения которого прямо ссылается, не одобряет попыток муниципалитета города Бове. Эта свобода предприни-

мателя есть принцип, от которого Директория торжественно обещает не уклоняться. «Г. Menou должен иметь в этом отношении свободу, которой пользуется всякий фабрикант; фабриканты наших шерстяных тканей платят, смотря по времени и обстоятельствам, то 5, то 10 ливров, и никогда ткач не имел права приносить на них жалобу суду или администрации за понижение цены ткацкой работы на один или несколько су. Все доводы, приводимые рабочими мануфактуры по поводу разницы в ценах на припасы, значительно увеличивающихся как раз в то время, как г. Menou уменьшал цены за работу, не могут ослабить верности и даже необходимости принципа, на который ссылается комитет. Даже сам рабочий в высшей степени заинтересован в том, чтобы поддержать этот принцип, иначе он мог бы стать рабом». Что означают последние слова, так и остается совершенно невыясненным. Неосновательно, по мнению Директории департамента Уазы, также и другое домогательство рабочих — о возвращении уволенных товарищей. Увольнение рабочих «не может не быть в свободном распоряжении предпринимателя. Без этого он не хозяин в своем предприятии, и рабочие ему диктовали бы закон. Его разорение скоро совершилось бы. Если рабочий волен покидать своего хозяина, то и хозяин не может быть более связан относительно него». Точно так же не имеют никакого права рабочие настаивать на удалении того или иного мастера, угодно предпринимателю (но при этом Директория, сочувствуя Menou в потере мастера Ланглуа, изгнанного рабочими, не скрывает, что опасно было бы в данный момент его призвать обратно). Жалобу рабочих на невыгодный для них способ измерения выработанных ими тканей даже Директория признает основательной, но совершенно отвергает как противоречащую правительственным распоряжениям жалобу рабочих на прием иностранцев. Об этом пункте нужно сказать несколько слов.

Не только одни рабочие королевской мануфактуры в Бове протестовали против приема иностранцев в этом 1790 г. Во времена процветания мануфактуры на ней бывало до 130 рабочих [299], а к началу 1793 г. из них осталось всего 50, и это число постоянно уменьшалось. Несомненно, уже в 1790 г. становилось ясно, что многие рабочие должны будут расстаться с мануфактурой и вопрос об иностранцах должен был именно на мануфактуре Бове приобрести особенно острый характер, так как на других национальных мануфактурах, где увольнение рабочих зависело более непосредственно от правительства и где правительство боялось осложнений, число рабочих вплоть до падения монархии не сокращалось сколько-нибудь заметно. Но предприниматель Мену, лишившийся фактически уже в 1787 г. поддержки из казны, а также потерпевший убытки под влиянием

сильного сокращения торговых операций, имел возможность увольнять рабочих, так как угроза отказаться от привилегии была могущественным орудием в его руках: когда 24 ноября 1790 г., во время беспорядков, он подал в отставку, то министр внутренних дел переслал это прошение в департамент Уазы, и когда ни один соискатель не явился, то муниципалитет Бове и представители департаментского самоуправления *просили* Мену остаться, пока не решится участь мануфактуры, и обещали даже ему возмещение убытков. Правда, в 1790 г. на мануфактуре все еще было более 100 человек, и, собственно, только с 1791 г. кризис обострился серьезным образом, но не удивительно, что уже в 1790 г. рабочим в Бове приходилось считаться с возможностью быть уволенными вследствие уменьшения работы. Вот почему удаление иностранцев могло казаться рабочим чуть ли не главным средством спастись от увольнения. Любопытно упомянуть по этому поводу, что в том же 1790 г. рабочие частных мануфактур раскрашенных холстов в Бове напечатали и послали в Национальное собрание прошение, также направленное против иностранцев[300]. Они жалуются, что иностранцы наводнили их заведения и уменьшили таким образом средства к существованию французских рабочих. Они понизили заработную плату, и французские рабочие должны были этому подчиниться. «Несомненно, nos seigneurs, всякий предприниматель волен выбирать для успеха своего предприятия того, кого захочет; но разве не в интересах даже самого предприятия сначала, скорее, нанимать сотрудников-соотечественников, нежели искать за границей людей, которых ничто не может привязать и которые скорее походят на трутней, похищающих мед, чем на пчел, которые его приготовляют?» Они жалуются на то, что в Англии, Испании, Германии, Швейцарии рабочие гораздо лучше защищены от конкуренции иностранцев, чем во Франции. Рабочие утешаются тем, что иностранцы-нищие высылаются из Франции, и надеются, что то же самое будет сделано и с иностранными рабочими. Таким образом, рабочие королевской мануфактуры в Бове далеко не были одиноки в своей ксенофобии. По этому пункту они также ничего не добились, тем более что со времени основания мануфактуры при Кольбере прием иностранцев являлся одной из традиций заведения. Наконец, чтобы уже покончить с претензиями, выставленными рабочими во время беспорядков конца 1790 г., они, как сказано, протестовали против введения на мануфактуре выделки некоторых более простых и грубых сортов: они указывали, что это обстоятельство может сделать бесполезной их долгую выучку и совершенство в работе, достигнутое ими, и понизить, конечно, их заработок, так как за более тонкую работу больше и платили. В интересах же предпринимателя было выработать также более простые и

дешевые ткани, которые скорее находили бы сбыт, чем тонкие и дорогие.

Старые рабочие, работавшие над первыми сортами, между прочим говорили, что мануфактура, выделывая параллельно более простые ткани, может лишиться лучшей своей репутации. Но по поводу этого заявления рабочих высказывалось подозрение [301], что дело тут в «скрытой зависти» одних рабочих против других.

Так или иначе, а этот пункт требований клонился к тому, чтобы оставить часть товарищей без куска хлеба, и это также указывает на то, что вполне единодушны рабочие в Бове во время беспорядков 1790 г. быть не могли. По этому пункту также они удовлетворения не получили. В общем движение среди рабочих в Бове в 1790 г. и начале 1791 г. окончилось неудачей, особенно если сравнить его с движением на других национальных мануфактурах. Перейдем теперь к периоду, который для всех национальных мануфактур был чрезвычайно трудным, а зачастую прямо бедственным.

2

Рабочие беспорядки конца 1790 г., отголоски которых еще встречаются в документах начала 1791 г., постепенно уступают место другому явлению, которое уже не сходит со сцены до конца 90-х годов XVIII в.: мануфактура Бове переживает глубокий и длительный кризис. Нет заказов, нет работы, и единственным якорем спасения является надежда на правительственную помощь, прежде всего на ту косвенную субсидию, которая заключалась в обязательном для королевского двора заказе на 20 тысяч ливров в год. Эта надежда одинаково волнует и директора предпринимателя Мену, и рабочих, и особенно с 1792 г. мы наблюдаем совершенную перемену в отношениях между хозяином и рабочими: в целом ряде петиций рабочие всецело поддерживают Мену [302]. В августе 1792 г. главный совет города Бове заслушивает и одобряет петицию рабочих, просящих содействия и помощи [303]. «Les citoyens occupés à la fabrication des ouvrages de tapisseries» и т. д., число которых уменьшилось до количества 48 человек, сообщают о своем бедственном положении: предприниматель Мену уведомил их, что он не получает никакого ответа на все свои запросы насчет уплаты следуемых ему (от королевского двора) денег и что ему даже заявили, что отказываются от четырех поставок (за 1787, 1788, 1789 и 1790 гг.), «чтобы избежать платежа за сказанные четыре поставки». Ввиду этого Мену принужден оставить заведение и прекратить уже начатые работы, а из-за такого решения они, рабочие Бове, лишились занятий. Но так как и рабочие на мануфактуре Гобеленов тоже

были в таком положении и, однако, через посредство парижской коммуны (рабочие Бове не приводят фактов, почему они приписывают успех рабочих Гобеленов именно ходатайству коммуны) добились помощи от Национального собрания, то вот и они, рабочие Бове, умоляют свой муниципалитет помочь им и ходатайствовать за них перед собранием, т. е. добиться, чтобы казна уплатила Мену за 4 поставки. Несмотря на полную поддержку, которую нашла эта петиция в conseil général города Бове и в conseil de l'administration du district de Beauvais [304], еще немало времени прошло без каких бы то ни было результатов, и только 8 января 1793 г. Конвент разрешил выдать деньги (было выдано за 4 года 80 352 ливра).

После 10 августа 1792 г. и уничтожения liste civile рабочие Beauvais попали в очень плачевное положение, и месяц они были без занятий и заработка.

Обращаясь к администраторам округа Бове по этому поводу с прошением, рабочие дипломатично пишут, что они не знают, произошло ли их затруднительное положение от уничтожения королевского liste civile, но зато «они очень хорошо знают, что с гораздо бо́льшим пылом будут работать для республики, чем для доставления пищи тщеславию деспотов» [305]; и дальше они прямо провозглашают право всякого работающего человека требовать от общества занятий или средств к существованию, иначе, полагают они, общество было бы уничтожено.

Положение становилось все хуже. И рабочие, и предприниматель не перестают напоминать о плачевном состоянии своего заведения. Вот новый вопль о помощи со стороны уже самого Мену к Национальному конвенту — прошение [306], помеченное 27 января 1793 г.

Предприниматель приписывает здесь кризис тому обстоятельству, что революция слишком повредила сбыту предметов роскоши [307], и напоминает, что еще осенью 1790 г. уже хотел подать в отставку, но остался вследствие просьб муниципалитета и «администрации торговли». Он при этом ставит себе в патриотическую заслугу то, что он остался, хотя, как мы видели выше, не все его современники в 1790 г. придерживались столь печального взгляда на положение дела. Он жалуется на министра Ролана, который упорно отказывал ему в платеже следуемых денег под предлогом, что на мануфактуре нет положенного количества рабочих. Мену ходатайствует не только об уплате денег, но и о том, чтобы впредь он должен сообразоваться в найме того или иного количества рабочих исключительно со своим интересом, а не с регламентом.

Главный совет города Бове в еще более патетических выражениях, чем сам Мену [308], рекомендует Конвенту признать, что «самая гнетущая необходимость — быстрой помощью прекра-

тить печальное положение, до которого доведены вследствие недостатка в работе» граждане рабочие. Совет просит Конвент не дать погибнуть мануфактуре, которая «при возвращении мирного времени будет для республики новым средством привлечения золота из-за границы». Прежде чем пойти в Конвент, петиция Мену обсуждалась еще в Директории округа Бове, которая, однако, нашла, что Мену заботится больше о своих интересах, чем об интересах дела, и высказала мнение, что высшая категория рабочих («артисты») состоит всего из каких-нибудь 30 человек, которые могли бы быть прикомандированы к Гобеленам, а для республики единственно важное во всем этом вопросе, чтобы не пропал без пользы талант этих немногих. Любопытна и еще одна выгода, отмечаемая Директорией: эти «артисты» из Бове, перейдя в заведение Гобеленов, согласились бы работать за меньшую цену. То же самое мнение высказано Директорией и в резолюции по поводу другого документа, почти одновременно посылавшегося в Париж, по поводу новой петиции рабочих [309]. Этот документ очень характерен и по форме, и по изложению. «Граждане! — восклицают петиционеры,— вы только что нанесли великий удар предрассудкам, разбив идола, разжиревшего от народной крови, на которого смотрели доныне как на священного [310]. Справедливое наказание короля-заговорщика ужаснет подчиненных тиранов. Но, уничтожив самого лицемерного из тиранов, вам остается еще дать французам испытать выгоды республиканского правительства, обеспечив гражданам, занятым в промышленности, средства к существованию». Они излагают свое отчаянное положение, в которое их ставит отставка Мену (неминуемая, если не удовлетворят его ходатайств). Они умоляют Конвент о выдаче денежного вспомоществования и напоминают, что постоянные отсрочки в оказании им помощи довели их до самой полной нищеты. «Мы вас просим быстро прийти на помощь 50 добрым гражданам, республиканцам, трудолюбивым, которые горят желанием славить в своем искусстве самые важные эпохи нашей революции, славить руками, которые до сих пор служили только гордости деспотов и украшению их дворцов».

Дело получило, наконец, движение. 13 марта 1793 г. министр внутренних дел доложил Конвенту, что мануфактуре в Бове «угрожает близкая и полная гибель» [311]. Министр обращает внимание как на совершенство изделий Бове, так и на их дешевизну и на пользу этой мануфактуры для развития этой отрасли торговли Франции с Европой. Рабочие специализировались в своем деле, ни на что другое не способны; их и так осталось всего 50 из тех 130, «которые были во времена благоденствия» мануфактуры; произошло это вследствие застоя в сбыте. «Интересы республики и мотивы гуманности» одинаково требуют под-

держать падающую мануфактуру «в момент, когда столько обстоятельств мешают национальной индустрии». Каковы же эти обстоятельства?

Министр их указывает: вздорожание сырого материала, *вздорожание рабочих рук*, упадок этого рода роскоши и *случайное лишение* рынков сбыта для этих продуктов в Европе (из-за войны Франции против коалиции). К сожалению, Гара не говорит, из чего выводит он заключение о вздорожании рабочих рук. Ни логически это не вяжется с признанием острого экономического кризиса, ни фактически не согласуется с теми воплями умирающих от голода людей, с которыми мы ознакомились из петиций рабочих. Из нового письма того же министра в Национальный конвент мы видим [312], что даже в конце июля 1793 г. за 1791—1792 гг. Мену денег еще не получил (хотя сам министр снова свидетельствует, что выдать их нужно за оба эти года в общем 44 037 ливров); впрочем, тут уже дело было, несомненно, предрешено в пользу Мену, и остановка была на этот раз за выполнением формальности. Во всяком случае это была последняя получка такого рода. Общая тенденция правительственной мысли в это критическое время внешней и внутренней войны была, конечно, в пользу экономии. Но деятели этого периода не походили на Ролана, для которого интересы экономии совершенно вытесняли всякие иные соображения. От проектированного Роланом в последние дни его министерства (в январе 1793 г.) соединения с Гобеленами мануфактуру Бове удалось все-таки спасти. Когда комитет Национального конвента, заведовавший земледелием и торговлей, запросил представителей местного самоуправления о положении дел, то ему было отвечено, что это соединение было бы гибелью для Бове и для «шестидесяти рабочих», связанных множеством связей с городом Бове [313]. В ноябре 1793 г. вопрос разрешился.

Член Конвента Blutel представил в Конвент доклад относительно мануфактуры в Бове [314]. Он полагал, что необходимо сохранить эту мануфактуру, спасти ее от грозящего ей закрытия по нескольким причинам. Во времена мира она успешно сбывает свои товары и может принести пользу французской торговле; но даже если этого и нет, мануфактуру необходимо сохранить во имя интересов искусства и прогресса промышленности, а также во имя гуманности, чтобы не лишить средств к существованию рабочих. Ролан хотел во имя экономии соединить мануфактуру в Бове с Гобеленами, но докладчик решительно выступает против этого, указывая между прочим и на то, что в Бове рабочие руки гораздо дешевле, чем в Париже, и рабочим из Бове в случае перевода их на Гобелены пришлось бы платить дороже. Он знает, что сохранение мануфактуры будет стоить известных жертв, но от имени комитетов высказывает мысль, типич-

ную для эпохи по гордой вере в свои силы и в будущее: «Vos comités ne se sont pas dissimulé que dans circonstances où ce trouve la France le moment des sacrifices est peu favorable; mais ils ont pensé en même temps qu'encourager l'industrie est une dette de tous les temps et que c'est au sein même des maux que nous souffrons pour la liberté qu'il faut poser les bases inébranlables sur lesquelles reposeront les biens qu'elle nous promet». Он предлагал поэтому предоставить предпринимателю пользование имуществом мануфактуры и платить из казны художнику, но о других субсидиях, конечно, уже нельзя было и думать. Декретом Национального конвента от 17 брюмера II года (т. е., значит, 7 ноября 1793 г.) постановлялось [315], что entrepreneur мануфактуры будет и впредь пользоваться в виде поощрения (à titre d'encouragement) всеми землями, зданиями и домами и вообще всем имуществом, относящимся к этой мануфактуре, но что все другие льготы и субсидии отныне уничтожаются (art. 1). Только художник, прикомандированный к заведению, будет получать от нации жалованье в 1200 ливров (art. 2); самая мануфактура отныне должна находиться *под непосредственным наблюдением и надзором* администрации округа Бове (art. 6). Вскоре затем Мену ушел окончательно, и временно мануфактурой стал управлять Камусс, долго бывший régisseur'ом и художником на этой мануфактуре. Нужно сказать, что статья 6 декрета от 17 брюмера служит как бы прямым ответом на петицию граждан Бове, поданную в Конвент еще в марте 1793 г., где прямо заявляется просьба о том, чтобы надзор за заведением и окончательное разбирательство по всем спорам между предпринимателем и рабочими были предоставлены местным административным учреждениям [316]. Но на очереди дня стоял вовсе не вопрос о конфликтах между хозяином и рабочими, а о том, как пережить тяжелое время застоя в делах, не закрывая мануфактуру.

3

Кризис продолжался. Заработная плата не стояла притом ни в каком соответствии с ценами на предметы первой необходимости. Перед нами лежит драгоценный документ, который дает список рабочих и указание получаемых ими сумм. Этот документ [317] относится к началу 1794 г., т. е. к первым месяцам существования мануфактуры после декрета от 17 брюмера. Рабочих — 90 человек, не считая пятерых, которым от 70 до 84 лет от роду и которые употребляются для более легких работ: это как бы пенсионеры мануфактуры, проработавшие на ней всю свою жизнь. Из всех этих людей только 3 рабочих получают ежедневно 3 ливра 10 су, 4 человека получают по 3 ливра в день, 9 человек — по 2 ливра 15 су, 4 человека — по 2 ливра 10 су, 5 человек — по 2 ливра 5 су, а все остальные — меньше

2 ливров в день: 6 человек — 1 ливр 18 су, 4 человека — 1 ливр 15 су, 25 человек — 1 ливр 10 су, 17 человек — 1 ливр 5 су, 8 человек — 1 ливр, 6 человек — 15 су. В особой графе обозначено количество членов семьи, которых содержит данный рабочий. Холостых мы насчитали всего 17 человек, остальные — семейные, имеющие от 1 до 6 детей (есть имеющие 8 детей, но обозначено, что из них 5 не на содержании отца). Графа, в которой обозначено число лет службы па мануфактуре, показывает, что огромное большинство действительно право, когда заявляет в своих петициях, что, проработав всю жизнь по одной и той же специальности, они уже не могут учиться другому ремеслу: всего двое (мальчики 13 лет, получающие 15 су в день) проработали 4 года и один — 5 лет, остальные — гораздо больше (6 человек — по 7 лет, а другие — по 8—9—12 лет), в общем же больше 60 человек (из 91) проработали от 20 до ... 73 лет! Плата, получаемая ими, в самом деле настолько ничтожна, что и до начала революции только немногие из рабочих Бове могли бы с семьей сколько-нибудь сносно существовать на получаемые деньги; а ведь покупательная сила ливра была еще в 1789 г. гораздо больше, чем в 1794 г., когда кризис ассигнаций уже серьезно (особенно к концу 1794 г.) давал себя чувствовать. В мае 1794 г. депутаты от департамента Уазы в Национальном конвенте подкрепили своими подписями петицию в Конвент с просьбой помочь рабочим [318]. Тут говорится, что рабочих терзает самая ужасная нужда, что они более двух месяцев сидят без дела, без помощи, без средств [319], что они накануне голодной смерти, так что даже помощь Конвента может при малейшем промедлении запоздать. В петиции есть прямое указание на то, что и комитеты земледелия и торговли рассматривают вопрос о помощи мануфактуре Бове, и делается ссылка на мнение административных учреждений Бове, уже находящиеся на рассмотрении комитетов. Действительно, еще 3 февраля 1794 г., т. е. когда работы только что остановились, Директория департамента Уазы уже решила ходатайствовать [320] перед Конвентом о выдаче рабочим вспомоществования. И, собственно, только для этого и была составлена роспись жалованья рабочим, которую мы только что рассматривали. Далее, 10 февраля того же 1794 г., состоялось постановление совета округа Бове просить министра внутренних дел, чтобы он ходатайствовал перед Конвентом о помощи мануфактуре, пока не явится новый предприниматель вместо ушедшего Мену [321]. Теперь эти петиции, поддержанные депутатами Уазы, заставили несколько ускорить движение дела. Комиссия земледелия и искусств (la commission d'agriculture et des arts) сделала доклад Комитету общественного спасения, причем убеждала комитет помочь «артистам, бесконечно заслуживающим участия

по своим талантам и вследствие своей нужды»[322], выдачей им аванса, который они впоследствии выплатили бы постепенно из жалованья. Комитет общественного спасения 18 прериаля II года (т. е. 6 июня 1794 г.), выслушав этот рапорт, постановил выдать рабочим аванс, который должен быть потом ими погашен; ни один рабочий не может получать в день в виде такого вспомоществования более 2 ливров (при том условии, что он в обыкновенное время получал не менее 2 ливров), получавшие же менее 2 ливров должны теперь получать в виде аванса сумму, которая бы отнюдь не превышала их обычного жалованья; вся сумма аванса должна быть выдана заведующему мануфактурой Камуссу для распределения[323]. Но из документов, относящихся к распределению аванса, данного Комитетом общественного спасения, явствует, что всего 26 рабочих получали это вспомоществование. Очевидно, то обстоятельство, что казне все-таки пришлось, вопреки смыслу декрета 17 брюмера, давать замаскированную субсидию мануфактуре, заставило подумать об этом декрете и о слишком скупом отношении казны к мануфактуре в Бове. Этому содействовал и Мену, бывший предприниматель, снова изъявивший желание взять руководство мануфактурой, но на прежних приблизительно условиях[324]. Но при финансовых затруднениях правительства нечего было и думать об отмене декрета 17 брюмера[325], и мануфактура продолжала свое бедственное существование. Рабочие, немного оправившиеся от безработицы, горько жалуются на то, что их заработная плата совсем не находится в каком бы то ни было соответствии с покупательной силой денег: «Мы не можем бороться с горестным чувством, размышляя о том, что наше жалованье не может быть выше 40—60 ливров в декаду (т. е. 4—6 ливров в день) за самую усидчивую работу». Сравнивая эту цифру с цифрой заработной платы в той росписи, которую мы выше рассматривали, мы видим, что 4 ливра (не говоря уже о большей сумме) не получал еще в начале 1794 г. *никто* из рабочих. Смысл этой петиции вполне раскрывается дальше: «В более счастливые времена этого было бы достаточно для наших нужд. Но при настоящем положении вещей этого заработка не может хватить нам на то, чтобы достать хлеба, так как фунт ржаного хлеба стоит 5 ливров, не говоря уже о других предметах первой необходимости, которые поднимаются в цене в ужасающей прогрессии». Они указывают на то также, что они истощены двухлетней безработицей[326]. Это указание также в пользу того, что кризис обострился не ранее 1792 г., так как петиция относится к лету или началу осени 1794 г., а рабочие, как явствует из всех без исключения идущих от них в Конвент документов, склонны преувеличивать, а отнюдь не

уменьшать продолжительность своих лишений. Основное несчастье, по понятиям рабочих,— это отсутствие постоянной правительственной субсидии в виде обязательного ежегодного казенного заказа; в этом отношении они совершенно сходятся с бывшим директором Мену, который не счел возможным для себя заведовать мануфактурой после декрета 17 брюмера. И рабочие снова напоминают, что эта субсидия, уничтоженная декретом 17 брюмера, незаменима никакой временной помощью вроде аванса, данного Комитетом общественного спасения. Они снаряжают депутацию в Париж, и эта депутация подает в Конвент новую петицию, помеченную «Le 3-e jour complémentaire de la II-e année républicaine», т. е. значит, по григорианскому календарю, 19 сентября 1794 г. [327]. После обычного вступления, где выражаются надежда на законодателей и жалоба на свои несчастья, рабочие говорят: «Заведение, с которым они (рабочие — *Е. Т.*) связаны, было доведено при деспотизме до высокой степени совершенства», и обращают внимание на один из любимейших своих доводов: «Уже завистливый иностранец увидел, что все его мануфактуры этого года затмеваются нашими двумя [328]; что же будет, если дело пойдет о том, чтобы передать потомству о его поражениях и наших триумфах?» Тут рабочие, в сущности, просят все о том же: чтобы правительство дало им заказы, и, подсказывая патриотические сюжеты для этих заказов, надеются скорее добиться своей цели. Как мы видели, они и в других петициях говорят о своем стремлении увековечить своим искусством французские победы над неприятелем. Что касается декрета 17 брюмера, то он был только призрачным благодеянием: «Поощрения, существовавшие со времени основания заведения, помогали предпринимателю выдерживать тяжесть в эти времена отсутствия заказов; законодатели же, скупые насчет народного пота, сочли за благо уничтожение этих поощрений. Некоторое размышление им бы показало, что соображения момента недопустимы в данном случае; что деньги, которые животворили эту мануфактуру, возвращались во Францию в учетверенном количестве при помощи иностранцев, сделавшихся данниками» [329]. Комитет общественного спасения постановил в прериале, что каждый рабочий будет в виде временного вспомоществования получать 40 су в день; эта помощь, которая принесла рабочим большую пользу в то время, сделалась, как это чувствуется, очень недостаточной впоследствии; «у многих сыновья и родственники находятся на границах: другие принуждены продавать то малое движимое имущество, которое они имели, чтобы пополнить 40 су, недостаточных для прокормления многочисленной семьи».

Эта петиция возымела действие. 15 ноября 1794 г. Comité de commerce et des approvisionnements, выслушав доклад одного из своих членов о положении в Бове, на основании петиции рабочих составил проект декрета, который до дальнейшего законодательного движения решено было сообщить другому комитету, имевшему касательство к этому вопросу: Comité d'agriculture et des arts [330]. В проекте высказывается, что, не желая дать погибнуть этому роду индустрии, надлежит принять следующие меры: чтобы мануфактурой временно управлял Камусс под наблюдением директора мануфактуры Гобеленов, который, справляясь с мнением комиссии торговли, будет делать заказы и давать сюжеты работ (art. 1 и 2); сфабрикованные вещи будут предоставлены в распоряжение этой комиссии по мере изготовления (art. 3); способ уплаты рабочим будет тот же, что и в мануфактуре Гобеленов; комиссия торговли даст необходимые для этого средства (art. 4). Что касается до будущего времени, то эта комиссия уполномочена вести переговоры с подходящим предпринимателем, который бы согласился взять мануфактуру на основании декрета 17 брюмера, и по соглашению с комиссией земледелия и искусств комиссия торговли уполномочена предложить такие поощрения (encouragements), которые она найдет необходимыми (art. 5). Таковы важнейшие постановления этого законопроекта. Рабочие некоторое время о нем не знали и снова напомнили о своем отчаянном положении. К концу года опять мы слышим о недостаточности аванса, данного Комитетом общественного спасения. 7 декабря 1794 г. они пишут в комитет агрикультуры и искусств [331]: «Правда, что мы получаем согласно с постановлением Комитета общественного спасения помощь в 40 су в день (т. е. 2 ливра — *Е. Т.*)... В тот момент, когда это благодеяние было нам оказано, отец семейства едва мог существовать, а с того времени припасы вздорожали значительно, вспомоществование же нам идет все одно и то же. Посудите о нашем положении». Они еще допускают, что «жалобный голос артиста» мог быть не услышан, «когда тирания боролась со свободой», но теперь, «когда добродетель и справедливость — в порядке дня», они надеются на помощь и — опять тот же мотив — желали бы «славить в своем искусстве» (célébrer ensemble dans notre art) самые выдающиеся моменты революции. Только уже после отправления этой петиции рабочие узнали о проекте декрета, выработанном в заседании комитета de commerce et des approvisionnements и сообщенном в комитет земледелия и искусств. И вот они спешат повлиять на членов этого последнего и пишут «гражданам, составляющим исполнительную комиссию земледелия и искусств» особую петицию [332], помеченную на

полях рукописи: «Beauvais, le 5 nivôse, l'an III» (т. е., значит, 25 декабря 1794 г.). Они изъявляют живое удовольствие по поводу означенного проекта и надежду на содействие комитета земледелия и искусств; снова повторяется (даже с буквальной точностью в некоторых местах) то, что говорилось в петициях, посланных раньше, о бедственном состоянии рабочих. (Такой же стереотипный характер носит и следующая петиция, посланная уже в начале 1795 г. в comité du commerce et des approvisionnements [333].)

13 прериаля (1 июня 1795 г.) мануфактура Бове была сделана уже вполне государственным промышленным предприятием, причем и директор, и рабочие, и прочие служащие считались на службе правительства, которое и брало на себя всецело заботу о верховном управлении мануфактурой и об ее содержании. Таким образом, государству пришлось отказаться от мысли свести до минимума всякие затраты па мануфактуру, которая быстро шла к гибели при режиме, установленном экономными предначертаниями Конвента.

4

Кризис так обострился, что работы на мануфактуре прекратились па некоторое время вовсе, и рабочие, кроме 23—26 человек, совсем покинули заведение (а оставшиеся ничего не получали). От окончательной гибели мануфактуру спасло постановление комитета земледелия и искусств 13 прериаля III года (т. е. 1 июня 1795 г.), согласно которому заведение «fut mise en régie», т. е. правительство, впервые окончательно приравнивая мануфактуру в Бове к прочим национальным мануфактурам, брало на себя ведение дела через назначенного директора [334]. С этих пор правительство становилось единственным хозяином и распорядителем дела,— никаким предпринимателям мануфактура уже сдаваться не должна была. Для директора было составлено нечто вроде инструкции, и этот документ [335] интересен новой чертой, совершенно отсутствующей в тех документах, которые исходили от правительственной власти в предшествующий период революции. 1795 год был временем усиленного стремления к поддержанию «порядка и спокойствия», авторитета власти и тому подобного, и общие тенденции эпохи отразились и в рассматриваемом документе. «На директора должно быть возложено наблюдение за исполнением работ, за твердым поддержанием порядка и субординации среди рабочих. Он должен распределять их на классы [336] со справедливостью, но и со строгостью, смотря по их талантам...» В этом же документе встречаем еще одно интересное указание относительно дороговизны жизни

в это время (т. е. в середине 1795 г.): заработная плата «должна находиться в соответствии с крайней дороговизной в настоящее время предметов первой необходимости...». Чтобы дать определенный базис для настоящего времени, полагают подходящим платить за работу в 3 раза более той цены, которая была установлена в 1789 г.

Но, собственно, в 1795 г. работы не всегда хватало и на оставшихся в заведении в это время 23—24—26 человек; по некоторым (довольно запутанным иногда) счетам, сохранившимся от 1795 г., можно заключить, что когда работа бывала, то работавшие вырабатывали в день 3—4—5 ливров [337]; расценка же оставалась по-прежнему поседельной, а не поденной, как на остальных мануфактурах. Но в действительности работа бывала не всегда и не для всех, и правительственная помощь в 2 ливра в день продолжала и в 1795 г. оставаться главной опорой рабочих, но опорой, конечно, слишком слабой. «Несчастья и обстоятельства довели мануфактуру в Бове до состояния самого полного застоя»,— читаем мы в рапорте, поданном комиссией земледелия и искусств комитету того же наименования [338]; ряд документов [339] убеждают нас, что быстро прогрессировавшее обесценение ассигнаций грозило совершенно свести к нулю выдаваемую правительством субсидию в 2 ливра, а возможность заработать что-либо на мануфактуре и после постановления 13 прериаля оставалась вполне проблематической, как и до этого акта. И вот началось и для рабочих Бове постепенное увеличение вспомоществования от казны, всегда запаздывавшее ввиду быстро падавшего курса ассигнаций. Разница между Бове и прочими национальными мануфактурами была лишь та, что для рабочих Севра, Гобеленов, Savonnerie увеличивалась расценка поденной заработной платы, а для рабочих Бове считалось, что увеличивается просто временная субсидия, выдаваемая им правительством (ибо, повторяем, на мануфактуре Бове расценка была поседельной). Но, конечно, разница эта являлась чисто формальной для данного момента.

Комитет земледелия и искусств решил по докладу комиссии земледелия и искусств [340] вследствие жалоб рабочих на недостаточность вспомоществования ассигновать «временно и ввиду дороговизны предметов первой необходимости» 6 ливров в день на человека. Но и этого оказывается мало ввиду падения курса ассигнаций и происходившей отсюда страшной несоразмерности между ценой на предметы первой необходимости и платой, получаемой рабочими. Новая петиция отправляется в Париж. В рапорте, поданном министру внутренних дел [341], Bureau des arts предлагает министру еще увеличить вспомоществование рабочим; при этом оно приводит такой

расчет: решено было утроить плату, получавшуюся в 1789 г., но тогда за наилучшую работу самый усидчивый рабочий редко получал более 5 ливров в день. Если утроить эту сумму да еще прибавить уже ассигнованное вспомоществование в 6 ливров, получится 21 ливр в день. «Так как эта сумма весьма скромна вследствие цен на предметы, необходимые для жизни», то министру предлагают разрешить выдавать рабочим Бове еще 6 ливров в день на человека. 5 фримера (т. е. 26 ноября 1795 г.) министр ассигновал рабочим эту новую сумму. Но и этого оказалось мало, ибо ассигнации не переставали падать в цене, и по новому докладу Bureau des arts предположено было, отменив прежние распоряжения касательно вспомоществований рабочим, установить, что рабочий должен получать в 15 раз более, нежели получали в 1789 г.[342]. Бюро исчисляло, что средний заработок рабочего будет в таком случае равен 40—50 ливрам в день.

Надеялись, что этого хватит, так как еще в брюмере хлеб в Бове стоил 9 ливров 10 су фунт [343]. В таком виде проект был утвержден министром внутренних дел.

Но всего этого было все-таки недостаточно, ибо правительство еще слишком оптимистически склонно было относиться к истинной ценности ассигнаций, курс которых все падал. Еще до решения увеличить плату в 15 раз против той, которую рабочие получали в 1789 г., рабочие указывали в одной из своих петиций, что все припасы (в 1795 г.) стоят более нежели в 20 раз дороже, чем стоили в 1789 г. [344] Замечательно, что и единственное сколько-нибудь заметное проявление неудовольствия рабочих против директора, впервые имевшее место после беспорядков 1790 г., было вызвано ссорой из-за годной для огородничества земли, принадлежавшей мануфактуре: и директор, и рабочие более полагались на возможность иметь собственный картофель, нежели на оклады жалованья, получаемые от правительства ассигнациями. Сам директор Камусс в одном письме к своему непосредственному начальству, относящемся к этому времени (т. е. к началу 1796 г.), вполне понимает раздражительность рабочих и объясняет ее тем, что, несмотря на усидчивую работу, они, «artistes», получают столько, сколько обыкновенные чернорабочие [345].

Рабочие подали (в феврале 1796 г.) жалобу министру внутренних дел [346], в которой они заявляют, что директор их завладел обширным садом, который принадлежит мануфактуре, и «отдает все свои заботы возделыванию этой земли и пренебрегает интересами названной мануфактуры, которая ему как будто чужда». Но и рабочие на эти «terrains» смотрят как на весьма существенное подспорье: «Мы, которых угнетает и доводит до отчаянья ужасающее вздорожание припасов, умо-

ляем вас во имя человечности принять нашу просьбу в серьезное соображение и благоволить приказать, чтобы названный сад и земли были разделены между нами на равные участки». Они далее говорят, что их плачевное состояние обязывает министра внять их просьбе: «Время года манит нас сеять и сажать овощи и особенно картофель, чтобы помочь себе прокормить наших несчастных жен и детей, и равенство не будет более оскорблено гордостью и эгоизмом директора, алчного, лишенного гения и талантов, управляющего артистами и собирающего жатву с земли, которая, казалось бы, со времени царства свободы посвящена только общему счастью всех этих артистов» и т. д. К петиции приколота маленькая бумажка, заключающая краткий доклад о содержании ее; на полях резолюция: «Эта просьба из числа тех, на которые не должно отвечать» [347]. Сам Камусс все-таки узнал об этой жалобе [348], и он писал в министерство, объясняя поступок рабочих тем, что они не знают, на кого взвалить вину за свое несчастное положение. Он говорит при этом, что, даже теряя 99% стоимости, рабочим все-таки не удается пользоваться ассигнациями, «которых не хотят принимать». Из документов 1796 г. явствует, что столь острой безработицы, как прежде, уже не было; в письмах директора к чинам министерства внутренних дел и обратно постоянно проскальзывают указания на то, что работы идут; но финансовый кризис не сходит зато с очереди дня, и вопрос об ассигнациях, которыми платит правительство и которых «не хотят брать», остается главным вопросом эпохи. Прямо по месяцам можно проследить, как ухудшается положение рабочих. В начале марта 1796 г. они шлют новую отчаянную петицию министерству внутренних дел [349]. «Мы зарабатываем,— пишут они,— приблизительно двести ливров в неделю, а нам нужно регулярно на каждую неделю хлеба на пятьсот-шестьсот ливров и других припасов, которые мы принуждены покупать по денежному курсу, согласно которому ассигнация в сто ливров ценится в Бове только приблизительно в десять су. По этому изложению мы предоставляем вам судить, каково наше положение». Администрация департамента в официальной бумаге, сопровождающей эту петицию, подтвердила необходимость увеличения заработной платы. После этой петиции Bureau des arts решило наконец сделать 9 марта 1796 г. доклад министру внутренних дел [350], где, упоминая об уже состоявшемся увеличении платы в 15 раз против 1789 г., говорит: «Рабочие пользовались им (этим увеличением — *Е. Т.*) в продолжение месяцев нивоза и плювиоза» (т. е., переводя на григорианский календарь, с 22 декабря 1795 г. до 19 февраля 1796 г.— *Е. Т.*); «тогда эта плата могла быть на уровне ежедневных потребностей каждого рабочего сравни-

тельно с цепами на припасы в Бове [351]; но быстрое вздорожание предметов первой необходимости дает себя чувствовать в этой коммуне, как и всюду, и ослабляет действие решения министра». Бюро напоминает снова о необходимости поддержать мануфактуру, на которой «до революции можно было насчитать 100 рабочих», а теперь из них «осталось всего 27 человек» [352]: министру предлагается приказать увеличить заработную плату и установить, что она отныне должна быть уже не в 15 раз, а в 25 раз больше, чем плата 1789 г. Министр утвердил это предложение. Однако ассигнационный кризис свирепствовал все более и более, и всех увеличений платы оказывалось недостаточно. Рабочие летом 1796 г. [были] опять в таком же трудном положении, как и за несколько месяцев перед тем. «Благоволите принять в соображение, гражданин министр,— пишут они в новой петиции,— что ассигнация в сто ливров не стоит и пяти су» [353], и поэтому даже увеличенной в 25 раз (против 1789 г.) платы не может хватить для существования рабочих. «Хлеб продается по 24 ливра за фунт и все остальные припасы в такой же пропорции,— пишут они дальше,— зарабатывая всего 300—400 ливров в неделю, рабочие этим зарабатывают всего 15—20 су серебром».

5

Одновременно среди рабочих на мануфактуре продолжается та вражда против директора, которая впервые явно сказалась в жалобе относительно захвата сада, принадлежащего мануфактуре. То рабочие подают новую жалобу, что директор несправедливо расценивает сработанные вещи и что сам он неспособен вести такое дело; то Камуссу его начальство рекомендует не обращать внимания на незначительные неприятности, если они «не производят скандала» [354], и т. п. Но все это сказывается в не особенно заметных размерах. Хотя работа уже велась, но, конечно, на первом плане стояли не те или иные инциденты, связанные с работой, а ничтожная покупательная сила ассигнаций, которыми платили рабочим за работу. На просьбу хоть немного прислать звонкой монеты последовал отказ, «так как потребности республики не позволяют» этого [355]; что же касается до поданной ими жалобы на директора, то администрация департамента произвела по поручению министра целое расследование, всецело оправдавшее Камусса в глазах его начальства; по крайней мере замечание (по-видимому, Bureau des arts) по поводу этого дела гласит: «Существует несколько смутьянов (quelques brouillons) на этой мануфактуре; надлежит, чтобы восстановить порядок и субординацию, уполномочить гражданина Камусса уволить рабочих, которые будут уклоняться от своего долга» [356]. Вообще весьма характерно в этом деле именно отношение

властей к рабочим. Рабочие жалуются на неспособность своего директора и на несправедливое отношение к расценке их труда. Администрация же департамента находит, что «единственный упрек, который можно сделать директору,— это в слишком большой мягкости относительно рабочих, часть которых на него теперь нападает только потому, быть может, что он недостаточно заставляет себя бояться».

Администраторы, производя расследование, собрали рабочих, и «$^2/_5$ рабочих» высказались с похвалой о своем директоре, а двое из числа подписавшихся объявили, что подписали только по просьбе остальных. В действительности жалобы рабочих даже при явно враждебном к ним отношении властей этими же властями косвенно подтвердились.

Так, рабочие жалуются [357] на неумелость и бездарность Камусса как художника и мастера в изделии тканых шпалер; администраторы замечают в своем докладе министру: «...мы думаем, сверх того, что на гражданина Камусса не следует главным образом смотреть как на великого художника или совершенного tapissier», но, по их мнению, он удовлетворителен в своем ремесле.

Далее рабочие жалуются на хранителя магазина (garde-magasin) [358], и, по мнению администраторов, его действительно необходимо сменить и т. п. На главный пункт жалобы (несправедливая расценка работы, что было особенно важно ввиду того, что и плата была не поденная, а поштучная) Камусс представил лишь голословное отрицание. Министр внутренних дел, ознакомившись с докладом администрации, написал Камуссу письмо [359], в котором мы читаем: «Наверное, существуют между рабочими несколько индивидуумов, цель которых — нарушать добрый порядок, составляющий основу процветания всех учреждений». Но как быть с ними, принимая во внимание, что ведь только «артисты», наилучшие рабочие, и остались на мануфактуре после пережитого ею экономического кризиса? Министр Директории не имеет на этот счет никаких колебаний: «Каковы бы ни были, впрочем, таланты этих индивидуумов, их присутствие на национальной фабрике может быть только бесконечно вредно, и я решительно поручаю вам удалить из мастерских республики всех тех, чье поведение или слова не будут прямо клониться к поддержанию гармонии (...tous ceux dont la conduite ou les propos ne tendroient pas directement au maintien de l'harmonie)». Министр считает необходимым закончить самым энергичным образом происшедший инцидент. «Извольте,— пишет он в конце Камуссу,— прочесть мое письмо всем рабочим в сборе со всех мастерских, которые составляют мануфактуру, и напомните им, что только те суть истинные друзья Республики, которые дорожат порядком и спокойствием».

Из всего этого дела о неудовольствии рабочих, особенно если сопоставить его с делом о земле, несправедливо, по мнению рабочих, взятой директором в личное пользование, для внимательного и беспристрастного исследователя этих документов становится довольно ясно, что администрация, начиная с департаментской и кончая центральной, в высшей степени недружелюбно относилась к попыткам со стороны рабочих предпринять борьбу против директора; мало того, это отношение не только недружелюбное, но и предвзято враждебное: жалобу рабочих либо вовсе оставляют без расследования и без ответа, даже не запрашивая директора о фактах, в ней изложенных (как это было с делом о захвате земли), либо рассматривают односторонне, довольствуясь голословным отрицанием директора, и в конце концов если ставят директору что-либо в укор, то исключительно его мягкость («douceur») относительно рабочих. Это отношение тем более характерно, что резко противоположно отношению той же администрации к жалобам рабочих насчет недостаточности заработной платы и вообще бедственного их положения: тут почти каждая петиция влечет за собой те или иные мероприятия в пользу рабочих, причем обыкновенно совершенно очевидно стремление удовлетворить нужду рабочих в возможно более широких размерах. Отказы на подобные петиции редки и почти всегда мотивируются серьезными причинами: например, историк, вспоминающий финансовое положение Франции весной 1796 г., легко поймет всю трудность для правительства сразу удовлетворить просьбу рабочих о присылке в Бове звонкой монеты. Но тут же заметим, что в последние годы Директории и в этом смысле начинает проглядывать некоторая небрежность по отношению к рабочим.

Итак, ревнивое желание оберечь авторитет власти и оградить «порядок и спокойствие» («l'ordre et tranquilité») явственно диктовали правительству его политику относительно рабочих. Но есть ли какие-либо указания в документах относительно того, насколько сплоченно действовали в эту эпоху рабочие в случае конфликта с начальством?

Перед нами лежит бумага, помеченная 24 прериаля, т. е. 12 июня 1796 г.[360] Это как бы опровержение, посланное министру внутренних дел несколькими рабочими во время производившегося расследования по поводу вышеотмеченной коллективной жалобы на Камусса: подписавшие этот документ именно опровергают жалобу своих товарищей. Под жалобой мы насчитали 18 подписей, под опровержением — 13 подписей, причем несколько имен фигурируют одинаково и под жалобой, и под опровержением этой жалобы; объясняется этот факт в самом документе, где это мотивировано «сожалением» подписавших жалобу и желанием их загладить свой поступок подписанием

опровержения. «Наш долг,— читаем мы в этом опровержении,— торжественно объявить вам теперь, что этот донос есть темное дело пяти или шести возбужденных голов, которые, имея другие средства к существованию и желая во что бы то ни стало следовать своим честолюбивым намерениям, кажется, сделали своей ежедневной заботой нарушать порядок, не признавать никакой субординации, распространять веру в правдивость своих клевет, набрасывать тень сомнения на наилучшие намерения, одним словом, всячески противиться восстановлению мануфактуры, которой они желают либо руководить, либо погубить ее, и уничтожение которой они уже считали бы неизбежным, если бы им удалось обмануть вашу добросовестность»,— так отзываются авторы опровержения о своих товарищах[361]. Вместе с тем они уже наперед убеждены, что одушевленный «великим принципом справедливости» и снабженный «сведениями, которые будут получены от департамента» (т. е. от администрации, которой поручено было произвести расследование), министр «воздаст справедливость заслугам и таланту» директора.

Несмотря на подтверждение в новом заявлении[362] министру, что все изложенное в первой жалобе справедливо, что министр легко может убедиться в несостоятельности Камусса, только вложив ему в руки орудия работы, что они не ищут лично для себя никаких мест, что «никакая мелкая страсть» (petite passion), никакая зависть или пристрастие не руководят ими, жалобщики, как мы уже видели, встретили в администрации полное осуждение, и авторы опровержения могли считать себя вполне удовлетворенными, ибо и министр приписал все дело нескольким лицам, склонным к беспорядку.

Насколько можно делать заключение на основании документов, касающихся всего одного конфликта, приходится думать, что рабочие Бове, хотя и проработавшие долгие годы в одном заведении, далеко не отличались сплоченностью в действиях; некоторые выражения в тексте опровержения показывают также, что немного менее половины всего количества рабочих считали допустимым прямо обвинять перед правительством своих товарищей в умышленном создавании беспорядков. Мы видели выше, что даже сам директор склонен был в этом бедственном 1796 году приписывать неспокойствие рабочих их хронически несчастному положению и постоянному голоду.

6

Это положение вследствие продолжающегося кризиса ассигнаций становилось все хуже. «Мы погибли!» — так начинается петиция рабочих к министру внутренних дел от 2 июля

1796 г.[363] Они все продали, что могли, и вскоре их участью будет отчаяние; их семьи погибают, дети просят есть, просят хлеба, а они могут в ответ только плакать. Они молят дать им вспомоществование в размере трехмесячного заработка, чтобы расплатиться с долгами. Они жалуются в общем именно на падение ассигнаций, а не на безработицу: это оттеняется теми словами петиции, где говорится, что *некоторые* из них *даже сидят* без работы ввиду отсутствия сырых материалов [364] (не надо забывать, что в противоположность, например, мануфактуре Гобеленов в Бове платилось и в 1796 г., как и раньше, поштучно, а не поденно). Директор и администрация кантона Бове за своими подписями подкрепляют в особых заявлениях петиции рабочих и просят выдавать им часть заработной платы натурой, «хлебом, который они не могут себе достать». Рабочих в это время числилось на мануфактуре 32, причем они должны были содержать в общем 98 «ртов» (bouches) [365]. Всего: 8 — одинокие, 7 должны содержать 2 «рта», 2—3 «рта», 9—4 «рта», 3—5 «ртов», остальные — больше 5 «ртов». Рабочие домогаются, чтобы относительно них было сделано так, как уже сделано относительно рабочих на мануфактуре Гобеленов: чтобы правительство предоставило в распоряжение директора 100 квинталов хлеба и чтобы этот хлеб выдавался определенными рационами рабочим, жалованье которых соответственным образом оставалось бы в казне. Некоторое время правительство действительно решило выдавать каждому рабочему ежедневно определенное число фунтов хлеба, по 1 фунту на каждого члена семьи, но затем состоялось постановление [366] министра внутренних дел выдавать рабочим плату звонкой монетой или соответствующей ценности в размере трех четвертей платы 1790 г., и что кроме того для уплаты долгов, «которые были сделаны рабочими ввиду скромности их прежнего жалованья», каждому рабочему выдать единовременное пособие в размере двухмесячной заработной платы. Так как звонкой монеты все-таки для расплаты с рабочими прислано не было, то отныне (с начала термидора) плата выдавалась в соответствующих количествах mandats с таким расчетом, чтобы каждый рабочий получил за свою работу три четверти платы, какую получал в 1790 г. за эту самую работу, считая эту сумму в металлических франках. В отчете Камусса за термидор, например, мы видим две отдельные графы: в одной записано, сколько выдано каждому рабочему в мандатах, а в другой графе — какому количеству металлических франков выданная сумма соответствует.

Полученные суммы поражают своим ничтожеством, принимая во внимание, что с 1790 г. покупательная сила и металлического франка понизилась, а между тем теперь выдавалось всего три четверти прежней платы. Всего рабочих — 26, из них для

11 сумма не показана, и, конечно, расписок их не имеется (очевидно, они в этом месяце не работали вследствие недостатка материалов); остальные же получили (в металлических франках): 7,56; 7,56; 9,46; 14,18; 14,66; 15,13; 17,45; 18,92; 18,92; 19,38; 26,48; 26,48; 13,13; 35,37; 36,85. Но и это было лучше, чем недавнее положение вещей, и жалобы рабочих стихают.

Конец 1796 г. и 1797 г.— время некоторого оживления работ на мануфактуре: в переписке с министерством постоянно идет речь о покупке сырых материалов, о законченных работах, о необходимости устроить правильный сбыт товаров, вырабатываемых в Бове, через посредство более известной и более посещаемой любителями мануфактуры Гобеленов [367] и т. д. По официальному расчету, сделанному уже во второй половине 1797 г., мануфактура Бове обходится правительству в 21 850 франков в год, и работы на ней идут так успешно, что «в обычное время, т. е. во время мира, предполагая восстановление торговых сношений», мануфактура не только будет окупать издержки, но и даст «более или менее значительную прибыль» [368]. Специальность мануфактуры в Бове определяется как в документах, идущих от администрации фабрики, так и от официальных учреждений министерства внутренних дел: Бове не конкурирует с Гобеленами по красоте и тонкости работы, но продукты Бове «зато имеют преимущество в том, что подходят для большего количества потребителей» по своей относительной дешевизне [369]. По отчетам директора видно, что и плата, получаемая рабочими в конце 1796 г., уже значительно больше, нежели, например, летом: так, за брюмер (т. е. с 22 октября до 20 ноября 1796 г.) рабочие получили в металлических франках следующие суммы: 5— по 24 франка, 1—27 франков, 2—30 франков, 1—38 франков, 1—42 франка, 1—45 франков, 1—48 франков, 1—53 франка, 1—55 франков, 1—51 франк, 1—58 франков, 1—56 франков, остальные — от 65 франков и выше (2—65 франков, 2—66 франков, 1—70 франков, 1—76 франков, 1—80 франков, 1—88 франков, 1—103 франка). Всего рабочих обозначено 30 человек (но 4 ничего не получили за этот месяц). Конечно, и этого было очень недостаточно, и рабочие, например, зимой 1796/97 г. еще жалуются на дороговизну припасов и просят у министра вспомоществования в виде раздачи им дров и свечей и увеличения платы; но в общем положение их все же не такое отчаянное, как было в 1795 г., и особенно в первые месяцы 1796 г. вследствие кризиса ассигнаций. Цены, указанные за брюмер, повторяются с незначительными отклонениями и в тех отчетах, которые сохранились за следующие месяцы. Да и петиции рабочих, изредка еще попадающиеся среди документов 1797 г., ходатайствуют больше только об ускорении в присылке уже ассигнованных сумм [370], и эти просьбы — лишь подкрепле-

ние аналогичных ходатайств самого директора. Вообще же по всем бумагам, относящимся к 1797 г., ясно, что правительственная мануфактура существовала сравнительно спокойно, обеспеченная выдававшимися суммами из казны и только волнуемая иногда случавшимися задержками в получении сумм да еще некоторыми не удобными для промышленного предприятия свойствами французского бюрократического централизма (в этом смысле любопытна довольно долгая переписка [371] между министром внутренних дел и мануфактурой: следует ли дозволить служащему поехать на мануфактуру Гобеленов, т. е. совершить путешествие продолжительностью в несколько часов, и не лучше ли написать письмо? и т. д.). Это сравнительное спокойствие как будто начинает меняться уже к концу 1797 г., а к началу 1798 г. мы опять слышим мольбу безработных о помощи. 13 января 1798 г. безработные пишут министру внутренних дел о своем беспомощном положении и просят о пособии [372]. Препровождая эту петицию в министерство, директор Камусс в своем письме разъясняет и причину этой безработицы: работы не хватило на всех по причине задержки в получении материалов, что произошло опять-таки вследствие бюрократических проволочек и затруднений, помешавших вовремя послать в Париж необходимого человека. Вместе с тем он присоединяет список безработных, которым, по его мнению, следует выдать пособие. Решено было выдать пособие в размере не выше 30 су в день на человека за все безработные дни. Но положение даже и имеющих работу в начале 1798 г. было нелегкое вследствие задержки в присылке нужных сумм; об этом красноречиво свидетельствует петиция, представленная Директории (за подписью всех 36 рабочих) 17 февраля 1798 г.[373] Они просят выдать плату, которую правительство им должно уже несколько месяцев. Любопытно, что, обращаясь к Директории, рабочие считают долгом соответствующим образом изменить изъявление своих гражданских чувств; в 1790—1791 гг. они говорили в конце петиций о своих чувствах «к нации, к закону и королю» согласно ходячей тогда политической фразеологии (à la Nation, à la Loi et au Roi); в 1793 г. они поздравляли Конвент с казнью Людовика XVI; теперь они выражают свои чувства к новой конституции, установившей Директорию. «Тридцать шесть честных трудолюбивых семейств, искренно преданных конституции III года и правительству, обязаны будут его отеческим заботам новой жизнью, счастьем и благосостоянием»; они «будут осыпать вас благословениями признательности» и т. д. и т. д. В таком же роде и другая петиция, поданная спустя короткое время (2 марта 1798 г.) в Директорию и представляющая почти копию первой. В конце этой второй петиции есть еще и фраза, в которой говорится: «Слезы их (рабочих — *Е. Т.*) скорби уступят место слезам признатель-

ности, и они благословят благодетельных директоров (т. е. членов Директории — *Е. Т.*), каждый миг которых занят тем, что они делают нацию уважаемой извне, а внутри — всех добрых граждан счастливыми и довольными».

Такие задержки случались нередко; они объясняются, конечно, прежде всего тем тяжелым финансовым состоянием, в котором находилась Директория в это время, хотя вместе с тем иной раз нельзя отрицать и бесспорную забывчивость и небрежность министров относительно рабочих. Что касается до рынка сбыта, то заграничный по-прежнему почти не существовал для французских предметов роскоши вследствие продолжавшейся войны, а внутренний тоже был совершенно ничтожен. Отказывая одному рабочему, вернувшемуся из военной службы, в приеме в число рабочих мануфактуры в Бове, министр внутренних дел говорит, что «он не может увеличить число рабочих на мануфактуре в Бове, пока торговля не предоставит этому заведению новых рынков для продажи его продуктов» [374]. Эти слова относятся к началу декабря 1798 г. Почти в то же время Камуссу было отказано в деньгах на восстановление при мануфактуре производства ковров (tapis de pied), хотя, по его мнению, ковры имели бы сбыт и окупили бы издержки производства. Министерство, отказывая в этой просьбе, обращает внимание Камусса на гибель уже существовавшей прежде мануфактуры в Обюссоне (Aubusson) и на то, что «следует предоставить частным лицам делать новые попытки в этом направлении» [375] и бороться с «обстоятельствами», погубившими мануфактуру в Aubusson. Тем не менее существование мануфактуры в Бове по крайней мере становилось все прочнее. Из ведомости за вандемьер, сохранившейся в документах (т. е., значит, за месяц с 22 сентября по 21 октября 1798 г.), мы видим [376], что на фабрике работают 27 человек, т. е. приблизительно столько же, сколько в предшествующие годы, но получают эти люди значительно больше, нежели еще за несколько месяцев до того; всего двое выработали за этот месяц 20 и 24 франка, все остальные больше: 2 человека — по 30 франков, 1—36, 7— по 40, 1—45, 2— по 50, 3— по 60, 3— по 70, 1—72, 3— по 80, 2— по 100 франков. Ясно, что работы прибавилось, и этот же вывод подтверждается всей остальной перепиской директора с министерством, где постоянно идет речь о закупке новых материалов, об отправке оконченных работ в Париж и т. д. Ведомость за нивоз VII года (т. е. с 20 декабря 1798 г. по 19 января 1799 г.) показывает еще дальнейшее увеличение выработанных рабочими сумм; всего четверо получили от 30 до 36 франков каждый, остальные больше и в общем значительно больше: 4— от 40 до 47 франков, 3— по 50 франков, 7— по 60 франков, 1—64 франка, 4— от 70 до 72 франков, 1—92 фран-

ка и 4— от 100 до 114 франков каждый [377]. Подобный же документ за прериаль, также сохранившийся среди бумаг 1799 г., показывает, что дела мануфактуры держались на том же уровне и рабочие вырабатывали и летом 1799 г. не меньшие суммы, чем зимой. За этот месяц прериаль (т. е. с 20 мая по 18 июня 1799 г.) всего один рабочий выработал 25 франков, 4— от 40 до 45 франков, 4— по 50 франков, 7— по 60 франков, 1— 64 франка, 3— от 70 до 72 франков, 4— от 80 до 88 франков и 3— по 100 франков [378].

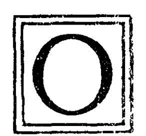
Но если рабочие вырабатывали суммы, которые были больше прежних, если мануфактура не стояла без работы, то из этого еще не следует, что они *получали* выработанные деньги сколько-нибудь аккуратно: в сентябре 1799 г. рабочие посылают горестную петицию [379] (это первая за очень продолжительное время), в которой заявляют, что им не уплачено за 7 месяцев и что они со своими семьями находятся в весьма затруднительном положении; они просят ускорить выдачу заработанных денег. К петиции приложена бумажка, на которой написано в нескольких словах содержание просьбы рабочих, а на полях бумажки выразительная резолюция «rien à faire». В конце концов, разумеется, рабочие получали свои деньги, но финансовый беспорядок, в котором Директория доживала свои дни, делал эти отсрочки и откладывания неизбежными.

Консульство, постепенно внеся ряд улучшений в финансовое положение государства, поставило национальные мануфактуры в более прочное и спокойное положение. Документы, относящиеся к временам Консульства и Империи, действительно указывают и на то, что мануфактура не стояла без дела, и на то, что ассигнованные на нее деньги доходили до нее вовремя. Характерна также несравненно бóльшая, нежели в предшествующие времена, аккуратность и обстоятельность в отчетности. Вместе с тем прекращаются какие бы то ни было сведения, идущие от самих рабочих, которые могли бы бросить свет на их жизнь при Консульстве и Империи и дать нам более точное представление о том, как на рабочих отразилась эта видимая перемена в финансовом положении мануфактуры.

Эта эпоха уже выходит из рамок нашей работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

знакомившись с тем, что пережил рабочий персонал национальных мануфактур за время революции, попытаемся в немногих словах определить, к каким главным выводам приводят документальные данные, легшие в основание этой работы.

Прежде всего мы должны заметить, что *даже* история производства таких objets de luxe, как произведения национальных мануфактур, показывает нам, что скорее правы исследователи вроде Жореса, склонные не признавать существования одинаково острого торгово-промышленного кризиса в первые годы революции, нежели те, которые весь революционный период с первого момента до последнего изображают в виде одного непрерывного коммерческого и индустриального разгрома. Оказывается, что *даже* те отрасли индустрии, которыми занимались национальные мануфактуры и которые согласно всем суждениям a priori не могли за весь революционный период знать ничего, кроме полного разорения, даже эти отрасли индустрии после действительно крутого понижения сбыта в 1789 г., в 1790—1791 гг. в общем еще не были в таком отчаянном положении, как впоследствии; и потом эти годы (1790 и 1791) вспоминались как *сравнительно* удовлетворительные. В 1792—1793 гг. кризис резко обостряется, и с этих пор мануфактуры уже не выходят из крайне затруднительного, временами совершенно бедственного состояния. При этом нужно только отметить в виде исключения, что Севрская мануфактура в 1796 г. и начале 1797 г. несколько поправила на короткое время свои дела. Вполне очевидно, что если революционная буря 1789 г. нанесла крайне серьезный удар сбыту предметов роскоши, то только начавшаяся в 1792 г. война с коалицией повела за собой вместе с закрытием внешних рынков если не полное

прекращение сбыта этих товаров, то самое грозное обострение кризиса, начавшегося в 1789 г. и несколько приостановившегося в 1790—1791 гг.

Таков общий фон, на котором развертывается рисуемая нашими документами картина положения рабочих за это десятилетие. Мы замечаем далее, что первый год революции не отражается сколько-нибудь явственно на положении и настроении рабочих, но в 1790 г. всюду начинается борьба за свои профессиональные интересы. Борьба эта, которую довольно глухо обрисовывают наши источники, ведется в общем (если не считать некоторых эксцессов в Бове) в мирных формах, но настойчиво. Рабочие выбирают особых уполномоченных, дают им полное право говорить с начальством от имени всех товарищей, и эти переговоры кончаются всюду, где решение дела зависит *непосредственно* от главного начальства (т. е. всюду, кроме Бове), полной победой рабочих к началу 1791 г. Затем, 1791 год и первые месяцы 1792 г. проходят более или менее спокойно. После 10 августа 1792 г. положение становится очень трудным ввиду денежных затруднений казны. Ролан стремится отнять у рабочих то, что они получили в конце 1790 г. и начале 1791 г., во имя интересов экономии, и рабочие не только не предпринимают борьбы, но даже среди них не всегда находится достаточно единодушия, чтобы воздержаться от заявлений о своей покорности, которые прямо вредят всякой попытке их товарищей отстоять общее дело. Рабочие покоряются из страха быть изгнанными, как некоторые из них заявляли спустя несколько месяцев. Таких примеров неособенной крепости товарищеских уз читатель нашей работы найдет вообще не только на одной какой-нибудь из национальных мануфактур и не только в 1792 г. Повторяя то, что уже было высказано нами раньше, скажем, что едва ли не всюду, где общие шаги рабочих по тому или иному поводу были сопряжены с некоторым риском, дело не обходилось без более или менее явственно отразившегося в документах разногласия. Но вот наступает 1793 год, и вскоре господство монтаньяров становится на очереди дня. Рабочие сохраняют то, что хотел у них отнять Ролан; революция, переживавшая самый демократический свой период, делает за них то, что они сами не могли сделать. Рабочие являются на некоторое время господами положения, они кое-где устраняют прежнее начальство, они же местами входят через своих выборных в состав новой администрации. Выдвигаются наиболее революционно настроенные и наиболее энергичные люди, которым подчиняются остальные. Но наступает термидорианская реакция, и участие рабочих в администрации мануфактур прекращается само собой, без малейших следов борьбы и даже какого бы то ни было ясно выраженного неудовольствия со стороны

рабочих. С 1793 г., а особенно с 1794—1795 гг. все помыслы рабочих безраздельно поглощены отчаянным материальным положением. Сбыта нет, а правительственная помощь крайне недостаточна ввиду обесценения ассигнаций, и никакие прибавки не помогают вследствие того, что это обесценение быстро прогрессирует. В 1795 г. начинается раздача съестных припасов натурой, но это только ослабляет, а не устраняет бедствий рабочих, ибо, во-первых, продукты часто бывают очень плохого качества, а во-вторых, остается вопрос об одежде и о целой массе других предметов первой необходимости, которые купить за ассигнации нет никакой возможности. На эту раздачу съестных припасов тем не менее и администрация мануфактур, и рабочие смотрят как на якорь спасения, и когда в 1796 г. правительство отменяет эту раздачу, то директоры мануфактур всякими способами и уловками стараются продолжить ее еще на несколько месяцев. Со второй половины 1796 г. часть жалованья выдается уже звонкой монетой, а с весны 1797 г. звонкая монета окончательно входит в обиход. Начинается новая серия бедствий для рабочих, ибо теперь правительство целыми месяцами задерживает уплату и ставит рабочих в истинно отчаянное положение. Без хлеба, без одежды, без кредита они доведены до полной нищеты и истощения. Постепенное улучшение финансов государства уже после падения Директории вывело национальные мануфактуры из этого положения.

2

Таково в общем было материальное положение этих нескольких сот человек, история которых в эпоху революции нам рассказана архивными документами подробнее, нежели история всего остального рабочего класса. Каково же было политическое настроение их в эти критические годы? Никаких следов сколько-нибудь живого, активного интереса к политическим событиям и идеям мы среди рабочих национальных мастерских почти не видим (если не считать двух-трех фактов) вплоть до падения монархии. Только с осени 1792 г. и особенно в 1793 г., и то больше всего одни лишь севрские рабочие проявляют интерес к общественным делам, участвуют в местном революционном комитете и т. д. С начала же термидорианской реакции снова и уже окончательно исчезают всякие следы активного интереса к политике. Для них правительственная власть есть прежде всего работодатель, всемогущий хозяин, ein Brotherr, как выражаются в Германии, от которого они всецело зависят. Самым почтительным образом в одинаково горячих выражениях обращаются они обыкновенно и к d'Angiviller, и к Национальному собранию, и к Ролану, и к Конвенту, и к комиссии земледелия и искусств,

и к Директории, и к Люсьену Бонапарту, и к Наполеону Бонапарту. Все это начальство они называют своими отцами и благодетелями и попутно выражают преданность тому режиму, представителем которого является их адресат. Но нужно отметить, что старый, предреволюционный порядок всегда и неизменно вызывает у них самое решительное осуждение, и по-видимому они не противопоставляют один революционный режим другому, а *всякий* революционный режим или все режимы революции противополагают этому ненавистному старому порядку «времени деспотизма». Мы бы сказали, что если вообще было у рабочих национальных мануфактур хоть одно твердое политическое убеждение, то это было отрицательное отношение к дореволюционному порядку вещей. В общем же полная, беспрекословная покорность по отношению к установленным властям может считаться типичной для всех рабочих национальных мануфактур. За все десятилетие, нас интересующее, собственно только один раз, в 1790 г., на всех национальных мануфактурах рабочие не столько просили, сколько *требовали* уступок (хотя и старались по возможности хранить вполне почтительный тон) и кое-где даже прибегали к насильственному образу действий. После этого времени какие бы то ни было проявления желания не только просить, но и *бороться* за исполнение своих просьб почти вовсе исчезают: отстаивание воскресного отдыха (вместо decadi) на Севрской мануфактуре является совершенным исключением. Нужно повторить то, что уже было нами отмечено в предшествующем изложении: едва ли не всегда в тех случаях, когда дело шло о каком-либо риске, когда требовался и был особенно необходим стойкий образ действий, далеко не все рабочие проявляли товарищеские чувства. Попытки организоваться можно отметить для 1790 г., когда местами рабочие выбирали своих «комиссаров» для объяснений с начальством. В 1793 г. представители центральной власти делали несомненные усилия организовать рабочих и ввести их выборных в административные советы, в которых эти выборные вместе с дирекцией решали бы дела, интересующие рабочих.

Но стоило наступить термидорианской реакции, и вскоре ничего от этих попыток не осталось. Вообще можно сказать, что если не политические, а чисто профессиональные стремления только и проявлялись рабочими национальных мануфактур, то эти профессиональные стремления в свою очередь сводились у них почти исключительно к вопросу о заработной плате. Даже вопрос об увеличении времени отдыха после 1790 г. возбужден был только один раз и на одной мануфактуре (в Севре по поводу празднования воскресного дня). Нечего и говорить, что вопрос *об организации* среди этих профессиональных стремлений совсем уже никакой роли не играл.

О своем социальном положении рабочие национальных мануфактур были высокого мнения. Себя, «артистов», они считали в высшей степени полезными для нации, славы государства. Они приравнивали себя к чиновникам, состоящим на государственной службе (в чем с ними не соглашалось министерство внутренних дел). Они с гордостью указывали на то, что целые поколения одних и тех же семейств работают на мануфактурах; иной раз они прямо предъявляли права на пользование теми землями, которые числились за мануфактурой, ибо они в этом отношении не видели никакого превосходства прав дирекции над своими правами.

Тут кстати будет заметить, что это воззрение на собственное свое значение *в общем*, если не считать редких исключений [380], не приводило рабочих к столкновению с дирекцией этих заведений; со своими директорами они обыкновенно не ссорились, быть может больше всего именно вследствие сознания, что от этих директоров зависит очень мало и что судьба заведений и их персонала в руках министерства внутренних дел, которое принимает и увольняет рабочих, назначает жюри для расценки работ, фиксирует плату, выдает прибавки и их прекращает и т. д. и т. д. Только в Бове (до отставки предпринимателя Мену) дела мануфактуры зависели непосредственно от Мену, и центральная власть уклонилась от решения распри между предпринимателем и рабочими.

3

Можно ли на основании документов, касающихся рабочих национальных мануфактур, уяснить себе, каковы были за рассматриваемый период наиболее характерные черты в отношениях государства к этой прямо от него зависевшей категории рабочего класса?

В первые годы революции, когда мануфактуры находились под главным управлением графа d'Angiviller, правительству пришлось считаться с брожением рабочих, и оно всюду пошло на уступки, где только от него непосредственно зависело удовлетворение выставленных требований, и только в Бове, как выше замечено, где рабочим в этот период нужно было еще считаться непосредственно с предпринимателем, дело не окончилось их победой. Нам нет никакой нужды строить априорные предположения относительно того, чем объясняется такая уступчивость: документы явственно дают понять, что двор боялся в эту критическую эпоху возбудить против себя рабочих и в конце концов выбросить на улицу несколько сот человек, которые уже прямо и непосредственно могли бы сваливать вину за свою несчастную участь на короля. Общее положение дел, триумф

революции — все это сильно помогло рабочим в 1790 г., когда шли их переговоры с начальством. Королевский двор согласился на уступки, которые были для него очень невыгодны, и только украдкой, исподтишка главное начальство королевских мануфактур старалось сократить эти новые и очень неприятные для него расходы (распоряжениями не принимать новых рабочих, всячески стараться сокращать число уже существующих и т. п.). Такова в общем была политика графа d'Angiviller и сменившего его в главном начальствовании над мануфактурами в середине 1791 г. интенданта цивильного листа De la Porte, при котором, нужно сказать, на мануфактурах все было вполне спокойно, ибо, с одной стороны, рабочие были удовлетворены своими недавними завоеваниями, а с другой стороны, финансовый кризис еще не обострялся так страшно, как впоследствии, ассигнации еще не были так обесценены, а задерживать заработную плату так, как это делала впоследствии, например, Директория, королевский двор, конечно, не мог осмелиться и, судя по документам, боялся волнений, даже когда изредка случались просрочки в один месяц. Наступает 10 августа и конец монархии. Рабочие национальных мануфактур попадают вскоре в руки министра внутренних дел Ролана.

За короткое время своего вторичного министерства жирондистский министр является в наших документах человеком, который прежде всего стремится к строжайшей экономии в расходовании казенных денег на национальные мануфактуры и вместе с тем нисколько не боится возможных волнений среди рабочих. Он прямо ведет атаку против сделанных уже полтора года тому назад уступок, требует от рабочих беспрекословного подчинения своей воле, грозит недовольным рабочим увольнением, подчеркивает мысль о необходимости субординации и т. д. По самому тону своего отношения к рабочим это прямой предшественник Люсьена Бонапарта. Такая мера его, как, например, требование подписи рабочих, что они согласны подчиниться ненавистному для них восстановлению поденьной платы, с угрозой уволить неподписавшихся, обличает не только полнейшую уверенность в своей силе и в слабости рабочих, но и желание эту свою силу вполне явственно продемонстрировать.

Он горько упрекает тех, кто, по его сведениям, способствовал излишней (по его мнению) уступчивости бывшего начальника, графа d'Angiviller; и ему, республиканскому министру, приходится выслушать от рабочих робкий намекающий упрек, что при монархии d'Angiviller удостоил узнать мнение рабочих перед тем, как решить их участь, а он, Ролан, республиканский министр, и этого не хочет сделать. Конечно, разница тут была лишь в том, что d'Angiviller боялся, а Ролан не боялся рабочих, ибо монархия 1790—1791 гг. была слаба, а республика 1792 г.

была сильна; и раздражение нескольких сот парижских и севрских рабочих, являвшееся в глазах погибавшего двора таким ингредиентом общей смуты, который мог стать опасным, в глазах Ролана не имело значения.

Рабочие готовы были смириться перед Роланом, который, как некоторые из них потом заявляли, терроризировал их угрозой увольнения, но опять их выручил дальнейший победоносный ход революции.

Монтаньяры сменили жирондистов. Ни прежде, ни после, за всю эпоху революции, власть не относилась к рабочим так гуманно, не обнаруживала такого стремления поднять их самодеятельность, как в 1793—1794 гг. Часто грустят по поводу «вандализма якобинцев», сжегших такие-то произведения Гобеленов, разбивших такие-то севрские статуи и вазы только потому, что эти предметы искусства изображали монархические и феодальные сюжеты. Историк рабочего класса во всяком случае скажет, что относительно рабочих вообще якобинцы «вандалами» отнюдь не были, в частности относительно рабочих национальных мануфактур. Мало того, они проявили весьма широкий взгляд на общегосударственное значение этих заведений,— взгляд, до которого никогда не мог возвыситься Ролан. При них республика обуревалась такими же и еще худшими невзгодами, нежели при Ролане, и однако они, в лице министров внутренних дел (особенно Paré), в лице комитета и комиссии земледелия и искусств, в лице Комитета общественного спасения и самого Конвента, упорно желали даже путем жертв, столь трудных при тогдашнем состоянии финансов, сохранить для государства эти «школы искусств».

Гордая вера в будущее, столь характерная для деятелей первых лет Конвента, сказывается в действиях власти в эту эпоху по отношению к национальным мануфактурам. Тут мы имеем дело с проявлением того настроения этих деятелей, которое так хорошо по другому поводу охарактеризовал Léon Cahen: «...ils ne craignaient pas la ruine parce que la nation devenue libre disposait selon eux de richesses immenses qu'il était impossible d'évaluer exactement. Il y a eu là comme un phénomène de religiosité, un mouvement de foi dans la vertu de la France et de la liberté»[381]. Что касается попыток дать рабочим известную организованность, ввести их представителей в администрацию, укрепить взгляд на рабочих как на людей, с которыми дирекция должна братски делить заботы по управлению и так далее, то рабочие оказались недостаточно энергичными и подготовленными, чтобы закрепить за собой эти дары судьбы, ибо тут они только шли за революцией и после наступления термидорианской реакции без каких бы то ни было следов борьбы, как мы уже заметили, опять вернулись к своему совершенно подчиненному

положению. Вообще, и принося материальные жертвы для сохранения мануфактур, политические деятели 1793—1794 гг. думали о будущем, и, делая попытку возвысить положение рабочего персонала, они шли не только далеко впереди современных им частных предпринимателей, но, можно сказать, впереди и тех самых рабочих, о пользе которых они заботились.

Термидорианская реакция и особенно эпоха Директории ознаменованы в интересующей нас тут области стремлением поддержать авторитет администрации и дисциплину среди рабочих, и это стремление тем заметнее, чем меньше в сущности было поводов со стороны рабочих к тому, чтобы подобная тенденция проявлялась. Бюрократический формализм также становится заметнее, нежели был в предшествующие годы; полицейская подозрительность, бывшая во времена Директории на очереди дня, распространяется в городах в особенности на рабочий класс, и рабочие национальных мануфактур не составляли в этом отношении исключения [382].

Но правительство при Директории вовсе не боялось, собственно, рабочих, как боялся их, например, королевский двор в первые годы революции, и оно иной раз проявляло некоторую небрежность по отношению к ним. Персонал национальных мануфактур пережил именно в эти годы самые острые страдания, и финансовый кризис был, конечно, главной, но едва ли всегда *единственной* их причиной. Министерство внутренних дел в период полного обесценения ассигнаций, а затем мандатов давало рабочим одну прибавку за другой, но эта помощь в значительной мере оставалась, как сказано, чисто иллюзорной, и когда с весны (март — апрель) 1797 г. звонкая монета (начавшая появляться в обороте уже с середины 1796 г.) заменила мандаты, то правительство систематически целыми месяцами стало задерживать выдачу рабочим платы и ничего не платило даже за те произведения, которые именно в этот год в обильном количестве отбирала из национальных мануфактур для собственных нужд (подарков представителям иностранных государств, украшения дворцов и т. п.). При всем недостатке финансовых средств у Директории находились в эти годы на многое такое, что более терпело отлагательства, суммы, которые в несколько раз превышали издержки на национальные мануфактуры.

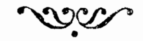
Конечно, далеко не в первые же месяцы Консульства поправилось отчаянное положение рабочих. Для севрских рабочих время Консульства ознаменовалось катастрофой — массовым увольнением рабочих во имя экономии. Но в общем для рабочих остальных национальных мануфактур и для оставшихся севрских рабочих эпоха, начавшая упорядочение финансов, не могла не быть eo ipso временем улучшения их материального быта. Что же касается до тенденций всеми мерами поддерживать

«дисциплину», «субординацию», «добрый порядок и спокойствие», то в этом отношении Консульство, конечно, продолжало дело Директории...

Время господства монтаньяров оказалось таким образом единственным моментом за все десятилетие, когда правительственная власть, нисколько не боясь рабочих, относилась к ним вместе с тем вполне искренно благожелательным образом, наиболее последовательно демократически. И эпохи, как предшествующая этому краткому моменту, так и следующая за ним, оттеняют его обе одинаково отчетливо. Это один из тех выводов, которые подтверждаются также данными, относящимися к рабочим частных промышленных предприятий. В следующих наших этюдах мы увидим, что это не единственное заключение, выведенное из документов национальных мануфактур, но вместе с тем не лишенное значения и для истории более многочисленных категорий рабочего класса.

1908 г.

Комментарии



КРЕСТЬЯНЕ В ВЕНГРИИ ДО РЕФОРМЫ ИОСИФА II

[1] В венгерской исторической литературе было много внимания обращено на исследование вопроса о роли и характере графств, о населении, подчиненном в порядке управления бургам, и пр. Историки Botka и Pesty высказали предположение, что в древней Венгрии существовали совместно два вида графств: военные и гражданские (*Jahresberichte der Geschichtswissenschaft*, Bd. II, 1882, стр. 420). Pauler признает административной единицей Венгрии исключительно гражданское графство, к которому приписано все население без изъятий. Давнишние мнения относительно того, что varmegye были самобытно выработанным институтом венгерского народа,— получили новое подтверждение в исследовании Stefan Gyarfas, который обнаружил существование в XVI в. крестьянских varmegye, образованных с целью сообща отражать разбойнические набеги турок (G y a r f a s S. *A paraszt varmegye*, цитировано по *Jahresberichte*, Bd. III, стр. 139).

[2] H o r w a t h M. *Geschichte der Ungarn*, Bd. I. Pesth, 1851, стр. 36.

[3] *Decretum Sancti Stephani I*, lib. II, c. XVII: Si quis misericordia ductus proprios servos et ancillas libertate donaverit cum testimonio, decrevimus ut post obitum eius nemo invidia tactus in servitutem eos audeat inducere... etc.

[4] *Decretum Sancti Stephani I*, lib., c. XX, § 1 и 2 (*Corpus juris hungarici*). Editio 1756a.

[5] *Decretum Andreae III*, art. LXX, LXXIII.

[6] B i d e r m a n n H. *Die ungarischen Ruthenen*. Innsbruck, 1862, стр. 88.

[7] Цитировано по Bidermann'у.

[8] *Sancti Ladisl. Regis Decret.*, lib. II, c. 15, 16, 17, c. 17, § 1: Custodes ergo confiniorum, qui vulgo Evvrii vocantur, si absque licentia Comitum tale quid commiserint libertatem amittant.

[9] B i d e r m a n n H. Цит. соч., стр. 91; E n d l i c h e r S. *Monumenta Arpadiana Sangalli*. 1849, стр. 342.

[10] B i d e r m a n n H. Цит. соч., стр. 93.

[11] Там же.

[12] Там же.

[13] Там же, стр. 94 и др.

[14] См. Л у ч и ц к и й И. В. Крестьяне и крестьянская реформа в Дании XVI—XVIII вв.— *Северный вестник*, 1890, № 12, стр. 85—161.

[15] *Decretum Sancti Stephani I*, lib. II, c. 5 и 35. (*Corpus juris hungarici*, t. 1).

[16] Pray. *Hist. Reg.*, p. 1, Nob praev., p. LIV, цит. в книге: Fessler I. A. *Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen*. Leipzig, 1847—1849.

[17] Virozsil *A. Das Staats-Recht des Königreichs Ungarn*, Bd. II. Pest, 1865, стр. 353: ...zwei höhern Ständen, die zunächst um den König eine Klasse von Oligarchen bildeten...

[18] *Decretum Andreae II, an. 1222*, §2 и 3.

[19] Там же, art. 1.

[20] Там же, art. 4, § 1.

[21] Там же, art. 17.

[22] *Decretum Belae IV, de an. 1267, art. VIII.*

[23] *Ludovici I Regis Decretum Unicum an. 1351*, art. 8 et 15. Nobiles ad loca tributorum ire non compellantur, § 1: Sed per portus quo voluerint, libero transitu; absque aliquali impedimento patiantur.

[24] Там же, art. 11, 12: Ad eorundem etiam Nobilium petitionem annuimus; ut universi viri Nobiles, intra terminos Regni nostri constituti etiam in tenutis Ducalibus sub inclusione terminorum ipsius Regni nostri existentes, sub una et eadem libertate gratulentur. Lucrum etiam Camerae nostrae Nobiles inter fluvios Drava, Sava ac de Posega et Valco cum aliis viris Nobilibus Regni nostri unanimiter solvere teneantur.

[25] Virozsil A. Цит. соч., Bd. II, стр. 352.

[26] Следует заметить, что в половине XIV столетия организация войска была уже не та, что в былое время: уже не Obergespan являлся в назначенное время во главе милиции графства, jobbagyonum castri: тогда царила система бандерий; дворяне должны были доставить в лагерь отряд вооруженных людей в урочный срок.

[27] *Ludovici I Regis Decretum Unicum an. 1351*, art. 6: Praeterea ab omnibus Jobbagyonibus nostris aratoribus et vineas habentibus... nonam partem omnium frugum suarum et vinorum suorum exigi faciemus... § 1. Praelati quoque et viri Ecclesiastici Jobbagyones habentes, primo decimas post haec similiter nonam partem omnium frugum... exigant... §3. *Ut per hoc honor noster augeatur et ipsi Regnicolae nostri nobis fidelius possint famulari.*

[28] А бандерии выставлялись огромные; это явствует из того, что Людовик не раз собирал армии в 200 тысяч человек (Horwath M. Цит. соч., т. I, стр. 205).

[29] Текст § 4 Золотой буллы (*Decretum Andreae II, an. 1222*, art. IV): Si quis serviens sine filio decesserit, quartam partem possessionis filia obtineat; de residuo, *sicut ipse voluerit disponat.*

[30] *Ludovici I Regis Decretum Unicum an.* 1351, § 11, Conclusio... excepto solummodo uno articulo praenotato de eodem privilegio excluso eo videlicet: quod nobiles homines sine herede decedentes, possint et queant Ecclesiis vel aliis quibus volunt in vita, vel in morte dare et legare, possessiones eorum vendere, vel alienare. Imo ad ista facienda nullam penitus habeant facultatem, sed inter fratres proximos et in generationes eorundem, ipsorum possessiones de jure, legitime, pure, simpliciter absque contradictione aliquali devolvantur.

[31] Horwath M. Цит. соч., т. I, стр. 204.

[32] *Ludovici I Regis Decretum Unicum an. 1351*, art. 16 et 18.

[33] Bidermann H. Цит. соч., стр. 107.

[34] Thuroczy. IV. cap. 22; Horwath M. Цит. соч., т. I, стр. 276.

[35] Fessler I. A. Цит. соч., т. IV, стр. 978.

[36] Horwath M. Цит. соч., т. I, стр. 440.

[37] Stein L. *Innere Verwaltungslehre. Drittes Hauptgebiet. Die wirtschaftliche Verwaltung*. T. I. Stuttgart, 1868, стр. 152.

[38] Fessler I. A. Цит. соч., т. V, стр. 893 и сл. взято Fessler из Isthuanffy, lib. V, стр. 40.

[39] Fessler I. A. Цит. соч., т. V, стр. 899 и сл.

[40] Очерк хода восстания 1514 г. сделан полнее всего у Фесслера, цит. соч., т. V, стр. 897—917 и Горвата, цит. соч., т. I, стр. 440 и сл.

[41] Pray. *Epist. procer.*; Horwath. Цит. соч., т. I, стр. 442.

[42] Подробности, касающиеся казни, см. Fessler I. A. Цит. соч., т. V, стр. 965.

[43] *Vladislai II Regis Decretum an. 1514*, art. 18. Item de omnibus terrae nascentiis, sive metantur, sive falcentur praeterea de vinis, dominis ipsorum nonas, seu nonam partem ultra decimas praelatis eorum debitas, solvere teneantur.

[44] Там же, art. 16.

[45] Там же, art. 13: Et quod sub hoc colore publici malefactores non evadant, sed prout limitatum et conclusum est, ubique puniantur. *Sed providendum semper est*: *ne innocentes condemnentur*.

[46] Закон этот любопытен по своей редакции, которая скорее напоминает обвинительный приговор по уголовному делу, нежели законодательный акт: Quanquam omnes rustici, qui adversus Dominos eorum naturales insurrexerunt, tanquam proditores capitali poena essent plectendi. Ne tamen tanti sanguinis effusio adhuc sequatur et omnis rusticitas (*sine qua Nobilitas parum valet*) deleatur. Statutum est quod universi... homicidae... omni gratia semota occidantur et ubilibet extirpentur... attamen ut hujus modi proditionis eorum memoria ac poena... ad posteros... transeat... amissa ilbertate eorum qua de loco in locum recedendi habebant facultatem. Dominis ipsorum terrestribus mera et perpetua rusticitate sint subjecti, neque de caetero contra voluntatem et consensum Dominorum suorum de loco in locum... habeant facultatem.

[47] Bidermann. Цит. соч., стр. 99. Gedenkenbuch d. Stadt Kniesen.

[48] *Tripartitum*, partis III, titulus 25: De villanorum quos jobbagyones, etc., § 1, 2, 3, 4, 5, 6 и сл. (*Corpus juris hungarici*, t. 2).

[49] Fessler I. A. Цит. соч., т. V. Verfall der Landescultur, стр. 193.

[50] *Tripartitum*, partis II, titulus 4: Nomine et appellatio ne populi hoc in loco intellige *solummodo*: Praelatos, Barones et alios Magnates atque quoslibet Nobiles, *sed non ignobiles*.

[51] *Ludovici II Regis Decret. VII, Campi Rácos A.* 1526, art. 10: Rustici universi per singula capita parati esse debeant et si extrema necessitas postulaverit ac Majestas regia mandaverit per singula capita. Vel si Majestas sua voluerit quinta eorum pars bene armata insurgere et ad loca per Majestatem suam deputanda convenire debeant et teneantur. Per singula tamen capita rustici non leventur, nisi in extrema necessitate.

[52] Antonii Verant. *Epistol. ad Maximil. Reg.*, *Posonii*, 23 *Februar.* 1573; Johan Liszt, *Epistol. ad Anton. Verant. Katona*, t. XXV, стр. 423. Isthuanffy, Lib. XXIV, стр. 323 и сл. См. Fessler. Цит. соч., т. VII, стр. 151.

[53] Лучицкий И. В. История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г.— «Унив. изв.», Киев, 1880, № 11, стр. 319.

[54] Об этой черте крестьянских бунтов см. Stein L. Цит. соч., стр. 153.

[55] Gyarfas S. A paraszt varmegye.— *Jahresberichte der Geschichtswissenschaft*, 1882, Bd. III, стр. 139.

[56] Bidermann, Цит. соч., стр. 100, прим. 4.

[57] *Decret. X Ferdinandi I Imper. et Reg. an. 1547*, art. 26: *Colonis vetus migrandi libertas restituitur*. Cum autem variis exemplis vetustis et recen-

tioribus saepenumero palam innotuerit Dei optimi maximi vindex ira ob peccatum aliquod populi gravius: neque ulla res magis ab aliquot annis florenti quondam Ungariae nocuisse videatur, oppressione colonorum, quorum clamor ascendit jugiter ante conspectum Dei; ad avertendam indignationem summi rerum omnium opificis, ejusdemque benignitatem... Statuerunt unanimiter: ut libertas subditorum miserorum colonorum superioribus annis quacunque ratione illis adempta restituatur. Liceatque in posterum, nolentibus sub imperio, potestateve alicujus Domini vel nobilis durioris fortassis et severioris vivere, alio commigrare.

[58] Там же, art. 27; см. также статьи 28 и 29 того же декрета 1547 г.

[59] Слова Бидермана.

[60] S u g e n h e i m S. *Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit.* Leipzig, 1861, стр. 392.

[61] Там же, стр. 393.

[62] См. W o l f A. *Geschichte Oesterreich unter Maria-Theresia.* Berlin, 1882, стр. 15: ...die Obrigkeit soll ihm nicht beschweren und nicht an eigenen Unterhalt und an der Nahrung verhindern.

[63] *Caroli VI Imper. et Reg. Decret. II, 1723*, art. 63, § 3...: stricteque observandum pariter et id statuunt: ut census dominales cum publicis oneribus non confundantur.

[64] V i r o z s i l. Цит. соч., т. III, стр. 72—73: Zu der zweiten Klasse oder Abtheilung können füglich alle jene Abgelegenheiten gezählt werden, bei denen König seine Suverenitätsrechte der obersten Aufsicht ausüben kann; dergleichen sind... *die Beschützung der Unterthanen gegen Bedrückung und Missbrauch der grundherrlichen Gewalt... etc.*

[65] Caroli VI Imper. et Reg. *Decretum 1723*, art. 56: De residentia supremorum comitum etc. § 3. Vice comites aliique comitatuum officiales sint de numero Nobilium, possessionati et desinteressati ac Dominos... nullatenus obligati.

[66] Bidermann сделал любопытную историческую справку относительно Urbarial Patent для Славонии: этот документ помечен в Вене 22 мая 1737 г. и подписан графами Дитрихштейном и Кенигсеггом, которые стояли тогда во главе Hofkriegsrath и императорской канцелярии; в связи с Patent находятся одновременно и последовавшие облегчения барщины в Каринтии, Моравии и Силезии. Очевидно, руководящее направление всему этому давала в те времена австрийская императорская канцелярия.

[67] См. об этих типах Л у ч и ц к и й И. В. История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г.— «Унив. изв.», Киев, 1880, № 11, стр. 323.

[68] Мнение Sugenheim'a.

[69] Ближайшее участие в редактировании Урбария принял на себя по поручению императрицы Hofrath Рааб; см. M a i l a t h J. *Geschichte der Magyaren*, Bd. IV, стр. 34.

[70] Все дальнейшее изложение построено на тексте *Institutio rei urbarialis* (ed. Pauli, 1826).

[71] См. относящиеся ко всем перечисленным реформам узаконения: *Institutio rei urbarialis*, т. I, pars II, de colonis, art. 1, sectio 2; pars II, c. I, sectio 1, art. 2.

[72] См. F e s s l e r I. A. Цит. соч., т. X, стр. 237; B i d e r m a n n. Цит. соч., стр. 109.

[73] *Ludovici I Regis Decretum Unicum an. 1351*, art. 18, 1.

[74] *Institutio rei urbarialis*, p. I, § 1.

[75] Там же, t. II, punct. 383, § 3.

[76] Там же, t. I, punct. 10, art. 2.

[77] Там же, t. II, punct. 353, § 2.

[78] Там же, t. II, punct. 354, § 4.

[79] Там же, t. I, punct. 301.
[80] Там же.
[81] Там же, t. I, punct. 302; там же, c. II, sectio 1 — de pascuo.
[82] Там же, t. II, punct. 3, § 1.
[83] Там же, t. II, punct. VIII, § 14.
[84] Там же, t. I, punct. 252, art. 2.
[85] Там же p. VI, § 3.
[86] Там же, p. V, § 1.
[87] Там же, p. V, § 4.
[88] Приведено у Sugenheim S. Цит. Соч.
[89] Bidermann. Цит. соч., стр. 103.
[90] См. письмо Марии-Терезии у Wolf A. *Geschichte Oesterreich unter Maria-Theresia*, стр. 98.

ЧАРЛЬЗ ПАРНЕЛЬ

[1] O'Connor Th. The *Parnell movement*. London, 1889, стр. 258.
[2] См. интересный отчет об этом процессе в *Annual register 1867*. London, 1868, стр. 196.
[3] *Dictionary of national biography*, vol. 43. London, 1895, стр. 323.
[4] См., например, O'Connor. Цит. соч., London, 1889, стр. 140: There used to be terrible stories even in the days, when he was an English member of parliament of *unpaid cabmen* and *appearences of police-courts*.
[5] См. описание эпизода между прочим у очевидца Sullivan A. *New Ireland*. London, 1877, стр. 409.
[6] См. *Annual register 1875*, p. 1. London, 1876, стр. 17.
[7] *Hansard's parliamentary debates*, 3 series, vol. 223, 38-я парл. сессия Виктории, год 1875. London, 1875, стр. 1643.
[8] Там же, стр. 1645: ...Knowing also, that in the neglect of the principles of self-government lay the root of all Irish trouble.
[9] Счет голосов см. там же, стр. 1662 и 1683.
[10] O'Connor прямо говорит в своих воспоминаниях (цит. соч., London, Commission ed., 1889, стр. 137): To him, brooding from his early days over the history of his country, this catastrophe came to crystallize impressions into convictions and to pave the way from dreams to action. It was the execution of Allen, Larkin and O'Brien that gave M-r Parnell to the service of Ireland.
[11] См. отзыв старого фения John O'Leary. *Recollections of fenians and fenianism*, vol. 2. London, 1896, стр. 169.
[12] *Parliamentary debates*, vol. 235, 40—41-я парл. сессии Виктории, стр. 656 и 659.
[13] Там же, vol. 235, стр. 1808.
[14] Там же, vol. 235, стр. 1811.
[15] Там же, vol. 236, 40—41-я парл. сессии Виктории, стр. 278, 286, 261, 281 и 298.
[16] *Parliamentary debates*, vol. 236, 40—41-я парл. сессии Виктории, стр. 271—302.
[17] Godré-Nemours L. *Parnell*. Paris, 1892, стр. 31.
[18] Johnston R. *Parnell and the Parnells*. Dublin, 1888, стр. 25.
[19] См. характеристическое место о Бьюте в *Annual register* 1877, p. 1, стр. 46.
[20] O'Connor. Цит. соч., 1889, стр. 161.
[21] К сожалению, пока слишком мало и неполно писано о Девитте, хотя его деятельность заслуживала бы обстоятельной монографии. На ирландской партии лежит обязанность опубликовать по крайней мере все материалы, нужные для такого труда.

[22] F i l o n A. *Profils anglais*. Paris, 1893, стр. 247.

[23] Там же.

[24] *Dictionary of national biography*, vol. 43, стр. 326.

[25] Я пользовался дополненным английским изданием. K o l b G. Fr. *The conditions of nations social and political with complete comparative tables of universal statistics*. Transl. and collated to 1880 by M-rs Brewer. London, 1880.

[26] B a g e n a l Ph. *The American Irish and their influence on Irish politics*. London, 1882.

[27] B a g e n a l Ph. Цит. соч., стр. 200.

[28] Там же, стр. 201.

[29] J o h n s t o n. Цит. соч., стр. 37.

[30] Около 700 тысяч рублей.

[31] *Annual register 1880*, p. 1. London, 1881, стр. 32.

[32] Там же. Not unworthy of the power of England.

[33] *Dictionary of national biography*, vol. 43, стр. 327: Over his parliamentary supporters he henceforth exerted an iron sway which is unparalleled in parliamentary annals.

[34] *Parliamentary debates*, vol. 255, стр. 1416.

[35] Mc C a r t h y J. *England under Gladstone*. London, 1884, стр. 102. The appointement of Mr. Forster's of the Irish secretaryship was regarded by many Irishmen as a marked sign of good intentions of the Government towards Ireland.

[36] См. об отношениях Рима к Ирландии в наше время монографию Mc C a r t h y J. *Pope Leo XIII*. London, 1896, стр. 104—112.

[37] *Twenty five years in the secret service. The recollections of a spy*, by Thomas Beach (alias major Henri Le Caron), 16 ed. London, 1893, стр. 151. О нем подробнее в следующих главах.

[38] *Annual register 1880*, p. 1. London, 1881, стр. 84.

[39] Там же: ...a condition of passing the vote that the government should promise to disarm and reduce the strength of the Irish public force.

[40] *Dictionary of national biography*, vol. 43, стр. 327: ...a speech at Ennis which marked an epoch in the struggle.

[41] O'C o n n o r. Цит. соч., стр. 203.

[42] *Parliamentary debates*, vol. 253, стр. 1666 (речь Гладстона): 15 000 individuals will be ejected from their homes, without hope and without remedy in the course of present year.

[43] J o h n s t o n. Цит. соч., стр. 41.

[44] *Annual register* 1880, p. I, стр. 119.

[45] Mc C a r t h y J. *England under Gladstone*, стр. 112. Речь Девитта.

[46] Гили.

[47] The queen's speech, january 6, 1881 (*Parliamentary debates*, vol. 257, 44-я парл. сессия Виктории. London, 1881, стр. 5).

[48] *Protection of person and property Ireland bill* (там же, стр. 1209).

[49] Там же, стр. 1210 (речь Форстера): It is also right to say, that the number, which occured in the month of december, was more, than those for october and november *put together*.

[50] *Annual register 1881*, p. 1. London, 1882, стр. 27.

[51] *Parliamentary debates*, vol. 257, стр. 1691—1694.

[52] Там же, стр. 1702.

[53] Там же, стр. 1961 и сл.

[54] См. *Annual register 1881*, p. 1, стр. 47—49 (the speaker's coup d'éta).

[55] *Parliamentary debates*, vol. 257, стр. 2033.

[56] G o d r é - N e m o u r s L. Цит. соч., стр. 70—71.

[57] *Annual register 1881*, p. 1, стр. 54.

[58] Там же: His conduct was not compatible with the ticket of leave of which he was a holder etc.

[59] *Parliamentary debates*, vol. 258, стр. 67—68.
[60] Там же, стр. 68.
[61] Там же, стр. 69—70.
[62] Там же, стр. 71: I say on my own responsability, that we have become a mere parody of third (?) Empire.
[63] Там же, стр. 72.
[64] Там же, стр. 78.
[65] Там же, стр. 71—80.
[66] *Annual register 1881*, p. 1, стр. 50.
[67] *Land law Ireland bill*. Parliamentary debates, vol. 260, стр. 890—939.
[68] *The Irish law*, p. 1. Ordinary conditions of tenancies, § 1.
[69] *Annual register 1881*, p. 1, стр. 99: Miserable dole, a half remedy.
[70] См. воспоминания О'Коннора (цит. соч., стр. 234).
[71] Между лендлордами и фермерами.
[72] См. превосходный стенографический отчет о митинге в *Times*, 1881, 16 september, стр. 8, статья «The national convention» (помечена 15 сентября, не подписана).
[73] As long as his land question is left open, it will prove a continuous source of discontent and of strife between classes in this country etc. (там же, стр. 8, в конце 1-го столбца).
[74] Там же:... had as their object.
[75] Там же, стр. 8, 2-й столбец.
[76] Там же: Avoid isolated action!
[77] См. признание по этому поводу Форстера (*Times*, 1881, 19 september, стр. 9).
[78] Лучшая стенографическая запись первой половины этой речи в *Daily News*, 1881, 8 october, стр. 2, столбцы 2—5, а второй половины — в *Times*. Mr. Gladstone's speeches at Leeds.
[79] *Times*, 1881, 8 october, стр. 7, столбец 3.
[80] См. *Daily News*, 1881, 11 october, стр. 6, столбец 3.
[81] The first necessity for the obtainment of prosperity in Ireland is the banishment of English misrule from Ireland (*Daily News*, 1881, 11 october).— Слово misrule несколько сильнее понятия «дурное управление».
[82] Там же: Until we have banished Messrs Gladstone and company and his bashibazouks.
[83] *Twenty five years in the secret service. The recollections of a spy*, by major Henri Le Caron (Thomas Beach). London, 1893.— Я пользовался 16-м изданием.
[84] Там же, стр. 172—173.
[85] Бич очень гордился этим подарком как доказательством своего профессионального искусства.
[86] *Twenty five years...*, стр. 190.
[87] См. *Freeman's journal*, 1881, 14 october.
[88] O'Connor. Цит. соч., стр. 240.
[89] Там же.
[90] Там же, стр. 139.
[91] *Annual register 1881*, p. 1, стр. 205.
[92] *Chronicle*, oct. 1881, стр. 3.
[93] О политических кругах см. *Dictionary of national biography*, vol. 43, стр. 330.
[94] *Annual register 1882*, p. 1, стр. 12 и 113.
[95] The treaty of Kilmaingham (там же, стр. 82).
[96] Lord Frederick Cavendish (*Dictionary of national biography*, vol. 9, стр. 345).
[97] *Annual register 1882*, p. 1, стр. 190—191.
[98] O'Connor. Цит. соч., стр. 249: Those, who remember etc.
[99] *Parliamentary debates*, vol. 269, 45-я парл. сессия Виктории, стр. 322.

[100] Там же, стр. 323; I wish to express on the part of my hon. friends and on my own part, and I believe on the part of every Irishman... my most unqualified detestation etc.

[101] Там же.

[102] Prevention of crime Ireland bill (там же, стр. 462).

[103] Там же, стр. 483.

[104] *Annual register 1882*, p. 1.

[105] Mc Carthy J. *Ireland since the union*. London, 1887, стр. 306.

[106] Там же, стр. 307, 308, 310, 389.

[107] См. главу 6 настоящего этюда.

[108] Отчет цит. по *Times*, 1882, 18 october, стр. 9, столбцы 2 и 3.

[109] Mc Carthy J. Ireland since the union, стр. 309.

[110] *Dictionary of national biography*, vol. 43, стр. 331.

[111] *Irish world*.— Это любопытное издание является очень интересным источником для истории фенианства.

[112] Ответ на милостивую речь ее величества. *Parliamentary debates*, vol. 276, 46-я парл. сессия Виктории, стр. 607—608.

[113] Ответ на милостивую речь ее величества. Там же, стр. 626 и 627.

[114] *The united Ireland*, изд. 1881—1888 гг.

[115] Incidents in the campaign.— Форстер подчеркнул это особенно тщательно (*Parliamentary debates*, vol. 276, стр. 627).

[116] *Parliamentary debates*, vol. 276, стр. 628 (речь Форстера): It is not that he himself directly planned or perpetrated outrages or murders...

[117] Счет голосов при баллотировке об изгнании О'Келли показывает, что парнелитов было в этот день в палате всего 20. Там же, стр. 629.

[118] Ответ на милостивую речь ее величества, заявление Парнеля. Заседание 23 февраля. Там же, стр. 716—718.

[119] Там же, стр. 718 (речь Парнеля): It is a conduct which has marked his career ever since he became chief secretary to take advantage of the ignorance of the members of this house on Irish questions.

[120] Об этом см. *Annual register 1883*. London, 1884, стр. 197—199.

[121] См. очень интересные и содержательные записки фения Патрика Тинана об этой эпохе и о казни О'Донneля. Tynnan P. *The Irish invincibles and their times*. Chatam, 1894, стр. 340.

[122] *Annual register 1883*, стр. 201.

[123] Там же, стр. 202—203.

[124] *Annual register 1883*, стр. 205. Would be laughed at heartly for his folly.

[125] Чего же ожидали от дублинской речи, см. *Annual register 1883*, стр. 207.

[126] The Parnell testimonial. *Times*, 1883, 12 december, стр. 6, столбцы 1 и 2.

[127] Individuals... characterized... by greater incapacity... (там же).

[128] If we cannot rule ourselves, we can at least cause them to be ruled as we choose (там же).

[129] Tynnan P. Цит. соч., стр. 344.

[130] Вот слова внимательного наблюдателя этого политического момента (т. е. начала 1884 г.): Il faut donc, que M. Gladstone se mette en mesure de répondre à cette question: qu'avez-vous fait de la majorité que nous vous avons donnée en 1880? Et si le old great man répond simplement: «Des conquêtes en Afrique et les lois coercitives en Irlande, l'imbroglio de l'Afrique du Sud...» ça sera fini de sa popularité. (Gavard Ch. M. *Gladstone et son gouvernement en* 1884. Paris, 1884, стр. 12).

[131] Избирательные реформы эпохи Виктории перечислены очень сжато, но хорошо в книге Барнета Смита. Barneth Smith. *History of the English parliament*, vol. II. London, 1892, стр. 545—546.

[132] Там же, стр. 547.

[133] Речь Гладстона. *Parliamentary debates*, vol. 285, 1884. Заседание 28 февраля.

[134] *Mr. W. E. Gladstone, a life misspent, a series of letters to and on the above*, by ***. London, 1893, стр. 90. Глава: The Right honourable and the house of commons and electorate.

[135] Там же, стр. 90: One man, one vote can crush the empire.

[136] Там же, стр. 89.

[137] Подсчет самого Гладстона: Or, in the main for the present aggregate constituency of the United Kingdom, now taken at 3 000 000 it will add 2 000 000 more (речь Гладстона. *Parliamentary debates*, vol. 285, 1884. Заседание 28 февраля).

[138] Heaton W. *The three reforms of parliament*. London, 1885, стр. 233.

[139] *Annual register 1884*, стр. 125.

[140] См. текст закона: The redistribution of seats act. *Parliamentary debates*, vol. 298, 48—49-я парл. сессии Виктории, 1885, заседание 25 июня; полностью напечатан также в приложении к книге Heaton. Цит. соч., стр. 280.

[141] Цифры в тексте закона. Там же, стр. 303.

[142] *Parliamentary debates*, vol. 298, стр. 1474; там же, стр. 32—34; vol. 295, стр. 1085—1086.

[143] *Times*, 1885, 18—25 march; 1—18 april.

[144] Речь Гладстона. *Parliamentary debates*, vol. 298, стр. 627.

[145] Она состояла из 39 человек (в 1885 г.), так как дополнительные выборы в Ирландии неизменно кончались в пользу парнелитов.

[146] См., например, пререкания Сюлливана и Гладстона о пиве и виски. *Parliamentary debates*, vol. 298, стр. 1510.

[147] Там же, стр. 1510—1511.

[148] См., например, французский *Temps*, 1885, 11 июня.

[149] Например, при его встрече вместо официального гимна: «Боже, спаси королеву», пели: «Боже, спаси Ирландию»; слышались свистки. В Корк, представителем которого состоял Парнель, принц не поехал вследствие угрожающего настроения народа.

[150] Политический момент изображен в большой карикатуре Punch. Нарисованы Гладстон, Салисбюри и Парнель в виде трех макбетовских ведьм; ведьмы ведут между собой диалог о положении дел в будущем и настоящем. Ведьма, изображающая Парнеля, говорит, чтобы две другие не беспокоились ни о чем: она уже позаботится о том, чтобы держать их в равновесии.

[151] См. Sir Richard Temple. *Life in parliament being the experience of a member in the house of commons from 1886 to 1892 inclusive*. London, 1893. Вот что пишет этот консерватор: *The balance was held by the Irish party*; ...but their attitude was *very dubious*.

[152] Murdoh J. *History of the constitutional reform*. London, 1885, стр. 401: The act of 1884 admitting the agricultural and mining classes has made the house of commons in reality *the people's house*.

[153] См. отчет в *Times*, 1885, 25 aug.

[154] For I hope it will be a single chamber etc. (*Times*, 1885, 25 aug.)

[155] *Daily News*, 1885, 26—30 aug.

[156] *Annual register 1885*. London, 1886, стр. 149.

[157] Об отношениях его к Ирландии см. между прочим: De Labra. Estudios biográfico-políticos. Madrid, 1887, стр. 349.

[158] *Annual register 1885*, стр. 180. Речь Гладстона.

[159] Салисбюри, когда ему приходилось говорить об ирландских делах в эпоху 1880—1885 гг., всегда высказывался неопределенно: порицая Гладстона, он избегал разговоров о причинах бедственного положения Ирлан-

дии; ср. Pulling. *The life and speeches of the Marquis of Salisbury*, vol. II. London, 1885, стр. 105, 110, 112.

[160] В 1898 г. Джесси Коллинс — товарищ министра внутренних дел в кабинете Салисбюри.

[161] Ответ на милостивую речь ее величества. *Parliamentary debates*, vol. 302, стр. 525 и пред.

[162] The ministry of the r. h. W. E. Gladstone, as formed on acceptance of office (там же, стр. 541).

[163] *Annual register 1886*, p. 1, стр. 36.

[164] Вот суждение *Times* 1886, 3 feb., p. 9 о назначении Морлея: It would be impossible to over-estimate the political significance of this selection... The Irish policy of the new cabinet is thus proclaimed to be a home-rule policy in the largest sense etc.

[165] См. воспоминания Темпля. Sir Richard Temple. Цит. соч., стр. 81.

[166] Часть ее — наследственные пэры, назначенные королевой, а другая часть — лица, избираемые на 5 лет плательщиками налога в 25 фунтов в год; баллотирующиеся должны иметь 200 фунтов дохода.

[167] Речь Гладстона. *Parliamentary debates*, vol. 306, стр. 1222—1223. Заседание 7 июня.

[168] Речь Парнеля. Там же, стр. 1170—1172.

[169] Речь Гикс-Бича. Там же, стр. 1205—1206.

[170] Речь Гошена: It has been shown that the parliament of Great Britain is not inclined to consider Mr. Parnell as our dictator etc. (там же, стр. 1148).

[171] *The liberal wreak. Fortnightly review*, 1886, july, стр. 8.

[172] *Annual register 1886*, стр. 225.

[173] *Pall-Mall gazette*, 1886, 15 june.

[174] *Times*, 1886, 18—19 june.

[175] *Daily News*, 1886, 10 july.

[176] *The new parliament*, p. 1, стр. 255.

[177] *Parliamentary debates*, vol. 309, 1886, заседание 20 сентября. «Irish tenants relief bill».

[178] Там же, vol. 309, стр. 1206: I am very well aware, what the value of peace and harmony with the Irish party might be to the government etc.

[179] Там же, стр. 1247.

[180] *How we became homerulers? The Contemporary review*, vol. 51, 1887, стр. 736—756.

[181] *Enormous mischief*. Там же, стр. 754.

[182] Если когда-либо народ высказывал ясно свою волю, то это ирландский народ на выборах 1885 года (там же, стр. 753—754).

[183] Gladstone W. L. *Notes and queries on the Irish demand. Nineteenth century*, 1887, february, стр. 176.

[184] *Annual register 1887*, p. 1, стр. 88.

[185] Около 550 тысяч рублей.

[186] *Parliamentary debates*, vol. 311—312, 1887, 1—25 march.

[187] См. *Times*, 1887, 18 april, стр. 8, письмо в черном ободке: Dear Sir, etc.

[188] *Parnellism and crime. Mr. Parnell and the Phoenix-Park murders. Times*, 1887, 18 april, стр. 8.

[189] *Daily News*, 1887, 21 april.

[190] *Primpose league meeting, speech of Mark. Salisbury*, 1887, 20 april.

[191] *The forged letters. The Parnell-commission*. 3 ed. London, Macmillan, 1889, стр. 329.

[192] См. Lucy H. *A diary of Salisbury parliament 1886—1892*. London, 1892, стр. 97—98.

[193] См. об. этом Filon A. Цит. соч., стр. 275.

[194] Diary of the *Parnell-commission*, стр. 332.

[195] *Diary of the Parnell-commission.* London, 1890, стр. 151. 24 day, february 21. Показание Пиготта.

[196] Russell Ch. *The opening speech for the defence.* 3 ed. London, 1889, стр. 340—341.

[197] *Diary of the Parnell-commission*, 53 and 54 days, passim.

[198] Автор цитированной выше книги *Twenty five years in the secret service.*

[199] *Diary of the Parnell-commission*, стр. 215—217.

[200] *Truth*, 1889, 15 march.

[201] *Freeman's journal*, 1890, january.

[202] *Parliamentary debates*, vol. 341, стр. 1718.

[203] Lucy H. Цит. соч., стр. 301. Mr. Parnell and his influence in the house.

[204] О нем см. *Men and women of to-day.* London, 1893, art. O'Shea.

[205] ...nothing was more common than for liberal statesmen to communicate with Mr. Parnell through Mrs. O'Shea. Показание человека, близкого к семье О'Ши (The fall of Mr. Parnell. *Review of reviews*, 1890, vol. II, стр. 598).

[206] *Captain O'Shea and his wife. Review of reviews*, 1890, vol. II, Там же стр. 599.

[207] ...Charlie is all right. (*How Michael Davitt was deceived.* Там же, стр. 600).

[208] *Times*, 1890, 18—22 nov.

[209] *Standart*, 1890, 19—23 nov.; *Manchester Guardian*, 8—22 nov.; *Leeds mercury*, 23 nov.

[210] Письмо Гладстона к Морлею. *Annual register 1890*, стр. 235—236.

[211] ...disastrous in the highest degree to the cause of Ireland (письмо Гладстона, там же, стр. 235).

[212] ...to the English wolves, howling for my destruction.

[213] См. главу 7 настоящего этюда.

[214] *The bishops speak out. Review of reviews*, 1890, vol. II, стр. 606.

[215] Tell them I will fight to the last.

[216] Harrison F. *The Irish leadership. Fortnightly review*, 1891, vol. I, стр. 125.

[217] Там же.

[218] *Annual register 1891*, стр. 242.

[219] *Times*, 1891, 25 may.

[220] *Child's talk and purest nonsense. Annual register* 1891, стр. 244.

[221] «Climax of horrors».

[222] Mc Carthy J. *Parnell. Contemporary review*, 1891, nov.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ТОМАСА МОРА В СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ АНГЛИИ ЕГО ВРЕМЕНИ

[1] В главе IV.

[2] Thomas Morus. *Utopia*, hrsg. von. V. Michels und Th. Ziegler. Berlin, Weidmann, 1895. (*Lateinische Litteraturdenkmäler des XV. und XVI. Jahrhunderts*, Bd. XI).

[3] Вот в точности относящееся сюда место: Md., quod die veneris proximo post festum purificationis beate Marie virginis videlicet septimo die Februarij inter horam secundam et horam tertiam in Mane natus fuit Thomas More filius Johannis More gent. Anno regni regis Edwardi quarti post conquestum Anglie decimo septimo (7 Feb. 1478).

[4] По крайней мере с начала XV в.

[5] *Historia Richardi, Regis Angliae ejus nominis*, III, стр. 1—3: ...quem ego sermonem ab eo memini patri meo renuntiatum (изд. 1689 г.)

[6] Каутский грубо ошибается, относя это назначение к 1478 г. Kauts-

k y K. *Thomas More und seine Utopie*. Stuttgart, 1890, стр. 127.

[7] R o p e r. W. *The life, arraignment and death... of... Syr T. More*, ed. by J. Lewys. London, 1729, стр. 25 и сл.

[8] «Разным знатным людям, которые обедали у него» (R o p e r. Цит. соч.)

[9] S t a p l e t o n Th. *Tres Thomae*. Donay 1588. Th. More, глава 3.

[10] *Th. Mori Angliae quondam Cancellarii opera omnia*. Anno 1566, стр. 236.

[11] *Epigrammata Thomae Mori pleraque e Graecis versa*. Basle, 1518, стр. 174.

[12] S t a p l e t o n Th. Цит. соч., стр. 2.

[13] F i c i n o. *De Religione christiana* (1474), глава 24 и сл.

[14] «Тщеславными рассуждениями», как говорит описывающий этот переворот, племянник Пико.

[15] Точная дата не установлена. Ссылаемся на сведения Ропера (цит. соч., стр. 6 и сл.), судя по которым, в 1496 г. Мор уже был допущен к занятиям в Lincoln'Inn, куда, как известно, допускались лица, выдержавшие известный юридический искус.

[16] Britanniae nonnisi unicum esse ingenium.

[17] R o p e r W. Цит. соч., стр. 6 и сл.

[18] S e e b o h m F. *The oxford reformers*. London, 1896, стр. 143.

[19] R o p e r W. Цит. соч.

[20] R o p e r W. Цит. соч., стр. 7—8.— Ропер не говорит ни слова о том, как это случилось, т. е. какой округ выбрал Мора своим представителем. Вообще он довольно скуп на пояснения, что и заставляло часто позднейших биографов Кресакра, Степлытона, Годдестона, Ресталля и других, не найдя интересующих их (и на самом деле интересных) сведений ни у Ропера, ни в сочинениях Мора, прибегать к произвольным пополнениям пробелов своей фантазией.

[21] Auxilii pecuniarii genus, auctoritate parlamenti tamen concessum sonans acsi esset decima quinta pars bonorum, sed consuetudine in solutionem certam et longe minus gravem redactam. (Б э к о н. История Генриха VIII; цитировано у Rudhart).

[22] S t a p l e t o n Th. Цит. соч., стр. 7.— К сожалению, в других источниках (у Ропера) этого письма нет. Вероятно, Степлытон кое-где изменил форму выражений.

[23] Издал он этот перевод лишь в 1510 г. под таким характерным названием: *The lyfe of J. Picus Earle of Mirandula a great of Italy, an excellent connyng man in all sciences, and vertuous of living. With dyvers epystles and other workes of the sayd J. Picus, fulle of greate science, vertue and wise, dome; whose life and workes bene worthy and digne to be read and often to be in memory*. Translated out of Latin into English by Maister Thomas More.

[24] Cresacre More заимствовал этот эпизод у Ропера и зачем-то распространил его; см. M o r e, Cresacre. *The life and death of Sir T. More*, 2 ed. London, 1726, стр. 29.

[25] S t a p l e t o n Th. Цит. соч. (изд. 1689 г.); M o r e, Cresacre, Цит. соч. Лучшая английская редакция у B r i d g e t t T. *Life and writings of blessed Thomas More*. London, 1891, стр. 127—129.

[26] См. *Utopia*, стр. 114: ...una tantum belua, omnium princeps parensque pestium, superbia... Haec non suis commodis prosperitatem, sed ex alienis metitur incommodis... Haec auerni serpens, mortalium pererrans pectora, ne meliorem uitae capessant uiam, uelut remora retrahit ac remoratur.

Quae *quoniam pressius hominibus infixa est, quam ut facile possit euelii*... etc., etc.— Смотря на педагогические успехи с точки зрения общественной пользы, Томас Мор ввиду этой по его мнению особенно трудной искоренимости тщеславия особенно и подчеркивает в разбираемом письме к Геннелю необходимость тщательно с детства воспитываемых следить, чтобы они не заразились этим пороком.

[27] См. письмо Bridgett T. Цит. соч., стр. 130.
[28] Характерная фраза: I think on the contrary, that a woman's wit is on that account all the more diligently to be cultivated etc. (там же).
[29] Vix opinor in insulae Fortunatis esse quidquam jucundius... etc.
[30] Письмо, Bridgett T. Цит. соч., стр. 131.
[31] Вот то место Ропера, которое (как и все остальное) взято у Ропера всеми писавшими о Море и принято без попытки отдать отчет в его логичности: «И так как, ничего не имея, он ничего не мог и потерять, то его милость завел процесс против его отца и посадил его в Тауэр впредь до уплаты штрафа в 100 фунтов».
[32] См. Эразм, 10-е письмо к Ульриху фон Гуттену о судебной роли Томаса Мора.
[33] *Epigrammata clarissimi*... Th. Mori Britanni, pleraque e Graecis versa. Написаны в 1499, 1500, 1501 гг. приблизительно. У нас было в руках издание 1518 г.
[34] *Utopia*, стр. 19: ...inexplebilis ac dira pestis patriae... etc.
[35] *Complaynt of Roderyck Mors*, стр. 48 (изд. 1876 г.).
[36] См. Ченей Э. Аграрный переворот в Англии в XVI в. по свидетельству современников. Пер. В. Я. и И. Я. Герд, под ред. Н. А. Рубакина. СПб., 1899, стр. 5.— Переведено все относящееся сюда место.
[37] *Vox populi, vox Dei. Ballad Society publications*, vol. 1.
[38] А число их легко удесятерить.
[39] *Ballad Society publications*, т. I. *Vox populi, vox Dei*, стих. 267.
[40] В парламенте 1258 г. Walter of Hemingbourgh, vol. I, стр. 306. Изд. English Historical Society и в парламенте 1271 г. *Calendar. Rotul. Pat.* 55. H. III, 1, 6 и 10 (Цит. Ashley W. *An introduction to the English economic history and theory, vol. II*. London, 1893, стр. 194, 243).
[41] Статут Эдуарда, 1336/7 г. *Statutes of the realm*, vol. I. London, 1810, стр. 280—281.
[42] См. примеры дипломатического пользования этим орудием Schanz G. *Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters*, Bd. I. Leipzig, 1881, стр. 330, примечание.
[43] Schanz G. Цит. соч.
[44] Таблица 1, Schanz G. Цит. соч., т. II, стр. 6.— Этот второй том весь занят исключительно таблицами и неопубликованными документами; писать теперь без него историю английской торговли вполне немыслимо.
[45] Отбрасываем сотни, десятки и единицы.
[46] Schanz G. Цит. соч., стр. 49. Zölle zur Zeit Heinrich's VIII.
[47] Wollexport. Там же, стр. 76—84.
[48] Enrolled Accounts of Customs (дирекция Public Record office относит эти бумаги к группе Exchequer Rolls), пачки 21 и части 22-й (части их и вся 20-я изданы Шанцем).
[49] Schanz G. Цит. соч., стр. 72 и 25.— Подсчет Шанца — 263 тысячи, но мы прибавили среднюю цифру «костумных» податей, которую он, подсчитывая субсидии, не имел нужд прибавлять.
[50] См. Rymer Th. *Foedera*, XI, 364; X, 401.
[51] Bonwick. *Romance of the Wool trade*, стр. 40—45.
[52] *Chronicon Rusticum*, стр. 1—69 (цит. *The Growth of English industry*, стр. 392).
[53] Напечатана в *Rerum britannicorum scriptores*, vol. 4, в серии *Political poems and songs*, занимает от 157 до 205 стр. второй части этой серии. Все дальнейшие ссылки делаем по этому, впрочем, единственному полному изданию.

[54] *Libell of English policye*, стр. 159, стихи 6 и 7; Tfor 4 thynges our noble sheueth to me Kyng, shype, and swemde and pouer of the see.

[55] Там же: Betwyxt Dover and Calys thys is no doute, who can wheele ellis suche mater bringe aboute.

[56] Там же, стр. 161: The wolle of Spayne hit, cometh not so preffe, but; oe it toseed andmeng ed welle amonges Englysshe wolle the gretter delle.

[57] *Statutes of the Realm*, т. I, стр. 2: Multi *magnates* (курсив мой.—*Е. Т.*) Anglie.— Мертонский статут. 20. Henrici III, с. 4.

[58] Там же: ...feoffaverint milites et libere tenentes suos...

[59] Там же: ...parvis tenementis...

[60] Там же: Quod commodum suum facere non potuerunt de residuo maneriorum suorum... etc.

[61] *English Commonwealth*, vol. 1—2.

[62] Отмечаем лишь наиболее типичные черты; территориальные отличия большей частью второстепенного значения, местного характера, не важны в настоящем случае.

[63] Ashley W. Цит. соч., т. I. London, 1888, стр. 20. Now, the term *libere tenentes* is elastic enough... etc.

[64] Нассе Е. О средневековом общинном землевладении и огораживании полей в Англии XVI века.— «Временник Демидовского лицея», кн. 16. Ярославль, 1878, стр. 70.

[65] Нассе Е. Цит. соч., стр. 76.— Эта плата называлась herbargium, lessilver, wodesilver, pannagium, pro mortuo bosco (т. е. серебро за траву, за лес, за срубленное дерево и т. д.)

[66] См. в Ченеевском собрании текстов. (Ченей Э. Цит. соч.,—стр. 13). *Extract from Court Rolls of Manor of Coggeshall*, Essex, 2 ed.; IV (1462).

[67] Как известно, Роджерс объясняет даже восстание 1381 г. тем, что помещики, испуганные дороговизной рабочих рук после черной смерти, попробовали вернуться к системе крепостного труда и раздражили крестьян. Так это было или не вполне так, но, несомненно, цены выкупа барщины уже к концу XIV в. казались низки.

[68] Ченей Э. Цит. соч., стр. 33: First sermon before King Edward VI: Arber repr., стр. 38—39.— Ченеевский сборник текстов исчерпывающе полон для времен аграрной революции.

[69] *Statutes of the Realm*, vol. I. 13. Edwardi I, стр. 46. (Rotul parliam. ed.).

[70] Там же: *Hucusque* (т. е. с 1235 до 1285 гг.— *Е. Т.*) impediti exstiterint.

[71] Там же: Per contradictionem.

[72] Там же: Proprii tenentes.

[73] Т. е. к свободным обитателям мэнора, снимающим землю не у лендлорда непосредственно.

[74] *Law Quarterly Review*, 1885, № 2.

[75] Scrutton Th. *Commons and common fields*. Cambridge, 1887, стр. 60—61.

[76] Нассе. Цит. соч., стр. 77 и сл.

[77] Bracton. *De legibus et consuetudinibus Angliae*. London, 1640, стр. 227—229 и passim стр. 224 etc. (Чуть ли не наиболее доступное для справок издание Бректона).

[78] Этот процесс едва ли не раньше других исследователей выяснен Охенковским. *Englands wirtschaftliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters*. Jena, 1879.

[79] См. Reville A. *Le soulèvement des travailleurs d'Angleterre sous Richard II*. Paris, 1898; Петрушевский Д. Восстание Уота Тайлера, ч. 1—2. СПб., 1897—1901; Trevelyan G. M. *England in the age of Wycliffe*. London, 1900.

[80] Отметим, кстати, курьезное суждение Гоннера в *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, статья об освобождении английского крестьян-

ства, считающего во главе факторов, ускоривших в XV в. освобождение крестьян (фактор «а»), «развитие чувства гуманности» в английских лендлордах. Подтверждений — никаких, кроме факта отпускных грамот...

[81] O c h e n k o w s k i. Цит. соч.

[82] R o s s u s. *Historia regum Angliae*. Oxonii, 1745.

[83] R o s s u s. Цит. соч., стр. 113: ...non sunt Dei, Mammonae filii!— Мы не согласны с Охенковским относительно «декламаторского тона» Россуса. Во-первых, он пишет под влиянием горестных впечатлений, полученных на его родине (...in patria mea juxta Warrewicum); во-вторых, действительно, он подтверждает фактами свои слова и употребляет выражения не более напыщенные, чем было принято (вспомним слог Лидгета).

[84] По крайней мере нам не известны более ранние указания.

[85] *Rentale terrarum*... etc.; К о в а л е в с к и й М. Экономический рост Европы, т. II, стр. 712.

[86] *Rental of the estates of Thomas Earl of Ormond*... etc. (в рукописном отделе библиотеки Британского музея, каталог добав. рукоп. 15761).

[87] К о в а л е в с к и й М. Экономический рост Европы, до возникновения капиталистического хозяйства, т. II. М., 1900, стр. 710.

[88] R o s s u s. Цит. соч.: Hatton super Albanam. Fulbroke, Stokhull, Rukmersbury, Wodlow, et uterque Wodcote... Huret, Crulfold, Fynbam, Mieburn, Bosworth, Emyscote... etc.

[89] Генрих VI, часть 2, акт I, сцена 3: ...the Duke of Suffolk for enclosing the commons of Melford.

[90] S c r u t t o n. Цит. соч., стр. 76.

[91] *Ballads from manuscripts*, vol. I, стр. 97.

[92] *Libell of English Policye. Rerum Britannicorum scriptores. Ballads and Songs*, стр. 177:

In Denmark ware fulle noble conquerors
In tyme passed, fulle worthy werriours,
Whiche, when they had here marchaundes destroyde,
Topoverte they felle, thus were they noyende;
And so they stonde at mysheffe at this day.

[93] *Libell of English policye*, стр. 178:

Iff they bel riche, than in prosperité
Shall be our londe, lordes and commonté.

[94] *Statutes of the Realm*, т. II. 1. Henrici VII, с. 8.

[95] Там же. 4. Henrici VII, с. 16, год 1487.

[96] Там же: Let down... etc.

[97] *Venetian calendar*. Calendar of State papers and manuscripts relating to English Affairs... in... Venice. Ed. by R. Brown. London, 1864. Venetian I. 5, № 18 (о ссоре в 1323 г. между уайтцами и венецианскими купцами).

[98] *Statutes of the Realm*, т. II. 4. Henrici VII, с. 19.

[99] Этот закон говорит еще, впрочем не совсем ясно, о таких бедствиях, как разрушение церквей, отсутствие похорон покойников и т. д.: ...churchys destroyd, the servyce of God wythdrawen, christen people there baryed not... etc. *Statutes of the Realm*, т. II. 4. Henrici VII, с. 19.

[100] *Statutes of the Realm*, т. III, стр. 127. 6. Henrici VIII, с. 5.

[101] Ч е н е й Э. Цит. соч., стр. 34; B r i n k l o w H. *Complaynt of Roderyck Mors*. 1542. Published by Early English Text Society, стр. 9.

[102] C r a w l e y R. *Of rente raysers*. Цит. по книге: Ч е н е й Э. Цит. соч., стр. 34.

[103] Там же.

[104] Там же, стр. 35. L u p t o n Th. *A droame of the devil and dives* (1584).

[105] Там же. T y n d a l e W. *Doctrinal Treatises*, стр. 201.

[106] F o r r e s t W. *Pleasant Poesye of Princelie Practise. Ballads from manuscripts*, т. I, стр. 57.

[107] *Statutes of the Realm*, т. III, стр. 7, 25. Henrici VIII, c. 13.

[108] Ч е н е й. Э. Цит. соч., стр. 60.

[109] В гарлейянской коллекции, f. 304, стр. 75.

[110] N e v i l l e. *De furoribus Norfolcensium*; H o l i n s h e d, т. III, стр. 1001 и сл.; *Calendar of State papers* 1549—1550; неизданные документы в книге: R u s s e l l F.. *Kett's Rebellion in Norfolk*. London, 1859; *Ballads from manuscripts*, т. I, 4 стихотворения о Кэте.

[111] Хотя в точности мы не могли добиться, было ли это и кто именно пострадал. Голиншед говорит только о «распутстве бунтовщиков, ломании изгородей и грабежах».

[112]
In the landlord do raisse thy rent
See thou payit withe quietness,
And pray to God omnipotent
To take from him his cruelness.

(Стихотворение 1550 г.)

[113] Эта часть работы была уже написана, когда мы ознакомились с картой огораживаний, составленной Ashley и приложенной ко второму тому его *Introduction to English economic history and theory*. London, 1895, стр. 305. Норфольк там зачерчен линиями, обозначающими «спорадические изгороди»; и еще эта карта обнимает время *до конца* XVI века!

[114] Да и восстание Кэта двигалось (и возникло) на территории, прежде принадлежавшей духовенству и конфискованной в 30-х годах XVI в.

[115] L u p t o n Th. Цит. соч.

[116] *A Defense of These our Days*.

[117] Подробно венгерского восстания 1514 г. мы имели случай коснуться в «Русской мысли», 1896, №№ 7 и 8. Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II (см. наст. том, стр. 1—35.— *Ред.*)

[118] Ковалевский М. Цит. соч., т. II, стр. 893.

[119] *Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, Bd. 23. Göttingen, 1878. Drei Volkswirtschaftliche Denkschriften aus der Zeit Heinrichs VIII. von England. Zum ersten Mal hrsg. von R. Pauli. Пагинация особая.

[120] Там же, стр. 15: A treatise concerninge the staple and the commodities of the Realme.

[121] Приводим эти многознаменательные слова: ...in Kyng Edwardes dayes the wolle that Godde yerly gaff to England...was not able to suffise the nomber of staplers, which than was encresed (*Treatise*, стр. 16).

[122] Там же: And oon to bye wolle before a nother.

[123] А мы знаем, что merchant adventurers именно в последние годы Генриха VIII во всем сравнялись со степлерами, или, как характерно говорит гипотетический Армстронг: «became to be staplers».

[124] *Treatise*, стр. 21.

[125] Там же, стр. 22: Began to putt ther erthe to idulnes (выражение негодующее).

[126] Там же, стр. 22—23: ...that causid them for ther own singler weale to breke down all the howsis and howsholdes puttyng the dwellers (собств. жильцов.— *E. T.*) owt from ther labours and levyng to seke ther lyvyng as in wildernes wanderyng by beggyng and stelyng or otherwise to gete ther mete, wher they can.

[127] Там же, стр. 24: Wikkyd dewlish bestes.

[128] Там же: ...that Spanysh wolle is so encresid to fynes goodness and so great plenty, that withowt they holp to sell our English wolle, elles non other reame shuld have nede to bye it in England.

[129] Там же, стр. 28.

[130] Там же, стр. 29.

[131] Там же, стр. 32.

[132] Там же, стр. 40: London is now in condicion, that all the peple therin are merchaunts.

[133] *Abhandlungen...*, стр. 51; название трактата: *How the Comen People may be set to worke an Order of a Comen Welth.*

[134] Второй аноним, там же, стр. 58: ...it ware goode none to be sufferde to prynt any thyng withowt thys realme, etc.

[135] Там же, стр. 60· How to reforme the Realme in settyng them to worke and to restore Tillage.

[136] Там же, стр. 63: Ergo yf they be workes of artificialite gete no money, wherewith to gete their lyving, muste nedes bege or stele... etc.

[137] Издатель Pauli сильно подозревал в нем Армстронга.

[138] *How to reforme*, стр. 63: Every pore manes sone borne in labour is suffered to be a merchaunt, bier and seller, which never workith to help his neybores nor never stodith for a comon weale but for his owne singulare weale.

[139] Там же, стр. 64.

[140] Там же: It shall cause the pasturers of shepe to open their closiers and suffer the more erth to be wrought by workes of husbandry to encrese the more plentie of vitales in the holl realme, that clothmakers and all other artificers *may kepe their howsholdes good chepe gere and lesse wages* to all artificers to make Inglishe clothes and all other thinges good chepe.

[141] *Statutes of the Realm*, vol. I. London, 1810, стр. 280. 11. Edwardi III.

[142] A s h l e y W. J. Цит. соч., т. II, стр. 233, русский перевод: Э ш л и В. Экономическая история Англии. М., 1897, стр. 506.

[143] *Antiquities of Warwichshire*, стр. 36.

[144] См. *Calendar of letters and Papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII*, ed. by J. S. Brewer, vol. II. London, 1864, стр. 779.

[145] Точная дата совершенно неопределима; думаем, что не раньше декабря.

[146] Вот полное название этого editionis principis: *Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festiuus de optimo reip. statu deque noua insula Utopia authore clarissimo Thoma Moro inclytae ciuitatis Londinensis ciue et vicecomiti cura M. Petri Aegidii Antuerpiensis, et arte Theodorici Martini Alustensis, Typographi almae Louaniensium Academiae nunc primum accuratissime editus: cum gratia et priuilegio.*

[147] ...ita facile confiteor permulta esse in Utopiensium republica, quae in nostris ciuitatibus optarim uerius quam sperarim.

[148] Письмо Эразма к Ботцгему; цит. S e e b o h m F. *Oxford reformers*, стр. 194.

[149] *Utopia*, стр. 65: Margaritas... suomet ipsorum pudore deponunt... etc.

[150] Там же, стр. 5: Nam neque nobis in mentem uenit quaerere, neque illi dicere, qua in parte noui illius orbis Utopia sita sit. etc.

[151] Дальнейшее изложение этой и последующей глав предполагает знакомство с содержанием трактата, так что ссылки на «Утопию» в подстрочных примечаниях будут делаться лишь изредка.

[152] *Utopia*, стр. 9: Curauit enim atque adeo extorsit ab Americo, ut ipse in his XXIV esset... etc.

[153] K l e i n w ä c h t e r F. *Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus*. Wien, 1891, стр.21. Впрочем, Томасу Мору и его «Утопии» Клейнвехтер посвятил ровно 6 страниц (*исключительно* изложению, и то не подлиннику, а по безобразной французской переделке Guedeville, о чем сам и говорит).

[154] *Utopia*, стр. 14.

[155] Там же, стр. 32.

[156] Там же, стр. 30.

[157] Цитировано в книге: К и с т я к о в с к и й А. Исследование о смертной казни, изд. 2. СПб., 1896, стр. 158.

[158] Там же, стр. 158—159.

[159] Вот полное название издания, которым мы пользовались: Bentham J. *Théorie des peines et des récompenses*. Extrait des manuscrits de Jéremie Bentham par E. Dumont, vol. 1—2. Bruxelles, 1840.

[160] Там же, т. I, стр. 232: Qualités avantageuses de la peine de mort.

[161] Там же, т. I, стр. 252—253.

[162] Ибо воры, зная, что в случае поимки им все равно грозит смерть, будут убивать, а не только грабить, чтобы уничтожить свидетеля. См. *Utopia*, стр. 23:...hac una cogitatione impellitur in caedem eius, quem alioqui fuerat tantum spoliaturus.

[163] *Utopia*, стр. 82.

[164] *Statutes of the Realm*, т. III, стр. 328. 22. Henrici VIII, c. 12 («Where in all places... etc.»).

[165] Там же, стр. 558—562. 27. Henrici VIII, c. 25.

[166] *Utopia*, стр. 18—20.

[167] Crawley R. *The select works*. Ed. with introd., notes and glossary by J. M. Cowper. London, 1872, стр. 165—166. (Early English Text Society). *An information and petition...*

[168] См. предыдущую главу.

[169] *Utopia*, стр. 113: Ita quod ante uidebatur iniustum, optime de Republica meritis pessimam referre gratiam, hoc isti deprauatum etiam fecerunt, tum prouulgata lege iustitiam.

Itaque omnes has quae hodie usquam florent Respublicas animo intuenti ac uersanti mihi, nihil, sic me amet Deus, occurit aliud quam quaedam conspiratio divitum, de suis commodis Reipublicae nomine tituloque tractantium.

[170] См. предыдущую главу.

[171] Thomas Bastard. Ченей Э. Цит. соч., стр. 5.

[172] *Statutes of the Realm*, т. II, 3. Henrici VII, c. 1.

[173] John Hals Charge to comissioners on enclousers (1549). Ченей Э. Цит. соч., стр. 30.

[174] Froude J. *History of England from the fall of Wolsey to the death of Elisabeth*, vol. I. Leipzig, 1861, стр. 2.

[175] *Supplicacyon for the beggars*, by Simon Fish.

[176] Для точных выкладок совершенно никаких данных нет, нет даже и намеков.

[177] Например, Финлезон; см. Macaulay. *History of England*, т. I, глава 3 (о состоянии Англии в конце XVII в.).

[178] Froude. Цит. соч., стр. 16.

[179] *Statutes of the Realm*, т. III. 6. Henrici VIII, c. 3.

[180] Alas! syr (quod the pore man), we are all turned oute, and lye, and dye in corners, here and there aboute,— так отвечает нищий путешественнику, спрашивающему, почему тот пренебрегает госпиталем монастыря.— Crawley R. *The select works*. London, 1872, стр. 12. (Early English Text society).

[181] *Utopia*, стр. 37.

[182]. Там же, стр. 39: Ubicunque priuatae sunt possessiones, ubi omnes omnia pecuniis metiuntur.

[183] *Utopia*, стр. 65 и сл.

[184] Там же, стр. 113: Quis enim nescit fraudes, furta, rapinas, rixas, tumultus, jurgia, seditiones, caedes, proditiones ueneficia... uigilias, eodem momento quo pecunia perituras!... etc. etc.

[185] Кистяковский. Цит. соч., стр. 160.

[186] *Utopia*, стр. 113.

[187] Там же, стр. 112.

[188] Там же.

[189] Там же, стр. 114.

[190] Там же, стр. 113: ...conspiratio divitum... etc.
[191] Особенно в его *Colloquia*, в отделе смеси (Diversoria).
[192] См. главу II.
[193] Впрочем, как увидим, очень редко,— и то только упоминается, не более.
[194] *Thomas Morus aus den Quellen*, bearbeitet von Dr. Rudhart. Neue vermehrte Ausgabe. Augsburg, 1852, стр. 119—141.
[195] Manning A. *The Household of Sir Thomas More*. London, 1851.
[196] Nisard J. *Études sur la renaissance. Erasme. Thomas Morus, Melanchthon*. Paris, 1855.
[197] Там же, стр. 178—183.
[198] Там же, стр. 183.
[199] Мы пользовались 4-м изданием этой книги: Seebohm F. *The Oxford reformers*. London, 1896.
[200] Там же, стр. 346--365 и 378—390. На стр. 346 — 2 строчки, на стр. 390—8.
[201] Там же, стр. 360.
[202] Например, он рассматривает слова о жалком положении рабочих как сатиру против статутов Генриха VIII. Слова эти имеют гораздо более обширное значение недовольства автора по поводу незавидного положения трудящихся масс *сравнительно* с другими слоями общества. Как раз рабочие статуты Генрпха VII и не имели такого значения, усугубляющего страдания рабочих; они обеспечивали за рабочими такие minima заработной платы, каких и XIX век не установил (см. главу III).
[203] Kautsky K. *Thomas More und seine Utopie*. Stuttgart, 1890. 343 стр.
[204] Мы говорим о части работы Каутского, относящейся к истории Англии; чисто биографическая часть обставлена лучше.
[205] Там же, стр. 17: Aus allen Gegenden des vom Zentralpunkt beherrschten Gebiets strömen die Menschen in jenem zusammen; die Einen um dort zu bleiben, die Anderen, um nach verrichteten Geschäften wieder heimzukehren. Der Zentralpunkt wächst, er wird zu einer Grosstadt, in der sich nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das davon abhängige geistige Leben des von ihm beherrschten Landes konzentriert. Die Sprache der Stadt wird die Sprache der Kaufleute und Gebildeten. Sie fängt an, das Lateinische zu verdrängen und Schriftsprache zu werden. Sie fängt aber auch an die bäuerlichen Dialekte zu verdrängen: eine *Nationalsprache* bildet sich (курсив Каутского).
[206] Там же, стр. 5.
[207] Там же, стр. 29: Das neue Proletariat fand nicht eine Klasse vor, die noch unter ihm stand, von deren direkter oder undirekter Ausbeutung es hätte leben können, keine Sklaven und keine rechtlosen Provinzialen.
[208] Там же, стр. 30.
[209] Не забудем еще, что история не есть специальность Каутского, ярко даровитого человека.
[210] Там же, стр. 57: Die Kreuzzüge... waren aber das kräftigste Mittel zur raschen Entwicklung jenes Elements, welches die feudale Welt und ihren Monarchen, den Papst, erschüttern und schliesslich stürzen sollte: des Kapitals.
[211] Там же, стр. 79.
[212] Там же: *So* wurden *denn* die Humanisten... etc.
[213] Там же, стр. 251: Der Spanier ward im XVI. Jahrhundert der «Erbfeind» Englands... Der Papst aber war das Werkzeug Spaniens. Katholisch sein, hiess Spanisch sein, hiess dem Erbfeind dienen, hiess Verrath am Vaterlande, dass heisst, an seinen Handelsinteressen.
[214] Там же, стр. 249.
[215] Там же.

[216] Bridgett T. *Life and writings of Sir Thomas More, lord chancellor of England and martyr under Henry VIII.* London, 1892.— Мы пользовались 2-м изданием.

[217] *Dictionary of national biography.* Ed. by Sidney Lee, vol. XXXVIII. London, 1894, стр. 429—447.

[218] Там же, стр. 443, 2-й столбец.

[219] Hutton W. H. *Sir Thomas More.* London, 1895.

[220] Под громким названием: *Utopias : or schemes of social improvement.* London, 1879.

[221] Там же, стр. 1—13.

[222] Dietzel. *Beitrag zur Geschichte des Sozialismus und Communismus: Morus Utopien und Campanella's Sonnenstaat. Vierteljahrschrift für S. u. V. Wiss.*, Bd. V, 1897, № 4.

[223] *Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften*, Bd. I. Erlangen, 1855, стр. 167.

[224] Kleinwächter F. Цит. соч.

[225] Там же, стр. 41: *Das von mir beniutzte Exemplar* trägt den Titel: «L'Utopie de Thomas Morus... Traduite nouvellement en françois par Mr. Guedeville».

[226] См. *Idée d'une république heureuse ou l'Utopie de Thomas Morus, Chancellier d'Angleterre.* Traduite en François par Mr. Guedeville. A Amsterdam, chez François l'Honoré, MDCCXXX.

[227] *Utopia*, стр. 83—84.

[228] Guedeville. Цит. изд., стр. 222, 225—229. Там же иллюстрация.

[229] Чичерин Б. Н. История политических учений, ч. I. М., 1869.

[230] «Мир божий», 1894.

[231] Adler G. *Geschichte des Sozialismus und Kommunismus, von Plato bis zur Gegenwart*, Teil 1. Leipzig, 1899, стр. 171.

[232] Там же, стр. 171: So ist More menschlicher, Plato aber gewaltiger.

[233] Штейн Л. Социальный вопрос с философской точки зрения. М., 1899.

[234] Штейн Л. Цит. соч., стр. 271.

[235] Ошибочно названная Бертером в русском переводе.

[236] Ten Brink B. *Geschichte der Englischen Litteratur*, Bd. II. Strassburg, 1893, стр. 497—540.

[237] Там же, стр. 509; Bedeutungsvolle Züge für seine Zeichnung entnahm er Platos «Republik»...

[238] Huit Ch. *La vie et l'oeuvre de Platon*, t. I—II. Paris, 1893.

[239] Стр. 124. См. ссылку следующую (где именно напечатана статья Zeller).

[240] *Historische Zeitschrift*, hrsg. von H. v. Sybel, 1859, т. I, стр. 108.

[241] *Utopia.* Einleitung, стр. XII.

[242] Roper W. Цит. соч., стр. 5.

[243]. *De civitate Dei.* Paris, Garnier, 1899. Книга XIV, гл. XXVIII: Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui.

[244] *Utopia*, стр. 114: ...haec auerni serpens, mortalium pererrans pectora, ne meliorem uitae capessant uiam, uelut remora retrahit ac remoratur. etc., etc.

[245] *De civitate Dei*, книга XIX, гл. XIV: (Sic uxori, sic filiis, sic domesticis, sic ceteris quibus potuerit hominibus)... consuli velit; ac per hoc erit pacatus... etc.

[246] Там же.

[247] *Utopia*, стр. 108: ...ita si qua se nubecula domesticae simultatis offuderat, tali satisfactione (испрощением прощения — *E. T.*) discutitur, ut animo puro ac sereno sacrificiis intersint.

[248] *De civitate Dei*, книга V, гл. XIV: Tanto enim quisque est Deo similior, quanto et ab hac inmunditia mundior.

[249] Там же: Quae in hac vita etsi non funditus eradicatur ex corde... etc.

[250] *Utopia*, стр. 114: Quae quoniam pressius hominibus infixa est, quam ut facile possit euelli...

[251] *De civitate* Dei, книга XV, гл. IV: ...civitas ista adversus se ipsam plerumque dividitur litigando, bellando atque pugnando...

[252] Там же: ...aut mortiferas, aut certe mortales...

[253] Там же...et si quidem,cum vicerit,superbius extollitur,etiam mortifera.

[254] Там же: Neque enim semper dominari poterit permanendo eis, quos potuerit subiugare vincendo.

[255] *Utopia*, стр. 31—32: ...uiderunt nihilo sibi minus esse molestiae in retinendo, quam in quaerendo pertulerunt... etc.

[256] Там же, стр. 114.

[257] Там же, стр. 80: Suspicor enim eam gentem a graecis originem duxisse... etc., etc.

[258] Там же.

[259] Там же: ...si essent Graecorum exemplaria librorum, codices deesse non possent.

[260] Мы говорим лишь о том, что, по словам Мора, является в его глазах творением человеческого ума.

[261] *Utopia*, стр. 30.

[262] ...quae fingit Plato in sua Republica, aut ea quae faciunt Utopienses in sua...

[263] *Utopia*, стр. 38.

[264] Там же: Aequior Platoni fio... etc.

[265] Там же, стр. 23: Romanis administrandae reipublicae peritissimis.

[266] *Utopia*, стр. 79.

[267] Pöhlman R. *Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus*, *Bd. I — II*. München, 1893—1901.

[268] Мы говорим только о тех главах, которые посвящены экономической и социальной истории древних обществ, но не истории социальных учений древности: эта часть труда Пельмана нас занимала меньше, ибо она не столь нова по содержанию.

[269] Pöhlman R. Цит. соч., стр. I, стр. 154.

[270] Если бы нужны были еще доказательства, мы привели бы лишь ряд картин в «Πολιτεία», кн. VII, стр. 1 и сл.

[271] В Британском музее мы случайно ознакомились с очень редкой и очень курьезной трехтомной книгой: Rudbeck. *Atlantica sive «Mannheim»*, где этот шведский ученый сближает платоновскую Атлантиду с одним скандинавским островом. Тон вполне серьезен.

[272] «Κριτ.», 114 d.

[273] *Utopia*, стр. 91.

[274] «Πολιτεία», стр. 146: ἵνα δὴ ὅλη ἡ πόλις εὐδαιμονῇ. Все ссылки делаются нами по лучшему из последних изданий: ***Plato's Republic***, the Greek Text, ed. by Jowett and Campbell. Oxford, 1894.

[275] ... κοινῇ ζῆν· χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον εἰπεῖν αὐτοῖς ὅτι θεῖον παρὰ θεῶν αἰεὶ ἐν τῇ ψυχῇ ἔχουσι. «Πολιτεία» (изд. Jowett and Campbell), стр. 143.

[276] Ἐὰν μή, ἦν δ'ἐγώ ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν, ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν ξυμπέσῃ, δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ' ἑκάτερον ... etc., lib. V, стр. 233 (изд. Jowett and Campbell).

[277] «Πολιτεία», lib. V, стр. 195 (изд. Jowett and Campbell): Οἷόν τ' οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐπὶ τὰ αὐτὰ χρῆσθαί τινι ζῴῳ, ἂν μὴ τὴν αὐτὴν τροφήν τε καὶ παιδείαν ἀποδιδῷς; Οὐχ οἷόν τε. Εἰ ἄρα ταῖς γυναιξὶν ἐπὶ ταὐτὰ χρησόμεθα καὶ τοῖς ἀνδράσι, ταὐτὰ καὶ διδακτέον αὐτάς. Ναί. Μουσικὴ μὲν ἐκείνοις τε

καὶ γυμναστικὴ ἐδόθη. Ναί. Καὶ ταῖς γυναιξὶν ἄρα τούτω τὼ τέχνα καὶ τὰ περὶ τὸν πόλεμον ἀποδοτέον καὶ χρηστέον κατὰ ταὐτά.

278 «Νόμοι», V, 742, E: σχεδὸν μὲν γὰρ εὐδαίμονας ἅμα καὶ ἀγαθοὺς ἀνάγκη γίγνεσθαι. И еще яснее: προςθεῖεν δ'ἂν καὶ ὡς ἀρίστην δεῖν βούλεσθαι τὴν πόλιν εἶναι καὶ ὡς εὐδαιμονεστάτην. («Νόμοι». *Platonis opera*, t. VI. Lipsiae, 1829, стр. 163).

279 «Νόμοι», 806-E; цит. изд., т. VI, стр. 249.

280 «Νόμοι», цит. изд., т. VII, стр. 818 и passim.

281 См., например, «Πολιτεία», lib. II, стр. 17, где он даже поэзию словесную считает злом.

282 ... θανάτῳ ζημιούσθω. «Νόμοι», X, 910-d; цит. изд., т. VII, стр. 393—394.

283 *La science du droit en Grèce*. Paris, 1895, стр. 103: Ici Platon cherche à définir... etc.

284 «Νόμοι», цит. изд.., т. VI, стр. 201.

285 Например, отрицательные суждения о таких забавах, как охота и. т. д.

286 Постоянных ссылок на «Утопию» мы здесь не делаем.

287 Т. е. вплоть до потери работоспособности (от болезни, старости).

288 Pace, друг его, пишет: ...sicut Morus meus, didicit pulsare tibias cum conjuge. B r i d g e t t T. Цит. соч., стр. 113.

289 См. главу I.

290 P r a e d o n e s. *Opera IV*, стр. 139; S c h m o l l e r. *Zur Geschichte der national-ökonomischen Ansichten in Deutschland während der Reformationsperiode. Zeitschrift der Staatswissenschaften*, Bd. XVI. Tübingen, 1860, стр. 635.

291 Издана в 1656 г.

292 *Histoire des Severambes*, 1677.

293 *La république des philosophes ou histoire des Ajaiens. Genève, 1768*. Единственное известное нам издание.

294 *Naufrage des îles flottantes*... etc. 1753. Единственное известное нам издание.

295 Decree of the congregation of sacred rites, стр. XXII, XXIII, XXIV, приложение к книге: B r i d g e t t T. Цит. соч.

296 *Utopia*, стр. 28: ...surrisit cardinalis et approbat joco.—Этого кардинала (Мортона) Томас Мор уважал и любил.

297 Во время его понтификата и была написана «Утопия».

298 *Calendar of letters and papers... of Henry VIII*, ed. by J. S. Brewer, т. IV, стр. 216.

299 S t a p l e t o n Th. Цит. соч., гл. VII.

300 Ропер передает это в самых положительных выражениях.

301 *Assertio Septem Sacramentorum* (1521 — editio princeps).

302 См. Л у ч и ц к и й И. Проповедник религиозной терпимости в XVI веке. М., 1895.

303 Вот лишь некоторые из эпитетов, даваемых Лютером королю в ответном послании: ...latro, asinus, porcus, truncus, antichristus, stultitiae monstrum, rexmendacii... vecors, et indoctissima papistici corporis belua, scurra... etc.— Это мы выбрали *наименее неприличные* из эпитетов.

304 Характерно самое название его: *Eruditissimi viri G. Rossei opus quo repellit Lutheri calumnias quibus Angliae regem Henricum octavum scurra turpissimus insectatur* etc. London, 1523, in 4°.

305 Там же, cap. 14.

306 *Supplycacyon for the beggars*; принадлежит, кажется, Симону Фишу (F i s h).

307 *Sypplycacyon of soulys* (издано в Лондоне, даты нет).

308 Furibus, homicidiis haeretisque molestu.

309 H a l l E. *The unyon of the two noble and illustre families of Lancastre and York, beyng long in continual dis elusion for the crame* etc.... *beginnyng at*

the time of Kinge Henry the fourth... to the reign of the hygh and prudent prince Henry the eighte. Anno 1550, folio.

[310] Nichols. *Narratives of the reformation*, стр. 26—27; *Dictionary of National Biography*, т. XXXVIII, стр. 436.

[311] *English works*, стр. 348.

[312] Там же, стр. 275.

[313] Foxe. *Book of martyrs*, т. IV, стр. 689.— Случай с Бенгемом не единственный, приводимый Фоксом, но более правдоподобный. Фокс часто грешит против истины.

[314] Назовем хотя бы автора популярного и весьма живого очерка о Томасе Море (на русском языке Яковенко В. Томас Мор. Его жизнь и общественная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1891. 87 стр. (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова).

[315] См. главу I.

[316] Friedmon P. *Anne Boleyn*, vol. I. London, 1884, стр. 129.

[317] Письмо Шапюи (Chapuis) к Карлу V от 2 апреля 1531 г. Friedmon P. Цит. соч., т. I, стр. 185.

[318] *Calendar of letters and papers... of Henry VIII.* ed. by J. S. Brewer, т. VI, стр. 1468.

[319] Brit. Mus., Manus. Cleopatra, E. VI, f. 150 (серия «Клеопатра»).

[320] Bridgett T. Цит. соч., стр. 243 и сл.

[321] Излагаем по рукописи Гернсфильда, дополняя ее рассказом Ропера.

[322] Manus. Harpsfield. (Brit. Mus. Harl., 6253). folio 97.

ИРЛАНДИЯ ОТ ВОССТАНИЯ 1798 ГОДА ДО АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ НЫНЕШНЕГО МИНИСТЕРСТВА

[1] Некоторые общие работы для желающих детальнее ознакомиться с событиями, излагаемыми в этой (первой) главе: 1) Plowden F. *An historical review of the state of Ireland from the invasion of that country under Henry II, to its union with Great Britain*, vol. I. London, 1803, стр. 408—630, весь II и весь III томы; 2) Lecky W. E. *A history of England in the eighteenth century.* London, 1887; vol.VI, стр. 307—610; vol. VII, стр. 1—386, 397—400, 409—465; vol. VIII весь, стр. 1—552; 3) Morris O'Connor W. *Ireland* 1798—1898. London, 1898; 4) O'Conor W. *A History of the Irish people*, vol. II. Manchester, 1887; 5) Gribayédoff V. The *French invasion of Ireland in* 98. *Leaves of unwritten history.* New York, [1890]; 6) Hassencamp R. *Geschichte Irlands von der Reformation bis zu seiner Union mit England.* Leipzig, 1886; 7) Hedewitsh. *Übersicht der irlandischen Geschichte zu richtiger Einsicht in die entferntesten und höheren Ursachen der Rebellion* 1798 etc. Altona, 1806; 8) Maxwell C. A. *Irish rebellion of* 1798. London, 1866; 9) O'Brien B. *The autobiography of Theobald Wolfe Tone*, vol. I—II. London, [1893]. 2 vol.; 10) Froude J. A. *The Irish in England in XVIII century*, vol. 1—3. London, 1895. 3 vol.; 11) Young A. *Tour in Ireland with general observations on the present state of that kingdom* etc. London, 1780 (для экономической истории весьма важно); 12) Madden R. R. *United Irishmen, their lives and times*, vol. I—VII. London, 1842—1846. 7 vol. Есть отдельное дополненное издание биографии Эммета из этой коллекции; 13) Gordon J. B. *History of Ireland.* London, 1806. Есть франц. издание: *Histoire d'Irlande*, vol. I—III. Paris, 1808. 3 vol.; 14) Moore Th. *The life and death of lord Edward Fitzgerald*, vol. I—II. London, 1831. 2 vol.; 15) Lewis G. *Irish disturbances*; 16) Guillon E. *La France et l'Irlande sous le Directoire, Hoche et Humbert.* Paris, 1888; 17) *Dictionary of national biography*, vol. 47, стр. 23 и сл.;

vol. 16, стр. 110 и сл.; 18) Lewis G. C. *Histoire gouvernementale de l'Angleterre*. Paris, 1867; 19) Stanhope Ph. *Life of the right hon. William Pitt*, vol. II—III. London, 1861; 20) Мануйлов. Аренда земли в Ирландии. М., 1895.

[2] *Pastoral Exortation of the right Reverend Dr. Troy the catholic Bishop of Ossory to his Flock*. Целиком напечатано в собрании документов к III тому Plowden. Цит. соч., стр. 51—52.

[3] Lecky W. E. Цит. соч., т. VI, стр. 463.

[4] *Declaration of the Society of United Irishmen in Dublin*, November 1791, напечатанная в приложении к книге: Lecky W. E. Цит. соч., т. VI, стр. 304 и сл.

[5] Apply the touchstone... etc.

[6] *Northern Star*.

[7] См. Daunt O'Neill W. J. *Eighty-five years of Irish history*, vol. I. London, 1886, стр. 22.

[8] Написанного специально для Madden'a и напечатанного в вышеназванном его сочинении, 3-я серия, т. I, стр. 130 и сл.

[9] Lecky W. E. Цит. соч., т. VII, стр. 183: And all they have of late done, has originated from those attachments.

[10] Там же, стр. 343—344.

[11] «The toughtless ferocity of a deluded soldiery».

[12] О дальнейшем см. показания Морфи. Madden R. R. Цит. соч., т. I, стр. 225.

[13] Впоследствии, уже на острове св. Елены, Наполеон признал такое свое отношение к проекту высадки в Ирландии грубой ошибкой.

[14] Madden R. R. Цит. соч., 3-я серия, т. I, стр. 141.

[15] Некоторые работы для желающих детальнее ознакомиться с событиями, излагаемыми в этой (второй) главе: 1) Stanhope Ph. *Life of the right hon. William Pitt*, vol. III—IV. London, 1861; 2) Lecky W. E. *Leaders of public opinion in Ireland*, vol. II. London, 1903; 3) Ingram T. D. *History of the legislative Union between Great Britain and Ireland*. London, 1887; 4) Daunt O'Neill W. J. Цит. соч., т. I; 5) Pressensé F. *L'Irlande et l'Angleterre depuis l'acte d'union jusqu'à nos jours*, livres 1—2. Paris, 1889; 6) Cusack M. F. *Life of Daniel O'Connell, the liberator. His times — political, social and religious*. London, 1872; 7) Madden R. R. Цит. соч., т. III (описание дела Эммета на основании, между прочим, и неизданных документов); 8) Pauli. *Geschichte Englands seit den Friedensschussen von* 1814 *und* 1815, Bd. I. Leipzig, 1864, главы: шестая и восьмая. Из более доступных сырых материалов интересны, хотя и пристрастно враждебно изложены, главы об Ирландии в *Annual register* за 1798, 1803, 1819, 1822, 1829 и некоторые другие годы. Кроме того смотрите уже названные в примечании к главе I книги: Morris O'Connor, Plowden, Lewis.

[16] Pressensé F. Цит. соч., книга 1, стр. 45.

[17] Там же, стр. 55.

[18] Маколей. Полное собр. соч., т. VI, стр. 217.

[19] Кроме указанных уже выше книг, см. об О'Конеле в рассматриваемую эпоху еще следующие работы: 1) De la Faye. *O'Connell, ses alliés et ses adversaires*. Paris, s. a.; 2) Dunlop R. *Daniel O'Connell and revival of national life in Ireland*. London, 1900; 3) Valsayre. *O'Connell, le libérateur de l'Irlande*. Abbeville, 1898; 4) Mac Carthy J. *Ireland since the union*. London, 1887; 5) особенно полезно издание сына О'Конеля. *The life and speeches of Daniel O'Connell*. Ed. by John O'Connell, vol. 1—2. Dublin, 1846. 2 vol.; для истории аграрного движения интересны: *Annual register* за 1822 г.; главы II и III за 1823 г.; *Annuaire historique* за 1822 г., стр. 539 и сл. Остальные указания см. в тексте.

[20] См. ее текст в *Annual register 1825*, стр. 3—4.

[21] *Annual register 1828*, стр. 124.

[22] В ганзардовском собрании парламентских прений *Parliamentary Debates*, new series, vol. XX. Эта речь занимает 53 страницы, см. стр. 727—780 (Measure for the removal of the roman catholic disabilities). Эта речь — важный для истории всего вопроса документ.

[23] Там же, стр. 742. Речь Пиля.

[24] Там же, т. XXI, стр. 41—58. Речь Веллингтона.— Полные протоколы заседаний палаты лордов 2, 3 и 4 апреля помещены на стр. 33—397 того же тома. Эти протокольные записи, содержащие текст речей,— лучший источник для истории билля в палате лордов. В сильно сокращенном пересказе можно с ними ознакомиться также по *Annual Register* 1829, стр. 65—98.

[25] Там же, т. XXI, стр. 52. Речь Веллингтона.

[26] Там же, стр. 74. Речь архиепископа Эрмоги.

[27] Там же, стр. 65. Речь архиепископа кентерберийского.

[28] Там же, стр. 144. Речь архиепископа иоркского.

[29] Там же, стр. 250. Речь графа Мансфильда.

[30] Greville Ch. *Memoirs. A Journal of the reigns of king George IV and king William IV*, vol. I. London, 1875, стр. 179. — Дневник Гревиля изобилует иногда очень важными фактическими указаниями и считается одним из полезных источников для английской политической истории начала XIX в.

[31] Там же, стр. 168.

[32] Кроме общих работ по истории Ирландии в XIX в., указанных в прежних примечаниях, а также уже названных биографиях О'Коннеля, написанных Dunlop, Valsayre, De la Faye, Lecky, см. еще следующие: 1) *Annual register* за 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846, 1847 гг.; 2) Duffy C. G. *Young Ireland. A fragment of Irish history* (1840—1845), vol. I—II. London, 1896. 2 vol.; 3) Duffy C. G. *Four years of Irish history* (1845—1849). London, 1893; 4) Lewis. *On local disturbances in Ireland and on the Irish church question*. London, 1836; 5) O'Brien R. B. *Fifty years of concessions to Ireland* (1831—1881), vol. 1—2. London, 1883—1885. 2 vol.; 6) *Two centuries of Irish history* (1691—1870). With introd. by J. Bryce. London, 1888. (авторы: Sullivan, Sigerton, Bridges, Fitzmaurice, Thursfield); 7) Ball J. T. *The reformed church of Ireland* (1537—1886). London, 1887; 8) Bellesheim. *Geschichte der katholischen Kirche in Irland*. Mainz, 1890; 9) Pittaluga A. *La questione agraria in Irilanda. Studio storico-economico*. Roma, 1894; 10) Beaumont G. *L'Irlande sociale, politique et religieuse*. Paris, 1863; 11) *Reports of state trials*. New series, vol. V, 1843 to 1844. London. 1893; 12) Mac Carthy J. H. *Ireland since the union*. London, 1887; 13) Nisbet. *Land tenure in Ireland*. Edinburgh, 1887; 14) Montgomery W. E. *The history of land tenure in Ireland*. Cambridge, 1889; 15) два тома отчетов комитета лордов 1824 г. *Minutes of evidence taken before the select committee of the house of lords* и такие же отчеты 1832 г. (важны для понимания социально-экономического положения Ирландии и в последующее время); 16) Hervé. *La crise irlandaise depuis la fin du XVIII^e siècle jusqu'à nos jours*. Paris, 1885; 17) *The Irish crisis* (статья о «великом голоде» на основании официальных документов). *Edinburgh review*, 1848, January, стр. 229—320; 18) Walpole S. *History of England*, vol. IV—V. London, 1890.

[33] См. главу I этих очерков.

[34] См. O'Brien R. B. *Fifty years of concessions to Ireland*. London, 1883, стр. 372 и сл.

[35] Все это рассказано у Даффи (см. примечание 32 к этой главе).

[36] См. Duffy Ch. G. *Young Ireland*. London, 1896, стр. 121.

[37] *Annuaire historique 1843*, стр. 485.

[38] См. *Times*, 1843, 9 october, стр. 4, 6-й столбец вверху.

[39] См. обоснование и развитие этой мысли: D u f f y Ch. G. Young Ireland, vol. II, стр. 40.

[40] На выбор были предложены еще Лимерик и Дэрри.

[41] При обсуждении субсидий Майнотской семинарии.

[42] См. описание этой сцены в записках Даффи.

[43] W a l p o l e S. Цит. соч., vol. V, стр. 91.

[44] См. отчет коммисии. *Annual register* 1845, p. II, стр. 456.

[45] Там же, стр. 457.

[46] W a l p o l e S. Цит. соч., vol. V, стр. 127.

[47] *Four years of Irish history*, стр. 42.

[48] P i t t a l u g a A. Цит. соч., стр. 156; другой исследователь (Beaumont G. *L'Irlande sociale, politique et religieuse*. Paris, 1863) дает цифру 6.551.000.

[49] См. описание этой сцены в *Four years of Irish history*, стр 338.

[50] Кроме уже указанных для этой (третьей) главы работ, см. еще след.: *The Irish crisis. Edinburgh review*, vol. 87, 1848, jan.; *Ireland and the ministerial measures. Blackwood magazine*, vol. 63; *Relief of Irish distress. Edinburgh review*, vol. 89; M i t c h e l l J. *Ireland since 1798*. London, s. a.; T r e n c h R. C. *Three days of the famine at Schull. Frazers magazine*, vol. 36; *Lord Clarendon's administration. Edinburgh review*, vol. 93, 1851; отчеты о процессах 1848 года. *Annual register 1848*, p. II, стр. 331—451.

[51] *Four years of Irish history*, стр. 534: To young eyes the new commonwealth looked like a better Utopia, the golden age of human liberty and progress.

[52] M o n t e s q u i e u. *Oeuvres*. Paris, 1838, стр. 631. *Notes sur l'Angleterre*.

[53] Кроме уже указанной в примечаниях к главам первой части общей исторической литературы по Ирландии, см. еще следующее: 1) O'L e a r y J. *Recollections of fenians and fenianism*, vol. I—II. London, 1896. 2 vol.; 2) M o r l e y. *The life of Gladstone*, vol. 2—3; 3) O'B r i e n R. B. *The life of Charles Stewart Parnell*, vol. I—II. London, 1899; 4) *Annual Register* за годы 1866—1869; 5) M a c C a r t h y J. *History of our own times*, vol. II—IV. London, 1900; 6) L e f e v r e G.S. P. *Irish members and English gaolers*. London, 1889; 7) B a g e n a l Ph. *The American Irish and their influence on Irish politics*. London, 1882; 8) W i s s. *Das irische Landgesetz von* 1881; 9) B e c k e r B. H. *Disturbed Ireland*. London, 1881; 10) D i l l o n. *The Truth about the Mitchelstown massacre*. London, 1887; 11) B u t t J. *Irelands appeal for amnesty*. London, 1870; 12) L e a d a m. *The case against coercion*. London, 1887; 13) F o x. *Why Ireland wants home rule*; 14) D a v i t t M. *The fall of the Feudalism in Ireland*, London, 1903; 15) F e r r e E. *L'Irlande, la crise agraire et politique, ses causes, ses dangers, sa solution*. Paris, 1887.

Мы старались в этой части дать возможно более краткий очерк деятельности Парнеля, ввиду того что названному деятелю уже была посвящена нами особая статья (см. наст. том, стр. 37—118.— *Ред.*).

Отчеты о процессах фениев см. особенно *Annual Register* за 1865 и 1867 гг. О революционной деятельности 80-х годов дает любопытные (хотя местами несколько сбивчивые) указания T y n a n P. J. *The Irish national invincibles and their times*. London, 1896.

[54] Курсив подлинника. O'L e a r y J. Цит. соч., т. II, стр. 199.

[55] См. первую часть настоящего очерка.

[56] По другим источникам непосредственно в пользу комитета лиги пошло 200 тысяч долларов.

[57] О'Брайен рассказывает, что перед смертью она узнала об одной

неудаче англичан в Египте и была в восторге; это была последняя радость ее жизни.

[58] Например, O'B r i e n B., *The life of C. S. Parnell*, vol. II, стр. 97, или в нашей статье о Парнеле (см. наст. том, стр. 37—118.— *Ред.*)

[59] Подробности см. в указанных биографических работах о Парнеле.

РАБОЧИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МАНУФАКТУР ВО ФРАНЦИИ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ

[1] *Les études relatives à l'histoire économique de la Révolution française.* Paris, 1906.

[2] Так ее называют сокращенно; полное название комиссии таково: «La commission chargée de rechercher et de publier les documents d'archives relatifs à la vie économique de la Révolution».

[3] *Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870.*

[4] *Les associations ouvrières au XVIII siècle.* Paris, 1900.

[5] См. журнал *Révolution française*, 1883, стр. 481.

[6] *Les manufactures Nationales.* Paris, 1889.

[7] *Notice sur la Manufacture Nationale de tapisseries des Gobelins*, par C. A. G u i l l a u m o t, architecte, directeur de cette Manufacture etc. A Paris de l'imprimerie de H. L. Perronneau (an VIII).— Единственный экземпляр этого editionis principis мы нашли в архиве мануфактуры Гобеленов. Даже в Национальной библиотеке этого издания VIII года нет.

[8] *Notice historique sur les manufactures impériales de tapisseries des Gobelins et de tapis de la Savonnerie suivie du catalogue des tapisseries exposées et au cours d'exécution.* Paris, 1853.

[9] *Histoire générale de la tapisserie*, in folio; его же издание *Histoire de la tapisserie depuis le moyen âge jusqu'à nos jours*, gr. in 4°. Tours, 1886.

[10] Недавно появилась: *Etat général des tapisseries de la Manufacture des Gobelins depuis son origine jusqu'à nos jours.* Paris, 1903—1904.

[11] *Notice historique sur la manufacture royale de tapisseries de Beauvais.* A Beauvais, août 1834.

[12] *Une manufacture de tapisseries de haute-lisse à Gisors sous le règne de Louis XIV.* Documents inédits sur cette manufacture et sur celle de Beauvais. Paris, 1876.

[13] B o u s s o n E. *La manufacture nationale de tapisserie de Beauvais.* Beauvais, 1904.

[14] Например: W. C h o c q u e l l. *Essai sur l'histoire et la situation actuelle de l'industrie de tapisseries et tapis.* Paris, 1863; или Baron de S-t e S u z a n n e. *Notes d'un curieux sur les tapisseries tissées de haute* et *basse lisse.* Monaco, [1876—1879].

[15] *La manufacture de Sèvres pendant la Révolution. Nouvelle Revue*, 1891. Другая статья Garnier, уже отчасти выходящая из рамок настоящей работы: *La manufacture de Sèvres en l'an* VIII, была помещена в *Gazette des Beaux-Arts*, t. 36, стр. 310—318 и t. 37, стр. 45—54.

[16] *La Manufacture de Sèvres sous la Révolution. Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise*, 1902, Février, стр. 1—15.

[17] Отдельный оттиск из *Revue de l'art français* за 1889 г.

[18] *Les sources de l'histoire de France depuis* 1789 *dans les Archives Nationales.* Paris, 1907, стр. 7.

[19] См. Нац. арх. O^2 913. Пачка: Compte général. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*, 23 floréal l'an V: ... Nous observons en terminant ce rapport que les comptes présentés par la Direction de la Manufacture de Sèvres et qui se bornent à une simple chiffrature ne peuvent donner une idée de la situation réelle de l'établissement.

[20] При старом режиме нужны были 6 лет apprentissage и затем 4 года compagnonnage на мануфактуре Gobelins, чтобы стать artiste ouvrier или gagner la maîtrise. Нац. арх. O^1 2052 B — Pièces sans date. Записка A. Vaudières.

[21] Впервые этот эпизод исследован на основании документальных данных M. Tuetey в его *Répertoire général des sources manuscrites de l'Histoire de Paris pendant la Révolution Française*, t. I. Paris, 1890, стр. XIX.

[22] Нац. арх. $O^1 2052^A$. Пачка: Gobelins 1789, письмо d'Agoult, помечено: le 5 may 1789.

[23] Например, см. Нац. арх. O^1 2052^A, рукопись от 6 июня 1789 г., начинающуюся словами: Etant informé, Monsieur, que vous devez vous rendre Lundi и т. д. или письмо Peyron, «Rp. 85» ($O^1 2052^A$), помечено на полях: 29 июня 1789 г., писано 4 июня.

[24] *District de Saint-Marcel. Extrait des registres de ses délibérations des 21 et 24 avril 1790 sur ce que le Roi et la Reine sont venus voir la Manufacture des Gobelins*, стр. 2.

[25] Нац. арх. $0^1 2052^{B-1}$. *Rôle des Gratifications ordonnées par Monsieur d'Angevilier, Directeur et ordonnateur général* etc., etc. Le premier rôle établi pour le soulagement des ouvriers de la Manufacture Royale des Gobelins, vû la cherté des vivres à raison de vingt sols par semaine pour chaque ouvrier et de dix sols par semaine pour chacun de leurs enfants hors d'Etat de travailler.— Всего в документах есть 6 таких отчетов, 3 из них представлены мастерскими за первое полугодие (подзаголовок six premiers mois 1790), и 3 — за второе (six derniers mois 1790).

[26] Нац. арх. $O^1 2052^{B-1}$. A Paris, le 6 mars 1790; подписано Bellé. Доклад о деле начинается в этой рукописи со слов: Une affaire fort sérieuse...etc.

[27] Там же:... pour ramener l'ordre et la tranquillité que l'effervescence présente a prodigieusement troublé.

[28] Нац. арх. $O^1 2052^{B-1}$. Письмо Guillaumot помечено: Paris, le 2 juin 1790: La conférence avec les ouvriers des Gobelins a eu lieu ce matin et a été des plus paisibles. Ils m'ont lu un projet de règlement fort sage... etc.

[29] Нац. арх. $O^1 2051^{B-1}$. Письмо рабочих: Monsieur le Comte, nous nous serions déjà justifiés ...etc., etc.

[30] Там же. Aussi ce qui nous a le plus pénétré dans votre lettre, Monsieur le Comte, c'est le reproche d'un manque de confiance qui fait au contraire tout notre espoir et notre bonheur...

[31] Нац. арх. O^1 2052. Письмо помечено: Paris, 31 octobre 1790:... qu'en entrant dans la Manufacture... ils renonçoient aux avantages communs à toutes les autres professions tel qu'un Etablissement personnel... etc.

[32] Нац. арх. $O^1 2052^{B-1}$. Observations (на полях: Gobelins). Рукопись занимает $2^1/_2$ страницы большого формата.

[33] Там же. Car enfin comment ne pas la (т. е. «une révolte ouverte» — *E. T.*) voir très nettement demontrée dans ce projet de règlement que proposent les ouvriers et dans lequel sous l'expression apparente, mais trop derisoire, du respect, du zèle et de la reconnaissance, ils établissent touts les moyens de sa rendre légalement maîtres de la gestion d'une Manufacture dont ils vivent cependant...

[34] Там же. Comment se prêter à l'idée que des ouvriers... se feront de leur admission dans une Manufacture d'autant plus Royale qu'elle est directement stipendiée par le Roi, *un titre pour se subordonner à des comités permanens, à des comités particuliers*? (в подлиннике подчеркнуто).

[35] Там же. L'esprit de la révolution ne permet peut être plus de songer à ce règlement et peut être aussi n'y pourrait en insister sans danger.

[36] Там же. Je suis loin de voter pour aggraver le malheur de la vie trop resserée, trop parcimonieuse d'un ouvrier...

[37] Там же: Mais tout salaire doit avoir un terme et une mesure. Et combien est immense la classe des métiers qui ne rendent pas un écu par jour.

En ce moment le Roi peut à peine payer. Et que sera-ce s'il faut se porter à une augmentation de 20 mille écus aussi stérile que la dépense qui se fait déjà? L'établissement croulera... etc.

[38] Там же: Ces ouvriers qui n'empruntent leur force resistante ou plutôt impérative que de la pitié, de la condescendance qu'on leur marque? Pauvres gens qui ne voyent pas qu'ils creusent l'abîme entr'ouvert sous leurs pieds!

[39] Там же. C'est peut être là ce dont il serait important de les frapper...etc.

[40] Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}II}$. Письмо д'Анживилье директору. Помечено: A Versailles, le 3 janvier 1791. Регламент, составленный Guillaumot, утвержден графом d'Angiviller 31 декабря 1790 г.

[41] Нац. арх., цит. документ: Le nouvel arrangement, Monsieur, que vous m'avez proposé pour terminer l'affaire des Gobelins m'a paru admissible et propre à mettre fin aux réclamations des ouvriers en tenant un milieu entre la rigueur extrême et une trop grande codescendance.— Утверждены эти правила были им еще 31 декабря 1790 г.

[42] Это слово трудно, говоря о национальных мануфактурах, перевести выражением «ученик»: из них выходили прямо в «artistes ouvriers». «Подмастерьями» же также не могут быть, например, названы дети 12 лет, начинавшие в этом возрасте свой «apprentissage».

[43] См. например: Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}II}$— документ, помеченный 3 juin 1791: Rp. 81 и др.

[44] Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}II}$. Письмо помечено le 6 février 1791: ...les affaires de la Manufacture des Gobelins étant à peu près arrangées d'une manière stable... etc.

[45] Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}II}$. Письмо Belle, помечено: Paris, le 10 avril 1791: S'il est des présomptueux,— la majorité est des hommes raisonnables et qui, la loi une fois faite et manifestée, — la soutiendront.

[46] Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}II}$. *Nouvel Etablissement pour fixation des salaires des ouvriers des Gobelins à compter du 1-er Janvier* 1791 (помечено на полях: Rp. 36, 23 mars 1791).

[47] Эти классы обозначены для двух последних мастерских цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, а для первой мастерской цифрами: 1, 2, 3, 3, 4; все остальное одинаково; для первой мастерской вторая цифра 3 соответствует 4, а 4—5.

[48] Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}II}$. *Suite du Règlement arrêté... 31 Décembre 1790, relatif au nouveau mode de payement des ouvriers*. Отдел: Des apprentis. Art. 3-e.

[49] Расходы из-за этой реформы сильно увеличились. В 1789 г. издержки на заработную плату равнялись 143 242 франкам, в 1790 г.— 144 168 франкам, а в 1791 г. — уже 165 927 франкам *Archives de la Manufacture des Gobelins*, Notice de G u i l l a u m o t, цит. изд., стр. 19—20.

[50] Aune carrée — 1 м 28 с. в Иль-де-Франсе.

[51] «Cela seconde mon projet de réduire le nombre des ouvriers»,—пишет д'Анживилье директору Гильомо по этому поводу. Нац. арх. O^1 2052 B-3, помечено: Paris, le 2 février 1792.

[52] Нац. арх. O^1 2052-3. Письмо помечено 6 mai 1792.

[53] Предлагаемая смета на полях,— помечена 10 août, Manufacture des Gobelins, adm. № 17. Рукопись называется: *Etat de propositions pour traitements et appointements*. Резолюции — на полях.

[54] Нац. арх. O^1 $2052^{B\text{-}III}$. *Copie du mémoire remis à M. M. les commissaires de la Section du Finistère pour préparer leur Rapport sur la Manufacture des Gobelins* (adm. ^{on}№ 39).

[55] *A Monsieur le ministre de l'Intérieur.* Monsieur, une vaine sollicitude agite en ce moment quelques ouvriers de la Manufacture des Gobelins; car la très majeure partie ne la partage point, n'envisage pas l'événement qui les distrait d'une liste supprimée pour les remettre heureusement dans

l'état primitif qui plaçoit cet établissement qui honore les arts dans la main de la Nation, comme capable de porter atteinte à leur sort. Neanmoins, Monsieur, pour continuer de manifester la parfaite union qui n'a cessé de régner dans leurs atteliers, tous se réunissent en ce moment pour vous supplier de les éclairer à cet égard et de daigner par un mot de réponse confirmer l'espoir que leur inspire l'équité de l'assemblée nationale et la votre. Следуют подписи: Desroy, la Forest, Fuzy, Representants les trois atteliers (на обороте приписка, куда направить ответ). Нац. арх. O^1 2052 $^{B-III}$. На полях помечено: R. à la 6 Div. 20 Août.

[56] Нац. арх. $O^1$2052^{B-III}. *Copie de la pétition, présentée à l'assemblée Nationale par la Commune de Paris*: ...vous vous empresserez de détruire l'espoir de cette despote du Nord dont l'Empire n'est déjà que trop peuplé d'artistes célébres de notre Nation et qui, en politique aussi adroite qu'ambitieuse tient toujours des émissaires parmi nous pour s'enrichir de nos dépouilles.

[57] «Ce ministre qui sous l'ancien gouvernement étoit inspecteur des manufactures commerçantes ne consideroit celle des Gobelins que sous le rapport du produit...» — так отзывается о тенденции Ролана Guillaumot. Notice, цит. изд. *Archives de la Manufacture des Gobelins.*

[58] См. доклад Audran'а министру внутренних дел. Помечено: Des Gobelins 6 octobre 1792, l'an IV de la liberté, № 1302 (...payements fixés par eux mêmes et auxquels Mr Dangivillé a acquiescé aveuglement...). Нац. арх. O^1 2052 $^{B-III}$.

[59] См. доклад Belle's министру внутренних дел (Aux Gobelins, ce 19 novembre 1792). Нац. арх. O^1 2052^{B-III}.

[60] ...Sous quelque dénomination que ce fût... Петиция. *A Monsieur Roland*, Registre № 634. Подписано тремя депутатами от рабочих: Mangschot, Bouveron, Coullaudon.

[61] Нац. арх. O^2 871. *Au Citoyen Rolan* (sic.), Ministre de l'Intérieur le 12 novembre 1792.

[62] Нац. арх. O^1 2052 $^{B-III}$ *Le ministre de l'Intérieur au Citoyen Belle*, à la Manufacture Nationale des Gobelins, Paris le 1 décembre 1792, l'an I de la République: ...et j'ai vu avec douleur combien vous avez contribué à mettre la manufacture dans le désordre et l'anarchie où elle est aujourd'hui.

[63] Нац. арх. O^2 871, Paris, le 10 décembre 1792, l'an I de la République. *Le ministre de l'intérieur aux citoyens employés aux travaux de la Manufacture des Gobelins*: Je suis informé de la répugnance que quelques uns d'entre vous témoignent à travailler à la tâche. Je sais en même temps qu'une autre partie plus disposée à seconder de tous leurs efforts l'administration qui se propose de réduire la dépense d'établissements desquels il résulte non pas un produit mais une charge pour le trésor public, se soumet avec joie au nouveau règlement que j'ai cru devoir établir ...Je vous engage donc, citoyens, sous tous les rapports possibles, sous celui de votre intérêt propre qui dans des coeurs patriotes n'agit que le dernier, je vous engage à vous conformer sans délai au règlement qui vous a été communiqué. Je ne doute pas que vous ne cédiez à la voix de la raison, de la justice et du patriotisme. En conséquence je donne par cette lettre ci même ordre au Directeur de la Manufacture de faire un appel nominal et de demander à chaqun de vous sur le champ s'il accède ou non à l'article du Règlement qui prescrit de travailler à la tâche. Chaqun de vous sans doute est libre d'avoir à cet égard son choix et sa volonté, mais son refus d'acceder sera regardé comme un consentement d'être rayé du tableau des ouvriers de la Manufacture et je mets sous la responsabilité du directeur l'execution d'une mesure qui me parait importante pour économie des deniers de la République...

[64] Все документы, относящиеся к этому делу — в Нац. арх. O^2 871: a) *extrait du Registre des délibérations de l'assemblée générale de la Section*

du Finistère (помечено 26 декабря 1792 г.); b) *Section du Finistère, séance de l'Assemblée générale du 19 avril*; c) письмо Garat к Декюрелю — *Le ministre de l'Intérieur au citoyen Decurelle*; d) донесение Audran'а министру внутренних дел, помечено: Ce 2 avril 1793; e) другое донесение его же (20 avril 1793); f) письмо Ролана к Audran (Paris, le 1 janvier 1793); g) письмо Ролана в секцию (Paris, le 1 janvier 1793).

[65] ...Vous vous êtes illégalement efforcé d'entraîner vos concitoyens...

[66] Нац. арх. O² 872. Пачка: Personnel. Comité Révolutionnaire de la Section du Finistère l'an II de la République, ce 22 brumaire, отношение комитета к министру внутренних дел: Citoyen ministre, depuis longtemps la conduite incivique de M-r Audran était reconnue par la voix et l'opinion publique, elle a paru d'autant plus inquiétante au comité qu'étant placé par Roland à la tête d'une manufacture qui réunit un grand nombre d'ouvriers il pouvoit y exercer une influence funeste à la liberté... etc., etc.

[67] Нац. арх. O² 872. Пачка: Personnel.—*Extrait du Registre des déclarations du comité Révolutionnaire de la Section du Finistère en date du Seize Brumaire, l'an II* (т. е. 6 ноября 1793 г.). Показание рабочего Thiers, что Audran был партизаном de l'ex-ministre Roland et d'avoir exercé des actes du despotisme aux Gobelins en menaçant les ouvriers de les mettre à la porte s'ils ne vouloient pas travailler à la tâche au lieu d'être payés à la journée et vouloit leur faire signer un Règlement qu'il avoit fait à ce sujet et auquel ils ont été obligés de se soumettre pour ne pas perdre leur état; показание Duchené, что Audran s'était comporté en despote aidé du ministre Roland; показание Dumontel, что с начала своего управления он вел себя как «ennemi de l'égalité envers les ouvriers» и опять жалобы на введение поденьной платы и т. д.

[68] Нац. арх. O² 871. Письмо помечено 24 nivôse l'an II (т. е. 13 января 1794 г.). *Le directeur de la Manufacture Nationale des Gobelins au Ministre de l'Intérieur*. Министр отказал 29 ventôse (19 марта того же года), не желая брать этого на свою ответственность.

[69] О нем см. также Lacordaire. *Notice sur l'Origine et les travaux des Manufactures de Tapisserie et de tapis réunies aus Gobelins*. Paris, 1852, стр. 42.

[70] Нац. арх. O² 871. Письмо помечено 23 germinal, l'an II.

[71] Нац. арх. O² 871. *Extrait du Registre des arrêtés du Comité de Salut public du 5 prairial l'an II*: ...arrêté que la manufacture des Gobelins et ses dépendances, les Manufactures de Sèvres et de la Savonnerie sont sous la surveillance et la direction de la Comission d'agriculture et des arts....etc.

[72] Нац. арх. O² 871. *Arrêté du Comité de Salut public. Extrait des Registres du Comité de Salut public de la Convention Nationale*, 30 messidor l'an II, article II: ...seront exclus de l'exécution les tableaux présentant des emblèmes ou des sujets incompatibles avec les idées et les moeurs républicains.— Это жюри должно быть назначено Комитетом общественного спасения по представлению комиссии земледелия и искусств, которая раньше снесется с комиссией народного просвещения.

[73] Нац. арх. O² 871. *Arrêté 3 fructidor, an* II: ...classer les ouvriers suivant leur degré de talent et d'assiduité du travail.

[74] В архиве мануфактуры Гобеленов сохраняется много протоколов заседаний этого жюри, показывающих, как внимательно и обстоятельно рассматривались дела на этих заседаниях. *Archives de la manufacture Nationale des Gobelins*, t. II. В этот же том II серии *Documents originaux* архива мануфактуры Гобеленов вплетено интересное заявление рабочих по поводу необходимого, по их мнению, участия рабочих в жюри: ...nous avons cru entrer dans des principes de notre heureuse révolution en proposant de faire juger les ouvriers artistes par leurs paires,— c'est ce qui nous a fait demander qu'un nombre d'ouvriers nommés par tous fussent membres du conseil et participassent aux décisions. Люди, стоявшие тогда у власти,

сами вызвали рабочих на эти соображения, прямо пригласив их изложить свои мнения касательно ведения работ на мануфактуре.

[75] Очевидно, во время самих работ комиссии один умер (он имеется еще в протоколах, но с пометкой décédé). См. *Relevé des procès-verbaux des séances de jury des arts et manufactures tenues dans la Manufacture Nationale des Gobelins les* 11, 12, 13, 14, 15,16, 17 *et* 18 *fructidor, an II* etc. Нац. арх. O² 872.

[76] Нац. арх. O² 872. *Bases proposées pour le payement des ouvriers des Manufactures Nationales des Gobelins et de la Savonnerie.*

[77] Вот что написала комиссия земледелия и искусств директору мануфактуры по поводу одной жалобы рабочих на решение жюри: Tu voudras bien leur (рабочим — *E. T.*) déclarer que la commission, pleine de confiance dans les lumières et la probité du jury, tient son travail pour bien fait et définitif, que même elle ne croit pas avoir le pouvoir d'y rien changer et que toute réclamation qui auroit pour motif une prétention à un plus haut degrès de talent que celui assigné par le jury sera regardée comme non avenue. Письмо комиссии, Paris, le 26 fructidor, l'an II, au citoyen Belle.

[78] Жалованье уплачивалось помесячно (множилось число дней месяца на дневной заработок); I класс получал 210, II — 180, III — 150, IV — 120 ливров в месяц.

[79] «Augmentation étonnante», «rapidité effrayante»— характерные выражения этого времени крутого финансового кризиса. Нац. арх. O² 872. *Les artistes ouvriers de la Manufacture Nationale des Gobelins aux citoyens composant la Commission d'agriculture et des arts.*

[80] Нац. арх. O² 872. Письмо было послано 12 pluviôse (31 января 1795 **г.**).

[81] «Il (décret de 4 pluviôse.— *E. T.*) ne s'applique pas à vous... il n'est relatif qu'aux fonctionnaires publics des administrations civiles et aux employés,— *deux classes dans lesquelles vous n'êtes point compris*».

[82] Нац. арх. O² 871. *Arrêté du Comité d'agriculture et des arts du cinq Ventôse l'an troisième* (т. е. 23 февраля 1795 г.).

[83] Нац. арх. O² 872. Письмо директора комиссии 28 floréal (т.е. 17 мая 1795 г.): ...tout est infiniment augmenté...

[84] Нац. арх. O² 872, ответ комиссии 3 prairial, an III (22 мая 1795 г.).

[85] Эти цифры для июня 1795 г. дает *Rapport à la commission d'agriculture et des arts* от 27 prairial, an III (15 июня 1795 г.). Нац. арх. O² 874.

[86] Нац. арх. O² 871. *Rapport au Comité d'agriculture et des arts.*

[87] 16 messidor, l'an III (см. письмо к нему комиссии, извещающей его о назначении). Нац. арх. O² 872.

[88] «Nous vous observons que la pétition des ouvriers des Gobelins n'est point revêtue d'un visa du Directeur qui atteste la vérité de son contenu. Cette formalité est d'autant plus indispensable qu'elle a pour objet non seulement de maintenir la subordination dans la Manufacture mais encore de faire connoitre les besoins et la justice de la demande». Нац. арх. O² 872. *Rapport au comité,* s. d.

[89] «Le bon ordre exige que les ouvriers ne fassent jamais de semblables pétitions sans les avoir auparavant soumis à leur directeur».Нац. арх. O² 872.

[90] Нац. арх.O² 872. *Rapport au Comité d'agriculture et des arts* (на полях резолюция: adopté 9 thermidor, III): On ne peut se dissimuler l'insuffisance de ces journées relativement au prix des subsistances et leur modicité si on les compare au Salaire libre des ouvriers employés dans les fabriques particulières...

[91] Нац. арх. O²872. Пачка Fructidor, III. *Pétition aux citoyens composants le comité des arts,* помечена 18 fructidor, III: ...à peine ont-ils (пишут они о себе самих — *E. T.*) obtenu l'augmentation dernière qu'ils n'ont pu jouir de son efficacité, parcequ'elle ne saurait atteindre le prix exorbitant

auquel a été porté sans mesure tout ce qui concerne la subsistance et le vêtement...

[92] Нац. арх. O² 873. *Rapport 13 prairial, an* V.

[93] До 24 апреля 1797 г. (5 floréal l'an V). Нац. арх. O² 873. *Rapport* 13 *prairial, an V.* Но выдача дров натурой прекратилась еще в 1796 г.

[94] Нац. арх. O² 874. *Rapport au Ministre de l'Intérieur* 26 *flor., IV.*

[95] Письмо Guillaumot к Dubois (chef de la 4 Division du Bureau des arts): L'opération du ministre des finances relativement aux tapisseries de cette Manufacture qu'il donne en payement à divers créanciers de la République... (помечено 12 thermidor, an IV, т. е. 30 июля 1796 г.).

[96] Нац. арх. O² 873. Paris, le 21 Thermidor, l'an IV (т. е. 8 августа 1796 г.). *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur* (Bureau des arts): Le Ministre connoit par les rapports qui lui ont été fait la malheureuse position où sont reduits les artistes et ouvriers attachés à la Manufacture nationale des Gobelins. Ces laborieux soutiens d'un art qui honore l'industrie françoise et qui multiplie souvent avec avantage les tableaux de notre école luttent avec peine depuis quelque temps contre les premiers besoins. Tout ce que le Directoire exécutif, tout ce que le ministre a voulu faire en leur faveur a été sans effet par l'instabilité de notre système monétaire. Le directeur m'observe qu'il voit ces artistes réduits au désespoir et la manufacture prête à se dissoudre si l'on ne subvient enfin à cet établissement par des moyens efficaces.

[97] Нац. арх. O² 872. *Observations du citoyen Guillaumot* (ср. Lacordaire. *Notice sur l'origine et les travaux des manufactures de tapisseries et de tapis réunies aux Gobelins*, 1852, стр. 45).

[98] Нац. арх. O² 872. Помечено 2 jour complémentaire, an IV (т. е. 20 сентября 1796 г.).

[99] Нац. арх. O² 873. Пачка: Rapports concernant les employés et ouvrier de l'an IV à l'an IX, петиция *Au citoyen Ministre de l'Intérieur*, 14 vendemiaire, l'an V (т. е. 5 октября 1796 г.). При прошении — особая бумажка с резолюцией: «Répondre que le traitement accordé aux artistes doit suffire» etc.

[100] Нац. арх. O² 874. Germinal 5, пачка Rapports an V. Etat du remboursement du prix du pain aux artistes, employés et ouvriers de la Manufacture Nationale des Gobelins (особая графа: *bouches*).

[101] Нац. арх. O² 872. Пачка: Personnel. *Rapport au Ministre de l'Intérieur* (6 floréal, V). Два «premiers ouvriers», стоявшие вне классов, получали по 1250 франков.

[102] Нац. арх. O² 873. *Les artistes ouvriers au citoyen Ministre de l'Intérieur*, 26 thermidor (т. е. 13 августа 1797 г.).

[103] Depuis que les payements se font en numéraire nous sommes si peu et si mal payés que le reste de nos effets n'existe plus même jusqu'aux draps de nos lits.

[104] Нац. арх. O² 873. Пачка: Décisions et ordonnances de payement du traitement des employés et artistes de la Manufacture, an IV, петиция рабочих: ...c'est après avoir frappé à toutes les portes et n'avoir point été entendus que nous nous trouvons forcé par les besoins les plus extrêmes que nous éprouvons d'interrompre vos précieux moments ...etc., etc.

[105] Нац. арх. O² 873, письмо Guillaumot, 5 fructidor.

[106] «Je vois avec douleur l'état pénible où se trouvent les employés et les ouvriers de cet établissement, mais il n'est pas en mon pouvoir pas même à celui du Ministre d'y remédier quant à présent...» Нац. арх. O² 873. *Le chef de la comptabilité générale des Bureaux du Ministre de l'Intérieur au citoyen Dubois, chef de la 4 Division*, письмо от 25 fructidor, an V (11 сентября 1797 г.).

[107] Нац. арх. O² 874. *Rapport au Ministre de l'Intérieur*, 23 Brumaire, an VI (13 ноября 1797 г.)

[108] Нац. арх. O² 873. *Rapport présenté au Directoire Exécutive* (frimaire, an VI).

[109] Нац. арх. O² 874. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*, 19 frimaire, an VII (9 декабря 1798 г.).

[110] Нац. арх. *Rapport au Ministre*, 4 pluviôse, an VII; директор дает такие сведения: в 1790 г. рабочие уплачивали 1 ливр 30 сантимов, в 1797 г. они были обложены налогом в 7 франков 20 сантимов.

[111] Там же.

[112] «En même temps nous vous prions de lui (министру.— *E. T.*) exposer que cette augmentation... ne peut aucunement soulager notre infortune, que même cette augmentation relativement au prix de toutes choses ne peut nous procurer aucune partie de comestible... etc». Нац. арх. O² 874. *Les employés et artistes ouvriers de la Manufacture Nationale des Gobelins au citoyen Dubois, chef de la 4 Division.*

[113] Нац. арх. O² 874. Петиция была послана 23 prairial, VII, т.е. 11 июня 1799 г.

[114] Нац. арх. O² 874. *Aux citoyens directeurs*, ce 11 vendemaire, an VIII (3 октября 1799 г.).

[115] Положение рабочих в первое время Консульства было очень неприглядно, ибо сравнительно с началом революционного периода все припасы вздорожали на одну треть своей стоимости, а жалованье было равно лишь трем четвертям того, какое рабочие получали в 1791 г. Ср. *Archives de la Manufacture des Gobelins*, серия «Documents originaux», т. III: Mémoire sur la nécessité d'une nouvelle organisation et d'une augmentation de salaires pour les ouvriers de la Manufacture Nationale des Gobelins; там же: *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*, 20 fructidor, an X.

[116] Документы, относящиеся к началу мануфактуры de la Savonnerie см. в Нац. арх. O¹ 2055, а также O² 2057-A. *Observations qu'on cru devoir soumettre au citoyen Roland ministre de l'Intérieur les ouvriers de la Savonnerie*; там же доклад Duvivier от 8 июля 1792 г.

[117] Нац. арх. O¹ 2055. *Edit du Roy concernant les privilèges accordés à la Manufacture Royale de la Savonnerie*. Donné à Marly au mois de janvier 1712.

[118] Нац. арх. O¹ 2055. *Mémoire en interprétation des arrêts, édits, lettres patentes et privilèges attribués à la Manufacture de la Savonnerie, établie à Chaillot.*

[119] Но уже к концу XVIII в. есть сведения, что «все или почти все» рабочие пользуются помещением на мануфактуре; см. Нац. арх. O² 907, 17 nivôse, an IV; *Le ministre de l'Intérieur au citoyen Duvivier.*

[120] Нац. архив. O¹ 2057-A, *Etat de la quantité d'ouvrage fait à la Savonnerie depuis 1777.*

Годы	Количество aulnes	Годы	Количество aulnes
1777	115	1784	120½
1778	110¼	1785	118
1779	134	1786	137
1780	145¾	1787	138
1781	110½	1788	151
1782	155¾	1789	152
1783	122½	1790	170

[121] См. предшествующее примечание.

[122] Нац. арх. O¹ 2057-A. Plans et pièces s. d.; письмо без подписи, писа-

но, безусловно, рукой Duvivier; по смыслу тоже никем другим не могло быть написано.

[123] Титул его в это время был такой: M. Guillaumot, intendant général des bâtiments du Roi, Directeur des Manufactures Royales des Gobelins et de la Savonnerie. Нац. арх. O[1] 2057-A, année 1790, 2-e Division.

[124] Нац. арх. O[1] 2057-A. Прошение рабочих к Guillaumot: De plus, monsieur, vous qui êtes toujours avec les ouvriers et qui pouvez à juste titre vous en dire le père...

[125] Нац. арх. O[1] 2057-A. Другое прошение: Monsieur, l'empressement que vous nous avez toujours temoigné depuis que nous avons l'honneur d'être connus de vous, de participer de tout votre pouvoir aux moyens de regénerer la perfection de nos travaux et d'assurer à jamais notre bonheur nous a inspiré une confiance capable de nous abandonner entièrement à tout ce que la justice et la bonté de votre coeur vous dicteroit à cet égard... etc.

[126] Нац. арх. O[1] 2057-A. Письмо *A M. le comte d'Angiviller etc.*, пометка карандашом: 21 juin.

[127] ...Quelques legères gratifications qui se decerneroient chaque année en forme de prix ... etc.

[128] Нац. арх. O[1] 2057-A. Письмо к d'Angiviller (Monsieur, c'est toujours dans une confiance assurée que nous nous adressons à vous... etc.): Nous vous supplions Monsieur, de regarder les sieurs Givry, Noblet, Richy et Noël icy présents comme entièrement autorisés de notre part et nous renonçons à toutes reclamations contre ce qu'ils conviendront avec vous.

[129] Нац. арх. O[1] 2057-A. Письмо к Guillaumot.

[130] Votre bonne disposition à notre égard nous rassurera toujours malgré les obstacles et les difficultés qui l'on pourroit semer à travers les opérations d'où doivent résulter la regéneration de nos travaux et l'amélioration de notre sort,— писали они d'Angiviller. Нац. арх. O[1] 2057-A.

[131] Нац. арх. O[1] 2057-A. Monsieur, voicy l'état nominatif... etc.

[132] Нац. арх. O[1] 2057-A. *Règlemenl provisoire pous la manufacture de la Savonnerie relatif à l'essay d'un nouvel ordre pour le payement des ouvriers.*

[133] Нац. арх. O[1] 2057. Mémoire от 14 апреля 1791 г.

[134] Règlement, цит. документ: Et pour vaincre la répugnance que pourroient éprouver quelques ouvriers à se charger de cette mission par une delicatesse d'autant moins fondée que cette surveillance est indispensable et sera reciproque, tous les noms des ouvriers de l'atelier seront inscrits pour être tirés au sort et à l'ordre successif de leur sortie... etc.

[135] Нац. арх. O[1] 2057-A. Письмо от d'Angiviller к Guillaumot, 20 avril 1791.

[136] Нац. арх. O[1] 2057-A, № 1276. *Au ministre de l'Intérieur.* Письмо Duvivier. —К этому же времени относится и официальное констатирование невозможности принять хотя бы одного нового рабочего: ...la manufacture de la Savonnerie étant aujourd'hui très dispensieuse et onéreuse au Roi par un effet du nouveau Régime; il ne paroit pas que ce soit le cas d'en augmenter le nombre des ouvriers... etc. Письмо к Guillaumot, 7 octobre 1791.

[137] Нац. арх. O[1] 2057-A, 8 juillet 1792: ...il ne se trouve plus chargé du payement des ouvriers puisque monsieur l'intendant de la liste civile y fait satisfaire par une somme adressée à l'entrepreneur mois par mois et le surplus de ces sommes restantes entre ses mains lui sert d'accompte sur la fourniture de matières dont il est chargé pour les travaux.

[138] Нац. арх. O[1] 2057-A. Août 1792. L'analogie des deux établissements... paroit exiger une marche uniforme pour l'un et pour l'autre.

[139] Нац. арх. O[1] 2057-A. *A Monsieur Roland, Ministre de l'Intérieur* (29 августа).

[140] Нац. арх. O[1] 2057-A. *Moyens de réunir la manufacture des tapis de la Savonnerie à celle des Gobelins*... etc. (18 novembre 1792).

[141] Нац. арх. O¹ 2057-A. Письмо Duvivier (8 décembre 1792).

[142] Néanmoins il faudroit bien se tenir en garde contre le projet de les réunir sous la même direction et le même régime. Celle-ci est simple, elle peut prospérer avec de l'attention et en lui laissant sa liberté et sa bonne conduite. Jamais je n'y ay entendu les blâmes ou les agitations dont souvent et longtemps j'ai sçu les Gobelins travaillés.

[143] Например, постановление комитета земледелия и искусств, 19 prairial l'an III. Нац. арх. AF II-13-85. *Rapport au comité.* ...la pétition des ouvriers de la Savonnerie que vous nous avez renvoyée le 16 du courant contient les mêmes réclamations que celle des ouvriers des Gobelins...

[144] Нац. арх. O¹ 2057-A, 6 fructidor, an II. *Au citoyen Duvivier*; сбоку приписка: envoyer la même lettre à Belle directeur des Gobelins.— Одинаково, конечно, рабочие Savonnerie получали и отказы рассматривать жалобы на решения этого жюри (см. Нац. арх. O² 907, 15 prairial, an III. Ответ жалобщику Sabin).

[145] Нац. арх. O² 2057-A. *Détails et observations sur la manufacture nationale dite la Savonnerie* etc. Нац. арх. O² 907. *Etat nominatif des artistes ouvriers et employés* (осень 1795 г.). Нац. арх. O² 907, 8 vendemiaire, an VIII. *Au citoyen Dubois chef de la 4-e Division* (1798 г.) и пр.

[146] Нац. арх. O² 907. *Arrêté du Comité de Salut public*, 1 brumaire, an IV (23 октября 1795 г.).

[147] Нац. арх. O² 907, 27 prairial, an III. *Au citoyen Duvivier.*

[148] Ils peuvent dire avec verité qu'ils meurent de faim dans toute la force du terme, puisqu'ils voyent journellement leurs femmes, leurs enfants et eux-même tomber en défaillance. Нац. арх. O² 907, 21 floréal.

[149] Нац. арх. O² 907, 12 nivôse, an IV.

[150] Нац. арх. O² 907, 17 nivôse, an IV.

[151] Нац. арх. O² 907, 13 messidor, an IV (1 июля 1796 г.). *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.*— Несколько ранее они горько жалуются на обесценение бумажных денег, на которые нельзя достать «une infinité d'objets indispensables dans un ménage...» 6 messidor, an IV (24 июня 1796 г.). *Au citoyen Ministre.* Нац. арх. O² 907.

[152] Нац. арх. O² 907, 1 jour complémentaire, an IV (17 сентября 1796 г.) *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.*

[153] Нац. арх. O² 907, 3 frimaire, an V. *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.*

[154] Нац. арх. O² 907, 6 fructidor.

[155] Нац. арх. O² 907, 25 nivôse, V année.

[156] Нац. арх. O² 907, 2 messidor, an V (20 июня 1797 г.).

[157] Нац. арх. O² 907, 9 thermidor, an V. *Pétition au Directoire Exécutif.*

[158] Нац. арх. O² 907, 25 frimaire, an VI. *Chef de la 4 Division de l'intérieur au citoyen Duvivier...* etc.

[159] Нац. арх. O² 907, 29 pluviôse. *Au Directoire Exécutif.*

[160] Там же, письмо Duvivier к Dubois, chef de la 4 Division etc., 14 pluviôse, an VI.

[161] Нац. арх. O² 907, 13 vendemaire, an VII (4 октября 1798 г.). *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur.*

[162] Нац. арх. O² 907, 4 floréal, an VII. *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.*

[163] Нац. арх. O² 907, 14 messidor, an VII (2 июля 1799 г.). *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.*

[164] Нац. арх. O² 907, 8 frimaire, VIII année (29 ноября 1799 г.). *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.*

[165] Нац. арх. O² 907, 27 nivôse, an VIII (19 января 1800 г.), письмо Duvivier министру.

[166] *Rapport demandé par le ministre de l'Intérieur*, le 16 floréal, an VIII (6 мая 1800 г.).

[167] Нац. арх. O² 907, 1 thermidor, an VIII. *Au citoyen ministre de l'Intérieur.*

[168] Нац. арх. O^2 908, 27 thermidor, an X. *Au citoyen Chaptal, ministre de l'Intérieur.*

[169] 17 января 1787 г. Нац. арх. F^{12} 1494.

[170] Нац. арх. F^{12} 1494, пачка: Boisselles et Vincennes. *Observations sur les demandes des petites Manufactures de Porcelaines contre la Manufacture Royale.*

[171] Доклад графу d'Angiviller 9 марта 1784 г. Нац. арх. O^1 2061, первая пачка.

[172] Нац. арх. O^1 2061-6. *Observations sur la Manufacture de Porcelaines du Roi*:.. car il serait bien malheureux que la Manufacture ne vendit pas pour 150 ou 200 000 dans le courant de l'année...

[173] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres* 1790, H. 5, Liasse 1. A Versailles, le 22 février 1790: Les ventes sont au dessous de ses dépenses ordinaires et le coup de massue que vient de recevoir le luxe et des gens de la cour et des gens riches de Paris est la principale cause de sa détresse. On peut même dire que la vente baissera encore.— Письмо писано Montucla, который себя называет *un des deux prêmiers commis des Bâtiments du Roi* (см. этот титул в его письме от 20 сентября 1792 г.— *Archives de la Manufacture de Sèvres*, correspondance 1792).

[174] Sans doute, s'il s'agissait de vendre, on trouverait des acquereurs peut-être même à un prix en apparence avantageux... *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres.* Пачка: Copies des papiers, lettres et documents appartenant à la Bibliothèque de Zurich (корреспонденция J. J. Hettlinger). *Copie du mémoire présenté au Roi par M-r d'Angiviller, Directeur général des bâtiments sur la Manufacture Royale des porcelaines...*

[175] Там же: «Mes motifs ont été de ne pas exciter l'insurrection si près de Versailles, de Paris et de St. Cloud, de ne pas reduire à la misère et au desespoir qui souvent conduit au crime deux à trois sents ouvriers»... etc., etc. «Je ne puis rendre à votre Majesté quelles ont été et quelles sont mes inquiétudes».

[176] Нац. арх. O^1 2061, седьмая пачка.

[177] Нац. арх. O^1 2063: ...mais d'un autre côté la Manufacture a à craindre des brocards, les insultes de la part des gens qui déjà ne nous aiment pas, peut être même des coups de pierre dans les vitres...

[178] Нац. арх. O^1 2061, восьмая пачка: ...la baisse du commerce déjà trop constante depuis deux ans laisse à craindre un accroissement d'autant plus nuisible que les acheteurs en général bien plus rares que dans les autres commerces se portèrent vers les petites manufactures ...etc.

[179] Нац. арх. O^1 2061, восьмая пачка. *Mémoire sur la manufacture des porcelaines de Sèvres.*

[180] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*, Correspondance 1790, H. 5, Liasse 1, à Versailles, le 4 avril 1790. Речь идет о «l'insurrection qu'il y a eu à la Manufacture à l'occasion d'un mois arriéré».

[181] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres 1790*, correspondance, H. 5, Liasse 1. Письмо d'Angiviller к дирекции от 14 апреля 1790 г.

[182] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*, H. 5, Liasse 1. A Versailles, le 21 may 1790. Письмо d'Angiviller к Régnier: J'apprends par M. Montucla que la suspension des ouvrages des femmes a été annoncée sans qu'il en soit resulté de la fermentation. J'avois quelque peu inquétude sur ce sujet.

[183] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres.* Correspondance 1791 avec Laporte, intendant de la liste civile, H. 5, Liasse 2. Paris, le 4 décembre 1791: Ce n'est qu'avec peine que je me suis determiné à consentir ces augmentations, la fermentation qui s'est élevée à la Manufacture, étant une suite des premières auxquelles j'aurois du me refuser.

[184] Там же: J'apprends au surplus avec plaisir que diverses commandes livrées font rentrer dans la caisse de la Manufacture une somme de 18.000

et quelques cents livres et même qu'il doit y rentrer encore quelques sommes.

[185] M. Garnier в уже упомянутой своей статье как бы «оправдывает» севрских рабочих от обвинения в якобинизме, высказанном m-m: Campan. Случай этот вообще слишком ничтожен, чтобы строить на нем те или иные выводы.

[186] Нац. арх. D. IV. 1767—1815, cart. 60 (Comité de constitution), Liasse 1785 (на обложке Liasse: E IV. 1 Pièce. Petition des ouvriers de la manufacture Nationale 1785). *A Nosseigneurs de l'assemblée nationale*. На полях: affaire de Sèvres, Comité de constitution, Munic. Sèvres. Seine-et-Oise. Pièce unique. Ср. также Jules G u i f f r e y. *Documents inédits*...etc., упомянутую нами в введении.

[187] Нац. арх. O[1] 2061-8. *Mémoire sur la manufacture de porcelaines de Sèvres*: Ces motifs se trouvent dans les crises révolutionnaires qui se sont succedés si rapidement et qui se sont faits sentir avec force sur ce superbe établissement... tout détruire sans rien créer, chasser les hommes en place, s'en emparer tel a été malheureusement un moment l'ordre du jour...

[188] С 12 августа 1792 г. по решению Законодательного собрания Clavière заведывал мануфактурами до первых чисел сентября. Первое письмо Roland (в руки которого тогда перешли мануфактуры), писанное дирекции Севрской мануфактуры, помечено 11 сентября 1792 г. (см. *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*, H. 5, Liasse 3.)

[189] Нац. арх. F[12] 1496. *Rapport* 7 *janvier* 1793.

[190] Нац. арх. F[12] 1496, 13 février 1793. *Au ministre de la justice en sa qualité de ministre de l'Intérieur par interim.*

[191] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*, H. 5, Liasse 3, Correspondance 1792, письмо Haudry к Régnier, 6 octobre 1792: ...appellons donc ces bons citoyens à notre aide, consultons les, agissons avec eux, et par eux, regardons les comme l'âme de ce corps de Manufacture, dont nous ne sommes que les membres... (ср. также G a r n i e r, *La Manufacture Nationale de Sèvres pendant la Révolution*).

[192] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*, 1793, H. 5, Liasse 4: Mais je dois dans tous les cas vous rappeller que dans les circonstances du moment il s'agit moins de soutenir l'ouvrage que l'ouvrier... (Paris, le 24 juin 1793, l'an II de la République. Подписано Garat).

[193] См., например, жалобу казначея Barreau по поводу проявленного рабочими неудовольствия из-за задержки в жалованьи... ces ouvriers conduits sans doute par des malveillants savoient cependant qu'ils étoient sur le point de l'être... (Нац. арх.)

[194] Нац. арх. F[12] 1496, докладная записка Hettlinger (au citoyen Coquéau), 24 may 1793. *Notes sur la Manufacture Nationale de Sèvres*.

[195] Нац. арх. F[12] 1495. Chulot peintre à la Manufacture Nationale de porcelaines: ...en 1793 je fus poursuivi par des hommes de la même maison... ils composaient en grande partie le comité révolutionnaire de Sèvres...— Есть и еще указания того же рода.

[196] Нац. арх. F[12] 1496. *Copie d'un mémoire qui sera présenté au comité de sûreté générale de la Convention Nationale.*

[197] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*, Liasse IV. Comité de surveillance et révolutionnaire. Observations précises faites au sujet de l'assemblée générale de la commune de Sèvres du 13 may 1793 vieux stile (sic) помечено: ce 17 brumaire, l'an II de la République une et indivisible.

[198] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*, пачка: Comité de surveillance et révolutionnaire. Rapport sur le citoyen Régnier.

[199] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*. Comité révolutionnaire de la commune de Sèvres.— В списке арестованных 16 сентября 1793 г. Régnier значится под № 2. Обращалось внимание, что он сжег эти бумаги таинст-

венным образом, «à l'insu de tous les ouvriers n'ayant que trois ou quatre affidés à lui dévoués».

[200] Там же: Son aristocratie étoit si prononcée qui'il vexoit tous les volontaires qui revenoient lui redemender leurs places refusant et les éloignant de lui avec indignation.

[201] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*. Comité de surveillance et révolutionnaire. Comité de sûreté générale de Sèvres ce 16—7-bre 1793, 2-me de la République une et indivisible. Extrait des procès-verbaux des séances de 14 et 16 du présent: Les gens suspects de cette commune, conformément à la loi décretée par la convention nationale.

[202] Припомнили кстати и то, что еще в 1792 г. он «под предлогом болезни» покинул свой пост и путешествовал по Швейцарии. *Archives Départementales de Seine-et-Oise*. Comité révoloutionnaire de la commune de Sèvres.

[203] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*, Liasse IV. Décret de la convention nationale du seize septembre 1793, l'an second de la République une et indivisible, relatif aux citoyens employés à la manufacture Nationale de porcelaines de Sèvres (ср. *Procès-verbal de la Convention Nationale*, 16 septembre 1793).

[204] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*. Comité révolutionnaire de la Commune de Sèvres... № 4: Caton chef de l'attelier de peinture, royaliste gangrené ayant été desarmé par le conseil général de la commune suspect... etc.

[205] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*, пачка 1793, Comité de surveillance et révolutionnaire de Sèvres. Письмо подписано Audrein, député (помечено: 16 septembre 1793, 7 heures du matin).

[206] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*. Tableau de la conduite du citoyen Antoine Régnier depuis 1789. Aux citoyens répresentants du peuple, composant le comité de sûreté générale. В этом письме Régnier пишет о себе (в третьем лице): ...il n'a pu parvenir qu'aujourd'hui le 23 Thermidor, 2-me année de la Rép. franç. une et indivisible à avoir du comité de Sèvres les motifs de son arrestation.

[207] Обе — в *Archives Départementales de Seine-et-Oise*, в бумагах Comité de surveillance et révolutionnaire de la commune de Sèvres: a) только что названное письмо в Comité de sûreté générale (Tableau de Comité... etc.) и b) aux citoyens président et membres composant le comité de surveillance de Sèvres (помечено: Sèvres, ce 13 fructidor, 2 année de la Rép.).

[208] *Archives Départementales de Seine-et-Oise*. Liasse IV. Paris, le 29 septembre 1793, l'an II de la Rép. une et indivisible. *Le ministre de l'Intérieur aux citoyens composants le comité de surveillance de la commune de Sèvres* (подписано: Paré).

[209] Там же: ...un homme tout-à-la fois bon citoyen, bon administrateur instruit des details de commerce et de la fabrication et qui porte dans ses fonctions toute la popularité, les lumières et l'intelligence qui peuvent garantir aux ouvriers une direction vraiment républicaine... etc.

[210] Нац. арх. F^{12} 1496. Докладная записка Hettlinger (au citoyen Coquéau): D'après le décret par lequel le ministre est tenu de présenter à la convention Nationale un plan d'organisation économique de cette manufacture on doit présupposer qu'elle est dans l'intention de conserver cet établissement au compte de la Nation; mais les expressions employés dans ce Decret prouvent en même temps que ce n'est qu'autant qu'il pourra devenir utile au Fisc. Pour le dire rondement: on conservera la Manufacture si elle donne du bénéfice ou si du moins elle se soutient par elle-même; on la supprimera si elle doit coûter.

[211] Нужно заметить, что даже в разгаре общего торгового кризиса летом 1793 г. Севрская мануфактура все еще совершила кое-какие небезвыгодные сделки; Нац. арх. см. O^3 913, 12 juillet 1793. *Le ministre des contributions publiques au ministre de l'Intérieur*: Je viens d'apprendre, mon

cher collègue, que vous avez ordonné la vente d'une partie des porcelaines de la Manufacture de Sèvres et que cette vente se fait avec quelque avantage...— Но в общем положение дел было критическое. 17 и 21 декабря 1792 г., 19 января, 2 и 8 февраля 1793 г. Конвенту докладывались то петиции рабочих, то письма министра внутренних дел, то просьба предпринимателей мануфактуры (о возмещении убытков), и неизменно эти бумаги направлялись в комитет финансов для заключения (см. *Procès-verbal de la Convention Natoinale*, 1792, 17 décembre, стр. 259—260; 21 décembre, стр. 304; 1793, 19 janvier, стр. 301; 8 février, т. 52, стр. 115). 27 февраля 1793 г. министр внутренних дел *настоятельно* просил решить вопрос о национальных мануфактурах. Procès-verbal 27 févr., стр. 840.

[212] Нац. арх. F^{12} 1460. Paris, le nivôse, an II (декабрь, 1793 г.). *Le ministre de l'Intérieur au citoyen Gillet représentant du peuple*: Elles (manufactures nationales.— *E. T.*) n'enrichiront peut-être jamais la République mais elles attesteront du moins sa supériorité dans les arts sur toutes les autres nations...

[231] См. Нац. арх. O^2 913. Петиция рабочих к министру (6 июня 1793 г.). Там же, *Présentation de la demande à titre de secours provisoires pour les ouvriers de la Manufacture de Sèvres*, le 7 juin 1793, 2-me de la République fr. etc.— это как бы сопроводительная бумага при прошении рабочих.

[214] Отзыв о Chanou был дан самый лестный как со стороны рабочих, так и со стороны «tous les bons citoyens de Sèvres». См. Нац. арх. O^2 913, пачка ans 2 et 3, бумага помечена 12 brumaire.— Служебные недоразумения Chanou и документы, к этому делу относящиеся, не имеют к нашей теме прямого отношения. (Об этом см. Garnier. *La Manufacture de Sèvres. Nouv. Rev.*, т. 71, стр. 783).

[215] См. счеты «borderaux de ventes au comptant et à crédit». etc. Нац. арх. в картоне F^{12} 1495.

[216] Нац. арх. F^{12} 1496. *Aux membres composants la commission d'agriculture et des arts*. Там же «Arrêté» комитета.

[217] Нац. арх. F^{12} 1509. *Rapport de la commission d'agriculture et des arts.*

[218] Нац. арх. F^{12} 1495. Paris, 4 jour sans-culottide, an II. *A la commission d'agriculture et des arts.*

[219] Нац. арх. F^{12} 1495. *Extrait du Registre des arrêtês du Comitê d'agriculture et des arts*, 13 pluviôse, l'an III. См. также Нац. арх. AF II-12, т. 75. *Rapport au Comitê d'agriculture et des arts*; там высказывается намерение этой реформой substituer l'ordre au hazard, l'économie à l'insouciance et les talens à l'impréritie.

[220] Нац. арх. O^1 2063, Sèvres, 6 prairial, an IV. *La direction au citoyen Dubois* (отставка Meyer'a — третьего директора — 17 thermidor, an III — 4 августа 1795 г.).

[221] Нац. арх. F^{12} 1495, Germinal, an III, *Rapport au Comitê d'agriculture et des arts.*

[222] Нац. арх. F^{12} 1495. *Rapport à la commission* (по поводу художника Chulot).

[223] Нац. арх. F^{12} 1495, 7 pluviôse, an III.

[224] Нац. арх. F^{12} 1495, Sèvres, le 2 prairial, an III. Дирекция просит у комиссии позволения употребить все средства для увеличения фабрикации: ...la direction assurant à la commission que dans toutes les mesures qu'elle prendra elle sera en état d'obtenir un bénéfice très réel et d'en donner la démonstration; там же, F^{12} 1495, Sèvres, le 25 floréal,— речь идет о покупателях: ..chaque jour et à chaque instant différents acheteurs choisissent...

[225] Нац. арх. AF II-13, т. 84, 21 prairial, an III (9 июня 1795 г.).

[226] Нац. арх. F^{12} 1495, du 5 nivôse (т. е. 26 декабря 1795 г.). *Aux citoyens directeurs de la manufacture Nationale...* etc.; там же, *Observations*:.. les ouvriers... vous previennent que beaucoup d'entre eux par conscience et

tous par le besoin d'un repos nécessaire à leur santé et à leur travail réclament le repos du septième jour.

[227] Нац. арх. F¹² 1495, там же: Le voeu est absolument général... par les scrutins libres relevés dans chaque attelier et remis aux citoyens commissaires...

[228] Нац. арх. F¹² 1495. Донесение дирекции, 27 nivôse, an IV (17 января 1796 г.).

[229] Нац. арх. O² 914. Copie des renseignements; см. также F¹² 1495. Sèvres, 13 floréal, где говорится, что рабочим трудно работать 9 дней подряд с 6½ часов утра до 7 часов вечера.

[230] Нац. арх. F¹² 1495. Pluviôse, an IV. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur.*

[231] Там же: Le chef de la 4 Division pense que la consititution auroit en vain assuré à toutes les classes de citoyens la liberté du culte qu'ils ont embrassé si on n'adoptait des mesures propres à leur en faciliter l'exercice... etc.

[232] Нац. арх. F¹² 1495. Доклад дирекции начальнику 4-го отделения министерства внутренних дел. Sèvres, 13 floréal, an IV.

[233] Нац. арх. O² 914. Пачка: Frimaire, an VI. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*, 29 brumaire, an VI (19 ноября 1797 г.).

[234] Нац. арх. O² 914. *Apperçu des fonds nécessaires au Bureau des arts et manufactures pour les dépenses de l'an VII.*— В этой смете бросается ретроспективный взгляд на прошлые годы.

[235] Нац. арх. F¹² 1495. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur* (13 fructidor, an IV — 30 августа 1796 г.).

[236] Ср. Нац. арх. AF II-12, т. 82,— в докладе комитету земледелия и искусств от 28 апреля 1795 г. (9 floréal, an III): ...cette manufacture a versé hier encore 51 mille livres au trésor national et depuis quatre mois plus de 400 mille livres pour les ventes provenantes des ouvrages faits par ces malheureux artistes et ouvriers...

[237] Нац. арх. O² 913. Пачка: Messidor — thermidor, an V. *Note que le ministre de l'Intérieur est prié de mettre sous les yeux du ministre des Relations Extérieures.*

[238] Нац. арх. O² 913, 27 thermidor, an V. *Le ministre des Relations Extérieures au Ministre de l'Intérieur.*

[239] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres.* H. 7, Liasse I и сл.

[240] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres.* H. 7, Liasse III; см. также Нац. арх. F¹² 1495.

[241] Нац. арх. O² 914. *Aperrçu des fonds.*

[242] Нац. арх. O² 874. *Extrait des Registres du Directoire exécutif*, 3. Thermidor, l'an IV.

[243] Нац. арх. O² 915. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*, le 24 fructidor.

[244] Нац. арх. F¹² 1496. *Les artistes et ouvriers de la Manufacture Nationale des porcelaines de Sèvres au Directoire* etc. Помечено: renvoyé au ministre de l'Intérieur 12 ventôse, an V.

[245] Нац. арх. F¹² 1496, 9 messidor, an 5, *Rapport présenté au Ministre.*

[246] Нац. арх. O² 914. *Aux citoyens Directeurs.*

[247] Нац. арх. O² 914. *La Direction au citoyen Dubois chef de la 4 Division du Ministère de l'Intérieur*, 7 vendemiaire, an V.

[248] Дирекция указывала в таких случаях на «zèle» и «l'empressement» рабочих. См. Нац. арх. O² 915. Sèvres, le 2 pluviôse, an VII.

[249] Нац. арх. O² 915, 30 nivôse, an VIII. *Les artistes et ouvriers de la Manufacture* etc. *au citoyen Bonaparte, premier consul*: Il est reservé au Consolateur de toutes les afflictions d'en tarir la source... L'illustre chef d'un empire qui s'honore toujours de protéger les arts arrachera les artistes à la mort à laquelle on parait les vouer depuis longtemps...

[250] Нац. арх. O^2 914. Пачка: Brumaire, an VI. Доклад дирекции—Bureau des arts министерства внутренних дел.

[251] Нац. арх. O^2 913, Sèvres, 30 prairial, an V. *La Direction au citoyen Dubois* (пачка: Messidor — Thermidor).

[252] Нац. арх. O^2 913. Пачка: Messidor — Thermidor, an V.

[253] Там же: Enfin, quoique le fond doive seul être considéré dans quelques endroits le stile pourroit être plus clair, plus françois et ne pas présenter ces expressions: ...nation grande... libre... vrais républicains... etc., qui sentent l'adulation des jours les plus orageux de la République.

[254] Нац. арх. O^2 913. *Les artistes et ouvriers de la Manufacture Nationale des porcelaines de Sèvres* (петиция к директору). Помечено на полях: 19 thermidor (6 августа).

[255] Нац. арх. O^2 914, 24 fructidor, an VI.

[256] В частных счетах директора Hettlinger цифры даются в звонкой монете, начиная с мая 1796 г. (см. *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*. Пачка: Hettlinger). Но еще в конце 1796 г. часть жалованья рабочим уплачивалась в mandats, а часть — в звонкой монете.

[257] Нац. арх. O^2 914. *Aux citoyens directeurs*. Пачка: Fructidor, an VI. (Прошение подано от имени «la très grande majorité des artistes et ouvriers»)

[258] Нац. арх. O^2 914, Vendemiaire 6. *Les ouvriers de la Manufacture Nationale des porcelaines de Sèvres au ministre de l'Intérieur*: ...leur salaire déjà modique ayant été diminué d'un quart qui depuis trois ans n'a été remplacé que par du pain souvent mauvais et dont les animaux voulaient à peine.

[259] Нац. арх. O^2 914. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*. 29 floréal, an VI.

[260] Нац. арх. O^2 915. *Les directeurs au chef de la 4 Division des Bureaux du Ministre de l'Intérieur* (30 fructidor, an VI).

[261] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*. H. 7, Liasse VII. 17 vendemiaire an VII. *Le ministre de l'Intérieur à la direction de la Manufacture Nationale*: «...citoyens, je me suis fait rendre compte de la réclamation qui vous a été adressée... j'ai du être surpris du ton d'aigreur et de menace avec lequel cette réclamation est présentée et qui semble annoncer dans les auteurs des projets contraires au bon ordre et à l'harmonie que vous êtes chargés de maintenir dans la manufacture. Je ne sais par quelle fatalité, citoyens, la manufacture de Sèvres, la mieux traitée des manufactures nationales, est toujours la première à se plaindre. Je suis bien éloigné d'adresser ce reproche à la totalité des artistes attachés à cette manufacture, mais je n'ai pu voir sans un juste mécontentement que la réclamation dont il s'agit fût revêtue des mêmes signatures que j'ai déjà remarquées dans plusieurs pétitions tendantes à troubler l'ordre et à contrarier les travaux par des alarmes sans fondements ..«Министр признает право всякого покинуть мануфактуру, но с оговоркой:»...mais vous voudrez prévenir quiconque prendrait ce parti qu'il s'exposeroit à l'animadversion de la loi, s'il cherchoit par quelque moyen que ce fût à faire partager son mécontentement et sa desertion aux autres artistes. Chaqun est libre de son talent et de sa personne, mais toute attente à l'ordre public doit être sevèrement réprimée...» (Подписано: François de Neufchâteau).

[262] Нац. арх. O^2 915. Versailles, 28 frimaire, 7 (пачка: Frimaire, an VII). *Le commissaire du Directoire exécutif près l'administration du département de Seine-et-Oise. Au Ministre de l'Intérieur.*

[263] *Archives de la Manufacture Nationale de Sèvres*, Y 4. *Régistre des délibérations de la Direction de la Manufacture Nationale des porcelaines de Sèvres*. 15 ventôse, l'an VII: ...les chefs des divers atteliers de la Manufacture se sont rendus près de la direction pour lui représenter les pressants

besoins des ouvriers et l'état pénible dans lequel ils se trouvent par le manque d'argent leur étant dus leurs salaires environ cinq mois... etc.

[264] Нац. арх. O^2 915. *Les artistes et ouvriers* etc. *aux membres composant le Directoire Exécutif* (пометка: arrivé 19 ventôse. Печать Директории).

[265] Нац. арх. O^2 915. Пачка: Floréal. *Les directeures* etc. *au Ministre de l'Intérieur*, 1 floréal, an VII (ср. Havard et Vachon. Цит. соч., стр. 447).

[266] Нац. арх. O^2 915. Пачка: Messidor, an VII, пометка: 14 prairial (2 июня 1799 г.): Plusieurs d'entre nous pressés par la nécessité et cedant aux larmes de leurs femmes et de leurs enfants n'ont déjà plus eu que le choix de la mendicité ou de travaux penibles et au dessus de leurs forces pour prolonger une existence pire que la mort...

[267] Нац. арх. O^2 915. Paris, le 19 prairial, an VII. *Rapport présenté au ministre de l'Intérieur*: ...leur exposé n'est malheureusement que trop vrai.

[268] Нац. арх. O^2 915, 7 messidor, an VII (25 июня 1799 г.).

[269] Нац. арх. O^2 915 Пачка: Thermidor, an VII. *Les soussignés artistes employés à la manufacture Nationale des porcelaines de Sèvres au Directoire Exécutif.*

[270] Нац. арх. O^2 915. *Rapport présenté au ministre de l'Intérieur* (24 messidor, an VII): Il règne même dans les atteliers une fermentation sourde...

[271] Нац. арх. O^2 915. Minutes de message. Le Directoire exécutif invite le corps législatif à s'occuper des moyens d'assurer les sommes nécessaires pour activer les travaux publics et les Manufactures à l'entrée de la saison rigoureuse: «C'est en activant à l'Intérieur tous les bras qui ne défendent point notre indépendance au dehors que nous assurerons la tranquillité...»

[272] Нац. арх. O^2 915, Paris, le 25 thermidor (12 августа 1799 г.) *Le ministre de la police générale de la République à l'administration Municipale du 11 arrondissement de Paris*: J'apprends citoyens administrateurs que presque tout les chefs d'atteliers renvoyent en ce moment leurs ouvriers, les uns le font dit-on par incivisme et pour créer les mecontents, les autres par des raisons legitimes et malheureuses telles que les non-payements et la cessation du commerce. Si ces faits sont vrai il est certain que le peuple souffre en ce moment qu'il souffrira d'avantage chaque jour et que la progression rapide de la misère est effrayante pour toutes les âmes justes et sensibles.

[273] Нац. арх O^2 915. *Rapport fait à l'administration municipale du onzième arrondissement par un de ses membres dans sa séance du 28 fructidor, an VII* (14 сентября 1799 г.)

[274] Нац. арх. O^2 915, Minutes de message.

[275] Нац. арх. O^2 915, 3 brumaire, an VII. Подписано: Les membres composant la commission nommée par la manufacture, и следуют подписи.

[276] Нах. арх. O^2 915. Письмо министра к дирекции, 14 brumaire, an VIII (5 ноября 1799 г.)

[277] Там же: Et l'empressement des ouvriers à s'y conformer eloignerait toutes recidive...

[278] Нац. арх. O^2 915. 30 nivôse, an VIII. *Les artistes et ouvriers de la manufacture de Sèvres au citoyen Bonaparte, premier consul* (ср. Garnier. *La manufacture de Sèvres en l'an VIII*, в *Gazette des Beaux-Arts*, т. 36, 1887).

[279] Нац. арх. O^2 915. *Les artistes et ouvriers de la Manufacture Nationale des porcelaines diverses. Au citoyen Lucien Bonaparte, Ministre de l'Intérieur* (пометка на полях: 9 pluviôse).

[280] Нац. арх. O^2 915. Пачка: Brumaire, an VIII. Paris, le 9 floréal de l'an VIII. *Rapport présenté au ministre de l'Intérieur* (ср. Garnier. Цит. соч.).

[281] Нац. арх. O^2 915, Paris, le 25 floréal, an VIII. *Le ministre de l'Intérieur aux Directeurs de la Manufacture Nationale de porcelaines de Sèvres.*

[282] Нац. арх. O[2] 915. Пачка: Personnel, Appointements, *Au citoyen ministre de l'Intérieur* (s. d.).

[283] «Et vous pour qui la justice est sans doute un besoin, illustre ministre d'un gouvernement, forcé de supprimer pour regénerer, serez vous sourd aux cris du malheur et du desespoir? Non,— le malheureux est une chose sacrée...»

[284] Среди документов 1801 г. еще попадается несколько прошений (все просмотренные директором), относящихся к вопросу о квартирах, о помещении и не представляющих никакого интереса.

[285] Нац. арх. O[2] 914. Paris, le 21 nivôse, an IX, *Rapport présenté au ministre de l'Intérieur par interim.*

[286] Документы, касающиеся первых времен мануфактуры Бове, находятся в Нац. арх. O[1] 2037.

[287] Предприниматель и рабочие, живущие в ограде зданий мануфактуры, объявлялись «exempts de toutes tailles, subsistances et autres impositions, emprunts, garde de la ville de Beauvais, logements des gens de guerre, et autres contributions pendant tout le temps qu'ils auraient travaillé... etc». (*Mémoire*, 28 novembre 1790, Нац. арх. O[1] 2038).

[288] Нац. арх. O[1] 2038. *Affaires de la manufacture des Tapisseries de Beauvais.* Доклад министру Делессару, затребовавшему сведения.

[289] *Archives Départementales de l'Oise*, Série L-1 m-12. Industrie et commerce. Manufacture de Tapisserie de Beauvais. *A Nosseigneurs de l'Assemblée Nationale.*

[290] *Archives Départementales de l'Oise.* Série L-1 m-12. Industrie et commerce. *Mémoire de la Municipalité de Beauvais au Directoire du district* (octobre 1900): Ces reclamations negligées pendant quelque temps furent portées à l'assemblée nationale. M. Demenou enfin accorda à une partie des demandes de ses ouvriers.

[291] *Archives Départementales de l'Oise.* Série L-1 m-12, Industrie et commerce. Там же: ...elle (la pétition — *E. T.*) lui fut communiquée et elle paroit avoir excité le plus vif ressentiment contre tous ceux qui y avoient participé. Il ne le cacha point et bientôt les effets s'en firent ressentir etc.

[292] Там же: ...ils n'ont plus gardé de bornes et de malheureux ils sont devenus coupables. Ils se sont livrés aux injures et aux menaces les plus violentes contres ce contre-maitre les quelles quoiqu'elles n'ayent point été accompagnées de voies de fait l'ont obligé de se retirer.

[293] Там же: ...leur ont reproché vivement l'irregularité de leur conduite.

[294] *Archives Départementales de l'Oise.* Série L-1 m-12. Industrie et commerce. Письмо Menou к administrateurs du district de Beauvais:... permettez moi, Messieurs, de vous représenter combien est étonnate l'impunité dont jouissent des ouvriers qui ont renvoyé leur inspecteur le seul sans doute qui discutât mes intérêts et combien plus est étonnante la durée de son exil qui donne à ces rebelles une approbation tacite et un encouragement dans leur révolte...

[295] *Archives Départementales de l'Oise.* Série L-1 m-12. Industrie et commerce. *Extrait du procès-verbal du comité d'agriculture et de commerce*, du 4 octobre 1790: ...que le salaire des ouvriers ne pouvait être de leur compétence, qu'il ne pouvait se fixer que par les loix naturelles que l'entrepreneur avoit autant besoin d'ouvrier que les ouvriers d'ouvrages et que cet intérêt reciproque devait seul determiner le prix; qu'il seroit dangereux d'outre-passer cette sage mesure et que bientôt l'intervention des municipalités interveriroit l'ordre et le dépendance naturelle et feroit abandonner toutes les fabriques... etc., etc. (Докладчиком был Lasnier de Vaussenay; доклад был принят комитетом единогласно).

[296] Нац. арх. O[2] 2038. Письмо Brisson, временно управлявшего мануфактурой (5 décembre 1790): ... il paroit qu'on a echauffé les ouvriers et ils se sont plaints *ensemble* (подчеркнуто в тексте письма).

[297] Нац. арх. O[1] 2038. *Affaires de la manufacture des Tapisseries de Beauvais*. Подписано: Ouï le rapport et les conclusions de M-r le procureur Général Syndic. Le Directoire du Département les adopte et a arrêté qu'elles seroient présentées comme formant son avis.

[298] La nécessité pour l'entrepreneur d'avoir des ouvriers et pour les ouvriers d'avoir de l'occupation fait ici toute la loi...

[299] Нац. арх. O[1] 2038. *Le Ministre de l'Intérieur par interim au Président de la convention Nationale*. Paris, le 13 mars 1793...— Это рукописный текст; упоминание же о докладе этой бумаги Конвенту см. в *Procès-verbaux de la convention Nationale*, т. 53, стр. 322.

[300] *A nosseigeurs de l'Assemblée Nationale*. A Beauvais, de l'Imprimerie de la veuve Desjardins, 1790.

[301] Нац. арх. O[1] 2038. *Affaires de la manufacture de Beauvais*: On ne peut s'empêcher de soupçonner que sous ce masque de crainte que les anciens ouvriers ont témoigné pour l'honneur du 1-er genre il n'y ait quelques jalousie cachée contre les ouvriers des genres inférieurs.

[302] Первый документ в этом роде, Нац. арх. O[1] 2038, № 706, называется *Mémoire* и обращен к депутатам департамента, заседающим в Национальном собрании; на полях надпись: renvoyé au comité de commerce. Речь идет о необходимости поддержать в собрании просьбу Мену «о поддержке и поощрении рабочих».

[303] Документ со всеми подписями рабочих — в Нац. арх., картон O[1] 2038; сверху проставлен № 808, на полях написано: Comité de commerce et agriculture и слово: ajourné. Заглавные слова документа: *A messieurs les membres composant le conseil général de la commune de Beauvais*. См. также *Archives Départementales de l'Oise*, Série L-1 m-12. Industrie et commerce. Ср. также H a v a r d et V a c h o n. Цит. соч., стр. 592

[304] Нац. арх. O[1] 2038, тот же документ: решения обоих советов за подписями членов приписаны на 3-й и 4-й страницах рукописи.

[305] *Archives Départementales de l'Oise*. Série L-1 m-12. Industrie et commerce (octobre 1792): ...nous savons sous un gouvernement fondé sur les bases de la justice tout membre de la société doit avoir de l'occupation ou de secours. S'il était possible que dans un état un citoyen laborieux manquât de moyens de subsister, la société seroit anéantie.

[306] Нац. арх. O[1] 2038 (красными чернилами проставлен № 11624). Прошение начинается словами: Citoyens législateurs.

[307] Там же: voyant que ...les causes et les effets de notre révolution nuisaient trop aux objets de grand luxe...

[308] Там же, 3-я и 4-я страницы заняты резолюциями Conseil général de Beauvais и Directoire du district de Beauvais. Обе — за подписями.

[309] Нац. арх. O[1] 2038 (№ 1197) 29 janvier 1793. *Aux citoyens composants a Convention Nationale*.

[310] За неделю до этой петиции (21 января 1793 г.) была казнь короля. Этот документ написан грамматически гораздо правильнее и более красивым почерком, чем другие петиции; слог также более цветист.

[311] *Le Ministre de l'Intérieur par interim au Président de la Convention Nationale*. Нац. арх. O[1] 2038[1], № 1197. Письмо подписано *Garat*.

[312] Нац. арх. 1347-bis, O[1] 2038. Письмо от 30 июля 1793 г.

[313] *Archives Départementales de l'Oise*, L-1. Procès-verbal du département depuis décembre 1792 et compris août 1793. Séance publique en permanence 13 août 1793: ...ce projet avait été percuté d'une manière spécieuse par l'ex-manistre Roland...

[314] Нац. арх. A D XI-73. *Rapport et projet de décret présentés à la Convention Nationale au nom des comités de commerce et d'aliénation sur la manufacture de tapisseries à Beauvais par le citoyen Blutel*.

[315] *Décret de la Convention Nationale du dix sept Brumaire, l'an II de la République*... etc. Нац. арх. O[1] 2038[5], № 2002 (связка помечена:

ans II — III). См. также *Procès-verbal de la Convention Nationale*, 17 brumaire, an II, стр. 44—45.

[316] Нац. арх. 664-B. (O^1 2038^5). Пачка: Ans II—III. *A la Convention Nationale*, помечена 25 марта 1793 г.: ...qu'elle est soumise à l'inspection des corps administratifs; ...que toutes contestations qui sont survenues ou qui surviendront entre les directeurs et les ouvriers soient jugés définitivement par les corps administratifs.

[317] *Etat du nombre d'ouvriers, compagnons et apprentifs de la Manufacture Nationale de Beauvais* (пачка II и III годов, Нац. арх. O^1 2038^5). 10 исписанных страниц. Помечен 28 февраля 1794 г. (9 ventôse, an II).

[318] *A la Convention Nationale* (пачка II и III годов). Нац. арх. O^1 2038^5. Помечено печатью «commission des depêches»: «approuvé».

[319] Sous le poids de la plus grande misère, sans ouvrage, sans ressources, sans secours, depuis plus de deux mois, ayant déjà rendu la plus grande partie de leurs vêtements, ils n'auraient plus eux, leurs femmes et leurs enfants que le plus légitime désespoir, si la justice et l'humanité de la Convention Nationale ne leur était connue.

[320] Рукопись называется: *Extrait du Registre des délibérations du directoire du département de l'Oise* и помечена 15 pluviôse (т. е., значит, 3 февраля). Нац. арх. № 44, O^1 2038^5.

[321] *Archives Départementales de l'Oise*. Délibérations du district de Beauvais du 13 pluviôse au 29 id., an II. Заседание «du 22 pluviôse, avant midy».

[322] Нац. арх. O^1 2038^5. Пачка II и III годов: La commission pense que le gouvernement doit venir aux secours de ces artistes qui sont infiniment intéressants par leur talents et leur misère. Rapport au comité de salut public (*Arts et manufactures*, 383).

[323] Постановление подписано Робеспьером, Сен-Жюстом, Collot d'Herbois и другими членами комитета. *Extrait du Registre des arrêtés du Comité de salut public de la Convention Nationale*, du 18 prairial l'an II.— № 44, Нац. арх. O^1 2038^5.

[324] См. *Rapport de l'agence des arts et manufactures à la commission d'agriculture et d'arts*. Нац. арх. O^1 2038^5. Пачка II и III годов. («Division des arts et manufactures»; на полях рукописи: adopté 5 messidor, an II). См. также доклад, поданный Мену: *Soumission du citoyen Menou, auparavant entrepreneur...* etc. № 385 (рядом другой № 2002). Помечено: 4 prairial, l'an second. Нац. арх. O^1 2038^5. Пачка II и III годов.

[325] Это поняла l'agence des arts, не принявшая проекта восстановления субсидий, составленного Chauvin.

[326] Нац. арх. O^1 2038^5, № 23993. Пачка II и III годов, Epuisés tous par une inaction de deux années entières... Рукопись подписана 24 именами.

[327] Нац. арх. O^1 2038^5. Пачка II и III годов, № 2331, на полях: manufactures des Tapisseries de Beauvais. Рукопись подписана: Louis Pisier, Riqueur — ouvriers de la D-te Manufacture en députation à Paris.

[328] Т. е. Бове и Гобеленами.

[329] Que l'argent qui vivifiait cette manufacture rentrait en France quadruplé au moyen de l'Etranger, rendu tributaire.

[330] Нац. арх. O^1 2038^5. *Extrait du Registre des délibérations du Comité de commerce et des Approvisionnements de la Convention Nationale*, du 25 brumaire l'an III de la République française une et indivisble.

[331] Помечено: Beauvais, le 17 frimaire, 3-e année. Нац. арх. O^1 2038^5. Пометка сверху: 660—167а.

[332] Нац. арх. O^1 2038^5 (орфография подлинника). *Les ouvriers de Manufactures nationales de Tapisserie de Beauvais au citoyens composant la commission exécutif d'agricultures et des arts*. Под рукописью 26 подписей; за одного неграмотного поставлен крест с соответственным пояснением.

[333] Нац. арх. O^6 20385. Помечено: Beauvais, 21 pluviôse, 3-e année (т. е. 9 февраля 1795 г.)

[334] Нац. арх. AF II-85. Пачка 13. *Arrêtê sur le rapport de la commission d'agriculture et des arts*, 13 prairial, an III.

[335] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Prairial et floréal. Aperçu (ср. там же. Пачка: trois pièces s. d. et une pièce du 4-e complémentaire de l'an III).

[336] Т. е. категории получающих больше или меньше, судя по сложности работы и по умению.

[337] См., например, Нац. арх. O[1] 2038[5]. *Etat des payements faits à chacun des citoyens ouvriers de la Manufacture Nationale de tapisseries et tapis de Beauvais a compte de l'ouvrage fait depuis le 20 Thermidor jusqu'à 30 Fructidor.*

[338] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Floréal et prairial, an III. *Rapport au Comité d'agriculture et des arts.*

[339] Особенно в пачке: Prairial. Нац. арх. O[2] 858; см., например, рапорт Camousse министру внутренних дел.

[340] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Fructidor, an 3-e. *Rapport au Comité d'agriculture et des arts*. Решение комитета — 17 fructidor (3 сентября 1795 г.).

[341] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Frimaire, an IV.

[342] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Frimaire. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur.* Помечено: 23 Nivôse, l'an IV (т. е. 13 января 1796 г.): Le taux moyen des salaires entre quarante et cinquante livres...

[343] Нац. арх. O[2] 858. Рукопись сверху помечена: «Conseil des Arts et Manufactures».

[344] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Brumaire, an IV. Петиция озаглавлена: *Aux citoyens membres composant la Commission d'agriculture et des arts*: et tous les d'enrées engenerales surpasent plus de vingt fois les prix de cette Epoque... (т. е. 1789 г. Орфография подлинника).

[345] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Ventôse. Письмо Камусса au citoyen chef de la 4-e Division des Bureaux du Ministre de l'Intérieur, Beauvais, 4 ventôse d'an IV: ...je vois également avec peine, citoyen les citoyens ouvriers travaillants avec assiduité du matin au soir ne pas gagner autant que les manouvriers ce qui les met de mauvaise humeur, leur donne occasion de se tourmenter et de tourmenter aussi ceux qui les commandent et dirigent...

[346] Нац. арх. O[2] 858. *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.* На полях пометка: 4-e Division, 5 ventôse, № 57. Пачка: Ventôse.

[347] Нац. арх. O[2] 858, там же: Cette demande est du nombre de celles auxquelles on ne doit point répondre.— Столь же сурово отозвалась относительно этой просьбы рабочих еще до решения министра муниципальная администрация Beauvais (см. *Archives Départementales de l'Oise*, L-1 m-12. *Extrait du Régistre des déliberations de l'administration municipal du canton de Beauvais.* Séance du premier Germinal, an IV de la République française: ...qu'il n'y a lieu à délibérer sur la petition des ouvriers de la Manufacture des tapisseries...)

[348] Еще до того, как она была послана.— Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Ventôse. Письмо помечено: 29 Pluviôse, l'an IV. В этом письме он уже наперед объясняет, что внес в сад много улучшений и желает сам им пользоваться. Просьба рабочих осталась без последствий.

[349] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Ventôse. Beauvais, ce 14 ventôse, IV année républicaine. *Les ouvriers de la Manufacture National* (sic) *des Tapisseries Etablie à Beauvais.* К петиции приколота препроводительная бумага Commissaire du pouvoir exécutif près de l'Administration centrale du Département de l'Oise.

[350] Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Ventôse. 4-e Division, Bureau les arts, Paris, le 19 ventôse, l'an IV... etc. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur.*

[351] Это — одно из проявлений официального оптимизма относительно ассигнаций, о котором мы говорили выше.

[352] Собственно, это цифра — непостоянная. Например, в документе Нац. арх. O[2] 858. Пачка: Germinal, подписанном Camousse и содержащем

список рабочих, их насчитано 31 человек. Документ помечен 18 pluviôse (т. е. 7 февраля 1796 г.).

[353] Нац. арх. O² 858. Пачка: Floréal. Петиция помечена: Beauvais, ce 29 floréal, an IV (т. е., значит, 18 мая 1796 г.)

[354] Нац. арх. O² 858. Пачка: Floréal, № 1097 et 1139. Le 7 Floréal, an IV. Le chef au C. Camousse etc.

[355] Нац. арх. O² 858. Пачка: Prairial. На полях краткого изложения петиции рабочих: «Repondu que les besoins de la République ne permettent point d'accorder du numéraire».

[356] Нац. арх. O² 858. Пачка: Messidor. *Les administrateurs du Département de l'Oise*, Beauvais, le 28 prairial, an IV.

[357] Нац. арх. O² 858. Пачка: Messidor. Жалоба помечена: Beauvais, 27 germinal, an IV. *Au ministre de l'Intérieur*, за подписями рабочих Они просят между прочим, чтобы директора назначили по конкурсу и чтобы в конкурсе принял участие и нынешний директор Камусс: «la nullité de ses talens seroit démontrée sans soupçons de partialité», — уверяют рабочие.

[358] Нац. арх. O² 858. Пачка: Messidor. *Tableau du Résultat de l'audition faite par le Département de l'Oise, des ouvriers et du Directeur de la Manufacture de Beauvais.*

[359] Нац. арх. O² 858. Письмо помечено: Paris, 9 messidor, an IV.

[360] Нац. арх. O² 858. Пачка: Messidor. Du 24 prairial, an IV. *Les ouvriers de la Manufacture Nationale de Beauvais au citoyen Ministre de l'Intérieur.* На полях пометка: 4-e Don (т. e. Division), 27 Prair.— 12°461. К рукописи приколота бумажка, вкратце излагающая содержание. Число рабочих на этой бумажке почему-то указано в 15 человек; на самом деле подписей всего 13.

[361] См. цитированную рукопись: C'est pour nous un devoir de vous déclarer solennellement aujourd'hui que cette denonciation n'est que l'oeuvre ténébreuse de cinq ou six têtes exaltées qui, ayant d'autres moyens d'exister et voulant à tout prix suivre leur ambition, semblent se donner pour tâche journalière de troubler l'ordre, de meconnoitre toute subordination, d'accrediter leurs calomnies, de jetter des douttes sur les meilleures intentions, en un mot de s'opposer en tout sens au rétablissement d'une manufacture qu'ils veulent ou conduire, ou détruire ...etc. etc.

[362] Нац. арх. O² 858. Пачка: Messidor. *Au citoyen Ministre de l'Intérieur.* Помечено в конце: Beauvais, 26 prairial, an IV.

[363] Нац. арх. O² 858. Пачка: Thermidor, an IV. *Copie de la petition adressée au Ministre de l'Intérieur par les artistes ouvriers* etc. На полях: Commune de Beauvais, Département de l'Oise, le 14 messidor, an IV.

[364] Там же: ...plusiers même d'entre nous se trouvant sans ouvrages au defaut de matières premieres (орфография подлинника).

[365] Нац. арх. O² 858. Пачка: Thermidor, an IV. *Etat et denombrement des citoyens ouvriers artistes de la manufacture de Tapisseries* etc. Составлена Camousse, помечена: le 14 messidor, l'an de la République française (особая графа: Bouche. Nombre).

[366] 5 thermidor, an IV (т. е. 23 июля 1796 г.), состоялось это постановление министра внутренних дел. Нац. арх. O² 858. Пачка: Thermidor. *Le chef de la 4-e Division au citoyen Camousse, directeur de la Manufacture de Beauvais.*

[367] См., например, *Rapport, présenté au Ministre de l'Intérieur* (Paris, le 19 thermidor, l'an V). Нац. арх. O² 858. Пачка: Les divers mois de l'an V. Rapport au Ministre de l'Intérieur, sur une foule de sujets divers.

[368] Нац. арх. O² 858. Пачка: Les divers mois de l'an V. *Rapport au Ministre de l'Intérieur*, № 1865 (4-e Division, Arts et manufactures).

[369] Там же: ...ils ont en revanche l'avantage de convenir à un plus grand nombre de consommateurs.

[370] Например, просьба рабочих к представителю департамента Уазы

в Совет пятисот, чтобы он походатайствовал о скорейшей присылке ассигнованной министром суммы. Нац. арх. O² 858. Пачка: Fructidor, an V. Помечена рукопись: De Beauvais, ce 18 thermidor, an V, de la République française. *Les citoyens artistes etc. de Beauvais au citoyen Portier... etc.* Или другая просьба рабочих, аналогичная: Нац. арх. O² 859. Пачка: Brumaire, an VI.

[371] Всю эту переписку с прошениями, отказами, рапортами и так далее см. в пачке: Floréal, an V. Нац. арх. O² 858, а также: Vendemaire, an VI, O² 859.

[372] Нац. арх. O² 859. Пачка: Pluviôse, an VI. Помечена петиция: De Beauvais, ce 23 nivôse, an VI de la République française. Подписана: Les ouvriers sans occupation. Следуют подписи.

[373] 29 pluviôse de l'an VI. Нац. арх. O² 859. Пачка: Germinal, an VI. *Au Directoire*. На полях: 4-e Division, 17 ventôse, № 277.

[374] Нац. арх. O² 859. Пачка: Frimaire, an VII. *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*. 4 Division. Bureau des arts. Помечено: Paris, le 19 frimaire, an VII. Проситель в конце концов все-таки был зачислен.

[375] Нац. арх. O² 859. Пачка: Brumaire. Paris 19 brumaire, an VII. *Le Ministre au directeur de la Manufacture des Tapisseries de Beauvais*, № 329.

[376] Нац. арх. O² 859. Пачка: Vendemiaire, an VII. *Etat général des recettes et dépenses pour le mois de Vendemiaire, an VII.* 3-я страница рукописи: Etat des frais etc.

[377] Нац. арх. O² 859. Пачка: Pluviôse, an VII. *Comptabilité du citoyen Camousse*, Mois de nivôse, an VII de la République française.

[378] Нац. арх. O² 859. Пачка: Messidor, an VII. *Dépenses diverses pour le moi de prairial, an VII de la République française.* Документы за плювиоз, жерминаль и мессидор дают почти те же данные (см. Нац. арх. O² 860).

[379] Нац. арх. O² 859. *Au citoyen Ministre de l'Intérieur*. Помечена: Beauvais, ce troisième jour complémentaire. VII année de la République (т. е., значит, 19 сентября 1799 г.)

[380] Вопрос о пользовании огородом в Бове; задержка в выдаче денег в Севре.

[381] *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, т. IV, стр. 353.

[382] Любопытна, например, следующая история, имевшая место в январе 1798 г. Директор Savonnerie позволил рабочим пользоваться в свободное время для развлечений одним пустым залом заведения. 2 плювиоза (21 января) в день принесения присяги, которую требовала Директория (в ненависти к королевской власти и к анархии), рабочие собрались в этом зале, чтобы поразвлечься. В 7 часов вечера явился полицейский комиссар и предложил дирекции объяснить полицейскому управлению (bureau central) в чем состоит «le genre d' amusement qu'elle avait autorisé». Директор написал объяснение, зачем эти невинные развлечения разрешены рабочим (чтобы «entretenir parmi eux l'union et l'intelligence»), и удостоверил, что туда допускаются только родственники рабочих и что все происходит под его надзором (le directeur a l'œil ouvert sur la conduite de tous). Завязалась довольно оживленная переписка, и из министерства прислали (уже из Bureau des arts, непосредственно заведовавшего во времена Директории мануфактурами) бумагу, в которой указывали дирекции, что все-таки лучше было бы уведомить полицию, раньше нежели разрешать эти собрания, о мерах, коими директор рассчитывает обеспечить спокойствие. Директору строго ставится на вид, что «cette réunion ne peut avoir lieu que sous sa responsabilité particulière et qu'il demeure garant des événements qui pourraient troubler le bon ordre et la tranquillité publique», и рекомендуется тщательнейший надзор. Нац. арх. O² 907, Objets relatifs au directeur personnelement; *Rapport présenté au Ministre de l'Intérieur*, Paris, le 9 pluviôse, l'an VI.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

49*

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Тарле
Евгений Викторович

Собрание сочинений, т.

•

Редактор издательства *К. А. Гусева*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *Г. Н. Шевченко*
Корректор *В. К. Гарди*

РИСО АН СССР № 26-8В. Сдано в набор 10/IV 1957г. Подписано в печать 19/VI 1957 г. Формат бум. 60×92$^{1}/_{16}$. Печ. л. 50,5 + 5 вкл. Уч.-изд. л. 49,2. Издательский № 2363. Типографский заказ № 1446. Т-05071 Тираж 30 000.

Цена 20 р.

•

Издательство Академии наук СССР
Москва, Б-64, Подсосенский пер., 21.

2-я типография Издательства Академии наук СССР
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10